

ИГОРЬ
ТАЛАЛАЕВСКИЙ

Три фурии
времен
минувших

ХРОНИКИ
СТРАСТИ
И БУНТА

ИГОРЬ ТАЛАЛАЕВСКИЙ

Три фурии
времен
минувших

ХРОНИКИ СТРАСТИ И БУНТА



Лу Андреас-Саломе
Нина Петровская
Лиля Брик

Лу Андреас-Саломе
Нина Петровская
Лиля Брик



ИСТОРИЧЕСКАЯ
КНИГА

Игорь Талалаевский

Три фурии времен МИНУВШИХ

ХРОНИКИ СТРАСТИ И БУНТА

Лу Андреас-Саломе

Нина Петровская

Лиля Брик

Санкт-Петербург
АЛЕТЕЙЯ
2013

УДК 929
ББК 84
Т 160

Талалаевский И.

Т 160 Три фурии времен минувших. Хроники страсти и бунта.
Лу Андреас-Саломе, Нина Петровская, Лиля Брик. – СПб.:
Алетейя, 2013. – 840 с.: ил.

ISBN 978-5-91419-879-1

В новой книге известного режиссера Игоря Талалаевского три невероятные женщины «времен минувших» – Лу Андреас-Саломе, Нина Петровская и Лиля Брик – переворачивают наши представления о границах дозволенного. Страсть и бунт взыскующего женского эго! Как духи спиритического сеанса три фурии восстают в дневниках и письмах, мемуарах современников, вовлекая нас в извечную борьбу Эроса и Танатоса. Среди героев романов – Ницше, Рильке, Фрейд, Бальмонт, Белый, Брюсов, Ходасевич, Маяковский, Шкловский, Арагон и множество других знаковых фигур XIX–XX веков, волею судеб попавших в сети их магического влияния. С невиданной откровенностью Психея разоблачается в очах видящих...

УДК 929
ББК 84

ISBN 978-5-91419-879-1



9

© И. Талалаевский, 2013
© Издательство «Алетейя» (СПб.), 2013

Эйфория. Читать!

«При всей поглощённости Другим, нас охватывает лишь незначительное любопытство: каков же он всё-таки сам по себе, безотносительно к нам. А потом настает время, когда к Другому уже невозможно отнестись творчески, – «сочиняя» его, «играючи» в него. Мы начинаем испытывать какое-то особое раздражение по поводу именно тех чёрточек, которые прежде для нас были особо волнующими: даже задним числом они не могут оставить нас равнодушными – либо восхищение, либо отторжение – и вследствие этого неравнодушия ещё более раздражают, напоминая нам о том мире, к которому наши нервы некогда отвечали дрожью, о мире, ставшим чужим».

Мне кажется, в этом немного видоизменённом пассаже из книги Лу Саломе содержится ключ к пониманию другой книги – той самой, которую уважаемый читатель держит в руках и из которой я этот пассаж взял. Последняя, как явствует из ее названия, посвящена самой Саломе, а также двум другим великим «фуриям времен минувших» – Нине Петровской и Лиле Брик. Это так, но не совсем. Книга Игоря Талалаевского в такой же степени и о других, и о другом. Точнее: о том, как вернуть Другого, ставшего чужим, как возратить в настоящее то, что стало минувшим, или даже так – как ненароком не сделаться чужим по отношению к Другому, которого считаешь безраздельно своим.

Как это достигается? С помощью определенного метода, или – если вспомнить, что Талалаевский известен прежде всего как режиссер, – системы. Система Талалаевского-писателя напоминает «монтаж аттракционов» Эйзенштейна. Практически ничего не добавляя от себя, он искусно монтирует фрагменты писем, воспоминаний, литературных произведений своих героинь и тех многочисленных Других, которые сыграли в их жизни определяющую роль и во многом сами определились через них. Пряча собственный авторский голос «за кадром», Талалаевский превращается в своего рода медиума, дающего голос Другим, казалось бы, давно умолкшим. Некоторые из них и сами владели похожей техникой. Взять хотя бы Лу, которая умела полностью погрузиться в мужчину, которого любила, или Нину,

из которой язык Брюсова насмешливо высовывался и дразнил Белого, а язык Белого вытягивался Брюсову. У Талалаевского, как и у Брюсова, трудно вычленишь сколько-нибудь явственно выраженное господствующее мировоззрение и сколько-нибудь четко очерченные стилистические предпочтения, а самобытность, относительность монтируемых явлений, как у Белого (и много лет спустя – у Делёза), ложится множеством неповторимых складок. Благодаря этому и Брюсову с Белым, и прочим героям книги возвращается право на собственную правду, отобранное у них многими поколениями ученых, критиков, беллетристов и просто сплетников: Лиле – право на интерпретацию своих отношений с мужчинами, Лу – на принятие решения о том, кто прав в споре между Фрейдом и Адлером, Рильке (с подачи все той же Лу) – не подвергаться психоанализу, который мог бы, конечно, освободить его от демонов, которые им владели, но с ними вместе мог изгнать и ангелов, которые помогали ему творить.

Экстраординарная способность двигаться навстречу Другому (вплоть до практически полного погружения в него) у Лу открылась еще в детстве, когда она, будучи младшей и единственной сестрой в сплоченном братском коллективе, осознала глубокое единство женского и мужского. В жизни Нины готовность к перемещениям нашла вполне буквальное выражение: литераторы, к кругу которых она была причастна, называли себя «аргонAUTами». Но это лишь частные примеры. Судьбы Лу, Нины и Лили полны самых разнообразных перемещений и совмещений (во времени и пространстве, в мире людей и мире идей), от которых при чтении книги просто захватывает дух. В судьбоносном для Нины романе Брюсова старый Кельн опрокидывается в быт Москвы, а местность между Кельном и Базелем – на местность между Арбатом и Знаменкой. Что касается героев Талалаевского, то они переезжают из России в Европу и обратно, из Тулы – в Киев и Канев, а оттуда – в Воронеж, из Москвы – в Петербург (оказываясь, например, в той самой Английской гостинице, где впоследствии покончил с собой Есенин). Среди них мы встречаем увлекающихся левым соловьевством и настаивающих его на символизме, подчеркивающих колоссальную роль еврейства в развитии философской и религиозной мысли в России, много пьющих и испражняющихся посреди комнаты, а также принимающих морфин и яд (на поверку оказывающийся слабительным).

На страницах книги встречаются и тесно сплетаются мысли и судьбы, радости и печали русских и французов, немцев и евреев, коммунистов и антикоммунистов, философов и психологов, скульпторов и художников, композиторов и естествоиспытателей, не говоря уже о поэтах и писателях. Благодаря Саломе тут сосуществуют такие непохожие фигуры, как Ницше и Толстой, Фрейд и Гамсун, благодаря Петровской – Ходасевич (делающий по ее поводу глубочайшие и тончайшие наблюдения) и Вл. Соловьев (путешествующий по крышам в крылатке!), а в судьбу Лили вплетены, словно в узел, не только Брик с Маяковским, но и Арагон, десятилетний Пастернак, генерал Примаков, Якобсон, Горький, Распутин (не Валентин – Григорий), Шаляпин, Окуджава, Евтушенко, Феллини, всех не перечислишь...

Но, пожалуй, самое важное перемещение-совмещение, которое характерно практически для всех действующих лиц книги, происходит в континууме «жизнь-творчество». Герои Талалаевского, словно сговорившись, следуют императиву: «Не говори о жизненном пути. Но жизнь свою в искусство преврати». О полноте своего счастья Рильке готов был рассказать Саломе словами из ее повести «Руфь». В результате разговоров (в том числе и житейских) с Саломе Анна Фрейд написала работу о детских мазохистских фантазиях и о связи переживаний боли и любви. Влюбившись в Эльзу (сестру Лили), Шкловский уже не знал, где любовь, а где книга о любви. Необходимость превращения действительности в искусство, а искусства – в действительность открыто декларировали символисты, а вдохновленная ими Нина Петровская, так и не став хорошим писателем, сумела сотворить в своей реальной жизни настоящую поэму, заботливо восстанавливаемую Талалаевским. Иное дело, что эта поэма была закончена в том самом году, когда Брюсов закончил «Огненного Ангела», после чего жизнь Нины (живого прототипа Ренаты) превратилась в мучительный, страшный, но ненужный, лишенный движения эпилог. То есть книга Талалаевского еще и очень поучительна: она не только о поэтизации действительности, но и о тяжелых издержках этого дерзкого начинания. Впрочем, в долгосрочной перспективе творчество все же побеждает. На могильной плите сестры Лили (больше чем сестры – Эльзы Триоле!) выбита цитата из ее романа: «Мертвые беззащитны. Но надеемся, что наши книги защитят нас». Но защищают умерших не только их собственные книги. Книга Талалаевского,

хотя и написана не ими, а Другим, этой способностью обладает в полной мере. Более того: она их оживляет.

На этом можно было бы поставить точку, но хотелось бы сказать еще вот о чем: лично у меня вызывает огромную радость тот факт, что Игорь Талалаевский, уже успевший обрести известность как писатель со своей книгой о Менделеевой, Блоке и Белом, выпущенной «Алетейей» в 2011 г., снова публикуется в Санкт-Петербурге. Во-первых, в обеих книгах по-новому преломляются темы и настроения, заданные двумя замечательными выходцами из этого города, которых я имею нескромность считать своими заочными учителями: Борисом Парамоновым (одним из первых русскоязычных глашатаев постмодернистского конца стиля) и Александром Эткиндром (по признанию самого Талалаевского, одним из стимулов для написания его собственных книг стали переполненные «монтажами аттракционов» и примерами неразрывного единства жизни творцов и их творчества исследования Эткинда по культуре Серебряного века, в частности его знаменитая работа «Эрос невозможного»). Во-вторых, такого рода номадизм (киевлянин печатается в граде Святого Петра) напоминает о тех примечательнейших временах, когда немка-петербурженка Лу и выучивший русский язык немец Рейнер (между прочим, прочитавший «Кобзаря» Тараса Шевченко от корки до корки) отправились в святой город Киев, где провели ровно две недели в состоянии какой-то удивительной эйфории. Уверен, читатель этой книги вскоре погрузится в очень похожее состояние.

Вадим Менжулин,
доктор философских наук

ЕЕ ПРЕВОСХОДИТЕЛСТВО

Лу Андреас-Саломе
в интеръерах Ницше, Рилке, Фрейда и других



ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. ПЕРЕЖИВАНИЕ БОГА

Бывает, что для всей жизни наступает момент, когда стремишься к новому дебюту, разновидности возрождения, и формулировка, определяющая чувственную зрелость как второе рождение, верна. После того, как проходит несколько лет привыкания к миру, который нас окружает, к его законам и способам мыслить, которые, вполне естественно, заполняют нашу маленькую головку, в нас внезапно пробуждается жизненный инстинкт приближения физического созревания. Он восстает против отвлеченных материй с таким пылом, что мир, кажется, только начинает создаваться; это мир, куда пришел ребенок – не знающий ничего и ничего не желающий знать, будучи отданным неистовству первых желаний.

Я выросла между двумя офицерскими униформами в полном смысле. Мой отец был генералом; на гражданском поприще он стал называться государственным советником, тайным советником, затем действительным тайным советником, но по службе оставался в институте генералитета также и в преклонном возрасте. И моя юная любовь, почти в восемь лет, относилась к юному (тогда действительно очаровательному) барону Фредериксу, адъютанту Александра II, впоследствии министру двора, который, став древним старцем, вынужден был в полной мере пережить еще свержение царя и переворот. Мои интимные чувства к нему ограничились, однако, следующим незначительным происшествием: когда я однажды при гололедице спускалась по широким лестничным ступенькам нашего



генеральского здания и почувствовала непосредственно позади себя восхищенного поклонника, я поскользнулась и села на гладкий лед – после чего рыцарски спешащего за мной поклонника постигла та же участь; в неожиданной близости, по обеим сторонам выхода, сидя друг против друга, мы пристально смотрели друг на друга: он, – светло улыбаясь, а я – с неммым восторгом.

Мать была младше отца на 19 лет. Она родилась в Санкт-Петербурге, но происхождения была гамбургско-северонемецкого, кроме того, по ее материнской линии – датского. В доме говорили по-французски и по-немецки. При этом отец был большим русским патриотом, пытался привить детям любовь к русской культуре и литературе. Мы чувствовали себя не только на «русской службе», но и русскими. Но по-русски я изъяснялась довольно слабо: ни в одной из школ, в которых я обучалась, я ровным счетом ничему не научилась. Может быть, изначальный дух противоречия, поселившийся во мне, здесь принес волшебные плоды: я занималась самообразованием на протяжении всей моей жизни.

Мое детство прошло в совершенно фантастическом одиночестве, и в дальнейшем все мои мысли и устремления развивались вопреки всем семейным традициям и приводили к неприятностям. Я часто была «непослушной» девочкой, и из-за этого меня ужасно наказывали березовой веточкой, на которую я никогда не упустила случая пожаловаться надменному Доброму Богу. Я ему изливала легко, без понукания целые истории. Эти истории были особенными. Они возникали, мне кажется, из желания обладать властью, чтобы присоединить к Доброму Богу внешний мир, такой будничным рядом со скрытым миром. И совсем не случайно, если я заимствовала материал для своих историй в реальных событиях, во встречах с людьми, животными или предметами, – иметь Бога в качестве слушателя было достаточным основанием, чтобы придать им сказочный характер, который мне не нужно было подчеркивать. Напротив, речь шла только о том, чтобы убедиться в существовании реального мира. Конечно, я не могла рассказать ничего такого, чего Бог в своем вечном всеведении



и могуществе уже бы не знал; но это как раз и гарантировало в моих глазах несомненную реальность моих историй. Поэтому, не без удовлетворения, я начинала всегда с этих слов: «Как тебе известно...»

Живость моего воображения постепенно подводила меня к расширению рамок каждодневной жизни видениями, которые я накладывала на реальные события и которые чаще всего вызывали улыбку. Однажды летним днем, когда я возвращалась с прогулки с одной родственницей чуть старше меня, нас спросили: «Ну, хорошо, что вы видели на прогулке?» С множеством подробностей я рассказала целую драму. Моя маленькая спутница, по-детски честная и простодушная, посмотрела на меня с расстроенным видом и оборвала меня, крича ужасным голосом: «Но ты же лжешь!» Мне кажется, что именно с того дня я старалась выражаться точно, пытаюсь ничего не добавлять, даже самую малость...

Однажды ключ от какой-то закрытой двери был утерян, и мои братья прибежали с готовностью помочь, но мне уже удалось открыть дверь без инструмента. Когда же я с триумфом рассказала об этом маме и на ее вопрос: «Чем же ты ее открыла?» – ответила: «Своими пальцами», – я увидела, как ее лицо окаменело. Она сказала только: «Моей матери я никогда бы не отважилась так ответить: то, что ты открыла ее не ногами, я и так знала хорошо». Я смотрела на всех окружающих так, словно натолкнулась на нечто непредвиденное, и так оцепенела, что была абсолютно не в состоянии объяснить свою дерзость

Братская сплоченность мужчин в нашем семейном кругу для меня как самой младшей и единственной сестренки столь убедительно запечатлелась в памяти, что с тех давних пор она, как бы излучаясь, переносилась в моем сознании на всех мужчин мира; когда я раньше или позже их, где бы то ни было, встречала, мне всегда казалось, что в каждом из них скрыт один из моих братьев.

Позже, когда я сама поступала рискованно, меня буквально успокаивала мысль, что я с ними едина по происхождению. И действительно: никогда среди знакомых мне мужчин не было таких, чья честность взглядов,



или чье мужество, или чья сердечная теплота не оживляли бы во мне образ братьев.

Самый старший – Александр, Саша, одновременно энергичный и добрый, – был для нас словно второй отец, такой же активный и, как отец, всегда готовый оказать помощь всем, вплоть до самых дальних знакомых; при этом его отличали превосходное чувство юмора и зажигательнейший смех, какой я когда-либо слышала; его юмор рождался каким-то образом из взаимодействия трезвой и ясной силы ума с теплотой его характера – качество, при наличии которого для человека нет ничего более естественного, чем оказать помощь другому. В тот момент, когда я, пятидесятилетняя, в Берлине получила неожиданную телеграмму с вестью о его кончине, мой первый, внезапный эгоистический испуг заключал в себе единственную мысль: «беззащитна». Второй брат – Роберт, Роба, – самый элегантный танцор в мазурке на наших зимних домашних балах был одарен всеми артистическими способностями и чувствительным нравом; он охотно стал бы военным, как его отец, но между тем был отцом определен в инженеры, в качестве которого затем и выдвинулся. – Таким же образом патриархальный уклад решительно обращал третьего брата – Евгения, Женю, к дипломатии, вопреки его намерениям стать медиком.

С Женей мы как бы составили «фракцию мятежников» в лоне семьи. Мы всегда поступали вопреки и назло всем остальным, вплоть до общей болезни легких. При этом Женя оставался в глубине своего «я» скрытным и «дипломатично»-тайнственным. Я помню, как он осуждал меня из-за слишком явно агрессивной манеры поведения по отношению к запретам и однажды при этом так разозлил, что я бросила в него свою чашку с горячим молоком, – причем, вместо того чтобы вылить молоко на него, я выплеснула его себе на шею, откуда оно, горячее как кипяток, растеклось по спине; мой брат, хоть и отличался такой же внезапной вспыльчивостью, как и все мы, сказал удовлетворенно: «Видишь ли, о том же подумал и я, – и вот как это происходит, когда поступают неправильно». Годы спустя, после того как он, уже сорока-



летний, умер от туберкулеза, мне многое вновь открылось в нем, в частности также и то, почему он – долговязый, тонкий совершенно некрасивый вызывал у женщин, несмотря на это безумную страсть, однако никогда ни одну женщину не взял себе в спутницу жизни. Порой, размышляя о том, в чем же заключался его шарм, я усматривала его источник в присущем Евгению элементе демоники. Иногда это связывалось у него с большим чувством юмора, – как, например, когда он решил на одном из наших балов заменить меня. Наложив на почти совсем обритую голову красивые, как картинка, локоны, слишком длинную и узкую неудавшуюся фигуру затянув современным корсетом, он завоевывал большинство приглашений в котильоне от молодых посторонних офицеров, лишь неточно знавших, что в доме имеется еще не повзрослевшая дочь, которая держится полностью обособленно.

Я не любила балов. Мне нравились только балные туфли без каблуков, которые и помимо уроков танцев я носила очень охотно, чтобы скользить в них по паркету большого зала как по льду – к этому соблазняли также и другие большие помещения, такие сверхвысокие, как в церквях... И это свойство, это скольжение в них было прочно связано с моим ежедневными радостями; вспоминая, я вижу себя скорее всего в этом движении: оно было как будто одно... Это было божественно! Но потом Бог оставил меня.

А дело было так. Слуга, который зимой приносил в город свежие яйца из нашей сельской усадьбы, рассказал мне, что он видел посреди сада, перед домиком, принадлежащим только мне одной, «семейную пару», которая хотела войти и которую он выпроводил. Когда он пришел в следующий раз, я у него спросила о парочке, конечно же, потому, что мысль об их страданиях от холода и голода меня беспокоила:

– Куда же они ушли?

– Ну, – сообщил он мне, – они не ушли.

– Тогда они все еще перед домиком?

– И это не так: они полностью изменились... и, можно сказать, исчезли.



Потому что однажды утром, когда он подметал перед домом, он нашел только черные пуговицы от белого манто женщины, а от мужчины осталась лишь совсем мятая шляпа; земля же в том месте была все еще покрыта их застывшими слезами.

То, что взволновало меня в этой истории больше всего, не было чувством жалости к паре, – это была непонятная загадка времени, которое проходит и уносит с собой вещи неоспоримые и реальные. Это была катастрофа. И не только моя: она разорвала покрывало, скрывающее невыразимый ужас, который нас подстерегал. Потому что не только я одна видела, как уходит Бог, – его потеря коснулась всей Вселенной. Рушились все мои представления о добром и вечном. Я помню – в разгар моей кори, в приступе горячки – кошмар, в котором я наблюдала многочисленных персонажей своих историй, бездомных и одиноких, покинутых мною. Без меня никто из них не знал, куда идти, ничто не могло их не могло остановить от смятения... Ведь теперь мои истории не начинались, отдыхая какое-то время, на нежных руках Бога, и Он не извлекал их из своих огромных карманов, чтобы сделать мне подарок, полностью освященными и оправданными. Были ли они настоящими с тех пор, как я больше не начинала их больше с уверенного: «Как Тебе известно...»

Я направила свои взоры на церковь. В шестнадцать лет я стала посещать занятия для конфирмантов при евангелическо-реформистской церкви. Но проповеди пастора Дальтона не только не возвысили меня, но пробудили мой извечный дух противоречия. «Нет такого места, где бы ни присутствовал Бог!» – возгласил однажды пастор. – «Есть такое место, – ответствовала я ему. – И это место – Ад!» Дальтон поспешил пожаловаться на меня больному отцу. Мне пришлось на следующий год повторить весь курс у ненавистного пастора.

В ящичке-календаре у меня над кроватью я хранила 52 цитаты из Библии на маленьких карточках. Каждую неделю они менялись. Сохранилась надпись, сделанная позже рукой Ницше, на одной из них. Это была цитата из «Горячей исповеди» Гете:



Жить бесстрашно и светло,
Прочь гоня сомненья.
Есть один Завет – Добро,
Красоты Знаменье.

Не могу объяснить почему, но я долгие годы хранила этот листочек. Непонятным образом это четверостишие примиряло меня с извечным чувством заброшенности, смешанным с полной покорностью судьбе. Эта цитата необъяснимо поддерживала меня все те годы, когда Бог был мне чужим.

В конце концов, я отказалась от конфирмации у Дальтона. Это был скандал. Мой уход из церкви был неизбежно сопряжен с общественной опалой, от чего, в частности, сильно страдала моя мать. Незадолго до этого умер отец, но я знаю, несмотря ни на что, он одобрил бы этот шаг... Случайно я попала на проповедь голландского пастора Хенрика Гийо, домашнего учителя детей Александра II и властителя дум русской интеллигенции в то время. Естественно, он был ненавистен Дальтону, а его проповеди гремели на весь Петербург. Я была потрясена. Вот, думала я, настоящий человек, квинтэссенция действительности. Вот, говорила я себе, Господь и орудие Господа. В мае 1878 года я отправляю ему письмо. Замечу, что пастор был на 25 лет старше меня и имел двух дочерей моего возраста...

...Вам пишет, господин пастор, семнадцатилетняя девушка, которая одинока в своей семье и среди своего окружения, – одинока в том смысле, что никто не разделяет ее взглядов, не говоря уже о тяге к серьезным глубоким познаниям. Вероятно, весь строй моих мыслей ставит преграду между мной и моими сверстницами, всем кругом общения. Вряд ли может быть что-то более печальное для девушки, чем несходство ее характера и взглядов, ее симпатий и антипатий с характерами и взглядами, с симпатиями и антипатиями окружающих. Но так горько запереть все в себе, потому что иначе сделаешь что-нибудь против приличий, и так горько чувствовать себя совсем одинокой, потому что



тебе недостает приятных манер, которыми так легко завоевать расположение и любовь. Буду ли я подтверждаться в будущем году у пастора Дальтона и признаю ли его кредо, я, право, не знаю, но знаю только, что никогда, никогда не буду разделять тщеславных представлений о выверенной по линейке праведности, против которой восстает все существо мое. Вы сумеете, господин пастор, вообразить себе ту отчаянную энергию, с какой человек устремляется к малейшему проблеску света, и всю настоятельность моей просьбы, изложенной в начале письма...

Мы встретились. Когда он увидел меня, он обнял меня так, как будто знал давно-давно... Вот что произошло со мной: детские химеры и грезы переплелись с реальностью. Существо из плоти и крови, посланное мне судьбой, несколько не нуждалось в «нимбе» из моих грез и химер, но с неизбежностью было окутано ими. Волнение, которое это существо высекало во мне, лучше всего выразить словами «человеческое существо» – нечто самое удивительное и самое невероятное из всего, что было до того в моей жизни, и в то же время до невозможности близкое, такое, которого я всегда ждала. И потому оно порождало неизбежное удивление; разве что Добрый Бог был столь же близок для ребенка, поскольку, в противоположность ограниченному внешнему миру, он реально присутствовал в его душе.

Целый год втайне от семьи я встречалась с пастором. Мы говорили о философии, истории религии, голландском языке... Гийо, казалось мне, освобождал меня от груза моих недетских проблем. Этот богочеловек, более всего казавшийся врагом любой химеры, решительно стремился дать моей душе более позитивную перспективу, и я ему повиновалась с тем большей страстностью, чем труднее мне было привыкать к этой перемене: любовный хмель, который поднимал меня над собой, не мог придать мне реальности, а значит, в одиночку я все еще не дошла до края той пропасти, с которой срываешься в реальный, до сих пор остававшийся незнакомым для меня мир.



Между тем наши занятия шли с предельной интенсивностью. В течение нескольких месяцев я вобрала в себя немалую часть наследия западной культуры. Напряжение оказалось избыточным: несколько раз за время занятий я падала в обморок.

В то время Гийо работал в голландском посольстве: он приводил отправляющихся в плавание моряков к присяге уже в ранге священника. В капелле на Невском я не пропускала ни одной проповеди. Мне было безумно любопытно наблюдать, насколько присутствующие испытывают надлежащий подъем и насколько они пленены пастором. А он был блестящим оратором! Гийо вовлек и меня в работу, я часто писала для него проповеди. Закончилось это в тот день, когда в творческом пылу я не воспротивилась искушению выбрать тему «Имя как звук и дым» вместо библейской цитаты. Это стоило ему выговора папского посла, о котором он мне сообщил с удрученным видом.

Чувство – все.

Имя – звук и дым, которым мгла заслоняет
Небесный жар!

«Звук и дым» в интерпретации Гийо были неслыханным богохульством. Власти стали проявлять к нему повышенный интерес...

Для меня Гийо был Богом. Не Богочеловеком, а скорее Человекобогом, мужчиной, которого я обожествляла и которого, вне этого усилия мифотворчества, я не могла ясно воспринимать. Между тем это обожествление было мне выгодно, так как оказывалось необходимым для моей самореализации. Впрочем, всегдашняя моя раздвоенность проявилась по отношению к нему в том, что я никогда не была с ним на «ты», даже когда он обращался ко мне именно так. И это невзирая на то, что мы вели себя как любовники, не будучи ими. Моя жизнь протекала в интимных нюансах, – и слово «ты» не могло их никак передать... Скорее всего, он заметил «Божественного Деда» моей детской религии, который всегда внимал зову моих желаний. Цель и средство одновременно, проводник и соблазнитель, он, казалось, служил всем моим



незамутненным намерениям. Но, насколько он вынужденно стал в некотором роде замещением, двойником, возвращением к утраченному Доброму Богу, настолько он был не способен дать мне подлинно человеческую развязку нашей истории любви.

Во всем была тайна. Нежные пожатия рук, отеческие – и не очень – поцелуи Гийо... Однажды я потеряла сознание, сидя у пастора на коленях... Да, чувственная зрелость – это второе рождение. Но именно из-за медлительности моего созревания неполный опыт любви хранил для меня ни с чем не сравнимое очарование, сопряженное с ощущением неопровержимой подлинности, так что все это не нуждалось ни в каких проверках. Я не могла ему ничего объяснить, он же непрестанно размышлял о разводе.

Развязка наступила со смертью отца. Я рассказала матери о наших с Гийо уроках. Она потребовала встречи с ним.

– Вы виноваты перед моей дочерью! – кричала она.

– **Хочу** быть виноватым перед этим ребенком! – отвечал он.

Разговор, однако, закончился тем, что Хенрик попросил у г-жи Саломе руки ее дочери...

Я была в шоке. Не хочу ничего, ничего... Как он мог! Конечно, меня многое оправдывало: и разница в возрасте, и полярность поздней страсти и первого пробуждения любви. Кроме того, он был женат, у него две дочери моих лет! Но, самое главное, я была еще ребенком, – тело юной девочки с Севера развивалось медленно. И это тело должно было сделать то, к чему психика была еще не готова? Когда подошел решающий и непредвиденный момент, в который Хенрик предложил мне осуществить на земле высшее наслаждение жизни, я почувствовала себя совершенно растерянной. То, что я обожествляла, вдруг одним ударом покинуло мое сердце, мою душу и стало мне чуждым. Чувствовать нечто, что имело чистые притязания, и не довольствоваться самореализацией в малости. Вдруг натолкнуться на то, что, наоборот, этой реализации угрожало и пыталось совлечь меня с пути к себе. Обрести,



наконец, себя, чтобы отдать себя в рабство Другого? Так пусть исчезнет этот Другой. Навсегда.

Я придумала уехать из России. В конце концов, это бы решило многие проблемы. Мать была категорически против. На Гийо было больно смотреть. Кроме того, я не имела вероисповедания, и русские власти категорически отказали мне в паспорте. Тогда Гийо решил сам подтвердить меня. У него был друг в маленькой голландской деревушке Сантпорт, который имел соответствующие полномочия.

Мы оба были растроганы этой странной церемонией, на которой присутствовали окрестные крестьяне и которая происходила в одно из воскресений, в прекраснейшем из месяцев – мае. Нам нужно было сразу же после нее расстаться – то, чего я боялась как смерти. Моя мать, которая нас сопровождала туда, к счастью, не понимала ни слов священной церемонии, происходившей на голландском, ни слов конфирмации, произнесенных в конце, – почти слов о браке: «Не бойся ничего, ибо я тебя выбрал, я тебя назвал твоим именем, ты есть во мне». Действительно, он дал мне имя Лу, потому что не мог выговорить по-русски «Лиола» или «Лолия»... И я, коленопреклоненная, сквозь святые слезы благодарности внимала библейским стихам, которые, казалось, он вонзал в меня с языческой силой пращура:

Когда пойдешь через воды, я буду с тобой.

И когда через реки, они не затопят тебя.

И когда пойдешь сквозь огонь, он не поглотит тебя.

И тогда я поняла, что Другой в любви – даже если он не представляет Бога, как здесь, – преувеличен почти мистическим образом, чтобы стать символом всего чудесного. Любить в полном смысле слова – быть в состоянии предельного требования по отношению к Другому. Существо, которое имело власть делать нас **верящими и любящими**, остается в самой глубине нас нашим Господином, даже если чуть позже станет противником... Любовь похожа на упражнение в плавании с мячом: мы действуем так, как если бы Другой сам по себе был морем, которое нас несет, и непотопляемым шаром, который держит нас на плаву. Поэтому он становится для нас одновременно



и настолько же драгоценным и незыблемым, как наша исконная родина, и настолько же волнующим и смущающим, как бесконечность...

Могла ли я тогда знать, что Гийо на долгие годы станет моим ангелом-хранителем, что к нему я обращусь с просьбой обвенчать меня с моим будущим мужем Карлом Фридрихом Андреасом, что о нашей с ним истории пойдет речь в моем романе «Рут»? Перед отъездом из Петербурга я написала стихи к нему:

В тот день, когда взойду одна на ложе смерти,
Склонись ко мне, молю, мой ласковый жених,
И поцелуем уст лишь для тебя отверстых
Возьми огонь любви и в сердце сохрани.
Что смерть? Подвластно ей лишь тело человечье.
Я возвращаю долг. И я в земле уже.
Я телом холодна. Но я огнем навечно
Останусь, чтоб сиять в твоей святой душе.

Да, нужно исчезнуть, чтобы воскреснуть. Кому-то такая любовь покажется аномальной. Но следует отличать аномальное восприятие мною всего, что ведет к буржуазному браку со всеми его последствиями (для которого я тогда не созрела), и аномалию, связанную с картиной религиозного опыта моего детства. Именно этот опыт изначально не допускал ориентации моего поведения влюбленной на привычный исход. Мое чувство, простираясь за пределы бесконечно любимого человека, предназначалось почти религиозному символу, который этот человек воплощал.

Именно из-за медлительности моего созревания неполный опыт любви хранил для меня несравнимое, уникальное очарование, сопряженное с ощущением неопровержимой подлинности, так что все это не нуждалось ни в каких проверках. Поэтому резкий конец этой истории был шагом в радости и свободе, в то время как в моем детстве утрата Бога, которая была очень похожим опытом, погружала меня в глубокую печаль: меня продолжала объединять с Гийо связь, которая была первой в подлинном, реальном бытии – связь с мужчиной, воля и опыт которого мне позволили найти саму себя, переполнили меня жизнью.



Странно, но разительные перемены в моей судьбе почти мгновенно излечили меня от обмороков. Не было ли это вестью **выздоровления к жизни**, о котором так истово мечталось девятнадцатилетней девочке, подъезжающей с матерью в сентябре 1880 года к Цюриху?

ЧАСТЬ ВТОРАЯ. НИЦШЕ

1

Лу.

Как только друг любить умеет друга,
Так, жизнь, тебя люблю я и всерьез.
И горю я, и радости подруга,
Смеюсь ли я, иль бедствую до слез.
И если покидать тебя замыслю,
Я не предаю святую нашу связь:
Ты остаешься жизнью, просто жизнью,
А я уйду, страдая и молясь.

Это были первые строки, которые я написала в пределах моей новой духовной отчизны. Уже после нашего с ним расставания, я продиктую их Ницше, и он, написав музыку на них, под названием «Гимн жизни» опубликует их в 1887 году. Стихи получают широкую огласку, он даже будет вынужден давать разъяснения.

Ницше. Текст, по поводу которого до сих пор существует недоразумение, принадлежит не мне: это удивительная инспирация молодой россиянки, с которой я был дружен, а именно Лу Саломе. Кому удастся проникнуть в смысл последних слов этого стихотворения, тот поймет, почему я им так восхищаюсь, отдавая первенство перед другими. Это великие слова: тут боль не является протестом против жизни.

Лу. Да, это была жизнь, я ее любила, я ее ждала, я во всей полноте черпала ее своими руками. Но я отталкивала то, что в ней было принудительного, подавляющего,



я не хотела мириться ни с какой предзаданностью и предопределенностью. Скорее, я ждала того, что резонировало бы с моим естеством, – неожиданных выражей существования.

Мы с матерью поселились в Цюрихе. Довольно быстро знакомые из Петербурга помогли нам найти квартиру. Мать была одержима идеей выдать меня замуж, я же хотела только одного: учиться.

Во время моей учебы в Цюрихе, в начале которой убийство Александра II нигилистами праздновалось русскими студентами факельными шествиями и бурной экзальтацией, я едва ли могла вовлечь моих однокурсниц в обсуждение чего-либо иного. Скоро я поняла, что свою учебу они использовали преимущественно как политическое прикрытие их пребывания за границей. Не во имя конкуренции с мужчиной и его правами, не из научного честолюбия ради собственного профессионального развития, они учились ради того, чтобы получить возможность идти в русский народ, страдающий, угнетенный, неграмотный, которому эти знания должны были помочь. Поток врачей, акушеров, учительниц, попечительниц любого вида непрерывно устремлялись из аудиторий и академий в самые дальние, глухие сельские местности, в покидаемые деревни. Женщины, которые по политическим мотивам в течение всей своей жизни находились под угрозой арестов, ссылок, смерти, полностью отдавались тому, что просто соответствовало их самому сильному и самому дорогому порыву. Так и осталась единственным знаком моего участия в политике спрятанная в моем письменном столе фотография Веры Засулич*, стоявшей, так сказать, у истоков русского терроризма, которая застрелила градоначальника Трепова

* Засулич, Вера (1849–1919) – деятель российского революционного движения. С 1868 народница; в 1878 покушалась на жизнь петербургского градоначальника Ф. Ф. Трепова из-за его приказа, по которому был незаконно высечен розгами политический заключенный Боголюбов (А. С. Емельянов). Однако она была оправдана судом присяжных. С 1879 член «Черного передела». В 1883 один из организаторов группы «Освобождение труда». С 1900 член редакций «Искры» и «Заря». С 1903 меньшевичка. – *Здесь и далее примечания составителя.*



и после оправдания присяжными была вынесена из зала суда на плечах ликующей толпы. Она эмигрировала в Женеву и жива, возможно, и сегодня.

В Цюрихе я увлеклась лекциями профессора Алоиса Бидермана*. Его восхитительные пассажи в рассуждениях о догматике и всеобщей истории религии были окрашены в гегельянские цвета. Он оказал на меня большое влияние: религиозная символика, религиозное чувство были теми проблемами, которые меня глубоко волновали. Надо ли говорить, что и здесь мой порыв был истолкован неверно? Мой «главный профессор», человек старше меня на срок три года, написал моей матери восторженное письмо. Что-то там было о «бриллианте души внутренней природы Луизы», «необыкновенной духовной энергии», «твердости намерений и самостоятельности духа»... Не эта ли самостоятельность толкнула меня ехать в Рим?

Здесь оказалась кстати всегдашняя забота матери о моем здоровье. Она заручилась рекомендательным письмом почтеннейшего профессора Готфрида Кинкеля, историка и археолога, который принял живое участие во мне. Видимо, мать перестаралась, ибо в его письме к неведомой мне Мальвиде фон Мейзенбух** он просил ее оказать помощь девушке, «которая так любит жизнь, будучи столь близка к смерти».

Мальвида... Она сыграла решающую роль в моей судьбе. Ницше считал ее гениальным женским типом. Она как бы воплотила в себе все духовное содержание XIX века. Ее отец был министром в одном из государств старой Германии. В детстве она видела друзей Гете и Гумбольдта; в молодости ее захватила проповедь гуманизма, но, порвав с христианством, она отошла от него. Затем после 1848 года ее увлекает социализм. Родные проклинаят ее, она уходит из дома, не прося ни у кого

* Бидерман, Алоис – протестантский богослов, 1819–85, профессор в Цюрихе с 1863, представитель критического направления «Christl. Dogmatik».

** Мейзенбух, Мальвида Амалия фон (1816–1908) – немецкая писательница, в 1852 г. эмигрировавшая в Лондон; в 1853–1856 гг. была воспитательницей дочерей Герцена, а в 1860-х гг. воспитывала его младшую дочь Ольгу, с которой жила в Италии; автор книги «Воспоминания идеалистки» (русс. перевод: М.–Л., 1933), в которой немало страниц посвящено Герцену.



ни помощи, ни совета. Деятельная идеалистка, жаждущая непосредственного дела, она присоединяется к гамбургским коммунистам, вместе с ними учреждает нечто вроде фаланстеры, рационалистической школы, где все учителя живут вместе. Школа процветает, но под угрозой полицейских преследований она должна бежать. Судьба забрасывает ее в Лондон, в это мрачное убежище изгнанников всех стран. Чтобы выжить, она дает уроки; она знакомится с Маццини*, Луи Бланом**, Герценом и делается другом и утешительницей для этих несчастных людей. Наступает вторая империя, на фоне ее Наполеон III, Бисмарк*** и «молчание народов»; она попадает в Париж и соприкасается с блестящей культурой «столицы мира». Вскоре Мейзенбух встречается с Вагнером****, подпадает под его влияние и, отказавшись от культа человечества, переносит весь пламень своей души на культ искусства. Но ее активная и добрая душа ни на минуту не уходит из жизни. После смерти Герцена у него осталось двое детей; m-lle Мейзенбух удочеряет их и окружает самой теплой материнской заботой. Ницше видел этих двух девочек и не раз восхищался нежным отношением к ним своего друга, ее свободным и искренним самопожертвованием, но он даже не подозревал, что вся жизнь этой женщины была сплошным отречением от самой себя.

Высота и характер отношений Ницше и Мальвиды станут понятны, если прочитать его письмо, написанное по прочтении двух томов ее мемуаров «Воспоминания идеалистки». Книга настолько захватила его, что он чувствует небывалый прилив сил. Он пишет ей восторженное письмо.

* Маццини, Джузеппе (1805–1872) – итальянский революционер. Вместе с Гарибальди Маццини пытался вызвать революционное восстание: в Милане в 1853 г. и в Генуе – в 1857 г.

** Блан, Луи (1811–1882) – французский социалист, историк, журналист, деятель революции 1848 года.

*** Бисмарк, Отто Эдуард Леопольд фон Шёнхаузен (1815–1898) – германский государственный деятель, князь.

**** Вагнер, Рихард (1813–1883) великий немецкий композитор, реформатор оперной музыки.



Ницше. Базель. Страстная пятница 14 апреля 1876.

Дорогая m-lle Мейзенбух, приблизительно 4 дня тому назад, в одиночестве на берегу Женевского озера, я целое воскресенье от восхода солнца до лунного света провел мысленно около Вас. Я прочел Вашу книгу от начала до конца со вниманием, возраставшим с каждой страницей, и все думал о том, что я никогда не переживал еще такого прекрасного, такого «благословенного» воскресенья. Вы ниспослали на меня обаяние любви и чистоты, и сама природа казалась мне в этот день отблеском Вашей нравственной красоты. Я увидал, насколько выше, неизмеримо выше Ваш душевный мир по сравнению с моим; но Ваше превосходство не унижало меня, а придавало мне только бодрость. Вы как бы проникли во все мои мысли, и, сравнивая мою жизнь с Вашею, я понял, чего мне в ней не хватало. Я благодарю Вас за гораздо большее, чем за простую хорошую книгу. Я был болен, я сомневался в моих силах и моих целях; я думал, что должен отказаться от всего; меня пугал призрак долгой, пустой, бесцельной жизни, когда человек только ощущает весь гнет своего существования и не годен уже ни на что. Я чувствую себя теперь более здоровым и более свободным, и, без всяких душевных мучений, я уясняю себе свой жизненный долг. Сколько раз я желал видеть Вас около себя, – хотелось у Вас, морально выросшего существа, найти ответ на вопросы, который вы одни могли дать мне. И вот Ваша книга отвечает мне именно на такие, глубоко назревшие у меня вопросы. Мне кажется, что я никогда не мог бы быть довольным своими поступками, если бы знал, что Вы их не одобряете. Но, может быть, Ваша книга будет для меня еще более суровым судьей, чем Вы сами. Что должен делать человек, если, сравнивая свою жизнь с Вашей, он не хочет, чтобы его упрекнули в недостатке мужества? Я часто задавал себе этот вопрос и отвечал на него: он должен поступать только так, как поступаете Вы, и ничего больше. Конечно, у него не хватит для этого сил, потому что у него нет Вашего самопожертвования и инстинкта постоянной, готовой отдать себя целиком, любви. Благодаря Вам я открыл один из самых возвышенных моральных



мотивов: это материнская любовь, без физической связи между матерью и ребенком. Это одно из самых прекрасных проявлений *caritas* (благотворительности (*лат.*) – И. Т.). Уделите мне немного этой любви, дорогой друг мой, m-lle Мейзенбух, и считайте меня человеком, которому необходимо, о, как необходимо иметь такую мать, как Вы. Много накопится у нас, о чем поговорить в Байрейте. Во мне воскресла надежда, что, что я могу поехать туда, тогда как за последние месяцы я даже думать об этом не смею. Как бы мне хотелось быть сейчас **самым здоровым** из нас двоих и оказать Вам хоть какую-нибудь услугу. Зачем не могу я жить подле Вас! Прощайте, остаюсь поистине Ваш верный Фридрих Ницше.

Лу. В ответном письме взволнованная Мальвида сбивчиво благодарила за такое внимание и писала, что в любую минуту предоставит ему и его друзьям «спасительное убежище»... Именно таким спасительным убежищем стала она для очень многих. Вот почти идиллическая картинка конца 1876 года.

Мальвида. Сколько мягкости, сколько добродушия было тогда в характере Ницше! Как хорошо уравновешивалась разрушительная тенденция его ума добротой и мягкостью его натуры! Никто лучше его не умел смеяться и веселиться от чистого сердца и прерывать милыми шуточками серьезность нашего маленького кружка. Вспоминается, как мы сидели все вместе по вечерам. Ницше, удобно поместившись в кресле в тени абажура; наш любезный лектор Рэ – за столом около лампы; молодой Бреннер около печки, против меня, помогает мне чистить апельсины. Я часто со смехом говорила им: право же, мы все составляем идеальную семью: мы четверо очень мало знаем друг друга, не связаны никакими узами родства, у нас нет никаких общих воспоминаний, и теперь мы живем совместно и совершенно независимо друг от друга и в полном душевном согласии. Скоро все мы начали строить планы о том, чтобы повторить, но уже в более широком масштабе, этот счастливый опыт.



Лу. Опыт воплотится вполне, но в несколько другой конфигурации и спустя почти шесть лет. Однажды мартовским вечером 1882 года в Риме у Мальвиды фон Мейзенбух собралось несколько друзей. Вдруг пронзительно заверещал дверной колокольчик, вскоре вбежала верная помощница Мальвиды Трина и что-то взволнованно прошептала на ухо хозяйке, после чего Мальвида подошла к секретеру, торопливо вынула из него деньги и вышла из комнаты. Когда она вернулась, черная косынка из тонкого шелка на ее голове все еще слегка трепетала от волнения. Вместе с Мальвидой вошел молодой Пауль Рэ, ее давний друг, которого она любила как сына, и который очертя голову примчался из Монте-Карло: ему надо было немедленно вернуть тамошнему кельнеру взятые в долг деньги, так как он проигрался в пух и прах.

Такое сенсационное начало нашего знакомства нисколько меня не смутило, нас тут же представили друг другу, и, может быть, именно этот зачин способствовал тому, что Пауль Рэ как бы выделился, четче вырисовался на фоне остальных. Во всяком случае, я сразу заметила его строго очерченный профиль и очень умные глаза, в которых шутовское раскаяние соседствовало с неподдельной добротой. Эта «большая умница» всегда носила с собой в кармане томик Монтеня или Ларошфуко.

С того самого вечера наши ежедневные беседы заканчивались только тогда, когда я окольными путями возвращалась домой – с улицы дела Польшверьера, где жила Мальвида, в пансионат, в котором мы с мамой остановились. Эти прогулки по улицам Рима, освещенным луной и звездами, вскоре настолько нас сблизили, что во мне начал созревать замечательный план, как продлить наши встречи потом, когда мама, которая привезла меня из Цюриха на юг отдохнуть, уедет домой. Правда, Пауль Рэ повел себя сначала совсем не так, как следует: он, к моему гневному прискорбию, изложил моей маме совершенно иной план – план женитьбы на мне, что крайне затруднило получение согласия мамы на осуществление моего



собственного замысла. Пришлось мне самой разъяснить ему, что я «до конца жизни отказалась от любви» и что превыше всего ценю полную свободу.

Хочу честно признаться: в том, что мой противоречивый тогдашним нравам план может осуществиться, меня убедил приснившийся мне ночью сон. Я увидела во сне рабочий кабинет, полный книг и цветов, с двумя спальнями по бокам, и переходящих из комнаты в комнату друзей, объединившихся в веселый и одновременно серьезный рабочий кружок. Не стану отрицать: наше почти пятилетнее содружество на удивление точно соответствовало этому сну. Пауль Рэ однажды заметил: разница заключалась только в том, что в действительности я очень нескоро научилась отличать цветы от книг и поначалу использовала солидные университетские фолианты в качестве подставок для горшков с цветами; столь же поразительные подмены случалось мне устраивать и с людьми... Я еще продолжала препираться с моей бедной мамой, которая готова была призвать на помощь всех своих сыновей, чтобы живой или мертвой доставить меня обратно, на родину, когда к моему изумлению выяснилось, что Мальвида подвержена предрассудкам едва ли не в большей мере, чем мама с ее несокрушимой верностью священным для нее традициям веры и определенного образа жизни. Правда, я потом узнала, что кое-что в этом деле было на совести Пауля Рэ: он, будучи с самого начала в крайнем возбуждении, побежал к Мальвиде и объявил, что мы должны «избегать друг друга», так как в голове его прочно засела мысль – ни в коем случае не компрометировать «принципы» Мальвиды; Мальвида же полагала, что это уже произошло во время наших с Паулем продолжительных вечерних прогулок (о которых, кстати, знала моя мать). Вот так я с удивлением узнала, какой серьезной помехой на пути к индивидуальной свободе может стать идеальное свободолобие: во имя пропаганды собственных целей оно пугливо избегает выяснения любого недоразумения, проверки любого «ложного свидетельства» и тем самым отдает себя во власть чужих мнений. В письме из Рима своему воспитателю Хенрику Гийо, который,



судя по всему, тоже не хотел мне помочь, я дала волю своей досаде и своему разочарованию. Вот это письмо, посланное в ответ на его послание, в Санкт-Петербург.

Рим, 26 марта 1882.

Конечно же, я перечитала Ваше письмо, уже пять раз, но так ничего и не поняла. Что, черт побери, я сделала не так? А я-то думала, что именно теперь Вы осыплете меня похвалами. За то, что именно сейчас я пытаюсь доказать: Ваши уроки не прошли для меня даром. Во-первых, я уже не предаюсь всей душой своим фантазиям, а собираюсь воплотить свои мечты в жизнь; во-вторых, речь идет о людях, которые как будто специально подобраны Вами: они в высшей степени одухотворены и наделены острым умом. А Вы почему-то утверждаете, что вся эта идея столь же фантастична, как и прежние, и что она станет еще хуже, если я попытаюсь ее осуществить, так как я-де не в состоянии верно судить о людях значительно старше и опытнее меня – Рэ, Ницше и других. Вот тут вы ошибаетесь. Самое важное (а по-человечески важен для меня только Рэ) узнаешь о человеке или сразу, или не узнаешь вовсе. Он еще не совсем согласен со мной, еще слегка ошеломлен, но во время наших прогулок под римской луной, от полуночи до двух утра, когда мы возвращаемся от Мальвиды фон Мейзенбух, я со все большим успехом внушаю ему эту мысль. Мальвида тоже против нашего плана, о чем я очень сожалею, так как очень ее люблю. Но мне уже давно ясно, что, в принципе, мы с ней всегда имеем в виду разные вещи, даже если соглашаемся друг с другом. Мальвида имеет обыкновение выражаться следующим образом: то или это «мы» не должны делать или «мы» можем себе это позволить, и при этом я совершенно не могу понять, кого она имеет в виду под этим «мы», должно быть, какую-нибудь идеальную или философскую партию, я же могу ручаться только за свое «я». Я в своей жизни не могу следовать чьему-либо примеру и сама не хочу быть примером



для кого бы то ни было, напротив, я собираюсь строить свою жизнь так, как считаю нужным, и добыть своего, чего бы это мне ни стоило. Я отстаиваю не принцип, а нечто значительно более чудесное – то, что сидит в каждом человеке, ликует от неизбежной полноты жизни и изо всех сил рвется наружу... Мне будет страшно, если Вы в душе не согласитесь со мной. Вы пишете с досадой, что Ваш совет мне, скорее всего, уже не поможет. «Совет» – нет! Я жду от Вас не совета, а чего-то куда более важного для меня – доверия. Естественно, не в общепринятом смысле, это само собой разумеется, а такого доверия, которое, независимо от того, что я буду или не буду делать, оставалось бы в пределах тех ценностей, которые разделяем мы оба (вот видите, существует же еще некое «мы», мной признаваемое!). И которое наверняка останется частью меня самой, как голова, руки или ноги, – с того дня, когда благодаря вам я стала тем, кто я есть.

Ваша девочка.

На самом деле, у Мальвиды были гораздо более серьезные мотивы противиться моему сближению с Рэ. Дело в том, что она задумала выдать меня замуж за Ницше. Еще в 1874 году он писал ей:

Ницше. У меня больше друзей, чем я этого заслуживаю. То, что я желаю сейчас, я говорю это вам по секрету, так это, прежде всего, хорошую жену; тогда я получу от жизни все, что желал бы от нее, а остальное уже мое дело.

Мальвида. Это очень суровый философ, но это самый нежный, самый преданный друг, и для всякого, кто его знает, мысль об его одиночестве вызывает самую острую тоску.

Лу. Пауль Рэ, сам того не желая, в письме подзадорил Ницше упреком в том, что тот испугался встречи со мной, улизнув из Мессины до нашего с Рэ приезда.



Ницше. Передайте от меня привет этой русской девочке, если видите в этом смысл: меня всегда влекут подобные души, хотя они будят во мне инстинкт похитителя... Нуждаюсь в таких душах перед лицом той задачи, которую намерен осуществить в следующие десять лет. Совсем иное дело женитьба: мог бы согласиться на брак года на два, и это также в силу того, что намереваюсь сделать в течение десяти лет.

Лу. Нужно сказать, что Ницше был чрезвычайно большим человеком, и его знаменитый афористический стиль рождался по необходимости, ибо писать он мог только в промежутках между приступами болезни. Болезнь была его злым роком и наложила отпечаток на всю жизнь.

Он родился 15 октября 1844 года в семье пастора в Рене близ Люцерна. После окончания школы поступил на филологический факультет Боннского университета, а с 1865 года продолжил учение в Лейпциге, куда последовал за своим учителем – профессором филологии Ричлем. Еще до получения диплома 24-летнего Ницше пригласили занять кафедру. Ницше получил место ординарного профессора классической филологии. Лейпцигский университет дал ему докторскую степень без предварительного экзамена. Он также стал преподавать греческий в третьем (высшем) классе Базельского педагогума, который представлял нечто среднее между гимназией и университетом. Ницше имел огромное влияние на учеников, обнаружив редкое умение привлекать к себе молодые умы. Историк культуры Яков Бургхарт говорил, что Базель никогда еще не имел такого учителя. В 1870 году во время франко-прусской войны Ницше был добровольным санитаром. Вскоре после этого у него начались периодические приступы сильных головных болей. «Несколько раз спасенный от смерти у самого ее порога и преследуемый страшными страданиями – так я живу изо дня в день; каждый день имеет свою историю болезни». Этими словами Ницше описывает в письме к одному приятелю страдания, которые он испытывал на протяжении пятнадцати лет. В начале 1876 года из-за частых приступов он был вынужден уйти из педагогума.



С 1879 года он оставил и профессию. Вел, в основном, отшельническую жизнь, чаще в Италии – в Генуе, частью – в Швейцарских горах, в Энгадине, в маленькой деревушке Сильс-Мария. Пожалуй, внешняя сторона его жизни на этом и заканчивается, между тем как духовная его жизнь только тогда, в сущности, и начиналась. К началу 1882 года он пережил и преодолел новый кризис. К нему возвращается его нечастое счастливое настроение прошлого года.

Ницше. Я все еще жив и все еще мыслю; я еще должен жить, потому что я должен мыслить. »Sum, ergo cogito; cogito, ergo sum«. Сегодня тот день, когда каждый человек может высказывать свое желание, свою сокровенную мысль; и я тоже выскажу мое желание, которое наполняет сегодня мою душу, и я открою, какую мысль в этом году я считаю за самую важную, мысль, которая является для меня причиной всего, гарантией, радостью всей моей будущей жизни. Я хочу научиться видеть во всех явлениях жизни нечто необходимое, как признак красоты, и таким образом я буду одним из тех, кто несет красоту в мир. **AMOR FATI** – любовь к року: с этого дня это будет моей любовью! Я не хочу бороться против безобразия, я не хочу быть обвинителем, не хочу даже обвинять обвинителей. **Отворачивать глаза** – это будет моим единственным отрицанием. Одним словом: я при всех обстоятельствах жизни хочу только утверждать!

Лу. Сначала в Риме произошло то, благодаря чему мы одержали верх в нашей схватке за мой план, – приезд Фридриха Ницше; друзья, Мальвида и Пауль Рэ оповестили его письмом, и он неожиданно приехал из Мессины, чтобы побыть с нами. Еще большей неожиданностью стало то, что Ницше, едва узнав о моем плане от Пауля Рэ, тут же изъявил желание стать третьим в нашем союзе. Мы даже определили место пребывания нашего будущего триединства: сначала мы выбрали Вену, но потом остановились на Париже, там Ницше хотел послушать какие-то курсы лекций, а мы с Паулем намеревались возобновить отношения с Иваном Тургеневым, с которым я была знакома еще по



Санкт-Петербургу. Мальвиду немного успокоило, что там за нами будут присматривать ее приемные дочери Ольга Моно и Наталья Герцен, которая к тому же вела небольшой кружок, где юные девушки читали прекрасные произведения. Мы весело и безобидно шутили, так как очень любили Мальвиду, а Ницше часто бывал в таком возбужденном состоянии, что утрачивал свой обычно немного степенный или, точнее, слегка торжественный вид. На эту его торжественность я обратила внимание уже во время нашей первой встречи в соборе Св. Петра... Его первые слова, которыми он приветствовал меня, были: «Какие звезды свели нас здесь вместе?»

Ницше. Какие звезды свели нас здесь вместе?

Лу. Наверное, те звезды, что указуют путь одиноким странникам в ночи.

Ницше. Вот душа, которая одним дуновением создала это хрупкое тело!

Лу. Его наружность к тому времени приобрела наибольшую выразительность, в лице его светилось то, что он не высказывал, а таил в себе. Именно эта замкнутость, предчувствие затаенного одиночества и производило при первой встрече сильное впечатление. При поверхностном взгляде внешность эта не представляла ничего особенного, с беспечной легкостью можно было пройти мимо этого человека среднего роста, в крайне простой, но аккуратной одежде, со спокойными чертами лица и гладко зачесанными назад каштановыми волосами. Тонкие, выразительные линии рта были почти совсем прикрыты большими, начесанными вперед усами. Смеялся он тихо, тихой была и манера говорить; осторожная, задумчивая походка и слегка сутуловатые плечи. Трудно представить себе эту фигуру среди толпы - она носила отпечаток обособленности, уединенности. В высшей степени прекрасны и изящны были руки Ницше, невольно привлекавшие к себе взгляд; он сам полагал, что они выдают силу его ума.



Истинно предательскими в этом смысле были и его глаза. Хотя он был наполовину слеп, глаза его не шурились, не вглядывались со свойственной близоруким людям пристальностью и невольной назойливостью; они скорее глядели стражами и хранителями собственных сокровищ, немых тайн, которых не должен касаться ничей непосвященный взор. Слабость зрения придавала его чертам особого рода обаяние: вместо того, чтобы отражать меняющиеся внешние впечатления, они выдавали только то, что прошло раньше через его внутренний мир. Глаза его глядели внутрь и в то же время – минуя близлежащие предметы – куда-то вдаль, или, вернее, они глядели внутрь, как бы в безграничную даль. Иногда во время какой-нибудь волнующей его беседы с глазу на глаз он становился совершенно самим собою, и тогда в глазах его вспыхивал и вновь куда-то исчезал поражающий блеск; в угнетенном состоянии из глаз его мрачно струилось одиночество, высвечиваясь как бы из таинственных глубин – глубин, в которых он постоянно оставался один, делить которые не мог ни с кем и пред силой которых ему самому становилось жутко, пока глубина эта не поглотила, наконец, и его дух.

Такое же впечатление – чего-то скрытого, затаенного – производило и обращение Ницше. В обыденной жизни он отличался большой вежливостью, мягкостью, ровностью характера – ему нравились изящные манеры. Но во всем этом сказывалась его любовь к притворству, к завуалированности, к маскам, оберегающим внутреннюю жизнь, которую он почти никогда не раскрывал. Я помню, при этой первой моей встрече с Ницше в соборе Св. Петра его намеренная церемонность меня удивила и ввела в заблуждение. Но недолго обманывал относительно самого себя этот одинокий человек: он неумело носил свою маску, наверное, так, как носит обычное платье горожан пришедший с горных высот и из пустынь человек.

Ницше. Пауль, это изумительная женщина! Женитесь на ней!



Рэ. Нет, я пессимист, мне ненавистна идея продолжения человеческого рода. Женитесь на ней сами, она будет как раз нужной для вас женою.

Ницше. Жениться? Никогда! Мне неизбежно придется начать агать.

Лу. Мы проводили много времени втроем. Прекрасное время, восхитительное время споров и разговоров, ночных бдений и гуляний. Я потеряла сон, да и до сна ли мне было, если я внимала самому Ницше, Ницше поры «Веселой науки» – аморалисту и бунтарю, бесстрашному моряку в океанах человеческой мысли?

Ницше. При всей уступке, которую я готов сделать моногамическому предрассудку, я все же никогда не допущу, чтобы говорили о *равных* правах мужчины и женщины в любви: таковых не существует. Это значит: мужчина и женщина неодинаково понимают любовь – и к условиям любви у обоих полов принадлежит то, что один пол предполагает в другом поле иное чувство, иное понятие «любви». Женское понимание любви достаточно ясно: совершенная преданность (а не только готовность отдаться) душою и телом, без всякой оглядки, без какой-либо оговорки, скорее, со стыдом и ужасом при мысли о том, что преданность может быть оговорена и связана условиями. Как раз в этом отсутствии условий ее любовь оказывается *верою*: у женщины нет другой веры. – Мужчина, любящий женщину, *хочет* от нее именно этой любви и, стало быть, в своей любви диаметрально противоположен предпосылке женской любви; допустив же, что возможны и такие мужчины, которым, с их стороны, не чуждо стремление к совершенной готовности отдаться, то – какие же это мужчины! Мужчина, который любит, как женщина, становится от этого рабом; женщина же, которая любит, как женщина, становится от этого *более совершенной* женщиной... Страсть женщины, в своем безусловном отказе от собственных прав, предполагает как раз отсутствие



подобного пафоса, подобной готовности к отказу на другой стороне: ибо откажись оба из любви от самих себя, из этого вышло бы – уж я и не знаю что: должно быть, какой-то вакуум? – Женщина хочет быть взятой, принятой, как владение, хочет раствориться в понятии «владение», быть «обладаемой», стало быть, хочет кого-то, кто *берет*, кто не дает самого себя и не отдает, кто, напротив, должен богатеть «собою» – через природу силы, счастья, веры, в качестве чего и отдает ему себя женщина. Женщина предоставляет себя, мужчина приобретает – я думаю, эту природную противоположность не устранят никакие общественные договоры, ни самые благие стремления к справедливости, сколь бы ни было желательно, чтобы черствость, ужасность, загадочность, безнравственность этого антагонизма не торчали вечно перед глазами. Ибо любовь, помысленная во всей цельности, величии и полноте, есть природа и, как природа, нечто на веки вечные «безнравственное». – *Верность*, таким образом, заключена в самой женской любви, она вытекает уже из ее определения; у мужчины она с легкостью *может* возникнуть вследствие его любви, скажем, как благодарность или как идиосинкразия вкуса и так называемое избирательное сродство, но она не принадлежит к *сущности* его любви – не принадлежит в такой степени, что можно было бы почти с некоторым правом говорить о полной противоположности между любовью и верностью у мужчины: его любовь есть как раз желание обладать, а не отказ и преданность: но желание обладать кончается всякий раз с самим *обладанием*... Фактически любовь мужчины, который редко и поздно сознается себе в этом «обладании», продолжается за счет его более утонченной и более подозрительной жажды обладания; оттого возможно даже, что она еще возрастет после того, как женщина отдаст ему себя, – ему не легко отдаться мысли, что женщине нечего больше ему «отдать».

Лу. Бешеный темперамент его мысли был настолько заражающим, что мне захотелось ответить. Я посвятила ему стихотворение «К скорби»:



Кто избежит твоих объятий, скорбь,
Когда твой взгляд все существо пронзает.
И гибнет все, и стынет в жилах кровь,
Когда с земли земное исчезает.
Но без тебя нет в жизни полноты.
Печаль трезва, а радость столь мгновенна.
Приди же, скорбь, сегодня только ты.
Будь проклята. И будь благословенна.

Ницше послал эти стихи своему близкому другу Петеру Гасту. Гаст решил, что их написал Ницше.

Ницше. Нет, мой дорогой друг, эти стихи принадлежат не мне. Они производят на меня прямо-таки подавляющее впечатление, и я не могу их читать без слез; в них слышны звуки голоса, который звучит в моих ушах давно, давно, с самого раннего детства. Стихи эти написала Лу, мой новый друг, о котором вы еще ничего не слышали; она дочь русского генерала; ей двадцать лет, она резкая как орел, сильная как львица, и при этом очень женственный ребенок, который, быть может, недолго проживет... Она поразительно зрела и готова к моему способу мышления... Кроме того, у нее невероятно твердый характер и она точно знает, чего хочет, – не спрашивая ничьих советов и не заботясь об общественном мнении.

Лу. Мальвида, добрая душа, наблюдая за стремительным сближением нашей троицы, пыталась предостеречь меня.

Мальвида. Это триединство! Несмотря на то, что я вполне убеждена в вашей нейтральности, опыт моей долгой жизни, равно как и знание человеческой природы, позволяет мне утверждать, что так это не может длиться долго, что в самом лучшем случае серьезно пострадает сердце, а в худшем случае союз будет разрушен: естество не даст себя одурачить, а связи существуют только в той мере, в которой мы их осознаем. Однако, если вы, вопреки всему, это сделаете, я не усомнюсь в вас, я лишь хотела бы уберечь вас от той почти неизбежной боли, которую вы уже



раз испытали. Но... совершенство вашего плана признаю, а привлекательность понимаю. В конце концов, вы сами выбираете свою судьбу, и надо ее наполнить, чтобы она вам что-нибудь принесла.

Лу. У Ницше было другое мнение на этот счет.

Ницше. В настоящий момент я считаю необходимым, чтобы мы сохраняли молчание в присутствии даже самых близких: никто, ни мать Пауля m-me Рэ в Теплице, ни m-lle фон Мейзенбух в Байрейте, ни моя семья не должны ломать себе головы и сердца над этими вещами, до которых только **мы, мы, мы** доросли и с которыми справимся, для других же они могут лишь оказаться опасными фантазиями. Да, иной идеал влечет нас к себе, чудесный, искушающий, чреватый опасностями идеал, для которого все то высшее, в чем народ справедливо видит свое мерило ценностей, представляло бы не более чем падение, унижение, опасность или, по меньшей мере, средство самосохранения. Люблю жизнь «в укрытии», огражденную от посторонних взглядов, и желаю всем сердцем, чтобы вас, как и меня, миновали европейские пересуды. Тем более что я связываю с нашей совместной жизнью такие высокие надежды, что любые закономерные или непредвиденные побочные следствия в настоящее время меня мало занимают; и то, что произойдет, мы будем готовить вместе, и весь этот мешок возможных огорчений мы каждый вечер вместе будем вытряхивать на дно, не правда ли?

Лу. То, что так хорошо началось, приняло вскоре иной оборот, заставивший Пауля Рэ и меня поволноваться за наш план, так как его осуществление было осложнено неожиданным вмешательством со стороны третьего. Ницше всего-навсего хотел упростить ситуацию: через Пауля Рэ он предложил мне руку и сердце. Мы озабоченно размышляли над тем, как уладить дело, чтобы не повредить нашему тройственному союзу. Было решено, прежде всего, объяснить Ницше мое принципиальное неприятие любой



формы брака, но также упомянуть и то обстоятельство, что я живу на генеральскую пенсию своей матери; кроме того, выйдя замуж, я потеряю собственную маленькую пенсию, которая положена мне как единственной дочери русского дворянина.

Когда мы уезжали из Рима, дело казалось улаженным; в последнее время Ницше часто страдал приступами болезни, которая давала о себе знать непомерно жестокими головными болями. Поэтому Пауль Рэ остался с ним, а моя мать, если мне не изменяет память, сочла, что будет уместнее нам с ней выехать вперед; снова встретились мы уже в дороге. Потом все вместе мы делали остановки, например в Орте, у озер Верхней Италии, где нас, помнится, очаровала близлежащая гора Монте-Сакро; с ней связана обида, невольной причиненная нами моей маме: мы с Ницше слишком надолго задержались и не успели зайти за ней в условленный срок, в чем нас резко упрекнул и Пауль Рэ, которому все это время пришлось развлекать маму. Уже не помню, поцеловала ли я Ницше на Монте-Сакро...

В Люцерне, куда мы все вместе приехали, Ницше повел меня смотреть тот дом в Тришбене, где он познакомился с Рихардом Вагнером. Он был взволнован, но о главном не смел говорить. Он рассказал мне всю свою жизнь: о своем детстве в деревенском домике, о ранней смерти отца, жизнь которого была полна великой тайны, о своих первых сомнениях, сменивших годы религиозных настроений, об ужасе, охватившем его при виде этого мира без Божества, где ему приходилось жить, о своем открытии Шопенгауэра и Вагнера, и о той новой религии, которую они дали ему и которая утешила его в потере собственной веры... Вдруг я заметила слезы в его глазах.

Ницше. Да, вот так начались приключения моей жизни, и они еще далеко не окончились. Что меня ждет впереди? Какие новые мытарства? Не вернусь ли я к прежней вере? Или к какому-нибудь новому упованию? Во всяком случае, более правдоподобно возвращение к прошлому, чем духовная неподвижность.



Лу. Он попросил Пауля Рэ поговорить со мной о жеманстве, а сам решил заехать в Базель к Овербекам*. Там, насколько мне известно, он доверил любившей его жене свои сокровенные чувства. Он говорил, что ему встретилась женщина, наполнившая радость его мысли и все его существование. Он, конечно, не собирается жеманиться на м-лле Саломе, всякие брачные узы нестерпимы ему; но он мог бы дать ей свое имя, чтобы оградить ее от всяких ненужных разговоров. От этого духовного брака, считает он, родится духовный сын: пророк Заратустра. Главной помехой в этом деле он видит свою бедность, но, может быть, возможно, за некоторую значительную сумму продать какому-нибудь издателю все свои будущие сочинения? Овербеки, по-моему, были весьма встревожены этим сообщением, но как было остановить влюбленного философа?

Я написала Ницше, что замуж выходить не хочу, что в моем сердце, на которое жизнь уже наложила свою печать, нет больше силы и восторга для новой любви. Я предлагаю ему свою дружбу, свою моральную поддержку...

Ницше. Дружба... Она разрешает тот же кризис, что и любовь, но только в гораздо более чистой атмосфере. Сначала взаимное влечение, основанное на общих убеждениях; за ним следуют взаимное восхищение и прославление; потом, с одной стороны, возникает недоверие, а с другой – сомнение в превосходстве своего друга и его идей; можно быть уверенным, что разрыв неизбежен и что он принесет немало страданий. Все человеческие страдания присущи дружбе, в ней есть даже такие, которым нет названия.

Лу. Я потом рассказывала Паулю Рэ о том, как было интересно говорить с Ницше. Есть особая прелесть в том, что ты встречаешь схожие идеи, чувства и мысли. Мы понимали друг друга полностью. Однажды Ницше сказал

* Овербек, Август Фридрих (1869–1909) — немецкий художник.



с изумлением: «Я думаю, единственная разница между нами – в возрасте. Мы живем одинаково и думаем одинаково». Только потому, что мы такие одинаковые, на его взгляд, он так бурно реагирует на различия между нами – или на то, что ему кажется различиями. Да, если два человека такие разные, как я и Пауль Рэ, – нам нужно было быть довольными хотя бы тем, что мы нашли точку соприкосновения. Но когда они такие одинаковые, как Ницше и я... Мы страдали от наших различий.

Ницше. Вокруг меня сейчас утренняя зоря, но не в печатной форме! Я никогда не верил, что найду друга моего *последнего счастья и страдания*. Теперь это стало возможным – как золотистая возможность на горизонте всей моей будущей жизни. Я растроган, думая о смелой и богатой предчувствиями душе моей возлюбленной Лу.

Лу. Ницше быстро вернулся в Люцерн. Так как сватовство через Пауля Рэ показалось ему недостаточным, он решил поговорить со мной лично. Он умолял меня согласиться. Я повторила ему свой отказ и свое предложение. Я звала его поехать в июле на Байрейтские торжества в честь Вагнера. С Вагнером он к этому времени порвал отношения и поэтому ехать отказался. Тогда я пообещала по возвращении из Байрейта пожить с ним несколько недель и провести их в великолепных беседах о его сочинениях. К этому времени и относится наш совместный снимок втроем; он был сделан вопреки отчаянному сопротивлению Пауля Рэ, который всю жизнь испытывал болезненное отвращение к воспроизведению своего лица. Ницше был в игривом настроении и не только настоял на своем, но и живо озаботился деталями – маленькой (получившейся на снимке слишком маленькой) тележкой и даже такой безвкусницей, как веточка сирени на плетке. Перед расставанием он протянул мне томик со своей ранней работой «Шопенгауэр как воспитатель».

Ницше. Прочтите эту книгу, и тогда вы будете меня слушать.



Лу. После этого Ницше вернулся в Базель, Пауль Рэ отправился с нами в Цюрих, откуда уехал в свое родовое имение Штиббе у Тюца, что в Западной Пруссии, а мы с мамой на некоторое время задержались в Цюрихе у друзей, в прелестном загородном поместье которых я жила до своей поездки на юг. Оттуда через Гамбург мы отправились в Берлин, уже в сопровождении моего младшего брата Евгения, присланного старшим, игравшим в семье роль отца, на помощь маме. Между нами разгорелись последние споры, но в мою пользу сыграло доверие, с которым все относились к Паулю Рэ и которым постепенно проникалась и моя мать, и дело кончилось тем, что мой брат проводил меня в имение Рэ, при этом Пауль Рэ выехал нам навстречу; в Шнайдемюле, в Западной Пруссии, мы встретились, и там похититель и хранитель обменялись первым рукопожатием.

2

Ницше. Но рассудим поглубже: где кончается зверь и где начинается человек? Тот человек, который только и нужен природе? Пока кто-либо стремится к жизни, как к какому-то счастью, он еще не поднял взора над горизонтом зверя, и вся разница лишь в том, что он более сознательно стремится к тому, чего зверь ищет слепым инстинктом. Но ведь так живем мы все значительную часть нашей жизни: мы не выходим обычно из животного состояния, мы сами - звери, осужденные, по-видимому, на бессмысленное страдание.

Но есть мгновения, когда мы понимаем это, тогда облака разрываются, и мы видим, как, вместе со всей природой, нас влечет к человеку, т. е. к чему-то, что стоит высоко над нами. Содрогаясь, мы оглядываемся вокруг себя в этом внезапном свете и смотрим назад: мы видим, как бегут утонченные хищные звери и мы сами среди них. Чудовищная подвижность людей в великой земной пустыне, их созидание городов и государств, их ведение войн, их неустанное схождение и расхождение, их беспорядочная



беготня, их взаимное подражание, их умение перехитрить и уничтожить друг друга, их крик в нужде, их радостный рев в победе, – все это есть продолжение животного состояния; как будто человеку суждено сознательно регрессировать и обмануться в надежде на свои метафизические задатки, – более того, как будто природа, так долго ждавшая человека и работавшая над ним, отшатывается теперь от него и готова вновь вернуться к бессознательности инстинкта. Ах, ей нужно познание, и она страшится того познания, в котором нуждается; и вот пламя, беспокойно и как бы пугаясь самого себя, колеблется во все стороны и охватывает тысячи вещей, прежде чем охватить то, ради чего вообще природа нуждается в познании. Мы все знаем в отдельные мгновения, что широчайшие планы нашей жизни создаются лишь для того, чтобы убежать от нашей истинной задачи, что мы охотно хотели бы куда-нибудь спрятать свою голову, где бы наша стоглазая совесть не могла нас поймать, что мы спешно дарим свое сердце государству, добыванию денег, общению с друзьями или науке, только чтобы не владеть им более, что мы даже отдаемся барщине ежедневного труда с такой горячностью и бешенством, какие вовсе не нужны для нашей жизни, – потому что, нам кажется, нужнее всего не приходить в сознание. Все полны этой спешки, ибо каждый бежит от себя самого; и все робко скрывают эту спешку, ибо хотят казаться довольными и не показать своей нищеты более зорким наблюдателям; все испытывают потребность в новых звучных словесных погремешках, чтобы обвешать ими жизнь и тем придать ей что-то шумно-праздничное. Всякому известно то странное состояние, когда нас внезапно одолевают неприятные воспоминания, и мы стараемся порывистыми жестами и звуками изгнать их из сознания; но по жестам и звукам обычной нашей жизни можно угадать, что мы все и постоянно находимся в подобном состоянии, – в состоянии страха перед воспоминанием и самоуглублением. Что же так часто задевает нас, какая муха не дает нам спать? Вокруг нас бродят привидения, каждое мгновение жизни хочет нам что-то сказать, но мы не хотим слушать эти таинственные голоса. Мы боимся, когда мы одни и в тишине, что нам



прошепчут что-то на ухо, и потому мы ненавидим тишину и оглушаем себя общением с людьми.

Лу. В Штиббе я, как и планировалось, пробыла до середины лета, то есть несколько месяцев, чтобы затем, с началом Байрейтского фестиваля, встретиться у Вагнеров с Мальвидой. Представление «Парсифаля» Вагнера было назначено на 27 июля. Ницше поселился недалеко от Байрейта в деревне Таутенбург, в Тюрингских лесах. Туда по окончании Байрейтских торжеств должны были приехать его друзья – Овербеки, Герсдорф, Зейдлицы, Мальвида, сестра Ницше Элизабет и я. Быть может, в тайне, Ницше надеялся, что Вагнер позовет его, во всяком случае, Мальвида попробовала примирить их. Но едва имя Ницше было произнесено вслух, Вагнер грубо оборвал ее и вышел, хлопнув дверью.

Ницше. Мы были друзьями и стали друг другу чужими. Но это так и есть, и мы не хотим скрывать этого от себя и стусевывать, словно бы мы стыдились этого. Мы два корабля, у каждого из которых своя цель и свой путь; мы, конечно, можем встретиться и отпраздновать нашу встречу, как сделали это некогда, – а тогда отважные корабли стояли так спокойно в одной гавани и под одним солнцем, что могло казаться, будто они уже у цели и будто у них была одна цель. Но всемогущая сила нашей задачи разогнала нас снова в разные стороны, в разные моря и пояса, и, быть может, мы никогда не свидимся, – а быть может, и свидимся, но уже не узнаем друг друга: разные моря и солнца изменили нас! Что мы должны были стать чужими друг другу, этого требовал закон, царящий над нами: именно поэтому должны мы также и больше уважать друг друга! Именно поэтому мысль о нашей былой дружбе должна стать еще более священной! Должно быть, есть огромная невидимая кривая и звездная орбита, куда включены наши столь различные пути и цели, как крохотные участки, – возвысимся до этой мысли! Но жизнь наша слишком коротка, и зрение наше слишком слабо для того, чтобы мы могли быть более чем друзьями в смысле



этой высшей возможности. – Так будем же *верить* в нашу звездную дружбу, даже если мы должны были стать друг другу земными врагами.

Лу. Так я познакомилась с Рихардом Вагнером в последний год его жизни, и по билету Пауля Рэ могла посещать представления «Парсифаля»; на вечерах в Ванфриде, которые всегда устраивались в промежутках между двумя представлениями «Парсифаля», я успела узнать многое из жизни семьи Вагнеров, несмотря на огромный наплыв гостей из разных стран.

В центре общества всегда был Рихард Вагнер, из-за маленького роста его постоянно заслоняли другие, он, точно взлетающий вверх фонтан, появлялся только на короткие мгновения, и вокруг него неизменно царил оживление и веселье; напротив, его жена Козима возвышалась над всеми, кто ее окружал, а ее непомерно длинный шлейф проплывал мимо гостей, как бы изолируя их от нее, создавая дистанцию. Чтобы сделать приятное Мальвиде, эта необыкновенно привлекательная и благородная женщина однажды навестила меня, и между нами состоялся долгий, обстоятельный разговор. Молодой воспитатель тринадцатилетнего сына Вагнера Зигфрида, Генрих фон Штайн, с которым я познакомилась в Байрейте, стал следующей зимой одним из самых первых и самых верных членов берлинского кружка, созданного Паулем Рэ и мной. Из близких Вагнеру людей я теснее всего сдружилась с русским художником Жуковским*, сыном выдающегося русского поэта, его опознавательный знак, майский жук, был нарисован в углу огромной картины, сразу бросающейся в глаза в Ванфриде: святое семейство, Спаситель похож на Зигфрида, Богородица на Даниэлу, а три ангела – на трех других прекрасных дочерей композитора.

* Жуковский, Павел Васильевич (1845–1912) — сын поэта В. А. Жуковского. Художник-архитектор. С 1893 г. действительный член Академии художеств. Совместно с архитектором Н. В. Султановым разрабатывал проект памятника Александру II в Кремле. Автор проекта храма-усыпальницы великого князя Сергея Александровича в Кремле (сооружен в 1906 г.).



Ницше. Что касается Байрейта, я доволен, что не должен быть там; но все же, если бы я мог, как призрак, оказаться рядом с вами, то и се нашептывая вам на ваше ушко, может быть, и музыка к «Парсифалю» оказалась бы для меня сносной... Вне этого она для меня невыносима!

Лу. О самом Байрейтском фестивале я не стану ничего говорить - настолько незаслуженно довелось мне стать свидетельницей этого потрясающего события; лишенная музыкального слуха, я была не в состоянии ни понять, ни оценить происходящее. Единственным человеком, с кем я могла бы себя сравнить в этом отношении, была верная помощница Мальвиды Трина, которая чувствовала себя посрамленной и опозоренной: Рихард Вагнер возвестил пророческим тоном, что только у такого совершенно неискушенного существа может спасти «пелена с ушей», как при откровении, поэтому ее несколько раз водили на представления. Трина была благодарна и счастлива, но опыт не удался, так как она не могла скрыть своего глубочайшего разочарования тем, что на сцене каждый раз шел «Парсифаль», а «не новая пьеса».

После Байрейта мы с Ницше решили провести несколько недель в Тюрингии, в Таутенбурге, недалеко от Дорнбурга, где я случайно поселилась в доме, хозяин которого, местный проповедник, оказался бывшим учеником моего цюрихского учителя, профессора Алоиса Бидермана. Поначалу между Ницше и мной возникали споры, вызванные разного рода пересудами; скоро мы с ними покончили, третьи лица нам больше не мешали, и мы провели вместе несколько насыщенных недель.

Говоря о «третьих лицах», я в первую очередь имею в виду сестру Ницше Элизабет. При первой встрече в Лейпциге она очаровала меня. Мы вместе отправились в Байрейт, я даже написала Ницше: «Ваша сестра, которая в настоящий момент является почти что и моей сестрой, расскажет Вам обо всем, что здесь происходит». Мы вместе приехали в Таутенбург, поселились в одном отеле. Потом я вдруг узнала, что она устроила Ницше целую сцену из-за той роковой фотографии, где мы с Ницше и Рэ были сняты втроем.



«Эта авантюристка просто использовала вас, двух допоухих умников, в угоду своим честолюбивым амбициям!», – будто бы кричала она Ницше. Она рассказала ему о Жуковском, о том, как этот русский при всех предлагал мне свои услуги модельера, а уже это одно, по ее мнению, свидетельствовало о том, что такую хищницу, как я, нужно еще поискать.

Гораздо позже я поняла истоки этого отношения к себе со стороны Элизабет. Помимо патологической ревности, сюда примешивалась уже тогда агрессивная ненависть к всякого рода «инородцам». Она не могла простить мне моей «русскости», Паулю Рэ – его «еврейства», хорошо, кстати, зная о том, что Ницше порвал с Вагнером, в частности, и из-за того, что Вагнер был очень антисемитски настроен. Элизабет была на пятнадцать лет старше меня. Она была типичной старой девой с замашками провинциальной пасторской дочки. В 1885 году она, к ужасу Ницше, вышла замуж за немецкого националиста и воинствующего антисемита Ферстера и уехала за ним в Парагвай строить там «новую Германию». Она унаследовала все рукописи Ницше и ухитрилась организовать приезд Гитлера в дом ницшевского архива в Веймаре в ноябре 1935 года. Она подарила Гитлеру трость Ницше и даже сфотографировалась с фюрером на фоне бюста философа. Ее фальшивка под названием «Воля к власти», бездарно скомпилированная из незавершенных ницшевских фрагментов, надолго определила Ницше в апологеты национал-социалистической идеи и духовные вожди фашизма. Ницше с горечью признавался Мальвиде:

Ницше. Между мной и мстительной антисемитской дурой не может быть примирения. Позже, гораздо позже, она поймет, как много зла принесла она мне в самый решающий момент моей жизни...

Лу. В круг мыслей Ницше я вошла здесь быстрее, чем в Риме или во время нашего совместного путешествия; из его сочинений я знала только «Веселую науку»: отрывки из нее он читал нам еще в Риме, в беседах о ней Ницше и Пауль Рэ понимали друг друга с полуслова, они давно



уже придерживались одинаковых взглядов в философии, во всяком случае, со времени разрыва Ницше с Вагнером. В Ницше же тогда уже чувствовалось то, что вело его от сборников афоризмов к «Заратустре» – глубинная эволюция богоискателя, шедшего от религии к религиозным пророчествам.

Ницше. ...Что, если бы днем или ночью подкрался к тебе в твое уединеннейшее одиночество некий демон и сказал бы тебе: «Эту жизнь, как ты ее теперь живешь и жил, должен будешь ты прожить еще раз и еще бесчисленное количество раз; и ничего в ней не будет нового, но каждая боль и каждое удовольствие, каждая мысль и каждый вздох и все несказанно малое и великое в твоей жизни должно будет наново вернуться к тебе, и все в том же порядке и в той же последовательности, – также и этот паук и этот лунный свет между деревьями, также и это вот мгновение и я сам. Вечные песочные часы бытия переворачиваются все снова и снова – и ты вместе с ними, песчинка из песка!» – Разве ты не бросился бы навзничь, скрежеща зубами и проклиная говорящего так демона? Или тебе довелось однажды пережить чудовищное мгновение, когда ты ответил бы ему: «Ты – Бог, и никогда не слышал я ничего более божественного!» Овладей тобою эта мысль, она бы преобразила тебя и, возможно, стерла бы в порошок; вопрос, сопровождающий все и вся: «хочешь ли ты этого еще раз, и еще бесчисленное количество раз?» – величайшей тяжестью лег бы на твои поступки! Или насколько хорошо должен был бы ты относиться к самому себе и к жизни, чтобы не *жаждать больше* ничего, кроме этого последнего вечного удостоверения и скрепления печатью?

Лу. Я никогда не забуду тех часов, когда он открывал мне свои мысли; он поверял мне их, как если бы это была тайна, в которой невыразимо трудно сознаться, он говорил вполголоса с выражением глубокого ужаса на лице. И в самом деле, жизнь для него была сплошным страданием: убеждение в ужасной достоверности «вечного возвращения» доставляло ему неизъяснимые мучения.



Я писала Паулю Рэ 18 августа из Таутенбурга: «В самом начале моего знакомства с Ницше я говорила Мальвиде, что он натура религиозная, чем вызвала ее очень большие сомнения по этому поводу. Сегодня я бы еще более настаивала на своем утверждении. Мы еще увидим, как он выступит провозвестником новой религии, причем такой, которая будет вербовать в свои апостолы героев. В этом отношении наши мысли и чувства очень сильно совпадают, мы понимаем друг друга буквально с полупапека. Все эти три недели мы говорили до изнеможения, и странным образом он теперь неожиданно оказывается в состоянии проводить за болтовней по десять часов ежедневно. Странно, но мы в наших беседах невольно подбираемся к пропастям, к тем головокружительным кручам, куда обычно забираются в одиночку, чтобы заглянуть в бездну. Мы все время выбирали самые крутые подъемы, и если бы кто-нибудь нас подслушивал, то подумал бы, что беседуют два дьявола».

Ницше. Если долго глядеться в бездну, бездна начинает вглядываться в тебя...

Лу. Надо сказать, в характере и высказываниях Ницше меня восхищало, прежде всего, то, что в его разговорах с Паулем Рэ почти не затрагивалось. Ведь к этому у меня примешивались воспоминания и почти неосознанные чувства, берущие начало в моем самом раннем, глубоко личном и незабываемом детстве. Но в то же время именно это не позволяло мне сделаться его ученицей, его последовательницей: я бы не смогла, не испытывая сомнений, идти по этому пути, зная, что в любой момент ради обретения ясности мне пришлось бы с него свернуть. То, что меня привлекало, одновременно вызывало во мне внутреннее неприятие. Я записала в те дни в дневнике:

«Целиком ли мы близки? Нет, ни в коем случае нет. Над моими ощущениями парит какая-то тень тех идей, которые еще несколько недель назад осчастливливали Ницше, и эта тень нас разделяет, она втискивается между нами. И где-то в сокровенной глубине нашего одиночества мы далеки, как два мира. Ницше, как он сам говорит,



по сути своей похож на ничейный старый замок, который объемлет не один темный уголок и укрыт северными сумерками, не заметными при поверхностном знакомстве, но скрывающими его самые существенные особенности. Странное дело, но недавно меня с неистовой силой охватила мысль, что со временем мы можем стать друг против друга как враги... Вечерами, когда мы обвязываем лампу, словно инвалида, красной косынкой, чтобы ее свет не вредил его глазам, и она кидает слабый отсвет на комнату, мы говорим, говорим без перерыва про нашу совместную работу и я преисполняюсь удовлетворенности, что вижу перед собой работу продуманную и очерченную. И все же...»

Важно и другое. Предлагая Ницше дружбу, я никак не могла предположить, какую поистине титаническую ношу взваливаю на себя. В наших отношениях он требовал полной самоотдачи, граничащей с самозабвением. А между тем, я ни на что не могла променять подлинную внутреннюю свободу, доставшуюся мне в результате нескольких духовных катастроф. Мы стали ссориться. Он обвинял меня в гордыне. Я говорила, что никому не отдам свой ум и сердце. 20 августа он пишет Гасту*:

Ницше. Лу останется со мной еще неделю. *Это самая умная женщина в мире.* Каждые пять дней между нами разыгрывается маленькая трагедия. Все, что я вам о ней писал, это – абсурд и без сомнения не менее абсурдно и то, что я вам пишу сейчас...

Лу. Положение усугублялось тем, что и Ницше, и Рэ были безнадежно влюблены в меня. Но какой разной была их любовь! Ницше, всецело подконтрольный матери и Элизабет, осторожничал со мной в изъяснении чувств:

* Гаст, Петер, настоящее имя Генрих Кезелиц (1854–1918) – нем. писатель и музыкант; в 1900–1908 работал в архиве в Веймаре; в 1876 завязал личные отношения с Ницше, помощником которого он стал, и написал введение к произведению «Так говорил Заратустра», в котором особенно подчеркнул идеи Ницше о сверхчеловеке, о презрении к массам и необходимости устранения демократии.



Ницше. Такие отшельники, как я, должны не спеша привыкать к людям, которые им дороже всего: будьте же ко мне снисходительны в этом смысле!

Лу. И Рэ:

Рэ. Я хороший рулевой, и Ты пройдешь между всеми трудностями легко и без обиды, нанесенной кому бы то ни было... А следовательно, моя любимая-любимая Лу, будь уверена, что Ты – единственный человек в мире, которого я люблю, и не думай при этом, что это не о многом говорит, поскольку, быть может, я переношу на Тебя всю любовь, которая есть во мне для других людей.

Лу. Еще 4 июня я попыталась в письме к Ницше сформулировать свое отношение к ним двоим:

«Оба вы – как два пророка, обращенные к прошлому и будущему, из которых один, Рэ, открывает начало богов, а другой сообщает об их смерти. Но все же в этом с виду совместном стремлении заключено глубокое расхождение, которое наилучшим образом можно определить при помощи Ваших собственных слов: в то время как эгоист у Пауля, который к огорчению Мальвиды, шагает вплоть до «предела последствий», говорит себе: «единственной нашей целью является удобная, счастливая жизнь», – Вы утверждаете: «если надо отказаться от благополучной жизни, нам остается жизнь героическая».

Уже после того как я возвратилась в Штиббе, чтобы провести там осень, в октябре мы еще раз сошлись с Ницше на три недели в Лейпциге. 16 сентября Ницше писал Гасту:

Ницше. Второго октября снова придет Лу: через два месяца мы поедem в Париж и проживем там, быть может, несколько лет. Вот мои планы.

Лу. Но ни он, ни я не подозревали, что это наша последняя встреча. На сей раз все было не так, как в самом начале, хотя мы не оставляли надежды сохранить наш



тройственный союз. Насколько права оказалась Мальвида! Когда я спрашиваю себя, что в первую очередь отрицательно сказалось на моем отношении к Ницше, то прихожу к мысли, что это были участившиеся намеки, с помощью которых Ницше хотел выставить в моих глазах Пауля Рэ в дурном свете, – и мое удивление по поводу того, что он считал этот способ действенным.

Ницше. Рэ очень умен, но это слабый человек, без определенной цели. В этом виновато его воспитание; каждый должен получить такое воспитание, как если бы он готовился в солдаты; женщина же должна готовиться быть женою солдата.

Лу. Судя по всему, он был свято уверен в том, что мы с Рэ были безумно влюблены друг в друга, и что на этой почве у нас против него составилась заговор.

Только после нашего отъезда из Лейпцига враждебные выпады начались и против меня самой – граничившие с ненавистью укоры, о которых мне стало известно лишь из одного более позднего письма. Что потом последовало, казалось настолько противоречившим характеру Ницше, что может быть приписано только постороннему влиянию. К примеру, когда он выдвигал против Рэ и меня такие подозрения, в несостоятельности которых он был абсолютно уверен. Но самое отвратительное из того времени не дошло до меня – благодаря чуткости Пауля Рэ я поняла это много лет спустя; мне даже кажется, что он скрывал от меня письма Ницше, содержавшие необъяснимые оскорбления в мой адрес. Но не только это: Пауль Рэ скрывал от меня и то, как яростно, вплоть до разжигания ненависти, подстрекали против меня его семью, при этом особую роль сыграла болезненная ревность его матери, не желавшей ни с кем делить сына, ну а Элизабет просто пошла на меня войной. Вот образчик нашего с ней диалога, который она с точностью стенографистки передает в письме к своей подруге Кларе Гелзер. Дело происходит в Йене вскоре после Байрейтских торжеств.



Элизабет. Считаю тебя своей молодой сестрой, вижу свой долг в том, чтобы убедить тебя, что самым большим сокровищем для таких девушек, как ты, является ее доброе имя. Однако ты проявляешь поразительную неосведомленность в том, сколь велики должны быть пределы осторожности в контактах с мужчинами: один неосторожный жест, взгляд или слово – и ты погибла!

Лу. Неужели? Послушай, Лиз, избавь меня, ради Бога, от этих твоих пастырских наставлений. Я не нуждаюсь в сплетнях злопыхателей, даже если ты передаешь мне их с наилучшими намерениями. Потом, даже если бы в них была хоть крупица смысла, я бы давно уже погибла, окончательно и бесповоротно!

Элизабет. В моих глазах ты уже погибла, и Бог с тобой. Но ты компрометируешь Фридриха, этого святого человека, этого несчастного слепца! Твои шашни с Жуковским, этим мартовским котом... Я не позволю произносить имя моего брата рядом с именем этого шарлатана!

Лу. Жуковский – великий художник!

Элизабет. Жуковский – русский! И ты защищаешь его только поэтому! Только русские могли выдумать такую несурязицу и бесстыдство, как эта ваша жизнь втроем!

Лу. Кульминацией истории нашего тройственного союза стало совершенно недопустимое по тону письмо ко мне, в котором Элизабет обвиняла меня чуть ли не во всех смертных грехах. В ответ я написала очень резкое письмо Ницше. Он принял решение прекратить всякие отношения и со мной, и с Рэ.

Ницше. Если я бросаю тебя, то исключительно из-за твоего ужасного характера. Ты принесла боль не только мне, но и всем, кто меня любит... Не я создал мир, не я создал Лу. Если бы я создавал тебя, то дал бы тебе больше



здоровья и еще то, что важнее здоровья, – может быть, многого любви ко мне...

Лу. Я отвечала в том же духе. Наконец, он подытожил эту не достойную ни его, ни меня переписку.

Ницше. ...Но, Лу, что это за письмо! Так пишут маленькие пансионерки. Что же мне делать? Поймите меня: я хочу, чтобы Вы возвысились в моих глазах, я не хочу, чтобы Вы упали для меня еще ниже. Я упрекаю Вас только в одном: Вы должны были раньше отдать себе отчет в том, чего я ожидал от Вас. Я дал Вам в Люцерне мою книгу о Шопенгауэре, и я сказал Вам, что главные мои мысли заключаются в ней, и я хочу, чтобы они также стали и Вашими. Вы должны были мне сказать «нет». В таких случаях я ненавижу всякую *поверхностность*. Вы бы тогда пощадили меня! Ваши стихи, «Скорбь», такая глубокая неискренность. Я думаю, что никто так хорошо и так дурно, как я, не думает о Вас. Не защищайтесь; я уже защищал Вас перед самим собой и перед другими лучше, чем Вы сами могли бы сделать это. Такие создания, как Вы, выносимы для окружающих только тогда, когда у них есть *возвышенная цель*. Как в Вас мало уважения, благодарности, жалости, вежливости, восхищения, деликатности, – я говорю здесь, конечно, о самых возвышенных вещах. Что Вы ответите мне, если бы я Вас сказал: «Достаточно ли Вы храбры? Способны ли Вы на измену? Не чувствуете ли Вы, что когда к Вам приближается такой человек, как я, то Вы во многом должны сдерживать себя?» Вы имеете дело с одним из наиболее терпеливых, наиболее добрых людей, а против мелкого эгоизма и маленьких слабостей мой аргумент, помните это твердо, – только *отвращение*. А никто так быстро не способен получить чувство отвращения, как я. Но я еще не вполне разочаровался в Вас, несмотря ни на что; я заметил в Вас присутствие того священного эгоизма, который заставляет нас служить самому высокому в нашей натуре. Я не знаю, с помощью какого колдовства Вы, взамен того, что дал Вам я, наделили меня эгоизмом кошки, которая хочет только одного – жить... Прощайте, дорогая Лу, я больше



не увижу Вас. Берегите свою душу от подобных поступков и впредь имейте еще больший успех у других, чем Вы когда-либо имели у меня. Написав мне, Вы непоправимо порвали со мной. Я не прочел Вашего письма до конца, но того, что я прочел, достаточно.

Лу. Много позже Ницше, кажется, сам выражал недовольство слухами, которым он же и дал повод; наш близкий знакомый Генрих фон Штейн* поведал нам о следующем эпизоде, случившемся в Сильс-Мария, где он, получив предварительно наше согласие, навещал Ницше. Он пытался уговорить Ницше устранить недоразумения, возникшие между нами тремя; но Ницше, покачав головой, ответил: «Тому, что я сделал, нет прощения». Не эта ли покаянная смиренность продиктовала следующие строки к нам спустя некоторое время после разрыва?

Ницше. Мои дорогие Лу и Рэ, не беспокойтесь об этих вспышках моей паранойи или уязвленного самолюбия. Даже если однажды в припадке уныния я покончу с собой, не должно быть повода для печали. Я хочу, чтобы вы знали, что я не больше чем полулунатик, пытаемый головными болями, и помешавшийся от одиночества. Я достиг этого разумного, как я сейчас думаю, понимания ситуации после приема солидной дозы опия, спасающего меня от отчаяния.

Лу. 23 ноября 1882 года в порыве позднего раскаяния он пишет мне:

Ницше. Чувствую каждое движение твоей высшей души... Извини! Любимейшая Лу. Будь той, которой должна быть.

Лу. Уже после примирения с сестрой, он написал ей:

* Штейн, Генрих — нем. эстетик и поэт (1857–87), близкий друг Рихарда Вагнера и воспитатель его сына Зигфрида.



Ницше. ...Одно очевидно – из всех знакомств наиболее ценным и продуктивным было знакомство с г-жой Саломе. Благодаря ей я написал «Заратустру». Контакт этот я должен был по твоей милости прекратить... Лу – существо наиболее способное, какое только можно вообразить. Да, у нее есть сомнительные качества. Однако красота этих сомнительных качеств в том, какой стимул они дают мышлению... Но, конечно, это дано понять только мыслителю. Тебе вряд ли дано прочувствовать, какой радостью для меня был многолетний контакт с Рэ, и каким неправдоподобным, абсолютным благом была встреча с г-жой Саломе.

Лу. Однако Элизабет, это мавр в юбке, и не думала уходить. Ей просто необходимо было добить меня. Несмотря на табу, которое наложил Ницше на все разговоры обо мне и Рэ, приблизительно осенью 83 года, она сообщила Ницше, как ей казалось «новые подробности». О каких «новых подробностях» шла речь, я узнала из письма, которое получил тогда Рэ от своего бывшего друга.

Ницше. Слишком поздно, почти через год я узнаю о той роли, которую Вы играли в известной истории прошлого лета; никогда еще в душе моей не было столько отвращения, как сейчас, при мысли, что такой человек, как Вы, коварный, лживый и лукавый, мог в продолжение стольких лет называть себя моим другом. Ведь это было преступление, и не только против меня, но и против самой дружбы, против этого пустого слова «дружба». Стыдитесь! Итак, это значит, Вы клеветали на мой характер, а m-lle Саломе только передавала и очень нечестно, низко передавала Ваше мнение обо мне? Так это Вы, в моем отсутствии, разумеется, говорили обо мне, как о вульгарном и низком эгоисте, готовом всегда ограбить других? Это Вы обвиняли меня в присутствии m-lle Саломе в самых грязных намерениях на ее счет под маской идеалиста? Это Вы осмелились сказать про меня, что я сумасшедший и сам не знаю, чего хочу? Теперь, без сомнения, я гораздо лучше понимаю всю эту историю, благодаря которой самые уважаемые мною,



самые близкие мне люди стали для меня совсем чужими... Я считал Вас за друга; и может быть ничто, в продолжение семи лет, не мешало так моему собственному успеху, как те усилия, которые я делал, чтобы защитить Вас. Оказывается, что я очень недалеко ушел в искусстве узнавать людей, это, конечно, тоже послужит Вам темой для насмешек. Как вы, должно быть, надсмеялись надо мной! Браво! Я предпочитаю быть предметом насмешек для таких людей, как Вы, *чем стараться понять их*. Я бы с удовольствием с пистолетом в руках дал бы Вам урок практической морали; я, может быть, в лучшем случае достиг бы того, что прервал бы раз навсегда все Ваши работы над моралью: – но для того, чтобы я дрался с Вами, нужны чистые, а не грязные руки, господин доктор Пауль Рэ.

Лу. Но Пауль проявлял чудеса великодушия. Он не предал той святой восьмилетней дружбы, которая связывала его с Ницше. В апреле 83 года, то есть спустя шесть месяцев после лейпцигской ссоры, он хотел посвятить Ницше свою работу об основах нравственного сознания, написанную, естественно, под воздействием идей философа. Ницше брезгливо отверг этот дар.

Ницше. Я не хочу больше, чтобы меня с кем-нибудь смешивали.

Лу. Знал бы он, этот восхитительный ревнивец, что мы жили с Рэ исключительно как брат и сестра... Пауль был внимательным слушателем и доброжелательным критиком моей книги о Ницше. Несмотря ни на что. В дальнейшем я тоже стала пользоваться методом Пауля Рэ – держаться подальше от всей этой грязи, ничего не читать на эту тему и не обращать внимания как на враждебные выпады со стороны семьи Ницше, так и на выходившую после его смерти литературу о нем.

Нужно сказать, что сестрица Элизабет не прекращала свои атаки на меня на протяжении десятилетий. В ее черных писаниях я поочередно бывала то «финкой», то «еврейкой», то безуспешно бегала за Рэ в ожидании предложения



замужества... Она писала, что моя книга «Фридрих Ницше в своих сочинениях» - это «акт мести оскорбленного женского тщеславия», искажение сути и характера учения Ницше... И это нужно было опровергать? Нужно было или разворошить это осиное гнездо, или не реагировать вовсе.

Свою книгу «Фридрих Ницше в своих сочинениях» я писала еще совершенно беспристрастно, побуждаемая только тем, что с ростом популярности философа многие молодые литераторы ошибочно интерпретировали его книги. Мне самой духовный облик Ницше открылся только после личного общения с ним; я хотела лишь одного: способствовать пониманию фигуры Ницше, опираясь на свои объективные впечатления о нем. Я старалась запечатлеть его образ таким, каким он открылся мне после чистого, праздничного общения с ним... Не знаю, правда или нет, но будто бы Ницше в дни затмения, перед самой смертью, вымоловил:

Ницше. Раз уж небесам было угодно отделить меня от любви всей моей жизни – Лу, – любви, которая и сделала меня настоящим человеком, мне оставалось лишь погрузиться в огонь своего безумия.

Лу. И лишь одна я, наверное, догадывалась о том, что огонь тот был в нем зажжен давно-давно, отродясь, от искры божественного гения, что настагает лишь избранных путников в ночи под вот этими звездами...

Ницше.

Топчи моё имя в грязи! Позорь, и бесчестье прощая,
Любовь пусть замучит меня! Топчи моё имя в грязи!
Я юность твою погубил, извлёк из обитателей рая,
Топчи моё имя в грязи и смертью меня зарази!
Казни красотой своей, бросаясь на грязное ложе,
В объятьях безумных ночей казни красотой своей,
И тело богини моей на пададь пусть будет похоже!
Казни красотой своей и смейся над жертвой страстей!
Я всё, всё прощаю тебе, прости же меня, дорогая,
Забудь оскорбления мои, я всё, всё прощаю тебе,
Любовь пусть замучит меня, и ревностью страшной сгорая,
Я всё, всё прощаю тебе, как злой и коварной судьбе...



ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. РЭ, АНДРЕАС И ДРУГИЕ

1

Лу. Между тем Пауль Рэ и я поселились в Берлине. Первоначальный замысел – переехать в Париж – пришлось отложить, а затем и вовсе отказаться от него из-за болезни и смерти Ивана Тургенева; в Берлине в полной мере осуществилась наша мечта о духовной общности в кружке молодых философов, большей частью доцентов; в течение многих лет кружок то расширялся, то менялся состав его участников. Пауля Рэ в этом кружке называли «придворной дамой», меня – «вашим превосходительством» – так было написано в моем русском паспорте. (По обычаю этой страны я, как единственная дочь генерала, унаследовала его титул.) Даже когда мы на лето покидали Берлин, к нам на время университетских каникул приезжали некоторые из наших друзей.

Помнится, особенно счастливым было лето в Челерине в Верхнем Энгадине, где мы вместе жили у Мюллеров. Именно здесь Пауль Рэ познакомился с Хенриком Гийо. Мне доставляло необыкновенное удовольствие видеть двух мужчин вместе, прошлое и настоящее причудливо переплетались в моем воображении, и я чувствовала себя очень счастливой. Оттуда Пауль Рэ и я уехали на юг поздней осенью, с первым снегом; еще не было железной дороги, и мы, единственные пассажиры, разместились в почтовом ландо, в зимнее время заменявшем омнибус; так, без помех, неторопливо, точно предвосхищая теперешние путешествия владельцев автомобилей, мы спустились до Меран-Бодена, по желанию останавливаясь на отдых то в солнечные дни, то в лунные ночи.

Хотя мы много путешествовали, наших денег нам вполне хватало. Из пенсии мамы я получала ежемесячно 250 марок. Пауль, что меня весьма трогало, вкладывал в нашу общую кассу ровно столько же. Когда приходилось туго, мы учились экономно вести хозяйство; это доставляло удовольствие и приносило мне восторженные письма от



Георга – брата Пауля и распорядителя его состояния: он не мог нарадоваться тому, что Пауль стал жить скромнее и больше не досаждал ему просьбами прислать денег.

Однажды мы попытались провести часть зимы в Вене, где мой брат Евгений учился несколько семестров у Нотнагеля*; но из этого ничего не вышло по довольно смешной причине: если в Берлине мы часто сталкивались с некоторым чопорным недоверием со стороны тех, кто сдавал нам наши три комнаты, то в Вене нас встретили с таким явным и сердечным одобрением нашего не вызывающего у них сомнения любовного союза, что «видимость порока», которой так боялась Мальвида, забавным образом обернулась своей положительной стороной. Следуя мудрому совету Пауля Рэ (мужчины в роли «придворных дам» всегда более компетентны, чем женщины), мы и в Берлине общались только в собственном кругу и в кругу близких нам друзей, избегая семейств и тогдашней богемы, тем более что в «беллетристике» я была совершенно неискушенным человеком.

Но так уж случилось, что именно тогда, в Грис-Меране, я написала свою первую книгу. Поводом послужила попытка вернуть меня на родину, и наш дружеский кружок решил, что разрешение на пребывание за границей можно получить только для написания книги; и действительно, я добилась своего, правда, при условии, что моя фамилия не будет упомянута; поэтому в качестве псевдонима я выбрала имя своего голландского друга юности Хенрика Гийо и свое собственное (которое он когда-то дал мне вместо трудно выговариваемого русского). Удивительным образом книга Генри Лу «В борьбе за Бога» получила самую лучшую прессу, которую я когда-либо имела, в том числе и от братьев Генриха и Юлиуса Гартов**, с которыми я близко познакомилась позже, но тогда я лишь посмеялась

* Нотнагель, Герман – выдающийся терапевт, профессор и директор Клиники внутренних болезней в Вене.

** Гарт, Генрих и Юлиус (братья Генрих [род. в 1855 г.] и Юлиус [род. в 1859 г.]) – немецкие писатели, участники новейшего литературного движения в Германии (J ü ngstdeutschen), оказавшие большое влияние главным образом искренностью протеста против рутины и пошлости в литературе, а также умением группировать вокруг себя боевые таланты.



над их отзывами; сама-то я хорошо знала, ради какой чисто практической цели родился этот опус; книга состояла из моих петербургских заметок, а когда выяснилось, что их недостаточно, я использовала давно состряпанную новеллу в стихах, переделав ее в прозу.

Среди людей, нас окружавших, были представители разных специальностей: естествоиспытатели, ориенталисты, историки и – не в малом количестве – философы. Сначала кружок образовался вокруг Людвиг Галлера, который после долгого молчания и напряженного труда в Шварцвальде спустился к нам с рукописью в руках и выступил в очень узком кругу с докладом, познакомив нас со своими достижениями и проблемами в сфере метафизики; после публикации своего сочинения «Всё во всех. Металогика, метафизика, метапсихика» он, когда плыл на пароходе в Скандинавию, добровольно выбрал смерть и прыгнул в море – шаг, который можно объяснить только мистической подоплекой.

То, что философия тревожила и подхлестывала мыслящих людей, зависело и от особого умонастроения эпохи. Душевный склад человека стал объектом изучения, открылся для постижения собственными силами – как в своих способах воздействия, наложивших глубокий отпечаток на строгое научное познание, так и в своем несомненном праве на живое дополнение и наполнение того, что поддается научному изучению. Под влиянием настроений времени строгая логика обернулась строгостью психологии. Безропотное подчинение логике сменилось целым столетием самоунижения исповедями – особым чувством превосходства при констатации человеческой неполноценности.

Даже в нашем кружке, который с годами то уменьшался, то прирастал, не все хорошо знали того, чье собрание афоризмов принесет психологизирующему направлению в философии мировую известность, – Фридриха Ницше. И все же он скрытно, невидимо присутствовал среди нас. Разве не сталкивался он с той же самой взбудораженностью душ, которые внутренне переживали то, что давалось им или отнималось у них рассудком, и которые проходили через свои радости и горести посреди



самых, что ни на есть, материальных испытаний духа? И разве не гений Ницше придал этому выразительную мощь? Разве не потому слились в нем воедино поэт и ученый, что душевные потрясения и тяготы побуждали его к невероятному напряжению сил?

Однако наряду с тем, что обеспечило идеям Ницше такой огромный резонанс в духовной жизни той эпохи, да и последующих эпох, обозначилась несхожесть с воззрениями наших тогдашних друзей. Как бы по-разному они ни относились к существенным для них вопросам – в одном они были едины: в оценке своей объективности, в стремлении отделять свое душевное волнение от познающей воли, от достижений науки, видеть в этом волнении только свое личное дело.

Что касается Ницше, то его душевное волнение, глубина его страданий превратились в плавильную печь, в которой обретала форму воля к познанию; таким обретением формы в калильном жару можно считать его Полное собрание сочинений; поэзия здесь существеннее его истин, которые он не считал неизменными, но в то же время с почти женской увлеченностью полагал, что теоретически все они принадлежат к одному направлению. Вплоть до его пророчеств, до учения Заратустры, до идеи сверхчеловека и Вечного возвращения, где он сам расщепляет себя на великого страстотерпца и великого властелина – Бога. До того момента, когда можно было сказать, что он достиг своего в «поэзии и правде»; но затем исследователь в нем ставил себе предел, отрекался от себя, опускал перед собой занавес, который его страждущая и жаждущая определенности душа разрисовала столь грандиозно и столь причудливо, что он никогда более не поднимался и не давал свободы взгляду.

Для меня, как и для многих других, именно это противоречие между Ницше и нами было самым благотворным из всего, что меня тогда окружало: здесь был здоровый, чистый климат, к которому я тянулась и который делал Пауля Рэ моим духовным товарищем даже тогда, когда он трудился над своим, в общем-то, не очень глубоким сочинением «Зарождение совести», а я, погруженная в работу



духа, была внутренне ближе к некоторым членам кружка, чем к нему. (Назову, к примеру, Фердинанда Тённиса* и Германа Эббингауса**)...

Судьба свела меня с Паулем Рэ не на короткое время, а навсегда. Наша решимость не бояться неодолимых противоречий напрямую зависела от его душевного склада, благодаря которому он стал для меня благороднейшим, единственным спутником из тысяч других. Многое из того, что я по своей неопытности и наивности считала естественным и само собой разумеющимся, было исключительным свойством его натуры; я имею в виду в первую очередь его неизменную доброту; я сначала и не догадывалась, что она покоится на его тайной ненависти к самому себе, что его абсолютная преданность человеку совершенно иного склада «самоотверженно» воспринималась им как радостное избавление от собственных комплексов. И действительно, Пауль Рэ из меланхолика и пессимиста, который в юности заигрывал с мыслями о самоубийстве, превратился в уверенного в себе, веселого человека; его юмор давал себя знать во всем, и если от пессимизма еще кое-что оставалось, то проявлялось это в любезном отношении к людям, в том, что из повседневных разочарований, раздражавших или удивлявших других, он старался замечать только те, которые опровергали его мрачные ожидания. Поэтому невротическая подоплека его характера оставалась для меня скрытой, хотя он сам часто с грустью признавался во всевозможных пороках. Только когда мне еще раз довелось увидеть, как он предается своей страсти игрока, – для меня прояснилась связь между Ре-игроком, каким я впервые увидела его в Риме, и его подлинной натурой, какой она представляется мне сегодня. Еще и сегодня меня охватывает грусть при мысли, какое облегчение испытал бы он, пояись учение Фрейда о глубинной психологии

* Тённис, Фердинанд (1855–1936) — немецкий социолог, один из родоначальников профессиональной социологии в Германии, основатель «понимающей социологии», сторонник «формальной социологии».

** Эббингауз, Герман (Эббингауз) (1850–1909) — немецкий психолог-экспериментатор. Занимался изучением закономерности запоминания для чего разработал метод бессмысленных слогов. Основной труд – монография «О памяти».



несколькими десятилетиями раньше и испытай он его на себе. Он не только обрел бы самого себя, но ощутил бы потребность, как никто другой, посвятить себя служению этому великому открытию нового столетия; только оно смогло бы до конца развить его интеллектуальные возможности.

Внешних препятствий на нашем пути встречалось немало, но мы беззаботно и безмятежно шли своей дорогой; куда бы ни вела эта дорога, она, как нам казалось, никогда не разойдется со стезей нашей собственной жизни. Недоразумение возникло из-за того, что я сделала шаг в сторону другого человека, не сообщив – ради этого другого – Паулю Рэ правду об этом поступке. Пауль Рэ увидел в этом шаге доказательство внутренней готовности к разрыву и сделал свой вывод, обернувшийся позже ненавистью. Он не подозревал, что никогда – ни до того, ни после – я даже близко не испытывала такой нужды в нем, как в тот момент. Ибо давление обстоятельства, из-за которого я совершила этот необратимый поступок, разлучило меня не только с ним – разлучило с самой собой.

Когда я обручилась с Андреасом, это обстоятельство не должно было что-либо изменить в нашем союзе. С этим – как с неизбежным фактом – пришлось примириться моему будущему мужу. Пауль Рэ тоже сделал вид, что верит, будто мое обручение нас не касается; но чего ему очень не доставало, так это веры, что он действительно может быть любим... Поэтому, несмотря на наше откровенное объяснение наедине (он поставил условием некоторое время не видеть моего мужа и не разговаривать с ним), в наших отношениях появилась трещина. Пауль Рэ тогда взялся за изучение медицины и жил один, так как ему нужно было с раннего утра работать в анатомичке (мы даже подумывали, не заняться ли медициной и мне, но со смехом убедили себя, что это едва ли нужно двоим, которые намерены никогда не расставаться).

Тот последний вечер, когда он ушел от меня, всегда будет гореть неугасающим огнем в моей памяти. Он ушел поздно, спустя несколько минут вернулся, сказав, что на улице проливной дождь. Побыв немного, ушел снова, но вскоре еще раз вернулся, чтобы взять какую-то книгу.



Когда он ушел, уже наступило утро. Я выглянула в окно и застыла в изумлении: над сухими улицами с безоблачного неба светили тускнеющие звезды. Отвернувшись от окна, в свете лампы я увидела свою маленькую детскую фотографию, подаренную мной Рэ. Рядом с ней лежал клочок бумаги, на котором было написано: «Будь милосердна, не ищи».

Исчезновение Пауля Рэ пришлось, как и следовало ожидать, по душе моему мужу, лучший вариант трудно было придумать, хотя он деликатно молчал об этом. Зато я в течение многих лет не могла избавиться от чувства вины за то, чего – я это знала – не должно было случиться. Когда по утрам я просыпалась в тоске, значит, во сне что-то помешало нам с Паулем встретиться. Самый жуткий сон был такой: я среди друзей, они радостно кричат мне, что и Пауль с ними. Я осматриваю их всех и, не обнаружив Пауля, заглядываю в гардеробную. Там я вижу незнакомого толстяка, он спокойно, сложив руки на животе, сидит, прячась за вешалкой. Заплывшие жиром глаза почти не видны, черты лица едва различимы, кажется, будто это и не лицо вовсе, а застывшая маска. «Не правда ли, – довольным тоном говорит он, – таким меня никто не найдет».

Пауль Рэ закончил начатый курс медицины; позже он удалился в Челерину, что в Верхнем Энгадине, где стал лечить бедняков. Во время прогулки в горах, недалеко от Челерины, он сорвался и разбился насмерть...

2

Фридрих Карл Андреас*, по материнской линии внук северонемецкого врача, человека высокой духовной культуры, переселившегося на Яву и женившегося на малайке, красивой, мягкой и очень любимой им женщине, – соединил

* Андреас, Фридрих Карл (1846–1930) – выдающийся немецкий лингвист, востоковед, иранист. Представитель древнего армянского царского рода Багратуни.



в себе Запад и Восток уже фактом своего рождения; его мать, со своей стороны, связала свою судьбу с жившим в Исфагане армянином из княжеского рода Багратиони; по обычаю персидских межродовых распрей побежденная сторона меняла фамилию, в данном случае в качестве фамилии было взято имя Андреас. Когда маленькому Андреасу исполнилось шесть лет, его отец перебрался в Гамбург; четырнадцатилетнего сына он отдал в гимназию в Женеве, где тот обратил на себя внимание пылким честолюбием и – наряду с музыкой – усиленным изучением языков. В немецких университетах он сосредоточил свое внимание на востоковедении, а именно на иранистике, в 1868 году защитил диссертацию в Эрлангене, два года прилежно занимался специальными предметами в Копенгагене, пока, из-за войны 1870 года, не вернулся домой. К концу войны он отправился в Киль, чтобы усовершенствовать познания в персидской письменности и языке, но закончил свои исследования только в 1882 году, так как его в качестве сопровождающего послали с экспедицией в Персию. Это полностью соответствовало его желанию, он мог соединить свои научные изыскания с личным опытом и впечатлениями от Востока, но, с другой стороны, в нем возник разлад между преследующим свои цели европейцем и человеком, стремившимся на досуге впервые в жизни вернуться на Восток, на свою родину. Но то, чему так благоприятствовала судьба, не увенчалось успехом. Он отправился вслед за экспедицией с большим опозданием, она давно уже была в пути, но задержался в Индии, где ему удалось сделать ценные наблюдения и находки, не имевшие, однако, ничего общего с тем, ради чего он был послан; его поведение вызвало возмущение, первые отчеты Андреаса из Персии тоже не встретили понимания, и его отозвали. Чашу терпения переполнил его темпераментный, источавший ненависть официальный ответ на предложение вернуться, после чего он продолжал упрямо и напряженно работать в Персии без финансовой поддержки государства. Шесть лет длилось его пребывание в Персии, большей частью это были годы горькой нужды. После возвращения, к которому его вынудила болезнь глаз, нажитая во время изучения надписей



при ярком солнечном свете, он влачил жалкое существование, давая обременительные для него частные уроки, пока в Берлине не открылся семинар по востоковедению, где ему предложили должность профессора. Но вскоре он лишился и этой работы вследствие интриг – его упрекали в том, что и здесь он не соответствовал поставленной перед ним цели и выходил за рамки своей задачи, которая заключалась не в подготовке ученых, а в обучении дипломатов и заинтересованных в практических результатах торговых людей; это было тем более необоснованно, что его аудитория состояла только из ученых, для которых он был прирожденным наставником.

Главная опасность этих обусловленных давлением внешних обстоятельств недоразумений заключалась в том, что они высвечивали внутренний разлад, свойственный его натуре; ибо даже там, где он без всяких помех мог отдаться исследовательской работе, перед ним вставала другая преграда: путь рационального доказательства казался ему бесконечным, так сказать, не имеющим конечной точки в сравнении с внутренней очевидностью, которой в его глазах с самого начала почти таинственным образом надеялись предметы научного исследования.

Только тот, кто всесторонне и глубоко знал моего мужа, кто любил его за характер и темперамент, мог бы догадаться, что означают слова – «давление обстоятельств».

Причиной, вызвавшей это давление, была неодолимая сила, жертвой которой стал мой муж. Неодолимая, ибо она не только заявляла о себе могучими зовами инстинкта, но и была одновременно неизбежной реальностью. И свое полное воплощение нашла не в уговорах – она сама воплотилась в моем муже, в его телесной конституции. Бессмысленно рассказывать об этом тому, кто не сталкивался с особенностями, которых я не встречала ни у кого больше, кроме моего мужа. Почти столь же нелепо сравнивать это с воздействием чего-то чрезмерного, жестокого, какого-то громадного, не останавливающегося ни перед чем создания – или чего-то очень нежного, совершенно беспомощного, напоминающего птенца, раздавить которого, отринуть в его наивной доверчивости выше наших



сил. Примечательно, однако, что эти неуклюжие, скверные сравнения произвольно берутся мной из тварного мира. Но эти примеры дают представление о том, насколько ограничены критерии человечности.

У меня осталось впечатление, что Андреаса совсем не интересовали тогдашние мои чувства, которые, как, например, эротическое возбуждение, могли бы подвигнуть на безрассудный шаг; наоборот, он строго отделял одно от другого. Что до моих чувств, то я относилась к этому совсем не по-женски; мое отношение к нему в этом вопросе было таким же нейтральным, как и к спутнику моей юности. Но там это основывалось на чем-то, что хотя и проявлялось почти незаметно, но все же отделяло чувство самой глубокой дружбы от любви, ибо чувствами мы – сильнее или слабее, но все же воспринимаем телесную чуждость. Здесь же о чем-то подобном не могло быть и речи: ни в самом начале, ни в последующие десятилетия.

По-видимому, тут могли действовать другие причины: та известная очень многим женщинам стесненность, которая яснее и лучше всего истолкована в психоанализе. Однако опыт моей поздней молодости опровергает верность таких умозаключений.

Что бы об этом ни думали другие, мой муж тогда был уверен, что подобные «девические выдумки со временем пройдут». Однако «со временем» это обернулось всей жизнью и более того – вобрало в себя даже смерть, чего муж просто не принял в расчет.

Эта потребность в целокупной жизни занимала меня в куда большей степени, нежели упомянутый особый вопрос, на который я так и не дала ответа; меня еще переполняла скорбь по исчезнувшему спутнику; я поставила условием своему мужу, что не расстанусь с другом молодости, и он, будучи готовым на все, в конце концов согласился с этим.

Когда задумываешься над тем, насколько он был старше и опытнее меня и насколько я сама была наивнее и ребячливее в сравнении со своими сверстницами, то его надежды и несокрушимая уверенность кажутся почти чудовищными.



Но мы оба недостаточно знали меня, мою «натуру» или как еще можно назвать то, что без нашего ведома управляет нашими поступками. Девические представления или серьезно и основательно выработанные позже воззрения, которых я придерживалась, не играли для меня решающей роли. Эту сложную проблему я хочу объяснить на примере из совсем другой области, о чем уже рассказывала в своих воспоминаниях, – на примере своего выхода из лоно церкви. Выход этот не был для меня проявлением своеволия или, тем более, фанатизма правдолюбия, я боролась с этим побуждением, которое неизбежно повергало в печаль моих родителей и приводило к скандалу, боролась не только рассудком – я, так сказать, «морально» осуждала свое возможное поведение как форму экзальтации. В сущности, решала тогда не я, решал приснившийся мне ночью сон, когда я на церемонии конфирмации громко крикнула: «Нет!» Не скажу, будто проснувшись, я убоялась, что поступаю точно так же и наяву; скорее, я только тогда окончательно поняла, насколько невозможно добиться от меня требуемого даже для проформы.

То, что мы считаем своими мотивациями и убеждениями, как бы ни были мы озабочены чистотой взаимосвязей между ними, при определенных обстоятельствах оказывается совершенно не имеющим для нас значения и напоминает паутину в пору бабьего лета, которая рвется и улетает от малейшего дуновения ветра. Когда вдруг поймешь это, жизнь может резко измениться.

И вот однажды мы оба пришли к такому пониманию, хотя в тот момент хранили молчание и так никогда больше и не осмелились затронуть эту тему. Быть может, его подтолкнуло внезапное решение застать меня врасплох, овладеть мною. Я, во всяком случае, проснулась не сразу. Меня разбудил какой-то звук, слабый, но с таким странно резким оттенком, что мне показалось, будто доносится он из бесконечности, с другой планеты... К тому же у меня было такое чувство, что мои руки не со мной, а где-то надо мной. Я открыла глаза и увидела, что руки мои сплелись на чьем-то горле... Они сильно сдавили его и душили.



Странный звук был хрипом. То, что я увидела над собой, глаза в глаза, я не забуду до конца дней своих... Я увидела лицо...

Позже мне часто вспоминалось, как незадолго до нашего обручения на меня чуть не пало подозрение в покушении на убийство... Возвращаясь вечерами домой, в свою квартиру, которая находилась довольно далеко, Андреас носил с собой короткий, тяжелый перочинный нож. Нож лежал на столе, за которым сидели Андреас и я. Спокойным движением он взял его и вонзил себе в грудь. Я, не помня себя, выскочила на улицу и бегала от дома к дому в поисках хирурга. Следовавшие за мной люди спрашивали, что случилось, и я отвечала, что человек упал и наткнулся на нож. Пока врач обследовал лежавшего на полу без сознания Андреаса, несколько брошенных им вскользь слов и выражение лица дали мне понять, кого именно он подозревает в преступлении. Он не поверил мне, но в дальнейшем вел себя тактично и оставался любезен. При ударе нож выскользнул из руки и сложился треугольником, поэтому лезвие не задело сердце, но рана долго не заживала...

Это был не единственный случай, когда мы, оказываясь на грани смерти, решали свести счеты с жизнью и улаживали свои дела с ближними, прежде чем навсегда покинуть этот мир. Нас обоих в одинаковой мере охватывало чувство беспомощности и отчаяния.

Правда, это были всего лишь часы и мгновения, по которым нельзя судить о наших переживаниях в другое время. Нас ведь многое связывало: одинаковые склонности, сходное направление мыслей. Обычно – так мне кажется – эту сторону сильно переоценивают; да, такого рода близость наводит мосты, доставляет много радости и наделяет чувством деловой общности, но не менее часто она лишь прикрывает несходство, расхождения между людьми – и скорее сглаживает острые углы, нежели помогает лучшему взаимопониманию и более тесному сближению.

Само собой разумеется, я с самого начала старалась приспособиться к тем нормам поведения, которые



соответствовали его жизненной цели. Я даже была готова оставить Европу, когда на первых порах у нас появилась возможность отправиться в Армению, туда, где находится монастырь Эчмиадзин. Наш образ жизни тоже все больше и больше отвечал запросам моего мужа; как и он, я стремилась к простоте в одежде и пище и к жизни на лоне природы; вопреки своим изначальным северным привычкам я решительно переменилась и осталась такой до конца жизни. Была еще одна область, где мы с мужем сразу нашли общий язык и на чем сошлись наши интересы: мир животных. Этот мир еще-не-человеческого потрясает нас смутным ощущением, что в нем наша человеческая сущность раскрывается в своем ядре более незамутненно, нежели мы сами обнаруживаем во всех осложнениях своей жизни. Мы с Андреасом совершенно одинаково относились к любому животному, но когда дело касалось отдельно взятого человека, наши взгляды чаще всего кардинально расходились.

В противоположность воинственно-деловой целеустремленности мужа моя готовность к приспособлению была частью моей натуры, чуждой тщеславию и не знавшей конкретной цели. Я даже не могла бы сформулировать, что для меня является крайне необходимым и главным, потому, видимо, что для достижения этого мне не требовалось напрягать внимания и прилагать усилия. За какое бы дело я ни бралась, оно, если все шло как надо, непременно должно было привести к главному. К этому, правда, надо присовокупить тайное отчаяние, от которого я – каким бы ни было мое поведение – так окончательно и не избавилась. Разница между моим нынешним и прежним поведением – не относительно спутника моей молодости, а относительно моих спутников вообще – заключалась, собственно, в том, что если прежде вопрос, можно ли идти вместе с тем или иным из них одной дорогой и как далеко следует заходить по ней, казался мне до известной степени безобидным, имеющим разумный ответ, то позже вопрос этот едва ли имел для меня значение – по причине невыполнимости обязательств, которые я на себя возлагала.



Вследствие этого любая духовная деятельность, которой я занималась, обретала чрезвычайную самостоятельность. Работа становилась самоцелью, желанным делом, которое требовало самоуглубления и одиночества; она не имела отношения к нашей совместной жизни и к проблемам, которые эта жизнь перед нами ставила. Все то, что называют притиранием друг к другу, у нас практически отсутствовало. Поэтому годы, в конечном итоге четыре десятилетия, не принесли слияния интересов – но и не вынудили каждого из нас отступить от того, что составляло смысл нашей жизни.

Все это вряд ли объяснимо только на понятийном уровне, и все же было бы неверно видеть здесь отсутствие близости, которое с годами только нарастало. Доказательством мог бы послужить небольшой эпизод, который произошел незадолго до того, как муж вступил в последний год своей жизни. Тогда, поздней осенью, я заболела и около полутора месяцев пролежала в клинике, а так как с четырех часов дня я продолжала свои занятия психоанализом, муж получил разрешение посещать меня до трех часов – официальное время посещения строго ограничивалось. Для нас было совершенно внове вот так сидеть друг против друга: мы, не знаящие, что такое семейные вечера «при уютном свете лампы» и даже во время прогулок старавшиеся не мешать друг другу, очутились вдруг в совершенно необычной для нас ситуации, которая нас просто захватила. Мы растягивали и берегли минуты, как некогда во время войны люди, чтобы выжить, берегли хлеб насущный. Свидание за свиданием проходило так, словно встречались после долгой разлуки возвратившиеся издалека люди; нам самим тогда пришло на ум это сравнение и придало насыщенности этих часов оттенок тихой радости. Когда я, наконец, встала на ноги и вернулась домой, эти «больничные посиделки» невольно стали повторяться, и не только между тремя и четырьмя часами.

Среди тех, кто в то время интересовался литературой и политикой, мы после нашего бракосочетания встретили человека, который был замечен и отмечен нами обоими. В первый момент, что часто случается, я пропустила мимо



ушей его фамилию, как, впрочем, и он мою. Когда этот человек представился еще раз, я заметила, что он внимательно рассматривает мои руки; я уже собиралась, было, спросить, что это его так заинтересовало, как он сам резким тоном задал мне вопрос: «Почему вы не носите обручальное кольцо?» Смеясь, я ответила, что в свое время мы не удосужились обзавестись кольцами, да так все и оставили... Тон его, однако, не изменился, когда он осуждающе произнес: «Но кольцо надо носить обязательно!» В этот момент кто-то, шутя, спросил у него, понравилась ли ему «летняя прохлада в Плетцензее», где он только что отбыл срок за оскорбление Его Величества. Я нашла забавным – и не скрыла этого – что именно из его уст исходит такой высоконравственный упрек в мой адрес, но он так и остался в дурном расположении духа, хотя до этого был общителен и разговорчив.

Его звали Георг Ледебур*. Он был старше меня на одиннадцать лет. Его леворадикальные политические цвета были известны. Член Рейхстага в 1900–1910 годах, издатель марксистской газеты «Форвартс». Во время войны голосовал против военных кредитов, принимал участие в революции 1918 года, встречался с Троцким, в 1933 году эмигрировал в Швейцарию.

Вскоре мы подружились, и, спустя несколько недель, когда мы вместе возвращались с одного собрания, он признался мне в любви, сопроводив свое признание непонятными для меня, но, видимо, долженствующими извинить его словами: «Вы не женщина, вы – девушка».

Мой испуг, вызванный этим его неведомо откуда взявшимся знанием, настолько подавил все остальные чувства, что – не только в тот момент, но и позднее – я так и не смогла осмыслить свое отношение к этому человеку. Вполне возможно, что и я испытывала к нему ответное чувство; но пока оно подспудно вызревало во мне, его

* Ледебур, Георг(1850–1947) – деятель германского рабочего движения, социал-демократ. По профессии адвокат. В 1900–1918 и 1920–24 – депутат рейхстага. В период 1-й мировой войны 1914–18 – центрист, примыкал к правому крылу Циммервальдского объединения. В 1917 – один из основателей и лидеров Независимой социал-демократической партии Германии (НСДПГ).



напрочь вытеснило другое – чувство страха, быть может, даже более сильное, чем то, которое испытывает высоконравственная мужняя жена, когда замечает, что неожиданно для себя начинает влюбляться в другого. Ибо верность брачному таинству или общепринятым условностям значила для меня много меньше в сравнении с той нерасторжимостью, которая ради природы и характера моего мужа исключала всякое разъединение.

Довольно быстро я снова столкнулась с тем самым страхом, который мы однажды уже испытали накануне нашего «торжественного обета верности на вечные времена». Возбужденное состояние мужа, который не был слепым, но, тем не менее, предпочитал быть им, когда жаждал уничтожить соперника, а не поговорить с ним, стало обычным явлением нашей жизни. Отсюда, в свою очередь, во мне рождалось иное отношение к этому сопернику, чем просто влюбленность: это было желание убежать от ужаса, перед которым я была бессильна и который превращал наши дни и ночи в муку. То, как Георг пытался помочь мне в редкие часы наших встреч, с истинным дружеским участием и благородством помыслов, навсегда оставшихся в моей памяти, было избавлением от почти невыносимого одиночества. Но этим дело не кончилось: волнения и опасения друга по моему поводу возбуждали его самого и доводили до крайностей, которые растравляли мои раны и угнетали и терзали меня не меньше, чем поведение мужа.

Насколько он не уступал мужу в силе ненависти, еще раз проявилось двадцать с лишним лет спустя. Крайне озабоченная политическими преследованиями своих родственников в России, я в кратком запечатанном письме попросила его навести справки и помочь советом. Он узнал мой почерк по написанию своего имени и слов «чл. Рейхстага». Письмо вернулось с почтовым штемпелем: адресат отказался принять.

Когда-то все закончилось тем, что я уступила требованию мужа не встречаться с Ледебуром. Но истинное значение этого приключения для нашего брака заключалось в том, что оно показало полную невозможность дальнейшего продолжения нашего союза. О разводе, как и раньше,



не могло быть и речи, и то, почему муж исключал этот вариант, очень характерно для его образа мыслей: он говорил не о надежде на будущее, не об ошибках прошлого, которые еще можно было бы исправить, а, вопреки всему, о приверженности тому реальному положению вещей, которое между нами сложилось. В памяти моей навсегда запечатлелся момент, когда он сказал: «Я не могу перестать знать, что ты моя жена».

После месяцев мучительной совместной жизни, прерываемых расставаниями, которые помогали справиться с одиночеством вдвоем, утвердился новый взгляд на вещи. Внешне не изменилось ничего, внутренне – все. Последующие годы были заполнены многочисленными путешествиями.

Однажды, в минуту трогательного примирения, я спросила у мужа: «Хочешь, я расскажу тебе, что со мной случилось за это время?» Быстро, без колебаний, не оставив ни секунды для другого слова, он ответил: «Нет». С тех пор между нами и тем, что нас связывало, повисло тяжелое, упорное молчание, которое нам так никогда и не удалось преодолеть.

Причина заключалась не только в особом складе моего мужа, но и в мужском характере вообще, какими бы разными ни были конкретные поводы для такой реакции. Много лет спустя ответ одного моего друга на подобный вопрос после того, как я по совершенно невинной причине долго не могла с ним встретиться, был почти таким же – не вникая в суть дела, он, на мое предложение все объяснить, на минуту задумался и решительно ответил: «Нет. Я не хочу этого знать».

Из-за нашей привычки к уединенной жизни о нас могли думать все что угодно; должно быть, люди по своему обыкновению полагали, что муж мне неверен или я неверна ему. Никто и вообразить не мог, с какой страстью в любой период моей жизни я желала, чтобы у моего мужа была жена или ласковая, добрая, прекрасная возлюбленная.

Что до меня самой, то, вероятно, предыдущие борения и конвульсии, слишком грубо подавлявшие нарастающую тоску, способствовали тому, что впоследствии любовь



встретилась на моем пути тихо и незаметно, как нечто само собой разумеющееся. Я приняла ее не из строптивости, без какого бы то ни было чувства вины, а как благодать, благодаря которой мир обретает совершенство – не только мир отдельного человека, но мир вообще, сам по себе. Свершаются события, приход которых неотвратим и одобрен помимо нашего к ним отношения; нам остается только принять их, не прилагая к этому никаких усилий.

Поэтому совершенно недопустимо сравнивать или измерять силу и продолжительность подлинной страсти: заполнила ли она собой целую жизнь и навсегда вошла во все ее практические дела или же допускались повторения. Первое можно воспринимать как нечто до непостижимости великолепное и при этом скромно осознавать собственную неполноценность, так как именно в этом случае все особенности любви легче поддаются как субъективному, так и объективному анализу и оценке. Но мы так мало знаем о тайне любви вообще именно вследствие нашей ограниченности чисто личностным моментом – вследствие того, что понимаем любовь только как любовь к определенному человеку. Взаимодействие между тем, что есть в нас человеческого, сугубо человеческого, и тем, что страстно тянется к сверхчеловеческому, искажается в наших оценках явлений, о которых сердце никогда еще не говорило разуму всей правды.

Поэтому разуму не остается ничего иного, как попытаться проникнуть в тайны телесных процессов, которые в результате таких попыток лишь до крайности опошляются. Но не обстоит ли с ними дело точно так же, как с вином и хлебом святого причастия, которое благоразумно прибегает к вполне материальным питью и еде ради того, чтобы быть? Человек, которому отдана наша любовь, независимо от степени духовной и душевной растроганности обоих, остается священнослужителем в церковном облачении, который едва ли сам догадывается, какому Богу он служит.

...Поздно, но все же на целых два с половиной десятилетия моему мужу досталась профессорская должность в Гёттингене. То, что пятнадцать лучших лет своей жизни он провел без талантливых учеников (например, когда



в Берлине обучал немецкому языку турецких офицеров), было для него смерти подобно. Только в Гёттингене он пережил высочайший взлет благодаря контактам с одаренными учениками – он значил для них больше, чем просто учитель или поучающий друг. Ученики были для него пашней, которую он засеивал своими богатейшими знаниями – безошибочно, не ведая сомнений, как умел делать только он. Один из его коллег, знавший его со времен юности, так выразился о моем муже после его смерти: «Того, кто оказывался среди его учеников, он крепко держал в руках, требуя верности себе; зато каким заботливым наставником был он этим людям!»

Мне вспоминается один характерный эпизод, случившийся в первые годы после нашего бракосочетания. Мы приобрели в качестве сторожевой собаки огромного водолаза, и однажды летней ночью мой муж крался из сада к входной двери, чтобы проверить, почувствует ли еще не привыкший к нему пес в нем хозяина или вора; он крался обнаженным, таким собака его еще не видела. Крался он так осторожно и ловко, с таким самозабвенно серьезным лицом и так напоминал подбирающегося к своей жертве хищника, что оба (это трудно выразить словами) походили друг на друга, как две тайны. Внутренняя драма, терзавшая собаку, эта борьба «за или против», так захватила Андреаса, что он, казалось, уже не играл, а весь отдавался двойному желанию в себе, ибо ему и впрямь хотелось, чтобы его новый товарищ не только охранял, но и любил его. Собака страшно напряглась, но все же с блеском выпуталась из этой ситуации: угрожающе ворча, она отступила назад. Невероятно довольный таким исходом своей затеи, муж громко рассмеялся и принялся восторженно обнимать прыгнувшего ему на плечи пса.

Впрочем, уход на пенсию мало что изменил в его жизни: ученики и зарубежные коллеги, с ним работавшие, его не оставили. Однажды его едва не пригласили работать в Берлин, но приглашения так и не последовало из-за того, что готовившуюся к публикации работу нужно было завершить быстрее, чем полагал возможным мой муж. Вообще требования, которые невольно встают перед



авторами работ научно-публицистического характера, помимо счастья заниматься любимым делом, доставляли Андреасу еще и немалую толику раздражения, которое рождалось из естественного желания возложить ответственность за свою медлительность на какие-нибудь внешние помехи; так, например, в нем разгорелась почти безмерная по интенсивности ненависть к хозяину расположенного напротив трактира, из которого к нам доносился звук (правда, весьма слабый) патефона.

Полностью отдавая себе отчет в недостатках его своеобразной личности, нельзя пройти и мимо того, что именно эта своеобразность подарила ему прекрасную молодость и сохранила в нем юношеский задор. Над чем бы он ни работал, все было овеяно мыслями о будущем; о благословенном или обреченном будущем, но о будущем вне каких бы то ни было временных рамок. Иногда он чувствовал себя беспомощным, иногда работал, не зная усталости, иногда впадал в состояние беззаботного ничегонеделания, но всякий раз его внутреннее содержание обновлялось с такой силой, какую я не встречала больше ни у кого. Даже в преклонном возрасте все оставалось прежним: годы согнули плечи, он хуже слышал, но седая голова придала его облику большую выразительность, а темные глаза, вопреки синим старческим кругам под ними, казались, обрели еще большую пронизательность, точно их сиянию мало было одной только темной глубины.

Я во всех подробностях помню его семидесятилетие. Празднование, устроенное официальными лицами и друзьями, застало его врасплох, тем более что его шестидесятилетие и шестидесятипятилетие невозможно было отметить столь торжественно в силу тогдашних исторических потрясений. Его, ложившегося спать только под утро, в буквальном смысле слова подняли с постели. С каким внутренним волнением он стоял тогда среди собравшихся, отвечая экспромтом произнесенной речью на поздравления, на слова искреннего восхищения – и на деликатные напоминания тогдашнего ректора университета, что от него еще много ждут. Пылко и убежденно Андреас набросал картину того, что вообще в состоянии дать наука;



в грядущие десятилетия ему виделось уже начинавшееся взаимодействие филологических дисциплин по примеру естественнонаучных... Кое-кто многозначительно улыбался, у других на глазах выступили слезы...

Я всегда живо интересовалась его внутренней жизнью, но она никогда не была темой наших разговоров. Мне кажется, в течение многих лет мы затрагивали ее лишь дважды. Нам была свойственна эта манера: не смотреть друг другу в глаза, а жить, как бы повернувшись друг к другу спиной; взаимоотношения наши менялись, но манера эта сохраняла свою немудреную и неизменную основу. Кроме того, мои занятия были сопряжены с молчанием, поскольку то, что я узнавала во время психоаналитических сеансов о переживаниях других, не предназначалось для пересказа; к тому же своими рассказами я легко могла отвлечь мужа от главного дела его жизни. Абсолютная свобода, с которой каждый из нас отдавался своему делу, в то же время осознавалась нами как общность, которую мы старались сберечь; пожалуй, можно даже сказать: элементарное уважение друг к другу, к которому мы, в конечном счете, пришли, воспринималось нами как общее достояние и взаимная защищенность. Ибо об одном только муж проявлял удивительную заботу, даже если был очень занят: чтобы другой уверенно и радостно шел своим путем. В доказательство приведу запомнившийся мне случай. В виде исключения я начала сочинять рассказы – урывками, так как с началом занятий психоанализом я совершенно отошла от прежнего своего увлечения, и необходимость концентрации в том и другом случае заставляла меня с головой погружаться в работу; терзаясь угрызениями совести, я потом со смехом восклицала: «Наверняка все это время я была ни на что не годна и невыносима!» На что муж с таким просветленным лицом, которое невозможно забыть, отвечал с ликованием в голосе: «Ты была такой счастливой!»

В том, что мы могли радоваться успехам друг друга, была не только доброта, как бы сильно она ни проявлялась. Способность радоваться за другого, эта замечательная его черта, всегда означала, что он относится к другому



как к равному себе, понимая, что в обоих действует одна и та же первопричина. Отсюда мощное, впечатляющее выражение на лице, которое у него появилось, – выражение открывшейся ему реальности. Даже и сегодня, вопреки смерти, о которой он никогда не думал, которая никогда его не интересовала, это выражение находит свое продолжение во мне: каждый раз, когда я погружаюсь в глубочайшие глубины своего естества, я встречаюсь с этой способностью радоваться вместе с другими. Быть может, именно он научил меня этому, когда, несмотря ни на что, признавал правоту каждого из нас?

Не было ли восхищавшее меня выражение его лица связано с тем, что оно отражало знание некоей конечной истины? Не знаю. Прости, прости: не знаю. Но в такие мгновения радости мне казалось, что они, эти мгновения, знают это лучше меня.

...Я гляжу из окон на фруктовый сад и представляю, как Андреас, закончив работу, еще раз обходит его; это случается летом, в предрассветные сумерки, перед отходом ко сну. Чаще всего он еще переполнен научными проблемами, за решением которых забывал обо всем на свете, радостно отдаваясь своему тяжелому труду. Но видела я нечто совсем другое, видела, как он, пробираясь неслышной звериной поступью по саду, будил черных дроздов, так ловко подражая их голосам, что они тихо отвечали ему и вдруг затевали свою улаждающую слух болтовню; слышала, как петух, крепко спавший в курятнике, с задорным тщеславием старался перекрычать кукареканье чужака-соперника.

Человек, который умел искусно подражать голосу дрозда и петуха, делал это не просто столь же основательно, как и все, чем он занимался за письменным столом; то и другое казалось ему одинаково важным и нужным, среди птиц он был как бы в обществе равных себе.

Вспоминая о тебе, я думала не о том, что миновало, а о том, что ждет впереди. Не поминовением усопшего это было, а постижением жизни...



Я бы хотела вскользь упомянуть и о «литературном» периоде моих трудов и дней. Он начался, пожалуй, с того, что муж познакомил меня с новеллистом Вильгельмом Бельшем*. Тот, в свою очередь, ввел меня в кружок литераторов Фридрихшагена. Благодаря новым друзьям я свела знакомство с Герхартом Гауптманом** и его женой Мари, Арно Хольцем, братьями Харт, позже – Августом Стриндбергом***. Литература как таковая меня не особо интересовала (русские писатели интересовали в ином, нелитературном смысле), я была довольно неискушенной в этой области, особенно в аспекте красот стиля. Но извечная привычка доводить все свои увлечения до конца вскоре сделала меня довольно известным литератором. В противовес официально признанной литературе, представляемой писателями, чьи имена вряд ли много скажут современному читателю, мы с моими друзьями создали движение так называемого натурализма. Мы хотели кардинально обновить литературу, самые основы творчества. Что поражало меня больше всего, так это взрыв человеческого участия, его радостный разбег: веселая жизне-радостная энергия, бурная молодость и оптимизм убеждений, – и ничего из этого не было утрачено, несмотря на тот факт, что все это движение воплощалось и пропагандировало себя посредством наиболее печальных и трагических тем, которые его участники пропускали через свою душу, чтобы иметь возможность и право провозглашать новый дух.

Местом наших бурных встреч была избрана корчма «Под черным поросенком». Там царил злой демон – поляк Станислав Пшибышевский****, остро ставивший проблемы

* Бельше, Вильгельм (1861–?) немецкий романист, историк литературы, популяризатор учения Дарвина.

** Гауптман, Герхарт Иоганн Роберт (1862–1946) – немецкий драматург. Лауреат Нобелевской премии по литературе за 1912 год.

*** Стриндберг, Юхан Август (1849–1912) – шведский писатель, драматург, основоположник современной шведской литературы и театра.

**** Пшибышевский, Станислав (1868–1927) – известный польский писатель модернист, крайний индивидуалист, вождь и законодатель поэтической Молодой Польши.



пола в своей прозе, эссеистике, пьесах. Получив от меня отпор по части ухаживаний, он не преминул отозваться обо мне в форме доноса: «...пропагандировала Ницше фрау Лу Андреас-Саломе, запальчиво утверждавшая, что была единственной женщиной, с которой Ницше поддерживал отношения. А между тем Ницше не знал, как ее отогнать, и бежал от нее, как от заразы».

Видимо ореол «музы Ницше» лишил спокойствия и Герхарта Гауптмана. Но в отличие от Пшибышевского, Гауптман, «получив расчет», стал относиться ко мне с огромным уважением. Говорили, что именно я послужила прообразом Анны Махр из пьесы «Одинокие». Это не помешало мне довольно резко высказаться об этом образе в одной критической статье. Узнав об этом, Гауптман будто бы проронил: «Очевидно, я слишком глуп для Лу».

Меня волновал Ибсен. Волновал настолько, что в 1891 году я опубликовала книгу о женских характерах у Ибсена. Проблемы брака, семьи, общественных условностей, превращавших женское существование в мучительную необходимость, – и страсть, извечная женская природа, тоска по идеалу – вот темы, которые были очень близки мне. С другой стороны, например, Гедда Габлер. Она напоминала мне мстительного волка, на котором долгое время росла шкура овцы и который лишился своей хищной силы, только чтобы уберечь свою хищную душу. Обреченное на наиболее цивилизованное и обыденное существование, такое создание яростно защищает себя от любого риска; оно только играет бессильно со своей жаждой к свободе, дикости – так, как робкие руки играют с оружием. У нее нет цели, и она бы все равно не знала, как достичь ее, поэтому она вынуждена развлекать себя игрушками, которые, по крайней мере, помогают ей во время скуки, этого полнейшего отсутствия активности. Даже средний человек во всей своей обыденности более значителен, чем этот вид характера. Ибо он еще способен испытывать стремление к более свободной жизни и потому примирять мир свободы и мир ограничений – или, по крайней мере, участвовать в битве, которая ведется между ними. Единственное же подлинное совмещение



этих извечных противоположностей выражено в словах: «Свободно и ответственно»...

В таком духе была написана эта книга. Видимо, что-то в ней было такое, что заставляло издателей неоднократно ее переиздавать вплоть до 1925 года.

В 1894 году я отправилась в Париж. Там было неспокойно: убили президента Карно*, дело Дрейфуса**... Богема жила по своим законам: шумела и скандалила. Вдвоем с датской писательницей Терезой Крюгер мы поселились в одной комнате. Познакомилась с датчанином Германом Бангом*** и норвежцем Кнудом Гамсуном****. Гамсун увлек меня идеей театрализации жизни: однажды, переодевшись цветочницей, я целый день продавала на улице розы. С Франком Ведекиндом***** мы схлестнулись в одном из салонов, обсуждая границы доступности женщины. Мои рассуждения на эту тему показались ему довольно смелыми. Он пригласил меня к себе и так же смело попытался мною овладеть. Получив по физиономии, он понял, что ошибся, и на следующий день с букетом цветов пришел извиняться. Считают, что знаменитая «Лулу» создана не без оглядки на меня. Бог вещь... Но что абсолютно точно, так это то, что Ведекинд послужил прообразом героя моего романа «Феничка» – Макса Вернера.

Удивительный русский по имени Савелий, имевший частную практику в Париже, ввел меня и мою подругу Фриду фон Бюлов в круги русской эмиграции. Человек крупного телосложения, он подозревался в соучастии в покушении на Александра II. Летом 1894 года я поехала вместе с ним в Альпы; жили в шалаше, ели ягоды, пили молоко, изредка

* Карно́, Мари́ Франсуа́ Сади́ (1837–1894), французский инженер и политик, президент Франции (1887–1894).

** Дрейфус, Альфред (1859–1935) — французский офицер, еврей по происхождению, герой знаменитого процесса (дело Дрейфуса), имевшего огромное политическое значение.

*** Банг, Герман (1857–1912) — датский писатель, журналист, театральный рецензент и критик.

**** Гамсун, Кнут (1859–1952) — норвежский прозаик, драматург, поэт, публицист.

***** Ведекинд, Франк (1864–1918) — немецкий поэт, драматург, предшественник экспрессионизма.



спускались с гор вниз, в Цюрих, чтобы купить провизию. К счастью, в отличие от остальных историй, эта не имела продолжения.

Неожиданно для самой себя я украдкой, без «до свидания», уехала из Парижа, избавилась от ботинок и чулок (чего было нельзя сделать в Париже) и «оставалась весьма веселой» (из письма к подруге).

Перезимовала в Шмангендорфе. Написала текст «Еврей Иисус», на который мгновенно ополчились и иудеи, и христиане. Это меня раззадорило, захотелось поглубже заглянуть в различные религиозные практики.

Моя подруга Фрида фон Бюлов поддержала мой план поездки в Петербург, а затем в Вену. Фрида была удивительной женщиной, исследовательницей Африки, автором книги «В стране обещаний» – о колониальных отношениях, о которых она узнала после смерти брата, управляя его плантациями. Лучшей спутницы было не придумать. В Петербурге мой умирающий брат Евгений рассказывал нам, как он по просьбе матери хотел меня вытащить из «этой безумной истории» с Ницше... В Вене меня очаровал «будущий австрийский Ибсен», как писала о нем критика, – прекрасный Артур Шницлер*...

Но, странное дело: чем дальше и надольше я уходила в своих путешествиях от первоначальной точки, тем короче и быстрее я хотела вернуться. В моих перевалочных пунктах все выглядело так, словно мне хотелось остаться, но это означало, что нужно собираться восвояси. Мне надо было поскорее увидеть Андреаса, стоящего вечером под фонарем со своей любимой собачкой Лоттхен. Мне нужно было услышать ее радостный лай, мне нужно было увидеть его глаза, полные тоски и ожидания... В такие ночи мы долго не спали...

* Шницлер, Артур (1862–1931) – австрийский писатель.



ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ. РИЛЬКЕ

1

Лу. В начале 1897 года мы с Фридой фон Бюлов* поселились в так называемых «княжеских домах» на улице Шеллинга в Мюнхене; там я однажды получила по почте стихи, автор которых себя не назвал.

На одном театральном вечере Якоб Вассерман** познакомил меня и Фриду с молодым симпатичным поэтом Рене Рильке. После спектакля мы бродили всю ночь, болтали о разных пустяках. Почему-то мне показалось, что автор анонимных посланий и мой новый знакомый – одно и то же лицо. Я не ошиблась. На следующий день посыльный принес мне вот это письмо:

Рильке. ...Как это ни странно, вчера мне не впервые довелось сумерничать с Вами. В моей памяти сохранилась еще одна встреча, которая настоятельно потребовала от меня заглянуть Вам в глаза. Это было зимой, и мои чувства и помыслы, которые ветер весны обычно разносит по всему белу свету, были тогда заперты в тесной комнате и отданы тайному труду. В те дни в мои руки попал Ваш «Еврей Иисус». Не интерес вел меня все дальше вглубь этого откровения, доверие и вера шли впереди, указывая мне путь, пока, наконец, душа моя едва ли не возликовала: то, что воплотилось в моих мечтательно-эпических «Видениях Христа», в Вашем эссе было выражено удивительно ясно, с безмерной силой глубочайшего убеждения. Именно эта странная встреча припомнилась мне вчера.

Видите ли, милостивая государыня, благодаря непоколебимой скупости и не знающей жалости силе Ваших слов мое сочинение было освящено и санкционировано в моих собственных глазах. Я чувствовал себя человеком, чьи возвышенные мечты со всем, что в них есть хорошего

* известная исследовательница Африки.

** Вассерман, Якоб (1873–1934) – немецкий писатель, крупный реформатор немецкого романа.



и плохого, воплощаются в жизнь; ибо Ваше эссе относилось к моим стихам, как мечта к действительности и как желание к исполнению.

Теперь Вы понимаете, как я мечтал о нашей вчерашней встрече в вечерних сумерках? Все это я мог бы Вам сказать вчера; за чашкой чая так легко сказать несколько теплых слов, полных сердечного восхищения. Но для меня важно было другое. В ту первую встречу я был с Вами наедине и должен был остаться наедине – теперь, когда сердце мое переполнено благодарностью за то освящение. Со мной всегда так: когда человек испытывает к другому человеку благодарность за что-то для него очень важное, благодарность эта должна остаться тайной между ними.

Я надеюсь встретить Вас завтра, если Вы, милостивая государыня, сочтете возможным прийти в театр на Садовой площади. Эти слова – выражение давней, давно искавшей выхода благодарности; как особую милость воспринимает возможность высказать их – Ваш Рене Мария Рильке.

Лу. Что-то в этом юноше было такое... Но, полно, одергивала я себя. Ему 21, а тебе – 36!

Рильке. Любите ли Вы розы? Мне кажется, все розы мира цветут для Вас и благодаря Вам, и лишь по доброте душевной Вы позволяете весне присваивать их и делать вид, будто они принадлежат ей.

Неужели не я написал эти стихи в каком-нибудь сне, полном предчувствий?

...пока весь мир не рухнет ниц,
Мне оставляя лишь истому,
Лишь благодарность без границ
И лишь любви бездонный омут.

Если бы их не было, я написал бы теперь их сам. Как хорошо, что они есть. Благодаря им возникла странная ситуация: о полноте своего счастья я могу рассказать Вашими собственными словами из Вашей повести «Руфь»... И Вы поймете, как я счастлив. Не правда ли?



Лу. Совсем еще молодой Райнер, тогда еще звавшийся Рене, к тому времени уже написавший и опубликовавший, оказывается, поразительно много стихотворений и рассказов, издававший журнал «Вегвартен», по виду отнюдь не производил впечатления будущего большого поэта, каким он вскоре станет, но резко выделялся своеобычностью характера. При этом с самого начала, уже с раннего детства, он предвидел неотвратимость своего поэтического призвания и никогда в этом не сомневался.

Он родился в неблагополучной семье, которая вскоре распалась. Затем четыре года отдал муштре в ненавистном военном училище. Из-за плохого здоровья ему удалось освободиться от тягостной военной обузы. Помог небедный дядя; Рильке сдал экзамены на аттестат зрелости и поступил в Пражский университет, но затем перебрался в Мюнхен подальше от родительской опеки. Каким звездам нужно было сойтись, чтобы соединить нас?..

Рильке. Мой чистый источник! Как благодарен я Тебе. Только в Тебе я хочу видеть цветы, небо и солнце. На что Ты ни взглянешь, все становится во много раз прекраснее и сказочнее; цветок у обочины, который – я знаю это из прежних времен, когда смотрел на мир без тебя, – дрожал от холода во мху, одинокий и поблекший; озаряется Твоей добротой, чуть вздрагивает и почти касается головкой неба, что отражается в Твоих глубинах, И пыльный солнечный луч, едва приблизившись к Тебе, проясняется и рассыпается тысячами искр в светлых волнах Твоей души. Мой чистый источник! Сквозь Тебя хочу я смотреть на мир; ибо тогда я вижу не мир, а только Тебя, Тебя, Тебя!

Ты – праздник моей души. И когда я иду к Тебе во сне, в волосах моих всегда цветы. Я хотел бы вплетать цветы Тебе в волосы. Какие? Нет ни одного достаточно трогательного и простого цветка, чтобы он был достоин Тебя. В каком мае я мог бы Тебе его сорвать? Теперь, однако, я верю – на Твоих волосах всегда есть венок... или корона... Никогда я не видел Тебя иной, нежели такой, на которую мог бы молиться. Никогда Тебя иначе не слышал, как только такой, в которую мог бы верить. Никогда иначе по



Тебе не тосковал, как только думая, что мог бы вытерпеть за Тебя. Никогда не желал Тебя иначе, как только посметь бы преклонить пред Тобой колени. Я Твой, словно скипетр, являющийся собственностью королевы, – но я не делаю Тебя богатой. Я Твой, как последняя бледнеющая звездочка, принадлежащая ночи, хотя ночь о ней не знает и не догадывается о ее блеске.

Лу. Рене Мария Рильке по моему велению превратился в Райнера. Может быть, мне вспомнилось, как когда-то Хенрик Гийо превратил маленькую «Лелю» в «Лу», а может права Марина Цветаева, написавшая много лет спустя Райнеру: «Ваше имя хотело, чтобы Вы его выбрали!». Правда, хотела я, а он не возражал.

Рильке. Щедрая, Ты одариваешь мою ночь снами, мое утро – песнями, мой день – смыслом и мой вечер – мечтами о солнечном свете. Ты одариваешь без конца. И я опускаюсь на колени и протягиваю руки, чтобы принять Твои милостивые дары. О, щедрая! Я стану тем, кем Ты пожелаешь. В зависимости от того, сердисься Ты или улыбаешься, я буду рабом или королем. Только Ты можешь делать из меня, что хочешь. Я буду часто, часто говорить Тебе об этом. Все проще и незамысловатее будут становиться, вызревая, мои признания. И когда однажды я скажу Тебе об этом совсем просто, и ты меня поймешь, – наступит наше лето. И продлится до конца дней Твоего Рене... Райнера.

Лу. Мы с ним покинули город, чтобы подыскать себе жилище поближе к горам, еще раз сменили наш домик в Вольфратсхаузене, в котором вместе с нами жила Фрида. Во втором доме, пристроенном прямо к склону горы, нам предоставили комнаты над коровником; на фотографии, которую мы там сделали, должна была фигурировать и корова, но она так и не выглянула из оконца хлева, перед которым стоит старая крестьянка; непосредственно над крышей видна дорога, ведущая в горы; над домом развевается наш флаг из грубого полотна, на котором большими буквами написано «Луфрид», то есть Лу и Фрида,



его изготовил Август Эндель*, который вскоре подружился с Райнером; он же помог нам с помощью красивых одеял, подушек и разной утвари уютно устроиться в трех смежных комнатах. Ближе к осени ненадолго приехал мой муж, а с ним Лотта, наша собака; иногда к нам навещался Якоб Вассерман, бывали и другие; еще в первый домик заезжал приехавший из Санкт-Петербурга Аким Волинский**, который давал мне уроки русского языка.

Рильке. Стремлюсь раствориться в Тебе, как молитва ребенка в радостном гуле утра. Стремлюсь забрать в мою ночь благословение Твоих рук на моих волосах и ладонях. Не хочу разговаривать с людьми, чтобы не утратить эха Твоих слов, которые как флаги трепещут над моими. Не хочу после захода солнца смотреть на другой свет – только от пламени Твоих глаз возжигать тысячи жертвенных огней.

Не хочу ни одного поступка, который бы Тебя не прославлял, ни одного цветка, который бы Тебя не украшал, не благословлю ни одной птицы, которая не знает дороги к Твоему окну, не стану пить воды из источников, которые не знают отражения Твоего лица. Не хочу ничего знать про время, что было в моей жизни до Тебя, про людей, что были до Тебя. Пусть живут счастливо те, кто умер для меня, ибо из-за них дорога к Тебе была такой долгой и полной страданий...

Лу. Без сомнения, в любом процессе творчества, если посмотреть вглубь вещей, есть доля опасности, доля соперничества с жизнью. Для Райнера эта опасность была тем более очевидна, что сама его природа побуждала его поэтически переосмысливать то, что почти невозможно выразить словами. Именно поэтому с годами расцвет его жизни с одной стороны и творческой гениальности с другой уже не стимулировали друг друга, а развивались вопреки друг другу, порождая конфликт между требованиями, которые он предъявлял к своему искусству, и стремлением обрести

* Эндель, Август (1871–1925) — немецкий архитектор стиля модерн.

** Волинский, Аким (псевдоним; настоящее имя Аким (Хаим) Львович Флексер) (1863–1926), критик и искусствовед.



полноту жизни по мере того, как его творчество воплощалось в книгу невероятно и исключительно правдивую.

Рильке... Очень люблю Твою фотографию. Эта чистота черт, простота, этот темный поиск во взгляде, который в любой момент может проясниться благодаря неожиданной улыбке, возникшей на Твоих устах... Более того, тут кроется еще одно из Твоих наибольших чудес: кажется, что Твои глаза натолкнулись на какую-то загадку, через секунду легкая тень их мягко заволакивает словно распростертыми крыльями. И неожиданно улыбка расцветает на Твоих устах, и раньше, чем Твои задумчивые очи их подхватят, переходит на щеки и таится в потемневших веках, пока глаза не вспыхнут горячее, вызволяющей радостью. А потом растет блеск этой улыбки, охватывает всю Тебя, окутывает Тебя каким-то изменчивым ореолом. О, если бы мне было дано своей рукой создать Твой образ – такой, какая Ты есть на самом деле – все дети, проходящие мимо, стали бы перед ним на колени. А я стал бы среди этих детей...

Будь всегда такой ко мне, Любимая, Единственная, Святая. Позволь, чтобы мы вместе поднимались в гору под названием «Ты» – туда, где высокая звезда... Ты не являешься моей целью. Ты – тысяча целей. Ты – все.

Лу. Весной 1898 года Рильке отправился во Флоренцию. Итогом этого путешествия стала изумительная по красоте и силе проза – «Флорентийский дневник». Скорее всего, это было путешествие вглубь себя, ибо все эти путевые заметки высвобождали в нем колоссальные энергии художественной воли и, в конечном итоге, приводили ко мне.

Рильке.

Сопот, 6 июля 1898.

Здесь, у края более холодного моря, я заканчиваю эту книгу, от которой я отрекался более чем трижды; ибо множество страхов и потерь отделяет ее начало от нынешнего дня: дни, словно ровные сельские дороги, вдоль которых стоят бедные, голые каштаны; мысли, словно бесконечно тянущиеся по ним села с глухими, молчаливыми лбами



домов и заплаканными дождем окнами. Всему этому только предстояло прийти, но я стал таким не потому, что оно пришло, а потому что оно произошло теперь, в тот миг, когда все, чего я хочу, – в избытке донести до Тебя целым и невредимым настроением праздника и окружить им Тебя, словно тенистой от изваяний нишей. А был я – точно ребенок, что ради смертельно больной сестренки спешит из дальнего хутора за лекарством в город сквозь страх и ночь, но солнечным утром, соблазнившись забавой, забывает, зачем был послан, и беззаботно возвращается без того, что нужно позарез... Эта беззаботность скоро сменится плачем, а вслед за ним придет и отчаяние: вот что было со мной.

Ко всему прочему и обстоятельства, при которых мы встретились впервые, были таковы, что я видел в Тебе лишь отголоски дня вчерашнего; прошедшее, отброшенное, слишком тесное – то, что было нашим общим горем, прежде напирало на меня, как память о нашем одиноком счастье, стоящем вне времени и не связанном ни с каким моментом былого. Я знал только, что Ты терпеливо выслушивала мои бесконечные мелкие жалобы, и внезапно заметил, что жалуюсь снова, а Ты выслушиваешь, как и прежде. Мне стало так стыдно, что я чуть было не ожесточился.

И вот я пришел к Тебе, полный будущего. Но по привычке мы стали вместе проживать наше былое. Как же мне было не заметить, что принимая эту доверившуюся Тебе книгу, Ты пережила свободу и праздник, если я видел не Тебя, а лишь Твою снисходительность и милосердие и – стремление вдохнуть в меня мужество и радость. В это мгновение ничто не могло возмутить меня больше. Я возненавидел Тебя, как нечто превосходящее. На этот раз я захотел быть богатым, быть дарящим, быть хозяином, принимающим гостью, а Тебе полагалось прийти и под водительством моей заботы и любви прогуливаться по моему гостеприимству. А теперь я снова оказался последним попрошайкой у крайнего порога Твоей души, что покоится на столь широких и надежных опорах. И тщетно взывал я о помощи к своим обычным праздничным словам. Я чувствовал, что в этом маскараде становлюсь все более жалким, во мне пробудилось смутное желание



заползти куда-нибудь в дальний угол. Стыдом, стыдом все было во мне. Ведь я был бы посрамлен первой же встречей с Тобой. Как это объяснить? Я все повторял про себя: «Мне нечего дать Тебе, нечего; все мое золото станет углем, едва я протяну его Тебе, а я – я только обеднею». А ведь когда-то я пришел к Тебе вот таким бедным. Почти ребенком пришел я к богатой женщине. А Ты взяла мою душу на руки и стала убаюкивать ее. И мне было хорошо. Тогда Ты поцеловала меня в лоб, – и Тебе пришлось низко склониться для этого. Понимаешь ли Ты, что я рос, обвиняясь вокруг тебя, пока не дорос до высоты, на которой расстояние между моими глазами и Твоими всего короче? Но что моей целью было – стоя, как крепкий ствол, склоняться к Твоим губам, подобно тому, как Твоя душа склонялась к моему лбу? Не объятий ждал я от Тебя, – я хотел, чтобы Ты могла прислониться ко мне, когда устанешь. Чтобы Ты меня утешала, – этого я не хотел; мне хотелось сознавать, что в моей власти – утешить Тебя, если Тебе когда-нибудь придет в этом нужда. Я хотел найти в Тебе не память о берлинских зимних днях – я ожидал, что Ты будешь моим грядущим более чем когда-либо, с тех пор я поверил в счастье и понял, что надежды могут сбыться. Меж тем эта книга рассказала Тебе о том, что произошло со мною там, на юге, и была для Тебя, словно глубокий сон, и Ты стала грядущим. Но тогда я уже не думал о нем. Я был слеп и жесток, беспомощен и полон ужасных мыслей, со дня на день мучаясь страхом – вот сейчас Ты начнешь возвращать мне дары, которые я принес Тебе и которые Ты приняла так безоговорочно, – а в светлые часы чувствовал, как то, что я добыл в блаженных победах, уже начал принимать назад, словно милостыню Твоей никогда не устающей доброты. Я принес Тебе золотые чаши, светлые сосуды торжества, – а потом своей бедой вынудил Тебя перечеканить благородный металл на мелкую монету для будничных нужд, тем самым постепенно возвращая мой подарок. Я чувствовал себя при этом столь жалким и несчастным, что растерял или выкинул вон остаток моих сокровищ, в отчаянии лишь смутно понимая нужду вырваться из круга этой доброты, унижавшей меня.



Но в то время – и как раз в этом смятении – я заметил, что если мне вообще суждено стряхнуть с себя оцепенение и собраться с силами, то каждый мой поступок, любое мое движение должны быть устремлены к Тебе; и когда мне впервые после этой мучительной бесчувственности пришлось вновь задуматься о завтрашнем дне, когда за Твоей фигурой замаячила судьба, послав мне Твоим отчужденным голосом вопрос: «Что ты собираешься делать?» – тогда во мне словно тронулся лед; с льдины сорвалась волна и со всей яростью бросилась на берег – без колебаний, без сомнения. Когда Ты спросила меня о будущем, а я лежал беспомощный, всю ночь следя за своей тревогой, я понял, вновь обретя Тебя утром, что Ты – вечно Новая, вечно Юная – моя вечная цель и что для меня есть один предел желаний, перекрывающий все остальные: идти Тебе навстречу.

Твои струны богаты; и как бы далеко не зашел я вперед, Ты – *всегда впереди*. Мои битвы для Тебя – давно уже победы, и потому я подчас бываю столь мал перед Тобой; но последние мои победы принадлежат и Тебе, и у меня есть право принести их Тебе в дар. На далеком пути, ведущем через Италию, я пришел к вершине, отмеченной этой книгой. Ты за несколько немногих часов взлетела на нее – и уже стояла на блистающем в лучах пике, когда я только подходил к нему. Я был высоко, но все еще в облаках; Ты ждала над ними, в вечном сиянии. Прими же меня, любимая.

Вот и будь всегда впереди меня, Ты, Любовь, Единственная, Священная. И пойдем вместе вперед, словно взбираясь к великой звезде, один для другого – прислон, один для другого – опора под ногами. А если я вдруг уроню ненароком руку с Твоих плеч, мне не будет страшно: на ближайшей высоте Ты с улыбкой поможешь взойти усталому. Ты для меня – не одна цель, Ты – тысяча целей. Ты – все, и я провижу Тебя во всем; и я – все, и я привожу к Тебе все, идя Тебе навстречу.

Мне не надо говорить: прости! Ибо я прошу Тебя об этом каждым своим молчаньем; мне не надо просить: забудь! Ибо давай вспомним и о тех часах, когда я в стыде своем хотел уйти от Тебя; но в этом слепом бегстве я все



равно бежал Тебе навстречу. И я не хочу говорить Тебе: верь! Ибо знаю: то был язык, говоря на котором мы познали и приветствовали друг друга в это новое, священное утро, после длительной удаленности и дальнего свидания, ставшего нашей последней разлукой и последней для меня угрозой...

Лу. Потребовались годы, прежде чем его талант проявил себя во всей полноте. То, что должно было со временем стать «книгой», накапливалось, приобретая глубину и ясность, но недели и месяцы между вспышками воодушевления постепенно сводились к простому ожиданию, от которого страдал его разум. В это время я начала бороться за Райнера: мне казалось, что любая работа, самая заурядная деятельность были бы для него лучше, чем опустошающее ожидание, когда он то и делал, что осыпал себя напрасными упреками (впрочем, эта потребность в самобичевании сама по себе приводила его в отчаяние). Кончилось тем, что мы называли в шутку эти метания «решением стать бродячим почтальоном». Мы годами притворялись наигранно беззаботными, поскольку тот неумолимый рок Райнера, что прорывался иногда наружу в виде отчаяния или болезни, все же приносил с собой восхитительные моменты, которые, увы, облекались в несбыточную мечту.

Мы познакомились на людях, потом предпочли уединенную жизнь втроем: я, Рильке и Андреас, где все у нас было общим. Интересно, что я была старше Рильке на 15 лет, Андреас на пятнадцать лет был старше меня. Райнер делил с нами наш скромный быт в Шмаргендорфе, недалеко от Берлина, у самого леса, откуда по лесной дороге за две минуты можно было дойти до Паульсборна, и когда мы шли босиком по лесу – этому научил нас мой муж, – косули доверчиво подходили к нам и тыкались носом в карманы пальто. В маленькой квартирке, где кухня была единственным – если не считать библиотеки моего мужа – помещением, приспособленным для жилья, Райнер нередко помогал готовить, особенно когда варилось его любимое блюдо – русская каша в горшке или борщ; он отвык от изысканности в пище, а ведь раньше страдал от



любых ограничений и жаловался на нехватку денег; в синей русской рубахе с красным орнаментом он помогал колоть дрова и вытирать посуду, при этом мы без помех занимались нашими делами. А занимались мы многим; усерднее всего он, давно уже погрузившийся в мир русской литературы, изучал русский язык и русскую культуру, особенно после того, как мы всерьез задумали большое путешествие в Россию.

Какое-то время наши замыслы совпадали с планом моего мужа предпринять поездку в Закавказье и Персию, но из этого ничего не вышло. Причина была до банальности проста: нехватка средств. Заработки от частных уроков Андреаса по персидскому, турецкому и арабскому языкам едва ли могли покрыть издержки путешествия. Поэтому мне пришлось, засучив рукава, зарабатывать деньги писательством. Я написала цикл новелл «Дети человеческие», множество очерков, критических статей, эссе для популярных журналов. Программой среди них считаю статью в «Ди Цайт» – «Русская философия и семитский дух», где я подчеркивала колоссальную роль еврейства в развитии философской и религиозной мысли в России. Действительно, еврейский народ, «который развил в себе талант абстрактного богопознания до уровня гениальности», обладает духом, «воспринимающим телескопически то, что русский дух видит через микроскоп». Здесь мне вспомнился Ницше, утверждавший, что «мыслитель, на совести которого лежит будущее Европы... будет считаться с евреями и русскими как с наиболее подвижными и вероятными факторами в великой игре и борьбе сил».

Незадолго до Пасхи 1899 года мы втроем отправились в Петербург, к моим родным, а затем в Москву. В Чистый четверг мы приехали в Москву и 28 апреля были приняты великим Львом Толстым. Пасхальную ночь праздновали в Кремле. Это было событие громадной силы.

Рильке. Пасха была у меня один-единственный раз. Это случилось в ту долгую, необычную, необыкновенную, волнующую ночь, когда вокруг теснились толпы народа, а Иван Великий ударял меня в темноте, удар за ударом.



То была моя Пасха, и я верю, что мне ее хватит на всю жизнь; весть в ту московскую ночь была дана мне странно большой, она была дана мне прямо в кровь и в сердце.

Лу. Рильке познакомился с художником Леонидом Пастернаком*, прославленным Ильей Репиным. В мае и июне он жил у моих родственников в Петербурге, знакомился с новыми людьми, смотрел новые картины, снова ездил в Москву. В начале июля мы возвратились в Берлин.

Это первое путешествие в Россию было сколь коротким столь и фрагментарным. Мы оба поняли, что к России нужно готовиться более основательно. Мы поехали к Фриде фон Бюлов, в ее летнюю резиденцию «Бобровая гора» под Майнингенем, и с головой закопались в русскую культуру. Язык, история культуры, литература – и все это дни напролет до полного изнеможения, будто бы нас ждал какой-то устрашающий экзамен. Плюс переводы – Лермонтов, Фофанов, крестьянский поэт Спиридон Дрожжин, две пьесы Чехова, плюс совместный очерк о Лескове и его отношении к религии... Фрида не на шутку сердилась, что, когда мы выползали вдвоем с Райнером к обеденному столу, ни о каком общении не могло идти речи, на нас от усталости просто не было лиц.

Только год спустя мы с Райнером объездили Россию и познакомились с ней более обстоятельно. 7 мая 1900 года мы выехали из Берлина уже только вдвоем с Райнером. Весь май мы прожили в Москве, а затем засобирались на поклон к великому русскому старцу – Толстому. Вот какими запомнил нас на перроне Курского вокзала тогда еще десятилетний Борис Пастернак:

Борис Пастернак. Перед самой отправкой к окну снаружи подходит кто-то в черной тирольской разлеталке. С ним высокая женщина. Она, вероятно, приходится ему матерью или старшей сестрой. Втроем с отцом они говорят о чем-то одном, во что все вместе посвящены с одинаковой

* Пастернак, Леонид (1862–1945) – российский живописец и график, мастер жанровых композиций и книжной иллюстрации; педагог. Отец поэта Бориса Пастернака.



теплотой, но женщина перекидывается с мамой отрывочными словами по-русски, незнакомец же говорит только по-немецки. Хотя я знаю этот язык в совершенстве, но таким его никогда не слышал. Поэтому тут, на людном перроне, между двух звонков, этот иностранец кажется мне сидущим среди тел, вымыслом в гуще невымышленности.

В пути, ближе к Туле, эта пара опять появляется у нас в купе. Говорят о том, что в Козловой Засеке курьерскому останавливаться нет положенья, и они не уверены, скажет ли обер-кондуктор машинисту вовремя придержать у Толстых.

Потом они прощаются и уходят в свой вагон. Немного спустя летящую насыпь берут разом в тормоза. Мелькают березы. Во весь раскат полотна сопят и сталкиваются тарели сцеплений. Из вихря певучего песку облегченно вырывается кучевое небо. Полуповоротом от рощи, распластываясь в русской, к высадившимся подпархивает порожняя пара пристяжкой. Мгновенно волнующая, как выстрел, тишина разъезда, ничего о нас не ведающего. Нам тут не стоять. Нам машут на прощанье платками. Мы отвечаем. Еще видно, как их подсаживает ящик. Вот, отдав барыне фартук, он привстал, краснорукавый, чтобы поправить кушак и подобрать под себя длинные полы поддевки. Сейчас он тронет. В это время нас подхватывает закругленье, и, медленно перевертываясь, как прочитанная страница, полустанок скрывается из виду. Лицо и происшествие забываются, и, как можно предположить, навсегда.

Лу. Не вышло навсегда. Ибо «Охранная грамота» Пастернака, из которой приведен этот фрагмент, посвящена Рильке, а лучшими переводами Рильке в России считаются переводы Бориса Пастернака.

Хотя мы не сразу навелись в Тулу, к Толстому, фигура писателя стала для нас как бы въездными воротами в Россию. Если раньше Достоевский раскрыл перед Райнером глубины русской души, то теперь именно Толстой, в силу мощи и проникновенности его таланта, воплощал в себе – в глазах Райнера – русского человека. Эта вторая встреча с Толстым в мае 1900 года состоялась уже не в его



московском доме, как во время первого нашего путешествия, а в имении Ясная Поляна, расположенном в семнадцати верстах от Тулы.

Рильке. Мы наняли экипаж и под неумолчный звон колокольчика домчались до края холма, где стояли бедные избы Ясной, согнанные в одну деревню, но без всякой меж собою связи, словно стадо, печально замершее на уже истощившемся и выбитом пастбище. Группки из женщин и детей – лишь красные, солнечные пятна на монотонно сером фоне, покрывающем землю, крыши и стены подобно некоему роскошному моху, которым все проросло за многие столетия. Дальше спускается вниз едва различимая, текущая лишь посреди пустырей улица, и ее серый шлейф нежно вливается в зеленую, пенящуюся верхушками деревьев долину, слева от которой две круглые с зелеными куполами башенки обозначают вход в старый, одичавший парк, где затаился простой яснополянский дом. Возле этих ворот мы выходим и тихо, словно пилигримы, идем вверх по дороге между деревьев, и постепенно дом открывается нам своей белизной и своим истинным размером. Слуга уносит наши карточки. И вскоре позади двери в полумраке мы замечаем фигуру графа.

Стеклянную дверь открывает старший сын, и вот мы стоим в передней напротив графа, напротив старца, к которому приходишь как сын, даже если и не желаешь пребывать под властью его отцовства. Кажется, будто он стал меньше, сторбленнее, белее, и – словно бы независимо от этого старого тела – незнакомца ждут необыкновенно ясные глаза, и не скрывая испытуют, и произвольно благословляют его каким-то невыразимым благословением...

Лу. По-настоящему узнать Толстого можно было только в деревне, не в городе, не в комнате, даже если она обставлена по-деревенски и отличается от других покоев графского дома, даже если хозяин непринужденно выходит к гостям в собственноручно заштопанной блузе, занят каким-нибудь рукодельем или за семейным столом ест щи да кашу, в то время как другим подают более изысканные блюда.



На сей раз, самое сильное впечатление у нас осталось от короткой прогулки втроем.

Рильке. Мы медленно идем по узкой, тенистой, уходящей вдаль аллее, ведя интереснейший разговор, и, как и в прошлый раз, встречаем у графа самое теплое участие. Он говорит по-русски, и, если ветер не уносит от меня некоторых слов, я понимаю абсолютно все. Его левая рука обхватывает ремень под шерстяной кофтой, правая покоится на основании палки, на которую он почти не опирается; время от времени он наклоняется и, словно бы стремясь ухватить цветок за овевающий его аромат, срывает цветы вместе с травой, пьет из горсти аромат, а потом за разговором даже не замечает, как, позабытые, они падают вниз в многообразное изобилие первозданной весны, отнюдь не становящееся от того беднее.

Разговор касается многих вещей. Однако слова при этом движутся не *спереди*, не вдоль фасада вещей, но словно бы прячутся во мраке за ними. И глубокая ценность каждого слова заключена не в его цвете при свете дня, но в ощущении, что оно приходит из той темноты и тайны, из которых мы все живем. И каждый раз, когда в мелодии разговора становилось очевидным наше неединодушие, тотчас открывался горизонт и обнаруживался задний план, светившийся глубоким единством и согласием... Иногда на ветру фигура графа вырастала; большая борода развевалась, однако серьезное, прочерченное одиночеством лицо оставалось спокойным, совсем не затронутым порывом ветра...

Лу. После вопроса Райнеру «Чем вы занимаетесь?» и его немного робкого ответа: «Лирикой», на него обрушилось темпераментное обличение всякой лирики. Но выслушать Толстого со всем вниманием нам, когда мы выходили со двора, помешала любопытная картина. Какой-то крестьянин, пришедший издалека, седой старец, приблизился к нам и, без усталости сгибаясь в поклонах, почтительно приветствовал другого старца, Толстого. Он не просил милостыни, а только кланялся, как и многие другие, часто



приходившие издалека с одной только целью: еще раз увидеть свои церкви и свои святыни. Пока Толстой, не обращая на него внимания, шел дальше, мы напряженно прислушивались к словам того и другого, но глаза наши были прикованы только к великому писателю; каждое движение, поворот головы, малейшая заминка в быстрой ходьбе «говорили»: перед нами Толстой. Луга ранним летом были усеяны цветами – высокими и яркими, какие встречаются только на русской земле; даже под сенью деревьев слегка заболоченная почва была усыпана необыкновенно большими незабудками. Так же глубоко, как эти яркие цветы, врезалось в мою память и то, как Толстой, не переставая живо и поучительно говорить, вдруг стремительно наклонился, раскрытой ладонью – так обычно ловят бабочек – схватил и сорвал пучок незабудок, крепко прижал их к лицу, точно собираясь проглотить, и затем небрежно уронил на землю. Все еще едва слышно звучали доносившиеся издалека почтительно-приветственные слова мужичка; из их потока можно было разобрать только: «...что довелось тебя увидеть...» И я присоединила к ним такие же благодарные, приветственные слова: «...что довелось тебя увидеть...»

Должно быть, именно эта встреча дала повод Райнеру с преувеличенным вниманием всматриваться в каждого встречного мужичка, ожидая увидеть в нем сочетание простоты и глубокомыслия. Порой его ожидания оправдывались. Так однажды при осмотре Третьяковской картинной галереи с нами рядом оказалась группа крестьян. Перед большой картиной «Стадо на пастбище» один из них недовольно произнес: «Подумаешь, коровы! Мало мы их видели?» Другой лукаво возразил: «Они потому и нарисованы, чтобы ты их увидел... Ты любить их должен, вот почему они нарисованы, вишь ты. Любить должен, а тебе, вишь ты, нет до них дела». Вероятно, удивленный своим собственным объяснением, мужичок вопросительно посмотрел на стоящего рядом Райнера. Надо было видеть, как отреагировал Райнер. Он внимательно посмотрел на мужичка и ответил на своем плохом русском: «Тебе знать это».

Из Тулы мы отправились в святой город Киев, где провели ровно две недели в состоянии какой-то удиви-



тельной эйфории. Я навсегда запомнила Райнера в тот предзакатный час, когда мы стояли на одном из киевских холмов и любовались городом. Он стоял, и взгляд его пылал над Киевом. Сегодня я лучше знаю и чувствую, что он тогда видел, о чем думал, о чем мечтал в расцвете своей молодости... Его глаза блуждали долиной, которая лежала перед нами в красноватом тумане от садящегося солнца. Словно под охраной киевских высот, увенчанных золотом таинственно сияющих куполов, под небом в бледных звездах, лежала невыразимая грусть... Но правдивая юность пела в его взгляде; его готовность к борьбе, к жертве, к боли, его тоска вместе с вечером стелилась над киевской землей, чтобы пылко обнять ее: «Научи меня твоей песне, научи меня твоему страданию!»...

Райнер был под таким впечатлением от этого удивительного города, что признался мне в том, что замыслил переселиться сюда навсегда, ибо этот город «близок к Богу»: «святой город, где Россия сотнями церковных колоколов рассказала о себе миру». Не менее сильное впечатление на нас произвели пещеры в Святой Лавре. Мы побывали там несколько раз – и с паломниками, и в одиночку.

Рильке. Сегодня часами путешествовали подземными ходами (не выше человека среднего роста и шириной в плечи) мимо келий, где в святом блаженстве одиноко жили святые и чародеи, сейчас в каждой келье стоит открытый серебряный гроб. И тот, кто жил здесь тысячу лет тому назад, лежит, обернутый в дорожную ткань – нетленный. Непрестанно наплывает из темноты толпа паломников со всех концов света. Это святейший монастырь всей империи. В наших руках горящие свечи. Мы прошли все эти подземелья раз вдвоем и раз с народом.

Лу. Возможно, здесь, в киевских пещерах, у Рильке зародилась мысль перевести на немецкий «Слово о полку Игореве». Что и было впоследствии исполнено с высочайшим мастерством.

Затем на пароходе «Могучий» мы поплыли до Канева и побывали на могиле Тараса Шевченко. Это была



инициатива Райнера: русский перевод «Кобзаря» был прочитан им от корки до корки. Днепровские пейзажи обрели под его пером новый, могучий смысл:

Рильке. ...Эти курганы, могилы минувших поколений, словно застывшая волна протянулась вдоль степи. И в этой стране, где могилы являются горами, люди стали пропастями – глубокими, темными, молчаливыми. Слова их – только шаткие мостики над их бытием. Изредка поднимаются черные птицы над могилами. Изредка ниспадают на людей этих дикие песни, чтоб исчезнуть в них, как исчезают птицы в небесах. Во всех направлениях – бесконечность.

Лу. Из Канева – до Кременчуга, оттуда через Полтаву и Харьков – в Воронеж, затем Саратов, Волга; Симбирск, Казань, Нижний Новгород... Наконец мы очутились там, где, как казалось Райнеру, ему на каждом шагу будет попадаться то, ради чего тоска пригнала его сюда, – среди людей и ландшафтов на Волге. Мы плыли вверх по течению, с юга на север, и сошли на берег за Ярославлем. Здесь нам довелось пожить некоторое время в русской избе. Пересаживаясь с парохода на пароход, мы нашли ее в глубинке – новую, пахнущую смолой, с перекрытием из неошкуренных березовых бревен; молодая пара построила ее рядом с уже потемневшими, задымленными жилищами, а сама отправилась на заработки. Скамейка вдоль стен, самовар, широкий тюфяк, набитый специально для нас свежим сеном, – вот и вся обстановка; в пустом сарае рядом – еще охапка соломы в качестве постели, хотя крестьянка из соседней избы чистосердечно заверила, что и первый тюфяк достаточно широк для двоих... Мы несколько раз сходили на берег с пароходов, плывущих по Волге. Бывали в гостях у точно таких же крестьян и даже гостили у крестьянского поэта Дрожжина в его избе. Несколько книг можно было бы написать о том, что мы увидели в России. Нам казалось, мы провели здесь годы, хотя на самом деле это были дни, недели, едва ли месяц. Но все случилось в один час и в образе одной избы – и виде-



лось нам каждый раз одно и то же: как мы ранним утром сидим на пороге, кипящий самовар стоит на полу, а мы весело наблюдаем за курами, которые с таким любопытством подходили к нам от соседних сараев, точно хотели лично предложить яйца к завтраку.

«Изба, встреченная нами в пути», и в самом деле символизирует то, что было для Райнера землей обетованной, Россией. Одна из этих изб, сложенных из березовых бревен, с резным щипцом, стены которой времена года, сменяясь, насыщали чистыми естественными красками, то темными, то светлыми, и стала тем «местом», «местом отдыха», о котором ему мечталось перед началом путешествия, которое ему потребовалось, чтобы свершить свое. Здесь обитал народ, чьим уделом были нужда и нищета, но в характере которого покорность соединилась с уверенностью в своих силах; Райнер тоже изначально чувствовал в себе настоящее внутреннее призвание, подчинявшее себе все, что бы с ним ни происходило. Уделом, судьбой этого народа был «Бог». Не небесный вседержитель, облегчающий тяготы жизни, а ближайший покровитель, оберегающий от окончательной гибели, – русский бог Лескова, обретающийся «в левой подмышке».

Рильке. Дни и ночи на Волге, этом спокойно катящемся море, много дней и много ночей. Широко-широкий поток, высокий, высокий лес – на одном берегу, на другой стороне – бескрайняя степь, в которой даже большие города стоят всего лишь как избы и палатки. Здесь заново постигаешь размеры и масштабы. Узнаешь: земля – велика, вода – нечто великое, но прежде всего велико – небо. То, что я видел до сих пор, было лишь образом земли, реки и мира. Здесь же все это присутствует само по себе.

У меня чувство, будто я созерцал само творенье; как мало слов для всебытия, для вещей, данных в масштабе Бога-отца...

Лу. И хотя Райнер не принял этого Бога, все же в русской истории и теологии он нашел горнило, где



растворились самые глубокие внутренние тревоги и усилия, крик отчаяния и хвалебный лепет. Вначале было слово – была молитва.

Бесспорно, что именно *религиозный пыл и молитва* формируют все то, что живет в нас, образуя мир чувственных образов сознания: то, что благодаря им превращается в глубочайшую сосредоточенность, собранность; то, что связывает в некий клубок все проявления восторга (пусть даже их вызывают далекие от предмета разговора вещи, например, секс или общественное положение). Ибо что является даже для верующего существа основой понятия «Бог»? Прикосновение того, что мы еще способны принять верой, но что уже ускользает от доводов нашего разума и уже не кажется нам частицей нас, пусть даже мы пытаемся вернуть это в нас снова, точно так же, как охотно уступаем соблазну дать этому имя, поместить его в самом сокровенном уголке собственной сущности.

Склонность Райнера к художественному переживанию религиозного чувства поразительно ярко проявилась с самого начала работы над «Часословом» во время первого путешествия в Россию, но истинная проблема со всей определенностью встала только во время нашего второго приезда, во время наших странствий и встреч – тогда-то Райнер и смог беспрепятственно уйти с головой в свои впечатления от «его» России. Впоследствии он горько сожалел, что глубина этих впечатлений почти не оттенялась огромным количеством молитв, но это оттого, что он их *переживал*: молитва и ее словесное воплощение наслаивались друг на друга как единственная неразделимая реальность, что обрела законченную форму. То, что начало исчезать – частично или полностью – на уровне художественного произведения, с небывалой силой проявлялось в самом Райнере, в том невероятном зрелище, которое в определенные моменты разворачивал перед нами его внутренний мир, как в том двадцатом сонете из цикла «Сонеты к Орфею» спустя двадцать с лишним лет «после России»:



Рильке.

О мой Господь, что принести мне в дар тебе –
тому, кто даровал своим созданиям слух?
Воспоминанье об одном весеннем дне:
Россия, вечер, лошадь, луг...

С холма из-за деревни белый конь летел,
за путы волоча вдруг выдернутый кол.
Конь по ночным полям бродить хотел.
Как бился гривы вспененный хохол!

Он счастьем озорства был озарен,
он прорывал стесненный свой галоп.
Он бешено был кровью вознесен.

Как чувствовал пространство его лоб!
Он пел и слушал, замыкая сказки круг.
Вот дар мой, Господи, – возьми из рук.

Лу. И, тем не менее, он постоянно замыкался в ожидании и тревожных поисках наивысших форм выразительности, которая смогла бы подчеркнуть изреченное слово, придав ему самодостаточность. Он буквально разрывался между нетерпеливым желанием, незримо присутствующим в его словах, его символах, – желанием упасть на колени перед каждым из своих ощущений, чтобы излить себя в поэтических формулах, – и желанием противоположным – не впустить в молитвенную тишину своей души творческий порыв. А стало быть, он часто оказывался в неизменном положении узника тюрьмы безмолвного внимания и одновременно в положении пассажира, сидящего у окна скорого поезда, проносащегося без остановок мимо городов, деревень, пейзажей и картин, к которым он никогда не сможет вернуться...

Не могу объяснить почему, но в какую-то минуту нашего путешествия я стала тяготиться Райнером. Была ли тому виной поразительная новизна людей и явлений, открывающаяся нам абсолютно по-разному, или дало о себе знать отсутствие привычки постоянно быть вместе – не знаю. Но уже в «избе-стоянке» я пожелала перебраться в пустую каморку – одна, без Райнера, чем несказанно удивила хозяйку. Уже тогда Райнер расценил мой демарш как дурное



предзнаменование для нашей любви. Я тогда записала в дневнике: «Заноза под ногтем и в нервах». Но заноза наверняка проникла еще глубже – в душу. Я тогда часто сидела, обхватив голову руками, пытаюсь понять саму себя. Спасалась тем, что снова пыталась писать стихи.

ВОЛГА

Меж берегов – сколь близких, столь далеких –
Простор таков, что может только сниться.
Идешь, река, походом не из легких
И ластишься к любому очевидцу.
Ах, мне б уснуть, мне б выкорчевать чувства
Уйти б куда-нибудь в твоих потоках!
Но пробуждаться надобно от грусти
На берегах безмерно одиноких...

26 июля мы с Рильке возвратились в Петербург. И уже на следующий день я уехала к брату в Финляндию, в нашу летнюю резиденцию в Ронгасе. Мне просто необходимо было побыть одной. Райнер, окруженный людьми и книгами, живет в гостинице «Централь» и чувствует себя покинутым. Он даже пишет мне, как он говорил, «отвратительное письмо», требуя выяснения отношений. Я, как могла, успокоила его в ответном письме.

Рильке. Я получил твое письмо, твое милое письмо, которое каждым своим словом оказывает на меня благотворное действие, которое как бы окатывает меня высоким рокошущим прибором, которое словно окружает меня садами и раскидывает надо мной купол неба, которое дает мне силы высказать тебе то, что я тщетно пытался сделать в моем последнем тягостном письме, – то, что я тоскую по тебе и что мне было безмерно страшно жить все эти дни без вестей о тебе, дни после такого неожиданного и скорого прощания, под грузом враждебных впечатлений от этого гнетущего города, в котором ни одна вещь не напоминает о тебе, удалившейся от меня. Вот почему я написал тебе то безобразное письмо, в котором тщетно пытался избавиться от заброшенности, от непривычного и невыносимого оди-



ночества, оно возникло из нетерпения, из замешательства и смятения, из того, что должно было показаться чуждым той красоте, которая снова окружает твою жизнь дома.

Сейчас мне почти невыносима мысль, что в великом многоголосии, в котором ты снова обрела свой голос детства, мой голос должен казаться чужим, единственный банальный мирской голос среди священных слов и тишины, из которых теперь сотканы твои дни. Разве не так все было? Боюсь, что именно так. Что мне теперь делать? Могу ли я этим письмом сделать прежнее как бы не существующим? В этом слышны отголоски твоих слов, прежнее родилось из твоего отсутствия, из того, что я ничего не знал о тебе, и теперь, когда я получил от тебя ответ, оно уже не имеет права на существование... или все-таки имеет, не так ли?

Пожалуйста, уже в это воскресенье будь здесь. Не поверишь, какими длинными могут быть дни в Петербурге. И при этом в них мало что происходит. Жизнь здесь – бесконечная беготня, не достигающая цели. Идешь, идешь, едешь, едешь, и первое впечатление, куда бы ты ни прибыл, – собственная усталость. Кроме того, даже самые дальние поездки почти всегда оканчиваются ничем. И все же, вопреки всему я знаю одно: мы увидим еще много прекрасного, когда ты вернешься. Вообще последние две недели все мои мысли кончаются этими словами: когда ты вернешься...

Лу. Я вернулась, но вернулась для того, чтобы уйти. Правда, понадобилось еще полгода, прежде чем решение созрело окончательно.

...В поезде, идущем из России в Берлин, мы играли в ассоциации. Вы говорите слово, и партнер говорит слово, какое придет в голову. Мы так играли довольно долго. Неожиданно я решила объяснить, почему Рильке захотел написать свою повесть о военной школе, и я ему сказала об этом. Я объяснила ему природу бессознательных сил, которые заставляют его писать, потому что они были подавлены, когда он был в школе. Он сначала засмеялся, а потом стал серьезным и сказал, что теперь он вообще не стал бы



писать эту повесть: я вынула ее из его души. Это поразило меня, тут я впервые поняла опасность психоанализа для художника. Здесь вмешаться – значит разрушить. Вот почему я всегда отговаривала Рильке от психоанализа, Ибо успешный анализ может освободить художника от демонов, которые владеют им, но с ними вместе могут уйти и ангелы, которые помогают ему творить...

– Я хочу уехать из Берлина, – вдруг сказал Райнер. – Я задыхаюсь. Я устал. Мне нужно сменить обстановку. Мне нужны новые люди, свежие впечатления.

– **Хорошо**, – неожиданно для самой себя по-русски ответила я ему.

И вдруг я поняла, что он никогда не **излечится к жизни**, ибо жизнь как таковая ему не нужна. Ему нужна жизнь как гигантское вместилище его гениального художественного опыта, зеркальные стенки которой могли бы отражать и показывать ему телесные очертания его безумных поэтических видений. Я же, живая и телесная, не помещалась в границы его взора, а быть «стражами одиночества друг друга», как он говорил, не хотела. Не стояния одного человека перед другим на коленях хотела я, а одновременного стояния на коленях плечом к плечу... Но рядом плеча не стало.

Скорее всего, мои желания к нему уснули, уснули надолго. Мой же интерес к нему переместился по ту сторону того, что объединяет мужчину и женщину и что никогда не возвращается обратно...

Вот мои записи в дневнике начала 1901 года:

10.1. ... в трудах и борениях этих дней я все же иногда вела себя дома отвратительно. Задним числом я всегда жалею об этом. Мне понадобилось бы море любви, чтобы загладить свою вину. Я просто чудовище. (Плохо я вела себя и по отношению к Райнеру, но это никогда не причиняло мне боли.)

20.1. Вчера и сегодня бездельничала в свое удовольствие. Сегодня к вечеру вычеркивала без разбору, но, в общем и целом, сохранила новые главы «Родинки»... Горе тому, кто теперь захочет убить во мне это! За окном идет дождь. Я способна на жестокость, лишь бы Р. ушел, ушел совсем. (Он должен уйти.)

...И мы расстались.



Рильке.

Не видя тебя, я блуждаю во мгле,
я, словно слепой, бреду по земле.
И дней сумасшедшая толкотня -
как занавес, скрывший тебя от меня.
Я смотрю на него: не взовьется ли он,
не объявится ли моей жизни закон,
моей жизни смысл, моей жизни струя,
но она же - погибель моя...

Ты льнула ко мне. То была не игра.
Так к глине льнет рука гончара,
наделенная силой великой творца.
Светлый образ витал надо мной без конца.
Но устала рука, перестала держать,
я упал - и осколков уже не собрать.

Была ты мне ближе и больше, чем мать,
другом была - по-мужски настоящим,
женою - другой такой не сыскать,
но милым ребенком бывала ты чаще.
Нежнее тебя я людей не встречал
и тверже, когда меня жизни учила.
Ты небом была мне, началом начал.
Ушла ты, - и бездна меня поглотила.

Лу.

Шмаргендорф, 12 февраля 1901.

Последнее напутствие.

Сейчас, когда все вокруг меня залито солнцем и объято тишиной, когда труд жизни созрел и приятно закрутился, дорогая нам обоим, не сомневаюсь в этом, память о том, что в Вольфратсхаузене я была тебе как мать, побуждает меня исполнить свой последний долг перед тобой. Позволь же мне как матери рассказать об этой своей обязанности, которую я взяла много лет назад после продолжительной беседы с Цемеком. Если ты по-прежнему будешь блуждать в неизвестности, то отвечать за себя придется тебе одному; однако на тот случай, если ты определишься в жизни, ты должен узнать, почему я без устали указывала тебе вполне конкретный путь к здоровью: потому что Цемек выразил опасение, что ты можешь разделить судьбу Гаршина*. Того

* Гаршин, Всеволод (1855-1888) - русский писатель, поэт, художественный критик. Покончил с собой.



в тебе, кого ты и я называли «Другим», то подавленного, то возбужденного, то чересчур робкого, то излишне восторженного, он хорошо знал как зловещего типа, способного довести душевные неурядицы до болезни позвоночника или до помрачения духа. Но этого не должно случиться! В «Песнях иноческих», в прежние времена, прошлой зимой, я видела тебя здоровым! Пойми же мой испуг и мою вспыльчивость, когда ты снова сорвался и я опять увидела симптомы старой болезни. Опять паралич воли наряду с внезапными нервными всплесками волевых усилий, которые разрушают внутренний строй твоей натуры, легко поддаются внушению и избегают погружаться в полноту прошлой жизни, избегают ассимилировать и перерабатывать впечатления, без чего невозможно выстраивать себя заново. Опять колебания и нерешительность вкупе с многословными уверениями и торжественными обещаниями, в которых больше безрассудства, нежели желания быть искренним! Постепенно я и сама стала чувствовать себя выбитой из колеи, чрезмерно уставшей, измученной, я лишь механически шла рядом с тобой, не могла относиться к тебе с прежней теплотой, истощала собственную нервную энергию! В конце концов, мне пришлось все чаще отталкивать тебя, и если я снова и снова заставляла себя быть с тобой, то только из-за предостережения, сделанного Цемеком. Я чувствовала: ты сможешь выздороветь, если только преодолеешь себя! К этому добавилось еще одно обстоятельство, в чем-то сходное с трагической виной перед тобой, – а именно то, что я, вопреки своему возрасту, после Вольфратсхаузена, продолжала расти, внутренний рост все продолжался и продолжался вплоть до того, о чем я так весело рассказывала тебе в момент расставания, – вплоть до возвращения в юность, как ни странно это звучит. Ибо только теперь я чувствую себя юной, только теперь я могу быть такой, какой другие бывают в восемнадцать лет, – в полном смысле самой собой. Вот почему твой образ, такой дорогой и близкий мне в Вольфратсхаузене, все больше и больше терялся в моих глазах, становился маленькой деталью большого ландшафта, подобно тем, какие мы видели на Волге,



и хижина посреди этого ландшафта уже не была твоей. Сама того не сознавая, я повиновалась великому предназначению своей жизни, которая, улыбаясь, уже протягивала мне свой неожиданный подарок. Я принимаю его с глубоким смирением и провидчески взываю к тебе: иди тем же путем навстречу своему таинственному Богу! Он свершит то, что уже не по силам мне, что я давно уже не могу делать с полной отдачей: подвигнет тебя к свету и зрелости. Издалека шлю я этот призыв к тебе, это все, что я могу сделать, чтобы уберечь тебя от «наихудшего часа», о котором говорил Цемек. Вот почему я была так взволнованна, когда во время прощания написала на листке бумаги те последние слова: «Если когда-нибудь, много позже, у тебя будет плохо на душе, тогда ты найдешь у нас приют в свой наихудший час». Я не могла этого произнести вслух...

Цемек... Так друзья называли врача Фридриха Пинельса. Мы познакомились с ним еще в 1889 году. Он был младше меня на семь лет. Все эти годы наших с ним встреч – не встреч он надеялся, что я разведусь с Андреасом и выйду за него замуж. Бедный Райнер! Отправляя свои письма на неведомые ему адреса, он и ведать не ведал, что это пункты наших с Фридрихом стоянок, и что «труд жизни, приятно закруглившийся», «неожиданный подарок» были ни чем иным как ребенком, которого я ждала от Цемека. Не суждено было... Однажды, во время сбора яблок в саду, я упала с лестницы. Было обширное кровоизлияние, ребенок погиб не рожденным. Нечто мистическое было в этом знамении: наверное, Бог, мой Добрый Бог, утрату которого я пережила в детстве, таким образом наказывал меня, лишая материнства... Но я спросила себя: рожден бы он был из *ничто* или из *Всего*? И я не нашла ответа. Но знала я и то, что знают, наверное, все матери: *единственное* место, где Бог должен сохранить присутствие, – чело того, кто тобою рожден. А значит...

Ужасный 901, кошмарный 901! Погиб Рэ. Погиб не рожденный мной ребенок. Погибла наша любовь с Райнером. Я тоже захотела погибнуть... Не удалось. Спасли.



Цемек носится со мной и моим здоровьем как с последней драгоценностью. Он настаивает на моем разводе, он убежден, что очень любит меня, он увозит меня путешествовать в разные страны – Норвегию, Швецию, Россию, Испанию, Балканы... И – не выдерживает. И – сдается: он понимает, что я никогда не буду принадлежать ему. Однажды, в Вене, я, в его отсутствие, привезла свои вещи к нему в дом. Потом отлучилась на некоторое время, а, придя домой, узнала, что он велел перенести мои вещи в ближайшую гостиницу... Много лет спустя здесь же, в Вене, куда я приезжала к Фрейду, мы иногда с ним встречались. Он никогда не женился, и был, как говорят, весьма печален...

2

Лу. Прошло два с половиной года, или около того. Что я знала о Райнере? Почти ничего. До меня доходили обрывки слухов о его поездке в Ворпсведе, – художественную колонию между Бременом и Гамбургом, – о его женитьбе на молодой красивой художнице Кларе Вестхофф, о рождении дочки, которую он, конечно же, назвал Руфь – по имени героини моей одноименной повести, о том, что он по уши в долгах... И вдруг – как оклик из другой жизни – его письмо.

Рильке. Вот уже несколько недель я хочу написать тебе пару слов и не решаюсь из страха, что они окажутся преждевременными; но кто знает, когда настанет его «наихудший час»? Этим летом, в июле и августе, я буду в Германии (вероятно, в Ворпсведе). Если бы я мог в это время хотя бы раз, на один-единственный день найти приют в вашем доме! Не знаю, возможно ли это?

Лу. Дорогой Райнер, в любое время ты можешь бывать у нас, как в трудные, так и в благоприятные для тебя часы. И все же я предлагаю: давай сначала уговариваться письменно. Для нас, двух старых бумагомарателей, в этом не будет ничего неестественного...



Рильке. Благодарю тебя, Лу, за твое маленькое письмо, которое я могу читать часами, точно большое послание. От него исходит умиротворение, которое я воспринимаю всеми своими чувствами, в нем я ощущаю ту доброту, по которой узнал бы тебя среди тысяч других людей. Спасибо тебе.

Ты разрешила мне писать тебе, и я хочу рассказать о многом, ибо многое произошло за это время. Когда я оглядываюсь назад, мне кажется, будто я прожил на много лет больше, чем прошло на самом деле. И все же я не стал взрослее, не стал искуснее в повседневных делах, не стал прилежнее. Я все еще стою в начале жизни, и мне тяжело.

Я не хочу жаловаться, мне не стоит никакого труда воздержаться от жалоб. Я многое пережил и стал чуть проще и терпимее относиться к реальности. Свою роль тут сыграло и то, что рядом со мною идет и вместе со мною растет, трудясь, молодая женщина, связавшая свою судьбу с моей. И то, что есть на свете Руфь, наша маленькая дочка, дает мне в разлуке, на чужбине, ощущение родины и роднит меня со всем, что просто совершается вокруг, с вещами, деревьями и животными, о которых я знаю теперь значительно больше, чем раньше.

Было время, когда нам, троим, принадлежал одинокий дом среди болот, и ветры оведали его стены, и ночь надвигалась на него, как бескрайний мир. Потом мы были вынуждены все бросить и перебраться в большой город, в котором жил Роден; мы хотели научиться у него работать. Нам не нужно было ничего, кроме работы, каждый из нас хотел заниматься своим делом, спокойно трудиться и не думать ни о каком сообществе. Здесь я написал книгу о Родене, неплохую книгу. Потом я тихо и настойчиво пытался быть все время в работе, и каково же было мое удивление, когда я почувствовал, что это мне не удастся.

Против меня был город, он восставал против моей жизни и подвергал меня испытанию, которое я не выдержал. В мою тишину врывался его никогда не затихающий рев, его невыносимый ужас преследовал меня, забираясь даже в мою скорбную комнату, и образы его каждодневной жизни затемняли мой взор. И к этому добавилась болезнь:



три приступа гриппа с нескончаемыми горячечными ночами и мучительным страхом; в конце концов силы мои истощились, мужество оставило меня, и я, собрав последние остатки того и другого, уехал, я долго, бесконечно долго ехал через горные массивы и однажды вечером прибыл в Виареджо.

Там я нашел тишину. И девушки из моих девических песен ходили по улицам, пели и молчали и были такими же, как когда-то. И море было огромным, а лес пустынным, и люди узнавали меня и с улыбкой говорили мне доверчиво: Signorino, молодой господин.

Но я выздоравливал медленно. И когда я почувствовал себя лучше, и во мне мало-помалу уже начинала звучать музыка, вдруг участились разного рода болезненные состояния, которые я считал мнимыми, полагая, что это ищет выхода блуждающее в моем теле творческое начало, и пытался преодолеть их усилием воли. Частично мне это удалось. Но потом пришло ощущение чего-то жуткого, оно приходило и приходило, не покидая меня совсем, и я даже не знаю, как рассказать тебе, что это было.

В далеком детстве, при сопровождавшихся лихорадочной болезнью, возникал неопишимо жуткий страх, страх перед чем-то огромным, безжалостным и близким, глубинный невыразимый страх, который я до сих пор не могу забыть; и этот страх теперь появился снова, но он уже не нуждался в ночных лихорадках, чтобы возникнуть, он охватывал меня среди бела дня, когда мне казалось, что я здоров и мужествен, и сжимал мне сердце, и давал ему заглянуть в Ничто. Ты можешь понять, как это бывает; все изменяется, не воспринимается органами чувств, и мне кажется, что я вытеснен из мира, в котором все мне было знакомо, близко и полно смысла, в иное, неизвестное, невыразимо жуткое окружение. Куда? Мне казалось, что кто бы ко мне ни пришел, я не смогу его узнать и что я сам стал всем чужим, как бы умершим в далеких краях, одиноким, никому не нужным, осколком других жизней.

И страх мой был безмерно велик. И я в испуге думал о том, что самый тяжелый час моей жизни, должно быть,



ждет меня там, в этом другом мире, откуда я уже не смогу прийти ни к кому.

В первое время, когда я вернулся из Италии, это странное состояние часто навещало меня снова, и я не мог с ним справиться. Потом наступил длительный перерыв, потом я снова заболел гриппом, очень долго выздоравливал, некоторое время чувствовал себя прилично, во всяком случае, мог приступить к работе, пока недавно это снова не обрушилось на меня. (Когда приходит это состояние, я хочу держаться за что-то реальное; но ничто не кажется мне достаточно реальным, все удаляется от меня, куда-то уплывает...)

На следующее утро я написал тебе то письмо... Прости, что я прихожу со своими проблемами в ясные дни твоей жизни. Мне не у кого спросить совета, кроме как у тебя: ты одна знаешь, кто я. Только ты можешь помочь мне, и я уже по первому письму ощутил ту власть, которую имеют надо мной твои спокойные слова, ты можешь мне объяснить то, чего я не понимаю. Можешь подсказать, что мне делать. Ты знаешь, чего я должен бояться, а чего нет... Надо ли мне бояться?..

Быть может, я преувеличиваю; быть может, повод слишком мелок и я зря досаждаю тебе своей бедой. Быть может, это всего лишь результат воздействия этого ужасного и сокрушительного города, для которого я оказался слишком мягок, слишком жалостлив; быть может, это лишь отражения тех страхов, что берут начало в наших бедах, а их немало было в вестерведские годы, немало их и здесь, в сходном гибельном прозябании... Ты поймешь меня. Быть может не из этого письма, сбивчивого и торопливого (у меня дрожат руки от радости, что я могу писать тебе), а из других писем, которые я напишу тебе, когда меня будет окружать большая тишина, когда я уеду из Парижа и буду видеть за окнами зелень и слышать птичьи голоса...

Не пугайся, я не буду слишком часто писать тебе и надоедать пустяками. И ты ведь скажешь мне, если сочтешь, что я пишу слишком много. А для меня каждое твое слово значит очень много, живет и звучит во мне долго-долго...



Лу. Дорогой Райнер, тебе нечего бояться. В последних случаях совершенно банальной причиной может быть рецидив гриппа: не только взрослые, но и дети впадают иногда после болезни в тяжелейшую депрессию и испытывают крайне странные состояния духа.

Я вот что думаю: если ты каждый раз будешь избавляться от этого, описывая, что у тебя на душе, что тебя мучает, то уже одно это само по себе может иметь целительную силу. И еще, может быть, то, что твои письма будет получать человек, который знает толк в радости. Ибо у меня, Райнер, никогда не было иной силы, кроме той, что изначально присуща любой радости.

В твоем письме я снова увидела многое, что было в тебе прежнем. Мой муж передает тебе привет и просит сказать: что бы ты ни писал мне, это прочту и сохраню я одна.

Только недавно я вернулась из России!..

Рильке. Ты, дорогая Лу, говоришь, что мне не следует бояться, и я попытаюсь жить без страха.

Мы уже неделю живем в Ворпсведе; но я не мог поблагодарить тебя за твое доброе письмо, обрадовавшее меня; ибо неделя эта была мучительной. Я все еще страдаю от болей, и жизнь моя – сплошное бедствие. Должно быть, то, что причиняет мне боль, имеет ту же причину, что и страх. Вероятно, за всем этим стоят проблемы с кровообращением, по этой причине у меня то возникают непривычные состояния духа, то болезненно дает о себе знать то или иное место тела.

Но, быть может, в первую очередь мне нужен покой. Я буду подолгу сидеть в своей комнате и гулять босиком по саду в своей синей русской рубаше. И буду пытаться работать. Перевод «Слова о полку Игореве» начат еще в Париже; быть может, здесь я его продолжу. Пока что пишется мне трудно; ты видишь это по письму, которым я хотел донести до тебя столь многое, но у меня ничего не получилось. А мне так хочется написать тебе о многом и о многом спросить тебя. Буду терпеливо ждать часа, когда слова станут даваться мне легче.

Лу. Хрупкое здоровье Райнера было причиной и того, что еще со времен юности невыносимым мучением для него



было ожидание часов подъема работоспособности: не только тело было подорвано этим ожиданием – все осложнялось его истерией. То есть вместо обычной подготовки к работе, когда художник колеблется, как начать, у него начинались приступы повышенной чувствительности и раздражительности, боли, доходящие до кризисов и спазмов тела. Райнер называл это, иногда в шутку, – хотя чаще всего это терзало его до отчаяния, – «своей неуместной писаниной», а свое тело «хитроумной обезьяной». Это значит, его боли проникали даже в чисто психические области: он позволял захлестнуть себя этим всплескам, которым не было оправдания и которые повторялись с такой силой и упорством, что он, должно быть, забывал, с каким жаром он отдавался своей настоящей жизни. Жизнь он понимал в такие моменты как «обезьянничество».

Но самыми болезненными были часы, когда судьба преподносила ему неподдельные подарки, когда он был окружен состраданием, добротой, уважением, дружбой. Его буквально обволакивали этими чувствами, даримыми с такой красотой и величием. Он, истинный Райнер, горько плакал в душе, что вызывал их, он, тем не менее, воспринимал их только как легкое опьянение, некую помеху, имитируя видимость того, что он их принимает, хотя его внутренний мир творца так и оставался чуждым этому блаженству.

Рильке. ...Я хочу тебе сказать, дорогая Лу, что в Париже я чувствовал себя так же, как и в военном училище; и как тогда меня охватывало непомерное боязливое изумление, так и теперь я снова испытывал ужас перед всем тем, что люди, запутавшись в словах, называют жизнью. Тогда, мальчик среди мальчиков, я был одинок в их среде, но каким же одиноким, постоянно отвергаемым всем, что встречалось на моем пути, я чувствовал себя в Париже; экипажи сотнями катили сквозь меня, а те, что торопились, и не думали меня объехать, а с презрением проезжали по мне, как по выбоине, в которой скопилась застоявшаяся вода. И мой извечный страх... О, тысячи рук возводили его! А когда настало время Парижа, страх вдруг стал огромным.



Я прибыл туда в августе прошлого года. И какие только люди не встречались мне с тех пор почти каждый день; обломки кариатид, на которых еще покоилась вся эта мука, все это сооружение из мучений, и под ним нетопливо, точно черепахи, влачили они свое существование. Прохожие среди прохожих, они были забыты всеми и предоставлены своей судьбе. В лучшем случае на них обращали внимание как на вызывающие интерес объекты и разглядывали со спокойным, деловитым любопытством, будто невиданных животных, которых нужда наделила особыми органами, необходимыми для голодания и умирания. Они приспособились к безрадостной и бесцветной жизни больших городов, выживали под гнетом каждого дня, который пытался раздавить их, как живучих насекомых, выживали, словно еще надеялись на что-то, вздрагивали, как разрубленная на куски большая рыба, которая уже начала протухать, но все еще подает признаки жизни. Они жили, – жили ничем, пылью, копотью и грязью, копившейся вокруг них, – тем, что бросали, не доев, собаки, какой-нибудь нелепой сломанной вещью, которую кто-нибудь все еще мог купить непонятно с какой целью. О, что это за мир! Куски, куски людей, ошметки животных, остатки старых вещей, и все это движется, словно гонимое каким-то зловещим ветром, несется и несет что-то на себе, падая и обгоняя себя в падении...

И все эти люди, мужчины и женщины, которые словно откуда-то и куда-то переходят, может быть, от безумия к исцелению, а может быть, совсем напротив, именно к сумасшествию; у всех в лицах нечто беспредельно тонкое, не то любовь, не то знание или радость, словно бы свет, лишь чуть-чуть потускневший и беспокойный; он мог бы опять стать ясным, если бы хоть кто-нибудь пригляделся к ним и помог... Но нет, никто не помогает. Никто не помогает им, – тем, кто еще лишь совсем немного смущен, испуган или оробел; тем, кто лишь начинает видеть предметы по-иному, чем они задуманы; тем, кто еще целиком живет все в том же мире и только идет словно бы немного вкось и поэтому думает, будто предметы нависли над ним; тем, кто в городах не чувствует себя дома и теряется в них, как



в зловещих беспредельных лесах, – всем тем, кто ежедневно терпит страдания, всем, кто в шуме не слышит шага собственной воли, всем, кого страх уже перерастает, почему же никто не поможет им в этих больших городах?

Куда идут они, куда так поспешно проходят по улицам? Где спят они, и если не могут уснуть, что проплывает тогда перед их печальными глазами? О чем они думают, просиживая целыми днями в городских садах, склонив голову на руки, которые словно бы сошлись из разных далей, чтобы спрятаться друг в дружке? И какие слова говорят они сами себе, когда их губы смыкаются и движутся? Сплетают ли они еще настоящие слова?.. А то, что они говорят, – это еще фразы, или из них все вырывается уже в полном смятении, как из горящего театра, все, что в них было зрителем и артистом, слушателем и героем? Неужели никто не думает о том, что в них есть детство, которое гибнет, и сила, которая увядает, и любовь, которая рушится?

О Лу, я так мучился, день за днем. Ибо я понимал всех этих людей, и хотя я старательно обходил их стороной, они не были для меня тайной. Какая-то сила вырывала меня из моей оболочки и впихивала в их тела, вела сквозь их жизни, сквозь все их трудные, тягостные жизни. Мне приходилось часто вслух убеждать себя, что я не из их числа, что когда-нибудь я уеду из этого ужасного города, в котором они умрут; я говорил себе это и чувствовал, что так оно и есть. Но когда я замечал, что моя одежда с каждой неделей становится все хуже и тяжелее, я видел, как она изнашивается во многих местах, я пугался и чувствовал, что могу безвозвратно оказаться среди этих отверженных, если какой-нибудь прохожий полуосознанно причислит меня к ним. Любой мог столкнуть меня к ним мимолетным взглядом, полным осуждения и пренебрежения. И разве я не был одним из них, ведь я был так же беден, как и они, и полон неприятия всего того, что занимало других людей, что радовало их, обманывало и вело по жизни? Разве не отвергал я всего того, что меня окружало, и разве не был я, в сущности, бездомным, несмотря на видимость жилья, в котором я чувствовал себя чужим, словно делил его с кем-то мне неизвестным? Разве не голодал я, подобно им,



когда сидел за столом, уставленным едой, к которой я не притрагивался, так как она не была чистой и простой, как та, которую я любил? И разве не отличался я, подобно им, от большинства, меня окружавших уже тем, что не одурманивал себя вином или другими подобными напитками?

Умей я придавать форму испытываемым мной страхам, умей я создавать из них вещи, подлинные, надежные вещи, творимые радостно и свободно, вещи, от которых веет покоем, со мной бы ничего не случилось. Но эти страхи, которыми наделяет меня каждый день, затрагивают тысячи других страхов, и они восстают во мне против меня, уживаясь друг с другом, и я не могу ничего с ними поделать. Стремясь придать им форму, я использовал их как материал для творчества; вместо того, чтобы подчинить их своей воле, я позволил им жить собственной жизнью, которую они обращали против меня, и они преследовали меня до глубокой ночи. Живись мне лучше, спокойнее и приятней, имей я в своем распоряжении комнату, сохрани здоровье – и, может быть, я и смог бы создавать вещи из страха.

Однажды мне это удалось, хотя и на короткое время, когда я был в Виареджо; правда, страхи обуревали меня тогда сильнее, чем прежде, не давали жить... Но дело все же пошло. Там возникли молитвы, Лу, книга молитв. Я должен сказать тебе это, потому что в твоих руках находятся мои первые молитвы, о которых я столь часто вспоминал и которыми так дорожил в своем далеке. Я потому дорожу ими, что они исполнены высокого звучания, и потому, что им покойно в твоих руках (да еще потому, что о них никто, кроме нас с тобой, не знает). И однажды я хотел бы прийти и положить молитвы, возникшие с тех пор, к тем, что у тебя, оставить их в твоём тихом доме.

Ты пойми, я чужестранец и бедняк. И я пройду; но в твоих руках должно остаться все, что однажды могло бы стать моей родиной, если бы я был сильнее.

Лу. Дорогой Райнер, во время чтения твоего последнего письма случилось так, что я на мгновение совсем забыла о тебе, – так захватило меня то, что ты в нем описываешь,



так вошло в меня вплоть до мельчайших деталей и затем выросло до понимания мощи человеческой. Я очутилась во власти странного воодушевления, оно исходит даже от впечатлений, рожденных убожеством, если их создает не только сама жизнь, но, сверх того, еще и творящий, претворяющий дух. Ты ошибаешься, полагая, что лишь беспомощно пережил эти вещи, не воспроизведя их в высшем процессе. Все они теперь существуют: не только в тебе, но отныне и во мне, и вообще вне нас – как живые, красноречиво говорящие сами за себя вещи, ничем не отличающиеся от какой-нибудь песни, которую ты сочинил.

Ты поэт «несчастливых и обремененных тяготами». Мне так хочется выразить в словах то двойственное впечатление, которое произвела на меня эта встреча с тобой! С одной стороны, она напоминает мне о самых ранних, отдаленных по времени впечатлениях о тебе, возникших еще до Вольфратсхаузена, о первых годах, когда тебе довелось перенести так много телесных страданий; я очень хорошо понимаю, почему и тебе самому, в связи с Парижем, вспомнилось военное училище, вспомнились переживания далекого времени. Напротив, с другой стороны, мне теперь кажется, что ты уже пришел туда, куда в свои лучшие, более поздние годы приходил только время от времени: к самому себе. Уже одно то, что нечто тебе так долго противостояло, но, в конце концов, так и не сумело отвратить тебя от себя, говорит о твоей повышенной сопротивляемости и способности к концентрации. В переходное время, когда здоровье твое укрепилось, ты неоднократно оказывался в опасной ситуации: обманчивое ощущение силы толкало тебя к поверхностному увлечению случайными вещами. Сила, когда она растет, утрачивает, так сказать, свой глубинный объект и растрчивает себя, вместо того, чтобы склониться, как взрослый к ребенку, к впечатлениям раннего, беспомощного детства, вывести их все на свет Божий, облачив в самые тяжелые воспоминания.

Надо признать, односторонне и неловко, но я все же высказывала это ощущение, когда говорила тебе: из воспоминаний о военном училище вырастет когда-нибудь твое творение. И вот это случилось: поэт в тебе творит,



опираясь на страхи людские. Не думай, что такое легко дается в любое время! Для этого требуется очень много мужества и смирения.

То «самое реальное», о котором ты недавно писал, что хотел бы крепко держаться за него, когда тебе кажется, что глубинный страх опустошает тебя и отдает во власть чужого мира, это единственно реальное уже есть в тебе; упало в тебя, как тайное зерно, поэтому ты еще не осознаешь этого. Оно в тебе, ты для него словно клочок земли, в которой все, что в нее попадает, даже самое изломанное и незадавшееся, отвратительное и ни на что не годное, обязательно перерабатывается в питательную смесь для семени, что спрятано в тебе. И нет никакой беды в том, если поначалу кажется, что в душу тебе вывалили целую кучу мусора: все превратится в почву, все станет тобой. Никогда еще ты не был так близок к выздоровлению, как сейчас.

Рильке. Твое письмо, Лу, мне переслали сюда из Ворпсведе. Я получил его вчера утром, и маленькая Руфь была со мной, когда я читал его первый раз. С тех пор я часто перечитывал его, гуляя в саду, и каждый раз воспринимал как нечто новое, неожиданное и сверх меры доброжелательное. Вот так к тем, что брели по пустыне, прилетали птицы и приносили хлеб; вполне может быть, что они питались из самих себя, из глубины своего горя и одиночества, но не знали об этом, пока не прилетала чужая птица и не приносила им хлеб как внешний знак внутренней пищи, которой они питались... Точно так же доходит до меня твой голос и твое великодушное одобрение, которого я, вероятно, не заслуживаю, ибо то, что накопилось до Вольфратсхаузена, – и ты, Лу, это заметила, – очень сильно во мне, и я, кажется, еще не справился этими переживаниями. Ежедневные впечатления от невероятных страданий, от проявлений гибели, с которыми я столкнулся в Париже, должно быть, оказались слишком сильны для меня и, словно волной, захлестнули мою волю. Тебе я мог написать об этом, так как очень хочу раскрыться перед тобой, хочу, чтобы ты увидела меня целиком; но это было



всего лишь письмо. Из этого еще ничего не возникло, никакой вещи, которая бы свидетельствовала в мою пользу: появится ли она когда-нибудь? Мне кажется, что то, что я по-настоящему воспринимаю, глубоко западает в меня, накапливается и накапливается, в конце концов, мне недостает силы поднять все это на поверхность, и я боязливо ношу в себе перегруженные глубины, никогда не добираюсь до них. Я, правда, знаю, что нетерпение может сослужить мне плохую службу во всех этих процессах и превращениях, которые вершатся во мраке, словно в желудочках сердца; и что в терпении заключено все: смирение, сила и мера. Но жизнь проходит, как один день, и кто хочет быть терпеливым, тому потребуются тысячи таких дней, из которых, может случиться, ни один не будет ему дарован. Жизнь идет, проходит где-то там мимо многих, обходит тех, кто ждет. Поэтому я хочу работать, чтобы не быть ожидающим, хочу стоять в своей мастерской за работой каждый день до самого заката. Хочу – и не могу, потому что почти ничего во мне еще не созрело, или же я не знаю об этом, и мои будущие жатвы старятся и переживают себя. В душе моей все еще царит неразбериха; все, что переживаю, отдается во мне болью, и что я по-настоящему вижу – тоже. Я не ловец впечатлений: почти против моей воли кто-то втискивает их мне в руку, втискивает глубоко, вместе с их острыми, режущими краями; а те, что я сам хочу взять, ускользают от меня, текут сквозь пальцы к другим, точно вода, в которой я мимоходом отразился. Что делать человеку, который так плохо разбирается в жизни; который поневоле позволяет ей течь мимо и узнает, что его собственные желания всегда значительно меньше чьей-то большой воли; в поток которой он иногда попадает, точно плывущая по волне щепка? Что делать человеку, Лу, для которого книги, которые он хотел бы прочитать, открываются подобно тяжелым дверям: первый же порыв ветра захлопывает их снова? Что делать человеку, которому общение с людьми дается так же тяжело, как и с книгами, ибо у них он не может взять то, что ему нужно. Ибо он не может выбирать, а взваливает на себя случайное, то, что важно не для него, а для них? Что ему делать, Лу? Остаться совсем одиноким



и привыкать жить с вещами, которые ему близки и не возлагают на него груз ответственности?

Да, Лу, я и сам считаю, что переживания последних лет пошли мне на пользу, что впихивал в себя все, что встречалось на моем пути, а не разбрасывал, как часто бывало раньше: я стал плотнее, во мне меньше пор, меньше промежутков, они заполняются тем, что входит в меня и вздувается.

Лу. Однажды я вдруг поняла, что отчаянье Райнера – **фатально**: это было не просто беспокойство ранимой души из-за потерь и утрат, сопровождающих любую жизнь, не тоска всех мало-мальски артистических натур из-за временного угасания их творческой силы, которой невозможно приказать, – а **абсолютное** отчаяние существа, поглощенного бездной, в которой также исчезло и то, что, не будучи частью нас, руководит нами и всем остальным.

Рильке. Вот видишь, дорогая Лу, нет вокруг меня покоя. Тщетно ждал я тихой минуты, чтобы написать тебе большое письмо; она никак не приходит. Дни напоминают мерцающую лампу или огонек на ветру, а ночи полны тревоги о том, что было и о том, что будет. И все еще у меня нет тихой комнаты и окна, из которого я мог бы смотреть на что-нибудь спокойное...

Маленькая книжечка о творчестве Родена, которую я тебе сегодня посылаю, многое расскажет тебе; она вся построена на личных переживаниях и свидетельствует о том первом времени в Париже, когда я, во власти огромного впечатления, чувствовал себя еще в какой-то мере защищенным от тысячеликого страха, который пришел позже...

Я так рад, что теперь, когда мои писания столь неровны и фрагментарны, могу дать тебе хоть что-то, из чего ты узнаешь, что во мне изменилось. И пусть мои ничтожные послания не утомляют тебя, Лу; для меня так бесконечно много значит возможность рассказывать тебе и о повседневном, которое становится в моих глазах сплошным сумбуром, так как я не в состоянии окинуть его взглядом; в твоих глазах



оно упорядочится и станет другим. И то, что я знаю об этом, помогает мне больше, чем я могу выразить.

Лу. Какой удачей для Райнера было знакомство с Роденом, творцом, подарившим ему реальность такой, какая она есть на самом деле, не искаженную сентиментальностью сюжета! Он научил его, пользуясь моделью, совмещать многогранность творчества с многогранностью жизни, единые заповедь и закон которой – «работать, не покладая рук» – побуждала его создавать вещи не от душевной тоски, от которой он ищет убежище, а восторженно созерцая свою «modele» (отображаемый предмет). И пока Райнер приучался работать, посвящая себя конкретным занятиям, оставляя в стороне свои сиюминутные настроения, его обыденная жизнь, размеренная и загруженная занятиями и работой над книгой, постепенно подчинялась единой и верховной власти искусства. Уже давно он, полный надежды, рвался к этой цели – еще со времен кружка художников в Ворпсведе, когда Клара Вестхофф, ученица Родена, вышедшая вскоре за него замуж, показала Райнеру работы Родена.

...Дорогой Райнер, когда пришел твой «Роден» и я читала его, мне показалось, что я долго не смогу тебе написать! Мне хотелось читать долго и спокойно и начитаться досыта этой маленькой книжкой, которая содержит в себе многие тысячи страниц. И которая мне невероятно дорога, может быть, – нет, без всяких оговорок, – дороже всех твоих опубликованных книг.

На чем, в конечном счете, основывается то двойственное впечатление, которое ты производишь, а именно впечатление о подавленном состоянии и *одновременно* о внутреннем росте? Теперь я понимаю, понимаю все. Благодаря твоему «Родену».

В тебе сплелись до неразличимости два художественных мира, но прежде чем снова разъединиться и уравновеситься, один из них, изобразительный и предметный, не поддающийся воплощению поэтическими средствами, вероятно, направил свою энергию против тебя, вцепился, как вампир, в твое тело, чтобы возместить нанесенный ему ущерб. Ты пережил тяжелые послеродовые



муки, но только потому, что в тебе родилось нечто совершенно новое. Потому-то я и радуюсь твоим страданиям: ибо как же мне не радоваться, если даже то, как ты их выражаешь, выдает мне, кем ты стал. Радость, что заключена в твоих письмах, еще не снизошла на тебя, но она твоя, и под ее сенью ты еще избавишься от всего, что причиняет тебе боль.

По-моему, исполненное глубочайшей таинственности свое очарование книга обрела только потому, что твое увлечение ею было не только профессионального или поэтического свойства, оно коренилось в сфере интимных человеческих отношений. В том, что ты так самоотверженно отдался своей противоположности, своему дополнению, воплощению своих собственных желаний, отдался, как отдаются, вступая в брак. Не знаю, как это выразить по-другому, но для меня в этой книге есть что-то от брачных отношений, от священного диалога с глазу на глаз, от растворения в том, чем ты сам не являешься, но отныне становишься благодаря какому-то таинству. В ней воплотилась концентрация всего сущего. Все изнурение от этой работы и все возможные последствия – ничто по сравнению с тем душевным преображением, которое она обусловила. Ибо в результате этой работы появилась книга, ты уже *сотворил* нечто, что можно взять и подержать в руках. Но если говорить о душевном переживании, то от него остались лишь ожидания и мечты о будущем, все *еще предстояло* тебе, и разбуженную тоску было столь же трудно реализовать, как после первой брачной ночи родителям трудно представить себе своего будущего ребенка.

Я думаю, благодаря таким переживаниям ощупью подбираешься к границе возможного, доступного человеку, доказываешь себе, кто ты есть... Вероятно, через много лет в тебе, как воспоминание об этих часах, проявятся некие высшие воплощения твоей сути и обнажат ту глубинную логику, которая соединяет человека и художника, жизнь и мечту. Я со своей стороны теперь точно знаю, кто ты есть: для меня это самое что ни на есть личное в этой книге, то, что делает нас, как мне верится, союзниками в таинствах жизни и смерти, едиными в том вечном, что



связывает человека с человеком. Отныне ты можешь на меня положиться.

Рильке. ...Как я ошибался, когда тосковал по реальности, по дому, по людям, которых мог бы считать своими близкими, по обыденной жизни! С тех пор, как я получил все это, оно отпадает от меня, одно за другим. Дом мой был мне всего лишь чужбиной, на которую мне приходилось работать, а близкие люди казались гостями, которые никак не хотели уходить. Как терялся я всякий раз, когда хотел быть чем-нибудь для них, как уходил от себя и не мог прийти к ним и был в пути между ними и собой, не зная, где я и сколько моего имею с собой, мне доступного. Как я могу быть кем-то для кого бы то ни было, не имея нужной людям профессии, не имея прав на них? Как должен жить тот, кто действительно имеет право называть ребенка своим? Он должен денно и ночью думать о заработке, и ни о чем другом. Каждая связь порождает задачи, каждая возлагает обязанности и предъявляет законы, с которыми нужно согласовывать счастье и величие жизни и расти с ними, становясь самим собой. Есть люди, которые это могут. Но другие одиноки с самого начала, им не дана радость общения; каждая связь таит в себе опасность для них, враждебна им. Дом, который они возводят, стоит на их плечах, так как у них нет родины, где можно было бы поставить его, и вместе с милыми, близкими им людьми приходит нечто слишком близкое, мешающее смотреть вдаль.

О Лу, в стихотворении, которое мне удастся, куда больше реальности, чем в любой связи или склонности, которую я ощущаю. Когда я творю, я истинен и хочу найти силы, чтобы всю свою жизнь выстроить на этой истинности, на бесконечной простоте и радости, которая иногда мне дается. Я стремился к этому, уже тогда, когда пришел к Родену; полный предчувствий, я давно уже знал, что его творения могут стать для меня неисчерпаемым примером и образцом. Теперь, уйдя от него, я знаю, что свои воплощения мне нужно искать и находить только в своем творчестве, и нигде больше; там мой дом, там образы, которые действительно близки мне, там женщины, в которых я нуждаюсь,



и дети, которые вырастут и будут жить долго. Но как мне вступить на этот путь? Где инструменты моего искусства, где самая глубокая, мельчайшая точка, с которой я мог начинать прилежно трудиться? Я готов идти по любому пути, ведущему назад, к этому началу, и все, что я сделал, ничего не стоит, ничтожнее пыли, сметенной с порога, к которому очередной гость принесет новый след дороги. Терпения мне хватит на тысячелетия, и я хочу жить так, словно у меня очень много времени. Я хочу собрать себя из всего, что рассеяно мной, и из того, чему я нашел поспешное применение, вернуть и сберечь принадлежащее мне. Но я слышу голоса, которые мне желают добра, и слышу приближающиеся шаги, и дверь моя открывается...

И когда я ищу людей, они ничего не могут посоветовать и не знают, что я имею в виду. С книгами у меня такие же (беспомощные) отношения, они тоже не могут мне помочь, будто и они еще слишком люди... Только вещи говорят со мной. Вещи Родена, вещи готических соборов, античные вещи – все вещи, отмеченные совершенством. Они указывают мне на образцы; на подвижный живой мир, просто, без толкований, увиденный как повод для вещей. Я начинаю видеть новое, уже цветы значат для меня бесконечно много, и от животных я получаю импульсы необычайного свойства. И людей я уже воспринимаю иногда так же: где-то там живут руки, что-то говорят губы, и я смотрю на все спокойнее и справедливее.

Но мне все еще недостает дисциплины, умения работать и потребности в работе, к чему я стремлюсь уже много лет. У меня нет силы? Или воля моя больна? А может, мечта во мне стает на пути любого действия? Еще ничего не произошло, еще ничего не стало реальностью вокруг меня; и я все еще дроблюсь и растекаюсь в разные стороны, – а хотел бы течь по *одному* руслу. Не правда ли, Лу, так ведь и должно быть – мы должны течь, как поток, не расплываясь по каналам, чтобы поить водой луга? Не правда ли, нам надо журчать, держась в своих берегах? Может быть, когда-нибудь, состарившись, в самом конце жизни мы, ослабев, позволим себе растечься и влиться в дельту... милая Лу!



Лу. Я, как и ты, до такой степени пронизана всем этим, что очень нуждаюсь в отстранении одиночестве, я могла бы даже сказать о себе, что именно по причине этой строгости к себе и смиренномудрия мне, хотя я и не художник, пришлось отказаться от материнства. Ибо чем глубже воспринимаешь жизнь глазами художника, тем сильнее ощущаешь, как настойчиво выпирает из вещей их совершенство, и чувствуешь: каждая вещь заслуживает того, чтобы отдать ей творческую силу всей жизни. Но каждый должен на своем опыте понять, как мало можно добиться, полностью отстранившись от жизни, а когда жизненные обстоятельства ворвутся в твою судьбу, тогда отстраниться от них уже невозможно: они вплетаются в круг нашего бытия, застревают в нас, а мы в них. Если же они остаются в нас не переработанными, то разрушают душевный покой, как ничто другое, и не позволяют художнику спускаться в глубины и пропасти своего существа, подобно искателю сокровищ, вытесняют его на поверхность, подталкивают к забвению и одурманиванию. Ему не остается ничего другого, как здесь, посреди жизни, где он хорошо ли, плохо ли фиксирует свое человеческое бытие, сохранять ту точку, склонившись над которой он может начать свою работу. Работу не просто человека, а именно художника: в таком же точно смысле, в каком Роден боролся с трудностями, когда материал был ему непослушен.

Как ни странно это звучит: техническая сторона дела, направленная на овладение вещью, для поэта чаще всего зависит от состояния его души, а не от того, в каком состоянии находится его мастерская и инструменты. Если он и впрямь всю свою жизнь отдает искусству, тогда он обогатит жизнь многим образами. Тогда он день и ночь будет работать над созданиями, которые живут в его голове, стараясь, чтобы ничего в нем не бродило как призрак, беспокойно требуя выхода, а нашло успокоение в бытии его вещей. И тогда, быть может, он создаст руку, о которой ты говоришь словами Родена, руку, «вокруг которой будет сплошная красота», ибо только так рука может существовать и быть всем.



Рильке. Да, ты права, Лу, я должен научиться работать, работать, вот чего мне так недостает! Если бы у меня были рабочие будни, чтобы самый сокровенный уголок моего сердца стал мастерской, стал моей кельей и убежищем, с тем, чтобы все, что во мне есть монашеского, пошло на созидание монастыря, служило бы моей работе и молитве. Чтобы я больше ничего не терял, а все располагал вокруг себя по степени родства и важности. Чтоб я воскрес, Лу! Потому, что я разбросан, как труп в старой могиле...

Когда-нибудь и я научусь создавать вещи; не пластические, а вещи из слов – реальности, рождающиеся из ремесла. Но меня часто мучает, что я так мало знаю; быть может, особенно то, что я очень мало знаю о цветах, о животных, и о простых событиях, из которых складывается жизнь, словно народная песня.

Будь ко мне снисходительна, Лу. Тебе, должно быть, кажется, что я слишком стар, чтобы все еще быть в поиске, словно юноша; но я твое дитя и не скрываю этого и говорю с тобой, как дети говорят во сне, зарывшись в тебя лицом, с закрытыми глазами, чувствуя твою близость, твою защиту, твое присутствие...

Лу. Это тайное желание «вернуть свое детство», страстное желание видеть, как оно всплывает в памяти, подобно видению, хотя поток этих воспоминаний и заставлял его пятиться в ужасе! Но стоило только преодолеть эту дрожь, предваряющую всякое движение вглубь – и вот перед ним его раннее детство, пронизанное тем изначальным чувством безопасности, которое не нуждается ни в каких страховках и гарантиях. Именно это ощущение, и только оно, вызвало тот заряд свободы в книге, которую ему предстояло написать.

Я верю во все то, что еще не сказано.
Я хочу выпустить на волю свои самые благие вспышки.
Однажды я, сам того не желая, сделаю то,
чего еще никто не дерзнул желать.
И да простит меня Бог, если это высокомерие.

...

И если это гордость, дай мне быть гордым,
произнося молитву.



Рильке. ...Через несколько часов мы уезжаем, Лу. Мариенбад, Венеция, Флоренция, Рим... В Риме, где Клара будет работать всю зиму, я смогу выдержать совсем недолго и еще до того, как почувствую тяжесть этого города, я начну искать себе скромное одинокое пристанище (хотелось бы, на море), где мягкая зима неотличима от ранней весны. И в этой тишине, если она мне будет дарована, я хотел бы, Лу, подниматься к тебе порой, словно к светлой святой из родимой дальней страны, которой мне не достичь, потрясенный, что ты сияешь яркой звездой над тем самым местом, где я особенно робок и темен...

Я снова буду далеко от тебя, много, много дальше, чем в эти странные летние дни, когда твоим письмам требовалось так мало времени, чтобы дойти до меня. Как часто я мечтал о том, чтобы самому проделать путь моего письма к тебе.

Теперь же, снова отправляясь в дальние края, я прошу тебя, Лу, об одном: возьми себе и эту новую книгу моих молитв, положи ее к первой и читай и будь ласкова с ней. Я буду счастлив, зная, что целое покоится в твоих руках, под твоей охраной, под твоим присмотром, соединенное тобой в один свод. О Лу, ты мое равновесие...

Прощай, дорогая Лу; мыслями я далеко от этой поездки, в том времени, когда, возвратясь, я смогу прочитать тебе некоторые свои молитвы, давно уже принадлежащие тебе...

3

Рильке. *Рим, вилла Штроль-Ферн, 17 марта 1904.*

Дорогая Лу, 22 января это было. Тогда я написал тебе. Я рассказал о мелочах своей жизни; поблагодарил тебя за письмо; попросил прислать маленькую фотографию.

С тех пор я не имел от тебя вестей, а обстоятельства таковы, что на душе у меня тревожно. Я каждый день думаю, не принесла ли русская война твоим родным ужасы и опасности: твоим племянникам, твоей маме, да и тебе



самой. Надо же было случиться такой беде, такому горю, такому страданию для тысяч людей, которые теперь воспринимают войну так, как воспринимал ее Гаршин: как возложенное на них бедствие.

Господи, да будь у меня силы, сохрани я их, не живи так сейчас, этой тихой захолустной жизнью, убого и робко, трудясь ради хлеба насущного, стань я действительно чем-то реальным (врачом, вот кем надо было бы стать...), – то нигде, кроме как на перевязочных пунктах, где тяжело и страшно умирают русские люди, не нашлось бы места и дела тому, кто мог бы с пользой употребить свои силы.

Но больше всего я хочу знать о тебе. Где ты – дома, в России?

Лу. Какая это отрада для меня – то, что ты говоришь о нашей войне! Ведь в Германии не понимают даже того, что Россия, хотя и не добровольно, защищает там Европу от Азии. Она всегда оказывается в этой промежуточной ситуации, когда нужно выстоять в столкновении между Востоком и Западом ради всех, как было уже тогда, во времена монгольского ига...

Трое моих племянников, сыновья обоих братьев, ждут отправки на фронт; моя старая мама (в январе ей исполнилось восемьдесят, но она бодра и свежа) сидит и шьет для раненых. В прошлом месяце я должна была поехать к ней, но долго болела. Этим объясняется мое молчание. Но в своем эгоизме я иногда все же посматривала, нет ли от тебя письма...

Рильке. ...Когда, – что иногда случается, – ты являешься мне во сне, тогда этот сон и его отзвуки днем становятся для меня реальнее, чем вся дневная реальность, становятся миром и событием. Я думаю об этом, ибо ночь и день, когда ты писала свою открытку, прошли именно так: в близости к тебе, которая делает меня спокойнее, терпеливее и добрее...

Лу. Уже несколько недель я купаюсь в море недалеко от Венеции! Пиши мне на Луфрид, куда я скоро возвращаюсь.



Рильке. Вот, значит, как близко была ты от меня! Мне все это время казалось, что ты приедешь в Италию. Когда я увидел открытку, написанную твоим почерком и с итальянской маркой, во мне на мгновение вспыхнула надежда, слишком большая надежда...

Я думаю о тебе, хотя не знаю, где мои мысли могут тебя застать. Я ищу тебя в этой сильной буре, что раскачивает старые деревья в парке, бросает на дорожки свет и тени, а по вечерам громоздит над дугами кучи туч.

Я не решаюсь подробнее рассказывать тебе о себе или жаловаться на жизнь: теперь, когда на Россию обрушилось столько горя, все мои переживания кажутся мне мелкими, недостойными упоминания. Если ты сейчас находишься на своей великой, многострадальной родине, тебя переполняют ее плач и жалобы. Я хочу, чтобы это была и моя родина. Тогда я имел бы право чувствовать каждый удар и быть частицей ее великого страдания.

Лу. 17 августа 1904 года я послала Райнеру открытку из Копенгагена с видом отеля «Бельвю», где мы остановились с Цемеком. Текста не было. Втайне я надеялась, что Райнер примчится туда. Я не ошиблась.

Рильке. Почта к нам в Боргеби Гард приходит только раз на дню. Ежевечерне. В четверг, 18-го, пришла твоя открытка. Поезд с пересадкой на Копенгаген шел лишь на следующее утро. Я сел в первый проходивший и вчера утром был в Копенгагене... Ты уже уехала. В отеле ничего. Говорят, через восемь дней ты снова будешь проездом здесь, но это всего лишь слухи. Насколько я мог понять, с тобой доктор Пинельс. Какая потеря для меня, что мы не встретились. Сегодня я возвращаюсь в Бегбери Гард. Если ты появишься здесь и найдешь это мое письмо, телеграфируй мне в Богбери Гард. Я так жду...

Лу. Дорогой Райнер, посылаю это письмо наугад, так как ты уже не в Швеции, а в Копенгагене. Мы не встретились по моей вине, моя открытка к тебе была огромной глупостью с моей стороны. Твои письма я получила в пути,



одно в отеле «Бельвю», где я не могла задержаться, так как спешила в Стокгольм, на русский корабль.

В Стокгольме мне кое-что напомнило о России, но русское впечатление было стертым, Россия снова стала передо мной в своем величии и в своей печали, пробуждая во мне любовь и боль, когда мы входили в Кронштадт, медленно, мимо Балтийского флота, который перед отплытием дожидался императора, чтобы получить его благословение. Незабываемой для меня останется картина, когда над боевыми кораблями вставало в темно-синем небе солнце, под пушечную канонаду и торжественное движение всех судов.

Дома я нашла свою милую восьмидесятилетнюю старушку крепкой и розовой, словно молодую девушку, и останусь с ней до последнего дня, никуда не выезжая. День возвращения уже недалек, мой здешний адрес годится только до октября. А куда поедешь ты зимой? Ни об одном немецком городе я не могу сказать, что он подходит для твоих планов на зиму, к тому же я плохо знаю эти города. Даже Геттинген для меня чужой., а Луффрид уже хотя бы потому не в счет, что я (если Цемек настоит на своем) буду вынуждена два месяца проваляться в постели. Дай мне знать, Райнер, где ты сейчас и где будешь потом, – и прости мне мою глупость с Копенгагеном, не держи на меня зла.

Россия шлет тебе привет, а с ней и я.

Рильке. Когда несколько недель назад я нашел твое письмо в Копенгагене, я попытался написать тебе – и не смог... Я неделями жил только одной мыслью: что ты близко, жил в ожидании, которое то росло во мне, то падало, – в ожидании встречи с тобой; поэтому мне тяжело сейчас писать тебе, ибо все уже сложилось в слова, все мое, в слова и в молчание с тобой, в созерцание, в реальность и должно теперь снова превратиться в букву, и не может, не может так быстро.

Дорогая Лу, я ночи напролет думал, почему это прошло мимо меня? Обычно моя нерешительность, моя несобранность виноваты в том, что вещи, чужие и мои собственные, проходят мимо меня, как прошел мимо старый *кобзарь* на



Крещатике. Но на сей раз все было по-другому. Вся моя решительность была с тобой. Я чувствую, что это была уже не первая твоя открытка, превращающая мои письма в слова и в слышимое молчание: это превращение началось много раньше; уже первое письмо к тебе (из Виареджо или из Парижа) было полно настоящего желания поговорить с тобой. И с тех пор я ношу с собой одно письмо и часто перечитываю его, оно начинается словами: «...в любое время ты можешь бывать у нас, как в трудные, так и в благоприятные для тебя часы».

Я знаю, что сейчас не могу: ты так говоришь. К тому же я далеко, за границей, и, прежде чем уехать, попытаюсь получить здесь все, что я хотел. Но теперь я часто думаю о том, что ты болеешь, и что тебе, видимо, придется долго лежать в постели; на мой взгляд, это лишний повод к тому, чтобы я был вблизи тебя.

Для больших просторов (для мира Волги, по которому я часто тоскую) я теперь не имею достаточно сил. Не имел и тогда, когда все это было мне подарено...

И все же я должен сделать что-то из своей жизни.

Дорогая Лу, помоги мне в этом.

Лу. Даже если всякий творческий процесс порождает дух соперничества между человеком и творцом в человеке, – пусть даже мы знаем, сколько в нем от первого и сколько от второго, – Райнер считал, что предметом его искусства был Бог сам по себе, Бог, подающий знаки о своем отношении к тайникам его жизни, всему самому безымянному, лежащему по ту сторону осознания своего «Я». Его миссия – художника, творца – проникнуть невыносимо глубоко, затронуть все самое человеческое, всю слабость, туда, где эта миссия может потерпеть фиаско, где спрятано то, чья суть совпадает с объектом его творчества. Решившись издать «Часослов», – книгу молитв, – Райнер преодолел свой хронический страх быть *не признанным* в момент таинства возвращения в мир стихами. Он попросил меня вернуть ему на время рукопись «Часослова», которую считал моей полной собственностью, чтобы сделать с нее копию для издательства.



Рильке.

Ворпсведе, 19 мая 1905.

Дорогая Лу, два дня назад я послал отсюда в издательство копии молитв; отсюда же высылаю тебе обратно обе тетради, с которыми я жил эти недели. Держать в руках старую черную тетрадь – это было как свидание; и таким же, каким оно было когда-то, сотканным из радости, познания, тоски и благодарности, из подчинения и ободрения, должно быть, говорит мне мое обостренное предчувствие, и новое свидание, о котором я думаю.

Старые молитвы снова звучали в этой серой келье здесь, они звучали так непритворно трогательно, и, как тогда, я был башней, чьи большие колокола начали свой перезвон: был таким же восторженным, растроганным до глубины души, и так же далеко вылетал из себя. И проник к тебе. Каким близким казалось мне все это, словно мы встретились лицом к лицу.

Прощай, дорогая Лу. Как твоё здоровье? Мне хотелось бы, чтобы оно цвело, как цветет твой сад. Как я тоскую по тому, чтобы быть частью всего этого; чтобы еще хоть раз почувствовать в своей руке руку, которая так высоко подбрасывала жаворонков в небо.

Лу. Дорогой Райнер, я буду рада видеть тебя у себя на Троицу, если ты сможешь. Приезжать в Берлин накануне Троицы вряд ли имеет смысл по причине праздничных дней. Напиши, согласен ли ты. Я рада.

Писать сегодня больше не могу. Представь себе нашу скорбь: прямо против нас возводят огромный дом! Но весна бушует еще сильнее и пока милосердно закрывает его от нас.

Рильке. Я не читаю твое письмо, я воспринимаю его как весть. Спасибо тебе. Я рад. Я знаю, этот год благословен и полон добра, *ибо действительно несет мне его.*

В этот момент я даже не могу выразить сожаление по поводу «огромного дома». Я лишь чувствую, что ничто (даже этот дом) не помешает мне взглянуть из твоего сада на широкий мир и заглянуть в свою собственную жизнь. Я только чувствую: близится нечто хорошее.



Лу. Вне всякого сомнения, после переезда в Париж его душевная тоска дошла до высшей точки, пока не исполнились его горячие мольбы навсегда поселиться у Родена, полностью ему принадлежать, быть, по крайней мере, для видимости, его личным секретарем, маскируя отношения близких друзей, которым оба отдавались беззаветно: ведь Роден был первым, кто подарил ему мир вещей как единое целое.

Несмотря на его огромную привязанность к Родену, чувствовалось, в какой степени природный дар Райнера – ибо он сам создал для себя свой образ Бога – диаметрально противоположен роденовскому. Совершенно очевидно, что и их личные отношения не могли длиться долго, ведь малейшие, даже случайные недоразумения оставляли в них трещину. Для Родена проблему решало его блестящее здоровье и энергия, а так как первейшая задача жизни есть служение искусству, все, включая минуты беззаботной радости и разрядки, соединялось, чтобы обогатить его искусство. Для Райнера перенять манеру Родена означало превратить акт творчества в пассивное самоотречение, безоговорочное повиновение мэтру, который им руководил, и это ему отчасти удалось, в частности, благодаря собственной внутренней противоречивости, которая была его спасением, подавляя всплеск эмоций холодной властью цензуры.

Рильке. ...Когда я вернулся в Медон из Фридельхаузена, Роден пригласил меня поселиться у него. Я принял его предложение, и вот, внезапно, из этого получилось нечто реальное и длительное. Его любезность и дружелюбие поддерживают меня внутренне, а внешне – те обязанности, кои он возложил на меня, дабы мне немного помочь. С конца сентября я занимаюсь тем, что пишу большую часть его писем (на таком французском, за который где-нибудь наверняка есть Чистилище). Он доволен мною и добр, и хочет, чтобы у меня оставалось время и для собственных дел. Вся вторая половина дня принадлежит мне полностью, да и вокруг него самого – такая атмосфера труда и умения, что я, вероятно, смогу здесь научиться всему,



чего мне не доставало. Мне отведен маленький домик – в его саду, раскинувшемся на холмах Медона. Ты найдешь этот домик, хотя он и крохотный, на прилагаемой открытке, по соседству с его собственным домом и рядом с музеем, в котором выставлены его великолепные вещи.

Я не писал тебе, но часто уносился к тебе мыслью. А теперь я даже не знаю, куда ее направить. В Петербург? Как там дела у твоих? А твое здоровье? Пожалуйста, не забудь сообщить. Как прошло испанское путешествие? Теперь, когда я обосновался неподалеку, я, наверное, съезжу в Испанию.

Здесь, в Париже, у меня появилось двое русских знакомых; благодаря ним в мои руки попадают иногда и русские книги. – Но что же станет с Россией? Не все ли потеряно? Прошу тебя, дорогая Лу, передай сердечный привет твоему мужу и откликнись хоть одним словом, которое бы я услышал, как и все звучащее вместе с ним.

Лу.

Геттинген, 17 июня 1909.

Мне сказали, что ты себя неважно чувствуешь, чего я в данный момент никак не могу себе представить, так как нахожусь под радостным впечатлением твоих стихов. Они окружают тебя, неотделимы от тебя; какой же ты счастливчик, Райнер, раз владеешь таким богатством! И, знаешь, я поняла, почему абсолютная искренность в художественной сфере еще важнее, чем в отношениях с другими людьми: без нее можно потерять убежище в себе самом. Единственно надежное.

Я так много была с тобой в это время, что мне кажется странной необходимостью писать. Я и писала в дневник, о чем ты не знаешь. Я ищу тебя в стихах, как в очень густом лесу с множеством укрытий. И радуюсь как находкам, так и самим поискам.

Рильке.

Я был открыт сверх меры, я забыл,
Что вне – не только вещи или звери,
с тобою свыкшиеся, чьи глаза
не выгнать из привычного пространства,
не отделить, как рамы – от картин;



и с каждым взглядом я вбирал в себя все вместе: взоры, мненья, любопытство. В пространстве зарождаются глаза и там живут. Но, лишь тобой влекомый, я зрением, как преградой, не смущен, – о нет: не ясно как, в тебя вступаю и длюсь в твоём оборонённом сердце.

Как руку к спазмой схваченному горлу, нет, как платок к кровоточащей ране, жизнь из которой выхлестом одним стремится вырваться, – я прижимал тебя к себе и видел: от меня ты вся зарделась. Кто поймет, что с нами стряслось? Мы только силились догнать непрожитое время. Я мужал, от часа к часу покидая юность, а ты, любимая, завладевала моим, лишь в сердце сохранённым, детством.

Тут мало вспоминать; должна остаться от тех мгновений у меня на дне жизнь в чистом виде; или так: осадок, кристалл в перенасыщенном растворе. *Не память* мне важна, кто я такой твоею волей. И не я придумал тебе обитель стылую, куда ты ушла; но и отсутствие твоё хранит тепло, что мне куда важнее необладания тобой, Госка порой безадресна. Зачем себя мне отвергать – ты власть, чье бремя, легко мне, как окошку лунный свет.

Лу.

Шарлоттенбург, 6 ноября 1910.

Дорогой Райнер, твои стихи!.. Слово свой собственный голос из незапамятных времен услышала я. Но голос, сказавший это, и глаза, это увидевшие, принадлежат только тебе одному. В таких случаях у меня всегда появляется ощущение, будто вся лирика, со всем, что она имеет в виду и способна выразить, есть лишь маленькая частичка того мира, в котором оживают твои вещи. Я не знаю другой подобной «художественной формы», и в этом, видимо, заключено её очарование. Ты очень далеко пойдешь, дорогой мой Райнер. Лишь бы тебе удалось стряхнуть с себя физические недомогания; то, как



ты их описываешь, позволяет сделать вывод, что они чистой воды неврастения.

Нам многое надо сказать друг другу, о многом спросить! Ничего не поделаешь. Оглянувшись на каком-нибудь повороте пути, мы еще увидим друг друга.

Рильке.

Ронда, в день Богоявления 1913.

... Если бы могли встретиться, милая Лу, теперь это моя самая большая надежда... Я часто говорю себе, что только через тебя я связан с человеческим началом, в тебе оно обращается ко мне, напоминает о моем предназначении, вдохновляет меня; во всех других

случаях я лишь выглядываю из-за его спины и остаюсь неузнанным.

...и утешь меня в сердце своем, – о Лу.

Лу. Только что принесли письмо от тебя, оно лежит передо мной... иллюстрируя отдаление от тебя, о котором ты пишешь, что его не должно быть. А я очень сильно чувствую, Райнер, и пространственную отдаленность, и то нелепое обстоятельство, что ее ничем нельзя перекрыть, только железными дорогами и всевозможными усилиями по организации встреч. Вместо этого должно быть так, чтобы мы были вместе незаметно, тихо, это должно происходить само по себе – не как переживание в ряду других, которым из-за этого пришлось бы потесниться, а так, чтобы не затрагивать их, вписаться в их границы. Это вполне возможно и, вероятно, так и будет. Для меня нечто подобное уже существует – приблизительно то, о чем я говорю, – и я уже не раз упоминала об этом. Когда я читаю твое письмо или выдержку из дневника, где находит выражение все то, что даже в самом тесном общении между людьми остается несущественным и не выявленным, – тогда, именно тогда, ты со мной. В глубине души у меня возникает чувство, что ты есть, и ничто в мире не могло бы меня убедить, что ты за все это время лишился хоть части своего существа, ибо весь ты сохранился в своих письмах и заметках, остался цельным, то есть способным переживать то, что состав-



ляет сущность человеческой природы. Вот тогда ты со мной, тогда я снова вижу тебя, и для меня большое утешение знать, что ты можешь совершать эти тайные путешествия ко мне, в мои представления о сокровенных таинствах жизни.

Но как мне со своей стороны передать тебе это ощущение неопишуемой близости? Как передать это странное чувство, для которого каким-то жестким образом почти все равно, исходит ли путь от блаженства жертвовать собой или от ужаса смешивания себя со всем, что не имеет к тебе отношения? Как выразить радостную уверенность в том, что в обоих случаях речь идет об одном и том же человеке? Ибо, конечно, распятый на кресте и воскресший – это один и тот же человек, человек между блаженством всевладения и мучительной одержимостью, который не мог поступить иначе, кроме как отречься от того, что другие называют «развитием», непрерывным, способствующим росту ходом бытия. Я глубоко верю, что тут невозможна никакая корректировка, и радуюсь этому, ибо корректировка означала бы одновременно и мучительный обрыв пути.

Я думаю, ты должен страдать и будешь страдать всегда. Никто рядом с тобой не поможет тебе, но возможно, да, это вполне возможно, что тебе доставит радость и боль, если иногда рядом с тобой будет кто-то, кто все это знает, и страдает, и переживает вместе с тобой. У меня такое чувство, словно теперь я должна быть много жестче с тобой, чем тогда (хотя и совсем в другом смысле), во мне созрели тысячи материнских и нежных чувств для тебя, и только для тебя, ты один можешь заметить их и использовать. Но им тогда материнство и нежность будут означать одно и то же: и странно, до чего ясно я ощущаю, что к ним относится и суровость, что она должна быть большой и не уменьшаться. Отдаляет тебя от меня то, что я тебе пишу? Я наверняка знаю: когда-нибудь мы снова будем вместе радоваться жизни и тем опасностям, которые она уготовит каждому из нас.



Лу. *Геттинген, 4 февраля 1919.*

...Хочу ответить на твой вопрос: да, мне хотелось бы побывать в Мюнхене, хотя и не сейчас, а в марте. В летнее время я отсюда не уеду, возможно, в этом году вообще будет моя последняя поездка. И вот я думаю: два таких с давних времен, искренне относящихся друг к другу, человека могут попытаться встретиться; если иногда пути их пересекаются, то происходит это каждый раз как бы само собой и в любой момент может повернуться по-иному. Так, без малейшего насилия над твоей свободой, эта встреча была бы для меня возвращением к самому дорожному и близкому.

Рильке. ...Да, дорогая Лу, Если есть хоть малейшая надежда на то, что ты приедешь в марте, намечающуюся поездку в Швейцарию придется отложить, быть может она состоится в апреле... Мне и без того кажется, что мое душевное состояние, вот уже четыре года не знающее потрясений, еще не способно выдержать напора впечатлений и перемен. За действительно плотно запертыми дверями я пытаюсь снова привести свой внутренний мир в движение, сделать его незлобивым.

Лу. Только что пришло твое письмо. Как уладить дело с жильем (и отоплением, и питанием)? К тому же все осложняется нехваткой денег. Нам здесь эти годы довелось голодать (я сильно отохла и стала совсем седой), приходилось добывать молоко и масло с помощью рекомендаций врача; стоит ли труда привозить такие рекомендации? Мне не хочется, чтобы ты что-нибудь добывал для меня; это отвратительнейшее из всех занятий, по сравнению с этим те помехи, которых ты хотел бы избежать, в высшей степени приятное занятие. Не знаю иного выхода, кроме надежды на то, что Господь Бог сам войдет в наше положение; мы ведь хорошо к нему относимся, даже не требуя предварительно доказательств его существования.



Не могу сегодня закончить, а надо, не то начну с самого начала. Милый Райнер, спасибо, спасибо!

Рильке. Подумать только, Лу, по-моему, Господь Бог сделал-таки свое дело; на днях я совершенно неожиданно получил незаслуженно большой гонорар из издательства «Инзель»: в данный момент это должно, должно, должно означать, что ты будешь моей гостьей! Не правда ли, мне не нужно изобретать никаких хитростей, чтобы убедить тебя в естественности сего божественного промысла?

Лу. Два месяца, подаренные мне Райнером, пролетели словно миг. Ни то, что закончилась война, ни Советская республика в Баварии, ни вообще огромное движение масс и событий - не значились в нашем календаре. Наше время текло вопреки.

...Милый Райнер, вот и все, я не увижу тебя больше. Я все время думаю о том, что счастье глубинной связи с тобой останется со мной надолго, даже если мы не будем знать о ней. Но я не сказала тебе, что чувствовала, когда эта связь превратилась для меня на некоторое время в ясный день, в ежечасную реальность, когда я знала, что ты находишься на расстоянии нескольких улиц от меня. Когда мы шли на утреннее представление с танцами, я едва не сказала тебе об этом, но так и не решилась...

Прощай, Райнер, милый, и спасибо за все. Ты подарил мне частицу жизни, и я нуждаюсь в ней даже больше, чем ты думаешь.

Рильке. *Замок Мюзо, 11 февраля 1922.*

Лу, милая Лу, слушай: в этот миг, в эту субботу, *одиннадцатого* февраля, в шесть вечера я отложил перо, закончив последнюю, десятую, Дуинскую элегию. То, что было написано раньше, я читал тебе, помнишь:

Лишь бы мне хоть на исходе утрюмого знанья
Ангелов, как подобает, восславить в согласии с ними.
Лишь бы звучные молоты сердца не отказали
Из-за хрупкой струны, неуверенной или
Сорванной. Лишь бы струящийся лик мой



Ниспослал мне сияние; лишь бы плач мой невзрачный
Цвел. Как бы, ночи, тогда вас любил я,
Удрученные. Не на коленях бы мне, безутешные сестры,
Вам предаться. В косах ваших текучих
Не растечься бы. Мы расточители мук.
Грустную длительность оглядываем, предвкушая
Их кончину. А ведь они – наши земные листья,
Вечнозеленые листья, наш темный барвинок,
Одно из времен потаенного года, не только
Время, но и место, селенье, ложе, почва, жилище...

Теперь остались лишь первые двенадцать строк, остальное написано заново и да, получилось очень, очень, очень здорово!.. Подумать только! Мне пришлось столько ждать этого момента. Столько пережить! Чудо. Милость. И все за несколько дней. Это было как ураган, как тогда в *Дуино*: все, что было во мне нитями, тканью, обрамлением, изогнулось и лопнуло. О еде нечего было и думать.

И еще одно представь себе, в ином состоянии духа, до этого (в «Сонетах к Орфею»...), я сочинил, *сотворил лошадку*, ты помнишь того счастливого сивку с деревянной чуркой, что однажды вечером мчался галопом по приволжскому луку нам навстречу... Спустия столько лет он влетел, весь такой счастливый, в мое раскрывшееся настезь чувство.

И так одно за другим.

Теперь я снова знаю, кто я такой. *Элегии* не появлялись, потому что сердце мое было словно поражено увечьем.

Они появились. Они появились.

Я вышел и ласково, словно большое старое животное, погладил маленький замок *Мюзо*, сберегший во мне и, наконец, отдавший мне все это.

Лу. Ах, слава Богу, *милый* Райнер, он так одарил тебя, а ты меня! Я сидела и читала и выла от радости, и это была не одна только радость, а нечто более могущественное, казалось, будто распался, разорвался занавес, и все вдруг стало спокойным, очевидным и надежным. Я удивительно ясно представляю себе, как ты сейчас выглядишь: так иногда ты выглядел тогда, напоминая взглядом и радостным видом мальчишку; и вот *то*, чего ты так настойчиво



и страстно просил у жизни, без чего не мог обойтись, теперь, кажется, свершилось. Возможно, за этим последует реакция, так как акт творения утомляет творца, но пусть тебя это не пугает: так чувствуют себя Марии, принося своим недоумевающим плотникам нежданный плод.

Рильке. Как хорошо, что ты есть, милая Лу, и можешь утвердить меня в моей сокровенной радости! Когда я читал твое милое письмо, письмо соучастницы, меня снова со всех сторон охватила уверенность, что, наконец, появилось то, что уже так давно созрело во мне!

Я знаю, должна наступить «реакция», – после такой самоотдачи последует спад, но упаду я в конце концов в уже близкую в здешних местах весну, и потом: раз уж мне так долго пришлось терпеть, пока не достиг того, чего теперь достиг, так неужели же у меня не найдется немножко терпения, чтобы пережить трудные дни; и наконец, должна же благодарность (которой я еще никогда не чувствовал в такой мере) и в эти дни перевесить все мрачное и смутное!

Лу. Как прыгнула навстречу мне твоя лошадка, словно живая! И я вижу ее свободной, вольной, как и тебя, стяхнувшего с самых нежных, невидимых рук путы, – ах, Райнер, все это будто сон, эта чудесная уверенность, что в жизни все идет хорошо, что есть деревья, к которым «прилетают ангелы»...

Да, внутренняя благодарность может служить единственным надежным доказательством существования, присутствия в мире Бога: благодаря существованию, наличию его даров тебе; словно этим своим движением он, абсолютно скрытый от нас, срывает густую пелену, и мы можем воспринимать его.

Рильке.

Замок Мюзо, 13 января 1923.

Моя дорогая Лу, сегодня, кажется, русский Новый год! Но уже раньше, утром западного Нового года, между Рождеством и Новым годом, я часто был мыслями с тобой. Я часто *сильно беспокоюсь*, милая Лу, за тебя, за вас, когда



слышу и представляю себе, как жизнь в Германии становится все абсурднее, а цены почти невозможными...

Милая, милая Лу, скоро ли придет от тебя письмо? Была ли ты за границей – и где? Можете ли вы поддерживать жизнь посреди множества трудностей? Доходят ли до тебя изредка вести из России? Короче, напиши мне, пожалуйста. Год для меня по-настоящему не начнется, пока в нем, в его пространстве не прозвучат произнесенные тобой слова.

Лу. Милый, до чего тяжело не иметь возможности *поговорить* с тобой обо всем, совсем разлучили нас эти безумные события в мире, и однажды может наступить день, когда уже будет поздно...

А Россия? С тех пор, как большевики отказались от своих жестоких средств (столь резко противоречивших их социальным идеалам), то есть когда они оказались вынуждены пойти на уступки европейскому капитализму, там подрастает молодое поколение, полное пыла и чистоты, решительно настроенное достичь этой идеальной цели, следовательно, готовое вступить в борьбу с большевизмом эпохи концессий. Они станут мучениками последующей эпохи, подобно тем террористам в царской империи, которых большевики поставили к стенке за их непрактичность и идеализм, утративший в тюрьмах и на каторге связь с мирской жизнью. Потом начнется новый этап борьбы людей практики с поколением мучеников, и таким образом, несмотря на уступки и отступления, будет постоянное, на несколько шагов, движение вперед... Какой смысл говорить о последних мировых проблемах! Но жизнь, ужасающе огромная жизнь, есть только в этой непрерывно умирающей и заново возрождающейся стране (в которой во время отчаянного голода маленькие дети убегали из приволжских деревень – наших деревушек, Райнер, – в леса, чтобы не быть съеденными).

Я тут встречаю много русских, в октябре приезжает труппа Московского Художественного театра; я снова окунулась в свой любимый язык. От моего брата в Питере все еще приходят большие спокойные письма, ка-



кие могут писать только люди, которые «не хотят умирать сами» и пытаются выстоять в смене миров, сами при этом меняясь внутренне и продолжая жить с высоко поднятой головой.

Рильке. *Замок Мюзо, в последний день октября 1925.*

Дорогая Лу, ты писала мне тогда, когда появились, были спасены элегии, что я не должен пугаться, если однажды, как реакция на это, мне станет худо, и я еще помню, с каким мужеством ответил тебе; но сейчас я все же испуган, вот уже два года, как я все больше и больше погружаюсь в ужас, ощутимые причины которого (вследствие своей раздражительности) я с дьявольской одержимостью чаще всего лишь усугубляю, когда полагаю, что преодолел искушение. Я оказался запертым в ужасном кругу, в кругу злой магии, словно на брейгелевской картине ада. Месяц назад появились симптомы, питающие во мне ту фобию, которая преследует теперь так много людей... Мое верное тело подорвано этим длительным и безумным испытанием, всепоглощающий страх постоянно лишает меня веры в себя. Не знаю, как мне жить дальше.

Два года прошло с тех пор, как я впервые отправился за советом в санаторий «Вальмон» недалеко от Монтре, понимая, что самому мне уже не справиться с отвратительными приступами раздражительности, которые оказывались сильнее моей воли, могли пережить ее. Там я нашел молодого еще и внимательного врача (д-ра Хэммерли), к которому больные приезжали издалека, даже из Индии. Я оставался там с конца прошлого года до января нынешнего и 8 января уехал оттуда в Париж, — не совсем разделяя ту надежду, которой пытался поддержать меня д-р Хэммерли, будто полная смена окружения и всех воздействий одним махом вырвет меня из ритма бессмысленного искушения, после чего, как он полагал, затихнут все поселившиеся в моем теле рефлексы. Но одолеть усталость не удалось, облегчения не наступило. Представь себе, одержимость желанием наносить себе все тот же старый вред вместе со всеми последствиями и угрозами оказалась сильнее, могущественнее Парижа: я страдал



из-за неспособности работать, и если, вопреки моим планам, остался в Париже до августа, то только потому, что стыдился возвращаться в свою башню с тем же грузом проблем, опасаясь, что в полном уединении замка те же злые силы лишь ускорят свою игру со мной. Когда в конце сентября к прежним симптомам добавились новые, я еще раз увиделся с Х. – в Цюрихе, где мы случайно оказались в одно и то же время, и снова разница между его объективным диагнозом и моими субъективными, уже почти не меняющимися ощущениями была огромной.

Моя дорогая Лу, ты владеешь всем старым лексиконном языка моих жалоб; видишь ли ты во всем этом картину моего плачевного положения? Наверно, наивность моей натуры виновата в том, что все это случилось со мной в столь абсурдных условиях. Видишь ли ты кого-нибудь в своем окружении, кто бы мог мне помочь? На поездку теперь я уже вряд ли способен. А ты? Не могла бы приехать сюда? В качестве моего гостя? Хотя бы на несколько дней?.. (Вопрос, с которым я ношусь вот уже целый год.) Я ведь давно уже зову тебя. Или мне надо было пойти и сунуть ноги в мои старые жесткие сандалии: в них я стал бы «стойким», как оловянный солдатик, которого снова водрузили на горизонтальную подставку. Так и стою я, перекосясь, неуверенный в себе, уже первый взгляд на это письмо, дорогая, скажет тебе, в каком углу...

Лу. Знаешь ли, милый, милый Райнер, какое чувство я испытываю, принимаясь за это письмо? Я словно бутылка, из которой, наконец, выдернули пробку, и все должно бы хлынуть из нее, но только булькает в горлышке да что-то вытекает по капле.

Прежнее письмо написано в сентябре. Будь это в сентябре прошлого года, когда мы хотели быть вместе, как писал ты тем летом, помнишь? до Вальмона и Парижа, тогда бы все это могло выйти как бы само собой. Но тогда ты еще не писал об *этих* страхах, тебя беспокоил только обозначившийся дивертикул. Но все уже ждало своего часа. Я имею в виду мысль, что во всем виноват ты сам и что все связано с «дьявольской одержимостью».



Райнер, главное заключается вот в чем: никакая это не дьявольская одержимость! К ней всегда примешивается чувство вины, уже в детстве, *потому* она вызывает тяжелые последствия. В детстве и позже нас мучает скорее морализующее чувство вины, которое лишь случайно выражается в телесных недугах. Потом, когда мы вырастаем из детства, оно прячется в физиологических процессах, то есть, чтобы утвердить себя в роли роковой предрасположенности, аккумулирует в некоторых органах истерическую готовность к патологическим изменениям.

Такие вещи охотно цепляются к слабостям в организме, даже самым незначительным: они и *реагируют* с чрезмерным испугом, будто случилось Бог знает что; иначе просто быть *не может*. Тут не помогут никакие логические объяснения, объективные диагнозы целой тысячи врачей.

Ах, вся эта картина совершенно ясна, вот только не ясна она была мне, глупой, тогда, Бог возложил на *меня* вину за то, что, когда мы познакомились, я еще не была вооружена моими нынешними знаниями и опытом и не могла тебе помочь.

Но все это не одолело и не погубило тебя, Райнер! Ведь тебя вела по жизни великая милость, тоже питающаяся самыми ранними детскими впечатлениями: творческое преобразование в произведении, преобразование, которое тоже тесно переплетено с телесной жизнью, ибо оттуда воодушевляется эротически в плане художественного творчества, а не в плане практической объективации, не оставляющей места для того большего, которое переполняет нас с самого раннего детства и *объединяет со всем*, как новорожденный еще ощущает неразрывное единение с материнской грудью. Опрокидывание в недоброе, покинутое, целиком подчиненное собственному телу ты переживаешь не просто как реакцию, наступающую после напряженного периода творчества, это скорее нечто, относящееся к данному процессу, обратная сторона дела, и твой дьявол – всего лишь *deus univ ersus*. Кто глубоко осмысляет образ Бога, тот попадает и на его обратную сторону. Но и там он остается с Богом; остается весь во власти вечного материнского начала, хотя мы, людишки



с тонким слоем сознания, и вынуждены расплачиваться этим за бушевающие нас экстазы...

Хватило ли у тебя терпения дочитать до конца? Тогда, Райнер, милый Райнер, напиши мне опять, заставь меня ответить тебе, ты знаешь, обычно я так не настаиваю, но теперь делаю это, связываю тебя, обязываю тебя...

Райнер. *Санаторий Вальмон, 13 декабря 1926.*

Дорогая, ты видишь, это было то, к чему готовила, о чем предостерегала меня моя чуткая натура: теперь ей трудно, трудно выкарабкаться, так как за этот долгий срок она поистратилась на поддержку, лечение и малозаметные оздоровления; и прежде чем наступило нынешнее бесконечно болезненное состояние со всеми его осложнениями, она уже шла со мной с медленно действующим кишечным гриппом. И сейчас, Лу, я не знаю, какие адские боли, ты знаешь, как я подчинял боль своему распорядку, физическую, действительно сильную боль, она была как исключение, и после сна — возвращение к свободе. Но сейчас. Она покрывает меня всего. Она отключает меня. День и ночь!

Где взять мужества?

Милая, милая Лу, врач напишет тебе, фрау Вундерли напишет тебе, она приехала сюда на несколько дней, чтобы помочь мне. У меня добрая, смышленная сиделка, и я верю, что врач, который уже три года наблюдает меня, и в четвертый раз окажется прав. Но. Адские боли.

А у тебя; у вас, Лу, как? Будьте здоровы оба, чем-то недобрым, грозным веет в конце этого года. Прощай, дорогая моя.

Т. Райнер.

5

Лу. Вот и не стало у меня Райнера. Мне говорили, что в последние два дня он несколько раз повторял одну и ту же странную для окружающих фразу: «Может быть, эта Лу Саломе теперь, наконец, поймет, отчего все это случилось». Мне ли не понять? Мне ли не знать...



Не знала я только о том, что в 21 году, в пору его пребывания в замке Берг, он писал свое «Завещание». Странная подборка внезапных озарений! И к кому обращено «моя любимая»? А если я возьму на себя смелость и скажу, что – ко мне?..

Райнер. ...Вот фонтан, и вот я лежу в ночи и прощаюсь с ним. Здесь было все, что могло меня внутренне организовать, – были эти долгие-долгие недели, размеренно-ритмично вслушивавшиеся в простор... Как стремительно, в первый же день, я понял и принял их: эти многообразнейшие вариации падающих фонтанных струй. Даже легчайшее дуновение видоизменяло их, а когда вокруг внезапно уходившей в одиночество струи устанавливалась полная тишина, струя возвращалась в саму себя и, соприкасаясь с собой, звучала совсем иначе, нежели когда сталкивалась с водной поверхностью. Скажи себя, – говорил я фонтану и вслушивался. Скажись – говорил я ему, и все мое существо превращалось в ухо. Стань речью, ты – чистая встреча легкости с тяжестью, ты – беззаботность весомости, ты – играющее древо, ты – притча и иносказание среди обремененных трудами деревьев, вечно озабоченных чем-то под своей корой. И в бессознательно-невинной хитрости сердца быть только тем, у кого хотел бы чему-нибудь научиться, – я отождествил фонтан с любимой: далекой, самопогруженной, молчащей.

Что ж, мы приняли наше решение вместе – положить законом этой зимы молчание между нами, законом жестким и непреложным. Однако вмешалась наша нежность, Впрочем, не только наша: нежные касания этих дней входили в мое сердце. И все же, как ни тяжел был обет, вероятно, у нас достало бы сил на молчанье, однако не мы нарушили его: вдруг разверзлись уста судьбы и осыпали нас потоком вестей. Ибо любовь и есть, собственно, атмосфера судьбы; и все же, как бы далеко и широко ни простирала она свой бег по небу, свой Млечный путь из миллиардов звездочек крови, земля под этими небесами неотвратимо беременна гибельным роком. Ведь даже у богов, во всех метаморфозах их страсти, недоставало могущества, чтобы



своих земных возлюбленных – этих испуганных беглянок – освободить от тенет нашего чадородного дальнего края.

Уж не безумие ли, о чем я пишу здесь? И почему в переписке влюбленных никогда не обсуждается эта раздвоенность, этот раздор? Впрочем, ведь у них совсем иные заботы. Им всегда кажется, будто любящая непременно вознесет любимого выше, нежели он сам себя сумел бы устремить. Ее влечение к нему делает его привлекательнее и сильнее. Ожидание ее распахнутых объятий возбуждает в нем дух соперничества. Творческие его ритмы начинают излучать свет в предчувствии того счастья, где они иначе изошли бы меланхолией любовного томления. Лишь возле сердца любимой работа впервые для труженика-мужчины становится захватывающей и сладкой, а покой – бесконечным. Наконец-то осадок, оставленный мальчишескими его ночами, тот древний-древний страх, растворяется и уходит, наконец-то впервые ему открывается сущность ночи. И если все же есть нечто, отравляющее его радость, то это препоны, препятствия и угрозы на пути их соединения и единства; все потребности сходятся в одном-единственном желаньи – потеряться друг в друге, и сомнения рождает одна лишь ревность.

Но как быть тому, в ком живо доопытное знание, чье сердце сызмальства предупреждено об одиночестве любящих? Еще мальчишкой он узнал его чистый лик. В пору, когда он пытался ускользнуть от домашне-семейственных уподоблений, окруживших его и методично предъявлявших на него свои права, Одиночество явилось ему прообразом его будущего: глазами Одиночества начал всматриваться он в простор. Маленькая ладонь робко легла в ладонь Одиночества, и оно повело его за собой, ничуть не притязая на владение им. Подрастая, он вновь и вновь убеждался в высоте этого образа: уже тогда Одиночество временами подходило к нему близко-близко, испытывая, как испытывает метатель копье.

И однажды оно метнуло его.

Так разве смогла бы любимая чем-то ошеломить *того*, для кого это знание стало гораздо большим, нежели воспоминанием: выбором, страстным порывом взметнувшей-



ся руки, бытием броска и затем – о! – дрожью вонзания в цель? И, несмотря на это, разве существовал еще кто-нибудь, кто так же, как этот божественно востребованный, славил любящих и так томился по возлюбленной?!

Казалось, что на своем пути, пролагаемом энергией Одиночества, он познал этот образ глубже и полнее, чем кто-либо когда до него. Но из этого знания, уходящего в бесконечность, выросло и его бесконечное бремя.

Он бежал от нее в то самое время, когда звал. Станным образом ему хотелось, пребывая в ее власти, дразнить ее и превозмогать. Так не было ли изъяна в самом истоке его желания, вполне оправданного, лишь покуда он страшился и избегал того, чего сам же и домогался? Эта уклончивость его к ней чувства, притом обнаружившая себя именно в последний момент, – не извращала ли самой основы его ощущений? Чем был этот его страх перед возлюбленной, перед ее явлением, страх, родившийся из самых ранних его детских дискомфорта и никогда его не покидавший: предостережением, к которому следовало неуклонно прислушиваться, или чем-то вроде дремучего предрассудка, от которого хорошо бы поискать исцеления?

Но где та любящая, что не была бы препятствием, замедлением или отклонением от пути на станциях любви? Та, которая бы понимала, что если он устремлен сквозь нее, то лишь потому, что брошен некогда в пространство, лежащее далеко за нею. Та душа, что сочувствовала бы громадности его бытия в броске, а не мечтала о том, чтобы, завладев, удерживать его в хранительности дома, не забегала бы вперед, чтобы снова и снова вставать на его пути. Та душа, что, быть может, даже уже покинутая, все же продолжала бы ждать часа, когда он однажды снова будет лететь сквозь ее просторы, брошенный в цель рукою своего Бога.

О, если бы она существовала, какой это было бы ему опорой! Быть может, не меньшей, чем однажды, в пору его юности, стала ему Россия. Угнетенный некоторыми злосчастными обстоятельствами детства, он до конца второго десятилетия жил в убеждении, что ему, одинокому и ото всех отринутому, противостоит враждебный



мир, превосходящий натиск которого необходимо выдерживать каждый день заново. Из столь ложной установки, даже при подлинности переживаний, могло родиться лишь нечто извращенное и больное. И вот Россия, без долгих увещаний, в одну ночь – буквально в первую же московскую ночь – бережно освободила его от злых чар этой его подавленности. Не склонная к самолюбования, эта несуетная, кроткая страна словно неким своим непреходящим *временем-года-сердца* дала ему неистощимые доказательства прямо противоположного. И как поверил он ей! Каким блаженством было ощутить себя частичкой человеческого братства! И хотя в исповедании этой гармонии ему суждено всегда пребывать начинающим (не мог же он, в самом деле, остаться в России навсегда), все же он никогда не забывает о ней, он помнит и практикует ее.

...И если я не противился любящим, то лишь потому, что из всех форм захвата одного человека другим признавал оправданной только поистине неудержимую. Будучи сам уязвим, я не хотел ставить любящую в положение *избегаемой*; однако всегда при этом я жаждал прорыва! Меня томило желание видеть ее окном в расширяющийся космос бытия. Окном, а не зеркалом...

...Все мои бунты и бегства, любимая, – свидетельства силы твоей. Не забывай об этом. Если бы я был свободен, если бы мое сердце не было, подобно звезде, в теснейшей связи с неопровержимым духом, – тогда бы каждое слово, из которого сегодня растет протест, жалоба, отказ, стало бы прославлением тебя, путем к тебе, гармонией с тобой, стремительным к тебе броском, гибелью и воскресением в тебе.

Когда бы я был человеком обычных занятий: торговцем, учителем реальных предметов, ремесленником...

Это – к тайне моей жизни.

Когда любимая весь событийный поток направляет к одной себе, в меня закрадывается ощущение некой неправды. Ей же кажется, что в неостановимую непрерывность потока может занести нечто, с чем я не слажу. Отчасти это – самоуправство, отчасти же это ее захватничество – выражение непосредственности ее бытия. Преоб-



разовав ландшафт в душе любимого, она затем обживает в нем самое низкое место – долину, куда все стекает.

...Разве может *любящая* быть для меня не невинной? Вероятно, моим действительным прогрессом, шагом вперед (как если бы, сделав этот «шаг вперед», я покинул место, откуда мне открывалось именно то, что я утратил!) можно считать тот факт, что я уже не называю разладом нечто, вспыхивающее между моей работой и моей любовью, ибо разлад этот живет даже в самой моей любви. Да что там: как я раз и навсегда уяснил себе, моя работа – это и есть моя любовь. Как все становится просто! Вот он, как я понимаю, единственный реальный конфликт моей жизни. Все остальное – задачи.

...Пока это стоит между нами, я не знаю, как жить: я просто-напросто не в состоянии жить, когда вижу, что ты из-за меня несчастна, как если бы существовала возможность сделать тебя счастливой способом, какого ты жаждешь. Когда бы каждое мгновение я мог пребывать абсолютно безоглядным, следуя за любовной свободой! Но страх причинить боль любящему тебя – страшнейшая из тюрем. Страх этот уродует каждый сердечный порыв; не будь его, разве зашло бы у нас так далеко, что каждое свое уединение мне приходится испрашивать у нашего счастья как чего-то из ряда вон выходящего. В *моей уединенности* – этой святой святых моего бытия – усматривается бегство из нашей любви; да и могло ли быть иначе, если с самого начала на любви нашей лежал гнет твоих желаний сократить мои уединенья. Но откуда черпала бы ты силу, бьющую и перетекающую к нам из анклавов нашего счастья, если бы их не хранило одиночество мое?

Неужто до скончания дней я должен считать себя несчастным (нет горшей горечи, чем посеять несчастье в сердце, которое сам же сделал счастливым) лишь оттого, что любовь для меня отнюдь не столь простая и легкая вещь, чтобы я мог позволить себе пользоваться ею для возбуждения своей творческой энергии. Всегда был невысокого мнения о тех, для кого влюбленность – способ душевного разогрева. Что до меня, то мой труд сам по себе – бесконечно более любовь, нежели то, что один



человек может затронуть в другом. В моем труде – *вся полнота любви.*

Потому-то взволнованность любимой кажется мне лишь частным случаем той любви, которая ни от чего не защищает и не приносит облегчения, напротив, – в своей непреходящей проблематичности она, устремленная к плодотворности, зримости и реализации всех своих к себе требований, добивается совершеннейших достижений. Скажи: то, что побуждает меня переживать все это не без известного надрыва, – не свидетельство ли аномалии или диссонанса в самой моей природной основе? Согласись, на такое жалуются не часто. Внимание большинства не простирается дальше наслаждения и ревности, и то, что приходится претерпевать в редких, подобно моему, случаях, я думаю, всегда будет принадлежать к сфере безымянного и невыразимого.

Немного тех, чей сердечный порыв не иссякает в объятиях; и когда бы они последовали за ним дальше, может статься, они увидели бы, как его парабола обретает по ту сторону поразительное ускорение, означающее нетерпеливую жажду преодолеть и это счастье тоже. И, взмывая дальше, эта траектория уходит в бесконечность, и означает она – знаешь ли ты, что она означает? – путь и тоску тех, кто просто не в состоянии перестать идти: русских пилигримов или тех кочевников-бедуинов, что бредут и бредут, опираясь на дорожные посохи из масличного дерева... В объятиях может жить лишь тот, кто хотел бы в них умереть; образ своего пребывания на земле каждый выбирает по вкусу своей смерти (не обессудь за столь легкомысленно-чувственное выражение). Что же гонит этих людей в их бесцельное странствие по степям и пустыням? Предчувствие, что их смерти не понравится в их доме, что ей не хватит в нем места. Одна моя подруга-шведка, прожившая в полном одиночестве зиму на краю пустыни, писала мне: «...Пейзажи здесь такого размаха, что хватило бы места самой смерти. По крайней мере, на первое время...

... И все же, Бог мой, каким богатым и спокойным, каким цельным ощущал бы я себя сейчас, будь мне, вне всяких условий, дарована любовь, не обремененная ни на-



деждами, ни ожиданиями, ни притязаниями сердца, которое из страха неудачи неспособно приблизиться к счастью обладания.

А ведь когда-то не было у меня ни малейшего перед ней страха, не было ни хлопот, ни проблем – в те времена, когда она впервые явилась мне, полному несмышленищу. Так почему бы ей снова не оказаться сейчас со мной, быть может, уже превзойденной (и все же ничуть не менее живой в настоящем, ибо разве найдется в ней что-то, что было бы преходящим?), а быть может вновь и вновь еще предстоящей...

... Устремленья и противостремленья: как же я от этого устал. Где сердце, что не искало бы во мне заранее спланированного им для себя счастья, но лишь позволяло переливать в него то, что само по себе неистощимо из меня струится?

Но на это нет и намека. Ах, скорее бы эти боренья остались позади!..

...Если бы я мог позвать тебя... но тогда я разрушил бы то последнее, что осталось у меня: тот суд, который помогает мне узнавать себя. Не писала ли мне ты недавно, что я не из тех, кто может утешиться любовью. Так оно и есть. Да и много ли стоила бы для меня жизнь, идущая утешить себя?

... Кому же, любимая, если не тебе, смог бы доверить столь тяжкие итоги моего сердца? И если они мучительны для тебя, подумай о муке, из глубины которой это вылилось на бумагу.

Милая, в наш нежнейший и, быть может, праведнейший час ты говорила, что могла бы вместить все виды любви ко мне. Так реализуй же ту из них, не знаю, как ее назвать, что усиливала бы во мне *именно мою* жизнь. Мне не убежать от себя. Да, впрочем, если бы я и отрекся от всего, что есть во мне *Моего* и, как о том я иногда мечтал, закрыв глаза, упал в твои объятия, затерявшись в них, - ты обнимала бы человека, отрекшегося от себя и, значит, не меня; нет – не меня.

Я не из тех, кто способен притворяться или превратиться в кого-то иного. И как когда-то в детстве я склонялся



перед деспотической любовью отца, так сегодня я встаю на колени и прошу всех, кто любит меня помилосердствовать. Да, я прошу их о толике сочувствия, прошу, чтобы они не стремились искать во мне того, кто сделает их счастливыми, но стали бы моими союзниками и помогли мне развернуть в себе то глубочайшее счастье уединенности, без великих свидетельств которого они бы меня, вероятнее всего, не полюбили.

Лу.

Геттинген, 1934.

Апрель – наш месяц, Райнер. Месяц, который соединил нас. И если апрель заставляет меня столько думать о тебе, это не случайность. Он вмещает в себе все четыре времени года, со всеми их проявлениями, – запах зимы и снега перемешан с припекающими солнечными лучами и осенними ливнями, которыми влажная земля поит бесчисленную рать потрескавшихся почек – и разве постоянно в земле не пульсирует весна, эта весна, которую ощущаешь, еще не увидев? Именно из этого всего родились тишина и очевидность, которые связали нас как нечто давнее-предавнее.

И если я была твоей женщиной годами, то именно потому, что ты был для меня первой реальностью – когда тело и душа неразделимы как бесспорный факт самой жизни.

Я могла бы повторить тебе слово в слово то, что говорил мне ты, заверяя свою любовь: «Ты единственно настоящая». Мы стали супругами раньше, чем друзьями, а сдружились не по выбору, а повинуюсь узам заключенного в неведомых глубинах брака. Это не две нашедшие друг друга половины, а тот случай, когда целое с трепетом узнает себя в другом целом. Нам суждено было стать братом и сестрой, но еще в те мифические времена, когда инцест не превратился в грех...

Странное дело: вопреки нашей общности душ и невзирая на всю их музыкальность, певучесть, я совсем не понимала твоих первых стихов (потому-то ты меня и утешал, что все же сможешь когда-нибудь написать так, чтобы я тебя поняла). Но было одно чудесное исключение – среди стихов, которые ты мне посвятил, – и когда ты принес тот листок в мою комнату, в восхищенном порыве мне захо-



телось повторить тебе все твои признания, разве что без рифмы и в прозе. Разве не жило в нас обоих это таинственное заклинание – в нас, которые жили телом и несли его в крови, в каждом жесте своего существования. И потому по моей просьбе этому стиху нашлось место в «Часослове», появившемся через годы:

Нет без тебя мне жизни на земле.
Утрачу слух – я все равно услышу,
Очей лишусь – еще ясней увижу.
Без ног я догоню тебя во мгле.
Отрежь язык – я поклянусь губами.
Сломай мне руки – сердцем обниму.
Разбей мне сердце – мозг мой будет биться
Навстречу милосердью твоему.
А если вдруг меня охватит пламя
И я в огне любви твоей сгорю –
Тебя в потоке крови растворю.

Меня страшно расстраивало, что твоя поэзия в большинстве случаев не захватывает меня, и когда мне пришлось ненадолго покинуть Вольфратхаузен, чтобы выехать в Галлейн, куда меня звала заранее запланированная встреча, даже светло-голубая метель твоих ежедневных писем, преследующая меня синей печаткой, не могла поднять моего настроения. Но все моментально изменилось, стоило мне получить то чудное письмо, заполонившее меня радостью воспоминаний. Ты задумал средствами почты воскресить для меня нашу маленькую комнатку на нижнем этаже, где ты с комичной тщательностью закрывал деревянные ставни, чтобы не позволить никому подсмотреть внутрь, и делал это так старательно, что только единственная звездочка, пробивавшаяся сквозь деревья, доносила до нас капельку света извне. И когда мне принесли ту лирическую открытку, непроглядно черную от чернила, на которой ни слова не было написано и лишь выразительно светилась единственная крохотная звездочка вверх, сердце мое взмыло в груди радостное и крылатое, готовое реально принять ее за путеводную звезду на небосклоне, волшебную и прекрасную, и, рядом с подписью «Рене Мария», – такую настоящую!



И все-таки этот веселый случай не мог бесследно развевать непонимание. Я остро ощущала его, возвратившись. Мы думали про наши звезды, склоняющиеся к нам или отворачивающиеся от нас без поэзии и прозы, – и реальность с ее радостной ясностью и выразительностью не мог обеспечить никакой взрыв выражения чувств. Из всего, что было из нашей переписки полностью или частично уничтожено, этот фрагмент моего ответа на твою «звезду» сохранился на десятки лет в пожелтевшем конверте из Вольфратсхаузена:

Когда твое письмо мне принесло
Богатство чувств и слов полузабытых,
Я ощутила вдруг, что ремесло
Поэта навсегда – быть неоткрытым.
Ты – мой весенний луч, мой летний дождь,
Ты – ночь июня с тысячей тропинок,
Где бродит моего познания вождь
Без карт, без суеверий, без запинок.

В последующие годы, по праву названные тобой «нашими русскими годами», наши тропинки еще вовсе не были нами протоптаны. И когда я возвращаюсь мысленно к этому периоду, сам выбор наших троп кажется мне магическим. Он позволил нам погрузиться в ту глубину, что звалась Россией *для нас*: мы проводили дни напролет в учениях и приготовлениях, надеясь на «русское откровение», – когда еще невозможно было определиться со временем путешествия, когда мы еще не имели четкого представления обо всем это. Но уже казалось, что мы коснулись всего этого сами, собственными руками; что-то проникало уже мощно в твою поэзию, но это что-то было еще безответственным: ему предстояло еще пережить желанную символизацию, как дар под российским небом, чтобы стать физическим символом того, что было в тебе и что толкало тебя к громкому крику освобождения твоей внутренней экзальтации. Этот крик был зовом к Богу как месту, где пространство сворачивается до единой картины, внутри которой царит неизмеримость в самой маленькой вещи и каждая вещь становится выражением боли поэта в гимне или в молитве.



Сначала то, что мы переживали в России, даже не требовало своего выражения: оно изливалось в чувствах непринужденно и полностью; литературное отражение этот опыт обрел позднее. Такие обстоятельства приводили к созданию того или иного пережитого мифа, часто – на почве совершенно неприметных событий. Невозможно было бы никому пояснить те детали, которые нас так сближали. Например, раскрыть значение того луга возле села Креста – Богородское в предвечернем солнце, или коня, возвращавшегося с вечерним стадом домой, и, как наказание, тащившего за ногой полено...

А помнишь еще комнату позади Кремля, где мы словно погрузились в язык могучих колоколов, хотя те и молчали, ведь в России они всегда молчат, – даже тогда, когда их раскачивают.

Нередко бывает так, когда два впечатлительных существа усиливают восприятие друг друга – чужое впечатление изнутри пронзает душу, словно собственное. И тогда этот удвоенный резонанс придает ощущениям беспрецедентную уверенность и твердость. И глубину этого сопереживания не уменьшало то, что для меня позади всех ощущений стояло нечто иное, чем для тебя: непосредственная радость открытия родины, которое мой ранний отъезд за границу отложил для меня на многие годы. Для тебя же это был новый творческий подъем, перемена, происходящая в твоём поэтическом бытии, вновь открывая то, чего ты так ждал – и если твоя дальнейшая жизнь отступалась от этого открытия, тебе грозила утрата твоей оригинальности.

Через много лет, когда по разным причинам возникший перерыв в твоей работе утомлял тебя до боли, ты часто говорил о своем желании подарить какому-нибудь предмету, какой-нибудь увиденной вещи «мистическое», «мифическое нутро» характер, – и это походило на старание «возродиться», дабы покинуть боль и страх. И тогда ты думал о нашем «русском взаимоусилении» как о чуде, которое наперекор всему могло бы еще существовать!

Тогда для нас было ясным и естественным существование этого чуда, и несколько не мистическим, – это была реальность из реальностей, так что мы могли только



обращаться к ней без конца. Именно она вдохновила, Райнер, твои веселые стихи, когда мы находились на двух разных «духовных полюсах» во время нашего долгого путешествия по Волге, и ты промолвил с полной искренностью: «Даже на самых далеких друг от друга кораблях мы пойдем одной дорогой, чтобы подняться по реке – ибо это наш общий исток, вечно нас ждущий».

Когда я об этом думаю, мне хочется продолжать говорить тебе и себе самой о **жизни**, словно именно таким способом впервые можно понять поэзию – не как ремесло, а как «чудо жизни», происходящее здесь и сейчас и осязаемое почти кожей тела. То, что поднималось, восходило в тебе, незаметное тебе самому, непосредственное и живое как молитва, должно было сохраниться для той, которая была подле тебя, как незабываемое открытие до конца ее дней. Оно охватывало все, чего бы ты ни касался; все материальное преображалось внутри тебя в божественное, и это твое детское самозабвение, с которым ты встречал и напайвал доверием каждый час на протяжении дня, превращало каждый из этих часов для тебя в совершенство. Наши дни были заполнены до краев: иными словами, это был период священных каникул и празднеств.

Каким далеким было от нас поначалу то беспокойное знание о конфликте, который сталкивает между собой нашу способность творить и способность горячо и непосредственно встречать саму **вещь**, побуждающую к творчеству! Разве человек, растворенный в молитве, способен волноваться о том, могут ли его протянутые в молитве руки быть сложены еще лучше? Даже если его порыв совсем неумел, разве он не держит в своих руках своего Бога? Впервые, когда нечто вошло в тебя, то нечто, что слагало твою молитву и чему ты хотел полностью посвятить себя в жизни, – твое извечное беспокойство о форме, достойной такой молитвы, – внезапно растворилось, поглощенное мирным доверием. Но позднее назойливым бумерангом возвращался конфликт между этими двумя никак несовместимыми требованиями: непосредственностью переживания Бога и одновременным приданием ему артистической формы...



Я никогда не могла дать себе отчет, на какой ступени глубины твое внутреннее вызревание готово было проступить наружу. Никогда ты не был таким великим, таким обожествляемым в моих глазах в этот час: тяжесть избранной тобою проблемы властно притягивала меня к тебе и я никогда не переставала чувствовать себя замороженной...

И все-таки – все-таки: не была ли я одновременно далеко от тебя? Вне реальности твоих поэтических дебютов когда мы могли формировать одно целое? Кто может измерить глубину сумерек последней близости и последней отдаленности двух существ?! Я была заботливой и любящей, быть может, самой близкой... и все-таки я была по ту сторону того, что объединяет мужчину и женщину, и такой я была всегда - непоправимо оторванной от того, что оставалось, и от того, что могло жить и расти до твоей и моей смерти.

Я ничего не хочу приукрашивать. Охвативши голову руками, я часто пыталась понять то, что происходило. И я была поражена в самое сердце тогда, когда на старой разорванной газете, я прочла эту справедливую фразу: **«Я верна воспоминаниям; я никогда не буду верна людям»**. А твои письма, которые я получала, отлучившись ненадолго к семье в финский Ронгас? Они были наполнены твоими горькими преувеличениями: ты считал себя почти отвергнутым со всеми своими мольбами. Между нами развралась пропасть чистой грусти.

Мои наибольшие страх и боль связаны с тем российским воспоминанием – помнишь? Это было во время нашей обеденной прогулки в прекрасном лесу акаций, – как ты не мог спокойно пройти мимо одной из них. Тебя душили воспоминания, пронзали жала ассоциаций с нашими предыдущими прогулками, и ты спрашивал, показывая на деревья: «Ты помнишь?» Я согласно кивала головой, глядя на соседнюю акацию, которая, конечно, не отличалась от прочих. Ты со страхом и недоверием воскликнул: «Эта? Нет-нет, вон та!», и казалось, будто ты галлюцинируешь этими деревьями.

Такой же страх появлялся и тогда, когда ты не мог придать форму полноты какому-нибудь впечатлению: это не



было ни разочарованием, ни укорами, ни несмелостью (как у большинства людей), нет, это был взрыв, ураган чувств, вихрящихся, словно внутри чудовища, – будто ты был обязан сдаться им почти как счастливой минуте творчества. Ты называл это продуктивностью, загубленной в печали, – безнадежным суррогатом того, что ускользнуло...

Райнер, Райнер, как часто я снова вижу тебя распостертым на большой медвежьей шкуре перед открытой на балкон дверью, и перелистываемые тобой страницы бросают тень и свет на твое лицо. Я не могу освободиться от этой картины, потому что это явилось как непосредственное воплощение фатальной власти творения поэта над поэтом-человеком. Впервые я поняла, что «творение» – кто же теперь родится благодаря тебе и какова будет ему цена? – было твоим законным хозяином. Чего он пожелает? Мое сердце на мгновение замерло, и что-то в середине меня приветствовало будущие Элегии, призванные родиться еще через десяток лет. Где бы ты ни побывал после, куда бы ни бросало тебя десятки лет спустя, – это было усилие обрести место абсолютной безопасности, желанием полной свободы действий, волей к вечной смене городов: твое стремление не иметь родины достигло своего предела. Теперь, Райнер, когда мы, немцы, политически поставлены перед проблемой нашей национальной самоидентификации, я иногда спрашиваю себя, на какой вершине то откровенное отвращение, которое ощущалось в тебе в отношении необходимости быть австрийцем, могло стать роковым в твоей судьбе? Можно было подумать, что простая любовь к родной стране, ощущение кровного родства могли бы хоть отчасти предотвратить приступы безнадежности, охватывавшие тебя, страшная опасность которых крылась в том, что они высекали в тебе адский огонь самоосуждения. Родная земля с ее камнями, деревьями, зверями таит в себе какую-то камерную сакральность, которая распространяется даже собственное существо.

И когда вместо Швейцарии ты выбрал Францию, – где Париж уже успел утомить тебя до боли, – как почти что новую родину по языку, дружбе, по новым творческим силам... Я не могу ничего сказать о творческой цене твоих



французских стихов, поскольку моему знанию французского недостает чисто галльского лукавства. Но, – хоть это и не справедливо, – признаю: есть много такого, чего я не могу прочесть без подозрения. Например, когда ты говоришь о разуме «свято утраченного фрукта». Не принимаешь ли ты за меланхолию наслаждение... богохульства? И еще есть твоя фотография, которая поразила меня в самое сердце как боль, как рана, которую я прячу. В тот час, когда я получила это фото, я спросила себя с горечью: слагая французские стихи, не потому ли ты нуждался в чуждой почве для своего писания, чтобы мучительно утешаться тем, что так бесшумно и обманно несло тебя к пропасти?

Как я могла справедливо судить? И все же, в глубине души я осуждала твою участь и не могла этому покориться. Я всегда знала, что по ту сторону коронованного судьбой поэта и человека, который разбивался, был кто-то иной, третий, – кто-то, кем ты был сам от рождения до смерти, кто-то, кто верил в себя, и, даже невзирая на то, кем он сам себя ощущал, это был Тот, кто принял на себя обет быть поэтическим свидетелем существования мира. Всякий раз, встречаясь и беседуя, мы жили в этом постоянном **присутствии**, которое придавало тебе веры в себя. Веры, которой владеет существо, остающееся ребенком, который не может заблудиться, ибо устремлен к своему самому подлинному истоку. Тогда **Райнер** снова был там, и из рук в руки этот подлинный Райнер передавал нам ощущение несказанной защищенности, – и это состояние окружало тебя поэзией, которая рождалась как вечное сияние. Я не могу думать об этом так, чтобы внутри меня не начинала эхом звенеть музыка самого маленького стиха из «Часослова», который в момент его рождения в тебе, Райнер, показался мне промолвленным ребенком, доверчивым и радостным:

Но движусь я к Тебе навстречу со всех ног,
Ведь кем мы были, не открыв друг друга?

Вижу, как будто бы мы сидим где-то рядышком (как в Дрездене над книжкой, – помнишь? – когда нам обоим



внезапно захотелось вернуться в Мюнхен), прижавшись друг к другу, как дети, что-то шепчущие друг другу на ухо, – что-то о большом страдании или еще о чем-то, что пробуждает доверие...

Так не могли бы мы, не должны бы мы, не хотели бы мы встретиться где-нибудь – где-нибудь на половине Дороги?

...Райнер Мария Рильке был погребен 2 января 1927 года на кладбище возле церкви в Рароне, что в полчаса автомобильной езды от Мюзот, вверх по Роне. Эпитафия, сочиненная им для себя, гласит:

Роза, совершеннейшее из противоречий,
блаженство ничейного сна
под этим множеством век.

Через несколько дней после смерти Рильке Эдмон Жалу, исследователь творчества Райнера, получил письмо, подписанное «Неизвестная». Судя по некоторым признакам, описанное в нем произошло в 1916 году.

Париж, 7 января 1927.

Прочтя сегодня вечером Ваши строки о Рильке, обращаюсь к Вам.

Я знала его до войны и хочу Вам рассказать о нем одну вещь, вещь, способную произойти только в присутствии женщины

Мы шли с ним вдоль решетки Люксембургского сада, теми спокойными местами, где добрая госпожа Жорж Санд некогда расстилала свое широкое, еще немножко слишком белое, платье. Я уже не помню, о чем мы молчали. Я, может быть, заканчивала в себе, на романтический и смехотворный лад, историю Абелоны... (Женщины долго не могут свыкнуться с бесконечными и неоконченными историями – рилькевскими историями – никогда не оконченными, кончающимися, как земля кончается на краю пропасти: тайны.)

Он, может быть, думал о своей смерти, об этой смерти, только что начавшей его царствование, смерти бледной,



скромной и молчаливой, от которой бы отрекся высокий «Дед», умерший с громкими воплями, в высоком зале, посреди множества народа.

Или же – и, несомненно даже, – с улыбкой думал о том, что сейчас сделает.

Он подошел ко мне в тот день, держа в руке великолепную розу. Он мне ее не поднес, он также не отдал ее на растерзание святотатственным ручкам моего двухлетнего ребенка, красоту которого любил, и я ничего не спросила его о присутствии этого цветка, ослепительного и непривычного.

В уголке, о котором речь, мы почти ежедневно заставляли старую женщину, сидящую на каменном краю решетки. Она просила милостыни, – сдержанно и со стыдом, раз мы никогда не видели ее глаз и не слышали ее голоса; она просила всей своей позой, круглой спиной, всегда покрытой черной шалью, – хотя было лето, опущенной линией губ. А главное – руками, всегда полураскрытыми черными митенками и крепко сжатыми между сдвинутых колен, руками более нищенскими, чем протянутые руки.

Каждый раз, как по взаимному уговору, мы опускали куда-то возле этих рук милостыню, испрошенную ими с таким невинным искусством. Старая женщина, не подымая головы, усиливала страдальческие линии своего лица, и мы никогда не видели ее глаз, не слышали ее благодарности, и у всех прохожих, подавших, была наша участь.

Как-то раз я сказала: «Она, может быть, богатая, у нее, может быть, шкатулка, как у Гарпагона». Райнер Мария ответил мне только взглядом укоризны, укоризны легкой, извиняющейся, но так-удивленной, что возникла из-за меня, что я покраснела.

В тот день – женщина только расположилась в своей просительной позе – она еще ничего не получила. Я увидела Рильке, кланяющимся ей с почтением, не с внешним, с высоты величия, но с почтением рилькевским, полным, от всей души, – затем он опустил прекрасную розу на колени старухи.

Старуха подняла на Райнера Марию вероники своих глаз (такие синие и свежие между красными гноящимися



веками!) схватила быстрым и так-соответствующим все-му жестом руку Рильке, поцеловала ее и ушла маленькими сношенными шажками, - в тот день уже больше не прося.

Рильке свел на нет низ своего лица, поглядел на меня всеми глазами, всем лбом. Я ему ничего не сказала. Я постаралась доказать ему без слов, что поняла его урок, что бесконечно люблю его видение людей, что, мысля их такими прекрасными и божественными, он, он сам делает их прекрасными и божественными и внушает им жесты, идущие непосредственно от самой высокой знати.

Неизвестная.

(Перевела Марина Цветаева)

ЧАСТЬ ПЯТАЯ. ФРЕЙД

1

Лу. Два резко противоположных жизненных впечатления способствовали моей восприимчивости к глубинной психологии Фрейда: глубоко пережитое ощущение своеобычности и неповторимости внутренней жизни каждого человека – и то, что я выросла среди народа широкой душевной щедрости. О первом впечатлении я здесь говорить не буду. Второе связано с Россией.

Относительно русских нередко говорили, и сам Фрейд перед войной, когда заметно возросло число его русских пациентов, утверждал то же самое, а именно, что у этого «материала», как больного, так и здорового, наблюдается обычно редко встречающееся соединение двух особенностей: простоты внутренней структуры и способности в отдельных случаях словоохотливо раскрывать сложные, трудно поддающиеся анализу моменты душевной жизни. Точно такое же впечатление издавна производила и рус-



ская литература, причем не только у великих художников, но и у писателей средней руки (отчего она утрачивала строгость формы): в ней с почти детской непосредственностью и глубокой искренностью рассказывается о последних тайнах развития, словно оно, это развитие, здесь быстрее проходит путь из первозданных глубин к сфере осознания. Когда я думаю о типе человека, открывшегося мне в России, я хорошо понимаю, что делает его легко поддающимся нашему «анализу» и в то же время заставляет быть более искренним по отношению к самому себе: наслоения вытесненных инстинктов, которые у народов с более древней культурой тормозят прохождение импульсов от первоначальных впечатлений к их последующему осознанию, у него тоньше, рыхлее. Отсюда понятнее главная, основная проблема практического психоанализа. Она заключается в том, какая часть нашего общего инфантильного осадка обуславливает естественный рост, а какая вместо этого способствует болезненному сдвигу назад – от уже достигнутого уровня осознания к так и не преодоленным до конца ранним стадиям.

С точки зрения своего исторического развития психоанализ представляет собой практическую лечебную методику; я пришла к нему как раз в тот момент, когда открылась возможность по состоянию больного человека судить о структуре здорового: болезненное состояние позволяло четко, точно под лупой, увидеть то, что в нормальном человеке почти не поддается расшифровке. Благодаря бесконечной осмотрительности и осторожности методологического подхода аналитические раскопки слой за слоем вскрывали все более глубокие залежи первоначальных впечатлений, и, начиная с самых первых грандиозных открытий Фрейда, его теория подтверждала свою неопровержимость. Но чем глубже он копал, тем больше выяснялось, что не только в патологическом, но и в здоровом организме психическая основа представляет собой настоящий склад того, что мы называем «жадностью», «грубостью», «подлостью» и т. д., короче, всего самого худшего, чего мы больше всего стыдимся; даже о мотивах руководящего нами разума вряд ли можно выразиться



лучше, чем это сделал Мефистофель, говоря о человеке и обращаясь к Богу:

*Он жил бы намного лучше, если бы ты не принес
ему отблеск небесного огня;*

*Он зовет его разумом и использует, чтобы быть
большим зверем, чем сам зверь.*

Ибо если постепенное развитие культуры и уводит человека – через беды и уроки практического опыта – от этих качеств, то только вследствие ослабления инстинктов как таковых, то есть вследствие утраты силы и полноты жизни, и, в конце концов, от человека остается только изрядно истощенное существо, по сравнению с которым лишенное всякой культуры создание напоминает «крупного землевладельца» и потому больше нам импонирует. Вытекающая из такого положения вещей мрачная перспектива – вряд ли менее печальная с точки зрения здорового человека, чем с точки зрения больного, который, по крайней мере, мечтает о выздоровлении, – видимо, оттолкнула от глубинной психологии еще больше людей, так как порождала в них пессимизм, схожий с пессимизмом почти безнадежного больного, которого эта психология собиралась излечить от болезни.

Выражая свое личное мнение на сей счет, должна, прежде всего, сказать, что я очень многим обязана этой ранней духовной позиции психоанализа, привычке не поддаваться всеобщим утверждениям о неутешительных результатах, строгой установке на точное исследование каждого отдельного объекта и особого случая, каким бы ни был результат исследования. Это было как раз то, в чем я нуждалась. Мои глаза, еще полные предшествующих впечатлений, позволявших увидеть на примере более примитивного народа затаившуюся в глубине каждого из нас неизгладимую детскую непосредственность, которая остается нашим тайным богатством даже после достижения всех ступеней зрелости, должны были отвлечься от всего этого и заняться кропотливым изучением конкретного человеческого материала; я должна была так поступить, чтобы не увлечься так



называемой «приятной психологией», ослеплявшей и потому бесперспективной, не дававшей выхода к действительности, а лишь позволявшей нам топтаться в саду наших собственных желаний.

Итогом моих «предфрейдовских» штудий считаю свою книгу «Эротика». Я написала ее по заказу Мартина Бубера* – выдающегося философа и моралиста нашего времени. Считая ее принципиально важной в разговоре о дальнейшем, позволяю себе привести некоторые выдержки.

... Все прогрессирующее развитие любви с самого начала покоится на более чем шатком фундаменте: вместо вечного равновесия и «вечного сохранения» свою власть обретает тот закон всего живого, согласно которому сила возбуждения обратно пропорциональна количеству его повторений. Избирательность, даже прихотливость в выборе партнера, времени и обстоятельств страсти – словом, все, что всегда считалось доказательством подлинной страсти в ее отличии от простого инстинкта – оплачивается усталостью, степень которой определяется пылкостью пережитой страсти и сопровождается тягой к неповторимому, неослабевающему в своей новизне желанию: в итоге – стремлением к перемене. Можно сказать: естественная любовная жизнь во всех ее проявлениях, и особенно в наиболее индивидуализированных вариантах, построена на принципе неверности. Однако сила привычки, в той степени, в которой она вообще способна противодействовать данной тенденции, подпадает, со своей стороны, еще под действие вегетативно обусловленных потребностей нашего тела, которые по сути своей враждебны каким-либо переменам.

... Не следует считать ни слабостью, ни неполноценностью эротического тот факт, что оно стоит на стороне верности – скорее это знак его присяги великому принципу Целостности, нерасщепленности и неразменности жизненного единства. Сложнейший механизм реагирования,

* Бубер, Мартин (1878–1965) – еврейский философ, один из самых выдающихся религиозных мыслителей XX в.



который склоняет нас к переменам и избирательной реализации возбуждения, ничего не хочет знать о постоянстве и стабильности. Но там, где мы что-то соотносим с нашим сознанием и понимающим усилием, а не только с физическим и душевным желанием, мы и переживаем эротичность не только в тающей силе насыщения от удовлетворения этих желаний, но, с другой стороны, во всевозрастающем интересе к пониманию единственности человеческой неповторимости. Только здесь полностью реализуется принцип, гласящий, что в любви тянет человека к человеку, как к Иному, другому уникальному «я», чтобы во взаимодействии с ним исполнить себя не как средство любви – для порождения новой жизни – а как самоцель. Здесь сокрыта такая степень духовной жизненности, в сравнении с которой сама тяга к перемене кажется недостатком внутренней подвижности, когда духовность нуждается в толчках извне, чтобы прийти в движение, – это некое отсутствие внутренней гибкости, позволяющей ловить новизну в привычном и *создавать* перемены, а не *искать* их.

...Примитивный вид связи у животных, предполагающий тотальное растворение друг в друге отдельных существ, так удивительно соответствует тому идеалу любовного счастья, который воображает себе человеческий дух в своих наиболее возвышенных эротических снах. Вероятно, поэтому над любовью постоянно витает лёгкое чувство тоски и страха смерти, которые едва ли могут быть друг от друга чётко отличены, – витает нечто, подобное прадавнему сну, в котором собственное Я, любимый человек и ребёнок могут быть едиными, где эти три сущности представляют собой лишь три разных имени для одного бессмертия.

...Коль мы все до одного вышли из одной и той же «детской комнаты» (назовём так пространство половых органов), то, в конце концов, каждый из нас мог бы поиграть в «половые клеточки», если бы бес высокомерия не влѣк нас к всё большему разделению. Поэтому так мощно звенит в нас воспоминание о том, как сексуальное может всецело органически захватывать; мы забываем, как далеко мы



зашли на пути специализации органов, и нас охватывает внезапная тоска о старом добром времени безраздельного органического взаимопоглощения.

На таком сентиментальном приступе ностальгии поκειται неисчерпаемое волнение, охватывающее всю тотальность существа, которое вступает в половой акт. И чем больше половой процесс, в ходе развития зажатый в угол, становится специальным актом, тем сильнее растёт значение его общего влияния на остальные сферы, ибо в эротическом экстазе происходит не просто соединение, пусть даже совершенно особое, а взаимоперетекание двух существ. Прежде всего, мы сами становимся единой искрой, в которой вся особая жизнь двух душ и тел снова в совместно переживаемой тоске вспыхивает друг в друге, и это наконец-то происходит вместо того, чтобы по привычке, едва замечая факт присутствия другого, жить полностью аутично сосредоточенным в себе.

...Вполне справедливо говорят: любовь делает счастливыми всегда, даже самых несчастных, – если только это выражение принимают в должной степени несентиментально, а именно, – не заикливаясь на отношении партнёра. Ибо хотя у нас и создаётся впечатление, что мы заполнены до краёв именно им, но на самом деле, все исходит именно от нашего собственного состояния, которое нас, как всех хмельных, делает не вполне способными что-нибудь глубоко понять. При этом предмет любви является для возбуждения всех чувств лишь поводом: точно так же как мимолётный звук и запах извне может послужить толчком к замечательным изменениям в сумеречном мире наших сновидений. Любящие инстинктивно оценивают свою принадлежность друг к другу исключительно по продуктивности духовно-телесного становления, что их настолько же концентрирует друг на друге, насколько и раскрепощает друг от друга. Однако если вы будете слишком подозрительно относиться к восхвалениям другого, то не удивляйтесь грубому падению с облаков обожения, которое каждый опытный человек, покачивая головой, мог бы предсказать заранее, – и при этом любовное



сумасбродство, только что ещё украшавшее золотыми блёстками принцессу, безжалостно превратит её в золушку. В блестящем платье она позабыла, что только благодарность другого существа за собственное воодушевление накупила на неё этот чудный наряд. Да, благодарность за собственное воодушевление да еще, быть может, неосознанное чувство вины, часто присущее эротическому эгоизму как смутное раскаяние за всегдашнее празднование себя и только себя. И все же из этого клубка спутанных эротических мотивов ткется, точно золотая тень, прокраившаяся между любящими, идеальный тончайший образ, назначение которого быть посредником от сердца к сердцу.

... Согласно распространённому мнению любовная иллюзия может быть лишь предметом роскоши, которая, как соблазнительный аксессуар, прилагается к голой прозе секса, дабы в своём чрезмерном приукрашивании быть обречённой на всегдашнее несоответствие действительности. И, тем не менее, нельзя сказать, что любовная иллюзия – исключительно орудие самообмана: в ней эротическое впервые пытается чисто духовными средствами пробить через телесное стеснение духовную дорогу до некогда утерянного рая. Потому мы переживаем иллюзию тем интенсивнее, чем глубже любовь в нас, а если к этому примешивается ещё и вся сила нашего разума, то эта иллюзия – прощу прощения за каламбур – становится совершенно безумной.

Нередко во всём поведении любящих по отношению друг к другу отстранённому взгляду вполне очевидно, что тот род сновидения, в котором они живут, осуществляется как бы по принципу согласия по умолчанию. Что поделаешь, определённые вещи – лучшие вещи – поддаются только стилизации. Невозможно до конца пережить полноту их бытия, как будто великая поэтическая полнота, которую они хранят в себе, может быть воспринята, только в определённой форме: форме, унаследовавшей свои очертания от благоговейной тоски по прекрасному, которой человек отдаётся в удивительном сочетании мало свойствен-



ной ему сдержанности и одновременно бесцеремонности. Посредством эротической иллюзии, которая устанавливает отношения взаимовлияния между влюблёнными, осуществляется связь человека со всей остальной действительностью: Другой, всегда оставаясь вне нас, освящает своим присутствием внешний круг вещей; он становится той точкой единения, в которой мы впервые обручаемся с миром той действительности, которая никогда полностью не входила вовнутрь нас. Жизнь для нас становится красноречивой: она начинает звучать нотами и тактами, превращающими наши души в свой камертон.

Так эротический образ любимого существа расширяется до бесконечности вселенной с тем, чтобы, в каком бы уголке мира не находились влюблённые, магия преобразования коснулась бы волшебного края их прирученных вещей. Именно поэтому так оправданно боятся того, что слишком глубокое самопознание может положить конец любовному порыву, именно поэтому каждая настоящая любовь начинается с творческого толчка, приводящего к вибрации чувство и дух. Поэтому при всей поглощённости Другим, нас охватывает лишь незначительное любопытство: каков же он всё-таки сам по себе, безотносительно к нам. И даже если Другой превзошёл все самые смелые ожидания, что, несомненно, должно было углубить и укрепить наш союз во всех смыслах, нам предстоит испытать глубокое разочарование, и всё потому, что настанет время, когда игровое пространство перестанет существовать, а к Другому уже невозможно будет отнести творчески, – «сочиняя» его, «играючи» в него. Мы начинаем испытывать какое-то особое раздражение по поводу именно тех чёрточек, которые прежде для нас были особо волнующими: даже задним числом они не могут оставить нас равнодушными – либо восхищение, либо отторжение – и вследствие этого неравнодушия ещё более раздражают, напоминая нам о том мире, к которому наши нервы некогда отвечали дрожью, о мире, ставшим чужим.

...Эротическое, по сравнению с художественным, выражает свой порыв в более бесплотных и куда как менее правдивых свидетельствах, чем творческие артефакты.



В художнике, однако, при некоторых обстоятельствах его особое состояние может переживать различные надломы – то ли перехлёстывая через норму до аномалии, то ли превращаясь в насилие настоящего, то ли разрываясь между требованиями прошлого и нынешнего. Само это состояние внутренней заряженности любовью, чуть ли не самое ценное из всех возможных, находит как своё последнее прояснение, так и своё окончательное исполнение на той же духовной почве, сосредотачиваясь и воплощаясь более или менее без остатка в произведениях искусства, в то время как эротическое духовное состояние из-за отсутствия такого оправдывающего финала продолжает восприниматься в контексте обыденного течения жизни.

Художник, не будучи стеснённым жизненными обстоятельствами, по сравнению с любящим может куда более свободно фантазировать, потому что на самом деле только он своими фантазиями способен создавать из наличного материала новую действительность, тогда как любящий лишь одаривает её своими выдумками. Вместо того, чтобы отдохнуть, наслаждаясь гармонией совершенного дела, как это позволительно фантазии художника, поэзия любви, вечно чего-то ища и вечно кого-то одаривая, неприкаянно проходит через жизнь, причём её трагизм тем более велик, чем менее она способна освободить свою память от поработающих воспоминаний о бывших объектах её вожделения. Любовь, таким образом, оказывается самым телесным, самым душевным и самым одухотворённым из всего, что в нас есть; она целиком и полностью держится за тело, но держится не просто так, а превращая тело в символ, в знаковое письмо для всего, что тело бы через калитку чувств прокрасться в нашу душу, дабы разбудить её для самых дерзновенных сновидений. В результате этого повсюду к факту обладания примешивается представление о недостижимости, братскими узами сплетаются согласие и отказ, которые в данном случае отличаются друг от друга не качеством, а степенью. Любовь делает нас творцами сверх наших способностей, ведь её тоска направлена на объект не только в ипостаси его эротической желанности, но и в ипостаси его самого



возвышенного, предельного, абсолютного бытия, о котором мы можем только мечтать.

...Чем более значительным представляется противостояние эротического и творческого, тем более очевидным становится то, что достижение ими общего основания может произойти только на том условии, если в сфере эротического будет царить примат взаимного возвышения партнёров. Только при таком условии можно уравновесить силу притяжения и силу отчуждения, – собственно говоря, достаточно лишь обострённого ощущения жизни, чтобы этот процесс запустился автоматически. В результате достижения эротического синтеза у партнёров может создаться впечатление, будто их союз получил благословение на святой земле, будто то, что мы называем идеализацией, в действительности есть самый первый творческий акт только что сотворённых существ, который своей силой кладет начало всей последующей череде жизни. Именно поэтому феномен идеализации впервые проявляет себя уже в телесном инстинкте спаривания, а по крупному счёту, его начало можно вообще приурочить к первым актам деятельности мозга.

... Кажется, что «эгоизм вдвоём» , который, как справедливо подозревают, является не меньшим эгоизмом, преодолевается только путём установления отношений с ребёнком, т.е. только в той точке, в которой социальная и половая стороны любви, примирившись, дополняют друг друга. Однако половая любовь, осуществляющая своё назначение сугубо в телесном смысле, имеет характерную черту, заключающуюся в том, что это физическое действие уже неявно содержит в себе всё, чему на духовном уровне ещё предстоит развиваться. Хотя по праву можно сказать, что любовь создаёт двоих людей: того, кто рождается от физического соединения, – и идеального Андрогина, рожденного от духовного соития. Тем не менее, именно ребенок является тем, кто впервые выводит пару из состояния любовного оцепенения. По крайней мере, настолько, насколько осуществляется социализация более примитивного



причинно-следственного отношения «течка – приплод» до сознательной мотивации «любовь – ребёнок»

... Когда мать в своём ребёнке, – по ту сторону всех присущих любви беззаботных прославлений, – видит, по сути, только одну изумительную действительность его маленькой жизни, то становится очевидным, что за лучезарной накидкой иллюзий, делающих её мужчину единственным и неповторимым, проступает всё тот же образ вечного ребёнка, драгоценного самим фактом своего существования. За всеми идеальными картинками, которые она, кажется, так требовательно-смиренно шлёт ему навстречу, скрывается такое огромное количество тепла, причастившись к которому, прекращается индивидуальное одиночество отдельного существа, будто оно снова возвращается в объятия всематеринской стихии, охватывавшей его до фактического рождения. Этим она как бы на некоторое мгновение возвращает ему ощущение мирового центра, – той исключительности, которая, будучи свойственной любому в силу прирожденного нашего эгоцентризма, именно поэтому не может быть гарантирована каждому в отдельности. Но, невзирая на такое положение вещей, в каждом существе этот посыл безусловного тепла продолжает жить дальше как чувство, что даже самому низменному из них по праву принадлежит самая возвышенная любовь «от всего сердца и изо всех сил». Таким образом, мать воздаёт своему ребёнку, наряду с социальной, ещё и эту высочайшую справедливость презумпции любви, притом никого не обделяя, ведь для её ребёнка – это вся небесная ширь, а для других – не более, чем ещё немного голубизны над землёй. Не только никого не обделяя, но и показывая всем, как достигается статус человека как такового, когда из немного смешного в своей наивности образа, порождённого эротической страстью, силой её мудрости получается глубочайший символ истинного человека. По сравнению с этим все иллюзии, которые способна породить человеческая фантазия, кажутся не более, чем игривыми фонтанчиками, время от времени брызжащими над поверхностью мощного потока, в светлых водах которого размываются даже грани любви мужчины и женщины.



...Мать настойчива только в том, чтобы некой крохотной частичкой себя заселить абсолютно всё, – всё, начиная с того, что соседствует с её сердцем, и заканчивая самым последним зверем в поле, – её чувство расширяется до целой вселенной, и благодаря этому она начинает говорить с нами по-новому, голосом любви. Материнство предельно осуществляется только в этом сознательном удалении от себя своего как чужого, в этой болезненной добровольности отказа, в этом высочайшем самозабвении, отстраненности от того, чему, едва произведя как свой плод, она дала свеситься с ветки и осенней порой упасть на землю. Однако для женщины, познавшей материнство, осень превращается в начало бесчисленных вёсен. Ребёнок, соединяясь по-новому с жизнью и теплом того, кто его не только любил, но и породив из себя, затем отнял от своего сердца и отпустил в состояние полной независимости, – такой ребёнок предоставляет матери возможность пережить его как особый неповторимый мир-в-себе, когда-то странным образом бывший ее частицей. Поэтому среди всех человеческих отношений, только материнство является тем, чему позволено осуществить переход от глубочайшего праисточника до высочайшего пика человечности, – оно вмещает всё: опыт трансформации собственной плоти и крови в чужое духовное Я, которое вновь становится началом мира.

... Женщины свободного поведения и женщины типа Мадонны, схожие не более чем намалёванная неумелым художником рожица и божественный прообраз, соприкасаются в крайнем. Это то, благодаря чему женщина вообще является женщиной: её чрево как носитель плода, как храм божий, как место потехи и как снимаемое помещение для полового акта, становится нарицательным понятием, символом той пассивности, которая делает её в равной степени способной свести сексуальное до самого низменного и возвысить его до небесных пределов.

Чем глубже женщина укоренена в любви, чем более лично она переживает её, тем легче она отстраняется в сексуальном от несущего чистое наслаждение и тем в большей степени оно приобретает для нее качество духовного



поступка, живого исполнения и служения Эросу. В этом пределе чувственность и целомудрие, страсть и святость, в конечном счёте, земная мать и Мадонна, сливаются воедино: в каждом высшем часе женщины мужчина – не более чем плотник Иосиф рядом с Марией, которой дано чудо общения с Богом.

...У женщины всё развитие проходит по зигзагообразной линии, колеблясь между половой и индивидуальной жизнью: будь то, когда женщины и матери чувствуют отсутствие интереса к своим индивидуальным способностям, или когда вынуждены развивать их за счёт женского или материнского начала. Хотя существует множество рецептов, которые рекомендуются для устранения этого дисбаланса, однако, в принципе, нет и не может быть единого общепринятого решения этого конфликта. Но вместо того, чтобы горевать по поводу трагичности, присущей женскому существованию, уместнее было бы радоваться той бесконечной полноте жизни, в которую в связи с этим вовлечена женщина: не имея возможности пройти своё развитие «по прямой», она вынуждена улаживать противоречия своего положения благодаря уходу «вглубь». И это не менее значимо, чем то, от чего мужчина отбивается снаружи в своей борьбе с бытием: если ещё и сейчас считается, что мужчина может быть по достоинству оценён только в связи со своими внешними достижениями, то для женщины всё заключается в том, как она разрешит загадку своего собственного существования, – собственно говоря, это и является причиной того, почему грация в значительной степени остаётся единственным адекватным мериллом по отношению к ней. Предельное преимущество женского пола заключается в том, что он способен преобразовать «этическое» и «прекрасное» так, что они приобретут значение «святого» и «высокоэротичного».

...Что-то педантичное, вечно взыскующее порядка в мужчине, порой приходит в негодование от всей женской породы: её манеры любить, которая попеременно то смущает его, то импонирует ему, то вызывает у него презрение. Это связано с тем, что, рассматривая понятие «женщины» в частности, его пытаются сделать внутренне со-



гласованным, тогда как на самом деле женщина – всегда воплощённое противоречие-в-себе: легкомыслие и серьёзность, сумасшествие и здравомыслие, беспокойство и гармония, капризность и глубина, гном и ангел. Отсюда – бесконечность и безнадежность дискуссий, в ходе которых вся острота противоположности женщины по отношению к мужчине, будет вменяться ей в вину.

...Женская сущность, с точки зрения идеала, предлагаемого мужчинами, воспринимается как нечто плаксиво-преувеличенное, позволяющее ей не замечать, что лишь совместные усилия приводят к нашему дальнейшему развитию. Мужчины же предпочитают, в свою очередь, не замечать, что деятельность, направленная вовне, вынуждена осуществляться путём отказа от самой возможности духовной гармонии, что пребывающее в поиске саморазвитие должно преодолеть массу препятствий и что существуют паузы отдохновения даже для наиболее рьяного мужского напора, который в своём порыве торжественно и любовно мечтает соединиться с красотой. И если, в конце концов, идеал гармоничности более соответствует женской сущности, чем мужской, то возникает подозрение: а не потому ли мужчины имеют такую ярко выраженную склонность следовать по пути, который им предлагается каждой отдельно взятой из их способностей и каждым из их задатков. Его сущность внедряет себя в любой из них как в духовном смысле, так и в смысле удовлетворения инстинктивного влечения. Его эротические и эгоистические аффекты социализируются, используя что-то отличное от себя. Такая социализация будет происходить скорее у ответственного, самодисциплинированного, общественно значимого для других мужчины, склонного вовлекаться в то, что он делает, – она будет проявляться в форме порождения новых социальных норм, в то время как естественная норма женщины в ее неразделимости тела и души учит синхронному совпадению с ритмами жизни, тем самым вообще ставя под вопрос возможность дальнейшего социального развития. Поэтому мужчина любит женщину больше всего и сильнее всего именно за то, что она стала для него подобным образом естественной пульсации жизни, в следовании



которому возникает интегрированный он сам и возникнут его дети. Его любовь также коренится в том, что может дать только женщина: её тело необыкновенно мягкое, в её голосе сквозит юность, своей властью она наследует одного человека другим, - она кажется воплощением вечного материнства, оставаясь вечным ребёнком.

...Присутствие мужественности в женщине и женственности в мужчине, которое наблюдается у всех нас, работает по-разному в каждом из индивидуальных случаев. Иногда это совершенно раскрепощает персону от того пола, к которому она принадлежит, и нарушает гармонию, хранимую самой сущностью его/ее бытия, смывая клеймо женственности с женщины и феминизируя мужчину. Но только в тех людях, которые ориентированы постоянным присутствием своего партнера **«внутри себя»**, наша психическая бисексуальность может стать плодотворной.

Поэтому, если физический любовный оргазм, посредством своей объединяющей нас силы, несёт с собой ощущение блаженства, то «духовной оргазм», как редкостное переживание любви, действительно может оказаться совершенным счастьем и внутренней полнотой. Безошибочный инстинкт подталкивает нас к предположению, что любовь, согласно своему изначальному и совершенному смыслу, таит в себе более глубокое предназначение, чем физическое сотворение новой жизни.

...Поскольку наше воображение, не зная меры в преувеличении ценности своих объектов, накладывает на них масштаб собственной духовности, то вполне естественно, что они постоянно вводят его в иллюзии. В связи с этим, всё, что связано с практической деятельностью, осуществляется воображением с удивительным легкомыслием. Поскольку в действительности сексуальное влечение подчиняется закону о взаимосменяемости возбуждения и удовлетворения, причём с каждым повторением (циклом) сила желания уменьшается, то вполне понятно то стремление к смене партнёров, которое характерно вообще для всего животного царства. Вряд ли кто-нибудь будет возражать,



что индивидуализация и утончение полового влечения преимущественно коснулись не основ эротизма, а тяги к «гурманизации» процесса. Где в прежние времена загулявший супруг для сопровождения в командировке выбирал себе женщину в зависимости от того, была ли она шатенка или блондинка, худая или полная, – даже до сих пор мы такие нюансы различаем вплоть до полной казуистики, – то на сегодняшний день мужчина ищет женщину, «годную для поездки»: сдвиг критерия в психологическую и игровую плоскость! Но, впрочем, всевозрастающая дифференцированность эротического во все времена и у всех мужчин повышает потребность в разнообразии внутри самих отношений и несколько снижает стремление к переменам.

...Два человека, которые с полной серьёзностью воспринимают «преходящую вечность» своей любви как масштаб своих деяний, но при этом не желают рассматривать верность как необходимый залог блаженства совместного бытия, живут в сумасбродном лихорадочном обожании, и даже если их глубже понятая специфическая верность выглядит по-своему эффектно и длится дольше чем у иных, то всё-таки это происходит не более чем из-за страха потери, из-за страха пустоты жизни, из-за жадности или слабости. Со всеми своими издержками они приходят только к полузаконченному эскизу любви, тогда как окончательное завершение и высшее мастерство исполнения достаются в удел другой картине бытия. В описанных же случаях эротическое получает своё оформление благодаря отважному любовному легкомыслию, смелой вере в бессмертие эмоции, той величине, которую она выбирает своим масштабом, особому сочетанию нежности и искренности, – и всё это вызывает большие опасения, что основы этой «девственной» этики будут поколеблены, ибо всё, что находится вне неё, находится ниже её и не соотносимо с ней, не приемлющей в себя никаких «инъекций повседневности».

...Непонятно, почему люди в порыве любви, сколь глубоким ни было бы их чувство, иногда всё же могут испытывать



определённое разочарование от соприкосновения с тем, что существует вовне: и это касается не только тех случаев, когда мечта не смогла осуществиться, но и тех, в которых всё складывается, казалось бы, наилучшим образом. Тем не менее, всё живое всегда осуществляет своё бытие исключительно путём распада, деления и смешивания, посредством расщепления собственной личности, приблизительно так, как это происходит с зародышем в утробе матери, который также длит свою жизнь путём деления и дробления.

Допустим, что порыв любви и жизненный союз, брак, значительно не совпадают друг с другом. Тогда не совсем ошибаются те, кто иронически утверждает, что некоторым свойственно находить нечто там, где другие только теряют, и это связано не с различием целей, которые они себе ставят, а с существованием двух фундаментально различных способов переживать любовь.

На самом деле эротический аффект заканчивается в особой этике чувства приблизительно так же, как река заканчивается в море: достигая общности, он прекращает своё существование, но вместе с тем облагораживается и начинает вбирать, впитывать в себя внеэротические явления. Жизненный союз осуществляется путём исчезновения более раннего аффекта, в тот момент, когда к нему присоединяется компонент воли. Ничего не поделаешь: смерть предыдущего в последующем – основа всего.

...Является ли брак чисто духовным установлением, санкцией, дарованной небесами, или результатом естественного отбора наиболее жизнестойких форм существования? Во всяком случае, мало какой жизненный союз способен удержаться от смешения самого возвышенного с откровенно пошлым. Враги супружества упрекают его чаще всего именно за этот эклектический характер. Знаменитая венчальная формула «навечно в радости и горе» еще не открывает, как практически, совсем по-иному, чем в порыве любви, должна проявиться подлинность супружеского чувства – претерпевание горестей и разделение радости не в непосредственности аффективного экстаза, а для конечной цели полной общности.



В конечном счете, тайна брака заключена в том, что он означает жизнь друг **в** друге, а не друг **с** другом, пусть даже в религиозном, совершенно идеальном смысле. Супруги «друг в друге» – это одновременно любимые, брат и сестра, беженцы, укрыватели, суровые судьи, милосердные ангелы, снисходительные друзья, непосредственные дети, – более того: два распахнутых навстречу друг другу Бытия, доверчивые в своей божественной наготе.

2

Лу. Летом 1911 года в доме моей подруги Эллен Кей в Швеции я познакомилась с Полом Бьером, врачом-психоаналитиком. Внезапно вспыхнувшая симпатия друг к другу коренилась в удивительной схожести наших интересов. Именно он открыл мне существование психоанализа, именно от него я впервые услышала слово «сублимация» с весьма остроумными его толкованиями. Фрейд как бы подобрал слово-ключ – одно из тех, что сразу же снимает все недоразумения: для него самого это слово означало отклонение от сексуальной цели. Со слов Бьера я узнала, что Фрейд читал мою «Эротику» и выразился приблизительно в том духе, что, идя различными дорогами, мы с ним пришли к близким результатам.

Бьер. Сразу было видно, что Лу – необыкновенная женщина. В ней чувствуется искра гения. У нее просто дар полностью погружаться в мужчину, которого она любит. Эта чрезвычайная сосредоточенность разжигает в ее партнере некий духовный огонь. В моей жизни я никогда не видел никого, кто понимал бы меня так быстро, так хорошо и так полно, как Лу.

Лу. Осенью я возвращалась домой после поездки в Швецию и оказалась вместе с Бьером на психоаналитическом конгрессе в Веймаре. В продолжение трех дней конгресса мы с Бьером жили вместе, невзирая на то, что



Пол был женат. Наши откровенные разговоры заходили так далеко, что из его уст я, пожалуй, впервые услышала упрек в свой адрес о моей, как он выразился, «аморальности».

Бьер. Она обсуждала самые интимные и личные дела с поразительной беспечностью. Я помню, что был шокирован, когда узнал о самоубийстве Пауля Рэ. «И у тебя нет угрызений совести?» – спросил я ее. Она только улыбнулась и сказала, что сожаления – признак слабости. Я знал, что это только бравада, но она действительно казалась ничуть не озабоченной последствиями своих действий.

Лу. На конгрессе я встретила с Фрейдом. Он высмеял меня за неукротимое желание заняться изучением его психоанализа, ибо в то время еще никто и не думал о центрах для подрастающего поколения, подобных тем, что было решено создать в Берлине и Вене. Его ирония только раздражила меня. Дома, в Геттингене, я на полгода с головой ушла в проблемы психоанализа.

Психоанализу пришлось долго ждать своего основателя – человека, который захотел увидеть то, что до него старательно обходило стороной. Только у Фрейда хватило мужества (не вымученной решимости и тем более не любви ко всяким мерзостям) отвлечься от мысли, что ему грозит опасность столкнуться с чем-то непристойным и отталкивающим; его работа была санкционирована тем обстоятельством, что все, что он обнаруживал, существовало на самом деле, было данностью; интеллектуальная подвижность, исследовательская любознательность Фрейда получала из глубин его существа такой мощный заряд любви и творческой энергии, что его ничуть не интересовало, какое место в шкале ценностей отведут его открытию люди. Чистота (то есть незамутненность второстепенными проблемами и побочными побуждениями) профессиональной преданности делу породила прямоту и беспощадность точного метода познания, не останавливающегося даже перед тем, что респектабельно скрывалось от посторонних глаз. В результате получилось так, что именно рационалист, ученый, без остатка предан-



ный рациональному началу, косвенным образом раскусил уловки и увертки начала иррационального. Открытое им новое явление он демонстративно назвал «бессознательным» - словом, которое в немецком языке несет в себе момент отрицания («неосознанное»).

По Фрейду, ничего так не проясняет ситуацию, как стремление до тех пор следовать склонности к психологическому анализу, пока бессознательное, будучи само по себе недоступным для сознания, не воспримется этим сознанием как телесное воплощение зла; в этом качестве оно еще не хочет открываться нашему по привычке цензурирующему образу мыслей. Вероятно, потому и возникло злобно-возмущенное поношение «сексуальности», на которой ставит акцент бессознательное, что это слишком сильно напоминает нам, считающим себя людьми неординарными, о том, каким в высшей степени ординарным образом мы связаны со всем, что дано нам извне и противостоит нашей осознанной внутренней жизни; ибо тело – это та часть внешнего мира в нас, которой нам не дано избежать.

Мне всегда казалось, что в основе всех этих поношений лежит слишком большое внимание человека к телесному в себе, которое определяет его существование, но с которым он никак не может идентифицировать себя, когда дело касается проблем духа и души. Чем выше уровень нашего сознания, тем неизбежнее мы противопоставляем себя всему, что можно постичь только извне, с точки зрения другого; точно так же обстоит дело и с нашей телесностью – отсюда ее принципиальное обесценение в наших глазах. (Всем течениям древней метафизики было в этом смысле проще: внешнее и внутреннее в них еще так неотвратно и сознательно не противопоставлялось друг другу, их еще можно было перепутать, как это и в наши дни делают маленькие дети.)

В сентябре 1912 года я послала Фрейду письмо.

Геттинген, 27 сентября 1912.

После того как прошлой осенью мне посчастливилось быть Вашим гостем на Веймарском конгрессе, я ни на



мгновение не могу оторваться от изучения психоанализа, который тем прочнее приковывает меня к себе, чем больше я в него погружаюсь. Наконец-то реализовалась моя мечта, приехать в Вену на несколько месяцев: и Вы наверняка не будете против, если я обращусь к Вам за советом, буду посещать Ваш курс лекций и даже попрошу у Вас разрешение на посещение вечерних заседаний Обществ сред. Единственная цель моего нахождения в Вене – это полностью посвятить себя делу психоанализа.

Фрейд.

Вена, 1 октября 1912.

Если Вы прибудете в Вену, то мы все будем стараться превратить для Вас в легкодоступное то небольшое, что можно показать и объяснить в психоанализе. Одно только Ваше участие в Веймарском конгрессе я истолковываю как хорошее предзнаменование.

Лу. Однако еще до этого я написала письмо доктору Альфреду Адлеру*, некогда соратнику Фрейда. Они, к сожалению, разошлись по принципиальным соображениям. Адлер оставил Венское психоаналитическое общество и редакцию психоаналитического вестника и основал «Союз свободного психоанализа». Позднее он назвал свое учение «индивидуальной психологией». В письме я просила указать мне вводные работы по психоанализу и сообщила о своем желании посетить заседания его группы в Вене. Он незамедлительно ответил.

Адлер. Мне удивительно приятно узнать о Вашем желании. Сейчас я считаю, что любой человек, занимающийся психологическим анализом, должен принять во внимание мои научные расхождения с Фрейдом. Хотя бы делая это только как упражнение. Из наших разногласий я многому научился и только теперь обнаружил, какая дистанция лежит между нами.

* Адлер, Альфред (1870–1937) – австрийский психолог и психиатр, один из предшественников неофрейдизма, создатель системы индивидуальной психологии.



Конечно, у меня более благоприятная позиция. У меня нет какого-либо приметного прошлого, я ничего не понял в законе сохранения психической энергии, противился не только её признанию, но и идее о сексуальной этиологии неврозов, а один из обнаруженных мною фактов я возвеличил до теории, которую мыслящий человек может принять как ничего не значащее место: а именно, что сексуальная роль любого человека определяется теми же самыми силами, которые формируют его личность, – что на самом деле сексуальность является всего лишь символом того, каким образом кому-либо из людей удаётся справиться с тяготами своей жизни.

Ваше письмо и прекрасная возможность для бесед с Вами в октябре здесь, в Вене, на мой взгляд, настолько сильно совпадают, что я безмерно Вам благодарен... Конечно, я до определённой степени разделяю Вашу высокую оценку научных достижений Фрейда, но только до того пункта, где я начинаю всё больше отклоняться от него. В качестве схемы его эвристические конструкции в определённой степени важны и полезны, так как в них отражаются все линии психической системы. Но не будем забывать, что фрейдистская школа за сущность вещей принимает такое банальнейшее качество как сексуальность. Вполне возможно, что именно Фрейд побудил меня критически отнестись к его взглядам. И в этом я не раскаиваюсь.

Фрейд. У меня была хорошая возможность в течении многих лет изучать доктора Адлера, и я никогда не мог отказать ему в обладании выдающимся, и прежде всего, теоретическим интеллектом... Когда я заметил его значительную одарённость для работы с бессознательным психическим материалом, я переместил мои ожидания по отношению к нему, думая, что ему удастся проложить связи от психоанализа к психологии и к биологическому фундаменту тех процессов, которые связаны с жизнью влечений, чего вполне можно было от него ожидать, хотя бы учитывая его прежние исследования о неполноценности органов.



Лу. В октябре 1912года мы вместе с Элен Дельп, моей подругой – актрисой группы великого Макса Рейнхарда*, с которой я познакомилась года за два до этого, – отправились в Вену. Там мы собирались посещать лекции Фрейда, участвовать в дискуссиях Венского психоаналитического общества, а также посетить заседания группы Адлера. Выглядывая из окон вагона, подъезжающего к Вене, мы с Элен думали об одном и том же: наконец-то всё полностью определилось, то есть мы были уже на месте, оставалось только гадать: что же теперь с нами произойдёт? С нами приключился забавный случай: при самых первых попытках поиска жилья я натолкнулась на одного знакомого. Он сообщил мне о как раз сегодня начинающемся курсе лекций Фрейда. Квартира Фрейда, где я получала пропуск на лекции, оказалась совсем рядом; а сама аудитория (психиатрической клиники), которую я разыскивала в университете, вообще оказалась в нескольких шагах от дверей выбранного нами для проживания отеля «Цита». И всего немного далее находился ресторан фрейдистов, куда они отправлялись после прослушанной лекции: хорошо всем известный «Альте Эльстер». – Такое начало вызывало в памяти что-то родное.

Цикл лекций Фрейда имел название «Отдельные главы из учения о психоанализе» и проходил в большой аудитории психиатрической клиники по субботам с 7 до 9 часов; для участия достаточно было «персонально уведомить лектора о своём желании». Когда я предстала перед Фрейдом в Вене, он опять, как и в первый раз, от души посмеялся надо мной, наивной, так как я сообщила ему, что собираюсь заниматься еще и с Альфредом Адлером, превратившимся в его смертельного врага. Он добродушно согласился с этим при условии, что я не стану упоминать о нем там, а об Адлере, наоборот, здесь, в его окружении. В результате Фрейд узнал о моем выходе из кружка Адлера только несколько месяцев спустя.

Это позволило мне без всяких утрызений совести нанести визит к Адлеру. Я должна была сама понять суть их

* Рейнхардт, Макс (1873–1943) – один из выдающихся режиссеров первой половины XX в. Придавал важное значение единству смыслового, пластического и музыкального решения спектакля.



разногласий с Фрейдом и тогда уже принимать решение, на чьей я стороне. Адлер был удивительно любезен и разумен. Меня раздражали только две вещи: то, что он уж слишком не по-деловому, затрагивая личность Фрейда, говорил о существующих между ними несогласиях. А, кроме того, то, что он выглядел как карапуз. Словно ему так и не удалось дорасти до чего-то большего.

Я сразу же сказала, что пришла к нему вовсе не из-за психоанализа, а из-за интереса к его религиозно-психологическим работам, в которых я встретила родственные мне мысли относительно фиктивных образований, в огромном количестве приведённых им в книге («О нервозном характере»). По правде говоря, ни до чего общего мы с ним так и не договорились. И даже тогда, когда во время полуденной трапезы между нами разгорелся довольно жаркий спор по поводу психоанализа. Я считала совершенно бесполезным то, что он ради того, чтобы сохранить изобретённую им терминологию в виде понятий «вверху» и «внизу», а также термина «мужской протест», вынужден был прийти к неизменно негативной оценке «Женственного», хотя в то же время нечто пассивное (и в качестве такового сексуально или вездесуще проявляющееся) лежало по его взглядам в основе деятельности Я, причём явно в позитивном ключе. Да и любое проявление преданности при таком подходе было лишено всего позитивного и реалистичного, и всего-то просто из-за того, что Адлер умудрился свести преданность к «женскому средству для достижения мужских целей». И это мгновенно, и далеко не лучшим способом сказалось на его учении о неврозах, в котором в качестве закономерного следствия понятие компромисса перестало находить подобающее ему место. И, наоборот же, Фрейд, даже при создании прежней явно излишне сексуально ориентированной теории о причинах возникновения неврозов, никогда не упускал из виду такой существенный элемент как компромисс, вызванный плохой совместимостью двух партий. На самом деле только создавалась иллюзия, что Адлеру удавалось не прибегать к этому понятию. В его «вторичных» защитных реакциях (в которых содержалось как раз опровержение того, что



посредством первичных защитных мер можно добиться сверхкомпенсации чувства неполноценности) можно было легко усмотреть подавленную жизнь влечений, которую Адлер рассматривал лишь в качестве искусной уловки человеческой психики.

Любой невроз я рассматривала как неразбериху в отношениях между влечением Я и сексом; вместо того, чтобы поддерживать друг друга, каждый из них «ограничивает» другого созданием помех: или Я подвергается притеснению со стороны сексуальных тенденций или же, наоборот, последние подавляются силами Я. Так, например, влечение Я может включать в себя сексуальные проявления под видом жестокости (садизма), а сексуальность, приобретая форму мазохизма, вторгается на территорию, где царит Я.

Больше всего в Адлере меня привлекал его неумный дух, стремящийся объединить многое в одном; жаль только, что результаты усилий этого духа оставались весьма поверхностными и ненадёжными, он попросту скакал по верхам, вместо того, чтобы охватить всю ширь психических проявлений. Для него абсолютно всё становилось адлеровским сексуальным символом якобы подлинной формы Я, даже то, что ранее проявлялось в виде действительных сексуальных символов – и здесь Адлер шел дальше Фрейда, т. е. Адлер видел первично сексуальное даже там, где Фрейд вместо психосексуального усматривал лишь его органический фундамент... По пути обратно домой Адлер пригласил меня на свои дискуссионные вечера по четвергам, о чём я тут же решила честно рассказать Фрейду. И, тем не менее, я охотно согласилась с предложением Адлера.

Но то, о чем я хочу рассказать, относится не к созданию каких-либо теорий, ибо даже самая захватывающая из них не смогла бы отвлечь меня от того, что содержалось в открытиях Фрейда. Отвлечь от этих «находок» не смог бы даже самый блестящий теоретик-толкователь; их значение не дано умалить даже неудачным или несовершенным интерпретациям самого Фрейда. Теории, которые в то время только начинали складываться, служили ему необходимым средством взаимопонимания между сотрудниками, и если они у него рождались, то обязательно обретали черты его



образа мыслей, отличавшегося научной точностью и строгостью. Если бы я попыталась рассказать, что вело мысль Фрейда к его открытиям, то он высмеял бы меня в третий раз, так как сделать это было бы ничуть не легче, чем зафиксировать своеобразие таланта, присущее руке живописца или пальцам скульптора. Ведь проявлялось оно в чем-то конкретном: в мимолетном облике конкретного живого человека, точнее, во взгляде на этого человека, – взгляде, для которого за конкретным и мимолетным открывался всеобщий образ человеческого. Вместо раздумий на эту тему – пусть даже самых глубокомысленных и остроумных – мы наблюдаем у Фрейда готовность к самоотдаче во имя той последней точности, которая касается каждого из нас и которую можно выявить и осмыслить только так, как это делал он.

На одной из первых встреч рабочей группы (до меня женщин среди участников почти не было...) Фрейд во вступительном слове подчеркнул, что об одиозных темах, когда они становятся предметом обсуждения, следует говорить абсолютно откровенно, без каких бы то ни было церемоний. Шутливо, со свойственной ему сердечностью и изяществом он добавил: «Как всегда, нам предстоит неприятный, трудный рабочий день – непохожий на праздничные отношения между нами». Слово «праздник» еще не раз станет определяющим в моем отношении к нему и к его взгляду на вещи, который я пыталась описать, – взгляду, которому открывалась полнота материального мира; какой бы отталкивающей или пугающей ни была эта материальность в своих конкретных проявлениях, для меня за повседневными делами всегда таилось нечто праздничное, воскресное. В минуты отворачивания к себе Фрейд удивлялся тому, что я все еще глубоко привязана к его психоанализу: «Ведь я учу только одному – стирать грязное белье других людей».

О выглаженном и аккуратно сложенном на полках шкафа белье мы, собственно, знали и без него. Однако то, что можно было узнать даже по самому заношенному белью, чужому или собственному, уже не было связано напрямую с конкретной вещью, отстранялось от нее, от ее ценности, так как преображалось в процессе переживания.



При обнажении даже самых отвратительных и мерзких вещей взгляд, таким образом, останавливался не на них самих; однажды, когда речь зашла о чем-то подобном, Фрейд уже не высмеял меня, а с невероятным удивлением констатировал: «Даже после того, как мы поговорим о самых отвратительных вещах, у вас вид человека в канун рождественских праздников...»

Достаточно точно, как мне кажется, мои умонастроения той поры зафиксированы на страницах «Фрейдовского журнала», который я вела с особой тщательностью.

...Фрейд выглядит старше и болезненнее, чем в дни Веймарского конгресса; да он и сам говорит об этом, когда мы какую-то часть пути идём вместе. Лекция прозвучала так словно бы она намеренно была сделана с целью запугать публику трудностями психоанализа: даже если бы и удалось в чём-то быстро овладеть силами Бессознательного, «наподобие того, как ныряльщику удаётся кое-что достать со дна моря», то всякое обобщение подобных немногих случаев дало бы нам искажённую картину. Да и то, конечно же, доступных нам только в болезненных формах, а этим уже само по себе вызывающее явное отвращение у здорового, умного человека, решившего посвятить себя психоанализу.

Но, несмотря на всё сказанное Фрейдом, это никак не сможет устоять против одного того, Великого, о чём он вообще не упомянул. Что, в общем, и в принципе, теперь, появилась возможность хотя бы немного разобраться в Бессознательном посредством фрейдовского простого, гениального открытия, а именно применяя психоаналитический метод к патологическим и тому подобным проявлениям души! Только в области патологического можно было прийти к подобным открытиям, только там, где внутренняя психическая жизнь в результате пережитых потрясений несколько отчуждается от самой себя, начинает проявляться механически, а уровень рассудка всё больше определяется обмелевшими водами, постоянными колебаниями между глубиной и поверхностностью.



... Моя комната, окно которой выходит в хорошо ухоженный сад и в которой по утрам до меня не доносится ни звука, разве что последнее щебетанье птиц, словно бы создана для работы. Сегодня я читала только что пришедший номер «Имаго», в котором Фрейд опубликовал одну из прекраснейших своих статей о первобытных людях и невротиках. Мне стало удивительно ясно, что прежде любой нравственный проступок рассматривался в качестве неизбежно входящего во всеобщие мировые закономерности, совершенно аналогично тому, как в наши дни всё зиждется на естественнонаучных объяснениях всех явлений. Вот почему тогда, когда проступок не замечался сразу, провинившиеся люди сами, в целях своей же самозащиты, прибегали к наказанию (подобно тому, как изолируются заражённые люди или сжигают заражённые вещи). А Фрейд, так тот вообще, как раз в этом и видит истоки наказания – я думаю, что уже в кровной мести наряду с желанием отомстить можно обнаружить многое от мотива самонаказания (возможно, поэтому тотчас по совершению деяния мстящий за родственников член семьи начинает опекаться всем домом и получает право целовать грудь матери семейства). Ещё я думаю, что наше утрюрованное внимание к мотивам поступков вместо интереса к самому совершённому действию, то есть появление со временем так называемых высших этических ценностей, лишь только с виду повышает этический стандарт; в действительности же это приводит к крушению непостижимой святости мировых законов, и всё это вызывается практической необходимостью, как можно трезвее рассматривать жизнь. По крайней мере, отныне хотя бы перестают забывать о существовании благородства. В той степени, с которой такое случается, часто доходя до хитроумнейших нравственных измышлений, в той же самой степени уменьшается связь с действительными корнями жизни, сохраняясь в итоге только в виде просвещенной мачехи морали – гигиены. И только в абсолютно противоположном морали экстазе, в котором особенно благородно выделяется эгоизм и который то и дело с неистовой силой начинает бешевать в нас самих, мы опять начинаем догадываться



о том, о чём «более примитивные» люди знали с незапамятных времён, что мы полностью принадлежим жизни, и что «совершенством для человека является радость» (Спиноза).

...Пришла довольно рано; встретила тут только одного человека, блондина с огромной головой (доктора Тауска). Разговорились о Бубере. Кое-что из того, о чём он поведал, пробудило во мне сопротивление, но я тотчас об этом забыла, так что и вспомнить уже не могу.

Фрейд усадил меня рядом с собой, сказав при этом очень приятные слова. В этот вечер он сам делал доклад. Во время дискуссии мы тихонько обсуждали отдельные детали. Я поражалась тому, как удивительно тонко он подходил к пониманию сущности невроза, рассматривая его в виде расстройства, во взаимоотношениях между либидо и Я, не ограничиваясь пристальным вниманием исключительно к одному либидо; когда я заметила, что в его книгах это выглядит несколько иначе, он проговорил: «Это моя последняя формулировка». Да и, вообще, во мне осталось такое общее впечатление: что теоретическая конструкция не устанавливается раз и навсегда, но и дальше будет зависеть от накапливаемого опыта. То, что делает этого человека великим, на самом деле является просто-напросто присутствием в нём духа исследователя, продолжающего спокойно продвигаться вперёд, работая неустанно. Возможно, «догматизм», в котором его упрекают, как раз и вырос из необходимости найти хотя бы временные границы-ориентиры в этом бесконечном продвижении вперёд, хотя бы для тех, кто работает с ним рядом.

В перерыве я дискутировала с ним и доктором Федерном, который защищал учение Адлера о неполноценности ребёнка. Здесь я стою полностью на стороне Фрейда: именно ценность, и даже лучше сказать сверхценность, ребёнка заставляет его «хотеть всего», так как ему всё уступают и достают, вовсе не «компенсация» чувства неполноценности. Необладание, или особые права, ни в коем случае не вызывают у ребёнка разлад в душе; лишь у предрасположенных к неврозу детей, а в таких случаях порой даже вне всякой связи с перенесёнными оскорблениями



и обидами, появляется это мнимое право в форме компенсации. Всё ещё остаётся открытым вопрос, должен ли такой предрасположенный к неврозу ребёнок быть органически неполноценным, как считает Адлер и что отрицает Фрейд, приводящий в качестве примера радостных и уверенных детей с большими физическими дефектами, как и здоровых с виду детей, имеющих большие психические проблемы. Конечно, любое психическое заболевание одновременно является и болезнью тела, вопрос только, можно ли его включить в круг того, что мы понимаем и называем в качестве органической болезни. Возможно, что утверждения Адлера справедливы только в одном само собой разумеющемся отношении, что по большому счёту Психическое и Физическое представляют собой одно и то же, но он может быть не прав, допуская принципиальное значение определённых дефектов органов для определённых психических явлений – ради того, чтобы, как выходит по его взглядам, разыгрывающиеся чисто в сознании невротические процессы обосновать процессами, протекающими на более низком уровне, вместо того, чтобы для поиска объяснений обратиться к фрейдовским механизмам бессознательного. Книга Адлера о «Неполноценности органов», в которой ещё отсутствует изложение неприемлемых следствий его учения, кажется мне необычайно увлекательной.

Понятно, что после всего этого я была не в состоянии уже завтра же идти на его вечер-дискуссию, и сразу позволила об этом Адлеру.

Блондин с огромной головой... Виктор Тауск, родом из Хорватии, тридцати трех лет от роду, юрист по первой профессии, ставший (по словам Фрейда – «из-за тяжелых личных переживаний») журналистом вначале в Берлине, затем в Вене, он стал мне как-то особо близок в то время. Для того, чтобы основательно изучить психоанализ, в 1913 году, дополнительно, к степени доктора юриспруденции он приобретает звание доктора медицины. Он получает возможность заниматься психоаналитической практикой и становится одним из самых способных учеников Фрейда.



Познакомила нас моя подруга Элен Дельп. Я и не могла предположить, что он так стремительно переключит свое внимание с нее на меня. И потом, такая разница в возрасте – мне было на тот момент 52 ... Мудрый голландец Бенедикт Спиноза сблизил нас. Я со смехом рассказывала Виктору, как в юности, в Петербурге, тайком продав драгоценности, купила том Спинозы и штудировала его вместе с моим наставником Гийо. Кстати, Рильке, узнав о моем интересе к Спинозе, через Франца Верфеля вскоре передал мне все сочинения голландца. Райнеру же я послала очерк Тауска о Спинозе в связи с учением о психоанализе. Я как могла, помогала Виктору деньгами, играла с его детьми и умоляла не бросать жену, которую он не любил.

Мы были с ним вместе осенью 13-го года на IV Психоаналитическом конгрессе в Мюнхене, где Тауск должен был выступать со своим докладом о Спинозе. Здесь я познакомилась Рильке и Фрейда. Райнера тепло принимают в доме великого венца, сюда же он придет прощаться, уходя на фронт, а по увольнении из армии – первым делом придет засвидетельствовать почтение. Вообще, война и революция в России удивительным образом сблизила всех нас. И это невзирая на то, что из России до меня доходили страшные известия: моя семья бедствовала, большевики окончательно разорили моих братьев, я лишилась пусть небольшого, но состояния. Получалось так, что психоанализ и мои книги становились единственным источником существования.

Фрейд очень деликатно поддерживал меня деньгами. Впрочем, он помогал всем своим нуждающимся ученикам. В том числе и Тауску. Но извечная ревность старика Зигмунда к своим ученикам, на сей раз, стала роковой. С одной стороны, он доверил Виктору организацию дискуссий, а с другой – я замечала все большую отчужденность мастера по отношению к молодому и успешному коллеге. «Фрейд относится ко мне с уважением, но без тепла», – не раз жаловался Виктор. Отчаявшись, он идет на рискованный шаг: просит Фрейда принять его в качестве пациента – и получает отказ.



Это был удар для него. К тому же, и я почувствовала, что больше не хочу с ним близких отношений. Я пыталась объяснить, что, уходя от мужчины, женщина не обязательно меняет его на другой объект; может быть, она хочет вернуться к себе самой. Женщина, говорила я ему, подобна дереву, ожидающему молнии, которая его расколется...

Я вернулась в Геттинген к Андреасу. Как всегда... Тауск сдал медицинские экзамены и был призван в армию. Там он работал психиатром в военном госпитале. Позже опубликовал работу о неврозах и психозах военных. Гордый и самолюбивый человек, он не мог смириться с тем, что его отвергла «муза Ницше и Рильке». С Фрейдом отношения также пришли к логическому финалу. И в 19 году он покончил собой двойной смертью: завязал петлю вокруг шеи и прострелил себе голову...

Я узнала о его смерти от Фрейда.

Фрейд. Бедный Тауск, которого Вы так долго привечали Вашей дружбой, 3 июля поставил последнюю точку в своей жизни. Он вернулся совершенно измотанным из мерзостей войны, при самых неблагоприятных обстоятельствах должен был заново восстанавливать то, что было им потеряно за время военной службы и даже попытался найти другую женщину для своей жизни, ему, вообще, оставалось всего восемь дней до свадьбы, но, в конце концов, решился на другое. Все его прощальные письма невесте, бывшей жене и мне в равной степени нежны, говорят о его полном расстройстве, никого не обвиняют, кроме как свои личные недостатки и свою неудачную жизнь, так что по этим письмам трудно догадаться о том, что же его привело к последнему решению. В письме ко мне он даёт знать, что остаётся быть верным психоанализу, благодарит меня и т. д.

Он был поразительно добросовестным человеком, острым в своей наблюдательности, меткости суждений, особой ясности при изложении трудных вещей в результате философской выучки. Возможно, в своих неистовых требованиях он заходил слишком далеко; да, возможно не наступило ещё и время для того, чтобы находящейся в процессе становления науке дать такой солидный общий фундамент...



Лу. Бедный Тауск... Я любила его. Считаю, что хорошо его знала: и всё же никогда, никогда не подумала о возможности самоубийства... Если бы он выбрал какое-нибудь оружие, то тогда бы я могла расценивать его суицид как смерть человека, одновременно подвергающего и себя, и кого-то другого мукам и насилию. Так как это являлось проблемой Тауска, его ахиллесовой пятой, которая как раз-то и привлекала к нему, потому что даже такой сильный характер становится бессильным карликом в борьбе против внутреннего великана необузданности (на непсихоаналитическом языке это бы звучало примерно так: буйный в своих чувствах человек с нежным сердцем)...

Наряду с неслыханной враждебностью извне, превратившей творчество Фрейда в жертвоприношение, наряду с насмешками и злобой современников Фрейду приходилось выносить и внутреннюю борьбу – твердо и с полной самоотдачей следовать только тому, что он считал правильным, даже если это противоречило его натуре или даже шло вразрез с его вкусами. Если сравнить эту жертвенность с жертвами иного рода – теми, что исследователи приносят науке в ущерб собственной жизни и здоровью, то в случае с Фрейдом речь идет о сходном душевном процессе, о решимости, готовности, если потребуется, вылезть, так сказать, из собственной кожи, ничуть не беспокоясь о том, что за создание с содранной кожей появится в результате на свет. Ибо Фрейд-мыслитель и Фрейд-человек в их личностном проявлении – это две ипостаси, объединенные в целое жертвенностью. Он вряд ли стал бы отрицать, что не сбылись его надежды на постепенное использование результатов его исследовательской работы биологической наукой или что он находил скорее удовольствие, нежели неприятность в том, какой труднодоступной, чопорной красавицей оказалось его «бессознательное» – то самое, с которым метафизики всех времен позволяли себе в высшей степени запретные интимные заигрывания.

Без сомнения, именно таким рационалистом знают Фрейда по его научным трудам (и не только по ним), где



он – с философским или подчеркнуто антифилософским уклоном, это не имеет значения – в отличие от других авторов приходит к рациональным выводам, которые он умеет отделять от выводов чисто психологических. Лично он предпочел бы подходить сугубо рационалистически к положениям, выходящим за рамки точных определений, или же, пожав плечами, не обращать на них особого внимания.

Учение Фрейда требует от нас только одного: чтобы мы были чуть терпеливее и сдерживали нашу жажду познания, чтобы мы, не считаясь с собой, сохраняли ту же честность мысли, которую нам удалось столь успешно усвоить применительно к вещам внешнего мира. Мы можем со спокойной совестью признаться – Фрейд ведет нас к самому низу вещей! Но сперва следует признать и то, что вводит нас на равных в целостность бытия, не интересуясь при этом, чем и как мы на фоне данной целостности выделяемся. Что до тормозящего воздействия, все усиливающегося в процессе становления культуры нашего сознания, то оно представляет собой нелепейший из всех «сословных предрассудков», охотно предпочитающий общей для всей целостности исходной почве вымышленные воздушные замки, надеясь обрести в них спасение. В этой крайне щекотливой, ставшей из-за нашей заносчивости болезненной и сверхчувствительной ситуации не в состоянии ничего изменить даже наши высокоразвитые мыслительные способности. Изменить может только революция в мышлении, когда познание уступает место признанию.

Я оказалась в рядах психоаналитического движения, когда внутри него начали происходить грандиозные расколы, на знаменах которых значилось: «Адлер» и «Юнг»*. Фрейд как отец-основатель великой теории был категорически непримирим с раскольниками. Тем удивительней для меня была его благодушная терпимость к моему полемическому задору. Правда, он хорошо помнил, что я никогда не

* Юнг, Карл Густав (1875–1961) – выдающийся швейцарский психиатр, основоположник одного из направлений глубинной психологии, аналитической психологии.



предавала его. Ему нравилось, что я дополняю его «анализ своим русским синтезом».

Фрейд. Я начинаю мелодию, обычно очень простую, Вы добавляете к ней более высокие октавы; я отделяю одну вещь от другой, Вы соединяете в высшее единство то, что было раздельно. Я молчаливо принимаю за данность пределы нашего понимания, Вы обращаете на них наше внимание. В целом мы понимаем друг друга и придерживаемся одного мнения. Только я пытаюсь исключить все мнения, кроме одного, а Вы стремитесь включить все мнения, взяв их вместе.

Каждый раз, когда я читаю Ваши замечательные письма, я удивляюсь Вашему искусству выходить за пределы сказанного. Естественно, я не всегда иду здесь за Вами. Я редко испытываю такую потребность в синтезе. Единство этого мира кажется мне столь самоочевидным, что не нуждается в обосновании. Меня интересует другое – вычленение и разделение того, что иначе окажется перемешанным в единой первичной массе. Короче говоря, я аналитик...

Лу. В 1921 году я с мужем по приглашению Фрейда гостила в его венской квартире. Помимо удивительного гостеприимства и радушия, судьба подарила мне там встречу с удивительным созданием – дочерью Фрейда Анной. На то время ей было 26 лет, она была очень хороша собой. С ней мы стали неразлучны, как две молодые девчонки. Наши совместные «набеги» на друзей – Бир-Хоффмана, Шницлера, Пинельса – были незабываемы и легки. Мы могли говорить часами. В результате этих разговоров Анна написала работу о детских мазохистских фантазиях и о связи переживаний боли и любви. Эта работа открыла ей путь в Венское психоаналитическое общество в 1922 году. Кстати, тогда же с удивлением я узнала, что и сама давно являюсь членом Общества, хотя, как я знала, по его Уставу необходимо было выступить с энным числом докладов или участвовать в дискуссиях. Ни того, ни другого не было.



Что же до вышеназванной работы... У меня была идея, что если с ребенком после травмы или наказания обращаются особо нежно, то это может породить у него чувственное заключение, что боль и любовь находятся в тесном контакте, что они следуют друг за другом, – и такое единство может закрепиться в его воображении нерасторжимой ассоциативной связью. Я просто помню, как когда-то, в детстве, отец, нежно обнимая, поранил меня горячей сигаретой, и это довело его самого до слез. Я крепко запомнила этот эпизод в силу изумившего меня своей интенсивностью равенства переживания боли и любви. Границы боли и патологии здесь очень зыбки. Неотделимость их провоцирует страшное желание и оборону одновременно. Если мужчине при дефлорации не удастся расшевелить первоначальный опыт равенства «любовь-боль», тогда вместо этого пробуждается воспоминание о том, что боль была средством разбудить себялюбие и разбередить гордыню мстительной обиды. Не в силу ли этой смутной памяти многие люди инстинктивно боятся любви?

И еще одно детское воспоминание. Я была уже школьницей, старше восьми лет. Наша собака, шнауцер, которую звали Джимка, взбесилась. У нас такое случилось в первый раз, поэтому мы не сразу распознали это, и когда меня перед уходом в школу моя любимая собака укусила за запястье, я лишь второпях что-то сделала с раной и, как следует, не испугалась. По возвращении домой я больше не нашла нашу собаку: разразилась эпидемия бешенства, Джимку забрали; его еще до вечера застрелили в предназначенном для этого исследовательском институте. Последовал скрытый дурной период страха, когда во мне, переполненной ужасом, возобладало представление, как было бы ужасно, если бы меня ежеминутно подозревали в бешенстве. Но я узнала также и то, что рассвирепевшие от бешенства собаки, прежде всего, нападают на **любимых** хозяев. И я вспоминаю ужасающее убеждение во мне: я могу укусить папу, то есть **самого любимого**...

Фрейд... Мой Отец и Учитель. Вот еще штрихи наших взаимоотношений.



На лекциях у Фрейда установилась привычка выбирать в аудитории кого-нибудь одного и обращаться к нему. Однажды я по каким-то причинам не пришла на очередную среду. Фрейд прислал мне записку, в которой полшутя – полусерьезно интересовался, не является ли мой неприход к нему следствием занятости у Адлера, этого психоаналитического «раскольника». И с трогательной нежностью сообщал, что последнюю лекцию читал пустому стулу, на котором я обычно сидела.

Он дарил мне цветы и провожал до самого отеля, где я жила. Однажды от него был прислан роскошный букет нарциссов. Намек я поняла. Этот букет, сам того не зная, положил начало нашей с Фрейдом многолетней полемике о природе нарциссизма. Он считал, что существует первичный и вторичный нарциссизм: как естественное раннее сосредоточение всей энергии либидо и как инфантильное состояние, к которому порой скатывается наша психика в кризисные моменты. Я же полагала, что позитивная любовь к себе не имеет ничего общего с заикленностью на себе и самолюбованием. Сама сущность любви вспыхивает лишь тогда, когда мы преодолеваем пропасть между субъектом и объектом. Человек перестает видеть цель своих желаний и стремлений только вовне себя, но, вернув себе свои отчужденные владения, чувствует свою волшебную неразобщенность с миром, и на это единственно внутренне направлена струя его энергии любви. Нарцисс любит не собой, а своей нераздельностью с универсумом, так зримо проступившей на водной глади живого источника. Вообще же, все Прометеи – это вполне развившиеся Нарциссы. Нарцисс любит самого себя и потому весь тот мир, который он воплощает в себе. Точно так же, любя другого, мы любим не его «эго», а преломленный в нем бесконечный мир. Именно поэтому любви постоянно сопутствует боль разочарования: не потому, что она угасает с течением времени, как принято считать, а потому, что те ожидания универсальности, которые любящий адресует своему объекту, его индивидуальность не способна выполнить.

Фрейд согласился со мной лишь в одном: что описанный мною нарциссизм, очевидно, более естественен



для женщины, а потому легче ею достигим. Шутя же, он рассказал мне о своих опытах «настоящего нарциссизма», когда в окно его кабинета забралась грациозная кошечка. Видимо, я у него вызывала стойкую ассоциацию с чарующей кошачьей самодостаточностью. И тут я вспомнила Ницше и его высказывание о том, что я наделила его «кошачьим эгоизмом»... Цветок нарцисса с тех пор стал моей эмблемой в психоаналитических штудиях.

И еще цветы. Из нашей последней личной встречи с Фрейдом в 1928 году в моей памяти сохранилась только яркая красочная картина – большие клумбы анютиных глазок у Тегельского дворца, их пересадили сюда довольно поздней осенью, и они зацвели, не дождавшись следующего лета, посреди роняющих листву деревьев. Я отдыхала, любуясь их великолепием, бесконечным разнообразием цветовой гаммы – от темно-красных и голубых до светло-желтых оттенков. Фрейд собственноручно нарвал для меня букет этих цветов перед одной из наших почти ежедневных поездок в Берлин, во время которой я хотела навестить одну знакомую.

Несмотря на то, что Фрейду трудно было говорить и слушать, тогда нам еще удавалась незабываемая беседа наедине; потом начались долгие годы его страданий. Мы иногда вспоминали с ним 1912 год, год моих занятий психоанализом, когда я постоянно оставляла в гостинице свой адрес, чтобы как можно быстрее встретиться с Фрейдом, если у него появлялось свободное время. Как-то перед одной из встреч ему в руки попал ницшевский «Гимн жизни» – мое когда-то давно написанное в Цюрихе стихотворение, которое, слегка изменив, Ницше положил на музыку. Такого рода вещи не нравились Фрейду; он, с его подчеркнуто трезвой манерой выражать свои мысли, не мог принять того, что сочинило юное неопытное создание, склонное к восторженным преувеличениям. Будучи в хорошем настроении, он весело и дружелюбно прочитал вслух последнюю строфу:

И если покидать тебя замыслю,
Я не предаю святую нашу связь:
Ты остаешься жизнью, только жизнью,
А я уйду, страдая и молясь.



Он сложил листок и резко опустил его на спинку кресла: «Нет! Это, знаете ли, не в моем вкусе! От таких желаний меня бы избавил простой хронический насморк!»

Той осенью в Тегеле я пыталась выяснить, помнит ли он еще об этом разговоре по прошествии стольких лет. Да, он помнил хорошо, помнил даже, о чем мы говорили дальше. Не знаю, зачем вообще я стала спрашивать его об этом – мне не давала покоя мысль о долгих годах тяжких, мучительных страданий, выпавших на его долю; все эти годы мы, его окружение, спрашивали себя: сколько еще хватит ему сил выдерживать такие муки?.. И тут случилось нечто непонятное мне самой – с моих дрожащих губ неудержимо срывались слова утешения: «Вы совершили то, о чем я когда-то только мечтала, мечтала восторженно, втайне от других!»

Испугавшись откровенности своих слов, я громко и безудержно разрыдалась.

Фрейд ничего не ответил. Я только почувствовала его руку, обнявшую меня, так нежно, так по-отечески... И я подумала, что могла бы быть счастлива, если бы могла хоть десять минут в день смотреть в это лицо – лицо отца над всей моей жизнью...

ЧАСТЬ ШЕСТАЯ. НА ЗАКАТЕ

Лу. Двадцатые годы в Германии проходили под знаком колоссальной инфляции: один доллар составлял более четырех миллиардов марок. Я по-прежнему практиковала психоанализ. Однако клиентов становилось все меньше и меньше. Не умея отказать страждущим, я брала чисто символическую плату. В 1925 году взбешенный моей непрактичностью Фрейд посылает мне богатую пациентку и угрожает разрывом отношений, если я не потребую гонорар.

Фрейд. Вы не готовая помочь тетушка, Вы терапевт, который может работать только тогда, когда ему



предоставят надлежащие условия. С благотворительностью извольте кончать!

Лу. Не могла же я, в самом деле, объяснить Фрейду, что львиную часть гонораров от богатых клиентов тратила на нищих детей моих братьев в России...

В то же время я чувствовала, что мое мастерство психотерапевта растет. Я знала этот тихий успех во мне самой, – успех, который я отношу к разряду согревающих радостей, ведь я сама – старый холодный зверь, привязанный к немногим, поэтому я благодарна, что внутри психоанализа возможно тепло. Поэтому я с благодарностью приняла приглашение доктора Отто Брунса из Кенигсбергской терапевтической клиники прочитать в течение полугода тамошним врачам глубокий курс психоанализа и руководить практической работой с больными. Предложение подкреплялось достаточно внушительным гонораром. За полгода изнурительной работы с пятью врачами и десятками пациентов я приобрела хроническую усталость, а реформа немецкой марки практически полностью уничтожила гонорар. Я утешалась только тем, что моими усилиями был создан новый психоаналитический лечебный центр.

Я возвратилась в Геттинген. Там ждал мир и покой. У меня оставался Райнер с его письмами и книгами, у меня оставался Фрейд, которому я хвалилась новыми близкими отношениями с Андреасом. Вопреки старости я стала все больше уступать маленьким женским слабостям. Однажды в 24 году за все присланные Фрейдом 50 долларов я выкупила у ганноверского меховщика свои меха и написала Фрейду:

...Если снова буду в них красоваться, – мне не хватало каждую зиму их легкого тепла, – Вы виноваты в такой расточительности. Благодарю от всего сердца, что вы предоставили мне повод для искушения; хоть это и аморально, наибольшую радость мне всегда приносят мои грехи...

Когда же Фрейд навестил меня в Геттингене, я снова почувствовала, что жизнь – чертовски великолепная штука!

Не забывал и Райнер. Он прислал мне в подарок одиннадцать томов Марсея Пруста и настойчиво приглашал



приехать и пожить целый год в его швейцарском Шато де Мюзо. Я все не решалась, а в 26 году Райнера не стало. Я до сих пор перечитываю строки, записанные им в мой дневник, когда он уходил на войну:

Рильке.

Умереть, – только зная ее...
Умереть – от цветенья улыбки.
Умереть – рук хмельной окоем.
Умереть – перед Женщиной – Скрипкой...

Третьего ноября 1930 года умер Фридрих Андреас. Ему было 84 года... Фрейд попросил своего сына Эрнста прислать мне тысячу марок из полученной им премии Гете. Он умолял меня покинуть Геттинген, где меня окружает столько воспоминаний. Я отказалась.

Здесь останется все, как было. Наш с Андреасом домик погружает в спокойствие и осоловелость, стены блекнут вместе с нами, только их обесцвеченная обивка приобретает легкий золотистый оттенок: мы – против седины. Мы – это я и внебрачная дочь Андреаса Мария, которую я удочерила. Меня навещают друзья, вот Эрнст Пфайффер задумал записать мои рассказы о жизни. А название придумал! «Lebensruekblick» - «Назад, в отраженную жизнь». Видите ли, я все еще любознательна, ведь в чудесном клубке жизни все еще есть, что вязать, и при этом с неба порой сваливаются сюрпризы. Именно здесь, в этом доме, в Геттингене, я сама хочу дойти до конца.

*Но нами проживаемая жизнь -
Ведь нами прожигаемая жизнь.
И если б не поэзии собор,
Кто б выиграл со смертью вечный спор?
Не говори о жизненном пути.
Но жизнь свою в искусство преврати.*

Лу Андреас-Саломе скончалась 5 февраля 1937 года 75 лет отроду. Говорят, что последними ее словами были: **«На самом деле всю свою жизнь я только и делала, что работала и только работала. Зачем?»**

SANCTUS AMOR

«Бедная Нина» – Нина Петровская



ПРОЛОГ

Ходасевич*. В августе 1907 года из-за личных горестей поехал я в Петербург на несколько дней – и застрял надолго: не было сил вернуться в Москву. С литераторами я виделся мало и жил трудно. Ночами слонялся по ресторанам, игорным домам и просто по улицам, а днем спал. Вдруг приехала Нина Петровская, гонимая из Москвы неладами с Брюсовым** и минутной, угарной любовью к одному молодому петербургскому беллетристу, которого «стилизированные» рассказы тогда были в моде. Брюсов за ней приезжал, пытался вернуть в Москву – она не сразу поехала. Изредка вместе коротали мы вечера – признаться, неврастенические. Она жила в той самой Английской гостинице, где впоследствии покончил с собой Есенин.

28 сентября того года Блок писал своей матери из Петербурга: «Мама, я долго не пишу и мало пишу от большого количества забот – крупных и мелких. Крупные касаются Любы (Любовь Дмитриевна, жена Блока. – И. Т.), Натальи Николаевны (Артистка Н. Н. Волохова, которой посвящена «Снежная маска» Блока. – И. Т.) и Бори. Боря придет ко мне скоро. Он мне все ближе и ужасно несчастен». Наконец Белый*** приехал, чтобы вновь быть отвергнутым. Встретились мы случайно. Однажды, после литературного

* Ходасевич, Владислав (1886–1939) – русский поэт. Выступал также как критик, мемуарист и историк литературы (пушкинист).

** Брюсов, Валерий (1873–1924) – русский поэт, прозаик, драматург, переводчик, литературовед, литературный критик и историк. Один из основоположников русского символизма.

*** Белый, Андрей (настоящее имя Борис Николаевич Бугаев; 1880–1934) – русский писатель, поэт, критик, стиховед; один из ведущих деятелей русского символизма.



сборища, на котором Бунин читал по рукописи новый рассказ заболевшего Куприна (это был «Изумруд»), я вышел на Невский. Возле Публичной библиотеки пристала ко мне уличная женщина. Чтобы убить время, я предложил угостить ее ужином. Мы зашли в ресторанчик. На вопрос, как ее зовут, она ответила странно:

– Меня все зовут *бедная Нина*. Так зовите и вы.

Разговор не клеился. Бедная Нина, щупленькая брюнетка с коротким носиком, устало делала глазки и говорила, что ужас как любит мужчин, а я подумывал, как будет скучно от нее отделяваться. Вдруг вошел Белый, возбужденный и не совсем трезвый. Он подсел к нам, и за бутылкою коньяку мы забыли о нашей собеседнице. Разговорились о Москве. Белый, размягченный вином, признался мне в своих подозрениях о моей «провокации» в тот вечер, когда Брюсов читал у меня стихи. Мы объяснились, и прежний лед между нами был сломан. Ресторан между тем закрывали, и Белый меня повез в одно «совсем петербургское место», как он выразился. Мы приехали куда-то в конец Измайловского проспекта. То был низкосортный клуб. Необыкновенно почтенный мужчина с седыми баками, которого все звали полковником, нас встретил. Белый меня рекомендовал, и, заплатив по трешнице, вторая составляла верхнейшую рекомендацию, мы вошли в залу. Приказчики и мелкие чиновники в пиджачках отплясывали кадрили с девицами, одетыми (или раздетыми) цыганками и наядами. Потом присуждались премии за лучшие костюмы – вышел небольшой скандал, кого-то обидели, кто-то ругался. Мы спросили вина и просидели в «совсем петербургском месте» до рыжего петербургского рассвета. Расставаясь, условились пообедать в «Вене» с Ниной Петровской. Обед вышел мрачный и молчаливый. Я сказал:

– Нина, в вашей тарелке, кажется, больше слез, чем супа. Она подняла голову и ответила:

– Меня надо звать *бедная Нина*.

Мы с Белым переглянулись – о женщине с Невского Нина ничего не знала. В те времена такие совпадения для нас много значили.

Так и кончился тот обед – в тяжелом молчании...



ПЕТРОВСКИЕ ХРОНИКИ

Ходасевич. В ночь на 23 февраля 1928 года, в Париже, в нищенском отеле нищенского квартала, открыв газ, покончила с собой писательница Нина Ивановна Петровская. Писательницей называли ее по этому поводу в газетных заметках. Но такое прозвание как-то не вполне к ней подходит. По правде сказать, ею написанное было незначительно и по количеству, и по качеству. То небольшое дарование, которое у нее было, она не умела, а главное – вовсе и не хотела «истратить» на литературу. Однако в жизни литературной Москвы, между 1903–1909 годами, она сыграла видную роль. Ее личность повлияла на такие обстоятельства и события, которые с ее именем как будто вовсе не связаны...

Символисты не хотели отделять писателя от человека, литературную биографию от личной. Символизм не хотел быть только художественной школой, литературным течением. Все время он порывался стать жизненно-творческим методом, и в том была его глубочайшая, быть может, невоплотимая правда, но в постоянном стремлении к этой правде протекла, в сущности, вся его история. Это был ряд попыток, порой истинно героических, – найти сплав жизни и творчества, своего рода философский камень искусства. Символизм упорно искал в своей среде гения, который сумел бы слить жизнь и творчество воедино. Мы знаем теперь, что гений такой не явился, формула не была открыта. Дело свелось к тому, что история символистов превратилась в историю разбитых жизней, а их творчество как бы недовоплотилось: часть творческой энергии и часть внутреннего опыта воплощалась в писаниях, а часть недовоплощалась, утекала в жизнь, как утекает электричество при недостаточной изоляции.

Процент этой «утечки» в разных случаях был различен. Внутри каждой личности боролись за преобладание «человек» и «писатель». Иногда побеждал один, иногда другой. Победа чаще всего доставалась той стороне личности, которая была даровитее, сильнее, жизнеспособнее. Если талант



литературный оказывался сильнее – «писатель» побеждал «человека». Если сильнее литературного таланта оказывался талант жить – литературное творчество отступало на задний план, подавлялось творчеством иного, «жизненного» порядка. На первый взгляд странно, но в сущности последовательно было то, что в ту пору и среди тех людей «дар писать» и «дар жить» расценивались почти одинаково.

Выпуская впервые «Будем как Солнце», Бальмонт* писал, между прочим, в посвящении: «Модесту Дурнову, художнику, создавшему поэму из своей личности». Тогда это были совсем не пустые слова. В них очень запечатлен дух эпохи. Модест Дурнов, художник и стихотворец, в искусстве прошел бесследно. Несколько слабых стихотворений, несколько неважных обложек и иллюстраций – и кончено. Но о жизни его, о личности слагались легенды. Художник, создающий «поэму» не в искусстве своем, а в жизни, был законным явлением в ту пору. И Модест Дурнов был не одинок. Таких, как он, было много, – в том числе Нина Петровская. Литературный дар ее был невелик. Дар жить – неизмеримо больше.

Из жизни бедной и случайной
Я сделал трепет без конца –

она с полным правом могла бы сказать это о себе. Из жизни своей она воистину сделала бесконечный трепет, из творчества — ничего. Искуснее и решительнее других создала она «поэму из своей жизни». Надо прибавить: и о ней самой создалась поэма...

Нина скрывала свои года. Думаю, что она родилась приблизительно в 1880 году. Мы познакомились в 1902-м. Я узнал ее уже начинающей беллетристкой. Кажется, она была дочерью чиновника. Кончила гимназию, потом зубоврачебные курсы. Была невестой одного, вышла за другого. Юные годы ее сопровождалась драмой, о которой она вспоминать не любила. Вообще не любила вспоминать свою раннюю молодость, до начала «литературной эпохи» в ее жизни. Прошлое казалось ей бедным, жалким.

* Бальмонт, Константин (1867–1942) – поэт-символист, переводчик, эссеист, один из виднейших представителей русской поэзии Серебряного века.



Она нашла себя лишь после того, как очутилась среди символистов и декадентов, в кругу «Скорпиона» и «Грифа»...

Нина. Помнится, приблизительно за год до возникновения книгоиздательства «Гриф», у меня необычайно обострилось томление по жизни, горькая тоска существования, где ничто не вызревает и не завершается, где каждый день с утра очеркивается сознанием ненужности, а вечером сводится к нулю, к пустоте, к небытию. Не хотелось писать, потому что не было литературных связей, и я не знала, кто стал бы меня печатать, – не хотелось даже и жить, потому что все встречи с людьми оказывались ничтожными и напрасными. И дни мои проходили точно под нелепым стеклянным колпаком, откуда мало-помалу выкачивают воздух.

Помню нашу квартиру на Знаменке, в Москве, словно нарочито несуразную, ничем не одухотворенную, бесстильную, с башнеобразными комнатами-тупиками. Диваны, кресла, столы, «модерн» дурного вкуса, купленные без любви к вещам. Тонконогие лампы под шелковыми юбками уныло торчали, словно в мебельной лавке. Я, впрочем, никогда не умела полюбить своего жилища, ни тогда, ни потом, в многолетних скитаниях по Европе.

Дух бродяжничества живет во мне от рождения; я ненавижу скопление бесполезных предметов, всякого рода «имущества», не служащего малым насущным потребностям человека.

Но обывательски-комнатный быт тогдашней русской жизни буржуазных кругов и в частности этой моей с моим бывшим мужем Сергеем Кречетовым пригвоздили меня (правда, не надолго) к этому своеобразному домашнему гнезду.

Помню необычайно пышные закаты и медленные умирания их на причудливой башенке Румянцевского Музея.

Суровые тени заледали в нелепых тупиках за мебелью. В столовой пристойно погромыживала посуда, приготовлялись какие-нибудь очередные яства, кого-то ждали или было нужно, — вернее сказать, совсем не нужно, – куда-то собираться.



Странная пустынность тяготела над моею жизнью. Вероятно где-то так же томились близкие мне по муке небытия, – но как было докричаться до них, как разузнать в толпе те лица, которым было суждено потом неизгладимо врезаться в пейзаж моего личного существования.

Иногда мне казалось: вот, уйду в сумерках, потону в оснеженных переулках, и где-то там, под одиноким тоскующим фонарем, под нависающими льдом ветвями, – встречу... кого... – не знаю... Что будет за встречей... – тоже не знаю. Ах, пусть все что угодно, но только не это!

Читала тогда много с инстинктивным, но глубоко тенденциозным выбором. Прежде всего шли оккультные книги, потом французские символисты, русские – Минский*, Мережковский**, Гиппиус***, все вышедшие сборники Брюсова, Бальмонта, «Мир Искусства». «Северные цветы» и т.д.

Вся новая русская литературная проповедь, осмеянная растлителем мысли критиком Акимом Волынским, была мне известна от доски до доски. И все, обусловившее художественный стиль целого поколения, было мне близко органически, но реальное бытие этих больших писателей представлялось легендой о башне из слоновой кости, где мало и званых и избранных. Первым из тех недоступных, державших в руках ключи подлинной жизни и подлинной литературы той русской эпохи, томил мою мечту Брюсов.

Маленькие сборники его «Chefs d'Oeuvres» и «Me eum esse», – потом пышное «Urbi et Orbi» стали для меня символом моей новой веры. Их брали иногда с полком и этажерок наши гости, выложенные мумиеподобные адвокаты и прокуроры и их вертлявые жены в бриллиантах; эlegantнейшие артиллерийские офицеры (сослуживцы Кречетова

* Минский, Николай (настоящая фамилия Виленкин; 1855–1937) – русский поэт и писатель-мистик, адвокат.

** Мережковский, Дмитрий (1866–1941) – русский писатель, поэт, критик, переводчик, историк, религиозный философ, общественный деятель. Муж поэтессы Зинаиды Гиппиус.

*** Гиппиус, Зинаида (по мужу Мережковская; 1869–1945) – русская поэтесса и писательница, драматург и литературный критик, одна из видных представителей «Серебряного века» русской культуры.



по отбыванию воинской повинности), щелкая шпорами, непрочь были тоже поболтать о литературе. До них, очевидно, как-то досочилась ядовитая слюна Акима Вольнского и слово «декадент» – смешное, пошлое и крикливое, ни в чем Брюсова не выражающее, – как бумажный хвостик, прицепилось к краю его багряницы.

Офицеры, адвокаты, разжиренные спекулянты, модные актеры и т.п. – вся эта нечисть, питавшаяся гноем эпохи перед 1905 годом, так и была уверена, что Брюсов ест засахаренные фиалки, по ночам рыскает по кладбищенским склепам, а днем, как фавн, играет с козами на несуществующих московских пастбищах!.. Слово «Метрополь» вызывало немедленно приятнейшую ассоциацию пышного раззолоченного кабака, и едва ли кто-нибудь из них знал, что на заднем дворе этого сладостного «Метрополя» в двух маленьких комнатках ютится настоящий русский литературный Олимп, где куется самая утонченная наша культура...

За несколько лет до возникновения к-ва «Гриф», еще в зеленой юности, мне пришлось встретиться с Брюсовым, – тогда автором только первых сборников, – в доме известной спиритки и одной из основательниц журнала «Ребус» – А.И. Бобровой.

А.И. Боброва, вся на страже потусторонних, одной ей слышных зовов, поминутно куда-то отлучалась, кто-то собирался читать очередной реферат.

И вот он появился, – в воспетом поэтами двух поколений глухо застегнутом черном сюртуке, нездешний такой и такой земной, преувеличенно корректный, светский. Совершенно не гармонируя со всем обликом, «острым как меч», из-под угловых черных дуг, сурово сросшихся на переносье, сияли золотисто-черные, совсем «собачьи» глаза. Жующие, сонно булькающие чаем с лимоном, старики и старушки съжились точно от сквозняка, заморгали совиными глазами, зашуршали, зашелестели, подняли головы. А. И. Боброва почему-то поспешно увела его в свой кабинет (она считала Брюсова сильным медиумом) и, верно, нашлось у них о чем поговорить. И почему-то тоже ушла я, не выслушав реферата, с огорченным сердцем. Я могла



бы процитировать ему наизусть два его сборника целиком, а он на меня взглянул мельком, как на стену.

Мы встретились снова только через годы и иначе...

Белый. В дни встречи со мной ходил он (Брюсов – И. Т.) перепуганный жизнью, дебелою бабищей, выдавленный из нее в... спиритические перемельки и стуки; он занимался в те дни спиритизмом:

Приподняв воротник у пальто
И надвинув картуз на глаза,
Я бегу в неживые леса...
И не гонится сзади никто.

И никто, и ничто – его ужас до «Urbi et Orbi»...

Был осознанным противоречием он, с откровенным отказом от выхода, не находя его, но допуская, что, может быть, выход есть: коли так, – пусть покажут ему: ощупает его и деловито оценит. – «Сюртук» мне часто казался стеной черной тенью на плоскости трезвой; но он был точно с трещиной, в которую садит холодный сквозняк стародавних кошмаров, испытанных в детстве...

Его «проверы» под формою будто бы маленьких «гадостей», строимых нам, имели бескорыстную цель нас испытать; но это в нем было – игрой самотерза; такова же и пресловутая «дичь» его юношеских поступков, подрывавшая «тактику», или систему подкопов; она – выраженье мучительной распятости: самим собою себя; в этом жесте ненужного самораспятия виделся он мне с первой встречи: сложившим на грудь две руки, искривленным от муки; но и в этом терзе слагающим свои строчки, и таким его Врубель увидел; таким подымали на щит его мы; иронически он утешался принятием лести от тех, кто его поносил: как игрок, ставя нас, «Скорпион», символизм, – свои карты, – в угаре азарта: унизить еще одного из мастодонтов, сперва издевавшегося над ним; потом – пришедшего к нему с повинной, чтоб не отстать от «моды».

Молодой, еще дикий, порывистый Брюсов встает передо мной, одной ногой – на эстраде, другой ногой в невыдирных «чашкобах» самотерза, в которых он рыскал, юнцов



озадачивая; таким был еще в 904 году (после – не была): до жуткости диким, до резвости пламенным.

Первые встречи: я вижу В. Я. каждый день; перво-классник я; он же – взъерошенный, бледный, в прыщках: семиклассник с усами; меня интригует он умной угрюмостью: я же круги пишу вокруг него.

«Кто он?»

«Брюсов».

Скоро он пропал для меня, окончив гимназию Поливанова; в 1894 году мы его впервые «дикие» стихи затвердили; твердили и пародии на него В.Соловьева*; и я вспоминал Брюсова-семиклассника, точно волк в клетке, метавшегося по гимназическому рекреационному залу: от стены до стены.

До знакомства с ним, раз зимой, возвращаясь домой по Арбату, я встретил мужчину в пальто меховом, в меховой, пышной шапке; он топал галошами, пряча руки свои в рукава; голова прижималась к плечу; как-то странно и дико-радостно дергались красные его губы под заиндепевшими, как черный кокс, усами, глаза ярко прыснули: мимо меня мне; мне казалось, – шептался с собою он: так вытверживают про себя стихотворные строчки, быть может, так бегут «в неживые леса», когда сзади – никто не гонится...

И осенило:

«Я видел его уже? Где?»

В тот же вечер сказали мне у Соловьевых:

– «Был Брюсов и – жаль: не застал».

Тут осенило меня: бегун, бормотавший на улице, – Брюсов...

Видал я его в 900 году на представлении «Втируши», его мне показали в антракте; он стоял у стены, опустивши голову; лицо – скуластое, бледное, черные очень большие глаза, поразила его худоба: сочетание дерзости с напугом; напучены губы; вдруг за отворот сюртука заложил он

* Соловьёв, Владимир (1853–1900) – русский философ, богослов, поэт, публицист, литературный критик; почётный академик Императорской Академии наук по Разряду изящной словесности (1900). Стоял у истоков русского «духовного возрождения» начала XX века.



угловатые свои руки; и белые зубы блеснули мне: в оскале без смеха; глаза ж оставались печальны.

В тот же вечер он публично читал; к авансцене из тени – длиннее себя самого, как змея, в сюртуке, палкой ставшая, – с тем передергом улыбки, которую видел я, – он поплыл, прижав руки к бокам, голова – точно на сторону: вот – гортанным, картавым, раздельным фаль-цетто, как бы он отдавал приказ, он прочел стихи, держа руки по швам; и с дерзкою скромностью, точно всадившая жало змея, тотчас же удалился: под аплодисменты.

Яд на публику действовал; действовала интонация голоса, хриплого и небогатого, но вырезающего, как на стали, рельефы; читал декадента, над которым в те дни Москва издевалась, – не свои стихи, а стихи Бальмонта; собравшиеся же демонстрировали: «Браво, Брюсов!» Стало быть: он нравился наперекор сознанию: рассудком ведь ругали его.

В тот вечер он голосом как будто декретировал над головами – его ругавшей Москве...

– «Вот всем говорю: горе вам!»...

Пятого декабря 901 года я встретился с Брюсовым. У меня сидел Петровский, когда я получил листок от О. М. Соловьевой: «У нас – В. Я. Брюсов: ждем вас»; позвонился, входим; и – вижу, за чайным столом – крепкий, скуластый и густобородый брюнет с большим лбом; не то – вид печенега, не то вид татарина, только клокастого (клок стоит рогом): как вылеплен, – черными, белыми пятнами; он поглядел исподлобья на нас с напряженным насупом; и что-то такое высчитывал.

Встал, изогнулся и, быстро подняв свою руку, сперва к груди отдернул ее, потом бросил мне движеньем, рисующим, как карандаш на бумаге, какую-то египетскую арабеску в воздухе; без тряса пожал мою руку, глядя себе в ноги; и так же быстро отдернул к груди; сел и – в скатерть потупившись, ухо вострил, точно перед конторкой, готовясь с карандашом что-то высчитать, точно в эту квартиру пришел он на сделку, но чуть боясь, что хозяева, я и Петровский его объегорим.



Этот оттенок мнительности, недоверия к людям, с которыми впервые вступал он в общение, был так ему свойственен в те годы: он был ведь всеми травим.

Понял: еще не зная меня, но «Симфонию» (писанный текст), о которой дал отзыв он, что она-де «прекрасна», прикидывал мысленно, кто я такой: мистик, скептик, софист, образованный или невежда, маньяк или насмешник, юродивый или кривляка; кем бы я ни был, сумел бы и он постоять за себя; этот тон деловой – понял я – был им выставлен, точно окоп иль конторка.

Помалкивал, слушая, что говорилось, примериваясь и учитывая интонации, вспыхами глаз и пылающе наблюдательностью, на меня обращенной, и этим он точно выхватил воздух из моего горла.

Себе в «Дневниках» записал: «Были два наших студента-декадента: Бугаев, Борис Николаевич (автор «Симфонии»), и... Петровский, чуть-чуть заикающийся» ...

Он прикинулся: точно учитель словесности перед экзаменом, для вида макал усы: в стакан чая и приличия ради поддерживал разговор; я наблюдал его и думал: нет в картавых, поправочных фразах яркости; в вежливой, косо улыбки из хмури – нет шарма; я думал: вот примется он мне развивать впечатление от чтения моей «Симфонии»; а он, не спуская с нас уха (в глаза же не смотрел), мимо нас подавал точно рукой свое слово – М. С; а своей бровью подчеркивал свои смыслы: и трезво, и веско, не без архаизма; как будто он пришел к нам из тридцатых годов прошлого века...

М. С. Соловьев* всем своим видом как бы показывал Брюсову нас: вот-де какие; Брюсов же смычком смышлеватых бровей отвечал:

– «Будет видно: годятся ли!»

Вдруг прытко бублик он выщипнул из хлебной корзинки.

* Соловьёв, Михаил (1862–1903) – педагог, переводчик, сын известного историка С. М. Соловьёва, брат философа В. С. Соловьёва и издатель его сочинений, отец поэта и религиозного деятеля С. М. Соловьёва (младшего). М. С. Соловьёв и его жена художница О. М. Соловьёва (Коваленская) оказали большое влияние на становление писателя и поэта Андрея Белого.



Стало неловко мне с ним: как атакованный! Я даже испытал раздражение: скажи-ка ему про «бледные ноги» его, – пожалуй, еще услышишь:

– «Вы, сударь мой, дичь не порите-ка: Пушкин не так писал: у Боратынского нет этой жалкой бессмыслицы».

Думалось: явно сидит, – как в черной маске, потому что татарин, печенег и учитель словесности – только «маски»: не прост! Исключительный «зверь» – неудобный; его не дразни: под себя подомнет, сев в засаду.

Этот подмин под себя я пронес по годам: взвешенность всех выражений с неявно вплетаемыми комплиментами ставила часто впросак, точно в угол, где мой пулемет от теории знания вовсе не действовал, но где рапира софизма его отовсюду меня щекотала, и точно невидимый шепот я слышал:

– «Борис Николаевич, вы не деритесь со мной: я и так вас щажу: будет плохо!» Еще до обмена словами прошел лейтмотив наших будущих отношений: я, помнится, выказался: нет границы меж здоровьем и меж психозом.

– «Я с вами согласен», – отрезал, не глядя, В. Я.; и тоскливо едва передернулись губы, а зубы блеснули; М. С. перевел разговор на «Симфонию».

– «Ах!» – завозился Брюсов, засунувши руку в карман, и стал обсуждать детали ее печатанья:

– «Мое мнение о книге известно ведь вам», – бросил с досадой он мне, и, не зная я его отзыва, я мог бы подумать, что книга моя ему неприятна.

Потом мы перешли из столовой в кабинет Соловьева; хозяева с А. С. Петровским* пошли к столу; мы же с В. Я. задержались в сенях перед креслом, которое он, на две ножки поставив, раскачивал, поводя туловищем; и вдруг стал узкоплечим каким-то: сюртук как на вешалке; грудка – совсем дощечка; наверное, – ребра пропячены.

Аспид!

И я удивился разительному изменению своего впечатления от вида: его; вокруг как тарантулы прыгали!

* Петровский, Алексей (1881–1958) – один из виднейших и активных членов русского антропософского движения, переводчик.



С ожесточением я что-то доказывал, защищаясь от казавшейся мне ненормальной внезапной живости этой, он откинулся, держа на весу кресло; и вдруг в потолок – дико выорнул:

– «Ах, да зачем с философией вы, когда есть песни и плясти!» – «ка» точно «те» выговаривал он.

И снова выорнул:

– «Когда мгновение принадлежит – мне!» И слушал себя, как песни из... древней эры, в которой, быть может, слова о том, как... дерутся с бронтозаврами.

– «Я захочу, – взвесил кресло, ударил им в пол, – и вот этим вот креслом кому-нибудь череп пробью!» И увиделось просто какое-то «оно», – обезумевшее и заявляющее, что «оно», – приподняв воротник у пальто и надвинув картуз на глаза, – убежит в свои неживые леса...

«Черт дери, – пришибет, чего доброго!» – подумалось мне.

Тут же подумалось:

«Просто он софист и позер!»

– «Нет, мгновение не принадлежит нам, – осмелился я, – допустим, что вы захотите навеки остаться – стоять: здесь. Уйдете все же, потому что вы – гость Соловьевых! А гости – уходят!» Представьте мое изумление, когда, став шестом, передегивая, завопил он:

– «Я, – цап: лапа пала на кресло, – останусь здесь», – кресло пристукнулось.

Бред о извечном стояньи Валерия Брюсова здесь разыгрался в моем воображении: вот – подумалось – все уходят, а Брюсов – стоит: в той же позе за креслом; его Соловьев выгоняет, – стоит: в той же позе за креслом; М. С. Соловьев – раздевается; Брюсов – стоит; спит, а Брюсов – стоит, озаренный луной: в той же позе; врывается Жанна Матвеевна: «Правда ли, что он стоит тут?» Стоит! А Брюсов, тут же, переменив разговор, спрятав «дичь» свою, как платок, в боковой карман, изогнулся передо мной как-то чрезмерно любезно, чрезмерно порывисто:

– «Однако мы – отвлеклись: идемте к хозяевам». И, подойдя к М. С. Соловьеву, с нарочитой невинностью



заговорил о каких-то новых изданиях Пушкина: я ожидал, как он вывернется предо мной, ведь обещал – что – не уйдет отсюда: и я его пересаживал; стало нудно; поднялся – таки я прощаться; тут он вскочил; и с чрезмерною мягкостью как выорнет, не обращаясь ни к кому:

– «Я тем не менее, – с явной угрозой, – удаляюсь!» И – руки по швам, свою голову на сторону, прямо в переднюю; я – за ним; даже не попрощались друг с другом; я думал: и ведь прав он; в миг первого выкрика он издал свой декрет; в миг же второго выкрика – его отменил, потому что – мгновенье, каждое, – принадлежало ему.

«И софистище же», – отдалось где-то во мне.

Проводивши В. Я., мы с Петровским остались у Соловьевых; и я рассказал им свой разговор перед креслом с Брюсовым; М. С. улыбался;

– «Не знал я, какая опасность грозила мне; впрочем, я переменял бы квартиру; с Богдановым, домохозяином, а не со мною бы дело имел он».

На следующий день в той же комнате опять встретились с Брюсовым мы неожиданно для меня – при Мережковских, о чем пишу ниже; тогда же я подошел к Брюсову:

– «Простите, вчера впопыхах я даже не простился с вами».

Он, выпрямясь и наставляясь ноздрею, обдумывал, видно, ответ; с пыхом выдохнул, проворкотавши гортанно-приязненно:

– «Я думал, что – без предрассудков мы будем с вами», – и дернул рукою.

И белые зубы свои показал.

И опять ошарашил меня: без каких предрассудков? Без приличий, цитат, архаизмов, отдавшись песням и пляскам, проткнем кольца в нос и украсимся перьями нового быта, устроивши остров Таити, здесь, в доме Богданова, в квартире номер три?

Такова моя первая встреча с ним.

Еще не знал я: стиль «брёда», как стиль «кулака», – игры, не задевающие его жизни; он ими испытывал нас; раз я его увидал с Добролюбовым, ставшим сектантом и всех называющим братьями; с легкостью Брюсов



отчеканивал на «брат Валерий», к нему обращенное: – «Что, брат Александр?»

Он хотел поиграть и со мной стилем своих «Шедевров»...

Потом сколько раз – Соловьев, Эллис*, я, – собираясь втроем, представляли чудачества Брюсова; и обсуждали: они что такое? Единственное сочетание из высушенного, как гербарийный листик, софизма и бреда пощечиной вlepливалось, и над ней дергал бровью, недоумевая; начав с пустяка, кончал крупной ставкой: на дичь; измерение неизмеримого, точно рисунок (пятнадцатый век): его он показал мне: в нем изображались... пытки.

У Брюсова слово «испытывать» значило часто «пытать»; он до пытки испытывал; но испытания эти терзали его; и отсюда же: непроизводительность мотивов, одетых в сюртук; господин с прирастающей маской к лицу, – таким виделся в эту пору мне Брюсов.

Так: однажды, зайдя с Соловьевым к нему, испугались; осведомившись о делах «Скорпиона», прямой, точно шест, – он свой рот разорвал; бросил руки по швам; и – скартавил с восторгом:

– «Условимся – так: завтра я не иду в «Скорпион», потому что я буду лежать на столе и предам свое тело: и сверлам, и пилам».

Ему предстояла мучительная операция челюсти, после которой долго ходил он с раздутой скулой. Ужаснул меня точностью:

– «Поколотили студентов; а знаете, что на войне?» – ногу на ногу; руки сцепились, схватясь за коленку качавшуюся:

– «Там – прокалывают!»

Став живым, молодым, сиганул он вихром:

– «Представляете, что это значит? Приставленный штык прободает шинель, рвет одежду, которая – разрывается; кожи касается четырехгранная сталь; она прободает: мускул, брюшину; штык – вводится в тело».

* Эллис, Лев (Кобылинский) (1879–1947) – поэт, переводчик, публицист, теоретик символизма, литературный критик, историк литературы.



Так у доски занимается перечислением условий задачи учитель.

Иль – что за логика?

– «Вы вот за свет: против тьмы. А в Писании сказано: свет победит; свет – сильнее; а надо со слабыми быть; почему ж не стоите за тьму и за Гада, которого ввергнут в огонь?.. Гада – жаль: бедный Гад!» Иль, – зачем он прислал мне стихи под заглавием «Бальдеру Локи»? Он в них угрожал мне стрелой; и кончал – восклицаньем:

Сумрак, сумрак – за меня!

Коль – серьезно, зачем язычок третьеклассника, «Вали»? Стихи были присланы сложенной стрелой из бумаги; такие метают учителю: в спину.

В ту же пору, зайдя на журфикс ко мне и увидавши гасильник, с прекрасно разыгранным вздрогом гасильник схватил, повертел; приподняв, над гостями – к настеннику ткнул его, перегибаясь к матери:

– «Вот как? Гасильник... Позвольте мне, Александра Дмитриевна, посмотреть, как действует гасильник?» И, опустивши в стекло, погасивши настенник, с разыгранным смехом он матери бросил:

– «Ну, я – удаляюсь». И – выскочил.

Боркман, борясь с судьбою, за палку хватается: так почему же Валерию Брюсову свет не гасить? Жутковатые игры придумывал; и деловито разыгрывал.

Так: провожая Бальмонта в далекую Мексику, встал он с бокалом вина и, протягивая над столом свою длинную руку, скривясь побледневшим лицом, он с нешуточным блеском в глазах дико выорнул:

– «Пью, чтоб корабль, относящий Бальмонта в Америку, пошел ко дну!» В ту эпоху меж ним и Бальмонтом какая-то черная кошка прошла; шутка злою гримасою выглядела...

Редко смеялся: лишь дергал губами; и зубы показывал; если ж его рассмешить (Эллис мог так смешить), то он, бросивши ногу на ногу, схватясь за колено, вцепившись в колено, над ним изогнувшись и бородою касаясь колена,



краснел не от хохота, а от задоха; и сухо и дико откалывал голосом:

– «Кхо... кхо... кхо... кхо!..»

И тянул, и отталкивал – детским кошмаром, в котором мы оба кричали когда-то; таков стиль знакомства, в котором повинен не я.

Сперва связанный с Брюсовым узами дел, я стараюсь, его избегая, быть светским, почтительным, чувствуя род уважения к этой литой, как из бронзы, фигуре; мой стиль он усваивает; иногда же я чувствую переkreщение наших рапир из-за взрыва сухой его, какой-то дикой сердечности.

Кто он, – защитник или подкарауливатель?

В «Дневниках» он записывает: «Был у меня Бугаев, читал свои стихи, говорил о химии. Это едва ли не интереснейший человек в России. Зрелость и дряхлость ума при странной молодости»...

Стихи его, мне посвященные, – жуть: обещается в них... «мстить кинжалом» мне.

Но он вторгнут в мое бытие метеором упавшим; и я получаю короткие письма: он рад будет видеть тогда-то меня; или: он извещает о том-то и том-то; короткие, четкие, внешние фразы; и тут же сухая соль сведений о Петербурге, о «Новом пути»; в нем зовут-де его секретарствовать; часто предлог для свиданий фиктивен; в нем явно желанье: меня привязать к «Скорпиону», оказывая мне, начинающему литератору, крупную и бескорыстную помощь; в глубинах своих сомнительный еще мне, – внешне он мне повернулся с приязнью; я видел его Калитой, собирателем литературы в борьбе с «ханской ставкой»; в горении объединять, он, наш «мэтр», умывал ноги нам; он сносился с маститостями, усыпляя внимание: перед боем; и все – для того, чтобы нас протолкнуть; я обязан ему всей карьерой своей; я ни разу себя не почувствовал пешкой, не чувствовал «ига» его: только помощь, желанье помочь, облегчить...

Белый – Брюсову.

17 апреля 1903. Москва.

...Христос Воскрес! Завидую вам: теперь в Москве как-то особенно уныло. К яростно напряженной и лихорадочной суетне присоединяется еще и невыносимо гнетущая



астральная атмосфера. Газеты сулят вихрь снегов, летящий на Москву. Быть может, холод освободит Москву от тучи уныния: пришла – уйдет. Лично для меня *все* отягощается еще одним странным обстоятельством: у меня такое чувство, как будто моя личность как бы оторвалась от индивидуальности: она *вернулась, совсем вернулась сюда*, а индивидуальность ушла туда сквозь конец – окончательно. Мне кажется, что «я» еще недавно смотрел отсюда *туда* – бесконечно говорил о «тамошнем» в качестве созерцающего. Теперь произошло обратное. *Оттуда* смотрю я *сюда* и еще умею говорить, как и «они», а они ничего не понимают – думают, что я все тот же. Мне хочется говорить с ними о *внешнем* и молчать о том, что приблизилось; как это трудно: отовсюду обращаются с умными разговорами, когда «оно» – безумная реальность. Они думают – я с ними, но из духа протеста хочется крикнуть: «*Ничего не понимаю*» – огорошить трезвостью тех, кто слишком трезв, чтобы без рассуждений «о» отдаться глубине – уплыть от их рассуждений. Когда к Стеньке Разину пришли, чтобы исполнить приговор, он нарисовал лодочку на стене и, смеясь, сказал, что уплывет в ней из тюрьмы. Глупцы ничего не понимали, а он знал, что делал. Можно всегда быть аргонавтом: можно на заре обрезать солнечные лучи и сшить из них броненосец – броненосец из солнечных струй. Это и будет корабль Арго; он понесется к золотому щиту Вечности – к солнцу – золотому руну...

И вот тот, кто слишком много обсуждает безумную реальность, недостоин приобщиться аргонавтизму – не аргонавт он. Не хочется с ним летать, хочется удивить позитивным: «*Не знаю вас, не понимаю...*»

Он суетлив, мелочей в вопросах «*потустороннего*»... когда там все усмирено и грандиозно. Там нет речей даже о Конце. *Конец* разыгрывается в душе на пути туда, а *Конец мира сего* там вовсе не занимателен, потому что растаял в душе *образ мира сего*.

Как мне странно.

Мне казалось – прежде был «я» и еще какое-то далекое «оно», взламывающее лед поверхности. Теперь «оно» стало «я», а прежнее «я» – бед-дое – оно трепещет на мне, как моя



одежда, терзаемая ветром. Я стал вывернутым наизнанку, но сохранил свои контуры; вот этого-то не замечают знающие меня люди. Если всмотрятся в меня люди, не видящие *Другого*, они к ужасу заметили бы *черный контур*, очерчивающий хаос, – и ничего больше. Но они вообще не пристально смотрят: поэтому они допускают меня.

Странно мне.

Странны и смешны мне слова о двух путях, о раздвоении, о полюсах святости. Так много слов – это едва ли не преподавание... Зачем? Разве нельзя просто, без фанфар, пройти сквозь ворота *Конца* – стать за *Концом*? Зачем в *такой мысли* все эти «культурные, слишком культурные» ужимки? «*Культура – это только тонкая яблочная кожа вокруг бушующего хаоса*», – сказал Ницше. Культура, – прибавлю я, – есть временность, а временность (в каком угодном смысле понимаемая) – только перепонка между двумя безвременьями: хаосом до- и после-временным, расплющивающим время. Время – пористая перегородка, сквозь которую мы процеживаемся, а *сама эта перегородка* (что очень важно) *только поверхностное натяжение двух противоположно заряженных сред*, а не что-либо третье, разделяющее; но и противоположность тоже видимая, заключающаяся в разности направления по существу однородных вибраций. Но и разность направления получается от разности восприятия нами, от разности нашего положения как к одному, так и к другому (в существе все тому же) безвременью. И не в том суть, что два пути – две линии, убегающие в до-временность и в после-временность, равнозначущи (ветхий завет = новому, тело = духу и т. д.), а следовательно обязательны, – дело в том, что оба пути бесконечны и никогда не родиться молнии, пробивающей перегородки (серединности, временности, маленького «я»), ибо перегородка *есть величина мнимая* для тех, кто заглянул *туда*, и фильтрующая перепонка для тех, кто весь обусловлен отношением двух взаимно-противоположных натяжений хаоса – то есть кто позитивен. Это не «*ничто*», задерживающее соединение бездн, это простое отношение двух бездн; бездны несоединимы; каждая ведет к безвременью; *обе вместе – никуда. Серединность – переход*,



в серединное противоположности *даже не смешаны* (не может быть смешанности – смешного). Выход из серединности есть выход *в один из хаосов. Соединения, смешения, синтеза* – игра слов без переживаний, переживания, основанные на оптическом обмане! Все это слишком просто для того, чтобы быть принято всерьез, и лишено Великой Легкой Простоты, убивающей всякую возможность серьезных возражений.

Простите, дорогой Валерий Яковлевич, я пишу таким странным тоном. Мне хотелось бы только сказать одно простое и для меня самое важное: как мне легко и странно!..

Белый. Я сблизжался не с ним, его видя далеким; «далекий» и был настоящим помощником после М. С. Соловьева: в печатаньи книг и в приваживаньи к публицистике; он вырывал из меня, точно с боем, рецензии; в строгом разборе стихов моих чувствовал что-то отеческое; защищая публично, он их разносил у себя на дому, не отнявши надежды; всегда поощрял.

В четко трезвой, практической сфере я чувствовал сердце, огонь бескорыстия; скольких тогда он учил и оказывал гостеприимство, без всякой тенденции: себя подчеркивать; в сущности, был очень скромн, носясь с идеей союза; и только с эстрады показывал «фиги» величия; с нами был равный средь равных; наткнувшись на лень, несерьезность, пустые слова, он вычеркивал, точно из списка живых.

Через несколько лет о нем сеялись слухи: де лезет из кожи ходить императором, травит таланты-де; правда, травил – разгильдяйство и лень, не любя молотьбы языком по соломе; тогда называли нас «псами» его; эти слухи бросались... всеми, кого отвергали «Весь»; должен здесь же сказать: когда поняли мы, что приходит опасный момент, – осознав нужность «шефства», подняли на щит его... но – для других; сознаюсь, щит с тяжелой фигурой этой гнул шею; кряхтели без ропота, даже с любовью.

Он, некогда поднятый нами на щит, был внимателен с нами, порою до... нежности; он не держался «редактором»: не штамповал, не приказывал, – лишь добивался советом того или этого: он обегал со-бойцов, чтобы в личной,



порою упорной беседе добиться от нас – того, этого: мягкими просьбами; если ж ему отдавали мы честь пред другими, так это – поволенная нами тактика.

Я оговариваюсь: славолюбие и властолюбие жили в нем; но он диктаторствовал, так сказать, в покоренных провинциях... в своей метрополии, в центре дружеского кружка, он держался, как республиканец с бойцами, которым помог в свое время; мы помнили это: и были верны ему; если же «псами» казались другим, то, – по правде сказать, «пес» всегда симпатичней «осла», добывающего одряхлевшего льва своим черствым копытом; уже с 1907 года такие «ослы» появились.

Мы ж видели роль его – организатора литературы; с 902 года всерьез зазвучала роль эта; так-то я, не сближаясь, скорее отталкиваясь, был им вобран и утилизирован; я не раскаиваюсь: благородно он утилизировал, дав дисциплину рабочую, выправку, стойкость...

Белый – Брюсову. 6 июля 1903. Серебряный Колодезь.

...Вследствие кончины моего отца некоторые планы, которые я имел в виду, изменились. Изменилось и мое материальное положение. По крайней мере, на несколько лет я обязан сам зарабатывать для себя средства к существованию. Так как получить место преподавателя в Москве очень трудно, а сразу и невозможно, а в акциз идти (куда попадают почти все естественники, не знаю – почему) как-то... больно (хочется пока повременить), я не знаю, что мне делать. Единственно, что я мог бы делать, это писать в газетах, но писать в тех газетах, где сперва вас оболют помоями грязи, для меня немислимо, несовместимо с моим достоинством...

Время провожу очень скучно. Какое-то опустошенное настроение и некоторая расшатанность здоровья вследствие кончины отца, экзаменов и некоторых личных разочарований не покидают меня... Какое-то тяжелое похмелье. Писать ничего не могу. Думать тоже. В погоне за средствами строю различные фантастические проекты, вроде чтения публичных лекций по разным городам России и т. д. Жду, что астральная атмосфера прочистится или по



крайней мере резко определится ко времени открытия мощей Серафима. Мне все кажется – произойдет нечто, ускользящее события либо в дурную, либо в хорошую сторону...

Брюсов – Белому. После 1 августа 1903. Старое Село.

...Я не представляю себе вас «литератором». «Скорпион», «Новый путь», «Мир искусства» это ведь не литература, в том смысле, как сказал Верлен, – *et tout le reste est litterature* (все прочее – литература – *фр.*), т. е. тот «Скорпион» и тот «Новый путь» и тот «Мир искусства», к которому вы можете и будете иметь отношение. Здесь есть дело, но нет «работы» и нет «профессии». *Scriber ut edas* (писать, чтобы есть – *лат.*), вы сами знаете, мучительно... Неужели вы себе хотите чего-либо подобного? Мне за вас страшно. Я слишком верю в вас. Что до меня, например, я могу писать и в «Пути» и в «Архиве» и даже «бог знает» где, как могу целовать всех женщин и не женщин, могу доходить до последних пределов позорного. Вы этого не можете. И конечно, в этом-то все ваше безмерное преимущество надо всеми нами. Все входит в вашу душу до самого ее дна. У нас есть временные слова, которые мы забываем. Вы говорите только вечные слова, только слова навеки. Нет, вам нельзя быть литератором. Что же вам делать? – Не знаю...

Белый – Брюсову. 9 августа 1903. Серебряный Колодезь.

...Думаю остаться здесь до конца сентября, а засим двинуться в Саров. Все больше и больше внутренних нитей связывают меня с этим предапокалипсическим местом. Тем более, что пока это единственно придуманное мной дело среди разнообразных нелепостей, которые мне, очевидно, суждены в жизни. Для того дела, которое мне представляется серьезным и нужным – делом окончательности – переходением черты мира, – для этого дела я не приготовлен. А то бы мне следовало удалиться в пустыню. Но я сам знаю, что для меня еще не настала пора. Все же остальное – до нелепости не по мне. Между прочим, и официальное занятие поэзией и литературой, для которых у меня нет ни выдержки, ни подготовки. И это не потому, что я мню о себе. Просто я человек, чуждый все-



му этому, как-то случайно начавший писать. Вероятно, и в будущем, если мне не выпадет места преподавателя, или мало-мальски сносных уроков, пока придется пополнять кадры «бездельников», «хулиганов»... Вот почему для видимости дела я хочу прочесть лекцию (одну или две) об изменившемся сознании человечества – ну, конечно, только дидактического характера и достаточно внешние. Надо же все-таки кричать, чтобы хоть кто-нибудь шел – переходил. Иначе к чему же двигаться путем слова: достаточно *удалиться, уйти*, а *удаление совсем* предполагает в человеке сверхчеловека. Ну как, *уйдя*, поймешь, что слишком рано ушел и – о ужас и срыв – потянет назад. Тогда – *все кончено в этой жизни*... Вот почему меня всегда притягивает известное преподавание первых ступеней, тем более что это все-таки призрак *дела*. Кричать, бунтовать, бесноваться, юродствовать во Христе ведь позволено. Кричать, бунтовать, бесноваться о Вечности – тоже.

Настоящее дело (я твердо уверен в этом) должно начаться с упорной, долгой, вечной молитвы. Только она зажжет пожар. Только она выбросит пламя. Только в ней истинный восторг. Это – путь из мира, во все времена ведущий и приводящий к Концу; это – путь, которым, быть может, удастся и для других вскрыть конец. Это – единственное дело, а всякие «*новые пути*» – фикция, трафарет...

Белый. О нежной сердечности и не мечтал, одиноко замкнувшись в мирах своих странных, где бред клокотал еще; видя, что Блок, Мережковские перевлекают меня, от меня добивался лишь связи рабочей, которую я потом, разуверившись в Блоке, весьма оценил.

Деликатно в те годы ко мне подходил; помню, как мне на фразу показывал, не обижаясь шаржем:

– «Борис Николаич, стоит тут у вас – «Флюсов, Бромелий», – совал карандаш в корректуру, – поставим-ка «Брюсов, Валерий», – показывал зубы; и ждал резолюции, но карандаш свой приставил к «Бромелий».

– «Ну, пусть!» Слова – вылетели. Добивался от меня рецензий.

– «Да я ж не умею рецензий писать: никогда не писал».



– «Ну, а что вы о Гамсуне думаете?» Я – высказываю.
– «Вот и готова рецензия: вы запишите лишь то, что сказали сейчас».

Или: зная, что я проходил физиологию:

– «Вот, напишите об этой никчемнейшей книге».

– «Я же не психиатр!»

– «Вы – биолог: физиологически же автор трактует проблему; он – неуч; наверно, его вы поймаете».

Таки добился... и потирал руки Брюсов: пошляк из «Кружка» декадентским журналом с поличным пойман; позднее увидев, что я роюсь в социологической литературе, он сдался на мою просьбу, напоминающую каприз: давать рецензии на печатающиеся брошюры социал-демократов, социалистов-революционеров и анархистов; «Весам», журналу искусств, эти рецензии не подходили: по стилю; он тем не менее мне уступил; и я, несмотря на свою социологическую малограмотность, писал эти рецензии. Так он уступил мне, считаясь с прихотью, чтобы не оторвать меня от «Весов». Так он уступил многим...

Мне открывалась остервенелая трудоспособность Валерия Брюсова, весьма восхищавшая; как ни был близок мне Блок, – я «рабочего» от символизма не видел в нем; Блок сибаритствовал; Брюсов – трудился до пота, сносясь с редакциями Польши, Бельгии, Франции, Греции, варясь в полемике с русской прессой, со всей; обегал типографии и принимал в «Скорпионе», чтоб... Блок мог печататься.

Был поэтичен рабочий в нем; трудолюбив был поэт.

Я, бывало, звонюсь в «Скорпион», вылетает и быстрый и прыткий, немного усталый, как встрепанный, Брюсов; черной, капризной морщиною слушает; губы напучены; вдруг, оборвав меня, с детской улыбкою зубы покажет:

– «Рецензия, – как?.. А!.. Чудесно».

И локтем склоняется на телефонный прибор; затрескочет и ждет; ты молчишь, оборвав объяснение; в наполненном этом молчании кажешься глупым; убийственна трезвость поэта «безумий»; и – главное: ты говорил «про свое»; он тебя оборвал, хлопоча о «чужой», не своей корректуре;



и утром и днем – ее правит, с ней бегаёт; где ж «свое»? Оно – бормотание строк в мельк снежинок меж двух типографий иль на мгновенье прислон к фонарю; шуба – истерзана; пук корректурный торчит из нее.

Таким у типографии Воронова его видел не раз; он обалдевал, выборматывая между двух типографий свой стих, – в миг единственный, отданный творчеству, в дне, полном «дела», чтоб... я, Блок, Бальмонт, Сологуб в «Скорпионе» могли бы печататься.

Делалось стыдно за ропот свой перед «педантом», сухим и придирчивым, каким иногда он казался.

«Трр-рр-рр» – телефонный звонок; и – прыжок к телефону:

– «Да!.. Книгоиздательство... Да, да... Чудесно!»

Прижавши к скуластому, бледному очень лицу телефонную трубку, он слушает, губы напучивши; трубку бросит: и –

– «К вашим услугам!»

«К услугам» – не нравилось; а – что ж иное? Отчеты, петицы, чужие статьи, корректуры, чужие; их сам развезет, потолкует: со «шпонами» или без «шпон».

– «Что вы думаете о ...?»

– «Точней выражайтесь: даю пять минут», – говорит пересупленным лбом, отвернувшись, – уродливый, дико угластый татарин-кулак; вдруг пантерю черной красиво выигрывает.

Во всем, неизменно – поэт!

Вместе с тем: никогда не вникал в становление мысли моей: результат ее, точно отчет, подытоживал, грубо порой тыкнув пальцем:

– «Не сходится здесь!»

Но порою лицо утомленное грустно ласкало:

– «Сам знаю... Да – некогда... Вы не сердитесь...

Тут в редакции – рой посетителей... Я ж – один».

Иногда, перепутавши несколько мысленных ходов, откидывался и хватался за лоб, растирая его:

– «Пару слов: о делах», – из кармана тащил корректуру.

Порой из редакции вместе бежали: не шел он, а неся и тростью вертел:

– «Вы куда?.. На Арбат... И я – с вами: к Бальмонту».



И молодо так озирался; ноздрями широкими воздух вбирал, бросаясь под локоть рукой, точно с места срывал; припадая к плечу, он плечо перетапливал:

– «Какого мнения, – пляшет, бывало, борода, – вы о математике? – «ти» вместо «ки», – я люблю математику!» Нежно, воркующе произносил он:

– «Измерить, исчислить!» И падал, как на голову:

– «А вы как полагаете, – Христос пришел для планеты или для вселенной?» В ответ на теорию – практикой, понятой узко: под ноги; ширяний идей – не любил, а любил – поправки на факты; поправкой указывал; и, насладясь неотчетом (смутил-таки!), делался грустным: что толку? Томился своей отделенностью.

В. Я. импонировал: невероятной своей деловитостью, лесом цитат, поправляющих мнение; чрезмерная точность его удручала; казалось, что аппаратом и мысль зарезал он в себе; и – давал волю софистике; слабость из силы сознав и сознав силу слабости, не посягал на теорию он символизма, нам с Эллисом предоставляя ее платформировать.

Помню: «Кружок»; К. Бальмонт произносит какие-то пышные дерзости: его едят поедом; попросил слова Брюсов; возвысился черной его силуэт; ухватятся рукою за стуло, другой с карандашиком, воздух накальвая, заодно проколол оппонента Бальмонта:

– «Вы вот говорите, – с галантностью дьявола, дрезжа фальцетто, – что, – изгиб, накол, – Шарль Бодлер... – дерг бровей. – Между тем, – рот кривился в ладонь подлетевшую, будто с ладони цитаты он считывал, – мы у Бодлера читаем...» И зала дрожала от злости: нельзя опровергнуть его!..

Из сочетания тактик он производил... просто падежи в стане наших врагов; «стан» через несколько лет превратился в постыдное переселенье: из лагеря Пыпина в ставку Валерия Брюсова; но и «кадеты», которых «ловкач» объегоривал, «переегорили» временно Брюсова, заставив его ехать на фронт корреспондентом военным.

Он этим в себе самом вырастил правый уклон; незаметно «пародия» стала высказываньем, убежденьем почти; он как бы ставил цель: «Ну-ка, дерну по Пыпину: думаете, не смею? А – вот вам».



Но в первых годах настоящего века такое умение действовать с тыла – расчистило путь: ему, нам.

Педагог!

Скоро я на себе испытал его тактику; взявши стихи в альманах, склонив сборник стихов подготовить к печати, дав лестную характеристику их, вскружив голову, он пригласил меня на дом и вынес стихи, уже принятые; не забуду я того дня: от стихов – ничего не осталось.

Схватив мою рукопись цепкими пальцами, выгнувши спину над ней (нога на ногу), оцепенев, точно строчки глазами он пил, губы пуча, лоб морща, клоком перетрясывая, стервенился от выпитого, дрянь вкусив:

– «Ха... «Лазурный» и «бурный» – банально, использовано; «лавр лепечет» – какой, спрошу я, не лепечет?» Откинулся, шваркнувши рукопись, сблизивши локти, расставивши кисти, рисуя углы:

– «Дайте лепет без «лепет», заезженной пошлости; «лепет» – у Фета, Тургенева, Пушкина. Первый сказавший «деревья лепечут» был гений; эпитет – живет, выдыхается, вновь воскресает; у вас же тут – жалкий повтор; он – отказ от работы над словом: стыдитесь!» Кидался на рукопись: тыкать и комкать, кричать на нее:

– «Нет – «лепечущих лавров... кентавров»... В стихотворении у Алексея Толстого опять-таки: «лавры-кентавры»; но сказано – как? «Буро-пегие»!.. Великолепно: кентавр буро-пегий, как лошадь... он пахнет: навозом и потом».

Сжимы плечей, скос бородки над переплетенными крепко руками, – с ужасной скукою:

– «Да и кентавр этот ваш – аллегория, взятая у Франца Штука, дрянного художника... Слабое стихотворение о слабом художнике!» – проворкотал он обиженно.

Я был добит.

Так, пройдясь по стихам, уже принятым им в альманах, он их мне разорвал... в альманахе.

– «Зачем же вы приняли?»

Фырк, дерг, вскид руки; вновь зажим на коленях их с недоумением, значащим: «Сам я не знаю»; и вдруг – алогически, детски-пленительно:



– «Все-таки... стихи хорошие... Ни у кого ведь не встретишь про гнома, что щеки худые надул; и потом: странный ритм».

Я понял: пропасть меж собственным ритмом и техникой; осозналися: проблемы сцепления слов, звуков, рифм.

Его длинные руки выхватывали с полок классиков, чтоб стало ясно, как «надо»: на Тютчеве, на Боратынском; сперва показал, как «не надо»: на Белом.

Бескорыстный советчик и практик, В. Я. расточал свои опыты, время юнцам с победительной щедростью.

Как он прекрасно читал своих классиков с глазу на глаз, как бы весь перечерчиваясь и бледнея, теряя рельеф, становясь черно-белым рисунком на плоскости белой стены; очень выпуклый, очень трехмерный, рельефный в другие минуты, он в миг напряженнейшего пропускания строк через себя перед выкриком их точно третье терял измерение, делаясь плоскостью, переливаясь в передаваемый стих; звук, скульптурясь, отяжелевая рельефами, ставился великолепно изваянной бронзой, которую можно и зреть и ощупывать.

Помнились жесты руки, подающей открытую книгу на стол.

Мощь внушенья красот – в долгой паузе перед подачею слова; в ней слышались действие лепки рельефов, усилия слуха и произношения внутреннего; так он, вылепив строчку, вlepлял ее: голосом.

Себя читал, декламируя горько, надтреснуто, хрипло, гортанно, как клекот орла, превращающийся в клекотание до... воркования...

Но Брюсов не был эстрадным чтецом, а чтецом-педагогом, вскрывающим форму, доселе заклепанную; завозясь молотками, ударами голоса, сверлами глаз и клещами зубов, как выкусывающих из заклепанной формы железные гвозди, он нам вынимал стих Некрасова, Пушкина, Тютчева иль Боратынского, прочно вставляя в сознание его; так разбором стихов он, смертельно ранив «поэта» во мне, мне расклепал Боратынского: этот день был событием; я, им ободранный, не унывал; уничтожив плохую продукцию, он показал на матерого «зверя» – на стих: как его надо холить...



Брюсов был чутким директором в первой им созданной школе: до всех «стихovedческих» опытов школа была без устава; но списочек слушателей где-то был у него; в нем он делал отметки, включая иных и вычеркивая нерадивых...

Все сплетни о его гнеде, давящем таланты, – пустейшая гиль, возведенная на него.

Помнится белый домик на Цветном; синий номер: «дом Брюсовых»; здесь я бывал у него; я не помню убранства и цветов; мне бросались в глаза: чистота, строгость, точный порядок; стояли все лишь необходимые вещи; в столовой, малюсенькой, – белые стены, стол, стулья; и – только; в смежной комнате, вблизи передней (с дверями в столовую и в кабинетик) – седалища: здесь ждали Брюсова; стол, за которым работают, синенький, малый диванчик, и – полки, и полки, и полки, набитые книгой, – его кабинетик.

Квартирка доричная, тихая, виделась – черным на белом; ее обитатели – острые, быстрые, дельные и небольшого росточку фигурки, с сарказмом, с умом; никаких туалетов, ничего от декоративных панно, от волос на ушах или жестов, с которыми дамы и снобы ходили за Брюсовым; умная, в черном, простом, не от легкости, а от взбодренности, смехом встречающая Иоанна Матвеевна, жена: энергичная, прыткая, маленькая; чуть «надсмешница», ее сестра, Бронислава Матвеевна; преюркая ящерка, с выпуклым лбом, с быстрым выстрелом глаз, черных, умных, сестра Брюсова, – музыкантша, теории строящая; ее дружба ко мне заключалась в том, что, сев рядом, гортанным фальцетто нацеливалась в слабый пункт моих слов; всадив жало, блистала глазами; В. Я. определил раз в игре ее: «Ты – землероечка: малый зверок». Зарывалась она в подноготную; являлся за чайным столом Саша Брюсов, еще гимназист, но тоже «поэт»... едкий, как брат, супясь, как петушок, говорил брату едкости; брат, не сердясь, отвечал.

Иногда мне казалось, что в этой квартирке все заняты сухо игривым подколом друг друга; здесь каждый за чайным столом, софизм выдвинув, им поколов, удаляется, супясь, работать. Семейство сходилось: на колкостях.

Гостеприимный хозяин являлся за стол из редакции; но вскоре же быстро бежал: в кабинетик; и, без приглашения



зайдя, – разве походя с ним перекинешься словом; и будешь сидеть: с Иоанной Матвеевной, с Надеждою Яковлевной.

Впрочем, бывали часы и для «родственников»; раз, зайдя, я увидел закрытую дверь; Иоанна Матвеевна сказала:

– «Валерия Яковлевича – не извлечь: он винтит в эти дни и часы: с отцом, с матерью».

Родственный «винт» (от сего до сего) – дань: семейным пенатам.

В среду вечером (перечень «сред», отпечатанный, нам рассылался в начале сезона: со списочком чисел) являлся кружок из любителей литературы, к которому присоединялись брусисты, «свои», те, которых он силился в партию вымуштровать.

Разговор – острый, но деловой; – треск цитат и сентенций (как надо писать) вперемежку с софизмами; попав сюда, я дивился отчеркнутости интересов; Д. С. Мережковский с «идеями» – был отстранен.

Шири идеологий сознательно были Валерием Брюсовым вынесены из квартирки, которая – класс иль – ячейка «Весов» – «Скорпиона»; и, когда начинались вопросы «не только» о том, как писать, им чертилась отчетливо демаркационная линия: об этом можно беседовать, о том – не стоит.

Когда я являлся сюда, то В. Я. бросом рук и подставом любезнейшим стула под ноги как бы предупреждал очень строго:

– «Беседа уже начата; и ширянья – откладываются!» «Ширянья» им выносились из «сред» – в разговоры вдвоем: у меня, на прогулке.

Что-то строго спартанское: дух Диониса отсутствовал; узкая сфера вопросов, дающая много, порой скучноватая, когда ты был неприлежен; класс – с контролем, с экзаменами; у меня и в «Дону» мы ширяли идеями, а отдыхали, резвясь, у Владимировых.

Здесь – учились мы.

Здесь же встречался впервые с небольшим кружком образованных очень людей...

Здесь Брюсов мне виделся очень покинутым; он, как учитель словесности, был отделен от юнцов и от сверстни-



ков; больше сливался тогда он со старшими из «Скорпиона», на почве лишь дела.

Таким был в эпоху начала знакомства со мной...

Я был подавлен уже ограниченностью кругозора, дешевкою, позою, мелкокультурностью той молодежи, с которой встречался у Брюсова... Ходили они в символистах... Было много таких... увиденный выводок Брюсова сильно меня удручал; ощущалась черта между пухнувшей вокруг «Скорпиона» средой и самим «Скорпионом», среда была только реакцией на улюлюканье прессы; надень желтый фрак и пройдишь по бульвару, – об этом появится: завтра; глядишь, послезавтра: расхаживают – фраки желтые; Брюсов – так как же: Койранские, Рославлев!

Но к чести Брюсова – он ужаснулся явлению своих «двойников»; и когда появился присяжный поверенный С. Соколов, поэт тоже, с желаньем печатать себя и жену под одною обложкой с Бальмонтом и Брюсовым, и достал деньги на книгоиздательство «Гриф», то с чертовской поспешностью Брюсов ему поспешил сбить всех «брюсиков»; и они стали «грифятами»; я, к сожаленью, не понял игр Брюсова и Соколова; я, запутавшись в «Грифе», втянул туда Блока.

И я был наказан: жестоко.

Весной 903-го «грифы» ползали маленькими «скорпиониками»...

Ходасевич. Да, здесь жили особой жизнью, непохожей на ее (Петровской. – *И. Т.*) прошлую. Может быть, и вообще ни на что больше не похожей. Здесь пытались претворить искусство в действительность, а действительность в искусство. События жизненные, в связи с неясностью, шаткостью линий, которыми для этих людей очерчивалась реальность, никогда не переживались как только и просто жизненные; они тотчас становились частью внутреннего мира и частью творчества. Обратное: написанное кем бы то ни было становилось реальным, жизненным событием для всех. Таким образом, и действительность, и литература создавались как бы общими, порою враждующими, но и во вражде соединенными силами всех, попавших в эту необычайную жизнь,



в это «символическое измерение». То был, кажется, подлинный случай коллективного творчества.

Жили в неистовом напряжении, в вечном возбуждении, в обостренности, в лихорадке. Жили разом в нескольких планах. В конце концов, были сложнее запутаны в общую сеть любвей и ненавистей, личных и литературных. Вскоре Нина Петровская сделалась одним из центральных узлов, одною из главных петель той сети.

Не мог бы я, как полагается мемуаристу, «очертить ее природный характер». Блок, приезжавший в 1904 году знакомиться с московскими символистами, писал о ней своей матери: «Очень мила, довольно умная». Такие определения ничего не покрывают. Нину Петровскую я знал двадцать шесть лет, видел доброй и злой, податливой и упрямой, трусливой и смелой, послушной и своевольной, правдивой и лживой. Одно было неизменно: и в доброте, и в злобе, и в правде, и во лжи – всегда, во всем хотела она доходить до конца, до предела, до полноты, и от других требовала того же. «Все или ничего» могло быть ее девизом. Это ее и сгубило. Но это в ней не само собой зародилось, а было привито эпохой.

О попытке слить воедино жизнь и творчество я говорил выше как о правде символизма. Эта правда за ним и останется, хотя она не ему одному принадлежит. Это – вечная правда, символизмом только наиболее глубоко и ярко пережитая. Но из нее же возникло и великое заблуждение символизма, его смертный грех. Провозгласив культ личности, символизм не поставил перед нею никаких задач, кроме «саморазвития». Он требовал, чтобы это развитие совершалось; но как, во имя чего и в каком направлении – он не предугадывал, предугадывать не хотел, да и не умел. От каждого, вступавшего в орден (а символизм в известном смысле был орденом), требовалось лишь непрерывное горение, движение – безразлично во имя чего. Все пути были открыты с одной лишь обязанностью – идти как можно быстрее и как можно дальше. Это был единственный, основной догмат. Можно было прославлять и Бога, и Дьявола. Разрешалось быть одержимым чем угодно: требовалась лишь полнота одержимости.



Отсюда: лихорадочная погоня за эмоциями, безразлично за какими. Все «переживания» почитались благом, лишь бы их было много и они были сильны. В свою очередь, отсюда вытекало безразличное отношение к их последовательности и целесообразности. «Личность» становилась копилкой переживаний, мешком, куда ссыпались накопленные без разбора эмоции – «миги», по выражению Брюсова: «Берем мы миги, их губя».

Глубочайшая опустошенность оказывалась последним следствием этого эмоционального скопидомства. Скупые рыцари символизма умирали от духовного голода – на мешках накопленных «переживаний». Но это было именно последнее следствие. Ближайшим, давшим себя знать очень давно, почти сразу же, было нечто иное: непрестанное стремление перестраивать мысль, жизнь, отношения, самый даже обиход свой по императиву очередного «переживания» влекло символистов к непрестанному актерству перед самими собой – к разыгрыванию собственной жизни как бы на театре жгучих импровизаций. Знали, что играют, – но игра становилась жизнью. Расплаты были не театральные. «Истекаю клюквенным соком!» – кричал блоковский паяц. Но клюквенный сок иногда оказывался настоящей кровью.

Декадентство, упадочничество – понятие относительное: упадок определяется отношением к первоначальной высоте. Поэтому в применении к искусству ранних символистов термин декадентство был бессмыслен: это искусство само по себе никаким упадком по отношению к прошлому не было. Но те грехи, которые выросли и развились внутри самого символизма, – были по отношению к нему декадентством, упадком. Символизм, кажется, родился с этой отравой в крови. В разной степени она бродила во всех людях символизма. В известной степени (или в известную пору) каждый был декадентом. Нина Петровская (и не она одна) из символизма восприняла только его декадентство. Жизнь свою она сразу захотела сыграть – и в этом, по существу ложном, задании осталась правдивою, честною до конца. Она была истинной жертвою декадентства.



Любовь открывала для символиста или декадента прямой и кратчайший доступ к неиссякаемому кладезю эмоций. Достаточно было быть влюбленным – и человек становился обеспечен всеми предметами первой лирической необходимости: Страстью, Отчаянием, Ликованием, Безумием, Пороком, Грехом, Ненавистью и т. д. Поэтому все и всегда были влюблены: если не в самом деле, то хоть уверяли себя, будто влюблены; малейшую искорку чего-то похожего на любовь раздували изо всех сил. Недаром воспевались даже такие вещи, как «любовь к любви».

Подлинное чувство имеет степени от любви навсегда до мимолетного увлечения. Символистам самое понятие «увлечения» было противно. Из каждой любви они обязаны были извлекать максимум эмоциональных возможностей. Каждая должна была, по их нравственно-эстетическому кодексу, быть роковой, вечной. Они во всем искали превосходных степеней. Если не удавалось сделать любовь «вечной» – можно было разлюбить. Но каждое разлюбление и новое влюбление должны были сопровождаться глубочайшими потрясениями, внутренними трагедиями и даже перекраской всего мироощущения. В сущности, для того все и делалось.

Любовь и все производные от нее эмоции должны были переживаться в предельной напряженности и полноте, без оттенков и случайных примесей, без ненавистных психологизмов. Символисты хотели питаться крепчайшими эссенциями чувств. Настоящее чувство лично, конкретно, неповторимо. Выдуманное или взвинченное лишено этих качеств. Оно превращается в собственную абстракцию, в идею о чувстве. Потому-то оно и писалось так часто с заглавных букв...

Нина. Очень трудно человеку стать однажды большим, еще больше того быть большим всегда, но прожить жизнь маленьким – ничего не стоит. В минуты обостренной внутренней раздвоенности мучила меня случайность, приблизительность, ничем не оправданная ненужность изживаемой жизни. Тогда только шуршали в руках страницы



обещающих книг, и может быть, еще смутно, но уже зревали идеи подлинной жизни, – любви, подвига, смерти. А обывательски-комнатное брало свое, сонно укачивало, влекло по инерции, – конечно, не вперед, а в постоянные «куда-то» с маскарадными переодеваниями.

Театры, улицы, карты, сиденье за столами, ломящиеся от еды, которой и есть-то никому не хотелось, ликеры, вина, фрукты, цветы, сборища нарядных и тщательно замаскированных людей. Полу-мысли, полу-слова, получувства, – вся эта разукрашенная на краю бездны пошлость тогдашней русской жизни являлась базисом не только одного моего существования.

Но не пойму я теперь, как среди всего этого бездарного времяпрепровождения интеллигентских кругов встретились, – нашли друг друга мы, действительно жаждущие друг друга!

Проследить шаг за шагом, как это произошло, – я теперь не сумею, но где-то, и часто в самых неожиданных местах, стали встречаться «величины» мало объясненные, или совсем не принятые издательством «Скорпион»...

С. Кречетов*, будущий редактор и-ва «Гриф», очевидно, влек их импонирующей внешностью, любовью к пышным фразам, умением при случае блеснуть ораторскими способностями и, вообще, явной своей приверженностью к так называемому «декадентству». Это слово вошло тогда в употребление повсюду, судилось вкривь и вкось и одним своим боком даже въезжало в улично-популярное нищестество, но у Кречетова оказался соперник, – не помню его фамилии, – какой-то прыщеватый молодой человек в фантастическом ярком галстуке. Он претендовал на редакторский трон в намечающемся журнале, где должны были процвести непризнанные и полупризнанные таланты, и вел себя крайне развязно.

Но будущему издателю «Грифа» не пришлось прикладывать никаких усилий, чтобы прыщеватый молодой человек провалился в люк, как театральный призрак, с толпой вознегодовавших гимназистов. Название журнала «Маяк»,

* Кречетов, Сергей (настоящая фамилия Соколов; 1878–1936) – литератор, поэт, владелец книгоиздательства «Гриф». Муж Нины Петровской.



предложенное им, было осмеяно, а избранники перебрались к нам и плотно осели в гостеприимных башнях на Знаменке.

Магически испарились офицеры, адвокаты и прокуроры с их дамами (они распустили потом о нас по Москве самые двусмысленные слухи, поговаривали о черных мессах, афинских ночах, о каких-то «ритуальных празднествах». Одна актриса и фарс, знакомая мужа, умоляла его: «Пустите посмотреть хоть разочек, я буду делать, что все, и никому не расскажу!»).

У С. Кречетова, кроме всех указанных его преимуществ, было одно и главное: не считая подмосковного «уголья», 40 тысяч рублей остались после продажи владимирского имения и ждали наилучшего употребления.

Наступило очень веселое время. Эстетствующее полубарство удачно и довольно красиво задрапировалось в потертый плащ литературной богемы. Творческий энтузиазм тех лет, где бы и как бы он ни проявлялся – первые шаги к прочной славе деятелей, заложивших основание последующей культуры, – зачатие подлинного европейства в искусстве, которым главным образом мы обязаны В. Брюсову, – конечно все это останется одной из сильнейших и красивейших страниц нашей литературной Истории. И если я позволяю себе говорить о к-ве «Гриф» иногда в тоне добродушно юмористическом, то только потому, что оно, в частности, никаких новых течений не выявило, своего слова не сказало, а так и осталось эстетически-барственой затеей в духе времени, стучанием в открытые уже двери. «Бросить перчатку» Брюсову было, конечно, намерением очень по тем временам воинственным, но это сделать издатель «Грифа» мог, только подняв свое собственное знамя с начертанным новым лозунгом, пусть безумным, но новым. И так решено было на общем собрании основать не журнал, а издательство, серия которого открывалась бы Альманахом.

«Маяк» был осмеян, но как же его назвать? Какое-то крылатое, лапчатое, когтистое чудовище возникло в коллективном воображении. Ну «Гриф»! Конечно, «Гриф»... Требовался «премьер», хоть один из трех китов для фундамента.



Уже ходили слухи, что В. Брюсов к нам относится насмешливо, даже недоброжелательно, а сотрудники «Знания», кроме Л. Андреева* и Б. Зайцева**, нарушили бы совершенно программу.

Зайцев, несмотря на личную дружбу, при первом же намеке отказался наотрез, а Андреев, – если бы даже дал вещицу величиной с куриный нос, медвежьей лапой своей задавил бы остальных. Да и нужен был премьер-поэт, а не прозаик. Оставалось надеяться только на Бальмонта. Причудливый капризник, самодержавно разрешающий все идейные и практические затруднения, органический житель вершин и потому не подчиняющийся никаким декретам с «Олимпа», – почему он откажется выступить в приятной роли «мэтра»? Гриф его наметил и скоро взял «мертвой хваткой». Но все же некоторое время нам пришлось потоптаться как стаду без вожака.

На Знаменке читалось много стихов, выпивалось много вина. Весь дом, что называется, «встал вверх дном». Соседи жаловались домохозяину на вечный ночной шум...

Ходасевич. Первым влюбился в нее поэт (Бальмонт – И. Т.), влюблявшийся просто во всех без изъятия. Он предложил ей любовь стремительную и испепеляющую. Отказаться было никак невозможно: тут действовало и польщенное самолюбие (поэт становился знаменитостью), и страх оказаться провинциалкой, и главное – уже воспринятое учение о «мигах». Пора было начать «переживать». Она уверила себя, что тоже влюблена. Первый роман сверкнул и погас, оставив в ее душе неприятный осадок – нечто вроде похмелья. Нина решила «очистить душу», в самом деле несколько уже оскверненную поэтовым «оргиазмом». Она отреклась от «Греха», облачилась в черное платье, каялась. В сущности, каяться следовало. Но это было более «переживанием покаяния», чем покаянием подлинным...

* Андреев, Леонид (1871–1919) – русский писатель. Представитель Серебряного века русской литературы. Считается родоначальником русского экспрессионизма.

** Зайцев, Борис (1881–1972) – русский писатель и переводчик, одна из последних крупных фигур «Серебряного века».



Нина. С. Кречетов познакомился с Бальмонтом на каком-то вечере в Литературно-Художественном кружке. В передаче впечатлений вообще очень сдержанный, на мою просьбу рассказать, какой Бальмонт, только буркнул: «Увидишь сама. Он скоро придет». Ожидала я этой встречи с благоговейным трепетом. И вот однажды часа в три предвесеннего дня раздался очень нетерпеливый, тревожный, совсем необычный звонок. Невысокий господин, с острой рыжей бородкой и незначительным лицом, не похожий на портрет Бальмонта, показался мне совсем незнакомым. «Я Бальмонт!» – сказал он и быстро сбросил пальто. Верно, растерянно потопталась я в прихожей, прежде чем догадалась пригласить гостя в кабинет.

Он вошел, беглым прищуренным взглядом скользнул по стенам, потом, оглядев меня с головы до ног, сказал:

«Вы мне нравитесь, я хочу Вам читать стихи. Только постойте»...

Он стоял посреди комнаты точь-в-точь в той же позе, как на ехидном портрете Серова, краснея рубиновым кончиком носа, вызываяще выдвинув нижнюю губу, бурявя блестящими зелеными остриями маленьких глазок. Петух или попугай.

«Спустите шторы... зажгите лампу...»

Спустила, зажгла.

«Теперь принесите коньяку...»

Принесла.

«Теперь закройте дверь».

Не заперла, но плотно затворила,

«Теперь... (он сел в кресло) встаньте на колени и слушайте»...

Я двигалась совершенно под гипнозом. Было странно, чего-то даже стыдно, но встала и на колени.

В первый раз в его чтении зазвучали убедительной силой вкрадчиво, соблазнительно то безнадежно печальные, то не договаривающие чего-то самого главного, то шуршащие, как камыши, то звенящие, как весенние ручья, – пленительные строфы. Раня, волнуя, мучая, радуя.



Будем как солнце всегда-молодое
Нежно ласкать огневые цветы.
Счастливы ли? Будь же счастливее вдвое,
Будь воплощением внезапной мечты.

Читать Бальмонта одно, слушать совершенно другое. Он читал с вызовом, разбрасывая слова, своеобразно ломая ритм, в паузах нервно шурша листочками записной книжки (с ней он не расставался), крепко закусывая нижнюю губу необыкновенно острым белым клыком.

Пауза – и опять звенящие, рвущиеся нити, шуршание крыльев, журчание весенних ручьев. Через мою голову время от времени рука поэта тянулась к рюмке. Я, сохраняя неудобную позу, едва успевала ее наливать. И бутылка пустела...

Вернулся Кречетов, в недоумении посмотрел, протер пенсне, опять посмотрел и скромно присел на диван.

Цельность этого прекрасно-нелепого действия нарушилась, к тому же подошел час обеда. «Пойдем обедать, Бальмонт», – радушно пригласил Гриф.

Бальмонт посмотрел на него уничтожающим взглядом и залился фальцетным саркастическим смехом.

«Я хочу пить, а не есть! Пить... еще!» Он произносил «пть», забавно сглаживая гласную. Опять появился на подносе коньяк и кое-как мы перебрались в столовую. Что-то с одного, с другого блюда полетело на пол. В требовании еще! пть зазвучала уже угроза, змеиное шипение.

«Ах, тебе жалко!.. Тогда вот... монеты, позови прислугу!»

«Здесь не кабак, дорогой Бальмонт», – мягко, но решительно ответил Гриф. И тут началось...

Пришлось уйти и оставить Бальмонта наедине с самим собой. Мне не было ни жалко, ни грустно, ни противно. С того же первого дня мне уяснилось, что Бальмонт страдает самым обыкновенным раздвоением личности. В течение нашего долгого знакомства мне в этом пришлось убедиться окончательно. В нем было два духа, две личности, два человека: поэт с улыбкой и душой ребенка, подобный Верлену, и рычащее безобразное чудовище.



Бальмонт – «одержимый», а вовсе не В. Брюсов, как это для красного словца утверждает З.Гиппиус.

Он погасил электричество. Собравшись к вечеру «грифята», сжавшись в кучку, боязливо прислушивались к грохоту летящих стульев, к звону разбиваемых тарелок и буквально к зубовному скрежету бушующего чудовища.

Какая сила удержала его на несколько часов одного в темноте – не знаю. К часу ночи Бальмонт вышел сам без малейших следов пронесшегося шквала на лице и хотел, чтобы было «много стихов! Стихов!»

Читали все, талантливые и бездарные. А к трем часам ночи башенная гостиная превратилась в затихшую благоговейную аудиторию перед мэтром, который читал им свое завещание.

Тише, тише совлакайте с древних идиолов одежды,
Слишком долго Вы молились, не забудьте прошлый свет.

Мудрый завет будущему поколению поэтов, узы, кажется, забытый сейчас.

И так Бальмонт стал постоянным гостем на Знаменке и, не боясь оппозиции «Скорпиона», заложил первый камень в наш фундамент.

Гриф – крылатый, лапчатый, по рисунку художника М.Дурнова, был искусными чьими-то руками вырезан из черного атласа, наклеен на желтый атласный же фон и преподнесен Бальмонту...

Белый. В марте – апреле 1903 года я знакомлюсь с Бальмонтом... Мне трудно делиться своим впечатлением от встречи с Бальмонтом; она – эпизод, не волнующий, не зацепившийся, не изменивший меня, не вошедший почти в биографию: просто рой эпизодов, которые перечислять бы не стоило; К. Д. Бальмонт – вне комической, трагикомической ноты и не описуем... Я увидел Бальмонта у Брюсова... Первый вечер с Бальмонтом отметился только знакомством с... Волошиным.

Врезалась в память с ним встреча у «грифов» – дней эдак чрез пять.



– «Вы?.. О, как рада я! – бросила, дверь отворившая, Нина Ивановна Соколова. – Сережки нет; я – одна, я – не знаю, что делать с Бальмонтом!» Пьянел он от двух с половиною рюмок; и начинал развивать вслед за этим мечты, неудобные очень хозяйке (вино – выражение боли); он много работал, прочитывая библиотеки, перевода и слагая за книгою книгу; впад в мрачность, из дому бежавши, прихрамывающей походкой врывается в передние добрых знакомых; прижав свою серую, несколько декоративную шляпу к груди, – красноносый и золотоглазый (с восторженным вызовом уподоб-леньями сыпаться), с серым мешком холстяным: под рукой; вынимались бутылки из недр мешка; и хозяйка шептала: «Не знаю, что делать с Бальмонтом».

Мы тоже – не знали.

Он – бледный, восторженный, золотоглазый, потребовал, чтоб лепестками – не фразами – мы обсыпались втроем: он желал искупаться в струе лепестков, потому что – «поэт» вызывает «поэта» на афористическое состязание; переполнял вином мой бокал (его Нине Ивановне передавал я под скатертью); и, как рубин, – пылал носик.

– «О, как я устала с ним: ведь уже четыре часа это длится, – шептала Н. И. – Где Сережа?» «Сережа» – «поэт», Сергей Кречетов, – тут же вошел, с адвокатским портфелем; и слушал, как золотоглавый и рубинноносый, но бледный как смерть Константин Дмитриевич нам объяснял, что готов он творить лепестки, так как он – «лепесточек»: во всем и всегда; и кто это оспаривать будет, того – вызывает на бой; я и Кречетов, взявши под руки поэта, увели в кабинет, на диван уложили и уговаривали предать члены покою, отдаться полету на облаке; и опустили уже обе шторы; но Кречетов имел бестактность ему указать: не застегнута пуговица; он, оскорбленный таким прозаизмом, с растерянным видом испанца Пизарро, желающего развалить царство инков, но в силах весьма уверенный, вздернув бородку в нос Кречетову, пальцем ткнул в... незастегнутое это место:

– «Сергей, – застегните!»

Его б по плечу потрепать, опрокинуть (уснул бы); «Сергей» же, приняв оскорбленную позу берлинского



распорядителя бара, но с «тремоло» уже прославленного адвоката, надменно оправил свой галстук и вздернула пенсне:

– «Дорогой мой, я этого места не стану застегивать вам».

И Бальмонт – не перечил: заснул; но едва мы на цыпочках вышли, он заскрежетал так, что Нина Ивановна уши заткнула: такой дикой мукой звучал этот скрежет; и мы за стеною курили, глаза опустив; дверь раскрылась: Бальмонт – застегнувшийся, в пледе, которым накрыли его, молниеносно пришедший в сознание, робкий, с пленительно-грустной, с пленительно-детской улыбкой (пьянел и трезвел – во мгновение ока); он начал с собою самим, но для нас говорить: что-то нежное, великолепное и беспредметно-туманное; мы, обступив, его слушали; то, что сказал, было лучше всего им написанного, но слова утекали из памяти, точно вода сквозь ладони.

От дня, проведенного с ним, мне остался Бальмонт ускользнувший и незаписуемый; а записуемая загогулина (вплоть до штанов) жить осталась как нечто трагическое: не каламбур это вовсе.

Мне первая встреча с Бальмонтом – вторая...

Раз забежал я к нему; очень усталый, в подушках лежал он: «Говорите, сидите: что делали вы? О чем думали?» – квакало еле; я что-то свое, философское, начал; раздался отчаянный храп; я хотел удалиться; Бальмонт, точно встрепаннный, переконфуженно квакал: «Я – слушаю вас: продолжайте!» Я рот – раскрыл; и – снова всхрап; я – на цыпочках, к двери. Он вскочил, посмотрел укоризненным, очень насупленным взглядом: «Я этого вам – не прощу!» Мог быть мстительным; Брюсов рассказывал:

– «Раз он таскал глухой ночью меня; он был пьян; я боялся: его пришибут, переедут; хотел от меня он отделаться: стал оскорблять; зная эту уловку его, – я молчал; не поверите, – он проявил изумительный дар в оскорблении, так что к исходу второго, наверное, часа я... – Брюсов потупился, – я развернулся и... и... оскорбил его действием; он перевернулся и бросил меня».

– «Ну, и...?»



– «На другой день – подходит ко мне и протягивает незлобиво мне руку!» И Брюсов вздохнул:

– «Добр!»...

Нина. Но, а как же обойтись без Андрея Белого? Его маленькую книжку, четвертую «Драматическую симфонию» читали в Москве нарасхват. Критики из «Русского Слова» улюлюкали. Публика ругала. Вот так произведение, где Вл. Соловьев путешествует по крышам в крылатке, где преподносятся такие перлы:

«Свод неба синий, скучный, с солнцем-глазом посреди...»

Нас же поразила и ошеломила неслыханная новизна формы, образы и язык красок, в которые он их воплощал, обесмысливание всех эмпирических обликов во имя совершенно нового постижения жизни, разрыв со всеми унаследованными литературными традициями и, наконец, просто черты гениальности.

Кречетову А. Белый понадобился для эффекта, как уникум, как истинный раритет.

Проходили дни, а Белый все что-то не появлялся.

«Расскажите, какой он», – просила я, но рассказать никто не сумел. Увидела я его случайно.

В вестибюле Исторического музея, после чьей-то лекции, в стихии летящих с вешалок, ныряющих, плавающих шуб, словно на гребне волны, беспомощно носилась странная и прекрасная голова, голубовато-прозрачное лицо, нимб золотых рассыпавшихся волос вокруг непомерно высокого лба.

«Смотрите! Смотрите же, – толкнули меня в бок, – это Андрей Белый!»

Так я увидела в первый раз А. Белого, сражающегося с ужасами эмпирического мира. А он просто искал свою шубу... с вдохновенно-безумным лицом пророка.

Потом я отметила, что выражение его лица редко соответствовало совершаемому акту. Он пил из крохотной рюмочки шартрез с таким удивлением в синих (лучисто-огневых) глазах, точно хозяин предложил ему не простой ликер, а расплавленный закат; ходил по Арбату, направляясь



в гости или на заседание в дневной толпе, точно по осиянной звездами пустыне или по дантовскому лесу, кишашему видимыми и невидимыми опасностями, то натываясь на людей среди бела дня, то странно озираясь, пряча голову в плечи, прижимаясь к стенам.

Таким он был тогда, когда я увидела его, высоко вознесенного потоком шуб, звериных шкур, таким полюбили его все «грифята» без исключения.

Андрей Белый дал для Альманаха стихи и для издательства третью симфонию «Возврат»...

Белый. Соколов, «Гриф», с которым в тот же 1903 год я в «Кружке» познакомился: он сразу оттяпал стихи у меня и отрывки из четвертой «Симфонии»: для своего альманаха; он с первых же шагов; ужаснул, опечатку со вкусом оставивши в корректуре; напечатал-таки «закат – пенно-жирен».

– «Голубчик, Сергей Алексеевич, что вы наделали?»

– «А что такое?»

– «Да „пирен“ – не «жирен».

– «А я думал, что это вы новое слово создали».

В отрывке том самом мне пальцем на фразу показывал: «И тухло солнце».

– «В чем дело?»

– «Перемените: скажут – «протухло»; исправьте скорей».

Он стал появляться у нас в квартире с корректурой; и приглашал на свои вечеринки.

Красавец мужчина, похожий на сокола, «жгучий» брюнет, перекручивал «жгучий» он усик; как вороново крыло – цвет волос; глаза – «черные очи»; сюртук – черный, с лоском; манжеты такие, что-о! Он пенснэ дьяволически скидывал с правильно-хищного носа: с поморщем брезгливых бровей; бас – дьяконский, бархатный: черт побери, – адвокат! Его слово – бабац: прямо в цель! Окна вдребезги! Слишком уж в цель: скажут – грубо; так лозунгами из Оскара Уайльда, прочитанного в переводе неверном... отчетливо он запузыривал так, что и Уайльд – не «уайльдил», а «соколовил».

Мочи не было слушать!



Враждебный к религиям, столоверчением не прочь был заняться, как и дамским флиртом; однажды, влетев на трибуну, чтобы защитить Мережковского, он, пнув героически пяткой прямо в доски помоста и пнув большим пальцем себе за спину, в ту сторону, где, пришибленный его комплиментом, сидел Мережковский, бледнеющий от бестактности, дернул он, точно «Дубинушку»: по адресу Мережковского и Зинаиды Гиппиус:

– «Они люди святые!»

Бац – в пол ногой: и – бабац: себе за спину пальцем большим:

– «Эти люди овеяны высями снежно-серебряного христианства!» Д. С. Мережковский – так даже лиловым стал; «Гриф», озираясь надменно, с трибуны слетел: победителем!

Точно такие ж обложки он «ляпал» на книги: и марку придумал издательства своего: жирнейшую «грифину», думая, что «Скорпиона» за пояс заткнул он; «Скорпион» – насекомое малое; «Гриф» – птица крупная.

В крупном масштабе он действовал: неделикатность его, точно столб Геркулеса, торчала: в годах...

Стих его был скрежетом аллитераций: точно арба неподмазанная. И сюжеты же! Кровь-де его от страстей так темна, так темна, что уже почернела она; перепрыгивал в «дерзостях» через Бальмонта и Брюсова, а получалась какая-то вялая «преснь». Брюсов брови сдвигает, бывало; Бальмонт же покровительственно оправдывает преснятину эту; он Соколову мирволил, очаровываясь почетом, оказанным «Грифом» ему: «Гриф» был Бальмонтов «вассал»: в своем «Грифе»; ну, а в Благородном собрании ревел он потом радикальнейшими убеждениями адвоката московского... Брюсов выглядел аполитично; ну, а Соколов, говоря о царизме, бывало: зубами скрежещет, а черные очи вращает – на дам.

Кончил – аплодисменты! Позднее он в Киев привез нас на вечер искусства; меня провалил там; Блока – тоже; Блок мямлил стихи; я, петь разучась, потерял голос свой от бронхита; Соколов же как примется на весь театр заревать свои стихи «Дровосеки» (сюжет взял из моего «Пепла») под визг киевлянок хорошеньких, затрескотавших потом:



– «Соколов-то, – мужчина красивый какой!» Я, взглядевшись в Соколова, увидел, что – слишком пухлявые у него руки для кречета; и точно под кожу набили ему гагачьего пуха; такого же пуха набили под щеки: глуповато торчали они пузырем; глаза были – пуговики: с дамских ботинок; а лоск сюртука точно вакса.

С эстрады – как кречет; а в кресле домашнем своем – само «добродушие» и «пряמודушие», режущее «правду-матку»; не слишком ли? Бывало, он так «переправдит», что просто не знаешь, кидаться ли в объятия и благодарить иль грубо оборвать; правда его грубостью, как Геркулесов столб, пучилась.

Имел дар: был – делец, достающий деньги для издательства и перекидывающий с руки на руку, точно брелоки, журналы... и – провалены им, как и «Гриф»; но умел добывать себе рукописи: среди талантливых юнцов; проститится, бывало; дымнет с томным вздохом:

– «Со мною – Бальмонт, Сологуб*, Белый, Блок!» Юнец – тает; протянет юнцу портсигар:

– «Трубку выкурим?»

И, не успев опериться, юнец – сидит уже в «Гриф»; посид такой не к добру; ничему Соколов научить не умел птенца малокультурного, хоть и талантливого; загублялись «грифята», хирели, ходили с головкой повисшей.

«Гриф» был не умен и не добр; простоватая статья, статья «поэта» и статья Демосфена – лишь видимость; пошлость и грубость, которую он невзначай обнаруживал, были не видимостями.

Не нравился он моей матери; и морщился как-то на него отец; и я, неопытный вовсе, натаскивал на Соколова себя: ведь – приятели; ведь – «почитателем» держится; не подкопаешься; и все ж – издатель. Нас всех побеждала жена его; с ней он вскоре развелся; она мило пописывала: была же – умница, очень сердечная и наблюдательная; но – больная, больная, отравленная самопротиворечием; выглядела же просто мученицей: от «столбов Геркулесовых»; с Ниной Ивановной складывалась настоящая друж-

* Сологуб, Федор (1863–1927) – русский поэт, драматург, прозаик, один из виднейших представителей символизма.



ба; они дружили с ней: Брюсов, Бальмонт, П. Н. Батюшков, А. С. Петровский, С. М. Соловьев; и она «аргонавткой» была одно время...

Нина. Грифский круг со временем очень расширился, среди него оказались те «аргонавты», о которых Белый то иронически, то нежно говорит в «Воспоминаниях о Блоке», и он пополнился еще пришедшими за самим же Андреем Белым.

Свое настроение и деятельность тех лет он называет теперь «левым соловьевством, настоящим на символизме». В то время Андрей Белый хотел «украсить обрядом мистерию», занимался проблемой елевзинских таинств и манил обещаниями, как самый настоящий жрец... Теперь, почти отрекаясь от самого себя тех лет, он говорит: «Лишь лозунг, что будущее какое-то будет, соединял нас в то время. «Аргонавтизм» оказался в годах проходным двором; в 1904 г. аргонавты, – столкнулись мы в нем; а теперь рассеяны по идеям, даже по странам».

Но это неверно. Аргонавтизм не оказался проходным двором, «простираение А. Белого к тайне, к братской мистерии» люди приняли слишком глубоко, и виноваты не они, если он не оправдал надежд. Сам же А. Белый в этом сознавался потом, говоря:

Распинайте меня, распинайте,
Обманул я вас песней моей.

«Братские мистерии», над которыми сколько угодно может смеяться современность, тогда, 20 лет тому назад, сыграли бы, быть может, роль катакомб, весьма нужных перед наступлением 1905 г. во всех смыслах.

Но в этот соблазн вовлекались не все. Для многих А. Белый был и остался лишь гениальным поэтом. Он воплощал собой – для каждого по-своему – его лучшую поэтическую мечту о «несказанном», мечту, которой жила вся литературная эпоха, все замкнувшее от мира в оранжереях и «башнях из слоновой кости».

Он пел – не читал, и не декламировал, – а именно пел:



Вы шумите. Табачная гарь
Дымносиние стелет волокна.
Золотой мой фонарь –
Зажигает лучом ваши окна.
Это я в заревое стекло
К вам стучусь в час вечерний
Снеговое чело
Разрывают, вонзаясь, иглы терний.

И вдруг все начинало казаться грузным, инертным,
бездушным, грешным.

Жемчужно-грустная заря
Она одна твердит о чуде,

– написал мне на своем портрете А. Белый.

О каком чуде? – спрашиваю я сейчас... Не раз задавал мне потом этот же вопрос и В. Брюсов. Может быть, он один знал, как печально рассеется мечта о мистериях, и в классической своей позе – скрестив руки на груди, издали наблюдал. Помню я один вечер, угли дотлевали в печке, лицо А. Белого тоскующе пламенело в полутьме. Он говорил:

«Скоро, скоро наступят строгие, пышные дни...»

«А где же? А как же?» – спросила я полушепотом.

Представлялись белые, холодные залы, белые одежды, белые цветы, белыми слезами истекающие непорочные свечи, и мы, слиянные в таинстве служения новому Христу. Здесь и крылся самый тонкий, отравный соблазн; новым Христом я и некоторые считали самого Белого – «лжепророка», который писал:

Проповедуя скорый конец
Я предстал, словно новый Христос,
Возложивший терновый венец
Разукрашенный пламенем роз.

ИЛИ

Ну, мальчики, с Богом!
Несите зажженные свечи.
Пусть рогом
Народ собирают для встречи.



Да, в «розово-золотой и напряженной атмосфере эпохи» был неизбежен «джепророк»...

Ходасевич. В 1904 году Андрей Белый был еще очень молод, золотокудр, голубоглаз и в высшей степени обаятелен. Газетная подворотня гоготала над его стихами и прозой, поражавшими новизной, дерзостью, иногда – проблесками истинной гениальности. Другое дело – как и почему его гений впоследствии был загублен. Тогда этого несчастья еще не предвидели.

Им восхищались. В его присутствии все словно мгновенно менялось, смещалось или озарялось его светом. И он в самом деле был светел. Кажется, все, даже те, кто ему завидовал, были немножко в него влюблены. Даже Брюсов порой подпадал под его обаяние. Общее восхищение, разумеется, передалось и Нине Петровской. Вскоре перешло во влюбленность, потом в любовь.

О, если бы в те времена могли любить просто, во имя того, кого любишь, и во имя себя! Но надо было любить во имя какой-нибудь отвлеченности и на фоне ее. Нина обязана была в данном случае любить Андрея Белого во имя его мистического призвания, в которое верить заставляли себя и она, и он сам. И он должен был являться перед нею не иначе, как в блеске своего сияния – не говорю поддельного, но... символического. Малую правду, свою человеческую, просто человеческую любовь, они рядили в одежды правды неизмеримо большей. На черном платье Нины Петровской явилась черная нить деревянных четок и большой черный крест. Такой крест носил и Андрей Белый...

Белый. С осени 1903 года совсем неожиданно вырастает моя дружба с Н *** (Петровской. – И. Т.); ее почва – моя усталость; и – мое самомнение, заставлявшее меня думать, что я, беспомощный, вооружен опытом мудрости, позволяющей врачевать души; источник этих недоразумений: севши однажды за письменный стол, написавши на листке «Этапы развития нормальной душевной жизни», я эти этапы себе добросовестно изложил; изложив, излагал «аргонавтам», каждому порознь (излагал и Блоку,



и Мережковским). Со мной – соглашались, вероятно, не слушая; но я же был уверен в себе: старшие перехвалили меня; писала же Гиппиус: каждое-де мое выявление «замечательно» (что это хитрая лесть и обычный прием, мне было еще невдомек).

Изложив свои «правила» жизни Н***, я был потрясен эффектом, который произвели в ней они; не говоря прямо, что выбирает меня «учителем жизни», она заставила, в сущности говоря, одно время стать таким...

Я в себе ощущал в то время потенции к творчеству «ритуала», обряда; но мне нужен был помощник или, вернее говоря, помощница – sui generis гиерофантида; ее надо было найти; и соответственно подготовить; мне стало казаться, что такая родственная душа – есть: Нина Ивановна Петровская. Она с какой-то особою чуткостью относилась ко мне. Я часто к ней стал приходить; и – поучать ее...

Теперь – об Н***.

Раздвоенная во всем, больная, истерзанная несчастною жизнью, с отчетливым психопатизмом, она была – грустная, нежная, добрая, способная отдаваться словам, которые вокруг нее раздавались, почти до безумия; она переживала все, что ни напевали ей в уши, с такой яркой силой, что жила исключительно словами других, превратив жизнь в бред и в абракадабру; меня охватывало всегда странное впечатление, когда я переступал порог дома ее; мне здесь не было комнаты с пестрой оранжево-коричневатою, в черных крапинах, мебелью; не было ярко-красных рефлексов, бросающих жаркие тени от шелкового абажура; не было и тяжелых драпри, повисающих толстыми складками на дверях, над окнами и отделяющих от всего мира; не было и мягкого, глушащего шаг ковра: вместо комнатной обстановки – повисающие в воздух слова только что бывшего посетителя... мне всегда сперва приходилось бороться за право ей говорить свое с чужими словами, которыми она была переполнена; позднее я знал, что в Н*** всегда как бы обитало чье-нибудь «я»; смотришь на Н***, и нет Н***, не Н***, а Бальмонт, из нее выговаривающий:

– «Я люблю лепестковую струйность... Люблю лунный лепет... Мои лунные руны...» Не спрашивая, знаешь уже:



сидел тут недавно Бальмонт; и даже кресло, на котором сидел он, – «Бальмонт». Когда же, бывало, от нее уходишь, – опять-таки: нет Н***; стены, кресло, сама она – зеркала, отражающие и преувеличивающие до искажения твои собственные слова; скажешь с горошину, а отразится тебе уж «горошина» огромным шаром, заключающим в себе все вселенные; и ты, засмотревшись в них, кажешься себе самому великаном.

Так и случилось: моя дружба с Н***, переходящая в нежное сочувствие, питала меня утопией о себе как целителе ее души; измученный, перетерзанный выданными себе векселями (преодолеть то и се), – я так нуждался: в утверждении себя твердым и крепким; не видел еще, до чего Н*** утверждала меня нездорово; видя ее одержание чужими словами, я, нуждающийся в назидании, принимался ее назидать и «спасать»: от нее самое; и, получая впечатление, с какой мгновенного быстротой ее излечивают мои правила жизни, ей преподаваемые, уходил с благодарностью к ней за то, что она укрепила во мне доверие к моей «мудрости»; я серьезно вообразил, что одна из моих главных миссий – лечить эту душу, подпадавшую под действие всех случайно на нее дувших ветров...

Моя тяга к Петровской окончательно определяется; она становится мне самым близким человеком, но я начинаю подозревать, что она в меня влюблена; я самое чувство влюбленности в меня стараюсь претворить в мистирию... я не знаю, что мне делать с Ниной Ивановной; вместе с тем: я ощущаю, что и она мне нравится как женщина; трудные отношения образуются между нами...

Она меня незаметно втянула в навязанную ею роль: учителя жизни; и укрепила в иллюзии думать, что я ей необходим, что без меня-де – погибнет она; так заботы о ней начинали незаметно переполнять мои дни, переполненные и так; заходы к ней учащались до почти ежедневного появления; беседы вдвоем удлинялись; казалось: из всех живых существ она одна только правильно понимала меня; она же не понимала, а преувеличенно отражала лишь то, чем я, таясь от себя, хотел себе казаться; но она отражала не меня одного, а – каждого, кто к ней приходил и сидел



с ней вдвоем; многие из бывавших у нее в то время, не видя других ее посещающих и назидających, в наивности полагали: она-де понимает только их; и понимает – единственно, неповторимо, чудесно; вероятно, все удивлялись, что, настроив ее на свой лад, при следующем посещении находили: «лад» был сорван; язык «Брюсова» насмешливо высывался из нее и дразнил «Белого»; язык же «Белого» вытягивался «Брюсову». Каждый ужасался ее «падению» с высот ей преподанного в провал чуждого мировоззрения; вероятно, иные, привлеченные к ней иллюзией доброго на нее влияния, так же, как и я, осознавали потребность «спасать» эту прекрасную гибнущую в истерике, самоотверженную душу.

Она была и добра, и чутка, и сердечна; но она была слишком отзывчива: и до... преступности восприимчива; выходя из себя на чужих ей словах, она делалась кем угодно, в зависимости от того, что в ней вспыхивало; переживала припадки тоски до душевных корч, до навязчивых бредов, во время которых она готова была схватить револьвер и стрелять в себя, в других, мстя за фикцию ей нанесенного оскорбления; в припадке ужаснейшей истерии она наговаривала на себя, на других небылицы; по природе правдивая, она лгала, как всякая истеричка; и, возводя поклеп на себя и другого, она искренно верила в ложь; и выдавала в искаженном виде своему очередному confidentу слова всех предшествующих confidentов; я узнал от нее тайны Бальмонта; Бальмонт, вероятно, – мои; она портила отношения; доводила людей до вызова их друг другом на дуэль; и ее же спасали перессоренные ею друзья, ставшие врагами; она покушалась на самоубийство под действием тяжелого угнетения совести; вокруг нее стояла атмосфера – опасности, гибели, рока.

С ней годами возились, ее спасая: я, Брюсов, сколько прочие... бедная, бедная, – ее спасти уже нельзя было; не спасатели ей были нужны, а хороший психиатр. Этапы диссоциации ее личности: сперва хоровод из ей ненужных поклонников; потом мечты, потом чахотка, которую залечили; потом – запой; потом – навязчивая идея: ей-де место среди проституток, которых она видела невин-



ными жертвами; под этим всем – ее разрушавшая страсть к морфию.

Кончила самоубийством она.

Самый облик ее противоречивый и странный: худенькая, небольшого росточку, она производила впечатление угловатой; с узенькими плечами, она казалась тяжеловатой, с дефектом: какая-то квадратная и слишком для росточку большая, тяжелая голова, казавшаяся нелепо построенной; слишком длинная, слишком низкая талия; и слишком короткие для такой талии ноги; то казалась она мешковатой, застывшей; то – юркала, точно ящерка: с неестественной быстротой; она взбивала двумя пуками свои зловещие черные волосы, отчего тяжелая ее голова казалась еще тяжелее и больше; но огромные карие, грустные, удивительные ее глаза проникали в душу сочувственно; и подмывали на откровенность даже и тогда, когда открывалось, что ей верить нельзя; бледное, зеленоватое лицо с огромными кругами под глазами она припудривала; и от напудра оно казалось маской, теряя игру выражений, присущих ему; в обществе она страшно теряла; а в разгаре беседы вдруг сквозь эту пудру проступал нежный румянец; и лицо наполнилось выражением; но огромные, чувственно вспученные губы, кровавые от перекара, кричали с лица неудачною кляксою; улыбнется, – и милое, детское что-то заставляло забыть эти губы; густые широкие ее брови точно грозили кому-то; и черная морщина, перерезавшая лоб, придавала лицу вид спешащей преступницы: пустить себе пулю в лоб; наклонив вперед свою тяжелую, раздутую волосами голову, подтянув к ушам узкие, нервные плечи, в черном платье с небольшим треном и застежкой на спине, шуркая шелком, как ящерка, скользила она в толпе, перепудренная и покрашенная; спрашивали: «Кто это?» Никто б не сказал, что мрачная, напоминающая Эриннию, женщина, растерянной девочкой, положив под голову руку и голову склонив на подушку дивана, свернувшись комочком, часами мечтает о таком о простом, о хорошем; и готова в такую минуту на подвиг, на жертву.

Но и подвиг и преступление – только очередной бред. Придешь к ней, бывало; в красной, шелковой кофте, среди



красных отблесков красного своего абажура из жарких теней, замотает нелепо серьгами, напоминая цыганку; придешь в другой раз: бледная, черноволосая, в черном во всем, она – монашенка; я бы назвал ее Настасьей Филипповой, если бы не было названия еще более подходящего к ней: тип средневековой истерички, болезнь которой суеверы XVI и XVII столетия называли одержанием, – болезнь, ставшая одно время в Европе XVII века повальной эпидемией, снесла ее; таких, как она, называли «ведьмами».

Я подробно вынужден остановиться на Н***; она – стала музой поэта Валерия Брюсова; вспомните любовную лирику лучшей его книги – «Венка»: половина стихотворений обращена к ней; вспомните образ «ведьмы», Ренаты, из романа «Огненный ангел»; там дан натуралистически написанный с нее портрет; он писался два года, в эпоху горестной путаницы между нею, Брюсовым и мною; обстановка романа – быт старого Кельна, полный суевений, быт исторический, скрупулезно изученный Брюсовым, – точно отчет о бредах Н***, точно диссертация, написанная на тему об ее нервном заболевании.

– «Н***, – бросьте же: вам все это снится; не мучьте себя», – говоришь ей, бывало.

– «Нет, нет, – я видела из мглы», – и рука показывает на темный уголок портьеры; что «видела» – не важно; она жила в снах среди бела дня.

И делалось жутко: тебе делалось – за нее жутко; посид у нее столько раз делался посидом с «ужасиками», успокоить ее в такие минуты было почти невозможно; разыграется горошина твоих слов, бывало, до... «вселенной блесков».

– «Как хорошо! Вы слышите? Точно пение?» – «Ничего не слышу... Обещайте не интересоваться жалким вздором», – речь шла о спиритических сеансах... на них присутствовал изучавший «средние века» Брюсов.

Она как обухом по голове:

– «Вы – настоящий ангел...» Хватаешься за голову!

Увы, единственный мой досуг в тот грустный сезон – нездоровый досуг: миссия, ей внушенная мне, что я-де спасаю ее от ее душевных растерзгов, – не к добру привела: я, жалкий романтик, «влюпался» в трагедию, оконча-



тельно разорвавшую весь мной себе составленный жизненный план.

Слабый «Боря» вообразил себя Зигфридом; не умеющий себя ни от чего защищать, вообразил... Орфеем себя, изводящим Эвридику из ада: вместо ж этого, усугубив «ад» жизни Н***, я сам попался в «ад»; и потом позорно бежал от всех и «раев», и «адов»... в Нижний Новгород, к другу.

– «Выручайте!»

Иногда, успокоив Н***, я радовался детскому выражению ее просветлевшего лица, на котором вспыхивали двумя огнями глаза; и улыбка так сестрински проникала в душу; но и эти минуты превращала она в предлог к бреду, когда, вздрогнув, спрыгивала с дивана с напученными губами, с ужасной морщиной, – вдруг разрезавшей ей лоб.

– «Что с вами?..»

Она косилась на черный угол:

– «Ничего: оставьте...»

– «Опять вы...»

Но она, шуркнувши шелком, отскакивала, точно из темного угла выпрыгивал ядовитый тарантул; и прерывистый свист, напоминавший шип кобры, слетал с ее губ:

– «Брюсе...»

– «Что? Что?»

– «Брюсов!» Какой? Почему? Что?

В моем представлении, с Брюсовым она в эти месяцы и не могла видеться; Брюсов враждовал и с нею, и с ее мужем; так что ж это значило?

– «Что? Что?»

– «Брюсов! Опять он».

– «Что опять?»

– «Он мешает мне; он вмешивается в мои мысли: он за мной подсматривает; он крадется...» Ничего не понимая, я шел, омраченный, домой.

Брюсов раз в «Скорпионе», точно оскалась, мне бросил с огромной, как мне показалось, ненавистью: по адресу Н***:

– «А почему это у Н***...» – и сказал что-то весьма пренебрежительное. На мои вопросы, «что Брюсов», – молчала Н***; и через неделю – новый припадок, в котором



тот же мне непонятный испуг с произнесением фамилии Брюсова – повторялся; так Брюсов, ставимый ей предо мной, возникал предо мной, но в бредовых контурах, – таким, каким он стоял в растерянном ее воображении.

Это все – интриговало меня, я и не знал, что и Брюсов – постоянный ее конфиденент; не знаю точно, где встречались они; знаю только: именно в то время, когда я полагал, что Н***, мне ругавшая Брюсова, не видится с Брюсовым, в моем представлении тоже не любившим и игнорировавшим ее, они виделись часто; жалкие мои уроки жизненной мудрости, Н*** преподаваемые по ее настоянию, от слова до слова она передавала ему; но только все слова ненормально вытягивались ее бредовую фантазией, из центра которой возникал не я вовсе, а какой-то пылающий «дух»; если бы я это знал, то убежал бы с первого свидания с ней, как убежал от нее потом, когда было поздно; Брюсов внимал ее бреду обо мне и переиначивал его, сообразуясь с фабулой своего романа: из средневековой жизни.

И не понял я, «мудрец», элементарнейшей истины, что Н*** просто в меня влюблена и что Брюсов, ее полюбивший, запламенев мрачной страстью, готовит ей, мне и себе ряд тяжелых страданий.

Алогические, как казалось, понимания Н*** Брюсова с неожиданной стороны подчеркнули мне фигуру поэта: то, что я узнал о Брюсове из слов Н***, был бред; она с убеждением говорила: Брюсов-де гипнотизировал ее, он-де меня ненавидит; я-де должен весьма бояться его, и т. д. Знай я раньше корни этого бреда, т. е. знай, что Н*** видится с Брюсовым, что он в нее влюблен, а она его «дразнит» моим фантастическим образом (на то и истерическая ложь, чтобы путать действительность с грезой), я бы понял, что у Брюсова есть действительные психологические мотивы испытывать ко мне слишком понятное чувство досады.

Я ж ничего этого не знал; чем больше Н*** бредила, тем более я считал своим долгом возиться с нею.

Перед Н*** развивал я то, что позднее, как отклик тех дней, настроилось в моей статье «Песнь жизни»; статью я кончаю словами: «Мы разучились летать: мы тяжело мыс-



лим, нет у нас подвигов; и хиреет наш жизненный ритм; легкости, божественной простоты и здоровья нам нужно; тогда найдем... смелость пропеть свою жизнь»... «Нам нужна музыкальная программа жизни, разделенная на песни-подвиги»; «в миннезингере узнаем человека, преображающего свою жизнь»; «человечество подходит к рубежу культуры, за которым смерть либо новые формы жизни»; «мы начинаем песнь нашей жизни»; «души наши – невоскресшие Эвридики... Орфей зовет свою Эвридику».

О, если бы я знал, что из всех «Эвридик невоскресших» наименее воскресшая – Н***. Она ж поняла мои мысли о жизненной песне так, что ощутил я удар в лоб, как палицею: Эвридика – она-де! Я ж – Орфей, выводящий из ада ее! И совсем не тем способом, каким замыслил; когда я узнал этот ее больной бред о Гадесе и о себе, то изумлению моему не было границ; и я круто оборвал свои посещения Н***.

Но – уже поздно!

Она вызвала меня и с плачем, с револьвером в руке, с ядом в шкапчике и с уплотнением «символов» до материальной реальности требовала, чтобы из «ада извел»; и неспроста В. Брюсов, узнавши из слов ее о наших разговорах об «Эвридике» (образ был мне навеян оперой Глюка в транскрипции М. А. д'Альгейм), – неспроста он потом в своем стихотворении об «Эвридике», об Н***, ей подставил слова:

Ты – ведешь; мне – быть покорной...
Я должна идти, должна.
Но на взорах облак черный,
Черной смерти пелена.

Ужасаясь бредом Н*** о появляющемся-де перед ней демоническом образе Брюсова (к ней приходил не «образ», а В. Я. Брюсов, собственной персоной), я, часто видясь с Брюсовым в «Скорпионе», невольно пристально его наблюдал; и тут я заметил: и он сквозь деловые разговоры точно все наблюдает меня; мы стали друг другу ставить вопросы, как бы выпытывающие «credo» друг друга; была натянутость, было острое любопытство друг к другу у нас.



Но сквозь все росла какая-то между нами «черная кошка»; тут случился инцидент, который и в линии литературных дел на краткое время окислил наши отношения.

Брюсов в своих «Дневниках» пишет, как мы поссорились; я обещал взять из «Грифа» все, отданное для печати; взяв, сдал в «Скорпион» и потом внезапно потребовал рукописи обратно, чтобы снова их вернуть в «Гриф»; Брюсов наговорил мне обидностей; я заявил, что уйду из «Весов»...

Брюсов – Белому.

5 декабря 1903. Москва.

...Ваше письмо в «книгоиздательство» поразило меня. Я верил, что после всех слов, какие вам случалось говорить мне, какие нам случалось говорить друг другу, – между нами более тесные связи, чем те, которые разрываются десятиминутным обменом попреков. Неужели же вы не узнали меня изо всех моих стихов, изо всех моих речей и поступков, а узнали вот в те четверть часа, что мы стояли у полки с изданиями «Скорпиона»! Я говорил с вами *через* все условности общежития, *через* всякие «вежливости» и «салонности», а вы расслышали только обидные слова! Для меня вы уже никогда не можете стать отвлеченным Андреем Белым, и нет никого кругом, кого я так желал бы знать близким себе, как вас, – а вы пишете обо мне в третьем лице, как о чужом и чуждом!

Но дело не только во мне и вас. Среди нас иная сила, пренебрегать которой мы не смеем. Маленькие чародеи, мы заклинали страшного духа; он предстал; и его не заставят исчезнуть наши бессильные заклинания. Мы уже не над «Скорпионом», а в нем; мы управляем им не более, чем кормщик кораблем, крутимым бурей. И с вашим уходом «Скорпион» и «Весы», конечно, не пропадут. К нам примкнут еще многие, ибо вокруг уже образовался тот водоворот, который засасывает всех, плывущих мимо. Но с вашим уходом от «Скорпиона» будет отнято все присущее лично вам, *ваша* вера, *ваша* зоркость, *ваша* молодость. Наш путь изменится, правда, на ничтожный угол, но если мы продолжим линию этого пути в даль годов и в даль влияний, – как изменится цель! В вашей воле дать торжество вам желанному направлению, но вы от этого хотите отказаться. Сколько раз



говорили мы с вами о недостатках «Мира искусства» и «Нового пути» (вы его называли «Бедным путем»), и вот у нас журнал, который мы можем сделать таким, как мы хотим, – и опять от этого вы хотите отказаться. Если вам дороги не только ваши стихи, и образы, и книги, – но и власть их над людьми, и торжество всего, чему вы верите, – уходя из «Скорпиона», вы совершаете преступление.

И во внешнем вы совершенно не правы. Совсем неверно, будто мы, «скорпионы», наложили на вас какие-то деспотические требования. Вы были среди нас, когда мы решали, что участвовать в «Гриффе» не должно, вы были из тех, кто решал это. Я помню ваши глаза, и как звучал ваш голос, когда вы говорили Зинаиде Николаевне: «Я возьму, я все возьму!» (т. е. все рукописи из «Грифа»). И если б не было этих ваших слов, этого вашего согласия с доводами Дмитрия Сергеевича, мы наверное не решились бы отказывать Блоку, Миропольскому, многим другим... И до сих пор я не могу понять, почему вы изменили ваше решение. У Бальмонта есть *специальные* причины покровительствовать не «Гриффу», а Соколову, но вы, но вы? Не можете же вы не видеть, что Соколов – балаганный шут, неумело-бездарный шарлатан, в устах которого все самые истинные слова становятся фиглярством и пошлостью! Конечно, может быть, вы, Бальмонт и Блок создадите новый «Гриф», ничего общего с прошлым не имеющий, вы трое достаточно сильны для этого, но на что это нужно? Существующий же «Гриф» есть только пародия настоящего дела. Людям, подобным Соколову, можно поручать свой гражданский процесс, но позорно поручать им и доверять им свои мысли.

И в заключение еще о себе. Если я вам сказал, тогда или сегодня, обидные слова, – простите меня. Я сказал их не с целью вас обидеть, а чтобы выразить, что во мне. Перед вами извиниться мне не будет стыдно никогда и не будет никогда унижением. Для меня образ человека стоит выше всех его поступков и слов. Меняются убеждения, слабеют и крепнут силы духа, волосы становятся седыми и лицо – в морщинах, но человек остается все тем же, каким мы его увидали в истинный миг близости. Я вас не перестану любить, кем бы вы ни стали, что бы вы ни совершили,



что бы мне на это письмо ни ответили. Я не могу не упрекать вас, потому что считаю ваши поступки достойными упреков, но мне будет бесконечно горько и тягостно, если вы останетесь чужим мне, если нам придется продолжать наше дело без вас...

Белый. ...«после мы, – пишет он (Брюсов. – И. Т.), – умирительно примирились».

Стиль примиренья в годах – побеждал; побеждала действительная человечность Валерия Брюсова: под маской жестокости; сколько раз я разрывал все с «Весами»; и снова печатно гремел: за Валерия Брюсова; он побеждал меня несознанной мной в те годы своей живой человечностью.

К характеристике Брюсова этого отрезка лет: насколько я его понимал в те годы, он, что называется, был только скептик, не веря ни в бога, ни в черта, не верил он и в последовательность любого мировоззрения; его интересовали лишь ахиллесовы пяты любого мировоззрения: он хотел в них воткнуть свою диалектическую рапиру; он был диалектиком, но вовсе не в теперешнем смысле, а – от софизма. Поэтому: он выдумывал с озорством игрока различные подвохи и позитивисту, и идеалисту, и материалисту, и мистику; уличив каждого в непоследовательности, он проповедовал, что истина – только прихоть мгновения; отсюда вытекала его любовь к перемене идейных обличей, доходящая до каприза: играть во что угодно и как угодно; «духовидцу» он проповедовал: «Спиритизм объясним материалистически: феномены стуков – неизвестные свойства материи».

Материалисту же он мог из озорства выкрикнуть: «Есть явления, доказывающие иной мир».

Не верил же он – ни в духов, ни в материю; но обратной стороной этого скептического неверия было огромное любопытство: ко всему темному, неизученному; он сам же ловился на этом любопытстве, с нездоровою любознательностью перечитывая все, что писалось о передаче мыслей на расстоянии; помню, как выкрикивал он, вытянув шею:

– «А ведь Барадюк нашел способы фотографировать мысль!» Для него было не важно: нашел или не нашел,



а важно в данную минуту показать сомневающемуся, что его сомнения от узости, от какой-нибудь догмы; если бы он сам принялся доказывать свою мысль, он, вероятно, доказывал бы, что факт возможности такой фотографии свидетельствует, что мысль – материальная вибрация; вероятно, он являлся к спиритам в те дни, чтобы наблюдать их и доказывать, что для объяснения «стуков» не следует призывать никаких «духов»; но поуготать суевера любил; и для этого приставлял при случае к своему лбу и рожки, являясь эдаким «чертом» пред ним.

На этом же основании с иступленною страстью изучал он средневековые суеверия; ведь в нем роился уже его средневековый роман, «Огненный ангел»; и фигура Агриппы, полушарлатана, полуокультиста, полугуманиста, из слов вылезала его: «Знак Агриппы... Что думаете об Агриппе?» – ко мне приставал этот полуспирит, материалистически разглагольствовавший о «флюидах», полускептик, высказывающий: «За бога, допустим, процентов так сорок; и против процентов так сорок; а двадцать, решающих, – за скептицизм».

Пятнадцатый век, сочетающий магию с юмором свободы мысли Эразма, став фоном его романа, – его волновал; крохоборствовал он, собирая штрихи для героев, задуманных среди знакомых, но их превращал в фантастику, в дым суеверий, в XV век; обирал он себя для героя романа, для Рупрехта, изображая в нем трудности нянчиться с «ведьмой», с Ренатой; натура, с которой писалась Рената, его героиня, влюбленная в Генриха, ею увиденного Мадизлем, есть Н***; графом Генрихом, нужным для повести, служили ему небылицы, рассказанные Н*** об общении со мной; он, бросивши плащ на меня, заставлял произвольно меня в месяцах ему позировать, ставя вопросы из своего романа и заставляя на них отвечать; я же, не зная романа, не понимал, зачем он, за мною – точно гоняясь, высматривает мою подноготную и экзаменует вопросами: о суеверии, о магии, о гипнотизме, который-де он практикует; когда стали печататься главы романа «Огненный ангел», я понял «стилистику» его вопросов ко мне.



Опрокидывая старый Кельн в быт Москвы, он порою и сам утеривал грани меж жизнью и вымыслом; так, москвичи начинали в его представлениях жить современниками Неттесгеймского мага, Эразма и доктора Фауста; местность меж Кельном и Базелем – между Арбатом и Знаменкой: черт знает что выходило, приняв во внимание, что Н*** подавала ему материал для романа и своею персоною, и фантастикой своих вымыслов обо мне и наших отношениях; вполне понятно его тогдашнее любопытство ко мне как художника-романиста; и вместе с тем понятна все растущая ко мне ненависть как к воображаемому противнику в чисто личной трагедии: Н*** со свойственным истеричкам талантом делала все, чтобы его раздражить; и с тем же талантом она делала все, чтобы мне нарисовать образ Брюсова в самом непривлекательном виде; она представляла себя объектом его гипнотических пассов; став между мною и Брюсовым, спутавши все карты меж нами, сама она запуталась вчетверо; и результатом этой путаницы явился морфий, к которому стала она – увы! – прибегать с той поры.

Вспоминая ужасную полосу своих отношений с поэтом, забегаая в будущие года, я должен сказать: и ненавидя временами меня, он делал все возможное, чтобы преодолеть свою «ненависть», сам зная, что ненависть – временный дурман; человеческий облик сквозь все «черные кошки» великолепно порой в нем побеждал; и я видел блеск его ясных до ослепительности, исстрадавшихся глаз, на меня обращенных; одну руку он как бы заносил надо мной; другою точно от себя же оберегал меня.

Только через полтора года открылась реальная мне подоплека его странного поведения, казавшегося немотивированным нападением, но с порывами к истерической, повышенной дружбе и близости; поняв, я оценил в нем то именно, что заставляло меня некогда больно вскрикивать, согласно его стихотворению.

Вскрикнешь ты от жгучей боли,
Вдруг повергнутый во мглу.

С осени 1903 года Брюсов вдруг стал предо мной как овейанный мглой: мы видались тогда очень часто:



в «Скорпионе», у него, у меня, у Бальмонта; чем более я вглядывался в него, тем более сквозь «литературу» меж нами выступала нелитературная, жуткая близость, которой корни – неведомы были.

При встречах в гостях он с таинственною интимностью подсаживался ко мне, отзывал в теневой уголок, усаживал рядом; и начинал говорить преувеличенные комплименты; вдруг, сквозь них, больно всаживал он, точно рапиру, подкалывая – «дьявольским» афоризмом или пугая намеком, что этот подкол может стать... и боем: на рапирах... Острейшие разговоры с Брюсовым, будто клещами впившегося в мой внутренний мир; меня осеняет вдруг мысль: состояние мрака, в котором я нахожусь, – гипноз, Брюсов меня гипнотизирует; всеми своими разговорами он меня поворачивает на мрак моей жизни; я не подозреваю подлинных причин такого странного внимания ко мне Брюсова: причина – проста: Брюсов влюблен в Н. И. Петровскую и добивается ее взаимности; Н. И. – любит меня и заявляет ему это; более того, она заставляет его выслушивать истерические преувеличения моих «светлых» черт; Брюсов испытывает ко мне острое чувство ненависти и любопытства; он ставит себе целью: доказать Н. И., что я сорвусь в бездну порока; ему хотелось бы меня развратить; и этим «отмстить» мне за невольное унижение его; вместе с тем: любовь к сомнительному психологическому эксперименту невольно поворачивает его на гипноз; он не удовольствуется разговорами со мной на интересующую меня тему; он старается силой гипноза внушить мне – любовь к разврату, мраку... Не понимал ничего: и – становилось жутко: я приходил к Н*** и рассказывал ей о невнятице своих отношений с Брюсовым; она, мрачно улыбаясь, не объясняя мне ничего, на другой день передавала мои слова Брюсову; он, зная о моих недоумениях, продолжал меня эпатировать; словом, – и я стал объектом его экспериментов; непростительно в Н***, что она в те месяцы не открыла мне ничего; но я не сужу ее: добрая, чуткая женщина! Но как погребенная заживо в истерию свою и в свой морфий.

Ее бреды (обо мне и о Брюсове) длились до лета 907; весною 1907 года читал я публичную лекцию; Н*** появилась



под кафедрой с револьвериком в муфте; пришла ей фантазия, иль рецидив, в меня выстрелить; но, побежденная лекцией, вдруг свой гнев обернула на... Брюсова (!) (вновь рецидив); в перерыве, став рядом с ним (он же доказывал Эллису что-то), закрытая, к счастью, своими друзьями от публики, она выхватила револьвер, целясь в Брюсова; не растерялся он, тотчас твердо схватил ее за руку, чтобы эту «игрушку опасную», вырвавши, спрятать себе в карман; Кобылинский увез Н*** домой, провозясь с ней весь вечер, а Брюсов, спокойно войдя ко мне в лекторскую, дружелюбно касался тем лекции.

Так он собою владел!

Он не так собою владел в роковую эпоху моих назревающих с ним и с Н*** бурь; в нем вскипали: то бешенство, то истерическое благородство...

Ходасевич. В малой аудитории Политехнического музея Белый читал лекцию. В антракте Нина Петровская подошла к нему и выстрелила из браунинга в упор. Револьвер дал осечку; его тут же выхватили из ее рук. Замечательно, что второго покушения она не совершила. Однажды она сказала мне (много позже):

– Бог с ним. Ведь, по правде сказать, я уже убила его тогда, в музее.

Этому «по правде сказать» я несколько не удивился: так перепутаны, так перемешаны были в сознаниях действительность и воображение...

Брюсов – Гиппиус. 16-21 апреля 1907. Москва.

...На лекции Бориса Николаевича (Белого. – И. Т.) подошла ко мне одна дама (имени ее я не хочу называть), вынула вдруг из муфты браунинг, приставила мне к груди и спустила курок. Было это во время антракта, публики кругом было мало, все разошлись по коридорам, но все же Гриф, Эллис и Сережа Соловьев успели схватить руку с револьвером и обезоружить. Я, правду сказать, особого волнения не испытал: слишком все произошло быстро. Но вот что интересно. Когда позже, уже в другом месте, сделали попытку стрелять из того же револьвера, он выст-



релил совершенно исправно, – совсем, как в лермонтовском «Фаталисте». И, следовательно, без благодетельной случайности или воли божьей, вы совершенно просто могли бы получить, вместо этого письма, от «Скорпиона» конверт с траурной каймой...

Белый. Осенью 904 года углубилась трагедия между мною и Валерием Брюсовым максимально... Происходят мои очень частые встречи и разговоры с В. Я. Брюсовым, носящие характер той остроты и напряженности, какую отмечено в то время мое общение с ним, встречи, оставившие в душе не одну тяжелую рану. Стиль нашего умственного поединка с Брюсовым носил один характер – я утверждаю: «свет победит тьму». В. Я. отвечает: «мрак победит свет, а вы погибнете»...

Трагедия же с Н*** углубилась для меня уже к весне 1904 года... Произошло то, что назревало уже в ряде месяцев, – мое падение с Ниной Ивановной; вместо грез о мистерии, братстве и сестринстве оказался просто роман. Я был в недоумении: более того, – я был ошеломлен; не могу сказать, что Нина Ивановна мне не нравилась; я ее любил братски; но глубокой, истинной любви к ней не чувствовал; мне было ясно, что все, происшедшее между нами, – есть с моей стороны дань чувственности. Вот почему роман с Ниной Ивановной я рассматриваю как падение; я видел, что у нее ко мне – глубокое чувство, у меня же – братское отношение преобладало; к нему примешалась чувственность; не сразу мне это стало ясно, поэтому не сразу все это я мог поставить на вид Нине Ивановне; чувствовалось – недоумение, вопрос; и главным образом – чувствовался срыв: я ведь так старался пояснить Нине Ивановне, что между нами – Христос; она – соглашалась; и – потом, вдруг, – «такое». Мои порывания к мистерии, к «теургии» потерпели поражение...

Но осенью 903 года уж переживал я «двусмыслия» «аргонавтических» громов побед: кошки черные с Брюсовым, близость, трагедии с Н***, ряд надрывов с «коммуною»...



Уж из души вырвалось стихотворение «Безумец», как вскрик:

Неужели меня
Никогда не узнают?

«Безумец» – последние строчки стихов, написанных для «Золота в лазури», уже набираемого в типографии Воронова; через дней девятнадцать – вскрик первых стихов, но уже отнесенных к сборнику «Пепел»:

Мне жить в застенке суждено.
О да: застенок мой прекрасен!
Я понял все. Мне все равно.
Я не боюсь. Мой разум ясен.

Ужасная ясность ума есть картина, представшая мне: рой «аргонавтов»: «В своих дурацких колпаках, в своих ободренных халатах, они кричали в мертвый прах, они рыдали на закатах»; а между последними строчками «Золота» и первой строчкою «Пепла» – явление Блоков в Москве, и не воображавших, какую боль нес я под радостью первой встречи; отсюда и нервность моя с Блоками; ведь я чувствовал себя немного хозяином, принимающим их, наших гостей в Москве; а между тем: мысль моя перевлекалася к Н***; за ней интриговал притаившийся Брюсов!

Печальная осень!

Грустно пронесся ноябрь; уже запели метели; снежинки хрустели хлопчатой массой; зиму я любил; а эта зима навевала недобрые мне предчувствия; я вчитывался в стихотворение Блока; и содрогался: точно оно написано про меня:

...Тот, кто качался и хохотал,
Бессмысленно протягивая руки,
Прижался, задрожал, –
И те, кто прежде безумно кричал,
Услышали плачущие звуки.

Заплакавший – я, самозванец, «Орфей», увидавший себя: в колпаке арлекина...



Белый – Брюсову. *Около 5 августа 1904. Серебряный Колодезь.*

...Сейчас почувствовал, что должен вам писать, не знаю почему. Меня иногда непроизвольно, неожиданно бросает к письму. Тогда все, что ни пишешь, выходит такое уродливое, «нервическое». Когда бываешь искренен, то откуда-то является «истерика». Простите, если усмотрите ее: но я хочу писать «вам», а не кому-нибудь иному, и от «себя», а не от «кого-нибудь другого». Сейчас я пишу не Валерию Яковлевичу Брюсову, не художнику, перед талантом которого склоняюсь, а кому-то позади этих «тоже» мне знакомых и близких «стоящему?» – Тому, Которого я *чую, вижу, предугадываю*, но с Которым не говорю; «То» или «Тот» молчит, – *но скажите, скажите*, а то все молчат. Скажите!

Мне безумно грустно: неужели иступленность счастья, которая иногда охватывает, не охватывает других? Тот восторг, который вырастает из боли, когда боль сменяет блаженная анестезия, «вино новое» – вино истекающей крови из тысячи ран, неужели этот восторг «ни к чему»? Когда все в жизни, начиная с «микроскопических» неприятностей и кончая крупными страданиями, оставляет в душе тысячи ран, которые принимаешь с улыбкой восторга, так что чем больше ран, тем больше восторга, – неужели всего этого еще недостаточно чтобы просиять? Почему мы не чудотворцы – мы, отстрадавшие, почему не можем мы исцелять чужих ран? Мне безумно грустно – тоскую. *Скажите, скажите – вы, молчащий!! Или не знаете?*

Ах, «ночью в тумане неясном так страшно, так страшно идти». Я *весь истекаю в крови*, не знаю за что, не знаю во имя чего, и когда из этого источника рождается блаженная уверенность и радость, неужели это только «эпикурейство»? Но тогда к чему эта ненормальная изошренность в чувствовании всего, что может *опечалить*, откуда эта гиперестезия боли? Мне так печально – скажите!?!

Почему малейший пустяк оставляет в сердце какой-то ужасный укол?



Как будто душа о желанном просила,
И сделали ей незаслуженно больно.
И сердце простыло, но сердце застыло
И плачет, и плачет, и плачет неволью.

А этих уколов тысячи каждый день. Но страшной страдания эта безумная надежда, что чем больше горя, тем вольнее, счастливей – почему «поется» в те минуты, когда «все разрывается». В результате сидишь в грустной оставленности израненный, оцепеневший, безгласный... Но окружающие говорят: «Хорошо вам, вы такой жизне-радостный!»

Разве тут нет какого-то вечного, постоянного оскорбления *«того»*, что стыдливо прячешь где-то в самом далеком уголке души...

Почему это – скажите? Почему *«тайна»* в человеке оскорбляется. Почему – соберутся люди, изнутри тонкие, – не пройдет двух минут, как уже все изъязвили друг друга. Ужас, ужас! И все люди извне кажутся прокаженными?

А когда видишь страдание и желаешь утешить – утешить, залить «горение» хотя бы своей кровью, – «миллион терзаний» не научает, как «нежно» окрылить бескрылого? С ужасом вижу, что пишу все глупости, не решаюсь пере-читать. Спешу запечатать письмо, чтобы не изорвать.

Простите за этот крик *«куда-то»*. Или, быть может, я не рассчитал *«пространство»* и слова мои не туда упадут, куда мне хотелось бы. Тогда вдвойне простите за тон.

Скажите хоть что-нибудь!..

Брюсов. После 12 августа 1904. Село Антоновка.

Дорогой Борис Николаевич! (И это слово – дорогой – примите не в «эпистолярном» значении, а в настоящем, первичном: как знак, что вы, что всякое приближение к вам мне желанно, дорого. И как жаль, что мы утратили возможность всегда, во всех случаях, все слова принимать в их настоящем смысле!) Дорогой Борис Николаевич! Я рад, что вы написали свое письмо мне; даже больше, чем рад, немного счастлив. Когда я читал его, я вдруг, как в молнии, увидел – вас, того вас, который однажды предстал мне «отмеченным» сразу навсегда, которого я опять иногда вижу



в ваших глазах, но далеко не всегда в общезнании, в ваших разговорах, статьях, даже стихах. Конечно, вы были неправы, обращаясь в своем письме ко мне с *вопросами*. Почему не я к вам? – и, правда, на эти вопросы скорее вам отвечать мне. И только моя горькая привычка молчать, пришедшая ко мне после десяти лет жизни, не дала мне бросить все те же безнадежные «зачем» вам. Думаю, «мы» все равно чувствуем их. И ваше письмо – были все те же, наши общие, одинокие мысли, которые, когда они вновь приходят, даже нет необходимости вновь продумывать, так как все их пути уже истоптаны раздумием.

И все-таки хотите ответ? Вернее не ответ, а грустное признание, мое признание, которое кажется мне тоже нашим общим. Вот оно. *Нет в нас достаточно воли для подвига*. То, чего все мы жаждем, есть подвиг, и никто из нас на него не отваживается. Отсюда всё. Наш идеал – подвижничество, но мы робко отступаем перед ним, и сами сознаем свою измену, и это сознание в тысяче разных форм мстит нам. Измена евангельскому завету: «Кто возлюбит мать и отца больше меня...!» Мы, вместе с Бальмонтом, ставим эпитафией над своими произведениями слова старца Зосимы: «Ищи восторга и испуга» – а ищем ли? то есть ищем ли всегда, смело, исповедуя открыто свою веру, не боясь мученичества (о! не газетных рецензий, а истинного мученичества каждодневного осуждения!). Мы придумываем всякие оправдания своей неправедности. Я ссылаюсь на то, что мне надо хранить «Весы» и «Скорпион». Вы просите времени в четыре года, чтобы хорошенько подумать. Мережковский лицемерно создал для самого себя целую теорию о необходимости оставаться «на своей должности». И все так. Двое разве смелее: А. Добролюбов* и Бальмонт. И я думаю, что у Добролюбова нет этих криков «зачем!» – хотя он и облегчил свою задачу, назначив себе строгие уставы, надев тяжелые вериги, которые почти не дают ему свободы двигаться. И Бальмонт при всей мелочности его «дерзновений», при всем безобразии его «свободы», при постоянной лжи самому себе, которая уже

* Добролюбов, Александр (1876–1945?) – русский поэт-символист.



стала для его души истиной, – все же порывается к каким-то приближениям, если не по прямой дороге, то хотя бы окольным путем.

А мы, пришедшие для подвига, мы, ищущие восторга, покорно остаемся в четырех условиях «светской» жизни, покорно надеваем сюртуки и покорно повторяем слова, утратившие и первичный и даже свой вторичный смысл. Мы привычно лжем себе и другим. И вдруг удивляемся, что не дано нам чудотворить, что не дано нам просить! Мы, у которых намеренно «сюртук застегнут», мы, которые научились молчать о том, о чем единственно подобает говорить, – вдруг не понимаем, что все окружающее *должно, обязано* оскорблять нас всечасно, ежеминутно. Мы самовольно выбрали жизнь в том мире, где всякий пустяк причиняет боль. Нам было два пути: к распятию и под маленькие хлысты; мы предпочли второй. И ведь каждый еще миг есть возможность изменить выбор. Но мы не изменяем. Да, я знаю, наступит иная жизнь для людей: не та, о которой наивно мечтал ваш Чехов («через 200–300 лет»), – жизнь, когда все будет «восторгом и исступлением», когда все люди будут как безумные, когда блаженство будет повергать наземь и отчаяние будет, как смерть. Нам не вместить сейчас всей этой полноты. Но мы можем провидеть ее, можем принять ее в себя, насколько в силах, – и не хотим. Те, кто когда-то уходили в пустыни Фиваиды, смели. Мы не смеем. Справедливо, чтобы мы несли и казнь.

Мне жаль, что всего этого я не могу сказать вам в тот самый час, когда писалось ваше письмо. Мне жаль, что пройдут дни – много дней – между тем, когда вы мне писали, и когда вы будете читать этот ответ или эту исповедь. Я обращаю ее к вам так же полно, как – верю – было обращено ко мне ваше письмо. И так же уверенно подписываю я свои страницы...

Белый. И вечер у «Грифа»... Блок о нем пишет спокойнейше: будто «С. А. Соколов произвел... впечатление фальшивое, вечер – был неудачен»... Я – думаю: он был разгром для меня, собирающий в фокусе всю безнадежную фальшь глупо стукнутых лбами людей, высекающих с пыхами «рит-



мы» и не понимающих, что эти ритмы лишь искры из глаз от нелепых ударов (лбом в лоб): с синяками и с шишками; в каждом проснулся свой «монстрик»; и, как «морской житель», на Вербе в Москве продававшийся, выскочил из разорвавшихся ртов, чтоб зажечь среди гостей – тоже гостем.

И Блок отмечает ужаснейшее настроение Нины Петровской (писательницы); понимаю ее: ее муж, Соколов, наорав всякой дряни рифмованной (кровь-де его от страстей так черна, что уже покраснела она!) – с'кон апэль истуар, – ррадикально сметнувши поморщем брезгливого дэнди от носа пенснэ, пузырем надув щеки (набили гагачьего пуха), – рукою на стол:

– «Стол!» – таращась на Блока глазами, как пуговицами ботинок.

– «Что стол?»

И басищем, таращась на Батюшкова, как столпом Геркулесовым, бух: в лоб!

– «Глядите!»

И все, растаращась на стол, запыхтели: а стол – ничего; он – стоял.

– «?!»

Увидя, что ждут объяснения, присяжный поверенный Соколов, только что попавший к спиритам, с достоинством поправляя пенснэ и сконфузившись своего жеста, басил:

– «Стол – гм: но мне кажется, в нашей квартире с недавнего времени...» Все стояли и ждали:

– «С недавнего времени начались... стуки». Он разумел – «спиритические».

При чем стол? Стол, по-видимому, не собирался подпрыгивать: стол, покорный осел, тащил грузы тарелок, и фруктов, и вин. Писательница Петровская, – та даже за уши схватилась от такого бессмысленного безвкусиа: как оскорбленная оплеухой, дрожала; стыдно видеть своего мужа таким.

Мы стояли как на иголках; сели как на иголки; и весь вечер томилась; а тут возник пренелепейший разговор; присяжный поверенный Соколов высказал свои «мистические» воззрения, на которые не отзывался никто, кроме «божьей коровки», младенца с сединками, Батюшкова;



тот, схвативши кого-то за руки и патетически дергая руки, – то подбрасывал их себе под микитки, то бросал их себе под живот, с риском их оторвать: для выражения сочувствия к захваченным рукам и к присяжному поверенному Соколову.

А Мишенька Эртель, блеснувши зеленым глазком, как кукушка облезая, закачался и – задрожал усиным огрызком, выражая свой полный восторг Соколову.

– «Сейгей Аексеич схватий – гы-ы-ы! – нам быка за гога!» Соколов, надевая пенснэ: с томным, бархатным басом:

– «Спасибо, родной: вы меня понимаете!» Я – чуть не в пол, как Петровская: «аргонавтический» фейерверк иль –

Все кричали у круглых столов,
Беспокойно меняя место.

Тот вечер сыграл в моей жизни крупнейшую роль, провалив навсегда, окончательно, «стиль», из которого я хотел высечь мелодию искристого социального тока...

Проваливался в этот вечер перед Блоками «аргонавтизм»; я сам перед собою давно провалился: в истории с Н***...

Нина – Белому.

Дорогой Борис Николаевич,
вот мучительно жду Вас, замираю при каждом звонке, и какой-то больной истомленный призрак в душе с отчаянием ломает руки... Мне нет к Вам даже тех путей, которые так доступны и легки были когда-то – через пространства, через мир... Вы и так не хотите меня!

Ах, отчего мы так далеки и не знаем друг друга и не слышим голосов?

Если Вы ушли просто и обычно, как уходят люди, потому что все лежало лишь здесь, в ярких, но быстротечных переживаниях, – я понимаю конец такой любви и знаю ее жестокие непреложные законы. Скажите, что это так, – и пойму я и схороню последнюю иступленную надежду. Тогда, знаю, в душе проснется такая же здешняя гордость, и она умертвит все слова, все замкнет в молчаливую муку. Но если другое... Ведь я все-таки не знаю ничего,



и Вы – странное Существо, живущее вне жизненных законов. Моя любовь к Вам прошла великий искуc, великое страдание. И, верьте, я могу отречься от всей ее здешней яркости легко и радостно, но только бы быть с Вами, опять почувствовать Вашу жизнь рядом с своей. О, слишком много горя! Разве можно жить всегда в такой напряженной безысходной тоске?

Вы отвергали меня, отрекались, уходили, а во мне ни на миг не слабела все та же беспредельная любовь, на всю жизнь, на всегда до последнего часа, когда я так же буду звенеть все о Вас и для Вас.

Если нет в Вас той роковой непобедимой отчужденности, которую оставляет здешняя ушедшая любовь, если Вы сами, сознательно, во имя другого чего-то создали ее, – я зову Вас с последней силой отчаяния!

Ну посмотрите мне в глаза, слушайте душу, – нет там ни одного туманного, грешного желания, лишь вечный Обет, какие бы муки ни легли на пути. Я уже не знаю и не чувствую себя. Во мне только Ваша воля, Ваша жизнь и страдание без Вас...

Белый. Мои отношения с Н*** заострились до невозможности видеться; черными кошками падали тени; то – Брюсов, не видимый мною, просовывал ухо в мою биографию; стены действительно уши имели: все, что говорилось у Н***, в тот же день становилось известно и Брюсову; кроме того: я имел объяснение с матерью, внутренним ухом услышавшей фальшь моей жизни; так что: отношения с Н*** были вдруг атакованы с двух сторон; сам уже видел себя неприглядно... Разразилась война...

Все это взвивало в душе точно смерч полевой, перемешанный с колкой, секущей меня гололедицей; и никогда не забудется мартовский день, когда я ощутил, что мне некуда деться (и дома – одни неприятности); встав в сквозняки у скрещения двух переулков, я думал: «Куда?» И увидел, что – некуда; сыпались льдяные иглы на нищего духом.

И вдруг мне блеснуло: бежать, скорей, – в Нижний, к единственному человеку, который не шут, не ребенок



и не «скорпион», – человек, понимающий муж, не романтик: к Эмилию Метнеру*!..

Неразрешаемая чепуха с Н***, вконец натянуты мои отношения с Брюсовым: этот последний, все более ревную меня к Н***, меня ловил у Бальмонтов, в «Весях»: и, раздразняя афоризмами, делаясь «чертом», он мне намекал, любезнейше, на поединок, возможный меж нами; еще я не знал тогда о его отношениях с Н*** (сама настрачивала его на меня, а потом ужасаясь себе): раз его, возвращался с лекции... я встретил; он, выпучив губы, сжимая крюкастую палку, сидя в Александровском саду на лавочке и вперяся в красные листья, которые с мерзлой пылью крутились: в косматый туман; увидавши меня, он опять намекнул мне о возможности нам драться; и мне даже показалось, что он поджидал меня здесь.

Скоро он мне стихи посвятил, угрожая в них: «Вскри-нешь ты от жгучей боли, вдруг повергнутый во мглу»... А бумажку со стихами сложил он стрелой, посылая их мне; я ответил: «Моя броня горит пожаром! Копье мне – молнья, солнце – щит... Тебя гроза испепелит».

Скоро встретился я с ним у Бальмонта: он, хмуро ткнув руку, тотчас исчез; Н*** потом мне рассказывала, что он видел сон: его-де протыкаю я шпагой.

Веселенькая, в общем, осень!..

Главная же антиномия была антиномией между личной жизнью и жизнью в идеях; именно в этом злосчастном году рухнула надежда моя гармонизировать свою жизнь; «творец» собственной жизни оказался банкротом в инциденте с Н***, поставившем меня лицом к лицу с Брюсовым, покровителем моих литературных стремлений, наставником в области стиля, идейным союзником на фронте борьбы символистов с академической рутинной; черная кошка, пробежавшая между нами в 1903–1904–1905 годах, разрослась в 1904 году просто в «черную пантеру» какую-то; если принять во внимание, что осенью 1904 года Брюсов

* Метнер, Эмилий (1872–1936) — российский публицист, издатель, литературный и музыкальный критик, старший брат композитора Николая Метнера.



меня ревновал к Н***, а в начале 1905 года вызвал на дуэль, то можно себе представить, как чувствовал себя я в «Весах», оставаясь с Брюсовым с глазу на глаз и не глядя ему в глаза; мы оба, как умели, преодолевали себя для общего дела: работы в «Весах», ведь нас крыли в газетах, в журналах, в «Литературно-художественном кружке»; и я должен сказать: мы оба перешагнули через личную вражду, порой даже ненависть – там, где дело касалось одинаково нам дорогой судьбы литературного течения: под флагом символизма; и в дни, когда Брюсов слал мне стихи с угрозой пустить в меня «стрелу», и в дни, когда я ему отвечал стихами со строчками «копье мне – молнья, солнце – щит», и в дни, когда он вызывал меня на дуэль, – со стороны казалось: все символисты – одно, а Белый – верный Личарда своего учителя, Валерия Брюсова...

В Москве я резко рву все с Ниной Ивановной...

Нина – Белому.

31 января 1905. Москва.

Я не знаю, что дает такую власть одному над душой другого. Тайна эта так же велика и свята, как тайна смерти. Она владела миром во все века. И думаю я, что Христос пришел не отнять эту радость, а только восполнить и освятить во имя Свое.

Ты же разрываешь, нарушаешь, делишь, вместо того чтобы принять ее святую полноту.

Ты говоришь обидные слова – «монополия на христианскую любовь»...

Должно быть, не знаешь еще, что любовь все отдает и ничего не требует взамен и ничем не хочет владеть. О, я знала все эти твои слова, еще когда ты уезжал. Уходишь?.. Уходишь опять? Прощай.

Ходасевич. О, если бы он просто разлюбил, просто изменил! Но он не разлюбил, а он «бежал от соблазна». Он бежал от Нины, чтобы ее слишком земная любовь не пятнала его чистых риз. Он бежал от нее, чтобы еще ослепительнее сиять перед другой, у которой имя и отчество и даже имя матери так складывались, что было символически очевидно: она – предвестница Жены, облеченной



в Солнце. А к Нине ходили его друзья, шепелявые, колченогие мистики, – укорять, обличать, оскорблять:

– Сударыня, вы нам чуть не осквернили пророка! Вы отбиваете рыцарей у Жены! Вы играете очень темную роль! Вас инспирирует Зверь, выходящий из бездны!».

Так играли словами, коверкая смыслы, коверкая жизни. Впоследствии исковеркали жизнь и самой Жене, облеченной в Солнце, и мужу ее, одному из драгоценнейших русских поэтов...

Нина. Мы познакомились весной. Поздно, часов в 11, пришел А. Белый на один из грифских вечеров. Вошел точно пробираясь сквозь колючую изгородь Вид его меня взволновал второй раз, но, храня пристойнейший вид «хозяйки» дома, я пошла к нему навстречу. Помню, что захотелось иметь мне в руках какие-то необычайные «дары». Но какие? Вот разве ландыши в вазочке на столе Грифа, ранние ландыши ранней и дорогой московской весны. Он вдел веточку в петлицу, не удивляясь, точно знал, что так будет, и с ней весь вечер спорил с кем-то о Канте.

Эти ассамблеи в «Грифе», – особенно одну из них, А. Белый описывает, искажая перспективы. Неправда, – пошлости не было. Половину из присутствующих сослав пял его же собственный «штат», его «свита»... Бальмонт, если быстро не превращался в «чудовище», оставался Бальмонтом при всех условиях, «лунноструйные барышни» в то время не переступали моего порога – «грифята» же держались более чем скромно. Свою роль несомненно эти сыграли, хотя бы потому, что в «Грифе» можно было часто и интимно встречаться людям, так или иначе нуждающимся друг в друге и в «безутешной тьме» тех общественных лет, они казались оазисами.

И вот, наконец, вопреки всем трениям, материал для первого альманаха из редакторского портфеля отправился в типографию. Квартира наша наводнилась гранками, мы обращались с ними бережно, любовно, преувеличенно внимательно, как мать с первенцем-сыном.

Страстно спорили об обложке. Хотелось, конечно, «поразить» модернизмом, но, как всегда, первый блин вы-



шел «комом». Да простится полное отсутствие вкуса тому, кто присоветовал Кречетову выбрать для пеленок новорожденного грязно-серую, инертную, тотчас же отставшую от корешка самую обыкновенную «сахарную бумагу».

К тому же прекрасный дурновский гриф плохо вышел в клише, растекся чернильными кляксами, оплыл.

Ну, ничего! Многие печатались в первый раз и справляли литературное рождение.

Манифест Бальмонта произвел впечатление даже во враждебных станах.

Зазвучали новые имена и, как говорится, – «что написано пером, то не вырубишь топором»; новоявленные таланты гуськом побрели за С. Кречетовым в Литературно-Художественный Кружок в качестве оппозиционного элемента...

Альманах «Гриф» вышел. Знаменательный день был шумно отпразднован на Знаменке. Появился он и в продаже, пошел по рукам и, может быть, мне, второй после В. Брюсова, пришел вопрос – «зачем».

Какие школьные признаки, еще не выявленные «Скорпионом», в нем отмечались? Никаких решительно! Приемлемым и желательным в «Грифе» являлось все новое, яркое, самобытное, бесстрашно разбивающее оковы обветшалых литературных форм. Но разве не об этом же ратовал В. Брюсов, с первых лет своей деятельности осмеиваемый на всех перекрестках? Об этом же самом, только с той разницей, что, совершив тяжелую подготовительную работу, тяготел слить струю русского символизма с европейской культурой и требовал от своих учеников положительных знаний, эрудиции и настоящей работы, – чего совершенно ни с кого не спрашивал любезный, ищущий дешевой популярности редактор «Грифа».

На страницы «Весов» и «Северных цветов» попасть было нелегко, и потому для каждого молодого сотрудника, прошедшего через рукавицы В. Брюсова, они становились золотыми скрижалями.

Валерия Брюсова сжигала мечта об увенчании русской литературы в веках и, «гордый, как знамя, острый, как меч», он шел по пути, им сознательно намеченному,



вынося на своих плечах «Весы» и весь «Скорпион» до последней гранки. Даже вся техническая часть проходила через его руки.

В программе же «Грифа», кроме произведений немногих сотрудников «Скорпиона», утопающих в неприятной пестроте ненужных имен, не было ничего нового...

«Гриф» при его гордых замашках не стал филиальным отделением «Скорпиона», а это было бы вовсе не плохо и даже полезно для расширения одного сплоченного фронта, в то время очень нужного. Если бы не стихийный К.Бальмонт и республикански настроенный С. Кречетов, а «академический» Брюсов был бы хотя его даже отдаленным руководителем, дело бы по-настоящему и пышно процвело.

Стоя к «Грифу» ближе всех, я с первых же шагов поняла, какой червь выест, может быть, совершенно незаметно для публики, слабую, но тогда еще живую ткань сердцевины его.

Разговор об этом повел к внутреннему расколу между мною и мужем-редактором, потом к бесполезной борьбе и, наконец, к открытой вражде.

Для непосвященных, для газетных церберов... свирепо лающих со всех эстрад (как и для московских обывателей), между «Скорпионом» и «Грифом» не было разницы. Для них просто-напросто развернулся ненавистный декадентский фронт – усилилось растлевающее литературное влияние. Такое ошибочное приятие «Грифа» всячески способствовало славе его, сначала, конечно, скандальной, а потом и признанию, как довольно крупного культурного начинания...

Вещи, отвергнутые «Скорпионом», радушно принимались «Грифом», оскорбленные самолюбия выплакивались в редакторскую жилетку. Терпимость С. Кречетова приобрела широкую популярность, особенно когда возник «Перевал», окончательно загубленный журнал, несмотря на большие возможности.

Что делал в что время Брюсов? Он пока только равнодушно отмахивался от шумихи, как отстраняет могучей лапой большой пес шумливого надоедливого щенка. Впоследст-



вии он даже появился на одном из наших вечеров. Очень сухой, корректный, выслушал несколько стихотворений, один мой рассказ (стыдно вспомнить, до чего плохой), не высказал никаких суждений, любезно согласился остаться ужинать, прочел сам несколько вещей, все время оставался как капля масла на воде, и скрылся на полтора года.

Меня всегда влекло к синтезу и стилю. Беспешность «Грифа» вызывала поэтому досаду и сожаление, горшее, чем отрицание. Все содержание моей тогдашней новой веры определялось принятым на глубине искусства зрением В. Брюсова, Пафос «Грифа», его стучание в открытые уже двери, размахивание знаменами в неподходящие моменты, полубарственный эстетизм его, – все это мучило и раздражало.

Нужен ли был «Гриф»? Спрашиваю я через двадцать лет. И отвечаю: «Как боевой клич – положительно нет, как издательство – да... Да, роль «Грифа» в эпоху расцвета русского символизма была только третьестепенной.

Альманах вышел. Редакторский портфель вздулся материалами для издательства. Наступило лето. Отшумели вечера, рефераты, эрмидажи, премьеры «Художественного театра». Люди накричались, напорились, устали толпиться и задумались о дачах. Как же без дачи? Быт брал свое.

Бальмонт, накуролесивши за зиму, буржуазно уезжал с семьей куда-то на Балтийское море, кажется в Меррекюль. А. Белый – в свое имение Серебряный Колодезь... остальные где-то рассыпались в парках, как молодые воробьи.

Мне предстояла унылая перспектива ехать с С. Кречетовым второй раз «на кулички» – подмосковный артиллерийский лагерь «Клементьево», где он отбывал последний срок воинской повинности.

Клементьево все же, после этой оглушительной зимы, казалось мне одним из блаженных островов Таити. Туземцы его не были искушены ни в утонченностях символизма, ни в декадентской мистике, а мне именно в таких условиях хотелось собраться с мыслями, окончательно выявить себя и высвободить из хаоса душевное ядро. И как это ни странно мне сказать теперь – отдохнуть.



Сейчас я себя спрашиваю – от чего? Улыбаюсь через 20 лет себе самой, томной в движениях с полудня до рассвета, распускающей шлейфы хитонов по салонам, театрам, выставочным павильонам, эстрадам, по ночным дорогим кабакам.

К лету выветрился из комнат ядовитый аромат неизбежных по тому времени тубероз.

Наша историческая Матрония «элементал», как звала я ее на авгурском диалекте, а на деле просто дореволюционная белая рабыня, неистово и восторженно усыпала нафталином мебель и наши зимние звериные шкуры. Ее истомили «ночи безумные, ночи бессонные» эстетствующих хозяев, попросту говоря, груды тарелок, батареи стаканов и рюмок, полночные визиты поэтов, рвущие душу звонки Бальмонта на рассветах.

Все... потускнело, полиняло, обескровело.

Неприятно официальной и растерянной внутренне была моя последняя встреча с А. Белым.

Раскаленно сухой, режа синими лезвиями глаз, складывая в банальную улыбку серпик детского рта, он желал всего хорошего и счастливого пути. В пошлую кожуру светской корректности А. Белый часто укрывался, словно улитка в раковину. Мы обещали писать и встречаться потом в Разумовском, где наняли дачу с июля.

«Кулички» было прекрасное подмосковное село Клементьеве, широкое и раздольное. Таким мне почему-то представлялось знаменитое «Мокрое» Достоевского.

Верстах в трех – лагери, артиллерийский полигон, – в сыровато-душистом лиственном лесу. У нас была маленькая дачка и кухня – идиллическое царство изнемогшей от московских утонченностей Матронии.

Туземцы меня встретили (это было второе пребывание в Клементьеве) с соответственными дарами: в зальце цвел сиреневый сад. Кудряво-лиловые безлиственные деревца, вывернутые с корнями, стояли в ведрах, в кадках, в чем попало. Их привезли из настоящего сиреневого рая: верстах в четырех от нас доживал век дореформенный помещичий дом. Уже ничего не осталось от барских угодий, кроме фасада с покрывившимися колоннами, старика сторожа да



буйно-лилового океана, заглушившего все, дурманящего последние проблески сознания в его отмирающем мозгу.

Я часто ездила туда на закатах. В ветреные вечера бледно-лиловые волны вставали гребнями, бушевала невыразимая стихия. Ничего подобного я не видала в жизни. Дальше, из-за двух тонких зонтичных сосен на пригорке, тоже волнами золотыми, нестерпимыми, разливалась бархатисто-закатная пыль.

Пронизала вершины деревьев
Желтобархатным светом заря
И звучит этот грустный напев:
«Объявись, – зацелую тебя».

А. Б.

Напротив нашей дачки, через широкую дорогу под навесом вековых лип белели стены офицерского собрания. Дуплистые старики с грузным кряхтением падали почти каждую неделю. В аллеях стоял приятный густой запах древесного тления, внизу под крутым откосом меланхолически синела Москва-река.

Умиряющая красота быта и природы вызывала в душе напетые за зиму строфы:

Есть в русской природе усталая нежность...

Но обитатели прекрасных «куличек» всего менее к ней оказывались восприимчивыми.

Забубенно откалывал духовой оркестр вальсы и разные модные танцы, на террасе звенели шпоры, в трансах кружились розовые, белые и голубые дамы по охающему паркету и к рассвету усталыми сильфидами разлетались по супружеским и родительским кровам.

Тогда начиналось самое главное... Налитые пивом и водкой, их кавалеры, мертвенно синие кителями, слонялись под черными многодумными липами, нечленораздельно рычали и завывали совсем не на бальмонтские темы.

С Кречетовым мы расходились все дальше и бесповоротнее. Всякий обсуждаемый вместе проект обложки,



шрифта, даже технических деталей служил причиной ожесточеннейших ссор.

Художник Владимиров, который сделал две-три обложки для намеченных изданий, казался мне тяжеловесным иконографом, совершенно не соответствующим стилю и духу издательства.

В «Весак» и в «Скорпионе» работал тогда Феофилакт^{*}, тонкий изящнейший график, некрупный, но гибкий талант, в высшей степени одаренный чувством стиля вообще. Получался минус... Издания «Скорпиона» печатались на прекрасной бумаге, прекрасными шрифтами, были технически совершенны. Наши разлетались в руках. Никогда я не могла добиться, почему это. От всякого моего совета и замечания, по выражению С. Кречетова, пахло «брюсовщиной». Оставалось пока что молчать, выбрав тот худой мир, что лучше доброй ссоры.

Только в сиреневом раю, да под стонущими от дряхлости липами «куличек» забывала я и об обложках и вообще о вкусах С. Кречетова, улетавшего куда-то на долгие часы на велосипеде, и сосредоточенно доживала последние дни моего небытия.

Жизнь благополучно заканчивала свои маленькие бытовые циклы. В июле, покончив с «Куличками», мы переехали на дачу в Разумовское. Дача эта, зачем-то для двоих двухэтажная, пустынная, тоже не обуютилась, как квартира на Знаменке... Перед террасой, честь честью обывательский палисадничек. Не хватало стеклянного шара и вечной жаровни с варением. Несколько чахлах березок да хилая клумба. Цветов в нее насадили множество, но они почему-то все ударились в одни листья или погибли. Перед загородкой небольшая русская, невылазная даже в засуху, дорога.

Поселился у нас Рославлев^{**}. Часто приезжали Гофман^{**}, Койранский^{**}, чуждый всякому декадентству мой старин-

* Феофилакт, Николай (1878–1941) – художник-график московского Модерна, символист.

** Рославлев, Гофман, Койранский – литераторы второго-третьего ряда.



ный друг Б. А. Фохт* и, совсем некстати, некий артиллерийский офицер В., большой любитель коньяку.

Сырость вокруг была страшная, дачники непрерывно чихали, сморкались и проклинали свою судьбу. А меня радовали необычайно красивые ночные туманы. Седыми кудрями, прозрачными белыми лентами спадали они с дряхлых ветвей, расстилались простынями по полянам, водили хороводы вокруг пруда. За туманами, за обостренной тоской небытия, вставал лазурно-окий лик. Далекий голос пел на мотив цыганского романса:

Вот скитался я долгие дни
И тонул в предвечерних туманах
Изболевшие ноги мои
В тяжких ранах.

Зовами к несказанному шумели ивы на плотине: «Объявись, зацелую тебя...»

Уклон мой к декадентскому мистицизму и к «аргонавтизму» был скучен окружающим.

С. Кречетов, Рославлев, Гофман и перерафинированный Койранский всего менее интересовались «пришествием нового Христа». С ними бывало весело по-прежнему, с ними бывало приятно по уши погружаться в стихотворные волны. Тогда мы не знали, «что значит хлеб, вода, дрова» (М. Кузмин). И жили «лучшими словами»... Удачная строчка, новая рифма, выход новой книги волновали, как решающее событие жизни.

А. Белый писал мне длинные письма (часто, как потом убедилась, отрывки из готовящихся к печати статей). К сожалению, ни одного я не сохранила. После нашего разрыва, весной 1905 года, мы с В. Брюсовым привязали к этим письмам камень и торжественно их погрузили на дно Саймы. Так хотел В. Брюсов...

Белый – Нине.

Весна 1903. Москва.

Многоуважаемая Нина Ивановна,
отвечаю Вам столь же откровенно и искренно,
столь же просто, как и Вы мне писали. Я очень ценю те

* Фохт, Борис (1875–1946) – философ и логик, переводчик философской литературы.



побуждения, которые заставили Вас так писать. С своей стороны я повторю, что не питаю лично к Вам ничего *тяжелого, смутного*, и весь вопрос сводится к тому, приятно ли Вам меня видеть.

Вообще мне будет трудно ввиду занятий бывать часто у Вас и Сергея Алексеевича, но *все же* от времени до времени мне было бы приятно заглядывать к Вам, если, *конечно*, Вам не будет это неприятно...

9-го августа 1903. Серебряный Колодезь.

...Это ужасно, что Вы пишете обо мне. Я такой же борющийся, порывающийся, как и все. Не считайте порывание к голубому за уже совершившееся ухождение. Ведь и разбойник, и мытарь должен так говорить о голубом пути. Ведь иная речь о небе показатель отчаяния, а отчаяние – хула на Духа Святого. Более чем кто-либо я знаю о *«безобразных чудовищах, стерегущих эту дорожку»* (это из Вашего письма). Ужас и хаос – имя этим чудовищам, и более всего мне приходилось и приходится бороться с ними и предупреждать. Но что ужас и хаос не безбрежны, что безбрежность их – оптический обман, показатель еще незнания нами сущности этих ужасов, показатель остановки внутреннего пути в черте хаоса – *это я действительно знаю*. Это сознание и снимает излишнее бремя, тяжесть, ужас, уныние с нашей души, показывая, что если все разбивается об ужас, *то сам ужас еще не неуязвим*.

Видя со всех сторон наплывание мрака, мы в состоянии сами *ударить на мрак*... Если Вы хоть раз дерзнете вместо убегания от ужаса сразиться с ним хотя бы молитвой, Вы увидите в душе Вашей дуновение чуда. *Невидение* в жизни чудесного есть действие серого тумана, о котором мне писал Сергей Алексеевич. Но туман этот – *в наших глазах*. Проникновение в душу Истины зажжет эту дымку – фату уныния – миллионами *желто-красных* огней, создаст в глазах картину мировой горячки (*«Горячка пришла»*... См. Кнут Гамсун *«Драма Жизни»*). Но и это обман. Не обман – сонно-сладкая белизна усмиренных среди голубых всплесков волн *«скачущих в жизнь бесконечную»*



(Откр.) – голубых отражений бездонно детских глаз, которые и создают мираж неба.

Вообще чем больше спадает повязка с глаз, тем ближе видишь, что первоначальная картина множества сущностей (идей), которая так пестрит и тешит взор *впервые проснувшегося к Жизни из жизни*, – тоже обманчива. Все узнанное еще недавно *как сущность* оказывается только более тонко прикрытым отношением явлений. Такой образ характеризует мои слова: относительность явлений имеет складки, ложится складками. Начало складок и есть та первоначальная относительность, которая скоро всем становится явной. Тогда линия углубления складок начинает казаться сущностями (такова сущность отчаяния, черта, хаоса, ужаса, бреда, безумия, Души мира, ангелов). Но и это оказывается только покровами, случайно приблизившимися к сущности благодаря именно не прямой, а складчатой линии относительного. Тут-то и начинается искание сокровенного в сокровенном (эзо-теризма в эзотеризме).

Обнаруживается, что я знаю лишь себя, да еще я должен знать Того, кем я обусловлен. Это познание открывается в молитве и любви к Богу. Вот единственно неотносительное знание. Каждый человек есть *нечто аналогичное* мне, обязанное познавать Бога. Поскольку мы объединены этой идеей, постольку возможно общение между нами.

Вы противопоставляете мистической влюбленности в Душу Мира земной образ любви. Но если сама Душа Мира есть только углубленная относительность, то насколько относительна эта земная любовь. Если влюбленность в Душу Мира есть *последнее звено* всякой земной любви, выход из Нее к Богу, то перенесение ее на земной образ есть величайший ужас – астартизм, который и пытается провозгласить Розанов. Нет, лучше пускай уж земная любовь не претендует на небесность. Пусть это будет *необходимым* язычеством (той почвой, на которой выросло христианство). Ведь окончательно осуществиться полнота христианских прозрений может лишь тогда, когда будет «*новая земля и новое небо*», пока же оно – воинственно, временно, оно всегда еще неокончательно, с язычеством. Мысль о языческом характере земной любви (если эта любовь не абсолютно



мистического оттенка) предохранит от источника величайших, духовных срывов – компромисса между Божественной и небожественной любовью. Мы устали от компромиссов. Неужели *видение* должно опять быть связано?.. Нет, величайшее прозрение мира не должно приближать к серединности. Нет, в христианстве воистину вознесение личности. Трудность да победится молитвою и любовью ко Христу!..

21 июня 1904. Серебряный Колодезь.

...Милая, милая... Люблю, молюсь, радуюсь на Тебя. Целую Твой образочек.

О, какая радость мне увидеть Тебя, милая, милая.

Заглянуть в Твои глаза, и без слов улыбаться, улыбаться...

Милая.

Христос с Тобой – Он с Тобой, и я спокоен...

Первая половина июля 1904.

...Ты пишешь о том, чтобы я был счастлив, и тогда *мое* счастье станет Счастьем мира. Никогда не соглашусь с этим, потому что ныне все мое счастье в том, чтобы раствориться в общем, мировом счастье. Быть гражданином мира, спокойно и сознательно *трудиться* на пользу и благо человечества – *первая* ступень этого «моего» счастья, остальные ступени приложатся или не приложатся к «*этой первой*» ступени – не могу знать, да и знать не нужно. Исполнять мне свой долг труда и работы – необходимо. Все мы связаны в одно великое звено, и наша задача – уяснить, утвердить и не обрывать звенья, которые нас связывают друг с другом. Верю – мы связаны для Вечности. Верю, что нет нас, отдельных, обособленных, а все мы, поскольку обращены к Вечности, обращены к Единому Источнику, давшему всем единый закон свой, исполняя который приближаемся с Верой, Надеждой, Любовью к Нему – Источнику всякой любви. Я не понимаю любви к людям, как таковым; любовь к Богу в людях должна выражаться 1) укреплением существующей, данной Богом связи между собой и людьми, т. е. *Законом*, 2) продолжением этой связи



благодатью. Так что *благодать* и закон обусловлены друг другом. Нет *благодати* без закона. Нет закона без *благодати*. Закон потому и закон, что *определяет* и, *определяя*, необходимо ведет к отречению. Но все *отрекаются во Имя*, Это – необходимая, безусловная стадия: ее нельзя обойти. Отрекаются, умирая (война, Порт-Артур). И в отречении-то Истинная Свобода. Идеал всякого развития – переплавить минутную «*вспышку*», «*восторг*» в *инстинкт*, *привычку*, ибо только так ближе подойти к вечной свободе в Господе. Вогнать *закон* в инстинкт значит сделать его *благодатью*. Да, это так!

Много работаю, читаю. Верю – мы близки друг другу. Радуюсь близости. Да, будет!

Христос с Тобой! Он – радость радости, начало и конец, закон и благодать...

Нина. Когда-то расшифровать эти строчки было для меня целью бытия. «Когда душа стонет, как схваченная ветром березка...» - писал он.

Над головой трепетали чахлые березки, охваченные ветром, дрожали мелкой дрожью, точно подрубленные топором под самые корни. Золото поздних летних дней расплавленным током пронзало лазурь. А. Белый научил меня «прозревать» за явлениями косного земного мира.

Рославлев и Кречетов, сидя тут же за яствами или покуривая на ступеньках, блаженно купались в жаре и запуски читали стихи. Гудели точно два шмеля о своем, мне не нужном. От «жемчужно-грустных» зорь ложились, верно, на мое лицо непонятные им отсветы. Улыбались скептически, а Рославлев, глядя поверх пенсне стеклянными своими глазами, говаривал: «В транс впадаете? Не доведет Вас до добра Ваше новое христианство».

Не довело. Ну, так что же? Я не жалею. За житейским здравым смыслом я никогда не гналась.

Вскоре наша дачная идиллия нарушилась самым неожиданным образом. Рославлев и Гофман, первый из органического своего пристрастия ко лжи вообще, второй, верно, от юности, похвастались где-то и к тому же одновременно «моей взаимностью». Узнал об этом первым



Саша Койранский и на улице ударил перчаткой Гофмана по лицу. Рославлева судил сам С. Кречетов у нас на террасе за утренним чаем в моем присутствии. Совестно, противно было. Вдруг вскрылась целая эпопея хлестаковщины. Завопил газетчик Ермилов, недавно женатый и живший тут же через несколько дач. Рославлев клеветнически посягнул на честь его жены – совершеннейшей курицы и ни на что подобное даже во сне неспособной. Поползли как скользкие увертливые гады сплетни из Москвы, загалопировали вскачь 40.000 курьеров.

Этот эпизод я опускаю.

Комната наверху (Рославлева) опустела. Исчез навсегда и Гофман. Черные августовские ночи уже заглядывали в незанавешенные наши почему-то окна. С. Кречетов куда-то исчезал на велосипеде. Частым гостем моим был только Б. А. Фохт.

В последнем письме А. Белый писал: «Приеду с Семеновым (поэт) послезавтра».

У А. Белого только что умер отец, и это меня смущало. Как найти не фальшивый тон с человеком в горе? Как говорить с опечаленным неожиданной потерей? Я ждала его грустного, одним словом, огорченного по-человечески.

И в первый раз безмерно удивилась. Чуть похудевший, но светлый, какой-то по-новому осиянный, он рассказывал:

«Папа умер в нашей городской квартире, внезапно. Я остался потом один с ним. За стеной стоял гроб его... Я думал, как хорошо... смерть, как просто!..» И улыбался серпиком детских губ, удивленно вскидывая загнутыми ресницами, точно спрашивал: «Ведь правда, хорошо? Смерть, когда «Лежу в цветах онемелых, гиацинтах розовых, лиловых и белых»...» Говорил о мертвом, как о живом, о вечном покое, как о вечной жизни, о могиле, как о вершине, озаренной утренней зарей. День этот, с двух часов, шел довольно томительно. Было ясно – кто-то кому-то мешал. Мне не понравился поэт Леонид Семенов. Сдержанный, замкнутый, почти надменный, казался он мне начиненным очень крепко вросшими и очень чуждыми мне догматами. Прочел стихи.



Я в пустыню иду и свечу восковую несу.

Они мне ничего не сказали. Не понимала, зачем Белый привез его с собой. Зачем вообще он «водится» с народниками (им и был Семенов), с теософами, спиритами, меценатствующими дамами, превратившимися в пыль профессорами и т.п.

Он расточал себя с людьми понапрасну всю жизнь. Через 13 лет после нашего последнего свидания в Москве, здесь в Берлине, за столиком кафе жаловался он по-прежнему: «Ах, это ужа-асно! Они меня живьем съели... разорва-а-ли...» И тут же с безумным лицом срывался со стула. «Боже мой! Опять опоздал».

И бежал на заседание, на елку, на собрание «антрополофских теток», в гости и т.д. и т.д. Весь в клочьях, на рассвете плелся домой, а завтра – все сначала.

День шел, украшенный всеми бытовыми атрибутами, а я томилась, вела себя глупо, не дамой, не хозяйкой дома, молчала и забивалась в угол. Выручал, как всегда в таких случаях, очень светский и уравновешенный С. Кречетов.

Часам к шести кто-то предложил пойти к пруду. Чуть позади Кречетова и Семенова шли мы с А. Белым. Он снова говорил об отце. Схоронили его в Девичьем монастыре, недалеко от могилы Соловьева. И опять – о мертвых, как о живых:

Прошумит ветерок
Белоствольной березой.
Кольхается грустно венки
Дребезжащей фарфоровой розой..
Черных ласточек лет,
Воздух веющий, сладкий,
С легким треском мигнет
Огонек лампадки...
Ты не умер, нет, нет!
Мы увидимся вскоре...

В его присутствии мне хотелось высвететь насквозь, стать березкой, охваченной ветром, и горько томилась я – не могу! Еще почему-то не могу!.. Как у гоголевской ведьмы из «Утопленницы», внутри оставалось органически непрозрачное темное ядро.



На плотине шумели ивы, холодный ветер срывал первые сгоревшие листья, ничего еще не настало, будущее приблизилось лишь в туманных символах и намеках, но моя, всегда опережающая события душа в тот день уже исполнилась предчувствием очень горестных и неизбежных событий.

Потом все было обычно, как полагается. С группой дачников, провожающих дачных гостей, стояли мы на станции, поджидая паровичок. Пыль скрипела на зубах, мне было холодно в белом платье, бились под ветром тощие кустики у рельс.

– Мы скоро увидимся?

– Да, да, конечно... через три недели в Москве...

Свистнул жалобно паровичок, алой молнией просквозил за деревьями. И все померкло в суровых тенях.

«Гриф» мужественно окрылился, прочно укрепился на своем месте, стал быстро входить в моду. Эстетическая позиция нового издательства определенно выяснилась, а гостеприимство и доступность создавали ему широкую популярность. Стихи прибывали от неведомых поэтов из неслыханных захолуствий. С. Кречетов, поощряя молодых авторов, не посылал даже категорических отказов без маленьких обстоятельных рецензий, написанных в отеческом тоне. Ободренные авторы стали появляться и собственными персонами...

Стиль нашей жизни на Знаменке резко изменился. Прежде всего, конечно, стало нужно что-то делать, и какими бы заблуждениями это «делание» ни грешило, оно внесло в дни бодрый рабочий дух. Корректуры, рукописи, переговоры заполнили прежние праздные часы.

Готовились к выпуску «Только любовь» и «Горные вершины» Бальмонта, роскошные издания «Саломеи» и «Портрета Дориана Грея», Симфония Белого «Возврат». Набирался материал для второго очередного альманаха.

Дружеское отношение Бальмонта к издательству и личная его дружба с Кречетовым крепили.

А у меня с этой же осени медленно, но неуклонно началось охлаждение и к самому Бальмонту и к его поэзии.

Прежде всего нужно было выбрать в поведении с ним определенный стиль и такового держаться. То есть, или



стать спутницей его «безумных ночей», бросая в эти чудовищные костры все свое существо, до здоровья включительно, или перейти в штат его «жен мироносиц», смиренно следующих по пятам триумфальной колесницы, говорящих хором только о нем, дышащих только фимиамом его славы и бросивших даже свои очаги, возлюбленных и мужей для этой великой миссии. Или же оставалось холодно перейти на почву светского знакомства, то есть присутствовать в назначенные дни на пятичасовых чаях, которыми сам триумфатор тяготился безмерно и к которым он выходил настоящим «человеком в футляре», с хмурым, скучающим, а иногда и без маски совсем, с каким-то зверским лицом.

Для второго пункта я оказалась окончательно непригодной, и с этой же осени решила вообще от Бальмонта отдалиться по многим причинам... Но увы! Только через несколько лет выяснилось совершенно наше взаимное органическое недружелюбие. В 1904 году оно почему-то называлось дружбой, и эта дружба, часто против воли, почти обязывала меня вовлекаться в бальмонтковский оргиазм и у нас дома и вообще «в пространствах».

О поэзии Бальмонта написано столько! Начиная с Акима Волинского, все современные критики сочли долгом сказать о нем свое слово.

Что могла бы я добавить, кроме глубокого субъективного суждения? Бальмонт был для меня неким берегом в юности, от которого я скоро отчалила. Не был он для меня ни теургом, осиянным свыше, как А. Белый, ни мэтром, достойным поклонения и глубокого добровольного подчинения, как В. Брюсов. Сам же Бальмонт однажды написал:

Нам нравятся поэты
Похожие на нас...

В. Брюсов считал это одним из мудрейших бальмонтских изречений, только смеясь над следующими строчками:

Священные предметы
Дабы украсить час...



Но смешение проникновенной мудрости с нелепостью считал вообще органической чертой Бальмонта-поэта и Бальмонта-человека.

Так вот: мы друг на друга непохожи, Бальмонт мне не нравился, и я его не полюбила.

Блестящая его лирика тех лет мне казалась потом стихийным цветением в пустоте. Опыты его – творческий, мистический и жизненный мне оставались чуждыми и, чужды, не научили меня ничему решительно.

В ту осень, накануне грозного 1905 г., как во все катастрофические эпохи, московская жизнь завилась блистательным вихрем. Развращающее влияние популяризованного декадентства, буйно прорвавшего все плотины и хлынувшего в толпу, закружилось смерчами во всех эстетизирующих кругах и докатилось даже до гимназических застенков. И, конечно, законодателем, хотя и невольно, быть может, всех этих круживших голову дамам, их мужьям, старцам, девам и юношам неистовств – был Бальмонт.

Его солнце стояло тогда в зените. Французов, профильтровавшихся в русский символизм, как-то просмотрели или просто не вчитались в них. Брюсов долго стоял одиноко, и такого рода популярность презирал и ненавидел.

А тут вдруг, как гонг, ударил свой отечественный лозунг: «Будем как солнце!». Станем безудержным «воплощением внезапной мечты», насладимся всеми утехами «Зачарованного гота».

А «внезапность мечты» людей пресыщенных, по всем статьям быта благополучных, в большинстве случаев совершеннейших бездельников, была иногда весьма многообразна. Это желание непременно вылезти из кожи и «сладко падать с высоты», рожденное в тупиках мысли и чувства, в тупиках же и иссякало, но в общую атмосферу жизни вливало явно разлагающую струю.

Где-то уже явно слышались грозные гулы грядущего 1905 года, а над Москвой, утопающей в переутонченных причудах, в вине, в цветах, в экзотической музыке, стоял столбом мертвенно зеленый масляничный угар.



Подбор вошедших в моду литературных произведений и бешеный спрос на них являлись тоже знамением времени. Возрос небывалый интерес к Оскару Уайльду, раскупили вмиг «De profundis», «Балладу Редингской тюрьмы», «Портрет Дориана Грея» и «Саломею», последние два очень дорогие роскошные издания «Грифа». Потребовалось буквально рынком новое издание «Цветов зла» и все до последней строчки Бодлера. «Homo sapiens» в издании «Скорпиона» стало новой моральной проповедью. Интерес к личной жизни новых писателей набухал пикантными сплетнями, выдумками, рассказными небылиц.

Маленькие газетные церберы – прихвостни старых толстых журналов и маститых авторов – вопили «караул» с эстрады Художественного кружка, поносили в лицо непристойными словами докладчиков враждебного лагеря. Очередные вторичные рефераты редко кончались без скандалов.

Но ничего не помогало. Унылое платоническое народничество и канитель житейского быта под разными соусами надоели читающей публике. Бессознательно жаждала она чего-то нового, а это новое, да еще в извращенном понимании, ошарашивало воображение концепциями, формами, трепетными, раздражающими намеками символов.

Так – хаотически, скачками, среди карикатурных курьезов завоевывала свое место на страницах истории новая русская литература. Все эти нелепости отвалились потом, как отмороженные пальцы. Осталось крепкое стальное звено в цепи русской – и европейской – преемственной культуры, которое, как чернорабочий, начал одиноко ковать Брюсов. Умиравший, расплзающийся по всем швам, разлагающийся быт отражал эту эстетическую сумятицу в самых комических подробностях.

Дамы, еще вчера тяжелые, как куклы в насиженных гнездах, загрезили о бальмонттовской «змеиности», о «фейности» и «лунноструйности»; обрядились в хитоны префаэлитских дев и, как по команде, причесались а la Monna Vanna.

Кавалеры их и мужья приосанились, выютюжились а la Оскар Уайльд. Появились томно-напудренные юноши



с теньями под глазами. Излюбленным цветком стала «тигровая орхидея», впрочем, еще до Бальмонта увековеченная пикантным Мопассаном как «грешный цветок».

За ассамблеями подавались рюмки и бокалы на тончайших и длиннейших хрупких ножках, гостинные раскочажились «стильной» мебелью отечественного изделия, на спинках диванов повисли лоскутки парчи, вошли в моду тусклые, линиялые цвета, в употребление – слова: «нюанс», «аспект», «переживание», «многогранность».

В те дни действительно «угрюмым магом» с высот «Метрополя» смотрел на этот «балаганчик» Брюсов, окруженный очень немногими друзьями, соратниками и почитателями, не пустившимися в пляс. Именно в те годы он, может быть, остро, как никогда, чувствовал потерю Ивана Коневского*, на которого возлагал самые большие надежды и как на поэта и как на человека. Когда Брюсов говорил о Коневском, у него менялось лицо и он делался тем Брюсовым, которого так хорошо знала, может быть, одна я и которого так легкомысленно проглядела до конца Андрей Белый!.. Помню, в одну из наших совместных летних поездок Брюсов предложил мне поехать в «Ливонскую Швейцарию» (поблизости от Риги на берегу реки Аа, на могилу Коневского. Он не любил ни кладбищ, ни могил, и меня это желание удивило. В жаркий июльский день стояли мы на берегу Аа. Чуть заметные воронки крутились на сверкающей солнцем и лазурью воде.

– В одну из таких втянуло Коневского, – сказал Брюсов, – вот в такой же июльский день, вот под этим же солнцем... Он был без бумаг, его схоронила деревня как безвестного утопленника и только через год отец случайно узнал, где могила сына...

Он стоял, отвернувшись от меня, и бросал камешки в воду, с необычайной точностью попадая все время в одну точку. Это бросание камешков я видела потом много раз, – оно выражало всегда у В. Брюсова скрытое волнение и глубокую печаль.

* Коневской, Иван (наст. фам. Ореус; 1877–1901) – русский поэт, один из основоположников и идейных вдохновителей русского символизма, литературный критик.



Потом мы пошли на кладбище. Ах, ничего не потерял Иван Коневской, если деревня похоронила его в этом пышном зеленом раю, как безвестного утопленника. Зеленым шумящим островом встало оно перед нами, – низенький плетень, утопающий в травах, – ни калитки, ни засова, только подвижная рогатка загораживая вход – и то, верно, не от людей, а от коров... Совсем у плетня скромный черный крест за чугунной оградой, на плите веночек из увядающих полевых цветов, а над могилой, сплетаясь пышными шапками, разрастается дуб, клен и вяз.

Брюсов нагнулся, положил руку на веночек, долго и ласково держал ее так и оторвал несколько травиночек от венка. Я знаю, что он очень берег их потом.

Ивана Коневского он вспоминал не раз в горестные минуты жизни. Кроме него, у Брюсова настоящих друзей уже не было никогда...

Книгоиздательство «Гриф» с его склонностью к популяризации новых принципов и идей, то есть, по тем временам, к метанию жемчуга перед свиньями (да еще жемчуга, взятого напрокат у того же «Скорпиона»), было им всем не только смешно, но даже противно. Но, к счастью, тень его встопорщенных крыльев не упала на меня...

Так сурово и замкнуто работал для будущих поколений В. Брюсов, изредка выступая на публичных аренах в качестве тяжелого дальнобойного орудия, знающего свои цели и сроки. И с каким-то мазохистским упоением расточал себя А. Белый, распиная себя без нужды на всяческих общественных Голгофах, и писал, чувствуя себя действительно от всего этого несчастным:

Отворяют, сквозь дымный угар
Задают мне вопросы.
Предлагают, открыв портсигар,
Папиросы...
А когда я, молясь, в неземном замираю,
Предлагают мне чаю...

Мы же, кристаллизующееся ядро «аргонатов», были прямолинейнее, может быть даже «plus royalists que le roi mème» (большими монархистами, чем сам монарх



(фр.). – И. Т.), и стремились обособиться, считая Андрея Белого невинным мучеником общественности.

Да, даже меньше, чем десятую часть возвращает память через много лет. Мне жалко, что вспоминаются только обрывки, что плотная ткань тех дней разорвалась на бедные клочки. Намеки, подобия образов, туманные символы плели эту ткань, может быть уже и не передаваемую через годы словами.

Жизнь не реализовала ни одной из тех «истин». Остались подернутые пеплом угли. В образах вижу те дни: хризолитовые, беззакатные дали, жемчужно-грустные зори зимних дней, в тоске сгорающие пышные закаты, белые нарциссы в вазах, запах тления и весны... И строки, от которых пылало сердце, звучат:

Кто зовет благоуханной клятвой?
Кто зовет в безбрежность отойти?
Чтобы в день безветренный, над жатвой
Жертвенною кровью изойти?

Ни жертвы, ни подвига оказалось не нужно.

Что нас связывало с А. Белым? Сейчас говорю: взаимное заблуждение. Черным крестом отмечен в моей жизни тот период. И Белый же после писал:

Распинайте меня, распинайте
Обманул я вас песней моей...

С этой же осени наши однажды скрестившиеся дороги с Кречетовым пошли фатально в разные стороны. Вышло это просто, без драм. Наша квартира (мы их потом часто меняли) мне всегда казалась гостиницей, где живу я случайно и проживу недолго, проходным литературным двором, или артистическим кабаре с вечно накрытым для очередных яств и питий столом. К услугам посетителей.

В 1904 году мне это надоело по многим причинам. Если бы С. Кречетов пожелал укрепиться во что бы то ни стало со своими новыми друзьями, я, конечно, уступила бы ему их. Но он стал вести, что называется, рассеянный образ жизни, днем дома не бывал, работал толь-



ко глубокой ночью, и весь домашний уют наш остался в полном моем распоряжении. «Аргонавты» вызывали у него зевоту.

– Кто у тебя сегодня? Батюшков? Петровский? Эти гномики? Тощица. И тебе не скучно? Удивляюсь. – Махал рукой

П. Н. Батюшков* был моим частым гостем. Маленький, добродушный гном с косым черным глазом. Ходил, семена короткими карандашиками, и почему-то для первого приветствия пускал необыкновенно высокие петушиные ноты.

Спирит и теософ, личный друг и поклонник А. Белого, приносил мне сочинения Анни Безант, Майера о телепатии, что-то Блаватской, не помню, и часами говорил о «карме». А карма страшная вещь, если о ней поглубже задуматься, то и жить невозможно. Это пожизненная адская сковорода, на которой человек медленно жарится в собственном соку, только на глубоко мотивированных мудрецами основаниях. Черное ядро гоголевской ведьмы не укрылось, конечно, от зоркого косога глаза. Несмотря на видимую мою «высветленность», Павел Николаевич чутьем знал, где кроется именно для меня опасность, и самоотверженно пустился в миссионерство. Сам он жил, окруженный вечными потусторонними угрозами. В загробии сторожили гнусные «элементалы», а эмпирический мир кишел ужасами и «ужасиками», готовыми ежеминутно воплотиться.

– Представьте себе, что вдруг, ну, например, знаете, купальная веревочная туфля поползет на вас... пустая... –

Черный гномий глаз скашивался на стену к книжной полке.

– ...или вот том энциклопедического словаря снимется оттуда и ляжет перед вами на стол.

А. Белый П. Н. Батюшкова по-своему очень любил и шутил над ним мягко и добродушно: – А знаете, Павел Николаевич, за вашим гробом побегут в благодарность все птицы и звери, не съеденные вами, поплывут рыбы, покатаются яйца.

* Батюшков, Павел (1868 – ?) – сотрудник Румянцевского музея.



Шутил добродушно над упершимся в тупик теософски-спиритическим образом мысли его. Спиритизма А. Белый терпеть не мог, но от его «токов», веяний, «наплываний», кажется, и до сих пор не отделался.

В «Воспоминаниях о Блоке» он рассказывал, что ездил даже советоваться к епископу Антонию и к священнику Флоренскому по поводу вечно возникающих вокруг него медиумических явлений: шорохов, стуков, шепотов и т. п.

В наслании всей этой нечисти он подозревал В. Брюсова. Из многих его слов в «Воспоминаниях» это совершенно ясно. «Валерий Брюсов, этот маг, рыщущий по сомнительным оккультическим книжкам, как рысь по лесам, за отысканием приемов весьма подозрительного психологического свойства».

До таких нелепостей в оценке В. Брюсова мог дойти А. Белый. Будущим литературным летописцам придется покорпеть, чтобы из всех этих шлаков восстановить истинный его образ...

Среди аргонавтов были и люди, ничего общего с литературой не имеющие, но все они тянулись, как подсолнечники к солнцу, к Андрею Белому, вовлекались в мистические воронки... В обществе их было скучновато и не одному Кречетову. Но ко мне, в каждой складке нехитрых своих одеяний, они несли эманации А. Белого, они приходили надыхаться им как дурманом, с каждым словом выдыхали ядовитый аромат, и хотя косноязычно, но говорили только о самом тогда главном – о мистерии.

Когда они, сбившись в стадо, бежали куда-нибудь за А. Белым, на вечера, заседания, рефераты, мои вечера проходили в чуткой насторожившейся тишине восторженных предчувствий и ожиданий. Надолго затихли на Знаменке топоты, споры, звяканье рюмок, журчание строф.

Кречетов полагал, что я впадаю в тихое маниакальное безумие и по-своему скорбел.

До часу, до двух ночи писала я письма А. Белому. Недоумевал Кречетов – «о чем же? Сумасшествие какое-то!» О чем, не помню в деталях, а в основе все об одном: о грядущей мистерии. Белый стал на них отвечать к январю, до января же ответом были его ежедневные приходы.



Но никогда не упоминал о полученных письмах. Сам жил в мире, где ничего уже не выражают слова, где они лишь подменяют смысл. Где-то уже запеваала свирель Блока. Он присылал А. Белому ненапечатанные стихи.

Каждая строчка волновала, как мистический намек, как обетование. Читал:

Одинокий к тебе прихожу
Околдован огнями любви.
Ты гадаешь, меня не зови,
Я и сам уж давно ворожу.

«Ворожил» А. Белый, но не золотое, не лазурное было нам суждено будущее, как оказалось потом. Помню эту необычайную ясную, ледяную осень. Осень почти до декабря без снега, жестокою и ослепительную.

В те дни уже предвестники срыва наших чайных были налицо. Андрей Белый раз пришел в издательство «Скорпион» в полумаске. Не застав как-то меня дома, оставил странную визитную карточку, не помню уже, кажется «Козерог Козерогович», и совершенно потусторонний адрес внизу. В нем происходили искажения.

Пришел однажды и долго сосредоточенно качал стул над одной шашкой паркета, потом аккуратно уставил ножки по линии ее и изрек: «Так, именно, чтобы ножки стояли на ребре». И после паузы: «Сегодня в мою комнату перед рассветом вошел папа (уже покойный тогда) и сказал: «Боря, ты слишком переутомляешься перед экзаменами, это нехорошо»».

В ноябре-то экзамены! У человека, окончившего уже два факультета! От всех я это скрывала, но было ощущение, что А. Белый проваливается в пустоту и меня туда же тянет.

Один раз он вынул из кармана горсть цикламенов и высыпал их на голову С. Кречетова, потом посвятил ему совершенно издевательски поэму: «Он был пророк, она – Сибилла в храме». «Аргонавты» сокрушенно качали многодумными головами. Им было не под силу расшифровать туманные намеки, самим владельцем нерасшифрованную до сих пор загадку – душу его.



Так в томлениях, в предчувствии и нарастающей тревоге проходили осень и зима.

Так когда же? Скоро ли? – спрашивала я молчанием и словами. И А. Белый, глядя через мою голову раскаленно-синим взором, хрустел тонкими пальцами («Вот руки – кисти бледных лилий») и не отвечал.

Однажды, в начале января, он многообещающе сказал:

– Вот скоро приедет Блок. Мы вместе поедem к епископу Антонию. Вы непременно с ним должны познакомиться.

Ах, не епископ Антоний* держал в руках ключи последних тайн, и сомневаюсь я даже, что разгадал он, какой мечтой горела душа А. Белого в те годы.

Блок приехал для меня неожиданно и так же неожиданно, в лазурный январский день, появился с женой в нашей гостиной. Первые минуты глядел на меня с ласковым умилением, точно встретил лучшей, чем думал, или не понимал, зачем же я тут в квартире С. Кречетова, – случайная гостья или хозяйка.

Наружность Блока прекрасно описана А. Белым в его «Воспоминаниях». Там не фотография, а портрет тончайшей гениальной кисти. Меня она поразила не только редкостной красотой, а намеком в каждой черте на огромную еще не выявленную силу. За пленительной улыбкой, за холодным голубым взором, за неподвижностью словно иссеченных из мрамора черт, тогда же в первый раз почувствовала я не Блока «Прекрасной Дамы», а Блока «Незнакомки», участника до сих пор непонятных Белому мистерий, интимного, настоящего, последнего Блока, которого нам в те дни не дано еще было узнать.

Жена его, Любовь Дмитриевна, восторженно описанная А. Белым в «Воспоминаниях», полная молодая дама, преувеличенно и грубовато нарядная, с хорошенькой бе-

* Митрополит Антоний (в миру Александр Васильевич Вадковский; 1846–1912) – епископ Православной Российской Церкви; с 25 декабря 1898 года вплоть до кончины – митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский; с 9 июня 1900 года первенствующий член Святейшего Синода.



локурой головой, как-то не идущей к слишком массивному телу, меня ничем не поразила.

А. Белый говорит, что в ее молчании было что-то таинственное. Не знаю... молчала она почти всегда, это верно.

Говорили о литературной Москве и литературном Петербурге. Москва, в представлении Блоков, была провинциальна, грузна, истерична, Петербург изысканно корректен, холоден, легок для жизни. Встреч с московскими литераторами, знакомыми понаслышке, Блок слегка даже побаивался. Ему казалось, что живем мы в вечных ссорах, бесконечных публичных и интимных пререканиях, неумеренные ни в дружбе, ни во вражде. Надо всем же этим хаосом, скрестив руки на груди, с язвительной усмешкой кровавых уст стоит Валерий Брюсов, маг, звездочет, интимный друг Мефистофеля.

До такого абсурда в характеристике В. Брюсова дошел Андрей Белый, и для многих навеки затемнил и искажил его образ.

Светский С. Кречетов, появившийся в середине визита, с присущей ему ловкостью литературного жонглера, стал щеголять самыми разнообразными декадентскими темами. Тут же, впрочем, купил у Блока «Стихи о Прекрасной Даме» для издательства «Гриф». Я слушала, смотрела на Блока и думала о своем: «Ну вот, теперь, с его приездом вероятно начнется».

Кажется, на другой же день, 14 января, поехали мы к епископу Антонию в Донской монастырь. Собрались: А. Белый, Петровский, я. Блок покорно согласился и поехал с женой.

Что опальный волынский епископ Антоний, удаленный из епархии синодом «за недозволенное совершение чудес», обладал до некоторой степени даром ясновидения и был, кроме того, большим и талантливым знатоком человеческой души, в этом я убеждалась потом неоднократно. Но какую роль мог играть в «Элевзинских мистериях» этот человек, делеявший самую позитивную идею о монастыре-коммуне в Крыму, основанной на самых рациональных началах, где на первом плане вставал общий обязательный



труд, зарабатывание хлеба в поте лица монахами новой формации, где каждый день разграфлялся на клеточки, подчиненный во всем железной дисциплине?

Он принимал посетителей в своем заключении, вероятно еще и от скуки, очень охотно.

В башенку у ворот с крошечными древними окошечками, с узкой крутой лесенкой, заточил святейший синод епископа Антония за «совершение чудес, волнующее умы».

Петровский позвонил и, пошептавшись с келейником, ввел нас в маленькую приемную, где в лиловой шелковой рясе уже сидел Антоний на диване, ожидая визита.

Поглаживая редкую острую бороду с сильной проседью, он после первых приветствий стал вглядываться по очереди в каждого из нас очень блестящими небольшими серо-синими глазами.

Блок сидел очень прямой, точно в футляре, с бесстрастным лицом, но я чувствовала, внутренне смущенный. Маленький Петровский, любимец Андрея Белого, ерзал на стуле, поминутно поправляя пенсне на длинном носу. Любовь Дмитриевна загадочно молчала в кресле.

Почему Антоний выбрал очень странную тему разговора, до сих пор не понимаю. Говорил он, точно читал реферат перед аудиторией, именно на него и собравшейся, о девстве и материнстве, о половом аскетизме и браке.

Девство и аскетизм, по-видимому, не отвечали религиозному идеалу епископа Антония. Петровский многозначительно посматривал на А. Белого... А. Белый, с бледным сосредоточенным лицом, вероятно, одним ему понятным методом расшифровывал смысл неожиданного монолога. Блок опустил глаза; мне казалось, что ему просто ужасно хочется курить.

Послушали. Антоний задал каждому какой-то незначительный светский вопрос. Пригласил посещать его впредь. Нужно было и уходить.

На меня этот наш коллективный визит обрушился тяжелым конфузом. Совестно было глядеть в глаза Блока, жадно закурившего сейчас же за воротами, на А. Белого, смущенно топчущегося сбоку его, спрашивающего: ну как, что? Мы расселись по своим извозчикам. Была оттепель.



Полозья скрежетали по камням, взлохмаченная лошаденка едва тащила нас с Белым в санях.

Какое-то свое многозначительное заключение вывел, очевидно, из этой встречи А. Белый, и таинственно, как Джоконда, улыбался приподнятыми уголками «серпика». Я смотрела в его лицо и думала: да, будет. Но только без Антония и, верно, без Блока...

Большим пышным вечером чествовали приезд Блока в доме Белого, потом у нас, в «Гриффе».

Брюсов, сам Блок, Бальмонт, Эллис читали стихи за чайным столом, за ужином. Но не богемный, а чисто светский характер носил этот вечер. Только А. Белый, как-то боком, по-медвежьи или точно по кочкам ходил среди гостей в черненькой своей курточке. Иногда подходил и спрашивал: «Хорошо? Правда? Хорошо, что приехал Блок? Вам нравится Любовь Дмитриевна?»

В этот вечер сковались крепкие звенья той цепи, что связала потом в трагические узлы судьбу и жизнь некоторых присутствующих. Но только молодые сотрудники «Грифа» и аргонавты смотрели на Блока, восторженно ловя его каждое слово. Бальмонт, как всегда слишком занятый собой и уже с легкими признаками наступающего «одержания», был с Блоком почти высокомерен. Брюсов, преувеличенно оживленный, но почему-то крайне сухо, говорил с ним о его книге, о стихах, о «Скорпионе» и т.п.

Всех поразило чтение стихов Блока. На первый раз оно казалось почти топорным, монотонным, нагоняющим скуку. Все на низких однообразных нотах, точно при этом каждую строчку отбивал невидимый метроном. Но именно эта простота потом начинала неизъяснимо нравиться, казалась органически связанной со всем его существом.

Меня Блок издали чувствовал, понимал и относился с нежной осторожностью, точно к цветку, у которого вот-вот облетят лепестки. А может быть, уже пророчески и знал он, что скоро облетят. Говоря об этой эпохе личной жизни, мне хочется сжать повествование до схемы. Она кончилась «балаганчиком», с хором мистиков и дырявым бумажным небом.

Блок уехал. Аргонавты чутко насторожились, а мистерии все не осуществлялись. В те дни Белый даже как



будто избегал аргонавтов. В душе его совершался бессознательный, но тягостный перелом. Подменялись смыслы, колебалась почва под ногами, наплывали тяжелые флюиды, стало пугать то «черное» начало, носителем которого он считал Брюсова. Запомнился мне необычайно отчетливо один вечер. В Художественном театре первый раз давали «Вишневый сад». Мы поехали вдвоем. Ощущение огромного личного счастья преображало все; все казалось значительным, необычайным, полным нового прекрасного смысла. Крупными горящими звездочками кружились снежинки вокруг фонарей. Белые гирлянды небывалых цветов свисали с деревьев. Милой, какой-то родной казалась спина у извозчика – скорбно согнутая спина вечно чеховского Ионы. В фойе – настоящий праздник искусства: вся литературная и артистическая Москва. Русский московский праздник, освященный традициями, тоже казался прекрасным, неповторимым.

Плохие почему-то только нам попались – боковые – места в партере. Приходилось, глядя на сцену, вытягивать шею. В антракте зал задвигался, зашелестел, зашумел, заблистал. Куда смотрел А. Белый с таким ужасом потемневшим синим взором?

– Смотрите? Видите?.. Напротив, в ложе бенуара. Он! Он смотрит! Ах, как это плохо, плохо, плохо!

Он? Кто?

Валерий Брюсов!

Действительно, напротив, около самого барьера ложи, опустив вниз руку с биноклем, на нас пристально смотрел Брюсов. Точно сквозняком откуда-то подуло. Не знаю почему, но сердце сжалось предчувствием близкого горя.

Мы очень официально раскланялись. Потом я напоминала этот вечер Брюсову. Он смеялся: – Вольно же вам было быть такими хрупкими, и еще верить в «сглаз».

В этот вечер неясно для меня Брюсов незримо вошел в мою жизнь, чтобы остаться в ней вечно.

П. Н. Батюшков недаром пугался моего черного ядра гоголевской ведьмы из «Утопленницы». Может быть, в нем-то и заключается моя сущность, бесконечно чуждая Анд-



рею Белому прошлому и настоящему. В вечер «Вишневого сада» она дрогнула первым живым биением.

Переживания тех дней с января по март можно было бы выразить только в симфонической композиции с грозным лейтмотивом «Пиковой Дамы».

Но «погибших дней осталась песня недопета...» (А. Белый)

Мне до сих пор напоминают их белые нарциссы с Ривьеры, которым суждено было украшать лишь Грифский кабинет, но, увы, не залы Элевзинских таинств.

Андрей Белый конечно знал, что срыв близко, – об этом он пишет в «Воспоминаниях о Блоке», – и меня же за него первую возненавидел. Бумажное небо проткнули мечом деревянным; правда, именно за ним-то и оказалось настоящее, но пережить этот миг равнялось почти смерти.

Случилось все это в реальности донельзя просто. Бальмонт читал в Историческом музее лекцию об У. Уитмене. Кончил первую часть, а А. Белый, несмотря на обещание, все не приходил. После антракта я оглянулась и увидела его где-то высоко, очень бледного, со странно гневным лицом.

Прерывая причудливую прозу стихами, Бальмонт начал читать «Любовь орлов». И вдруг наверху что-то совсем не вовремя загрохотало. Кто-то не выходил, а бежал к выходу.

Вот с этим гневным незнакомым лицом, с дико вставшим золотым нимбом надо лбом А. Белый бежал к выходу.

Два дня, ничего не понимая, я не видала его. Потом произошла встреча, безумная, враждебная, непонятная. С грохотом обрушился прекрасный недостроенный храм.

Андрей Белый впал в какое-то нервное иступление. Аргонавты перепугались, переполошились и стали хором советовать ему поехать в Нижний к Метнеру (композитор) отдохнуть. На пятой неделе Поста отправляли.

Пережить крушение реальное, горе, катастрофу с простыми входящими человеческими данными, вероятно, было бы легче и проще.

Это же, ирреальное, оказалось по последствиям острее ножа.

Вдруг вся жизнь погрузилась в свинцовую мертвую мглу, превратилась в пустое иссохшее русло реки,



занесенное щебнем. Оказалось, что аргонавты мне были близки только через А. Белого. Теперь один вид их вызывал только озлобленную тоску.

Жемчужно-грустные зори, «золото и лазурь», пылающий багрянец закатов, белые цветы, – все стало вдруг только сценическим атрибутом к недописанной пьесе А. Белого на мистические темы. Он приходил, как медиум, через чью душу проливались несказанные откровения, и ушел, оставив за собой тьму, пустоту, мрак. Остался «свод неба, синий, скучный с солнцем-глазом посреди», да грифская редакция, рукописи, люди, ненужные, как стены, и стены прежней тюрьмы.

Приближалась Пасха. Жизнь текла своим чередом. На Страстной Неделе, несмотря на все мои протесты, С. Кречетов пожелал устроить вечер, может быть, последний в сезоне. К тому же в Москву приехал Вячеслав Иванов с женой, захотелось, как называется, перед ними блеснуть.

Приглашен был В. Брюсов, конечно, Бальмонт, аргонавты. Лица всех их мне виделись точно издалека, точно через болотный туман. Помню только с противной четкостью бледно-лысый череп Эллиса, иступленное лицо, с кровавым вампирным ртом и зеленым фосфоризирующие в тенях глаза-светляки.

Длинный длинный ужин тянулся, как бесконечный кошмар. Ужасно много пили в тот вечер, и дело не обошлось без неприятного инцидента.

Эллис очень почтительно разговаривал с превращающимся уже в чудовище Бальмонтом, который, очевидно, заранее лил какую-то скверную «пулю». Эллис разыскивал, не помню какую, редкую английскую книгу и спрашивал Бальмонта, где ее можно достать.

– Она у меня есть, – сказал с непонятым вызовом Бальмонт.

– Да? Так Вы мне, может быть, ее одолжите дня на три?

Чудовище высокомерно прищурилось и зловецше прошипело:

– Нет! Вы можете посмотреть ее у меня в доме.



- Почему?
- Потому что иначе... Вы...
- Что?
- Вы можете ее присвоить!!

С грохотом опрокинулся стул, Эллис бросился с кулаками на Бальмонта. Их разнимали, как в кабаке.

Покойная Зиновьева-Аннибал* наблюдала эту сцену через лорнет. Вячеслав Иванов мирил, но не примирил, и, наконец, увел с собой Бальмонта.

Но, новичок в таком деле, поплатился всем остатком ночи, и Бальмонт до изнеможения таскал его по ночным притонам, а под утро привел на рынок к Сухаревой башне, купил копченого сига, фунт мороженой клюквы и пригласил пойти с утренним визитом к В. Брюсову.

Наученный горьким опытом, Брюсов его не впустил. С проклятием швырнув у двери подарки, Бальмонт скрылся «в пространствах» на три дня.

Вот во что превратились без Андрея Белого вечера аргонавтов.

Душный воздух.
Табачная гарь
Дымно синие стелет волокна...

Стол, залитый ликерами и водкой, сыр, утыканный окурками, фруктовая кожура под ногами, да мертвый синий рассвет в мертвых окнах.

Пасха приближалась. Праздничная суета, как ржавчина переедала сердце. Безграничную покинутость, одиночество среди людей и положительно ненависть к миру, который обнажил свой голый скелет, – все это нужно было еще скрывать под разными личинами и по разным житейским соображениям. В Страстную Субботу вечером Кречетов сказал:

– Даже подарков своим не купила. Пойдем, к Сиу сходим, скоро магазины запрут.

Пошли, выбрала что-то, еще что-то, не видя, и пошла, тоже не видя... прямо на стеклянную высокую этажерку

* Зиновьева-Аннибал, Лидия (1866–1907) – писатель, жена поэта, филолога и мыслителя Вячеслава Иванова.



с дорогим фарфором. На волосок прошло дело мимо катастрофы. Кречетов только крякнул, мгновенно оценив последствия.

Дома ждал Петровский.

– Я за Вами, пойдемте к Антонию.

– К Антонию? Зачем?

И Антоний, как все, стал для меня призраком, восковым религиозным манекеном.

Но поехала. У Антония в келье все блестит. Келейник в новом подряснике. Корзина крашеных яиц. Цветы на столе. И сам он расфрантился, темно-малиновая шелковая ряса колом стоит, не то розовым маслом волосы намазал, не то надушился чем-то приторным.

Совсем не был визитный час: девять часов вечера в Страстную Субботу. Но он встретил нас точно ждал, и не Петровского, а именно меня, а его выслаал в прихожую к келейнику.

Меня усадил в кресло, сел напротив и, сверкая бриллиантами глаз, заговорил на тему «не сотвори себе кумира». Говорил о мистических искушениях, подменах религиозных смыслов, и горчайших последствиях этого. Нет, до сих пор я утверждаю, что епископ Антоний был ясновидец.

Говорил два с половиной часа. Келейник несколько раз просовывал нос через дверь и наконец не выдержал.

– Ваше Преосвященство, через полчаса к заутрене ударят.

Антоний невозмутимо ответил.

– Уйди, сам знаю, мне сегодня не служить.

Отпустил он нас без четверти двенадцать. И в церковь не зашли мы. Зачем было?

Я не хочу больше говорить ни о новой встрече с А. Бельым, ни о новом разрыве – навсегда.

Наступила новая осень. Мы переменили квартиру. Поселились в Мерзляковском переулке, опять с несуразными, но на этот раз анфиладой расположенными комнатами.

Хорош там был только кабинет, глубокий и отдаленный, где можно было часами разговаривать с В. Брюсовым по телефону...



Ходасевич. Я познакомился с ним (с Белым. – И. Т.) в эпоху его романа с Ниной Петровской, точнее – в ту самую пору, когда совершался между ними разрыв.

Женщины волновали Андрея Белого гораздо сильнее, чем принято о нем думать. Однако в этой области с особенною наглядностью проявлялась и его двойственность, о которой я только что говорил. Тактика у него всегда была одна и та же: он чаровал женщин своим обаянием, почти волшебным, являясь им в мистическом ореоле, заранее как бы исключаящую всякую мысль о каких-либо чувственных домогательствах с его стороны. Затем он внезапно давал волю этим домогательствам, и если женщина, пораженная неожиданностью, а иногда и оскорбленная, не отвечала ему взаимностью, он приходил в бешенство. Обратное: всякий раз, как ему удавалось добиться желаемого результата, он чувствовал себя оскверненным и запятнанным и тоже приходил в бешенство. Случалось и так, что в последнюю минуту перед «падением» ему удавалось бежать, как прекрасному Иосифу, – но тут он негодовал уже вдвое: и за то, что его соблазнили, и за то, что все-таки недособлазнили.

Нина Петровская пострадала за то, что стала его возлюбленной. Он с нею порвал в самой унижительной форме. Она сблизилась с Брюсовым, чтобы отомстить Белому – и в тайной надежде его вернуть, возбудив его ревность.

В начале 1906 года, когда начиналось «Золотое Руно», однажды у меня были гости. Нина и Брюсов пришли задолго до всех. Брюсов попросил разрешения удалиться в мою спальню, чтобы закончить начатые стихи. Через несколько времени он вышел оттуда и попросил вина. Нина отнесла ему бутылку коньяку. Через час или больше, когда гости уже собрались, я заглянул в спальню и застал Нину с Брюсовым сидящими на полу и плачущими, бутылку допитой, а стихи конченными. Нина шепнула, чтобы за ужином я попросил Брюсова прочесть новые стихи. Ничего не подозревая (я тогда имел очень смутное понятие о том, что происходит между Ниной, Белым и Брюсовым), я так и сделал. Брюсов сказал, обращаясь к Белому:

– Борис Николаевич, я прочту подражание вам.



И прочел. У Белого было стихотворение «Предание», в котором иносказательно и эвфемистически изображалась история разрыва с Ниной. Этому «Преданию» Брюсов и подражал в своих стихах, сохранив форму и стиль Белого, но придав истории новое окончание и представив роль Белого в самом жалком виде. Белый слушал, смотря в тарелку. Когда Брюсов кончил читать, все были смущены и молчали. Наконец, глядя Белому прямо в лицо и скрестив, по обычаю, руки, Брюсов спросил своим самым гортанным и клекочущим голосом:

– Похоже на вас, Борис Николаевич?

Вопрос был двусмысленный: он относился разом и к стилю брюсовского стихотворения, и к поведению Белого. В крайнем смущении, притворяясь, что имеет в виду только поэтическую сторону вопроса и не догадывается о подоплеке, Белый ответил с широчайшей своей улыбкой:

– Ужасно похоже, Валерий Яковлевич!

И начал было рассыпаться в комплиментах, но Брюсов резко прервал его:

– Тем хуже для вас!

Зная о моей дружбе с Ниной, Белый считал, что чтение было сознательно мною подстроено в соучастии с Брюсовым. Мы с Белым встречались, но он меня сторонился. Я уже знал, в чем дело, но не оправдывался: отчасти потому, что не знал, как начать разговор, отчасти из самолюбия. Только спустя два года без малого мы объяснились...

Белый. Снова увиделись мы с Брюсовым в феврале 1905 года, когда я, забывши об Н*** и о нем, переполненный весь впечатленьями от революции, пережитой в Петербурге, от Блоков и Д. Мережковского, вновь появился в Москве; он явился как встрепанный, с молнией в глазах и с неприязнью в надутых губах; с дикой чопорностью сунув пальцы и вычертивши угловатую линию локтем, он бросил на стол корректуры, мои, прося что-то исправить; но видом показывал, что корректуры – предлог; кончив с ними, стоял и молчал, не прощаясь, наставя лбом на меня, точно бык перед красным, посапывая: бледный, весь в красных угрях.



Вдруг без всякого повода, точно бутылка шампанского пробкою, хлопнул ругательством, – не на меня: на Д. С. Мережковского, зная, что у этого последнего жил и что для внешних я в дружбе с ним; я – оборвал Брюсова; он, отступая шага на два, свой рот разорвал: в потолок:

– «Да, но он продавал...» – «что» – опускаю: ужаснейшее оскорбление личности Мережковского; я – так и присел; он, ткнув руку, весьма неприязненно вылетел.

Когда опомнился, – бросился тотчас за стол, написав ему, что я прощаю ему, потому что он «сплетник» известный; ответ его – вызов: его секундант ждет в «Весках» моего...

Белый – Брюсову. 19 февраля 1905. Москва.
Многоуважаемый Валерий Яковлевич,

Считаю нужным написать вам эти несколько строк. Я не протестую против лично ваших слов о Мережковских, хотя они меня глубоко оскорбляют за Мережковских. Ведь вы ругаете *периодически* всех. Вы и пишете нехорошие вещи про всех (про меня, например). Лично я относительно себя совершенно ничего не имею: вам так подходит. Я вас часто про себя называю – «*ругателем*» – это одна из ваших черт. Наконец, мне приходилось много присматриваться к вам и думать о вас, так что я в себе уяснил эту вашу черту. Далее, я позволил вам бранить Мережковских сегодня в разговоре. Но предупреждаю, что *без позволения* я бы не мог выслушать *теперь* ваши слова о Мережковских, особенно в присутствии третьего постороннего лица. Мережковские мне близки и дороги, и я очень близок к ним. Считаю нужным предупредить вас, Валерий Яковлевич, что впредь я буду считать ваши слова, подобные сказанным мне сегодня (*по моему позволению*), обидой себе...

Брюсов – Белому. 20 февраля 1905. Москва.
Милостивый государь Борис Николаевич!

Полагаю, что вы не откажетесь принять на себя ответственность за те слова, которые вы позволили себе обратиться ко мне. После всего, что вам случалось говорить мне лично и высказывать обо мне печатно, я не могу принять многих



выражений вашего письма иначе, как за сознательное желание оскорбить меня. Если вы находите, что я неверно понял ваши слова, я настаиваю, чтобы вы *письменно* опровергли их, причем я оставляю за собой право сообщить это опровержение всем, кому сочту нужным, из числа наших общих знакомых. В противном случае поручите одному из ваших друзей (большим снисхождением ко мне с вашей стороны было бы, чтобы то не был г. Эллис) переговорить о дальнейших последствиях ваших слов с С. А. Поляковым, которому я передам все подробности происшедшего между нами. (Видеть С. А. Полякова можно ежедневно в конторе книгоиздательства «Скорпион», около 3½ час. дня.) Если же вы уклонитесь от того и другого, я найду средство публично выразить свое презрение вашей трусости.

Уважающий ваш литературный талант...

Белый. Я, все взвесивши, понял: Д. С. Мережковский – предлог для дуэли; причина действительная – исторический взрыв, мне неизвестный, в Н***; тут же понял я, что «испытует» во мне просто честность; кабы уклонился, он мог бы унижить меня перед Н***: трус, друзей защитить уклонился! Все взвесив, ответил ему, что предлогов действительных нет для дуэли; но, если упорствует он, я, упорствуя в своей защите Д. С., отрицая дуэль, буду драться...

Белый – Брюсову. 21 февраля 1905. Москва.
Многоуважаемый Валерий Яковлевич,

С несказанным удивлением я прочел ваше неожиданное для меня письмо и ничего не понимаю. Зная мое всегдашнее отношение к вам (неоднократные ссоры мои из-за вас, посвященные вам стихи и т. д.), неужели в моем письме вы могли отыскать что-либо оскорбительное для себя? Я его написал быстро и не помню достоверно выражений, в которых вы могли бы найти нечто оскорбительное для себя; потрудитесь сообщить мне досконально те из моих фраз, в которых вы могли найти для себя оскорбление. Все письмо написано не из желания вас обидеть, а из желания исполнить свой долг относительно людей, с которыми я связан теснейшими узами дружбы. Помня, что я сказал вам, что



позволю вам говорить о Мережковских, что угодно (зная и прежде ваши слова о них, а также ваш страстный, стремительный, парадоксально-пылкий темперамент, а также считая вас среди немногих, кому я *многое* позволяю), – помня все это, я принужден был со страданием выслушать ваши неверные слова о Мережковском. Когда вы ушли, я спохватился, что не предупредил вас о полной несовместимости наших дружественных или по крайней мере добрых отношений, если вы впредь в моем присутствии будете так выражаться о Мережковском. Я *быстро* написал вам обидевшее вас письмо, в котором называл вас без злобы или обидных для вас смыслов «ругателем», намекая на ваш вспыльчивый темперамент (может быть, тут был добродушный юмор... не больше)...

Впрочем, не могу опровергать или объяснять всех своих слов, ибо не понимаю, в каких именно оттенках слов вы увидели нечто, оскорбившее вас. Потрудитесь или переслать мне письмо с подчеркнутыми местами, которые вам не нравятся, или процитировать их, чтобы я мог их объяснить.

С своей стороны выражаю мое глубокое удивление как странному тону вашего письма, так и полному незнанию моего отношения к вам... Если вы человек честный, вы пойдете навстречу моему желанию прекратить возникшее недоразумение. В противном случае, конечно, я меняю тон моего отношения к вам. Всякое письмо, если в нем нет ничего интимного, можно показывать всякому, кому угодно. Пожалуйста, показывайте *всем все, что я пишу вам*.

Еще раз удивляюсь так странно возникшему недоразумению.

Остаюсь готовый ко *всяким* услугам...

Белый. Он взвешивал долго письмо; вдруг, явясь к Соловьеву, взволнованный, мягкий и грустный, уселся писать мне ответ примирительный, чтобы С. М. Соловьев* передал

* Соловьёв, Сергей (1885–1942) – русский поэт и религиозный философ, православный (впоследствии греко-католический) священник. Внук историка С. М. Соловьёва, племянник философа и поэта Владимира Соловьёва, троюродный брат Александра Блока, друг Андрея Белого.



его лично; в те дни клекотал Соловьеву, что хочется очень ему, «просияв», умереть. В эти месяцы лучшие стихотворения сборника «Стефанос» им написаны; в них – отражения его издергов с Н***...

Брюсов – Белому. 22 февраля 1905. Москва.
Многоуважаемый Борис Николаевич!

Считаю себя вполне удовлетворенным вашими поступками и рад, что вправе смотреть на недоразумение, возникшее между нами, как на улаженное.

Вполне готовый к услугам...

Белый – Брюсову. 22 февраля 1905. Москва.
Многоуважаемый Валерий Яковлевич.

Мне приятно убедиться в своем мнении относительно вас. Я был уверен, что вы были введены в заблуждение относительно моих намерений, когда прочли в моем письме себе обиду.

С своей стороны нахожу нужным заявить, что в своем объяснительном письме мною руководило только искреннее желание выяснить недоразумение. Я всегда готов идти на какое угодно удовлетворение, посредством слов или посредством дуэли.

Готовый к услугам...

Белый. Скоро мы встретились пред типографией: вблизи манежа; из шубы торчал толстый сверток закатанных гранок; склонив набок голову, он воркотал, как пристыженный:

– «Да, хорошо умереть молодым: вы, Борис Николаевич, умерли бы, пока молоды; еще испишетесь: переживите себя... А теперь, – как раз вовремя!» – «Да не хочу я, В. Я., умирать! Дайте мне хоть два годика жизни!» – «Ну, ну: поживите себе еще годика два!» Повалила хлопчатая снежная масса на мех его шубы; из хлопьев блеснул на меня бриллиантовым взглядом: из длинных и черных ресниц; побежал в «Скорпион» – руку в руку; а голову – набок; хлопчатая масса его завалила. Да, жило в нем что-то от мальчика, «Вали»; и это увидел в нем Блок:



– «Знаешь, Боря, в нем детское что-то; глаза, – ты вглядись: они – грустные!». С 905 до 909 года мы, вместе работая, часто встречались и много беседовали: не вдвоем, а втроем, вчетвером: с Соловьевым или с Эллисом; мы составляли уютную, дружную очень четверку; то время – полемики: бой «Весов» против решительно всех – под командою Брюсова; «вождь» был покладист, любезен, сдавая так часто мне, Эллису знамя «Весов», даже следуя лозунгам нашим. Встречался с нами, любил порезвиться, задористо, молодо, быстро метая свои дружелюбные взоры; но стоило нам с ним остаться вдвоем, – наступало молчанье: тяжелое; мы опускали глаза; тень от «черной пантеры», меж нами возникнувшей некогда, точно мелькала и солнечным днем...

Белый – Брюсову.

9 июня 1905. Дедово.

Воистину дорогой мне Валерий Яковлевич,

Неожиданно пишу. Хочу сказать вам из тишины, где ближе душа к самому себе, что я вас всегда любил, а теперь еще более глубоко люблю, что бы между нами ни было в прошлом или в будущем. Вы из числа тех, которых я никогда не забываю. Верьте мне, потому что теперь, вдали от людей, передо мной отчетливо (в)сплывают узоры дней, и в этих узорах я вижу многое, чего прежде не понимал. Сколько людей расплываются тенью, по ваш образ отчетливо высечен в моих глазах. Если я когда-нибудь говорил о вас, как о мареве, то верьте, это потому, что считал вас едва ли не единственным из *сущих, добровольно служащих Химере Смерти. «Облак черный»* – если бы он не затуманивал часто и моих глаз, я никогда не боролся бы с ним, я никогда не стал бы на определенную точку зрения в жизни. Ваш «облак черный» – это я сам борюсь с собой, и для себя пригвождаю криком «*марева*»: все, что стоит на пути моего успокоения. Вы – единственный почти *сущий*.

Глубоко любящий вас...

Белый. Но запомнилось мне посещение Дедова им; был июль; мы с С. М. обитали в уютнейшем маленьком флигеле, среди цветов, в трех малюсеньких комнатах; Брюсов явился сюда; ночевал, во все вник: в быт, в цветы и в людей,



оценив белоствольные рощи, А. Г. Коваленскую*, старенькую и трясущуюся средь настурций, с Вольтером в глазах и с Жуковским в устах, в черном платъице, в черной наколочке, в черной косынке.

В. Я. мы водили по полю; он, став вдруг шалун, предложил состязание: вперегонки; я показывал свое искусство в прыжках; тотчас он захотел меня в этом побить, перескакивая через куст; но был бит; увидав, как вбегаю я по наклоненному низко над прудом стволу, не держась за ветви, он тотчас испробовал это: с успехом; конечно, стащили его мы в село Надовражино, к сестрам Любимовым, трем остроумным поповнам; одна из них, тонко внимавшая Блоку, ему, совершенно пленясь молодой простотою его, вдруг схватив его за руки, бросила:

– «Вы – удивительный!»

Вечером он, прималясь и подсевши под ухо старушки Коваленской, ей стал ворковать про Жуковского что-то, – такое пленительное, что старушка, его не любившая, быстро затаившись, стала каким-то парком; ее сын, В. М., приват-доцент, постоянно глумившийся над строчкой Брюсова, только руками развел:

– «Ну, – и я побежден!»

Всех пленил и уехал.

Я здесь опускаю работу, которую с ним провели мы за этот период... В девятьсот лишь девятом году неожиданно он мне напомнил ненужное прошлое наше в стихах, посвященных мне, где он описывал, как он свой жезл поднимал на меня, чтоб убить, и как выпал тот жезл из руки .

Я обменял мой жезл змеиный
На посох бедный, костяной.

Я ответил стихами, в которых есть строки:

«Высоких искусов науку
И марево пустынных скал
Мы поняли», – ты мне сказал:
Братоубийственную руку
Я радостно к груди прижал.

* Коваленская, Александра Григорьевна (1829–?) – русская писательница для детей.



Но стихи вышли, как расставание в сфере культурной работы, которая – оборвалась; примирением внутренним, но расхождением внешним открылся период тот; Брюсов мне выявил, так сказать, «правый уклон» в символизме... Уже закрылись «Весы»; я ушел в «Муссагет»; Брюсов – в «Русскую мысль»...

Мы скоро ударились лбами, когда под давлением Струве* не принял он заказанного мне «Русской мыслью» романа: я кричал на него; даже сцены устраивал: на заседаниях «Эстетики»; он же, терпя мои резкости, молча морщился, силясь меня успокоить; он был совершенно бессилён; давил его Струве, который пришел от романа – в неистовство, до ультиматума мне, чтобы я вообще не печатал романа нигде.

Вышел громкий скандал, от которого лишь пострадал он со Струве; я ж – переборщил в своей долгой злопамятности, лет двенадцать отказываясь от свидания с ним; я не понял, что «инцидент» наш – неразбериха игры, от которой он более пострадал...

Еще раз столкнулись мы лбами с В. Я.: в 1918, когда меня группа писателей прочила вместо него, предлагаемого Луначарским**, в заведующие «Лито».

Только в 1924 году он, больной, примиренный, являсь в Коктебель, где я жил у Волошина***, с доброй сердечностью мне протянул через колкости «Воспоминаний» моих свою руку; тогда лишь воистину:

Братоубийственную руку
Я радостно к груди прижал.

В Коктебеле для Макса Волошина в день именин его изображали пародию мы на кино... но и в легкой игре проскользнул лейтмотив отношений – старинный, исконный:

* Струве, Пётр (1870–1944) – русский общественный и политический деятель, экономист, публицист, историк, философ.

** Луначарский, Анатолий (1875–1933) – русский советский писатель, общественный и политический деятель, переводчик, публицист, критик, искусствовед.

*** Волошин, Максимилиан (фамилия при рождении – Кириенко-Волошин; 1877–1932) – русский поэт, переводчик, художник-пейзажист, художественный и литературный критик.



борьбы между нами; он, изображая командующего аванпостом французским в Сахаре, сомнительного авантюриста, меня – арестовывал; мне передали, как оба, в пылу нас увлекавшей игры, за кулисами перед готовимой импровизацией спорили, кто кого на цепь посадит:

– «Я – вас!»

– «Нет, – я вас!»

Наблюдавшие нас утверждали, что в лицах (моем и его) был действительный пыл, точно речь об аресте – не шутка: серьез.

И запомнилось раннее утро; четыре часа; солнце не подымалось; тяжелые тучищи заволокли горизонт; на морском берегу мы прощались: под взревы волны; он сердечно мне подал ослабевшую руку; я с чувством пожал ее; я собирался в Москве навестить его; кашлял отчаянно он, незадолго промокнувши у Карадага: под ливнем; вернувшись в Москву, не поправился он.

Через месяц не стало его.

Провожая печальное шествие, я был притиснут толпой под балкон того здания, внутри которого с ним каждый день я встречался, когда мы, не зная друг друга, учились у Льва Поливанова, – здания ГАХНа; на мне столь знакомый балкон вышел тихо А. В. Луначарский; за ним вышел Коган; и произнеслось над Пречистенкой:

– «Брюсов – великий!»

Взволнованный воспоминаньями, помнится, выкрикнул я нечто дикое; переконфузившись, – юрк: в переулочек; позднее пришлось объяснить этот вскрик... «из волнения»; ведь для меня ж – умер «Брюсов»: эпоха, учитель, поэт!

Неизъяснима синева.
Как сахарная голова,
Сребрен светом,
Как из пепла, –
Гора из облака окрепла.

Брюсов – текучая диалектика лет: противленец, союзник, враг, друг, символист или – кто? Можно ли в двух словах отштамповать этот сложный процесс, протекавший в нем диалектически? Мы, отработавшие вместе с ним



в одной комнате шесть почти лет, награжденные определенным «собаки весовские», можем ли быть вместе с ним взяты в скобки? Одну из «собак» вызывал на дуэль; а другая «собака» гонялась с палкой за ним; и потом, отслужив, повернулась спиной к нему в «Мусагете»...

«Бесовская» группа – есть группа или разнородной?
Брюсов – нет, мне не пара...

Белый – Брюсову. Около 28 сентября 1905. Москва.

...Не удивитесь этому моему письму. В нем вы, вероятно, будете иметь последний образчик моего юродства, т. е. это моя последняя попытка говорить с вами не литературным или «сверх»-человеческим языком а просто человеческим. Обращаюсь к вам как к человеку, способному понимать слова «душа», «искренность» и т. д. Мне хотелось бы нарисовать картину моего нелепого и комичного положения в московском кружке представителей «нового искусства». Я никогда не делал попыток вступить на литературное поприще. Еще менее претендовал я быть какой-то «сверх-мирно-безмирной» арабеской. Я всегда жил среди людей простых, ученых, обиденных. Я не чувствовал никогда среди них такого отчаянного одиночества, которое чувствую в вашей среде. Я всегда был просто человеком, с просто человеческими запросами души. Неожиданно для себя я стал «литератором». Мое произведение «Симфония», которое я с боязливостью прочел М. С. Соловьеву, было отобрано у меня покойным. Дальнейшее вы знаете. Вы знаете и то, что я никогда *насильно* не врывался в среду представителей «нового искусства». Но волей-неволей участвуя в общих с вами и с вашими товарищами литературных предприятиях, я, естественно, обращаюсь ко всем вам с запросами, если хотите, даже с требованиями чисто человеческих отношений. Ввиду этого я считаю долгом обратиться к вам и к вашим открыто и честно с покорной просьбой или ограничиться чисто деловыми, литературными отношениями, или прямо судить меня (не тайно), чтобы и я в свою очередь мог судить вас (чтобы всякая тень затаенности, предательства или софистики исчезла из наших отношений).



Мое общение с вашим кружком возникло неожиданно. Теперь повсюду у вас говорят о моей неустойчивости, беспринципности, чуть ли не предательстве. Никто мне не заявляет этого открыто, прямо, честно. Ввиду всего этого я сам чувствую обязанность высказать некоторые соображения относительно своего положения в вашей среде.

С первого момента моего знакомства с «*декадентами*» (я так говорю исключительно для краткости) я поражаюсь в высшей степени упрощенным пониманием моей личности, какое меня встретило у вас. В литературе у меня есть свой аспект, но, боже мой, до какой степени я не весь выражаюсь в литературе. И строить мой облик по тому, что я пишу, значит рисовать вместо человека руку, или вместо лица – губы, нос, брови (без глаз) и т. д. Вот такое-то упрощение, упорное и стихийное, встретило меня в вашей среде, и из деликатности я слишком мало боролся, к сожалению, за себя среди всех вас. Вы все увидели мой призрак вместо меня, и, быть может, оттого сами стали казаться мне *призраками*. Это был мой стихийный протест против вашего стихийного непонимания меня (в сознании я удерживался от объяснений по многим причинам, которые могу изложить). В самом начале моего общения с вашей средой меня неприятно поражаю какой-то вначале трудноуловимый оттенок ваших отношений ко мне. Впоследствии я сообразил, что этот оттенок – холодное, книжное любопытство. Меня брали одни как виньетку, заставку, орнамент, другие – как кликушу, фокусника, юродивого и т. д. *Человека, человека все одинаково забыли во мне. Дружеского сочувствия ни в ком я не встретил. А я искал его. Я имел на него право. Я всегда полагал, что внешнее общение – кореллат внутреннего, и всем раскрывал свою душу, и вначале не хотел думать, что все, кто смотрит на меня, – смотрят мимо. А я-то удивлялся в свое время, говорил себе: «Не то, не то, не то...» Удивлялся, что не умею говорить с декадентами. Просто не тонко ко мне отнеслись, а я-то и не предполагал, что у «новых поэтов» старые представления о формах общежития, что они – еще «старые люди», способные грубо обрывать цветы души. Смутно мне чувствовалось, что здесь я обречен на одиночество.*



Когда я, так сказать, афишировал свою принадлежность к вашей группе, ряд лиц, с детства меня знавших и близких мне, отступили от меня. Стал я изгнанником, но и к вашему берегу не пристал, потому что нет у вас своего берега, все вы не любите друг друга и соединяетесь только для совместного нападения. Мне было тяжело одиночество, но я все же стал под вашим флагом, считая вас протестантами во имя новых форм жизни, а вы же меня обвинили в попрании всех форм, исходя из воззрений старой жизни. И понял я, что «новая жизнь» у вас только слова, что *не я арабеска, а вы все*. Но я молчал. Я и теперь молчал бы. Но вы браните меня у меня за спиной, и я сам предьявляю к вам этот иск.

Еще обижались на меня, если созданное представление обо мне не совпадало с моей личностью. В этом виноват не я, а ваши фантазии обо мне. Много нервности во мне породило такое отношение. Я совсем закрылся от вас и в полусутку обращал все серьезно книжные и литературные наши словопрения. Вы за это называли меня предателем. Из-под «маски» сколько раз я всей душой порывался к вам, к людям, и сколько раз в этом моем бескорыстном порыве я был введен в заблуждение, одни соглашались со мной на словах, а на деле подменяли мои переживания и тем вводили меня в соблазн; и, каюсь, много совершил я греховного. Другие люди вашего кружка утонченно, так сказать артистически, пытали меня – вы все, вы, Валерий Яковлевич, Бальмонт и другие... Да, я не сумел поставить себя в сухих, корректных границах относительно вас и людей вашего толка, но разве мое присоединение к вам было основано на литературном знакомстве, а не на общности в деятельной работе творчества – и не форм искусства, а форм жизни (между прочим, искусства). Вы скажете, я ошибся. Да, я ошибся. Каюсь, я не знал, что внешней неловкостью человека пользуются подчас, чтоб ее усилить, устраивать из неловкости различного рода психологические эксперименты и подчас жестоко, холодно, почти цинично. Я не знал, что «декаденты» ходят в колючих панцирях и не щадят доверчивого.



Согласен, что вы внешним образом были добры и снисходительны ко мне, и, каюсь, я злоупотреблял вашей снисходительностью своим неровным поведением. Но неровность эта явилась следствием полной растерянности от незнания, как же оградить себя от внутренней несправедливости и предвзятости ко мне, от упорного нежелания меня «увидеть». Снисхождение ко мне, мне обидно; ибо, если я добровольно присоединялся к вам, я присоединялся свободно, с достоинством, как равный к равным.

Согласитесь, ваш прошлогодний вызов меня на дуэль, или вызов меня на дуэль Соколовым за отказ мой в «Весах» от участия в журнале «Искусство» до такой степени не вяжется с моей сущностью, показывает такое упорное непонимание меня, что я с горькой улыбкой спрашиваю себя: «Неужели я мог когда-то принимать их за близких к себе в каком бы то ни было смысле?» Мне не хотелось, чтобы меня называли трусом, и я принципиально не отвергал дуэлей, делая все шаги к хотя бы формальному примирению. Не отвергал я дуэли также из желания уважить мотивы моего вызова. Тут при всей моей внешней неровности все же сказалась замаскированная деликатность по отношению к вам и вашим друзьям. Но вы это принимали как должное. Во всем этом какое нежелание подойти ко мне, а я только и делал, что шел к вам навстречу, хотя и встречал по дороге колючую проволоку.

И вот махнул рукой. В разговорах, в общении с вами я теперь автомат; и вы еще претендуете на мою неискренность. Спорить хотя бы с вами, Валерий Яковлевич, бесполезно и долго. Я вас люблю, ценю, уважаю. Но, во-первых: властность вашего тона (не то сверхчеловеческая, не то бюрократическая) часто исключает возможность спокойного обсуждения спорных пунктов наших мировоззрений и отношений к людям. Различность темпераментов не позволяет нам понимать друг друга. Наконец, методы вашей речи столь различны с моими, что прежде, нежели стать на *равноправную* точку зрения в словесном общении (а оно часто создает фон для всего прочего), мы должны были бы привести методы эти в соприкосновение (т. е. стоять не на различных догматических точках зрения, а на



критической). Вы этого часто не принимали во внимание. Я из деликатности вам уступаю, властность и безапелляционность ваших утверждений воцаряется над спокойным течением отношений, и уступчивость мою вы принимаете как нечто должное. То же я могу сказать и о Бальмонте. Оба вы догматики. Оба вы еще в старом. К «новому» вы относитесь одними знаками «минус». (Я не о художественном творчестве, ибо почитаю вас большим художником.)

Я не с вами. Да. Меня отделяет от вас маска моей легкомысленности, невольно появившаяся как защита против вашей нетерпимости к спокойному обсуждению чужих вам мыслей, поступков, переживаний. Я с вами серьезно говорить не могу, ибо у нас разные критерии серьезности. Да, я не умею говорить с вами. Может быть, вы улыбнетесь наивности моих слов: искать неподдельности, общения, души – это старо, скучно, не дельно: но я заявляю, я хочу только человеческого, а если и говорю о несказанном, то уповаю его найти в *сказанном*. Я ищу символов, новых сложностей, вы разлагаете символ. *Вы не символисты. Я человек.* Человека во мне попрали в вашем круге, превратили в «*арабеску*». Духом я ушел от вас.

Теперь меня бранят. Но я не считаю себя ни в чем виновным (исключая неровностей в поведении, за которые приношу искреннее извинение). Я никого из вас не предавал. Наоборот, духом, словом, отношением я себя отдавал вам, и вы мною пользовались подчас, как игрушкой, – снисходили. Ныне я искренне хочу освободить всех от своего общества, *прошу* и меня принимать исключительно со стороны моего участия в «Весах» и т. д. – участия, которое я назову, если хотите, долгом.

Извне нас принимают за одно. Я заявляю, что нет у меня с вами ничего общего.

Вот все, Валерий Яковлевич, что приходится мне вам передать. Это немного, но я считаю нужным открыто сказать это немного, ибо у меня одно искреннее желание: поставить себя в должных границах относительно всех вас, чтобы вы были избавлены от неприятных черт моего характера, и чтобы я, наконец, был избавлен от той горечи, которую выношу из общения со всеми вами...



Перестишка из двух углов

Белый.

Маг

Я в свисте временных потоков,
мой черный плащ мятежно рвущих.
Зову людей, ищу пророков,
о тайне неба вопиющих.

Иду вперед я быстрым шагом.
И вот – утес, и вы стоите
в венце из звезд упорным магом,
с улыбкой вещью глядите.

У ног веков нестройный рокот,
катясь, бунтует в вечном сне.
И голос ваш – орлиный клекот –
растет в холодной вышине.

В венце огня над царством скуки,
над временем вознесены –
застывший маг, сложивший руки,
пророк безвременной весны.

Брюсов.

Андрею Белому

Я многим верил до иступленности,
С такою надеждой, с такою любовью!
И мне был сладок мой бред влюбленности,
Огнем сожженный, залитый кровью.

Как глухо в безднах, где одиночество,
Где замер сумрак молочно-сизый...
Но снова голос! зовут пророчества!
На мутных высях чернеют ризы!

«Брат, что ты видишь?» – Как отзвук молота,
Как смех внемирный, мне отклик слышен:
«В сиянии небо – вино и золото! –
Как ярки дали! как вечер пышен!»

Отдавшись снова, спешу на кручи я
По острым камням, меж их изломов.
Мне режут руки цветы колючие,
Я слышу хохот подземных гномов.



Но в сердце – с жаждой решенье строгое,
Горит надежда лучом усталым.
Я много верил, я проклял многое
И мстил неверным в свой час кинжалом.

Белый.

Маг II

Упорный маг, постигший числа
И звезд магический узор.
Ты – вот: над взором тьма нависла...
Тяжелый, обожженный взор.

Бегут года. Летят: планеты,
Гонимые пустой волной, –
Пространства, времена... Во сне ты
Повис над бездной ледяной.

Безводны дали. Воздух пылен.
Но в звезд разметанный алмаз
С тобой вперила твой верный филин
Огонь жестоких желтых глаз.

Ты помнишь: над метою звездной
Из хаоса клонился ты
И над стенающею бездной
Стоял в вуалях темноты.

Читал за жизненным порогом
Ты судьбы мира наизусть...
В изгибе уст безумно строгим
Запечатлелась злая грусть.

Виси, повешенный извечно,
Над темной пляской мировой, –
Одетый в мира хаос млечный,
Как в некий саван гробовой.

Ты шел путем не примиренья –
Люциферическим путем.
Рассейся, бледное виденье,
В круговороте бредовом!

Ты знаешь: мир, судеб развязка,
Течение быстрое годин –
Лишь снов твоих пустая пляска;
Но в мире – ты, и ты – один,



Все озаривший, не согретый,
Возникнувший в своем же сне...
Текут года, летят планеты
В твоей несчастной глубине.

Брюсов.

Бальдеру Локи

Светлый Бальдер! мне навстречу
Ты, как солнце, вносишь лик.
Чем лучам твоим ответчу?
Опаденный, я поник.
Я взбегу к снегам, на кручи:
Ты смеешься с высоты!
Я внесусь багряной тучей:
Как звезда сияешь ты!
Припаду на тайном ложе
К алой ласковости губ:
Ты метнешь стрелу, – и что же!
Я, дрожая, сжимаю труп.

Но мне явлен Нертой мудрой
Призрак будущих времен.
На тебя, о златокудрый,
Лук волшебный наведен.
В час веселья, в ясном поле,
Я слепцу вручу стрелу, –
Вскрикнешь ты от жгучей боли,
Вдруг повергнутый во мглу!
И когда за темной Гелой
Ты сойдешь зловещим снам, –
Я предам, со смехом, тело
Всем распятым! всем цепям!
Пусть в пещере яд змеиный
Жжет лицо мне, – я в бреду
Буду петь с моей Сигиной:
Бальдер! Бальдер! ты в аду!

Не вотще вещали норны
Мне таинственный обет.
В пытках вспомнит дух упорный:
Нет! не вечен в мире свет!
День настанет: огнебоги
Сломают мощь небесных сил,
Рухнут Одина чертоги,
Рухнет древний Игдразил.
Выше радуги священной
Встанет зарево огня, –
Но последний царь вселенной,
Сумрак! сумрак! – за меня



Белый.

Старинному врагу в знак любви и уважения

Я был в ущелье. Демон горный
Взмахнул крылом – затмился свет.
Он мне грозил борьбой упорной.
Я знал: в борьбе пощады нет.

И длань воздел. И облак белый
В лазурь меня – в лазурь унес.
Опять в эфирах вольный, смелый,
Омытый ласковостью рос!

Ты несся ввысь со мною рядом,
Подобный дикому орлу.
Но опрокинут тяжким градом,
Ты пал бессильный на скалу.

Ты пылью встал, но пыль, но копоть
Спалит огонь, рассеет гром.
Нет, не взлетишь: беспечно хлопать
Своим растрепанным крылом.

.....

Моя броня горит пожаром.
Копье мне – молния, Солнце – щит.
Не приближайся: в гнев яром
Тебя гроза испепелит.

Брюсов.

Бальдеру II

Тебя приветствую, мое поражение

З. Гиппиус

Кто победил из нас – не знаю!
Должно быть, ты, сын света, ты!
И я, покорствуя, встречаю
Все безнадежные мечты.

Своим и я отметил знаком
Ту, за кого воздвигся в бой.
Ей на душу упал я мраком
И в бездны ринул за собой.

Но в самом ужасе падений,
На дне отчаянья и тьмы,
Твой дальний луч рассеял тени,
И в небеса взглянули мы!



Нас сладострастным содроганьем
Вязала страсть, но встал твой лик!
И мы отпрянули с рыданьем,
И я над плачущей поник.

Когда я мнил кричать проклятья,
Благословили скорбь уста,
И в наши грешные объятья
Влилась незримо – Чистота!

Я молча раскрываю руки:
Она – твоя, возьми, бери!
Мне сладко от смертельной муки,
Мне больно от лучей зари.

Белый.

Преданье

1

Он был пророк.
Она – сибилла в храме.
Любовь их, как цветок,
горела розами в закатном фимиаме.

Под дугами его бровей
Открылись взгляды
В выси излитые.
Струились завитки кудрей –
Вина каскады
Пеннозолотые.

Как облачко, закрывшее лазурь,
С пролетами лазури
И с пепельной каймой –
Ее лицо, застывшее без бури,
Волос омытое волной немой.

Сквозь грозы
И напасти
Тронулись: была в пространствах дальних –
Нега.
Из багряницы роз многострадальных
Страсти –
Творили розы
Снега.

К потокам Стикса приближались.
Ветер выхватился, белыми шелками вея, –
Розовые зори просветлялись
Жемчугами –
Умирили, ласково бледнея.



2

На башнях дальних облаков
Ложились мягко аметисты.
У каменистых берегов
Челнок качался золотистый.

Круг солнца ясно ниспадал,
(И тихо плакала сибилла) –
Средь изумрудов мягко стлаал
Столбы червонные берилла.

Пророк сказал: «Любовью смерть
И смертью страсти победивший,
Я уплыву, и вновь на твердь
Сойду, как бог, свой лик явивший».

Сибилла грустно замерла,
Откинув пепельный свой локон.
И ей надел поверху чела
Из бледных ландышей венки он.

3

Тянулись дни. Он плыл и плыл.
От берегов далеких Стикса,
Всплывая тихо, месяц стыл
Обломком матовым оникса.

Чертя причудливый узор,
Лазурью трепетной сквозила
Стрекозы бледные. И взор
Хрустальным кружевом повили.

Вспенял крылатый, легкий челн
Водоворот фонтанно-белый.
То здесь, то там среди ясных волн
Качался лебедь онемелый.

И пряди длинные кудрей,
И бледнопепельные складки
Его плаща среди зыбей
Крутил в пространствах ветер шатки.



4

И была временем волна.
Прошли года. Под сенью храма
Она состарилась одна
В столбах лазурных фимиама.

В закатный час, покинув храм,
Навстречу богу шли сибиллы.
По беломраморным щекам
Струились крупные бериллы.

И было небо вновь пьяно
Улыбкой брачною закатов.
И рдело золотом оно
И темным пурпуром гранатов.

5

Забит теперь, разрушен храм,
И у дорической колонны,
Струя священный фимиам,
Блестит росой шиповник сонный.

Забит алтарь. И заплетен
Уж виноградом диким мрамор.
И вот навеки иссечен
Старинный лозунг: «Sanctus amor».

И то, что было, не прошло...
Я там стоял, оцепенелый:
Глядясь в дрожащее стекло -
Качался лебедь, сонный, белый.

И солнца диск почил в огнях.
Плясали бешено на влаге,-
На хризолитовых струях
Молниеносные зигзаги.

«Вернись, наш бог», молился я,
И вдалеке белелся парус.
И кто-то, грустный, у руля
Рассыпал огненный стеклярус.



Брюсов.

Предание

Посвящаю Андрею Белому

И ей надел поверх чела
Из белых ландышей венок он.

Андрей Белый

I

Повеял ветер голубой
Над бездной моря обогреной.
Жемчужный след черта кормой,
Челнок помчался, окрыленный.

И весь челнок, и плащ пловца
Сверкали ясным аметистом;
В кудрях пророка, вокруг лица,
Закат горел венцом лучистым.

И в грозно огненный Закат
Уйдя безумными очами,
Пловец не мог взглянуть назад,
На скудный берег за волнами.

Меж ним и берегом росли
Огни топазов и берилла,
И он не видел, как с земли
Стремилась взор за ним Сибиλλα.

И он не видел, как она
Упала вдруг на камень черный,
Побеждена, упоена
Своей печалью непокорной.

И тень, приблизившись, легла,
Верховный жрец отвел ей локон,
И тихо снял с ее чела
Из белых ландышей венок он.



II

И годы шли. И целый день
Она скользила в сводах храма,
Всегда задумчива, как тень,
В столбах лазурных фимиама.

Но лишь стгорел пожар дневной
И сумрак ширился победно,
По узкой лестнице витой
Она сходила тенью бледной,—

В покой, где жрец верховный ждал
Ее с покорностью всегдашней,
При дымном факеле, и ал
Был свет из окон старой башни.

Струи священного вина
Пьянили мысль, дразня желанья,
И словно в диком вихре сна,
Свершались таинства лобзанья.

На ложе каменном они
Безрадостно сплетали руки;
Плясали красные огни,
И глухо повторялись звуки.

Но вдруг, припомнив о былом,
Она венки из роз срывала,
На камни падала лицом
И долго билась и стенала.

И кротко жрец, склонясь над ней,
Вершил заветные заклатья,
И вновь, под плясками огней,
Сплетались горькие объята.

III

И годы шли, как смены сна,
Сходя во тьму сквозь своды храма,
И вот состарилась она
В столбах лазурных фимиама.

И ей народ алтарь воздвиг
Давно, как непорочной жрице,
И только жрец, седой старик,
Знал тайну замкнутой светлицы.



Был вечер. Запад гас в огне.
Ушли из храма богомольцы.
На малахитовой волне
Сплетались огненные кольца.

И вырос призрак корабля,
И близился безвестный парус,
И кто-то, бледный, у руля
Ронял сверкающий стеклярус.

Уже, мерцая, месяц стыл
Серпом из тусклого оникса,
Когда ко храму подступил
Пришлец с берегов холодных Стикса.

И властно в ясной тишине
Раздалось тихое воззвание:
«Вот я пришел. Сойди ко мне,–
Настало вечное свиданье».

И странно вспыхнул красный свет
В высоких окнах башни старой,
Потом погас на зов в ответ,
И замер храм под лунной чарой.

И в красоте седых кудрей
Предстала у дверей Сибилла,
Простер он властно руки к ней,
Она, без слов, главу склонила.

Спросил он: «Ты ждала меня?»
Сказала: «Верила и ждала».
Лучом сапфирного огня
Луна их лик поцеловала.

Рука с рукой к прибою волн
Они сошли, вдвоем отныне...
Как сердолик – далекий челн
На хризолитовой равнине!

А в башне, там, где свет погас,
Седой старик бродил у окон,
И с моря не сводил он глаз,
И целовал в последний раз
Из мертвых ландышей венки он.



ПЕТРОВСКИЕ ХРОНИКИ II

Ходасевич. Тем временем Нина оказалась брошенной да еще оскорбленной. Слишком понятно, что, как многие брошенные женщины, она захотела разом и отомстить Белому, и вернуть его. Но вся история, раз попав в «символическое измерение», продолжала и развиваться в нем же.

Осенью 1904 года я однажды случайно сказал Брюсову, что нахожу в Нине много хорошего.

– Вот как? – отрезал он, – что же, она хорошая хозяйка?

Он подчеркнуто не замечал ее. Но тотчас переменялся, как наметился ее разрыв с Белым, потому что, по своему положению, не мог оставаться нейтральным.

Он был представителем демонизма. Ему полагалось перед Женой, облеченной в Солнце, «томиться и скрежетать». Следственно, теперь Нина, ее соперница, из «хорошей хозяйки» превращалась в нечто значительное, облакалась демоническим ореолом. Он предложил ей союз – против Белого. Союз тотчас же был закреплен взаимной любовью. Опять же все это очень понятно и жизненно: так часто бывает. Понятно, что Брюсов ее по-своему полюбил понятно, что и она невольно искала в нем утешения, утоления затронутой гордости, а в союзе с ним – способа «отомстить» Белому.

Брюсов в ту пору занимался оккультизмом, спиритизмом, черною магией, – не веруя, вероятно, во все это по существу, но веруя в самые занятия, как в жест, выражающий определенное душевное движение. Думаю, что и Нина относилась к этому точно так же. Вряд ли верила она, что ее магические опыты, под руководством Брюсова, в самом деле вернут ей любовь Белого. Но она переживала это как подлинный союз с дьяволом. Она хотела верить в свое ведовство. Она была истеричкой, и это, быть может, особенно привлекало Брюсова: из новейших научных источников (он всегда уважал науку) он ведь знал, что в «великий век ведовства» ведьмами почитались и сами себя почитали – истерички. Если ведьмы XVI столетия «в свете науки» оказались истеричками, то в XX веке Брюсову стоило попытаться превратить истеричку в ведьму...



Нина. Символистская эпоха была одной из неповторимых русских литературных эпох, потому что многими корнями своими она вращалась в назревающий катастрофический перелом русской жизни, отмеченный двумя грозными датами: 1905 и 1917.

В романе «Хождение по мукам» А.Толстой* описывает Петербург перед разразившимися событиями и разложение самых избранных интеллигентных кругов. На него была похожа Москва в 1903, 1904 гг. В стремлении общества что называется «вылезти из кожи» было бессознательное прощание с бытом, все прелести которого людям, очертя голову, хотелось использовать до последних возможностей. Прогрессивная волна переживаемого момента в те годы не захватила широкую толпу интеллигенции. Деятельность же работников и создателей, обставленная в высшей степени мрачными подробностями, проходила, конечно, подпольно и в тиши. А на авансцене, словно накануне потопа, бесновались искривленные призраки – люди никчемные, ничтожные, провозгласившие лозунгом жизни дурно понятое самоутверждение.

В пучине исторических событий, конечно, рождаются новые люди, новые ратоборцы будущего, – и они рождались уже тогда, но не на виду, не на глазах.

Что символистские писатели тех лет стояли далеко от общественности, я думаю, за это их не должно упрекать. Может быть, не поднялся еще высоко гребень волны, но когда встал «девятый вал», многие из них доказали на деле свою любовь к подлинной России. А тогда, – да, – они были далеки от общественности и реагировали на происходящее вокруг своеобразно, точно стремясь уйти из этого мира как можно дальше в какой-то манящий тайнами, загадками, обещаниями, намеками сверхчувственный мир.

Характерны стихи и романы Ф.Сологуба тех дней, – особенно «Навьи чары», примечателен вопль Бальмонта «Будем как солнце», «Огненный ангел» Брюсова, – вещь, правда, задуманная давно, но написанная со страстным вдохновением именно в то время. Бесформенное мучительное

* Толстой, Алексей (1882–1945) – русский советский писатель и общественный деятель, граф.



мистическое чувство, живущее на дне души каждого художника, обострилось до мучения в целой плеяде писателей и выражалось в каждом соответственно своей индивидуальности: у Сологуба – в демонизме, а у А. Белого и отчасти у С.Соловьева как заостренная маниакально-религиозная идея, у Блока в туманном мистицизме «Прекрасной Дамы», в безудержном эротизме у Бальмонта. И у молодых: в общем порыве к тому, «чего нет на свете».

О Брюсове я бы сказала, что в душе его «зашевелился» «древний хаос» – его позвали заповедные цветущие сады его поэтической мечты, находящиеся за порогом уютного семейного гнезда на Мещанской.

Стремление к чему-то небывалому, невозможному на земле, тоску души, которой хочется вырваться не только из всех установленных норм жизни, но и из арифметически точного восприятия пяти чувств, – из всего того, что было его «маской строгой» в течение трех четвертей его жизни, – носил он в себе всегда.

Разве не стоном звучат эти строки:

Влеку меня, поток шумящий!
Бросай и бей о гребни скал.
Хочу тоски животворящей,
Я по отчаянью взалкал!

А вокруг него, умильно посматривая на мэтра, бродили поэты с ненапечатанными рукописями, вокруг царствовавала, несмотря на разнузданность карнавала, условность чувств и отношений, бродила в полудобре и полужле толпа знакомых и чужих.

«Взалкав по отчаянью», по гомерическим чувствам, которые всегда были единственным стимулом его творчества, он спустил с цепи свой «хаос» и швырнул себя в «поток шумящий» совершенно исключительных жизненных комбинаций.

Что же отметил тогда во мне Валерий Брюсов, почему мы потом не расставались 7 лет, влача нашу трагедию не только по всей Москве и Петербургу, но и по странам? Отвечая на этот вопрос, я ничего не преувеличу и не искажу. Он угадал во мне органическую родственность моей



души с одной половиной своей, с той – «тайной», которой не знали окружающие, с той, которую он в себе любил и, чаще, люто ненавидел, с той, которую сам же предавал, не задумываясь, вместе со мной своим и моим врагам.

И еще одно: в то время как раз облакалась плотью схема «Огненного ангела», груды исторических исследований и материалов перековывались в пластически-прекрасную пламенную фабулу. Из этих груд листов, где каждая крохотная заметка строго соответствовала исторической правде, вставали образы графа Генриха, Рупрехта и Ренаты.

Ему были нужны подлинные земные подобию этих образов, и во мне он нашел многое из того, что требовалось для романтического облика Ренаты: отчаяние, мертвую тоску по фантастически прекрасному прошлому, готовность швырнуть свое обесцененное существование в какой угодно костер, вывернутые наизнанку, отравленные демоническими соблазнами религиозные идеи и чаяния (Элевзинские мистерии), оторванность от быта и людей, почти что ненависть к предметному миру, органическую душевную бездомность, жажду гибели и смерти, – словом, все свои любимые поэтические гиперболы и чувства, сконцентрированные в одном существе – в маленькой начинающей журналистке и, наперекор здравому смыслу, жене С. Кречетова, благополучного редактора книгоиздательства «Гриф».

Ни одним из этих моих качеств я не горжусь. Многие из них отмерли с годами, некоторые прошли, как проходят в жизни каждого человека неминуемые детские болезни. Некоторые же не только укрепились, но ощутились, как органическая основа души навсегда.

Тогда же все они цвели во мне пышным букетом и к тому же в прекрасной раме барственной жизни, где даже детали горя обставлялись эстетически.

И я нужна была Брюсову для создания не фальшивого, не вымышленного в кабинете, а подлинного почти образа Ренаты из «Огненного ангела». Потому любопытство его, вначале любопытство почти что научное, возростало с каждым днем.

После первого моего знакомства с В. Брюсовым в доме известной тогда спиритки А.И. Бобровой прошли года.



В. Брюсов, вероятно, забыл меня и официально мы познакомились в дни возникновения книгоиздательства «Гриф».

Как личность, он двоился для меня, далекий и недоступный, выразитель моих идей и веры тех дней, – мэтр, мудрец, любимейший поэт, он жил на неприступных вершинах.

Внутренний такт мне подсказывал, что появиться перед ним с тетрадкой рассказиков-«миньятюр», в стиле Петера Альтенберга невозможно. Их мог хвалить и печатать гостеприимный С. Кречетов, но не В. Брюсов. Значит, доступ в редакцию был для меня закрыт моим же собственным и правильным критерием. Оставался другой. В. Брюсов официальных появлений и встреч, – «острый, как иголка», сухой, недоброжелательный ко всем нам и, конечно, хотя и несправедливо, ко мне... В те годы он был очень болен и постоянно подвергался каким-то операциям в кости верхней челюсти. Появлялся измученный, исхудалый, со свирепым выражением лица.

– Оставьте меня все! – говорило это лицо.

А Кречетов, ненавидевший Брюсова люто и всю жизнь, злорадно подсмеивался:

– Совершеннейший волк! Глаза горят, ребра втянуло, грудь провалилась. Волк, да еще голодный, рыщет и ищет, кого бы разорвать!

Смешных легенд в те годы о Валерии Брюсове ходило множество, и все они почему-то окрашивались в один цвет: черный. Всего больше этому способствовали А. Белый и Соловьев. Ничего кроме облика лубочного демона не узрел А. Белый в личности Брюсова, глубокой, неисчерпаемой, неповторимой...

Будучи человеком бездонных духовных глубин, В. Брюсов никогда не обнаруживал себя перед людьми в синтетической цельности. Он замыкался в стили, как в надежные футляры, – это был органический метод его самозащиты, увы, кажется, мало кем понятый.

Однажды, еще до нашего знакомства, в доме друга В. Брюсова – Ланга-Миропольского, я долго смотрела на портрет двадцатилетнего Брюсова. Пламенные глаза в угловых чертах ресниц, резкая горизонтальная морщина на



переносе, высокий взлет мефистофельски сросшихся бровей, надменно сжатые, детские, нежные губы.

Власть и обреченность на суровый жизненный подвиг. Вспоминая тот портрет сейчас, я читаю запечатленные строки:

Ты должен быть гордым, как знамя,
Ты должен быть острым, как меч,
Как Данту, подземное пламя
Должно тебе щеки обжечь.

Он подставлял лицо и душу палящему зною пламенных языков и, сгорая, страдая, изнемогая всю жизнь, исчислял градусы температуры своих костров. Это было его сущностью, подвигом, жертвой на алтарь искусства, не оцененной не только далекими, но даже и близкими, ибо существование рядом с таким человеком тоже требовало неисчислимых и, хуже всего, не экстатических, а бытовых, серых, незаметных жертв.

Для одной прекрасной линии своего будущего памятника он, не задумываясь, зачеркнул бы самую дорогую ему жизнь.

Стили В. Брюсова иногда меня поражали.

Один год я зачем-то поселилась в захолустном дачном уединении по Брянской дороге.

Маленькая усадьба утопала в дряхлом саду, в окнах нашей избушки на курьих ножках бесконечные, струистые, золотые горизонты, да лес, зеленый, сырой, душистый. Две паршивые собаки уныло бродили по аллеям, да стрекотал по беседкам дореформенный штат прислуги.

Хозяин Иван Кузьмич, совершенно глухой старичок, служил в каком-то банке в Москве и приезжал только по субботам, нагруженный пакетами, кулками, бутылками.

Все это расставлялось на столе под вечерними березами, и о чем только В. Брюсов не беседовал с Иваном Кузьмичом! О Боге, русском народе, о современном положении вещей, которое прошлому, конечно, и в подметки не годилось, о собаках, почему-то вечно паршивевших, о клумбах, о высадках, о будущей рубке капусты, о завтрашнем меню.



– Какой обходительный господин, Валерий Яковлевич, – восхищался Иван Кузьмич. – Сейчас видно, что интеллигентный субъект!

В приемной «Скорпиона» и «Весов», в деловые часы, стиль был строг и неизменен. Здесь более, чем где-либо, одна половина существа В. Брюсова жила своей подлинной жизнью.

Молодые поэты поднимались по лестнице с затаенным сердцебиением. Здесь решалась их судьба – иногда навсегда, здесь производилась строжайшая беспристрастная оценка их дарований, знаний, возможностей, сил. Здесь они становились перед мэтром, облеченным властью решать, судить, приговаривать.

Не только для Москвы и Петербурга, но тогда и для всей России две комнаты на чердаке «Метрополя» приобрели значение культурного центра, – непоколебимость гранитной скалы, о которую в конце концов разбивались в щепки завистничество и клевета ортодоксальной критики.

Аристократизм «Скорпиона», суровая его замкнутость, трудность доступа в святилище, охраняемое «свирепым цербером» (так говорили, конечно, шутя) – все это вместе относилось исключительно на счет Брюсова, и стена между ним и людьми росла.

Фанатиком, жрецом, священнослужителем искусства прошел Брюсов сквозь жизнь, и в этом-то и была его органическая сущность. Мало кто знает сейчас, как жил В. Брюсов в дореволюционные годы. Он был странно охвачен страстью общественной деятельности и в этот тусклый костер (беспартийный костер) бросал немалую часть себя. Художественный Кружок, рефераты, заседания, суды чести, участие в художественных президиумах, редакция «Скорпиона», «Русской Мысли» – все это поглощало у короткого вообще человеческого дня часы и часы.

Я как-то спросила одного молодого поэта:

– Каким представляет себе ваше поколение В. Брюсова в реальной жизни?

– Размеренным, конечно, методичным...

Рассказывают, например, что он писал стихи, запираясь, как в башне, у себя в кабинете, требуя вокруг аб-



солютной тишины, писал по хронометру, от такого-то до такого-то часа... Смешно, но так думали и так думают многие. В. Брюсов писал свои стихи на ночном, вечернем асфальте, врезал в память строки, как в металлическую доску, писал в трамваях, на извозчиках, во время прогулок. У него не было для них ни одной записной книжки. Иногда лишь приходил и говорил:

– Скорее! Сядь, запиши... я потом сделаю.

Подчеркиваю это слово, как в высшей степени для метода его творчества характерное. «Вдохновение» для него было составной частью предварительной работы, а не самоудовлетворяющим фактором. И строки Бальмонта:

Нам нравятся поэты, похожие на нас,
Священные предметы, дабы украсить час

В. Брюсов приводил как яркий и комический пример поэтического «соловьиного пения», где не требуется «работы», – упорной, часто ювелирной, часто скульптурной, часто философской.

Но когда именно он работал, поглощая тома материалов для предварительных исследований, необходимых для переводов и прозы, как успевал с такой внешней легкостью выбрасывать в печать тома своих произведений, это для меня и до сих пор тайна.

Так писался им роман «Огненный ангел» – 5 лет. Жизненные жертвы В. Брюсова, для того, кто их знал на себе на протяжении всей его миссии, казались бы более правдоподобными лишь в житии какого-нибудь святого. Существовавшие для дня и не для вечности люди, которые рикошетом ранили горько, по-детски роптали.

Но что касается меня, после его смерти я смотрю в прошлое долгим нежным и благодарным взором. Я говорю – иначе быть не могло! Если бы было иначе, – я жила бы остатки дней с несмываемым грехом на душе.

Но от неизбежных мельканий «стилей» все туманней становился его внешний облик перед людьми,

Большой сумбур вносит в характеристику Брюсова Андрей Белый в «Воспоминаниях о Блоке».



В Москве были и такие, что на первом плане отмечали обывательски-буржуазные черты его жизни.

На многое и я смотрела с грустью...

Но только теперь, через годы, после его смерти, глубокий смысл открылся для меня в его полусутоливых, не раз повторяемых словах:

– Ах, позволь мне иногда быть маленьким, маленьким и на это время уходить. Позволь мне иногда прятаться в «коробочку». Я так устал быть всегда «большим».

Да, я, конечно, не могла бы играть с ним и его родственниками по воскресеньям в преферанс по маленькой, чистить щеткой воспетый двумя поколениями поэтов черный сюртук, печь любимые пироги, варить кофе по утрам, составлять меню обеда и встречать его на рассветах усталого, сонного, чужого... Этот терновый венок придется на долю жен поэтов...

С того момента, когда Брюсов становится центральной фигурой моих «Воспоминаний», события символистской эпохи делаются только фоном для углубленных личных переживаний – синематографической лентой, то в памяти бледнеющей, то вспыхивающей в зависимости от его присутствия и участия.

Куда делись в эту осень «аргонавты», как они исчезали один за другим, я не помню. Как они жили? Верно, взяли в мистических трясинах арбатских переулков, верно, по-прежнему стадом ходили за А. Белым. О них я не тосковала.

Литературная московская жизнь шла своим чередом. С. Кречетов процветал где-то в ресторанных сферах, отмечив для «будущего русской литературы» и крупную и смешную и возмутительную и трогательно русскую фигуру «мецената» Николая Рябушинского*.

Словно с сукон Художественного театра сорвался этот красавец-рында. Не хватало ему сценических атрибутов. Но и в черном сюртуке и в куцем фраке, все равно, как в белом кафтане, был он по-старинному, по-отечественному хорош: очи соколиные, брови соболиные, золотая борода, зубы-жемчуга.

* Рябушинский, Николай (1877–1951) – известный российский меценат.



С. Кречетов его отметил.

1905 год приближался, подземные гулы его сотрясали современность, и для нас было событием первой важности возникновение «Золотого руна».

В. Брюсов следил издали, как вздувались мыльные пузыри, талантливые или бездарные копии «Скорпиона». Этой осенью мы познакомились ближе.

Меня стали неудержимо манить «спиритические тупики». Прочитав немало спиритических и теософских книг, я хорошо знала, придерживаясь конечно круга принятых идей, к каким отрицательным последствиям ведет бесцельное проковыривание дырок в занавесе, отделяющем потусторонний мир. Прежде всего, конечно, обострится неврастения, а за этим – шепоты, шорохи; налетит всякая нечисть, задует противный потусторонний сквозняк и прочее и прочее...

Но неудавшееся преображение жизни оставалось в душе зияющей дырой. Если не удалось преобразить, может быть уже исказить-то удастся, думала я злорадно.

С. Кречетов весьма интересовался спиритизмом и его терминами жонглировал в гостиных очень искусно. У нас еще при аргонавтах, и словно в пику им, собирался раз в неделю небольшой и замкнутый кружок...

В. Брюсов о наших сеансах знал, но как будто ими не интересовался. Однажды, когда С. Кречетов заменял своего брата (нотариуса) в конторе на Варварке, я пошла к нему зачем-то днем. Был обеденный перерыв. Я поднялась наверх в квартиру и поразила чуть не до столбняка: за чайным столом в мирной беседе с С. Кречетовым сидел В. Брюсов, простой, добродушный, какой-то домашний, новый мне, невиданный, ну, просто невозможный. Навстречу поднялся с пленительной улыбкой:

– Вот и деловым человеком стал, Нина Ивановна. Пришел к Сергею Алексеевичу совершать нотариальный акт.

– Да?

С. Кречетова вызвали.

– Отчего Вы такая печальная? Нет, не печальная, – трагическая... Донна Анна Вы...

Смеялся ли он, что ли? Великая честь быть донной Анной!



Этот разговор на странную тему прервал приход С. Кречетова. Ему было нужно возвращаться в контору. Извинился, предложил нам остаться посидеть.

Но «посидеть» с Брюсовым мне было как-то страшно и неприятно.

– Выйдем вместе? – спросил он.

И в первый раз по-настоящему увидела я его улыбку, прекрасную, лучезарную, меняющую все лицо.

Вышли на Варварку. И хотелось сказать:

– Вам куда, Валерий Яковлевич, направо? А я налево!

Но В. Брюсов, помахивая тросточкой шел рядом и не думал прощаться.

– Почему никогда не приглашаете на сеансы?

– Сеансы? Да могут ли они Вас интересовать?

– Очень! В Москве сейчас кроме вашего нет ни одного спиритического кружка.

– Тогда приходите.

Сказала, и все заглодело внутри. Пророчество А. Белого вспомнилось, да и сеансы-то... ни медиума, ни феноменов. Стыд один. Но светски повторила:

– Пожалуйста, приходите. Все будут счастливы Вас видеть, Валерий Яковлевич.

Мы шли по тротуару около Новых Рядов. Стоял пронзительно лазурный сентябрь, пахло яблоками из подвалов, на углу продавали последние астры с жесткими, словно жестянными, лепестками. Таким ли был прошлогодний сентябрь!

Точно угадав мою мысль, В. Брюсов сказал:

– Вот, к каждому углу привязано воспоминание. И как похожи они все!

– Ну, не все, – ответила я. – Извините, не все.

– Да? Значит у вас есть неизгладимое?

– У меня? Есть!

– А у меня пока нет. Я тоже хотел бы пережить что-то особенное, неизгладимое, чтобы...

Но я перебила:

– Вам в «Скорпион», конечно? До свидания.

На углу Тверской оглянулась. Чертя тросточкой по тротуару, он стоял и смотрел мне вслед. С. Кречетов переполошился:



– Брюсов придет? А у нас ни медиума, ни феноменов! Устройте. Чего стоит...

Люди собрались с торжественными лицами. Честь-то, честь-то какая! Научный характер будет, конечно, носить сеанс, если и без медиума, то с оракулом.

Но ошиблись. Простой, домашний, какой-то уютный, появился среди нас В. Брюсов, и к тому же не в сюртуке, а в сером пиджаке. Уютно уселся за чайным столом, говорил о спиритизме в тоне популярных брошюр, давая советы, ободряя потерявших мужество. Настал момент сеанса. Выдвинули столик, спустили занавесы, заткнули все щелки от уличного света, погасили огонь, встали цепью. Тьма.

Я знаю и люблю ее. И странно, для меня она никогда не бывает абсолютной, даже в черных альпийских туннелях. Наплывает белый рассеянный туман, виснут белые инеем сверкающие нити, леопардова шкура раскинулась по потолку, пятнистая, противная. Стены упали, открылись черные бездонные провалы под ногами, входы в бесконечные лабиринты, без контуров, без отсветов, без теней.

Все противоречит самым элементарным физическим законам, а потому сладостно страшно и хочется это длить, как в последней еще сознательной стадии какого-то наркоза, когда не отличаешь видения от яви.

Жизнь, погруженная в эти волны, легка, как пушинка, обескровлена, смешна. Что такое «аргонавты»? Замысловатые знаки препинания во вселенной вместе со своим «джепророком» А. Белым. Что такое скорбь моя? Черная капля в мировом кубке.

Рука то горит, то стынет, словно в лютый мороз. Наваждение это, что ли? Я не хочу его. Я хочу владеть собою всегда, даже в час смерти, – говорю я себе, – не хочу наваждений!

– Опять Вы размыкаете цепь, – шепчет В. Брюсов

Глаза участников конфузливо моргали, когда зажгли люстру

– Это ровно ничего не значит, – утешал В. Брюсов, – для получения феноменов необходимо коллективное напряжение воли. Очевидно, сегодня чья-то противодействовала, здешняя ли, потусторонняя ли, – не знаю.



«Моя! Моя!» – злорадно подумала я.

После сеанса и ужина С. Кречетов в приятном настроении учитывал выгоды от неожиданного сближения на спиритической почве с В. Брюсовым.

– Может быть, теперь грызть меня меньше будет? Как ты думаешь. А?

Я этого не думала...

Через дня два-три В. Брюсов позвонил по телефону:

– Когда же у Вас предполагается сеанс?

Объяснила, что сеанса не будет, что мы едем в «непокойный дом» расследовать обстоятельно на месте феномены. Стилистически заинтересовался В. Брюсов.

– Ах, я сам давно жду такого случая. Вы возьмете меня с собою, а? А Вы все в трауре, Донна Анна?

Сурово и отчетливо проговорила я в трубку:

– К Вашим услугам, Валерий Яковлевич. Будем Вас ждать, чтобы ехать на поезд.

В вагоне терзало нелепое сочетание людей, искусственное производство разговоров и ничем не мотивированное присутствие В. Я. Часов в 6, в глубоких сумерках вышли мы из вагона. Ждали экипажи: коляска парой и тряский тарантас, заваленный сеном...

Поехали. Начала разговора – и десятой части его не помню, – весь в полунамеках, как в моде было тогда говорить. Но, видно, Брюсов был отлично осведомлен о крушении «Элевзинского храма».

Было странно и нерадостно ехать так рядом с человеком, которого годы и годы хотелось встретить совсем не так, перед которым хотелось стоять ученицей, теребя передник в холодных руках. Ученицей перед мэтром!.. А тут что? Глупая поездка, в чей-то глупый «непокойный дом».

Наконец лают собаки, виднеется серый забор, ворота... Какие-то люди (их было четверо) подошли к нашим экипажам с приветствиями.

Это были туземцы, ожидающие спиритическую комиссию, – старший и младший учителя с женами. Младшие повели нас к себе и начали с места в карьер угощать почетных гостей.



Это были молодожены. Розовая ситцевая бомбоньерка – их комната, начала скоро качаться перед глазами, как корабль в бурю: то все в ней туманилось, то назойливо лезла в глаза каждая деталь – клетка со спящей птицей, альбом с бронзовыми застежками в виде львиных лап. На плюшевой скатерти, длинно-белый унылый нос хозяина жил перед глазами самостоятельной жизнью.

– Ну, так расскажите же, в чем дело. У вас беспокойно в доме? Феномены?

Допрашивал, конечно, Кречетов. Он всегда вывозил на своих плечах людей, не знающих, как себя в некоторых случаях вести...

– Ужасно беспокойно. Жить нельзя! По ночам стуки то в крышу, то в стену, в сенях кто-то шаркает туфлями, в дверь стучатся. А наберешься духу, выглянешь – ни души. Да кому же у нас ночью ходить? Коллега с женой спят, сторож тоже, а кругом лес да поле.

– Гм... Нужно устроить немедленно сеанс, – решили сообща.

Бутылки значительно опустели. Сеанс обещал удачи...

В пустой огромной сельской школе ночью было похоже на церковь. Облака упали за лесом, высоко стояла желтая луна. Черные кресты рам режут пол. Парты словно гроба. Все куда-то разбежались. Постояла одна, вышла, опять вошла и черная узкая тень поднялась из-за парты.

– Вы?

– Я... Сядьте здесь. Пусть он устраивает сеанс. Сядьте же, я очень много хочу Вам сказать. – И ничего не сказал. Мимо нас, натываясь на парты, бродил Попов, ощупывал нас за плечи и не узнавал.

Кречетов был вне себя, но, сохраняя престиж, пространно объяснял молодоженам трудность добиться спиритических разъяснений с первого же раза.

Но молодожены во всем сознались сами, когда бутылки опустели совсем: старший учитель метил на их место свою племянницу и попросту выживал их с помощью «потусторонних» вторжений в их скромную жизнь.

Валерий Яковлевич хохотал, как сумасшедший.



Спать мне не пришлось. Спиритов положили в бомбо-
ньерке, а меня приютил тот самый злодей, старший учи-
тель, на клеенчатом диване в прихожей. Всю ночь зверски
ели клопы, огромные, какого-то апельсинового цвета.

На другой день до вечера обозревали окрестности.
Обозревать собственно было нечего. Впрочем, в дерев-
не жили кустари и, уже зараженные московскими мик-
робами, делали терракотовые несуразные вазы и бюс-
ты женщин с зелеными волосами. Называли они их
«декадентками».

Маленький русский раритет обнаружился на сельском
кладбище: церковь-миниатюра, с папертью-колоколь-
ней и тончайшими внутренними деталями. Влезая в нее
боком раз в год, священник с игрушечными дарами на
игрушечном престоле совершал литургию. Так отблагодарил
Господа за избавление от какого-то злого недуга
своего пятилетнего сынишки местный Тит Титыч.

Было ужасно холодно. Почему-то без пальто, заложив
руки в карманы серого пиджака, стоял В. Брюсов, опер-
шись спиной на ствол дерева. Ледяной красный бисер ря-
бины свисал над его головой...

Было ль? Не знаю. Мальмстремом крутящим...
Дни все, что было, сметают на дно!

В кабинете Кречетова висел в углу телефонный аппа-
рат, и никогда я не думала, сколько возможностей затаено
было в этой коричневой деревянной коробке...

Никогда не забуду, как буквально «проворковал» в нем
на бархатных нотах в первый раз голос В. Брюсова, без
всякой нужды, без всякого дела, чтобы потом звучать ча-
сами, часами, часами...

Это было на другой день после поездки в «непокойный
дом», в три часа.

- Нина Ивановна, это Вы?
- Я...
- Я Вас ни от чего не оторвал?
- От чего же меня можно оторвать?
- Что Вы делаете?



– Просматривала корректуры, смотрю на соседнюю крышу, кажется, плачу или буду скоро плакать...

– Все о том?

– О чем? – я рассердилась, – откуда Вы можете знать? Какой гимназический вопрос.

Ах, потери роковые, невозвратимые, никогда не ощущается во всем комплексе за ними грядущих духовных минусов.

Грохот самой катастрофы иногда бывает упоителен, как всякое чувство, переполняющее человека до краев. Пустота начинает зиять из каждой щели только потом, – усиливаясь с каждым проходящим днем, и тогда разливается, как полноводная река, неутешное горе.

Так было и со мной. В час, когда позвонил Брюсов, стены грифского кабинета казались мне могилой, а этот голос зовом с земли.

– Может быть, мы увидимся сегодня?

Холодно, как всегда, я сказала:

– Пожалуйста, в 8-9 мы дома...

Но в этот же вечер, когда в первый раз В. Брюсов пришел, как гость, я поняла, что видеться нам здесь лучше не надо.

– Что это он повадился-то? – спросил потом Кречетов.

Этого вопроса с меня было довольно. Я сама еще не знала, ни зачем он «повадился», ни почему я ему в этом не отказываю.

На другой день мне принесли корзину белых лилий. Тех самых, что должны были «украшать братский стол в Элевзинском храме»...

Я тоже чувствовала теперь к Брюсову острое болезненное любопытство и, совсем запутавшись в мистических тупиках, стала возлагать на него странные надежды.

«Маг-заклинатель, рысь, рыскающая по подозрительным оккультным трущобам» (А. Белый – «Воспоминания о Блоке»), этот человек, конечно, владеет темными тайными знаниями, и если нельзя преобразить жизнь в «золото и лазурь», то, может быть, уж из тьмы-то никто не вышвырнет!



Мережковский сказал же:

Небо вверху
Небо внизу,
Что вверху,
То и внизу...

Может быть, даже еще упоительнее и прекраснее эта нижняя черная бездна, утыканная золотыми гвоздями навеки потерянных звезд...

И я однажды сказала В. Брюсову:

– Я хочу упасть в Вашу тьму, бесповоротно и навсегда...

Было это поздней ночью, в каком-то трущобном переулке около Дорогомиловской заставы. Ледяной ноябрьский ветер свистал по пустырю, кололся на лету замерзающий дождь. Глубоко пряталась в пухло-черных тучах маленькая хилая луна. Свет ее в грязных прорезах был мертвенно сер. По рытвинам, по тоскливому бездорожью тянулись низкие дощатые заборы. «Золото и лазурь» задернулись погребальной пеленой этой ночи, навсегда.

– Вот видите, Валерий Яковлевич, – обступил ведь «сон глухой черноты», и уйти некуда, – нужно, значит, войти в него.

Вы уже в нем, теперь я хочу туда же.

Он, конечно, знал, о чем я говорю. Под эту «декадентскую» фразу даже здесь, сейчас, я могла бы подписать простую, удобопонятную. Но тогда выразаться удобопонятно было не в моде.

Он знал, но все-таки мы еще не понимали друг друга.

Брюсов положил мне руки на плечи и посмотрел в глаза невыразимым взглядом:

– И пойдете? Со мной? Куда я позову?

С этой ночи мы, сами того не зная, с каждым днем все бесповоротнее вовлекались в «поток шумящий», который крутил нас потом семь лет.

Наступила настоящая зима – с морозами, с запевающими на перекрестках белыми вихрями.

В наших излюбленных печальных и бесприютных местах, в Дорогомилове, в Девичьем монастыре, на Ваганьковском кладбище, в вымершем Петровском парке наме-



тало сугробы. Тогда мы стали проводить дни в музейных и выставочных залах, а ночи в ресторанах, всего больше в ресторане «Метрополь».

Помню наш столик, – говорю «наш», потому что лакеи, включив нас в круг ночных забудыг, как-то умели его освобождать к одиннадцати часам. Он стоял около внутренней подъемной машины. Стекланный высокий ящик, разрисованный по изумрудно-морскому фону какими-то подводными цветами, медленно поднимался и опускался каждые пять минут. В нем, просто-напросто, возили пустые тарелки и привозили кушанья. Но в слегка затуманенном вином и музыкой мозгу возникали причудливые грезы о подводном морском дне. Качались полумертвые водоросли, они словно ждали утопленников, чтобы оплести их тела цепкими зелеными волосами, таращили глаза морские рыбы, шевеля радужными вуалевыми хвостами, дышали ядовито жгучие подводные цветы...

Красный фрак дирижера неаполитанского оркестра развевался узкими фалдочками в синеватой ресторанной мгле.

Об этих ночах Брюсов писал:

Словно в огненном дыме и лица и вещи...
Как хорош озаренный, бессонный хрусталь.
За плечом у тебя чей-то призрак зловещий...

Иногда приходил к нам С. А. Поляков, издатель «Скорпиона» и «Весов». Где он сейчас, не знаю, но вспоминаю этого человека с глубокой и горестной нежностью.

После каких-то роковых крушений своей интимной жизни, он жил в полном внутреннем одиночестве, как Робинзон, выкинутый на дикий берег. Он чувствовал чужую душу глубоко и проникновенно, и сам умел страдать молча, проходя сквозь жизнь, как гамсуновский герой, может быть потому был в то время единственным прекрасным переводчиком Кнута Гамсуна.

Нам иногда были коротки целые ночи втроем. Тушили люстры, бра, церковный мрак залегал в сводах зала. Нужно было уходить. Куда? Домой? Это слово для нас троих звучало язвительной шуткой.



Вследствие врожденной психической дегенерации (один врач сказал мне: «...такие экземпляры рождаются в перекультуренных семьях...»), меня тянуло к наркозам всякого рода буквально с малых лет.

В эту осень В. Брюсов протянул мне бокал с темным терпким вином, где как жемчужина Клеопатры была растворена его душа, и сказал:

– Пей!

Я выпила и отравилась на семь лет...

Стало так, что дни проходили до вечера, погруженные в какую-то куриную слепоту.

Вокруг жизнь процветала. Книгоиздательство «Гриф» достойно плелось за «Скорпионом». Что оно именно «плелось» по проторенной дороге, этим возмущались только мы с В. Брюсовым. В публике же его почти от «Скорпиона» не отличали, потому что сотрудники и лозунги (все, кроме вкуса и литературно-исторической необходимости) были почти одни и те же.

Теперь посетители, поклонники, почтальоны, типографские рассыльные целый день рвали звонок. В столовой с 12 дня открывалось кафе со спиртными напитками.

Среди знакомых и незнакомых, приезжающих и прощающихся, я бродила, как сомнамбула, до вечера. Из всех моих платьев, помню, выбрала одно, черное, бархатное, удобное, как хорошо прилаженный футляр, как просторный гроб.

Приезжал с женой, Зиновьевой-Аннибал, Вячеслав Иванов, кажется, Сологуб, читали лекции в Художественном Кружке Чуковский, Аничков, приезжал Кузмин, – все они проходили для меня где-то далеко, и вообще жизнь я видела точно через обратное стекло бинокля – в невыразимой дали.

Как призраки горько ненужные
Мы, люди, скользим пред тобой.
Ты смотришь в дали жемчужные
Поникшей душой».

– писал мне в стихотворении «Портрет» В. Брюсов.



– Куда ты? – спрашивал изумленный Кречетов. – Вьюга. Мороз!

Я уходила... все равно.

– Меня ждет Валерий Яковлевич. Мы идем в концерт... в театр...

– Удивительная дружба. Ведь вы же прежде недолюбливали друг друга. Неужели влюбилась?

Но ни в концерты, ни в театры мы почти никогда не ходили, иногда разве, и то словно по наряду, на значительные премьеры. Серьезная музыка, да что, даже опера, навели на него буквально сон. Самый сладкий, запретный и неприличный сон.

Какой-то новомодный режиссер Большого театра вывез почти все декорации для «Мадам Баттерфляй» из Японии. Это было сенсационно, и вся Москва сбежалась слушать и смотреть. Мы тоже пошли. К концу первого акта В. Я. начал зевать, в начале второго просто заснул, а в конце его уехал на заседание Художественного Кружка. «Братьев Карамазовых» я, благодаря ему, из двух представлений видела три четверти первого с грехом пополам. А на «Жизнь человека», где я проплакала от поднятия занавеса до конца над «разбитой жизнью», он и совсем не пошел.

Современный театр его не удовлетворял. Он находил его обветшалым, слишком связанным с отжившими традициями. Даже Художественный тех лет...

Стало ужасно холодно. Однажды, это было в начале декабря, мы, встретившись, как-то моргали обмерзшими ресницами.

– Пойдемте, – сказал В. Я., – нельзя тут стоять.

– Куда?

– Ну, пойдемте же. Меня ждет извозчик. Вы закройте глаза, потом увидите.

Глаз я, конечно, не закрыла. Мы пересекли Театральную площадь и свернули за Большой театр. Эту улицу я знала, но никогда не отмечала. Самый обыкновенный московский дом, над дверью вывеска «Гостиница Русь».

Маленькая узенькая комната с окнами на Театральную площадь. Перед диваном стол – весь в цветах.



Гиацинты на этажерке, на подзеркальнике. Я не удивилась. Хотелось только присесть и погреться.

Там было еще низкое глубокое плюшевое кресло. Я никогда не видала его днем. Мне кажется, что вытертый на ручках плюш был зеленый с розовыми веночками.

Я села в это кресло, озябшая собачонка, выкинутая на улицу из храма Элевзинских мистерий. Он встал предо мной на колени, и я положила ему руки на плечи. Никогда не забуду этого ощущения под пальцами, уже интимного, незабвенного уже, угловатые плечи под атласным сукном знаменитого сюртука.

– Хотите, чтобы тут был наш дом? – спросил он.

«Дом» – замкнутый от мира мир! Гостиница «Русь Вселенная».

Но в человеческом, в житейском смысле я еще не любила В. Брюсова. Его присутствие действовало на меня пока только как наркоз, как шприц морфия, заглушающий нестерпимую боль, как щепотка кокаина, воскрешающая полутруп.

Сядясь на это кресло, я точно завертывалась в нагретый чужим телом мягкий бархатный плащ. В янтарно-черных прекрасных глазах зажигались золотые искры начинающего разгораться огня, от них становилось тоже тепло и приятно.

Черный сюртук, пропахший насквозь моими духами и просоленный моими слезами о «невозможном», однажды в негодовании вышвырнула на мороз жена его. Но, как всегда бывает в жизни, в трагедию вкрался комический элемент: она по ошибке выкинула старый, не тот!

А в это время муж мой С. Кречетов кружился в литературно-светских вихрях. Я от него уходила все дальше, все невозвратимее, с каждым днем. Но впрочем, он меня и не удерживал особенно. Я стала ему неприятна. Наши встречи, обыкновенно за столом, редко уже не кончались тяжелой ссорой. Наша вражда на литературной почве обострялась и крепла. Кречетов ненавидел С. А. Полякова, ненавидел весь скорпионовский уклад дела с В. Брюсовым во главе. А я на каждой складке платья носила сейчас ненавистный ему дух.



Иногда, совершенно не желая пускаться ни в какие дебаты, я, возвращаясь, начинала говорить о постороннем, но он, злобно сверкая глазами из-под пенсне, говорил:

– Ложилась бы ты лучше спать. Видишь, какая у меня грудa корректур. К тому же от тебя слишком пахнет «Скорпионом» и его присными.

Да, к счастью, С. Кречетов меня положительно разлюбил. Однажды, перед формальным уже разводом, в знойный июльский вечер мы возвращались из Москвы в его Малаховку. У него уже тогда начиналась новая личная и более приятная жизнь.

О чем-то остром опять говорили, – он посмотрел на меня и с негодованием зафыркал:

– Да разве ты женщина? Куришь, пьешь, как матрос. Ты просто фельетонист в юбке, отвратительный мне тип! Женщина должна быть женщиной во всем.

– И в глупости? – спросила я с лукавым намеком. – И в пристрастии к фарфоровым собачкам?

– Даже в этом. Это женственно, по крайней мере.

В январе этого года подступила к сердцу такая невыносимая тоска, что я решила умереть. Я сказала однажды Брюсову:

– Ты будешь скучать, если я не приду к тебе больше никогда?

Он не ответил и спросил:

– А ты найдешь второй револьвер? У меня нет.

(Поверит ли кто-нибудь, что в зените своей славы, холодный, бесчувственный, математически размеренный в жизни, В. Брюсов написал:

Смерть, внемли сладострастью
Смерть, внемли славоволю
Ты нетленно чиста. Сжигают любовью
Твои уста.

Действительно, спустив свой хаос с цепи в те годы, ничего не желая, жаждал упиться мигом экстагической смерти.

Потом, гораздо позднее, он звал меня два раза умереть вместе, и я не могу себе простить, что в 1909 году не согласилась на это...)



– А зачем же второй?

– А ты забыла обо мне?

Один мне подарил С. А. Поляков, а другой перед 1905 годом было нетрудно достать, и я получила его от какого-то товарища Миши через знакомых, да еще по дешевой цене.

– Ты хочешь умереть? Ты... ты? Почему?

Он сказал:

– Потому что я люблю тебя.

Но мы не умерли, и в январе следующего года пышно чествовали ужином приехавшего в Москву Н. М. Минского.

Оккультные интересы в Москве все разгорались. Стали интересоваться спиритическими феноменами, и не на шутку, даже какие-то молодые ученые и университетские приват-доценты, группирующиеся около некоего А.С. Хомякова, – последнего отпрыска знаменитого рода славянофилов Хомяковых.

По его инициативе вскоре выписали в Москву из Варшавы известного профессионального медиума Яна Гузика. Он же любезно предоставил для сеансов помещение в своем особняке на Новинском бульваре,

Я не была в Москве 14 лет и могу ее помнить только прежней, и почему-то этот обломок быта, особняк Хомякова и сам он врезались в память с яркостью воспоминаний детства. Вот звонишь, но это не веселая электрическая трель, а какой-то гулкий, хриплый стон вдали.

Шарканье старческих ног в вестибюле, особенный дряхлый скрип двери, и старик в белом жилете, с лицом министра, с седыми баками, почтительно кланяясь, встает на пороге:

– Барин дома?

– Дома. Пожалуйста-с, они в детской.

Идешь по анфиладе комнат с допотопными люстрами, с унылыми диванами тридцатых годов, обитыми плюшем. В одной из последних комнат, где в горках аккуратно расставлены самые замысловатые игрушки, из-за низенькой парты поднимается «барин» в куце синем пиджачке с протертыми локтями. Барин, расточительный миллионер, полу-ученый, полу-писатель, владелец колоссального



конского завода и бесчисленных угодий по всей России, высокий, прихрамывающий человек, с атласисто черной маленькой змеиной головкой и умными небольшими фиолетовыми глазками.

Наружность совершенно дегенеративная и неприятная и чем-то привлекательная.

В. Брюсов потом очень любил бывать в этом доме и уверял, что в нежилых комнатах мезонина непременно скрыты какие-то тайны в духе Эдгара По.

Инициатива пригласить Яна Гузика исходила из хомяковско-го особняка. За поездку тот спросил 1200 рублей, и участники, человек 18, охотно поделили расходы.

Н.М. Минский, захваченный врасплох настроением умов, непременно пожелал принять участие в первом сеансе.

Ян Гузик появился в гостиной Хомякова перед нарядной публикой, с приятным внутренним щекотанием ожидающей наплыва спиритической жути, совсем как призрак. Более отвратительного существа я в жизни моей не видала.

Небольшой, весь какой-то узкий, с зеленовато-трупным лицом, с зеленоватыми же, словно замершими, глазами, по моему впечатлению даже холодный и сыроватый наощупь, в узко облегающем узкое тело, словно пропитанном плесенью сюртуке, он как-то странно мигал от яркого света и жался к стенам. Н.М. Минский попросил его посадить непременно рядом с медиумом для контроля.

Сели цепью, погасили огни. Только на камине – кроваво-черная лампада.

Около Яна Гузика положили и поставили все необходимые атрибуты: какой-то ящик, вроде клетки, с бубенчиками внутри, ручные колокольчики, карандаш и бумагу и пр.

Звоните, пишите, трясите клетку с бубенчиками, духи! Шарьте по лицам холодными пальцами, убеждайте в существовании загробного мира! Но – ничего! Ровнехонько ничего! Кто-то негодуяще шипел, верно думал: зазря вышвырнул ты денежки!

Но вдруг, как будто что-то началось. Явственно звякнул в клетке бубенчик.



Экспансивный Минский, сразу поняв, что это действует дух самого Яна Гузика, сделал по его адресу какое-то неосторожное замечание. Опять тишина, и вдруг отчаянный крик Минского:

– Ай, ай! Меня бьют. Зажгите же огонь. Черт знает что!

Вспокоились. Вспыхнула люстра. Ян Гузик сидел, тяжело дыша, как зеленое изваяние, а Минский отчаянно тер покрасневшую щеку.

– Он, это он меня ударил. Ощущение такое, точно ногой в шерстяном носке.

С Яном Гузиком мы устроили второй сеанс, более интимный и малолюдный, в конторе брата моего мужа на Варварке. Огонь загасили совсем. Мы с Валерием Яковлевичем сидели по обе стороны от медиума, держась с ним за руки. И минут через 15 на этот раз действительно началось нечто очень противное: медиум захрипел как в агонии, и что-то стал нашаривать моей рукой за спиной в пустоте, и рука моя прикоснулась к какому-то очень твердому, не то окоченевшему, не то замершему телу, покрытому холодной отсыревшей тканью вроде полотна. Обшаривали мы это тело снизу от пола, но верха не достигали, верно, было оно слишком рослое.

Это удовольствие испытывали все по очереди. Волосы приятно пошевеливались на голове. Потустороннюю пакость одновременно хотелось и длить и прекратить.

Но длить не пришлось. Прекратить же ее немедленно настоял В. Я. Потому что Ян Гузик закатился в конвульсивном нервном припадке.

Сеансы с тех пор заглохли, но в столовой Хомякова, точно сорвавшейся с подмостков Художественного театра, мы ужинали потом не раз.

– Кушать подано.

И седовласый министр умирающего барского быта торжественно распахивал дверь.

Чуть-чуть охает и поскрипывает паркет, свечи в люстре тридцатых годов обливаются белыми слезами о невозвратном, сиротливы в углу клавесины, только стол лопается от яств, цветов и бутылок.



Словно смеясь над прошлым и еще более того прези-
рая настоящее, поблескивая умными глазками, улыбаясь
беззубым ртом, хозяин говорил заученно-радушное:

– Милости просим!

Где-нибудь в уголке, за вазой с камелиями, за серебря-
ным ведром с шампанским, склонившись друг к другу до
неприличия тесно, мы с Валерием Яковлевичем чувствува-
ли себя где-то за тридевять земель.

Ах, слишком долго с маской строгой
Бродил я в тесноте земной...

Годы, о которых я пишу, были годами расцвета талан-
та, сил и общественно-поэтической деятельности Брюсова.
Он приступил тогда к печатанию сборника «Stephanos»,
о котором пишет в «Последних мечтах»:

Когда в великих катастрофах
Наш край дрожал и клкал Рок, –
Венчал я жизнь в певучих строфах,
Я на себя изложил «Венок».

Жизнь венчала его истинной славой и признанием,
и именно в те дни слагалась его ложная легендарная ха-
рактеристика. Будет ли она исправлена, разъяснена после
смерти, – не знаю.

Увидавшись с А. Н. Толстым здесь, в Берлине, спросила:

– Ну, а что же Брюсов? Расскажите.

Экспансивный и жизнерадостный Толстой сделал
безнадежный жест,

– О чем с ним говорить-то? Сидели рядом за столом,
«заседали», обсуждали вопрос о писательских пайках.

Толстой повел плечами как в ознобе:

– Холод какой-то вокруг Валерия Яковлевича.
Даже физический, могильный какой-то! Больше не
встречались...

Так рассказывал о Брюсове последних лет А. Н. Тол-
стой – человек чуткий, хотя и далекий ему, но все же не
чужой. За «маской строгой» и он ничего не прозрел.

Но не виню в этом А.Н. Толстого, встретившего Брю-
сова за два года до смерти – верно, полубольного, на 50-й



весне. Вероятно, как никогда, загородившегося «стилем». Но и в те баснословные наши годы, когда имя его было окружено ореолом славы, никто не подошел к его сущности верным путем.

Литераторы, особенно петербургские, критика, публика, просто знакомые, – все без исключения, сделав схему из его подлинных же черт, рассматривали в Брюсове какого-то «бумажного», бесплотного человека. Молодые поэты, талантливые и бездарные, перед ним почтительно преклонялись, принимали каждое слово за его схоластическое откровение, расшифровывали, споря до пота, каждую строчку его поэзии, как некие замысловатые профессиональные ребусы, падали ниц перед его «мастерством», в редакцию «Скорпиона» шли, как на казнь.

Было, конечно, больно, когда анатомически-расчленяющий нож вонзался в живое тело. Было очень больно, и боль казалась незаслуженной, потому что не понимали, отчего и зачем эта мука и какой властью терзал их Брюсов.

Помню эстетизирующего новеллиста-петербуржца С.Ауслендера*, свалившегося однажды в Москву, как лягушка в чужое болото. В оливковой суконной рубашке до пят, без пояса, с белым воротником «а 1а Робеспьер», с локоном, свисающим до кончика носа.

От «инквизиционной пытки» «Весов» он пришел отдыхать в «Перевал» под гостеприимный кров С. Кречетова. И в «Весы» не вернулся. Инквизитор от литературы, схема, картонный манекен, начетчик, маг, волхв, звездочет, «одержимый», маниак честолюбия и величия, в общении человек трудный и тяжелый, ядовитый, колющий, как игла, – так покончило с личностью Брюсова общественное мнение, так поставило на нем штамп...

Для петербуржцев (да простится это и покойному А.Блоку!) литературная Москва казалась царством Брюсова, очень неприятной «монархией», царством «ежовой рукавицы».

* Ауслендер, Сергей (1886–1937) – русский писатель, драматург, литературный и театральный критик.



А в Москве, уже маститый, на всех перекрестках признанный Брюсов, председатель Художественного кружка, член многочисленных обществ, член суда чести, arbitre художественного вкуса – считался каким-то дальнобойным колоссальным крепостным орудием, консервированным, замаринованным в строфах, трудах, томах – сухарем.

Жертв его никто не понимал и не принимал. И его никто не любил.

Домашний быт его, преферанс по воскресеньям, буржуазно размеренная жизнь на Мещанской, все это в течение семи лет терзало и меня.

С мефистофельской улыбкой рассказывал мне В. Ходасевич:

– Хорошо было вчера... хорошо... очень приятно. Все честь честью, как во всех приличных домах. Чаю напились с тортом, потом в картишки сразились. Талантливо играет Валерий Яковлевич в винт...

И подсматривал за мной. Да чего подсматривать! Видел на моем лице тоску, и, видя ее, наслаждался и, как умел, меня любил тогда...

– Чем выше идея, которой пытаемся мы служить, тем глубже и упорнее стремление жизни к ее искажению, к предательству, – сказал Ф.Степун* в своей лекции «Трагедия и современность».

Этой истины не мог не знать В. Брюсов, и шел на «искажение» и на «предательство» сознательно, во имя защиты большого, главного, непреходящего.

Жизненные встречи его были лишь профессионально-социальными отношениями, лучше сказать, – «клише» отношений, семейная жизнь его – фикция – привычный отель с мягкой постелью. Всю боль раздвоенности, весь огонь чувств, всю трагедию свою он укрывал под «маской строгой».

Вечно повторяющиеся слова его стихотворений, фатальные, знаменательные, исчерпывающие – проходили

* Степун, Фёдор (Степун, Friedrich Step(p)u(h)n, Николай Луганов, Н. Лугин, Н. Переслегин) (1884–1965) – русский философ, близкий Баденской школе неокантианства, социолог, историк, литературный критик, общественно-политический деятель, писатель.



мимо внимания современников не отмеченными или назывались «риторикой».

– Ну что общего у этого манекена в черном сюртуке со страстью, отчаянием, безумием, алчностью, трепетами, гибелью?

Было признано в 1905 году пресловутое бальмонтовское «безумие», возникающее на дне третьего стакана. Бальмонт творил из жизни поэмы по кабакам и канавам арбатских переулков, а Брюсов в это время «заседал», копался в архивах и рыскал по оккультным подозрительным произведениям, собирал материалы для «Огненного ангела» – так говорит об этом А. Белый в «Воспоминаниях о Блоке».

А. Белый писал о нем чепуху и смущал отдаленно, в себе замкнутого Блока; Сергей Соловьев гомерически, чисто по-соловьевски, им упивался лишь как поэтом; Ходасевич ядовито эстетически наблюдал. За столами, крытыми зеленым сукном, стояли его троны, стояла уже перед ним на задних лапах реакционная критика, дамы заучивали наизусть его строчки, редакции распахивали перед ним двери, толпа при его появлении в публичных местах смущенно замолкала, а Валерий Брюсов, как человек, оставался мифом, провинциальной легендой на демоническую тему, сочиненной А. Белым.

В 1905 г. покойный Врубель писал портрет Брюсова, находясь в психиатрической лечебнице доктора Усольцева в Петровском парке в Москве. Щемящей безнадежной тоской над особняком шумели облетающие липы. В коридорах тоже тоска смертная. Помню, дверь была полуотворена в одну камеру. Кто-то сидел у стола, закрыв лицо руками, рядом стоял служитель и уговаривал:

– Барин, скушайте котлетку...

– Голубчик! Скучно мне, – отвечал голос на звенящих струнных нотах.

И опять:

– Да барин, скушайте ж котлетку.

В одной из этих одиночных камер, полуслепой, безумный Врубель писал портрет В. Брюсова – каменную легенду



немыслимых плоскостей, линий, углов, стараясь замкнуть в гранитном футляре огненный язык.

Брюсов не любил этого портрета. Чуть наклоненная вперед фигура поэта отделяется от полотна, испещренного иероглифами. Все в ней каменно, мертво, аскетично. Застывшие линии черного сюртука, тонкие руки, скрещенные и плотно прижатые к груди, словно высеченное из гранита лицо. Живы одни глаза – провалы в дымно-огневые бездны. Впечатление зловещее, почти отталкивающее. Огненный язык, заключенный в теснящий футляр банального черного сюртука. Это страшно. Две стороны бытия, пожирающие друг друга, – какой-то потусторонний намек...

Портрет этот никому не понравился. Мы с Брюсовым тайно согласились его уничтожить, – просто искромсать ножом, – совершенно по-скифски и совершенно не думая ни о вечности, ни об убытках мецената. Помешало одно непредвиденное обстоятельство: в тот вечер, когда мы, будучи своими людьми, могли свободно пройти в редакцию «Золотого Руна» в отсутствие издателя, лакей Филипп напился и не отпер нам дверь. Потом прошла неудобная для действия неделя, и Николай Рябушинский, верно что-то учуяв в воздухе, портрет куда-то скоро сплавил. Где он сейчас – не знаю. Но недавно видела репродукцию его здесь, в Берлине.

Однажды в апрельский день, в полдень, в Риме, в Гоголевской библиотеке (это было приблизительно в 20-ом году) один элегантнейший эмигрант, ровно ничего о моей интимной жизни не знавший, и только слегка осведомленный о моих литературных занятиях, вкусах и знакомствах, положил передо мной на стол номер какого-то русского еженедельного журнала.

– Посмотрите, здесь есть стихи Брюсова, вздор совершеннейший!..

За окном вся горела от солнца, словно вызолоченная, стена госпиталя Сан-Джакомо, и вдруг она посинела, будто надвинулась грозовая туча.

– Да что с Вами? Посмотрите только, как они сейчас пишут!



Вот:

Помню, помню вечер нежный,
За окном простор безбрежный,
Взор твой нежный, неизбежный,
Белой яблони цветы...

– Бессмыслица просто! Почему нежный и неизбежный? При чем тут «белой яблони цветы»?

Молодой человек пожал плечами и, оставив передо мной на столе номер журнала, пошел по своим делам...

10-ого апреля исполнилось полгода со дня смерти Валерия Брюсова. Апрельский дождь окропит его могилу в Девичьем монастыре, но уже не воскликнет как однажды:

Что же мне делать, когда не пресыщен
Я этой жизнью хмельней...

Я не видела В. Брюсова в гробу. В моей памяти он жив и бессмертен. Но говорить о человеке и поэте, которого я не только знала, но которого чувствовала и чувствую до сих пор неотъемлемой частью моего бытия, говорить через полгода после его смерти, не только трудно, но и ответственно. Ни в одной детали событий, нас связывающих, мне не изменяет память, но, следуя внутреннему голосу, я отдаю этим страницам не больше, чем десятую часть моих личных и интимных воспоминаний.

Ходасевич. С Ниной связывала меня большая дружба. Московские болтуны были уверены, что не только дружба. Над их уверенностью мы немало смеялись и, по правде сказать, иногда нарочно ее укрепляли – из чистого озорства. Я знал и видел страдания Нины и дважды по этому поводу говорил с Брюсовым. Во время второй беседы я сказал ему столь оскорбительное слово, что об этом он, кажется, не рассказал даже Нине. Мы перестали здороваться. Впрочем, через полгода Нина сгладила нашу ссору. Мы притворились, что ее не было...

То, что для Нины стало средоточием жизни, было для Брюсова очередной серией «мигов». Когда все вытекающие из данного положения эмоции были извлечены, его потя-



нуло к перу. В романе «Огненный Ангел», с известной условностью, он изобразил всю историю, под именем графа Генриха представив Андрея Белого, под именем Ренаты – Нину Петровскую, а под именем Рупрехта – самого себя.

В романе Брюсов разрубил все узлы отношений между действующими лицами. Он придумал развязку и подписал «конец» под историей Ренаты раньше, чем легшая в основу романа жизненная коллизия разрешилась в действительности. Со смертью Ренаты не умерла Нина Петровская, для которой, напротив, роман безнадежно затягивался. То, что для Нины еще было жизнью, для Брюсова стало использованным сюжетом. Ему тягостно было бесконечно переживать все одни и те же главы. Все больше он стал отдаляться от Нины. Стал заводить новые любовные истории, менее трагические. Стал все больше уделять времени литературным делам и всевозможным заседаниям, до которых был великий охотник. Отчасти его потянуло даже к домашнему очагу (он был женат).

Для Нины это был новый удар. В сущности, к тому времени (а шел уже примерно 1906 год) ее страдания о Белом притупились, утикли. Но она сжилась с ролью Ренаты. Теперь перед ней встала грозная опасность – утратить и Брюсова. Она несколько раз пыталась прибегнуть к испытанному средству многих женщин; она пробовала удержать Брюсова, возбуждая его ревность. В ней самой эти мимолетные романы (с «прохожими», как она выражалась) вызывали отвращение и отчаяние. «Прохожих» она презирала и оскорбляла. Однако все было напрасно. Брюсов охладевал. Иногда он пытался воспользоваться ее изменами, чтобы порвать с ней вовсе. Нина переходила от полосы к полосе, то любя Брюсова, то ненавидя его. Но во все полосы она предавалась отчаянию. По двое суток, без пищи и сна, пролеживала она на диване, накрыв голову черным платком, и плакала. Кажется, свидания с Брюсовым протекали в обстановке не более легкой. Иногда находили на нее приступы ярости. Она ломала мебель, била предметы, бросая их «подобно ядрам из баллисты», как сказано в «Огненном Ангеле» при описании подобной сцены.



Она тщетно прибегала к картам, потом к вину. Наконец, уже весной 1908 года, она испробовала морфий. Затем сделала морфинистом Брюсова, и это была ее настоящая, хоть не сознаваемая, месть. Осенью 1909 года она тяжело заболела от морфия, чуть не умерла. Когда несколько оправилась, решено было, что она уедет за границу: «в ссылку», по ее слову. Брюсов и я проводили ее на вокзал. Она уезжала навсегда. Знала, что Брюсова больше никогда не увидит. Уезжала еще полубольная, с сопровождавшим ее врачом. Это было 9 ноября 1911 года...

Нина сидела уже в купэ, рядом с Брюсовым. На полу стояла откупоренная бутылка коньяку (это был, можно сказать, «национальный» напиток московского символизма). Пили прямо из горлышка, плача и обнимаясь. Хлебнул и я, прослезившись. Это было похоже на проводы новобранцев. Нина и Брюсов знали, что расстанутся навеки. Бутылку допили. Поезд тронулся. Мы с Брюсовым вышли из вокзала, сели в сани и молча доехали вместе до Страстного монастыря...

В прежних московских страданиях она прожила семь лет. Уезжала на новые, которым суждено было продлиться еще шестнадцать...

Константин Локс*. Когда Валерий Яковлевич умер, Жанна Матвеевна (жена Брюсова. – *И. Т.*) доверила мне письма Нины Петровской к нему. Эти письма – вопль истязуемой женской души. Где кончались истязания и начинались самоистязания – судить не берусь. Там были: любовь, периоды разлуки, женские мольбы. За всем этим отдельные строки, свидетельствующие о том, что она ему изменяла. В конце концов, они разошлись, и участь ее была трагична. Приняв за границей католичество и имя Ренаты (героини «Огненного ангела»), она стала монахиней и в конце концов покончила с собой. Нина Петровская написала небольшую книгу рассказов «Sanctus Amor», где изображены перипетии этой любви. Почему он ее бросил? Я не сомневаюсь, что с

* Локс, Константин (1889–1956) – российский литературовед, критик, переводчик, мемуарист.



его стороны это была сильная страсть. Может быть, разрыв дорого обошелся ему. Жанна Матвеевна утверждала, что Нина погубила его. Она, по ее мнению, приучила Валерия Яковлевича к морфию. Может быть. Но разве дело в этом? Хотя, может быть, все обошлось гораздо проще. Не надоела ли она ему своей женской требовательностью, своими дурными привычками. Может быть, он почувствовал, что ему нужно бежать, спастись из этих объятий ведьмы и в то же время обыкновенной женщины. Такие женщины становятся жалкими, когда их тирания кончается, тогда они подкупают своей беспомощностью, которую прекрасно умеют усиливать. Но, по-видимому, Валерий Яковлевич не поддался этому испытанному средству...

ИНТИМНОЕ

1905

Брюсов – Нине.

1 июля 1905 г. Москва.

«Девочка, милая, хорошая, маленькая, я люблю Тебя». Странно звучит эта формула здесь, сегодня, в моей полузабытой комнате с завешанными книгами, под «шум монотонный дождя». Теперь понятно, зачем нам суждено было ошибиться на целые сутки! Иначе мы попали бы на севастопольский поезд и я проехал бы прямо на берег Оки, а меня хотели бросить в мою городскую квартиру (где случайно была и И. М. (Иоанна (Жанна) Матвеевна Рунт, жена Брюсова. – *И. Т.*), в разгар домашних, домашних и скорпионьих дел. Словно жестокий ветер повеял на меня. Та моя душа, которую я так лелеял за месяц жизни в Финляндии, которая раскрылась для меня, как редко цветущий цветок, – сжалась под этим ветром, сжалась, поникла, и лепестки стали опадать – быстро, быстро, жалко, жалко, один за другим.



Девочка, огонечек мой, маяк мой! Но разве что может отнять у меня этот месяц, этот прекраснейший месяц моей жизни, эти дни, в которые мне не стыдно было говорить: «Я – счастлив». Для меня то был месяц чуда, я дышал воздухом чудес, все чудесное стало для меня привычным и повседневным. И то ясное озеро, которое я буду теперь любить до конца, озеро голубое и палевое, и золотое, и пурпурное – символ всех моих переживаний за месяц. Они были так же многоцветны, так же прекрасны, так же ослепительны, эти часы, казавшиеся иногда однообразными и вялыми. Все то чудо, которое есть в закатном, небесном свете, повторенном в земной стихии, озарило и мою душу. Разве не чудо, что в моих воспоминаниях теперь есть Ты «настоящая», Ты с расчесанными гладко волосами, с «умным» лбом и большими, властвующими надо всем лицом глазами! Или – те Твои слова, произносимые замедленно и поспешно, при одном призраке которых я вновь пьянею и хочу вновь быть перед Тобой на коленях, целовать Твои руки, колени, – слова, которые я не доверю и этой странице. И разве за этими пределами чудес, за этими горизонтами возможного не начинали мне мерцать новые дали, в которые я не смел и не смею верить, когда Ты безвольно, бездумно, странно смотря мимо меня, прошептала это «милый Валерий, я Тебя очень люблю», ослепившее меня нежданностью, несбыточностью. Но передо мной опять Ты, печальная, прислонившаяся к тусклой двери вокзала, и слезы Твои тихо падают на безобразные плиты его лестницы... И у меня нет больше слов, и чаша чуда переполнена, и есть только горькое сожаление, почему я тогда, при всех, при этой тупой толпе, не припал к земле, не поцеловал эти два темных пятнышка на серой пыли грязных, истоптанных ступеней! Девочка! радость моя! мое счастье! прости, что я вспоминаю все это, что громко говорю, твержу о том, о чем должно радостно молчать. Но я был прав, когда повторял тебе, что переживаю свои лучшие, свои высшие дни; был прав, это теперь мне ясно уже бесповоротно. Мое счастье – в прошлом, в воспоминаниях. Когда я остался стоять среди улицы, неловкий, смешной, с тяжелым саквояжем в руках, а Ты быстро исчезала за поворотом, – то было именно мое счастье и моя



просветленность, с которыми должно мне было прощаться. Да! эти тридцать дней в Финляндии были вершиной моей жизни, крайним горным пиком, с которого я, как некогда Пизарро, видел оба океана: моей прошлой и моей будущей жизни. Ты вознесла меня к моему зениту. После этого мига может наступить только спуск вниз, и, чувствую, я уже начал его. Дни на берегу Саймы и дни в «трезвом» Гельсингфорсе были для меня ключом всей моей судьбы; через них я понял, что я, зачем все было в моей жизни и что может еще быть. Как прежде, смутно предчувствуя, я верил в Тебя грядущую, так теперь я должен молиться на Тебя бывшую, пришедшую. И несказанной радостью для меня остается то, что в самый миг свершения я сознавал его значение, его смысл, его величие (лично для меня), и потому вдвойне, в сто раз устремленнее, торопливее, более жадно впивал ту полноту чувств, которую даровали мне Судьба и Ты.

И еще прости, что сейчас не могу говорить ни о чем и ни о ком, как только о себе. Мне надо, мне надо повторить, запечатлеть те слова, которые я бессвязно лепетал Тебе в дни разлучения, в наши последние три дня, которые для меня как мучительный огненный венец завершали не только месяц нашей близости, но и девять месяцев, первые девять месяцев моей любви. Мне надо хоть бегло, хоть неполно провести вновь перед глазами сияющие лики мелькнувших часов, казавшихся медленными, но слившихся теперь в одну мгновенную вспышку молнии. Может быть, наши души еще хранят сходный строй, ибо Ты настроила мою душу на свой, на Твой певучий лад. Знаю, и Ты изменишься, и моя душа утратит этот строй, подчиняясь окружающей меня разноголосице, но пока, но пока позволь мне еще в этот последний раз говорить с Тобой нашим общим, нам обоим и только нам обоим понятным языком! Позволь мне еще помедлить в пережитом, которое навсегда – мой храм. В нем еще теплятся свечи, зажженные Тобой, у икон, которые Ты мне указала. Я еще всматриваюсь в те же венцы, на которые мы смотрели вместе. Знаю, и эти светлы погаснут. Тени уже смеются в окна. Они протянутся сквозь оконные решетки, вползут в двери. Кривляясь и хохоча, они обступят меня, сомкнут пальцы над моей головой.



И я упаду в их черный хоровод, во мрак, в ту ночь, которой не было для меня при бледном сиянии северного полуночного солнца...

Нина – Брюсову.

1 июля 1905. Малаховка.

Милый Валерий, я тебя очень люблю... Хочется именно эти слова сказать первыми, чтобы в свете их звучали остальные.

Как только мы расстались и в последний раз я оглянулась на тебя грустного, милого, – что-то жестокое вцепилось в душу, сдавило тоской, ужасом перед Москвой, перед всем. Зачем мы расстались так скоро! Мой дорогой. Единственный! не тревожься, не грусти, – ничто не изменит меня больше. Если в огромном жестоком мире нам было дано увидеть друг друга и коснуться в последней близости – кто и что заставит измениться, забыть, смотреть прежними всевидящими глазами? Кто может? Милый ласковый зверь... Милый, хороший зверочек, не дичай без меня, вернись прежним. Ничто не умирает, а за дверями, которые открывались так медленно – новые двери, еще, еще. Верь в чудо, верь! Мы не знали и ждали друг друга. К кому мы уйдем? Куда мы уйдем? Я не слышала тебя, но голос любви не может быть неслышным, он проник в самые далекие глубины, и я ответила тебе тогда в первый раз бессознательно, не знаю почему, точно кто-то другой из души, – милый Валерий, я тебя очень люблю. Дорогой, не уходи, не отдавайся ни в чью власть, будь со мной, береги твою любовь. Помни все, все живо и живое до последнего мига...

1 июля 1905. Малаховка.

... Не надо, не надо такой безнадежности! Ты говоришь, «спуск», вершина миновала, впереди тебе как будто не видится ничего... Но отчего же я этого не чувствую? Зачем ты туманишь мою радость? Радость тихих светлых дней, отдыха после жестокости и горя. Я тонула в твоей нежности, от нее расцветали в душе какие-то новые небывалые цветы, я хочу еще, еще. Неужели ты думаешь, что можно исчерпать душу, неужели ты думаешь, что для



тебя у меня уже истощилось и отдано все? Нет, верь, дорогой, это не спуск, *это начало*. Чего, – я не знаю, я отдаю свою душу чуду. И если я еще не вижу предела, почему так горько и безнадежно ты говоришь о спуске, о конце? Я еще ничего не поняла по-настоящему. После мучительных, ужасных похорон я отхожу от саркофага. И если не дано мне было умереть тут же, припав на холодный камень, значит, у меня еще есть путь впереди. Может быть, краткий, несколько шагов, но он с *тобой*, лишь с тобой. Куда, – я не знаю. Но мне хорошо не думать, не знать, положить голову к тебе на плечо и так забыться, отдыхать, дышать твоей нежностью, чувствовать твою руку в своей. Я сохраню мою душу *твоей*. Мы больше не встретимся чужими. Эти дни «разлуки» нужны для того, чтобы еще сильнее почувствовала я, как дорог ты, как близок, как чужды мне все, кроме тебя. Я чувствую устойчивость, меня уже не могут менять никакие веяния. Вот я знаю, что он был здесь, даже в этой комнате, где пишу я тебе. Я знаю все, что можно было узнать о нем настоящих дней, я предвижу встречи с ним и только лишний раз оглядываюсь на саркофаг и кладу последний земной поклон с печальной, но ясной и успокоенной душой. Если не дано было умереть в дни последнего отчаяния, – значит, еще не пришел мой срок, значит, еще путь впереди, и каков бы он ни был – он будет с тобой. О, как хочу я, чтобы ты понял эти слова твоей последней нежной чуткостью, через внешнее слов, через всё. Это какой-то музыкальный мотив, он звучит в душе, но так бедны слова. Милый, дорогой, верь в любовь, не стремись так быстро заглядывать в последние страницы. Ты еще не знаешь, не знаешь, и от незнания, оттого, что идешь в незнакомой стране, только горный уступ принимаешь за самую острую, высокую вершину. Там, где ты, еще нет ни тумана, ни черных теней, нет ночи, нет горя. Если ты будешь так говорить, ты скликнешь призраков, они всегда нас сторожили. Они злые, закроют солнце своими черными крыльями, и *днем* ты будешь в ночи. Не надо, не надо! Поверь в чудо, поверь! Мне хочется твердить тебе, так, чтобы слова ласкали тебя, успокаивали: «Милый Валерий, я тебя очень, очень люблю». Вот я одна *и с тобой*, ничего,



ничего не утратилось. Вот целую тебя так, как целовала 30 дней, 30 вечностей, когда мы только друг другу смотрели в глаза. И Сайма, и бледное небо, и ночи, и ночи, – они не в Финляндии, они в душе, неприкосновенные, дорогие навсегда. *И не воспоминание, а жизнь, настоящее и будущее.*

Не уходи от меня никуда, будь моим. Если мои слова еще не утратили власти над твоей душой, я буду говорить тебе часто, часто о любви, о моих надеждах, о радости, что ты есть для меня на свете. Буду говорить прежние слова и новые, о которых еще не знаю, но только смутно предчувствую их приближенье.

Прости за первое слишком короткое письмо. Не было слов от тоски, только какие-то обрывки, а теперь я вновь всё нашла. Будь радостен, будь спокоен. Мы встретимся больше чем прежние. В тишине этих дней без тебя я только сильнее почувствую, как ты близок, как бездонно, бесконечно близок, как нужно мне быть с тобой, смотреть тебе в глаза, читать в них бесконечно дорогую поэму твоей любви. Я знаю теперь любовь. Узнала, увидела глазами ее в первый раз в тебе, и только в тебе. Валерий, Валерий, не уходи, останься со мной так же всецело, как был. Что властно над любовью? Все будет как прах, когда опять встретятся наши глаза и сольются нежные и радостные души. Ты веришь, веришь!.. Мы встретимся, будем больше, чем прежде, близки и связаны. Говори со мной часто, не забывай моего голоса, моих глаз, моих рук, которые так же нежно будут вновь ласкать твое лицо, волосы.... Не забывай моих губ, храни память их на твоём теле...

Брюсов – Нине.

3 июля 1905. Москва.

...Прожил два дня очень и очень тяжелых. Тени ступают и надо мной, и во мне. Мечтаю предаться роману – предаться совсем, броситься в работу с головой, до дна ее, работать, забыв все, кроме созданного мира... Счастливой случайностью Бальмонт прислал мне из Мексики (временно) ряд книг, очень полезных мне для романа. Правда, книги испанские, но я уже купил и грамматику и словарь. Ах, напиши мне, напиши обо всем.



Может быть, меня уже ждет Твое письмо. О прошлом, о бывшем (ведь действительно бывшем) не решаюсь, не смею, не хочу вспоминать. Страшно...

Нина – Брюсову.

4 июля 1905. Малаховка.

...Ты печалишь, туманишь меня... Ну что я могу говорить еще, кроме тех слов, что написала тебе? Если согласишься и *услышишь*, через ту паутину, которой ты уже позволяешь опутывать себя, ты не будешь так безнадежен, так печален. Ведь и я живу сейчас совсем, совсем не в раю. О, не в раю!.. Но знаю, что сумею сохранить для тебя *твою* мою душу, как там, на Сайме, которую ты скоро, должно быть, будешь считать только сном. Милый Валерий, милый, верь в чудо! Как только перестанешь верить – не останется ничего. Будут стоны улицы, слова, беспросветный кошмар, и умрет душа. Отчего я чувствую себя сейчас сильнее тебя? – А, кажется, мне так легко бы было утратить все. Но я не хочу, не хочу дать себя задушить.

Пиши мне часто, как можешь. Вот уж два вечера я хожу по знакомой дорожке к маминой даче. Выхожу аккуратно в 7 1/2 ч., иду замедленно и жду, и боюсь, что от тебя нет письма. И так радостно, так радостно было эти два вечера. Мне хочется писать тебе. Я целые дни молчу, говорю только с тобой. Сережа занят. Его пригласили быть редактором литературного отдела в «Искусстве». Он все пишет что-то. Не знаю что, и мы говорим только за обедом. Мало, вяло... Потом приходит вечер, темный, длинный, тихий. И опять я молчу и не хочу никого видеть. Сегодня была в Москве. Тягостное, тягостное впечатление от улиц, от мыслей, которые еще как будто живут в раскаленных стенах. От прошлых мыслей моих и от неизвестности будущего. Еще трудно мне представить, что вот наступит осень, зажужжит какое-то колесо, замелькают новые и те, прежние, до ужаса знакомые лица, зазвучат всё те же ненужные мучительные слова, воткнутся новые или старые иглы...

О, не хочется! Страшно, тягостно думать. Знаешь, прямо с вокзала я попала домой в день переезда на квартиру. На меня взглянули пыльные, ободранные окна,



пустые стены, сундуки, – и мне почудилось, что это не просто, а все с тем же скрытым смыслом, который таился за всем, что с нами ни случилось в этот год. Что-то кончилось, чему-то больше не бывать. Кончилось даже вонне. Валерий, Валерий, будь со мной! Нам дали увидеть друг друга, не будем же вновь закрывать глаз. Страшно в пустоте, страшно среди кривляющихся, враждебных масок и теней. Мы – двое, не давай же заползти туману, пока еще день, пока солнце. Я буду жить эти дни в тишине, – «Все отошли. Шумите, сосны»...

Сосны шумят, грустно, тихо, одиноко мне. Но откуда светлая покорность, и мир, и покой в душе, хотя жизнь все та же, мучительная несказанно. Мучительная и реально, и в невидимых столкновениях чувств и ощущений, но я не хочу говорить об этом. Сейчас я сильнее этого. Дорогой, не печалься, не говори слов, от которых у меня в отчаянии падает душа. У нас не только «прежнее» ушедшее, пережитое, – перед нами светлая, чудесная неизвестность. Вверься ей, поверь в ее радости, и радость не покинет. Через все будет сиять она. Ну, посмотри, – разве я прежняя, разве такая, как зимой? Разве нашлись бы у меня тогда такие слова! А теперь они звучат как музыка, помимо моей воли, потому что я вижу, чувствую тебя, милый, милый. Тебя... Пиши. Пиши о печали, о радости, о тебе. Тебя тихо и нежно и нетерпеливо будет ждать после дней заточенья твоя китайская фарфоровая девочка.

Брюсов – Нине.

5 июля 1905. Антоновка.

Нина, далекая! Три дня шел дождь и немислимо было пробраться в жалостную Тарусу, которая кажется мне землей обетованной: там, быть может, Твои письма!.. После всего «буйства», пережитого моей душой... на гранитах, она как-то онемела, омертвела. Мне почти мил тупой покой этой деревни. Я в самом деле много работаю. Вдруг перевел «двенадцать песен» Мэтерлинка; неизвестно зачем кинулся изучать испанский язык и т.д. В самые ближайшие дни примусь за роман (Увы! лишь в ближайшие дни). Ты боялась когда-то, что мы слишком по-домашнему близко подойдем один к другому, что я увижу Тебя в свете



повседневности, что это убьет ту долю мечты, идеального, без чего любовь умирает, как цветок без солнца. О, безумие! Напротив, с каждым днем все прошедшее, все бывшее, все действительно бывшее (мне приходится теперь почти уверять себя в этом) – представляется мне словно сказкой, словно прочитанной поэмой, словно (боюсь банального сравнения, но оно самое верное) сном. С каждым днем все более и более Ты становишься для меня символом, а не живой, не той, кому я в жизни говорил: «Девочка, милая, хорошая, маленькая...», – но той, кого я ждал долго, увидал в мгновенном видении и не должен увидеть вновь. За окном вечеряющее поле ржи, трещат кузнечики, скоро сразу встанет над лесом лик месяца, точно великан подымется с колен, наступит настоящая, черная, мертвая ночь, – о, как все это далеко от вкрадчивой, всекрасочной Саймы, от баюкающе-тихой Феннии, от мерно зыблемого, безумного купэ вагона. Нет! то подлинно был сон, недолгий, прекрасный, ослепительный, невозможный!

В свое земное входит тело
Ночная вольная душа.

И ей больно, больно...

7 июля 1905. Таруса.

Нина, мое счастье, жизнь моя! читаю Твои письма, и плачу, и плачу, как тогда на гранитной глыбе, ушедшей в море; вот слезы текут по щекам, как Ты этого хотела. Твои письма – это вся Ты, Твои строки – это Твой голос, и я опять прежний, и я опять там, опять с Тобой, почти до иллюзии, почти чувствую прикосновение Твоих губ, Твоих рук. Да! да! это было! было! а Ты угадала, что бывшее покажется мне сном. Но неужели человеку позволено изведать такое счастье, позволено говорить «я счастлив», и не ждет за это горькая расплата, несказанное мучительство. О, я принимаю все. Ничто не будет слишком – пред тем, что я узнал, все мучения будут лишь малой платой за тридцать дней на тех «островах блаженных», о которых мечтали древние... Но страшно! страшно! Быть может, это безумие, быть может, мой страх – моя мания.



Но я закрыл глаза, я стиснул их руками. Ты зовешь меня посмотреть вперед. Но я не смею. Мне кажется, я увижу видение, которое убьет меня. И только Твои письма, Твои строки властно успокоить мою душу. Твои письма, которые теперь восходят, как звезды, над моей жизнью, которые озаряют и зажигают вновь мое вдруг потускневшее сердце. О, я Твой, конечно, Твой, да, навсегда!..

7 июля 1905. Таруса.

Прости мне, девочка, что я пишу так мало, так отрывочно. Боже мой! неужели для меня не высшая радость писать Тебе, быть с Тобой, перебирать, как драгоценности, свои воспоминания, верить, что Ты вновь услышишь мои слова. Но первые дни моей жизни здесь душа моя была так разбита, так измучена, что у меня не было воли писать, я не смел, я не хотел сказать Тебе тех слов, какие тогда были у меня на губах. У Тебя по крайней мере есть одиночество; у меня его нет. У Тебя возможность не делать ничего; на меня нахлынули все мучительства «дел», которые, увы, я сам (по своему «властолюбию», вероятно) возложил на себя, не допуская, чтобы что-либо важное вокруг меня совершалось без моей воли. Только теперь успокаиваются эти внешности. Буду писать к Тебе, много, без конца. Буду писать и Твой роман, с сегодняшнего дня, с того часа, как вернусь домой. Он должен быть написан, и написан прекрасно, быть эпохой в литературе. Клянусь Тебе в этом.

Ах, девочка, милая, хорошая, маленькая, люблю Тебя! люблю! совсем люблю!..

Нина – Брюсову.

7 июля 1905. Малаховка.

...Живу одна. Сережа уехал. Пусто, тихо... Одна. Ты милый...

Брюсов – Нине.

8 июля 1905. Антоновка.

Девочка! радость моя! счастье мое!

Не сумею почти сказать, не подберу слов, как оживили меня, как воскресили меня Твои письма (я получил три). Есть удивительные стихи Тютчева, почти выражающие это:



Как бы эфирною струею
По жилам небо протекло!

Я был совсем без сил, подавлен. Я как-то тупо и бесплодно читал испанские книги, с помощью одного словаря, восхищаясь, что понимаю их. Уверял себя, что это надо для моего романа (то были биографии моряков и конквистадоров XVI и XVII в.). Мечтал прочесть их много, мечтал прочесть еще ряд разных книг о той же эпохе. И вот, вернувшись с почты, где прочел Твои строки, я сразу бросил всё – и книги, и испанский словарь – взял лист белой бумаги и стал писать. И знаю, и чувствую, и вижу, что могу писать, что никаких книг, никаких изучений мне не нужно. Чтобы написать *Твой* роман, довольно помнить Тебя, довольно верить Тебе, любить Тебя. Будь моим руководителем и здесь, моим маяком, моим ночным огонечком, как в мире Любви. Любовь и творчество в прозе – это для меня два новых мира. В одном Ты увлекла меня далеко, в сказочные страны, в небывалые земли, куда проникают редко. Да будет то же и в этом другом мире. Дай мне стать на колени. Дай поцеловать Твои руки. Я Твой, всегда Твой...

P.S. На днях буду в Москве (на день: надо как «домовладельцу» быть в Думе). Но я боюсь увидаться с Тобой. (Помнишь, Ты обещала мне откликнуться, если бы я стал просить.) Боюсь. Может быть, это опять безумие, опять мания. Но помедлим. Пусть мы встретимся, как решили, после 20-го. Страшно, страшно наложить хоть одну черту на прошлое. Это такая полная завершенная картина, что я не знаю, как продолжать ее. Ах, пойми мои слова! Не расслышь в них иного, чем то, что я говорю. Ведь это *не значит*, что я не хочу Тебя видеть. Именно слишком хочу и потому говорю: не смею. – Но напиши мне (об этом молю, как только умею молить), напиши мне хотя несколько строк в «Скорпион» на мое имя. Опьяняюсь мечтами, что опять прочту Твое письмо. Исполни! девочка-Нина, счастье мое, исполни! Люблю Тебя...

10 июля 1905. Антоновка.

Ты мне поверишь, девочка Нина, звездочка моя, как часто, как часто ко мне возвращаются во сне эти дни среди



гранитов, *наши* дни, и почему-то особенно часто именно Твоя комната в Раухе, ее окно, за которым тонкоствольные сосны, крыша другого дома и клочок голубой Саймы; и мне кажется, что Ты опять сидишь в этом кресле, втиснутом между комодом и столом, сидишь и куришь тоненькую папиросу, а я опять около Тебя на коленях, сжимаю Твою руку, вижу Твои глаза, смотрю, смотрю в них. Это стало моей любимой грезой, «*mon reve familier*» («моя привычная мечта» – *фр.* – *И. Т.*) (вспоминая заглавие Верлэновского стихотворения). Но сегодня мне снилось совсем иное, – один из тех аллегорических снов, какие хорошо знаешь Ты. Мне снилось, что в каком-то приморском городе (полу-Гельсингфорсе, полу-Генуе) я искал Тебя, мучительно искал – на улицах, в садах, на пристане. Мне сказали, что Ты в каком-то кафэ. Я вошел. Что-то вроде «испанской бодеги», но полной людьми. Шум, говор, дым. Какая-то женщина обняла меня, зовя за собой. Я вырвался. Вышел. Мне опять сказали, что Ты на корабле. Я пошел туда. На палубе Тебя нет. Я сошел в каюты. И там Тебя нет. Я спустился в трюм, темный, душный. Тогда надо мной опустили дверь-крышку. Я понял, что я в плену или в тюрьме. Стал скрипеть поднимаемый якорь, и корабль поплыл куда-то. И меня охватило последнее отчаянье, и я бросился ничком на доски. Проснулся, конечно, с тем же чувством отчаянья, которое уже не покидает меня весь день...

Ах, девочка! девочка! милая, хорошая, маленькая! как страшно ничего не знать о Тебе день за днем. Это после того, как я был с Тобой все часы дня, почти все минуты! После того, как я следил смену всех, самых беглых Твоих настроений, ловя их в выражениях Твоего лица! Помнишь! помнишь! я угадывал Твои мысли, прежде чем Ты произносила слово! А теперь, быть может, Ты переживаешь что-то новое, что-то важное, а я не знаю *ничего*, совсем ничего. Да и, конечно, переживаешь. Проходят люди, приходят письма, мелькают целые дни, т. е. целые жизни! Я храню Тебя в душе такой, какой Ты была в день разлуки. Но Ты уже другая, уже все в Твоей душе стало иным. Ибо беспощадно верно изречение древнего Гераклита: «все течет!» и «нельзя войти в одну и ту же реку дважды». То течение,



которое мчалось нас обоих вместе, – уже далеко. Перед глазами словно все тот же водопад мгновений, но каждый атом в нем уже новый! И еще тысячелетия и миллионы лет будет свергаться этот водопад, меняясь каждый миг и наполняя души людей тоской о невозвратном, да, о невозвратном. Да, Ты мне сулишь, как ребенку, сломавшему куклу, – новую, лучшую. А я плачу, как ребенок, и упрямо повторяю: «Не хочу лучшей, хочу *ту же самую!*»

Сейчас у меня есть только одна отрада: та, которую я верно предвидел, – мой роман, Твой роман. Пишу его увлеченно, пишу, предавшись работе, весь день... Там, на этих исписываемых мною страницах, Ты, та Ты, которую я знаю, которую люблю, которую хочу сохранить себе и миру – навек! Как хорошо, какое счастье искать точных слов, какие Ты могла бы произнести. Невольно, как всегда, когда пишешь, делаешься тем лицом, от имени кого говоришь. И я ловлю себя почти на актерстве: я вслух произношу слова моей Велли, стараюсь уловить Твое произношение, чувствуя иной раз, что *так* Ты не сказала бы, и торжествуя наконец, что вот-вот это истинно Твой голос. И тут же я могу еще раз повторить все слова о любви, которые я говорил Тебе за эти девять месяцев, повторить их более сознательно, более сосредоточенно, но всё с той же страстью. И могу сказать другие слова, которые не сказались в свое время, которые я не посмел прошептать Тебе, но которые были живы, хотели жить и теперь находят свое воплощение. Все, все пережитое я переживаю вновь, и в моем мире я сам и действующее лицо, и Судьба, впрочем, нисколько не более снисходительная, чем та, которая властвовала нами...

Верь мне, что я Тебя люблю все так же, – все так же, ибо время для меня остановилось, как для умершего, по спиритической теории, и длится один долгий день разлуки...

12 июля 1905. Малаховка

...Я томлюсь от какой-то беспричинной тоски. Не могу даже спать. Слушаю шорохи, читаю до рассвета, борюсь с горькими мыслями, а чуть забудешься, – видится что-то



тяжелое, почти кошмарное. Вот сегодня, – вижу, по одной из московских улиц двигается похоронная процессия. В белом некрашеном гробу несут Христа. Вокруг бледной головы Его с ввалившимися глазами вместо сиянья, – золоченый деревянный ободок, как на иконах. И вдруг в этот гроб, в один с Ним, положили меня сверху, так что мое лицо приходилось совсем около Его. И на мертвом лице Его стали трепетать и подниматься ресницы, и на спину мне легли Его ледяные длинные пальцы. Вот и все, но я не могу в словах описать тебе той пронизывающей холодной тоски, того неизъяснимого ужаса, с которым я проснулась. Ощущений сна совсем невозможно передать. Как хорошо было там, на Сайме, сны совсем не мучили меня, а теперь *это* опять началось...

Меня здесь все тревожит, печалит, раздражает. И не могу найти в душе достаточно равнодушия! Кажется мне, что старое уже все изжилося, нельзя ничего повторять, ведь удары будут приходиться всё по прежним же ранам.... Ах, прости за эти печальные строки! Но ведь, кроме тебя, никто ничего не понимает. Я в течение двух дней пробовала *говорить*, не сложно вовсе, только немного более тех членораздельных звуков, которые произношу ежедневно, – *не понимают*. Слышат слова, улавливают комбинации фраз, и больше ничего. Отчего же ты понимаешь? Отчего же с тобой так просто, легко и никогда не оскорбительно? Сережа говорит, что мы с тобой похожи в нашем «самовластии», в ненависти к людям вообще, что у нас души одного цвета (должно быть, уж обе черные). А я рада этим «полу-дружеским» укорам. Хорошо быть похожей на тебя, ведь даже в его словах есть доля правды, хотя она какая-то не настоящая, вывернутая, – но правда.

И если не будет тебя, – я больше уже не буду приближаться душой ни к кому. Знаю, только с тобой возможна та последняя близость, которая виделась мне лишь в мечте. И знаю я так же наверно, что эти дни – дни каких-то последних углубленных переживаний. Дальше и без тебя не вижу ничего, кроме кривляющихся масок. Нас вели друг к другу через пропасти, через высокие горы, с которых я видела ослепляющие виденья и дали. Но, должно быть,



они были не мои, потому что над ними так быстро опусти-ли завесу. А *мои* и *наши* – другие. Весь этот путь уже поза-ди, и страшно оглядываться назад. Ты милый, я хочу быть с тобой, нам дан *другой Свет*. Знаю, верю, верь в него и ты. Еще два месяца назад у меня не было бы этих слов, но в Финляндии я многое поняла и поняла *навсегда*...

12 июля 1905. Малаховка.

...Ах, Валерий, не люблю я таких снов, какой ты видел. Я хорошо знаю эти ощущения, эту смутную тоску после. Не знаю почему, но все последние дни я тревожусь чем-то. А тут еще твой сон!.. Милый, дорогой, теперь я не хочу, не хочу расставаться с тобой. Не думай, что какие-либо внешности могут изменить меня. Все, что кругом, – люди, письма, встречи, – все мне кажется ненужным вздором, который не доходит до меня и не может менять моих чувств к тебе. Пусть миги уже *не те*, но они все же *твои*. Я думаю о *тебе*, тревожусь о *тебе*, через все я все время лишь с *тобой*. Ну поверь же, поверь! Чему же можно и верить, кроме таких слов, в которых сейчас для меня вся полнота и прежнего и нового. Я помню все. Этот месяц для меня дорог так же, как для тебя. Помню все мелочи, все, что тогда казалось мелочью, а теперь стало дорогим и важ-ным без конца. И комнату в Раухе, и лодку над ночной Саймой, и тихие всплески, и камешки, которые бросали мы в воду. *Мы близкие* и в днях и в ночах, мы смотрящие друг другу в глаза почти каждый миг. Не бойся, что сейчас я далеко и ты не можешь видеть моих глаз. О, не бойся, ты не встретишь в них чужого выражения. Там по-пре-жнему и голубая Сайма, и небо, и ты. Дорогой, почувствуй всю глубину моей нежности к тебе. Разве не чувствуешь? Разве не слышишь? Вот целую твои глаза, волосы, целую, целую... Ты милый, милый. Я люблю твое лицо, твой голос, люблю твои слезы, твои стихи... Ты весь мой, близкий, до-рогой беспредельно. Я не хочу сейчас никого кроме тебя. Откуда это, – не знаю, не хочу знать. Ты мой, я беру тебя, милый, милый. Не надо спрашивать, не надо узнавать ни-чего, пей это новое вино, пей его вместе со мной. Довольно было слез жестокости и горя. Я отдыхаю с тобой, сладко



немею от твоей нежности. Влюбляюсь в твою любовь, люблю ее, в ней несказанная красота. Она виденье, явившееся в мою беспросветную горькую тьму. Валерий, Валерий, будь счастлив! Не бойся будущего, оно ласковое для тебя и для нас.

Верь, я все время с тобой, твоя, близко. Ни одна тень не легла на душу. Только верь, верь. Я не утешаю тебя «новой куклой». Ты увидишь ту старую, любимую, и ребенок не будет плакать. Ты оттого так недоверчив, что позади было слишком много твоего горя. Но где же оно? Разве могу я мучить и обижать *тебя!* Ведь это было оттого, что не могла я тогда видеть ничего. Ведь я была *глухая и слепая*. Валерий, дорогой, хочется сказать что-то совсем новое, чтобы сверкнуло как молния, чтобы ты больше не мог сомневаться. Но – не знаю, не надо... Прости, я чувствую, что сегодня какая-то безумная, бессвязная...

Брюсов – Нине.

14 июля 1905. Москва.

...Помнишь ли стих Бальмонта, того Бальмонта, которого мы то неумеренно славим, то неумеренно осуждаем:

О строгие лики
Умевших любить!

Это верно сказано. У тех, кто умел любить, лики не могли не быть строгими. Есть строгость в любви. Есть трагизм в любви. Символом любви всегда были кроваво-красные розы. Русский язык насильно заставляет поэтов помнить о роковой связи двух слов: «любовь» и «кровь». Но если это так, – а все это Ты мне говорила много раньше, чем то же говорю Тебе я, – если это так, может ли быть любовь без трагизма, может ли быть счастье, может ли быть достижение в любви? Не противоречие ли говорить: «Я счастлив, потому что люблю и слышу в ответ – люблю»? Случайно ли я написал столько стихов, когда мог поставить им заглавием «В пытке» и «В застенке», и не писал ничего потом, после, в «наши» дни (о, бесконечно прекрасные дни, когда довелось мне:

над бездонностью пространною
На крыльях счастья задрожать!)



В математике есть понятие, называемое «предел». Круг – предел многоугольников, если мы будем бесконечно увеличивать число углов. Но сам круг ни в каком случае *не* есть многоугольник. Предел – это к чему данная величина стремится, *никогда того не достигая*. Не есть ли счастье – «предел» любви? Любовь должна влечься к счастью, но не должна его коснуться никогда. В одном из детских своих стихотворений (из тех, что Ты любишь) я обмолвился стихом: «Красота и смерть неизменно одно». Было бы вернее сказать: «Счастье и смерть – одно». Кто хочет смерти, должен стремиться к счастью. Жизнь только в роковом, только в трагизме.

Нина, огонечек мой, свет над моим морем, прости мне эти мысли, может быть, безумные, больные. Но разве быть безумным и больным непременно значит ошибаться? Или пришло то, чего я так боялся, когда был «мой разум светел», – пришло «одичание», от которого предостерегала меня и Ты. Не знаю. Мне как-то страшно жить, мне как-то страшно чувствовать. Здесь, в пыльной, в слишком знакомой Москве, где и Вавилон, и ночные, еще не залитые слезами розы, – мне вдруг вспомнилась моя комната в Антоновке, где на столе страницы с начатым романом, – словно монашеская келья. А помнишь, Ты говорила, что у меня есть что-то иноческое в лице?..

Нина – Брюсову.

15 июля 1905. Москва.

Дорогой, сегодня я случайно была в Москве и не знаю почему, точно инстинктивно подошла к телефону и позвонила в Скорпион. Мне ответила Бронислава Матвеевна (Рунт, свояченица Брюсова, секретарь «Весов». – И. Т.), что ты *только что* ушел. Принимаю это как указание Судьбы.

Значит, пока не нужно видеться. Я говорю «пока» – эти случайные дни. Но ведь ты приедешь? Я буду одна. И жду тебя... Странно быть в Москве, знать, что ты здесь, близко, и не видеть... Милый, я все та же. Верить?

Брюсов – Нине.

17 июля 1905. Таруса.

Ты поверишь, что я был в отчаянии, совсем в отчаянии, читая одновременно Твое письмо и Твою телеграмму, –



когда было уже слишком поздно. Мгновение у меня было желание все же искать Тебя, увидеть Тебя во что бы то ни стало. Но потом я увидел в этих случайностях то же Роковое, что всегда было с нами. Были дни, когда судьба насильно, против нашей воли толкала нас навстречу друг к другу. Теперь она не дает нам встретиться, разводит нас десятками мелких ухищрений... Надо опять подчиниться, покорствоваться. Мы слишком знаем, что все равно ничего не удастся, если идти против желаний судьбы. Будем ждать назначенных нами 20-х чисел. Мечтаю о них, и – боюсь их. Да, боюсь...

P.S. Девочка, милая, дорогая, маленькая! но неужели Ты приезжала в Москву нарочно? И не встретила меня. Искала глазами, и меня не было. Вот в этом отчаянье. Хочется просить прощения, долго, долго. Милая! Близкая!

Нина – Брюсову.

17 июля 1905. Малаховка.

Если бы ты знал, Валерий, как захотелось мне видеть тебя после твоего последнего письма. Несмотря на наше решение не видеться пока, я послала в Скорпион телеграмму (мне сказали, что ты в Москве до воскресенья) и ждала тебя от 7–8 на Рязанском вокзале. Тебя не было... Была только острая тоска ожидания. А потом внезапно я почувствовала себя настолько больной, что едва доехала обратно. Сегодня лежу в жару целый день; дождь, тягостные мысли, уныние и тоска.

Ах, Валерий, я предчувствовала то, что с тобой сейчас. Едва коснувшись губами края чаши, ты уже испытываешь страх, смущение и тоску. Ты испугался счастья. Испугался его облика, который *на миг* мелькнул из разорванных туч. Ты был радостнее, когда я мучила тебя. Ты ведь тогда написал свои лучшие стихи!... А теперь и в те дни – не мог ничего. И в этом слышится мне горько-незаслуженный упрек. Мне грустно и больно, Валерий. Ты заставляешь меня жалеть о многом. Но мной никогда не руководили никакие расчеты, ты знал все, что приходило мне в душу, и если в этом крылась гибель всего, что между нами, – пусть. Оставайся с призраком 30-и дней, если боишься, что



можно нарушить эту «завершенную картину», а я тихо и гордо отойду от тебя, но не хочу меняться, не хочу жить и чувствовать по выгодному плану. О, зачем у тебя такие мысли? Зачем ты губишь все так рано! От твоего последнего письма во мне что-то оборвалось. Я не могу, не хочу опять говорить «все равно», а ты вызываешь во мне это тупое, покорное равнодушие. После всего, что было этой зимой, я чувствую бесконечное утомление, глубокий, непоправимый надлом, новые ростки в душе так еще нежны, бледны и бессильны, что их можно истребить каждый миг и уже навсегда. Ты говоришь о трагизме, которого как будто нет по твоим ощущениям сейчас в наших чувствах, но ты забываешь прошлое, из которого возникло все, и будущее, грозящее Бог знает чем. Разве знаешь, что и откуда приходит в душу.... И отравляешь эти дни отдыха, и не дорожишь ими. Ты говоришь еще, что, может быть, наступило то «одичание, от которого предостерегала тебя я», но, Валерий, милый, разве уж так ты бессилён? Я помню одно наше условие, – помнишь, ты просил, что если *это* придет, быть с тобой кроткой и нежной, напомнить тебе все, а не ожесточать такими же словами в ответ. Я помню это и умоляю тебя как могу, – не поддавайся таким настроениям, дай увидеть тебя, говорить, целовать тебя, как прежде, и, может быть, исчезнут набегающие тени. Не бойся счастья, оно всегда быстротечно, помни это. Я однажды испугалась его, как ты, так же говорила себе, что жизнь в трагизме. А что было после, – ты знаешь слишком хорошо. Трагизма не нужно звать, он всегда тут, близко, и, *верь, не оставит еще и нас*. Как ты недоверчив, боязлив, – это те зимние дни сделали тебя таким. Ну как мне утешить тебя?

Милый, милый Валерий, ну вспомни все, разве не хотел бы ты опять быть со мной! *Куда ты уйдешь?* В одиночество, в работу? Но разве я мешаю тебе? Что сделать, чтобы опять ты стал опьяненным, радостным, бездумным, как на Сайме? Только дай увидеть тебя. Издали слова не звучат, ты не видишь моих глаз, не слышишь моей печали, я не могу коснуться твоих рук и в этом прикосновении передать тебе гораздо больше, чем в четырех исписанных страницах. Ты знаешь силу внешней близости, мы не раз говорили



об этом. Валерий, дорогой, напиши мне скорее, я очень, очень печальна. Зачем столько боли! И от тебя... Я хочу тебя видеть хотя на один вечер, если не думаешь вернуться вообще скоро, то приезжай хотя на несколько часов...

Брюсов – Нине.

20 июля 1905. Антоновка.

И уже все другое – и мысли, и желания, и вся душа, и, должно быть, все тело. И нет ничего из прежнего – осыпался цветок – и почти не смею назвать Тебя, и не знаю, как решусь посмотреть Тебе в глаза. И весь мир для меня – эта узкая дорожка от нашего дома к Оке, по которой каждый день я медленно брожу взад и вперед, верста – туда, верста – назад, обдумывая каждый день новую главу романа. Работа поглотила меня не как Мальстрем, увлекающий, потрясающий, ужасный, но как черная глубь какого-то моря, как какая-то молчаливая пучина, в которой нет ни звуков, ни светов, ни жизни. Упрямо исписывая страницу за страницей, переходя от главы к главе (их много надо!), я уже теряю живое чутье того, что делаю; не могу оторваться, но и не знаю, чем покажется мне все сделанное, когда взгляну на него посторонними глазами. Не отвернусь ли я презрительно и не брошу ли, смеясь, свою рукопись прочь, как столько других? «О, да, я помню – да, я был живым когда-то!». Теперь я в мире слов, отточенных предложений, нанизанных и переплетенных событий. В них – Ты, но это и не-Ты; в них – я сам, но это и кто-то иной, чужой, уже странный, уже непонятный, о котором надо вспоминать, напрягая память. Память! Память! да! ей приходится теперь работать! И мои лучшие сокровища, и все, что есть у меня самого драгоценного, уже не в сердце, не в этом миге, – а в прошлом, в воспоминании...

Нина! Нина! девочка! Надо не быть людьми, а как достичь этого? Надо жить вне жизни, а за ее пределами лишь смерть! Надо дышать только любовью, но еще нет страны, где вечно веет этот воздух! Мне кажется, что я несу мой факел сквозь ночь и бурю, ибо та смертная тишина, что вокруг меня, и есть истинная буря. Пламя клонится, мечется, жжет мои пальцы; я не выпущу смолистого сука, но останется ли он пылающим, или в руках моих вдруг окажется



ся тлеющая головня? Иду, наклоня голову. Да, да! я знаю! довольно приблизиться к Тебе, вновь стать на колени перед Тобой, чтобы огонь разгорелся ярко, вольно, – но неужели сам я бессилён против стихии, неужели пламя мое бессильно? Тогда не лучше ли бросить факел в мокрую траву, – пусть шипит, как змея, и самому упасть около, и лежать молча, покорно? Страшные мысли обступают меня здесь, в черной тишине, черные мысли...

Одна ли Ты? Можно ли прийти к Тебе? Встретишь ли Ты меня такого, каков я теперь? Ответ мне. Приеду тотчас после ответа.

Только одному верь. Не могу не быть Твоим...

Нина – Брюсову.

20 июля 1905. Малаховка.

...Я знаю, мое предыдущее письмо опечалило тебя. Но ведь ты сам вызвал во мне такие горькие чувства, да и в тот вечер я была совсем больна, у меня было ночью около 40, мысли туманились и путались от лихорадки. Все выросло до чудовищности. Я хвораю с субботы, как вернулась из Москвы. Только сегодня немного лучше, но тоска меня охватила невыносимая. Приедешь ты скоро или нет, – все равно я сбегу отсюда. Здесь даже в тишине есть что-то отравляющее меня. Задыхаюсь в какой-то иступленной тоске. Эти 20 дней мне кажутся тяжелым карантинном, который заставляют зачем-то выдерживать. Завтра в 2 ч. дня Сережа уезжает, тогда уж окончательно не выживу здесь. Очень хочу тебя видеть, но твое последнее письмо так испугало, так опечалило меня своей безнадежностью, что я уж не могу найти прежних призывающих страстных слов. Если сильно захочешь – приедешь, и мы увидимся. Я все та же: но, дорогой, если ты хотя сколько-нибудь веришь, что еще *что-то возможно*, если ты хочешь встретить меня живую, а не мертвую от безнадежности, – не давай владеть собой *тем* чувствам... У меня так и остался в душе след тихой и горькой обиды. Может быть, я не права. Может быть. И слова мои тебе кажутся сплошным непониманием. Но ведь дело не в словах, а в чувстве. Я могла бы говорить *другие* слова, а в душе все равно бы что-то рушилось и падало. Ты понимаешь, ведь сейчас все, что



осталось во мне живого, настоящего, все, что осталось от того испепеляющего вихря, – все обращено к тебе и отдано тебе. Там, за тобой уж настоящая черная жуткая ночь. Я уж не буду искать никого, ничего не буду ждать, – потому что знаю -больше нет никого. Эти годы тоже моя вершина. Я так же, как ты, чувствую предел, но у меня только рисунок этой последней картины более причудлив и странен. Об этом я скажу тебе когда-нибудь после, когда и сама лучше и ярче пойму.

Валерий! будем пока вместе. Разве ты не чувствуешь за нашими огнями эту черную осеннюю ночь! «Во тьме безутешной сияющий праздник»...

Так пусть же будет праздник, не омрачай его, не бойся нежного весеннего ветра, не бойся отравиться каждым слишком ярким лепестком. Все проходит, все уходит из души, – это ты сам сказал однажды. Зачем же слишком ранняя тоска приходит к тебе? Будет ей время, – подожди.

Хочу тебя видеть! Хочу до тоски. Милый, хочу тебя видеть!

Брюсов – Нине.

24 июля 1905. Антоновка.

...Ах, что бы ни было, что бы ни вошло в мою душу – и в Твою тоже, – останется одно несомненным, однажды нами созданное: у нас души «одного цвета». (Мне нравится эта формула Твоего Сережи.) Никогда, ни с одним человеком, за тридцать лет своей жизни, не мог я быть самим собой. Пытался и бывал жестоко наказан – болью тайных оскорблений, горьким стыдом. И я научился во всем притворствоваться и обо всем лгать – каждым словом, каждым взглядом, каждым поступком. Я становился самим собой лишь в своей комнате, когда двери были плотно закрыты, шторы опущены, когда передо мной был лист бумаги с начатыми стихами. Наедине со стихами я не притворствовал, я говорил себе правду, я был как верующий в церкви. Шли годы, менялись убеждения, менялись чувства, но сквозь все перемены сохраняя я это служение стихам (говорю нарочно реальное «стихам», а не отвлеченное и мертвое «Искусству»). И самым странным и самым чудесным из всего странного и чудесного, что дано мне было ис-



пытать рядом с Тобой, было именно то, что с Тобой я мог говорить как со своими стихами, Тебе мог признаваться в том же, в чем своим рифмам. Я так привык, что моих «настоящих» слов не понимал никто (ни даже те, кто всячески восхищался моей поэзией), что я уже думал, что настоящих слов одного человека и не может, никогда не может понять другой человек. Но Ты посмотрела на меня с улыбкой и стала мне отвечать на *моем* языке, на моем языке, который я считал ведомым мне одному, мною самим придуманным! Все в наших отношениях может пройти, но не это! Другой Тебя мне не найти, – не повторяться же дважды одному и тому же чуду! Уйти от Тебя – значит для меня уйти, уже окончательно, от мира, надеть, уже навсегда, маску, смотреть только внутрь себя, не слушать ничего.

Почему же я «боюсь» новых встреч, почему же я медлю вдали от Тебя? Ты упрекаешь меня, что я слишком дорожу прошедшими 30 днями! Ах, я первый знаю, как мало значит прошлое! Я первый говорю, что оно *не существует*. Есть только настоящее и будущее! Но разве нельзя любить *несуществующего*? И я люблю мое, не существующее более, прошлое. Я люблю и мое счастье, и мою любовь. Я чту их, как что-то священное. Одна мысль, что нечто новое коснется этой моей святости, пугает меня. Я боюсь не того, что перестану любить Тебя, – этого еще не может быть, и долго еще не может быть, – я боюсь уже того, что эта любовь перестанет наполнять всю душу, так, чтобы кроме нее, по выражению Чацкого, «мир целый казался прах и суета». (А так оно было этой зимой!) И чтобы дольше сохранить целостной, «целомудренной» святостью воспоминаний, я так легко подчиняюсь разным причинам, поводам, предлогам и все откладываю счастье (о, конечно, *счастье!*) встречи с Тобой. Девочка! милая, хорошая, маленькая! ведь Ты же знаешь человека, знаешь душу, мир чувств. Ты должна понять меня. Бывало, Ты мне говорила: «Иди ко мне, я буду тебя мучить». Я шел, изнемогал от боли, «был облит кровью» – и был счастлив. Теперь Ты говоришь мне: «Иди ко мне, мы будем счастливы, очень, больше, чем были!» Что удивительного, что я отступаю, что мне страшно.

Но, конечно, я должен победить свое ребячество...



Я перечел, что написал из своего романа. Плохо, бледно, скучно. Бросаю всё. В таком виде романа никогда не напечатаю. В таком виде он не должен носить Твоего имени! И – знаешь? За тридцать дней ни одного стихотворения, ни одного!..

Нина – Брюсову.

24 июля 1905. Малаховка.

Ну что же это такое, Валерий! Ты приводишь меня в неизъяснимое отчаяние. Неужели только около меня ты можешь быть моим? Только когда я держу тебя за руки, смотрю в глаза? Ведь лишь 24 дня прошло, а ты говоришь, что уже весь другой, и так покорно отдаешься во власть какого-то черного сна. Ты говоришь: «Не надо быть людьми». О, конечно, не надо! Я всегда это говорила. Но для этого лишь два пути: – любовь и путь *туда*, куда ты меня долго звал и потом перестал. Так разве я тяну тебя вниз, к людям, к их жизни?! Верь, я ненавижу ту жизнь, что вокруг. А после поездки с тобой еще более чужда всему, еще более презираю. Это уже даже отметил с негодованием Сережа. Я не знаю, с кем более ты бывал когда-нибудь вне людского? Но неправда, что за этим пределом смерть. *Может быть*, и смерть, но может быть и новая неслыханная жизнь. Да, «надо жить и дышать любовью», и страна, где ее веяние вечно, – *только в душах*. Отчего же ты не поверишь в это навсегда! Тогда бы не колебался ты так, не шатался бы мыслью так беспомощно и страшно. Ведь ты *почти не знаешь* еще этой страны и уже стремишься куда-то прочь. Куда? В какую черную муть? Отчего же во мне все так ясно, светло и звенит? Если бы не отчаяние от тебя, от твоих слов, я была бы совсем радостна, а посмотри – ведь у меня все кости переломаны, вспомни, что со мной было, вспомни зиму и осень! Валерий, дорогой мой, только не уходи от меня! У меня еще много, много сил, дай только увидеть тебя такого, какой ты сейчас, и я не опущу в отчаянии рук, я сумею *все напомнить* тебе, я овею тебя такой нежностью и лаской, что ни одна черная тень не посмеет лечь между нами. Но что с тобой? Как ты живешь? Я не знаю ничего, ничего.



Я писала тебе много писем, и у меня ощущение, что все они провалились в какую-то черную пустоту... Неужели ты не получил их, а если получил – неужели только видел одни буквы и слова? Ведь каждое из них почти заклинание против того, что охватывает тебя. Валерий, Валерий, милый, не надо быть таким слабым, бессильным. Разве не знаешь ты, – стоит лишь на миг перестать верить, и со всех сторон слетятся эти черные птицы и закроют солнце, и будешь думать, *что ночь*, в то время, когда еще золотом и цветами горит ослепительная лазурь.

Дорогой, приезжай, я совсем затомилась здесь. С трудом переживаю ночи и дни. Сережа уехал, я одна совсем, могу быть с тобой *сколько хочешь*... Приезжай сейчас же...

Сообрази, и я приеду когда хочешь. Но поскорее! Нам нужно увидаться хотя на несколько часов. Не мучь меня. Мне ведь тоже очень тяжело. Неизвестность, тревога, *полное одиночество*, редкий простор самым мучительным чувствам и мыслям. Неужели ты уж не хочешь и меня видеть! Неужели не хочешь опять быть вместе, все забыть в одном огненном опьяняющем сне! Не бойся повторений, будут новые слова, новые чувства, и верь – *не вниз* нам путь. О, верь, верь! Ты не будешь таким, как сейчас. Ты оживешь около меня, только дай посмотреть в твои глаза, губами прикоснуться к губам, чтобы вновь создалась та неслыханная близость душ и тел, о которой ты забыл.

Ответь же скорее. Не для мучительного ожидания. Не мучь. Зачем еще будешь мучить ты? Не надо мучений, с тобой отдых, радость, счастье. Жду, жду...

Брюсов – Нине.

28 июля 1905. Таруса.

...«Не мучь меня ты». Нина! Нина! Неужели я должен был услышать такой упрек! Ах, разве я не знаю, что плохо там, в Москве? И неужели, если бы я верил, что довольно мне быть с Тобой, чтобы стало лучше, я не был бы близ Тебя? Неужели я стал бы думать о каком-то романе, о каких-то других людях, о себе! Но я знал, я знал – то, чего не знала Ты, – что та моя душа, которая жила в те дни во мне, не нужна Тебе. Я не хотел, я как святотатства боялся,



чтобы после всех прекрасных, всех драгоценных слов мне не пришлось услышать опять чуждых, опять осуждающих справедливо! Я *не смел* быть с Тобой. Девочка, Нина! счастье мое! Целую Твои колена, целую Твои руки. Ты не сердись на меня. Сквозь все помни, что я Твой... Что значат все мои случайные слова после сказанных раньше, после тех, что говорились сами, в минуты, когда были близки Твои губы, в минуты, когда были близки наши души, после слов, сложившихся в стихи! Если Ты увидела меня однажды – душой к душе, как видят лицом к лицу, – можно ли верить в иной мой облик? Конечно, о, конечно, я тот же, я – Твой, потому что иного меня, не-Твоего, нет, не существует, не может быть.

Я Твой! Твой! теперь, как прежде, навсегда...

Нина – Брюсову.

7 августа 1905. Малаховка.

Ты дорогой! ты беспредельно дорогой!

Я люблю тебя и ничего не знаю, и ничего не хочу говорить, кроме этих слов, в которых вся я, вся моя душа, вся моя безмерная нежность к тебе. Как трудно теперь отрываться от тебя! Просыпаться от нашего сна и видеть, как выступают медленно очертания другого мира, такого ненужного и мучительного. Но верь, – я с тобой, что бы ни было вокруг, я вижу твое лицо, глаза, чувствую только тебя милого, бесконечно близкого. Не нужно больше твоей тоскливой тревоги, не бойся смотреть вперед. Ведь мы еще не поняли вполне, не успели понять всей радости, всего счастья этой *чудесной* любви. И оттого мы были немые, без мыслей, без слов, ослепленные, сгорающие.... И не отдаю тебя никому, я хочу, чтобы весь до конца ты был моим, так же как я отдаю тебе себя всю безраздельно. Оглянись назад, вспомни эти 9 месяцев и пойми, что только к этому или к смерти могли прийти мы. И если не было смерти, – пусть будет любовь, пусть загорятся все огни на этом празднике воскресенья из мертвых. Я люблю тебя. Это так чудесно, так не похоже на всякую земную правду, что ты должен верить без всяких мыслей, без сомнений, бездумно тонуть в счастье, бездумно открыть душу потокам радости и света. Я хочу, чтобы ты был несбыточно счастлив, чтобы



твое лицо около меня было всегда таким, как в эти пролетевшие ночи. И если опять, там, где ты сейчас, вдали от меня закружатся темные тени и лягут на твою душу непонятной тревожной печалью, – ты вспомни эти ночи, оторванные от мира, вспомни нашу ясную легкость, которую так мало знают люди.... Дорогой мой, люби меня! Если я не знала и не предчувствовала *такой любви, как твоя*, – значит, и я, так же, как ты, вовсе не знала любви. Всегда была мучительная скрытая тяжесть, красивая ложь и томная печаль о чем-то несбыточно недостижимом. И вот лишь с тобой я узнала последнюю радостную ясность *быть самой собой* до последнего внешнего движения, до неясного трепета мысли, которую *не нужно* скрывать. Этого нет у людей, это уже близость, может быть, недостижимая в мире, и потому, о потому, когда мы вместе, – уходит, исчезает все и хочется спрашивать: «Где же мы?» где мы?

Я боюсь твоих дней без меня. Милый, не приезжай чужим, ведь я не изменюсь, и больно будет встретить вновь чужие далекие глаза. Мы будем вместе, что бы ни было. Верь. Я так тебя люблю. Я онемела, я ни с кем не могу говорить, я знаю одно, – что люблю тебя, люблю, люблю...

Радуюсь на осень, падают желтые листочки, вереск цветет. Скоро год... Не вспоминай! Все прошло, я люблю тебя и я твоя...

Брюсов – Нине.

7 августа 1905. Антоновка.

Девочка, милая, хорошая, маленькая, живу еще только воспоминаниями о наших мигах, опускаю руки по плечи в эту грудку драгоценностей, дышу запахом этих алмазов, изумрудов, опалов (люблю этот «несчастный» камень). Помню каждое «бессмысленное» слово, сказанное Тобою, и люблю каждое слово, сказанное Тобою. О, теперь в будущем не боюсь ничего, пойду всюду, куда позовешь, буду верить, что везде, на всех путях, где можно быть нам вместе, – счастье, радость, свет. Ты – мое счастье, Ты – моя радость, Ты – мой свет. Так верю, так знаю, что не надо меня «пугать», не надо мне грозить. Одно Твое «люблю» значит в сотни раз больше, чем много угроз. Одно Твое «люблю» заставляет меня во всем существе почувствовать,



до каких пределов я Твой. Отдаю себя Тебе всего, тело, душу, желания, волю. Говори – я исполню, зови – пойду. Целую Твои ноги и Твои плечи, стою перед Тобой на коленях, гляжу Тебе в глаза, прячу голову, хочу Твоих губ и Твоих слов. Девочка, девочка! ведь и Ты – «моя»? да? да? Твой, только Твой...

Нина – Брюсову. 10 августа 1905. Малаховка.

Дорогой, мне хорошо теперь только с тобой! Ничто уж не властно, когда я *совсем с тобой*, держу твои руки, смотрю тебе в глаза. Я так люблю твои глаза, в них все, чего не знала я в мире, «в мирах», *все*, чего я только с болью ждала и не видала никогда. Ты знаешь, мне не страшно этого слова «никогда» и не стыдно за его повторность. Все слова, что я говорю тебе, мне кажутся новыми, с иным, не пережитым еще смыслом. Все они звучат в душе с последней неизъяснимой простотой, потому что все они настоящие и вместо них нет и не может быть других. И это в *первый раз*, ты веришь, в *первый раз* за всю жизнь. Когда я с тобой – я знаю, что мне и нужно только с тобой быть, и нигде больше, ни в мире, ни в «мирах». Это медленно приходило, я не верила, что так возможно, и вот, когда поверила совсем, – бессознательно, внутренний голос души сказал за меня эти первые слова: «Милый Валерий, я тебя очень люблю». А теперь уже их хочется повторять без конца – я люблю тебя, люблю тебя! Ты мой, мой... А в душе такое глубокое, ясное счастье! Отчего оно *ясное*? Отчего с тобой я чувствую, как какой-то свет нежно ложится на лицо? И ты его видишь. Ах, Валерий, как я люблю тебя!

И если бы не было прошлого, этой мучительной, почти невыносимой боли, этих слез и тени смерти, которая всегда была над нами, не выдуманная, а настоящая, всегда близкая, – быть может, не было бы ничего, и мы отошли бы, не увидев друг друга. Валерий, Валерий! доверься этим дням, не бойся *отдавать*, любить и тонуть в несбыточном счастье. Эти дни огненным знаком отметят душу, *таких* не будет больше никогда. Я жду тебя и люблю и твоя, твоя навсегда.



Брюсов – Нине.

12 августа 1905. Таруса.

Нина! радость моя! счастье мое! мой свет!

И здесь опять, и всегда я с Тобой. Но сегодня, сегодня с какой-то мучительностью чувствую свою близость к Тебе, чувствую, что я – Твой, только Твой, навсегда Твой. Душа, которой странно и чуждо быть счастливой, спрашивает удивленно: не потому ли это так, что в эти миги Ты *не* думаешь обо мне; не исполняется ли в эти миги тот закон о двух сердцах, о котором мы столько раз говорили зимой,

И чем одно из них нежнее
В борьбе неравной двух сердец...

Но мне все равно. Я счастлив, счастлив одной своей близостью, одной своей любовью. А когда на эту полноту, на эти переполнившие берега воды падают огненные, пламенные лучи Твоих слов, Твоего «люблю» – душа моя загорается прекраснее, многоцветнее, чем наша Сайма на закате. Вспоминая Твои нежные слова, я уже почти теряю возможность жить. Умираю, да! умираю в последнем, предельном, в несбыточном счастье. Изведав его, поняв наконец, что такое люди тысячелетия, нет! миллионы лет ищут под именем «счастье», я полюбил в своей жизни все, что было: все давние и недавние мучения, отчаянья, проклятия. И я полюбил все будущее, каким бы оно ни было, прекрасное и страшное, светлое и грозное.

Не упрекай меня, девочка, радость моя, огонечек мой, что я говорю и о страшном, о грозном. Ты тоже знаешь, что есть и оно. Ты, полушутя, полупугая меня, сказала, что душа у Тебя – «неверная». Это очень правда. И только потому Твоя «верность» достигает такой остроты, что у Тебя неверная душа. У Тебя, как у меня, как у всех «нас», есть неодолимое желание не быть собой, отдаться тем чувствам, какие нам по сущности менее всего свойственны. И мы, неверные, отдаемся любви, отдаемся верности с такой полнотой, с такой безраздельностью, как никогда не могут отдаться души, созданные для того, чтобы не ведать вовсе, не испытать вовсе измен. Но в этом мы качаемся на каком-то молниеносном острие; в этом мы идем по пути, который, по словам Корана, «тоньше волоса и острее лезвия



кинжала». И *каждый миг* возможен срыв, падения, гибель всего. И когда это настанет, верь! о верь! – я не скажу Тебе ни одного упрека, ни одного горького слова.

Девочка Нина, маленькая, хорошая, милая, светлая! Говорю, что я не скажу ни слова упрека, потому что иное, противоположное невозможно. Я свою душу (о, в последних глубинах тоже «неверную») не могу помыслить без любви к Тебе! Эта любовь наполняет ее всю, проникает ее, как воздух, освещает, живит. Хочется повторить слишком часто повторяемые слова о любви как о Боге, «о нем же мы движемся, и мыслим, и есьмы». Для меня нет теперь большей радости, как помнить о Тебе, вспоминать Твои слова, движения, взгляды; для меня нет лучшей мечты, как ждать, что мы увидимся вновь, что я буду стоять перед Тобой на коленях, целовать Твои руки, губы, колени, прижимать Твое тело, любимое, любимое, всё! всё! – и нет большей гордости, как, замирая, верить, что Ты опять наклонишь ко мне свой «умный» лоб, свои ясные глаза, свои губы, «созданные для поцелуев», наклонишь и скажешь, и скажешь мне: «Люблю тебя, как я тебя люблю, Валерий!»

Девочка! девочка! стебелек мой! радуга моя! Мечтая об этом, я опьянен. Веря, почти плачу. Как я Тебя люблю, насколько я – Твой, нет, Ты не знаешь, не можешь знать, не узнаешь, ибо воистину нет у меня слов, чтобы выразить это, ни слов, ни стихов...

Нина – Брюсову.

24 августа 1905. Москва.

Валерий, Валерий...

я хочу говорить с тобой сегодня *еще*, ведь после не найду ни этих слов, ни чувств. Все уходит из души, ничего не удержишь, ничего не остается от самых острых мук. Милый, о милый! И вот потому мне так страшно каждой тени, каждого намека и предчувствия. Ведь во мне еще весна, ведь я так недавно полюбила тебя, а уже надвигается тень, «облак черный, черной смерти пелена». Тысячи мелочей говорят без слов, что настало что-то иное, новое, меньшее. И ты не сердись за мои слезы, за горечь явных и недосказанных слов. О, знай, когда все пройдет и ты будешь жалеть об этих мигах несказанной влюбленной тоски



и сам тогда назовешь ее счастьем. Мне страшно уже не только утратить тебя, а еще предчувствовать, угадывать конец. Еще руки мои, может быть, полны богатствами и роскошью ярких драгоценных камней, но если я знаю, что завтра это будет не мое, я говорю: «Берите все сейчас». И не могу отдавать *в течение долгих дней* с напрасной болью и надеждой *что-то* удержать. Ты помнишь, я тебе говорила сегодня, что если он был для меня последней мечтой о неземном, то ты тоже предельная мечта здешнего счастья, здешней радости во всей ее глубокой и цельной полноте. И даже больше, больше, – любви к тебе я отдаю всю душу и все тело, я уже не чувствую той прежней мучительной расколотости. Это последняя гармония – это то, «чего никогда не бывает». Вот потому и от тебя я хочу и могу взять тоже только то, «чего никогда не бывает». Ты говоришь мне: «Зови – и я пойду, захоти – и я сделаю». Но пойми же, пойми – я хочу, чтобы ты шел без зова и сам хотел так, как хочу я. У меня есть много несказанных слов, и я не скажу их никогда, если ты сам не скажешь их. Это не скрытность, не неумение быть близкой, а лишь последняя гордость любви, которая боится обиды. О, страшно *сказать* и увидеть в глазах смущенье и испуг. Ах, Валерий, если бы ты действительно увидал мою душу, *всю отданную тебе*, ты не удивлялся бы, что я хочу этого невозможного, «чего никогда не бывает», что я так безумно боюсь твоей осенне-успокоенной нежности. Были миги, когда мы умели *не быть людьми*, это единственное для меня, чтобы я могла еще жить. Помнишь, ты помнишь, ведь все ушло! – А разве можно без этого жить, вернуться навсегда в размеренность дней, смертельно успокоиться и пить свои «три рюмки за обедом», даже не опьяняясь, а просто так, по привычке. Ужас! ужас! И даже если не так, а утонченнее, изящнее, нежнее... Но ведь прежде-то было все, разве можно это пережить! Я хочу *все*, тебя *всего* до конца, и это вовсе не искусство стоит сейчас между нами. Такой круг и безвыходность чувства – неизбежны после тех дней, что мы пережили вместе. Ты говоришь, что хотел бы «тихо и нежно любить». А разве я не хотела бы тебя тоже «тихо и нежно любить», разве я не хочу с тобой отдыха и радости



после всего горя прошлого года? Но, видно, это не дано нам. Мы слабые, безвольные и бессильные.... И вот хочется сказать словами Осипа Дымова: «Угаснет день, закатится лето. Оно было тут, *среди нас*, но мы прошли мимо, не взяли его, *не умели взять...*» И мы не возьмем, и когда оно действительно пройдет, мы поймем, что это приходит только раз. Но будет поздно. Милый, дорогой, прости меня за горькие безнадежные слова! Но мне так грустно, так пусто, так жалко. Я плачу...

Брюсов – Нине.

25 августа 1905. Москва.

Моя девочка! моя радость! мое счастье! Я перечитываю Твое письмо, я вглядываюсь в каждую строку этого письма, и каждая строка ударяет меня в сердце, как отточенный клинок. Все это – правда, непобедимая правда, но страшная, страшная, страшная! Ты говоришь: «Не сердись на меня». Но я поклоняюсь Тебе. Я на коленях перед Тобой. Целую Твои руки, плачу, хочу одного: быть Твоим! Ты чтешь Любовь так, как ее должно чтить. Ты требуешь, чтобы ей отдавали всю душу. Она не терпит никакого совместительства. Она не может разделить скипетра ни с кем. Мысль, одна мысль в ее присутствии о другом – уже преступление, уже «оскорбление величества». Ты права! Ты права! Только так стоит любить, только это – Любовь! Та Любовь, которая сильнее Смерти; та Любовь, которая – Смерть... И видя Тебя в свете, в сиянии, в огне этой Любви, я протягиваю к Тебе руки молитвенно, я смотрю на Тебя, опять и опять, ввысь, из моих глубин, в небо с моей земли. Ты – мой свет, Ты – мой огонь, мой – маяк над морем, моя – радуга!

И вдруг наступает другая правда, такая же непобедимая, но и такая же страшная. Другая, не Ты, но столь же властная, как Ты, которой я поклоняюсь столь же, говорит мне: «Но Ты – мой. Ты дал обет все презреть во имя мое; всему изменить, всех предать ради меня. Давай клятвы, но что узнаешь через это, передай мне, как клятвопреступник. Живи, но лишь для того, чтобы величать меня. Люби, но лишь затем, чтобы доносить мне о своих чувствах. Всегда – в отчаянии, в страсти, в опьянении – помни обо мне,



знай, что служишь мне. И чуть я позову, иди на мой зов, склонись, как раб, работай, работай над тем, что я прикажу, работай только для моей прихоти, только потому, что я этого хочу!» Этот голос звучит мне, как звон потонувшего колокола Гейнриху. Ах, девочка! не «душу свою из блаженств вырываю!» Хочу этих блаженств, только их хочу. Но слышу зов «Той – Которой – Должно – Повиноваться».

Девочка! девочка! только это! Ты мне не хочешь верить, но только это! Мне наш прошлый год представляется стремительным водопадом. Нас било о камни, нас крутил водоворот, нас бросило ниц со страшной высоты. И мы очнулись, двое, на берегу среди цветов, под ясным небом. Нас опьянило чувство жизни, я был безумен счастьем. Был наш месяц воскресения. Были дни «изведенных из ада». Не будь воскресения, была бы Смерть, значит – «всех загадок разрешение – и разрешение всех цепей». Воскресение дало жизнь, вернуло все ее голоса, все ее зовы и краски. Конечно, ничего не было в те миги, когда нас вертел водный поток между скал. Я ничего не видал, кроме Твоих глаз, кроме Твоих прекрасных глаз, когда, с отчаяньем обняв Твое полумертвое, безответное тело, я падал с Тобой в черную бездну. И не было ничего в первые миги, когда мы, пьянея, вдыхали возвращенное нам солнце. Но вот жизнь вползла в душу, сначала как змея, потом как госпожа. Я опять увидел, против воли, весь мир, огромный, торжественный, таинственный. Мне захотелось быть в нем, опять участвовать в борьбе, смеяться над людьми им в глаза. И вот со вселенной, с жизнью – я изменил Тебе.

Нина, маленькая Ниночка (самое нежное имя из всех, какие я знаю!), – Ты права в том, что в моей душе уже не одна только любовь, не одно только безумие любви. Ты права в том, что я опять поддался голосам, зовущим меня к другому (ах! может быть, да и конечно! ненужному, ничтожному, совсем ничтожному перед Любовью!), что откликнулся на них. Я знаю – это грех, и каюсь в нем, и исповедую его перед Тобой, хотя не в силах победить его. Ты права в том, что – уже оскорбление Любви, если я миг один колебался, идти ли мне к Тебе или остаться за своим письменным столом. И я плачу, что нанес это оскорбление



Любви, хотя предчувствую, предвижу, с холодным ужасом знаю, что такое колебание повторится, что вот здесь 9, против меня, сидит Она, Другая, Властная, требует служения себе – часами, днями, и что, может быть, я не откажу ей. В этом Ты права.

Но вот в чем Ты не права: думая, что нечто уменьшилось в самой моей любви. Она все та же, беспредельная, конца которой не вижу, не умею себе представить. Девочка! милая, хорошая, маленькая, я люблю Тебя! Ты строго и печально говоришь мне, что не захочешь меня «такого». Ты сама плачешь. А я падаю ниц, без сил, без воли. Люблю Тебя, и буду любить Тебя, с Тобой и без Тебя! По-прежнему, как в дни прошлого года, из нас двоих «в борьбе неравной двух сердец» более слабое – мое. По-прежнему власть – Твоя. Исполнится то, что Ты захочешь. В Твоих руках закрыть передо мной, уже навсегда, двери счастья, бросить меня во мрак, в ужас, в последнюю бездну...

Нина – Брюсову.
Дорогой Валерий,

25 августа 1905. Москва.

я хочу, чтобы некоторое время мы вовсе не виделись, и не писали, и даже не говорили по телефону. Мне нужно сейчас быть совсем одной, даже без твоих слов, которые против всякой очевидности ласково и невольно обманывают мои чувства, нарушают ход моих мыслей и выводов, которые мне так хочется привести к какому-нибудь концу. Ты говорил мне, что лишь недоумеваешь, не понимаешь, откуда все *это* пришло, а я не хочу позволить себе теряться в недоумении. Если *пришло*, значит – было где-то, стало существовать, уже существует, и *нужно принять*, и нужно стать сильной и не повторять прошлого года. Это было бы невозможно во всех отношениях и внешних и внутренних. И вот сегодня у меня нет уже вчерашних слов. И если еще я сегодня по телефону говорила и повторяла вчерашнее, – оно уже было запоздалое, не настоящее. Этого не хочется повторять.

Да и все слова сейчас только еще больше запутают нас. Ты будешь твердить о «математической ошибке», а ведь я-то чувствую и знаю, что ошибки нет. Если уж пришли эти



мысли и стихи (о, я их помню!), если все это так совпало со всем, что я думала раньше, если все сейчас идет именно по моим строго намеченным линиям предвидения – значит, ошибки нет. И я вижу вдаль зорче тебя. Ты сказал еще: «Ну что ж, пусть нами играют руки рока». Сказал с легкомысленной, милой улыбкой.... Конечно, пусть играют, но, может быть, это именно тот же Рок говорит мне: «Сейчас не надо ничего. Ничего»...

Поверь, Валерий, мне очень горько писать эти строки. Так горько, как давно еще не было. И нет еще **почти** ничего реального, **почти** ни одного существенного показателя, но ведь вся моя жизнь давно идет мимо реального, и чувству, внутреннему сознанию я верю больше, чем самому реальнейшему факту. Что-то нарушилось, сорвалось и закрутилось, нет радости, нет счастья, в душе что-то сломалось, я не могу уже, как прежде, быть с тобой. Разве этого не достаточно? И тысячи мелочей и тысячи обид. Незаметных, но таких горьких и болезненных... Ведь не было же этого еще так недавно. О, мне не нужно ничего видеть прямо, мне не нужно никаких слов, у меня есть проклятье или радость ощущать все тончайшие изменения, видеть все изгибы вторыми чуткими глазами. Не откажи мне в этой способности! И когда ты придешь ко мне таким, какого я хочу тебя видеть, – я почувствую, и опять будет радость и счастье, а сейчас какой-то скрежет, и скрип, и горечь, и непонятная боль. И потому я говорю тебе, – не нужно видеться, не нужно писать, не нужно говорить. Я хочу счастья, а не боли. Довольно боли. Пусть придет лучше мертвое «все равно». Пусть придет! Но я не могу больше плакать и биться об пол. Это можно делать в жизни только раз. Иначе рискуешь стать смешной даже в своих глазах.

Я люблю тебя, Валерий. Верь в это так же через странства, через дни, через всё, как и сам предлагаешь мне верить (о, зачем иногда с такой точностью, с такой зловещей точностью повторяются и совпадают в смысле одни и те же слова), но не могу сейчас вынести некоторых неизбежных горьких чувств так близко около тебя и еще не забыв других дней, когда была только одна светлая прекрасная радость. Будь без меня сейчас. Если нам суждено



не расставаться и любить, если ты почувствуешь, что не можешь без меня совсем, – ты придешь, моим до конца, и я узнаю тебя, я услышу этот трепет души, который замер в осенней мертвющей нежности. Прощай.

Пойми меня, пойми!

28 августа 1905. Москва.

Валерий, дорогой,

верь, я больше не буду мучить тебя. То, что со мной, – безумно и непоправимо. И я не хочу ничьих напрасных терзаний, кроме своих собственных, замкнутых и одиноких. Помнишь, мы как-то говорили о людях, для которых осталась только уместная приличная смерть... К ним же присоединяю я себя. Может быть, от иных причин, но я так же неуместна, несвоевременна, не нужна в жизни, в мире, в Вашей «вселенной». Говорю это просто, разумно, объективно, как о ком-то постороннем, кого мне случайно дано понять и видеть до конца. Что было прежде со мной, я не помню и не хочу помнить и знать. Знаю, и помню, и живу я только 2 ½ года. В эти годы подвелись и все итоги, исчерпались все возможности. Лишь в эти годы я выразилась окончательно и определилась вот в это смешное здесь, романтическое и ненужное «существо». Я правду говорила тебе, что люблю «ад». Конечно, это были полущутливые слова, над которыми мы улыбались. Но в них доля серьезной, глубокой правды. Я люблю тот подъем всех сил души и тела, тот огонь, сгорая в котором уходишь от мира и знаешь, что «все ненужно, что земное», то опьянение, когда перестаешь замечать, что ходишь по земле. Эти два года сплошь были такими. Я не хотела знать «жизнь», и «жизнь» не смела приближаться ко мне. Я была «существом» с безумными глазами, с опьяненной душой, которое буквально не умело ходить по земле, по улицам в Вашей «вселенной». Все чувства тогда обострились до последней чрезмерности. И вот приблизилась Смерть. Но она обманула тогда. Так приближается последнее наслаждение, но когда уже совсем близко, вдруг уходит так же чудесно и необъяснимо, как приближалось. Ее не допустила «жизнь». А потом обманула и «жизнь»...



Ты говоришь, что мы очнулись «на цветах». Да, на цветах, только почему же не радуют эти цветы? Вот все и кончилось. Все стало просто, ясно, тихо. Тихо до тоски, до ужаса. Передо мной дни, в которых все часы сознательны, нет нестерпимой боли, нет иступленности страданья, но и нет того молитвенного почти, горящего экстаза души. Нужно «входить в колею» этих дней, нужно признать, что моя любовь, та, на которую я только и способна, – *непригодна*, не нужна, она *мешает*, отрывает от мира, а в мире *почему-то нужно быть*. Оргиазм хорош и интересен на страницах В. Иванова да в безумных романах пьяного погибшего Пшибышевского, но встречаться с такими людьми опасно, жить с ними неудобно, беспокойно и невозможно. Но что же мне делать, Валерий, если, выпив яд иного способа существования, я не могу вернуться назад? Из всех углов на меня оскалилась немая мертвая тоска. Мне некуда девать *этих* дней, мне не жить так, я вижу это с моей проклятой трезвостью, в которую меня швырнули теперь, как о камни, с других нездешних берегов. Как вернуться назад? Еще могло бы быть счастье с тобой. Второе и последнее, невозможное, мимо всех железных законов здешнего. Всеобъемлющее и, быть может, способное вызвать душу еще к чему-то новому, способное все изменить. Но ведь я знаю, знаю, что ему не быть. Я вижу, как обессиливают его разные жизненные подробности, сами по себе ничтожные, но в массе страшные, как страшна туча комаров для обнаженного, беззащитного тела. И повторяю тебе, и клянусь, что это не Искусство, не твое творчество, перед которым я молитвенно поклоняюсь. *Это другое*, многосложное и неуловимое, ничтожное и убивающее в одно и то же время. Я имени ему не знаю, а может быть, имя ему все то же надоевшее, повторное, затрепанное пошлыми губами слово «жизнь».

Ты испугался моего вида, и слов, и лица тогда на бульваре. Но такой мне только и останется быть, когда я совсем и навсегда оторвусь от тебя. Где я возьму лицо и душу, чтобы опять прийти назад? Мне нужно исказиться до конца, создать в себе эту страшную веселую пустоту и в ней, как в броне, ходить между людьми. Или... Но уж



об этом нельзя больше только *говорить*. Милый Валерий, прости мне это письмо, но не могу я тебе лгать. В первый раз говорю я с человеком так просто, с такой глубиной печальной, безнадежной искренности. И вот, сказав тебе все это, я больше не вернусь в круг этих слов. Уверься в непоправимости, успокойся в обреченности. Будь бездумным и нежным, с юным счастливым лицом. Я люблю тебя. Ко мне только теперь приблизилось последнее знание любви. Теперь и поздно. Ведь все, что было, о, знаю я, было только намеком, только туманным предчувствием расцвета настоящей, единственной, может быть, в веках предначертанной любви к тебе, и я твоя, твоя навсегда...

Брюсов – Нине.

29 августа 1905. Москва.

Вот я прочел Твое письмо, Нина. Да, оно искреннее, до конца, и дальше чем до конца. *Так* Ты еще не писала мне. Так, только так хотел бы я всегда говорить с Тобой. Попытаюсь ответить Тебе с такой же искренностью, тоже до конца и дальше, чем до конца. Попытаюсь еще раз открыть Тебе душу, которую не открывал никому, ни в стихах, ни в письмах, ни в речах, – никому, кроме Тебя.

В первый раз сказал я Тебе «люблю» уже давно, много месяцев назад, и потом повторял это слово часто: в дни безумий и отчаянья прошлого года, в дни несбыточного счастья там, на Сайме, в смертной тоске предразлучных часов в купэ вагона, на пути в слишком знакомую Москву. Никогда это слово не было ложью, но в разные дни оно было разной правдой. И, знаешь, меньше всего оно было правдой, когда Ты всего более верила мне: в дни безумий, когда так близко проходила смерть. Конечно, я «любил» Тебя тогда, в том смысле, что изо всех женщин Ты мне была всех более дорога и желанна; я любил Тебя «так, как любят». Но любил лишь в себе, лишь для себя. Любил больше всего свою любовь. И, наоборот, всего более, всего истиннее, всего непобедимее люблю я Тебя *теперь*, теперь, когда Ты всего менее веришь мне. Там, на наших гранитах, я увидел Тебя, Твою душу, тайну Твоей души, и понял, в первый раз понял, что нашел Тебя в веках, в мирах, что обрел Тебя в жизни. И все, что было в горниле моей души буйством,



безумием, отчаяньем, страстью, перегорело и, словно в золотой слиток, вылилось в Любовь, единую, безраздельную, навеки. И эта Любовь к Тебе наполняет теперь всю мою душу, озаряет ее, как свет, проникает ее, как воздух: любовь как нежность, нежность как любовь. И я хочу одного: быть с Тобой; хочу одного: близости с Тобой...

Вот правда обо мне, правда о моей душе. И эту любовь, как всю мою душу (ибо они нераздельны), я отдаю Тебе, отдаю радостно, благоговейно. Но того, чего Ты ждешь от меня, но того, что Ты желала бы получить от меня, у меня уже нет, и ответить на Твой зов я не в силах. Я не хочу обманывать Тебя «притворным исступленьем» (выражение Баратынского). Сейчас я хочу, я должен, я обязан («обязан» перед самим собой, разумеется) быть спокойным, ясным, «трезвым», «гетевским», – в полном обладании всеми своими силами, с предельной зоркостью глаза и чуткостью слуха. Мне опять пришло время «намечать, стучать, дробить». Безумие было. Оно пережито. Не надо более безумия. Безумие – часть жизни, часть бытия, часть души, часть вечности. Безумная любовь – часть Любви великой, обнимающей как безумие, так нежность, как страсть, так просветленность. О, почему над Тобой не тот же ясный, светлый кругозор, что просиял теперь надо мной, не эта четкость далее, не эта нежная свежесть утреннего воздуха! почему в Тебе не та же бодрая мощь всего тела, жажда, ненасытная жажда дышать, работать, быть, жить! Ведь это – Ты привела меня к этому кристальному утру, ведь мы шли к нему рука об руку сквозь ночь ужасов, сквозь бурю безумия, сквозь хаос. Почему же Ты остаешься сзади, не идешь ко мне в эту тишину, в этот свет, из которого я простираю к Тебе руки, все так же молитвенно, все с той же надеждой видеть Тебя впереди, как мой огонек, как мой маяк, как мой свет!

Девочка! радость моя! радуга моя! мне нет счастья без Тебя. Но узнав истинную близость с Тобой, смотрев в Твои глаза так, что сквозь них была мне видна вся Твоя душа и все тихо проплывающие в них видения-мысли, – я не могу уже примириться с меньшим! Я не могу уже, чтобы между нами возникли «кованые брусья», сквозь



которые – как все другие «любящие» – мы будем слабо прикасаться губами, пусть страстными, пусть горячими! Я не хочу, *я не могу* взять условных встреч, условных ласк, условной нежности, какие Ты мне предлагаешь. Не могу быть счастливым «на время», близким к Тебе лишь «до известной черты». Теперь мне надо, чтобы Ты отдавала мне всю себя, все так же, как в «наши» дни, на гранитах, всю душу – до конца, до конца! Как и я отдаю Тебе всего себя, всю свою душу, без безумия, с упрямой жаждой работать, но с неугасаемой любовью к Тебе, озаряющей и эту жажду. Мне нет пути к Тебе, в безумие. Прииди ко мне, в мой свет, в мою ясность, в мой мир. Дай мне с «успокоенной нежностью» чувствовать себя – Твоим, Тебя – своей, чтобы осуществилось то последнее счастье, которое, в моей слепоте, показалось мне возможным. Или произнеси свой приговор (девочка! девочка! знаю, что со слезами, знаю, что со смертной болью сердца) – свой приговор, означающий мрак, холод, смерть. Я говорю Тебе «люблю», и Ты говоришь мне «люблю». Я плачу и умираю, и ты плачешь. Но Судия – Ты, весы и меч в Твоих руках. Склоняю голову и жду...

Нина – Брюсову.

2 сентября 1905. Москва.

Все то же, все то же.... И нет в душе последних все разрешающих слов. Ах, Валерий, мы ушли друг от друга. Прежде не нужно было столько слов, столько мучительных попыток приближений, потому что мы были действительно близки. Были близки, и не знали этого острого скрежещущего безысходного отчаяния, муки напрасно протянутых рук. Что мы можем сказать в этих письмах, если при встречах, когда возможно всё, – мы такие печальные, измученные, безнадежные? Глядя в глаза, можно все сказать, так сладостно-близко касаясь, можно порвать все преграды, созданы ли они безумием или жестокие, настоящие, – все равно. Но мы уходим, унося в душах всё ту же горькую непонятость, всё ту же непоправимую печаль. Вот пройдут еще дни, и, может быть, этого тоже не будет. Замрет и онемееет боль, исчезнет эта знойная, сжигающая тоска. Все проходит... И тогда, когда мы станем как все



«любящие», тогда ты поймешь, что ушло и чего мы лишились навсегда. Ты упрекаешь меня «безумием» моим, ты настолько оглох (Боже мой! – эти слова были прошлой осенью. Страшно!), что уже не слышишь *тона*, музыкального мотива этого безумия, и так ослеп, что не видишь, в каких *безднах любви* – корни этих «ненужных» тебе чувств. Тебе не нужно, или ты не видишь, – не знаю. Твоя душа не совпадает с ними, но понимаешь ли ты, что *Любовь и есть только такая!* Все иное – сон, глухой сон мутно-серых осенних дней. Ты хочешь его. Он будет, будет! Дай пережить мне мое «безумие», и я приду к тебе другая, *из мира*, а не из «безмирных» сияющих далей Любви. Приду с легкостью равнодушия, с покоем сознанной (о, уже навсегда) безнадежности. Будем встречаться без слез, без жгучих щемящих чувств. Как все «любящие».... А теперь я еще не с тобой. Я еще хочу, чтоб «невозможное» было возможным, хочу Финляндии, хочу «гранитов», милых незабвенных гранитов среди беспощадных, все убивающих московских улиц и стен. Знаю, – эти стены с миром, который среди них, – победят. Но ведь была «высь». Хочу выси! Она не ушла из души! Но ты зовешь вниз. Пойду... Протяну тебе холодную руку и пойду. Тогда уже не вернемся.... Так думаю я, так чувствую, так переживаю глубокую, смертельную обиду. И оттого не могу ничего, – только протянуть тебе онемевшие, безвольно-нежные руки. Иначе еще не могу быть с тобой. Дай стать иной. Веселой, легкой, опустелой.

Это не «желчь была слаще меда», а любовь. О, ты иной! Весь иной! И если я смогу, я скажу тебе эти слова: «Уходи, ты мне не нужен такой». И если не хватит сил, я сломаюсь, чтобы остаться с тобой, и останусь, но тоже иной, какой хочешь ты. И это будет самый горестный конец.

Я хочу тебя, хочу себя отдать тебе. Но ты не умеешь взять, у тебя слабые нежные руки, которые могут скорее потерять, чем удержать.

Ты «не можешь быть там, где я»... Ты был *там*, уже был, в прошлом году. Помнишь? Забыл?.. О, не надо «уяснять», если не ясно, не слышно без слов. Будет время, когда все поймешь, – но пусть свершается Судьба...



2 сентября 1905. Москва.

Валерий, Валерий! Где ты? Где мы? Неужели мы навсегда утратили друг друга? Я послала тебе письмо несколько часов тому назад. Там были еще связные мысли, вопросы, ответы, а теперь мне только хочется звать тебя через тьму, через ночь, чтобы не было так страшно, пусто и беспредельно одиноко. Милый, милый, милый! я люблю тебя, я жить без тебя не могу! О, спасем то, что рушится, потому что это рушится сама жизнь. Потом руки протянутся в ужас и пустоту. Я не хочу ничего, кроме тебя. Я не могу ни с кем быть, кроме тебя, вижу это ясно. Возьми мою любовь, люби меня, не давай мне уйти, удержи! Мы двое в мире, неужели тебе не ясно, что мы *друг для друга*. Неужели ты не видишь, что за ужас и тоска там впереди, когда мы не будем вместе? Меня охватил безумный страх. Сегодня встретила его. Близко, лицом к лицу, глаза с глазами. Ощущение встречи с призраком. Столько боли позади, и вот опять боль еще горестнее, чем прежде. И многое, многое другое... Не хочется жить! Невозможно так жить, не хватит сил. Где же наше счастье, наша ясная радость, что сошла на Сайме? Я хочу любить тебя, твое лицо, твои глаза, твое тело, я отдаю себя всю до конца. У меня ничего не осталось ни для кого, – и вместо радости – тернии, вместо счастья – пронзительная жгучая боль. О, найди себя прежнего, моего, с моими глазами, с моей душой, приди так, чтоб в единый миг воскресло все счастье, которое забыли мы здесь в проклятой Москве.

Валерий, Валерий, любовь моя, моя жизнь!

Услышь меня через все, открой глаза, разве не ясна, не прозрачна моя душа перед тобой вся до дна?! Убьем это темное, холодное, что смело встать между нами. Приди ко мне таким, чтобы вновь я верила каждому твоему желанию, каждой еще не высказанной мысли. Я сжимаюсь от смертельного холода, когда как тень проходит между нами *это* новое, чему я не знаю имени. О, сделай что-нибудь! Изрежь свою душу всю, но найди правду – что это, откуда? – Откуда боль?

Я не хочу мутных волн забвенья и ищу его, я хочу отдать тебе всю мою простую, торжественную ясность Любви и, встречаясь с тобой, кутаюсь в холодный туман.



Мой дорогой, мой «ласковый зверочек» прежних ушедших дней, дай мне почувствовать тебя, тебя! И как только я почувствую, что это вновь ты, мы опять будем вместе, мы уйдем в такую бесконечность Счастья, перед которой все прошлое станет бледным полузабытым сном. Дай поверить, что у нас есть будущее, больше этих дней, когда мы через стены и пространства томимся друг без друга. Пусть не будет ничего, и жизнь рассудит иначе, но пожелай этого так, как хочу я, хотя в мечте отдай мне себя всего, всю твою жизнь, хотя только в мечте слей ее с моей. И я увижу это в глазах твоих и поверю, и буду прежней, как на «гранитах» и на нашей Сайме, где «тянулись тени северного сада», где узнала я всю глубину твоей нежности и тонула в блаженном покое и радости наших незабвенных 30-ти дней. О, эти дни! Я плачу, вспоминая их, я поехала бы туда, чтобы со слезами целовать каждый камешек, который бросали мы в тихую воду, мы сами тихие, с *другими* слезами на глазах. Валерий, счастье мое! У меня нет больше слов. Я как молитву говорю тебе «услышь». Услышь последней глубиной твоей чуткой души. Приди ко мне сквозь «проводак стальную сеть». Я люблю тебя, люблю тебя!..

Брюсов – Нине.

3 сентября 1905. Москва.

Девочка, милая, хорошая, маленькая! любовь моя! радость моя! улыбка моя – светлая, ясная! выслушай меня, прими мои слова не как слова, сделай то, что так трудно людям: слушай не свои предвзятые мысли, а что говорю я. Твой самый верный образ – тот, от имени которого написано Эдгаром «Линор». Перечти эти стихи. «И над больной ваш дух ночной шептал: умри скорей!». Когда умерла жена Эдгара, эта девочка восемнадцати лет, которую он любил так, что ей написан и «Ворон», и «Улалюм», и «Лигейя», и «Морэлла», и всё! и всё! – когда она умерла, «враги» (т. е. весь свет) обвиняли, что он нарочно ускорил ее смерть, чтобы написать трогательные стихи. «Клевета!» – кричат теперь «друзья». Но я знаю, и Ты поймешь, что в этой клевете *может* быть правда! Ах, как часто мы ускоряем, приближаем, вызываем сами то именно, чего больше всего боимся! «Демон извращения», поэтом которого был



Эдгар, потому что был и его рабом, увлекает нас произносить заклятия, которые должны обрушиться на нас самих. Есть мучительная сладость самому готовить себе плаху и гроб. И Ты над нашей любовью, которая стала Тебе дорога, и именно потому, что она стала Тебе дорога, шепчешь теперь заклинательно: «Умри, умри скорей!» Шепчешь, и плачешь, и все-таки шепчешь. Или Ты забыла силу заклятий? И вот я невольно подчиняюсь Твоему голосу, следую Твоему внушению, пишу какие-то безумные стихи. И вдруг, с ужасом опомнившись, спрашиваю себя, что делаю, говорю, что это неправда! что это не я!

Ах, девочка! я измучился, примиряя две правды, ту, которая кажется Тебе, и ту, какую знаю я. Труднее всего, что Ты все указываешь на внешние признаки, на «симптомы», но выводы Твои из них неверны! неверны! Мне больно, мне оскорбительно, что Ты более не веришь в мою любовь, все ту же, прежнюю, беспредельную, безусловную. Зачем Ты так печально качаешь головой, когда я говорю Тебе о «искусстве»? Можно не есть два дня, девять дней, но и Христос напоследок «взалкал». Моя душа взалкала по литературной работе... Взалкала по самозабвенной работе, по художественному искусству. Но разве нельзя любить, стоя на искусстве? Разве любовь должна уменьшиться, если свершаешь подвиг? В прошлом году мы мерили жизнь днями, часами: масштаб был маленький – от Рождества до страстной субботы. Жизнь вернулась. Невольно меришь ее годами. Определенно видишь и зиму, и другую весну. Прошлой зимой несколько часов казались бесконечностью. Теперь несколько дней кажутся ничтожной величиной. Заклучи весь мир в грецкий орех – и дюйм будет безмерностью. Увеличь земной шар в тысячу раз, и люди будут совершать вечерние прогулки в тысячу верст. Изменился масштаб, вот только, вот только!

Девочка! девочка! мечта моя! если говорить последнюю правду, то для того, чтобы *все было хорошо*, чтобы могло быть воистину счастье, надо, чтобы мы, как там, на Сайме, жили вместе, близко, близко, рядом, рядом. Ты знаешь эту правду («обнаженную»), как и я. А если этого нет, остается только одно: верить друг другу. Ты долж-



на верить, что мне нужна, вот теперь, эта моя сосредоточенность в работе. Что там, около своих кузнечных молотов и мехов, я тот же, все тот же, Твой! Что эти дни ясной трезвости, «художнической» трезвости пройдут, и я так же непобедимо возжажду того «безумия», которое славишь Ты. Во все это надо, чтобы Ты верила. А я взамен каждый день, каждый миг буду сознавать себя Твоим, буду счастлив, буду упоен этим сознанием. Если же Ты не хочешь, не можешь верить, – тогда, конечно, есть только одно решение, только единственная возможность для меня: – бросить все, что меня влечет к себе так убедительно, и прийти к Тебе; вырвать из своей души все иное, даже самое прекрасное и великое, что есть в ней, чтобы осталась только Любовь, только одна слепая Любовь. И если это так надо, я это так сделаю...

Нина – Брюсову. 11 сентября 1905. Москва.

Ты моя светлая радость! Я люблю тебя!

Если я так мучу тебя иногда, то только потому, что любовь вонзается как боль. Хочется невозможного, неслыханного. Хочется последнего, несказанного слияния, чтобы не знать, – где ты, где я. О, я знаю, что все это *последнее*. Если мы не будем вместе, я никого уже не смогу любить. В это последнее я вкладываю всю мою душу, всю мою жизнь, все надежды. И потому так безумно страшно, когда хотя малейшая тень ложится между нами. В эти миги рушится все, разверзается пропасть. Это мое безумие, но что же мне делать! Прежде я умела *мириться*, совмещать, отдавать и брать не все, а до известного предела. Теперь не умею и не хочу уметь. Знаю лишь любовь великую, единую, сильную, как смерть, всепоглощающую. Возьми ее, если можешь и умеешь взять. Валерий, дорогой, люби меня! Я никогда еще не знала такой глубины любви, никогда так сознательно не отдавала души всей до конца. «В тебе сошлись линии моего предопределения». Это бывает один раз в жизни, этого больше не будет никогда, ни в этом существовании, ни в том, другом. Ведь я люблю в тебе все, каждую черту твоего лица, каждый изгиб твоей мысли, еще даже неизвестной, но уже



близкой, потому что *я чувствую тебя всего*. Милый, милый, милый! Ну посмотри мне в глаза, что в них, кроме ясной нежности, кроме безграничного желания слиться с тобой так, чтобы не было ни тебя, ни меня, а были *мы*, – *одно* вне всего, что так больно ранит душу.

Прости меня! Ты плакал!... Но я люблю и твои слезы. Такой красоты скорби я не видала ни на одном человеческом лице. О, люблю тебя и за слезы и за радость, за горе и счастье, за все прошлое и будущее!.. Мы не можем расстаться. Мы можем умереть, не вынести боли, умереть от любви, но не расстаться «как любящие». Пойми, поверь! Как я буду жить, если не увижу твоих глаз, если не будет этих минут, без которых все дни превратятся в глухую мертвую тишь навсегда.

Люби боль, люби слезы так же, как радость, потому что, когда уйдет любовь, глаза будут сухи и не протянутся холодные спокойные руки. Валерий дорогой, будь моим весь до конца, так, как отдаю я себя. И без страха, без взглядов назад, без тревоги в душе. Ведь нам уж *некуда* вернуться, мы вышли из круга, и круг замкнулся для нас навсегда.

И об одном я умоляю тебя, – если настанут опять такие минуты, когда в безумии боли я уже не узнаю твоих глаз, – ты не отходи от меня, верни меня к сознанию твоей нежностью, не ожесточайся, не верь мигу, а знай одно навсегда, *что я люблю тебя* и буду любить и не могу не любить.

И я с тобой всегда и сейчас, вот целую «глазки мои», нежными губами ласкаю каждую линию твоего лица, становлюсь на колени и говорю: «Прости».... «Прости, моя светлая радость»...

Брюсов – Нине.

13 сентября 1905. Москва.

Нина, девочка моя, радость моя, желание мое! Твое письмо – счастье, Твое письмо – свет, целую его, люблю его, как Тебя. Хочу Тебя такой, как в этом письме, да, такой, чтобы стоять перед Тобой на коленях, «ублажать» Тебя, молиться Тебе. Когда Ты мне говоришь «люблю», когда я слышу Твои ласковые слова, вижу Твои любовные глаза, я перестаю



быть собой, становлюсь Твоей мечтой, тем, что создала Ты, Твоей поэмой. Ты все можешь, смотря так, я – как часть Твоих мыслей, которые Ты властна сочетать и так и иначе, я жив Твоей волей, как тени живы светом: погаси свет, и не будет теней, будет один безраздельный мрак.

Но, девочка, хорошая, дорогая! мучительно, когда Ты «мучишь». Страшно, когда Ты говоришь жестокие слова. Ведь они были! были! Значит, и есть, есть в какой-то глубине Твоей души, в одной из Твоих душ, как правда одного из Твоих ликов. Мысль об этом убивает меня, теперь, как и прежде, – как на пути «к минералам» или в Выборге, как в первую нашу встречу осенью, в Москве. Знаешь (я сознаюсь Тебе откровенно, сердечно, ни в чем не таясь: – так не осуди за это), знаешь, я до сих пор не могу ожить после тех Твоих последних упреков. Ты мне говоришь «прости». Нина! Нина! счастье мое! мой свет! да разве мыслимо, чтобы я миг один «сердился». Может ли стебель гневаться на солнце? ветер на воздух? Я – в Тебе, я – жив только Тобой! Но солнце может сжечь стебель и стихнувший воздух убить ветер. Душа у меня распалась, разбилась вдребезги, и я вот все еще собираю осколки. И если вчера, говоря с Тобой «по телефону» (хочется это слово ставить в кавычки), я не был собой, то и потому, что душа моя была именно осколками. Зеркало отражает солнце и само ослепляет. Разбей зеркало: будут тусклые кусочки стекла, словно голыши-камешки.

Но не прими этих слов за упреки. Скорее они оправдания. Ими я прошу прощения, что я не такой, каким Ты меня хочешь видеть. Я не упрекаю Тебя, не могу упрекать, потому что все от Тебя для меня – радость: и счастье, и боль. Ты говоришь: «Полюби боль». Я люблю боль – ту, которую Ты причиняешь. Я люблю лезвие Твоих слов, хотя они разрезают душу надвое. Я люблю Твою последнюю безжалостность, хотя иной миг я уже думаю, что умираю, – люблю уже потому, что нет высшего счастья, нет более яркого блаженства, как от последнего отчаянья вдруг опять перейти к последнему восторгу. Быть в гробу и вдруг услышать голос: «Но Ты лишь спал, проснись: это весна и любовь!» И я просыпаюсь, и я вижу, что да! да! это весна! это любовь! это цветы, и счастье! это – Ты! Но, девочка, не мучь



меня таким кошмаром слишком долго. Ах, в иной час Ты не рассчитаешь моих сил, скажешь «проснись», а я уже не отвечу, я уже буду мертв. Больно, больно.

И опять прости все эти слова. Говорю еще: я не ожил, я еще в осколках. Но у меня Твое письмо. Я буду читать его, я буду целовать его. В нем власть воскресить мою душу, евангельское «талифа куми», и девица воскреснет, встанет, будет такой, какой она должна быть, потому что этого Ты хочешь, – но и теперь, и всегда, и в жизни и смерти

она – Твоя,
потому что я – Твой...

Нина – Брюсову. 30 сентября 1905. Москва.

Сегодня я верю и люблю тебя в нежной ласковой тишине. Сегодня счастье и ясный тихий свет. Милый, мой милый! Я люблю тебя всего и всегда. Когда ты отходишь, как в тот месяц - со страстной тоской, с мученьем и болью, и с беспредельной, сладко волнующей нежностью в такие дни, как теперь. О, люби меня той же невозможной, все отдающей любовью! Когда я вижу в глазах твоих *ее такую*, когда самое безмерное в мире чудо воплощается в наших ласках (как я люблю теперь это слово), – только в эти минуты я становлюсь *собой* и *твоей* до конца и верю бездумно, безрассудно каждому твоему слову. Будет счастье, радость, будет все, что мы хотим, если только глаза наши останутся такими, как вчера. Как я люблю тебя!

Твое лицо, глаза, тело, твои ласки... Я вся для тебя и твоя, и любовь к тебе – это последняя правда души моей. Будем счастливыми, ясными, пьяными нашей весной. Мы так мало еще были вместе. Помнишь, ты говорил сегодня: «На деревьях первые клейкие бледно-зеленые листочки»... Не надо, не надо убивать весну!.. Сбережем нашу светлую, милую радость.

Валерий, Валерий, счастье мое! Мне тоже хочется «лепетать», смеяться и со слезами последней нежности целовать твое лицо, губы, руки...

Где прошлый год, где вся жизнь до тебя?!

Ты – один, ты навсегда. Милый, милый, милый!..



Брюсов – Нине.

14 октября 1905. Москва.

Девочка, радость моя, люблю Тебя, и хочется мне повторять Тебе это в наши буйные дни. Читая утром газеты о начинающейся в России революции, слушаю кругом себя плачевные споры, будет вода или не будет воды, – так хорошо знать, что бесконечно выше всего этого, за пределами всего, что может прийти, достигнуть – есть моя любовь к Тебе и есть Твое ответное «люблю». Это сознание наполняет меня тихой радостью, блаженным, немного глупым веселием, и я, улыбаясь, слушаю, что мне говорят, и счастлив, что другие не понимают, о чем моя улыбка. И хочу еще только одного: чтобы та же радость была в Твоей душе, та же улыбка на Твоих губах. Хочу, чтобы Ты была рада моей любовью, как я рад и счастлив своей и Твоей, чтобы Ты твердо знала об этой любви и верила, верила ей. Ах, девочка, милая, хорошая и маленькая, неужели нельзя

под бурей летучей,
Под этой грозой разрушенья –

быть вдвоем среди миллионов, любить среди ненавистей, радоваться среди яростей! Хорошо любить и хорошо, если любят. Не упрекай, не брани меня за радость. Эту радость создала в моей душе Ты, как и всё, что в ней сейчас. Прими ее как свое создание и как мое приношение. Становлюсь на колени перед Тобой, целую Твои руки, хочу увидеть и в глазах Твоих улыбку, ту улыбку, которую я так люблю. О, погоди, не требуй от меня слез, мне так хорошо знать, что нас в мире двое!..

Нина – Брюсову.

18–19 ноября 1905. Москва.

...Сережа уехал сегодня в 5 дня и сказал, что вернется, быть может, завтра в ночь. Ты понимаешь, как это неопределенно; если мы будем вместе у меня, – он может неожиданно приехать в 1 ч. – 2 ночи. Значит, опять напряженно ждать звонка, устать от этого ожидания, – вот какая возможность. Но, милый, хороший зверочек, я не могу не видеть тебя, и мне мало видеться так, как все эти последние встречи. Устрой как-нибудь иначе! Как хочешь,



где хочешь, ведь если иметь при себе вид тебе и мне, то, может быть, пустят в какое-нибудь хотя бы подозрительное место. Мне все равно, только хочу тебя целовать, быть с тобой. Пусти в ход все твое остроумие, чтобы придумать что-нибудь. Не могу я не видеть тебя так долго. А у меня будет плохо, я знаю.

Ответь мне с посыльным, как ты думаешь. Прихожу понемногу в себя. Припадок безумия кончается. Сегодня хотя и была в кружке и играла в карты, но уж могу обещать, что *долго* не буду. Меня только в такие полосы не нужно останавливать. (Нет, говори, требуй, твои слова даже и в эти минуты я все-таки слышу). Сегодня уж было все противно, отвратительно. *Поняла*, что это тебе неприятно, и *как* и *отчего* неприятно, поняла совсем. Прости меня! Я не буду больше тебя огорчать. Не буду, милый.... Мне нужна на свете только твоя любовь, без нее я не могу ни жить, ни дышать. Люби меня! Пусть будет печаль, я полюблю ее, потому что она – Любовь, потому что она от Любви. Только будь со мной, не покидай меня, милый!

Прости за все эти дни. Я не знаю, *что это* и откуда приходит; если любишь меня, борись с *этим* только нежностью и лаской. Помни, что *вся* моя душа, *всегда*, и спокойная, как сейчас, и безумная, как в предыдущие дни, – все же твоя, *твоя*, твоя навсегда.

О, как люблю я тебя! Ты один можешь знать меня, быть близким до последнего предела. Ты *один* для меня в мире, «в мирах». Верь, помни, знай, через всё, и потому *прощай мне*, когда я безвольно отклоняюсь. Ведь за эти минуты я дорого плачусь болью, болезненно страстным раскаянием, тоской.

Милый, ты веришь, ты любишь, ты видишь душу мою, всю, *всю твою*?

Ах, владей мной больше, *все бери*, безжалостно нежными руками грани, как камень, мою душу. Ты один можешь! Войди ближе в мою жизнь, требуй всего, что хочешь. И все будет по воле *твоей* и *нашей*, потому что у нас должна быть одна воля, одни желанья. Потому что в любви нет тебя и меня, а *мы*, – *одно*. Милый, милый, милый, верь, я твоя...



20 или 21 ноября 1905. Москва.

Валерий, Валерий, милый, дорогой,
не сердись на меня. Я, правда, в полосе какой-то не-
верности, разбегаются мысли, кружится голова, не могу
быть дома вовсе, все предметы вижу в иных, не присущих
им очертаниях. Ты же видел меня вчера, ведь все было не
притворно. Это пройдет, конечно, пройдет, и не суди меня
строго за карты. Мне нужно сейчас иные часы не думать
вовсе, а идти некуда. Ты сегодня *не позвонил второй раз*.
Конечно бы я никуда не поехала, а была с тобой, если бы
ты хотел. Я все сделаю, как *ты хочешь*, конечно, *твоя воля*
священна, если я тебя люблю. И так люблю. Надо мной сей-
час необходимо насилие. Ведь «карты» сами по себе нич-
то, но меня нужно свести с этой плоскости, *и это можешь*
только ты. Я очень, очень плохо себя чувствую, мне нуж-
на твоя самая нежная ласка.

Валерий, радость моя, не обижай меня молчаньем.
Напиши, скажи, когда увидимся. *Ответь сегодня же*.
Я тебя люблю, люблю! Москва меня губит. Если бы мы были
вдвоем хотя недолго!.. Помнишь, ты вчера говорил...

Если ты любишь меня, – не покидай, не мучь молча-
ньем. Увидимся скорее, мне так необходимо быть с тобой,
смотреть тебе в глаза, целовать.

Милый, милый, любимый! Не простудился ли ты? На-
пиши всё или позвони, к нам можно, только я не могу.

Я жду ответа сейчас же. Валерий, неужели ты можешь
из-за одного-2-х пустых вечеров всё забыть. Валерий!...

Брюсов – Нине.

21 ноября 1905. Москва.

Девочка, милая, хорошая, маленькая! А я действительно
немного болен. Исполнил все Твои заветы. Мой доктор в зо-
лотых очках и с золотыми часами сказал, что это *не* плеврит.
Но предложил «посидеть денька два дома». Слово в слово,
как я предсказывал! Но будет обо мне. Девочка, милая, хо-
рошая! люби меня и помни, что я Тебя люблю. Не безумст-
вуй... очень. Не играй в карты с кентаврами... слишком
часто. Не целуйся с Одиноким... совсем. Просьбы не очень
трудные, кроме первой. А она и не просьба вовсе. Если лю-
бишь, будешь любить, если разлюбишь – что просить!



Читал Твое письмо, хорошее, хорошее, желанное. Ах, если б Ты была такой всегда! всегда! Это – Ты, как я о Тебе мечтаю. Это – Ты моя. Это – Ты я. И вчера вообще читал Твои письма, все, много (хотя, конечно, и мало их!) – помнил всё, всё, начиная с отголосков нашей Финляндии, через окаменение лета, через отчаянье августа к минутам счастья, радости, светлости, ибо сейчас у меня на душе еще светлость нашей последней встречи.

Напиши мне. Но знаешь: вложи письмо в другой конверт с пометой «Брониславе Матвеевне Рунт». Этой я доверяю, а другим нет, теперь, когда не бываю в «Скорпионе». А будет отчаянье, если Твое письмо не придет ко мне. И лучше сделай эту надпись «Б. М. Р.» не своей рукой.

Я думаю исполнять совет золотых часов два дня: сегодня и завтра, а в среду быть в «Скорпионе» и позвонить Тебе. Можно?..

Нина – Брюсову.

14 декабря 1905. Москва.

Дорогой Валерий,

может быть, странно мое письмо такое личное, такое лирическое на фоне этих дней. Но мне не стыдно ни выстрелов, что долетают откуда-то с черных улиц, ни этих дней. Вероятно, и там, где корчатся тела, где ужас, кошмар и беда, – не больше боли, чем во мне, вот так тихо сидящей за этими строками в тихих стенах со спокойным лицом. Не знаю, – пошлю ли это письмо тебе скоро, завтра, но думаю, что не истреблю его, и ты прочтешь его рано или поздно. Мне жалко будет уничтожить его, как *многие*. Такой искренности, ясности, такой прямой *моей* правды, может быть, я не сумею найти в себе больше никогда. Я не хочу больше ни намеков, ни недомолвок, ничего, что так прячет и искажает мысль.

Уже с августа я пыталась много раз сказать тебе всё, что думаю, всё, отчего так страдаю, но не было какой-то последней предельной смелости, и оттого в итоге наших писем, то исступленно страстных, то раздраженных, было только одно обидное, неразрешимое недоумение. Я не хочу его. Вот открываю всю мою душу до дна. Обвиняй, осуждай, негодуй, всё что хочешь, но знай, что искренна я до последнего предела.



Знаешь, Валерий, что есть люди, которые чувствуют грозу и томятся ее приближением еще при голубом безоблачном небе? Вот так с лета, с последней нашей ночи в вагоне чувствовала я то, *что пришло теперь*. Когда мы только что расстались, и настала полоса писем нежных, ласковых, печальных, моих и твоих, тоже уже измученных сознанием какого-то грозящего конца, – эти предчувствия были еще глухие, я еще томилась не остро. Но в августе, в день твоего окончательного приезда, когда я увидела *не то* лицо и услышала *не те* слова, – предчувствия перестали быть туманными, они получили очерк грозный, определенный, неизбежный. Ты помнишь август? Твое суровое равнодушие ко мне, мою безумную, отчаянную печаль? Ты оправдывался. Я говорила: «Не любишь!..» А ты возражал умно, логично усыплял *ум* настолько, что я начинала верить в правоту твоих доводов. Но в глубине, внутри, в чувстве, заглушенная и придавленная, так и осталась уверенность, что ты меня не любишь, *как прежде*, что если это *еще* не конец, то путь к нему. Путь неуклонный, верный, неизбежный, прямой, как на кладбище. С этой уверенностью я приходила к тебе, и целовала, и улыбалась, когда хотелось стиснуть зубы от боли, от нее в иные вечера я неутешно плакала, и *от нее, от нее*, о, клянусь тебе! приходили дни полной безнадежности, когда хотелось хотя какого-нибудь, хотя низменного, минутного забвения, но только чтобы не страдать, не чувствовать этой надвигающейся неизбежной потери тебя. Валерий мой, ведь я люблю тебя! Все, что было до Б. Н., – *не существует, все о нем*, эти два года минута за минутой я рассказала тебе, не скрывая ничего. *О нем* в душе холодная, белая святая могила, от которой, простясь, я отошла навсегда и больше не оглянусь туда. Как очутились мы вместе – не знаю, это чудо, оно свершилось. Я полюбила *тебя* с *последней* верой в *последнее* счастье. Второй раз я бросила мою душу в костер и вот сгораю, гибну, чувствую, что *второй раз* не будет воскресенья. Никто больше не скажет: «из ада изведенные»... Ты говоришь, что в прошлом году *не любил меня*, что полюбил по-настоящему только в Финляндии. Но отчего же, отчего в прошлом году видела



я в тебе, и в твоём лице, и в душе лик настоящей любви? И отчего теперь не сияет так твоё лицо и не слышу я больше тех слов, от которых в такой знойной и сладкой печали замирала душа. Ты помнишь *те* ночи? Голубые морозные тени на стене.... два тела, распростёртых в отчаянии, в бессилии, и вместе, рядом с этим неслыханная, безмерная близость измученных душ.... В тебе *Любовь*, а во мне безнадежная благодарная нежность, близость, как к брату. И в этих слезах умиротворяющая радость, и в отчаянии сознание, что *нет одиночества*, что *мы несчастны*, но несчастны одним каким-то общим объединяющим горем, что нас *двое*, слитых, отданных друг другу. Все это миновало, отчаяние стихло, ты становился мне все дороже и дороже. Я уже не могла бы расстаться с тобой и в мае. Потом Финляндия, золотой невозвратный сон.... Тихое, тихое счастье, голубые и золотые часы над нашей Саймой в «бору тонкоствольном». Потом любовь, радость – дар за долгие общие муки. И ты весь мой, близкий *иной близостью*, дорогой *по-иному*. А потом... А потом... Вместо радости новая боль и отчаяние. Валерий, Валерий, куда ушло наше счастье?! Куда улетела твоё мечта быть со мной *всегда*?! Ты называешь меня теперь «безумной», но пойми, пойми, – это не «безумие», это холодное отчаяние, последний ужас последней потери. Могу ли я что-нибудь *просмотреть*, не заметить в твоё душе? Разве не вижу я, как ты уходишь, разве не слышу я, что те прежние слова заменились иными? Говоришь ли ты когда-нибудь теперь, что хочешь быть со мной *всегда*, променяешь ли ты *на меня все*, страдаешь ли так, как я, что наши жизни разделены, что наши ночи и дни не вместе? Ты считаешь меня враждебной *радости, жизни*, всему, чем ты дышишь. Ты думаешь, что «мое безумие» – это темная стихийная сила, владеющая моей душой помимо сознания. *Но это не правда*, Валерий. Я хочу радости, счастья, тихого счастья *только с тобой, совсем с тобой*, чтобы ушло из глаз и памяти все, кроме тебя, чтобы отдать тебе все, что есть во мне, предаться тебе всем существом. Иной Любви я *не знаю*, иной «разумной» – нет. Нет такой, где можно идти на сделки. Любовь или радость, или безмерное, бескрай-



ное страдание, может быть, даже смерть. И если бы ты любил меня так же, как я тебя, ты тоже страдал бы. Страдал бы от всего, от каждой мелочи, которые даже внешне разделяют нас. Валерий, верь в мое отчаяние, пойми его если не чувством, то умом. И не называй его «безумием». Пока я жива и дышу, я не могу вечно мучиться. Мне нужно иногда хотя немного забытья. Тогда я бросаюсь во все, *и ты же, ты же* осуждаешь меня. Я не могу ничего *вполовину*, мне нужно *все*, как я *всегда могу все*. Ты думаешь, что я могла бы посягнуть на что-нибудь из того, что ты любишь? О, милый, милый!... Я люблю в тебе *все*, я готова любить все, что ты любишь, я никогда бы не мешала тебе. Я не хотела бы ничего отнять у тебя. Твое «искусство», твои стихи... Боже мой! Боже мой! мог ли ты думать, что в этом я стану на твоём пути. Но ты так думал!... Мне нужна *вся твоя* любовь. Вот что значит мое *всё*. И ты больше не любишь меня! С твоего приезда в Москву наши встречи становились всё безнадежней. Я знаю беспощадность внешних условий, я знаю, что сейчас мы не могли бы быть вместе совсем. И если бы я видела, что для тебя это так же горько, как для меня, если бы я видела, что в тебе ещё живет мечта *о нашем* будущем, – разве приходила бы я в отчаяние, в такое отчаяние! Но ты уж больше никогда не говоришь прежних слов *о нашей* жизни. О, пусть бы не осуществилось ничего! Но если бы только была хотя искра этой надежды в твоих словах, если бы хотя *в раз один* из этих последних встреч эта мечта, и печальная и нежная, засияла в твоих глазах!... О, Валерий, Валерий, ты не заметил, как у тебя стало другое лицо, другие движения, другие изгибы мысли и другое отношение ко мне. В последние встречи мы с головокружительной быстротой катились вниз, прочь от той вершины, с которой однажды засияли такие прекрасные, радостные дали. Тебя захватило все, кроме меня. Ты сам сказал в нашу последнюю, самую горькую для меня, встречу, что твоя любовь стала «разумной», что прежде *все* было на фоне меня, а теперь я на фоне всего. И я добавляю «как подробность»... Ты негодуешь на мое отчаяние, потому что, должно быть, не можешь понять его. *Ты не помнишь*



себя прежнего и удивляешься, что я со страхом, горем и безнадежностью принимаю тебя *нового*, такого далеко-го, отчужденного. Ты долго не понимал, почему меня так приводит в отчаяние мысль, что твои ласки я делю с кем-то другим. И не было возможности этого доказать. Ты это только мог почувствовать. Когда почувствовал – тогда понял. Так и все мои эти слова, может быть, *прозвучат* тебе после, уж без меня, уж когда мы расстанемся совсем. Валерий, Валерий, скажи мне, отчего, откуда эта ужасная закономерность, эта повторность некоторых явлений? Ведь *он* мне однажды говорил о «разумности» любви и о том, что сначала было *всё во мне*, а потом стала я *во всем*. Только слова его, сочетание и выбор их был иной – но смысл тот же, страшный, как смерть. И отчего я чувствую такую непобедимую силу любви в себе, такую горящую, пламенную страстность души?!

Валерий, радость моя! все ласковые прежние слова застывают в душе. Эти последние дни... Мы виделись в четверг, потом за все время ты написал одну короткую записочку, холодную, холодную. Я видела много посторонних людей, они хотели видеть и находили возможность попасть, хотя на улице стояли баррикады. Они... чужие... *И ты*, еще несколько недель тому назад говоривший, что в самые тревожные дни ты не покинешь меня, – ты, самый любимый, самый желанный в мире, в днях, ты не нашел часа, чтобы прийти и увидеть меня, утешить, успокоить, обрадовать хотя звуком голоса, взглядом. Да что!.. Ты не ответил мне даже. Валерий, ты не любишь? Зачем же только *так*, не прямо, через молчание ты даешь понять это и не скажешь просто и открыто? Нужно ли со мной поступать таким именно способом? Зачем *медленно* томить, пытаться, мучить? Валерий, дорогой мой, я умоляю, скажи мне всю правду, какой бы жестокой она ни была. Валерий, Валерий! Зову тебя... Не слышишь! Валерий, я твоя.



1906

Нина – Брюсову.

10 января 1906. Москва.

...Милый, хочется сказать, как тот сумасшедший, как часто говорю теперь я: «Милый, скучно мне!..» Ты меня не любишь!... Днем мысли об этом, ясные, беспощадные, идут рядами, как солдаты в строю, а ночью они же, искаженные, кошмарные, в мучительных образах. Вот сегодня ночью: вижу – приходишь ты с чужим, холодным и веселым лицом, садишься за столом напротив в Сережином кабинете, как сидят чужие или случайно пришедшие люди, и говоришь: «Ты ищешь в душе моей прошлой нежности, но ее нет уже давно, через 20 минут я уйду, и мне легко уходить от тебя. Наконец настал тот первый «вольный день», о котором говорила ты однажды». Как ты ушел, я не помню, но такого сна в сочетании со всеми моими безнадежными мыслями наяву достаточно, чтобы утром очнуться все в том же замкнутом отчаянии на весь новый день, на все новые дни.

Ах, Валерий, не зови *это* безумием! Если бы знал ты, как строго последовательны мои выводы, это почти уже цифры, постепенно умножаемые, безжалостно ясные.

Что мне осталось? Как могла бы я жить без любви? И вот *я не живу*, медленно сламываюсь, то вступаю в безумный бой, то тихо и покорно склоняюсь. Ах, только бы не думать! У каждой мысли, от каждой мысли в мозгу маленькая ранка с острой мучительной болью. От каждой из этих мыслей, ставших уже привычными, уже нашедших свое определенное место в сознании, где-то глубоко болит с разными оттенками мучительства. То остро и невыносимо, то заглушенно, точно беспрерывно ноющая зубная боль...

Зверок, зверок, отчего ты так мало любишь меня! Зовешь мою любовь «безумием», удивляешься, что она такая непокойная, похожая на самосжигание, – *точно есть какая-то другая*, точно забыл ты себя в прошлом году. Только ты удивлялся, тебе казалось, что ты попал в какое-то незнакомое место с непонятными законами, и ты старался уйти из него, *и ушел*, и я не удивляюсь, *знаю*, что иначе и быть не может, и *не хочу иначе*.



Если бы ты мог любить меня! О, знаю теперь, – я просила чудес, когда они мне были *не нужны!* И не смею уж больше ждать чуда. А что мне может вернуть тебя таким, каким ты *был*, каким я жажду тебя, кроме неизъяснимой перемены в твоей душе, вопреки всему, что сложилось и идет определенным путем?

Валерий, милый, дорогой, не сердись на эти строки. В них одна сотая доля того, что пишу я тебе по ночам и складываю, хороню в ящиках стола.

Ответь мне. Пусть даже ты думаешь, что я «безумная», и отчаяние мое считаешь «пунктом» этого безумия. Но ведь как бы то ни было, а мне очень, очень больно, и только ты один можешь хотя как-нибудь, хотя на мигнуть утешить меня.

19 апреля 1906. Москва.

Тебе, Валерий, письмо это покажется одним из звеньев бесконечно мучительной цепи, что тянется вот уже долгие, долгие дни, ты не веришь в окончательность моих выводов и слов. Нет, мы уже у самого края, нельзя больше ни встречаться, ни говорить. Только я не хочу расстаться с тобой случайно, у подъезда, на полумысли, в раздвоенности и спутанности чувств. Ах, хочу ясности, последней четкости, твоего совершенного понимания моей души! Вот уже несколько недель все спадает туман, и каждый день является новым горьким откровением. Ты упрекаешь меня за «схоластику», за любовь к мучительным ухищрениям ума в ущерб простоте и ясности чувства. Но, верь, никогда еще не было в моих чувствах такой прозрачной, ясной простоты, как сейчас. Это выход из лабиринта всей жизни к одному строго очерченному, кристальному образу любви. И я думаю, если бы можно было вновь войти в жизнь с такой весенней тихой озаренностью души, – вся она стала бы светлой, радостной, легкокрылой. Но я изменила прошлому, захотела радости *здесьней*, не той беспредметной, небесной, о какой мечтала с *ним*, и вот... Ты повернул меня лицом к другому полюсу, без слов ты сказал мне: «Смотри, желай, возьми, все будет твоим». И глядя в твою горящую душу, я поверила и воскресла для нового разочарования



и горя. Ах, как поверила я тебе! Помнишь, в Выборге мы прощались в парке, помнишь ночь в вагоне из Петербурга?.. Могла ли после быть я счастливой в маленьком, маленьком пространстве, окруженном колючей изгородью? Будь правдивым и перед собой, и передо мной. Вспомни, как медленно, медленно суживался круг. Сначала твои письма, смысла которых я поняла только после, потом встреча в августе, – от нее так и упала на все дальнейшее длинная черная тень. Потом умерли многие, многие слова... одна за другой пришли горькие обиды. Ты все знаешь и помнишь. Но еще долго, долго я надеялась, что это все лишь волна, которая спадет, и вновь я увижу *то* любимое лицо, те глаза, мою дорогую любовь, дорогую, чем-то временно затемненную любовь. Я долго ждала, Валерий, и больше не жду и не верю. Правда, ты еще говоришь, что любишь меня и хочешь еще целовать, и *сам* не уходишь, но я уже не могу вверяться мигам. Знаю, как только минует первый опьяненный восторг, я почувствую тебя рядом холодным, спокойным, зовущим в «озаренную повседневность», указывающим границы и направо и налево и таким разъединенным с самым главным моей души, что буду я около тебя как немая, как мертвая. Ты не можешь измениться – это правда. Ты не любишь меня больше, как прежде, и не в силах вернуть и зажечь угасшее – это тоже правда. Ты ничего не таишь, говоришь мне всю правду, *даешь, что можешь*. Но что же мне делать, если сознание, что я утратила *ту*, прошлую любовь твою и должна метаться в крохотном тюремном садике, без надежды на будущее, натываясь везде на колючую проволоку, проникает меня таким смертельным убивающим холодом? Я не говорю ни о каких частностях, да и понимаю, что несмотря на всю их нестерпимость, дело не в них, но ведь понимаю я, что нет того главного, что в единый миг решает всякие вопросы, все делает легким, доступным и безграничным. Я ничего не могу больше доказывать, истомилась душа от бесплодных призывов. Но вспомни себя прежнего, вернись памятью к тем чувствам, восстанови свой же образ и просто, сердцем пойми, в чем мое горе, отчего так неутешна моя печаль. Я люблю тебя, Валерий, но быть мне с тобой



больно, больно, как с мертвым. Где ты видишь сложность, любовь к сладострастному самоистязанию, за что упрекаешь меня? Я хочу радости счастья с тобой, *тебя*, а не воспоминаний о тебе. Но слишком долго ведешь ты меня по пустыне, и вот край, конец пути. Я не знаю, что будет со мной, вот протягиваю руки в пустоту, закрываю глаза... Прощай, моя радость, мой «зверочек», мне больно, больно. Прощай.

23 апреля 1906. Москва.

Валерий, счастье мое!

Не надо встречаться так, как в прошлый раз! Такие встречи между нами больше невозможны. И до сих пор от этого вечера не исчезает в душе боль и бесконечная тоска. О, если бы можно было забыть все слова *и твои, и мои*, очнуться от них, как от тягостного кошмара! Что-то дьявольское появилось в последнее время в наших речах. Какая-то страшная ошибка вкралась в них, от нее эти противоречия, изломы, запутанность, из которой нет сил выбраться, как из дремучего незнакомого леса. Зверочек мой, любимый, любимый зверочек, знай одно, – я люблю *лишь тебя*, лишь тебя, и не хочу никого, кроме тебя, единственного *навсегда*. Страшно без тебя, жизни нет, ничего нет. *Это рок мой*, неизбежность, с которой едва ли сумею бороться. *Хочу быть собой*, а быть собой для меня сейчас – это любить тебя, ласкать, отдавать тебе всю мою душу. Я уеду, я постараюсь скоро, скоро уехать, но эти дни дай быть с тобой. Забудемся! забудем все слова, – я уже ничего не спрашиваю с тебя, только будь ласковым, не обижай хотя в пустяках, не возвращай меня каждую минуту к тому, что я *помню* всегда. Пусть приснится мне милый, ласковый сон. Нежный весенний сон с тобой вместе.

А потом я уеду, скоро, скоро. Дай мне дней! Только дней!.. Я так тебя люблю. Без тебя больно, страшно, невозможно в этих стенах, где каждый цветок на обоях напоминает какую-нибудь мысль все о тебе, о тебе.

Ты ответишь? Я очень, очень устала, хочется тихого отдыха с тобой, твоих милых, милых ласк...



Брюсов – Нине.

16 мая 1906. Москва.

...Когда мы прощались вчера, у Тебя на лице были слезы. Иначе почти не может быть при наших встречах теперь. Нам так легко соскользнуть в пропасть мучительного, она так близко. Но все же, чудом или усилием воли, во вчерашние часы, сквозь холод осеннего майского дня, сквозь его мглу и туман проскользнули какие-то светлые лучи. Все же Ты произнесла те слова, которые я не слышал давно, давно (а может быть, никогда): «Мне хорошо, я счастлива». Нина, счастье мое! Знаю все свои вины перед Тобой, хотя и не такие горькие, как думаешь Ты, но достаточные, чтобы обличить и обвинить меня перед неким судом. Знаю, что во мне, именно во *мне* были возможности бороться с мучительностями этого года, преодолевать, уничтожать их. Все знаю, все помню, во многом виню. Но не проклинай меня, Нина, потому что у меня есть то же оправдание, какое часто приводишь мне Ты. Если была мучительность, то она была и для меня. Если я делал невозможным счастье, то делал его невозможным и для себя. Ни с кем, ни с кем не был я счастлив, только с Тобой; ни с кем более не могу быть счастлив, кроме Тебя, и не буду. Каждая боль, которую я причинил Тебе, неизменно вонзалась и в меня.

Нина, милая, хорошая, маленькая. *Все* сказано нами. Все, и даже больше, чем все. В противоречиях, в трагических безысходностях душа измучилась. Нужно, чтобы пришло что-то новое, чтобы засветился какой-то новый свет, чтобы мы увидели выход из лабиринта. Бесплодно опять и опять бежать по тем же коридорам, в конце которых мы всегда встречали неизбежную и неодолимую стену. Да, Нина! расстанемся на этом холодном, майском, вчерашнем дне. На этой встрече, в которой тонким слоем неожиданной минутной радости была подернута мучительность целого года: словно под успокаивающим льдом замерли на миг бушующие волны. Ты знаешь, как и я: непрочный лед сломается и опять всплеснут высоко и страшно волны отчаянья и мучений. Нина! Нина! в эту могилу разлуки бросим нашу любовь (*нашу любовь!*), как в землю зерно. Если оно живо, оно даст росток и встанет новым цветком, пышным и прекрасным. Живое зерно не боится черной земли...



Нина – Брюсову.

19 мая 1906.

...Я еду уже за Смоленском, теперь около 10 ч. утра. Не умею писать в качающемся вагоне, но хочу, хочу быть с тобой, говорить, и эти строчки, что обращаю я к тебе, больше еще приближают мне тебя, милого, милого зверочка. Ты болен, и не знаю что, что с тобой, и не могу быть около тебя. И вот еду, – куда? зачем? Вчера я пришла от твоего письма в полное отчаяние; все это было на глазах у Сережи. Понимаешь....

Я хотела все бросить и не ехать, что бы из этого ни вышло. Потом тупо покорилаь. Как-то ехала с Сережей на вокзал (он тут уже был ласков). И от того момента, как двинулся поезд, часов до 2-х ночи была в каком-то странном покое, без мыслей, почти без чувства. Но со светом пришли они, и опять со мной, и опять я думаю о тебе, и тревожусь, и боюсь смотреть в будущее. Тут уж еще новое мучительство, – вдруг ты расхвораешься серьезно и не будешь писать. Какой же смысл для меня в этих-то мучительствах в течение целого месяца. Ах, Валерий, напиши скорее, – эта мысль, что ты болен, сейчас *надо всем*. Не надо меня *так* мучить. Ты писал вчера «не разлюби, не забывай». Я улыбаюсь тебе в ответ, как улыбаются детям. Этот год огненным мечом прикоснулся к душе, и преобразилась она, и сама стала как огонь. Вот несколько часов только вдали я от тебя, и смотрю на прошлое иными глазами, чем в те дни, когда ты был близко и можно было позвать тебя. Смотрю серьезно, проникновенно. И вижу и понимаю, что мы не расстанемся, как расстаются «любящие». *Иное для нас*. Может быть, страшное, может быть, несказанно-счастливое впереди, – не знаю. Но знаю одно: *тобой* началась настоящая жизнь для меня, и я не могу никуда возвращаться, и я не знаю других дорог. Пусть будет любовь, пусть будет смерть, – только все это *ты*, от тебя, через тебя, через твою душу, через твои глаза увижу я и скажу *да будет*. Я никуда не хочу, ни к кому не хочу, не осуждай мою верность, полюби ее. Зверочек мой ласковый, как хочется обнять тебя, нежно, нежно целовать глазки, прижаться к твоему плечу. Хочется любить долго, без конца. Ах, хочется ясного, тихого, утреннего счастья! Было очень больно в этом году. Сейчас пе-



реживаю *его* последнюю боль. Еду... помню прошлый год. Граниты в окна смотрели, сосны, голубые озера улыбались как ласковые глаза... И ты... и ты...

Теперь небо серо, березы шумят как осенью, дождь... Надежды мои в темных платях, робкие, грустные, не смеют смотреть вперед – не знают, не знают ничего...

Не сердись! Я не упрекаю. Мы оба замучились, мы сами не знаем, у нас надломились души. Но, милый, милый, я хочу твоей любви, я умру без нее! Неужели же мы всё пережили, а ведь я чувствую такую свежесть и нетронутость любви. Я так еще много могу и *мучиться*, и ждать, и *идти по трудным дорогам*, только бы когда-нибудь, хотя недолго, хотя в миг, *вырванный из твоей жизни*, побыть с тобой *так, как хочу*, совсем вместе, близко.

Милый мой, милый!..

Я еду тихая, нежная с тобой, грустная.

Прости за плохой вид письма, очень качает.

Телеграфируй мне, что с тобой. Письма ждать долго. Я буду томиться, худеть, а за эти дни у меня руки стали совсем как «палочки».

Валерий мой, счастье мое, я твоя, совсем твоя, такая, какой ты меня любишь, с твоими глазами, с твоей душой.

Люби меня, не покидай меня. Рассказывай все о себе. Будем опять близкими без конца...

Брюсов – Нине.

19 мая 1906. Москва.

...Не сердись на меня, что я позвонил Тебе по телефону и спросил, где Ты. Я написал было Тебе письмо в Варшаву, но у меня было предчувствие, что Ты в Москве. Я тоже в Москве. В самый день, когда мы выезжали, вечером, я вдруг расхворался, и, кажется, серьезно. Сильно болит грудь и голова. Едва ли это не плеврит. Отправляться в деревню было бессмысленно: сегодня надо идти к доктору. Наверное, на неделю буду я заточен дома.

Судьба сделала так, что мы еще несколько дней провели в Москве вместе, но я не знал, что Ты здесь, а Ты не знала, что я здесь. И когда я позвонил к Тебе, Тебя не оказалось дома. Я могу только одно, – этим письмом перед самым Твоим отъездом еще раз сказать Тебе: «прощай» и «люблю», «люблю»



и «прощай!» И в моей памяти все же останется тот Твой лик, в миг нашего разлучения у двери, тот Твой любимый лик, потому что ты была хорошая, хорошая, без конца хорошая!

Прощай, Нина, милая, хорошая, маленькая! прощай до новой, лучшей, счастливой встречи, прощай до нашей новой жизни!

В стороне чужой и темной
Как Ты вспомнишь обо мне?

Не забывай меня, среди табль д'отов, кафе и загородных вилл, не разлюбивай меня. Не бросай меня, своего «зверя», сейчас больного, но глядящего на тебя издали покорно и жалобно. Пиши мне оттуда, из того иного мира, пиши о себе всегда и всё... и читай, что я напишу Тебе! Верь одному: для меня нет счастья без Тебя. Эту истину мне хочется запечатлеть в Твоем сердце, и тогда мне не страшны никакие Твои упреки.

А потом, а потом – я люблю Тебя! Я Твой, Твой! Твой! Ах, Ниночка, помни меня...

– «Ну не пищи, зверь, что Ты так распищался!» Кажется, слышу Твои слова, вижу Твое лицо, Твои глаза, целую Твои руки.

Буду Твоим – навсегда! навсегда! не боюсь этого слова, повторяю его с упоением: навсегда!..

27 мая 1906. Москва.

...Нина! Нина! Нина! Чувствую какое-то опустошение в душе, словно она исчерпана, словно она выпита. Люблю Тебя, воистину люблю, но знаю сам, что не хватает сил, душевных сил осуществлять эту любовь. Мне нужно какое-то воскресенье, какое-то перерождение, какое-то огненное крещенье, чтобы стать опять самим собой, в хорошем смысле слова. Куда я гожусь *такой*, на что нужен! Машинка для сочинения хороших стихов! Аппарат для блестящего переложения поэм Верхарна! Милая, девочка, счастье мое, счастье мое! Брось меня, если я не в силах буду стать иным, если останусь тенью себя, призраком прошлого и неосуществленного будущего. Неужели в 32 года пережил я всю свою жизнь, обошел весь круг своих возможностей?



Я столько смеялся над Бальмонтом, неужели же я на себе испытаю его участь?

Милая, Нина, маленькая, хорошая! Хочется верить, что это миг, что это припадок уныния! Упасть бы около Тебя, на ковер, положить голову Тебе на колени и лежать так недвижно, чувствуя Твою руку на лице, угадывая Твои глаза над собой, зная, зная Твою близость...

Твою близость, Нина!..

Нина – Брюсову. 30 мая – 1 июня 1906. Москва.

Валерий, милый, не сердись! Я уехала из Варшавы, но ведь это письмо ты получишь, когда меня вновь не будет в Москве. Я посылаю его с дороги на поезде в Бологое, и так мы не увидимся раньше, чем ты хотел бы. До июля меня, во всяком случае, не будет в Москве, а там я не знаю ничего, как и ты. Не сердись на меня, дорогой! Внешне в нашей разлуке я не нарушила ничего. 5 дней я была в Москве, не просила встречи, не писала, и, верь, мы не увидимся, пока ты *сам* не захочешь. Здесь я была у мамы, никто не знал, Сереже напишу... Но тебе, тебе я не могу лгать, и мне стыдно за письмо из Варшавы, холодное, лживое, где я писала, что еду в Цехацинов, почти решив вернуться в Москву. Все время я сознавала, что мне не нужно ехать в Варшаву, но Сережа раздражался, упрекал «в эгоизме», у меня просил и требовал отдыха *от меня же*. Ты тоже хотел, чтобы меня не было в Москве. Спорить я уж больше не могла. Но с первых же минут в Варшаве я увидела, что не могу, не могу... Было бесконечно грустно ехать. Все вспоминалась Финляндия, пришли горькие, горькие мысли, сдавили кольцом. Каждый миг воскресал иной, отошедший и невозможный. А там мне дали комнату, до ужаса похожую на ту, что мы занимали в Выборге. Все походило, даже две постели стояли так же, одна за другой. Ах, ты не любишь «безумно», ты не знаешь, какое отчаяние *вспоминать*. Эти три дня я была с тобой, около тебя более, чем когда-либо. Отошла вся тяжелая мучительность, все простила душа, осталась только знойная яркость дорогих, дорогих минут. Мне не хотелось плакать, но внутри возникало что-то непобедимое, упрямое, сильное. Я поняла, что



не хочу ничего, *что не ты*. Я буду одна, то радостная, то в слезах и в отчаянии, но сейчас я не хочу никого, никаких людей, встреч, развлечений. Я буду одна и *всегда с тобой*. И если мне что-нибудь нужно сейчас, то это не увеселительные сады и веселье ночи Бог знает с кем и где.

Я жажду прорицаний
воздушной тишины....

Хочу быть ясной, тихой, буду любить тебя там на озере «между сосен тонкоствольных» покорно, грустно, нежно. Буду ждать твоих писем, буду ждать новой встречи, верить... Ах, полюби мою любовь! Всю жизнь я шла к ней, к такой, к единственной, вечной, и вот она – последнее достижение, самая дорогая, желанная мечта. И ты ее не любишь, не хочешь, боишься! Мы все рассказали и все знаем; теперь погляди в последнюю глубину, полюби ее прозрачность, полюби мою «верность», не желай, чтоб вновь во мне возникли какие-то смутные тени. Я *могу* стать иной, если захочешь, – я сломаюсь, мне это легче, чем иным вдруг получить «голубые глаза». Но зачем?... Грешно сорвать и бросить такой редкий, долгожданный цветок. Но что говорить!? Все будет, как ты хочешь. Ах, только не сердись на меня сейчас, не упрекай, не жди с тоской новых и близких мучительств. Мы не встретимся скоро. Отдыхай, пиши твой роман, работай спокойно. Разве я враг тебе, разве я хочу твоих мучений! Ты все понял, все знаешь и, может быть, многое простишь мне. Больно любить, душа беспомощно открыта всем обидам, вонзалось столько мучительных жал.

Ты, мой зверочек, все хвораешь. Бедный зверь, плохо тебе там, в этом новом «змеином гнезде». Зачем же еще сырость и социал-демократы? Ты заточишься летом в вечных разъездах, по вагонам, в пыли. Заточишься, не отдохнешь, не напишешь ничего, и вот тебе, если встретимся, будет казаться, что все это я, от меня. Милый мой, я тебя нежно и покорно люблю. За эти дни я стала тихая, тихая. Все 5 дней я сидела у мамы в квартире безвыходно, к себе не входила в квартиру, не видала ничего, кроме стены противоположного дома. Никто и не знал, что я здесь. С Сережей не хотела встретиться, тоже еще не зажили раны. Опять уп-



реки, боль, обиды. Уж лучше напишу ему как приеду... А сейчас, я знаю, тысячи самых разнообразных неудач, на всех планах, начиная с самых грубых, о которых мы с тобой никогда не говорим. И все это так или иначе падает и на меня. А я, право, устала тоже. Хочется отдохнуть. Ты не любишь этого слова, но что же делать. У меня руки «как палочки». Глядя на себя, все вспоминаю картинку «Голод в Индии». Прости, говорю глупости, но так хочется говорить тебе все, все, даже самые пустые шуточные мысли.

Напиши мне, зверочек. Я знаю эти летние дни, когда одна радость – твои письма, знаю эти часы тревоги, дрожи, ожидания. И вся жизнь идет «от письма до письма». Не сердись, что я тебя так люблю. Не разлюби меня за это. Я знаю, за это перестают любить. Зверочек, зверочек, милый, вот прижимаюсь к твоим рукам, целую, смотри в мои «черные глазки».... Они милые, любимые, дорогие. И весь ты желанный, близкий, дорогой... Не покидай меня, люби меня, я вся, вся Твоя...

Я случайно столкнулась с Сережей, таким образом, мой план «объявиться» уже из Бологого – не осуществился. Поеду только сегодня, 1-го. Было очень, очень трудно не позвать тебя... Так хотелось поцеловать, услышать твой голос.... Но я не поддаюсь этому искушению. Да и страшно было увидеть на твоём лице вместо радости тень скрытой досады. Я ведь знаю, знаю твоё лицо. Милый, я люблю тебя! Не забывай, не покидай! Ах, как близко, близко мечтой я была с тобой в эти дни. Ты мне снился, ласковый, нежный... Люблю тебя.

Брюсов – Нине.

2 июня 1906. Москва.

...Твое письмо без марки, с пометой «Москва», произвело на меня сильнейшее впечатление. Я получил это письмо после 4 час., тотчас взялся за телефон, и Твоя Матрена ответила мне, что в этот самый миг Ты уезжаешь. Ты все же поступила нехорошо, не известив меня, что Ты в Москве, не увидавшись со мной. Мне это горько и обидно. Ты – и пряталась от меня! как же это!

И еще – зачем же ты меня обманывала, говоря в письме из Варшавы, что едешь в Цехаценов...



Состояние души моей не улучшается, а делается все хуже и хуже. Чувствую полное бессилие. Мой верный термометр, мое стихотворное творчество, упал очень низко: со дня Твоего отъезда я не написал ни одного стиха. Да и вообще с января я вряд ли написал больше десяти стихотворений, очень умеренного достоинства. Перестать писать стихи для меня совершенно равносильно духовной смерти. А я перестал писать стихи. Ты пишешь мне: работай. Я ничего не могу работать. С большим усилием над собой делаю я кое-что по библиографии для нового издания Пушкина, затеянного Брокгаузом; больше ни на что не способен...

Я знаю, какой совет Ты дала бы мне в ответ на эти жалобы, если бы захотела говорить откровенно: «Перемени всю жизнь! Брось все! Стань безумным!» Нет, Нина, чтобы стать безумным, нужны душевные силы, а их у меня нет. Чтобы стать безумным, нужна энергия и воля, а их у меня сейчас нет. Чтобы стать безумным, нужно, наконец, *безумие*, а во мне его теперь нет вовсе, вовсе! Я был прав, когда на пути из Финляндии говорил Тебе, что вершина пройдена; Ты была права, когда в начале минувшей зимы говорила мне, что я стал «плохим», «хуже», что *такого* меня Ты не хочешь. Да, в жизни моей души эти десять месяцев были одним падением, медленным скатыванием по отлогой плоскости в пропасть. И я сознаю, что никакая сила не может удержать этого моего падения. Я должен упасть до дна. Тогда лишь может наступить возрождение. Тогда лишь могут вдруг вырасти крылья. И дно уже близко. Вижу его.

Нина! Нина! девочка моя! Ты, может быть, ждешь от меня слов, которые дали бы Тебе силы, ободрили Тебя. Нет у меня таких слов. И мой голос становится глухим, и мои слова тусклыми. Ждать от меня сейчас нечего, помочь мне сейчас нечем, можно лишь пожалеть меня, можно лишь надеяться на меня, надеяться на чудо воскресения...

Нина – Брюсову.

3 июня 1906. Лидино.

А что я могу сказать тебе, Валерий? Наступил 5-й акт драмы. Тот, кого любили, кто был центром всей жизни, чей образ царил над всем, – где-то замерз. Вносят его холодное, холодное тело... Что может быть дальше? Ведь это



и есть конец. О каких «крыльях» ты говоришь? Если и вырастут «крылья», они унесут тебя в иной мир, *не ко мне*, не возвратят тебя. Я люблю тебя и хочу их для тебя, потому что мне больно от твоей боли, но моя роль *кончена*. И для себя мне нечего и неоткуда ждать. Та страна, куда сначала ты сам стремился, куда потом звала тебя я, – чужда твоей душе. То солнце – *не твое солнце*. Оно обожгло, истомило тебя. Уйди. Есть время. Ты воскреснешь, я верю. Все твои письма после Финляндии, которых не могла я понять тогда, были сплошным предчувствием будущего. Ты хотел бежать, чтобы не увидеть этого страшного дна, которое видишь теперь. Я удержала, я хотела иного и верила; я не знала, – прости меня! Я не позову тебя больше в «безумие». Да и что же такое это слово? Это лишь мое второе условное имя любви. Если ты можешь оглянуться назад в эти месяцы, если там еще как-нибудь звучит мой голос, – вслушайся. Всегда, всегда это слово значило одно: «любить». А любить – это быть беспредельным, войти в мир несказанных чудес, взять все и отдать себя, никуда не оглядываться и ничего не жалеть... Ах, знаешь ты, что для меня любовь! И слово «безумие» всегда значило – любовь. И если, глядя в глаза тебе, просто, ясно и серьезно спросить тебя: так ли и ты понимал его? – Ты не солжешь мне, ты скажешь «да». И пишешь: «...безумие... а во мне его нет теперь, нет вовсе, вовсе!»

О, зачем после Финляндии я не ушла, как ты хотел, не поверила, что нам (*тебе*) остался только скат вниз, а все пыталась удержать, хотела вернуть тебя к тому, что ты так скоро, скоро забыл. Это назвалось «мучительством», а я ведь *лишь любила*. Тебе было мучительно лишь потому, что *мы не шли рядом*. Душа ли у тебя вся иная, чем у меня, или только в этом мы не совпали, – не знаю. Но вижу я, вижу теперь совсем ясно, – *это конец*. И вот, отрекаясь от себя, затаив все безмерное отчаяние, мне хочется успокоить тебя нежно, ласково, вернуть к надежде на воскресенье. Верь, ты будешь вновь самим собой, вернуться стихи, вернется все утраченное в дни со мной. Оторвись только от меня *разом*, вырви последние блекнувшие цветы. Убей жалость и нежность, стань



бесстрашным, посмотри на мою жизнь как на одну из твоих ступеней вверх по твоей длинной, о, далеко не пройденной лестнице, смотри в свое небо, побори дни унынья и упадка. Я верю, ты сильный, ты выйдешь из этого испытанья вновь юным, сумеешь сбросить утомление этих месяцев; – но только не ходи по тем дорогам, которые не для тебя. Но скорее! Если видишь дно и упасть неизбежно – падай без страха. Ты веришь, что вырастут «крылья», и я верю. Там же вырастут и мои «крылья». Я тоже жажду. Но и меня лишило силы утомленье, длительные муки. Дай мне отчаяния! Последнего отчаяния хочу я! Приди и скажи: «Я не люблю тебя, я не хочу быть с тобой». Скажи это с той же уверенностью, как прежде говорил: «Я люблю тебя, я не могу без тебя». И как прежде от этих слов передо мной открылось бездонное счастье, так и теперь от новых слов, с той же силой чувства я упаду куда-то вниз, во мрак. Ах, тогда мне будет легко! Но не мучь ты меня медленно, не превращай в камень. Даже смерти хочу отдать я живую душу. А вот уж давно длится это качанье над пропастью. Не могу так! Ты велел не уехать, уверял, что я встречу тебя нового, что перед нами новая жизнь. Неправда! Ты только малодушно отдаляешь неизбежное. Смешно же, в самом деле, думать, что я надеюсь после твоих писем, что я «отдыхаю». Смешно думать, что кто-то может «отдыхать» в зеленых меланхолических аллеях, на тихих озерах перед собственной казнью. Валерий, скажи мне правду! Что ты убиваешь меня с такой невыносимой медленностью. Я ведь с сентября знаю все и знаю, как это кончится. Ты уверял, через все я так хотела видеть впереди радость. Не вижу больше, не надо лживых надежд. Взгляни в свою душу глубже, еще глубже. Там есть ответ. Ведь всё в душе, ничего не придет спасать извне. Мне только нужно одно твое последнее правдивое слово.

Валерий, милый, милый, отчего нет счастья? Кто меня проклял? Я так хочу любви, нежной, тихой, ясной, навсегда. И только горе, горе! Валерий, ты замерзаешь, ты холодный, тебя нет для меня. Валерий, Валерий, не слышишь меня! А я люблю, люблю!



Брюсов – Нине.

5 июня 1906. Москва.

Нина, девочка, любимая! Ты хочешь заставить меня солгать... Правдой Ты признаешь только мою ложь, а когда я говорю свою правду, Ты мне не веришь. Я Тебя люблю, только Тебя, – вот моя правда. Но для Тебя «любовь» и «безумие» одно и то же, а для меня не одно и то же. Любовь есть в моей душе, безумия – нет. Ты этому не веришь, но я не хочу, не могу, не буду лгать. То, что сейчас со мной, – не ущерб любви, а ущерб души. Может быть, это подготовлено даже не этими нашими 20 месяцами, а 20 последними годами моей жизни. При всех своих падениях и замираниях, в общем я жил жизнью очень напряженной, если не во внешнем, то во внутреннем. Все сделанное мною (а кое-что мною сделано-таки) досталось мне вовсе не даром. И вот настал час, день, когда идти дальше по той дороге, по которой я шел, некуда... Творить дальше в том же духе – значило бы повторяться, перепевать самого себя. Это может Бальмонт, я этого не могу. И вот, в этот страшный час распутия, Ты мне говоришь о любви, о нежном счастье. Я должен все силы своей души направить на то, чтобы сломать преграды, за которыми мне откроются какие-то новые дали, – чтобы повернуть своего коня на новый путь. У меня сейчас не может быть сил ни на что другое. Приди ко мне с волшебным жезлом, открывающим эти новые пути, – и я пойду за Тобой. Ах, то воистину должен быть волшебный жезл, воистину новые слова: не слова о безумии, которые я сам говорил слишком часто, не слова о нежном счастье, которое – хотя и на миг – мы извели с Тобой вместе, и уж конечно не слова из революционного словаря, годные для младенцев вроде Твоего Сережи. Есть какие-то истины – дальше Ницше, дальше Пшибышевского, дальше Верхарна, впереди современного человечества. Кто мне укажет путь к ним, с тем буду я. Или дай мне найти их и приди ко мне. Ибо в тот миг, как я опять почувствую возможность жить, возможность творить, возможность идти вперед, – мне никого не нужно будет, кроме Тебя. Жить я хочу, я могу только с Тобой, но сейчас не знаю, хочу ли и могу ли я жить. И мне кажется, что я не говорю



этим письмом ничего нового: это всё те же, прежние признания, еще более уясненные, еще более углубленные...

Нина – Брюсову.

6-7 июня 1906. Лидино.

Валерий, Валерий, что я могу?!

Я сломаю душу еще раз, вырву из нее все, что *во мне* мучит тебя. Но ведь это будет одна ничтожная часть. Ах, я на все готова, чтобы только не видеть тебя, милого, любимого, изнемогающим, отданным боли и бессилью! Но не знаю я *как!* Должно быть, это слишком много для меня. Если бы *это* лежало в пределах любви, я не почувствовала бы себя такой слабой, бессильной, неспособной. Я нашла бы в душе своей новые нетронутые источники, открылись бы новые светлые дали, зазвучали бы новые слова. Вижу за всей скорбью и безнадежностью этот ослепительно сверкающий мир. Но не он тебе нужен сейчас, и пусть слова о нем немые падают на дно. Мне страшно, и больно, и стыдно говорить их, и они сами умирают, когда нет отзвука. Тебе нужно иное, иное... Есть в душе твоей таинственное и великое. Когда я мыслью подхожу к этим граням, – я ничего не знаю; мне хочется только богомольно поцеловать тебя в лоб, тихо коснуться твоих рук, встать пред тобой на колени, и молчать, и неметь. Я редко говорю тебе это, но помню всегда. И вот когда там цветут цветы, или проносятся бури, или падают холодные туманы, – *что я могу!* Я могу только отойти с радостью или печалью, стоять вдали, ждать, когда ты вернешься, и думать о тебе, думать. Может быть, и там есть свое утомление и нужен отдых и сон, как в жизни здесь. Может быть, тебе вовсе не нужны никакие слова, ниоткуда, может быть, в этом томлении они уже возникают в твоей же душе, и миг излома, боли и изнеможения ты обманчиво принимаешь за смерть. *Кто* скажет тебе какие новые слова? *Кто ты*, чтобы ждать тебе чуда, когда твоя собственная душа со всем свершенным и затаенным для будущего есть чудо из чудес? Ты устал, только устал, и не хочешь, и боишься дней томленья и тишины. Ты сам говоришь и сознаешь, что это может быть подготовлено 20-ю последними годами твоей жизни,



подъемами и падениями, страшной напряженностью ее. Так отчего же и при этом сознании тебе так страшен «час распутья»? Валерий, Валерий, здесь я ничего не могу, но я знаю тебя, вижу тебя и верю, верю, верю! Пойми, ведь это только *часть твоей дороги*, а не конец и не предел ее. Ты *должен* встречаться с ужасами, и в каких бы образах они ни приходили, ты должен их встретить с спокойным и ясным лицом. Но что я могу сказать! Грубы и слишком просты слова мои. Может быть, ты горько улыбаешься в ответ. Ах, я люблю тебя, Валерий, этой любовью я научилась чувствовать тебя, ощущать самые тончайшие дрожания твоих внутренних струн. И хотя то, что с тобой сейчас, – этот упадок творчества, ущерб так же непостижим, как и расцвет его, я все же каким-то ясно-видением любви вижу тебя и в этих пределах, и знаю, и верю, – все вернется. *Твое* все вернется! Ты устал, ты безмерно устал, но ты юный, сильный, ты поборешь призраков, только верь, верь в чудо твоей же чудесной души. Валерий, если я мешаю тебе сколько-нибудь, не изнывай и не изнемогай еще от жалости. Давай мне только что можешь, я не жду уже никаких «осуществлений любви». Если *можешь* быть со мной, – будь. Я глубоко схороню все желанья, убью их, вырву их. Теперь я знаю и о себе, – тех радостей, что я хотела, не будет *никогда*. И хочется одного, одного сказать тебе твоими же стихами:

О, приди без улыбки, без жалости
Снова к дереву меня пригвождать,
Чтоб я мог в ненавистной усталости
Снова руки твои целовать.

Мне ничего, ничего не надо больше для себя. Мне горько, что любовь моя, какой бы она ни была, в эти дни для тебя – *ничто*. Но я сломаюсь, я вырву все, только бы быть для тебя хотя маленьким проблеском радости, а не мученьем среди мучений. Может быть, ты когда-нибудь согласишься в это и не будешь бояться и бежать меня, а придешь, *каким бы ни был*. И тогда мне не будет иной радости, кроме той, что ты, милый, любимый, согласишься в мою неизменную любовь.



6-7 июня 1906. Лидино.

Валерий, радость моя! будь со мной, каким можешь, – печальным, убитым, радостным, изнемогающим или ликующим – все равно! Только не уходи! Никто не понимает тебя, как я, никто не любит тебя так. Милый, будем близкими всегда. Я не буду мучить тебя. Не уходи, не вырывай у меня своих рук. Я всё могу с тобой, *буду какой хочешь*, только не отдаляйся, не пропадай из глаз в тумане этих дней. Ты переживешь их. Мы переживем их. А если и нет, то погибнем вместе. Я не могу совсем без тебя. Ведь этими бледными, чуть звучащими словами твоей ласки я только и живу сейчас на свете.

Валерий, зверочек мой грустный, любовь моя, не гони меня, не отвергай меня. За что? Я так беспредельно тебя люблю...

Брюсов – Нине.

10 июня 1906. Москва.

...Есть два круга вещей, о которых мы никогда или почти никогда не говорим с Тобой: один очень «низкий», другой очень «высокий». Это – обычные деления, не мои; сам я не делю вещи на «высокие» и «низкие», – мне все кажутся равными, равно важными, равно достойными. Но медленно и систематически Ты не давала мне заговаривать о многом и свела все наши разговоры к одной теме: нашей любви. Вот почему мне так трудно теперь ответить на Твое последнее письмо (письмо милое, хорошее, желанное – я уже сказал). Мне придется начать издалека. Мне придется (и это прости мне) вызвать несколько воспоминаний этой зимы, мучительных, – одни для Тебя, другие для меня. Но ведь надо же высказаться; ведь многое мы посмели сказать друг другу; останемся смелыми!

Думаешь ли Ты, что я забыл, что Ты не стала читать моей последней книги? Знаю, все знаю, все помню. Но то был жестокий удар для меня. Ты не знаешь, сколько нитей оборвала Ты тогда между моей душой и Твоей... Но это было только начало. Ничего из того, что я писал после, не пришлось Тебе по душе: ни новые мои стихи, ни рассказы, ни статьи. Тебе все это не нравилось или, по крайней мере,



нравилось далеко не так, как многое в моих прошлых книгах. Возможно, что Ты права; возможно, что я пишу хуже, чем прежде. Но ведь мне-то эти мои стихи, рассказы, статьи – дороги; я-то ведь не считал их плохими! И опять и опять обрывались нити между нашими душами. Но вот однажды я заговорил с Тобой вообще о поэзии, о том, о чем сам с собой я говорю всегда. Это было, помнишь, днем, на бульваре... Я испугался той пропасти, которая оказалась между нами. Ты подняла руку на самые заветные мои убеждения, оскорбила самые святые мои верования. И опять-таки возможно, что права Ты, а я не прав. Возможно, что в искусстве высказываемые мысли важнее, чем художественное значение произведения. Но я-то ведь в это поверить не могу! Для меня-то ведь единственным мерилom в поэзии (а впрочем и везде, во всем) останется художественность. Мне, художнику, партийная нетерпимость кажется вздорной, а оскорбление прекрасного стиха – оскорблением моего Божества. И после того дня последние нити, связывавшие нас в том мире, оборвались, и я стал думать, что мы с Тобой там – чужие. Ибо никогда, никакие мучительства жизни, никакое изнеможение не убьет и даже не притупит в моей душе поклонения поэзии. Я могу утратить способность писать стихи, но не могу перестать упиваться ими. Отказаться читать книгу любимого поэта из-за личных отношений; бранить стихи, потому что не согласен с высказываемыми в них мыслями, – это для меня столь же невозможно, непонятно, чуждо, как ощущения иного, нежели я, существа. И когда Ты обращаешь ко мне такие слова, прекрасные, пьянящие, увлекающие, как в последнем письме, мне хочется вырваться из их опьянения, из их соблазна, и сказать Тебе: Да полно? да разве мы не чужие здесь? разве мы не враги здесь?

Нина! Нина! Ты знаешь меня и знаешь, что я много лицемерю: жизнь приучила меня притворяться. И в жизни, среди людей, я притворяюсь, что для меня не много значат стихи, поэзия, искусство. Я боюсь показаться смешным, высказываясь до конца. Но перед Тобой я не боюсь показаться смешным, Тебе я могу сказать, что и говорил уже: поэзия для меня – *всё!* Вся моя жизнь



подчинена только служению ей; я живу, поскольку она во мне живет, и когда она погаснет во мне, умру. Во имя ее – я, не задумываясь, принесу в жертву все: свое счастье, свою любовь, самого себя. Но в этом мире я всегда был одинок, и Ты не отучила меня от этого одиночества. Прислушиваюсь к ласкательным словам Твоего письма, но не знаю, где найти в душе своей веру в них. Было время, меня хвалили *вы*; теперь меня хвалят журналы. Но, должно быть, у меня еще не было читателей. Мои читатели еще носятся «по небу полуночи» в объятиях ангелов. С моими читателями мне не придется говорить. С ними будут говорить только мои книги.

Прости мне это письмо. Люби меня. Люблю Тебя...

Нина – Брюсову.

11 июня 1906. Лидино.

...Я уже много раз предчувствовала, что возникнет этот разговор, но не боюсь его, а рада сказать тебе о себе все, что есть и что знаю. Только верь в правдивость моих слов. Я никогда уже больше не буду лгать тебе. Начну с того же, с твоей последней книги, хотя говорить об этом мне тяжело и теперь. Помнишь ты себя в прошлом году? Я только *после* узнала, что больше мне не увидать тебя таким. Но ведь в Финляндии я ничего не знала и не поверила бы, что все изменится так быстро, почти внезапно. Ты говорил: «всё»... Ты упорно повторял: «всё, я весь, вся жизнь». И когда мне стала дорога твоя любовь, слова эти зазвучали как музыка. Я поверила в них, и в тебя, и в свою любовь. Тогда же, может быть, бессознательно почувствовала, что прошлое, все, что замыкалось этим годом, ушло навсегда. Мы вступали в новое, и хотя будущее казалось мне лучезарнее прошлого, вдруг захотелось, так страстно захотелось отметить его каким-то знаком здесь, чтоб осталась об нем вечная память. Я попросила тебя... (посвятить ей книгу стихов Брюсова. – *И. Т.*) Это даже была и не просьба, а нежный отклик на твои же слова. Это было первое желанье, обращенное лично к тебе, первая гордая мечта о твоей любви. И ты отказал. Я не помню в моей жизни такой смертельной убивающей обиды. В те дни, когда после года, тяжелее всех лет в моей жизни, я почувствовала себя



живой и воскресшей, когда мне показалось, что наконец сбылась моя последняя тайная мечта о любви, – ты же, ты, Валерий, сказал мне «нет»... А я ведь действительно подумала, что предо мной беспредельность. Пойми, мне было больно видеть твою книгу, страшно касаться к ней, невыносимо слышать о ней. Она казалась мне живым воплощением самой горькой обиды. Я сказала, что *никогда не прочту ее*. Вначале я действительно не могла заставить себя взять ее в руки, а после, когда притупилась и стихла обида и я увидела, что это тебе *тоже больно*, – хотелось *боли за боль*. Я знала больше половины ее раньше. Любила ли ее, как прежние? Ах, можно ли так спрашивать? *Те стихи* были частью моей души, воплощением ее в строках, страницей жизни самой страшной, горестной и дорогой. Ты говоришь: «...Ты не стала читать моей книги». Ты поверил, что я могу *не прочесть*, и верил до этого дня! Валерий, я *читала ее всю, всю* в апреле, на Пасхе. Читала с тайной болью, с горьким упоением, с большей любовью к тебе, к твоим стихам, чем в прежние годы. И не хотела и не могла сказать тебе. Мы были очень замучены в эти дни. Где мы были? Что могли сказать друг другу?!

И дальше: – в начале этой осени; – ты или я – не знаю, уж не разберусь теперь, – но кто-то взял неверную ноту. Вместо радости начались мучительства, мы катились неудержимо, как по рельсам, всё дальше, всё вглубь. Обижали взаимно. Ты обижал жестоко, задевал самое хрупкое, самое нежное, – и я... о, конечно, и я!.. Твои новые стихи, рассказы, статьи, – я подходила к ним заранее враждебная. Душа твоя казалась далекой, холодной, далекими стали казаться они, потому что они – твоя душа. Но ведь те дни омрачения, запутанности, слепоты миновали для меня. Ты не веришь! не веришь!

Ты знаешь, я говорила тебе, как безмерно радовало меня, что я любила тебя в твоей поэзии, в этих двух маленьких трогательно-одиноких книгах *прежде, чем мы встретились и полюбили*. И позднее, когда мы уже встречались, всегда странно враждебные, – ты с презрением ко мне, я с непонятной антипатией ко всему твоему реальному облику, – я умела любить тебя, восторженно поклоняться



тебе и отделять тебя здешнего от тебя, стоящего для меня на самой высокой вершине поэзии. Это было время «Urbi et Orbi» для тебя, и для меня полюс совершенно иных переживаний. Мне хочется подчеркнуть эти слова как выражение еще на тот взгляд, что сложился у тебя на меня во время разговора о Тютчеве на бульваре. Ты сказал, что я похожа на критиков «Русского Богатства», что я не умею ценить художественность как таковую, что я груба и ты удивляешься, как до сих пор мы могли считать себя близкими. Да, Валерий, ты был бы прав, если бы уверился, что в этом мире мы так же далеки, как критики «Русского Богатства» и ты. Я знаю тебя, знаю, что для тебя поэзия, и поняла бы, и приняла бы твою отчужденность. Но, дорогой, ведь это неправда! Почти с детства, *самостоятельно*, вероятно, протестуя против окружающего, сначала бессознательно, потом уверенно и ясно, моя душа в этом мире влеклась к тому же, что любишь и чтешь ты. Моя любовь к искусству и поэзии была тихой, замкнутой и углубленной. И если ты хотя сколько-нибудь знаешь мою душу, ты увидишь в ней следы этого пути. Валерий, дорогой, ну разве можно так грубо ошибиться и чужого принять за близкого?! Да и можно ли с чужим быть на какой-либо не внешней плоскости, а уж не только в любви, где каждый диссонанс отзывается такой нестерпимой болью? Что же касается, в частности, разговора о Тютчеве, который ты так злопамятно затаил в глубине, то верь, это было какое-то наваженье. Не знаю почему (теперь утратилась непосредственная связь его с состоянием души того дня), но хотелось сказать что-то грубое, резкое. А может быть, это было одно из противоречий моего существа, так знакомых тебе, когда я начинаю говорить чужим, неизвестно откуда возникшим голосом. А потом... Мне хотелось вернуться за тобой, по телефону хотелось говорить иные слова, но ты же знаешь меня! Все казалось тогда, что каждым поводом пользуешься ты, чтобы задеть самолюбие, проявить себя «самовластником». И вот даже из желания не огорчать тебя я не сумела победить упрямства и не могла открыто сознаться в нелепости своих слов. Вспомни, я всячески избегала возвращения к этому разговору. Я говорю тебе всю прав-



ду. И если бы знала, в чем нужно признаться еще, – мне не было бы стыдно перед тобой. Я хочу, чтобы ты смотрел в мою душу как в прозрачную воду. Ах, Валерий, мы очень омрачились в этом году. Мы перестали одно время видеть друг друга в наших настоящих образах. Но я сделала усилие, вырвалась из заклятого круга и вновь вижу тебя, но яснее и утонченнее, чем прежде. За горем, за всем хаосом дней этого года я вижу вновь кристальную ясность, новую любовь к тебе, Любовь от Любви, как Свет от Света, крещенную огнем. Из-за отуманенных наших мучительных дней вновь возникает та близость, которая казалась тебе утраченной. И верь мне, милый, светлый, верь, *я везде с тобой и там*, как всегда, как в дни, когда любила и не знала тебя...

Брюсов – Нине.

13–14 июня 1906. Москва.

...Нина, что мне остается говорить, когда Ты на мое злое, нехорошее письмо отвечаешь ласковым, покорным, когда Ты говоришь мне: «Я виновата, прости, я люблю Тебя». Мне хочется обнять Твои колени, заплакать, как столько раз я плакал перед Тобой, сказать Тебе: «Нет, Ты, Ты меня прости, чувствую, знаю, что виноват я!..» Нина, счастье мое! Я в каком-то безысходном кругу, и замкнут он не вовне, а внутри меня, в моей душе, – и его надо разорвать, потому что выхода из него нет.

Когда это началось? Давно, о давно! Теперь я начинаю думать, что еще до моей встречи с Тобой. Вероятно, к тому времени, когда я закончил «Urbi et Orbi». Что-то было изжито. Какой-то рудник, который другому мог хватить надолго, был мною исчерпан, потому что я не разрабатывал его, а грабил. Я выхватывал из него слитки и губил золотоносные жилы. И вот – слитков более не оказалось. Оставалось или искать новой шахты, или заняться пересмотром ранее отброшенного, ранее отвергнутого как менее богатого. Помню, верно помню: я переживал тогда именно то, что и теперь: изнеможение, бессилие, неспособность к творчеству, желание убежать, скрыться, утаиться, чтобы меня не заставляли думать, действовать, а прежде всего *чувствовать*. Помню, было уже совсем



решено, что я уеду на год в деревню. Даже велись уже переговоры... чтобы снять какое-то имение... И вдруг пришла – Ты, как что-то новое, неожиданное, несбыточное, о чем мечталось давно и что вдруг осуществилось. Пришла любовь, о которой я только писал в стихах, но которой не знал никогда; пришла женщина, о которых я только читал в книгах... но не видал никогда. Ты мне часто говорила, что тот год был воскресением для Тебя; но он был и для меня воскресением. У меня вдруг открылись глаза, сделались в сто раз более зоркими; в руках я почувствовал новую силу. Я вдруг увидал вокруг вновь соковища, которых мой прежний взор не различал; получил возможность разбивать такие таящие золото камни, на которые прежде не смел поднять руки. Я сказал себе: «Безумец! ты считал себя нищим! но смотри! видишь! твой рудник еще полн богатством! бери лом, заступ, добывай, торжествуй!» Ты знаешь, что я это сделал. Я собрал снова целую книгу золотых слитков, там, где, казалось, не было ничего, кроме песка и осколков камней... Но я ошибся. Рудник мой был все же уже опустошен. Скоро, очень скоро поднял я последнюю блестку, – и вот опять стою в пустоте, в разоренной, опустошенной шахте... Долгое это сравнение я не выдумал: оно пришло само на мысль и оказалось совпадающим с жизнью во всех мелочах. Два года назад я был в своей душе слепым нищим; теперь я зрячий нищий – в этом вся разница, и только (или почти только) в этом. Я не могу более жить изжитыми верованиями, теми идеалами, через которые я перешагнул... Ты когда-то сказала, что я по душе – инок, монах, в Средние Века я пошел бы в монастырь. Да! да! Я должен верить в то, чему служу, совсем, до конца, и должен служить чему-то. Я притворяюсь скептиком, но

Тяжелый труд нам Кем-то дан,
И спросит властно Он отчета...

Так, как сейчас, я не могу жить: без Бога, без алтаря. И не могу поставить себе «какого-нибудь» бога, наскоро смастеренного, чтобы только было перед кем возжигать фимиамы. И вот когда Ты отдаешь мне свою любовь,



прекрасную, самое прекрасное, может быть изо всего, что я встречал в жизни, – мне нечем взять ее, я бессилен. У меня нет сил проявить своего чувства, своей любви, потому что *все* силы моей души уходят, ушли на иное. Так Россия сейчас не может проявить ничего, кроме революционных сил, но это не значит, что в ней, в ее душе нет ничего более...

Нина, милая! В своем первом письме к Тебе в Варшаву я назвал себя «нехорошим». Это было не совсем верно, или верно только с внешней стороны. Но перед Тобой мне всегда почти стыдно, почти больно. Отвечать так, как я отвечаю на Твою любовь, – позорно, преступно, недостойно. И, сознавая это (именно потому, что сознавал), я иногда еще резче подчеркивал свою строгость, суровость, холодность. Но это было маской, странным (не для Тебя) притворством, клеветой на самого себя. Я люблю Тебя, я хочу любить Тебя, но у меня, у души моей, нет сил для этого сейчас, ее крылья падают... И я сам на себя смотрю с отчаяньем и ужасом.

...Я взялся исполнить одно поручение отца в Риге, поручение «срочное», так что дня отъезда откладывать почти невозможно... Получив Твое письмо, в первый миг я подумал: не поеду. Но потом представил себе нашу встречу (ведь не можем же мы быть вместе в Москве и не видеться!! не можем!) – и понял, что, напротив, ехать надо, надо, что это совпадение чисел не случайность, а Рок. Сколько времени пробуду вне Москвы – не знаю; может, неделю, может, две. Конечно, в эти дня я «не найду своего Бога», но по крайней мере овладею собой, своей волей. Помнишь, я смеялся над юным поэтом, который жаловался мне, что болен нейрастенией. Едва ли я не болен ею сам, хотя и стараюсь никому этого не показывать. Мне *надо, надо* бежать от всех, никого не видеть, даже Тебя.

Девочка, девочка моя! счастье мое! Доверься мне на этот раз, как не доверилась однажды, после Финляндии! Клянусь Тебе, что в моих словах нет лжи, нет обмана, нет лицемерия! Мне *нельзя* сейчас быть с Тобой, мне не должно сейчас упиться всей Твоей добротой, всей Твоей нежностью, всей Твоей любовью. Этот кубок – для меня



смертельный яд... И для Тебя тоже! Дай мне бежать. Умоляю Тебя на коленях.

Против всех вероятий, во имя того, что в это почти нельзя верить, клянусь Тебе: люблю Тебя! люблю бесконечно! Тебя, одну Тебя, Тебя навсегда!..

Нина – Брюсову.

17 июня 1906. Лидино.

...Мне больно, – вот ты уедешь и увезешь обо мне дурную память, и будешь с радостью думать, что расстался со мной, и может быть, за этими горестными днями уже не увидишь ни моей нежности, ни любви. Только грубые слова запомнишь, только страшные сцены, и там, вдали, я буду представляться тебе неверно, искаженно, в образе не желанном, а мучительном, насильно врезавшемся в твою жизнь. И мне от этого больно, больно... Разве я хочу? Разве я хочу быть врагом самого святого в твоей жизни – твоей работы и лучшей части твоей души? Кроме всего, что встало так неизбежно и доставляет страдания нестерпимые, я мучусь от сознания, что мешаю тебе, что в иные минуты ты проклинаешь меня. Ах, Валерий, последней нежностью и мягкостью и, может быть, кротостью пойми путь, которым, не желая, сламываясь, задыхаясь от боли, я прихожу к таким ужасным дням. Пойми и прости. Я, правда, минутами теряю сознание. Сколько нужно пережить внутри себя обиды, тоски и какого-то зверского страдания, чтобы говорить эти оскорбительные слова, чтобы радость, безмерная радость от твоей близости превращалась в эту муку и тягостность наших встреч. Верь мне, милый, я боролась и постоянно борюсь с теми мыслями, которые, проходя, отнимают у меня жизнь. Я живая, может быть, более, чем когда-либо. За этим туманом, ослепившим глаза, я еще чуть-чуть вижу иные очертания жизни. Я теперь, *наконец* во многом самом нужном тебе стала близкой той лучшей части твоей души, которую полюбила любовью почти религиозной. Я ведь не знала, *кто ты* – теперь знаю и люблю *тебя*, а не химеру своей души. Ах, я могла бы и работать, и жить, и быть везде твоей настоящей покорной ученицей. Именем твоим сумела бы вызвать то, что ты хочешь видеть во мне. Все это есть, я знаю, чувствую. Хаос прояс-



нился бы, мы были бы близки настоящей, ясной близостью, прочной и ненарушимой, действительно – на всю жизнь. И вот – эта ужасная болезнь души, этот облик любви, овладевший мной, как демон. Он стоит на всех путях. Быть вечно втроем, подозревать, представлять в образах, завидовать, мучиться час за часом на медленном огне, думать, что ее ты считаешь более близкой, нужной, связанной до смерти, плотью от плоти... Ах, стоять в стороне от многих радостей, щелкая зубами, как поджарый волк на той картинке.... Отдавать тебя всецело на те часы и дни, когда ты не бываешь со мной, видеть и в снах и наяву навсегда мне недоступную милую, тихую жизнь. Не иметь возможности никогда проявить своих самых трогательно простых и чистых желаний в отношении тебя, а быть только крестом, роком, проклятьем, мучительством. От непоправимости всего этого ожесточаться сердцем, терять свой настоящий образ, бросаться уж действительно в хаос от боли и чисто физической тоски. Милый, милый Валерий, неужели ты думаешь, что все это – зло для зла, неужели ты не видишь, что это то же прекрасное лицо любви, только оскорбленное, замученное, истерзанное болью? Я хочу быть другой, *я могу!* У меня для тебя есть все, только это все отточилось, как нож, обращенный на меня же. Милый, если еще нужна я тебе, если правда я занимаю какое-то место в твоей жизни, – *спаси это. Как* – не знаю, не знаю. Но посмотри, – нить истончилась, я ведь действительно смотрю в лицо смерти безумным прикованным взглядом. На мне уже лежат склепные тени. День за днем кто-то отнимает от меня мою живую жизнь, и я превращаюсь в призрак, которому стыдно, и страшно, и больно с живыми. Я не лгу, ты знаешь и видишь. У меня не стало оправдания тех дней, которые я переживаю. Зачем встаю, зачем начинаю день? Чтобы преодолевать страх смерти. Животный, звериный страх от мысли, от ощущения близости смерти. Разве не преступление так жить? Всякая, даже маленькая сила души должна прилагаться к жизни, пока ты жив, а не разлагаться в земле. Я все это знаю, но мое отвращение к себе и к этим дням бездействия и тупой омрачающей боли доходит до последней черты. Пожалей меня какой-то настоящей действенной



жалостью, как жалеют любимых, как может жалеть человек человека. Валерий, если даже ты уже не можешь сделать ничего и тебе кажется, что ты все сделал и делал, если мне не суждено вырваться из этого круга и он моя последняя Судьба, которой нужно покориться с покорностью быка на бойне, Валерий, дорогой, тогда об одном прошу я тебя, умоляю – посмотри на меня хотя раз через все это, через ужас, искаженье, безобразие, и прости, и пойми. И за вечерами и днями, которые страшно вспоминать, улыбнись моей любви к тебе. Она неизменна, нежна и светла, она сама замирает от ужаса. Валерий, любимый, прости, как прощают. Не вспоминай меня с отвращеньем. За каждое оскорбительное слово я кланяюсь тебе до земли и только прошу: прости! прости!

Брюсов – Нине. 27июня/10 июля 1906. Висби.

...Дней десять, как я уехал из Москвы, и за это время я не написал Тебе ни строчки... Но Ты понимаешь, почему ни строчки. Трудно, мучительно трудно писать, когда не можешь сказать ничего хорошего. А я все тот же – изнеможенный, безвольный и бессильный. Все более и более подчиняюсь я не своей воле, а другой, которая хочет распоряжаться мной. Ах, почему это не Твоя воля! Помнишь, уже давно, давно говорил я Тебе: будь старшей, будь властной, приказывай, я буду повиноваться... И мне все кажется, что я протягиваю к Тебе руки сквозь клетку, но прутья клетки становятся всё толще, ряды этих прутьев всё учащаются и Ты – всё дальше, всё дальше от меня!..

Нина! Нина! Нина! Я чувствую себя погибающим... Уже сколько месяцев ищущу я – и во внешнем, и внутри себя – возможности жить и не нахожу. Я испытываю нечто подобное тому (хотя совсем по другим причинам), что Ты – полтора года назад. Я испытываю омертвление души, словно она – мертвая, а жив я без нее. Я вижу море, на которое когда-то мы смотрели с Тобой, на которое когда-то я смотрел детски-дерзким и глазами, и вспоминаю, и помню, какой жизнью, каким трепетом наполняло оно меня! Ведь оно не изменилось, ведь оно то же, мощное, великое, прекрасное, как в мою юность, как в дни юности мира: почему же нет



этой юности, мощи и красоты во мне! Разве я не хочу быть молодым? разве я не хочу быть красивым? Но моя душа – бессилие, прах, тлен, переживание прошлого, отживание последних зеленых листочков. Но неужели же мне в жизни лежать упавшим деревом, над которым будут свиваться молодые лианы и разрастаться новые побеги?

Нина, прости, что я все говорю о себе. Что могу я сказать Тебе! Сказать, что я люблю Тебя, что лучшая часть души моей, последняя ее живая часть, отдана Тебе, что нет дня, что нет часа, когда бы я не думал о Тебе! Но Ты горько выразишь мне моими словами: любовь без дел мертва. И будешь права, и у меня не будет слов, чтоб сказать что-нибудь в ответ. У Тебя я могу вымалывать только милости, только снисхождения. Ты мне скажешь: доколе? Ах, не семь раз, а семью раз семьдесят... Прости мне, Нина, если можешь, прости мне мои слова, мои поступки. Сердце мое чисто перед Тобой, но я знаю, что сердца увидеть невозможно. И одна моя просьба к Тебе, как всегда: *верь*, что мне плохо, очень плохо, что хорошо мне бывает и может быть только с Тобой.

Плачу, целую Твои руки, не смею смотреть на Тебя...

2/15 июля 1906. Висби.

...Мне здесь все вспоминается стих Бальмонта:

О да, я помню, да, я был живым
Когда-то!

Воистину, все прошлое, даже недавнее, наши встречи, наши ласки, мне кажется далеким и невозможным сном. словно я другой. словно между этим мной и тем лежат долгие годы. Есть у К. Павловой* поэма (перевод из Шамиссо**), которую я Тебе читал однажды (она Тебе не понравилась). Там выброшенный на пустынный остров, после нескольких десятков лет жизни вне людей, вспоминает свою первую любовь, отдается счастливым видениям и вдруг прерывает их:

* Павлова, Каролина (урождённая Яниш; 1807–1893) – русская поэтесса.

** Шамиссо, Адельберт фон (1781–1838) – франко-немецкий писатель, поэт и естествоиспытатель.



– Ты лживая мечта!
Ведь над тобой в отечестве далеко
Лежит давно могильная плита!

Что, если и наша любовь, воспоминаниями о которой я тешу себя, тоже уже лживая мечта, тоже уже лежит под могильной плитой! Как давно я ничего не знаю о Тебе. Быть может, Ты уже другая! Быть может, я, обращая к Тебе эти строки, обращаю их к призраку. Есть погасшие звезды, свет которых еще скользит в пространствах и еще кажется с нашей земли звездой. Не такая ли погасшая звезда Твоя любовь, та, которой я молюсь здесь, с моей темной земли. И не должно ли мне повторять стихи Фета:

Так и по смерти лететь мне стихами, –
К призраку звезд буду призраком вдоха!..

6/19 июля 1906. Висби.

...Нина! Нина! нет никого на свете, кого бы я любил, кроме Тебя, кому бы я хотел говорить слова любви, к чьей руке я хотел бы прикоснуться губами любви. Для меня нет в жизни другого счастья, как быть с Тобой, около Тебя, знать, ощущать, что Ты близко. И неужели Ты не знала, хотя мне стыдно было сказать это, что это море, что эти сосны – мне мучение; что каждая волна, каждый луч солнца отравляют меня воспоминанием о прошлом. Переживать что-либо без Тебя, хотя бы впечатления заката, для меня только боль. И все дни мои здесь большее, трижды, десять раз больше мучительство, чем то, на какое я иногда жаловался зимой. Ты спросишь меня, кто же присудил меня к этой тюрьме. У меня нет сейчас мужества написать те слова, из которых слагается ответ, хотя и знаю их уже, быть может. Чтобы разрешить завязанный узел наших жизней, мне надо было бы быть лучезарным Александром (Македонским. – *И. Т.*), сыном бога солнца, поднявшим меч в Гордии, а я – как это северное небо, вечно неуверенное над вечно неуверенным морем. Из тех жизней, которые задыхаются в этом гордиевом узле, мне предоставлено сделать счастливой лишь одну (хотя бы свою, но не две), а я обрекаю все их на мучения (и прежде



всего – себя). Когда передо мной выбор двух жребиев, я непременно беру тот, который мучительнее для меня...

Дай мне жить надеждой, мечтой, верой! – Здесь мне часто (ах, слишком часто) снятся счастливые сны: проснись – нет ничего, нет Тебя, чужбина, темное отчаянье. Что, если, проснувшись от ужаса этих дней, я не найду Тебя той, с которой я сейчас, которой пишу это письмо, Тебя Твоего письма! Страшно увидеть Тебя иной, страшно. И так непривычно поверить в счастье. Дай мне его, потому что только в нем, быть может, еще бьют ключи живой воды, без которой я умираю.

Нина, Нина! Будь той, которую я люблю, чтоб я мог молиться Тебе, ублажать Тебя на коленях, простирать к Тебе руки, как сейчас пред этим бесстрастным морем и пред этим безответным небом. В пространство, к вечно пылающему солнцу, кричу: люблю Тебя! Падаю, умираю, убиваю Тебя и повторяю: я – Твой!..

21 июля / 3 августа 1906. Стокгольм.

...Никогда, никогда не изведать мне того, что я знал с Тобой и что *вновь* мне доступно лишь с Тобой...

Я не устану повторять, что вне Тебя для меня нет жизни. Все, что без Тебя, может быть чем хочешь, падением или подвигом, бездействием или творчеством, но всегда будет отречением от жизни. Потому что я люблю Тебя, только Тебя, и только люблю.

Не пишу больше, ибо почти одновременно с этим письмом буду в Москве... Мысль о том, что там Ты, кружит голову. Как увидеть Тебя? Что я посмею сказать? Что отвечу? Как буду молчать? Хочется, увидав Тебя, стать на колени, положить голову Тебе на руки и не говорить, не спрашивать, не отвечать. Напиши мне в «Скорпион» (или скажи по телефону), что Ты хочешь. Можно ли нам встретиться, или нельзя, не должно. *Ибо может быть не должно! Если Ты мне скажешь «нет», разве я посмею спорить, разве не будет это справедливо? Но скажи «да»! Нина! Нина! Еще и еще раз скажи «да», потому что у любви не может быть пределов, не может быть возмездий! Не ради меня, а ради своей любви, скажи «да»! – потому что я одного хочу: видеть*



Тебя; к одному простираю руки: к Твоему образу. Потому что я люблю Тебя, только Тебя и только люблю!

И, как всегда, когда пишу письмо Тебе, теряю связь слов, не могу говорить рассудительно, не могу даже писать ровным, твердым, *своим* почерком. Прости и это, всё прости, у меня одна просьба: *прости...*

Нина – Брюсову.

6 августа 1906. Москва.

...Вчера я была с тобой совсем немая, хотела говорить и не могла и не умела, хотела быть радостной, а губы не улыбались. И страшно мне сегодня, что в эти минуты ты не вполне понимал меня и думал что-нибудь тяжелое, печальное. Милый, милый, прости мне сейчас и молчаливость и неуменье радоваться совсем, до конца, и этот страх, что иногда является в моей душе. Не думай ничего дурного, – это только следы прошлой боли, усталость от острого отчаяния последнего месяца и еще что-то совсем внешнее, только телесное. Верь, мой дорогой, я совсем, совсем счастлива. И если *ты* – не сон, если останутся у тебя эти глаза, если не перестанут звучать слова, в которые так страшно и сладко верить, – я скоро, скоро оживу, научусь улыбаться, смеяться, радоваться. Буду какой ты хочешь меня, только *пока* прости мне минуты, в которые я огорчаю тебя своим видом. Валерий, Валерий, минутами твоя нежность, *эта* нежность, о которой я только с тайной болью тосковала целый год, пугает меня больше твоей прошлой суровости. Вдруг протяну уже к ней руки, захочу взять, все ощутить, упиться ей после долгой, долгой печали, – а ты изменишься, разлюбишь, уйдешь.... Валерий! Неужели это возможно?!...

И когда я так подумаю, опять падает сердце и душа замирает. И хочется говорить – «не надо, не надо!» Страшно новой боли. Я очень замучилась в прошлом. Возможно ли *так* еще?.. Не знаю. Но если *ты захочешь*, я поверю, и улетят последние тени. Только прости меня сейчас, и верь, и знай всегда, во все дни, *что ты моя жизнь*, вся жизнь, всё. Ах, что слова! Ну посмотри на меня, возьми душу!

И еще... Валерий, близкий, дорогой, я умоляю тебя, – не делай ничего *для меня*. Вот теперь, в эти дни, когда



вернулся ты ко мне, когда говоришь, что любишь, и слово это зазвучало *еще* по-новому, – будь со мной совсем просто, не бойся меня. Говори все, не *заставляй* себя ничего *для меня*. Доверимся друг другу, пусть придет последняя прозрачная ясность. Я буду счастлива в те минуты, когда у нас будут *одни* желанья, и буду столько же, так же любить тебя всегда, всегда. Не нарушай в твоей жизни ничего *для меня*, будь со мной, когда только хочешь *ты*. Я хочу быть твоей *радостью* светлой и легкой.

Милый, я говорю совсем серьезно, и не только отвлеченно. За каждым словом моим есть определенный реальный образ. Но я не боюсь ничего. Я хочу отдать тебе всю любовь, всю себя, чтобы всегда ты чувствовал эту безмерность и верил мне, верил, Валерий!..

25 августа 1906. Москва.

...Откуда, откуда возникает вновь все то, о чем уж я без дрожи не могу думать? Эти встречи, которые кончаются отчаянием, боязнь друг друга, недоговоренный холод отчуждения... Этого ли хотела я, ожидая тебя в июле!..

Помнишь, когда мы в первый раз встретились, и еще несколько свиданий, нам обоим казалось, что поняли мы что-то до конца, говорили о ясности, и близилась она; казалось, осталась ничтожная преграда, не трудная для нас. У тебя были милые, милые нежные глаза, сияло в твоём лице что-то новое, преображенное, ты говорил слова, которых я не слыхала давно, давно. Только память о слишком еще близкой боли не давала мне доверчиво кинуться в эту нежданную сказочную радость. Страшно было *произнести*: «я верю, вижу, я знаю», хотя я уже верила и знала. А потом, я не могу уловить момента, когда именно, но я стала видеть, что ты меняешься, перестаешь понимать меня, что-то чуждое легло на твоём лице. Ах, невольно стал мне вспоминаться прошлый год! Ты скажешь, что это не правда, что ты не чувствуешь в себе никакой перемены, но ведь ты *никогда* не сознавался мне, *всегда* отрицал, негодовал и только после говорил, что я была права. Я так к тебе привыкла, так я знаю все малейшие оттенки выражения твоего лица, так чувствую



тебя, что не могу впасть в грубую ошибку. Может быть, все это пока незначительно. Прежде у нас и во всяких других отношениях, когда «любят, как любят», это прошло бы незамеченным. Но после этих двух лет, после необычайности всего пережитого у меня явилось страстное непобедимое стремление к последнему идеальному образу любви. Хочу немислимой близости, хочу быть с тобой как наедине с собой, ясности хочу, не бояться тебя, не таить, не замалчивать. Хочу всей полноты любви *твоей и своей*, и потому так особенно горько теперь чувствовать, что между нами все же какая-то стена, которую мы не умеем разрушить. Нам нельзя уже быть на поверхности, ты сам сознал это. Ты говорил так недавно. А после попыток первых, самых первых встреч я с ужасом чувствую, что в этом смысле мы не только не идем вперед, а движемся назад в окончательную немую безнадежность. После некоторых усилий мы оба, конечно, могли бы создать новую форму отношений. Научились бы с осторожностью скользить, не падая, над пропастями, касаться друг друга с равнодушной нежностью, с ловкостью избегать всего слишком острого, сделали бы хорошие маски, похожие на лица. И так бы шли дни, недели, может быть, месяцы. Но куда же ведет такой путь? Мы бы вместе убили любовь. Ты часто упрекаешь меня за чрезмерную рассудочность, видишь в ней лишь дурной знак. Но, пойми, я печалюсь, и думаю, и говорю только потому, что безумно боюсь потерять то, в чем одном вся моя жизнь. Валерий, ты видишь, ты чувствуешь, мы опять идем в лабиринт. Нужно разом что-то разрушить, нужно не бояться трудности этого. Тут я вхожу в мир самых неясных предначертаний и ощущений и потому не нахожу точных, самых подходящих слов. Что нужно сделать? Как? Что говорить? Не знаю, не знаю, но чувствую, что мы на роковой черте. Нужно или победить, рассеять туман, ослепляющий глаза, или скоро совсем и навсегда отказать даже от этих мыслей и остаться в области полуслов, полу-близости... полу-любви. Если бы ты понимал меня сейчас! Ах, не бойся ты меня, не старайся увидеть за моими словами какие-то безмерные реальные требо-



вания, посягательство на твою свободу, жизнь, желание *нарушить* и какой-то грубый торг. Правда, – любовь все прощает и ничего не требует. И сам ты вспомнишь, – все было, как *ты* хочешь, и я не прошу ничего, и все принимаю, и люблю тебя всегда, во все минуты, какими бы они ни были для меня. Ты хочешь радости и счастья, беззаботных улыбок, легкости, – *и я хочу*. Но чтобы это было, нужно *и мне* ощутить вполне это слово «Любовь». Нужно и мне совсем забыть печаль. И вот я жду тебя совсем близкого, с тем лицом, которое мне видится в мечте, с душой, которую ничто, никакие тени не могли бы закрыть от меня. Валерий, милый Валерий, не сердись на меня, не досадуй, что не умею я сейчас без мысли, как в ласковом сне, предаваться минутам, а все спускаюсь в печальные глубины, все оглядываюсь назад.

Я хочу нового, хочу быть с тобой, я верю в счастье и печалюсь, печалюсь без конца, когда вижу, что ты опять какой-то не свободный, точно чего-то боишься, чего-то не хочешь потерять, как будто я хочу *отнять*, а не *дать*.

Милый, не бойся меня, не бойся ничего. То, что у нас, то, что с нами, – расцвет, весна, которой не повториться никогда. Зачем же мы сами так безжалостно рвем и бросаем цветы? Зачем, Валерий?

Не сердись за это письмо. В нем тоже полу-мысли, полу-слова, но я зову тебя к иному, и обещаю, и клянусь, что преодолею всякие трудности, только чтобы не остаться в этом томлении. Валерий, ты слышишь? Хочешь?

29 августа 1906. Москва.

...Пусть все будет так, как хочешь ты. Всегда для тебя, мне же не нужно ничего, кроме одного твоего слова «люблю». Не думай обо мне дурно, ни одна черта не нарушила того образа, который ты видишь, знаешь и любишь во мне. Мы оба говорили вчера страшные, неверные слова, я не хочу их помнить – они последние отблески чего-то уже давно умершего в моей душе, голос ветхого человека. Мне стыдно за них, мне больно, что я могла оскорбить тебя, и я прошу тебя просто – прости, прости! Я знаю все о тебе и все люблю, и если иное еще



трудно мне принять и понять до конца, – не негодуй на это. Я научусь любить тебя так, как нужно любить *тебя*, и скоро, скоро, верь мне, Валерий, исчезнут последние углы, последние острия. Посмотри, как я изменилась с тобой, около тебя. И радуюсь этому беспредельно, и ничего не хочу из прошлого. Ах, верь *мне*, моей жизни, каждому дню ее больше, чем минутным жестоким словам. Что слова! Сколько противоречий в них было и у тебя и у меня, какими жестокостями мы ни мучили друг друга, – но ведь мы *вместе*, все же вместе и не можем быть друг без друга. Я поверила в это, я узнала это окончательно, и бесполезно бороться, уклоняться. Осталось мне одно навсегда, на всю жизнь – любить тебя и радостно, без напрасной боли отдать тебе всю душу до предела, до конца. Будь всегда таким, как ты есть, не сламывай для меня *никогда* ничего. Люблю тебя, буду любить тебя! Никуда не уйду и с восторгом вижу, что замкнулся круг и *некуда* мне уйти.

Валерий, прости меня за все! Мне так больно сегодня. Каждое мое слово из вчерашнего разговора мучит меня сегодня болью и стыдом. Неужели не веришь, неужели не чувствуешь последней искренности покаяния?

Валерий, милый, любимый, будем близкими! Не ставь мне в счет этих дней! Посмотри на них иначе, чем на подобное же в прошлом. Мне кажется, что с болью, с трудом через них мы идем к тому, чего так сильно хотим оба. И нет у меня ощущения безнадежности прошлого года, я верю, верю. Верю тебе, себе верю, верю в то *навсегда*, которое прежде казалось только красивым, увлекающим словом...

Зверочек, а глаз твой?.. Я безумно тревожусь. Неужели случится что-нибудь серьезное и он разболится. Расскажи мне, *где, собственно*, ты уколол об мою проклятую булавку? Милый зверочек, прости и это. Разве я хотела!?.. Всю ночь думала об этом, и сейчас, и боюсь ужасно. Скажи же мне, я так тревожусь.

Даже тут чувствую еще раз, что мы совсем одно, все, что с тобой, так же, так же, как ты, ощущаю я. Милый, милый, милый, люблю тебя, люблю!..



Брюсов – Нине.

Сентябрь 1906. Москва.

... Не сердись на меня, помни меня, люби меня, верь мне немножко. А я Тебя люблю. Стали ли мы басней на Вашей лестнице... Не знаю, удастся ли мне сегодня услышать Твой голос... Всё дела. Только Ты не сердись на это, ибо и сам я хотел бы вынырнуть из этого омута мелких дел и обязанностей, но как. Вот клянусь, не знаю. Ты когда-то обещала вытащить меня, как утопающего «за волосы», а потом говоришь: «Жалко, тебе будет больно». Хочется опять наклониться к Тебе близко-близко, чтобы увидеть эту слезиночку в Твоем глазе. Люблю Тебя, Нина...

Нина – Брюсову.

3 ноября 1906. Москва.

... Только сегодня могу писать, и это письмо сегодня же сама отвезу к почтовому поезду. Я все еще в тумане и во сне, слышу только твои слова, еще вижу тебя близко, близко. Всю нежность твою еще переживаю я и берегу мою душу. Милый, милый, как трудно расставаться с тобой! После дней с тобой всё – и люди, и стены, и эта «моя жизнь» стали еще более чужими. И я среди всего, преданная только любви к тебе, – как призрак, как тень. Сразу вокруг меня возникла щемящая тишина, точно чертой отделилась я от всего. Чувствую себя чужой всему, чувствую все чуждым мне.

Вспоминаю все дни, как один, все дорогие. И грустно мне, грустно... Приходят на память опять смешные слова о «солдате», и я улыбаюсь сквозь слезы, говоря их. Но «расстроилась» я иначе, чем прежде. Где-то глубоко, глубоко возникла грустная поющая нежность, в которой потонуло все темное этой осени, – все обиды, печали, боль недоверия. С упоением, с новой, еще незнакомой радостью мне хочется говорить: «я верю, верю тебе». Мне все без слов сказала твое лицо в последний день, твои нежные глаза. Валерий, Валерий, не уходи от меня никогда, поверь и ты, будем близкими, родными всю жизнь. Эти дни в Петербурге, несмотря ни на что, вопреки всему кажутся мне той желанной последней ступенью близости, которую мы так томительно и долго искали всю осень. И хочется встать перед тобой на колени, долго, долго целовать твои



руки и, не поднимая глаз, просить тебя: «прости, прости все». Прости все мучительства вольные и невольные; обижая тебя, я разрывала и свою душу. Любовью твоей прости и пойми. Ведь чем сильнее я тебя люблю, тем острее в иные минуты боль от того, что жизнь сложилась *не так...* Твоя жена, может быть, уже совсем безвинно *теперь* воплощает это *не так*, но ведь больно! В каждом дне, в каждой ночи последнего времени перед отъездом были минуты, когда я падала в отчаянии от того, что все безнадежно навсегда. Это единственная настоящая, глубокая и серьезная печаль всей моей жизни. Ты пойми ее просто ясно. Для того, чтобы пережить ее, мне нужна только одна *вера* в тебя, в твои слова, во всю твою любовь. И я уже верю, Валерий. Ах, казалось невозможным, чудовищным, страшным, что ты можешь *делить*, и *мое*, только *мое* отдавать кому-то еще.

Но в эти дни я совсем, совсем поверила тебе и с покорной нежностью говорю, – пусть все будет, как нужно тебе, как можешь, как хочешь ты. Всю мою жизнь, всю душу я предаю твоей воле.

Научи меня остаться такой всегда. Только любовью и лаской ты можешь сделать со мной все. Я буду совсем твоей, у меня исчезнут навсегда все темные туманящие чувства. Валерий, любимый!.. Зверочек мой, ты просил меня рассказать о «реальностях». Но что? Везде только ты. Когда в последний раз за чьими-то чужими лицами мелькнуло твое лицо, а дальше только фонари да тьма, я прижалась к окну и предалась своей печали вполне. «Они» падали, падали. Тонкие стонущие струны рвались где-то глубоко, а «они» все падали, падали. Потом была тоскливая, одинокая бессонная ночь, хотя никто не мешал бы мне спать. Засыпала на минутку и опять просыпалась надолго. С Сережей встретились равнодушно ласково, точно расстались накануне. И вчера и сегодня хочется молчать. Странно еще начать говорить какие-то другие слова, и не с тобой, и не к тебе. Все еще чувствую тебя, тебя в каждой мысли, в каждом своем движении. Хочется обнимать, ласкать тебя, удержать счастливую память этих дней. Очень, очень больно от всяких «реальных» прикосновений.



Долго я не войду в эту жизнь и войду иначе, чем прежде. Отграничу, отрежу себя и от людей, и от их интересов. На что мне все! Сереже уже сказала, что никогда больше не позволю говорить о тебе ничего. Сказала это исключительно на будущее время, потому что ни вчера, ни сегодня он не говорил ничего. Буду беречь любовь и не дам призракам чужих слов, чужой злобе как-либо вторгаться туда, где должны во все минуты и горькие, и счастливые быть мы только вдвоем. Милый, хороший зверочек, чего-то нового, совсем светлого жду я после этих дней. Люби меня! Будь со мной, куда мы можем уйти друг от друга!

Здесь все, кажется, неизменно застыло... Все друг друга и всех ненавидят по-прежнему, в кружке читаются лекции и проч. и проч. Господи! как все это далеко от меня!..

А ты, зверочек, две ночи спал на нашей постели, на наших подушках... Один смотрел на золотые узоры, один приходил в эту комнату. Милый, хороший зверочек, у тебя утром были спутанные волосы, и голубая рубашечка была на тебе... Мне грустно, мой зверочек! Я плакала и ночью и утром. Но не огорчайся, мне хорошо. Ты со мной, «ты как сон, как луч».

Напишешь? Приедешь?..

Брюсов – Нине.

3 ноября 1906. Петербург.

...Плохо здесь стало без Тебя. Проводив Тебя, пошел я было «к нам», домой, попытался писать стихи. Конечно, не удалось. Около полночи надумался и поехал к Мейерхольду. У него в этот час кончается репетиция. Он и Мунд (О.М. Мунт, первая жена В. Мейерхольда. – И. Т.) приняли меня ласково и напоили глинтвейном, но я затосковал еще больше. Вчера весь день ездил. Посетил Чуковского, Сологуба, Иванова, Волошина, Нувеля и еще многих, и еще многих. Пришла Твоя телеграмма и телеграмма к Тебе. Я послал Тебе несколько строк. Потом опять пришел вечер и опять опустелая комната. За стеной в «моей» комнате кто-то целуется: господин с дамой сняли два №№ рядом, мой и следующий. Лег в постель, Тебя вспомнил мучительно. Встал, хотел читать, опять Ты. Везде, везде Ты – в каждом уголку этой чужой, противной и странно милой, странно



родной комнаты. Оделся, ушел на Невский. Там уличная «любовь» в полном разгаре, не надо объявлений «Петербургской газеты». Зашел в автоматический ресторан и пил глинтвейн, пока ресторан не закрыли, в половине третьего. А вот и утро. Оттепель, сыро, туманно. На столе самовар, и хлеб, и наш сахар, и наш чай... Ах, Нинка! Нинка! Как ко всем этим мелочам, ко всем этим малым подробностям, о которых я рассказываю, привязывается, прирастает душа. Все, все в Петербурге вдруг озарилось Тобой. Весь знакомый мне облик города отошел и заменился иным, новым, любимым, Твоим! Длинный Невский, и цепь его фонарей, и отдельные перекрестки улиц, все вдруг стало живо от воспоминаний, стало священным, как урочища великих событий. Может быть, надо было нам расстаться, чтобы всей душой ощутил я всю пустоту бытия без Тебя там, где с Тобой все было жизнью, полнотой, счастьем. Если бы без Тебя я оказался не здесь, а вновь в Москве, я не испытал бы того режущего, душащего чувства одиночества, какое наполняет сейчас все мое сердце, здесь – в нашем городе, в нашей комнате.

Нина, девочка, любовь моя! мы часто мучим друг друга: я – Тебя, но и Ты меня. Мы много мучили друг друга здесь, в Петербурге. Но чувствую я, как из этих мучительств вырастает облик истинно великой, истинно непобедимой любви. Мы близки, близки, близки, – и никто не в силах сделать нас чужими, ни даже мы сами! Я никогда не перестану знать, что Ты любишь меня, хотя бы Ты сама говорила мне другое. И неужели Ты в моих глазах, в моих слезах не прочла то же, хотя бы мои губы, безумно, и говорили иное!

Нина, Нина, люблю Тебя! Твой *навсегда...*

4 ноября 1906. Петербург.

Еще день без Тебя, Нинка! Грустно, пусто. А за стеной всё целуются. Смотрел в замочную скважину, – не видать! Делаю свои дела, выдаю целые галереи лиц. Интересных – никого. Старые слова и старые мысли. Даже в дни революции было интереснее: говорили о политике, и для декадентов это было ново...



Люблю Тебя, Нинка, очень, очень, больше чем когда-либо. Люби меня, не бросай меня, верь мне, прощай мне. Хорошо любить навсегда, хорошо любить без конца. Неужели у нашей любви должен быть конец, скучный, тусклый? Не верю! не верю! Чувствую Тебя такой близкой, такой родной. Страшно только одно: что если это мое чувство, сохраненное мною здесь, вне моих обычных условий жизни, Тобою, в Москве, в прежних стенах, среди прежних лиц, растрчено, растеряно, развеялось! Не надо, не надо! Люби меня, как здесь, с той же нежностью, с той же страстностью, с той же яростью, как я люблю Тебя здесь!..

Нина – Брюсову.

4 ноября 1906. Москва.

...Милый, милый ласковый мой зверочек! После этих дней точно новым нежным светом засияла вся душа. Все темное, сказанное и недоговоренное, медленно упало на дно. Если есть печаль, то она светлая, вся из ласковых теплых лучей. Отчего так долго мы не умели прийти к этой близости, которая так чудесно возникла из самых жестоких мучительств? Отчего ни ты, ни я не умели найти глаз, которыми мы всегда, во все минуты должны смотреть друг на друга, ни той проникающей нежности, которая самое жестокое признание может сделать лаской? Каким туманом, *кто* закрывал наши души на целые длинные горькие часы? Валерий, любимый, родной, останемся такими близкими навсегда! Если мы не расстались в эти два года, если после них мы все так же непобедимо влечемся друг к другу, – неужели уж в этом одном не скрыто светлое, радостное обещанье? Были минуты страшной душевной усталости и упадка, когда охватывало тупое равнодушное «все равно», но эти дни, как лучи, осветили всю тьму, как весна, оживили душу. Пусть будет все, что дает любовь: и мученье, и радость, – все возьму, всего хочу, только чтобы был ты всегда, всегда!

Тоскую без тебя, зверочек, тихо, молчаливо. Даже Сережа замечает это и вчера завел со мной разговор о тебе. Он говорил мне: «Были дни, когда я *надеялся* (!) и думал, что ты можешь расстаться с ним. Ни в чем внешнем это



не выражалось, но я улавливал в тебе какое-то смутное внутреннее колебание. Теперь же я убедился, что *это* бесповоротно, и страшным кажется мне, когда вдруг в одном человеке сосредоточивается все, вся жизнь, все желанья, все чувства, мысли». Мне хотелось повторять за ним как молитву— «да, вся жизнь, все желанья, все чувства».... Страшно ли? Нет, хорошо так цельно, так бесповоротно отдать свою душу. Хорошо мне, Валерий, любить тебя! После многих лет хорошо сказать «люблю» так, как никогда не умела говорить это слово. И потому все мне с тобой кажется новым, никогда не пережитым, упоительным, возносящим душу. Ах, только сделай, чтоб я осталась такой всегда. И ты *прощай* мне, когда мне больно, не сердись, не ожесточайся на меня, а только посмотри ласково, пожалей, утешь.... У меня *есть вечная скрытая боль*, которую излечить можно только любовью... Я буду кроткой и покорной, буду, Валерий, «но больно»... И ты *прощай* мне эти минуты, если они придут когда-нибудь еще. Любя тебя беспредельно и так узнав, как я узнала всего тебя, всю твою душу, я навсегда откажусь и отказываюсь от мечты видеть твою жизнь *измененной*, но у меня есть смутная надежда, что когда-нибудь, в какой-нибудь краткий миг прозренья ты все и *увидишь*, и *почувствуешь* так же, как я, с той же болью и тоской. И если мы сблизимся в этих чувствах, *без всяких желанных осуществлений* я почувствую последнее счастье. Не сердись за эти слова, не сердись, милый... И в них, как во всем, одна любовь. Ты знаешь, ты знаешь все! Валерий, хороший, дорогой мой зверок, не меняйся в Москве. Я так боюсь! Вот вернешься... твои стены, лица, дела, забудешь меня, потеряешь из вида, разлюбишь «жизнь», не сумеешь слить ее с действительностью, обидишь любовь... Валерий мой, Валерий, не надо! Помни об этих днях, знай, что в каждый час, в каждый миг я люблю тебя так же, как там, с тем же безумием и нежностью. Помнишь, ты говорил мне полушутя: «Тебе всегда жалко расставаться со мной». Да, всегда я хочу тебя, всегда отчаиваюсь, расставаясь, и встречаюсь, как в первый раз. Полюби эту любовь, возьми ее, береги ее.



Хочется целовать тебя, целовать, ласкать... – я со слезами вспоминаю эти ночи. Валерий, счастье мое светлое, останься таким, как ты был в этой комнате, в эти дни, дай увидеть хотя раз *то* нежное, светлое лицо.

Жду тебя, люблю тебя...

1907

Нина – Брюсову. *13 февраля 1907. Москва.*

Не беспокойся, любимый зверочек, я почти совсем здорова. По крайней мере нет жару и выхожу. Было мне плохо только в пятницу и особенно в субботу. Лежала в постели, t° 39, думала, совсем заболею. Теперь ничего. Остались лишь какие-то смутные ощущения, но это уже всё пустяки. Будет о моей «болезни» – смешно даже говорить. Вот ты, зверочек, хвораешь... Сегодня уже, собственно, 10-й день ты болен. Как долго! Кто тебя лечит? Может быть, эти новые «золотые часы» ничего не понимают? Не сердись, милый, что я все спрашиваю, – но ведь я сейчас ни о ком и ни о чем, кроме тебя, не думаю. После Нижнего так и не могу и не умею войти в окружающее. Помню все, чувствую тебя, говорю с тобой, закрываю глаза и целую, целую тебя. После долгих недель и месяцев опять живу. Ах, только бы верить! Я пока умею верить только в те счастливые дни, когда ты действительно со мной и очень любишь. Как только чуть-чуть набежит тень на твою душу, я падаю в отчаянии и думаю, что все пропало навсегда, и каждую встречу считаю последней. Но весь этот месяц, с 19-го, говорит о чем-то другом, о новом. Вспомни, какие это были дни, ясные, светлые, простые. Если мы останемся такими, разве будет возможно расстаться, уйти, отдать себя чему-то другому? Разве возможно, Валерий?! Ты считал меня жестокой, требовательной, осуждал, негодовал. Может быть, был прав и ты, может быть, и я, – об этом больше не надо говорить. Но посмотри, куда все ушло, где всё? И только от твоих ласковых слов, от нежных глаз, оттого что однажды



пришел ты таким, какого мучительно и напрасно ждала я долго, долго. Не понимая, должно быть, где сущность, я говорила *все не о том*, мучила тебя и себя. А ведь просто как! Все только в твоей душе, а не в «ней» и ни в чем внешнем, и не может она ни помешать, ни коснуться нас, потому что все соединившее нас ей неведомо и чуждо, как жителю иной планеты. Когда я буду видеть тебя всегда близкого, всегда родного с *моими* нежными глазами, – что я могу спросить с тебя, чего требовать?.. Ты сам не захочешь ни мучить, ни обижать. Я просто доверюсь тебе, всей душой, всей жизнью. Ты веришь, Валерий? Правда, что настал миг последнего выбора, последнего окончательно решения. Рассеялись тучи, что долго-долго закрывали голубое небо и солнце. Разве захочется уйти теперь? Куда? Зачем? Нам так хорошо... И я покорно и с последней светлой нежностью говорю, – *навсегда*. Скажи и ты, и ты! Скажи еще раз. Не бойся меня, я стала совсем хорошая, – это не слова. Правда. Будем еще ближе. Будем говорить все, без боязни. Страх создает ложь. Не надо больше лжи, ни твоей, ни моей. Люблю тебя, мой милый, ласковый зверочек, хочу тебя, твоей близости, твоих ласк с неизменной влюбленностью, точно каждая встреча – первая. Выздоровливай. Как хорошо мы встретимся, как много, много я буду целовать тебя. И ты... Будем? Ты захочешь? Но не выходи, пока не поправишься совсем, ты хрупкий, как маленький ребенок. Не думай обо мне ничего, ничего дурного. Я живу тихо, одиноко, только с тобой. Пиши, так радуюсь на твои письма...

Брюсов –Нине.

25 июля 1907. Москва.

...Не слишком ли мы всё узнали, не слишком ли всё проанализировали! Ах, трудно сочетать анализ с живым чувством, – хотя такое сочетание и будет венцом человеческой души!

Ты представляешься мне медиком у постели больного, а больной этот – наши отношения (не хочу сказать наша любовь!). Неустанно Ты ставишь один диагноз за другим, все более и более точно определяя болезнь. Всматриваешься, вдумываешься во все симптомы и всё поправляешь



себя. А больной в это время умирает, ему нужны лекарства, сейчас, немедленно, а Ты, боясь ошибиться, только размышляешь над ним...

Дорого мне и рад я, что берешь Ты назад иные свои обвинения, которые были очень несправедливы и очень жестоки. Только вот в чем дело: не важно сейчас, совсем Ты права, или не совсем, или совсем не права. Не рассуждать нам должно сейчас, а что-то делать. Не определять болезнь, а лечить ее!

Нина, дорогая, хорошая, милая! Еще и еще раз обращаю к Тебе всё те же рассуждения. Есть две аксиомы. Первая: «Мы должны быть вместе». Вторая: «Мы таковы, каковы мы». Конечно, если одна из них не истинна, нечего и говорить дальше. Но если истинны обе, надо найти средний путь, ведущий между ними. Надо сделать так, чтобы каждый из нас, оставаясь самим собою, мог быть с другим. Требовать, чтобы переменялись чувства, чтобы изменилась душа, – безумие. Больше я от Тебя ничего такого не спрошу, и Ты не спрашивай такого от меня. Но неужели для тех нас, каковы мы теперь, нет единения, нет путей вместе, не рядом только, но действительно вместе!

Нина, Ниночка! я очень Тебя люблю, я очень хочу быть с Тобой, – не так, как последнее время, но близко, близко, тесно, слитно душой, как телом. И наперекор всем тучам, закрывшим весь наш небосклон, все еще, безумно, верю я и в солнце, и в ясный день. Сделай шаг ко мне, не уходи прочь, не отрекайся от меня, а я протягиваю руки к Тебе – всегда.

Скучаю без Тебя, Нинка, в Москве, без Твоего голоса, без Твоего лица, без Твоих губ...

Нина – Брюсову. 25 сентября 1907. Петербург.

... Пишу тебе в 7 часов утра. Но не думай дурного. Я захворала в вагоне, должно быть, от холодного шабля ночью сделался жестокий кашель. Да вот и не проходит. Не сплю совсем, в голове туман, грудь болит, лекарство не помогает. Петербург поэтому воспринимаю 1/4 своей души... Нигде не была... сидела одна, сонная, и кашляла. Так до сумерек. А потом, только не «в золотой час» (в Петербурге ужасная



погода), а в серый, пришел Ауслендер (С. Ауслендер – прозаик, поклонник Петровской. – И. Т.). Ах, знаю, с этого места ты перестаешь верить. Но я скажу тебе всю правду. Это свидание не было таким, как мы, шутя, с тобой говорили. Не говорил «дай», «будь моей», вел себя скромно, как ребенок. Он по-настоящему хороший мальчик. Я в Москве этого и знать не могла. Мы оба тогда немножко прикинулись, говорили декадентские слова. И вдруг вся эта глупость пропала. Встреча была хорошая и простая, простая, точно давно друг друга знаем. А от этого стал невозможным тон «легкой» влюбленности. Смотрел он нежно, говорил, что очень меня любит, что меня в Петербурге считают близкой, целовал руку, но все это не было ни пошло, ни грубо, а как-то хорошо и чисто в глубине. Что я думаю по поводу всего этого? Что я чувствую? – мне хочется сказать тебе совсем правду, хотя эта правда ведь маленькая и уж никак и ничем не может огорчать твоей любви. Я думаю, что эта ясная простота – знак хороший, она уничтожает элемент пошлой и по-дурному легкой случайности, что это одна из тех встреч, где главное и единственное даже – дружелюбность, а отсюда и невозможность ни говорить, ни слушать: «Будь моей». Он мне кажется маленьким мальчиком, нет, минутами даже девочкой, и клянусь тебе, душа у меня сейчас такая серьезная, строгая, верная и от тебя (но это хорошо) усталая, что у меня в мыслях нет никакого намерения «легко» провести несколько дней. Таких встреч в моей жизни уж, должно быть, и не будет. Легкость притягивает легкость, а печаль и серьезность не способствуют этому. Ну что же еще? Ну, он красивее, чем мне казался в Москве. У него совсем головка девочки, и в лице не мертвенность, а невинность и нежность. Был у меня до 12 часов. И вот смешно, – клялся мне (хотя я этой клятвы не спрашивала), что с Кузминым (поэт, драматург, литературный критик. – И. Т.) никогда *этого* (намек на известную гомосексуальность Кузмина. – И. Т.) не было, что это ему органически противно. А Кузмин чуток и обидчив, понял невозможность и не стремился. Говорил так убедительно, что я поверила, хотя жалко. Какая-то очень интересная черта отпала. Ну вот, зверь, и всё. Ты, конеч-



но, не веришь. А я буду рассказывать всё, день за днем. Все здесь полно памятью о тебе. Зверь мой, опасный, мучительный зверь, я люблю тебя и жизни без тебя не могу представить. Мой интерес «к душам» не считай для себя изменой. Ведь если около меня никогда никого не будет и я стану совсем рабой, как твоя жена, ты меня так же и разлюбишь от этого сонного спокойствия. Бросай «шар» в самые страшные пропасти, не то что в Петербурге, и знай, – он всегда упадет назад тебе в руки. Ты – моя судьба. Это страшно, но хорошо. Я уже больше не спорю, принимаю от тебя все как счастье. Ах, что же ты думаешь сейчас обо мне? Не подозревавай меня в дурном с этим мальчиком... В нем есть настоящая тонкость души. А я иногда люблю быть с людьми, когда они не грубы, как Бунин, и не хамы, как Зайцев. Я бы могла говорить иначе. Но зачем, зверочек, не пугай меня подозрениями, осуждениями, и я никогда не буду лгать тебе. Я люблю тебя. Мой каждый шаг озарен этой любовью, особенно теперь, я узнаю все новое и высшее. Разве ты не чувствуешь, как стали мы близки? И это чудесно после жестоких ссор и уверений в отчужденности. Пять дней я помню и здесь каждую минуту. А вдруг опять придет «безумие»? Ты склонен к нему больше, чем я. Я никогда не забывала, что люблю тебя. Никакие «отпадения» не могли бы выбросить из души твоего образа. А ты.... Страшно мне, и страх этот все сильнее. Напиши мне, напиши.

Вот самая опасная точка письма. Но я скажу, все равно. Мне очень скучно в Северной Гостинице. Не может же Ауслендер сидеть со мной целые дни... Так вот, Ауслендер нашел мне комнату в том же меблированном доме, где он живет. Не думай, честное слово, отдельную комнату и даже в другом этаже. Ты сердисься? Но что же тут по существу дурного? Ну что? Я знаю твои мысли. Зверь, не правда. Скажи, что так не думаешь... Боюсь тебя, но есть соблазн в свободе поступков. Все дурное можно сделать, живя на разных концах города, и наоборот. Неужели *за это* ты так рассердишься, что не напишешь? Валерий, напиши. Валерий! Валерий! Напиши, будет нехорошо, если ты станешь мстить так жестоко.



27 сентября. Петербург.

Милый Валерий, я не написала тебе вчера, потому что весь день лежала с жестокой головной болью. Чтобы избавиться от кашля (ведь это просто неприлично – приехать и кашлять), приняла в два дня 15 порошков кодеина и, должно быть, немного им и отравилась. Пробыла весь день дома и была очень рада, что Ауслендер долго ходил по каким-то делам. Потом сидела на диване, как кукла, нельзя было наклонить голову. Вот потому и не написала. Ужасные неудачи меня преследуют. Нужно же было простудиться именно в последние часы перед отъездом! Но сегодня я, кажется, чувствую себя довольно хорошо. Вчера вечером был Кузмин. Я очарована им. У него действительно есть легкость, настоящая лучезарность души, от которой каждое сказанное слово, даже пустое и обычное, чем-то озаряется. С ним можно говорить долго, приятно, без всякого утомления, особенно после Эллисов и даже Б. Н. Они совсем запутались и уж вот не знают простоты. Мы сидели втроем долго, и это первое вполне Петербургское впечатление было очаровательно. Нет, право, они живут иначе, чем все мы, и нет у них нашего змеиного яда. Вместо него веселая нежность и простота. Сегодня пойду в 5 часов к Блок. Не хочется, но они очень звали. А вечером к Кузмину слушать его музыку и стихи. Соберусь ли в театр – не знаю. Очень мало времени остается, но постараюсь. Зверочек... не думай обо мне дурно. Я живу совсем невинно. Здесь мне, правда, лучше, чем в Северной гостинице. Там уж очень неприятно.

Теперь об Ауслендере... Но что я могу сказать! Вижу его много, каждый день. Один вечер он мне читал рассказы. Вчера мы были долго с Кузминым. Бог знает твои мысли... Но веришь ли, эта встреча наполняет меня большим удивлением. Так не похожа она на то, *что бывает*. Я не знала, что существует такая невинная, скромная и тихая нежность. Он смотрит мне в глаза, несмело целует руки, говорит такие печальные, по-детски наивные слова, что иногда мне кажется, будто я читаю какой-то очень старинный рассказ о юной и давно забытой любви. Это красиво, но очень безжизненно, все в белых цветах, без оттенков, без ярких красок, и вид у него такой, что он сейчас умрет. «Меня очень



легко убить», – говорит он и наклоняет голову, как девочка. И у меня нет никакой жадности к любви, к той чужой неизвестной любви, о которой я всегда так много говорю. Смотрю и недоумеваю, и не знаю, что же должна я делать и говорить. Все это очень странно. И почему я здесь – тоже не знаю. Вероятно, затем, чтобы ты после жестоко мстил мне, чтобы вонзил иглу за эти безвинные дни. Ведь нет же бессмысленных событий? Или есть? Он не может слышать о моем отъезде. Падает головой на стол и говорит: «Этого не может быть, не может быть». А когда я сказала, что люблю тебя и буду любить всегда, он побледнел, а глаза у него стали большие и в слезах. Ну что же это такое, Валерий! Твой «шар» опять упадет тебе в руки, но зачем же это все? Чувствую себя с ним совсем непонятно. И эти дни ненужно входят в мою жизнь как какой-то особенной печалью. Знаю, когда буду уезжать, он будет цепляться за меня холодными руками, и лицо у него будет как у мертвых, а я буду думать о тебе и не сумею даже улыбнуться. Ах, это не так весело и легкомысленно, как мне казалось в Москве. Ведь не нужно, не нужно было с моей теперешней душой, строгой, верной и совсем отданной тебе, идти навстречу чьей-то любви. Не хорошо и жестоко. А ему, кажется, 18 лет, и у него нет ни твоей холодной четкости чувств, ни моего «литературного» стремления к встречам, тоже в глубине холодного и только наблюдательно жадного. Я пишу тебе, как обещала, все, до последней мысли. Верь, я не лгу. Ах, зверочек, я больше ничего не могу. Я люблю одного тебя и навсегда. И если теперь пойду куда-нибудь, то только для того, чтобы можно было повторить эти слова еще раз, чтобы еще раз взглянуть в глаза моей судьбе, моему Року с великой покорностью. Это очень страшно, но уж неизбежно и навсегда. Для того, чтобы ты любил, нужно говорить другие слова. Я знаю тебя! Но не хочу. Все равно. Возьми и делай как хочешь. И вот с этой злой обреченностью я встречаю любовь. Какая же в ней радость, на что она?! Мне будет жалко расстаться с этим существом. (Он больше «существо», чем Б. Н.) Я бы могла его очень долго и нежно любить, но не так, как ему нужно от меня, и вот, знаю, все кончится печалью через два дня, еще долго в Москве



я буду чувствовать, что сделала что-то нехорошее, ненужное. Он ведь не захочет быть бледным пажом *нашей* любви. Не захочет... Эти последние дни постараюсь быть очень веселой. Шутливость всегда плохо действует на нежность, а то на вокзале я опечалюсь, сама не знаю о чем. У него весь облик такой, и лицо, и глаза, и руки, что нельзя смотреть без печали. Точно надломленный белый цветок. Валерий, не ищи в моих словах трафаретности. Все это хорошо. Я еще не умею найти слов, буду говорить, когда увижу тебя, и ты поймешь. Все настоящее прекрасно. Я люблю одного тебя, но и от этого никогда не перестану понимать и любить красоту человеческих душ. И потому, что все это так истинно красиво, я не чувствую за собой никакой виновности и могу рассказывать тебе все просто и легко, как о картине, которую ты можешь знать только по моим рассказам и которая тебе нравилась бы так же, как мне. А что нравилась бы и тебе, – я уверена. Валерий, милый мой, не сердись, напиши мне А ты? А ты... Ты склонен к безумию больше, чем я. Посмотри, – безумна ли я? Через все вижу тебя одного и не забываю. А ты можешь выбрасывать меня из души... Можешь...

Напиши, зверок. Не сердись на меня. Я уже много дней не слышу твоего голоса, и это страшно. Зверочек!..

13 ноября 1907. Москва.

Валерий, я чувствую и знаю – ты поглощен *ее* делами и любовью *к ней*. (Подразумевается В. Ф. Комиссаржевская, выдающаяся русская актриса. – *И. Т.*). Отчего же не имеешь смелости сказать прямо в лицо холодные четкие слова. По твоему молчанию, по тому, как ты избегаешь видеть меня, – я угадываю правду. Я сегодня провела ужасную ночь. И если тебя радует «безумие» исступления, – то все это было. До 1 часа со мной был Сережа (новобрачный – он вчера же венчался), (бывший муж Петровской обвенчался с актрисой Л. Д. Рындиной. – *И. Т.*) было похоже на какую-то невероятную страницу из романа. Сегодня я чувствую себя полумертвой и больше не могу, не могу в этих стенах ждать тебя и возврата твоей любви дни и ночи. Вместе с тем как передам это письмо швейцару, возьму билет в Петербург. Все равно! Зачем поеду – видит



Бог, не знаю, но не могу больше ни рыдать, ни звать тебя напрасно. Иди к твоей новой любви, страшный пленительный зверь! Убей еще чью-нибудь жизнь, – от этого ты расцветашь. Прощай, я люблю тебя. Но ты «плюешь» на нее с большим пренебрежением, чем когда-то Б. Н. Должно быть, такова судьба Любви.

26 ноября 1907. Москва.

Милый Валерий,

я не хочу расстаться с тобой на том жестоком вечере, когда за моей болью было нельзя увидеть меня. Нам нехорошо так расстаться после трех лет, после всей нашей прошлой жизни. Пусть все кончилось, но не помни меня ни злой, ни жестокой – это не правда. Я вижу тебя уже вдалеке. Мы больше не будем вместе – это моя роковая уверенность и, может быть, твое желание. Ты сказал, что давно бы ушел, если бы я всё не продолжала звать тебя. Я знала, знала это. Только отчего и не сказал ты давно и так же прямо, с такой настоящей красивой жестокостью? Ты разлюбил. Может быть, в тот час, когда я произнесла первые пагубные слова: «Милый Валерий, я тебя очень люблю». Почему так случилось? Почему? Но об этом уж поздно. Потом ты уверял, что кончилась только «влюбленность», а пришла Любовь «на всю жизнь» и потому она не «острая» и не «безумная». Я уже давно перестала говорить о «безумии», но то, что пришло, уже не было ни любовью, ни «на всю жизнь». Жизни наши стали далеки, потому что ты не захотел их сблизить, а встречи – по обязанности *для меня*. И если они давно уже горестны и причиняют мне только боль и унижение – разве виновата я? Прежде я не понимала ничего и объясняла твое отношение ко мне разными мелкими побуждениями. Прости меня, Валерий. Я уже не думаю так. Я опять люблю тебя проясненной светлой любовью, как в первые дни, и знаю, – не вижу твоего милого знакомого образа только потому, что ты разлюбил. Тебя еще *увидят*, но уже не я. У меня были припадки острой ненависти, и я не лгала, когда говорила, что ненавижу тебя, но, верь, это только от вечной боли. Тогда я видела в тебе не тебя, а лишь какую-то злую силу, которая сделала мою



жизнь одним сплошным страданием. Душа омрачалась. Я знаю, – это дурно и оскорбляет любовь, прости и вспомни мое другое лицо. Оно останется для тебя нежным навсегда. Куда ты ушел? К новой любви или просто *от меня*, я не знаю, но чувствую, что ты ушел навсегда. Это сознание так ново и страшно. Я еще не знаю, как буду жить без твоей нежности, без твоего голоса, без возможности даже той редкой ласки, что была еще в этом году. Сегодня повесилась одна моя знакомая гимназистка, и ее сестра мне рассказывала, что они еще не могут поверить в ее смерть и говорят с ней и о ней как с живой. Вот и я разговариваю с тобой как с живым, а тебя уже нет, и ты никогда не скажешь мне слов, без которых я не могу уже жить. Я не смогу написать тебе еще, а потом совсем пойму, что тебя *нет, нет для меня*. Со мной заговорит о тебе каждый предмет в моей комнате, каждый камень на улице, где три года мы проходили вместе. Как страшно! ведь это-то и есть настоящая смерть. Валерий, Валерий, зачем это все так жестоко! Отчего я давно уже не знаю ничего, кроме горя?!

Ах, только не принимай мое письмо как нежную жалобу, которой я хочу растрогать твою душу. Я прошу тебя – *будь жестоким*. Я не хочу больше жалости. Не утешай меня. Если бы ты стал таким, какого я долго и напрасно ждала, я узнала бы этот трепет твоей души через пространство, что разделило нас миллионами верст, по одному оттенку твоего голоса в самых ничтожных словах. Но этого *нет*. Может быть, *это ты уже отдал не мне*. И пусть мне останется последняя горечь. Я не хочу нежного обмана. В последний вечер мне было страшно остаться с тобой до утра. Какой болью должна была стать любовь, чтобы сказать «уйди» тебе, тебе, о котором томлюсь я ночи и дни. Ты не понял меня, как не понимаешь давно.

И вот я одна навсегда. Мне страшно и больно, точно меня заживо схоронили. И в этой немой нестерпимой боли у меня сейчас только одно странное и грустное утешение, – через несколько домов так же, как я, томится Б. Н. Может быть, он тоже пишет письмо, которое она даже и не прочтет (имеется в виду Л. Д. Блок. – *И. Т.*), может быть, просто смотрит в окно, и глаза у него как у распятого



Христа. Мы встречаемся и смотрим друг на друга с последней смертельной нежностью и знаем всё. Странная, странная жизнь – через три года кто-то сплетает острыми терниями две разные и страшно близкие судьбы. Не смейся над нами. И «не смейся над мертвым поэтом». Такова любовь. И нет иной. Прощай, Валерий! Я люблю тебя так же нежно и светло, как в первую горькую осень после Финляндии. Ты опять в моей памяти оживаешь прежним. Прости мне все грубое и темное – это не было правдой. Я люблю тебя и любила все дни нашей прошлой жизни, все дни.

Октябрь – декабрь 1907. Москва.

...В это утро после вчерашней самой страшной из наших встреч я стою лицом к лицу с своей душой, и мне хочется сказать тебе, может быть, в последний раз самые искренние, горькие и нежные слова. Теперь я знаю – мне ничего не удержать и не вернуть. Ты уходишь, уходишь... Куда? Ах, не все ли равно! Уходишь от меня, из моей жизни. Я чувствую это в каждом маленьком событии, в чертах твоего лица, в голосе, в твоей нежности даже вижу я это, и она мне кажется страшной, прощальной, так я целую тебя мертвого в гробу. От твоей любви ко мне отлетел дух жизни. Она еще долго может сохранять свой внешний облик, но это уже будет случайно, или по привычке, или потому что судьба не посылает событий, разрушающих разом. Ты еще приходишь, еще целуешь и говоришь прежние ласковые слова, но мне от этого уже только страшно. От самых нежных твоих ласк я страдаю теперь больше, чем от твоей жестокости, и они ранят смертельно. Ты говоришь, что я всегда меряю и считаю. Расчетливо, сознательно взвешиваю твою любовь, чтобы воздать око за око. Это неправда, Валерий! Я *только чувствую*, только узнаю и вижу. И мне нечем воздать тебе за всю ту меру страданий, которую я пережила около тебя в эти три года. И я не хочу этого, потому что люблю тебя всегда и за все. Не верь моим «блестящим глазам» и «красным губам». *Так* мне хотелось бы переживать трагедию. Со смехом, от которого внутри растет непобедимый ужас, с лицом Гамсуновских женщин, которое



может улыбаться за час до смерти, с ощущением ледяного холода в сердце и сухими блестящими от страдания глазами. Это моя маска. Ты снимаешь ее без жалости. Если бы я стала такой по-настоящему и улыбалась бы не от горя, а от счастья, – это, может быть, хлестнуло бы тебя мгновенным, но острым ударом бича. И ты с жестоким любопытством смотришь в самую глубь глаз, нежными и безжалостными пальцами стараешься коснуться скрытых ран. Может быть, бессознательно вспоминаешь те свои улыбки, те интонации голоса, перед которыми я не могу уже не плакать, и вот я пред тобой. И вот, не укрываю больше лица, его настоящей трагической маски, – и только хочу я знать, зачем тебе это? Чтобы опять уйти, чтобы еще сколько-то времени продолжали эту страшную игру? Да, знай навсегда, я люблю тебя одного. Я не могу без тебя жить, жизнь моя сейчас одно великое и неутешное горе. Об тебя разбились все мои надежды. Я не знаю, как и зачем тянутся все эти дни, когда я давно уже внутренне рассталась с тобой. И если бы ты видел меня настоящую час за часом, если бы ты мог живой глубиной твоего сердца почувствовать мое отчаяние как свое собственное, ты, может быть, пожалел бы искренно, что позвал меня три года тому назад и безвольно обманул и отдалил меня от того, к чему я шла верно и с светлой, покорной душой. Милый Валерий, я хочу говорить тебе всю правду. Если бы я умело и тонко длила ложь и ты бы уверился окончательно, что я тебя не люблю, – я знаю, ты опять полюбил бы меня. Не надолго, но остро, и той любовью, которую я напрасно жду от тебя три года. Но я не хочу искусственных цветов, и мне больно, больно так ломать свою душу. Да и я никогда ничего «не умела». Валерий, не думай обо мне плохо. Разлюбишь совсем и уйдешь совсем, – это уже близко, это роковое, чего ты не можешь остановить, если бы и хотел, – но не думай, что я пошло и грубо уходила к другим, для измен, для мелких радостей. Я уходила от невыносимой пустоты, от безнадежности и отчаяния. Хотелось слышать нежный человеческий голос, хотелось слов, которые ты забыл мне говорить. И каждое из этих слов заострилось, как



игла, потому что мне были не нужны те губы, которые их произносили. И они – эти тени – приходили в минуты самого горького отчаяния. Я всегда помню числа и дни. Точно кто-то присылал их утешать меня, забавлять китайскими тенями. А потом – боль, раскаяние и твой образ, еще более яркий и жгучий. Валерий, я никогда не буду любить, никому не буду смотреть в глаза с такой нежной печалью. Ничье лицо не закроет от меня твоего. Все равно, пусть все кончилось и ты уже можешь любить не меня, – только вспоминай меня иногда ясно и нежно. Я такая, какой ты знал меня давно. Я не изменилась. Я не буду жить для маленьких радостей, потому что уже не умею их чувствовать и брать. С тобой, с вечной печалью о тебе, со слезами и отчаянием я проживу все дни, какие мне остались. Любовь все освещает счастьем или убивает. Мне – такая, что убивает. Я плачу, целую твои руки и благодарю за нее, как за большое счастье. Ты вчера говорил, что нужно хотеть страдания, а не бежать от него. Я не бегу. Принимаю его как дар, как светлый огненный венец. Но от всего, что ты дашь мне *для меня*, я отказываюсь навсегда. Не унижай больше моей любви. Лучше не видеть тебя совсем и не просить ничего, чем услышать, как вчера: «Я приду, но только на 1 ½ часа». Не считай эти слова за мелочность. Они так выразительны. Ты знаешь, как ты их говорил, и знаешь, что почти случайно, а вовсе не желанна была наша вчерашняя встреча. А теперь уже таковы все встречи. Они или потому, что ты думаешь: «Ах, оказывается, я уже неделю не видел ее», – и идешь. Или прошу я. Но того трепетного желания видеть, которое побеждает все даже настоящие препятствия, той глубокой внутренней потребности души быть вместе, которая у меня всегда, – у тебя уже нет никогда. Милый мой зверь, как же я буду без тебя!.. Опять одна, одна в целом мире, и смотрит в глаза мне темная холодная ночь. Я плачу все утро до изнеможенья, до боли в груди. Мне никогда не было так страшно. Когда над жизнью опустилось то, прошлое горе, – со мной был ты, нежный и близкий, как брат. А теперь – четыре стены и молчанье. Валерий, Валерий! Милый! очень, очень больно.



1908

Брюсов – Нине. 2/15 марта 1908. Москва.

...Грустно без тебя, и одиноко, и странно. И так – вот, свершилось; ты уехала, уехала, уехала. Чувствую это, может быть, гораздо сильнее, нежели думал, чувствую всей душой. И завтра не услышу Твоего голоса по телефону, и послезавтра, и много, много дней. И не буду знать, что Ты делаешь, что Ты чувствуешь. И Ты будешь не со мной, будешь с другим...

Почему эти слова нельзя прокричать громко, чтобы еще услышала Ты их в вагоне, который влечет Тебя сейчас где-либо около Вязьмы. А то получишь их Ты через столько, столько дней, получишь их для Тебя «сегодня», а для меня после-после-после-после-после-после завтра, если не позже еще! – и наверное позже. Эти слова произношу я, пишу я, еще ощущая последний Твой поцелуй, еще помня все слова, какие мы говорили на прощание. А Ты будешь читать мое письмо после того, как промелькнут перед Тобой города и страны, пройдут часы и дни, сменятся ряды впечатлений, будут прожиты целые жизни! Я пишу это все в той же своей комнате, где «все так привычно и знакомо, ко всем изгибам глаз привык», где все мне напоминает о Тебе, о нашей любви. А Ты развернешь эти страницы на берегу Canale Grande под венецианским небом, или в чужой, неприветливой, и новой! новой! комнате итальянской гостиницы! Ах, Нина, девочка моя, милая, хорошая, далекая, вспомни меня в этот миг, сейчас, таким, каким хочешь меня видеть, ибо я – тот, ибо я – Твой, ибо я – прежний. И странно мне одновременно видеть Тебя и сегодняшней, и той, будущей, и в вагоне, и на набережной венецианского канала, – и не знаю я, одна и та же Ты там и здесь или нет! Брошен мой золотой мяч, брошен далеко, высоко, высоко, и не видно его моим отуманенным глазам...

Нина – Брюсову. 7/20 марта 1908. Венеция.

...Звездочек мой, нежно, нежно любимый! Я все время с тобой... Всякие выходки мальчика (С. Ауслендера. – И. Т.)



довели меня до того, что я хотела не ехать с ним. Но когда я сказала «не поеду», – он понял серьезность угрозы и, немножко зная способность Ренаты к поступкам безумным, смирился и изменился. От Варшавы ехали очень холодно, официально, но совсем покойно. А с Вены уже началась борьба с внешностями, тут и ему стало не до любви. В Вене мы оба немного обезумели. По-французски почти не говорят, приходилось бороться с трудом за всякую мелочь. А мальчика было нужно одеть, приходилось ходить по магазинам и везде объясняться мне, так как он говорит только по-русски, да и то плохо. Вену почти не видали, был дождь, вечер. Впечатление кошмара и сна. Ехали в Венецию через Зиммеринг. От Австрии я в восторге. Все чисто, прилично, умно, культурно. Дорога изумительна и совершенно сказочна для глаз, отвыкших от всяких внешних впечатлений. В горах бы хотелось остаться и умереть, такая в них суровая горькая красота. Истомило меня путешествие до предела. Около Венеции хотелось просто плакать от усталости бессонных ночей. С мальчиком сейчас хлопот нет. Мы в Capello Negro. У нас две комнаты, и так будет все время. От ночных нежностей я его пока отучила. Италия меня удивляет. Она странно похожа на Россию, только еще ленивее и грязнее, и провинциальна, должно быть, вся. Приятна только какая-то особая свобода на улицах, и везде совсем чувствую себя как дома, и моих ничтожных знаний французского языка оказалось совершенно достаточно. Но в этом смысле мальчик без меня бы погиб. Венеции еще почти не видала. Сегодня бесцельно бродили в закоулках. Не хотелось идти смотреть что-нибудь очень усталой. Это завтра. Впечатлений ожидала пока больших. Так, как есть, я представляла, и не удивляюсь. Очаровывает только меланхолия всего города и больше те места, которых не видала на открытках и о которых ничего не умеют рассказать ни Бобочки Зайцевы (Б. Зайцев, русский писатель. – И. Т.), ни газетные корреспонденты. Здесь дождь и очень холодно, так что дня через три уедем во Флоренцию. Но прежде, конечно, все осматрю. Я сейчас совсем живая и очень овладела душой. Мучит только постоянное соприкосновение и напряжение жизни внешней.



Я отвыкла от этого. Для меня давно это все схема; и не больше. Ты просишь писать обо всем. Буду, милый, конечно буду, ничего не скрою. Ах, как много значит видеть человека вблизи, не в тумане своей мечты, а реально – утром, ночью, на улице, за обедом. Узнаешь самое неожиданное и, должно быть, чаще дурное. Мальчик не умный, душа у него неподвижна, напряжение нервной энергии минимальное. Это другая, не наша порода души. Не знаю, сумею ли из него создать что-нибудь настоящее. Может ли быть творчество из ничего? Есть в нем только интересное одно (чего нет ни во мне, ни в тебе) – тайное сладострастие. Скрыто оно в самые далекие глубины, но я поняла, нашла к нему ключи, хотя не пользуюсь и, может быть, не воспользуюсь вовсе. Когда я ему говорила о союзе трех, в словах очень отвлеченных и сухих (нарочно так), у него даже губы адели и глаза туманились. А что он... (гомосексуалист. – И. Т.) – в этом я не сомневаюсь ни минуты. Но это с какой-то стороны интересно, – я еще их не видала очень близко. Особенно интересно раздвоение желаний, – ведь правда, он меня очень любит и, вероятно, тут же пламенно мечтает о «нем». Ах, Валерий, как жаль, что ты такой скромный и целомудренный. Как жаль... Будет ли он настоящим – не знаю. Должно быть, нет. Но эту душу я возьму, я так хочу. Я увижу ее холодно всю до дна. Твой «золотой мяч» взлетит высоко, но упадет в руки только к тебе, к тебе, потому что ты единственный, потому что ты моя любовь единая и последняя. Не думай обо мне дурно. Мы так уже близки, что я могу ничего, ничего не скрывать. Я расскажу тебе всю эту поездку по дням в письмах частых, верных и нежных. Пиши о себе *все*. *Не обижай меня*.... Это так горько. Мысль об этом ранит одинаково и в одной комнате с тобой, и через пространства. Темнеет. Где-то грустно и протяжно звонят. Вода в канале под окном черная и тихая смертельно. Окна темные, точно никто кругом не живет. Рядом в комнате мальчик вздыхает, и все ходит, ходит. Как ты далеко, милый мой зверочек! Но ведь ты не забудешь, не разлюбишь?! Я вернусь совсем хорошая и твоя, твоя вся, может быть, первый раз так сознательно и непоколебимо... Сегодня я еще очень усталая. Здесь утром совсем не дают спать.



Итальянцы ужасные невежи, – свищут в коридоре, поют, кричат, бегают, как на пожаре. Вообще огромное сходство с русскими, а общий тип лиц, по-моему, прямо безобразен. Тупые, глупые, грубые лица без признака мысли. Ах, как я жалела в Варшаве. Я там познакомилась с одним студентом, который хорошо знаком с Пшибышевским*, и он звал его обедать в ресторан нашей гостиницы, чтобы познакомиться. Пшибышевский прислал мне в его письме всякие приветствия, даже маленькую фотографическую карточку, и писал, что может только завтра, потому что у него больна жена. А завтра я уже уехала. Но, может быть, это к лучшему. С Пшибышевским можно было пожалеть расстаться скоро, и к тому же он сейчас много пьет. Это кончилось бы не меньше, как дня через три-четыре и как-нибудь фантастично. Почем знать, может быть, с ним правда интересно, как в его книгах когда-то. А может быть, и нет – не знаю. Я уже на другой день была в Вене.

Вот, зверочек, кажется, рассказала о себе пока все. Написала бы и больше, но очень болит голова.

Пиши часто! Пиши! Я тоже буду. Я люблю тебя сейчас просто и покорно. Я совсем, совсем
Твоя.

Брюсов – Нине.

8/21 марта 1908. Москва.

...Девочка, милая, веди себя хорошо: не тоскуй, обедай, спи по ночам, гуляй днем, не обижай меня сверх меры. Эти заветы мне хочется повторять Тебе в каждом письме. Во Флоренции посети все *три* музея (если уже не хочешь идти в частные галереи): это чрезвычайно важно. Поезжай во Фьезоле. Попробуй мороженого или хотя бы кофе (если и в Италии Тебе нельзя мороженого) на площадке Микель Анджело. Вообще – посмотри на все, на что указывают путеводители. Даже если не хочется смотреть. Впечатление останется в душе, как семечко, и в свой день распустится цветком.

* Пшибышевский, Станислав (1868–1927) – известный польский писатель-модернист, крайний индивидуалист, вождь и законодатель поэтической Молодой Польши.



Прости, что пишу так плохо: этот раз пишу в «Скорпионе» и деловые разговоры в соседней комнате мешают...

Вчера был у меня «вечер», и А. Белый клялся мне в вечной любви.

Нина – Брюсову.

9/22 марта 1908. Венеция.

...Сейчас мне хочется писать тебе часто, часто. И если я не пишу каждый день, то только от усталости, с которой и встаю, и живу каждый день, и ложусь. Мне очень трудно жить в гостиницах, бегать, находиться среди всяческого шума. Здесь нарушены все мои вкусы и привычки, а это очень чувствуешь. В Венеции мы третий день. Живем, должно быть, не «по-людски» и не проделываем всего, *что* полагается и *как* полагается туристам. Смотрим понемногу. Пока только дворцы, собор и самые официальные внешние достопримечательности. Завтра весь день будем смотреть картины, а во вторник уедем во Флоренцию, потому что больше я здесь не могу. Теперь немного улегся хаос впечатлений, и я вижу у Венеции два облика, очень резко отделенных. Первый – это *открытие* – площадь Св. Марка, Canale Grande, толпы неприятных итальянцев, слишком голубое небо, слишком сладкое и сентиментальное море, голуби, море, кафе, туристы – все это грубо, и такая красота не ранит душу нисколько. В этих местах я расстраиваюсь (мальчик тоже) и как-то тупею. Тут все «просто-напросто» – и улыбки, и виды, и глаза. Пройдешь два раза, и уже надоело. А второй лик Венеции – его тут не увидишь, – ее сущность, ее тайна – тревожная, темная и тягостная – чувствуется только в извилистых улицах, в серых щелях, около облезших стен на берегах самых узких и грязных каналов. Здесь все призрачно, особенно ночью. Мы бродим по этим темным местам с упоением. И мне жалко, что сейчас солнце и голубое небо. Когда в дождь люди проходят почти над головой по странным сквозным мостам и где-то в узких щелях скупно горят тусклые фонари, а гондолы плавают, как гроба, – я чувствую себя возбужденно, испытываю знакомую сладкую остроту и дрожанье в груди, и это меня очень оживляет. Вчера зашли прямо в какие-то трущобы, я все



хотела попасть в какой-нибудь матросский кабачок, но на нас там смотрели так подозрительно и двусмысленно, что мы очень далеко уж и не углубились. Наверно, наверно, и тут есть прекрасные места, но как узнать и попасть в них? Прости, что я рассказываю тебе «впечатления», но ты сам велел не писать мне о любви. Во дворце дождей меня почти больше всего пленила развратная мадонна. Она висит незаметно над дверью – скульптурная, очень хорошо сохранилась, а чья она – я узнаю наверно только завтра. У ней нижняя часть лица (нос, губы, подбородок с ямочкой) – очень жестокая, нежная и сладострастная до ужаса – точно сделана с лица мальчика. Ах, Валерий, ты думаешь сейчас что-то неверное и «дурное». Поверь, более чуждой мне души, как у него (С. Ауслендер. – И. Т.), я не встречала. Около него я узнаю новое, точно читаю какую-то неприятную, но в то же время интересную книгу, точно знакомлюсь с неведомым мне музыкальным инструментом, на котором, впрочем, никогда не буду играть, если захочется музыки. Ибо эта музыка не для меня. Моя формула, в какую я сейчас хочу заключить наши настоящие и будущие отношения, это: – «мы двое мальчишек»... Но он ее, кажется, не приемлет окончательно. Минутами мне с ним скучно до озлобления. Тогда я начинаю его мучить рассказами о тебе, о моей любви к тебе, о неизменности ее, о твоей нежности. Так было вчера вечером. Сегодня он похудел и побледнел.

Поправлюсь ли я от путешествия – не знаю. Пока нет, совсем нет, даже наоборот. Надеюсь на Флоренцию, где хочу жить тихо, много спать, работать и вообще отдыхать. Но и в это не очень верю. Какой для меня может быть отдых и где? Я здесь еще совсем ничего почти не могу есть. Может быть, привыкну, а пока хожу в рестораны с отвращением. Ах, как грубы, некрасивы, невежливы и некультурны итальянцы, которых я здесь вижу. Живешь точно в деревенской гостинице – ну вот, будет о внешнем. Я так устала здесь от внешностей.

Зверочек мой любимый, меня очень тронуло твое второе письмо *на другой день*. Пиши мне часто хоть по строчке, – это даст возможность покорно прожить без тебя



столько дней, сколько ты захочешь. Я люблю тебя *больше*, глубже, яснее. Вот увидишь, увидишь! Пиши, если случится что-нибудь интересное «в сферах». «Весы» и «франки» пришли во Флоренцию. Я еду туда послезавтра и буду жить, вероятно, долго... Целую тебя нежно, мой любимый черноглазый зверочек. Здесь я ближе к тебе душой, чем когда-либо. Люблю, помню, ценю и склоняюсь перед тобой покорно и нежно, потому что ты единственный – это уже не изменится никогда...

11/24 марта 1908г. Между Венецией и Флоренцией.

... Вот, не забываю тебя ни на минуту. Качается итальянский вагон, напротив сидит мало нужный мне мальчик и смотрит (говорить и упрекать уже не смеет), а я нежно думаю о тебе далеком, но таком дорогом и близком среди всего, что сейчас вокруг. Венеция утомила меня. В окончательном итоге не нравится она мне даже декоративно. Только вечером в закоулках на темных каналах; – но это красота особая, и очень мучительная и не покойная. Уезжаю во Флоренцию пока с большим удовольствием. Хочется работать, тихо думать и даже радостно жду весны. Из Флоренции думаю в Пизу и еще на какие-то дни в Виареджио. Там горы и море. Как дальше – пока не знаю. Мальчик становится очень покорен. Я учу его пить коньяк, говорю с ним на разные рискованные темы, полусловами-полунамеками вызываю у него краску в лице и пьяный туман в глазах. Лицо у него делается как у развратной Мадонны из паллацо. К его душе у меня уже не ключ, а целая связка ключей. Только на что они мне? Ах, как раскачался вагон, едва пишу. Прости за каракули. Ночные нежности сейчас совсем вышли из употребления. Спим в разных комнатах. Мне часто с ним скучно, но терплю. Как это будет дальше – не знаю. Чувствую, что Италия только начинается после мертвенной тяжести Венеции, а как настроится душа – не знаю. Буду писать тебе все. Мои письма совсем не интересны. Но я верю, что начну и думать и чувствовать ярче и живее. Еще очень сильно утомление Москвы, а, может быть, отчасти и дороги. Испытываю опустошенность души, так пересыхают ручьи. Помнишь, мы много раз об



этом говорили. Даже боль, моя привычная, *дорогая* и вечная боль любви к тебе как-то замерла и нежно затихла.

Помню о тебе только светлое, ясное, люблю тебя серьезно, почти молитвенно, и все, что не ты, переживаю как шутку, как прогулку, как сон. Вернусь к тебе, хотя бы вновь на Крест или Костер...

Брюсов – Нине.

12/25 марта 1908. Москва.

... Благодарю за все подробности о Вашем путешествии. И в будущем, прошу, очень прошу, сообщай мне все с той же точностью. Мне хочется знать все мелочи, все дорожные случайности, чтобы как бы быть с Тобой, как бы своими глазами видеть Тебя в пути. Так напиши мне и о том, в какой гостинице вы во Флоренции, что в ней видели, где были, с кем встретились, и все, все. Также и о Венеции, если о чем-либо еще не писала мне.

Очень скучаю по Тебе, девочка, потому что очень привык быть с Тобой, говорить с Тобой, думать о Тебе. На телефон смотрю с горестной безнадежностью...

Много работаю. Много! Надо бы взять это слово в превосходнейшей степени. Работаю 17 часов в сутки, а 7 часов сплю. Более не делаю ничего: или сплю, или сижу за своим рабочим столом, тут же наскоро закусывая чай ветчиной. Исписал гору бумаги, а надо исписать какие-то Гималаи бумаги! Только, должно быть, я не испишу их, так как вернулись мои головные боли. Но Ты на это не пугайся. Достаточно мне перестать работать, решиться смотреть на синее небо, читать книги не для справок, а «для души» – и буду я опять здоров. К Твоему приезду так или иначе здоров буду.

Но какой-то вернешься Ты! Ах, есть в Твоем письме строки, которые заставляют меня очень опасаться за мой золотой шар. Чуть видно его под облаками.

Целую Тебя тихо и нежно. Прижимаюсь губами к Твоим волосам. Сохрани мне свою любовь...

Нина – Брюсову.

12/25 марта 1908. Флоренция.

...Добрались до Флоренции, устроились более или менее прочно в довольно хорошем русском пансионе



и думаем прожить здесь недели 2. После Венеции тут очаровательно. Какая-то строгая тихая нежность, почти святость, и большое внешнее успокоение от гостиниц, ресторанов, бегов. У нас две хорошие светлые комнаты, под окнами что-то цветет, хотя еще холодно, холодно мучительно, – когда пишу, едва сгибаются пальцы. Пока не осматривали ничего. Хочу это делать не как Бобочка Зайцев, а тихо, без утомления, без бестолкового мельканья. С мальчиком мне очень скучно. «Творить» из него что-либо нет никакой охоты. Вообще я, пожалуй, сейчас на это и не способна. Я – плохая. Не чувствую ничего острого. Не знаю, отдых это или новая стадия какого-то внутреннего заболевания, или мне не хватает тебя и оттого жизнь вдруг стала «просто-напросто». Не знаю тоже, что буду чувствовать, когда увижу Флоренцию настоящую, вечную, но пока мне Италия мало нравится. Да я, впрочем, и знала, что юг меня пленить не может. Если поеду еще в жизни куда-нибудь, то только на север. Устрою романтическое путешествие в Норвегию за «милым» и, как Брант (герой одноименной пьесы Г. Ибсена. – *И. Т.*), погибну в горах. А «милый» не придет, не придет никогда... Часто, часто вспоминаю, как *мы* ездили в Финляндию, и тогда глубоко презираю *эту* гигиеническую поездку, и смеюсь мальчику в лицо, и говорю ему, что ты Единственный, Вечный, Любимый навсегда, а он – кукла... (так назвал его Б. Н.), а он шутка, забава, игрушка с навеки испорченным механизмом. В его лице я вижу всех их – новых, чужих, для которых останется навсегда неведомым трагическое прошлое целых поколений. И *их* стремление к стилизации в литературе только щит, за которым необходимо спрятать ничтожность собственных душ. Я *их* очень не люблю за все – за игрушечность их жизни, за кукольность ее действия, за их литературу, корни которой растут из воды, и больше всего за то, что трагизм *никогда* не будет живым двигателем их душ. С ними можно устраивать недолгие прогулки, путешествия, пасторали с музыкой, – а *жить* с тобой или одной. Поняла я все до конца. Я вернусь с печальной умудренностью. Эта поездка кажется мне последним



перевалом. Впрочем, может быть, это было нужно, чтобы отдать тебе душу и жизнь навсегда. Я только теперь поняла, чем отмечена моя жизнь и какое это редкое единственное счастье быть связанной с Тобой. Это торжественно; это огромно, это нужно принять как божественный дар, если даже он смертелен. Ах, ты не знаешь, не знаешь, насколько серьезны эти слова. Все дни, а их уже 10, я чувствую себя менее всего во власти каких бы то ни было минут. *Все мое* со мной прочно, неотъемлемо, навсегда. Подхожу к последним границам самосознания. Это очень горько иногда, но ведь ты хотел меня такой? И если бы даже не хотел, – могу ли я сознательно верить в «безумие»? Милый, милый, не расставайся со мной! Будем вместе, и ради *минут ты* не убивай этой строгой, большой, почти мученически-прекрасной любви. Скоро, скоро, без усилий, без тяжести я буду такой, какой ты меня захочешь, потому что твои желанья полюблю так же, как тебя. Вот пишу, и сквозь всю ординарность внешнего мне начинает сквозить моя давняя любимая печаль. Но это не острога, не боль, а что-то светлое и тихое, как отдаленная музыка, – это не мысль, а почти реальное ощущение любви и Тебя...

Брюсов – Нине. 14/27 или 15/28 марта 1908. Москва.

...Стараюсь представить себе Тебя с Твоим мальчиком в Уффициях и в Питти, но плохо удастся. Изобрази мне, как сумеешь живо, свою жизнь. Не откладывай до встречи, до личного рассказа, – все быстро забывается, ах, быстро. Притом в письмах, написанных «с места», есть какая-то особенная живость, особенная подлинность.

О себе мне говорить нечего, пришлось бы из письма в письмо повторять те же слова: *работаю и устаю*. Да, чувствую себя усталым безмерно, и порой печально наблюдаю, как то не повинуется память, то воображение не умеет подыскать нужного слова, то мысль схватывает вопрос не так отчетливо. Нет! Закончу «Ангела», напишу свою драму, – и года два не буду делать ничего, ничего, ничего... Ах, пустые мечты, которым не осуществиться...

И я иду вперед, клонясь, как вол, Изнемогая от усилий...



16/29 марта 1908. Москва.

... Очень жаль, что Тебе не понравилась Венеция, – я ее очень люблю:

В лагунах еще отражаются
Дворцы вознесенной Венеции,
Единственный город мечты!

Но, вероятно, душа Твоя была утомлена – и Москвой, и дорогой, и всем! всем! Тебе нужны не лагуны, не музеи, а отдых и зеленая трава. Во Флоренции можно найти это. А если нет, поезжай в Виареджо, на берег моря. И коньяк пить вовсе не следует, а надо вместо того смотреть на слишком синее итальянское небо и на лиловые дали итальянских перспектив. Точно так же вовсе не надо работать, – успеешь еще осенью, – а, напротив, надо «ничего-не-делать», надо «ничего-не-думать». Отдай свою душу хотя бы на месяц в тихий покой, в бессмысленное усыпление, усни, усни... Ах, Нинка, хорошая, милая, любимая, не забывай, что впереди опять зима, еще зима, и что для нее надо много, очень много сил.

Пишу Тебе в каждом письме все одно и то же, потому что в моей жизни ничего не случается. Не шлю Тебе стихов, потому что не пишу их. Я правлю корректуры, я пишу роман, я посещаю всякие «заседания», я сижу в «Весах», я устаю, устаю – и ничего больше. Сейчас все мои желания сведены к одному: среди всех препятствий, среди всех требований, скорее, скорее окончить «Ангела»: тогда я как-то, в чем-то почувствую себя свободным! Такой несвободы, такой скованности всего духа и всей жизни, как сейчас, я еще не испытывал никогда. Плохо, должно быть, присужденным к вечной тюрьме!..

Нина – Брюсову. 16/29 марта 1908. Флоренция.

... Я не забываю тебя *ни на минуту*. Утратилась, утратилась моя способность забывать всех оставленных через 100 верст от дома. Всё мое со мной и день и ночь. Не ощущаю *никакого* забвения. Здесь я очень затихла, точно засыпаю в Флорентийской тишине. С мальчиком живем сейчас мирно. Ах, это странная история! Такая бесплотная, что



я ее понять не могу. Не веришь? Я и сама иногда не верю, точно сон. Но сон покойный, тихий, без мучительных кошмаров. Да, я даже ночью теперь сплю без порошков. Ложусь и засыпаю, а он ровно дышит в соседней комнате. Сегодня тихо плакал о чем-то. Но я на эти уклонения уже почти не обращаю внимания. В нашем пансионе мы все же, кажется, служим всеобщим соблазном. Вокруг одни дамы, без единого мужчины. Только два мальчика – «Сереза младший» и еще ребенок лет 7. Очень хотелось, чтобы не знали обо мне ничего, *кто, что...* Но вчера неожиданно открылось. Приехала барышня из Киева, была на том вечере (киевский вечер «нового искусства» 4 октября 1907 г. – *И. Т.*), меня сейчас же узнала. Оказывается, она из кружка «киевских декадентов». Это стало на минуту неприятно, а сегодня уж все равно. Я не скучаю, и мне не весело. Я какая-то деревянная. Обедаю, завтракаю, пью кофе каждый день, тебя не обижаю *вовсе*, смотрю картины – все заветы исполняю. Третий день дождь, а под окном, немножко вдали, огромное дерево – белая камелия вся в цвету. Смотрю и вспоминаю почему-то снежные розы на маленьких кустиках у «нашего» бульвара и снежинки у тебя на ресницах. Но не очень пока мне нравится Италия. Север лучше, строже, нежнее, утонченнее. Если поеду еще когда-нибудь, то в Норвегию. Ах, наступает пора *верности*. Всяческой верности – душе, любви своей... Это страшно. Очень строго и бесповоротно, и уж никуда не уклонишь лица...

Брюсов – Нине.

18/31 марта 1908. Москва.

... Думаю, что в этой долгой разлуке мы оба больше узнаем сами себя по отношению к нам, т. е. я себя, каков я для Тебя и что для меня Ты, а Ты себя, какова и что Ты для меня. Мы слишком долго и слишком пристально смотрели друг другу в глаза и в душу; нам было необходимо разойтись на несколько шагов, чтобы дать отдохнуть усталым глазам, и тогда им вдруг откроется что-то новое, ранее не замеченное. Верю, что при нашей встрече мы, через все смущение «после-разлучное», встретимся как более близкие, чем мы были в день расставания. Ибо, хотя мы сейчас не вместе, но что-то между нами совершается,



наши соотношения растут, раскидывают новые ветви, ибо они уже получили жизнь самостоятельную, и над нашей давней Любовью мы более не властны: у нее своя бессмертная душа, и не мы были бы в силах убить ее, даже если бы оба того захотели...

Нина – Брюсову. Около 18/31 марта 1908. Флоренция.

... Знаешь, бывают плохие дни – с утра мелкие неудачи, а потом так и пойдет все. Что мне делать! – я иногда мальчика ненавижу до ярости. Это чаще всего по утрам. Встает беспомощный, слабый, беспричинно меланхоличный. Не умеет завязать галстук и причесаться... Вчера собрались в Fiesole, и уж совсем когда выходили и он обычно попросил «завязать бантик», я озлобилась и сказала, что мне надоело с ним возиться и что вообще общество детей для взрослых не всегда желанно. Во Fiesole все-таки поехали, но ночью он так рыдал, что я думала – нас сегодня выгонят из пансиона. Это скучно и надоело. Но расстраивает или, лучше сказать, *досажда*ет лишь внешне, и даже не может помешать спать. Милый зверь, теперь, кажется, наверно не нравится мне Италия. И Fiesole не интересно, – не много лучше Крыма, а панорама Флоренции с каменной террасы сладка, как раскрашенная открытка. Итальянская весна не трогает моей души вовсе – она роскошна, но не нежна и не грустна, как северная. Над тоненькой веточкой чахоточной московской березки иногда хочется плакать, а здесь я смотрю на какие-то неведомые пышные цветы совсем холодно. Но это для меня не ново, – я ведь знала, что не люблю юг. «Осматриваем» понемногу. Я очень утомляюсь, да и мальчик от картин тоже становится чуть жив. И тут в музеях и галереях совсем окончательно узнаю *неизменные* черты собственной души, и как в зеркале вижу, чем живет и движется сейчас мальчик...

Милый, ты знаешь, конечно, знаешь – ведь ты теперь – *Единственный*, и за тобой – только *Б. Н.*, если его не погубит окончательно жизнь и любовь. А дальше – «собачки из репы», «обозная сволочь» (выражения А. Белого. – *И. Т.*) (хорошо!), ученые дураки, юродивые, кликуши, которым даже и не понять, кем должен быть Ты для них и кто ты



сейчас. Милый, любимый мой, только издали, оглядываясь в дни из моего временного заточения, я вижу *тебя*, не себя в тебе, а *Тебя*, на которого так часто я не умела, не умела смотреть.... Ах, огромное счастье даже боль от тебя, даже то томленье и обреченность, куда я падаю часто без сил. Это – ты, это твое, и благодарю за них тебя, и благодарю, что ты позволяешь мне жить в твоей жизни *как бы то ни было*. Не брани меня за изменчивость, за противоречивость в словах и обещаньях. В любви моей есть две главные правды, и всегда они будут смертельно бороться. И ты знаешь, – нет моей вины здесь, потому что *вторая* – это стихия непобедимая, владеющая душами от века. Зверочек мой, каждый день печалюсь, что *не ты* со мной. Здесь я была бы около тебя как самая внимательная ученица. Мимо многого проходишь скользя, потому что не знаешь. А мне уже теперь часто хочется не только чувствовать, но и знать. Дорогой Валерий, всей душой моей я близкая тебе. Только химеры могли разделять нас и слепить глаза таким страшным туманом. Во всем самом главном я с тобой всегда, и стремлюсь, и хочу быть достойной тебя. И если я меняюсь, то *не рабски*, я никогда не могла подчиняться через силу, – а добровольно, радостно, совсем сознательно. Весь этот год, несмотря на вторую, часто очень мучительную жизнь, я все ближе и ближе иду к тебе навстречу, учусь около тебя, подчиняю тебе самую лучшую часть моей души с радостью и кротостью. Мне осталось очень мало времени писать, сейчас позовут завтракать. Ах, это очень смешно! Мы живем в каком-то очень аристократическом пансионе – есть старая баронесса, потом жена посланника, потом девица, которая все рассказывает о каких-то графинях, потом дети с гувернантками, еще какие-то дамы из Москвы тоже, вероятно, с титулами и чинами. Я недавно всех их ужасно шокировала. Девица говорит мне через стол, что у меня, и... «это Ваш брат? у него тоже очень утомленный вид, и что нам должен быть целительным итальянский воздух». И опять – «это Ваш брат?» Случайно была пауза, и моя фраза «нет, не брат» с необыкновенной четкостью прозвучала в столовой. Кажется, все смутились, кроме меня, а всех больше девица, которая с перепугу



уж совсем скандально лепетала: «простите», «простите». Помещают нас и кормят очень хорошо. В Венеции я совсем не могла есть в Capella Nero. Чувствую я себя немного лучше. Ложусь рано, вовсе не курю, ни одной папиросы. Я нарочно взяла только 100 штук, а когда они вышли, решила бросить. Не отравляюсь вероналом, и в голове появилась некоторая свежесть. Но суставы болят и скрипят на правой руке даже больше прежнего. В этом смысле поездка в Италию совершенно бесполезна. Вернувшись, придется или совсем встать «под знак смерти», или бороться с этой гидрой очень ожесточенно. Очень мне хочется к морю, но пока холодно и большей частью дожди. Мальчика море (на Лидо) не пленило вовсе, и ему, должно быть, не очень захочется уезжать из Флоренции, но это мне все равно. Если ничего не случится и я проживу здесь еще две недели, то на остальные дни поеду к морю непременно. Вот, зверочек, – стараюсь говорить все о себе, ничего не скрываю, до пустяков. Люблю тебя очень. Просветленно и нежно. Вот заболеешь ты от такой усиленной работы... Не мучь себя до последних пределов. Знаешь, как это плохо может кончиться. Зверь мой дорогой, целую тебя крепко и нежно. Будь со мной, не забывай меня. Я живу только тобой. *Не обижай меня...*

Вот иллюстрация к словам о мальчике: я должна его сейчас вести в парикмахерскую, потому что он не умеет объяснить, как его нужно обстричь. Мне стыдно, и глупо это... Я не умею возиться с детьми!

19 марта / 1 апреля 1908. Флоренция.

...Бог знает как быстро проходит время. Осмотрю (часть уже видела) все, что ты говоришь. Не для тебя, не только по твоему указанию, но и очень *для себя*. Италию художественную я люблю, и видеть ее так близко, воплощенную – минутами кажется чудом, сном. Пробудем здесь дней 10–11 еще. Проживу, если ничего не случится, весь положенный тобой срок. Но Италия для меня в интимном и личном очень суровая школа. Мальчик мой рядом со мной, но для меня почти что болонка, с которой часто надоедает играть. И так я одна, и у меня нет никаких наркозов,



ни внутренних, ни даже внешних. От этого, правда, можно прийти в себя, поумнеть, набраться сил для перенесения будущих мук, но... как далеки от меня ощущения какого бы то ни было счастья, опьянения им, забвенья... А хочется, хочется очень! Я устала, кажется, больше внутри, чем телом. Вот, милый, какая я сейчас. Ты же видишь меня хотя сколько-нибудь? И веришь? Я любила ложь, измены, опьянение, а пришли ко мне – неизменность, верность, правда, четкость. Где мое милое, милое безумие? Разве мальчик – не подходящая кукла для каких угодно нарядов безумной мечты? Разве нельзя бы было эти вечера и ночи сделать самым странным праздником причудливого воображения? А я сижу и думаю о тебе. Вспоминаю прекрасные и страшные истории, молюсь в каких-то покинутых храмах и все смотрю, смотрю тебе в лицо, тебе в глаза. «И умер бедный раб у ног непобедимого Владыки»... Я хочу. Мне все равно. Вот когда в *первый* раз встала душа под знак любви и смерти. Я уж никого не буду ждать и никого не хочу искать.

Прости, Валерий, что говорю эти слова. Я не знаю, не вижу, как ты принимаешь их. Ты не велел писать о любви...

После Флоренции хотим ехать в Рим. Но там совсем нет комнат в отелях. Из нашего пансиона каждый день дамы посылают телеграммы, и все нет или ужасные цены. Может быть, это помешает, тем более, что скоро католическая Пасха и иностранцев наедет еще больше. Да я и не очень опечалюсь. Меня утомили города. Страшно хочется к морю... Скучаю по тебе... Очень... Устала тоже очень, а жизнь ко мне стала так сурова и строга. Не сердись. Я больше не буду «пищать»... Это «так».

Брюсов – Петровской. 21 марта/3 апреля 1908. Москва.

...Вот скоро три недели, как Тебя нет со мной, и я уже не вздрагиваю невольно, когда раздастся звонок телефона, потому что уже *знаю*, что это не Ты. Твоих ласковых писем из Италии все же мне недостаточно, чтобы ясно представить себе Твою жизнь, – и я только догадываюсь смутно о Твоих мыслях, чувствах, переживаниях. Вот настоящая пропасть разделила нас, большая, чем во дни, когда я был в Швеции, – большая, потому что тогда я знал



наизусть, что Ты думаешь, чего Ты хочешь, и это сознание сближало меня с Тобой беспредельно. А сейчас в жизни словно затихает Твое присутствие, как затихают удаляющиеся шаги... Это не значит, что я Тебя забываю, или что Ты не хочешь меня. Напротив, сейчас Ты мне, может быть, много дороже, чем в иные дни наших встреч. Но я чувствую, как отмирают все те связи, которые особенно тесно связывали нас в последние дни, нити, тянувшиеся изо дня в день, из часа в час... И это значит, что встретимся мы «освобожденными» или «свободными», встретимся только душой объединенные, как если бы мы знали друг друга лишь по слухам, лишь по книгам. Так, по крайней мере, мне кажется, и я даже радуюсь этой новой фазе нашей жизни. И слушаю без страха, как затихают удаляющиеся шаги...

А может быть, все это, что я написал, и неправда, Нина! Может быть, все это лишь мимолетная тень, прошедшая по душе, под влиянием усталости, тоски и отсутствия Твоих писем (сегодня третий день, что их нет). Я, право, так устал, что уже теряю обычную отчетливость и сознательность своих чувств. Может быть, напротив, едва мы встретимся вновь, как все это бывшее оживет в один миг и оплетет нас, как ползучими лианами, так тесно и крепко, что разорвать объятий нам уже нельзя будет. Может быть...

А пока, Нинка, все же у меня грустные мысли о Тебе и о Твоей жизни. Закрываю глаза, закрываю мечты: не хочу себе представить Тебя там, так...

Нина – Брюсову. 23 марта/5 апреля 1908. Флоренция.

...За эти дни я пыталась писать тебе три раза. У меня лежат три законченных письма, но послать не решилась ни одного, – такие они вышли печальные. Я плохо себя чувствую. У меня опять жестокие сердцебиения, бессонница и кошмары. Живу правильно до отвращения, но, видно, это мало помогает или я очень устала от музеев, галерей, видов улиц и всяких непривычных для меня усиленных внешних движений. Не знаю отчего, но чувствую себя плохо и печалюсь каждый день. В моем одиночестве заговорили мне такие голоса, что и рассказывать не нужно.



Только не думай, – *это не прежнее*. Безнадежность приходит разными путями. Но не надо о печали.

Из Флоренции думаем уехать в четверг. Осмотрела много, насколько позволяли силы, была везде, где ты говорил, и много еще. Италия мне не нравится. Кажется очень чужой. Едва ли буду вспоминать ее нежно. А может быть, это еще оттого, что здесь я без тебя и надо всем упал для меня скучно-серый томительный сумрак. А может быть, еще – Италия только для здоровых, для светлых духом, для ликующих и счастливых.... Я понимаю, *как и за что* можно любить ее. Понимаю, но хочется спрятаться в темный угол от солнца, от цветов и всяческой здоровой красоты. Везде думала о тебе. Смотрела на самые прекрасные картины и тут же всегда тебе в глаза. Да, теперь навсегда... Ах, я хочу умереть в июне, чтобы смерть Ренаты списал ты с меня, чтобы быть моделью для последней прекрасной главы... Ну, не сердись! Я не буду, не буду печалить тебя. В четверг уезжаем на два дня в Сиену. Во Флоренции под конец что-то запечалились оба, и хочется переменить место. Из Сиены к морю. «За отдыхом»... Вероятно, в Виареджио или Специю. Не решили. Завтра посоветуюсь с моей хозяйкой, она все хорошо знает, живет в Италии 35 лет... Два дня уже дождь. Под окнами совсем расцвели какие-то два дерева. Но цветы кажутся мертвыми, точно фарфоровые. Вообще здесь вся зелень не живая. Провожу грустные вечера. Мальчик такой же бессильный и утомленный, как я. «Два трупа встретились в могиле», – нередко вспоминаю эту строчку. Мысли у меня стали ясные и очень печальные. А ясность снежная, холодная, безжалостная. Вижу много страшных снов, всё в тонах Эдгара По, и просыпаюсь в слезах и страхе. Ночью ставни закрыты плотно, в комнате тьма ужасная. Недавно так испугалась, что даже разбудила мальчика. Он стал совсем покорный, но это скучно! скучно! И только для путешествия спутник идеальный, потому что может всего воспринять не больше и не меньше меня, а ровно столько же. Даже смешно, – в один срок утомляемся, хотим есть, спать. Это удобно, если приходится быть вместе долго и близко. Ты тоже утомлен и плохо себя чувствуешь и безжалостен к себе. Расточаешь силы,



словно думаешь, что они неистошимы. Где же все мы, устальные, будем отдыхать? Вот какая я в Италии, Валерий. Хотела бы быть иной, но как? Только внешне я совсем покойная. *Говорю* о глубине, а кто ее видит. Немножко приподнимаю завесу перед тобой и то, вероятно, напрасно. Ты опечалишься, будешь думать обо мне грустно, а тебе не нужно ни грусти, ни радости во время твоей напряженной работы. Прощай, мой милый, любимый. Ты видишь меня? Твой золотой мяч загорелся под облаками еще ярче...

Можно ли что-нибудь забыть и «отдохнуть», не думая о будущем... Вот сейчас получила твое письмо. Ты в нем упоминаешь Коммиссаржевскую... А ведь осенью она приедет! Приедет! И *возьмет тебя*, потому что – ты «не умеешь отказывать». И ты ей посылаешь телеграммы. Зачем? Конечно, затем, чтобы осенью встретиться.. Ах, Валерий, Валерий! И отвратить этого нельзя, нельзя....

Деньги получила, благодарю.

25 марта/7 апреля 1908. Флоренция.

Милый зверочек, разве я тебе мало пишу? Ты иногда слегка «пищишь», но ведь я только и делаю, что пишу письма. Погода вот уже несколько дней московская – холодно и самый беспросветный дождь. Днем ходим очень много, а по вечерам тоска великая. Топится камин, и мне кажется, что это не Италия, а Норвегия. Иногда ложусь спать в 10 часов. Мальчик просто скучен. У него душа бездарная, неподвижная, чувства без оттенков, и при этом непроходимая невежественность и безграмотность. Он живет так, как пишет свои письма; вся его жизнь – каракули пятилетнего младенца. Невольно оказываюсь постоянно в роли педагога до всех последних даже житейских мелочей. От этого чувствую себя очень взрослой и почти ответственной. Моя ли это роль? Вообще внутренний смысл этой поездки для меня пока темен. Но живу. Героически выношу всякие тяжести. Может быть, это нужно тебе, а значит, и мне. Чувствую себя телесно большей частью плохо и все воспринимаю затуманенно. Теперь побывала почти во всех музеях и галереях. Пленена больше всего Michel Ange. Сегодня была даже в доме



Buonarrotti. Рассматривала каждый рисунок, и мне кажется, что в его творчестве есть что-то близкое и родное тебе. Огромная сила, четкость, ясный ум и необычайное целомудрие. Твои критики рассмеялись бы над последним словом, но ведь это правда – ты целомудренен до святости в самых своих «эротических» стихотвореньях. Ах, как ясно я вижу тебя издали! И совсем с другого угла, чем вблизи. Здесь я могла бы слагать гимны в честь тебя. Как никогда чувствую сейчас твою сущность и люблю тебя так, как *хочешь ты*. Около этих картин и статуй я только поняла всю радость быть с тобой в жизни и необычайность моей судьбы. И нужно мне радоваться, что душа закрылась для всего мелкого, случайного, что в ней навсегда один ты. Лучшей частью моего существа я радуюсь этому, а другой, той, что есть «ветхий человек», боюсь и печалюсь. Ты как-то написал мне, что «для зимы будет нужно много сил», и я не могла спать ночь от самых безрадостных мыслей. Знаю, все знаю.... С каждым днем будут жесточе тернии и острее радость. Ну пусть!.. Так я думаю о тебе в Италии, и, конечно, такова же моя жизнь. А ты еще что-то думаешь, в твоих словах иногда слышатся темные подозрения. Нет – Италия самое последнее доказательство и уже выигранная тобой ставка. Отчего ты не можешь видеть меня в днях, с утра и до ночи!.. Этот мальчик даже не «ласковая донна», а просто дорожный спутник. Жить одной здесь было бы трудно, вот и вся его роль. Что для него я? – не знаю, по правде сказать, не знаю. Он привязался ко мне, как привязываются к кому-нибудь одному капризные и одинокие дети. Иногда это кажется милым, а иногда я чувствую к нему самое настоящее отвращение. Ребенок в 18, 19, 20 лет (не знаю точно цифру) – это подчас уродливо и противно. О чем-нибудь легкомысленном, пожалуйста, пожалуйста, не думай. Сначала меня забавляло его слегка портить, а теперь надоело. Что касается до одного пункта... Клятвам о Кузмине больше не верю; и думаю, что мальчик представляет из себя неполную форму педерастического типа. Это, по-видимому, ему доставляет большие мученья, и быть «как все» ему хочется бесконечно. Вчера он весь вечер читал «Огненного Ангела», а когда



стал ложиться спать, с ним сделалась подлинная истерика. Ну, я-то тут при чем!!

Из Флоренции собирались в четверг, но в такой дождь не поеду. Здесь мы хотя внешне живем хорошо и можно сидеть дома. А в Сиене опять гостиница, проклятая итальянская кухня и невозможность даже ходить по городу. Итак, буду пережидать дождь... Милый Валерий, как мне скучно без тебя! Как хочется поцеловать тебя хотя раз. Ах, какой ты любимый, близкий и бесконечно дорогой!..

Не обижай меня... Не давайся в руки всем с легкостью...

Брюсов – Нине. 28 марта/10 апреля 1908. Москва.

В плохом виде Ты меня увидишь, Нинка, когда мы встретимся. Еще никогда в жизни не бывал я так измучен, как теперь. Это усталость не только двух последних лет, не только «наших» лет, но всего последнего десятилетия моей жизни. Это – все мои книги, все мои журнальные схватки, весь я как литератор и «деятель». Мне нужен какой-то большой, большой отдых, может быть, – двух-трех лет. Если его не будет, я собьюсь с пути, вернее – остановлюсь на пути, буду себя повторять, буду твердить одни и те же слова. Чтобы остаться собой, мне сколько-то времени надо быть вне жизни, вне литературы. Когда придет время для такого отдыха, не знаю. Не скоро, кажется. Не сейчас, во всяком случае. Ведь надо, ведь должно закончить «Ангела». Если я прерву работу, я растеряю все се нити и не довершу ее никогда. А в то же время надо докончить «Франческу». Обидно же, чтобы в театре шел иной ее перевод, не мой! А «Весы» ежемесячно всё требуют и требуют сил. А издатели и редакторы что-то спрашивают с меня. А г.г. критики пишут, что я стал однообразен. И я верчусь, бегу, падаю и не вижу выхода, не вижу остановки...

Прости, Нинка, что я чуть не в каждом письме горько жалуюсь Тебе на свою усталость: но это то чувство, которое сейчас проникает все мои мысли, все мои поступки, все мои хотения.

Упасть, и утонуть, и умереть во мраке... Или хотя бы спокойно уснуть, без мысли, что столько-то стихов недопереведено, что столько-то корректур не досмотрено...



Голова мутная, душа пустая, и даже почерк не повинует-ся, как бывало...

Вчера опять не было от Тебя письма... Это не упрек, а тихая просьба: пиши мне часто. Я очень отдыхаю, получаю Твои письма. И все же, против Твоей воли, есть в них дыхание Тебе чуждой, мне дорогой Италией...

Нина – Брюсову. 3/6 апреля 1908. Неаполь.

...Долго мне нужно было ходить по улицам и сидеть у моря, чтобы хотя несколько рассеялся в душе холод и темный страх. Ужасно боюсь с тобой встретиться... Уеду летом надолго куда-нибудь с мальчиком. Может быть, в первый раз сегодня оценила его неприятную тихую нежность и эти дни с ним, безрадостные, но легкие, как утренний сон. Даже солнце неаполитанского дня вдруг показалось мне ласковым и милым, как представляю я себе Москву с ее неизбежной болью, распятыями и пытками. Я очень печалюсь о тебе *для тебя*. Вот ты усталый, замученный, тебе нужен отдых. Думаю о тебе с горькой нежностью. Но... Я знаю еще, как трудно, как горько и безутешно *быть* с тобой таким. От тебя мне нужно, быть может, надолго, надолго уйти. А уйти мне некуда. Остается только один способ – уходить хотя во внешнем, когда я становлюсь тебе не нужной. После Италии думаю, что я это могу. Вообще я много, много *могу*... Что ж – поезжай отдыхать с твоей женой куда-нибудь далеко. Обо мне не думай. Я еще не знаю, где предел моего *могу* и когда душа омертвеет совсем. Да это и не важно. Делай все для себя, как будто меня нет. Я многое узнала за этот месяц и о тебе, и о себе. Кажется, не осталось ни одного нерешенного темного вопроса. С судьбой стою лицом к лицу. Только это очень, очень страшно. Я второй уже день в Неаполе. Здесь мне почти нравится. Какая-то необыкновенная свобода во всей внешней жизни. И солнце нежное, мягкое, совсем не мучительное пока, и много красивых милых лиц. В Риме совсем хорошо. На обратном пути заедем непременно. Меньше всего мне были приятны Венеция и Флоренция. Быть там еще не хотела бы никогда. Начинаю понемногу привыкать к шуму, а здесь беспокойно ужасно. Чувствую себя физически



несколько лучше. Достала лекарство от сердца, и припад-ки бывают реже. Через два дня здесь Пасха – это очень заметно на улицах. Но на первых днях ее мы, вероятно, будем на Капри. Может быть, там несколько тише. Мальчик очень тоскует, что поездка подходит к концу. Совсем не понимаю я его любви. Кто я для него? *Как* я живу в его очень извращенной душе – совсем не знаю. Но цепляется он за меня по-детски, упорно, настойчиво. Странные все мы. И я уже не могу его выбросить из жизни, хотя часто чувствую, что не нужен он мне по существу ни на что. Вообще эта глава моей жизни, где появляется он, для меня еще туманна и неясна. Ну что ж – пусть живет. Он мне хотя бы не доставляет никаких мучений, а таких людей около меня не много. Как говорят об этом в Москве и Петербурге, – я думаю, тебе все равно так же, как мне. Ты *знаешь* (ведь знаешь же?) *правду*, а больше не нужно ничего. Не сердись на меня, мой дорогой зверь. Я боюсь тебя очень, но люблю бесконечно. Даже слишком много для того, чтобы владеть тобой всецело (о, конечно, только в любви!). Тебе нужны неуверенность, пытки подозрения, зыбкость, – иначе ты перестанешь ценить. Ведь я уже знаю, – самый нежный ты бываешь, когда думаешь, что я хочу уйти к кому-то. Но советов «Сережи старшего» так и не умею принять. Все равно! Себя не обманешь! Прости, милый! Не замучивайся хотя *по возможности*. Не забывай меня совсем...

Брюсов – Нине.

5/18 апреля 1908. Москва.

...Теперь уже можно спрашивать, когда Ты думаешь вернуться. Твой Сережа старший мне говорил, что Ты хочешь прожить в Италии до 1 мая? Это было бы совсем хорошо. Но какого 1 мая, старого стиля или нового? Если нового, то ведь это уже через несколько дней. Не слишком ли рано, Нинка. Подумай, что в эту Италию, которая Тебе так не нравится, Ты все же не вернешься много лет. Каждый лишний день, проведенный теперь здесь, будет стоить после целых недель. Сколько только можно, убеждаю, не спеши. Еще лето велико, а жизнь и еще больше, большая, странная и немного страшная.



Это все не значит, что я не хочу Тебя видеть. Хочу, и очень, и очень по Тебе скучаю. Боюсь немного встречи, – мы всегда после разлуки встречаемся враждебно, – но жду ее как большой радости. Представляю себе Твои суровые слова и что-то новое, не мое, безнадежно не мое, появившееся в Твоем лице! – но хочу увидеть и это, только бы оно не сделало Твоего лица совсем чуждым мне! Я очень хочу Тебя видеть, и все же говорю Тебе: не спеши уезжать от этого неба, от Везувия, от одиночества, от своего мальчика. Будь с ним, будь без меня, будь в чуждой Тебе Италии дольше, дольше. Несмотря на все Твои уверения, что Ты себя чувствуешь очень плохо, я все продолжаю верить, что что-то хорошее Италия Тебе дала, что какой-то запас сил в ней Ты почерпнула.

Но вот что. Все-таки напиши мне более или менее точно, когда думаешь Ты вернуться. После Пасхи я хотел поехать в деревню, но мне было бы грустно, если бы Ты вернулась в дни моего отсутствия. Расписание своей жизни я хочу согласовать с Твоим. Какова бы ни была наша встреча (быть может, и роковой), я все же не хочу ее откладывать. Хочу идти к Тебе навстречу, к Тебе, которая, сама того не зная, уже новая, иная, не прежняя, не моя...

6/19 апреля 1908. Москва.

Сегодня «вербное воскресенье»; день пасмурный, серый, тихий, скучный. В детстве я любил в этот день наблюдать толпу, которая как-никак все же часть человечества. Но давно уже и толпа и все человечество наскучили мне в достаточной степени.

Все, что было, все, что будет, знаю, знаю наизусть!

Сижу дома и насильственно заставляю себя писать «Ангела» – сцену встречи Рупрехта с Ренатою... Чу! дождь, – первый весенний дождь.

Что-то изжито, какие-то пути истоптаны до конца. Нужно новое солнце и новая кровь в жилах, чтобы жить дальше. Нужно замолчать надолго, чтобы вновь обрести возможность говорить. «Есть для избранных годы



молчания – они придут». Может быть, пришли уже. С каждым днем мне все труднее писать, все равно в стихах или в прозе. С каждым днем я все меньше верю в то, что говорю: меньше верю в те уроки, какие даю своими статьями, меньше уверен в значительности, в «подлинности» моих стихов. Хочется смотреть на себя как на умершего. Хочется все свое прошлое отделить черной чертой от будущего.

Желал бы я не быть Валерий Брюсов. Кажется, это желание исполнилось.

Ласточки летают под серым небом, сквозь редкие капли дождя. Им холодно и влажно, и город под ними внизу – весь туманный и серый. И вербная толпа, от которой они видят только головы, – тоже серая и невзрачная: «живет, колыхается...» Неужели – весна?..

7/20 апреля 1908. Москва.

Все же за эти полтора месяца во многом утерять я нити Твоей души и уж не знаю, как говорить с Тобой, что говорить Тебе. Произношу слова словно в темноту и сам удивляюсь, когда долго спустя, как запоздалое эхо, вдруг услышу ответ. А Ты? все ли еще явно представляешь меня, или и я для Тебя стал чем-то вроде призрака? И так скоро! так скоро!

Правду сказать, боюсь я нашей встречи, не уверен в ней...

8/21 апреля 1908. Москва.

...Ты пишешь, что выедешь, вероятно, из Неаполя 13/26, в день нашей Пасхи. Не рано ли, Ниночка? Проведи в Неаполе еще дня два-три, повторяю свой постоянный довод: когда-то в него соберешься вернуться! Тогда, считая на Рим дня два-три, да на отдых в Вене или в Варшаве день, Ты будешь в Москве в середине 20-х чисел, около 24, 25. Я к этому времени и буду ждать Тебя... Впрочем, как «ждать»: ведь Ты приедешь с мальчиком, и несколько Твоих дней в Москве еще будут для меня продолжением Твоего путешествия.

Это, вероятно, мое последнее письмо, которое дойдет до Тебя. Я напишу еще одно или два, но им, конечно, суждено будет затеряться, разыскивая Тебя на Твоих путях из



Неаполя. Ты меня упрекаешь, что я Тебе пишу «деловые» письма и «записочки». Это несправедливо, Нина. Я пишу так, как с Тобой говорил бы: просто, без вычур и без лишних слов. Я давно отвык от пышных восклицаний, от той игры страшными выражениями, которая нас всех когда-то увлекала. Но зато каждое мое слово значит именно то, что оно значит, в нем нет преувеличения и нет ничего условного. Говорю, как чувствую, и слова мои – точный слепок с моей души. Поступаю, как говорю. И когда в конце письма я добавляю маленькое словечко «Твой», оно имеет тоже свой смысл, точный и несомненный.

В прошлом письме, посланном *вчера*, я Тебе писал, что «боюсь» нашей с Тобой встречи. В последнем Твоем письме, полученном мною *сегодня*, Ты мне пишешь, что «боишься» нашей встречи, встречи со мною. Странное, но не непонятное совпадение! Ах, Нинка, оба мы неправы. Не надо бояться. Давай и встретимся столь же просто, как я пишу свои письма. Чужими мы стать друг другу *не можем*, что бы ни свершилось с каждым из нас в жизни, и если нам покажется, что мы чужды один другому, не будем верить этому первому обманчивому впечатлению. Так? Дадим себе слово, что не поверим, потому что сознание должно быть правее, чем впечатление, потому что «прав упрямый Галилей», хотя каждое утро солнце и «восходит», потому что все же наши жизни вращаются вокруг солнца нашей Любви!

Твой всегда и навсегда...

Нина – Брюсову. 10/23 апреля 1908. Неаполь.

... Я, кажется, долго не писала тебе. Прости. Не знаешь тут, куда деваются дни. Сначала мне было очень хорошо в Неаполе. Только здесь Италия поцеловала точно в самое сердце. Чувствовала целую неделю приятную лень, безмятежность и непривычную мне легкость. Много красивых лиц, и море чудесное, и комнаты у нас веселье, светлые. Словом, было довольно хорошо. А вот со вчерашнего дня откуда-то изнутри набежали тучи, и с утра все томит, и не знаю, чего я хочу. Такое чувство – «ни жить, ни умереть». У меня здесь все время почти физически болит сердце. Не могу я не знать и не думать, что Италия только отдых



перед какой-то окончательной погибелью. И уж никуда не уйдешь, и ни на что не надейся. Суй голову прямо в петлю. Ах, если бы больше воли и силы, осталась бы я совсем за границей... О тех формах жизни, которые ждут в Москве, без ужаса не думаю. Если вижу во сне, то просыпаюсь в томлени и слезах. Я люблю тебя очень, очень, но устала испытывать боль. У меня нет в душе ни одного не уязвленного этой любовью места. Прости, прости эти слова. Это грешный ропот, но ведь и выносить можно только до предела, а я чувствую, что уже касаюсь его. Особенно почувствовала все это после тишины, после затишья, в котором живу здесь. И мальчик, может быть, единственное существо при всех своих недочетах, с которым можно отдыхать. Но что такое отдых, если знаешь, что ничего не изменилось и не изменится. Ты думаешь, что у меня какое-то «новое лицо»... Нет, я все та же. Может быть, оно покажется «новым» только потому, что все черты стали острее и глубже. Я стала выносливее, несмотря на мой ропот, на бунты, и *долго, долго не скажу «не могу»*. Мне кажется, что теперь я могла бы, например, сидеть в тюрьме, в самом простом значении этих слов. Не есть по нескольку дней, не спать, жить без тебя. И все это терпеливо, без битья об пол, без слез. Самое *последнее* должно совершаться в тишине; так я думаю после месяца или 6-и недель, в которые не смотрела тебе в глаза, не слышала твоего голоса.... Великий соблазн (который, конечно, не воплотится) только в одном – не вернуться бы... Убежать от своей Судьбы. Жизнь везде, пока есть возможность, что кто-то подойдет и скажет словом или выраженьем лица: «Я хочу любить тебя». У меня здесь являлись даже самые кошунственные (для меня) мысли – (после всего, что я видела, после картин и особенно одних помпейских фресок, их показывали в какой-то тайной комнате, притворив двери) – что же такое любовь? Чудо, идеал всех стремлений, или Великая Банальность. Прекрасна она или отвратительна в своей вечной и неизменной повторности. 18 веков тому назад были те же выраженья ее, как на современных «неприличных» открытках. И вообще «повторность» всей жизни, которую вдруг начинаешь подмечать с неумолимой ясной-



тью, может или могла бы привести половину человеческого рода к повальному самоубийству. Если бы только немножко, немножко удлинить жизнь каждого в отдельности. Несколько дней у меня был такой строй мысли и чувств. Это ощущение, точно из тебя вытянули всю душу, и не осталось ничего – пустота. Но даже и в этом повторность. Думаю, что так чувствуют многие. А ты? Я наверно знаю, когда это с тобой бывает. Я опять прежняя. С моей неизменной прекрасной печалью, с единственной мечтой, которую не убьют никакие химеры. Пусть все это так, но мне в этом мире нужны только одни твои глаза, один ты, со всем в тебе, со всем, что мне и дорого и невыносимо. И я

«верна в неверном мире
Своей восторженной мечте».

Я знаю, что могла бы создать я из своей души. Ведь почти нет «не могу». Всё мы можем. И я могла бы уйти от тебя, жить в каком-нибудь Милане или Париже, встретить кого-то, потолстеть, поздороветь, обмануться еще раз какими-то красивыми глазами, отрезать половину своей души и, может быть, еще казаться не такой убитой и вечно несчастной. Но не хочу! Это жалко, это мелко! «Будемте же ковать жизнь», – сказал мне Б. Н. однажды в Петербурге, когда был такой же измученный, избитый и печальный, как я. Да, будем! Ах, сколько раз вспоминала я его здесь с самой горестной нежностью. Милый и прекрасный, – таким он останется всегда. Все вы мне пишете, чтобы я дольше не приезжала. Самые разнообразные люди... До смешного все одно. Должно быть, уж подло в Москве!.. Мне отсюда кажется, что в Москве люди друг друга едят. Как получу несколько таких пугающих писем, так и обрадуюсь на мальчика. Он все-таки тихий, красивый, на чудовищ, вроде «мальчишек», не похож и окружает меня самой бескорыстной кроткой нежностью. Ты спрашиваешь, когда я вернусь? Вот мой предполагаемый план – отсюда, из Неаполя, в четверг на пасхе нашего 17-го апреля. В Риме дней 5–6. Из Рима до Вены. В Вене выспаться сутки и прямо домой. Буду, значит, между 25 и 28. Точного дня определить совсем не могу, это зависит от



разных случайностей. Но думаю, что непременно между 25 и 28. Поезжай куда хочешь. Пожалуйста, не связывай своих желаний и решений. Очень мечтаю даже сейчас – уехать из Москвы куда-нибудь вскоре после приезда, хотя бы в Киевскую губернию в деревню к Шаховским, а потом летом с мальчиком в Финляндию. Я теперь к путешествиям привыкла. И те расстояния кажутся малыми до смешного. Летом в Москве ужасно. А планы мои (первый проблематичен) внешне осуществимы. Благодарю тебя за деньги...

Письмо мое, кажется, грустно. Но это я сегодняшнего дня и многих итальянских дней. Смотрю на Везувий и на море. Завтра поедем на Капри. Здесь в меня влюбился неаполитанский студент. Зовут его Уго, у него синие глаза. *Но я уже его не увижу.* Эту маленькую историю расскажу при свиданьи. Только душа у меня верная, верная тебе, и от этого я даже чувствую некоторую печаль, потому что у него глаза синие и лицо «милого из Норвегии»...

13/26 апреля 1908. Неаполь.

За что ты меня мучишь, зверочек?!

Вчера получила твои два письма – одно в ответ на мое из Рима. Они уж даже без обращения! Тебе стало жалко для меня обычно ласковых слов... И говоришь, что ты «призрак», что я тебя забываю. Откуда ты видишь это? Я помню почти все свои письма, и римское помню, – везде я любила тебя, всегда писала об этом с нежностью, с таким чувством, точно не расставалась с тобой. Упрекнуть немного ты мог бы только за самое последнее, что получишь перед этим. Но ведь усталость, пустота, изнеможение души – сам ты знаешь. Может быть, об этом не нужно говорить? Может быть; потому что завтра почувствуешь себя по-иному, а тебя обвинят в качествах Б. Н. – в изменчивости, неверности и многом другом. Я знаю эти твои состояния. Я вижу, чувствую, как ты устал, как ты *пережил всё, всё*, и, может быть, меня. «Нужна новая кровь в жилах, новое солнце...» Что же я сделаю! Что! Хочу только быть в твоей жизни *во все ее минуты* – и последнего унынья, когда ты перестаешь как будто меня замечать, и в минуты радости, чтобы радоваться на тебя.



Но если ты разлюбил меня совсем и кажусь я теперь тебе совсем чужой, что сделаю я! Что!

Этой поездки ты хотел сам. В ней я покорна до последних пределов. Хочешь, чтобы я не возвращалась скоро – я не возвращусь. Устала, скучаю, томлюсь, но живу. Если ты думаешь что-нибудь о мальчике, – как я разуверю тебя? Я только могу улыбнуться. Это неслыханная история. Ничего подобного со мной не было. Нашлось неизвестно откуда странное существо и живет около меня жизнью совсем особенной. Иногда мне казалось, что это отвратительно, а теперь я уже не удивляюсь, и даже есть тут что-то трогательное. Вот и все. Я желала бы показать тебе мою итальянскую жизнь день за днем, с утра и до вечера, во всех городах. И душу мою – холодную ко всему, кроме тебя. Но ведь не веришь, не веришь! Отчего *ты* боишься нашей встречи? Я боюсь только потому, что знаю, вижу и предчувствую, *каким* ты будешь со мной. Потому что испытала не раз на себе твою усталость и равнодушие таких дней. Я боюсь боли, но не убегу от нее, и жду этой встречи, как счастья, какой бы она ни была. Но отчего *ты* боишься? Я все та же, прежняя. Ничего нового нет и, верно, не будет в моей жизни. Много раз с тоской я смотрела себе в душу. Как кого-то чужого помню себя далеких прежних дней, когда могла думать, что можно куда-то, к кому-то уйти. И если в последнем письме писала тебе, что «могу уйти», то разве не ясен смысл этих слов? Не «куда-то», не к «кому-то», – *а из своей души*. Не для жизни, а для смерти. Для жизни *автомата и призрака*. Эта возможность существует *для всех*, кто владеет собой сколько-нибудь. Но разве этого может хотеть еще живая душа?! Об этом можно только говорить, когда падают силы и замирает пульс, когда смертельно устанешь. Зверок мой любимый, неужели ты не хочешь быть со мной! Неужели *ничто* эти годы? Неужели в 1½, 2 месяца можно что-нибудь забыть? Или ты хочешь нового?... Милый, любимый мой зверь, не делай страшной нашу встречу. Я вернусь к тебе *твоей* более чем когда-либо. Для меня эти два месяца суровый, но прекрасный искус. Все поняла теперь, все знаю, *все* от тебя приму с покорной нежностью. Я не сделала *ни одного*



шага, после которого не посмела бы смотреть тебе в глаза. Веришь? Это необычайно и почти невозможно, но правда, правда! И эту правду ты увидишь в моих глазах, по-прежнему ясных и печальных, по-прежнему обращенных к одному тебе. Я вернусь числу к 28-му. Раньше и нельзя. Мальчик ждет денег на дорогу. Отсюда в четверг в Рим, а там уже близка Москва. Устала я очень, зверочек. Вчера ездили на Капри. Затруднительная и мало приятная дорога на пароходе, набитом туристами и особенно немцами. Ненавижу их здесь! Были у Горького! Не сердись, это очень любопытно. Сегодня, кажется, напишу о нем. Горький вблизи очень милый... Ласкал он нас, я думаю, как только мог. Тебя хвалил, справлялся *у меня* (!), когда ты кончишь Огненного Ангела. Расскажу о нем, когда увидимся, а может быть, еще и в фельетоне. Капри очень скучная вещь. Жить бы там я не могла, слишком ярко и блистательно для северных глаз. Мил мне в Италии только Неаполь, уж не знаю и чем. Легко в нем дышать. Но затомилась я все же ужасно. Хочу к тебе, *как бы ты меня ни обижал*. Валерий, Валерий, не уходи от меня! Я стала совсем хорошая. Ты увидишь. И совсем, совсем твоя...

Брюсов – Нине.

24 июня 1908. Теремец.

... Ах, Нинка, страшно мне даже вспоминать все пережитое мною, нами с Тобой, за те десять дней, что я провел в Москве. Боже мой! неужели все это было неизбежно! неужели все это может и должно повториться! – Да не будет!..

Нина – Брюсову.

26 июня 1908. Москва.

... Моего письма, ты говоришь, не получил. Оно было нежное и безумное. Написала сначала *все другое*, а потом надышалась эфиром – от него боль тупеет – и послала «бессмысленно нежное» только *об одной* правде моей души. Мало соображая, ехала прямо к почтовому поезду на Павелецкий вокзал. Казалось, что нужно опустить его прямо в вагон. Был дождь, и провожал меня Муни, – вот все, что я помню об этой поездке. Видишь, как иногда пишутся письма. За три твои письма благодарю. За письмо к Наде



особенно, – когда я буду умирать по-настоящему, ты дашь Матрене (прислуга. – *И. Т.*) и Наде «инструкции», а сам поедешь с женой на дачу или в «Эстетику» – «потому что – как же иначе?» И это не помешает тебе написать мне 5 писем о твоей жалости, об отчаянии, что ты меня «принужден» оставить и т.д. Чувствую я себя так, как человек, у которого *больше ничего нет*. Тебя и твое отношение ко мне в эти дни узнала окончательно. Удивляюсь только, что все еще ходишь в плохой маске, говоришь о какой-то любви, в чем-то уверяешь. Зачем это? У тебя есть *она* (жена. – *И. Т.*), которой ты, не задумываясь, приносишь в жертву меня с моей жизнью. Я ведь никогда не прощу тебе той ночи, когда ты ушел к *ней* и оставил меня. Слова, сказанные тобой когда-то Сереже, в эту ночь стали делом. Каждый твой поступок сейчас взвешивается на самых тонких весах. – я проиграла. Я побеждена. Так скажи это, не укрываясь. *Она* тебе нужна? *С ней* ты хочешь жить? Вместе нам не дышать. Ах, декаденты! Резиновые души! Хочешь и ее и меня. Она – главное, я второе. *Все* для нее, – для меня остатки, клочки. Нет, – спасибо!

Ты все «беспокоишься» о моем драгоценном здоровье? Просишь рассказа подробного и точного. Изволь – сердечные припадочки каждый день, эфир *пить* бросила, нахожу, что им лучше дышать. Вчера от этого было со мной очень нехорошо. Но видишь – жива, пишу. К «золотым очкам» (к врачу. – *И. Т.*) ходила *курьеза ради*. Выбрала дорогие и хорошие – 10 рублей за визит. И что мне эти «очки» наговорили! Моему «драгоценному» здоровью угрожает, по их уверениям, серьезная опасность. Причин много – не хочется их перечислять. Очень допытывались о «пережитом нервном потрясении», *которое очевидно*, об эфире (я сказала о нем как бы шутя и смеясь – вот, мол, еще какая у меня игрушка) «очки» слышать не хотели. «Это самоубийство» – так сказали. Рекомендуются мне сейчас следующее – два лекарства от сердца, «хорошее питание» и полный душевный и телесный покой. При этом – «Москва – яд». Нужно уехать по возможности к морю, купаться, гулять, все забыть, обращаться с собой осторожно и внимательно. Много еще другого. Я пробыла там более часу,



подумай, сколько можно было наговорить и наслушаться. Еще – сердце мое в состоянии более чем печальном, дело в каких-то сердечных клапанах, и еще что-то, чего я не поняла, ибо с физиологией и медициной имею знакомство самое поверхностное. Я поблагодарила, заплатила 10 руб. и вечером предалась эфиру. И так – не спрашивай меня больше о здоровья. Ведь *ты* со мной никуда не поедешь, в крайнем случае предложишь денег (откупиться от дурных беспокойных чувств), *которых я не возьму*, а затем все останется по-прежнему, – жена твоя от вампиризма будет розоветь и полнеть, ты, чтоб не огорчить ее, будешь приезжать урывками в Москву, уверять меня в любви и бросать черт знает во что, потому что «как же иначе»? Она «жена», а я случайная любовница, *ее ты любишь*, а меня жалеешь и чувствуешь в отношении меня маленькую серенькую ответственность. Ведь ты не «сверхчеловек», и когда из-за тебя кто-то страдает, это мешает тебе спать спокойно. Ну, одним словом, наш суд кончился. Осталась у меня к тебе через все непобедимая, просто кровная привязанность да страданье, для которого нет слов. Все знаю, все поняла, стала лицом к лицу с своей гибелью, а увижу тебя – и сердце дрожит непонятной нежностью, и за одну твою ласковую улыбку, за взгляд твоих глаз, за музыку привычных слов – готова на кресте распяться. Все знаю и умираю от боли, а жду, жду тебя, – чужого, с темной закрытой душой, с прошлым тех дней, о которых никогда, никогда ничего не узнаю. Жду для забвенья тех минут, когда ты рядом, и я целую твоё тело, все любимое, все дорогое, *мое от века* и не мое в жизни, потому что оно, и ты, и твоя душа отданы ей. Ах, Валерий, не сердись на меня ни за что. Этот год – год смертельной борьбы. Мне кажется, что в нем я пережила всю муку, которая дана была мне на целую жизнь. И вот – побеждена, раздавлена, как червяк чьей-то глупой толстой подошвой. Боже мой! Каких простых радостей мне хотелось. Три лета я мечтала о каких-то бедных березках, которые по ночам шумели бы под *нашими* окнами. Ты упрекаешь меня за эти дни, но ты *не дал*, не дал ни разу быть мне кроткой, ясной, простой. Говоришь, что я порчу твою жизнь, но ни разу не дал мне беречь ее, стать ее



ангелом-хранителем, а не разрушающей силой, хаосом, который можно только проклинать. Все я могла бы вынести с безумным фанатизмом, только не женщину. В иные минуты ты сам понимаешь, как это чудовищно, безобразно, невозможно. А потом опять непонимание, странное легкомыслие, суд надо мной.

Ну вот, – все обо мне. Жизнь разорвалась на дни и минуты, которые я преодолеваю эфиром, вероналом, только бы забыться на минуту, не помнить, что ты с ней. В конце этого – смерть. Когда она придет – не знаю. Спасти меня ты не можешь. Ах, ты не дашь мне даже лекарства, не протянешь руки. Не отнимешь *у нее* месяца для меня. Зачем же посылаешь к «золотым очкам»? Зачем требуешь, чтобы я жила? Мне сейчас – все равно. У меня было что-то – душа, ум, способности, жажда жить, – теперь ничего. Одна огненная точка, одна мука от дней и минут. Валерий, дорогой, ну неужели это совсем окончательно, что *она*, а не я? Я ведь как Сережа, который вошел в темную комнату и застал нас вдвоем, а потом не знал и не верил еще год. Милый, милый, я сейчас безумна и нестерпима, но ведь ты не даешь мне отдохнуть, не даешь быть кроткой и тихой. Оторвись от нее на какие-то дни *совсем*, душой и телом, будь со мной, пойми, что ведь это все *действительно* гибнет. Ведь *правда*, меня скоро *не будет* в твоей жизни. А может быть, я тебе нужна? Может быть, ты не знаешь, что нужна! Это мой последний крик к тебе о помощи и спасеньи.

Ты не слышишь? Ты глух и слеп. Ты камень на могиле того, кого я любила. Его статуя, повторяющая весь дорогой очерк, но холодная и мертвая. Я протягиваю к ней руки, молюсь, плачу, проклинаю, целую, зову, теряю волю и сознание от боли, кричу: «Валерий, Валерий, – ты мой!» И в ответ: «Меня ждет жена», «она рассердится, если я проведу с тобой ночь, я ее люблю...» Милый, мертвый, любимый, не можешь спасти? Не можешь? Прощу по-нищенски – дай, дай, дай чего-то, чтоб я ожила! Посмотри, в твоих руках жизнь, так случилось, я не могу изменить.

Хочу тебя видеть, нет других желаний. А ты все с ней, все с ней! Подумай *о нас* еще раз, серьезно, строго. И или убей, или дай жить.



Июнь-июль 1908. Москва.

Милый Валерий, очень прошу тебя – не уезжай сегодня и приходи ко мне вечером – в 8–9. Найди в себе силы прийти без гнева и досады. Все, что обнаружилось так ясно, – это важный и окончательный перелом всей жизни. С ним нужно встретиться не с бессильной душой, не в слезах и диких сценах. Я уйду из дому на целый день. Мне нужно свободно и отчетливо собраться с мыслями, чтобы сказать тебе о себе и о нас окончательное решение. Приди, прошу тебя дружески, как прежнего, милого. Не бойся мучительств, их не будет, и не расставайся со мной без этого свидания. Ведь ясно – или отойди навсегда, или будет все новое. Об этом скажу кратко и неизменно. Уйду из дома не безумия ради, а потому что в этих стенах слишком наболело и отравлено. А мне нужно собраться с мыслями отчетливо и ясно. Буду ждать тебя очень. Не откажи в этой просьбе. И не бойся с моей стороны каких-либо мучительных выдумок. Душа у меня несчастная, но сейчас гордая и сильная. Обещаюсь и клянусь, что этот разговор будет спокоен, тверд и прост. Не сердись, ведь все это для меня важно. Я написать едва ли сумею. В последний или *первый* раз (если настанет новое) – хочу увидеть твое лицо. Очень жду.

Брюсов – Нине. 9/22 сентября 1908. Сен-Жан-де-Люс.

...Сегодня я уезжаю (один) из С. Жан-де-Люса и, хотя распорядился, чтобы все письма мне пересылались, не уверен, что они будут доходить до меня аккуратно. Боюсь, что долго не услышу о Тебе ничего. Не знаю даже, в Москве ли Ты. Здорова ли? Грустишь ли? Что до меня, то я чувствую себя достаточно плохо, и все, о чем мы говорили с Тобой, не только не ослабевает в моей душе, но скорее растет и крепнет. Благодарю Тебя очень, очень за все добрые, хорошие, нежные слова, но как воспользоваться ими? Ты знаешь столь же хорошо, как я, что в таких случаях никто не может помочь другому. И мне должно искать помощи лишь у себя самого, лишь в самом себе. Быть может, найду.

Океан здесь шумит по-океански, страшнее, чем в Бресте и в его окрестностях. Небо стало серым. Идут дожди,



и осыпаются листья платанов. Осень. И, самым банальным образом, мне тоже хочется писать об осени и о падающих листьях... Испугала ли Тебя Москва? Не поддавайся ее проклятым чарам. Не дай удержать себя в плену. Приезжай в Париж. Извести меня о дне приезда...

16/29 сентября 1908. Сен-Жан-де-Люс.

...Ты говорила мне, что ни в чем не хочешь более насилловать моей души. Мы будем писать друг другу, если так будет хотеться кому-нибудь из нас; мы встретимся, если оба будем искать этого. Ведь правда? Ах, Нина, хорошая, милая, всегда дорогая мне! Ты не должна ни сердиться, ни пугаться, если от меня нет писем. Ты всегда должна знать, что я помню и люблю Тебя. Ты никогда не будешь для меня чужой. Но порой мне нужно одиночество, мне нужно не чувствовать на себе никакого долга: кому бы то ни было, даже Тебе, писать; идти туда-то; любить так-то... Ах, дай мне немного, немного, немного – быть только с самим собой. Клянусь Тебе, серьезно, свято, что мне это очень нужно, что мне это – необходимо.

Но после всего сказанного обещаю Тебе, что буду писать Тебе часто, так часто, как только Ты можешь этого хотеть. Твоих же писем жду с крайним волнением: трудно мне не знать о Тебе ничего, после того как я привык жить – всеми подробностями Твоей жизни... Люби меня, я очень хочу этого. Я люблю Тебя. Я Твой – в хорошем, в лучшем смысле слова...

Заклинаю Тебя: не оставайся жить в Москве, Ты погибнешь в ней.

19 сентября/2 октября 1908. Сен-Жан-де-Люс.

...Завтра, рано утром, я уезжаю отсюда в Бордо, где проведу несколько дней, – потом в Париж. Грустно мне, что сюда так и не пришло больше писем от Тебя и я не знаю, как Ты доехала и как себя сейчас чувствуешь. Пытаюсь представить Тебя в Москве, – и не веселые эти представления. Думаю, что в Москве, по обыкновению, душно, пыльно, обидно и оскорбительно.

Что до меня, я все еще ни за что не принимаюсь... Без малейшего преувеличения мне начинает казаться, что



для меня самое лучшее – бросить всякие попытки к «творчеству». Буду я мирно жить в стороне от большой дороги литературы; критики не будут меня ругать последними словами; издатели журналов и альманахов перестанут, с ножом у горла, спрашивать с меня статей: не райское ли житье? И я буду, как ветеран, удалившийся со службы, поощрять молодежь на новые подвиги или, что чаще бывает, брюзжать по-старчески на всякое новое начинание...

Прости, что серьезные слова у меня свелись на шутку; но обо всем этом мне тяжело говорить только серьезно...

Приезжай в Париж! Это – припев, которым я буду кончать все свои письма к Тебе. Нечего делать Тебе среди этих «людей и людишек». Все, что можно было от них взять, взято. Вся Москва Тобою исчерпана до дна. Не обретишь в ней ни капли – это безводный колодец. Беги оттуда.

Нина – Брюсову. 21-22 октября/3-4 ноября 1908. Париж.

... Я почему-то в Париже... Через 1½ часа после твоего отъезда я взяла билет до Кёльна (прямо до Лейпцига не дали) и повернула прочь от Парижа. В Кёльне была вечером в 6 ч., до моего поезда оставалось почти 4 часа. Мне давно хотелось быть в Кёльнском соборе, и, проезжая мимо него, третий раз, конечно, не могла не зайти. Это незабвенный вечер, который врезался в мою память навсегда. Такой тоски, такой боли всех чувств я не испытывала, кажется, никогда. Был холодный, холодный вечер, около собора сухие листья и ветки бились об изгородь, как на кладбище. Чувствовала себя одной во всем мире – забытой покинутой Ренатой. Ах, вновь и навсегда твоей Ренатой, точно не было этих ужасных, нас разделивших лет, точно не было ничего в моей жизни кроме наших огненных сладких страниц. Я лежала на полу собора, как та Рената, которую ты создал, а потом забыл и разлюбил. Я тонула в чем-то прекрасном, горестном и безбрежном, как смерть. Мне нужно было в этот вечер, прощаясь с тобой, плакать именно в Кёльнском соборе. Теперь уже понимаю, что значили слова «Ренате после ее смерти»... Конечно, умерло, прожито, не вернется. Помнишь, что было в эти дни 4 года назад? Помнишь себя с душой, открытой мне навстречу,



с глазами, которые не могли бы видеть меня так спокойно в Намюре на платформе. На плитах Кёльнского собора я пережила всю нашу жизнь минуту за минутой. С самой высокой ступени дошла до той, где мне суждено отныне быть, каждый миг отмечился в душе огненным знаком боли и любви. А в темных сводах дрожали волны органа, как настоящая похоронная песнь над Ренатой. Я не забуду этого вечера, я вспомню его в час смерти. Может быть, только его и розовую ветку яблони на нашем весеннем окне в «Руси». И вот в душе воздвигся второй надгробный крест. Умер граф Генрих, умер Рупрехт. А я, как старуха из «Жизни человека», все живу и, может быть, скоро, как она, не смогу сказать других слов: «А мне – все равно» – на ступеньках чьей-то чужой жизни, присутствуя при чьих-то чужих драмах с лицом и душой автомата. Из собора я вышла с совершенно помутившимся сознанием и, должно быть, в очень расстроенном виде, потому что на меня смотрели со странным вниманием. Не могла понять, зачем еду в Лейпциг вместо Парижа. Подошла к кассе, чтобы продать билет; длинно и обстоятельно говорила по-французски, а меня не понимали. Собрались какие-то люди. Тут уже, конечно, должно было начаться что-то мелкое и смешное, как в Дымовских рассказах, – человек думает о смерти, а извозчик в это время настойчиво говорит: «Пожалуйста». Принял во мне «горячее участие» какой-то молодой и совершенно пьяный немец. Он один понял, что мне надо, ибо когда-то учился французскому языку. Он непременно хотел взять меня под руку – я ему это позволила как плату за неожиданные хлопоты. Но все это оказалось труднее, чем я думала. Мы ходили то сверху вниз, то снизу вверх по каким-то шефам. Кто-то нас ругал, кто-то смеялся, кругом гудели поезда, чуть не сбивали с ног багажные тележки. Немца нужно было поддерживать на каждом шагу. Наконец все это устроилось, он мокрыми губами поцеловал мне руку, и я села в поезд до Парижа. Вся ночь прошла, как кошмар. На французской границе в 5 ч. утра нас вытащили из вагонов на таможду, в Париже поливали сулемой, держали на вокзале от 7 до 8½. И вот в 8½ часов я оказалась в первом попавшемся отеле почти без сознания.



Вот и Париж... Теперь мой дом – вагон и Hotel... К вечеру я немного опомнилась, и вдруг меня сдавило такое безумное одиночество, такое желание забыть все, что я послала Robert-у записку. Тут опять требуется перо Осипа Дымова. Robert – юнкер высшего инженерно-военного училища. В России сказали бы именно «юнкер». По-французски как-то все благозвучнее: «Eleve de l' Ecole Polytechnique». Для того, чтобы увидеться со мной, ему пришлось *буквально прыгать* из спальни со второго этажа. Пришел он в виде комика в сверху донизу разорванном пальто, с исцарапанными от падения руками, и от всего этого мне стало скучно, скучно до полного упадка сил. Чтобы как-нибудь ожить, пришлось выпить почти бутылку вина. И вот движущийся автомат – из Кёльнского собора – в объятья молодого французского юнкера. Мы провели почти всю ночь, до 4-х часов утра. И опять, как персонаж Мирбо, я могу повторить: «Je mange tout» (я ем все (*фр.*)- И. Т.). Robert мне с уверенностью говорит – о, осенью мы поедем в Мельбурн. Он кончает, и его пошлют, кажется, именно в Австралию. Для душ умерших, для спиритических духов, для всяких нежитей ведь не существует расстояния. Отчего мне не поехать с Робертом в Мельбурн или с Хомяковым в Японию? Или еще с кем-то неведомым в Бразилию. Отчего? Мой дом вагон и отель, мое пристанище встречные души. Сегодня он прислал мне «страстное письмо». Это единственное впечатление за весь день. Я не выходила, не искала никого, сидела одна, точно в гипнотическом сне. Останусь ли в Париже – не знаю. До 1-го (стар, ст.) вероятно, хотя не в этом Hotel. А потом, может быть, поеду еще куда-нибудь. Куда – не знаю! Видеть сейчас людей, да еще нашего круга, которые знали нас как одно, для меня нестерпимо... Может быть, уеду скорее 1-го – и этого не знаю – как не знаю своего адреса на завтра. Если захочу умереть – (хотя теперь уже, кажется, не сумею) – застрелюсь из Браунинга С.А. в Кёльнском соборе. Ведь это лучше, чем на Арбате?

22 октября 1908 г. Париж.

Я совершенно не знаю, останусь в Париже или нет. Послала две телеграммы в Лейпциг, но без ответа.



Что с Надей, даже жива ли она – не знаю. Может быть, правда, у меня уже никого не осталось. Этот отель покидаю сегодня. Переселюсь пока в Латинский квартал. Квартиру мне Robert нашел такую – без печей, противную и дорогую, – что я ее не взяла. Может быть, день – 2 пробуду в гостинице. Милый Валерий, ты удивляешься бессвязности моих намерений. Но они сейчас действительно таковы. Я *ничего* не хочу и *ничего* не могу. В данный момент мне нужна чужая твердая воля и покой. А я должна что-то организовать, быть на страже не только себя, но даже своих вещей. Мне стоит огромных усилий вести себя как все люди. Robert говорит, что русские все сумасшедшие. Но попробовал бы он так пожить хотя 1/2 года! Я тебя люблю. Давно уже ты не хочешь видеть настоящего лика любви и видишь только искаженный, вывернутый. Ты его *сделал*, и ты же обвиняешь и упрекаешь меня... Я хотела жить с тобой всегда. Зачем мне искусы, операции? Рената твоего романа в конце концов не вынесла пыток. Иногда мне кажется, что и я сломаюсь скоро, хотя вовсе не потому, что не хочу жить. Хочу! Хочу всего! Но устала смертельно, до последнего изнеможения. Твой приезд в Париж – прекрасная сказка, которую мне, может быть, уже и не прочесть. Валерий, Валерий, разве «любящие» обрекают на муки любимых? Но пусть будет над моей жизнью *Твоя Воля* до моей последней горестной страницы. Прощай! Ты понял меня? Ты сумел в этом письме прочесть мою душу?

Куда мне писать – не знаю. У меня нет дома и даже адреса. Припомни библейскую историю о «горчичном зерне»... Может быть, его нужно было бросить в землю, чтобы оно проросло. Вот ты бросил – и жди. И я твоя, твоя навсегда. В глубине моего сердца я та Рената, что рыдала о тебе в Кёльнском соборе, *Твой образ*, не запятнанный ничем. И вот опять звучат слова маленького, может быть, тоже страдающего по-своему Владьки (Ходасевича. – *И. Т.*):

Я прощаюсь с тобой с поклоном.
Возвращаю в молчаньи кольцо...

Твоя и в жизни и смерти
Рената.



3/16 ноября 1908. Лейпциг.

...Мне страшно писать тебе и страшнее не писать. Но как я буду говорить? С кем? Разве я знаю что-нибудь теперь! – Стараюсь забыть твое холодное, загадочное лицо в номере, стараюсь вспомнить что-то уж очень давнее – ласковые глаза, нежную улыбку... Вот 10 дней я была в Париже и 4 дня здесь. Хотела бы ездить без конца, может быть, в течение года знать одни вагоны и мелькание лиц. Провела 10 дней в усталости, во всей горькой яркости ощущения последней встречи с тобой, в полном внутреннем хаосе, в колебаниях души и почувствовала с ясностью, что на какое-то время нужно себя посадить в одиночную тюрьму. Я вернусь в Париж, вернусь непременно, но не раньше как через три недели или месяц. К определенному сроку пребывания здесь меня еще обяжут некоторые глупости чисто житейского свойства, которые я сделала в Париже. Я жила 10 дней, надрывая все свои чувства до последней крайности. Еще раз прошла все ступени отчаяния и тоски по тебе, каждое воспоминание отметила новым знаком горя и любви. Минутами было так страшно, так пусто, так непонятно все становилось вокруг, что хотелось сделать что-то совсем безумное – может быть, вернуться в Москву... – Но *это* я преодолела и знаю – в Москву мне дороги нет навсегда. Почему я оказалась здесь? Ах, в Париже мне нужно жить «по-новому», с новым лицом, в обладании своей душой. В Париже я должна *как-то* отвечать на те возможности, которые мне предложит жизнь. В Париже меня слишком ласкали и звали, а это меня сейчас утомляет. После встреч с людьми душа делалась совсем каменной и пустой. Наконец, я чувствую себя плохо физически, и иногда мне не хочется ничего, кроме одиночной тюрьмы. В первый раз захотелось бежать от «возможностей». А помнишь, как прежде я рвалась к ним? Сейчас мне хочется быть только с тобой: вот в этой немецкой комнате, в одиночестве бесконечном я вновь с тобой переживаю все радости и муки того, чему не вернуться, я знаю, – никогда. Мне уже иногда все равно, что ты не любишь меня больше или любишь так мало, ибо я люблю не *взамен* и не *в ответ*, а люблю потому, что эта любовь есть я и моя душа. Я совершенно не



знаю, как примирюсь я во внешнем с сознанием, что тебя для меня больше нет и *не будет*. Видишь, – пока *никак*. Назначаю себе сроки тюрьмы, болтаюсь по вагонам и отелям, колеблюсь всеми чувствами, тоскую, тоскую по тебе очень и никак не представляю окончательных форм моей жизни *без тебя*. Мы плохо виделись в Намюре. Может быть, *ты* приехал чужим, а может быть, в этом была виновата я. Я помню свои слова, – безумные, как удары ножом по собственному телу. Помню это горькое упоение отчаянием, которое толкало – все, что еще *осталось* и *уцелело* – истребить, бросить в хаос и тьму. Понимал ли ты меня? Или только слышал звуки новых страшных слов? Или тебе действительно казалось, что меня больше нет?

Валерий, дорогой мой, я та же, как 4 года назад, как в самые горькие и счастливые наши дни. Моя любовь подвергалась всем испытаньям, всем утонченно задуманным мукам, и сейчас она брошена в землю, как «горчичное зерно», а может быть, уже по-иному.... Но верь и знай – я *жду тебя*, я прохожу «все ужасы суда» с тайной и нежной надеждой, что когда-то, может быть, поздно, но ты придешь, а я скажу: «Милый Рупрехт! как хорошо – что ты со мной». Я знаю, что мы уже не будем вместе, *как были*, – никогда! Но в эту *минуту* из твоего романа я верю, верю, и *только вера в нее* дает мне силы преодолевать мою жизнь, или то, что называется «моей жизнью» сейчас. В Париже меня ждет совсем юная, совсем настоящая любовь, со всем тем безумием чувств, которого мне так хотелось в тебе, со всеми теми словами, которые я так ждала услышать от тебя. Любовь – всегда любовь: «И кто б ни подал кубок жгучий»... – не все ли равно. Но я уже устала скитаться по душам; как бывало, я не хочу «любви», а хочу тебя, только тебя, и эта постоянная мечта о невозможном делает меня мертвой и чужой всему. «Нина, опомнись!» – писал мне недавно Сережа в ответ на письмо из Намюра. И мне кажется, что я «опомнилась» именно теперь, когда поняла с последней горестной ясностью, что моя жизнь – это ты. Милый Валерий, я хотела бы, я прошу тебя очень, – если ты *знаешь*, что не придешь в Париж, как обещал, сделай еще одну «операцию» над моей душой: отними у меня эту надежду



совсем. Она волнует меня. У меня невольно сводятся к ней все мысли. А я не хочу больше обождений. Скажи прямо, и я буду думать по-иному. Я уеду в Бретань в декабре. Ведь мне уже тогда станет все равно, где проводить месяцы, дни и вообще, как жить во внешнем. Скажи прямо. Скажи!...

Боже мой, как давно я о тебе ничего не знаю... Прощай, милый. Ах, какой длинный печальный вечер!..

Брюсов – Нине. 8/21 ноября 1908. Москва.

...Твое письмо прочел я с таким волнением, как уже давно не читал писем, даже Твоих. Эти недели разлуки заставили меня особенно остро воспринимать Твой голос, особенно живо чувствовать каждое слово, каждый намек. Еще и еще раз узнал я, – в чем никогда и не колебался, – что Ты мне близка бесконечно, что Ты не можешь, никогда, никогда, стать чужой мне.

Ты упрекаешь меня, что я не писал Тебе. Но куда же бы стал я писать! Прощаясь со мной в Намюре, Ты сказала мне, сказала твердо, что едешь в *Лейпциг*. На другой день по возвращении в Москву я получил Твое письмо из *Парижа*. В письме не было адреса. После этого Ты не раз писала С.А., о чем он поминал мне, но меня о своей жизни не извещала никак. Я мог думать, и я думал, что Ты не хочешь дать мне адреса, не хочешь моих писем, и я не позволил себе нарушить Твоей воли. Только поэтому я не писал, ибо неужели же Ты думаешь, что мне нечего было сказать Тебе!

То, что Ты не поехала в Лейпциг, было мне очень больно. В письме Ты спрашиваешь меня, как отнесся я ко всему, что Ты мне говорила в Намюре. Я принял эти слова как порыв, как искажение души, но я не мог знать, насколько сильно этот порыв, это искажение овладело Тобой. Минутами мне казалось, что это новое безумие владеет Тобою властно, подчинило Тебя себе – что в этом облике, страшном для меня, Ты можешь прожить долго, может быть, целые годы. Вот почему я так радовался, когда Ты выбрала решение – ехать в Лейпциг. Я верил, что Лейпциг как-то успокоит, утишит Тебя, вернет Тебя к се-



бе. И мне стало горько и страшно, когда я узнал, что Ты все-таки в Париже...

Теперь Ты пишешь мне: «я та же, как 4 года назад, как в самые горькие и счастливые наши дни»... Нина, дорогая, хорошая, вечно близкая мне! Разве это нужно! Разве нужно быть прежней! И разве это возможно? За эти четыре года целые миры обрушились в наших душах. Что в них осталось прежнего? – Только те стихии, из которых они созданы. Не прежними должны быть, а новыми. Не в прошлом и не прошлым надо нам жить: в настоящем и современностью. Надо смело смотреть в глаза Судьбе, которая ведет, влечет нас, заставляет нас изменяться и все изменяет вокруг нас. И вот в этих переменах и изменах оставаться всегда близкими друг к другу, вечно и непобедимо, роковым образом связанными – вот чего я хочу и ищу. Если Твои слова «я та же, как 4 года назад» значат, что Ты *по отношению ко мне* та же, что Ты так же влечешься ко мне, как тогда, – я эти слова приветствую, благословляю их, благодарю за них. Но если Ты хочешь сказать: «я все «та же», я не изменилась, мои чувства, желания, ожидания не изменились», – мне придется опустить голову и сказать тихо: но я – изменился, но я – не тот же и не могу стать прежним, на четыре года уйти назад...

Мы много раз об этом говорили с Тобой, но и в письме мне хочется говорить все о том же. Это кажется мне самым важным для нас, поскольку мы – мы, а не Ты и я.

Нина, дорогая, я сказал Тебе это торжественно и клятвенно в Намюре, я повторил Тебе это в начале этого письма и повторяю еще раз: никогда, никогда Ты не станешь для меня чужой. Твоя судьба, Твоя жизнь, Твоя душа – останется для меня всегда самой дорогой, самой важной, самой близкой из всех жизней, существующих вокруг меня «в мире и в мирах». Но нужно же когда-нибудь со смелостью, без всякой утайки, сказать и другую правду: той любви, которой Ты жаждешь, ищешь, ждешь от меня, любви последней, самопожертвенной, самозабвенной – во мне нет и не может быть по самой сущности моей души. Если она была прежде, то это было лишь недолгое, временное мгновение, искажение моего существа (искажение – не в смысле



его изменения к худшему, но лишь уклона от естественного его пути; так для прозаической души искажением будет порыв лиризма). Не думаю, чтобы такое искажение было еще раз возможно для меня. По крайней мере, в том опыте, который свершился на Твоих глазах, – встреча с Коммиссаржевской, – волны безумия, плеснувшие было в берег души, почти мгновенно откатились вспять.

Не думай, что я хваюсь, что я горжусь всем этим. Напротив, я сознаюсь во всем этом с глубокой горечью. Но я, наконец, узнал себя, понял (как начинают, увы! узнавать, понимать эту мою особенность и гг. литературные критики!). Да, я могу любить глубоко, быть верным в лучшем смысле слова, но я не могу, не способен – отдаться любви, броситься в нее, как в водоворот, закрыть глаза, дать стремить себя потоку чувства. Я знаю, я верно знаю, что это и есть «то, что люди называют» счастьем. Но я уже не ищу счастья, не жду его, *и мне его не надо*. К иному иду я, не знаю, большему или меньшему, но к иному. Таким я *стал* (хотя я в сущности таким всегда и был), таким надо принять меня теперь, ибо иного меня – нет.

Что же я предлагаю, что же я даю Тебе и на коленях прошу принять? Не любовь, которой Ты спрашиваешь, и не дружбу, над которой Ты смеешься. Но нечто третье, что не так обычно в мире, но что прекраснее и выше того и другого. Никому другому, ни ей, чье имя Ты не любишь произносить, не даю и не могу дать того, что Ты называешь любовью. Но об этом надо еще говорить много и долго... Я отдаю Тебе и спрашиваю от Тебя – божественную близость двух душ, сходных и раздельных, единых и самобытных, слитых в одно и вечно неслиянных. Я хотел бы, чтобы Ты почувствовала, как почувствовал это я, что нам нельзя уже разорвать связавших нас уз, что мы должны быть вместе, и будем вместе, но чтобы это чувство вырвала Ты из временных и меняющихся условий: любви, дружбы, как раньше вырвала из условий житейских – брака, товарищества... Я хочу той близости, которая не основана ни на безумии, ни на поцелуях, ни на расчете, но которая открывает другую душу, как свою собственную. Об этой близости я говорил Тебе много раз, ее хочу и ее могу дать,



и не только могу, но не отдам только в том случае, если Ты ее не возьмешь...

Нина! Нина! Знаю, что слова бессильны. Все то же не раз пытался я показать Тебе, говоря устно, дополняя все сказанное всеми силами живой речи, выражением голоса, глаз, дрожью всего существа. Вспомни все, что я говорил, оживи эти бледные и по необходимости краткие, сжатые строки силою воспоминаний. Пойми хоть теперь, *что именно* я говорю, и если есть в Твоей душе ответ на этот зов, – ответь... И если Ты ответишь, ответишь «да», ответишь «я тоже хочу этого», – все станет легко, ясно, просто, прекрасно. Исчезнут мучительства наших последних лет; исчезнут все трудности для нас быть вместе. И мы будем рядом, и мы будем радостно... нет, нет, не плакать, но тихо смеяться...

Ах, Нина, и еще – как трудно быть далеко от Тебя и целыми месяцами не слышать Твоего голоса!

Теперь о внешнем.

Ты спрашиваешь меня, приеду ли я в Париж. Вот точный, искренний и подробный ответ.

Здесь, в Москве, нашел я страшный разгром всего того дела, которое привык считать своим... Даже во внешнем, при первых столкновениях, я тотчас увидел, как все повернулось к нам враждебной стороной. Где прежде я имел абсолютный вес, меня слушали только из вежливости...

Я много раз говорил Тебе, что «Весы» мне надоели, что я хотел бы отказаться от заботы об них. Но видя такое неожиданное и стремительное крушение всего, что я делал в течение пятнадцати лет; видя, как внезапно все значение, вся руководящая роль переходит в литературные течения, мне и моим идеалам враждебные; видя, как торжествуют те, кто, в сущности, обокрал меня и моих со товарищей, – я не мог не изменить решения. Я не могу еще сложить руки и сказать: вот я, берите меня, грабьте мое добро и топчите меня ногами. Я могу уйти в сторону, когда положение обеспечено, но сделать это именно в час разгрома – и нечестно и нестерпимо для меня. Я решил бороться во что бы то ни стало. Я решил в 1909 г. так или иначе, но



издавать «Весы» или другой журнал и удержать за своими идеями в литературе то место, какое им надлежит.

Ты понимаешь, что такое положение требует с моей стороны сейчас величайшего напряжения энергии. С.А. Поляков* – за границей и продолжать «Весов» не хочет. Другого издателя нет. Все друзья и союзники готовы продать и «Весы» и меня за 30 серебряников или и дешевле. Чтоб снова все сплотить, все устроить, все повести – надо не выпускать возжей и нитей всяких интриг ни на минуту. И вот я в самом полном разгаре всяких неизменнейших дел и отношений, в которых снова задыхаюсь, как в душной тюрьме, но бросить которые не могу, не хочу, не должен. И ты понимаешь, что даже при успехе месяца два-три, пока не наладится все опять, – у меня не будет возможности покинуть Россию на долгое время.

К этому надо прибавить еще более внешнее дело. Я говорил Тебе, что еду в Москву между прочим для того, чтобы разделаться с пресловутым моим домом на Цветном бульваре. Не знаю, я ли безнадежно торможу дело или мой брат только прикидывается деловым человеком, но только предприятие наше безнадежно не подвигается вперед. Сегодня оно все в том же положении, как полгода назад. И это, с одной стороны, лишает меня возможности, как Ты когда-то выразилась, «свободно передвигаться в пространстве», с другой – опять приковывает меня к Москве или хотя бы к России.

Но это, конечно, не значит, что мы не должны с Тобой видеться целыми долгими месяцами. Я только говорю, что мне очень трудно будет ехать в Париж, а именно на Рождество и невозможно. Но что, если бы мы после Рождества встретились бы где-нибудь в ином месте? В том же Твоем Лейпциге? или еще ближе, в Берлине? Или что, если бы Ты, следуя второму совету С.А., предпочла жить не в Париже, но в Петербурге? Тогда наши встречи, наша жизнь вместе стала бы (с внешней стороны) вполне легкой... Впрочем, все это пока предположения, и еще очень не выяснившиеся. Даже отказ мой приехать в Париж на Рождество еще не

* Поляков, Сергей (1874–1943) – меценат, основатель издательства «Скорпион», переводчик.



окончательный. Может быть, несмотря на все мои усилия, ничего у меня не удастся, и тогда, бросив Россию, я, может быть, с января надолго уеду за границу: тогда мы встретимся именно в Париже.

Ну, прощай, Нина, до свидания. Надо кончить это письмо, такое длинное, какого я, кажется, никогда еще не писал Тебе. Даже рука устала чертить буквы, и я боюсь, что последние строки Тебе трудно разбирать. Прости некоторую сухость последней страницы, – Ты знаешь, – я уже говорил Тебе, – как трудно «отказывать»: невольно, вместе ласкового голоса, неприятное другому говоришь голосом суровым. Но мне хотелось бы все о моем приезде за границу или о Твоем возвращении в Петербург, все о нашей встрече, новой, по-новому, счастливой – сказать Тебе, стоя перед Тобой на коленях, целуя Твои руки, смотря Тебе в глаза, со всей нежностью, какая есть в моем голосе. Ибо я всегда и навсегда – Твой, Твой, Твой...

Нина – Брюсову. 12/25 ноября 1908. Лейпциг.

...Живу я и в Лейпциге плохо. Тут можно было бы заснуть, как в колыбели, но меня безмерно мучит Надя. Все я для нее сделала. Все, что могла, и даже почти для меня невозможное. Думала, удастся ее спасти. Но, должно быть, никто никого не может «спасти». У нее, как я теперь ясно вижу, настоящая душевная болезнь с ярко выраженной манией самоубийства. После отравления не поправилась, лежит все время в постели и повторяет: «Я хочу одного – умереть». Любовь оказалась лекарством бессильным, только понапрасну замучился студент. 26-го (русского стиля) собирается в Москву. Удерживать бесполезно. Все это мне трудно, и горько, и неудобно до крайности, но исполню свой последний долг – отправлю в Москву и махну рукой на все мое любимое прошлое целиком. В Россию не вернусь никогда. Пусть там делают что хотят, но уж не на моих глазах, по крайней мере. 26-го и я поеду в Париж. Что мне здесь, когда она уедет? Так попадает моя душа из одной горести в другую. Кончится ли эта несчастная «полоса»? Здесь веду жизнь монашескую. Целые дни учусь, читаю французские книги, один раз выхожу



обедать и в 11 – спать. Пишут мне только – Сережа, Robert и еще один студент из Парижа. Письма этого третьего (забавно, – он мексиканец, очень изящный, милый, но почти черный – сын посланника), длинные, изысканно нежные и сдержанно страстные, в самом утонченном французском стиле, доставляют мне много полезного труда. Пишет много – по 4, 5 страниц, нужно отвечать, и на этих ответах я учусь языку. Минутами чувствую здесь острую боль, минутами покорно затихаю. Но даже Германия, отвратительные немцы, сонный Лейпциг и мучения с Надей, – все это лучше и легче Москвы. Париж меня опять немного пугает. Там нужно как бы то ни было, но *жить*, а это для меня в данное время очень, очень трудно. Еще с иностранцами чувствую себя сравнительно лучше, но русские... Одно упоминание твоего имени меня терзает, как новая пытка. А все остальное – точно опять в Москве. Не хочу русских!.. Как буду жить в Париже – не знаю. Вот, может быть, увидаю Вальдора, он все же француз. Мексиканец предлагает себя в мое полное распоряжение – хочет показать мне весь Париж. Если он не спросит *вперед* за это какого-нибудь чрезмерного вознаграждения, – воспользуюсь им; он Париж знает, ибо живет в нем уже 9 лет. Robert мне не удобен. Днем он пленник, а романтические ночные вылазки меня лишь утомляют, потому что возможны между 12 ночи и 5 утра. Все это пустяки. Мне кажется, я предчувствую, что скоро (или не очень еще скоро – не знаю) окажусь где-то далеко. Ощущаю волну, которая меня внешне относит все дальше и дальше от оставленных берегов. И противиться ей не буду. Самое желанное для меня сейчас, – путешествия и вагон. В вагоне я успокаиваюсь и даже сплю лучше, чем в самой удобной немецкой постели.

Ах, Валерий!... Если бы знал ты, как горестно и безнадежно я тебя люблю! Но не надо об этом...

13/26 ноября 1908. Лейпциг.

...Я хочу сказать тебе о себе все, что знаю, из последней глубины, со всей нежностью и лаской, на какие способна. В прошлом, в самом последнем письме, когда после разных внешностей мне захотелось обратиться к тебе по-



настоящему, я не нашла других слов, кроме: «Я люблю тебя безнадежно». Да, – безнадежно, как любят светлую память умерших. Твои слова о каких-то наших свиданьях, о *нашей* жизни для меня только прекрасная печальная музыка, которая будит воспоминанья и умножает боль. Я знаю, я чувствую всем моим существом – *наша* жизнь кончилась этим страшным летом, в тот горестный вечер, когда я получила твое письмо уже с вокзала. Каждый миг прошлого, оплаченный мной почти кровью, каждый миг, запечатленный нашими печальными и прекрасными встречами, останется священным в моей памяти уже навсегда. Иногда эти воспоминанья меня жгут до страданья, до острой, почти физической боли, как настоящий огонь. И вот *кроме них* ничего нет в душе моей – ни надежд, ни светлых предчувствий. Твой отъезд в июле и этот мой, последний, – для меня две роковые черты. Чувствую себя выброшенной на чужой пустынный берег после крушенья. Я прочла твое прекрасное письмо с волнением и *болью*, потому что в ответ у меня нет живых, радостных, приветственных слов. Да, мы близки, как могут быть близки люди в самых редких исключительных встречах, да, уже ничто не зачеркнет в нашей памяти пережитое вместе лето, и я влекусь к тебе с той же страстью души, как в самые счастливые дни нашей любви, но *жить* мы больше не будем... Жить в том смысле, как смеют сказать это люди, которые любят, и, как говорится, здесь, на этой земле. Последний год был ужасен, но это все же была *наша* жизнь, и мы были вместе, и до последнего дня нас связывало что-то единое, могущественное, почти кровное и прекрасное даже в самые страшные минуты. Ты перерезая эту нить с решимостью хирурга «во имя будущего» – так говорил ты. И разве можно винить хирурга, если больной умирает? И разве можно винить *тебя* за то, что этого не вынесла *моя* душа? Были минуты, когда я ненавидела тебя так, как может только ненавидеть свое счастье человек, который его лишился навсегда. Но эта омраченность духа миновала давно. Я люблю тебя полнее, глубже, сознательнее, чем прежде. Но любовь к тебе *без тебя* стала бессильной, неживой, как память об умершем. Я не могу больше связывать мою жизнь с твоей. Не могу!..



И от этого ощущения разорванности с тобой я совершенно утратила чувство собственной жизни и пришла к тому мертвенному автоматизму, о котором прежде говорила, не понимая, что это значит. Я жива все эти месяцы... только в тайных застенках моей души, где нескончаемо длится предпоследняя глава твоего романа. Во всем остальном, что называется теперь моей жизнью, я – механическая кукла, очень искусно имитирующая человека. Должно быть, не была еще я готова к последнему и роковому испытанию, данному тобой. Милый, милый Валерий, совсем другие слова хотелось бы сказать мне в ответ на твою нежность. Но не могу! Все мое внутреннее зрение обращено только к какой-то одной и последней минуте с тобой (о, я в нее верую!), когда я скажу: «Милый Валерий, как хорошо, что ты со мной». Вся *наша* жизнь для меня воплотилась только в этот безумный, полумистический образ. На него смотрю с непоколебимой надеждой, минуя все, что придется пережить в долгом томлении без тебя.

Все, что ты говоришь о себе, я знала и помнила. Я любила тебя прежним. В эти ноябрьские дни я праздную много печальных годовщин. Мне бы хотелось покупать здесь венки из осенней зелени с красными ягодами, которые так напоминают рябину в Гжели, и каждый день, каждый вечер, о, я их помню, помню!.. украшать мою унылую немецкую комнату...

Я люблю тебя и таким, каким ты для меня стал, но мне больше ничего, ничего не надо в ответ! Я останусь тебе близкой, верной, неизменно твоей на всю жизнь, но *жить* с тобой, может быть, уже не смогу никогда. Нам не связать разорванной нити. Может быть, что-то в нас слилось полнее, прекраснее и гармоничнее, но это так бесплотно, так безжизненно *здесь*, что я не умею назвать, протянуть руки, как к источнику жизни. И вот смотрю на тебя из бесконечной дали с бессильной тоской и теряю из глаз твое очертание и не могу ничего удержать.

Не печалься! Не уходи из моей жизни пока, только о *нашем будущем*, в жизни, в днях, я не знаю, не знаю ничего. Ты пишешь, что не можешь приехать на Рождество в Париж... Я это внутренне знала еще в Намюре. О нашей



встрече последней, о невозможной встрече Рупрехта и Ренаты я думаю как о реальной, а о реальной «через 2–3 месяца» лучше не будем говорить... Еще ты пишешь о Петербурге... Нет, Валерий, *в Россию я не вернусь*. Эту фразу, как заклятие, я повторяю в каждом письме к Сереже. Я предпочитаю ту жизнь, ту еще совсем мне не нужную жизнь, которая начала складываться в Париже, новым, но бессмысленным мукам в Петербурге среди злорадства, сплетен, залезания в мою душу, среди того общества, которое мы с тобой оба достаточно знаем. Что будешь в Петербурге ближе ты, – это только оболщения или еще какие-то более утонченные пытки. Нет, Париж! Теперь мне все равно, где жить, лишь бы не в России, а там со мной люди ласковы и нежны, там никто не знает и не догадывается о застенках моих чувств, и уже от одного этого прикосновенья кажутся мягкими и не причиняют боли. С русскими я не буду, а иностранцы никогда меня вполне не поймут и ничего не узнают о моей прежней погибшей жизни. Уеду я отсюда почти наверное 26-го. Но, если можно, Сереже об этом назначенном сроке не говори. Я сама напишу ему. Московскую внешнюю жизнь совсем забываю. Еще с лета все стало очевидно чужим, даже почти враждебным: «Весы», Эллис, Кружок, «мальчишки», все ежедневные интересы. Боже мой, в какую даль все это отодвинулось. Знаешь, Валерий, иногда (и здесь, в Лейпциге, часто) мне кажется, что я уже умерла и откуда-то издалека с теми самыми мучениями, о которых так подробно рассказывают спириты, смотрю на всю свою прошлую жизнь, в которой уже не могу никогда принять участия. И еще это ощущение большого пустого пространства и бесконечного одиночества, особенно по ночам в темноте.... Мой ум сейчас вовсе не настроен мистически, но иногда точно даже припоминаю час смерти, на диване, в столовой в один из очень жарких и страшных вечеров этого лета, когда ты была на даче... Ах, Валерий, не огорчайся этим письмом. Ведь ты должен же понять и меня. Нет в моей душе никакого будущего, и нет у меня никакой жизни при этой бесконечной разобщенности наших существований.

Милый Валерий, я даже разучилась быть ласковой... Пиши, если захочешь. Я могу говорить о себе все, что тебе



интересно, не скрывая ни единого факта, ни единого движения души...

Брюсов – Нине. 16/29 ноября 1908. Москва.

... Не писал, потому что очень себя плохо чувствую. Москва вошла во все свои права над моей душой.

Чу! шумят утрюмо крылья духов скорби надо мной...

Плохо здесь, и в этом году особенно плохо. Какой-то «развал». Но об этом я Тебе уже писал и повторять не хочется. Пока еще ничего в моей жизни не устроено, и как буду я жить эту зиму – не знаю.

Твои письма – грустные, больно сжимающие сердце, но – скажу Тебе – не безнадежные. Какая-то, страстно желанная мною, стройность начинает выясняться в хаосе Твоей души. Я начинаю опять видеть, хотя еще смутно, Тебя, Тебя настоящую! Нина, милая, хорошая, дорогая, стань собою, – я не устану повторять Тебе этих слов.

Да, если Ты этого хочешь, возвращайся в Париж, но не как в проклятое место ссылки, а как в город прекрасный, многообразный, близкий всем, кто чувствует жизнь, жизнь прошлую и настоящую. Возвращайся в Париж – живою, не мертвой! Не для того, чтобы что-то оплакивать, но чтобы открыть душу новым впечатлениям.

Ах, как ясно, как отчетливо, как радостно вижу я возможности быть для нас «вместе», любить друг друга светло и прекрасно, – но обоим нам для этого надо быть живым. Ах, если бы эта наша разлука, первая истинная разлука, которая длится так мучительно, привела не к победе над нашей любовью, а к ее торжеству. Я хочу, чтобы Ты при новой встрече не сказала мне: «Ну вот теперь я могу быть без Тебя», – а напротив: «Теперь я могу, я умею и я хочу быть с Тобой!». Почему эти мечты, которые мне кажутся такими достижимыми, Тебе представляются безумием?

Ты помнишь, я несколько раз говорил Тебе: «Необходимо, чтоб у Тебя была цель в жизни вне меня». Мне до сих пор это кажется самым верным определением того, чего недостает Тебе. Да, прекрасно, если двое ставят всю



цель своей жизни друг в друге – как Паоло и Франческа. Бывало, я заклинал свою Судьбу:

О дай мне жребий тот же вынуть!

Но мне этот жребий не выпал, теперь уже нельзя сомневаться. Могу о себе сказать теперь другими словами, словами моего Одиссея:

Я – доброволец меж рабов...

Но Та, кому я рабствую, это все же Божество, ибо ее имя – моя поэзия. И когда Ты мне говоришь: «Хочу, чтобы Ты был мой», – я отвечаю Тебе, как обрученный: «Я не – свободен». Нина! дорогая! примиришься, наконец, с этим; пойми, наконец, этого неизбежность; оставь мне эту несвободу; – сочти меня спутником своей жизни, а не самой Твоей жизнью; скажи мне: «Я и ты», а не безличное «мы». – И мне почему-то кажется, что Ты скоро скажешь так.

Я очень затомился без Тебя, Нина. Мне недостает Тебя в жизни, как зверям в зверинце свободы. Только крайним усилием воли подавляю эту тоску по Тебе, чтобы она не охватила всего моего существа. Так хочется прийти к Тебе, положить голову Тебе на колени, увидеть Твои глаза, поцеловать Твою руку. Сознаться ли? Порою я тоскую даже по ужасным вечерам этой весны, одно воспоминание о которых заставляло меня недавно содрогаться. И я думаю: не лучше ли даже *это*, даже *такие* встречи, чем разделенность на месяцы и на месяцы...

Я буду Тебе писать, Нина, много, подробно, – дай только чуть-чуть устроиться жизни. О возможности своего приезда в Париж я писал Тебе в прошлом письме – жду ответа...

Нина – Брюсову. 17/30 ноября 1908. Лейпциг.

...Даже моя безнадежность не может разрушить нашей близости. Помни это всегда. И на встречу к тебе, когда позовешь, я пойду с неизменной радостью. Только буду ли той, какую ты ждешь, – не знаю, и *сейчас* могу просить об



одном, как ты: «Возьми меня, какой я *могу* быть». Недавно ночью я написала тебе длинное письмо, но не решилась послать, еще не имея от тебя ответа на предыдущее. Очень, очень стараюсь собой овладеть. *Не убить себя*, как говорила в Намюре, а только овладеть, чтобы возможно стало как-то жить во внешнем и просто дышать. «Милый Нин, если ты не нашел нужным умереть, то должен жить, а не бить себя об пол еще и еще», – так в каждом письме мне пишет Сережа, милый, трогательный Сережа. За 18 дней в Лейпциге, несмотря на мучительства с Надей, несколько опомнилась от Парижских безумств. Целые дни учусь, а вечерами внимательно и с упоением читаю Бодлера...

Я, правда, куда-то *ухожу*, Валерий. Куда, – не знаю. Прав ли мой путь, – тоже не знаю, но скоро, скоро даже тени моей не останется в прошлом. Мое глубокое нежелание видеть русских и общаться с русскими как бы то ни было (о, милый, конечно, кроме тебя!), я думаю, есть не что иное, как внешний признак течения какого-то внутреннего процесса. Оборвалась связь *со всей* прошлой жизнью. Новой еще нет, но *ни одной формы* из прежнего повторить не могу. Ты знаешь, мне стало трудно писать русские письма. Я охотно отвечаю иностранцам, очень забавляюсь их письмами и с трудом иногда пишу даже Сереже. Может быть, через какое-то время на вопрос: «Давно ли Вы из России?» – я буду отвечать, как *т-те* Высоцкая, хозяйка моего пансиона во Флоренции, у которой ненависть к России стала манией, – она отвечала, право, бледнея и с самым острым гневом: «Я *никогда* не была в России». И если я сейчас не имею радостей положительных, то у меня есть постоянные отрицательные утешения, – я *не* в Москве, я *не* вижу «мальчишек», я *не* распинаясь по вторникам у колонн Художественного кружка, ко мне не придет Владька, чтобы рассказать, как ты вчера проводил время, – словом, я уже *за чертой* всех этих мук, которые, по уверению Сережи, еще немного и стали бы *трагикомическими*, как нескончаемые мучения «бедного» Чеховского «француза».

Валерий, иногда мне снова хочется жить... Не знаю, как, не знаю, где и чем. Я долго, долго не умела свободно



дышать, и весь мир был от меня закрыт. И вдруг иногда (о, не часто) мне хочется сказать себе словами Бодлэра:

Чтоб в сердце замерло последнее биенье,
Чтоб ножки резвые прервали скользкий путь...

Ах, *они* мне пишут слова, которые я хотела бы слышать только от тебя! Я знаю, знаю, что некоторые слова говорятся *раз*, но разве иногда мы не ропщем на самые железные и непреложные законы?

Милый Валерий! как хочется мне сказать: «Милый звёздочек!» Но я повторяю их одними губами. Я не умею больше говорить этих слов...

17/30 ноября 1908. Лейпциг.

...Сегодня вечером я опустила тебе письмо, а сейчас ночь, 2 часа, и я не могу спать, как почти все последние ночи в Лейпциге. Так как я решилась «собой овладеть», то даже веронала не принимаю, и вот борюсь по ночам с ужасным расстройством души. Не знаю, *какую* мне жизнь сейчас нужно! Из Парижа бежала от шума; а здесь меня угнетает и мучит тишина. Ах, по ночам в сознании ощущение огромного пустого пространства, а немецкая комната с тяжелой мебелью, с унылыми серыми стенами кажется настоящим саркофагом. За стеной студент спит как мертвый, и тишина такая, что мне хочется швырять стулья, лишь бы как-нибудь ее нарушить. Но это не Москва, бурно выражать себя нельзя. И вот в огромной двупальной кровати я лежу неподвижно, и мне кажется, что уж это смерть, смерть всего, кроме сознания. И вот меня пугает смерть, так же остро, как прежде радовала мысль о ней. Ты, может быть, вчера, т. е. в предыдущем письме, не понял, почему я привела строчки из Бодлэра, и они тебе показались бессмысленно выдернутыми. Ах, я насильственно оборвала мысль, потому что не решилась говорить так, как сейчас. Все это стихотворение связалось с целым рядом моих ощущений еще в Париже в одну из ночей в каких-то *cabarets* Монмартра, где со мной нежно разговаривали кокетки и где мне казалось, что меня и их связывает какая-то общая судьба. Так же я сидела с моим



случайным «*petit ami*» (как они называли Роберта), так же за плечами у меня зияла тьма, бесприютность и пустота. Я думала о тебе, о Сереже – думала о Ваших мирных ночах, которые мне не дадутся теперь уже никогда, и вот тогда в первый еще раз эти стихи Бодлэра мне показались обращенными равно к ним и ко мне. Вся жизнь для меня мне представилась одним Парижским *sabaret*, которое мне отныне стало единственным назначением. А в промежутках вот эти мысли и единственное будущее для души и тела –

Когда, прекрасная, лишь ров да склеп унылый
Заменят твой альков и замок пышный твой.

Милый Валерий, не сердись на все эти слова. Ты хотел, чтобы я говорила все. Не представляя *нашего* будущего в целом, я пытаюсь выполнить его первые условия, – и из Лейпцига шлю тебе письмо за письмом, – все безумные пометки состояния мятущейся еще души! Из Парижа я едва ли смогу писать так много, куда там меня швырнет новая волна? И будет ли даже расположение говорить о себе еще и еще. Эти свои ночные мысли и ощущения я ненавижу и сознаю их как (может быть, временное) *паденье*. Но если говорить совсем правду, то только в присутствии Б. Н. (о как это было давно!) я думала о смерти с истинным благородством и бесстрашием. В *наши* страшные дни она меня манила только как пропасть и забвение мук. Может быть, совсем чужими кажутся тебе мои письма? Ты в работе, в делах и совсем, навсегда далеко от такого шатания души. Какой-то частью моего существа мне очень хочется *самой одной*, без чьей бы то ни было помощи, даже твоей, стать мирной, тихой, успокоенной, не падать каждую минуту от самых разнообразных оттенков отчаяния. Самой для себя создать ваши «мирные ночи», когда *sabarets* даже и не снятся, когда хорошо спится после работы и иной усталости дня. Но я еще не могу, я еще не примирилась с «потерей», я еще в такой области, где воспоминания сильнее надежд. И когда они приходят меня мучить в роковой последовательности всех прошлых дней, я лежу как мертвая в моей двуспальной немецкой



кровати, и вечера на Монмартре с моим случайным «ретит ами» мне кажутся раем. Милый Валерий, я испытываю страшный соблазн изорвать это письмо, но так не поступлю. Завтра утром я отправляю его заказным. Ведь ты хотел бы знать обо мне *все*. Я пробую, стараюсь осуществить твою волю. Не осуждай меня *ты*, – это было бы жестоко. Напиши мне. Без твоего ответа на все мои письма я больше не смогу писать...

20 ноября / 3 декабря 1908.

... Ты опять мне пишешь нежные письма! Ты опять говоришь голосом такой ласки, в ответ на которую мне только хочется без слов целовать твои руки... Милый, любимый, не знаю, что было в твоём письме или что было в моей душе, когда я читала его, но сегодня, без сомнений, без боли, с одной только нежностью хочется мне сказать тебе: да, да, да! Я тебе верю, я тебя вижу, наконец вижу, и я хочу тебя, и не будет времени, когда я могла бы сказать: нет, я тебя не хочу! Но пойми, я еще очень хвораю, так сильно, что минутами бред мой и боль меня делают почти мертвой. Я, должно быть, приду к тебе, я очень хочу прийти. Но подожди – жди меня, с нежностью и надеждой – «я, быть может, не умер... проснусь... вернусь»... Для того, чтобы «научиться быть с тобой», мне нужно сначала научиться быть без тебя. Но видишь, и без тебя я ни на минуту не теряю тебя. Я жду, падаю в отчаянии, бросаю себя в хаос, караю себя тишиной и одиночеством, когда еще это очень страшно, покорно и терпеливо я отдаю себя на мучение всем мыслям и видениям, которые пришли как спутники *все одного же*. У меня иногда так искажается от этого душа, что я себя не узнаю, но, Валерий, верь мне, Валерий, но во всем, всегда, везде я остаюсь тебе близкой, неизменно твоей. Я тебе послала очень безнадежное письмо в ответ на твое длинное и еще два или три, – совсем смутных. Милый, от меня сейчас не нужно спрашивать определенных ответов. *Сейчас*, так близко от последнего лета и во власти его воспоминаний, которые не успели померкнуть и смягчиться, – разве могу я говорить и отвечать иначе? Я еще это не пережила совсем; у меня нет уже



прежних мыслей и желаний, но когда они все – пламенные, страшные и прекрасные призраки дней и вечеров – подойдут, обступят, лягут на грудь, – ах, Валерий! Подожди меня! Я приду, я наверно приду, хотя еще так, *как ты хочешь*, – не знаю когда. Многое, многое мучительное уже совсем неповторимо и невозможно между нами. Я верю тебе, вижу, знаю твой истинный образ, люблю *его* очень, но слиться с ним, как прежде сливалась с другим, – не умею пока. Милый, может быть, только *пока*? Поверь *ты*, жди меня, не уходи от меня теперь, безнадежно махнув рукой. Разве можем мы сказать: «Это кончено», когда наши души так влекутся друг к другу? Сегодня после твоих нежных слов я говорю не только *моя*, но *наши*, сегодня я верю в неизвестное, но светлое будущее *с тобой* и верю, что все *мое* будущее связано *с тобой*, какие бы тяжкие испытания ни пришлось пережить. Ах, не думай, что и эти слова опять приступ лихорадки, только с радостным бредом. Я очень печальна и даже больна сегодня, расстроена всячески, – это только твое письмо, – без тени какой-либо суровости обрадовало меня до надежды. Думаю, что 26-го поеду в Париж. Эти дни меня будет мучить Надя. Теперь ей хочется ехать со мной, она упрашивает ее взять. Я знаю, что в Москве она, пожалуй, скоро повторит то же. Но взять ее в Париж... С одной стороны, я бы этого хотела, но тут приходится встретиться с такими внешними трудностями, пойти на такие жертвы, что эти два месяца, которые она хотела бы быть со мной, – отнимут жизнь у меня. Но, несмотря на все это, я, вероятно, не вынесу слез и возьму. Не дают мне жить! Ну что ж, пускай едет, через 2 недели приедет ее студент – внутренне меня освободит, а внешности останутся внешностями... Сережа жалуется, что в Москве плохо, ты говоришь, что плохо, – верю Вам, мне же *страшно* все это вспомнить.

Ты иногда меня хочешь видеть?... Зверочек мой – и я!.. Часто. Не сердись на мои темные смутные письма. Я тебя люблю всегда, и в моем бреду, *где бы и каким бы он ни был*, еще острее. Я пишу тебе очень много.

Хочешь, чтобы я писала?..



22 ноября/5 декабря 1908. Лейпциг.

...Твое внимание и нежность меня трогают бесконечно. Как убивали меня твои письма из Парижа в Москву, так эти меня радуют и дают ощущение твоего живого присутствия в моей жизни. Мне тоже хочется тебя радовать, но не умею я пока! Сейчас я только огорчаю и тебя, и Сережу... 26-го определенно еду в Париж, и кажется, наверно с Надей. Не могу отказать, после меня замучат разные угрызенья – хуже будет. Да и эгоистически: мне с ней все же не так одиноко. Внешностям, которые из-за этого возникнут, – подчинюсь. Она хочет пробыть со мной 2 месяца. Через 3 недели уже на все остальное время ее пребывания приедет в Париж ее студент– это снимет с меня внутренние заботы. Надоело мне здесь! О литературе моей ты пишешь.... Нет, я ее бросать не думаю. Только пойми – ведь с 13-го августа, кроме отелей, ресторанов и вагонов, я ничего не знаю. Где мне было писать?! Сейчас в душе (так кажется) более чем когда-либо материала для того, чтобы писать. Что зовешь в «Весы» – благодарю *очень*, если успеешь, пришли что-нибудь для отзыва для декабрьской книжки... но ведь «Весы» кончаются? Или ты все же надеешься, что нет?

Милый Валерий, вероятно, я, что называется, «перемогусь» и собой овладею. Мне, чтобы успокоиться, еще страшно мешают тысячи всяких внешних неустойств и тревог. В этом смысле мне бы сейчас была нужна полная праздность ума и души, но одна Надя чего стоит! О том, что я ее возьму в Париж, Сереже не говори ни под каким видом. Это против его воли и всех соображений. Он будет сердиться очень. Я скажу ему после. Но еще я знаю, что ее наличность в Париже внесет в мою жизнь элемент некоторой «семейственности» (Ты улыбаешься?). Но если бы ты только себе мог представить, как я там страдала от одиночества, хотя ни одного вечера не была одна... Пиши мне все, – от твоих писем я воскресаяю. Ты опять стал милый и нежный.... Минутами я *верю* через все, что переживаю, и через все *неизвестное*, что придется пережить. В Париже меня ужасно ждут. Robert пишет обиженно и сдержанно (я ему не писала 16 дней), а мексиканец так экспансивно



выражает свои чувства и надежды, что, кажется, придется отказаться от его общества или, по крайней мере, обуздать его излишнюю «экзотическую» пылкость. Прости, что о пустяках! Я тебе пишу каждый день. Замечаешь ты это? Не презирай мои письма как «записки сумасшедшего». Я не меняюсь, меняется только что-то на самой поверхности души – то я печальнее, то веселее. В дни твоих писем – я всегда радостнее и мне не кажется, что уж совсем, навсегда я провалилась в какую-то яму. Пиши мне, когда хочется. Я тебя люблю всегда, неизменно. Ты знаешь?..

Брюсов – Нине. 25 ноября/8 декабря 1908. Москва.

...Ты тоже не знаешь, как я радуюсь на Твои письма, как перечитываю их. Мне очень, очень недостает Тебя, и хоть немного наши встречи заменены для меня Твоими письмами. Пиши мне сколько можно, и я буду писать, сколько могу. Пиши мне все, и я буду писать Тебе все.

Эти строки – только чтобы сказать, что письма Твои получены... Ах, Нинка! Так много хочется сказать, что ни в каком длинном письме этого не доскажешь, и много нужно было бы вечеров, чтобы договорить все до конца... много, может быть, бесконечное число...

Люби меня в Париже... Мне страшно представить Тебя в Париже, и с Robert, и с мексиканцем, и знаю ли я с кем еще. Но ведь Ты скажешь мне все, правда все, дорогая, милая, любимая!..

Нина – Брюсову. 25 ноября/8 декабря 1908. Лейпциг.

...Уезжаю завтра. В четверг уже Париж.... Как гном из стихотворения Б. Н., говорю и повторяю себе, очень невесело улыбаясь:

Несите меня, мои ноги, домой...
Заждались меня дома...

Там, правда, ждут... Если когда-нибудь мы сможем рассказывать все, совсем все, и о пустом и важном, – я пришлю тебе одно французское письмо. Почитай, – забавно.–

То место в твоих стихах, которое меня огорчило бы и отравило бы еще недавно, теперь почти не коснулось



души. От этого я уже далеко. Я забыла о ней. Скоро она для меня перестанет существовать вовсе. Ты не понимаешь, как это связывается с неизменностью моей боли? Не знаю и я. Мыслю ее как черту твоей души – единственно, реальный же облик сгорел, исчез. Хотелось бы написать тебе много, но нужно собираться, все разбросано, – вещи в таком же хаосе, как душа....

Из Парижа напишу скоро. Хотя там первые дни будет масса хлопот с отелем, квартирой и всяким устройством жизни внешней. Еду с Надей – это очень трудно. –

Милый, в каждом моем письме не ищи моего окончательного образа. Пишу, точно описываю процесс болезни. Видал ты когда-нибудь температурный лист, так называемую температурную «кривую»? Вот...

Брюсов – Нине. 27 ноября / 8 декабря 1908. Москва.

...Ты знаешь, у меня бывают иногда периоды влюбленности в Тебя. Я люблю Тебя всегда, но иногда эта любовь как-то обостряется, становится ощутимой до боли. Именно теперь переживаю я такой период, и впервые в разлуке с Тобой. Нельзя «приползти» к Тебе, как, бывало, говорила Ты, лечь на пол около Твоего кресла, поцеловать Твою руку, смотреть Тебе в глаза. Нельзя даже с дрожью ожидания назвать № Твоего телефона. Можно только писать письма в какое-то темное Вугеа, куда они падают как в пустоту... И безнадежно, бессильно я говорю Тебе: Нина, я Тебя люблю.

Мне хочется написать Тебе о себе длинно и обстоятельно, но страшно вверить такое письмо всем случайностям Poste Restante. Ах, если бы завтра пришла Твоя телеграмма. Милая, хорошая, любимая, пришли ее мне. Глупая, детская просьба, которую Ты прочтешь, когда уже будет поздно исполнять ее, или которой Ты не прочтешь вовсе...

А есть еще и страшные мысли. Что, если эти нежные слова, которые мне так хочется говорить Тебе, придут к Тебе именно тогда, когда Тебе их слушать не захочется. Что, если Париж, Robert, мексиканец, Монмартрские кабарэ и все «это» так овладеет Твоей душой, что Ты не пожелаешь или не сможешь ответить мне... Ты часто пугала



меня таким будущим. И сейчас оно вдруг мне кажется таким возможным.

И я вспоминаю кривую длинную улицу Ламбезеллека, по которой так недавно пробирался я к больнице д-ра Ленуана, успокоенный, уверенный, счастливый. И вспоминаю потом те дни и вечера, которые проводила Ты без меня и *после* меня в Бресте. Ах, Нина, темная у Тебя душа, страшная, и страшно любить ее.

Но я люблю...

Нина – Брюсову. 28 ноября/11 декабря 1908. Париж.

...Я уже второй день в Париже. Испытываю бесконечную радость после окаянной Германии. К Парижу так привыкла, точно жила здесь годы. Со мной Надя. Это совершенно уничтожает чувство одиночества. И даже она, сидя безвыходно в комнате, от одного парижского воздуха чувствует себя лучше. Сегодня пойду с Робертом взять комнату, которую он нашел. Нужно «устраивать жизнь»... Сerezенька пишет мне всё слова печальные и укоряющие. Не знаю, чего хотят от меня люди! Если кто меня любит, то еще должен благодарить судьбу, что *я существую*, а не укорять. Видела пока только одного мексиканца. *Куда* эта история клонится, еще не пойму. Об этом более подробно расскажу тебе после. Очень хочу поскорее устроиться прочно, – отели стали моим кошмаром. Душа моя сейчас вся рассеяна, потому и письмо такое внешнее, – ты не сердись. Я только сегодня опомнилась от мучительной дороги – спала 14 часов. Ничего о себе не знаю, – все тянется полоса, которая началась 13 августа – отели, вагоны, рестораны, мелькание людей. Это трудно и уже более мне не по здоровью. Одолели и надоели всякие внешние хлопоты и заботы. Как о счастье думаю о той минуте, когда наступит спокойное утро, а передо мной будет лежать перо и бумага. Ты прав, от литературы мне не уйти, и больше того, – я не хочу. Милый, пиши, если можешь! Твои последние письма были такие хорошие.... Вот все, что могу сейчас написать. Мало и неинтересно. Но ты прости, это пройдет очень скоро. Просто я утомлена всем, и на минуту душа обмелела. Так бывает, ты знаешь. Напишу очень скоро и иначе.



Сейчас голова занята внешностями. Расскажи, что в Москве? Напиши о себе, о «Вессах». Сегодня пойду с мексиканцем в Сорбонну слушать какую-то лекцию, это будет в 4½ часа, а сейчас 3 и я только что встала. С языком освоилась почти совсем, а Париж мне кажется родным – моим городом...

4/17 декабря 1908. Париж.

...Как ты далеко, далеко, я не могу услышать твоего голоса, не могу увидеть твоей милой, нежной улыбки... – я не писала тебе *по-настоящему* давно – дней 8–9. Но не думай, что я не хотела. У меня в душе и в жизни полный хаос. Нужно или говорить все, или не говорить ничего. А все – это подчас так трудно и больно. Я сознаюсь тебе во всем, что было со мной за это время, просто и искренно, – *у меня были дурные мысли...* Мои внешние дела сейчас так мучительны, так связывают меня в каждом движении, что вот... я думала их изменить. Сереженька стонет в каждом письме – дружески и нежно, но крайне чувствительно упрекает меня «за неосмотрительность». Направить жизнь, поставить ее на рельсы, для него и себя более удобные, как-то еще не умею. Словом, плохо!.. И вдруг в момент этих раздумий и беспокойно-горестных ощущений в мою жизнь вошел элемент почти сказочный. Я говорила тебе о «мексиканском принце».... Совершенно неожиданно, в субботу он получил дипломатическое назначение ехать в Мексику на 1½ месяца. Когда он пришел мне сказать об этом, у него слезы лились на камни Place St/Michel, как у меня когда-то на грязные ступени Николаевского вокзала. И вот тут-то он мне и сделал, что на специфическом языке называется «солидное предложение», ехать с ним немедленно через 3 дня в Мексику и пользоваться его доходами. Валерий, тебе страшно читать эти строки? Но говорю я не так, как в Намюре, – без дерзкого вызова, без желанья тебя оскорбить. За 3–4 последние месяца я так устала преодолевать «внешние затруднения» и так мне не представляется выхода из этой западни, что два дня мне это предложение звучало как дьявольский шепот. О, меня не пугает Мексика, дальность расстояния – я отвязала мой челнок от ваших берегов. Но предстояло перейти



невидимые внутренние границы – перешагнуть через свою душу, и кажется, я еще этого не могу. Два дня мне казалось, что на деньги можно купить все, и тот внешний покой, которого я сейчас так лишена. История с мексиканцем к этому клонилась бы и в Париже. Сначала это меня забавляло, как сказка. Ведь это Сережин «бразилец», которого он мне шутя заказал найти в Париже и приехать в Москву на собственном автомобиле. Это удивительное приключение с многих сторон, – оно мне доставляло минутами тщеславное удовольствие, но вот *завершить* его я, кажется, и не могу. Он уезжает сегодня, я провожу его на вокзал, и когда вернусь, то, может быть, еще раз почувствую с радостью, что истребить свою душу *не могу*. О, я не спала две ночи! Я думала о тебе много, много, и так серьезно, как, может быть, никогда. Дьявольский шепот не заглушал моих мыслей. Я *почти* пережила первое большое и дурное искушение. Говорю *почти*, потому что, может быть, в какие-то минуты буду еще жалеть. Милый, я искренна сейчас до наготы души. И если ты меня любишь, – ты не отвергнешь *только за искушение*. Через 1/2 месяца он вернется, но едва ли я смогу с ним говорить. Только не думай, все это не было грубо, наоборот – он изысканен в каждом движении и слове и оценил меня как дорогую игрушку только за маленькую книжку (такую презренную в Москве) (книжка Петровской «Sanctus amor». – И. Т.), только за качества, которые перестали ценить мои прежние друзья. Вот тебе эта история и последний акт из «Золотой рыбки».... Я в скверном отеле на St. Michel, на постели лежит Надя, на столе Сережино письмо.... Зверочек! не думай обо мне дурно. Я знаю, мысли мои были более чем ordinарны и побуждения не достойны сильной души, но я чрезвычайно устала, а должна думать о том, о чем не хочу думать, и от этой тревоги мечусь в каком-то грубом хаосе, – не могу ни стройно думать, ни писать. Не вижу в Париже русских вовсе. Один раз – Катерину (Бальмонт все в Италии), звала она меня в Москву, была любезна до тошноты, но никуда я не пойду. Физически себя чувствую отвратительно – артрит все хуже. Стараюсь не обращать на это внимания, вчера пила много вина с Robert-ом и до 5 часов оставалась на



Монмартре в одном кабаре. Ибо не могла бы заснуть все равно от тревожных и мрачных мыслей.

Так пока живу я в Париже – одиноко, случайно, в воздухе. Надя еще украшает мою жизнь. Я очень довольна, что она со мной, но жду по этому поводу грозного письма от Сережи, хотя он еще пока не знает.

Ты в первый раз так любезно приглашаешь меня в «Весы». Благодарю и ценю *очень*, поверь мне. Но писать при всех этих условиях, писать, как я хочу, – еще не могу. Живем в отеле в одной комнате, а мне так нужно одиночество. Дни куда-то падают, исчезают без следа. Париж меня пленяет бесконечно, жить бы в ином городе (если, впрочем, нет возможности ехать куда-то еще дальше) – я бы не хотела. *В Москву, в Россию не вернусь*. Очень овладеваю языком, учусь. Не делаю *ничего* дурного, если ты не ставишь мне в счет Robert-а. Но это уже стало таким привычным, и он меня так по-настоящему, по-детски нежно любит, что оттолкнуть его без жалости не имела бы силы. В любви со мной, ко мне он повторяет меня *в любви к тебе*. Рыдает на каждой улице, все бульвары и знакомые кабаре залиты его слезами, так же безумен и не умеренен в требованиях. И... так же всегда обижен, как, бывало, я...

Зверочек, люблю тебя очень. Но душа распаталась и устала. Хотела бы говорить с тобой, смотреть в глаза, целовать нежно после долгой разлуки. Но что этот момент когда-то настанет – почти не верю. Ответь мне скоро. Я жду твоих писем, твоя нежность дает мне жизнь и воскресение. *Никогда* не забываю тебя. *Никогда!* Верь мне – я не люблю теперь ложь. И не думай, что у меня душа «темная и страшная». Ты ее знаешь, она твоя всегда и везде – и в дурном, и в хорошем, и в красивом, и в отвратительном, – равно. Ответь! Целую твои руки, люблю тебя бесконечно...

Брюсов – Нине. 11/24 декабря 1908 г. Москва.

Я думаю, что Ты хорошо сделала, что не поехала с мексиканцем. Говорю это вне всяких личных соображений, оставляя себя в стороне. Конечно, я мексиканца Твоего не знаю, но я знаю Тебя. И я уверен, что эта поездка привела бы только к самым горестным между Вами



столкновениям. Согласен, что поездка через океан, в Бальмонтовские «страны солнца» заманчива. Но Ты пережила бы в конце концов только много тяжелых часов и дней и еще новую вселенную разочарований. Это – с внешней стороны дела.

С внутренней – я думаю, что Ты приехала в Париж не затем, чтобы искать «бразильца» или «мексиканца». Сережа Твой или ошибался, или шутил; Ты, когда тоже говорила подобное, или заблуждалась, или повторяла слова искаженные. Всяких «бразильцев» довольно и в Москве, и в их поисках всего менее мог бы быть помехой – я. «Искать бразильца» значит роковым образом отделить себя от меня. Я объяснял Тебе в Намюре, почему, если Ты воистину примешь такое решение, Ты этим – что бы ни было в душе моей, – закроешь для меня все возможности быть с Тобой.

Я говорил Тебе и писал Тебе, что мы расстались для того, чтобы получить возможность быть, жить вместе. Наша разлука имеет смысл только в том случае, если мы оба видим эту цель впереди. Иначе это не более как механическое избавление друг друга от разных житейских неудобств. Мы были истомлены смертельно, мы изнемогли от тех мучительств, которые возникали из роковых противоречий некоторых сторон двух наших душ. Мне показалось, мне поверилось, что, временно расставшись, разделившись, уединившись, мы что-то поймем новое, что-то найдем новое в себе, – такое, что сделает возможным казавшееся невозможным. Я в это *верил*, потому что не верил в эту «невозможность». Так ли Ты думала? и так ли Ты думаешь теперь?

Я мало знаю о Твоей жизни и о Твоей душе сейчас. Как ни подробны (впрочем, не всегда) Твои письма, как ни откровенны они, – много ли расскажешь в письме! Но чего я не знаю, я угадываю. Ты не откажешь мне в способности угадывать по полунамекам, особенно то, что Тебя касается! Я угадываю, и вот уже знаю наверно, что Ты делаешь все противоположное тому, что надо делать, что я от Тебя жду. Я знаю, что корабль своей души, изломанный нашими бурями, не повела Ты в пристань, где можно было бы оснастить его заново, но бесполезно, бесплодно бьешь его о какие-то прибрежные камни, топишь его в мелком месте.



В последнем письме Ты упомянула, как пьянствовала всю ночь в одном из монмартрских кабаре со своим Робером. На что это Тебе нужно? Неужели Ты нашла в этом ночном времяпрепровождении что-нибудь новое (кроме разве наблюдений), неужели это что-то *дало* Твоей душе, приблизило ее, измученную, к желанной гармонии? Не верю и убежден, что то был бледный слепок с наших с Тобой ночей, повторение бывшего, отражение ненужное, – что-то, свершенное больше «по привычке», чем по страсти. А так как угадываю я и целый ряд других таких ночей, столь же Тебе ненужных, то и спрашиваю горестно и сурово: «Зачем?» Уже не говорю о том, в чем Ты сама признаешься: что ночи эти для здоровья Твоего – гибель. Но ведь если мы хотим *жить вместе*, то для этого надо *жить* вообще! Что же Ты делаешь, когда отымаешь у себя самую возможность жить!

Еще Ты пишешь: «Не делаю ничего дурного, если не считать Робера», т. е., перевожу я, кроме ночей, проводимых с Робером в одной постели. Я не хочу называть этого «дурным» в вульгарном, житейском смысле. Еще менее смею я упрекать Тебя за это, так как у Тебя нашлись бы слишком сильные ответы на такие упреки. Но скажи мне, как сама Ты смотришь на эти «ночи с Робером». Что это: акт привычки, дело случая, снисхождение друга, или, наконец, страсть, или, даже, любовь? Ведь как-нибудь определить это должно. Ты говорила мне не раз, что Тебе нужно слышать слова любви, что для Тебя они – как воздух, которым Ты дышишь. Но уверена ли Ты, что слова Робера – слова любви? Не странно ли, что, было прежде, Ауслендер, потом Робер, и тут же «мексиканец» – все вдруг стали говорить «слова любви»? Не слишком ли подешевели эти слова, что их стало так легко доставать. Когда золото валяется по улицам, как не подумать: не фальшивое ли оно?

Ты мне возразишь, что Ты – одинока, что Тебе надо иметь хоть единого человека, здесь, в Париже, которому Ты не была бы безразлична, что без этого Робера Ты оказалась бы в пустыне. Понимаю это совсем, с этой точки зрения даже как-то нежно признателен этому самому Роберу (странно звучит эта фраза, но она правдива). Но в таком



случае Робер – средство, а не цель, и должен служить, помогать достижению цели. Но разве же ваши часы с ним, ваши ночи с ним, ваше «пьянство» (Твое слово) в разных кабаре сколько-нибудь служит этой цели? Все это опять куда-то удаляет Тебя, бросает Тебя в новые пропасти, ставит между Тобой и мною новые преграды. А главное, опять лишает Тебя руководства собой, делает Тебя вновь «былинкой в водовороте».

Ты спросишь: а что же мне делать? – По-моему, искать в своей душе гармонии и равновесия. Если Ты можешь их найти, – Ты спасена. Если нет, – мне останется, как хору в древнегреческой трагедии, закрыть лицо плащом, чтобы не видеть последнего падения и гибели, которую отвратить он не может. Некоторые Твои письма из Германии намекали мне на возможность Твоего спасения. Я хватался за них радостно. Они мне казались голубем, летящим в мой ковчег с твердой земли. Вспомни, что Ты думала, что Ты чувствовала, когда писала их. И вспомни также, что Ты писала их в дни успокоенности, не только внутренней, но и внешней. Я не хочу проповедовать эту успокоенность как абсолютное начало; но я уверен, что *теперь* Тебе она *необходима*.

Ты еще спросишь меня: а зачем все это мне? и успокоенность, и гармония, и самая жизнь? – На это у меня два ответа.

Во-первых, для *меня* и для *нас*. Потому что только такой я хочу Тебя, давно и страстно хочу, видеть. Потому что только тогда, когда Ты найдешь эту гармонию, станет для нас возможной жизнь вместе. Я писал Тебе несколько раз, в эту нашу разлуку, снова, и с новой силой, я понял, как Ты мне дорога, как я Тебя *люблю* в хорошем, в лучшем, в истинном смысле этого слова. Я томлюсь без Тебя смертельно, и мне один вечер, который я мог бы провести с Тобой, кажется счастьем... И все же я знаю, что, встретиться мы вновь такими, какими были минувшей весной, все ужасы тех дней повторились бы. И мне легче кажется умереть, чем снова пережить то, что мы тогда пережили оба. Это – первый ответ.

Во-вторых, для *Тебя самой*. Я уверен, что Тебя обманывают чувства, когда Ты говоришь, что себя чувствуешь



как бы умершей. Я уверен, что для Тебя еще возможна новая и прекрасная жизнь. В одном из Твоих писем были слова, меня очень обрадовавшие.

Ты, отвечая мне, сказала: «Да, я никогда и никуда не уйду из литературы». Поверь сама в свои слова! Со всей откровенностью и со всем беспристрастием могу сказать Тебе, что здесь, в литературе, *есть* для Тебя «будущее» и жизнь. Ты знаешь, что я не очень высоко ценю все, что Ты сделала до сих пор. Твою книгу, по-гимназически, я оцениваю «три с плюсом»; Твои рецензии – «три с минусом». Но я, я больше других, знаю все существующие для Тебя возможности. У Тебя душа самобытная, у Тебя оригинальный, свой взгляд на все, у Тебя острая, меткая, тонкая наблюдательность, у Тебя понимание стиля. Твой разговор всегда интересен; Твои суждения самостоятельны и глубоки; Твой слог принадлежит Тебе. Боже мой! да с данными в десять раз меньшими можно сделаться великим писателем! Но, конечно, для этого надо работать, и много, очень много: это я утверждаю бесповоротно.

Что же Ты мне еще возразишь? О, разумеется, многое возразишь. Но я на все остальное, как и на все предыдущее, отвечу словами Твоего Сережи: или жить и тогда делать все для жизни, или не жить и тогда – умереть.

Нина, живи!

Много, много еще хотел бы сказать Тебе, но рука изнемогает. Пять часов утра. У вас это ночь под Рождество. У нас – будний день, в который я завален корректурами. За окном темь и мокрый снег.

Милая, хорошая Нина. Это письмо, особенно иные его выражения покажутся Тебе суровыми и, может быть, жестокими. Да, я хотел быть сегодня суровым. И мне кажется, что в этой моей суровости больше еще сказано любви к Тебе, чем во многих моих нежных письмах. Ибо я по-настоящему люблю Тебя...

Нина – Брюсову.

9/22 декабря 1908. Париж.

...За эти дни я истомилась разными внешностями еще, и мысли возвращаются к тому, *от чего я их силой оторвала*. Помнишь, какие неприличные и озлобленные письма



писал одно время Б. Н. во все «дружеские редакции». Мы удивлялись и даже слегка презирали его в то время. А сейчас я понимаю, как рождаются такие крайние слова, как можно из-за внешностей дойти до полной нервной несдержанности. Я писала тебе о мексиканце, – все рассказала тебе и сейчас, сознаюсь, *жалею*, отчего я не на *bateau* (корабле (*фр.*) – И. Т.), который плывет в Мексику. Да, Сережа прав в своих упреках, да, я была безумна в поступках, и от тоски, которую для экономии нужно было переживать в доме Толстого, «металась по Европе»; еще много, много *да* на упреки, которые мне можно сделать, но сейчас мне от сознания моих «вин» не легче. Да, мне нужны деньги, – *сначала прежде всего*, и не от того, что я изменилась или изуродовалась моя душа, а по причинам более грубым и простым: – в отеле нужно платить, а я живу как авантюристка, не зная, что я завтра скажу на поданный счет. И чтобы обрести покой души (хотя только во внешнем), нельзя жить в замирании и страхе из-за франков каждую минуту. Так сложилось сейчас, так вышло, Сережа в своих «милых дружеских письмах» совершенно прав, говоря: «Милый Нин, безумия требуют денег»... И вот, если в таком состоянии я рассматривала серьезно предложение мексиканца и *после жалею*, что не приняла его, – за это меня нельзя ни винить, ни презирать, как можете это делать Вы из глубины Ваших домашних благоустроенных очагов. Сереженька еще не знает, что со мной Надя, и после того, как узнает, последует соответствующее письмо. Да, и это один из тех поступков, который я не должна была делать, подсчитывая дружеские франки. Но сейчас, в данное время, при такой надломленности души, я не могу быть одна только в атмосфере «желаний» и деловых предложений. Я сдерживаю себя, чтобы не сказать иначе, более резко.... Мне нужно чье-нибудь подлинно дружеское и нежное присутствие, и я счастлива жить с ней вдвоем. Она меня понимает своей несложившейся, детской душой и трогательно невинно и покорно делит мою «новую жизнь». Из-за этой связанности и отвратительного ежедневного томления о франках я не могу жить, я не могу учиться, писать и думать. Вечерами меня хватает только на таверны



и кабарэ с Robert-ом. Там все отходит и тонет в Монмартрском чаду. Так я живу. Так я могу писать «от души». Здесь меня почему-то расценивают на деньги. Сегодня около «Орега» я встретила cousin'a мексиканца, мне было в этот час грустно и горько. Потом мы обедали в каком-то огромном ресторане, – было все равно, идти домой, или оставаться на улице, или сидеть вдвоем с полу-знакомым человеком. И этот вел себя очень недвусмысленно, – во всех подробностях рассказывал мне о своих денежных делах, говорил, что он имеет больше Maurise'a, что «женщин, обладающих в такой мере «d»intelligence» (пониманием (*фр*) – И. Т.), нужно ценить на *вес золота*», просил встретиться с ним Рождество и т.д. Возвращались мы на автомобиле, у меня на коленях лежал огромный букет роз, кругом весело шумел предрождественский Париж, и... хотелось мне от тоски и боли сделать что-то невозможное, безобразное из Достоевского или Пшибышевского, – как давно, в былые дни. Валерий, Валерий! я себя чувствую очень плохо. Не презирай меня за откровенность, с которой я рассказываю о себе. И плохо не только во внешнем, а в самой последней глубине, – все там сломано, разбито, бесчувственно. Должно быть, нельзя прожить две жизни. Это думает в наивности Сереженька, так минутами думала и я, уезжая. Не было со мной «воскресения» – было *воскрешение* – чье-то чужое искусственное усилие воли заставило душу встать и идти. Вот я иду... Но куда? Зачем! Ты мне желаешь с «кем-то» счастья? Валерий, клянусь тебе, – ни одной минуты без тебя я не испытывала *даже его подобия*. Почти 5 месяцев, с 25-го июля, тянется моя «новая жизнь» без жизни. Что я испытала остро за это время? – ничего. Было минутами упоенье прежней болью, смертельно жгучая острота воспоминаний, потом в Париже мимолетное опьянение от чужих желаний, еще мелкое чувство тщетного удовольствия, еще нежная жалость и ласковость в ответ на любовь Robert, – и все это тонет в беспросветном отчаянии души, которая хочет и *не может жить второй раз*. Моя внешняя неустроенность, этот отель, где висит в воздухе жизнь, эти встречи с людьми экзотических рас, – такие поздние и странные, – все это символизирует и выявляет



на поверхность внутреннее состояние. Ничего нет, все случайно, никакого будущего даже никаких острых желаний, – только покоя, – всяческого покоя хочу я и не могу его взять. Умереть от острой боли, от внезапного потрясения чувств, – уже прошел миг. Это я сумела вынести и пережить. Мое последнее желание – это уехать куда-то совсем далеко в иную страну, чтобы не слышать даже горьких имен, чтобы поблизости на Passy не жил Бальмонт, чтобы письма из России приходили через месяцы, а не дни, чтобы время, пространство и весь иной склад жизни вытравили из души даже память прошлого. Но Мексика не дала бы мне этого в 1½–2 месяца... Все равно бы пришлось возвратиться в Париж. Страх встреч с русскими и отвращение к ним доходит у меня до мании. Недавно в кафэ d'Harcourt со мной заговорил какой-то молодой русский художник, – веришь ли, я потом от тоски не спала целую ночь, а Надя меня утешала и говорила: «Ужь <так!> ты лучше, Нин, будь с твоими чернокожими, нам обоим вредно вспоминать Россию». Таков мой Париж. Я чувствую себя очень плохо, Валерий. В Лейпциге тоже было плохо, но по-иному. Там я всецело предалась всем распятыям прошлого, а здесь еще ко мне предъявляются требования жизни, когда я уже почти ничего не могу. В одном из прошлых писем ты сказал, что ждешь в моей душе каких-то решительных выводов, чего-то окончательного. Ах, Валерий! Я не меняюсь к тебе и не изменюсь никогда, хотя уже и не мечтаю больше о «нашей жизни». Но слышу я, как приближается ко мне что-то роковое, – как оно воплотится, не знаю. Может быть, внешний круг, жестоко сжимаясь, толкнет меня в какие-то иные пределы, может быть, тогда-то я и убью все, что осталось от моей прежней души, а может быть, что-то иное – неизвестная далекая страна, к которой как к последнему пристанищу протягиваю я руки. Не знаю что! Но и так, как сейчас в Париже, я долго не проживу. Еще меня томит Robert требовательной чрезмерной любовью, упреками и слезами и сходством в этой любви со мной, с моей любовью к тебе в последний год нашей жизни. Через 6 месяцев он кончает и не хочет оставаться во Франции. Желает, чтобы я была с ним.... Смешной, милый и трогательный ребе-



нок, – я совсем другим представляла его в Бресте. Все это странно, странно и так мне не нужно. Неужели вся моя жизнь была прожита для того, чтобы уехала я куда-то (это после твоей любви!) с французским инженером или (что всего хуже) осталась бы в Париже и бывала на журфиксах наших милых общих друзей, все же чем-то связанная со всем этим миром и Москвой? Есть еще – может быть, последняя и лучшая возможность, – это начать серьезно работать и перестать существовать как сюжет для синемаграфического снимка. Кажется, это во мне не погибло. Но здесь мне хочется прямо выписывать цитаты из диких писем Б. Н. *Уверяю тебя, я скоро скроюсь из Ваших глаз совсем.* Эту фразу я говорю в особенном и, может быть, очень грубом смысле. Но вот теперь, сейчас, если ты можешь, – пришли мне денег. Мне не нужно много. Мне нужно прожить 20 дней до нашего 1-го января, тогда я получу мои «законно-незаконные» деньги, обычные каждого 1-го от Сережи. Мне очень, очень трудно просить тебя, я делаю крайнее насилие над душой, которая вся противится этому поступку. Но пока, вот сейчас, мне это кажется лучшим, чем предложения мексиканца и его cousin. Будь уверен и спокоен – *это* между нами не войдет в норму. Если последний год... то прав Сережа, «безумия стоят денег», но сейчас со мной уже не «безумия», а противная расплата за них. Теперь, о, теперь, если и придут «безумия», то они выльются в иную форму! В какую-то иную, – не знаю. О, как ты далеко и каким искаженным видишь ты мой образ! И я не могу посмотреть тебе в лицо прежними, неизменно нежными глазами, не могу дрожью рук передать тебе всю мою безмерную печаль о тебе, ушедшем навсегда... Я так хотела тебя видеть! До твоего письма в Лейпциге меня радовало твое обещание. Мы не видались так долго. Я не считаю встречу в Намюре между поездами, в агонии спутанных, темных и режущих чувств. Я поверила, что ты *действительно* приедешь в Париж. Поверила как в чудо. Теперь не жду и не надеюсь встретить тебя в жизни. Только когда-то, не знаю где, полумертвая Рената получит *от тебя* последний поцелуй. В это верю, это моя единственная прекрасная мечта, – все, что осталось от жизни с тобой.



Валерий! Ты меня помнишь и знаешь? Ты веришь, что в темном хаосе моей жизни, которую кто-то проклял, – я остаюсь неизменной, прежней, *твоей!* Но у тебя нет воли и любви, чтобы сказать «приди». О, я не о Москве! В Москву я не вернусь, в этом всем Вам любимым и покинувшим даю обещание!.. Это «приди» можно сказать через все пространства мира, с планеты на другую, – но ты не умеешь и никогда не скажешь, чтобы я услышала последней глубиной чувств, как заклятье, как магическое слово...

Брюсов – Нине. 16/29 декабря 1908 г. Москва.

...Нина! Нина! неужели мне надо говорить, писать, объяснять, что *все услуги*, какие я только в силах Тебе оказать, – для меня радость. Неужели мне надо объяснять, что одна мысль о том, что Тебе *так* плохо, как Ты мне об этом рассказала в последнем письме, приводит меня в самое подлинное отчаянье, и я готов на все, на все, – только бы это не было *так!*

Но оставим пока эти «внешности». Нина, любимая моя, – то, что Ты говоришь мне о своей жизни, ужасно. Этого быть не должно. Это хуже смерти. Это хуже нашей жизни за последний год. Ты не смеешь так жить, не смеешь передо мной и перед собой! В тысячу раз лучше было броситься в пролет лестницы дома Толстого, выстрелить из браунинга в меня и в себя, смертельно простудиться, лежа в мокрой траве под Саввинским монастырем, чем влачить эти нелепые дни среди парижских «темнокожих», мечтая о том, чтобы уйти куда-то от себя, от своей жизни, от своего прошлого (*прекрасного прошлого!*), исчезнуть, не быть, загородиться океаном и забвением. Это преступление, это позор – так жить, так чувствовать. Иными словами повторяю Тебе то же, что в своем «холодном и суровом» письме, повторяю не холодно, но со всей страстью: Нина! у тебя есть будущее, есть жизнь, есть цели жизни! Нина! у Тебя остаюсь я, Твой, всегда Твой, который любит Тебя, быть может, не «по-Твоему», но истинно, много и *верно*. Любит навсегда. «Моя душа осталась верной». Нина, опомнись, *вспомни себя*. Разве Ты «в этот мир пришла», чтобы расточать свою душу на богатых мексиканцев, чтобы влачить



ее посреди монмартрских кафэ, даже чтобы утешать бедных Роберов! Я всегда ее считал созданной для большего, для лучшего, для большого, для прекрасного. Дай мне руку, Нина, пойми, почувствуй, что в этой жизни (как то будет и в иной) я – с Тобой. И попытайся стать *собою*.

Нина, хорошая. В «суровом» письме я пытался объяснить Тебе, чем для Тебя должен бы стать Париж. Может быть, я не сумел выразить своих мыслей в письме. Может быть, я вообще не ясно сам осознаю свои думы об этом. Но я уверен, твердо уверен, что эта наша разлука могла бы стать *для нас* началом новой, нашей жизни. Эта возможность еще есть, она еще в Твоих руках, не обрывай эту возможность, как ненужную нить, не отрекайся ото всего, что мы говорили друг другу – много раз, в Москве, в Бресте, в Намюре. Вспомни эти слова и поверь в них. И никогда не говори тех страшных слов, какие решила Ты сказать в последнем письме – о нас, о нашей жизни, о нашей встрече. Мне было горько и страшно читать их.

Я считаю, что нам *встретиться* необходимо. Иначе мы теряем душу друг друга из вида, в чем-то перестаем понимать друг друга. Но в ближайшее время мне приехать в Париж *немыслимо*. Это значило бы погубить всё, что я сейчас предпринял... Но не решила ли бы Ты приехать ко мне в Петербург?.. Переезд по железной дороге, как Ты меня уверяла много раз, Тебя не пугает. (Всякие «внешности», как Ты говоришь, я, конечно, имею в виду.) Как жить нам после этих двух недель, я не хочу загадывать сейчас. Может быть, совершенно новое откроется нам после них.

Прости, Нина, что пишу это письмо, и все предыдущие, – бессвязно, торопливо. Мне кажется лучше писать Тебе каждый миг, когда хочется говорить с Тобой, но писать, «как случится», без задуманного плана, без поправок; – чем изредка посылать письма обдуманые, исправленные и начисто переписанные. В моих письмах этой зимы – я тот, каким бываю я сам перед собой: в них ничего преднамеренного, и каждое слово должна Ты принимать в том самом смысле, что оно значит. Эти все строки – сердечная исповедь. И такая же исповедь, когда я говорю Тебе, что люблю Тебя...



1909

Нина – Брюсову. 23 декабря 1908/5 января 1909 г. Париж.

...Я не писала тебе, кажется, очень давно, – прости меня! Это не значит, что я ухожу от тебя, что я забываю – нет, нет! Просто душа рассеялась временно и было трудно отвечать на твои прямые строгие вопросы. Милый, дорогой Валерий, опять какое-то время я вела себя безумно, и мне казалось, что в несколько вечеров исчерпалась даже вся боль, я перестала чувствовать что бы то ни было, была пуста, как музыкальный ящик, из которого вынули механизмы. Ударь – и услышишь один глухой гул. Три дня уже я хвораю почти так же, как в Бресте при тебе. Лежу, выхожу с трудом только обедать и... за письмами. *Чувствую* опять *всей глубиной* и пишу тебе сейчас нежно и искренно, насколько умею. Вчера получила от Сережи письмо, полное *настоящих* дружеских укоров, несколько дней подряд от тебя.... Милый! что я скажу тебе в ответ? Не умею, не умею устроить свою жизнь в Париже! Русские, которые знают, что я здесь, и которые меня не видят *совершенно*, вероятно, сочинили на мой счет самые фантастические сказки. Где же я? С кем? Один раз я встретила... случайно Вальдора, и эта встреча, один вид человека, который знает тебя и знал, что мы *были* вместе, отравил мне целый вечер. Не могу быть с ними! Не хочу! они не нужны мне больше. Создается та же Москва, при воспоминании о которой я еще содрогаюсь.

Помнишь ты себя перед поездкой за границу и после в Бресте? Тебе все казалось, что нужно что-то изменить, что прежнее в тебе сломалось окончательно. Помнишь, какой ты был грустный, расстроенный, почти больной. Я чувствую сейчас почти то же, только выражается это по-иному, потому что и я иная, чем ты. Мне кажется, что я не припомню и не повторю ни одного из прежних слов, не переживу еще раз ни одной минуты, как бывало. Но найти в себе твердо *новое* еще не умею, как ни стараюсь, и вот.... Вы видите только *поведение*, достойное укоров, и не можете (о, конечно, это трудно) проникнуть в спутанность



и хаос моей души. Не обижайся за – «Вы», ибо часто ты говоришь то же, что и Сережа, и это, вероятно, потому, что Вы оба видите для меня какую-то *одну* правду. Ах, милый, мне страстно хочется тебя утешить чем-то! Но как и чем, – не знаю. Я в полосе безволия и крайнего утомления. Мне нужна сейчас в моей жизни твердая и деятельная посторонняя воля; может быть, даже насилие. Чтобы кто-то взял, вырвал, *заставил*, решил за меня *все*. И к тому же я чувствую себя больной, по-настоящему больной, а болезнь всегда меняет и искажает душу. Вспомни себя хотя раз больным. Я помню, как ты менялся. В таком состоянии хочется спрятаться, уйти, «загородиться океаном», тянет куда-то совершенно фантастически, – и не знаешь куда. Одно я знаю непреложно – нужно, пора, время – изменить жизнь («если ты, Нин, хочешь жить, то живи»). Все, что я делаю сейчас «безумного», – клянусь тебе, не со страстью, а в силу ветхой, пережитой привычки. Несколько раз я пробовала усилить впечатления такого разряда (мои монмартрские вечера в обществе самых подозрительных прожигателей жизни), но, кроме скуки, утомления и тупой боли, не чувствовала ничего. И потому не считай «безумия» такого рода опасными для меня. *Я их пережила*. Это старо, как стары декадентские догматы добрых отошедших лет. Это не интересно, когда душа уже не озаряет изнутри, когда ее свет и острота восприятий направлены куда-то прочь. *Нужно изменить жизнь*. Нужно начать с внешнего, и оно станет рамой для картины. Я не сделаю многого, за что ты меня заранее горестно упрекаешь. Я не буду более искать «бразильца», ибо это мне *отвратно*, и во всей спутанности черт моей души нет, все же нет черт кокотки. Я не брошу литературу (хотя я знаю, что едва ли сделаю здесь что-нибудь настоящее), я *никогда* не забуду тебя, не вырву из сердца, не закрою тебе дорог ко мне. Но для того, чтобы обрести себя, взять полностью все, что я могу, на что еще имею право, чтобы успокоить и излечить душу – *нужно изменить жизнь*. И как это сделать, Валерий? Вот я два месяца за границей и почти 5 месяцев не была с тобой (что эти короткие часы в Бресте и особенно в Намюре!), а я еще ничего не сделала, и жизнь моя не принимает никаких



гармонических форм. До смешного: я даже не могу найти себе в Париже прочного жилища, а так и осталась в этом отеле, словно на проходном дворе. Для меня это знак и аллегория. Ты пишешь – «не приеду ли я в Петербург». Ах, Валерий, это предложение страшнее и опаснее, чем уехать в Мексику и «загородиться океаном». Когда я думаю, что поеду, и вновь увижу тебя, и проведу с тобой какие-то дни, мне кажется, что воистину я стою над пропастью, а ты мне шепчешь: «Шагни, может быть, вырастут крылья». Останется ли от меня после этой встречи даже то, что есть сейчас? Как я буду думать и чувствовать после? *Куда я вернусь? Смогу ли я вернуться?* Не скажу ли я, – «вот мои плечи, надень на них старые цепи, я *только их* и хотела на свете»? Эта встреча была бы самой решительной и окончательной для нас обоих, – предчувствуешь ли ты? Или нет? И мне страшно, страшно сказать тебе *да*. Ты все время повторяешь, что эта разлука лишь средство найти возможность быть опять вместе. Но я никогда не понимаю этих слов. *В Москву я не вернусь*, ты за границу не переедешь. Что значит «быть опять вместе»? Душой? Чувствами? Но так я с тобой всегда, а внешних возможностей для нас нет. Так что же значит «разлука лишь средство»?.. Приехать на две недели в Петербург и вновь расстаться без надежды тебя увидеть? Что мне путь, дорога, – об этом даже не стоит и говорить, я бы приехала еще более издалека, чтобы увидеть тебя на полчаса, но за этой встречей что-то темное, неизвестное, страшное, как смерть. Ты говоришь: «Бросься, может быть, вырастут крылья!...» Ведь после этой встречи, может быть, для меня не останется ни одной точки на земном шаре, чтоб жить. Может быть, я не смогу *равно* ни расстаться, ни остаться с тобой. Валерий дорогой, скажи! Скажи, что ты думаешь? Что предчувствуешь? Не отдать ли мне себя какой-то новой волне, которая может меня унести совсем вдаль? Я говорю сейчас не отвлеченно, я имею в виду нечто совсем определенное. Я знаю, – *нужно изменить жизнь*. В одном из писем ты меня спрашивал, между прочим, что и кто в моей жизни Robert. Что это, «привычка (?), дружба, страсть или даже любовь?...» Валерий, все не то! Это воистину моя «ласковая донна», «ласковая донна»



Данте, потерявшего *на земле* Беатриче. Ты насмехаешься, что любовь подешевела, если ее можно поднять на *улице*. Да, ее можно иногда поднять на улице, и ты это знаешь не хуже, чем я. Кто Robert? Что он из себя представляет? *Это я*, только с более мягкой и нежной душой. В Бресте я представляла себе его «испорченным» парижским мальчишкой, с которым забавно провести несколько «безумных вечеров» и только. Но я грубо ошиблась. Он любит меня по-настоящему и так же, как я, утомленной душой ищет одного покоя и тихого счастья. Мне никогда с ним не бывает неприятно или тяжело, разве только в те минуты, когда он до ужаса повторяет меня этого лета с тобой. *Сейчас* он один вносит в мою жизнь *живую* нежность и живую ласку. Он меня *будет* любить, *потому что я не люблю его*, – это закон. И вот мечта всех его дней и ночей, всех ежедневных писем – *остаться со мной*. В мае он кончает Ecole Polytechnique <так!> и уже с мая может стать безраздельно моей «ласковой донной». Тогда началась бы моя новая и странная жизнь. Он не хочет оставаться в Париже. Год нужно служить офицером. В маленьком французском городке с Robert я забуду даже русскую речь. Можно жить в Бретани, у океана – тихо, тихо, укутаться забвеньем, уйти от жизни, может быть, много работать. И закрыть свою душу для всего, кроме воспоминаний о прошлом и благодарной нежности в настоящем. Он мне дает и даст все, чего я не нашла и никогда не найду в тебе, – *безраздельность*, и будет это для меня как печальный сон. Что ты думаешь, когда я говорю эти слова? Разве есть в них что-нибудь дикое, безумное, иступленное, отвергающее тебя? Я останусь с тобой, и твой образ станет только ярче и светлее. Мне хочется этого, как человеку после страшных пыток хочется сна и забвения боли. –

Милый Валерий, я говорю с тобой просто, совсем искренно. *Вы* укрылись в уют и тепло Ваших семейных очагов, Вы отрицаете, но это так. Ведь не покинешь ты жену, а Сережа Л. Д. (Рындину, вторую жену С.А.Соколова. – И. Т.)? Никогда, ни за что! О, это я узнала наверно. Почему же я до конца дней моих должна скитаться по свету как бездомная собака? Почему мне ты предлагаешь вечное одиночество,



почему преступно найти и мне свою «ласковую донну», узнав, что Беатриче *на земле* для меня более не существует? Я очень, очень устала. Я не ищущ больше «цветов зла», распятий и огненных мук. Мне нужно, чтобы кто-то меня нежно и тихо любил. Когда ты сказал о «постели», ты обидел меня. Разве *это* важно? Разве ты?... И наконец, неужели ты думаешь, что *этого* одного я хочу от Робера?

Но я не знаю ничего! Может быть, я приеду к тебе в Петербург и тихая картинка мертвенно потускнеет и исчезнет вдали. Может быть, я скажу: «Вот мои плечи, вот следы, они еще не зажили, но только этого я хочу на свете». Валерий, дорогой мой! ты вновь нежен со мной!.. Никогда ты не писал мне таких милых ласковых писем... Зверочек мой, мне хочется только один раз поцеловать тебя! Я устала ждать нашей встречи! Может быть, уже я не сумею обнять тебя, как прежде. Из всех дней, из всех ночей самой яркой у меня осталась в памяти одна, – там, на мокрой граве около сонного монастыря. Никогда в жизни я не испытывала такого сладкого, безумного, блаженного упоения болью, и никогда не был ты ближе, желаннее и недостижимее. Мне бы хотелось хоть раз, хоть перед смертью испытать опять всю полноту этих острых огненных чувств с тобой. Но как страшно, страшно поехать к тебе! Напиши мне все же подробно, когда бы ты мог быть свободен?..

Ах, сегодня грустный вечер. Я очень, очень хвораю. Как-нибудь дотянуться бы до весны, совсем по-«полярковски» хочется солнца и цветов. Болезнь все туманит, – я хуждею, не сплю, артрит все сильнее, особенно эти дни, почти как в Бресте. Одно смешное утешение – этой же болезнью и в такой же степени болен Robert. Эти дни он меня лечил без доктора теми лекарствами, которые сам принимает, – стало немного лучше.

Не сердись на меня, не упрекай меня! Если бы не Robert с его нежной и беспредельной любовью, я провела бы еще больше горьких и одиноких часов. Мексиканцы и испанцы хороши, когда я в большой шляпе за столиком кафэ. Утешаюсь одним пустяком еще – никто меня здесь не принимает за русскую, и я, кажется, скоро отрекусь от своей



родины. Я упомянула «испанцы», – познакомилась с одним – очень красив (певец), голубые глаза, идеальные черты, но глуп. Целый вечер накануне «нашего» нового года просил меня о свидании, а Robert рыдал, и слезы его падали в стакан виски. Знакомая картина! Точно видела себя в зеркале. Все это пустяки! Из этой области могла бы рассказать тебе много, но ведь тебе не интересно. Не упрекай меня! Я не могу начать без тебя «прекрасной жизни» – всё со мной, все я сберегла в глубине моей души, но без тебя не могу, не могу ничего. Самое большее – это затихнуть, замереть около «ласковой донны», – точно лежишь на тихом темном дне, точно кто-то ласкает после смерти, так неотчетливы, туманны и немы чувства... А может быть, мы увидимся? Может быть, преступно мечтать о покое на берегу океана? Может быть, ничего этого *я не хочу?* Целую твои руки, нежно и покорно, как прежде. Я люблю тебя, милый.

Брюсов – Нине. 31 декабря 1908 / 13 января 1909 г.
Москва.

...В моих последних письмах я, кажется, ошибался. Я представлял себе Тебя той, какую Ты была в Москве, со мной. Я говорил к тем чувствам, к тем страстям, которые тогда жили в Твоей душе, владели ею. Теперь вижу, что Ты уже иная; между строк, *сквозь* прежние слова угадываю Твою новую рождающуюся душу. Делаю все усилия, чтобы говорить к ней.

То, о чем стоит думать, о чем должно думать, это – Твое будущее. Не сегодняшний день, не то или иное Твое «безумие» этого дня, – а устройство всей Твоей жизни, ее цель. Ибо, как Ты сама созналась, какая-либо «трагическая» развязка уже исключена из возможностей. Смерть, убийство и все близкое к этому – уже прошлое. Ты еще долго будешь возить с собой по разным странам браунинг, подаренный Тебе в наши знаменательные дни С.А. (Соколовым. – *И. Т.*), – но этот браунинг уже только символ. Смысла жизни надо искать вне *такой*, внешней трагедии. И этот смысл будущего сам собою определит смысл настоящего, укажет, научит, что делать, «как жить».



Когда-то была Тебе открыта другая трагичность, более истинная и более страшная. Ты могла осуществить тот идеал бесконечной Любви, над всем торжествующей, ничему не покоряющейся, – которому всегда молилась. Ты могла сделать из своей любви ко мне – подвиг. Наперекор мне, моим поступкам, всему миру, – Ты могла служить, свято и верно, этой *своей* любви. В этом была бы, конечно, великая мучительность, но и настоящее величие. Может быть, этот подвиг убил бы Тебя, но он тем же смертным острием должен был пронизать и меня. Таким отречением от себя во имя Любви Ты стала бы надо мной на высоту недосыгаемую, и мне сейчас должно было бы не писать Тебе это письмо, но преклоняться пред Тобою ниц.

Эта трагедия не осуществилась также, и ее надо отстранить, как прекрасную возможность, о которой мечтают в поэмах, но которой не встречаются в сей жизни... Пройдем же мимо, будем искать еще.

Ты мне отвечаешь в последнем письме на мой вопрос, что такое для Тебя Робер. Ты сравниваешь его с «ласковой донной» Дантэ и рассказываешь о его предложении уехать с ним этой весной куда-то в глушь Франции, в маленький городок Бретани, затеряться там с ним, затихнуть. Тебе кажется, судя по словам Твоего письма, что в такой жизни можешь Ты найти *то* счастье, о котором еще решаешься думать: счастье покоя, отдыха. Ты почти прямо говоришь, что *хочешь* такой жизни, такого конца своей жизни.

Что смею я сказать об этом новом Твоем идеале жизни, – я, который сознает себя причиной того Твоего изнеможения, той Твоей последней усталости, какие влекут Тебя в этот затон полумертвого покоя? Смею ли я сказать Тебе: «Нет, этого не должно!» – смею ли, если в ответ на Твой вопрос: «А Ты дашь ли мне все противоположное этому?» – я вновь только печально наклоню голову. Нет, конечно, не смею. Я должен сказать Тебе: «Нина, дорогая! Пересмотри еще раз, со всем напряжением внимания, свою душу. Спроси еще раз, со всей упорной настойчивостью свои чувства. Собери все свои силы, чтобы заглянуть в свое будущее». И если после этого Ты все же скажешь себе: «Да, я этого хочу», – мне останется одно: отречься от всех своих меч-



таний, забыть себя до конца и сделать все, что я в силах, чтобы помочь Тебе осуществить этот план. Так должен буду я Тебе сказать и так должен буду я поступить.

Я не делаю для себя иллюзии из того, к чему должна будет привести Твоя попытка. Если она *не* удастся, Ты будешь вновь на том же месте, где сегодня, только еще более утомленная, еще более подавленная жизнью и *еще более чужая мне*. Если же Твоя попытка удастся, если Твоя жизнь с Робером устроится не как временный привал, но как что-то постоянное, – это будет Твоей духовной смертью. Ты говоришь, что в том уединенном городке «можно будет работать», но, конечно, сама понимаешь, что это – слова без содержания. Французской писательницей Ты никогда не станешь, сколько ни изучай французский язык; русской писательницей нельзя быть, живя в глуши французской провинции, отрезанной ото всех центров русской жизни. А вне писательства о какой другой «работе» можешь Ты говорить? Нет сомнения, что жизнь с Робером, постоянная жизнь, будет для Тебя медленной трясиной, в которой исчезнет все, что есть в Твоей душе высшего, лучшего, единственно-истинного...

Но когда Ты, усталая и изнеможенная, говоришь мне: «Вот так я найду покой», – как отвечаю я Тебе: «Нет, Тебе не надо покоя». И опять я повторяю Тебе: «спроси себя, хочешь ли только покоя? Если да, то все, все, все, что я могу, я сделаю, чтобы помочь Тебе достичь его, – все, хотя бы для этого должно было мне пожертвовать своими заветными надеждами. Если Ты хочешь жить с Робером и если Ты хочешь этого внешнего успокоения, этой тихой могилы, – у меня не достанет духу остановить Тебя...

Впрочем, я должен сказать, что жизнь с Робером – это *во всех смыслах* лучшее, что, как теперь выяснилось, представляется Тебе за границей. Опыт этих месяцев убедил меня, что Тебе нечего искать в Париже. Что «новой» жизни Ты себе не создашь там. То мимолетное, что Ты рассказывала мне о мексиканцах и испанцах, то краткое, что сообщала о днях, «опять проведенных безумно», – наводило на меня такую грусть, что порою хотелось написать, закричать Тебе: «Брось все, возвращайся сюда, все, все лучше,



чем это!» И я уверен, что жизнь Твоя в Париже, если не будет с Тобой Робера, станет сплошным «безумием», сплошной серией мексиканцев и испанцев, хотя Ты сама и знаешь, и сознаешь вполне, что они ни на что не нужны Тебе. Все, все лучше, чем это! Всякое отчаянье лучше, чем это «безумие»!

Ты спросишь меня, что я же думаю о Тебе и Твоей жизни. Что же я могу (не скажу «предложить», но) представить иного для Тебя? Ты пишешь в своем письме: «Ты все время повторяешь, что эта разлука лишь средство найти возможность быть опять вместе. Но я никогда не понимаю этих слов... Что значит быть опять вместе? Душой? Чувствами? Но так я с тобой всегда, а внешних возможностей для нас нет»... Попытаюсь объяснить свои слова, а больше – свои чувства.

После нашего страшного последнего года, после нашей страшной последней весны, я одно время желал лишь одного: только бы *это* не повторилось! Я чувствовал, что вторично пережить такие месяцы я не в силах (да и Ты была бы не в силах!). Лучше умереть, сойти с ума, – все лучше, чем снова провести ряд «тех» ночей! И вот, под влиянием этого ужаса, я и твердил Тебе, что нам должно расстаться. Но *даже тогда*, даже в последней своей измученности, никогда не думал я, что наша жизнь врозь должна длиться вечно, всегда. Мне казалось, что между нашими душами установились такие неодолимые связи, что они должны влечься одна к другой, не могут в жизни не быть вместе, – *вместе* в простом, житейском смысле слова, т. е. рядом, встречаясь, на одном месте земного шара. Мне казалось, что наша «разлука» *нужна* нам только как средство найти себя, опомниться, образумиться. Когда долго и тщетно, и тщетно бьешься над решением одной задачи, полезно бывает отложить бумагу и карандаш в сторону и позабыть об ней на время; через некоторое время, вернувшись к задаче, вдруг, легко и сразу, находишь ее решение. Мне представлялись месяцы, проведенные нами с Тобой врозь, чем-то вроде этого времени, когда, отложив бумагу и карандаш, намеренно *не* думаешь о задаче. Но это не значит, чтобы я хотел совсем отказаться от ее решения.



Скажу прямо и просто. Я всегда думал, что Твоя жизнь за границей будет лишь *временной*, что *жить* Ты вернешься в Россию. По глубокому моему убеждению, жить русскому человеку, а особенно русскому писателю, возможно только в России. Россия нам нужна как наша стихия: вне ее мы временно дышим даже бодрее, словно в атмосфере, где более кислорода, но потом задыхаемся и жаждем вернуться в родной воздух. Вспомни последние годы Тургенева и его томления вне России. Прочти последнюю книгу Бальмонта (которую я Тебе посылаю) и особенно его поэму «В белой стране». Ты увидишь, поймешь, что значит быть *без* России, без той России, которую все мы клянем и клеймим последними словами. Я всегда думал, что Ты в Россию *вернешься*.

Но я всегда думал и думаю до сих пор, что эти месяцы, проведенные нами в разлуке, не будут потеряны. Что до меня, я чувствую, что за эти месяцы многое в моей душе успокоилось и прояснилось. (О, как бы мне хотелось, чтобы и Ты могла сказать это об себе!) Я чувствую, как в моей душе моя любовь к Тебе из дикого пламени, мечущегося под ветром, то взлетающего яростным языком, то почти угасающего в золе, стала ровным и ясным светом, который не угасит никакой вихрь, ибо он не подвластен никаким стихиям, никаким случайностям. Я чувствую в себе твердое и бодрое желание быть с Тобой, Тебя любить, *заботиться о Тебе, сколько это в моих силах*. Я чувствую, что эта необходимость быть в жизни с Тобой стала для меня столь осязательной, столь непобедимой, что во имя ее стало для меня доступно многое такое, что раньше казалось недоступным.

Я был бы счастлив, если бы эти дни разлуки Тебе показали бы хотя бы только одно: что и Тебе *необходимо* в жизни быть со мной; что без меня для Тебя жизни нет. Ты мне много раз говорила это, но я желал бы, чтоб это, так сказать, априорное суждение стало бы для Тебя ощущением, чувством, болью. Я желал бы, чтобы и Ты сознала, что ради этой необходимости Ты готова, Ты способна на некоторое такое, на что раньше не считала себя способной.

Как реально я представляю себе эту нашу будущую жизнь «вместе»? О, никаких радужных картин я нарисовать



не могу. Не хочу завлекать Тебя никакими соблазнами неисполнимых для меня обещаний. Говорю, строго и спокойно, заранее, что не может и эта, вторая наша жизнь быть чужда боли и мучения. Но сам я не боюсь боли и не уклоняюсь от нее. Я готов на новые мучения («новые», не *те*, не *прежние*) и потому имею право звать к ним. Те основные противоречия, которые когда-то ломали нашу жизнь пополам, остались на своих местах. Я по-прежнему *не могу* изменить своей жизни. Я **не могу** изменить ее, потому что у меня нет сил совершить те-то и те-то поступки (которые Ты знаешь) и потому что это значило бы отнять у себя возможность посвятить моему искусству те немногие годы, которые остались у меня для творчества (что их осталось немного, теперь знаю точно). Не пишу обо всем этом подробнее, ибо здесь всё, каждый изворот мысли уже прослежен нами. – Но думается мне, верится, что теперь из этих старых, неизменных противоречий открывается нам новый выход.

Я думаю, что теперь, если только в Твоей душе свершилось то же, что в моей, если месяцы разлуки доказали Тебе так же, как мне, что мы *должны* быть вместе, – Ты отречешься, откажешься от иных своих слишком прекрасных надежд, как я отказался от своих. Ты не будешь более во мне искать своего идеала, как я не жду более от Тебя «подвига». Ты примиришься с формами моей внешней жизни, как я примирился с Твоим Робером... Примиришься, как я примирился, потому, – что увидишь, что за пределами всего этого есть еще для нас жизнь прекрасная, безмерно прекрасная и бесконечная! Я никого не знал на свете и не знаю, кто был бы мне ближе, чем Ты. Мне все кажется, что и я всех ближе к Тебе. Только одной Тебе могу я говорить последние тайны своей души, только с одной Тобой могу я быть как сам с собой, только перед одной Тобой я – я. Неужели же месяцы нашей жизни врозь, наши новые встречи с новыми людьми не научили нас, что нет ничего выше этой близости, ничего в мире драгоценней, ничего в возможностях – прекрасней! Неужели ради этой близости не пойдем мы оба на крайние уступки и на величайшие жертвы, на какие только способны!



И потом, разве эти месяцы разлуки не доказали Тебе (здесь я уже говорю только о Тебе), не доказали Тебе, что моя любовь к Тебе – истинная, что никогда не лгал я Тебе, говоря: «Люблю». Если только Тебе нужна моя любовь, теперь Ты можешь ее брать без колебаний, в уверенности, что не ошибешься, что не возьмешь змеи вместо рыбы. И если что-либо в моей любви кажется Тебе, казалось странным, теперь это не заставит Тебя усомниться в существовании самой любви, а лишь придаст ей тот или иной оттенок. Мне кажется, что я – испытание, поставленное нам, вынес с достоинством, что я своей души и моей любви к Тебе не унизил ни изменой, ни коварством. Мне кажется, что этими месяцами, всей моей жизнью в эти дни, всеми моими письмами, этим письмом, наконец, *доказал*, что люблю Тебя.

Но если все это так, то где же должны мы жить? Мы должны жить близко один от другого, чтобы встречаться часто, чтобы проводить время вдвоем, чтобы быть *вместе*. Ты права совершенно, говоря, что быть вместе «душой, чувствами» – лишь пустые слова. Жизнь вместе возможна лишь при реальной близости. Вряд ли осуществимо это, если Ты будешь жить за границей (оставляя в стороне те соображения, какие я выставил раньше), а я в России. В лучшем случае я приезжал бы к Тебе в год на 2–3 месяца. Этого слишком мало. Это разрушило бы нашу связь. Вот почему я думаю, что Тебе жить надо там же, где живу я, или в том же городе, где я, или совсем близко. Говоря о том положении вещей, какое существует сейчас: или в Москве, или в Петербурге.

Но, разумеется, все это имеет смысл лишь при ряде «если». Если Ты еще любишь меня... Если Ты еще хочешь быть со мной... Если эти месяцы доказали Тебе, что нам быть вместе необходимо... Если Ты теперь отбрасываешь как неважные иные из тех затруднений, которые Тебе казались прежде неодолимыми... Если... Если... Если...

(Знаю, что в этой нашей новой жизни неизбежно встретятся затруднения новые, но торжественно обещаю Тебе, что сделаю все мыслимое (и гораздо больше, нежели делал прежде), чтобы их было возможно меньше. Повторяю:



многое из того, что прежде мне казалось недоступным, теперь стало возможным и легким, потому что я понял, как Ты нужна мне в жизни. И Ты должна мне поверить, что большая половина тех терний, которые мучили Тебя когда-то при жизни со мной, исчезнет бесследно).

Так представляются мне возможности нашей с Тобой новой жизни «вместе».

Нина, дорогая, подумай о моих словах. Дополни, дополни все, что я не мог досказать на этих 8 страницах. Доскажи слова, оставшиеся между строк, обещания, только намеченные в беглых фразах. Будь щедрой от моего имени, потому что я сказал много меньше, чем хотел. Верь всему, каждому слову, потому что ничего не написал я без глубокой веры в свои слова и во многих случаях должен был бы сказать сильнее, решительнее, но не сумел.

Обдумав, взвесив, ответь мне, – что Ты выбираешь: эту жизнь со мной или жизнь без меня. Я не стану спорить. Я так во многом перед Тобой виноват, что не смею спорить. Я приму Твое решение как приговор, на который нет апелляции... Я склоню голову под Твои слова, как под топор.

И от Твоего решения этого главного, этого конечного вопроса нашей жизни будут зависеть все наши дальнейшие поступки, и прежде всего – нужно ли нам встречаться в Петербурге, этой весной, в феврале. – Пока, по старому праву, целую Тебя любовно и ласково...

Нина – Брюсову.

6/9 января 1909 г. Париж.

Дорогой Валерий,

как никогда, – я чувствую сейчас бессилие писем, всю невозможность выразить до конца свою душу на сжатом пространстве страниц. И еще – я разучилась писать... Слишком горько оставаться совсем наедине с своими мыслями, как это нужно делать в письмах к тебе. И такими неподвижными, сухими кажутся слова.

Как и что я отвечу тебе! Ты называешь мою «мечту» – могилкой. Может быть, ты глубоко прав, и *этого* хотеть я не должна. Да, я не должна! Но где сейчас я? С 25 июля кружусь по Европе, словно для снимка синемаатографа.



И это меня утомило *больше*, чем все муки с тобой. Ты меня *упрекаешь*, что кончилась всякая трагедия моей жизни; что я «еще долго буду возить по разным странам браунинг, но...» Раз кончилась жизнь, то неминуемо кончилась и трагедия. Пойми, я воистину сейчас призрак. Внутри все так пришиблено, так сжалось от какого-то бесконечного холода, так пусто и тихо, что не только на трагедию, – я иногда не способна даже двигаться в жизни механически, по усвоенной привычке. Твой «опыт» оказался для меня слишком сильным. У меня сейчас нет сил ни жить, ни умереть. Это худшее из состояний, какие я могла себе когда-либо вообразить. Я уже почти перестаю чувствовать даже боль. Минутами – тоска, но тихая, сдавленная. Чему ты удивляешься? Есть предел боли, когда она так велика, что человек не чувствует ее. Мне Бальмонт рассказывал; – когда он первый раз выбросился из окна и весь переломался, – два дня он не чувствовал боли вовсе и удивлялся. Я чувствую одно – усталость безмерную, и *она*, а не что-нибудь другое дает мне свои миражи и мечты. Robert со мной нежен и ласков бесконечно, эта *любовь*, на которую я *едва*, едва могу отвечать, сейчас мне *единственно* дает ощущение сколько-нибудь приятное и радостное и сколько-нибудь меня вовлекает в жизнь. С 22-го августа я фатально с ним. Я его не ждала и не просила у судьбы, ехала в Брест с браунингом, который еще не был «символом», и там *вдруг*, не знаю почему, вместо трагедии попала в тихий затон. Именно там, в Бресте, в душе оборвалась туго натянутая струна и боль за 4 дня, которые я ждала тебя одна, перешла свой предел. Ты можешь при желании дать этой встрече иное и менее тонкое объяснение. Но я, *для себя*, знаю и помню все миг за мигом. Боже мой! Ну не умею я умереть сейчас, не умею ненавидеть твою жену, не умею желать тебе смерти. Может быть, в потустороннем я уже сделала эти три убийства. Летом, когда ты был на даче с ней, я со всей глубиной и страстью пережила эти чувства в жаркой сдавленной клетке моей квартиры на Арбате. И не только это, а многое другое. Спускалась в самые темные застенки боли и отчаяния... Ты все помнишь, разве это можно забыть! Тебе покажется, что я сейчас



плохо управляю мыслями, – слишком резок скачок их от Robert к этому лету. Но нет: «Мой разум ясен»... Я хочу сказать, что после твоего отъезда, после этого странного вечера, который был последним ударом, я *почти* сделала тем, что есть сейчас, и многие, многие минуты с Robert в Бресте мне казались переживаниями после смерти. Так я с ним и теперь. Когда он не уподобляется *мне* в своих требованиях «от полюса и до полюса», я чувствую сладкий смертельный покой. А когда он зовет меня уехать, я, право, чувствую, что кто-то зовет меня на тот свет, где, должно быть, будет еще тише, еще покойнее, и с радостью говорю: да, да, да, Ты называешь это «могилой». Может быть! Да, ты прав! Но в эту могилу можно сойти тихо, незаметно, – я и так уже довольно хорошо похоронена в Париже. О, конечно, я не люблю Robert, никогда не скажу ему этого слова в его прошлом, священном для меня значении, но остаться с ним вдвоем надолго для меня не страшно, и не больно, и не противно, наоборот, я чувствую к нему большую благодарную нежность. Что я «утрачу себя», – и в этом ты прав. Утрачу! Навсегда! После можно будет сказать словами опять Б. Н. (Андрея Белого. – И. Т.): *«И та, что, быть может, любила, не узнает теперь меня»*... Но что же мне делать!! Я тону, на меня надвигается что-то такое, что хуже смерти... Я писала о «призраках», не имея понятия, что это такое на самом деле, говорила о бесчувствии, когда ты меня распинал каждый день, – и это оказалось дурным пророчеством. (Кстати – здесь, в Париже, много таких, – я их узнаю безошибочно, и женщин, и мужчин. В России *еще* страдают и потому *таких* очень мало.) Я не хочу ни оправдываться, ни обещать, но знаю наверно одно, – мне нужно тебя увидеть, и скоро. Еще несколько времени, и я просто не соберу душевных сил для нашего свиданья, я не решусь на него, я перестану в тебя верить как в реальность. Мне нужно услышать твой голос, увидеть глаза, вспомнить, очнуться, может быть, я воскресну от одного живого прикосновения твоей руки. В письмах я уже слышу твой голос все глуше и глуше, а сама уже пишу с большим трудом. Не ставь мне условий, не задавай страшных вопросов, – дай увидеть тебя просто. Если мне *суждено* «моги-



ла» в тихом городке Франции, то это будет перед смертью. Если я еще жива, то только один ты можешь сказать мне это с настоящей властью, вызывая к жизни. Я не могу так долго, долго без тебя. В самые суровые минуты этого лета, перед твоим тайным отъездом, когда предполагался и мой отъезд в Париж, ты обещал мне «встречу через 1/2 года»... Я стараюсь разумно смотреть в то, что за *ней*. И вот что я думаю (конечно, я говорю о *лучшем* исходе, ибо о «могиле» нечего и беспокоиться): сейчас я не могла бы остаться в России, в Петербурге уже совсем, к этому я недостаточно готова; в Петербурге жизнь почти так же тяжела, как и в Москве, – нужно встречаться с людьми, – я еще не могу. Я вернулась бы за границу *до осени*, чтобы не томиться летом, – эти месяцы для меня всегда около тебя были самыми ужасными. Потом мне летом *нужно* жить как-то и где-то иначе, чем жила я в Москве. Без этого я **просто** умру. Мое «здоровье» – один сплошной минус. А осенью я, может быть, вернусь к тебе... Ты делал «опыт» *для себя* (ибо я не просила и не хотела его), теперь *второй*, и тоже очень решительный, сделай *для меня*. Уверяю тебя, что наши «опыты» не могут стать слишком повторными... Да ты, вероятно, это чувствуешь и сам. Мне будет страшно ехать в Россию, но жить так, как я живу сейчас, в *минуты сознания*, кажется еще страшнее. Зачем ты обращаешься к какой-то моей «новой душе»? Разве ты видишь ее? Разве можно сказать, что человек *изменился*, наблюдая его в период смертельной и тяжелой болезни? *Я хочу увидеть тебя*, это уже, кажется, стало не только истомленным желаньем, а крайней необходимостью. Если ты любишь меня так, *как говоришь*, дай мне поверить в это совсем и *приди*, когда я тебя зову с последней страстью! Я не жду от тебя, поверь, того, что казалось таким насущным раньше, и потому не бойся возврата к *старым* мукам и к нескончаемому старому суду между нами. Ах, милый, милый Валерий, не думай, что ты мне не «не нужен», что эти месяцы отдалили меня в самом главном и глубоком от твоей души. *Я такая*, как сейчас, только потому, *что давно, давно тебя нет со мной*. Что письма! Что они могут! Я хочу тебя живого, прежнего, хоть на один только вечер. Боже мой, неужели это может быть!



...Ты спрашиваешь о моей «жизни». Я *не живу*, а почти все время медленно и томительно хвораю. Была кое-где из музеев, потому что встаю к 3-м часам дня. – и уже всегда поздно. Театры не влекут, была один раз. С русскими не вижу *совершенно*. Не могу! Этого я не могу окончательно! Знакомства имею самые поверхностные и всё почему-то с иностранцами; к тем двум национальностям, что ты насмешливо упоминаешь, – можно еще прибавить американцев из Перу. Надя со мной. «Жениху» мы отказали, и он 3 дня тому назад стрелялся в Берлине, – пуля как всегда «скользнула между ребер, слегка задев легкое». Надя поправилась (внешне) и очень радуется на Париж. Мне он нравится бесконечно, почти во всех лицах. И еще страшнее и безобразнее отсюда кажется Россия. Здесь настоящая нежная весна. Сегодня тепло, как у нас в апреле. А в Москве? Холодно? Снег?

На днях, может быть, поеду в Версаль. Ты думаешь, что я все ночи на Монмартре? О, неправда! Ночи я борюсь с бессонницей и не даю Наде спать. Живем мы всё в d'Harcourt. И нет сил искать, менять. Сверху и сбоку – американцы. Но не любопытные и уж очень некрасивые. Прости, что говорю и о пустяках. Ты сам спрашиваешь... Милый мой, что ты сейчас делаешь? Где ты?..

Пиши мне. Не покидай меня. Я живу очень, очень горько. Ответь мне *на это* письмо.

Я люблю тебя нежно и очень, очень печально. Валерий, дорогой мой, я истомилась без тебя.. Позови меня, не бойся меня! Я тебя так бесконечно люблю...

Брюсов – Нине.

10/23 января 1909 г. Москва.

...Но что же я и делаю в моих последних письмах! Именно это, – я зову Тебя! И сегодня опять и опять: зову Тебя! Нина, приди. Ты пишешь, что необходимо Тебе встретиться со мной, что иначе уже будет поздно. И я говорю Тебе, что необходимо нам встретиться с Тобой, что иначе уже будет поздно. Пересмотри все мои письма за последние недели. Как же Ты не расслышала единого зова их: Нина, приди!

Ну, теперь слушай. Я не могу выехать из Москвы раньше начала февраля (а в Москве, я думаю, Ты и сама не



захотела бы встретиться после этих месяцев). Начало февраля не очень далеко, так как это письмо Ты получишь во второй половине января (русского). Думаю я выехать около 10 февраля, но не могу еще точнее назначить дня. Ехать в Париж мне было бы очень трудно, при всех обстоятельствах... да и не влечет меня в Париж, где слишком многие меня знают и где Ты не одна... Итак, я возвращаюсь к нашему прежнему плану: встретимся в Петербурге. Но в Петербурге проведем лишь 2–3 дня, в которые нужно мне будет исполнить несколько «дел», и потом переедем в Гельсингфорс, в Финнию. Кажется ли Тебе это исполнимым и хорошим? – не слишком это «страшно» после всего, чтб было? В Гельсингфорсе нас никто не знает, кроме усатого портъе, если он еще на своем посту, и мы будем словно в мировой пустыне. Хочешь?

На это письмо ответь мне немедленно, согласна ли Ты встретиться так, – решишься ли ехать для встречи в Россию; ответь «вообще», оставляя в стороне все подробности... Я уже писал Тебе, что всякие «внешности» в этой поездке не должны Тебя останавливать, – это естественно, просто, и не будем об этом говорить больше. Как поступишь Ты после встречи, вернешься ли в Париж или останешься в России, – конечно, об этом не к чему говорить заранее.

Деловой тон всех этих строк Ты мне прости, Нина, Ты знаешь, как иногда, особенно в путешествиях, делается у меня серьезное, озабоченное лицо: я становлюсь «деловым». Тон этих строк – именно мое озабоченное лицо. Но за ним, за пределами моих серьезных глаз я эту встречу воспринимаю с волнением величайшим. Мне хочется воскликнуть, как Ты воскликнула: «Увидеть Тебя, живую, прежнюю, хоть на один вечер. Боже мой! неужели это может быть!» Я так много думал о Тебе, Нина, в эти месяцы нашей разлуки – больше, чем за все остальные годы нашей близости, – что во многом Ты стала для меня моей мечтой, существом немного отвлеченным, «Той, которой я пишу». Встретиться с Тобой мне сейчас кажется столь же странным, как встретиться с подлинной Ренатой из «Огненного Ангела»... И когда я думаю, что вновь мы реально будем вместе, я буду видеть Твое лицо, глаза, буду говорить Тебе



все, что хочу сказать, без посредства этой бессильной бумаги, – у меня сердце бьется, как в ожидании чуда. Да, наша эта встреча будет чудом.

Пожелай ее, Нина, пожелай чуда! Ответь мне на это письмо: да! Мне так хочется, так сладостно хочется обнять Тебя не в словах мертвой телеграммы, обнять нежной рукой, поцеловать Тебя в Твои усталые глаза, сказать Тебе: милая! милая! будем еще жить! будем еще счастливы! и будем всегда вместе – и здесь и, после, там...

Нина – Брюсову. 10/23 января 1909 г. Париж.

...Говорю со всей откровенностью: видеть тебя хочу безмерно, встретиться нам считаю необходимым, но в Россию *раньше осени* вернуться *совсем* не чувствую себя в состоянии. Если поеду, то с *твердым* намерением тотчас же после нашей встречи вернуться за границу. Без боли, тоски и ужаса не могу себе представить весны и лета в России. Слишком еще живы воспоминания прошлого года. Да и как бы я должна была провести весну и особенно лето? Опять «по старому, бывалому»... Я верю всему, что говоришь ты, *безусловно*, быть с тобой в жизни *хочу* и быть без тебя *не могу*. Но мне нужно многое забыть окончательно, а не возвращаться так рано на место старых пыток. Поеду к тебе, если это свидание состоится, с радостью бесконечной. Думаю, что после этой встречи буду иной, уверена, что буду живой опять. Но с чувством радости и обновления хотела бы вернуться за границу, а не остаться уже окончательно в России. Потом, – я расхвораюсь сильнее в России. С июня я хочу жить в Бретани на берегу океана. Какие «московские дачи» могут заменить океан? Я ненавижу их. Я говорю сейчас, может быть, о слишком далеком. Но ведь если в феврале мы увидимся и я еще ненадолго заеду в Москву, – все это займет месяц. Будет уже март, желтые закаты, весенняя московская тоска.... Не могу! Я на весну вернусь в Париж, потом в Бретань и осенью *окончательно* – к тебе. Ты говоришь – я живу бессмысленно и бесцельно. Но при чем тут собственно Париж? Все это исходит единственно из состояния души, а Париж как таковой, кроме приятного, мне



ничего не дает. Не могу сейчас, и *уже навсегда*, остаться в старой обстановке. Я вернусь сюда после встречи с тобой – *живой*, и эту жизнь продлить и сохранить легче *здесь*, чем там. Первый раз сегодня получила и от Сережи письмо со словами «вернись». Письмо милое, трогательное, и я его очень ценю, потому что мое присутствие, кроме огорчений, ничего Сереже не дает. И ему я отвечу так же, как тебе, – вернусь, но не сейчас. Встретиться со мной без условий, без требований, посмотри на меня, – мы не видались так давно. Ты увидишь сам, *что мне нужно* и как *лучше* для меня. Больше всего меня, несмотря на все твои слова, пугают лето и весна. *В эти месяцы* около или более или менее вблизи тебя (если ты будешь по-прошлогоднему) я опять начну томиться давней несбывшейся мечтой.... Нет, Валерий, – этого не надо! Ты думаешь, что за моими словами скрываются обещания, данные Robert? О, уверяю, нет! Если бы у меня была возможность, я после свидания с тобой поехала бы *одна* в бесконечное путешествие до того часа, когда мы встретимся вновь. Но так как этого нельзя, то наилучшим мне кажется все же вернуться за границу. Потом, – я очень не люблю сейчас Россию. Мне было бы тягостно *вообще* с моей еще очень и очень надломленной душой. Но увидеть тебя я *хочу* бесконечно. *И эта встреча сама собой без решения заранее определит все*. Ты теряешь меня из вида, часто говоришь обо мне какие-то неверные слова, и я не могу оправдаться, не могу сказать всего только в письмах, в письмах. Милый Валерий, я тебя бесконечно люблю, но не будь со мной суровым. Я живу плохо, правда, иногда тебе может казаться, что моя жизнь этих месяцев – настоящая гибель, но оглянись в прошлое, – около тебя (о, я не виню тебя – это рок) я слишком надрывала все силы, без жалости расточала душу и без страха шла на все страдания. И вот я устала, может быть, только устала.... На все твои вопросы, обвинения, призывы, укоры, на нежность и суровость, на всё, – мне хочется ответить только теми же строчками Белого:

О, любите меня, полюбите, –
Я, быть может, не умер, быть может,
проснусь –
Вернусь...



Встреться со мной! Дай увидеть твои глаза! Я не хочу их забыть, они сияли мне так долго! В этом миге для меня будет жизнь и воскресение. А что потом – мы увидим оба, узнаем сейчас же. Поверь правде этих минут. Я скажу тебе много, чего не умею, не умею передать в письме, и ты увидишь меня, услышишь мою душу, все поймешь.

Милый, я тебя люблю больше и иначе, чем прежде. Дай увидеть тебя! Мы запутаем правду в письмах, мы скоро потеряем ее в хаосе недосказанных мыслей. Письма дают так мало. Посмотри мне в глаза! Они долго смотрели в тьму, но для тебя остались по-прежнему ясными, *твоими* всегда, обращенными к одному тебе в мире.

Пиши мне. Все, обо всем. Я вовсе не охладела к твоим интересам, но далеко это все, и давно уже оторвана я от вашей жизни. Поверь, – все, что я говорю, – говорю искренно, не уклоняясь от решительных ответов. Но что я сказала бы еще? Устала *очень*. Минутами только хочется заснуть около кого-то нежного, милого. О, если бы хотя на миг это был ты!.. Эта усталость оправдана моим прошлым, не кори меня за нее слишком беспощадно...

Не думай, – не делаю давно уже ничего «безумного». Смотрю Париж, но не с Монмартра. Да и Robert в этом смысле плохим стал спутником. В ресторанах рыдает и очень доволен быть дома. Явно развиваются семейственные наклонности.

Париж начинаю любить очень. Двигаюсь теперь в нем совсем свободно, пользуюсь всеми путями сообщений очень легко. Хвораю сейчас не остро и, уверяю тебя, не делаю ничего для себя пагубного. Даже не пью обычного французского вина за обедом. Три дня уже холодно, совсем зима, французы страдают и мерзнут.

Пиши мне! Все твои письма, даже самые суровые, меня радуют и дают возможное ощущение твоей близости. Письма из России от всех друзей, кроме тебя и частью Сережи, – один сплошной вздох и печаль. Отчего это в России всем так скверно? Здесь живут лучше, на улицах ни нищих, ни угрюмых лиц. Или они перестали всё чувствовать, или скрыли так глубоко, что не увидишь. Один молодой француз в ночном ресторане (это было давно) уверял



меня, что «их страдания глубоки», но они слишком горды, чтобы показывать. Правда ли это?..

Брюсов – Нине. 16/29 января 1909 г. Москва.

...Сейчас неожиданно получаю записку от В. Ф. Комиссаржевской. Конечно, я не думал, что она в Москве, да вообще не полагал с ней встречаться более. Зовет прийти, говоря, что очень нужно меня видеть. Иду не без волнения. Что будет, расскажу в письме завтра. Авось в письме не возникнут таинственные слова «кажется твой»...

18/31 января 1909 г. Москва.

«Кажется твой – нет». Помнишь, Нина, так телеграфистка самовольно передала Тебе мои слова из Петербурга. Были минуты, когда я готов был и сам написать Тебе что-то подобное. Никогда не думал я, что есть у *нее* (В. Ф. Комиссаржевская, великая русская актриса. – *И. Т.*) столько надо мной власти. Ах, все, что Ты говорила о моей жене, все это – пустяки и «вздоры». Несмотря на разные мои признания (сделанные мною больше в укор Тебе, чем по внутренней правде), всё же все мои отношения к моей жене *только внешние*. Клянусь в том торжественно. Я ее очень «люблю», правда; у меня никогда не достанет воли и духа причинить ей большую скорбь, правда. Но разве в том дело? Но единственная, кто может повлечь меня в хаос и безумие, – это она. Тебе я говорю это, Нина, потому что хочу Тебе говорить все. Повтори со мной мою *молитву*: «Да не будет!» Хочу не хаоса, не безумия; хочу гармонии и стройности *с Тобой*. Хочу любить Тебя, хочу, чтоб Ты меня любила, хочу, чтобы мы были вместе! Ах, как мне надо было бы сейчас прийти к Тебе, стать перед Тобой на колени, говорить Тебе, слышать Твой голос, поцеловать Тебя. И это будет, скоро, ведь так? *Хочу быть с Тобой*...

...Прости мне два моих последних письма, писанных под влиянием встречи с Комиссаржевской. Она – тоже только тень над моей жизнью, или ее кошмар. Моя настоящая жизнь – Ты и только Ты. Люблю Тебя, сознаю это, понимаю это сегодня с особой отчетливостью. Люби меня, не предавай меня, приди ко мне. Жду нашей встречи с бесконечной жадой...



Нина – Брюсову. 21 января / 3 февраля 1909 г. Париж.

... Ты испытываешь меня жестоко. Мне казалось, что все уже кончено, особенно после второго твоего письма, где ты говоришь о «хаосе». Я знаю, что значит для тебя это слово!.. Валерий, Валерий, ты страшный! В самые лучшие минуты в твоей душе возникают какие-то дикие образы и странные томления. Тебе захотелось «безумия»? Я проклинаю его и для себя и для тебя – равно. Мы давно миновали этот путь, не сам ли ты говорил мне это много раз? Боже мой, как я хочу увидеть тебя! Мертвые, безжизненные письма, я разучилась говорить в них много, не умею почти выражать ни радости, ни горя. Слишком давно мы не видались. Милый, я жду тебя очень, очень. Один вечер свиданья скажет нам больше, чем все эти бессильные, жалкие строчки за 1/2 года. Ты знаешь, как давно мы не видались? Ведь в Намюре была не я, а какое-то измученное чудовище. Теперь ты увидишь меня, я знаю, я недаром прожила все эти дни и месяцы без тебя. Если бы ты видел меня в последний месяц, если бы мог проследить много дней, – ты не упрекнул бы меня ни в чем. Все «тени и кошмары», как укрощенные звери, спрятались в далекие темные углы. Robert – это иное. В жизни с ним нет никакого «безумия». Он так же создает мне какую-то тихую простую жизнь в Париже, как тебе в Москве жена. Он – «ласковая донна», образ нежный, милый и трогательный в своей детской любви... Последнее время каждый день смотрю картины, – чувствую себя чуть-чуть здоровее. Вчера предприняла длинейшее путешествие на Rege Lachaise, по традиции посещаю кладбища во всех городах. И попала, можно сказать, удачно. Там ждали покойника и была растоплена в крематориуме печь. За франк мне все это показали и рассказали механизм сжигания, а потом, когда привезли его, я в первый раз видела страшный желто-черный дым из огромной трубы. Но я разочарована, – оказывается, вся процедура длится 50 минут. Боже мой, да это целая вечность! А потом все-таки какие-то остатки, – ящик с пеплом, его хранят. Должно быть, нельзя истребить человека бесследно. Впечатление сильное и странное. Если буду умирать в Париже, – все-таки непременно везу меня сжечь... Сегодня единственная среда без Robert. Держит



экзамены, учиться. Огорчен он возможностью моего отъезда безмерно.

Целую тебя, милый, хороший зверочек. Ах, останься со мной, разлюби твои «кошмары и тени», как я разлюбила мои в моей жизни. Может быть, после долгих мук в первый раз возникает для нас действительно новая, прекрасная жизнь. Поверь в нее! Поверь и в то, что мы *не можем* расстаться...

Брюсов – Нине. 26 января/8 февраля 1909 г. Москва.

...Сейчас должен Тебе писать грустные вести. Наша встреча откладывается... Моя жена сегодня, гуляя на лыжах (без меня, я в этих гульбищах не участник), упала (с какой-то горы), *сломала себе руку* и вообще так расшиблась, что сейчас совсем больна. Ты знаешь, что лечение сломанной кости занимает время около месяца. И почти очевидно, что еще месяц мне придется провести в Москве! Нина, Нина, хорошая моя! Вспомни, что *Ты осталась в Москве ради заболевшей Нади*, когда я ждал Тебя в Париже и когда от Твоего приезда могла измениться вся наша жизнь! Вспомни это, пойми меня и не осуждай меня! Пожалей меня, потому что эта отсрочка приводит меня в истинное отчаянье!

Милая, хорошая, дорогая, – сохрани в своей душе ту любовь ко мне, то желание меня видеть, которые горят в Твоих последних письмах ко мне. Пусть после этой новой разлуки, которую уже Судьба налагает на нас, после этих лишних дней (я думаю, лишних дней 10) мы встретимся только с большей радостью, с большей надеждой, с большей благодарностью к Кому-то, все-таки дававшему нам эту встречу. Не знаю, что пишу. Может быть, вздор. У меня в душе все смутно. От Тебя жду успокоения, утешения. Мне будет слишком, слишком горько, если Ты упрекнешь меня... Ах, как я хочу Тебя видеть. Только сегодня, когда вдруг, уже не по моей воле, час встречи отложен, понял я, *до него* я хочу Тебя видеть! Я плакать готов, думая, что в назначенный день не увижу Тебя, не услышу Твоего голоса, не поцелую Тебя.

Прости меня, Нина. Пожалей меня, Нина. Успокой меня, Нина!..



Нина – Брюсову. 30 января / 12 февраля 1909 г. Париж.
Ах, Валерий....

Эта женщина всегда мне разными способами становится на дороге. Ты просишь «не упрекать» и сравниваешь этот случай с болезнью Нади. Я знаю, как лечат сломанные кости. Тут никакой опасности для жизни, ничего похожего на случай с Надей. Несколько острых дней, а потом медленное правильное лечение, путь к выздоровлению. Что же, ты останешься месяц только для того, чтобы ей не было скучно? Я оставалась для Нади *иначе*. Там был действительно *вопрос жизни*, а не сломанная рука, которая через несколько дней не будет формально требовать твоего присутствия. У меня нет сейчас достаточно слов, чтобы выразить весь хаос моих чувств. Знаю одно, – она всегда у меня на дороге, я всегда приношусь в жертву *ей*, и это стало для меня невыносимо. Всякий раз, когда нужно *выбрать*, ты выбираешь *ее*. И это после всех слов, после писем, – могу ли я верить им? Ты знаешь, что значит *менять* решения? Вся душа ломается, от надежд не остается ничего. Уверяю тебя, что через *месяц* я не поеду *вовсе*. Этот *месяц*, который ты проведешь возле нее, единственно чтобы она *не скучала*, проложит в моей душе новую черту такой горечи, что я не найду сил поехать к тебе.

Ах, как нужно мне было уехать именно теперь. У нас давно настолько отъединенные жизни, что в каждой создались свои обстоятельства, с которыми нужно считаться. Я радовалась, что уеду теперь... Через 5 дней после числа моего предполагавшегося отъезда Robert получит отпуск на 2 недели. Когда-то давно я неосмотрительно обещала ему поехать вместе на эти дни «а la champagne» (в деревню, за город. *(фр.) – И. Т.*). Он ждал сначала как ребенок, потом плакал, что этого не будет, теперь опять будет радоваться, и мне придется ехать. Я говорю «придется», потому что это *не есть мое желание* и еще потому, что по многим соображениям не будет возможно эти две недели остаться в Париже. Но разве можно безнаказанно так ломать душу? Разве после двух недель, проведенных наедине с Robert, я приеду к тебе такая, как сейчас? Разве в эти дни мысли о тебе около твоей жены не разрушат радостного ожидания тебя? Нет, конечно, я так не могу!



...Если сломанная рука твоей жены важнее сломанности моей души, – я предлагаю тебе остаться с ней одной *навсегда*. Для того чтобы ей стало лучше и миновала всякая опасность, – довольно этих 15-и дней! Я поеду к тебе *22-го (11-го русского)* или вовсе не поеду. Может быть, эта болезнь, которая встала мне на дороге, – есть последнее из последних указаний судьбы. Выбери! Выбери в последний раз... Я *не хочу* больше чувствовать ее так в моей жизни. И если для этого нет *иного* способа, я *уйду* от тебя теперь уже навсегда. Ах, я знала, знала! Что твои слова, что твоя любовь ко мне перед ее сломанной рукой! Ее насморк будет для тебя важнее моей смерти.

Я не могу больше говорить, Валерий. Чувствую себя расстроенной, разбитой без конца. Выбери и ответь мне. Но знай, что через месяц я не поеду вовсе. *22-го – или никогда*. Я так тебя любила, так ждала.... Ты сам, с твоей слабой раздвоенной душой, которая ничего не может взять без взгляда назад, – ты сам отталкиваешь меня, сам разрываешь последнюю нить между нами. *Иного я тебе не напишу...* О, я знала, что в какой-то час ты сам мне скажешь: «Ну иди к твоему Роберу»...

Брюсов – Нине. 27 января/ 9 февраля 1909 г. Москва.

...Моя жена, гуляя на лыжах (конечно, без меня), упала с какой-то горы на лед, сломала себе в двух местах руку, «получила ушибы» (как выражаются доктора) головы и, может быть, сотрясение каких-либо внутренних органов. Теперь она лежит в постели и при самом благоприятном ходе дел серьезное лечение займет недели две, а все его продолжения, может быть, *до полутора месяцев*. Ты сама знаешь, что срок для сращивания кости от 4 до 6 недель.

Вот этим падением опрокинуты все наши планы встречи в Петербурге и поездки в Гельсингфорс. Во-первых, я *не могу* уехать раньше, чем всякая опасность минет, – как не могла уехать Ты от больной Нади. Во-вторых, я *сейчас решительно не могу* работать в доме, полном докторами, при невозможности спать ночью, при множестве неизбежных хлопот и т.д. А при полном спокойствии я едва-едва надеялся окончить необходимые и обязательные работы



к 9/22 февраля, дню моего предполагавшегося отъезда в Петербург. Теперь к этому дню я только *начну* эти свои работы... Как ни кинь, все выходит, что 10/23 в Петербурге мы с Тобой не встретимся.

Что же нужно делать?

Вчера мне представлялся единственный исход: отложить нашу встречу на 10–15 или даже 20 дней. Я писал Тебе, в какое отчаянье приводило меня это сознание. Но я не видел иных возможностей и умолял Тебя найти в себе силу покориться этому... – Сегодня мне кажется, что есть еще другой исход, но мне говорить об нем воистину **страшно**. Вот эта вторая возможность:

Я слышал (мне говорил Твой Сережа), что из Петербурга Ты хотела заехать на неделю в Москву... Что, если обернуть порядок событий, что, если Тебе сначала приехать в Москву и потом ехать со мной в Петербург? и Гельсингфорс?..

Повторяю: пишу все это со страхом, почти с ужасом, с сознанием, что этими словами, может быть, поднимаю меч на самого себя. Но не могу не писать.

Обсудим трезво оба исхода.

Я понимаю всю опасность для нас встретиться в Москве, особенно при тех обстоятельствах, какие сейчас сложились для меня. Мы попадем в старые, страшные, кошмарные декорации. Весь ужас былого оживет. Наши встречи, по необходимости, снова будут урывочные. Снова нам нельзя будет отдать друг другу свое время целиком, свою душу вполне. И снова перед Тобой встанет Твой темный призрак...

Но, с другой стороны, бывают минуты, когда *нельзя* откладывать. Бывают чувства, которым должно дать исход, иначе из благодетельных они станут смертельными. Мы так долго ждали нашей встречи! Так готовились к ней! Так свыклись с мыслью, что она близка! Так радовались этому. Может быть, если *теперь* эту встречу отложить, все воскресавшие чувства упадут на дно души, утонут, умрут. Может быть, вторично мы уже не сумеем вызвать их к жизни. Может быть, наша встреча, отложенная на месяц, уже не даст нам того счастья, которое мы ждем, – обманет,



солжет. *Может быть, нам должно встретиться именно теперь, скоро, скоро – или никогда.*

Страшно, Нина, отказаться от мечты о нашем свидании в полупустынном (для нас) Петербурге и о днях одинокой жизни вдвоем в совсем пустынном (для нас) Гельсингфорсе. Страшно заменить это встречей в одной из московских гостиниц, обедом в Эрмитаже, вечером в Художественном театре... Не знаю, есть ли в нас столько адамантово-твердой жажды видеть друг друга, чтобы эта любовь, «более сильная, чем *смерть*», восторжествовала над «*бессмертной* пошлостью людской». Не знаю. Не смею ответить. *Не смею решить.*

Тебе, Нина, отдаю я выбор одного из этих двух путей. (О, если бы прав был Минский и действительно оказалось бы, что

Нет двух путей: добра и зла, Есть два пути добра!

Реши Ты. Обсуди все наедине с своей душой строго. Не скрывай от себя никаких терний московской встречи. Но и не закрывай глаза на то, что отсрочка нашей встречи может быть смертельной. Обсуди все и скажи мне свое решение. Я его принимаю, потому что сам решить не в силах. Все мои *чувства* говорят за то, чтобы Ты приехала скорей, сколько можно скорее. Я слишком хочу Тебя видеть, я слишком истомился без Тебя. Я слишком знаю, что Тебе надо меня видеть, быть со мной. Но доводы разума продолжают отстаивать первое решение: отложить нашу встречу на сколько-то дней... Моими силами я этого спора не решу.

Если выберешь Ты первое решение, отсрочку, – напиши мне о дне, когда Ты желала бы уже *вернуться* в Париж (если Ты захочешь-таки вернуться), сообразно с днями французской Пасхи. Я постараюсь все согласовать с этим днем.

Если выберешь второе решение, ехать в Москву, – телеграфируй мне или, по крайней мере, пошли ответ немедленно. Тогда самым удобным казалось бы мне приехать Тебе в Москву около 15/28 февраля. К этому времени я был бы уже относительно свободен и, вероятно, дней



через 8–9 могли бы мы с Тобой уехать. Во всяком случае, Твое решение ехать мне надо иметь дня за 4 или за 5 до Твоего отъезда из Парижа...

Нина – Брюсову. 30 января / 12 февраля 1909 г. Париж.

...Ты знаешь, как трудно ломать душу? Я жила все последнее время только мыслью о нашей встрече, я ждала ее как чуда, и вдруг все оборвалось, и в самый неожиданный миг, – опять призрак, который я так хотела и старалась забыть. Правда, мне было уже почти печально уезжать из Парижа. В эти одинокие месяцы у меня *вблизи* никого не было, кроме Robert. Но я поборола это чувство и страшно не хотела ехать с ним «а la campagne» (за город (*фр.*) – *И. Т.*). Твердо и окончательно я сказала ему, что этого не может быть, что я еду к тебе. И мне стало почти легко. Не удивляйся, что я пишу тебе о нем. Мне дала его судьба в один очень трудный и горестный миг. И долго он был моим «маленьким утешением». Но все это я сломала в душе и была только с тобой. Помнишь, я писала тебе из Лейпцига, что не верю в нашу встречу. Я не только не верила, я почти не хотела ее, и много нужно было пережить, чтоб вновь захотеть со всей страстью, со всем забвением прошлой горечи. И вот – в единый миг все это разрушено опять, опять вторжением ее. Ты не можешь себе представить, что я испытала сегодня утром и в каком состоянии писала тебе. Опять со всей остротой почувствовала себя на 3-м месте, опять всей глубиной поняла, *как ты не свободен* – в прошлом, в настоящем, в будущем. Если бы это сегодня утром нужно было уезжать с Robert куда-то вдаль, я не задумалась бы ни на минуту. Еще раз поняла, *какая судьба меня ожидает около тебя*, и малодушно ужаснулась. Все, все казалось лучше этого 3-го места... Но, Валерий, вот вечер, я получила твое второе, длинное письмо и читала его иначе, чем первое. Боль была сильна, но мгновенна. Правда, в эти месяцы у меня выковалась какая-то новая душа. Вполне я ее не знаю и сама, она проявится непременно, только когда мы будем вместе.... Я долго думала над твоим письмом, прежде чем ответить, и вот мой обдуманый решительный ответ: откладывать эту встречу



почему-то нельзя. Я представляю, как могу окаменеть, даже просто невольно омертветь за эти новые недели ожидания, потом возможность остаться *долго* совсем вдвоем с Robert, она, конечно, положит свои черты – не знаю какие, но новые и чужие для тебя. И многое, многое неясное сейчас, непредвиденное, возникнет в этом томительном ожидании. Ты предлагаешь мне встречу в Москве, и она приводит тебя в ужас – оттого, что это Москва, оттого что призраки там реальны и буквально стоят за плечами. Но знаешь, Валерий, теперь мне это все равно. Мне все равно, будет ли она в полчасе от нас или на расстоянии суток. Одинаково – знать, что ты к ней вернешься из Финляндии или из «Руси». Нужно только считаться со словом *вернешься*, а этого я не забыла бы ни на минуту, нигде, и уже как прежде не говорила бы тебе безумных слов, ибо я знаю, что *отовсюду* вернешься. Сейчас, в Париже, после месяцев разлуки, моей онемелой без тебя душой я не могла бы ответить, *принимаю* я это окончательно, навсегда как *неизбежное*, или не могу. Я отвечу тебе лицом к лицу, непременно в эту встречу, а будет она вблизи от нее или далеко, – клянусь тебе, мне все равно. Даже думаю я, что легче солгать, не понять вдали, а нужна ли нам теперь какая-либо ложь? нужно ли нам усыпление? Я *хочу* встречи с тобой в *Москве*, и *теперь* особенно ценно может быть мое *да* и уже окончательно – *нет*. Не нужно нам больше декораций, и если мы поедem потом куда-нибудь после вместе, то уже только для радости, для начала новой жизни. Если мы останемcя вместе, – это будет действительно победа над смертью. Так поверь, – мне *все равно*, близко она или далеко. Это не важно. Важно то, что она *есть*, что ты к ней *вернешься* отовсюду, а этого я не забыла бы ни в каком раю. И вот я тебе говорю решительно, – я *хочу* ехать в Москву и скоро, не позже 21-го, 22-го. Если ты все-таки захочешь отложить, – я не знаю, сумею ли ждать еще. Если ты будешь первые дни мало свободен, – это ничего. Там у меня есть как-никак Сережа, я хотела бы и ему отдать какое-то время. Потом еще вот почему мне нужно ехать скорее или уже отпустить Надю одну. Она стала томиться и очень томить меня. Это тоже нужно прекратить



каким бы то ни было, но скорым способом. И тут же отпуск Robert... Я не хочу ехать с ним, а если останусь, это случится неминуемо. Ответь мне скорее. Колебания и неизвестность ужасно утомляют и мучат. Не бойся Москвы и сцепления всех роковых обстоятельств, от них уже *не может* быть ни хуже, ни лучше. Это зависит только *от нас*...Целую тебя, милый, бедный, надвое разорванный зверь. Сережик мне писал, что у тебя много седых волос. Правда это? *Я тебя очень люблю*, и ожидание тебя стало почти как острая боль. Не откладывай. Не нужно! *Нельзя*. Я почти разучилась писать тебе, письма как химеры. Бог знает, что вырастает из них. Дай увидеть тебя скоро!..

Брюсов – Нине. 31 января /13 февраля 1909 г. Москва.

...Ах, Нина! Я опять мечтаю о такой жизни, в которой была бы Ты, не как мучительная сила, но как ясная и светлая радость. Мечтаю о возможности быть с Тобой, говорить Тебе все, что думаю, читать Тебе свои стихи, слушать Твои слова, видеть Твои глаза. Неужели мы не можем создать такой жизни? Неужели Ты и я, мы таковы, что можем или только проклинать друг друга, падать на пол или в росистую траву, или перекликаться на расстоянии тысяч верст? Неужели нет для нас третьего, лучшего, прекрасного? Я всегда верил в это третье, верю и теперь. Вернись ко мне, Нина. Пойми меня. Поверь в меня. Будь со мной. Иные, быть может, будут любить Тебя иначе и более безумно; – никто не будет любить Тебя так верно и так глубоко, как я. Иных и Ты, быть может, будешь любить с большей яростью; никого с такой последней силой, как меня. С другими, может быть, Ты будешь более счастливой; но лишь со мною будешь тем, чем суждено Тебе быть в этом мире. Доверься мне, – и я открою Тебе лучшие пути изо всех, на какие могла бы Ты ступить когда-либо. Я знаю, куда могли бы мы идти вместе с Тобой...

Нина – Брюсову.

Февраль 1909 г. Париж.

выеду в понедельник 22 февраля или никогда 14 дней достаточно болезнь не опасная наконец время выбрать Нина



Брюсов – Нине.

1/14 февраля 1909 г. Москва.

...буду говорить Тебе все, все, до беспощадности все, что подумал, что сказал *сам себе*, читая Твою телеграмму...

Ты пишешь: «выеду 22 или никогда». Нина, дорогая! вспомни, что это я просил, умолял Тебя и настаивал, чтобы Ты приехала. Вспомни все мои письма, в которых я так радовался скорой встрече. Перечти последние письма, в которых печалился я до отчаянья, что наша встреча отложена. Зачем же мне говорить «22 или никогда»? Ты знаешь, что я *хочу, очень хочу* нашей встречи. Зачем же пользоваться этим моим желанием, чтобы причинить мне трудность и мучение. «Если не поедешь 22, не увидишь меня», – пишешь Ты. «Но мне трудно ехать 22», – говорю я. Что ни выбери, ехать или не ехать 22, все выходит тяжело, трудно и мучительно. Зачем мучить заведомо? Зачем намеренно быть жестокой? Или Ты веришь и знаешь, что я люблю Тебя и хочу Тебя видеть: тогда Твоя угроза безжалостна. Или Ты не веришь и не знаешь, – тогда это – сознательное испытание, какой-то расчет, но в это последнее предположение я не хочу верить! И вообще: разве я из тех людей, которых можно запугать? Разве ко мне можно приступить с требованием «– или никогда»? Нина! милая, дорогая, любимая, целую Тебя нежно, люблю Тебя очень, хочу Тебя страстно, но эти слова возьми назад. Между нами не должно быть взаимных угроз. Господи! есть же где-нибудь на свете свобода в чувстве, а не долг, не принуждение, не обязанность, не подчинение. «22 или *никогда*». Значит, Ты можешь «никогда»? Думала ли Ты то, что написала?

Пойдем дальше. «Болезнь не опасная, 14 дней (для лечения) довольно». Во-первых, согласись, что нам здесь, вблизи, виднее, сколько дней надо для лечения, 14 или больше. Во-вторых, я уже писал Тебе, что кроме именно «болезни» задержат меня работы, которые я принужден был прервать. В-третьих, наконец, и, может быть, это важнее другого, я считаю невозможным уехать именно в те дни, когда я ей в самом деле могу быть нужен. Уехать сейчас или вообще раньше, чем все снова наладится, уехать, оставляя ее, больную, еще совершенно беспомощной, – мне кажется жестоким. Да буду ли я нужен Тебе, если мои мысли



и заботы будут не с Тобой, а в Москве? Неужели Ты хочешь получить меня таким, каким я приехал от Тебя, из Бреста, в Пиренеи? Я тогда мог думать только о Тебе, мог говорить только о Тебе, все мои мысли были в Бресте и с Тобой в пути... Я проклинал себя, я осуждал себя всеми беспощадными словами за то, что уехал от Тебя... Хочешь ли Ты, чтобы все это повторилось в обратном порядке? Хочешь ли Ты, чтобы, уступая Твоей угрозе, боясь потерять Тебя навсегда, я действительно поехал бы к Тебе, был бы телом с Тобой, а душою не с Тобой? Такая ли встреча нужна нам? Сблизит ли она нас так, как мы этого хотим? Даст ли нам ту *vita nuova*, ту новую жизнь, о которой я говорю, о которой я мечтаю? Нина! Нина! дорогая моя! опять целую Твои руки, ласково и нежно, сколько умею. Опять повторяю Тебе: люблю Тебя. Но эти свои слова возьми назад.

Пойдем еще дальше. Ты говоришь: «Пора, наконец, сделать выбор». Боже мой! неужели все то, что я говорил, что я писал, что пытался объяснить, всё прошло даром! Неужели мы все на том же месте, где стояли во дни весенних наших отчаяний! Ах, если бы я мог сделать выбор, *un choix*, нам незачем было бы обмениваться с Тобой этими письмами. Или мы были бы с Тобой вместе, или не были бы в «переписке». Нет, Нина, на эти Твои последние слова я уже ответил всеми длинными письмами, какие пишу Тебе вот уже два года. Этих слов я не смею просить Тебя «взять назад», потому что отвлеченно Ты права. Но я думал, что Ты *простила* мне мою неправоту, простила, потому что *поняла*, что иным я быть не могу. *Tout comprendre c'est tout pardonner...* (Все понять – значит все простить (*фр.*) – И. Т.) Вся наша драма, вся трудность нашей жизни, все ее мучительство именно в том, что «сделать выбор», т. е. сказать Тебе или ей: «Меня больше нет с Тобой», – для меня невозможно. Я думал, мы не начнем больше этого разговора, что молчаливым соглашением мучительный вопрос решен. Ты мне простила, как и я простила Тебе многое, многое... хотя бы то, что с Тобою этот Робер... Против него *лично* я не могу иметь ничего, но сказать, что мне не больно думать, что Ты с ним, что он с Тобой, что Вы – как возлюбленные, я не могу: мне это очень,



очень и очень больно. Я, наклонив голову, с померкшими глазами переношу эту боль, потому что Ты можешь возразить мне (и уже возражала) словами: «А ты!» (Я не хочу сказать, что наши положения тождественны. Мне хочется верить, что Ты «выбор» сделать посмела бы. Я только говорю, что ждал от Тебя *прощения подобно тому*, как стараюсь сам простить Тебе то, что мне кажется оскорблением нашей любви.) И разве, когда я звал Тебя к себе в Петербург и Гельсингфорс, это значило, что я совершаю какой-то «выбор»? Я звал (и зову Тебя безнадежно и сейчас!) потому, что я истомился без Тебя, потому что Ты мне нужна бесконечно, мне, душе моей, и потому что, кажется мне, я нужен Тебе, Твоей душе, нужен по-настоящему. Я хотел, я мечтал встретиться с Тобой вне всяких условий, вне всяких выборов, только потому, что оба мы хотим быть вместе, что оба мы поняли, как прекрасно нам быть вместе, как многое мы можем вместе! – Нет, Нина, дорогая, этих последних слов не бери назад; вовеки сохрани эту жажду, чтобы я «наконец сделал выбор», но пока я не сделал его, прости меня милосердно и оставь мне свою любовь – и такому, каков я. Такова моя молитва.

Вот все то, что я хотел написать Тебе, Нина, в ответ на Твою телеграмму. Все, что я написал, – это мои искренние мысли и чувства, – от слова до слова. Не лгал нигде, – ни там, где оспаривал Тебя, ни там, где говорил о своей любви к Тебе. Суди мои слова с той же простотой и откровенностью, с какой я писал их... Постарайся подойти ко всему, что я говорю, без предубеждения, постарайся понять меня, понять чувства, какие создавали мои слова. Если Ты поймешь меня, если увидишь мою душу так ясно, как я ее вижу, Ты не повторишь своего сурового и жестокого – «или никогда».

Нина! хорошая! труден был наш путь к «новой жизни». Не будем делать его трудным вдвое.

И среди всех сомнений – помни, что я люблю Тебя, – люблю, в истинном смысле этого слишком великого слова...

Брюсов – Нине.

3/16 февраля 1909 г. Москва.

...Нина, милая! мне странно и страшно видеть в Тебе эти чувства – ожесточение и безжалостность. *Такой я Тебя*



не приемлю, не могу принять. Если Ты могла написать мне все эти строки, хотя бы после и отреклась от них, это значит, Ты души моей так-таки и не поняла. Упреки Твои глубоко несправедливы. Требования Твои до последней степени немилосердны. Этого Твоего лика я боюсь. Этот Твой лик не даст нам ничего, кроме новых мучений.

И еще! Что значат Твои слова: «Если наша встреча откладывается на месяц, я уеду с Робером и вернусь к Тебе уже иной». Ах, если Ты *можешь* измениться, если для Тебя есть еще вопрос, со мной ли Тебе быть или с кем другим, – разве я стану что-либо требовать! Я наивно думал, что никакие соблазны Робера, никакие недели, проведенные с кем-то и где-то, – не изменят Твоего желания (что говорю, «желания», – необходимости для Тебя) быть со мной. Как никакие недели, проведенные с женой, не изменят ничего но мне, в моей любви к Тебе: в этом клянусь! Если любовь Твоя ко мне *может умереть, пускай умирает*/ Я хочу любви бессмертной! проходящей сквозь все испытания! более сильной, чем смерть! – И наперекор всем Твоим доводам, говорю, что такова *моя любовь!*..

...*Может быть, я не прав.* Мне кажется, что я прав, но я не смею утверждать этого, потому что очень я расстроен.

Ты мне писала: «Болезнь не опасная». Ты права. Болезнь не опасная. Но она *мучительная*. Круглые сутки видеть близ себя человека, который непрерывно переносит страдания; все лечение болезни которого состоит в причинении ему новых страданий; каждое движение для которого – боль; которому боль не дает спать ночи; который поэтому весь разбит, измучен, нервно-расстроен; – видеть все это день за днем... Как Ты думаешь, можно самому потерять обладание собой? Я, кажется, его теряю. За прошедшую неделю я почти захворал сам. И среди всего этого Твои страшные телеграммы и мучительные письма...

Нина, хорошая, милая! Пойми меня и пойми, что я *не могу* поступить иначе, как поступаю. Что если бы я поступил иначе, не было бы лучше ни для Тебя, ни для меня. Если бы, подавляя свое чувство, я приехал бы к Тебе, наша встреча была бы мертвой и нам не нужной. Пойми, наконец, что моя мучительная тоска по Тебе, мои бессильные



порывания к Тебе, мои письма, мои телеграммы, мои слезы (ибо, получив последнее Твое письмо, я просто и наивно плакал) должны быть для Тебя дороже и прекраснее, чем мое формальное исполнение раз данного обещания...

Конечно, я *не* работаю. И с внешней стороны трудно работать при условиях моей жизни, и внутренне, под влиянием Твоих писем, я не могу быть спокойным, а стало быть, не могу и работать. А мне работать *необходимо*, повторяю Тебе!

Прости меня, если я обидел Тебя чем-либо. И верь, что я не сержусь ни на одно слово Твоего письма; я только огорчен очень... После этого Твоего письма начинаю смертельно бояться нашей встречи в Москве. Хочу Тебя видеть страстно, но предвижу минуты боли невыносимой. Если будет для меня какая-либо возможность, постараюсь, чтоб того же числа, 17/30 февраля, мы встретились в Петербурге. Если невозможно будет, умоляю, будь ко мне милосердна. Ты сама не понимаешь, какие жестокие Ты мне наносишь раны. Ты *никогда еще* не говорила ничего столь беспощадного, как в последнем письме Твои слова о Робере. Нина! Нина! неужели они были правдой?..

Брюсов – Нине.

4/17 февраля 1909 г. Москва.

...Чувствую себя как затравленный зверь. Ты требуешь, чтобы я ехал к Тебе. Моя жена требует, чтобы я был с ней. Издатели требуют обещанных мною рукописей. Кредиторы требуют, чтоб я усердно занялся продажей моего дома, дабы выплатить им долг. – А я не могу ни ехать к Тебе, ни быть с женой, ни писать статьи, ни хлопотать о доме. Ничего не могу. Мне хочется броситься ничком, закрыть глаза, сложить руки, сказать: пусть будет, что будет! Или умереть, – наконец, умереть! наконец, освободиться ото всех мучительств этой жизни.

И все это именно когда мне казалось, что я близок к какой-то пристани, что возможно все примирить, возможно жить, работать. У самого берега – не в первый раз! – мой корабль идет ко дну, и я опять в черноте волн, свирепых и холодных. Стоит ли опять бороться с течением, – который раз! Не опустить ли руки? Во имя чего сопротивляюсь



я, зачем добиваюсь этой пристани? Я воображаю, что там свет, радость, счастье. Нет! Конечно, там новый застенок, опять палачи, только в иных одеждах, опять орудия пытки, еще более усовершенствованные! Утонуть! утонуть!

Господи! как в эти дни мне было нужно Твое ласковое, Твое утешающее слово! Если когда-либо человек мог воскресить человека словом, – это именно теперь, меня Ты. Мне нужно было немножко снисхождения с Твоей стороны, немного понимания меня, немного дружбы и прощающей любви. Вместо того страшные, ветхозаветные слова. «Не хочу больше чувствовать этой женщины. Если этого нельзя, уйду от Тебя навсегда». – «Или 22 или никогда». Страшные, страшные слова. Око за око, зуб за зуб. Я падаю под их тяжестью. Я убит их острием. Мне кажется, если бы я приложил сейчас руку к своему сердцу, рука была бы окровавлена... Но если Ты *можешь* уйти навсегда, – уходи. Если *можешь*, – почему же не уйти?

Нина, дорогая! Если есть в Тебе та любовь, в которую я верил, – беспредельная, над всем торжествующая, – если есть в Тебе любовь ко *мне*, любовь все понимающая, все принимающая, все прощающая, – если есть в Тебе, как чувствую это в себе, бесконечная нежность, желающая дать тому, кого любишь, все радости, все утешения, – если есть в Тебе *это*: приезжай *сейчас, немедленно, хоть завтра*. Приезжай, потому что я устал без Тебя. Приезжай, потому что сроки, какие я выбирал, были придуманы не затем, чтоб отложить нашу встречу, но чтобы сделать ее более прекрасной! Если в душе Твоей мир и ясность, любовь и нежность, пусть боль, но и прощение; если Ты – та, о которой мучительно мечтаю я вот уже третий год, – приезжай теперь же, я жду Тебя, я зову Тебя, я хочу Тебя!

Но если в душе Твоей любовь условная; если Ты можешь говорить мне: «А! если так, я уйду к Роберу» (ведь это же чудовищно, эта слова, Нина!!); если Ты хочешь и ищешь не любви, но мести; если Ты живешь не нежностью, но яростью; если во мне Ты любишь не меня, но свое желание торжества; если я в Твоих глазах, как Ты пишешь, «лицемер», с «раздвоенной душой»; – тогда, Нина, тогда не приезжай вовсе, ни сюда, в Москву, ни в Петербург, ни



в Гельсингфорс. Не зови меня, не жди меня. Я в последний раз скажу себе, что ошибся. Закрою глаза, отклоню лицо, – и Ты не будешь знать, что именно я чувствую.

Хочу, чтобы Ты пришла ко мне только в том случае, если *не можешь не прийти*. Хочу той Любви, которой никакие испытания не могут изменить. Хочу Любви безграничной, которая не знает слов «если – если – то я». Есть ли в душе Твоей такая любовь? Спроси себя. Ответь себе и мне...

Брюсов – Нине.

4/17 февраля 1909 г. Москва.

...Вновь пишу Тебе «последнее» письмо. То, которое напишу завтра, вероятно, уже не застанет Тебя в Париже. Через несколько дней мы встретимся. Встретимся в Москве и при самых неблагоприятных условиях. Из всех возможных для нас встреч состоится самая опасная. Дьявол так устроил, – он «великий искусник», *artifex maximus!* Иду навстречу копыю, закрыв глаза.

Когда я звал Тебя в Москву, я думал, что те чувства, чувства этой весны перегорели в Твоей душе, что Ты *над* ними. Я верил, что Ты нашла в себе прощение всему, что казалось Тебе грехом во мне. Как я нашел в себе прощение всему, что кажется мне грехом в Тебе. Я ждал, что мы встретимся проясненные, успокоенные. Я мечтал, что магическая сила нашей любви преобразила наши души – Твою, как мою...

Сейчас я боюсь, что судил о Тебе по себе. Что того пути, который совершил я, Ты не прошла. Что Ты все еще та, какой была в мае. Что Ты не та, кому я писал мои бедные, нежные и счастливые письма. Боюсь, что «Нина» моих писем – моя мечта...

Будем смотреть смело в глаза судьбы. Смело, потому что я привык смотреть ей в глаза. Ты не та, какой я Тебя ждал? Я не тот, каким Ты меня ждала? Наша встреча не та, какой мы ее ждали? О, страшные вопросы!

Будем смелы, Нина! не будем скрывать от себя ничего. Мы встретимся для новых мучительств и для новых отчаяний. Ты меня найдешь измученным, усталым до последнего предела, расстроенным, как рояль, по которому долго стучали кулаками и ногами, и, хуже всего, *раздвоенным*: не хочу



от Тебя скрывать и этого! И мы проведем вместе, встречаясь и расходясь, опять встречаясь и опять расходясь, не мало трудных и мучительных дней, потому что не быть мне свободным раньше конца февраля ст. ст. И за эти долгие дни Ты возненавидишь меня вновь и начнешь меня презирать, и вместо той лучезарной близости, о которой я мечтал, о которой я писал, придет последнее разъединение...

Будем смело смотреть в глаза Судьбе: так *может* быть!

Но больше нет иной дороги. Теперь уже мы должны встретиться. Теперь уже я повторяю Твои слова: *или теперь, или никогда.* Если мы не встретимся теперь, нам невозможно будет приблизиться друг к другу...

Что же! Не уклоняя груди перед копьём Судьбы, будем, однако, верить в *чудо* \ Чудо! чудо! сколько раз мы молились ему коснеющими губами. Чудо! последнее прибежище всех погибающих! последний якорь всякого отчаянья! последняя звезда в последней ночи! Чудо! свершись. Сделай ров львиный – райским садом! преврати челюсти диких зверей в яркие розы! умягчи острия наших смертных лож в тихий пух! Как Юлиан перед смертью, я верю чуду!

Приезжай, Нина. Зову Тебя и не Тебя. Зову я и не я. Приезжай. Жду Тебя. Будь со мной. Приди ко мне, – скоро!

Что ж не спешит она к моим устам предсмертным
Прижать уста...

И, как последняя молитва:

Да будет все это письмо безумием, ошибкой, заблуждением! Да свершится не то, что я думаю! Да окажусь я ложным пророком! Да явит мне Бог милосердие свое, – ибо не о чем больше мне просить его.

Пойми тоску этих строк, Нина. Приезжай непременно. Умоляю, заклинаю Тебя: приезжай! Это соломинка надежды. Но вне нее нет уже никакой надежды...

Если Ты не известишь о ином телеграммой (письма не буду принимать в расчет, потому что со дня написания письма все можно передумать), я поступаю так:

Во вторник (прости, не удастся раньше) переведу Тебе телефоном 400 francs.



В конце недели возьму для Тебя комнату в Руси.

В воскресенье буду ждать Твоей *русской* телеграммы. Ты пошлешь ее *из Варшавы*, сообщая мне, с *каким поездом* едешь (скорым, или курьерским, или иным).

В понедельник я встречу Тебя на вокзале.

Согласна ли Ты на все это?

В одном из писем я просил Тебя известить меня о своем окончательном решении ехать телеграммой «*Je pars*» (я выезжаю (*фр.*) – И. Т.). Если сделаешь так, будет хорошо и все мне яснее. Но если и *не* пришьлешь такой телеграммы, я все равно буду считать, что Ты едешь, и поступать согласно со всем, что здесь написано. Только в том случае, если Ты пришьлешь мне категорическую телеграмму, что *не едешь*, что *остаешься в Париже*, я все эти приготовления брошу.

Но, повторяю, уже поздно переменять решения. Теперь уже *надо* ехать. Наши души так измучены постоянными переменами – ехать – не ехать, – что не вынесут нового изменения. Все будет хуже, чем встретиться. Ясно чувствую, что эта встреча решена. Она уже упала... неужели добавить: как нож гильотины? Нет! скажу: выпала как жребий. Откроем глаза и увидим: жребий жизни или смерти.

И сквозь все это, сквозь все предчувствия мрачные и тяжелые, я очень хочу Тебя видеть. Приезжай, Нина! Приди. Сколько-то минут будет чистой радости – просто от того, что вновь увижу Тебя, поцелую Твою руку. Этой радости ничто не отымет, и пусть после даже смерть, если нет иного выбора.

Приди. Я зову...

Нина – Брюсову.

2 апреля 1909 г. Москва.

Милый Валерий,

мне очень трудно написать тебе сейчас больше «восьми строк», но это нужно, и я постараюсь. Не сердись на меня, как весной, не каменей, как вчера, пойми один раз, что так больше *невозможно*, и расстанемся тихо. Я тебя очень люблю, но видеть тебя мне больно и печально, но еще больнее встречаться, читая в твоих глазах и всех поступках все



одно и то же жестокое слово «никогда». Ты еще надеешься на какое-то примирение, на *мою* уступку. Что же я должна «уступить»? Всю мою душу? Называется ли это «уступкой»? Как *после весны* ты можешь еще думать, что *мы* можем жить при тех же условиях? Помнишь ли ты хорошо эту весну, лето и мой отъезд в Париж? После всего этого ужаса я ехала в Париж с уверенностью, что нам не быть вместе уже никогда. Твой тайный отъезд *с ней* (с женой. – И. Т.) в июне мне казался достаточным доказательством твоего окончательного выбора. В Брест я ехала, ты знаешь, не для нежной встречи... В Намюре тебя видела с душой, полной самых горьких и даже мстительных чувств, после этого последнего свидания в Париж бросилась, как в яму, и уже много времени спустя какие-то чудесные крылья вынесли меня из этого мрака. По мере того как я успокаивалась и выискивала возможности жить *без тебя*, ты, точно чувствуя это, странно и неожиданно менялся. Я никогда не получала от тебя нежнее парижских писем, ты никогда не казался мне более милым и близким, как в те дни, когда я уже готова была сказать тебе: «Ну, теперь прощай, я уйду навсегда». Ты веришь мне, – ни одной минуты я не сравнивала настоящей моей жизни с жизнью с тобой. Это, правда, была «свадьба Данте», – конечно, паденье, потому что самым большим соблазном здесь являлись *покой* и желание уйти от самой мучительной из своих душ – любви к тебе. Но твой зов проник через все. Мне было очень страшно и жалко уезжать из Парижа. Еще смутно (потому что все чувства были там погружены в легкий и сладкий сон), но я уже предчувствовала, *куда* ты меня зовешь, и уезжала со страхом и печалью. Ты спросишь: «Зачем же ты уезжала?» На это трудно ответить. На действиях такого рода строятся всегда жизненные и литературные драмы. Читаешь или видишь со стороны всегда с ужасом. Ведь явно, что это шаг ложный и опасный, не сделать бы только его, – и как по математическим данным можно рассчитать счастливый конец. Что здесь всегда двигает душой? Вечный соблазн играть своей судьбой или минутная бессознательность, которая затемняет всякую очевидность. Не знаю и теперь точно не вспомню о себе, но поехала на твой зов. Долго я была чем-то отделена



от тебя, и твоя власть надо мной казалась мне утраченной. Сознательно или нет – не знаю – ты всеми силами добивался моих прежних чувств. Я верю, что скорее бессознательно ты в Петербурге говорил те слова, от которых отказался сейчас. И вот, Валерий, *только они* – эти безумные слова твои дали мне тоже безумную надежду. Помнишь, как стало потом хорошо? Открылся бесконечный прекрасный путь для нас двоих. Уже начала возникать настоящая близость, настоящая успокоенная глубокая радость. В первый раз я почувствовала себя с тобой не в узкой тюремной камере, сжатой со всех сторон *ее присутствием*. Еще в вагоне ты мне говорил, что на Москву и на эти месяцы нужно смотреть как на *временное* неизбежное мучение – и только. Разве мне нужно было видеть какие-либо твои противоречивые действия, разве мне не довольно было увидеть однажды (и очень скоро) выражение твоих глаз, чтобы понять эту последнюю прекрасную ложь? Я не хочу сказать, что ты меня обманывал умышленно. Ты сам не знал наверно – можешь или нет. Приехал, переступил порог, забыл яркость чувств, пережитых недавно, понял, что *ее* не оставишь никогда, ни для чего, и с лицом, на котором легли эти страшные тени, пришел ко мне. И вот мы опять на том же месте, где были весной. Свершился какой-то круг, оба мы прошли большие испытания, и, как видишь, они ничего не изменили и из души не вырвали, – все осталось по-прежнему. Ни на какие новые испытания уже не хватит ни сил, ни веры. Без исступления, без всяких злых чувств, только твердо и печально я повторяю тебе то же, что говорила весной: «Быть втроем не могу». Предпочитаю этому все. Помнишь, как ты говорил: «Буду жить где-нибудь в Марселе, уеду куда попало, нарушу всю мою жизнь, но так еще не могу!» При всей моей любви к тебе не могу найти с тем, что ты предлагаешь, никакого примирения. Я стараюсь говорить сейчас холодно и четко только потому, что нежность для нас обоих будет острее ножа. И ты это пойми.

О «жизни» моей не беспокойся. Драматическое действие уже совершено, и поправить ничего нельзя. Конечно, мне представляются потерянным раем... дни мои в Париже перед отъездом сюда, так же их вспоминает



и Надя, проживая в буйном отделении лечебницы Левинштейна. Но когда к ним вернусь – не знаю. Буду здесь жить «пока», претерпевая все горести, как заключение в тюрьме на неопределенный срок. При первой возможности уеду из России совсем... *Ответственным себя ни за что, ни в какой мере не считай*, когда ты начинаешь говорить в этом смысле, – я горько обижаюсь.

Грустно мне очень. Никогда не была я в такой холодной темной пустоте. – «Je ne suis pas...» (я не так глупа (*фр.*) – *И. Т.*)...

Брюсов – Нине.

3 апреля 1909 г. Москва.

...Прочел Твое письмо, разумное, ясное, сдержанное, доброе. Ты в нем повторила, сжато, все, что говорила мне последнее время. Если бы я стал отвечать Тебе подробно, я тоже должен был бы повторить все, что говорил Тебе последнее время. Нет! *сказано* все. Оставим свершаться событиям. Слов больше не надо.

Но я не понимаю, почему мы не должны встречаться, или, встречаясь, должны ссориться. Я продолжаю думать, что мы можем и должны быть вместе, без злобы и без отчаянья. *Tout comprendre c'est tout pardonner* (все понять – значит все простить (*фр.*) – *И. Т.*), – старая, умная пословица. Конечно, я был неправ, что-то спрашивая с Тебя в день нашей последней встречи. Не надо ничего требовать друг у друга, но не будем друг от друга прятаться. Мне, по крайней мере, странно и больно быть без Тебя, когда Ты так близко.

Не согласишься ли Ты сегодня (пятница) пообедать вместе? Я заеду за Тобой, на Арбат, между 6 и 7 час. Если Ты захочешь быть со мной в этот час, Ты будешь дома. Если нет, мне просто ответят у двери, что Тебя – нет. Я приму это как знак, что сегодня Ты не хочешь быть со мной, – вот и все...

Нина – Брюсову.

30 апреля 1909 г. Москва.

Милый, милый Валерий,
мне грустно и страшно после этой встречи. Если мы все же видимся, и не хватает силы уйти совсем, мы долж-



ны встречаться иначе. Так не нужно, так больно и невыносимо. Я люблю тебя очень. Вот какой-то круг завершился, – в нем был и Париж, и долгие дни без тебя, и дерзкое усилие души уйти, освободиться, забыть. Ничего не вышло. Это та любовь, какой ты хотел всегда, – роковая, не подвластная воле. Не сердись, что я вновь так безнадежно печальна, не говори с презрением, что это «повторение прошлой весны». Я клянусь тебе не повторять ее во внешнем, я все в себе сдаваю, смирю, ты не услышишь больше ни одного недолжного слова, но если эта боль убивает душу и жизнь – разве я виновата?! Зверочек дорогой, любимый, я больше не буду тебя гнать и мучить. Пусть лучше замучит безнадежная нежность, чем эти страшные встречи, когда каждое слово ранит сильнее ножа те же губы, которые его произносят...

Нина – Брюсову.

Апрель - май 1909 г. Москва.

Я сегодня не вышла из дома на пять минут, все ждала, что ты зайдешь... Звонила в «Скорпион», просила передать, если ты там будешь, – но то же молчание. О, это проклятая жизнь, когда не смеешь позвать тебя, когда, живя в одном городе, чувствуешь невозможность увидеть и сказать, когда хочется видеть!.. Мне хотелось тебя увидеть еще *вчера* с вечера. Я немного пришла в себя, было жалко, грустно, хотелось сказать тебе нежные слова, взглянуть тебе в глаза, поцеловать руки... Всю ночь я писала тебе и надеялась увидеть сегодня. Звонила в Кружок, в «Весы», ждала, – нет, верно, я должна сегодня терпеливо нести какое-то еще наказание за мою печаль. И чувствую я сейчас, когда не могу позвать тебя, не имею возможности услышать твой голос – опять со всей остротой неизбежный, неодолимый Крест моей судьбы.... День был такой для меня ужасный, – весь голубой, жаркий, и этот звон вечером – все раздирает сердце, все опять и опять напоминает лето, тоску, ужас, одиночество... Как хотелось быть с тобой! В окно вижу – люди... Идут куда-то вместе, вдвоем. А я смотрю из окна тюрьмы... Нет, милый, дорогой, реши что-нибудь *одно*, окончательное, определенное... Я больше не в силах переживать даже дней. Отпусти мою душу. Я умру сейчас с большей легкостью, чем



живу. Ты привык за пять лет видеть мою печаль, мое страданье. Это кажется тебе обычным, как мне казалась, например, бесконечной болезнью мамы. Бессознательно думалось, что это так и будет длиться еще годы и годы.. Так думаешь и ты, глядя на меня. Но у меня *нет*, нет больше сил ни телесных, ни душевных. Если ты хотя сколько-нибудь меня еще любишь, – распутай, развяжи или разруби этот узел. Не могу больше! Ах, серьезно, искренно говорю: не могу, – ну, посмотри на меня, разве так жить можно?! И если ты не захочешь *сказать* ничего прямо, я приму это за ответ, за приговор.

Если тебе дорога еще хотя немного наша близость, наша несчастная, придушенная любовь, – спаси их.

Вот сейчас ты с ней (женой. – *И. Т.*), она тебя видит, она может позвать тебя, сказать все, что хочет, а я!.. Я ничего не смею, я отброшена куда-то и должна ждать, ждать, как в тюрьме, когда ты придешь сам. Не сердись на меня! Я была тихая, нежная весь день, а к вечеру ожесточилось сердце от незаслуженной боли. Что я сделала дурного? Плакала? Печалилась? *За что* мне сегодня наказание?

Валерий дорогой, единственный, вся моя любовь! Подумай еще раз, подумай серьезно и что-то *реш*и. Пусть для меня в твоём решении – нож. Все равно! Только бы один конец. Я говорю серьезно, я заклинаю тебя поверить, – этого лета, этой весны *так* я пережить не могу. Ну, что-то сделалось с душой особенное, новое, в ней какое-то упорное сопротивление и невозможность *так* длиться.

Дорогой мой, не принимай этого прибавочного, сегодняшнего письма обиженно! Я не хочу тебя обидеть ничем. Я люблю тебя, видит Бог, как безумно люблю! Я жалею тебя смертельно, у меня сердце болит на тебя смотреть, о тебе думать. Но и тебе будет лучше решиться на что-то *одно*. И когда я говорю о «решении», запомни, – я не требую ничего самого для тебя страшного, я не потребую *этого* никогда уже больше. Я говорю о внутреннем, о душе, о наклоне *чувств* туда или сюда. Брось что-нибудь в одну из чаш, и она упадет. Прежде мне *даже мысль*, что ты *ее* изберешь, казалась мне дикой, невозможной. Теперь я смиренно



и забыв эту гордость прошу *суда*. Прошу: выбери, хотя бы даже жестокость пала на меня, на меня из троих.

Милый и любимый, пойми меня, не говори, что я твое «мучение», ты же сам изнемогаешь от этой жизни, от вечной двойственности, а тебе и *вам обоим* легче, чем мне. Только подумай, *какие* это часы, например, сегодня, когда я не смею позвать тебя и со смертельной болью в больном сердце бегаю весь день от телефона к телефону, смотрю в окно, потом бросаюсь на диван и, вся заолодев, лежу как в обмороке с закрытыми глазами. Мне нужен отдых, хотя такой, какой инквизиция давала между пытками, и смерть лучше, лучше такой жизни. Валерий, в эти строки я влагаю всю мою душу. Отзовись на них искренно, сердечно, мягко. Ведь я же ни в чем не виновата, *как и ты*, кто-то нас всех покарал этой любовью.

Валерий милый, приди ко мне, как получишь письмо. Ведь я не злая, не упрямая, не хочу тебя мучить, мне только больно безмерно...

25 мая 1909 г. Москва.

Милый Валерий,

теперь можешь успокоиться, – я уеду 8-го июня, у меня заказан билет и готов паспорт. Надеюсь, что это наше свидание будет последним в жизни. Я вернусь туда, где меня хотят и ждут, где мое присутствие – радость, а не досадная помеха...

24 июня 1909 г. Брест.

Зверочек мой!

еду с печалью, ах, с какой печалью!... Но уже не плачу, стыдно вызывать своим видом жалость у посторонних людей. Сажу, молчу, думаю – лечу, не знаю куда, как лист осенний. Я сейчас ни в чем тебя не хочу уверять, я ничего не знаю. Можно ли знать хоть что-либо, когда так бросаешь и *бросают* твою душу в хаос, в неизвестность.

«Шар золотой» – куда он упадет? Ах, протяни руки *так*, чтобы опять он вернулся к тебе! Или не жди, закрой глаза и требуй только чуда.



Эта поездка, несмотря на все чувства, – она моя гордость. Значит, еще не совсем сломилась душа, значит, еще я могу «преодолевать». Уехать было трудно, как никогда в жизни. Я с правом говорю сейчас эти слова – «никогда в жизни».

Теперь, уж если встретимся, – *кто-то будет покорен!* Кто? Ты или я? Не знаю. Мы делаем все более и более страшные опыты, наша жизнь становится похожа на невероятно, смертельно трудные акробатические «полеты в воздухе». Иногда это кончается и счастливо.

Кажется, подъезжаем к Бресту, нужно опустить письмо. Валерий! Зверочек! Я люблю тебя очень, и сейчас я еду с верной, печальной душой. Не забывай меня, когда будешь с ней (с женой. – *И. Т.*). После таких дней надолго ты делаешься чужим. Все это чудовищно, странно и страшно. Встретимся ли??.. Ах, зверочек, у меня почти нет слов. Но через печаль и горечь я люблю тебя, одного тебя. Целую нежно, нежно твои милые вчерашние грустные глаза...

15/28 – 16/29 октября 1909 г. Париж.

Зверочек, зверочек мой! я не найду сейчас много слов. Душа так взволнована, так потрясена этим днем, что я еще не владею ни мыслями, ни сознанием, ни даже телом – рукой, чтобы писать. Я прощалась с тобой как немая, ехала почти без чувств, – знаешь этот странный сон наяву, – и только дома, в наших комнатах плакала в первый раз. Милый, как грустно, как сладко! Это не прежняя ядовитая, безутешная боль наших расставаний.

...Милый, милый, любимый мой, я верю в тебя, я не могу не верить тому твоему образу, который был передо мной неизменно в эти чудесные, святые для меня дни. Я больше ничего *не требую*, ничего не хочу *только для себя*, потому что наша жизнь стала одной слитой жизнью и в радости, и в страдании. Я буду любить тебя при всех условиях, верь в это, и если я буду очень страдать, я знаю, – ты будешь со мной во все минуты, не бросишь меня, как прежде, и, *если сможешь*, дашь мне то, что стало нужно нам обоим равно. Я верю! Я знаю – ты только мой, и все остальное, – это наше общее горе. Еще раз прошу тебя, умоляю тебя, не де-



лай ничего такого, что может совсем сломить твою душу. Рассчитай свои силы, если колеблешься – подожди, если нужно – лги (ах, только не мне!..), только сбереги мне себя. За радость *минут* с тобой я буду страдать еще и еще, – как могу, сколько вынесу. Это самые большие слова любви, какие могу я сказать тебе сейчас. Прими их, возьми их, пользуйся ими, если нужно. Даже ценой своей радости, ценой осуществления моих пятилетних мучительно острых желаний я не хочу увидеть тебя разбитым, полумертвым. Валерий, любовь моя! я только боюсь одного, чего, может быть, не предугадать еще и тебе самому, – это внезапной перемены чувств, когда ты увидишь ее. Помнишь, что я говорила о «Зачарованном принце». Переступил через порог и все, все забыл. Когда потом очнулся, то сам не мог понять, как это могло случиться, вспомнил все свои клятвы, устыдился, бросился назад. Но, кажется, и в сказке было уже почему-то поздно вернуться. Я не помню конца... Я верю, верю в тебя, не обижайся, я говорю о том ужасе, который вне круга сознательных движений души. Я не осудила бы тебя за это, но страшно, страшно мне, зверочек; страшно всегда, когда имеешь дело с темной стихией. Ну! что об этом говорить... Я верю, верю в тебя, и если даже этот дурной сон окует твою душу, *ты проснешься, чтоб быть со мной*, потому что ты *мой*, только мой, это сказано где-то, вписано в какую-то огромную книгу, которая ведет счет нашим существованиям и деяниям на земле. Милый, дорогой зверочек, как грустно, грустно мне было этой ночью. Проснулась... темно, Надечка спит, ветер воет в каминной трубе, чувствовала себя маленьким покинутым ребенком. Каждая вещь помнит тебя, все они говорят о тебе грустными нежными голосами. Я ехала во сне, просыпалась от боли и опять засыпала. Рядом действительно ехал король, и ему, может быть, было хорошо... Все с нами в эти дни было *как никогда*, и расставались мы в первый раз без горьких обидных чувств, без слез. Я плакала только дома – от нежности, от любви, от воспоминаний, которые обступили меня в наших комнатах грустным и ласковым роем. Холоден и пуст мне Париж без тебя. Не оставляй меня здесь! Не оставляй! Это была бы ужасная жестокость.



Несмотря ни на что, в Москве есть возможность хотя бы видеть тебя, касаться твоих рук, смотреть в твои золотые глаза, чувствовать, что ты близко, – через несколько улиц, что мы каждую минуту связаны горем, нежностью, любовью. Здесь я погибну совсем. Ты знаешь, ты понял... Зверочек, вся душа горит; на огне этих дней сгорело все прошлое – и наше страшное, и мое, о котором так хочу я забыть навсегда. Теперь вся моя жизнь – ты, никуда не уйду, никаких минут забвенья не буду искать вне тебя. Последним испытанием были 1½ месяца в Москве, я его вынесла, я донесла до тебя мою душу живой, твоей, как всегда, – теперь возьми ее навсегда...

16/29 – 17/30 октября 1909 г. Париж.

...Ах, как пуст и ненужен мне Париж! Здесь уже можно только дожить какие-то дни, грустя и томясь, а если бы остаться. Надолго... Страшно подумать. Есть города, настолько полные для меня тобой, что я никогда не решилась бы быть там еще без тебя. Париж же особенно. Что мы пережили здесь!.. Здесь в первый раз мы сблизились той тесной близостью, которая не может разорваться никогда. И если Гельсингфорс был преддверием нашей жизни, то Париж видел ее самый яркий, пышный расцвет. Как я могла бы здесь жить без тебя? Милый, ведь это правда, – с нами было чудо, самое удивительное из всех в нашей страшной и прекрасной жизни этих 5-и лет. Через страшные препятствия, через невыносимые муки мы дошли до этой встречи и поняли наконец, как мы нужны друг другу, как страшны эти дни вдалеке, как невозможно нам расстаться опять. Может ли быть теперь, что опять потускнеет, ослабеет, замутится чем-то чуждым твоя ясная, смелая, сильная любовь? Ах, тогда я пойду к тебе, возьму твои руки, взгляну в твои золотые глаза и скажу: «Валерий мой, проснись, проснись, – это я единственная, которую ты любишь, это я – твоя любовь, мог ли ты меня забыть!?» И ты проснешься, я верю, проснешься, теперь ты не можешь уйти. Не можешь, зверочек!... не можешь... Скажи и ты, скажи еще раз, чтоб я верила в это, чтоб силой моей веры была сильнее твоя любовь. Ты знаешь, в последние дни мне были уже почти не



нужны слова и обещания. Больше чем клятвы мне говорили твои объятия, твои бессвязные слова ночью, в полусне, когда ты, просыпаясь, прижимался нежно и близко и что-то лепетал, как дитя, и я чувствовала, что ты около меня счастлив, счастлив, может быть, в первый раз так глубоко за всю нашу жизнь. Милый, теперь, когда рушились все стены и нет для нас границ ни в чем, понял ли ты наконец, *отчего* так горько страдала я в прошлом? Оправдал ли ты меня за все те муки, что невольно заставляла я переживать и тебя? Все эти годы я томила и тосковала о том счастье, что ты дал мне в Париже. Я видела его образ – прекрасный и недостижимый. Я плакала о нем, звала его, молила тебя его мне дать, но ты еще не мог... Теперь я знаю – не *хотел*, а не мог. Прости меня за непонимание, за боль, что я причиняла тебе, ты не был виноват никогда. Ты только не чувствовал и потому не понимал, что нужно мне, чего я жду и хочу. В Париже я пришла к тебе с последней покорностью. Ты помнишь, – я была уверена, что ты выбрал ее (жену. – *И. Т.*) навсегда, меня уверило в этом все до прощания с тобой в Староконюшенном переулке... Думала: – теперь все кончено, моя душа убита, я возьму смиренно то, что ты мне дашь, потому что даже без этого малого не могу уже жить. И вот пришло чудо, радость, твоя любовь, та твоя любовь, о которой я уже не смела и мечтать. О, Валерий, но ведь мы были только в преддверии той жизни, что может для нас настать! Мы могли еще говорить о ней лишь как о будущем, потому что у нас было так мало дней. Только теперь я вполне увидела и свою душу и поняла, *что* я могу тебе дать, каким счастливым я могу тебя сделать. От постоянной боли я часто теряла себя, ты видел меня искаженной, всегда замученной, всегда с неутоленностью и болью в сердце. Мы оба губили жизнь, пренебрегали ее возможностями, мы не знали той ясной гармонии, которая приходила часто в парижские дни. А ведь это возможно всегда, если не вернуться страшные призраки прошлого. Теперь я знаю, что нужно для твоего счастья и отдыха, я поняла всю твою душу, и я, только я могу тебе дать счастье. Мне не страшно произносить эти гордые слова, потому что в них настоящая правда, такая же простая и безусловная, как наша любовь.



Сбережем все, что мы собрали для новой жизни в эти удивительные недели. Не дадим померкнуть этому огню в ужасном вихре московских дней!.. Если ты почувствуешь опять то же наваждение, тот же непонятный «гипноз», дай мне его нарушить, не противься слишком, пойми, что это неправда, вспомни наше счастье, приходи ко мне и расскажи, – мы будем бороться вместе. Поверь же в меня и ты! Я не хочу твоего горя, и если есть для тебя в той жизни неизбежное и роковое, чего нельзя сломать, не сломившись самому, – оставь все как было, мы будем *страдать вместе*. Умоляю об одном, – не скрывай от меня ничего, не лги, как прежде, не обижай меня так горько, – это больше не нужно. Я не буду тебя упрекать, я все пойму, *возьму тебя таким, каким ты можешь быть*, и ничего не изменится больше в моей любви. И если я увижу, что *все с ней* для тебя только горе и мука, – это будет моим единственным утешением, терновым венцом моей любви. Запомни эти слова, я тебя люблю, – их говорит безмерная любовь...

19 октября / 1 ноября 1909 г. Париж.

...Ты говоришь о морфии: «Я это прекращу». Что ты прекратишь? Злоупотреблять им или вовсе хочешь бросить? Только не бросай тогда сразу, – это может вредно отозваться на сердце. Бросай, отвыкай постепенно, уменьшая количество. Я его не брошу, должно быть, никогда. В эти дни беру много, иногда больше 3-х. Прости, не сердись! Не могу, такая тоска, неизвестность, пустота. Отвратительно подумать выйти на улицу, хожу только в случаях крайней надобности. Целые дни дома, чувствую себя плохо, почти совсем больной. Жду каждой ночи со страхом, совсем перестала спать. Живу как накануне суда. И еще твои открытки, – ничего из них почти о тебе не узнаю, угадываю, что тебе очень плохо, боюсь за тебя, боюсь за будущее, боюсь сердечных припадков. Вся душа моя один сплошной испуг. Не сердись, милый. Если любишь, пожалей, а не сердись. У меня осталось мало, мало сил. Разве я виновата? Я очень долго всех удивляла своим здоровьем, всяческой выносливостью. Должно быть, это не бесконечно. Ах, уехать, уехать скорей...



28 октября / 10 ноября 1909 г. Париж.

Валерий! Валерий! ты ли писал мне это ужасное письмо? Ведь твой образ еще жив и прекрасен в этих стенах, а со мной уже говорит «оборотень», кошмар моих снов, тот жестокий, слепой и глухой, в которого обращаешься ты, едва переступив порог «твоего дома». Знакомое и чужое лицо с скупой сжатыми губами смотрит на меня с этих страниц. И я должна верить, что это все *ты же*, – мой Валерий, моя любовь, мое мертвое счастье... Валерий, возможно ли?!.. Как же жить теперь? Как встречаться? Во что мне верить?.. Ты заставил меня поверить и отдать без страха в твои руки всю мою душу. Что же ты сделал с ней! Только детское неведение или тончайший замысел какой-то злобной мести могли создать мне эту новую, самую горькую муку. После долгих лет найти наконец-то, о чем молилась душа, обладать счастьем, почти осязать его реально, – и вдруг узнать, что все это чужое и *никогда* не было твоим... Валерий, пережил ли ты в жизни такое горе?.. Я не упрекаю тебя, в моем сердце только боль и потрясающее недоумение. Помнишь, ты сознал, что настало наконец время, когда нужно *погубить* одну из твоих двух? И ты выбрал *меня*? Опять *меня*? Как всегда, точно не было этих дней, когда тебе казалось все ясным и решенным, когда ты сознал, что не можешь без *меня* жить?!.. *Ничто* были наши последние ночи и дни в Брюсселе? Твои клятвы, обещания, твоя любовь? У меня ум мутится, Валерий. Ты – мой Валерий, ты, каким я узнала тебя здесь, можешь бросить *меня* опять в холод, в пустоту, в неутешное отчаяние? Неужели *так* ты ее любишь, Валерий? И разве не знал ты этого прежде? Ведь ты пришел ко мне *прямо от нее* и проклинал эти дни с ней. Где же твоя правда, где ложь? И это оно, то «откровенное до конца» письмо лежит сейчас передо мной на столе? Опять ложь, тайны, уклончивый лепет вполголоса... И тот ли это язык, на котором мы говорили наши «шесть недель»? Что ты хотел мне сказать? Что не можешь изменить твоей внешней жизни? Но вспомни, вспомни, я сама умоляла тебя в Брюсселе не делать этого, если трудно, умоляла не ломать своей души. И если бы сейчас ты был таким близким и *моим*, как в ту ночь, разве было бы мне так



ужасно это решенье? Остаться во внешней жизни с ней, покоряясь злomu року, и страдать вместе со мной о нашей прекрасной неосуществившейся жизни, жить с ней в одном доме и быть «дома» лишь со мной – нет, *не об этом* ты пишешь в твоём ужасном холодном письме. Если бы были *мы* и *она*, которая мешает нам жить, *наша близость* и принужденное пребывание с ней, если бы, живя с ней под одной крышей, ты мог остаться *моим*, с той же моей душой, которую *в первый раз* увидела я в Париже, – верь, Валерий, через всю боль этой двойственности, через все жгучие тернии я сказала бы тебе: «Я счастлива, Валерий, я в раю». *В этом моя внутренняя перемена*, на огне моей любви к тебе сгорели наконец все мои эгоистические требования. *Я могла бы так жить*, я сломала и победила в себе все то, что не мирилось с прирожденными чертами твоей души, – слабостью, малодушием, неспособностью к решительным поступкам. Я приняла бы тебя таким. Но *иное*, более ужасное и непоправимое узнала я из твоего письма, – ты ее *любишь*, Валерий.... Помнишь, ты обещал мне рассказать *всю встречу*, ничего не утаивая, как научились говорить мы в Париже? Но я знаю, *так* рассказывать можно только о *нелюбимой*. Помнишь, *как* ты рассказывал мне в Париже о Вашей жизни? О, не раскаивайся! Я не позволила сказать о ней ни одного оскорбительного слова, я слушала тебя с благодарностью за доверие и умела быть достойной его. *Помнишь*, ты ехал с тоской, тебе было горько расставаться со мной, тебе была страшна встреча с ней. Неужели мог ты *тогда* мне лгать?! И об этой встрече ты не говоришь *ничего*. Ты говоришь о «пропасти», о «роковой необходимости», о «каменных стенах», и в этих, о, знакомых мне неживых словах нет уже ни тебя, ни твоей души, – в них враг со щитом в руках. Вооруженный враг, который охраняет кого-то от нападения...

И вот опять разделены наши жизни. Нет уже *нас*, – есть *ты с ней* и *я...* Нет связанности, близости, которых нельзя разорвать ничем, слитности и единения двух жизней в одну. Ты все это показал мне в Париже и отнял, чтобы отдать ей. Как же мы можем теперь жить, встречаться, быть вместе? Представляешь ли ты наши свиданья после



Парижа в «старой ужасной Москве»? Опять с холодным, чужим лицом ты мне скажешь: «Я не могу устраивать твоей жизни», и опять, как жалкая выкинутая собачонка, я буду стоять мысленно дни и ночи у твоих закрытых дверей – перед ложью, перед ужасом, перед тайной. Валерий, дорогой мой, ты же узнал, понял, ощутил всеми чувствами, что так *больше нельзя*. Или я тебя не поняла до конца, и ты своим письмом отверг меня совсем, хочешь остаться только с ней? Но в нем же, в этом страшном письме, ты еще говоришь мне «люблю», ты еще повторяешь мне это слово. Только *что же*, что оно значит теперь?! теперь, когда не ее, а меня ты обрекаешь на страданье? Ты уже со мной как враг, как человек, который готов убить того, кто мешает. Ты предлагаешь мне остаться на rue de la Terrasse ждать «случайностей и чудес» или ехать жить в Петербург. Валерий, Валерий, тебе не страшно и не стыдно было написать эти слова после всего, после того, как ты со слезами уверял, что не можешь жить, если я далеко, после того, как сам, первый настойчиво звал меня в Москву? Ах, что с тобой делают «там», Валерий мой?! Мог ли бы *ты* сказать так теперь! Это говорит «зачарованный принц», это сбылась наяву моя страшная сказка. *Ты, ты* говорил, что Париж и Петербург для меня гибель. Ты понял это глубиной любви и нежности. И ты сам не хотел жить в Москве без меня. А теперь меня гонишь! Отправляешь в ссылку, чтобы я *ей* и *Вам* не мешала. Ах, как мне горько, за что мне эта незаслуженная боль! После того, как в Париже ты заботился о каждом моем шаге, о здоровье, о том, не беру ли я слишком много морфия, и многом, многом другом, после всех этих нежнейших ласк ты говоришь мне: «Уйди куда знаешь, живи, как хочешь». Мне теперь, совсем больной и убитой, ты предлагаешь остаться в Париже или ехать в Петербург! Только затем, чтобы покойна была *ее* жизнь!.. И ты мог бы, Валерий, ездить с ней на вернисажи, на среды, в театры, принимать гостей, потом спокойно ласкаться и засыпать в Вашей спальне, зная, что где-то я томлюсь и умираю от боли, от любви к тебе, от одиночества, от воспоминаний – одна, одна... Ты мог бы, Валерий? Или говоришь все это ты в безумии, в странном сне души, или действительно не



любишь ты меня больше? Опять жестокость... С «котенком» поиграли – теперь его о камни. А потом? Опять будешь звать, обещать, клясться, удивляться на себя? Валерий любимый, проснись, опомнись, вспомни, что говорил ты недавно: «Если я изменюсь, если случится со мной опять то, чего сейчас я не могу и представить, – Нина, не отходи от меня, не проклинай меня, не теряй в меня веру. Через все это подойди близко и нежно и скажи: «Валерий дорогой, – это ложь, ты только мой, я верю. И не будет с нами больше ничего ужасного, потому что одно только правда – это наша любовь». Помнишь, ты просил? Где же ты настоящий, где твоя душа, где твоя правда? Милый, милый, подумай, подумай еще, не разрывай так безжалостно наши жизни, нашу связь, которая, ты тоже видишь, стала уже роковой. Помнишь, ты говорил: «У нашей любви есть уже своя душа, и мы ее не властны убить»? Вспомни, *как* живешь ты, когда меня нет с тобой надолго. Ты говорил, что томился в Швейцарии. Ты не лгал, в те минуты шести недель ты не мог лгать. И может быть, опять ты почувствуешь меня нужной и дорогой. Я верю, что после этого испытания ты можешь опять позвать меня. О, я приду, конечно, приду, душа моя побеждена совсем и обречена. Я не могу уже даже подумать, как прежде: «Уйду, могу жить без него». Нет, – *жить без тебя не могу*. Но ведь мы *оба* уже отравлены друг другом, ты *можешь* позвать меня еще раз, и вдруг будет поздно. Не надейся больше на мои силы, они упали совсем. Даже в дни нашего прекрасного счастья все время, всегда я чувствовала, что внутри у меня все надорвано, сломано. Я часто скрывала от тебя, и меня исцеляли твоя доброта и ласка. Без них я замучусь совсем, и морфий уже намекает на расплату. Побереги меня немного, если чувствуешь, что когда-нибудь захочешь меня позвать. Не отвергай меня совсем, теперь я не сумею этого вынести. К образу твоему прежнему, милому и родному обращаюсь я с этими словами. Проснись! услышь меня, милый! Неужели так «ожесточено сердце твое», что не осталось в нем ни одного чувства из нашего прошлого? Помнишь, как ты боялся, как нежно ласкал меня, когда мне бывало плохо? Помнишь, ночью у окна после первой встречи с Бальмонтом? Отчего я не



умерла тогда – счастливая в твоих нежных руках, у тебя на плече! Все хотелось счастья с тобой. Было его еще так мало. Пять лет искала, ждала, звала – и умирать в первые дни... А теперь я одна стою по ночам у этого окна. Ах, как бывает мне страшно свеситься над темной улицей, без сил вздохнуть, с холодной мокрой тряпкой на груди! Не говори, что я хочу тебя «разжалобить», я знаю, как ты неспособен к ней одной, без любви. И знаю я, что печаль и несчастье, когда ты не любишь, только отталкивают твою душу. Я все еще не могу понять, как мне нужно говорить с тобой *теперь*. Прости, если говорю *не так*. Верь, я все еще здесь, в комнатах, где мы жили, против воли забываю я, что уже случилось, и говорю, как бывало. Милый, любимый, жестокий, какие муки ты заставляешь меня переживать. Последние два года у меня ничего нет, кроме страдания, ожидания тебя, тебя, тебя и тебя. Я живу как в лихорадке, всегда с голодными горящими глазами, всегда с безумной тревогой в груди, с неутоленностью в сердце, с тоской, с подавленной нежностью к тебе, которую почти никогда нельзя проявить, всегда меня мучит она, иные ночи я боюсь засыпать, потому что боюсь встретить ее, – всегда я боюсь тебя потерять совсем, – ах, что за страшная жизнь! И как живу я после твоего отъезда! Десять дней ни одного успокаивающего слова, ни одной маленькой искренней ласки. Я научилась читать твои письма, по маленьким полусловам угадывать все твое состояние. Уже в Берлине вечером ты не любил меня... Милый, дорогой, неужели это последняя безусловная правда, что ты любишь ее, а не меня? Ах, если бы ты любил меня, разве не сумел бы ты даже в этом письме оставить мне надежду? И разве это роковое решение не могло бы стать нашим общим горем и сблизить еще тесней! Нет, ты любишь ее!

Но, несмотря ни на что, предвидя все мои новые муки, я решила ехать в Москву. Ждать мне здесь нечего, укрываться от Судьбы уже поздно, – она меня нашла и здесь, о «новой жизни» не странно ли было бы мне мечтать *теперь*? Здесь мне ужасно. Я совсем больна, я не «жалоблю» тебя – это правда; вспрыскиваю морфий, целые дни, не считая даже, сколько раз. Как только боль становится



невыносимой... А боль не стихает. Умереть *так*, в Париже, мне страшно. Надя у меня расстроилась совсем, не ест, не спит, все время плачет, пугается припадков, я ее мучу невольно, но это невозможно, она может помешаться остро, ей до этого один шаг. Мне нужны сейчас доброта и ласка, в Москве есть простые люди, которые меня любят. Ведь ты же понимал, как ужасна здесь жизнь без жизни, без встреч, особенно для меня и особенно в том состоянии здоровья и души, какие сейчас. Там иногда увижу Сережу, буду плакать, а он будет гладить меня по голове своей большой доброй рукой. Не бойся, *я тебе не помешаю*. Стану ли я насильно врывать в твою жизнь, требовать, умолять... Для меня все кончено, мне погибать.

Прощай, Валерий. Не знаю, когда увидимся. Я думаю остановиться пока не в гостинице, а у знакомых. Буду искать какую-нибудь комнату, поселимся вдвоем с Надей, теперь она не хочет меня покидать и не говорит уже ни о лечебнице, ни о монастыре. Вот я иду в мою «новую» жизнь...

Валерий, подумай, а я еще в тех комнатах, где *мы жили!* Иногда безумно жду тебя – вот откроется дверь и войдешь. Висит твоя палочка в прихожей... Флакон с мылом на умывальнике, – забыл или оставил – не знаю. Я их целую и плачу. Я одна... А ты... а ты... Ах, нет у меня к тебе больше ни просьб, ни упреков. С последней покорностью отдаю мою жизнь и любовь, возьми их, погуби, если нужно, я только поцелую твои жестокие милые руки...

29 октября / 11 ноября 1909 г. Париж.

...Уйдя от меня и внешне и внутренне, ты уже не можешь ни измерить его глубины, ни, может быть, даже представить и понять. Валерий, дорогой, *что* я должна сейчас испытывать на этой страшной теперь мне «*tue de la Terrasse*», в стенах, которые слышали твои иные слова, клятвы и признания, которые запечатлели на себе в живых образах эти наши «шесть недель»? Я прощалась с тобой четырнадцать дней тому назад в Брюсселе... С тобой, близким и родным, а теперь со мной говорит враг, чужой, безучастный человек. Нет, ты, верно, действительно не понимаешь, *что* ты



сделал с моей душой, не представляешь силы и жестокости этого нового удара. Ты уже и не видишь меня! Пишешь какому-то отвлеченному образу, который сейчас тебе мешает. Забываешь, что перед тобой живое тело и живая душа, и режешь их на куски. словно неодушевленную вещь. Я вижу твое лицо... Страшное лицо прежних лет... Валерий, я же воскресила его! Ах, что ты говоришь в этой маленькой открытке! Что это значит: «Реши сама, как лучше нам поступить. Я твое решение приму». Отчего вместо этих темных, загадочных слов, которыми ты укрываешь твое истинное желание, не говоришь ты прямо, с благородной, смелой жестокостью: «Мне теперь нужно и хочется, чтобы тебя в Москве не было, ты мне теперь только мешаешь. Я бы хотел остаться с ней вдвоем. Останься в Париже или уезжай, если можешь, в Петербург». Зачем ты хочешь удерживать меня в этом же Париже ложной надеждой «дай мне одуматься, опомниться»... Ты уже «одумался», ты решил, выбрал, сказал мне это окончательно в твоём «откровенном письме» и подтвердил телеграммой. Отчего не можешь ты меня отвергнуть прямо, просто, не укрывая этого желания, а прибегаешь к окольным путям, недостойным нас обоих? Ты обижаешь меня, Валерий! Кроме горя, большого неутешного горя, ты больно колешь мою гордость твоим обращением со мной – неискренним, не простым, невыносимым после нашей близости *во всем*. В моем вчерашнем письме я написала тебе много, мне казалось, – все, что могу я сказать. Милый мой, невольно говорю я тебе, в ответ на жестокость, жестокие и страшные слова. Но не думай, не думай, что есть в моих чувствах хоть тень злобы или вражды. Я очень изменилась, Валерий. Что-то упрямое, прежде враждебное тебе даже в самые лучшие наши часы, – сломалось, растаяло и исчезло совсем в эти дни моего недолгого счастья. Ты ушел... Но все равно я теперь не изменюсь еще раз. Смотри, – ведь ты обидел меня смертельно, я едва дышу и жива от горя, но не могу ни на один миг, как прежде, отнестись к тебе злобно и враждебно. И когда ты встаешь передо мной вооруженным врагом и спешишь запереть все прежде открытые двери, мне хочется броситься к тебе со словами: «Валерий мой, Валерий, опомнись!



Ведь это же я, та, ближе которой у тебя не может быть на свете!» Дорогой мой, любовь моя, ты пишешь мне страшные письма, ты кажешься мне мертвым и чужим, но уверяю тебя, – верь мне! сейчас это *не ты*. У тебя хаос в чувствах, может быть, ты еще болен, а болезнь всегда разлучает тебя с собой самим. Валерий, может быть, ты придешь в себя. «Может быть, я не умер... Проснусь... вернусь»... Скажи, повтори эти слова! Оставь мне маленькую надежду. Ах, не на то, что ты внешне изменишь свою жизнь, – разве *это* мне важно, Валерий?.. Оставь мне надежду, что в том мире нашей любви, для которого я не знаю его светлого имени, *там* ты останешься моим, близким, родным, каким я тебя видела здесь первый раз во всю *нашу* жизнь. Не отдавай ей *этого*! Верни мне ту внутреннюю свободу, которую в первый раз познала я около тебя. Свободу около тебя, свободу в моей любви, для которой не было, как прежде, никаких границ. Только так наша близость может искупить всю стесненность, раздвоенность и мучительность нашей внешней жизни. Дай мне почувствовать твою душу безмерно близкой и моей, как было это в святые ночи наших «шести недель». Говори мне все самое страшное, так же, как радостное, – безбоязненно, безбольно, легко. Помнишь то упоение, с которым мы говорили о самом сокровенном, – в эти минуты мы были одним духом, одним существом. Дорогой, пойми, такая близость *чудо*. Ты понимал! Ты говорил, у тебя было юное прекрасное лицо, оно сияло в те минуты. *Это* не могло умереть! Это *только* *твое* и *мое*, и даже если бы захотел ты отдать ей, она не сумеет взять. Зачем же ты хочешь отнять счастье и у себя самого? Еще, может быть, год назад и я не была достойна подойти к тебе так безгранично близко, как теперь. Но теперь? Ведь я же вся твоя! Все во мне просто и легко слилось с тобой, с твоими чувствами, мыслями и желаниями – только кроме одного... Годы мы сближались, и всё падали и падали преграды. После самых жестоких разлук бросались друг другу в объятия с непобедимой радостью. Мы сами сотворили живую душу нашей любви, и поднимаешь ли ты руку ее убить! Ах, уходи к *ней*, если не можешь иначе, живи в одном доме, люби как можешь, – но пусть



все это будет на фоне, на узоре нашей жизни, пусть наша жизнь станет центром и главной. Признай это! Это, может быть, тоже твоя Судьба. Не убегай от нее, как я уже никуда не уйду и покорна. *Твоя судьба быть со мной всю жизнь.* Ты в это верил, ты это сказал. Я помню твое лицо, когда ты говорил. *Так нельзя было солгать.* Валерий, дорогой, пойми, если теперь ты отнимешь у меня эту новую возникшую близость, мы не сможем совсем быть вместе. Подумай, спроси свою душу. Вот я вернусь в Москву, я буду ждать тебя, я встречу тебя с улыбкой, без единого слова упрека. Ах, подойди ко мне с тем лицом, какое я видела в Париже, и так, *ничего не прерывая*, мы вступим на новую ступень нашей новой прекрасной жизни. Любовь моя Валерий, вспомни, как тебе было со мной хорошо, как задыхались мы от блаженства, обнимаясь, в эти ночи шести недель. Ничего не потеряно. Все сберегу я для тебя, всю радость, всю свежесть любви; страдания этих дней сделали ее еще глубже и яснее. В дни наших встреч не будет *ничего*, кроме нас двоих и нашей радости. Я не могу уже встречаться как прежде. Умоляю тебя со слезами, на коленях, целую твои руки, – *не отнимай у меня себя.* Не уходи, не покидай, не обрекай меня на смерть. Ты меня еще любишь! Ты будешь в отчаянии, если убьешь меня совсем. Я опять тебя буду ласкать, я люблю твое тело, твою душу, каждое твое дыхание, движение, чувство, мысль. Ты весь любимый, мой, близкий, связанный со мной самой святой связью на земле. Доверься моей нежности, любви, дружбе, в самом высоком ее значении. Я изменилась совсем. Сравни меня теперь и год назад, – могла ли бы я после смертельной обиды влечься к тебе с такой нежностью, с такой готовностью страдать еще и еще, – протягивать руку и просить. Может быть, ты уже трижды отрекся от меня, как Петр от Христа. Но так же, как Христос верил в любимого, я верю, верю в твою любовь и не перестану стучаться, пока ты совсем не прогонишь меня прочь. Дорогой, я не прошу ничего такого, чего ты не в силах дать. Я только молю: верни мне *мое*, то, что дала мне сама Судьба, – твою любовь. Для нас еще может настать новая жизнь. Поверь в нее! Пожелай ее! Встреть меня близкий, мой, с ясными глазами, с родной душой...



29 октября / 11 ноября 1909 г. Париж.

...Ты отнимаешь у меня *все надежды*? Ты ее *действительно* любишь? Я была заблуждением? Так это уже *безусловно верно*, и ты не услышишь ни слова из тех, с которыми я обращаюсь к тебе в моих двух предыдущих письмах? Дня *меня* ты выбираешь ужас и смерть? Что ж, – да будет! Знай, знай, что ты убиваешь меня! Живи с этой мыслью! Наслаждайся покоем *Вашей* жизни и знай, что это *за упокой моей души*, моей жизни и всего моего существа. Если ты не в силах ее оставить и *ничего* изменить, *ничего!!* то и я не в силах изменить моих чувств. Они от меня не зависят. Прими мою гибель на свою совесть, *живи* с этим сознанием и будь счастлив, если можешь. Я говорила тебе *иные* слова, я не *отказываюсь ни от одного из них*, и если ты способен на все, о чем я тебя прошу в последний раз сегодня в утреннем письме, – *мы будем вместе, нам возможно жить*. Если и *этого не можешь* – что я скажу! Смотри в ужас смелыми глазами – *он будет, ты его творишь*. За «рай» спасибо! Не упрекаю, не проклинаю, но, *подходя*, нужно было *спросить себя* и ответить, а не давать *лживых клятв...*

...В Москву я *еду*. Здесь томиться не могу. Помни и знай одно: *это последний раз* ты еще можешь *что-то выбрать*. Потом будет поздно. Это не угроза, это правда, – я погибаю совсем. Прочти мои письма, рассмотри свою душу, взгляни в будущее – и ответь. Я прошу у тебя *возможного*, если откажешь *и в этом*, значит, не любишь и *никогда не любил*, и всегда лгал. Хочешь ли ты остаться *совсем без меня*? Можешь ли? Спроси себя строго *в последний раз*. Неужели 5 лет были одним обманом? Неужели действительно из любви к ней ты способен меня убить!! Валерий, Валерий, Валерий! вспомни! всё! Может быть, ты ошибаешься *сейчас!* Ты болен, расстроен. Милый Валерий, этого не может быть, чтобы так жестоко ты поднял руку на меня. Но – да будет! Если мне погибать, я не убегу, не спрячусь от судьбы.

Прощай! Жду ответа. Ты не знаешь, *как я живу*. Видит Бог – это страшная жизнь. Долго мне не вынести ее. Ах, спаси или погуби скорее. Моя жизнь и душа в твоих руках...



31 октября/13 ноября 1909 г. Париж.

...ты в ужасе, что я еду в Москву. Боже мой! Валерий, Валерий, что сделали с твоей душой! Как мог ты стать таким чужим и жестоким!..

Не бойся моего приезда. Я буду *смирять* мое горе, как это делаю здесь. Теперь уже без счета, без малейшей осторожности, – через час или два.... Мне все равно. Ты отвергаешь меня – зачем мне жизнь! Успокойся, мой милый! говорю тебе это нежно. Это все, чем могу я утешить тебя в том безнадежном мире, куда ты меня привел после нашей погибшей жизни вдвоем. Не сердись, право, нечем мне больше успокоить тебя. И сейчас я не плачу, не падаю в отчаянии, – делаю все, что нужно, собираюсь, тону < в лихорадке, голова вся горит, сердце перестает биться. Так мне теперь нужно жить, – ты сказал... Прощай, Валерий. Еду не сегодня, потому что поеду в II 1-м классе, только от Варшавы во втором, и чувствую себя такой больной, что, кажется, не выдержу бессонную ночь. Может быть, к завтраму отдохну немного. *Не встречай меня, очень прошу.* Совсем не могу встретить тебя *таким* на вокзале среди чужих. Дай мне иную встречу. Она мне кажется необходимой. Я хочу не из писем, а глядя тебе в глаза, от тебя самого услышать все...

Мне сейчас ужасно, Валерий! Но ты уже этого не представляешь...

26 ноября 1909 г. Москва.

Валерий, в эту ночь в припадке какого-то внезапного острого ясновидения я поняла, что было для меня смутным и темным в этот месяц. Теперь я знаю, почему ты приходил всегда непобедимо чужой, почему так упорно избегал приходиться по вечерам, хотя у тебя были и свободные, и многое, многое стало мне ясным, многое такое, о чем стыдно говорить, настолько это интимно, болезненно интимно и неуместно уже между нами. Ты «верный любовник», Валерий!.. Ты не хотел *изменять ей* со мной в этот месяц вашего возобновившегося сближения. Правда, ты от меня не скрыл самого факта, но я говорю не о том «долге», который, как ты говоришь, «приходилось иногда



выполнять». Нет, все иначе, – так, как бывало всегда, когда ты возвращался от меня, после долгого времени со мной. Ты сознавался потом сам, что вы бросались друг к другу с настоящей страстью. В первый раз точно молния вспыхнула в мозгу эта мысль, такая безусловная, что ничем уже нельзя меня разуверить. Боже мой! Валерий, зачем же ты унижал меня так безжалостно! Ты, который *покаялся* мне в Париже больше не лгать никогда... Зачем *все-таки* приходил и лгал каждым словом, каждым движением. Я помню беспомощное выражение твоего лица, когда я спрашивала *прямо*. Но неужели так сладка, так необходима ложь твоей темной душе?! Или ты узнал, что я – та болезнь твоей души, от которой *ты тоже не можешь освободиться*, и чтобы иметь возможность *прийти*, когда наступит ее пароксизм, ты расчетливо лгал, высчитывал в уме, что может произойти без лжи? Как мог ты так оскорбить мою любовь? Неужели ты думал, что можешь от меня что-то скрыть? Разве напрасно и бесчувственно была я около тебя пять лет? Я знаю все оттенки твоих поступков и настроений, все внутренние струны твоей души звучат для меня отчетливо и ясно. Можешь ли ты скрыть от меня даже под упорной ложью хотя какую-нибудь перемену твоих чувств? Может быть, поздно, но я узнавала всегда. Ах, зачем ты унижал меня так грубо, так незаслуженно грубо! Отчего не сказал прямо: «Да, я теперь с ней всецело, если можешь вынести это, – останься, если не можешь, – поступай, как знаешь». Нужны ли мне были твои подаяния, когда настоящую нежность и страсть *в это же время* отдавал ты одной ей?.. Конечно, в эти дни и недели ты не мог ничем обидеть ее. Я знаю, каким заботливым и нежным бываешь ты в такие периоды твоих чувств. И существует еще какая-то нежная благодарность, которая в эти дни не может позволить войти в жизнь ничему постороннему, тягостному для той, с которой ты связан так близко. Мне ужасно думать и говорить все это, каждым словом я режу что-то живое внутри себя самой. Но промолчать, дать тебе возможность думать, что я хорошо и верно обманута... И если к ней влеклось твое тело, как мог ты, как осмелился хотя один раз приблизиться ко мне? Как помрачает сознание любовь, – ведь несмот-



ря ни на что, я еще верила твоим оправданиям, – «болен, расстроен, занят». А все твои поступки до одного говорили и кричали, что это ложь, что просто настал один из ваших «медовых месяцев», когда ты покаянно предаешься ей, может быть, с искренним раскаянием отрекаясь от меня, от шести недель в Париже, от этого «припадка твоей болезни». Она так и называет твои чувства ко мне, ты сам говорил. Ты не можешь уже разуверить меня ничем. Внутренним зреньем я увидела все это почти в образах, точно стояла в открытых дверях Вашей семейной спальни. Я в первый раз пишу тебе об этом, мне больно и страшно произносить все эти слова... Но, Валерий, Валерий, как мог ты так обидеть меня и мою любовь! Я укоряю тебя за ложь. Это преступная ложь, ты клялся, что ее не будет никогда. На последние мои письма не отвечай и «говорить о нас» не приходи. Не спрашивай обо мне у Сережи и не говори по телефону с Надей. Не обижай меня еще, *так* выражая интерес к моей жизни. Какое, наконец, тебе дело до меня? Разве не выразил ты в этот месяц безучастия ко мне самого ясного? Зачем же этот вздор: «Как здоровье Ниночки, как она поживает?»... Прими мое решение вычеркнуть себя из твоей жизни как последнее и окончательное. Я сказала тебе в Париже в мои самые счастливые дни, что к прежним формам нашей жизни вернуться не смогу. Тогда – близкий и чуткий к каждому моему ощущению, ты это понял. Вспомни, Валерий... Прошу тебя очень, – отойди от меня совсем. Не унижай моего горя этими страшными встречами с тобой – ее мужем и любовником. Не возвращайся, как в прошлый раз, точно ты не поверил в мое решение. Мы не можем быть вместе. Что-то такое чудовищное лежит между нами, что мне невыносимо тебя вспоминать. Хочется проклясть Париж и все дни с тобой. Я глупая, глупая! Как не могла я понять давно, – да ведь ты *просто счастлив с ней*, как счастливы многие с женщинами, которых, любя, выбрали они на всю жизнь. Я – это какой-то странный нарост на твоих чувствах, болезнь души, от которой постоянно ты пытаешься освободиться. И как слепая, как безумная, я ждала, что *для меня* ты оставишь ее! Как поздно говорить теперь, когда этой любви я отдала все



до последних капель крови. Но если я доживу до того часа, когда ты, пресытившись твоими семейными восторгами, вновь придешь ко мне, – *что ты найдешь у меня?* Понял ли ты, видишь ли, как разрушилось все, что ты называл во мне *своим* за один этот месяц? И если бы еще я могла тебя возненавидеть! Я уже знаю, знаю, что весь ты для меня ложь, что только унизительна твоя любовь – болезнь, которая держит меня в прихожей твоей жизни с ней, – и так страдаю и так тебя люблю!

Ты понял, – это твердо, не так, как летом, когда у меня были еще силы страдать, – *меня в твоей жизни нет*. Не приходи, не пиши, не спрашивай моих близких. Простись со мной в твоей душе, как прощаюсь с тобой я...

Твоя.

1910

Нина – Брюсову.

2 января 1910 г. Москва.

Это письмо я пишу тебе, Валерий, пользуясь последним правом, – правом осужденного на смерть. Поверх всех слов, что говорила я убедительно, холодно, распустив шаг за шагом мучительную нить, у меня звучат какие-то другие, совсем простые, понятные каждому живому человеку. Да, ты прав, мне осталась только смерть. Я еще доживала эти дни последние остатки нашей связанности, близости, слушала твой жестокий голос – еще живой, еще обращенный ко мне. Через несколько дней вокруг меня будут молчание и пустота. И я знаю, что не смогу, не сумею их пережить. В первый раз у меня нет надежды. Много, много раз мы расставались будто навсегда, но у меня было чувство такое твердое и верное, – нет, мы слишком близки, мы неразрывно связаны, мы не можем, мы не можем в этом мире жить друг без друга! И я тебя ждала, и ты приходил опять милый, близкий. И ты приходил... Теперь я знаю, что ты не придешь, не вернешься. В твоем голосе жестокая замкнутость отчужденной души,



в твоём сердце покой равнодушия. Ты боишься сказать ласковое слово, чтобы я не потребовала «его оплаты». Так ты сказал сегодня. Ты предлагаешь мне что-то, на-прягая последнее сострадание, и не можешь, не можешь быть даже только добрым.

Милый, вечно любимый Валерий! я ничего не жду, ни на что не надеюсь, ничего не прошу. Я знаю, что пришел мой последний черный день, когда нет спасенья и нет пощады. Ах, только пойми меня. Пойми душу, которая сторе-ла от любви. Я минутами стараюсь воплотиться в тебя, почувствовать все, что чувствуешь ты, и вижу тогда себя, сидящую перед тобой с мукой в каждой капле крови, и тог-да ощущаю тот ледяной холод, с которым ты смотришь мне в лицо и не узнаешь меня. Не узнаешь глаз, что сияли для тебя когда-то, губ, которые ты целовал с такой страстью, не видишь души, которая рвется к тебе с последней тос-кой. Я знаю это. И передо мной были те, кого я больше не любила. И на Сережу смотрела я когда-то твоим холодным непроницаемым взором. Мне не стыдно! Покажи это пись-мо ей (жене. – И. Т.), покажи кому хочешь, наклейте на фо-нарном столбе!... Ты понимаешь меня умом, мыслью, рас-судком, но тебе уже не больно моей болью и не радостно моей радостью. Ты знаешь все обо мне минута за минутой, все муки обиды, ревности, покинутости, но они не трога-ют чувства, мертвого для меня. Я проваливаюсь в пустоту, в черную яму, я чувствую себя маленьким, заброшенным, издыхающим от холода щенком. Когда меня не касаются, как прежде, твои ласковые руки, когда я не могу подойти тесно и нежно прижаться к твоему плечу, услышать твой голос, полный той, прежней, забытой тобой нежности. Я не могу просыпаться и засыпать с мыслью, что *этого* не будет никогда, что даже рабства моего не берешь ты, что я тебе вся чужая – с моим телом, с моей душой, с моими мыслями. Я смотрю на себя в зеркало: бледное, бледное лицо, синие тени под глазами, скорбные бледные губы, сог-нутые плечи. Разве таких любят? Боже мой, разве любят таких? И разве *такой* ты встретил меня! Ты не хотел ви-деть моего лица радостным, ты опечалил навсегда мои гла-за, провел линии горя у губ...



Если я противна тебе совсем, если тебе отвратительно мое бледное лицо со скорбным ртом и похудевшее от яда тело – о, тогда все кончено, и ничего, ничего не может ожить. Но ведь я не разучилась смеяться и радоваться. По твоей воле слезы могут стать смехом и гримаса боли – ласковой улыбкой. Я тебя так люблю, так нежно, глубоко и жертвенно люблю, что все, все мое существо в твоей власти. О, если бы ты захотел от меня чего-нибудь и только, только немножко ласки, немножко внимания, – разве я не простила бы тебе этих дней горя!... Валерий! Валерий дорогой, это письмо – тот последний рубль, который бросает на стол нищий игрок, ощупывая в кармане револьвер.. Если тебе нечем ответить на него и ни одной струны чувства не шевельнется в твоей обмершей душе, – я замолчу и ты не услышишь больше моего голоса. Разве мы знаем что-нибудь о себе?! Разве я знала, что после всех обид и оскорблений я смогу обращаться к тебе так!... Ты знаешь, видишь сам, что наша история пришла к концу, что она не может длиться, тянуться в мучительных медленных днях. Это мое последнее обращение, это в последний раз я тяну к тебе руки... Ведь ты можешь потом пожалеть, ты не найдешь себе места от раскаяния, если сейчас ты безумно, безрассудно в опьянении чувств толкнешь меня в яму.

Я вспоминаю разные твои слова и еще недавние, до болезни, до этого сиденья дома, которое обратило тебя в камень. Я вспоминаю тебя этим летом после первого припадка аппендицита. Мы расстались как близкие, а через десять дней ты говорил как чужой... Боже мой, женщины ведь не похожи на меня. Они идут к цели с иезуитской хитростью и не разбирают средств. И морфий еще, и болезни, – все это меняет душу на время, но тем ярче проявится *настоящая*, если придет ее час. Я вовсе не хочу, чтобы ты, прочитав это письмо, сцепя зубы от гнева и чувства вынужденности, ответил мне лживыми словами доброты. Я обращаюсь к самому тайному, темному, интимному твоего сердца, – загляни туда, спроси себя строго, твердо и вынеси мне приговор без дрожи в руках. У меня нет перед тобой гордости, я готова простить тебе все обиды, я го-



това встретить тебя с влюбленной нежной улыбкой, скрыв печаль, опустив ее на дно сердца. Но если *есть* у тебя хотя что-нибудь *живое* ко мне, если ты увидишь живое, почувствуешь в себе. Если ты разлюбил меня, как это бывает с людьми, когда почти телесное отвращение отталкивает от человека, когда нет совсем желания когда-нибудь увидеть его лицо, – это неотразимо и неотвратимо. И я уйду покорно, умру, отойду от тебя без слова. Но если чувство твое ко мне ослабело вместе со всем чувством жизни, разве не сумела бы я понять этого и принять как болезнь, от которой старалась бы тебя лечить терпеливо и нежно?

Милый, подумай, разве ты не знал привязанности? Разве ты не знаешь, как обращаются с людьми, дорогими сердцу? О, не о безумии, не о страсти говорю я! Я хочу так мало, мало. Я прошу только – позволь тебя любить и будь со мной так, чтобы моя любовь не задохнулась от горя.

Я знаю, что все бесполезно, если я противна тебе с моей душой и телом моим, как бывает противна женщина мужчине. И если все *так*, – не отвечай мне на словах. Скажи только одно, – «я получил письмо», чтобы я знала, что посыльный тебе отдал его. И я больше не ворвусь к тебе с любовью, что возбуждает дрожь отвращения. Последняя женская гордость не позволит.

Валерий! дорогой мой Валерий, я стою рядом со смертью. *Теперь* я знаю, что другого выхода мне нет. Я не могу жить, только чтобы впрыскивать морфий и следить за собственным разложением. И ты подумай, может быть, ты только временно омрачен, отуманен болезнью, может быть, я нужнее тебе, чем тебе сейчас кажется? Посмотри вглубь твоего сердца. Я еще могу тебя встретить *живая*, твоя, с улыбкой и радостью.

Ты говорил так недавно, что я *единственный* близкий тебе человек на земле. Ты говорил! Может быть, потом сам ты будешь называть себя «чудовищем», когда я погибну, и когда погибнет все, что может еще ожить сейчас.

Подумай! Скажи, спроси себя?! Я не жду чудес, счастья, неожиданных перемен. Я только прошу – пересмотри себя самого, может быть, все хорошее *наше*, связывающее нас двоих, только бессильно лежит на дне, но еще живо.



Я хочу так мало.. Ты знаешь. Неужели все мое кто-то украл, взял у тебя, и ты отдал сознательно?

Ах, Валерий, не губи, если можешь не губить, если есть живая связь между нами.

Но если ты холоден для меня только, и я вся противна тебе – прости мне тогда неуместное, грубое, ненужное письмо покинутой женщины. Я любила тебя, мне страшно умирать, как всякому живому существу, и мне можно простить последнее безумное движение прочь от ямы в сторону, где мне видится спасенье. Тогда прости меня и прощай, и не бойся, – я не буду надоедать собой. И «мальчик с волком» не вечно кричал из леса, насмехаясь и шутя: «Волк меня ест»...

Прости, если только рассердит тебя это письмо. Нет больше слов у меня. Твое молчанье мне будет ответом.

Та, что была твоей
Ренатой.

Смешное, романтическое воспоминание!..

Весна 1910 г. Москва.

...Когда ты сегодня ушел, – ощущение конца всего было в сознании ярко, как еще никогда. Вот – больше ничего не может быть! Я говорила тебе, какая надежда моя разбилась последней. Она была связана тесно с летом, но не была *только* мечтой провести с тобой это лето. Я думала, основываясь на твоих словах: «Признай лишь один этот шаг невозможным, и все станет доступным», – что это действительно правда. Но оказалось, что *оба* мы ошиблись. И *всё так же*, как пять лет, невозможно мне даже мечтать о трех месяцах отдыха. Даже об этом, об этой житейской подробности, доступной и простой для всех просто и «сложно» любящих. Твой отказ ясно указал мне, *какой навсегда* должна быть моя жизнь около тебя и как я думаю всю зиму, то надеясь, то отчаиваясь, – *лето мне не дано*. Даже лето!.. Что твои слова: «Бери меня всего, всю мою жизнь, распорядись ей, как знаешь». Или: «Уедем хотя завтра», – что значат эти слова рядом с другими, которые обусловили заранее мой отказ. Вспомни эти слова, – я не буду повторять их тысячный раз. И еще сегодня ты сказал (вспомни!): «Конечно, если



меня будут *принуждать* чувствовать иначе, чем я чувствую, это произведет обратное действие». Как перевести их? Ах, просто: «Если ты сделаешь надо мной это насилие, ну уж пеняй тогда на себя. Я не поручусь, что захочу ее видеть острее и еще более непобедимо почувствую *нашу* связь». Это так, Валерий! И твое предложение – «возьми меня» – я не могу принять просто и прямо, как это иногда говорят люди своим любимым. Это букет, внутри которого – ядовитая змея... Вдохни аромат, но знай наперед, что здесь же рядом твоя смерть. Потому-то я и сказала тебе сегодня и повторяю еще: мой отказ создан тобой. Может быть, невольно, потому что ты и не скрываешь, что предложение было *не от души*. Ты прямо говоришь: «Возьми факт, а чувств я переменить не могу». Ты прав. Большого предложить ты не можешь, ибо большего и нужного мне единственно – у тебя нет. Но скажи, – какая *живая* душа при таких условиях скажет «да»? Ты говоришь, что она брала тебя *именно так*... Ну что ж!? Значит, она *могла*, чувствовала себя вправе или считала, что ты говоришь под влиянием заблуждения, а настоящая правда – это твоя любовь к ней. Она и была права... Ты не покидал ее, не ненавидел за насилие и вновь, вновь влекся к жизни с ней. Если я говорю неверно в данный миг, – остается еще одно: ты мне говоришь не совсем правдиво, и ты не говорил ей никогда: «Бери меня как мертвую собаку, как плату по векселю». Все эти подробности сейчас уже не важны. Мы имеем дело только уже с выводами, мы все сказали друг другу, и нужен лишь самый последний итог. Так вот... когда ты сегодня ушел, опять гневный, опять чужой и ожесточенный, – сознание полного крушения, полного конца было ясно как никогда. Да, я «не сумела устроиться» в жизни, что ты мне предлагал, не могла взять того, что ты *после дележа с ней* хотел бы мне дать. «Шейлоком» быть тоже не смела и векселя разорвала. Осталось сознание немного смешного, никому не видимого и никому-то не нужного «благородства» и еще тяжесть, страшная тяжесть всей этой драмы, которая, как я и ждала, все же легла на одни мои плечи. Ей ты сказал: «Возьми меня», – и она взяла... Она устроит твою и вашу общую жизнь. Вы проведете не одно это лето, а все, какие



вам остались, плюс еще вся жизнь... Вы *как-то* устроитесь вдвоем, может быть криво, косо, не очень радостно, но близко и вместе, близкие неразрывно. Ведь тебе было горько 3 раза покидать меня по летам, а с ней ты все же путешествовал, отдыхал, ездил из страны в страну, купался в море, смотрел на закаты, ласкал ее в отелях и потом возвращался в *свой*, в *ваш* дом поздоровевший, отдохнувший.. *Случайно* найдя меня невредимой, ты был будто вновь рад. И если бы я даже умерла за эти месяцы, – ничего не изменилось бы в доме на Цветном бульваре. Так и теперь будет... Когда ты ушел сегодня, – все эти мысли были со мной, рядом с чувством конца.

О, живучая душа человеческая!.. Кажется, уж все для нее кончилось, а желание жить, неугасающее желание счастья, вопреки всякой логике, всякой очевидности, должно быть, не покидает ее даже перед лицом смерти!.. Или в морфии возникли эти мысли – не знаю, – в нем много обольщений, тебе самому это стало известно. И вот желание продлить жизнь, вечная надежда на счастье и чудо охватили и меня после всех мрачных и непоколебимых выводов, которые сделал ум. Я была очень опьянена, взяла четыре разом, – для меня даже достаточная доза, чтобы слегка обезуметь и вдруг оказаться в мире, где воля творит желанные образы. Сейчас это все прошло. Я спала после четыре часа мертвым сном. Но те миги помнятся еще. Я подошла к окну, – знаешь, налево растет тополь, и если смотреть еще левее – там жалкий городской садик с дорожками, с деревьями, словно взятыми напрокат из архива театральных декораций. Сквозь тополь был виден кусочек голубого неба... Мне стыдно рассказывать это, Валерий, но я сказала, что буду искренней... И вот опять, опять возникла эта четыре года неутоленная жажда пожить с тобой где-то около неба, воды и деревьев. Я вспомнила что-то уже совсем далекое, забытое, – нашу комнату в Раухе, прохладные тихие ночи, суровую полотняную занавеску на окне, всегда белеющую, звон бубенчиков где-то в траве, тишину, счастье, ясность и тебя, тебя рядом на этой узенькой неудобной кровати... Какой бы то ни было ценой этого, захотелось опять и опять. Тогда, в те минуты мне пришел в го-



лову безумный план, где я готова была идти на уступки. Я скажу тебе его, потому что он тоже неосуществим, потому что в этом письме мне хочется быть искренней. Я было написала уже тебе другое письмо, формальное, – в нем говорила, что мне, собственно, нечего сказать, и просила прощения за напрасное беспокойство. Но не хочется лгать. Вот... я думала, – хорошо, я уступаю, что могу. Ты говорил о даче... Чтобы я жила по той же дороге и чтобы мы встречались, как здесь... Пусть будет на поллета это мучение. Я вынесу его, если вторую половину всю ты отдашь мне. Мысль, что мы останемся вдвоем, где-то далеко, и я отдохну хотя немного от ее близости, даст мне силы пережить дни и недели перед отъездом. Я буду кроткая, хорошая, как умею и могу. Я дождусь терпеливо. И, может быть, половина, ах, одна только половина лета не разобьет твою жизнь, и ты вернешься к ней, и ты без трагизма в сердце это дашь мне... Я почти радовалась, может быть, это морфий во мне радовался!?. Не знаю, не умею разделить. Мне казалось, что я нашла выход. Ты этого, конечно, не скажешь ей вперед... Я мало думала, как все это выйдет житейски, но эти недели впереди с тобой, где-то далеко от нее, купили, подкупили мою душу. Я ощутила прилив необычайной бодрости, почувствовала на минуту себя вновь живой. Хотелось двигаться. Я взяла Надю и поехала куда-то по ненужному, в сущности, делу. Я чувствовала «крылья» за спиной, и это ощущение давно забытое, чувство бодрости и жизни, – было у меня часа два с половиной, верно, ровно столько, сколько действовал морфий. Вернулась я едва живая, мне сделалось дурно, капались в рюмки лекарства. Силы падали, обед унесли нетронутым. Почти без сознания я добрела до постели и спала четыре часа. Вот, встав, пишу тебе это письмо. Я проснулась с ясной головой. И вдруг, – это бывает, – вдруг, в единый миг какое-нибудь событие, или чувство, или смутное знание делаются по-новому ясными, точно в блеске молнии видишь то, что, кажется, знал раньше точно, – это видишь по-иному, гораздо отчетливее, со всеми деталями, со всеми малейшими оттенками, которых словно раньше не видел или не понимал. Это трудно рассказать, это относится к области «несказанного»,



и потому прости мне косолапые, грубые, неточные и спутанные слова. Я вдруг поняла – поняла вот так, как пыталась объяснить, – что ты ее любишь. Ты можешь засмеяться. Боже мой! да ведь ты же последнее время ничего не скрывал, говорил прямо. Сегодня так и сказал: «Ну, хорошо, люблю! если ты это все называешь «любовью» – я согласен – люблю! Но разве это дурно, – кого-то любить? Разве я должен кому-либо давать отчет в своих чувствах? Я хочу, наконец, поступать сообразно с моими чувствами, а ты мне не даешь; вот уже два года ты мне помеха во всем». Так ты сказал сегодня, милый Валерий. Припомни. И я все-таки не приняла этих слов всей глубиной внутреннего понимания. Они прозвучали условно и как-то странно, не задели души в должной мере. И вдруг после всех разговоров, после всех страданий, от этого пережитых, – я поняла по-новому – глубоко, просто и ясно. И я стала думать, думать тоже точно по-новому обо всем уже сказанном тысячи раз. Чего я требую? Чего хочу? На что могу надеяться! Я должна признать твою любовь, собственно, любя тебя, я не должна ни в чем становиться на пути той твоей любви, чтобы не причинять тебе ненужной боли. Ведь ясно же! Ты ее не оставил и поклялся, что не оставишь, и сам не хочешь оставить, потому что жизнь с ней тебе нужна и дорога, может быть, больше, чем со мной. Долг, печальная необходимость, страх причинить боль – все это слова для моего утешения. Это нежная, добрая ложь. У тебя, действительно, душа самая чуждая мне в области любви, душа, которая может делить себя между двоими. Идеал твой – недостижимый, но самый желанный, – это жить всем вместе, как султан в гареме с двумя женами сразу. Ты так однажды и говорил. Она тебе близка, дорога, нужна, быть с ней – такая же радость, как быть со мной, а может быть, и больше. Вы в чем-то связаны крепчайшими узами. Прошлое это или тайное сходство ваших душ – не знаю, – но душа ее тебе нравится, может быть, в твоем сознании она пополняет меня, а я ее, и обе мы (о, как горько произносить это) сливаемся для тебя в одно гармоническое целое. Можно было проследить, как, после сравнительно долгого пребывания с одной, ты начинал



рваться к другой. Об этом говорят факты из прошлого. Из черт двух женщин, двух душ ты творишь одну, и тебе, собственно, эта одна и нужна, ибо обе порознь не полны. Двум сторонам твоего существа – духовной и телесной – нужны мы обе. Ты так и говоришь: «Возьми все духовное, а ей я отдам все внешнее». Что для тебя лучше и нужнее – кто знает! Разве не может быть прекрасной и внешняя реальная жизнь, когда тут же рядом есть ее оправдание, ее дополнение воплощено в живой душе?!.. Если бы мы были еще ближе, и если бы я не страдала от ее наличности, я узнала бы ту твою жизнь, может быть, не менее для тебя прекрасную, чем наша любовь. И от меня ты уходишь туда огорченный лишь потому, что, живя там, знаешь, как я переживаю одна эти часы. Не страдай я, – ты был бы там совсем счастлив и покоен. Я говорила, вернувшись из Парижа: «Дай мне почувствовать, что там ты томишься, как в тюрьме, – и это даст мне силы легко переносить раздвоенность». Ты обещал... Милый, добрый, слабый зверочек обещал мне!.. Хотел утешить, любя!.. Но как ты это почувствуешь, когда тебе с ней хорошо, уютно, приятно, когда ты ее любишь нежно, когда ты к ней тесно и любовно привязан!.. Жалея сохранить, удержать в жизни и меня, ты, правда, я верю теперь, – ты делал для меня сверх меры, сверх своих чувств, которые возмущались ее обидой, ее горем. Ты всю зиму утопал в слезах моих и ее, желая, искренно желая давать одну радость и счастье. Ты разорвал свою душу пополам, ты ранил ее до крови каждый день, и нигде за эти жертвы не было тебе малейшей благодарности. Милый, дорогой мой, вечно любимый Валерий, я жалею тебя смертельной жалостью, я поняла тебя всего до конца, я увидела твою душу, которая, забывая себя, принося в жертву лучшее свое, самоотверженно хотела дать счастье обоим. Ты отдал и отдавал любви все, ты не выбирал, ты никогда не был скупцом, но... Это была жертва напрасная, ибо ты хотел примирить непримиримое. Посмотри, скажи чистосердечно, – разве не ненавидит она меня ненавистью лютой, свирепой? Разве она была к тебе милостива, щадила тебя, когда дело касалось меня? И разве она не отняла бы у меня все, чтобы остаться одной, как этого



хочет всякая, и великая и самая низменная любовь? Может быть, и ты можешь только делить свою душу между двоими, а брат и ты хочешь только все. И я знаю, – ты не мог бы делиться с кем-то... Я помню маленькие, ничтожные случаи, и тогда я видела твою любовь, как у всех, – любовь, которая требует единства, которая хочет видеть в другой душе отражение лишь своего образа. Себя же ты хочешь разделить и удивляешься, что это принимают как трагедию, как горе и вечное страдание. – Я поняла, что причинить ей боль, любя, тебе невозможно. Я поняла неотвратимость, неизменность всей нашей жизни и увидела, как преломляются мои «чрезмерные» требования внутри тебя. Тебе больно нестерпимо. Ты не можешь причинить ей боль. Мне ты причинишь ее скорее... Прошлое подтверждает... Три раза, Валерий, ты бросал меня, не зная, найдешь ли, вернувшись. Твой «шар золотой» падал тебе в руки, и ты принимал это как должное. Ее утратить тебе страшнее – я вижу. Со мной у тебя пять лет были всё «любовные свидания», с ней – вся твоя жизнь: «библиотека», дом на Цветном бульваре, семья, традиции, привычки, прошлое, будущее... Все это убаюкает привычно, возьмет крепко, заласкает тихими семейными ласками, заставит медленно забыть обо мне... А если останешься со мной?.. Что ждет? Жизнь авантюриста, скитания, тоска об оставленном, тоска по ней и много-много горечи, еще неизвестной, непредвиденной сейчас. Со мной ты не захочешь вновь начать жизнь!.. Я вечная любовница... От тебя отвернется вся твоя семья, если ты сделаешь этот шаг, меня ты никогда не назовешь «женой» перед всеми этими людьми, которые называют меня «развратной женщиной». Ты сам говорил: «Тогда разорвутся даже мои литературные связи, даже моя самая внешняя жизнь, и я окажусь выброшенным отовсюда <так!>». Так еще говорят офицеры (о, не обижайся, – пойми, в чем главное этого сравнения!), которые очертя голову сходятся с модистками, или певичками, или собственными кухарками. Им тоже приходится проститься со всей былой жизнью. Милый Валерий, все это увидела я в образах, словно в блеске молнии. Почувствовала самой последней глубиной напряженного сознания, всей силой ума – ты ее любишь, жизнь



с ней тебе нужна и дорога. Мало того, – жизнь с ней – это сейчас в твои 36 лет – единственная форма жизни, сотворенная твоим прошлым, годами, – это здание, где клаался кирпич за кирпичом сознательно, любовно, как строят люди дома, где рассчитывают прожить до смерти. И ты безумно говоришь мне: «Возьми, разбей...» От рассказа о сегодняшнем дне я перешла к самому страшному, но не потеряла нити и знаю, зачем все это говорю. Перед такими мыслями, перед такой окончательной сознательной безнадежностью как смешон и жалок мой маленький компромисс! Зачем все это? Опять прошу себе больше!.. Опять стою с рукой и предлагаю себя: «Ах, возьми, возьми меня хотя как-нибудь!» Опять предлагаю тебе: «Ей, любимой, милой, причини боль!» Уменьши, но причини!.. Чего же я достигну? Или ты скажешь: «Хорошо, так будет», – и обманешь меня... Или я буду томиться, страдать, надеяться, ждать пол-года, и встану вновь перед стеной, и вновь услышу: «Бери, ломай! Она сказала, что *и этого* не вынесет. Моя жизнь от этих месяцев разобьется», – словом, все то же, только еще после срока напрасного томленья и ожидания. Если бы у меня была уверенность, что со мной ты уезжаешь как из плена, что ты этого хотел и остался лишь потому, что нужно дать что-то и ей. Ведь чувства не знают никакой справедливости. Ты мог не видеть ее год и хотеть быть только со мной. Ты мог, если бы любил меня одну, всю эту зиму мечтать о нашей поездке вдвоем. Но этого не было и нет. Ты предлагал от души разделить лето, и, несмотря на мою боль, на мою болезнью, на все страдания, видимые тобой, ты не сказал желанных мне слов... Зачем же теперь я буду, зная все, вымаливать жалкое снисхождение, на которое если бы ты и решился, то тоже сцепя зубы, в трепете за будущее с ней и не считая своего поступка справедливым. Зачем мне это!.. Это безумная мечта, возникшая на дне пузырька с морфием, – вот что сегодняшнее последнее обольщение чувств. Говорю тебе прямо, рассказываю искренно, не сердись на меня. Пойми еще мое горе, мое отчаяние. Ты понял теперь, что у меня ничего не осталось. Ни одной из тех надежд, которые дали мне силы протянуть эту зиму. Я поняла и узнала все. Благодарю тебя за искренность – видишь, мы с ней



скорее распутались!.. Но теперь, Валерий, скажи, что мне осталось делать?! Посылать в аптеки, извести за лето 90 или 180 пузырьков? В «наемной комнате» еще и еще раз пережить день за днем май, июнь и июль, медленно задыхаться, тосковать до исступления о глотке свежего воздуха, проклинать красоту закатов и лунных ночей, метаться как затравленному зверю по этой комнате, для чего-то пить утром чай и спрашивать обед, ходить время от времени занимать к Богородским, ждать из Малаховки озлобленного жарой и жалостью Сережу, который будет говорить: «Ну уж это недостойно тебя, милый Нин! как тебе не стыдно не найти мужества умереть», – и все это венчается душными бессонными ночами, с ежедневными припадками и невыносимыми еще телесными муками.... Милый Валерий, скажи, – есть ли тут хоть капля преувеличения? Все так, – страшно, безусловно, непоправимо. Я выносила, когда могла, когда была здоровее, когда страдание еще не переливалось через край. Теперь не в силах! Я говорю с тобой, как с самым близким, нежным другом. У меня нет к тебе вражды, и ты не виноват, что у тебя эта странная, двойственная душа. Она создала трагедию, и мне, видно, гибнуть первой. Я много думала, Валерий. Мне очень хотелось жить и быть счастливой. Но рядом с ней, видишь, видишь же наконец! – не могу. Я знаю, это ужасно и тебе. Ты бежал бы от этой встречи, если бы добрая чудесная рука приподняла только уголок завесы нал нашим будущим. Но и я не виновата. Я любила тебя, милый, всей душой, всем моим существом, и этой любви отдала все, ничего не спрятала, не утаила. Грустно мне, больно мне! Ах, как больно – слов нет высказать. Но как я могу изменить чувства. Посуди по себе – ты ведь не можешь....

Прости меня, если я опять взволновала тебя. Прости! Мне так страшно, жутко в этой пустоте, что обступила. Точно не жила я долгую сложную жизнь. Чувствую себя обиженным больным ребенком, у которого отняли последнюю игрушку. Лето мое! Как я его ждала! И нет, не будет опять!

Не сердись на меня, дорогой! Я сказала все. У меня ничего больше нет. Вот она – моя любовь. Что я могу изменить!..

Не гневайся на меня! За что же! Я тоже невольно причинила тебе зло...



8 июня 1910 г. Москва.

Милый Валерий,
я возвращаю твои письма. Не надо мне их! Все, что напоминает о тебе *ином*, причиняет мне обиду и боль. Если случится быть в Париже, пришлю все остальные. Не сердись, – мне страшно к ним прикасаться, как и к твоим книгам – все это стало только памятью каких-то горьких, незаслуженных оскорблений.

Милый Валерий, и в этом письме, как в последнюю нашу встречу, мне хочется повторить тебе теперь уже одну мою просьбу – уезжай, пожалуйста уезжай! Сделай так, как тебе хочется, «не нарушай ни в чем твоей жизни» ради моего формального пребывания в ней. Нужны ли нам теперь формальности? Я уже от них отказалась окончательно, зачем же ты все-таки создаешь какие-то химеры из жалости, из несуществующего больше прошлого, и томишься, и не можешь почувствовать себя свободным? Ты уже сейчас сражаешься с призраками. *Меня нет* в твоей жизни, а ты все еще пытаешься поступать так, как будто бы *есть*. Уверяю тебя, для меня нет уже разницы между твоими желаниями и поступками. И если ты *не поступаешь* потому, что я механически мешаю, – это только новое оскорбление – напрасное и злое. Прошлый раз у тебя были именно злые глаза и голос, так разговаривают с врагами, которые стоят поперек дороги. Но, Валерий, я тебе не враг и на дороге твоей не препятствие, а твоя химера. Твой отъезд с женой сейчас будет лишь должным итогом, логическим выводом из всего того, о чем мы говорим 4 года. И если ты все же не уедешь (в чем я, впрочем, сомневаюсь), – это значит, ты хочешь тягучей лжи, ненужных встреч, «канители», которая убивает день за днем все живые чувства? Нет, ты не можешь этого хотеть, ты только малодушен и боишься всяких «действий». Ах, умоляю тебя, прекрати это! Разве нужен ты мне с твоей мертвой душой, с злыми глазами и этими страшными формальными визитами?

Милый Валерий, еще в Лейпциге я поняла, что *наша* жизнь кончилась совсем. Ты говорил, что мои письма оттуда были *страшны*. Тогда я узнала, что мы *не увидимся*, я говорю это слово в самом лучшем, глубоком его значении, –



и мечтала о нашем последнем настоящем свидании, Бог знает где, – когда я скажу тебе: «Милый Рупрехт, милый Валерий» – ах, больно повторять эти безумные слова. Я знала, что мы *не увидимся*, и мы *не видались*, Валерий. То, что было в эти 4 месяца, – это продолжение всех горьких и страшных лет. Если бы они тянулись беспрерывно, как годы на каторге, без побега, без твоего зова вернуться, без обещаний, которые не сбылись, может быть, кто знает, – может быть, они влачили бы бесконечно. Мне хорошо было в Лейпциге любить тебя как мертвого и мечтать о блаженном мистическом свидании; так это и осталось бы прекрасной, утешающей мечтой. Но ты обманулся в себе, и позвал меня, и повторил всё те же слова, что прошлой ужасной весной, и заставлял пережить всё те же горькие чувства точно затем, чтобы эти месяцы повторили прошлое как определенный кошмар, который возвращается с убийственной точностью, не утратив ни одной из мучительных деталей. Я все это пережила. Не по-прежнему, о, нет! Тихо, одиноко, в самой последней глубине, и в первый раз у меня наступило сознание полной непоправимости, полного крушения *нашей* жизни. Помнишь, как прошлой весной я цеплялась за каждую минуту около тебя? Помнишь, как звала, ждала, рыдала, когда ты уходил? Помнишь это страстное и горестное влечение, *несмотря ни на что*, беспрерывное страдание и все же радость наших встреч? Такой экстаз дает горю только надежда. Теперь я люблю тебя разве меньше?!.. Но быть с тобой мне так горько, так страшно и безнадежно, что я предпочитаю одиночество, то полное одиночество, которое узнала в эти самые черные месяцы моей жизни. Теперь я вижу ясно мое место около тебя – узкую тропинку на тюремном дворе. И если ты опять, обманываясь и странно тоскуя обо мне, скажешь, что это неправда. – поверю ли я еще раз? И почему, чтобы *только услышать* эти слова, мы должны были бы опять расстаться, должны выжидать какие-то месяцы? Вот я была здесь, близко, и твоей нежности хватило на 3 недели, и ты отверг меня и выбрал жизнь без меня... И опять лето, июнь, и все тот же кошмар, и то же твое страшное мертвое для меня лицо. Есть вещи, которые не могут повторяться,



есть события, которые опустошают душу. Если бы ты знал, если бы ты поверил, какая холодная, мертвая тьма внутри меня! Это особое ощущение конца, я не могу его выразить словами, им начинаются и кончаются все мои дни. Милый, Валерий, мы ничего не вернем, и ничего не будет. Меня в твоей жизни *нет*. Уезжай! Уезжай, ради Бога!

Не думай обо мне, – то, что ты *можешь* дать, я не возьму теперь никогда. Моя жизнь пропала, и если понять *это*, то стоит ли думать о ее внешних осуществлениях? Москва, жара, всяческие телесные муки – все это вздор, я перестала замечать, я живу воистину как автомат. И если *это* тебя беспокоит, то становится мне просто смешно. О чем ты?

Уезжай, уезжай! *Нужно* кончить. Жизнь в одном городе невольно будет длиться агонию. Ах, кончим ее скорее!..

21 – 22 июля 1910 г.

...сегодня я получила твою записку, и мне стыдно, больно, я чувствую себя совсем униженной. На все мои письма, вопросы, на мое страдание, что я переживаю, *где ты*, совсем без тебя, среди ужасных образов, на мое ожидание тебя, на всё ты отвечаешь ледяной запиской, где только пытаешься помочь мне решить мой «квартирный вопрос». Милый Валерий, если от всего, что у тебя ко мне было, у тебя осталось только чувство долга и желание посредством материальных забот обо мне откупиться от угрызений души, то помощь твоя, особенно денежная, грубо материальная, становится невыносимым унижением. Этим летом и особенно последними днями, быстрой переменой твоих решений и отказами решительно на все мои желания ты показал ясно, что быть со мной не хочешь, что я тебе не нужна, что бережешь ты и любишь только *ее* одну, *ее*. Ты знаешь, *что* мне было от тебя нужно. Еще недавно, 2 недели тому назад ты давал мне обещания, почти клятвы, говорил, что из нежного страха потерять меня готов мне дать все, решительно *все*. Твое поведение за эти две недели и письма, особенно письма, где ты боишься говорить о некоторых вещах, боишься произнести одно неосторожное слово, чтобы я не спросила осуществления, – все это красноречивее самого формального отказа. Ты стал так малодушен, что *ничего*



уже не решаешься говорить прямо. Ты предпочитаешь теперь *ускользать*, уклоняться, замалчивать. О, напрасно! Я же не приступаю к тебе с неоплаченными векселями! Бог с тобой! поступай как знаешь, я ведь беззащитна, у меня все можно отнять, меня можно как угодно обидеть. Но если, Валерий, *наша* жизнь свелась для тебя к одному «суровому долгу» в отношении к покинутой любовнице, то я уже не могу от тебя взять ничего. Ты не дал мне ничего, чтобы я могла жить и дышать. Этим летом ты совершил надо мной последнюю свирепую жестокость. Так обмануть! Так лгать! И лгать *сознательно*... Вспомни твои слова на терраске моей дачи... «Не буду мучить, сделаю все, все. Люблю тебя, не хочу твоей смерти». «Мы поедем. Вернусь, уложу книги, и мы поедем вместе, вдвоем»... Бери назад все, все, что можно отнять, и больше! Отними все, я ничего уже не в силах удержать. Ты не хотел мне дать месяца отдыха от моих мук, и эта моя «дача» была только новой пыткой, – о, сидеть здесь одной и сознавать, что в 50 верстах ты с ней вдвоем и не хочешь, *не хочешь* быть со мной, уклоняешься *от меня* для нее... Все это ты заставил меня пережить. Я приехала сюда больная уже, а уезжаю едва живая. Сегодня у меня в первый раз шла горлом кровь. Угрозы врачей сбылись. Еще два осенних месяца, и «скоротечность», которую они предсказывали, быстро докончит.... Так надо? Пусть! Убей меня совсем, я не противлюсь, но избавь меня от последнего унижения – принимать помощь от *чужого*, от ее мужа и любовника. Оставь меня в этом смысле совершенно. Не заботься о моей квартире, еде и расходах. Я еще пока не совсем нищая. Мне дает Сережа, который останется мне близким всегда, несмотря ни на что. На эти деньги я устроюсь, как могу. От квартиры, которую я наняла,.. хотя она и «достойная», т. е. светлая, сухая, в приличном доме, я завтра же по телефону откажусь. Иметь ее я не могу совершенно, у меня денег столько ровно, чтобы переехать, перевезти, заплатить... и прожить кое-как неделю. Потом я где-нибудь займу. Это последний раз я говорю с тобой о «моих делах», и то в ответ на твою записку. С пятницы буду искать комнаты для себя и Нади. Так лучше; когда слягу совсем, можно будет от-



казать, да, вероятно, прежде откажут *мне* за лихорадки, запах лекарств, посылы прислуги в аптеку. Тогда Сережа свезет меня в «недорогую, но вполне, вполне приличную больницу», и никто не пострадает от моего неоплаченного квартирного контракта, и ни у кого не останется на руках ненужной дешевой мебели. Нет, Валерий, несмотря на то, что я смертельно больна, убита душой и теряю голову перед моей неудачной *во всем* жизнью, – я... не дойду... до... унижения, и не возьму твоих денег, твоей помощи *вместо* любви. Если теперь ты можешь прийти ко мне только с *этим*, то лучше пусть я тебя не увижу вовсе, никогда. Я прошу, требую от тебя настоятельно *никогда* более не говорить со мной о так называемых «моих делах». Ты чужой, ты ушел и не хочешь меня – это твоя воля, – но зачем же ты хочешь еще унижить меня? Когда я умру, пожертвуй что-нибудь на бедных, может быть, это успокоит тогда твои угрызения. Ну, довольно об этом. Мне тяжело говорить с тобой так. А иначе – ты уже не слушаешь и не отвечаешь.

Прощай, Валерий. Я верю, ты проснешься однажды. Твое сознание озарится словно молнией, все до самого темного уголка. И ты поймешь тогда все, к чему глух и слеп сейчас. Ты поймешь и почувствуешь каждый миг моей боли, каждую мою пролитую слезу, и, может быть, будешь тогда плакать *ты* поздними, бессильными слезами... Теперь же ты «делаешь, что можешь»...

28 -29 декабря 1910 г. Москва.

...это итог целой жизни, шестилетних мук, это последние страницы из книги горя, зла и обмана. Ты болен. У тебя может быть измененное самоощущение, но ведь это случайность, почти не имеющая влияния на «нашу» жизнь. Для меня эта твоя болезнь имела то значение, что в дни покинутости, в дни унижительного положения «маленькой любовницы», не смеющей быть рядом с тобой, я сознала всё с последней уничтожающей ясностью. Да, такие дни определяют мою роль.... С тобой *близкие*, с тобой жена, сейчас не время «для удовольствий», сейчас ты под надежным семейным кровом, и если бы ты умер, – я узнала бы об этом по телефону, а увидела бы тебя с другой стороны



тротуара твоей улицы. Словом, моя роль определилась... И когда я рвусь в ужасной, безумной тоске, униженная завистью, ревностью, страдаю от невозможности быть тебе нужной, близкой, нежной, заботливой, засыпать и просыпаться рядом с тобой, отдать тебе всю, всю себя, подчинить мою жизнь твоей воле, желанью, капризу, – в один из таких дней вдруг я прозреваю и хочу тебя только ненавидеть, только проклинать, потому что все мои муки созданы тобой, потому что дни твоей болезни только одна из подробностей той ужасной, бесправной, унижительной жизни, которую выбрал для меня *ты, ты, Валерий...* И это *ты* хотел, чтобы всегда была с тобой она, и это ты прогнал меня, ты обрек на все муки!... В минуты такого ясного сознания моя любовь становится ненавистью, проклятьем, и нежность мою, которую ты променял на отношения этой глупой, вздорной, эгоистичной, пустой «Матильды», я чувствую как отточенный нож, что вонзается в мое же сердце. Теперь для меня уже нет сомнений. Ты сам рассказал мне день за днем с большой жестокостью и правдиво *все как было*. И, наконец, я отличила *то, что было*, от того, что мне казалось, во что я верила все эти шесть лет. Много раз я уже подходила близко к этому окончательному выводу, но ты всякий раз старался разуверить, усыпить, успокоить, отказывался от собственных слов, – и опять все тянулось до какого-нибудь нового мелкого и крупного события, не оставляющего сомненья. Но так не может тянуться. Как в большом, запутанном, сложном и противоречивом судебном процессе, наконец, собраны все материалы, данные и «вещественные доказательства». «Суд уже заседает», и еще только несколько последних дней может длиться неопределенность. Буквально *дней*, уже не лет... Не осталось темным ни одного уголка. Я получила от тебя прямые ответы на все. Я требовала их, не щадя себя, и, благодарю, ты, кажется, уже не скрыл ничего. Я вновь переживаю *нашу* жизнь, иду по ней, день за днем восстанавливаю в памяти все ее детали. Мне кажется, точно я вышла из дому в Мерзляковском пер. на первое тайное свиданье с тобой и возвратилась уже в эту зеленую комнату. Итак: – первый год была «твоя игра» и «мое непристой-



ное поведение»... Ты «оборвал бы все, если бы знал, что я тебя полюблю», но этого не мог учесть, и вот случилось то, что случилось, мы оказались «как-то» связанными на шесть лет... У меня, Валерий, до этого недавнего твоего признания только и оставалось одно гордое и прекрасное утешение, что мы связаны прошлым, что *мы* пережили исключительные чувства, поднялись разными путями на такую высоту чувства, за которой уже нет иного пути, кроме – смерти. Ты рассказал все это в «Огненном Ангеле» такими словами, с таким волнением, что люди грубые, пустые, суетные, не зная истинной нашей драмы, трепетали, лили искренние слезы, читая ее страницы. До этого твоего отрицания прошлого у меня оставалось, как я думала, неотъемлемое счастье чувствовать себя связанной с тобой неразрывно, глубоко именно *этим прошлым*, над которым ты жестоко насмеялся теперь. Ты еще не понимаешь вполне, *чего* ты меня лишил, *что* вынул из моей горькой, обездоленной жизни. Но Бог тебе судья! Ты дал, – ты же и отнял... Так мы покончили с первым годом. Потом встреча после Финляндии. Я стыжусь ее вспомнить... Я была, верно, еще слишком наивна, я не чувствовала камня, спрятанного у тебя на груди, и несла мою любовь доверчиво, как дитя. Но ты в ответ на нее нес «мечь»... Ах, эта встреча в дождливых сумерках августовского дня. Ты небрежно привел меня в наемную комнату грязного приюта любви, как «девочку с бульвара», чтобы, встав с постели, вернуться домой и забыть «эту грязь»... Помню, как сжалось сердце в самые первые минуты, помню лицо твое, слова: «Мне некогда, я должен расставлять на полке книги». Это после 1½ месяца разлуки. Я пошла как оплеванная и всю ночь думала над этой встречей, но была далека от страшной правды. И в этот день, именно в этот день ты совершил непростительную вину. Скажи ты мне тогда просто, с искренностью, достойной моей любви: «Нина, я понял, что не люблю тебя и что люблю *не тебя*. Я вновь сошелся с моей женой. Вернувшись от тебя, я был ее любовником, я сблизился с ней духовно, и ты мне больше не нужна, – уйди»... Я не знаю, как я пережила бы твои слова. Может быть, я возненавидела бы тебя, может быть, умерла бы, может



быть, отойдя, употребляла бы все старанья тебя забыть, – но эти слова были верным средством оттолкнуть меня безвозвратно. И все, все, что началось бы для меня на другой день, было бы лучше той бесславной, медленной гибели, к которой привела меня твоя систематическая шестилетняя ложь. Но ведь ты хотел «мести», и, конечно, тебе было жалко отпустить меня, не замучив, не предав всем распятым мою душу... Этот год «мести» завершился бегством в Швецию. Ты говорил иногда, что бежал «от мучительств», а думал ли ты, понял ли ты, что было причиной «мучительств»? Ты был их причиной, твоя двойственность, ложь, обман, с которым не хотела, не могла мириться настоящая, большая, чистая и искренняя любовь. «Я надеялся, что все будет кончено, уезжая в Швецию» – так сказал ты вчера. Да? Но зачем же тогда ты узнавал обо мне, писал, позволял мне рассказывать в письмах о моем горе, ревности, тоске и всех муках, что пережила я без тебя? В Швеции ты, верно, пресытился ею, – уж такая у тебя зыбкая, неверная душа, и моя любовь, ее образ, печальный, красивый и непобедимый, пленил тебя снова. Мое прощение, моя нежность, с которой я встретила тебя, потрясли твою душу, и ты на коленях каялся передо мной в твоей «непростительной вине». К зиме ты позвал меня в Петербург и там говорил: «Я оставляю ее, лишь продам дом, я только не могу оставить ее на улице...»

Потом опять потянулась цепь обманов, предательств и лжи. Зима революции... Ты прятался от меня, ты почти издевался надо мной, Валерий, в те страшные для меня дни. Я пережила их!.. Летом этого года меня услали в Варшаву, но путешествие было неудачно, и я жила у Ходасевичей в деревне, а ты, конечно, все с ней и с ней.

И вот наступил последний мой год жизни с Сережей в доме Голицына. Безобразная жизнь, метания из стороны в сторону, хаос, жажда забыться – все равно с кем, все равно где, лишь бы хотя единую минуту не страдать от образов, мыслей, видений. Карты целые ночи напролет, рестораны, вино, «любовники», как называл ты людей, что словно вороны кружились над неживым телом, над телом, лишенным души... Ты не приходил по 14 дней, у тебя было



«столько работы», когда я ждала тебя на 25-градусном морозе, а ты путался с грязной бабой – с Любовью Столицей (поэтесса. – И. Т.)... Ты можешь сказать, что я делала худшее тогда, но неужели чьи-то всевидящие глаза не видели меня настоящую, мое безмерное сдавленное отчаяние, мою тоску по тебе все часы, лишь открывала я утром ресницы?!... Сцена «в Мокром» (как в «Братьях Карамазовых» Достоевского. – И. Т.) тяжело действовала на тебя с подмостков, а она повторялась для меня в измененном виде почти в каждую из тех черных ночей. Я сознательно унижала себя, надрывала мою нежную безграничную любовь, мою отвергнутую любовь. Возвращаясь на заре из загородного кабака с кем-нибудь из тех, кто хотел меня пригласить к себе в номер, я смотрела, как на снегу ложились синие тени утра, и думала: *у них* в спальне ложатся они сейчас на занавесках, в вашей спальне, где тихо, чисто, спокойно, где не пахнет перегаром вин и табаком, где вы спите рядом, близкие, связанные навсегда... Отчего же *меня* он бросил в этот ужас, в этот огненный хаос, в эту раскаленную боль!? Отчего *меня* не бережет так, как ее, – жену, любимую – «нежное деревце, выращенное своими руками»?! Ты презирал меня в тот год, ты называл все это «низменными удовольствиями» и не понимал, не понимал, что это в муках изнемогала и билась отвергнутая, ненужная, но прекрасная любовь. Прошло лето... Я помню, как собирала я вещи, расставаясь с Сережей. Был жаркий и синий июньский день, в кухне выл околевающий Вальтман. Тоска, тоска смертельная, ужас перед будущим, одиночество, пустота в груди. Ты в эти дни катался с ней по Волге... И вот мой первый год без Сережи.... О, как старался ты мне показать «неразумность» моего шага!. Как ясно ты показывал, что все останется по-прежнему, и ты не переменишь нисколько способа жизни. Я думала тогда тайно, думала в моей наивной нежности: вот я одна, и нет нужды нам встречаться на бульварах, в грязных номерах, верила, что ты будешь чувствовать себя «chez soi» (себя дома (*фр.*) – И. Т.) в этой *моей* маленькой квартире. Мне виделась новая жизнь, я думала, что мое жилище будет твоим вторым и любимым домом. Тогда я уже



не надеялась на роковую перемену *твоей* жизни и, поборов в себе многое, хотела создать тебе около себя все возможное спокойствие, обстановку для тихой серьезной работы. Разве не видал ты в моих глазах этой скромной надежды и немой мольбы: – приди, возьми, вот моя жизнь, сделай с ней все, что ты хочешь. Но ты *от меня* не хотел взять ничего!.. Что мешало тебе тогда успокоить хотя немного, украсить, обрадовать мою жизнь? Я думала тогда так радостно – вот, наконец, *я вся его*, и все, что меня окружает, будет подчинено его малейшему желанию. А ты, Валерий?.. В этот год ты уверил *ее*, что между нами все кончено и мы не видимся, приходил ко мне тайно, случайно, ложился в постель, как с публичной женщиной, и вставал с нее далекий, ограждая крепкой стеной все интимное, твое, *ваше*... Ты каждым движеньем говорил мне без слов: «Не воображай, моя милая, моя жизнь никогда не сольется с твоей, и теперь, особенно теперь, я должен успокоить *ее* и показать, что твой развод для меня ровно ничто». Сколько вечеров прорыдала я в этой квартире за пустым писменным <так!> столом, где так мечтала видеть тебя за работой, в синей моей любимой рубашечке, которую она сожгла, – тебя «домашнего», близкого, родного, моего!.. Боже мой! Боже мой, зачем мне было дано так много нежности, такая потребность быть любимой и, любя, отдать самой всю душу, всю заботливость, все то, что мужчины берут у женщин с благодарностью, как счастье!? Зачем я не родилась кокоткой или холодной, эгоистичной, хищной, смотрящей на «мужчину» как на средство удовольствий и жизненных благ!? Отчего все то, что берут у других, цenia, с благодарностью, ты отверг и еще оскорбительно назвал «притязаниями», «преувеличенными требованиями»? Ведь я хотела *давать*, хотела служить тебе, окружить тебя всем тем, что тебе воистину нужно, а ты говорил, что я *требую*!.. *Я* требую!.. Подумай, Валерий, какая трагедия! *кому* принесла я мою первую, полную, всю еще нетронутую, совсем чудесную любовь? Человеку, который держал на груди спрятанный камень и любил другую!! Помнишь ли ты, через 6 лет, почему моя любовь стала моим и твоим «мучительством»? Ты ведь давал мне в ответ остатки, клочки



после «дележа», ты никогда не мог и не хотел назвать меня «своей», любимой перед собой и перед миром. У тебя *никогда, никогда* единой минуты не было ко мне подлинной любви, той любви, которая говорит любимой, желая дать все, что может: живи со мной, будь моей *вся*, со всей твоей жизнью, слейся со мной, – будь *моей женой* в самом истинном, самом прекрасном и *полном* значении слова. Так говорит всякая любовь, – мужики и эстеты, глупые и умные, поэты и «торговцы салом», – все говорят это, встречая женщину, которую они искренне и без расчета любят... Ужасен был год в доме Толстого.. А мог он быть иным, если бы *ты* этого захотел. Чтобы избавиться от меня хотя на два месяца, ты дал мне денег на поездку с Ауслендером. И, как объяснил недавно, – «именно она послужила причиной твоего летнего бегства с *ней*»... Стыдно, Валерий, так лгать! Ты забыл, как говорил мне... что поездка эта обещана была давно, годы назад... Страшно вспомнить то лето... Какое горе, отчаяние, какой внутренний ужас может пережить человек!. Бросить меня в таком состоянии ты мог, только не любя, вовсе не любя, желая моей смерти или какого бы то ни было избавления от меня. Ты признавался после, что хотел оставить меня совсем. Да? Но зачем же тогда ты оглянулся назад? Зачем назначил свидание в Бресте? Я уже не думала тогда ни о чем опять, кроме того, что убью и тебя и себя, и ты сам, ты позвал меня. Я подошла к самому темному в собственной душе, к тому, чего не понимаю до сих пор сама, – к встрече с Робером. Как могло случиться, что, ожидая тебя и готовясь к страшному делу, я вдруг точно расталась сама с собой, точно потеряла себя? Было так непривычно, так странно сладостно слышать давно уже не слышанные нежные и страстные слова на чужом языке. Они звучали мне настоящей музыкой, усыпляя волю и сознание. Я встретила его в тот вечер, когда хотела уехать, не дождавшись тебя. Помнишь – ты опоздал дней на 7. Сосредоточенность решения рассеялась. Силы упали... Это был настоящий дьявольский соблазн. Судьба подошла ко мне в нем. Ведь не будь его, я не прожила бы парижского изгнания. Но разве не отомстил ты и за это!?! Помнишь (не зная истины), ты бросил меня одну, жестоко больную,



в клинике, в чужом городе, почти без возможности доехать до дому по-человечески. Я ехала голодная в третьем классе, *сутки* от Парижа до Берлина и 2½ суток на почтовом поезде от Варшавы еще едва живая, и мне не что было не только есть, но просто велеть принести воды... Разве заставил бы ты пережить хотя что-либо подобное ее?! Нет – «Каина дети» все могут, их не спрашивают: «Вынесете ли вы это?..» И после еще одно свиданье в Намюре... Опять безжалостный, жестокий, мертвый, чужой, ты бросил меня, чтобы не огорчить ее отсутствием. А как я просила тебя подарить мне еще одну только ночь перед долгой, долгой разлукой... Я в Париже... Новая жизнь... По монмартрским кабакам влачила я здесь мое горе, но пришел день, когда я твердо решила расстаться с собой и с тобой и похоронить себя в Бресте. Я не лгу тебе, клянусь тебе, Робер мне предлагал серьезно, умолял быть его женой. А что ты ответил на это? – «Твое место там, где живу я, – твое единственное назначение – литература. Приезжай, я клянусь не обижать тебя больше, я буду о тебе заботиться всячески, – только сочтись с одним фактом, с *формальностью*, с исторической печальной необходимостью». Могла ли я сказать «нет»? Не забывай, что я любила тебя... И я поехала, рыдая, в ужасе... Боже, как ты меня встретил! Я не верила себе, своим глазам... Все вернулось, ты пришел *моим*, близким, нежным... Счастье мое вернулось! Я не смела протянуть к нему рук... Но через месяц я поняла, каково мое «счастье». У тебя было рассчитано ровно на месяц все – добрые слова, ласки, нежность, заботы и даже... деньги. Через месяц я уже спала без подушки в разоренной квартире мамы, а потом переехала в достойное меня жилище – в Соколовские номера... Ты не приходил почти... Помнишь, что было здесь пережито. Сердце переворачивается... Потом последнее безумие – поездка в Париж. Я ходила к Каптереву (врач. – *И. Т.*), просила приказаний мне поехать и *только так* поехала. Умерла мама, смертельно заболела Надя, я была в каком-то оцепенении. 17-го июня в 9 ч. вечера ты меня бросил буквально на улице, в переулке, где жили Богородские, и утром уехал с *ней*. О, как снисходительны были ко мне Богородские этим летом, как мало они унизили меня! Они имели



право на большее. После твоего отъезда в Биарриц я жила в их комнате над отхожим местом нижних жильцов-булочников и за нее *не платила*, жила *в долг*, да еще на все мелкие ежедневные траты давали мне они же, они же кормили меня обедами... Когда я говорю о всех унижениях этих шести лет, так или иначе связанных с моей любовью к тебе и с нашими отношениями, – ты не веришь. Но если бы я рассказала тебе все их, звено за звеном сплетая горестную цепь... О, ты понял бы, что я испытала их столько, сколько *ей* не испытать за всю ее жизнь возле тебя. Подумай, например: – в то лето мне покровительствовали Богородские, оказывали буквально благодеяния... Вынес ли бы ты хотя подобное в отношении к ней? Ты скажешь, зачем я брала?.. Вспомни же это мое лето! Только что умерла мама, Левинштейн (владелец клиники для душевнобольных. – *И. Т.*) представил дополнительные счета, была больна Надя, я приглашала врачей, брала «сестру», я отдавала все, что у меня было, и не могла купить себе клочка траурного крепа на шляпу. Я страдала безмерно. Если бы не морфий, я вовсе не вынесла бы таких душевных и телесных мук. Боже мой, мне снился лес, я тосковала по свежем воздухе, внутри у меня, мне казалось, все было покрыто пылью и копотью. А под окнами у меня было помещено 00, и небо видно было только между досками в щели строящегося дома. Валерий, Валерий! и я не разлюбила тебя, не возненавидела, а тосковала, видела тебя во сне, рвалась к тебе всей измученной, полумертвой душой. Вспомни, *какую* ты встретил меня в Париже. Я боялась тебя, не смела поцеловать или обнять. В Париж я ехала не знаю зачем, как в черную яму, и зачем ехала в Брест – тоже не знаю. Робер был мне противен. Но, верь, я не надеялась больше на встречу с тобой, и письмо твое из Женевы было для меня совсем неожиданно. Да, ты решил сыграть последнюю злую шутку!.. Ты мог звать меня, зная, зная, что ровно через 6 недель выкинешь меня, как собачонку за дверь, швырнешь в пустоту и тьму, а сам вернешься к ней, не опоздав на одни сутки... *Это*, Валерий, тебе не простит Бог – Бог любви, грозный и мстительный Бог...



Ты грабил мою душу в течение шести недель, грабил тонко, обдуманно, обманом получал мои ласки, нежность, *меня всю*. И как только мог ты, зная, что бросишь меня безжалостно, говорить, уверять, клясться в любви, обещать жизнь? О, темная, зыбкая тряси́на твоя душа!.. Через шесть недель ровно, обманом покинув меня и доехав едва до Кёльна, ты разгримировался, снял маскарадный костюм и написал в открытке: «Боюсь, что наш Рай теперь только Потерянный Рай»... Две недели без тебя в Париже были такой жестокой расплатой, что, верно, не осталось единого твоего поцелуя, за который не заплатила я кровью. Ты помнишь мои письма? Я их писала почти в беспамятстве. И как нужно было любить, чтобы простить даже это вероломство, которому нет имени на человеческом языке. И уже, кажется, не было тебе оправдания, но нет, ты придумал что-то воистину литературное, – слова, годные для рассказа или драмы: «Я был с тобой на такой высоте, что, упав низко, уже не хотел ничего *взамен*. Все казалось ничтожным в сравнении с той мечтой, которая погибла». И, верно, поэтому ты не приходил, не отвечал на письма и был с ней дни и ночи?!.. Шел год – самый безнадежный из всех. Как *мы* жили? Плохо, плохо... Всю зиму я думала о весеннем неизбежном разговоре и почти знала, как кончится он для меня. Это отравляло безрассудные, редкие минуты радости, когда я старалась не помнить ничего, не думать, не знать. И шестое лето мое погибло! Ты предпочел пол-года просидеть в Москве, загубить его для себя, лишь бы не ехать со мной. *Этого не хочет она*, – вот кому дано решать мою судьбу во всем – от большого до мелочей. На единственный месяц, что оставался, ты все же поехал с ней... впрочем, «твердо» обещав мне «награду» за мучения – «такой же» месяц, те же 30 дней. И опять летнее томленье, не сравнимая ни с чем тоска! Я страдала в моем добровольном заточении... до иступления. Представляла Вас рядом, под деревьями в парке, на вечернем балконе, ночью в прохладной дачной спальне, куда смотрят звезды в открытые окна. Минутами мне хотелось убить тебя, ее или себя – как-то разрешить это ужасное сдавленное напряжение. Все, что угодно, – только не так, как живу я!!.. Ты был



у меня два раза, обещав приехать на неделю, жить, работать. Было спешно, случайно, между поездкой в Москву, – опять не встречи, а «операции» – мучительные, болезненные... И никуда, никуда не поехал ты со мной! Что твоя болезнь! Чему бы она помешала! Нет, поездка со мной расстроила бы ее... Ты тянул, тянул и дотянул до зимы.

Вот в самых общих чертах «наши» шесть лет. Ты скажешь, что я вспоминала только горе и нарочно молчала о всем радостном. Но когда были радости, *мои радости*, Валерий? В Финляндии?! Потом 3–4 маленьких поездки, которые тоже были для меня похожи на «вырывания зубов». Чем лучше мне было с тобой, тем ужаснее было расставаться, провожать тебя *к ней*, видеть в твоих глазах тоску по ней. О шести неделях в Париже лучше не будем говорить... Я проклинаю их... А все, что было хорошего у нас здесь, в Москве, в эти вырванные часы и минуты, – было всегда отравлено, я всегда встречала и провожала тебя с уязвленным сердцем. Я не знаю, Валерий, могла ли бы хотя одна женщина в мире любить при таком страшном жестоком условии – делить тебя. Я знаю, многие «делят», но тогда все иное. Я много раз говорила тебе, что *и я могла бы делить*. Но что? Не любовь! О, не любовь! а только внешности жизни, факты, поступки, а ты предлагал мне 1/3 твоей любви, остальные две отдав ей. Что сказала бы Коммиссаржевская, что сказали бы все, кто полюбили бы тебя *настоящей* любовью?! Они не вынесли бы сотой доли моих страданий, – ушли бы, умерли бы, убили бы тебя, ее, – я не знаю что, только не приняли бы того, что ты давал. Милый Валерий, в последнее время ты старался быть возможно искренним и возможно правдивым. Я уже больше ничего не жду от тебя, ты это знаешь. На все мои просьбы, мечты, желанья ты словами или поступками – равно ответил – *нет*. Я шесть лет стояла перед запертой дверью и стучала в нее, и билась, и молила: впусти! возьми! И было только молчанье ответом на всю мою нежность, если же ты говорил и поступал, то все равно смысла был один – отрицательный. И я не верю больше ни в счастье, ни в радость с тобой, и я не могу бесплодно расточать перед тобой лучшее моей души, да и *нет* у меня уже многого – убито все тобой...



Но одного, только одно страстно хочу я от тебя – сознания, *что права я*. Может быть, в ином столь же, как ты, но права. Ты не виноват, что любишь ее (я уже не говорю, как прежде: «больше меня», я понимаю вздорность этих слов. Просто любишь ее, одну ее, единой настоящей любовью). Ты не виноват, что тебе хочется *давать* не мне, а ей, что не можешь принять *для нее* обиды или мученья, что готов пожертвовать даже собой, лишь бы было хорошо ей, – такова любовь на земле. Твоя вина была в другом, но, любя ее, ты прав неоспоримо. Я все это поняла, поняла до конца, до глубины. Понять, что ты любишь другую, а не меня, увидеть, видеть каждый день воочию эту любовь, – для меня равняется духовной смерти, но это тебя мало касается, для тебя имеет значение только *мое сознание*. Так пойми же и ты меня, Валерий! Не формально, не на словах, а глубоко вникнув в мое чувство. Пойми, что любовь моя при поставленном тобою условии не могла быть ничем, кроме страдания и настоящей трагедии. Трагедия, растянутая на шесть лет! – какие силы не сломятся, какая душа не превратится в камень!.. Ведь это же правда, – *ты* не мог ответить при наличности ее мне той же большой, нераздельной, безграничной любовью. И ты не говоришь: «Любви такой нет на свете», – ты говоришь: «У меня нет ее *для тебя*, возьми немного, что даю я искренно, и не спрашивай другого». Валерий, Валерий, разве об этом мечтала я? Разве я, чья любовь как единственную святыню сердца, *могла* взять спокойно и радостно клочки, обрывки, отрезки? Поймешь ли ты это? Ах, если бы ты понял! тогда каждая моя слеза, каждый вздох, каждый жест отчаяния приобретут новый безусловный смысл. Боже мой, какие слова должна я сказать еще? Мне, кажется, нужно найти самую упрощенную формулу, но я напрасно ее ищу и боюсь, что все прозвучит грубо, не так... *Да, я хотела быть твоей женой*, не «законной» – это мне не нужно! но *женой* в полном, глубоком, прекрасном, почти незнакомом большинству значении этого слова, *единственной* близкой тебе женщиной, такой близкой, как возможно на земле быть близким другому вообще. И я чувствовала себя достойной твоего выбора, и я бы оправдала его всей моей жизнью, – я чувствовала это, я была



близка тебе внутренне, как ни один человек в мире, – ты не можешь этого отрицать, и я любила тебя самоотверженно, жертвенно, не так, как любят формальные, законные жены, вроде твоей «Матильды». Так подумай же теперь, *что* могло меня удовлетворить? и могла ли я быть счастливой хотя миг рядом с другой женщиной, да еще более тебе близкой, и могли ли «твои старания», самые усердные, сделать меня хотя только спокойной, если жить меня ты обрек «в пределах» на тюремном дворе, за дверью вашего дома?...

Я стою над этими шестью годами в тоске и ужасе, как потерянная, как безумная... «Ах, я бесстыжая, бесстыжая, глупая», – рыдает Грушенька в Мокром, сидя перед своим «паном», перед своей пятилетней погибшей мечтой. И если не эти слова, то какие-то близкие им хочется мне шептать, рыдая перед тобой. Шесть лет унижаться, ползти на коленях за человеком, который повторяет лишь одно: «Не надо, не надо, я не хочу, я не возьму, мне слишком велика твоя любовь, отдай ее кому-нибудь другому, но не мне, ради Бога не мне, – уйди»... Молить о любви любящего мужа другой женщины, ее любовника и друга, любящего ее почти отеческой любовью, «как деревце, возвращенное собственноручно»... Отдавать, напрасно расточать все сокровища души и ума, преданность, нежность, самоотречение перед человеком, который сознательно выбрал себе другую, другую назвал *своей женой!* Целовать руку, которая шесть лет только гнала меня и показывала на дверь! И наконец дойти до полного падения, до последнего унижения, – брать единственное, что осталось, – «визиты», «дружеские посещения», то, из чего вырвано все настоящее, интимное, органически сливающее двух в одно!.. Дойти до морфинизма, до полной потери воли, самолюбия, до такого состояния, когда тебе решаются *подавать* милостыню из жалости, в память прежних заслуг! И это «жизнь» моя с *тобой*, который, полюбив однажды, не задумался сказать женщине: «Будь со мной, будь моей женой»...

В эту неделю я пережила *всю* мою жизнь. Я вернулась памятью в дни самого раннего детства, вновь пятилетним смуглым ребенком плела веночки из кашки на лужайке перед нашим провинциальным домом, пережила юность,



счастливые годы первого пробуждения ума и чувств, потом годы перед встречей с тобой, и откуда я ни смотрела, – жизнь с тобой, шесть лет возле тебя казались мне черной безвыходной западней. И, может быть, шесть лет тому назад, в сумерки того дня, когда привел ты меня в грязный приют свиданий, как девочку с бульвара, если бы ты сказал мне: «Нина, я вновь был с ней», – только эти слова, я вынесла бы удар или умерла. И если бы я осталась жить, может быть, пришел бы ко мне кто-то нежный и влюбленный, чтобы заставить забыть мое горе и тебя. Разве не была я тогда достойна любви? Разве была я хуже, глупее, бездарнее тех, которых любят, которых не стыдятся (как ты меня), которых называют «своей» перед всеми и собой!.. Но теперь передо мной нет дорог. Я в черной западне, я в трясины, над изумрудным болотом только одни живые глаза, но они уже не могут молить о спасении. В 31 год я стою перед стеной и, оглядываясь назад, могу только горько смеяться. У меня *ничего* нет! Ровно ничего, чем могла бы я жить, а внешняя моя жизнь только фикция, скорлупа, мертвая форма. Внешнее не может пережить души. Это ты только думаешь, что возможно резать жизнь на такие две половины. Когда я полюбила тебя, мне стали не нужны все люди, и я безжалостно их оттолкнула (первого Сережу!). И как они мне мстят за это сейчас, поняв истинную суть моего общественного положения. Они меня сознательно и расчетливо унижают со сладкой улыбкой на губах. Я не хочу и не буду считать, сколько плевков и нравственных пощечин получила я, особенно в два последние года. Верь, Валерий, клянусь тебе, я не лгу, а лишь не хочу называть факты. Так стоит ли опять же ценой унижений (брать деньги у тебя при таком твоём отношении для меня унижение) поддерживать «мало-мальски» приличный вид внешней жизни, «выжимать» из ничего эти жалкие бедные платья (право, хуже всех), чтобы пойти три раза в год в то общество, что не хочет со мной считаться и называть *своей*? Нет, с Сережей кончилась моя внешняя жизнь. Ты делал и сделал все, чтобы унижить меня в глазах того «света», который «надо презирать», когда дело идет обо мне, и с которым нужно ужасно считаться, когда мы едем в Петербург в разных поездах,



чтобы *эти же* люди не посмели *мысленно* унизить ее... В этом обществе не терпят женщин «двусмысленных», как я, женщин, за плечами у которых нет оберегающих рук мужа или любовника, живущего рядом... Я ведь не слепая и не глухая. Со мной все обращаются теперь так, как с Лидией Дмитриевной до ее «законного брака» с Сережей. Мы поменялись ролями к ее торжеству. И из общества мне нужно уйти, выбыть и формально, а не только внутренне. Теперь о «моей литературе». Ну, будем говорить «серьезно»... Ведь обо мне говорят с презрительной полуулыбкой, а литераторы молчат, как зарезанные. Я не забуду, что двери «Северных Цветов» для меня закрылись так явно. Быть может, я могла бы работать и учиться – и достигнуть результатов. Но работать с вечно разорванной, отравленной, убитой душой! Возможно ли, Валерий? Нет, и с этим кончено. Теперь личное, интимное... Я рассказала тебе всю мою душу. Ты знаешь, в какой тоске, отчаянии и пустоте я живу. С утра, как я раскрываю глаза, и до ночи, когда я ложусь, – нет минуты, нет секунды, когда я не думала бы всё об одном. Я страдаю непрерывно. Все, все, каждое ничтожное воплощение жизни говорит мне одну страшную истину, – он не со мной и не будет со мной никогда, он выбрал другую. Я повторяю – мы могли бы жить даже при этом страшном решении, но тогда ты должен изменить все, все внешнее и внутреннее. О, совсем немного это, меньше, чем тебе кажется, потому что твой предел останется пределом. Я много раз говорила тебе, входя в самые внешние детали, и мне тяжело, стыдно повторять слово за словом мои желания и «требования». Ты знаешь их все... И если, зная, ты *не делаешь*, предпочитаешь видеть меня несчастной, убитой, в слезах, в постоянной тоске, – значит, ты не можешь. Я поняла все, Валерий, и у меня не осталось единой маленькой надежды. И эти мои желанья я могла бы формулировать одной фразой, хотя, вероятно, прозвучит она грубо и не выразит меня, – я сказала бы так: если ты не можешь с ней расстаться, и не хочешь этого, и никогда не вырвешь из сердца чувства к ней, я *даже при этом* могла бы быть с тобой почти счастливой, если бы ты сказал однажды, пришел к этому после долгих колебаний чувств



и мыслей: «Да, у меня две жены, с которыми я равно связан внутренне и внешне, которых люблю по-разному, но одинаково сильно, с которыми буду равно считаться всегда и везде». Помнишь, как чувствовала и говорила я раньше: я могла бы с тобой быть, если бы знала, что с ней ты в тюрьме, заточен в башне Святого Ангела, ее ненавидишь и рвешься из *той* жизни ко мне. Нет, я поняла, – любовь нельзя насильно вырвать из сердца, нельзя сказать никому в мире «не люби», и если ты любишь кого-то, и если я, не смотря ни на что, хочу с тобой остаться, я должна эту любовь так или иначе признать. Но разве могу я признать твою любовь к ней и не хотеть твоей любви для себя? Это был последний компромисс всех моих чувств, – да, я могла бы быть почти счастливой, чувствуя себя тем же, чем есть она для тебя в жизни. Но разве ты отдаешь мне *половину всего!* Ты говоришь: я отдаю больше. Ах, пойми, мне нужно не больше, не меньше, а *то же*. Но я знаю, что это *невозможно*. Неужели не понимаю я, не вижу твоих чувств ко мне во всех их выражениях, не знаю их «пределов»? И неужели ты из боязни кого-то обидеть отказал бы себе хотя в маленьком желании?! Не такая у тебя душа. Даже ослабевшая, подавленная, она еще слишком своевластна, чтобы подчиниться чьей-либо воле... И если ты чего-нибудь не делаешь, – значит, ты не хочешь. Об этом уже мы говорили много раз. И я знаю, что, в конце концов, ты идешь не *к ней*, а *от меня*, и что вовсе не так нежно и страстно ты ее любишь, чтобы не мог покинуть никогда в жизни, а не покидаешь потому, что этого не стоит делать *для меня* и любить, *чем больше меня* – это еще не много, это, может быть, страшно мало. Любовь ко мне ты определил в своей душе, нашел ей место, измерил ее объем и дашь мне мало не потому, что боишься ее оскорбить (разве ты считался с *ней*, когда появилась Коммиссаржевская?), а потому, что *для меня* у тебя большего нет. Ну, неужели ты отказал бы себе в *сильном желании* провести, например, со мной ночь, поехать куда-нибудь, просидеть лишние 2–3 часа? О, конечно, нет, особенно теперь, когда, ты сам говоришь, она стала равнодушнее. Неужели после недели твоей болезни не остался бы со мной долго, если бы чувст-



вовал потребность в моей близости? Конечно, конечно, – нет. И неужели не находил бы ты лишних вечеров для меня, не рвался бы неодолимо, если бы любовь твоя была хотя немного живее, чем это мертвенное чувство «привычки»?.. Милый Валерий, я поняла смысл каждого твоего слова, которое я называла жестоким. Ты говоришь, например: «Вовсе никакой трагедии нет», или: «Зачем непременно кого-то ждать, зачем искать близости, зачем отводить в своей жизни такое большое место чувству», или: «Не понимаю ни твоих слез, ни горя, ни отчаяния», или: «Мне, правда, нужно сейчас только спокойствие для работы, и я избегаю всего бурного, сильного», – и много, много таких слов, от которых я холодею, умираю внутренне, падаю в отчаянии. Вспомни только – мог ли бы ты так говорить, когда любил Коммиссаржевскую, когда вновь «ждал», замирал, волновался, искал близости *телесной*, равно как и духовной? Так говорить может только человек, который разлюбил. Я потеряла тебя, я утратила всякую власть над твоей душой. Я, может быть, виновата сама, только я сама, потому что отдавала слишком много, так много, что ты перестал ценить и пренебрегал моей привязанностью. Сознание, что я все прощу, что я никогда не уйду сама, что я откажусь от всего только ради самой унижительной жизни возле тебя, – оно развенчало мою любовь. Моя любовь лишилась тайны, перестала быть опасностью, поединком, – а твоя душа не любит кротости, не любит побежденных. И может быть, просто ты пресытился ею, она перестала быть интересной тебе. Если это случилось или случится в твоих отношениях к ней, – все обойдется без трагедии. Она останется все с тобой же, а ты с ней, и Вы будете *невольно* близки. Моя же роль была иная, я была твоей «возлюбленной», и когда это кончилось, я оказалась в смешном и жалком положении. Милый Валерий, подумай над моими словами. С последней искренностью, почти с бесстыдством я обнажаю всю душу, открываю все мои тайные надежды и мысли. Единого слова лжи нет в этом письме, – в этом итоге, признании, полуйсповеди. Я говорю страшные вещи, я пережила уже их остроту, я бью себя уже по омертвевшим ранам, но еще год назад я не могла так даже думать.



Ну, скажи теперь, как могу я ждать тебя, радоваться на тебя, ждать от тебя хотя маленькой «нечаянной радости», когда я знаю, что для меня твоя душа – выжженная солнцем пустыня или мертвая полярная равнина. Все реже и реже я слышу от тебя даже ласковые слова, только слова, которые так легко расточать, и почти никогда, да – никогда уже не вижу того любимого, нежного выражения глаз, от которого все внутри дрожало, пело, замирало от счастья. Посмотри на себя как в зеркало, представь себя со мной! Приходишь и уходишь чужой. Я смотрю на тебя, не смея поцеловать тебя в лоб, не смея протянуть рук и обнять. А ведь ты ласкал меня когда-то, обнимал, целовал, называл ласковыми именами... Забыть ли мне это! Могу ли я перестать тосковать о тех минутах и днях!... Я хожу, как голодный покинутый зверь. У меня глаза горят от этого голода, сохнет и сжимается душа. Ты говоришь, что теперь для тебя настало время работы, что у тебя интересы сложнее любовных, что тебе страшно любви, так как она может мешать работе. И я думаю горестно: Боже мой, да как же может мешать работе тихая нетребовательная любовь? Чего я хочу? Только ласки, только быть где-то в углу в одной комнате, когда ты работаешь, только иногда сидеть, прижавшись к тебе, ласкать твои волосы, целовать руки и чувствовать, знать наверно, что я тебя не тягощу, не противна тебе, что тебе также сладостна моя немая близость. Но все эти «только» и есть любовь... И я хочу любви твоей, и без нее я не могу жить. Ты спрашиваешь озлобленно: «Что же должен я сделать, скажи, – я сделаю». Милый, милый Валерий... Я хочу, чтобы ты чувствовал, я не хочу ни одного твоего прихода без желания видеть меня, ни одного поцелуя без жажды моей близости. И в ответ на это ты говоришь: «Да, но ведь я уже и делаю только то, что чувствую, я стараюсь быть искренним, а ты недовольна и не радуешься на мою искренность». Нет, я довольна... и радуюсь... только... я хотела бы, чтобы и ты искренно хотел всего того, чего хочет твоя любовь... Я знаю твою любовь. Хотя недолго, но ты любил меня, даже отрекаясь сейчас от своей любви. Ты не помнишь, ты любил... Поверь мне. Я помню. И я видела, как ты любил Коммиссаржевскую. Конечно, после шести



лет ни ты, ни я, мы не могли бы любить с бурной страстностью. Но ведь есть другая любовь, и ее ты знаешь, но *и* ее нет в твоей остывшей душе.

Милый Валерий, ты сказал сегодня по телефону: «Надо же кончить эту распря». Так ты называешь наш последний суд. Вот ты выслушал меня, – скажи же, как может кончиться «эта распря»? Ты видишь, я понимаю тебя, я не брожу в тумане, я не безумна и не ослеплена и ничем себя больше не утешаю. Я знаю, что человек *не волен* в своих чувствах, и не жду в безумии, что, прочтя это письмо, ты бросишься ко мне с новыми чудесными возможностями, вдруг восставшими в твоём сердце. Чудес не бывает, даже самых «маленьких»!.. И завтра, и через месяц, и через год ты придешь ко мне *только такой*, – погасший, холодный, полуживой. Одной отвлеченной близости и общности интересов та же недостаточно для жизни вдвоем, как одной телесной страсти. То нежное, интимное, несказанное, чудесное, связывающее двоих в одно, *у тебя* исчезло, и всегда теперь мне будет с тобой хуже, чем с мертвым... Ведь я же знаю, что каждый миг еще могу увидеть тебя живым, но не для меня... И это сознание меня убивает... Ах, как молилась я о твоей любви! Отчего, отчего мне не дана она?! Разве недостойна я? Разве есть и может быть на свете более тебе близкая, родная духовно, чем я? Но, верно, мало этого одного, а *иначе* не нужна, не нужна я тебе.

Морфий и тягучее томительное страдание изо дня в день, из года в год отняли у меня волю. Я не чувствую сейчас себя способной умереть, мне страшно поднять руку и поглядеть в лицо смерти. Мне, верно, суждена длительная бесславная гибель, если я не умру от неожиданной причины, – например, от эфира или «его» (морфия. – *И. Т.*). Так убить себя, будто нечаянно – я способна. Я должна уйти, скрыться из твоей жизни и прекратить все, что тянется сейчас для меня во всех областях. Долго, долго, почти до последних недель, у меня было, даже в самые горькие минуты, чувство неразрывной связи с тобой, и оно помогало переживать большие испытания. Теперь и его нет. Ты отнял. Теперь я как лист сухой, оторванный от ветки, – качусь куда-то бессмысленно – в пустоту, в темноту.



Я уже не могу ждать, звать тебя по-прежнему? Кого позову я? Чужого, разлюбившего, погасшего? Куда позову? К себе... Но ведь тебе тягостно видеть в глазах моих дикий голод, которого тебе нечем насытить...

Я должна, должна отойти от тебя, пока не случилось худшего, пока ты не прогнал меня грубо, озлобленно. А это может случиться. И я уйду от тебя. Прощусь и уйду и не вернусь. Куда я пойду – не нужно спрашивать. Откуда я уйду? Из той жизни, что была жива тобой и твоей любовью и что опустела вся, когда ты разлюбил. Таково мое решение. И не думай, что я буду только долго и мучительно *говорить*. Я сделаю это фактически. Ты увидишь очень скоро, очень... Я все сказала. Теперь я могу только плакать... Валерий! Валерий милый, я любила тебя так глубоко... Валерий, Валерий!! неужели ничего, ничего не стоит любовь? Неужели можно любить и разлюбить, как стало с тобой? Ты любил меня, любил! Очень, очень недолго, может быть, *день*, за все шесть лет, но любил настоящему. Оставь мне хоть это утешение...

Я не буду уже говорить о твоей жестокости, Валерий... Последнее время ты не щадишь меня, ты обращаешься со мной так, как будто я небьющаяся кукла. Но сейчас не в этом дело. К «процессу» нужно прибавить еще лист, и едва ли не самый главный. – Все время, когда я писала, у меня было такое ощущение, что я подхожу, подхожу к сущности, очень близко подхожу, а она от меня ускользает, и я говорю о деталях, не умея их обобщить. Разговор по телефону сегодня вечером был тем, чего так не хватало. Да! Вот что значат, наконец, слова: «Возьми твою любовь – она для меня слишком велика». Ты понял себя. Наступил час, когда ты, сняв целое наслоение различных масок, сам увидел свое лицо – подлинное, данное природой. Может быть, прежде ты бессознательно стремился стряхнуть наконец весь романтизм, не свойственный твоей позитивной натуре, – но он был моден, и тебе казалось нужным играть роль. Иногда тебе становилось совсем нестерпимо в тех формах, что тебя сжимали, как железные, потому что они заставляли тебя делать несвойственные тебе поступки, говорить слова, обратные тем, что сказал бы ты от сердца. Но ты



долготерпеливо «выдерживал стиль» – целые годы... Порой ты уже сам не различал, – где маски, где лицо, какие слова настоящие, какие – ложь. Оттого передо мной было всегда множество противоречивых поступков, слов и признаний. И это все началось с тобой, верно, давно, и только сейчас ты решил «объявиться». Эта «приписка» моя вовсе не отрицает сказанного впереди. Было же время, когда ты действительно знал переживания очень углубленные и чувствования страстно. После ты, конечно, отрекался, но это было, было, – не отрицай! И на предыдущих страницах я говорила о том времени, когда ты сам переживал трагически наши отношения – таким образом, я в противоречия не впадаю. Сегодня же ты с великой откровенностью (хотя и под влиянием морфия, но ведь я знаю, что «он» не смог бы заставить говорить ни чего-нибудь вовсе неожиданно, ни «против себя») признался мне в истинной сущности твоего отношения к действительности вообще и в частности – ко мне. Твои слова произвели на меня почему-то потрясающее впечатление. Говорю «почему-то», так как ты ведь не сказал чего-нибудь уж очень неожиданного, и я сама могла бы сделать *такой* вывод из твоих слов за последние полгода. Но было страшно слышать чудовищные признания от тебя самого, так же непонятно страшно, как приговор к смерти из уст врача хотя бы больному, на выздоровление которого уже никто не надеялся. Ты знаешь, может быть, такие чувства, и потому мне можно извинить резкий взволнованный тон. То, что ты говорил, мне казалось невозможным, чудовищным. Именно хотелось повторить «чудовищно, чудовищно»... Так сказал бы всякий, слышавший твою речь, обращенную *ко мне*. Если бы ты говорил это кому-то, всякому, *кроме меня*, твои слова имели бы другой смысл. Но обращенные *ко мне* они становились чем-то непостижимым, неслышанным. Теперь, когда у меня несколько улеглось волнение, я хочу понять, *что* именно хотелось в твоих словах назвать мне словом «чудовищно». Я не способна на одни бессмысленные, злые, истерические восклицания. Если я говорю или в волнении «восклицаю» – все, каждое слово для меня имеет серьезное значение. И я могу объяснить тебе и себе также мое волнение, мою обиду



и значение тех слов, что ты, вероятно, так и считаешь «выкриками». Видишь ли, Валерий, – и я уже не прежняя, и я менялась, и я *изменилась*. Все со мной было на твоих глазах. Я ничего не умела и, главное, не хотела скрывать. Я *не та*, что шесть лет назад. Но любовь моя к тебе, привязанность, преданность углубились за годы, просветлели и поднялись на большую высоту. Не буду хвалить себя, не буду рассказывать в чем, как, где, – ты, верно, видел и знаешь сам. Но только было бы до смешного мало сказать, что «я отношусь к тебе серьезно или что моя любовь занимает большое место в моей жизни». Я отдала тебе все – всю душу, все чувства, всю нежность, преданность, все, до чего я была способна подняться, – словом, все богатство и всю нищету моей души. Ты стоял в центре всей моей жизни, *все* в ней было подчинено тебе, все горе ее и радость исходили от тебя, все начиналось и кончалось – *Тобой*. С годами это усиливалось, я не боролась, не хотела бороться, мне казалось прекрасным отдать тебе себя *всю*, и я отдала... А ты брал, Валерий. Ты, несмотря на все то отношение твое ко мне, что описано на предыдущих страницах, не мог прогнать меня совсем и много, много раз говорил (я помню, один раз в Париже, в какой-то церкви мы сидели очень уединенно, и ты говорил, что любил меня, и умилялся до глубины души моей любовью перед отъездом твоим с ней, и даже в тот вечер прощания, когда бросил меня в переулке около квартиры Богородских. Вспомни твои слова!.. И они были не единственные за шесть лет... что любишь «мою любовь», преклоняешься перед ней, ценишь ее и отвлеченно, как что-то художественно-прекрасное, цельное, и *как любовь к тебе*. Одним словом, ты *признал* мое чувство и, даже не будучи в состоянии отвечать на него вполне, всегда ценил, как умел берег, уважал. И ты, конечно, видишь и знаешь его неизменность даже сейчас. Понимаешь ли ты теперь, какое оскорбление наносишь ты мне, говоря все то, что выслушала я сегодня? Ты только подумай... Вот ты изменился, ты «пуст и легкомысленен в жизни», ты говоришь точно те слова, что с отвращением услышала я однажды в споре кутящих «доцентов», тебе не нужна ничья глубокая и серьезная привязанность, ты сам



не чувствуешь глубоко и ищешь от жизни и от женщины легких безответственных забав. Ты отдаешь себя и хочешь отдавать только творчеству, твоя душа слишком мелка и тесна, чтобы вместить искусство и любовь как два благодетельные, творящие, созидающие начала, и женщина для тебя отныне – субретка, кокетка или наседка – «Матильда», одна из тех, что не многим располагает, но не много и требует – в частности, та, которая с тобой сейчас: – ведет в относительном порядке дом и кухню, заказывает тебе обед, выполняет приказания, касающиеся всех нужных тебе материальных удобств, оберегает, насколько способна, тишину твоего кабинета, «представляет», если понадобится, ложится по первому зову с тобой в постель, когда ты почувствуешь себя мужчиной, – вот, кажется, и все, что от нее требуется. Она же желает: быть женой знаменитого поэта (хвастается этим перед родными и знакомыми), принимать «хороших людей» в гостиной «с люстрой», наряжаться по вкусу («не хуже людей») и иметь, когда ей это нужно, под боком «мужчину» – получать свои законные супружеские ласки. До твоей души, до твоего творчества ей мало дела, анализировать твое отношение к ней ей *нечем* и *незачем* – птичий мозг не вместит таких тонкостей, да и к чему – ведь всегда будешь спать с ней, жить в одной квартире, пить и есть за одним столом – в этом ты поклялся, это обещано твердо. Мое существование особенного горя по разным причинам ей, верно, не причиняет... да и видала она примеры твоих многолетних связей, – к ней же возвращался. Такова жизнь твоя с ней, конечно, в самых общих чертах, как я ее наконец стала представлять с твоих же слов. Я не помянула о минутах разных ваших интимностей, – этого мне никогда не узнать, – но, верно, они очень легки и просты, и отдавать *душу* им не приходится. Эта женщина сейчас *с тобой*, так сказать, «в силу исторического своего значения», но если бы ты был сейчас один и свободен, то ты искал бы другую «Матильду». И я понимаю тебя. Ты хочешь быть искренним перед самим собой, тебе надоели маски, ты их изорвал и выкинул, ты точно родился во второй раз. Но... воспоминания, Валерий? Их ты мог вымести из памяти? Ты помнишь, знаешь *меня*?



Ты слышал, ты видел, ты знаешь, что я не ищу ни конюхов, ни гимназистов, ни монахов? Ты знаешь мою любовь к тебе? Ты видел, какой трагический смысл внесла она во все мое существование? Ты видел, Валерий!...

И если так, то каким же оскорблением были для меня твои мысли, желания и слова!... Ведь это значит, что ты плюешь на все прошлое мое и настоящее, предлагаешь мне «вернуться самой к себе спиной». Предлагая новую жизнь и новые отношения, ты нисколько не считаешься со мной как с человеком, как с равной себе.... Настаивая, чтобы я признала непобедимость твоей всяческой связи с ней и чтобы я ее уважала, преклонилась как перед Роком, перед этими чувствами, – ты в то же время хочешь, требуешь от меня, чтобы я по капризу твоему, в угоду твоим желаньям вывернула наизнанку всю мою душу. Ведь ты говоришь мне вот что, – каждый день, каждый час, каждую встречу: «Ну, поиграли в трагедию, и довольно! мне весь этот романтизм, вся эта истерика – надоели. Твоя роль отныне совсем иная! Хочешь быть моей непритязательной любовницей, настолько непритязательной, чтобы я не чувствовал ни малейшей внутренней ответственности, чтобы ты была мне только развлечением, на сколько часов я хочу, чтобы твой внутренний мир не был никак связан с моим, ибо все души равно с их чувствованиями мне надоели смертельно. Хочешь быть со мной так, чтобы я приходил неизвестно откуда и уходил неизвестно куда, не зная также, – откуда приходишь и куда уходишь ты, ибо мне совершенно не нужно интимной близости ни с одним человеком на свете?!.. Хочешь, чтобы я отдавал тебе часы, абсолютно свободные от всяких дел, но лишь тогда, когда я предложу тебе их сам, не считаясь ни с твоей тоской обо мне, ни с твоими желаньями? Хочешь жить со мной жизнью, совершенно не похожей на прежнюю, ибо я сам не прежний, жизнью, лишенной всего того, что ты бы хотела от меня получить, потому что желания наши больше не совпадают? Хочешь быть со мной вообще, в те минуты, когда я захочу, не выходя из начертанных мною пределов? Хочешь быть «моим удовольствием», бессловесным, безличным существом, с которым я могу болтать в часы досуга,



которому я могу иногда уделить минутку-другую на постели, без драм, без трагических гримас, без слишком обширных требований? Хочешь встречаться со мной в свиданьях «легких», не волнующих меня, никак, даже косвенно не мешающих моей кабинетной работе (в духе «доцентов») и непременно забыв все прошлое, потому что я насмеялся над «романтизмом» и «исступлением» в стиле Пшибышевского, и еще потому, что мне не нужна даже новая, как ты говоришь, «просветленная», «самоотверженная» и «поднявшаяся на большие высоты» любовь? Таковы мои чувства, изменить я их не могу, и таковой должна быть моя жизнь». И я понимаю, Валерий, что все эти желания и требования ты мог бы предъявить *новой женщине*, новой любовнице. Так, конечно, прямо не говорят, но люди понимают друг друга без слов, и уверяю тебя, – множество, большинство женщин только так и «любят», и такую, подходящую тебе сейчас, женщину в стиле «доцентов» – забавную и легкую – найти очень немудрено. И, понимая насквозь твои желания и требования, она не скажет себе: «Вот чудовище!» Любовь, на какую ты способен сейчас, – такая ходячая стертая монета!.. Я не хочу обидеть тебя этими словами. У тебя (а впрочем, и у «доцентов») есть ей оправдание. Ты обручен с искусством, ты отдаешься только творчеству, ты хочешь выходить из своего кабинета только за легкими удовольствиями, потому что все сильное, большое (ты думаешь) может отнять тебя у искусства, – и в этой мысли (мне кажется, ложной в корне своем, ложной по существу) – твое оправдание.

Но *мне, мне*, Валерий, разве легче от этого сознания?!.. – «Новая женщина» пойдет на такой зов. Трудно ли без любви, без привязанности поиграть с знаменитым поэтом?! Даже лестно!.. Но как, *как* можешь ты идти ко мне с подобными словами, с подобными желаниями. И это чудовищно!!.. Что же ты думаешь обо мне? Ты сказал сегодня: «Желание видеть человека может быть так сильно, что *все равно* будешь стремиться к нему». Нет, – поздно и невозможно, Валерий! Измениться, переломиться в основе своей, вырвать и изменить чувство, которое и есть *моя душа*, я не могу, даже если бы захотела. Ты почти



гордишься неизменностью некоторых твоих чувств, ты не устаешь повторять: «Чувств переменить не могу». Почему же ты презираешь меня? Как смеешь ты так презрительно думать обо мне?!.. Мои «требования» сокращались с каждым годом; может быть, это дурно, но я не стыжусь моей уступчивости. Я, любя тебя, расставалась с надеждами, я видела невозможность в твоей душе и смирялась перед ней, желая быть только твоей радостью. «Мои требования» сократились до такого предела, который предначертало мне уже чувство собственного достоинства. За ним уже начинается полное унижение, которого не вынесет и не вынесла бы ни одна женщина (если она любит), особенно на глазах у *другой*. Ты знаешь, *чего* я спрашивала во внешнем, – это *ничто* в сравнении с тем, на что имеет права всякая, которую любят, и ты знаешь, какого сближения хотела я во внутреннем?! Разве может мешать работе и искусству та любовь, что я тщетно отдавала тебе, – «возьми, возьми, Валерий!» А вспомни твои ответы в последние недели и дни: «Да, может быть, я не отрицаю, но *мне* не нужно ничьей близости, ничьей нежности, заботливости, интимной слиянности. *Мне* не нужно, благодарю...» Я не знаю, можно ли больше отойти в тень, можно ли хотеть большего подчинения другому, как я, возле тебя! А *что* нужно мне было в ответ, без чего мне было так больно, больно встречаться с тобой?! Мне нужна была нежность, похожая на ту, что видала я в твоих глазах в счастливые дни, маленькое внимание *ко мне*, несколько ласковых слов (не машинальных только – «милая Нина, – твой Валерий...») и еще *доказательства во внешнем*, и сознание, что ты щадишь меня *так же, как ее*... Ты боишься сейчас «исступления, безумий, трагических переживаний»? Но, клянусь тебе, – я не хочу их так же, как ты!.. Я мечтала *иметь возможность* дать тебе тихое успокоение за работой, помогать тебе, где и в чем могу, – и только в награду в эти вечера быть поблизости, откуда-нибудь из угла смотреть на твой склоненный над столом профиль. Я говорю все, все. У меня ничего не осталось недосказанным, кроме темных, полубессознательных мыслей и чувств, кроме того, чего ни один человек даже при страстном желании не выскажет



другому. И мне не стыдно моих признаний. Так говорит любовь... В эту неделю, не видясь, мы быстро дошли до какого-то конца. И я думаю, Валерий, – если ты, видя мою душу до дна, как прозрачный источник, видя всю мою любовь, и тоску, и отчаяние вечно оскорбленного чувства, – не можешь сказать ничего, кроме *сказанного сегодня*, если ты, видя, как я гибну, изнемогаю без того *во внешнем*, о чем умоляла тебя в словах и без слов полтора последних года, – все же *не даешь*, – значит, ты действительно не можешь. Я не могу считать тебя «зверем», образцом беспредметной жестокости и мучителем по призванию. Я знаю, ты очень добр и, верно, мучишь меня невольно, потому что *просто не любишь*, **разлюбил**, *охладел*, не хочешь моей близости... Твои слова сегодня непростительны. Ведь нужно же думать, *кому и что* мы говорим. Ты не должен был произносить их с такой легкостью *передо мной*. Разве я не поняла бы тебя без этой лишней жестокости надо мной?

Я чувствую себя ужасно. Так, вероятно, чувствуют себя люди, вложившие все имущество, все сбережения, сделанные ценой невероятных лишений, в банк, в предприятие, которое лопнуло безнадежно. Во мне пустота, точно кто-то меня ограбил дочиста. Ах, как поздно было бы в 31 год, истратив все чувства, потеряв все возможности, думать о «новой жизни»!..

Но я не собираюсь жить!..

«Суд» кончился, Валерий, и осуждена – я...

1911

11 февраля 1911 г. Москва.

Милый Валерий,
теперь уже действительно все между нами кончилось, и у тебя не должно быть сомнений. Ты сделал мне признание, первое настоящее искреннее признание, которое, наконец, объяснило мне все мои недоумения за семь лет жизни с тобой, которое осветило ярким светом те события



и факты, что ты много раз пытался называть разными именами, всеми именами, кроме настоящего. Не знаю, зачем ты долго таил от меня эту единственную истину твоего ко мне отношения. Если бы ты сказал мне так прямо, как сказал наконец, то, верь, меня давно уже не было бы в твоей жизни, и не было бы у тебя тех неприятностей и мучений, которые связывались со мной. Я сейчас хочу только проститься с тобой. Проститься печально и ясно, чтобы изгладилось в твоей памяти впечатление кощунственных слов моих последней встречи. Пойми, Валерий, это состояние души, эту боль, которая ослепляет все чувства и исторгает против воли безумный стон или крик. Ты знаешь хорошо «лики любви» и знаешь, что иногда проклятье равно самой нежнейшей ласке. И еще хочу я, Валерий, чтобы, прощаясь со мной навсегда, ты понял меня так же глубоко, как, наконец, поняла твои чувства я. Ты связан с той женщиной инстинктивным, темным, стихийным чувством. Я такое чувство называю любовью; особенно наблюдая его семь лет во всех реальных проявлениях, я пришла к выводу, что *для тебя* – это самая настоящая любовь и во всей полноте ее, на какую ты только способен. И рядом с признанием в любви и неизъяснимой привязанности к ней ты сказал совсем просто, что меня не любишь совсем, что ко мне у тебя чувство, которое можно назвать как угодно, только не любовью в обычном человеческом значении этого слова. Ни нежности, ни близости, ни слияния личных интересов, ни влечения, ни желания видеть (как близкую), ни одного элемента того, что я называю любовью, у тебя ко мне нет. «Я бы желал, – сказал ты, – жить, как я хочу, своей жизнью, с женой или без нее – все равно, быть, где я хочу, ездить, куда хочу, и если я пожелаю тебя видеть, прийти к тебе, чтобы говорить о том, о чем мы можем говорить». Так ты сказал...

...Я понимаю, Валерий, что можно женщину разлюбить или не любить вовсе и уйти, – это просто, естественно, честно. Но неужели ты сам не понимаешь, как чудовищно, как неслыханно жестоко твое предложение мне подобных «отношений». Или ты не знаешь, как я тебя любила, или ты забываешь, что и у меня есть живая душа, которая так



же способна страдать, так же чувствительна к обиде, так же хочет ласки, близости, нежности, тепла, как и ее душа, в которой ты все это признаешь? *Что предлагал ты мне?* Нечеловеческие отношения, отношения, уже невозможные между нами потому, что я-то тебя люблю, и все, что ты у меня отнял для другой, стало причиной вечной, неутихающей боли. Тебе, который любит другую и у которого эта простая потребность радости сближения с кем-то родным и милым удовлетворена вполне, конечно, не трудно было бы иногда приходиться ко мне «поболтать», прочесть стихи, рассказать о новой книжке... Но мне... как могу я с вечной тоской по тебе, с вечным острым голодом в сердце равнодушно встречать тебя, радостно видеть тебя, соединенного с другой, отдавшего все, чего я так страстно хотела от тебя семь лет, – другой... Видеть тебя в моей жизни случайным гостем и знать, что жизнь твоя устроена с другой женщиной. Знать всегда, что у меня ты гость, а там муж, любовник, хозяин дома... Довольствоваться ничтожной подачкой, что падает с ее стола, знать всегда, что «там» ты отрекаешься от меня, готов каждую минуту отказаться от меня, лишь бы избавить ее от минуты огорчения, всегда, всегда жить со взором, прикованным к вашей тайной для меня жизни, видеть вас вместе утром, вечером, за столом, за книгой, в постели, – близких, родных, любящих... и жить от встречи до встречи в пустоте, в холоде, в одиночестве, с вечной неисцелимой завистью, с нестерпимой мукой ревности, обиды, униженности, сознания, что я для тебя *ничто*, а она – близкая, милая, жена... Возможно ли это! Подумай, подумай, Валерий, *кто* согласился бы сказать себе: «Хорошо, я принимаю это, я соглашаюсь со всем, и отныне моя жизнь будет такой»... Все чувства – и человеческие, и женские – были бы поруганы этой жизнью. И пойми, она была бы возможна лишь тогда, если бы *и я* любила тебя столько же или, лучше сказать: не любила бы тебя так же, как ты меня. Ты мне предлагал ту форму отношений, что у меня уже есть с Сережей. Но ведь пойми, – Сережу я разлюбила давно, и Л. Д. (Рындина. – И. Т.) не отняла у меня в нем ни мужа, ни любовника. С Сережей мне бывать *так* легко, потому что ничего другого, ничего того, что он отдает Л. Д.,



мне не нужно. И только поэтому создались эти «идеальные отношения» мои с ним. Но ведь во всякой более или менее молодой и способной любить душе совершенно понятна потребность в иных чувствах, и вот тому пример: ни Сережа, ни ты, – Вы не удовлетворяетесь «идеальными» отношениями со мной и имеете иное. Так почему же я, почему я должна, задушив в себе живую простую человеческую любовь, довольствоваться этой бескровной, безжизненной, замороженной дружбой? И как могу я это, если душа полна воспоминаний о других твоих чувствах!.. Ведь все мои желания – такие естественные и простые, – только потому оказываются почти преступными, что они не совпадают с твоими. Ведь *ей* ты позволяешь говорить, что ты один ее жизнь, ее обиды от моего присутствия тебе больны, ее желание быть, например, с тобой совсем вдвоем летом тебе не кажутся безумными и чрезмерными притязаниями. Ее забота, ее ласка, ее потребность в твоих ласках и заботах не тяготят тебя, потому что тебе это приятно и нужно. А как же могу я согласиться на то, что ты мне предлагаешь, когда я знаю, что все мое личное, интимное, нежное не нужно тебе и тяготит тебя. И неужели не понимаешь ты, что все эти простые и насущные проявления и желания любви, когда их будешь стараться давить и душить, заострятся, как иглы, и вопьются в сердце вечной обидой и болью. Ах, как хочу я, чтобы понял ты это! Только понял... Тогда не будет у тебя этого жестокого выражения глаз, тогда ты пожалеешь меня настоящей хорошей жалостью. Ты знаешь, у меня грудь разрывается от этой жажды отдать тебе всю мою нежность, все тепло, всю ласку и ласковость, которые прежде так были тебе нужны. И я хожу точно проклятая, когда ты не ласкаешь, не жалеешь, не хочешь быть близким со мной. Как я задушу все это, чтобы с ясным, спокойным лицом и душой принять ту холодную, бескровную, отвлеченную дружбу, что ты мне предлагаешь!? Да ведь эти пределы, что ты поставил, это сознание, что «пределы» *только для меня*, а с ней ты живой, любящий, – это убивает всякое живое, непосредственное проявление. Быть с тобой и думать каждый миг: «Ах, не сказала ли я чего лишнего, не слишком ли я интимно себя веду, не навязчива ли



я, не неприятно ли ему, что я его поцеловала, не сидит ли он сейчас только потому, что видит в моих глазах скрытую тоску»... Можно ли это, Валерий, принять как жизнь, как способ жизни или форму ее? С нечеловеческим мужеством сказать себе: «Те радости, без которых жизнь для меня равна смерти, – не для меня. Их он отдает *ей*, отдает от всего сердца, и сказал, что я должна о них забыть». А потом вернуться к жизни, работать, бывать с людьми, смеяться, существовать, видеться с тобой, точно ничего не случилось?.. Так? Ты думаешь, что можно *так*? Ты думаешь, что мою душу можно ломать по всем направлениям, и она все-таки останется живой?.. Положить на мои плечи такое горе, миллионной доли которого не вынесла бы она, и думать, что смогу приходить на твои зовы? Валерий, дорогой мой, мне ничего от тебя не нужно, и больше не делай для меня даже самого малого, я об одном прошу тебя с тоской – постарайся понять *невозможность* того, чего ты от меня хотел. Скажи сам, в глубине себя, что ты говорил о невозможном. В этом признании твоём я нашла бы последнее горькое удовлетворенье. Осуди себя сам за эту минуту нечеловеческого ко мне отношения. Можно разлюбить человека совсем, можно никак не ощущать его в своей жизни, но *понимать*, хотя умом только, особенно зная о нем все, – разве уж это невозможно?! Ты сказал мне: «Но ведь без меня тебе не будет лучше?» И с усмешкой прибавил: «Конечно, нет, – так почему же тогда мне не приходить?» На эти слова я отвечаю тебе совсем чистосердечно. О, конечно, мне без тебя ужасно, и я не знаю, *как* я буду жить без тебя и даже смогу ли я это... Но и *с тобой* после твоего признания в любви к другой я тоже не могу быть. Твой вид, каждое твое слово, эта безнадежная твоя окаменелость, лишь только ты оказываешься рядом со мной, и сознание, что все мне нужно, желанное, все, без чего моя жизнь – одна сплошная темная ночь, отдано другой, сознание, что я *должна* держаться в пределах и не смею из них выходить, сознание, что все *мои* проявления любви к тебе в твоих глазах только жалки, безобразны, смешны или тяготят тебя, и вечная необходимость душить в себе малейшее движение живого чувства, чтобы вдруг не оказаться вне пределов, поставленных



тобой, – все это так ужасно, так оскорбляет меня и мою любовь, причиняет мне такую раскаленную острую боль, что создать хотя какое-нибудь подобие отношений при этих условиях я не могу, не могу и не могу... Тогда ты скажешь: «Ну что же делать? Что надо делать?»

Ах, как странно это спрашивать! Что может *делать* человек во время катастрофы, разбившей все его существование? И как научить его *сделать* что-то гармоническое, стройное, годное к жизни, из элементов его горя!..

Конечно, я говорю тебе: «Уйди» – не на радость себе и не думаю, что с твоим уходом «все устроится прекрасно». Я говорю тебе «уйди» в отчаянии и остаюсь в отчаянии. И знаю, что если опять позову тебя и ты придешь, – не будет ничего ни нового, ни хорошего, и вновь начнется бесконечная мука. И я уже не могу желать, чтобы длились эти мучения встреч. Даже самые горькие наши встречи имели смысл, пока что-то выяснялось; а в душе вопреки всему жила у меня надежда, которую ты сам вызвал к жизни, и я думала: «Нет, он сказал мне – не верь, если я даже буду говорить, что не люблю тебя, потому что мы *не можем* расстаться, – я это узнал навсегда, как единственную правду о нас». Но теперь?.. Какие у меня могут быть надежды, если ты говоришь с безжалостной правдивостью: «Да, я люблю ее, а не тебя». И поверив этому ужасу, как могу я *на нем* построить хотя что-либо с тобой?!

Милый мой, ведь есть же минимум желаний и требований, без удовлетворения которых жизнь одного из двух становится каким-то сплошным поруганьем и униженьем. Ты знаешь это, – ведь ты же все время старался, чтобы было хорошо ей, а это значило *давать* ей то или иное. Мои желания и требования сократились до последних границ, за которыми уже мне только оставалось увидеть, что ты мне *ничего* не хочешь дать. Я говорила тебе о том немногом, что нужно мне для жизни. Ты ответил просто и ясно: «Я не могу тебе дать *даже этого немногого*». – Что же остается мне? Опять просить, ждать, умолять, биться о каменную стену? Нет, *нам* говорить о какой-либо «нашей» жизни уже невозможно. Я все сказала, все, все!.. Теперь осталось бы повторять.



И я говорю тебе «уйди» для тебя и для себя. Тебя это избавит от тяжелых свиданий и разговоров. Мне твой уход выяснит все, что должна я сделать. Пока ты «как-то» еще, но все же приходишь и я хотя в 2 недели раз слышу твой голос, у меня, конечно, невольно создается ощущение, что ты еще здесь, еще «как-то», но со мной. Без тебя совсем, когда затихнут твои шаги и голос, когда не останется даже наших призрачных «дел», когда опустится надо мной полная тьма, когда одиночество из всех сил сдавит сердце, я смогу умереть. О, я ничего не жду, никаких утешений. И у меня не было оставлено «хода на случай», как у тебя и Б. Н. (Белый. – И. Т.). Моя гибель несомненна, – я думаю, это тебе даже виднее, чем мне. Без тебя у меня кончается всякая связь с живой жизнью и людьми, без тебя я лишена даже единственного утешения – способности работать. Я не выйду никуда из зеленой комнаты, а долго ли можно проработать так, – это решится само собой. Ах, верь только, Валерий, что я не говорю ни одного преувеличенного слова.

Ты же знаешь обо мне все, и ты знаешь также, что бывает с душой, у которой действительно отняли то, чем она была жива. Я не хочу твоей жалости, я не хочу, чтобы ты делал для меня хотя что-нибудь, сцепя зубы, без сердца. Да «что-нибудь» от тебя я взять не могу. Потому оставь меня, предоставь меня моему горю, гибели и судьбе. И не бойся, я не позову тебя. Мне незачем больше звать тебя. Я знаю теперь правду и против рока идти не могу. А позвать тебя для встречи, какой была последняя, – даже для такой встречи не могла бы позвать я тебя, потому что мне больше нечего узнавать и «выяснять». Бог знает, как люблю я тебя, милый, милый Валерий.. Во всякий час твоей тихой радости или работы или скучных обязанностей, во все часы, дни и месяцы, пока я буду жива, я буду томиться мечтой возле тебя. Я никогда уже не утешусь, и не буду даже искать утешений. Я смотрю прямо в стеклянные глаза моей погибели и знаю, что она меня не минует. Ведь теперь я остаюсь всецело «с ним». Душу мою и тело с полным сознанием предаю его губительной власти. И только думаю – Боже мой, зачем я узнала тебя!.. У меня было все, чтобы жить, у меня



были возможности жить достойно, а я валяюсь на земле, как раздавленный твоей ногой червяк! Мне так тяжело, Валерий, я едва кончаю письмо. Прощай же, мой дорогой, милый, единственный! Прощай, моя жизнь, моя душа, моя единая, вечная любовь. Я становлюсь перед тобой на колени и благодарю тебя за все доброе и жестокое равно. Благодарю тебя за жизнь и за смерть, за то, что ты был со мной, за то, что через тебя я познала настоящую любовь. Простись со мной и ты нежно. Я почувствую твою отдаленную нежность острее, чем самый страстный поцелуй. Прости меня! Прости все твоей бывшей Ренате...

13 февраля 1911 г. Москва.

...Ты говоришь, что я написала все то, «о чем не раз уже говорила тебе». Что *иное* могла бы сказать я? Да и не считала я сама мои слова «новыми». В том письме я *прощалась* с тобой. Прощалась сознательно, не хотела, чтобы ты думал, будто я решаюсь на это «в исступлении». *Новое* было в *твоем* признании или, лучше сказать, в *прямоте* твоего признания. Я не могла не догадываться, что ты чувствуешь, как тогда *прямо* сказал: «Слепо, инстинктивно, безрассудно привязан к ней» и «Тебя не люблю уже давно». Но ты почему-то на все мои мольбы сказать, наконец, правду, не украшая ее, как фоб цветами, сказать со всей жестокой откровенностью, – всегда отвечал схоластически, подменивая имена, ускользая, прячась за ничего не значащими, но в то же время такими словами, которые еще не отнимали последней возможности как-то быть около тебя и желать удержать тебя в своей жизни. О, Валерий, за одно укоряю я тебя с великой скорбью, с печалью и жалостью к самой себе, напрасно погубившей около тебя хорошую достойную жизнь, которой, может быть, еще нашлось бы место на земле, – я укоряю тебя за то, что не сказал ты этого так же давно, как почувствовал. Только эти две фразы, произнесенные тобой в четверг, в любой миг оборвали бы все нити, связывающие нас, тотчас бы перерезали, как ножом по живому телу, все, все! Клянусь тебе, что это правда! Я умоляла тебя: скажи, скажи прямо: «Я люблю ее и не люблю тебя», – ведь я ушла бы, не оглянувшись, от этих слов в серд-



це мгновенно умерли бы, как сейчас, как в ту минуту, что ты их произнес, – все надежды, все возможности, вся вера и вся жизнь, и будущее, и настоящее с тобой. Ты сказал их слишком поздно. Из эгоизма, из сознания, что «все же без нее я почувствую, может быть, какой-то минус», ты держал меня. Да, да, держал, я утверждаю это! Об этом говорит все прошлое: гнал и возвращал, осторожно подыскивал слова, чтобы они выражали и твои настоящие чувства, и позволяли мне еще во что-то верить, обманывать себя иллюзией, что у тебя все же есть ко мне нечто такое, чем стоит дорожить. Ну, Бог тебе в этом судья! Верно, душа у тебя такая – темная даже перед самим собой, вероломная и себялюбивая прежде всего.... Благодарю тебя и за то, что ты, утруждая себя, написал слова, много раз тобой сказанные. Да, я поняла... «Cura... Amor» (забота... любовь. (лат). – И. Т.)... Прекрасные отвлеченные термины для того, что ты выразил уже яснее и проще: «Люблю ее, любовью темной, инстинктивной, слепой, и не люблю тебя». На все это письмо твое могу ответить опять же прежними словами, ибо других у меня нет и не будет: «Я приняла бы всякие горькие для меня перемены, всю жестокость этих перемен и с благодарностью брала бы *самое малое*, если бы знала, что *ты таков теперь вообще, что таковы твои чувства вообще, что ни к кому другому ты не можешь чувствовать большего и что никого другого, получающего от тебя страстно желаемое мною, – у тебя нет. Ах, Валерий, да разве при долгих многолетних связях говорят друг другу люди о своих переменах друг к другу!*» Нет, они, любя прежде страстно, потом *вместе и одновременно* меняются. Их чувства вступают в иные фазы, может быть, не менее прекрасные, чем пережитые, их души срастаются, и у их взаимных чувств создается помимо их воли бессмертная душа, которую нельзя убить. И все это, при условии любви в прошлом и настоящем (хотя бы давно ставшей *только* «Амогом») совершается гармонично, ясно, безболезненно. Так любили друг друга мои отец и мать – двадцать лет *неизменно*, хотя менялись они оба, менялись дни, возрасты, вкусы, желанья.... И так ты любишь твою жену... Ведь не влюблен же ты после 15-и лет брака? Нет, ты не влюблен, – *а любишь*. Любил,



и любишь, и *будешь любить, весь измененный*, потому что настоящая любовь бесстрашно, и ничего не утратив в существе своем, пройдет целый ряд превращений. Меня же ты не любишь и, верно, никогда не любил, и обманулась я, приняв влюбленность и страсть – минутность, игру чувства, – за любовь. Виноват ли ты? О, конечно, *в этом* ты не виновен. И грех твой, тяжкий, неискупимый грех передо мной и перед Духом Святым, – не в том. Ты «соблазнил» меня самым страшным и прекрасным соблазном, единственным для моей души, – обещанием любви. И *зная*, *зная* наверное, что *любви* у тебя нет, говорил, что она есть, и манил, и обещал, и вел все ниже, ниже по длинному ряду ступеней, пока не привел к стене, в полный мрак, в безнадежность, в яму, где наконец сказал, что *обязан* был сказать еще много лет назад, и оставил одну. Последний раз ты говорил мне с брезгливостью, с пренебрежением, с мелочной досадой: «Ты целый час мне говоришь о своих страданиях, ведь так никаких нервов не хватит». А если бы ты действительно представил все, что ты со мной сделал, может быть, ты не произнес таких злых, дурных слов.

В твоём письме, где ты все-таки еще уверяешь меня в какой-то возможности быть с тобой, – ты очень обстоятельно говоришь мне о том, *каковы* твои чувства *ко мне*, и не говоришь главного... Если бы ты только для пробы написал рядом с этими словами то же признание, которое сделал мне *о ней*, и рядом со всеми минусами для меня поставил плюсы *ей*, – я думаю, ты сам бы понял, что говоришь о невозможном. Почему у тебя не хватило на это смелости? Почему ты всегда так темен, боязлив, неправдив? Ведь ты же знал, что *все равно* эту половину твоей «правды» я мысленно припишу сама. Почему же ты не сказал: «Хочешь быть рядом с моей любовью к ней, хочешь быть, *зная*, что все это нужное тебе есть у меня *только не для тебя?*» Ведь ты же говорил это в последний раз? Почему же не повторил для большей, для окончательной ясности? Не хватило духу? Ну, Бог с тобой! Это все я добавлю *за тебя* и, перечитав такое, полное письмо, скажу: «Нет, Валерий! Я не могу тебя позвать, я не могу с тобой быть, и мне нет больше пути к чужому мужу и возлюб-



ленному (в полном смысле этих слов...). Я давно говорила тебе, о, как давно, – произнеси только это признание. Скажи ясно, просто, простыми, последними по точности словами, скажи только одно: «Я люблю ее и не люблю тебя». Пойми, мне уже теперь все равно, как ты любишь ее и как ты не любишь меня. Может быть, ты стал бы доказывать с твоим пристрастием к схоластике, что любовь к ней менее ценна и прекрасна, чем нелюбовь ко мне. Все равно! Довольно мне путаться, изнемогать от этих цепких и ускользающих понятий. «Люблю ее и не люблю тебя» – в этом конец. Конец всему, связанному в жизни с тобой, и смерть. Не думай, что если я могу писать такие длинные письма и говорить с тобой – то это значит, что я не ушла от тебя, что я хватаюсь за последний способ поддержать с тобой связь. Все, бывшее между нами, было очень сложно, и души у нас сложные, и, может быть, только благодаря этой сложности так затянулся самый «суд». И так я окаменела от горя, что сейчас говорю о нас как о посторонних, – с удивительной ясностью понимая, с отчетливым, каким-то нечеловечески отчетливым сознанием, и такое у меня чувство, что я призрак без тела и души, что я проникаю в самый ужас, как тень проникает сквозь стекла.

Поверь, Валерий! *теперь* кончено все. Я не могу себе даже представить, как позвала бы я тебя!.. Эти слова, как говорят, «вырыли пропасть» – и воистину я вижу, чувствую, измеряю всю беспредельность этой пропасти. Ах, как легко тебе было во всякий миг оттолкнуть меня безвозвратно. Стоило только произнести это признание. И когда бы за семь лет ты ни сказал эти слова, – в тот же миг мы были бы разорваны навсегда. Поверь в это! Поверь! Почувствуй! Ощути! – скажи себе: «Да, ее, Нины, больше со мной нет... ее навсегда уже нет»... Зачем ты опять напрасно обидел меня словами: «Что тебе нужно от меня, скажи, – я исполню. И если ты прикажешь, чтобы я исполнил что-то против своего желания и чувства, исполню и это»... Зачем так говоришь? Мне ничего не нужно от тебя, который *любит* другую, а против желания и чувства я не взяла бы от тебя ничего никогда, даже во имя спасенья от смерти. Зачем эта обида!? Разве ты не знаешь



меня больше... «Начать с тобой новое» – т. е. постараться создать, выстроить какое-то здание из элементов моего горя и унижения, «вернуться самой к себе спиной», выкинуть, как старую тряпку, *эту* мою душу и где-то взять другую, чтобы уже с ней начать твое «новое», – видишь сам, для меня *невозможно*. Я ответила тебе на все больше чем подробно. Сознание мое ясно, решение окончательно и абсолютно. Если ты по примерам прошлых «ссор» будешь думать, что все это «уладится» и пройдет и я тебя позову, то только напомню тебе, что *это* признание ты сделал первый раз за все 7 лет, а потому и примеры прошлого для сравнений не годятся. Только события и время покажут тебе, *что* случилось в четверг 10 марта (скорее всего 10 февраля. – И. Т.) 1911 г.

Ты видишь, я больше не надоедаю тебе рассказами о «моих страданиях».... Если в какую-нибудь минуту из тех дней и вечеров, пока я живу в моей комнате, ты – далекий уже навсегда – вдруг вспомнишь меня, представишь меня себе и почувствуешь сердцем, *как* живу я теперь, – ты узнаешь *больше*, чем когда я *говорю* о себе, а ты слышишь только надоевшие *слова* и нестерпимо удручающий нервы звук печального, рыдающего голоса... Больше мне нечего сказать тебе, Валерий. *Простила*сь я с тобой в том письме, и нежность его строк прими как мой последний поцелуй мертвому тебе...

Март 1911 г. Москва.

...все тот же соблазн бросаешь ты мне на прощанье, волнуешь замученную душу словами: «Я хочу быть с тобой». Да, «все сказано, все известно», а ты кончаешь этими словами: «Хочу быть с тобой». – Ты видел, Валерий, я без жалости к себе истребила все иллюзии и рассталась даже с самым прекрасным и дорогим обманом, который давал мне жизнь. Теперь же я хочу разбить и последний соблазн, который, не знаю зачем, бросаешь ты мне на прощанье. Дай мне пять минут твоего вниманья. Не бросай письмо «с мелкой досадой», ведь я говорю не о мелком.... Ты говорил, что, отказываясь взять твою «близость», какую ты предлагаешь сейчас, я отвергаю настоящую ценность,



нетчто <так!> прекрасное и большое. Помнишь, говорил? Мы любили друг друга, Валерий, и ты давал мне твою любовь. Теперь ее нет, и ты говоришь: «Возьми близость, интимность, давнее пониманье». Но знаешь ли ты, *что это значит для меня?* Действительно ли ты хочешь этого со мной? И о том ли ты говоришь, что понимаю под этим я? Разве между нами было хотя *что-нибудь*, когда приходил ты последнее время? Разве это была «близость», когда я не знала «ничего», ни твоей внутренней жизни, ни внешней, – *ничего* о тебе? Приходил неизвестно откуда и уходил неизвестно куда. «Прощай, теперь мне надо уйти. Дело одно... Вечером же занят. Прощай». Может быть, это было именно так, но разве друзья, близкие люди обращаются так друг с другом? Приходил озлобленный, молчаливый, что-то таящий в сердце, – я холодела, когда ты входил в комнату. И *это* близость? Ты говорил совсем недавно, что я «единственный близкий тебе человек». Это правда? Значит, тебе меня жалко терять? Да?... Я люблю тебя, как никого, никогда не любила. Все «чувственное» давно уже выжжено в моем сердце большим постоянным страданьем, да и никогда, никогда оно не было главным. Я в тебе просто все люблю, все понимаю, угадываю без слов, готова жить и жила для тебя, быть тебе нужной, полезной, самой близкой, самой родной среди людей. Знаешь ли ты это? *Вполне* ли ты знаешь это? И если знаешь, если видишь, то тебе должно быть жалко бросать такую привязанность? Ты сам говорил, что не знаешь, «как бы жил без меня», – недавно говорил. Мое чувство могло быть какой-то мистической силой твоей, радостью, поддержкой в жизни холодной и трудной. Но ведь это все можно или взять и *пользоваться*, или *отказаться* совсем – да, быть жестоким до конца, до предела, сказать: «Ты *не нужна* мне *вся*». И когда ты говоришь: «Хочу быть с тобой», – я должна понимать, что ты хочешь *взять* меня, мою душу, и не потому, что этого *хочу* я, а потому, что это нужно *тебе*. Ах, Валерий, столько пережила я, так изломана, разбита, замучена, что *ради этого*, кажется, могла бы жить и тихо радоваться. Но я знаю, что говоря: «Хочу быть с тобой», – ты говоришь *даже не об этом*. Подумай, ведь нельзя жить одними *словами*, принять



слова и ничего больше не ждать!.. Если ты назвал меня «самой близкой», отчего же ты не пришел однажды, в эти страшные смутные дни как к «самой близкой»? Как к сестре, к любимому другу, и не сказал живых, хороших слов? Во мне нет ничего, что стояло бы *между нами*. Ты не хочешь со мной (или вообще) страстной любви и страстных сближений... Но ведь *вместе* нас убивал морфий, и я договариваю со всей искренностью: «Ведь и мне кажется, что из моей души *точно вырезали пол*». И мне сейчас, по крайней мере, не было бы жестоко и трудно жить без «этого»... И *теперь* между нами могло возникнуть новое, прекрасное сближение. Ведь не противна же я настолько, что ты не можешь взять ничего *из души*, которая заключена в человеке с моим лицом и телом (конечно, об этом смешно говорить, и *для тебя* это не доказательство, – но я говорю сейчас тебе *все*, и скажу – : даже теперь, сейчас есть *двое* людей, которые хотят меня страстно и один серьезно, может быть, надолго, как мы, люди, говорим: «Навсегда». Не думай, что я «хвастаюсь» или лгу...). Нет? *Этого* нет? И разве не могли бы мы подойти друг к другу после даже этих тяжелых дней просто и ласково? Но спроси себя, что это значит – «хочу быть с ней», – самообман это или сознательный обман *для меня*, последнее твое утешенье от доброты твоей? И вдруг я обманусь еще жесточе и увижу, что *за словами* не было ничего? И что это было только каким-то поруганием моих воспоминаний, моей любви? Ты понимаешь, что нам можно *быть*, если это твое сердечное желанье, а не снисхождение ко мне, и если ты *хочешь*, хочешь, чтобы я была тебе среди людей близкой, родной. Пусть даже есть у тебя сейчас другая любовь, пусть ты бываешь «в раю», в эти ночи, когда я о тебе сейчас плачу, – почему ты не расскажешь этого мне *как самой близкой*, и почему ты не говоришь мне о жизни «дома», *с ней*, и обо всем, что есть и было, как самой близкой *сестре* твоей? Разве, если бы ты это мог, – не влекло бы тебя ко мне? По-новому, по-другому, – но разве не влекло тебя к вечной нежности, вечной ласке моей, к этой любви просветленной, которая сумела встать сама над собой во Имя Твое? К этой любви светлой, страдальческой, одухотворенной, для тебя сгоревшей? Разве не хочется



тебе так довериться хотя одному человеку на земле, который так любит, так любит тебя? И разве не было бы тогда у тебя сознания, что ты себя», когда ты приходишь ко мне? *Так и только так* понимаю я нашу «новую жизнь», «новую близость». И если *ты* этого хочешь, если хочешь всем сердцем и *веришь* в нее, в эту близость, и в меня, – я брошусь к тебе навстречу, забыв всякую гордость, я буду благодарно целовать твои руки, и приходи тогда в любой миг, в любой час, я встречу тебя нежно, со всей ласковостью, с радостью, со счастьем. Разве было бы мне что-нибудь страшно или оскорбительно, если бы я *знала все о тебе*? Разве свелись бы тогда наши встречи к бесцельным минутам в одной комнате, когда страшно говорить и страшно молчать? Вот, дорогой мой Валерий, ты видишь агонию моей души, вот в страшной муке рождается в ней что-то светлое – из огня и слез. Я переживаю такие муки, что внутри меня то все горит, то умирает и леденеет. Я бьюсь на песке, как рыба, – в ужасе она глотает воздух, смотрит в знойное небо безумными глазами... Это кризис любви, перелом ее – видишь ли ты меня? Знаешь ли ты, что нет невозможного в любви. И вот эту душу мою, всю светлую, чистую, всю твою, в которой нет ни одного помысла *не о тебе*, в которой живешь ты один, – я отдаю тебе еще раз! Возьми ее, владей, распорядись ею!.. Но *хочешь ли ты? Хочешь ли?* Ведь в этом, в *новом*, я не могу принять лжи, обмана... Я не могу взять *одни слова*, бездушные, ничего не стоящие, бездеятельные!.. А вдруг ты только утешал меня и вовсе не хочешь со мной никакой жизни в днях, в движениях, в ее событиях!.. И хочешь иметь меня как «хорошую книгу» для библиотеки – иметь, поставить на полку, занести в каталог, знать, что она есть, и никогда или раз в год брать в руки? А живая жизнь тебе со мной *не нужна*. И если ты скажешь: «Хорошо, я беру все, что ты предлагаешь, будем опять вместе, пусть настанет наша «новая жизнь», а на другой день ничего, *ничего* не изменится... Ты придешь с пакетиком в руках (почему-то так было каждый день), с мертвым лицом, мертвой для меня душой, придешь и уйдешь, не глядя в глаза, которые ждут *тебя*, тебя живого, близкого, который говорил бы о себе



все и хотел бы знать обо мне все?!.. И уйдешь с особым пренебрежением, как ты уходил, – неизвестно куда, к кому, не желая знать ничего обо мне... Милый, я бьюсь об тебя, как о камень. Если у тебя есть сейчас что-то очень яркое, новое, другая женщина, и любовь, и счастье – и тебе *ни до кого* нет дела, – скажи мне это. Разве я буду тогда удручать тебя собой, просить чего-то для себя? Иди тогда с Богом, будь счастлив, я, может быть, сумею радоваться на твое счастье. Ах, скажи, если это есть! Скажи! Признайся, разве это будет жесточе других признаний!? И если *нет*, тоже скажи мне.

Милый, милый, ты не отдаешь мне моих писем и, может быть, когда-нибудь они будут жечь тебе руки, когда меня не будет вовсе, и когда ты будешь читать, как звала я тебя, как тосковала, томилась, как любила тебя...

Валерий, дорогой, ты видишь, – я перешла уже через всё, через все униженья, через все горькое, ужасное; все это точно уже позади, и я в другой стране. Оттуда откуда-то новым голосом, с новым лицом и душой я говорю тебе: милый, вот я! Видишь, *какая я*, видишь, что я вся жива тобой одним – дай мне жить или прикажи умереть. Скажи, что и это неправда, что никакой «повой жизни», «новой близости» не будет, не может быть, и чтобы я не ждала. Ты мне оставил последний соблазн: «Я хочу с тобой быть», – я взяла его, подобрала это крохотное зернышко, как драгоценность, и хочу посадить его в землю, чтобы выросло оно, как новое дерево, как живое растение. Мне не стыдно после всего писать тебе это письмо, и опять звать тебя, и опять говорить все, предлагать, отдавать. Я не «капризничала», «не ломалась», я жила страшной жизнью эти дни, шла по каким-то ступеням, умирала и оживала от звука твоего голоса, от прикосновенья рук. Господи! ведь видишь же ты, милый, меня, мою любовь, мою душу, видишь, слышишь, *чего я прошу* теперь... И еще раз оттолкни или позови. Посмотри вглубь себя, спроси себя – можешь ли ты начать со мной «новое», как говорил сам. Или нет, уже не можешь ничего, – тогда прикажи мне умереть. Ты видишь, ты не можешь не видеть, что я все же живу одной надеждой *быть с тобой*. По-другому, по-новому, – но быть с тобой.



Я скажу тебе «мои планы» будущего, и верь, милый, так не лгут, и я не лгу и на этот раз не раздумаю.

У меня есть срок, я обещалась, поклялась Сереже, который, ты знаешь, в сущности, говорит теперь одно: «Умри, мой Нин», но просил очень «в силу разных соображений». Так вот, у меня есть срок, верный, точный, и дни на счету: до страстной субботы. Я хочу этот день, эту ночь. Помнишь ее 6 лет назад? Я говорю это спокойно, как все проигравший, все потерявший человек. Зачем мне жить, если не будет тебя со мной? Для того, чтобы впрыскивать морфий и утратить подобие свое, образ человеческий? Или чтобы писать в «Утре России» рассказы и рецензии? Или чтобы ходить в гости к Зайцевым и Ивановым? Вот в эти недели до Пасхи (поверь, я не обману тебя! я сейчас хочу сказать тебе все о себе, все, все, что думаю), после моего рождения, когда мне исполнится 32 года (от 17-и до 25 с Сережей и от 25 – до 32 с тобой – только не ровно, а какие-то месяцы больше или меньше с тобой или с ним), оно будет в конце марта, – сознательно и просто я сделаю это, тихо и без эффектов. Я знаю, ты не придешь, ты скажешь: «Умри», – и это письмо я пишу, чтобы вырвать последний соблазн. Я знаю – ты или промолчишь, или ответишь так двусмысленно, опять щадя меня от резких слов, так в то же время безусловно, что я махну рукой. И об одном прошу тебя. Милый Валерий – *приди*, если можешь дать то, о чем я говорю, – *если можешь* прийти ласковый, близкий, с открытой навстречу мне душой, с *острым желаньем* остаться со мной, быть со мной, удержать меня *для себя*. Но если слова «я хочу быть с тобой» ничего не значат или значат, что должно настать прежнее мученье, холод, отдаленность, замкнутость и ничего не перемениться, и ты не можешь, не в силах пробить эту ледяную кору, если ты сознаешь это и уже хочешь взять назад слова «хочу быть с тобой», потому что я понимаю их иначе, *чем ты*, – тогда скажи только: «*И этого с тобой я не могу*». Больше уже мне нечего будет попросить у тебя. Вот последний раз стою у твоих дверей и стучу в них. Осталось у тебя мало?.. Или *ничего* не осталось? Я больше не знаю... Я несу тебе все, что могу, я сломала себя для тебя еще раз и смиренно прошу: дай



это другое, меньшее, иное, чем прежде, дай, если можешь сказать, что слова «хочу быть с тобой» не утратили значения. И верь еще в одно: если мы *согласимся* (если будет это чудо) – не бойся, что я *обману*, буду мучить, требовать невозможного, и верь, что я зову тебя *не в новый ад*. Если придешь, поверь мне с первого слова, с первой минуты, и будем *оба* иные, чем были.

Валерий, зверочек милый, неужели ничто не дрожит в твоём сердце от этого письма?!

Неужели ты способен принять его как «ловушку», западню, хитрость? Ты видел меня, я едва голову поднимаю с подушек, я падаю от горя, и *за все это*, за все, что делалось со мной возле тебя, через тебя, – у меня нет к тебе злого, мстительного чувства. Какого-то ребенка – кроткого и нежного – нашла я сама в себе, и эти чувства – искренние, беззлобные, чистые, простые – отдаю тебе от всего сердца.

И теперь только прошу одного – или возьми их, или отвергни *всю, всю* меня, прогони жестоко, бездушно, прямо и не оставляй больше соблазна. В твои руки я отдаю всю себя – мою жизнь возьми и скажи – *быть ей или нет*. В твои руки отдаю мое «будущее», – пусть будет теперь Воля Твоя.

Не сердись, дорогой мой, любимый мой. Тебе грешно на меня сердиться, я страдаю очень...

Апрель 1911 г. Москва.

Твое письмо – это пощечина мне, после которой ты уже никогда не увидишь меня близко. Я помню первую пощечину, – настоящую и единственную за всю мою жизнь, – удар по лицу от любимой руки... Ее я пережила и никогда не напоминала тебе этой минуты ни оскорбленно, ни враждебно, потому что это было безумием, порывом ослепшего в экстазе чувства. Письмо же твое было ударом рассчитанным, обдуманым, и каждое слово его направлено только к одной цели – унижить, оскорбить, как можно больше изранить незащитную сейчас душу. Ни одно из этих оскорблений не отвечало на написанное мною. Ты все время повторяешь о моем «настойчивом требовании», и на этом выражении строишь дальше твои недостойные обвинения и подозрения. Я же не только ничего не требовала, но наобо-



рот: *все отвергала*. Все твои предложения, все сомнительные чувства «третьего сорта» и все унижительные условия так называемой «новой жизни» я *отвергала окончательно*. И если мой отказ был написан на 12 страницах, а не в двух словах, то лишь потому, что мне хотелось сказать на протяжении всю горькую правду и о прошлом, и о настоящем.

Было страшно читать эти строки, сквозящие самыми непристойными подозрениями, унижающими прежде всего самого же тебя. Так, Валерий!.. Моя любовь в течение семи лет была вовсе и не любовь, а упорное стремление ничтожной женщины удержать знаменитого любовника и иметь в глазах общества хотя и не законное, но определенное и завидное положение твоей «фаворитки». Любви не было!.. Была лишь жестокая семилетняя борьба за те преимущества, что давала связь с *célébrité* (знаменитостью (*фр.*) – *И. Т.*), – смесь тщеславия и корысти... И теперь ты рассуждаешь так! она чувствует, что все сорвалось, и ставит на карту даже жизнь, чтобы «устроить 20 дней, как ей хочется, и провести их с *Валерием Брюсовым*»... А нужно мне это, вероятно, для того, чтобы еще сколько-то времени *поддержать* иллюзию нашей связи в глазах общества рассказами об этой интимной поездке. И с гадкой улыбкой, с дерзкой иронией ты задаешь мне еще вопрос, который жалит меня, как холодный и скользкий гад: «Неужели же ради человека, которого ты называешь ничтожным и полусумасшедшим, ты готова рушить твою жизнь, и может быть, не одну твою?» Что я должна сделать? Оправдываться? Перед человеком, который за семь лет близости со мной не увидел ни преданности, ни жертвы, ни самой бескорыстной любви?.. Оправдываться я не могу и не хочу... Я скажу тебе только, что ты *лжешь*, приписывая мне слова, которых я не говорила. *Так* я не называла тебя. Я говорила с болью о твоей перемене, искала всюду ее причин – во внешнем, в душе, везде, и свеликой горечью делала разные предположения. Говорить же искренно и интимно, не скрывая ни одной мысли, ты сам мне позволил.... Бог видит мою душу!.. Я любила и люблю тебя, но никогда бы не ответила на вопрос «*за что?*», ибо любовь *не может* этого знать. Сумасшедшего, нищего, преступного, лишившегося



таланта и морального чувства, – я любила бы тебя равно и желала бы *не только 20 дней, но всей жизни и навсегда.*

Если же ты не верил и не веришь в это и подозреваешь, что все мои страдания и моя гибель только *от звериного страха* потерять в жизни «*Валерия Брюсова*» вместе со всеми преимуществами связи с *сййбритй* и *от обманутой корысти*, то я не могу уже разубеждать тебя, ибо мы говорим тогда на разных языках и органически чужды друг другу, как жители разных планет. Я думала, что ты любил меня и *потому* в годы нашей близости *считался* с моими желаниями, и мне казалось, что мы *совпадали* в наших *вкусах*, желаниях и чувствах, как всегда бывает в любви... Но оказалось иначе!., ты «подчинялся моим требованиям» сцепя зубы, был в долголетнем рабстве, пока не сказал себе наконец: «Я больше не в силах жить так». Этими словами ты отнял у меня даже воспоминания, и я вижу перед собой чужого человека с темной и лживой душой, который неизвестно зачем столько лет вводил меня в заблуждение и путем лжи овладел моей любовью и всей моей душой. Твоя пощечина горит у меня на лице, и осмеяна, поругана, закидана грязью моя любовь.

Думаю, что теперь тебе ясен мой отказ, и ты избавишь меня от новых оскорблений.

Только как насмешку и издевательство принимаю я после всего тобой мне сказанного, после всех недостойных обвинений и подозрений твой зов опять в конце твоего письма и обещание «соблюдать *minimum*»...

Ни от *единого* слова моего прошлого письма *не могу* я отказаться и удивляюсь, *для чего*, собственно, ты меня в этом «заклинаешь»? Довольно, Валерий!... Ты волен меня оскорблять, пользуясь моей беззащитностью, волен назвать еще позорным, уличным словом меня и мою любовь, – и до этого уже один шаг... Но Бог видит мою душу, и я сама знаю мое страданье и мою жизнь. И *эту* жизнь мою, приведенную *тобой* к гибели и всем мучениям, и все *возможности ее*, о которых я тебе писала, я предпочитаю «новой жизни» с тобой, – пощечинам, унижениям, издевательству над женщиной и человеком.

Прощай и будь счастлив ценой моей гибели!..



Весна 1911 г. Москва.

...Вот настали дни, когда ты на страстную мою жажду последней правды отвечаешь всей искренностью чувств и слов. Ничего больше не таишь, не стараешься меня утешить, ничего не боишься и говоришь прямо, безжалостно, жестоко – *как я прошу*, чтобы ты отвечал. Да и пропала необходимость «смягчать» мое горе, потому что тебе не страшно, как было прежде и даже еще недавно, – *потерять меня*. Многое из того, в чем ты сознавался недавно так безжалостно, – было *правдой* целые годы, и я не знала. Это ты скрывал потому лишь, что не хотел меня терять и пытался примирить *две правды*. Быстро, чудовищно быстро исчезло в этот последний год твое чувство ко мне, и слова, которые были невозможны еще два месяца назад, – стали возможными...

Так, 11-го марта, на другой день твоих именин, ты сделал мне признание – первый раз в 7 лет – *в любви исключительной, непобедимой, слепой инстинктивной привязанности к твоей жене*. А перед этим говорил, что можешь мне дать лишь «немногое», и другие страшные, чудовищно страшные, невероятные для меня слова. Но, верно, еще все могла я пережить, кроме последнего признания!.. И я решила уйти, порвать с тобой все и расстаться навсегда. Я позвала тебя *только* «по делу» – в этом клянусь тебе. И ни одного мига не думала, что эта встреча поведет «к жизни»... Ты веришь, Валерий? Я клянусь тебе самым святым, – это не было хитростью, что я позвала тебя. И только *ты, ты* первый стал говорить опять о личном. Ты подошел, сел ко мне близко, поцеловал в губы... Я не могла противиться этой минуте, – ведь я всегда хочу твоей ласки, и только в самом озлобленном состоянии могла бы ее оттолкнуть. И я не видала тебя одиннадцать дней, тосковала, мучилась, мне снилось много раз, что ты подходишь и целуешь, – и эта минута была похожа на какой-то печальный мой сон. Ты говорил со мной ласково – может быть, тебе было меня жалко... В самом звуке твоего голоса была для меня горькая радость, которой так трудно было себя лишить, раз ты уже пришел. *Когда?* Это повторилось бы?!.. – Никогда больше... И я не говорила тебе «уйди»,



хотя в душе не было даже искры надежды, и ни о каком будущем *с тобой* не думала я в те минуты. Вечером ты позвонил, днем сегодня еще пришел... Я очень больна... У меня ослабела и воля. Я не могла решиться сказать по телефону: «Не приходи». И это было нужно, чтобы ты пришел. Опять разговор о *личном*. Ты или я его начали – не знаю и не помню. Я не буду спорить, если ты скажешь, что начала я. Но сегодня я поняла еще глубже, еще безнадежнее необходимость нашего разрыва и благодарна горькой благодарностью этому свиданию. Я *знала* все, Валерий, и до сегодняшнего дня, и ты не сказал мне ничего нового, кроме разве *точных* дат того времени, когда в душе твоей умерло то, что соединяет две жизни – мужскую и женскую, две души их, два тела – той особой, несказанной, единственной в мире близостью, без которой теряет смысл и становится внешним, ненужным, пустым и холодным их соединение, которому тщетно, тщетно подыскивают благодарное, красивое и безобидное имя.

Ты сказал мне, ты признался в этом, я помню, еще в начале декабря этого года и сегодня *только повторил*, правда, в очень безжалостных, жестоких и прямых словах, но *сущность* была мне известна и раньше.

И знаешь, как страшно иногда бывает: кажется, все понял, все ясно, все восприняли ум и сознание, но все это точно формально, точно еще не ощутил самой интимной, самой сокровенной частью души, и не страдал еще вполне, каждой каплей крови, не трепетал каждым нервом еще от этой боли... Только сегодня, когда ты так «простодушно» сознавался мне и так «по-детски» отвечал на вопросы, от каждого ответа на которые точно били душу железными прутьями, – так только сегодня, Валерий, я почувствовала, *что это значит* для меня, и увидела уже вполне всю невозможность каких-либо отношений между нами.

У тебя в душе умерло ко мне то, что весь мир во все века называл и будет называть: «любовью». Мы, говоря сегодня, точно не находили слова. А оно просто, и нет другого – *любовь*. Она бывает великая и совсем маленькая, прекрасная, цветущая и уродливо больная, вся изломанная, она бывает *на всю жизнь* и *ненадолго* – на обычные людские



сроки, – она бывает полумертвая и еле дышит в сердце, – но пока *она жива*, – ее проявления нельзя смешать *ни с чем другим*, такую радость разливают они в жизни и такая тьма наступает в ней, когда гаснет последний маленький луч. До этой осени *она была* еще в твоей душе – бледная, больная, еле живая, умирающая, дышащая «на ладан», – но она была, и она подсказывала тебе те движения, поступки, выражения голоса и глаз, которыми я дорожила с последним страхом, с безумным страхом потерять...

И когда угас этот последний луч, – ты взглянул на меня мертвыми страшными глазами и мало-помалу сказал все те слова, которые можно было сказать, не имея искры любви в сердце. Милый, милый Валерий! у меня нет к тебе ни злобы, ни вражды. Я говорю с тобой сейчас с тоской, с мукой в душе, я умираю от боли, но нет у меня зла. И вот так – нежно, любовно, ласково я скажу тебе, напому тебе – вспомни все эти слова! Припомни их!.. *Что* переживала я, слушая их! Я умирала перед тобой много раз... Каждое из них отрывало кусок живого тела, каждое наносило неизлечимую рану. Я стояла перед тобой, как перед единственным счастьем моей жизни, как перед человеком, которому Бог дал власть распоряжаться всей моей судьбой, всей мной до последнего дыхания, до последней капли крови. Я стояла перед тобой совсем беззащитная, я жила одной мыслью – быть желанной тебе, быть достойной тебя, быть такой, какой бы ты меня захотел взять, быть твоей собакой, рабой, вещью – чем угодно – *только желанным тебе, чтобы ты захотел взять*, иметь, чтобы ты как-нибудь позволил быть около тебя, – хотя совсем отказавшись от себя, – лишь бы ты чувствовал, ах, чтобы чувствовал то, что умерло теперь навсегда. Я переродилась, я переломала себя всю, я вся стала *твоей, для тебя, о тебе*, я не знаю, *чего* не сделала бы я еще и еще – внутри себя, вне себя, – лишь бы ты хотел меня, лишь бы удержать *то*, что умерло теперь. Все дни эти были горьким мученьем, непрерывным страхом и тоской, тоской по тому, что уменьшалось, исчезало, словно таяло на глазах. Ах, Валерий! Дорогой, дорогой мой! а ты приходил распинать меня на кресте и каждый день вколачивал какой-нибудь новый гвоздь. Ты говоришь теперь: «Я был



искренен, а разве искренность сама по себе не ценность, разве она тебя не радовала?» Радовала твоя искренность!! «Я не люблю тебя больше, у меня к тебе осталось *немногое* только, мне для тебя все трудно, у меня умерло к тебе то, чего ты хотела и хочешь», – радоваться ли? *Мне* радоваться на такую искренность! Благодарю тебя! Пусть будет больней! Еще, еще больней!.. Я вспоминаю их все, сказанные тобою когда-то. Помнишь? – «шар мой, шар золотой!» – да, «твой шар золотой» наконец выкинули в помойную яму, как ненужную больше игрушку...

Прости меня! Прости, Валерий! я не сказала бы без морфия всех этих слов. Но они мои – это мои мысли в долгие, смертельно холодные пустые ночи, когда я зову тебя, кричу тебе в темноту. Валерий! Зверочек! Любимый! Приди! Вернись! Проснись! Скорее приди! Ты знаешь, ты слышишь, ты знаешь, какое у меня горе! *Ты меня покинул!* Так любить и *так* быть покинутой! Милый мой, не гневайся на меня. Я никогда больше не посмею повторить ни одного из этих слов, никогда больше...

Я не гоню тебя... *Я не гоню*, но *ты* оставь меня, предоставь меня моей судьбе. Ты не можешь прийти, каким я тебя буду безнадежно ждать, до самой моей смерти. *Тот* умер для меня. Может быть, кто знает твою таинственную, скрытную душу, – может быть, сейчас ты любишь кого-то. У меня не идут из ума твои новые нежные стихи... *К кому* они обращены? Слишком живы они, чтобы быть бестелесной фантазией, и, может быть, в эти дни, когда я тоскую и умираю, ты бываешь счастлив где-то, в каком-то раю ты проводишь странные вырванные часы, когда тебе кажется, что вы «чета теней»... Может быть... Разве я узнаю, *что* сейчас радует, опьяняет и мучит тебя. И если так – будь счастлив, Валерий! Будь счастлив еще раз, если можешь...

9/22 июня 1911 г. Берлин.

Милый мой зверочек!

вот видишь, я еще все в Берлине, и страшно подумать, что завтра опять в вагон и 22 часа ехать в III-м классе без сна, с такой смертельной усталостью. Помнишь, ты пробыл



два дня, день в Москве и после был болен неделю? Я совсем, совсем больна... О, если бы я знала, как будет мне трудно *все, все* решительно, до малейшего движения, я не поехала бы *ни за что*. Я думала, я бессознательно была уверена, что я почти прежняя, разве *чуть-чуть* слабее. Но увы! У меня *вовсе* нет сил, и все эти дорожные хлопоты просто убивают нас обеих. Ведь, конечно, есть в лечебницах и клиниках люди, которым трудно дойти до соседней комнаты. Что же удивительного, если мне трудно делать эту дорогу, эту длинную, бессонную, томительную и для здорового дорогу. Боюсь думать, сколько энергии и сколько сил потребуются от меня, от нас впереди. Ах, зачем, зачем я поехала такая больная. Берлин точно еще утомил. У нас отвратительная безвоздушная комната, стучат весь день, с 7 утра. А во дворе – кухня. Нельзя открыть окна, температура 25 градусов, а на улицах сигары и бензин. Но если бы не прожили здесь этих трех дней (!!), я не в силах была бы ехать *вовсе*. Ну просто лечь, закрыть глаза – и оставьте меня *все!* А что дальше? Что в Люцерне? Опять нет комнат, опять без сна... Ах, зверочек, просто плакать хочется, как больному ребенку. Не могу я ничего, ничего. Мне только лежать у себя в норе на мягкой постели и... Ну, не надо тебя печалить!.. Ты сам сейчас почти такой, *ты* поймешь. Сереже этого говорить нельзя. Ни мыслей, ни чувств у меня – ничего, пустота, и такая, такая усталость...

Как ты, мой дорогой? Неделю уже не знаю о тебе ничего, и перед глазами только одно впечатление – как расставались у вагона. И твой пульс, твое сердце – жив ли ты? Еще эта тревога!.. И все тревога, тревога... Не знаю, может быть, я отдохну, приду в себя, когда будет воздух, когда не нужно будет торопиться, бояться, страдать от каждой мелочи. Тогда я напишу тебе хорошее, хорошее письмо. А за эти все прости меня. Надя мрачна, устала, еле говорит, – тоска!.. В этих письмах я отдыхаю хотя на миг, точно ты близко, точно говорю с тобой, мой зверочек. Сейчас и любовь моя лежит где-то на дне без сил, бледная, безжизненная. Спать! Спать дни и ночи, неделю, две, – тогда я приду в себя, и все найду, и всем овладею опять. Слов для тебя не нахожу. Люблю только, горестно, горько люблю!..



Не сердись за эти письма. Такова сейчас я, или просто меня нет, а только одно утомление говорит эти пустые, бледные слова. Прости, милый, и пойми, пойми, как понимаешь всё....

Пиши о себе всё. Боже мой! хотя одно письмо – *настоящее, твое*, – после долгого, долгого кошмара!. Неужели ты опять другой! И все это снилось, виделось мне в бреду моих лихорадок?

Обнимаю, целую тебя. Глазки твои нежные, черные, любимые целую, целую... Пиши, пиши, не оставляй меня одну, в тоске. Я уже *не могу* страдать. Я просто умру, если еще вернутся страшные дни. Живи, не хворай, береги себя – для себя, для меня, для жизни...

19 июля/1 августа 1911 г. Гельсингфорс.

...Ну, зверочек, самая странная встреча была в Петербурге. Я все же поехала в Северную гостиницу. Около этих вокзалов такие «номера», что войти страшно. Один петербуржец в вагоне – старик – ни за что не советовал тут останавливаться. «Сбежите через час», – говорил. Поехали в Северную; оделись, пошли в зал есть. Вдруг Надечка с круглыми глазами говорит: «Нина, да ведь это Сережа!» Да! Сережа... Он только что с поезда из Лондона, случайно по делу в Петербург. Сережа обмер. Ведь он *ничего* не знал. Последнее письмо он имел еще из Интерлакена. Ну, конечно, все, что можно, рассказала. И когда миновала радость *моя* (я все же была ему очень рада), я вдруг почувствовала с ясностью, что эта встреча ему скорее неприятна, несмотря на милые слова, проступала такая кислая хмуристь, что к концу дня я совсем расстроилась. До слез почти... Было много неуловимых и тонких штрихов, по которым я видела, что он, может быть, предпочел бы этой встречи не иметь. Не буду тебе рассказывать... Может быть, когда увидимся. Сейчас трудно и грустно мне слишком. Конечно, он был усталым от 3-х недель в Лондоне, конечно, я не могу рассчитывать на прежнее, но можно, можно было быть ему другим. Надечка *за меня* обиделась на него. Ну, да довольно об этом. Только странно все-таки так встретиться.



Зверушка, зверушка! хочется мне воскликнуть в пространство, *туда*, в то страшное мое *туда*, где теперь ты, и, сложив руки, только смотреть, смотреть на тебя без слов... Запомни! Сбереги! не отдавай себя никому... *Не желай* этого! Ведь перед каждым *моим* желанием я должна молить, только об одном, – чтобы *ты*, чтобы *и ты захотел* того, чего так страстно хочу я. Я узнала, поняла, что *все*, все – и счастье, и горе – только в *твоей* душе. Не во внешнем, не от событий, а в глубине *тебя*... Милый, милый! я вспоминаю недавние дни с тобой *здесь* как *лучшее*, как более прекрасное, чем прошлое в этих Святых местах. И потому меня не ранят воспоминания, что связаны здесь с каждым камнем и перекрестком. Они мягко и нежно встают в памяти, они *прекрасны*... Но *после* было лучше, глубже, и только *после*, пережив эти огненные годы, узнала свою любовь и... может быть, твою. Но как странно! Верно, душа стала *больше*, и от этого все кажется *меньше*, чем было в памяти...

Ты ошибся во времени и попал прямо на дачу? Боюсь думать, боюсь тебя представить, боюсь тебя вновь увидеть... Валерий! Валерий мой!.. Сбереги все, сбереги меня!.. Сбереги душу твою такой, какой я ее люблю... Не отдавай ее враждебной *ей же* стихии, победи злые влияния!.. Разве не хочешь ты больше меня? Разве не узнал ты наконец чего-то *верно*, прочно, навсегда!... Видит Бог мою душу! Я не хочу ничего разрушить, не хочу быть «злой силой», не хочу быть твоим «камнем на шее»... Я хочу только одного: чтобы *ты захотел* меня... навсегда... или *ее*... Разве нельзя жить, не ломая внешнего и в то же время сделав выбор *раз навсегда*? Нельзя, Валерий? Мне страшно очень, очень! У меня болит сердце при мысли о нашей встрече. Напиши мне, скажи *правду*, не жалея меня! Ведь ты *уже знаешь*, какой она будет. Гораздо хуже мне будет приехать, храня в душе твой недавний образ, и вдруг понять, увидеть, без твоего признания, что это был опять «сон», ложь, может быть *невольный*, но обман чувств. Скажи! напиши! Тогда поеду навстречу горю... встречу его не прячась, если мне уже суждено погибнуть. Ты знаешь ведь... теперь и *еще раз* мне не вынести и не дожидаться новой твоей перемены.



И не хочу больше перемен!... Даже сталь, и та становится ломкой, хрупкой, негодной, если ее попеременно опускать то в жар, то в холод...

Боюсь писать тебе все те слова нежности моей, которые еще не отзвучали в сердце. Кто будет теперь слушать их? Ты ли? Ты ли мой, тот, кого я видела так недавно, или уже другой, чужой, ее муж?.. О, прости! прости меня, милый, и пойми этот безумный страх! Ведь так уже было однажды... И только ты же можешь заставить меня забыть ту встречу, осенью, после Парижа. Я больше не могу просить тебя ни о чем. Я видела, что значит, когда ты хочешь, и могу хотеть только одного: чтобы ты захотел меня. Тогда будет все. Придет просто, ясно, естественно, как сама любовь. О, как пьяны мы были в час расставанья! Я скоро опомнилась, и было такое чувство, точно тебя вырвали у меня из рук. Оно есть и сейчас. Вырвали, оторвали, взяли, отняли!... Прошло все опьянение, лишь только исчез поезд. Осталась одна тоска, она меня совсем придавила. Я не спала всю ночь и так безумно тосковала в Петербурге, что едва не поддалась соблазну ехать в Москву. Наденька убедила меня, что так хуже.

Ужасно было плохо в Петербурге. Там все напоминало тебя болезненно. В зале Северной гостиницы я почти плакала, по коридору, по лестницам не могла пройти без боли. Едва пережила этот длинный день до 11 ч. – до поезда. И Сережа еще... его гораздо больше чувствуешь другом на далеком пространстве, а когда он рядом, – иногда он ужасно неловок и не умеет касаться чужой души, не причиняя какой-то ненужной боли...

Ну, зверочек, я кончаю письмо. У меня еще в голове все кружится от дороги. Надечка уже спит. А под окнами адский грохот. Здесь дома строят и ночью... Негодяи! Точно по голове стучат их топоры.

Прости за это письмо... Я боюсь, боюсь писать все, что хочу. Ведь я пишу его, только получив две телеграммы, в которых так мало тебя. Если я получу от тебя такое письмо, какого бы хотела, если мы встретимся близкие еще более и нежнее, – о, я скажу тебе многое, многое, что думала после этих дней. Ведь для меня они были настоящим



чудом, воскресеньем. Я нашла тебя в ту минуту, когда уже считала погибшим навсегда. Я еще не поняла, не успела почувствовать... У меня еще в сердце тревога и недоверие, и радость не может еще их победить. Зверочек мой! Милый мой! если бы ты захотел быть *со мной*... Мы могли бы так хорошо жить! Не забывай! Не забудь, что ты сам это признавал и говорил. Не забудь. Не отдавай себя!., не отдавай тому, кто этого даже не может и *взять!*

Обнимаю тебя! Тоскую по тебе! Вспоминаю, как вечером, ночью мы оставались вместе, одни, близко... и протягиваю руки... в пустоту... К тебе они тянутся!. А может быть, опять в глухую и темную пустоту!...

Эти слова, что оказались неизбежными, я пишу, смущаясь и стыдясь... Но что я могу, если вышло неожиданно так... Вот вместо всякого объяснения слова Сережи, – один из «штрихов» в день нашей странной встречи: «*Таким образом, Нин, значит, у тебя теперь после этих недель должно остаться на дорогу! И пожалуйста, оставь в покое те деньги, что должна получить 1-го августа, как обычно*». Почему это «*значит*» и «*таким образом*», – Сережа, видно, лучше знает... Я было заикнулась: «Нет, Сережа, мне бы собственно было нужно»... Но вышло так нехорошо, так нехорошо, такая мучительная пауза, такое неприятное выражение в глазах у Сережи (досада, раздражение – не знаю что), и я так внутренне обиделась, что было немыслимо настаивать. Пришлось «замять» скорее разговор, пришлось пробормотать: «Ну, конечно, я могу обойтись», – лишь бы только не продолжать, не дать этой обиды... Пойми меня, Валерий. Мне очень, очень тяжело говорить это, но верь, что мне было плохо, если я предпочла в *этом* письме сказать все тебе. – Мне *только* на билеты. Здесь, т. е. до Петербурга во II-м классе, 20 р. 2 билета и от Петербурга в самом дешевом поезде. *Прошу тебя, больше не надо*. Здесь я обойдусь вполне с осторожностью. И мне *ничего*, ничего не надо будет в Москве. 1-го я получу мое обычное «содержание».

Не думай обо мне дурно... О, не думай, милый! Мне очень, очень тяжело, я знаю хорошо, что у тебя их мало, что даже со мной стоило слишком много, и только последняя необходимость сейчас двигает моей рукой. Прости.



Осень 1911 г. Москва.

...Валерий! не проси меня об одном и том же, не мучь себя напрасно, не сердись, не называй меня безжалостной и не старайся больше *при данных условиях* сделать что-то из «нашей жизни». Поздно, невозможно, немыслимо! Не будет ничего! Мы говорим на разных языках, и осталась только первая, самая первая правда, – наши души враждебны, они от двух яростно враждующих стихий, и эта враждебность навсегда непримирима. Это ты чувствовал инстинктивно до знакомства со мной, это знала я, беспричинно ненавидя тебя, незнакомого еще. Мы близки – и очень, очень – в другом, – в тех областях, где господствует ум и молчит все, что от чувственной основы человека. Теперь, когда все прошлое можно видеть как одну законченную до малейших штрихов картину, – я понимаю, почему ты совсем бессознательно стремился *прочь* от меня. С ней, с кем угодно, – но только какое-то время быть не со мной. И будет верно, если я скажу, что за эти годы я поборола (может быть, совсем бессознательно) очень многое враждебное в тебе, и если бы *ты* шел тем же путем, – мы, наверно, пришли бы к окончательному примиренью. Но ты как был мне тайным врагом, – так и остался. Не смейся! Это правда!.. Всеми отвлеченными сторонами твоего существа ты мне близок чрезвычайно, но там, где начинаются *чувства*, ты ближе кому угодно – ей, множеству женщин, которых ты знал и не знаешь, – только со мной не совпадешь никогда. Неужели ты сам никогда не думал, как странна была наша связь, такая полная в одном и такая нечеловеческая, уродливая во всем, что касается необходимых конкретных выражений любви, которые соединяют мужчину и женщину, – словом, как лишена она тех форм, тех пластических образов, что даются полным и беспредельным слиянием. В минуты ясности я хорошо понимаю, что ты вовсе *не из-за нее* не стремился и не хотел быть со мной вдвоем, а что *она* существует в твоей жизни действительно случайно: потому что уже *была* и потому что ты не хотел, ни одной минуты не хотел слишком интимной и тесной жизни со мной. О, разве ты «человек долга» и разве можно, чтобы умудренные люди разбивали свою настоящую жизнь во



имя кого бы то ни было!.. Никогда. Я понимаю в эти минуты даже больше: весь склад *вашей* и «нашей» жизни, необходимо вытекающий из первого, и понимаю искренность твоих слов, когда ты говоришь: «я вовсе не хочу оскорблять *тебя*, когда делаю то или иное, и наоборот, – я забочусь о том, чтобы ты испытывала возможно меньшую боль». Если бы знал ты, Валерий, как глубоко, глубоко понимаю я *все* и какая безнадежность для меня в этом!! Все, все – начиная от существования *ее* и до ничтожнейшего твоего движенья, ранящего меня насмерть, – все есть только ряд последовательных и логически построенных выводов. Ты никогда не хотел и не хочешь, чтобы *мы* жили одной тесной и интимной жизнью. Ты сам доказал в прошлом с *ней*, и если пришлось бы, – точно так же сделал бы в будущем, – первыми словами твоей полной, беспредельной, настоящей твоей любви были бы слова *о единой жизни*, без подразделений *ее* на внешнюю конкретную и отвлеченную внутреннюю. *Иначе не бывает*. Обойди весь мир, загляни в глубину самых утонченных душ в час настоящей всеобъемлющей любви, – и ты услышишь одно и то же страстное, непобедимое желанье – *слить воедино две жизни*. На сколько? Надолго ли? На годы или месяцы, – это не важно. Но нет любви без этого желания, и только оно есть первое желание любви. И ты, Валерий, когда любил меня, в эти краткие часы нашей Финляндской жизни, выражал его, как все любящие в мире. Но не повторил в Москве, потому что понял, *как* любишь меня. Может быть, ты и сейчас не понимаешь этой органической враждебности ко мне, заложенной в самой глубине твоего сердца, которая не дала осуществиться моей пламенной единственной мечте. Но клянусь тебе – это так. Это я поняла умом, который работает во мне сейчас за все подавленное существо, с остротой, тягостной мне самой, доходящей почти до внутреннего ясновиденья. Я видела, однажды так сломались часы: все в них уже умерло, только яростно, безумно и безудержно вращалось одно колесо, – помню, все смотрели с изумленьем, – это было почти страшно.

Я понимаю сейчас всю нелепость некоторых моих укров и твои ответы «да ничего подобного», которые казались



мне ложью. Ты не лгал, а только «умалчивал» и никогда не говорил мне того, что сейчас говорю я и *что есть единственная правда*. Может быть, ты действительно не любишь ее, но в некоторых областях она тебе ближе, приятнее, милее, органически ближе, и отсюда понятное твоё желание все интимное, в широком смысле телесное отдавать ей, а не мне. Об этом я говорила иногда и подходила довольно близко к истине, но так, как понимаю сейчас, так четко, безусловно, неоспоримо, – понимаю в первый раз.

Я совершенно не отрицаю твоей привязанности ко мне, – годы и многое другое убедили меня в ней, но что это *не любовь* и что это привязанность странная, очень бесплотная, отвлеченная, не похожа вообще на то, что в мире все от поэта до трубочиста называют любовью, – я думаю, ты не будешь спорить. Собственно говоря, все обычные выражения любви так противоречат сущности твоего чувства, что нужно бы было всякий раз удивляться им и принимать как нечто чудесное...

Ты говоришь, Валерий: «а как хорошо могли бы мы жить!» Я иногда повторяла эти слова за тобой и думала, что действительно мы не живем хорошо только из-за тысячи безнадежно наслоившихся недоразумений. Но не правда! Мы не могли бы жить хорошо! Никогда! И мы уже вовсе не можем жить – никак. Подумай, как проста наша драма! Когда прошел первый исключительный год твоей влюбленности – очень сложный, полный страстных чувств, литературности, «декадентства» в поступках и словах (но все же *весь отданный мне одной*), и после него, когда должны были выясниться настоящие чувства, – я увидела, что люблю тебя. Все девять лет мучений, счастья, томлений, унижений, надежд, – все предчувствие будущего было в этих словах: со страхом, с радостью, с ощущением, что я падаю в пропасть, сказала я себе тогда: «я его люблю». А ты в это время, Валерий, вернулся к твоей жене... Ты тоже выяснил себе твоё отношение ко мне, и вспомни: ты вовсе не делал попыток расстаться, ничего не говорил прямо, а когда делал что-нибудь ужасное для меня, – всегда потом каялся, просил простить тебя, всячески старался меня удержать. Но первая роковая минута нашей встречи после Финлян-



дии, – когда ты, зная, что не любишь меня в настоящем значении этого слова, все-таки говорил *люблю* и, не имея внутреннего права, протянул руку к тому, чего не должен был касаться, – эта минута была естественным началом того, к чему мы пришли сейчас. Ты говоришь, что мы могли бы жить хорошо! А ты знаешь, что значат эти слова? Я знаю... Я – только *дополнение* твоей жизни, только *одно* из многого, чем бы ты хотел ее декорировать. Если бы я поняла это хотя в доме Толстого, – мы не прожили бы еще пяти тяжких лет. *Тогда* я еще могла уйти, увидав, что стучу в дверь, которая *никогда* не отойдет для меня. Но *только теперь* поняла я, как смешны, как жалки были мои претензии, и как я не признавала своего положенья. Я – не то, что принято понимать под словами «любимая женщина» во всем мире (до тебя включительно), т. е. какое-то единственное существо, такое близкое, такое нужное, так тесно скованное с человеком, что он без него не может представить себе жизни. Я – «приятное дополнение жизни», нечто, входящее в нее *достаточно прочно*, нечто такое, что очень жалко потерять, но для сохранения чего было бы странно идти на жертвы или, например, переменить «стиль» своей жизни. Ты любишь меня *среди* очень возвышенных и, может быть, немногих любимых вещей, и это чувство могло бы быть совершенно бесконечным и неувядаемым в своих пределах и в пределах твоей души, *если бы я, поняв его сущность, еще сумела полюбить, оценить его и постараться сохранить*. И вот что значат твои слова: «от тебя зависит сделать нашу жизнь хорошей»!... Понять сущность твоего чувства, понять невозможность всего другого, протянуть руку за своей крохотной рюмочкой и маленькими глоточками пить из нее до смерти. Взять за единицу *самое малое* и, получая небольшие награды и неожиданные маленькие подарки, – радоваться им искренно, как чудесным и незаслуженным ласкам жизни

Ах! отчего ты всегда недоговаривал! Ведь «жить хорошо» – это значит понять, что ты меня никогда не любил и не полюбишь, и не роптать на это, не страдать, *не желать* твоей любви, а смиренно взять твою «очень ценную» маленькую привязанность и сделать так, чтобы душа умела



на нее радоваться. Разве не так, Валерий? Разве, если откинуть множество лишних слов, не получится еще более краткая и жестокая формула?...

Я поняла тебя!.. Поняла всю твою жизнь, весь склад твоих чувств, все твои желанья, все мученья даже, какие заставляю тебя переживать: – ты *хочешь*, чтобы я была в твоей жизни, я тебе действительно очень нужна в какой-то области, ты мне очень искренно и нежно и ласково несешь твой маленький дар, ты страстно хочешь, чтобы я его взяла, – а я оскорбительно отталкиваю протянутые руки, не хочу взять, нарушаю ту гармонию твоей жизни, которой тебе хочется, и вношу в нее тьму, хаос, иступление.

Но пойми же и ты меня!.. С первой минуты, когда я шла тебе сказать, что я люблю тебя, шла с сердцем, полным преданности, покорности, желанья отдать тебе все, что у меня есть, служить тебе моей жизнью, жертвовать ей, если нужно, несла тебе такую беспредельную любовь, которая могла бы стать самой прекрасной, самой идеальной любовью, – такой, какая доступна не многим душам на земле... а ты... помнишь ты себя в эту встречу? помнишь, что ты делал, говорил, как поступал? Ты в это время любил твою жену и *не сказал* мне, не сказал!.. Зачем скрыл! Зачем!..

Ты говорил потом, что любишь *меня одну*, обещал оставить ее, говорил о *нашем* будущем, о, сколько преступных слов говорил ты! *и я не могла думать*, что я только *нечто* среди всего другого, я думала, что я и есть *эта единственная*, только изумлялась противоречиям, только не понимала *поступков* и не могла их помирить со словами. И все эти годы я ждала, надеялась, верила, что мы будем вдвоем, вела себя как *единственная*, как «любимая женщина», не понимая, что даю тебе же повод жестоко смеяться над жалкими претензиями. Помнишь, *когда ты окончательно сказал* мне всю настоящую правду? Нет, конечно, *не всю*, а только половину, да и то искаженную, смягченную? Два года назад. В лето, когда умерла мама. Ты сказал, что действительно *больше* любишь ее. Но была ли в этом *вся правда*?.. Нет. И не те слова, и не те понятия – словом, все не то, что я знаю сейчас, что узнала за последние два года.



Но и то признание совсем убило меня. Вот когда и почему начался морфий. И эти годы была уже не жизнь. Тоска, мученье, сознание полного крушения, равнодушие к будущему, к себе, ко всему. На что мне жизнь, если у меня было только *одно* желанье, в котором мне *отказано* навеки? Чего я могу сейчас хотеть? Что мне нужно? Пойми, – в этом желании было *все*, и когда отказали, – не осталось *ничего*. Разве я виновата? Каждый день, час, восход, закат, улица, комнаты, общественные места, малейшие жизненные факты, все, все напоминает мне то, чего я лишена. А ты? а твое лицо, весь ты?.. ты мое живое мученье, – ты призрак моего погибшего счастья. Могу ли я радоваться, когда ты *приходишь*, если я хочу *только жить* с тобой, знать, как она, всю твою жизнь от того мига, как ты открываешь глаза, и до ночи, когда ты рядом с ней засыпаешь. Пусть она не видит тебя целые дни, – разве это важно? *Жить* с тобой вдвоем, быть твоей единственно любимой, безгранично близкой – душой и телом, иметь возможность быть для тебя чем-то неотъемлемым, важным, и тесно, тесно, интимно быть связанной с тобой. Разве мы можем – не только уж «хорошо», а просто «жить», если в самой *основе* этой жизни для меня смертельное жало, если все, все в ней говорит мне самые страшные слова: «ты в его жизни только дополнение, которое могло бы быть очень приятным, и вот по твоей вине этого не выходит. Ты для него – часть целого, подробность, одна из привязанностей, нечто второстепенное или третьестепенное, для чего он не пожертвует ни одним волосом на голове; и ты никогда, никогда, никогда не будешь той единственной, милой, неизменной, той, которой мужчина хочет отдать все, что может, и которой говорит единственные первые и священные слова любви: будь моей, будь моей женой, возьми мою жизнь и дай твою, чтобы они могли слиться воедино». Я говорю это все «бесстыдно», прямо, вот смотри в мою обнаженную душу, – ничего в ней нет больше! Ничего!.. *Как же* можем мы жить? Я не живу – я несчастна и страдаю так, как еще не страдала в моей жизни. Не смейся, не презирай, не говори, что так я говорила всегда. Тогда у меня были возможности – силы души и тела, здоровье, бодрость, *тело*,



лицо, способность страдать и непобедимое чувство жизни. Теперь – я тень... Всё – все мои способности, всё мое существо, – ты говорил, – такое не похожее на других, такое одаренное, уничтожено, сгорело, «выболело» от вечной муки голодного желанья. Только страдать! только напрасно хотеть! только принимать в сердце рану за раной, укол за уколом...

Я страдала все годы с тобой, но была живой, пока надеялась. Посмотри, чем стала я за последние два года? Какое тупое равнодушие, какое отсутствие интереса к жизни и какая несмолкающая боль. Но не только от морфия, – наоборот: морфий притуплял, приходил на помощь, давал забвенье и дал пережить два года, бесцельные, ненужные два года.

Можно ли спорить хотя против одного слова этого письма, если ты не захочешь опять укрываться, таить правду и напрасно обольщать меня, как ребенка. Все эти страшные выводы я собирала, увы! слишком долго и медленно! И если говорить о жизни, о конкретном, о житейском, если не бояться слов, – разве можно только *приходить* и *уходить*, и говорить, что мы живем? Нет одного внешнего – как одного духовного. Гармония в единении того и другого. Мне отвратительна моя «холостая» жизнь, жизнь женщины-одиночки, «разводки» с любовником, имеющим законную жену. Есть в подробностях этой жизни, в ощущении ее, в отношении к ней окружающих что-то гадкое до тошноты, как в жизни «номеров». И так всегда! Навсегда!.. Я не могу не тосковать в эти ночи, когда я одна, а ты с ней. Я чувствую себя потерянной в пустоте, мне больно, страшно, холодно, я чувствую себя как иззябший щенок, которого выкинули ночью на мороз. Все это мне кажется безобразным, все это так не совпадает с моими желаньями, с моими мечтами о жизни, с ранней юности живущими в глубине сердца. Девочкой 14 лет, вечерами и ночами, когда кругом говорили о чем-то мне ненужном, о будущем, о планах жизни, – я зарывалась головой в подушки и мечтала о том, только о том самом, о чем уже не должна, не смею больше думать: ах, любить и быть любимой! Жить одной жизнью, отдать всю себя этому любимому, быть в его руках пос-



душной, покорной, нежной... Обманывала я всех потом... Зачем? Знаю ли я! Сделала себе лицо, голос, интонации его, жесты, даже на поверхности мысли обратные тому облику, что спрятался глубоко. Хотела иметь ребенка, а говорила, что ненавижу детей и хочу в любви одного «наслажденья», хотела любить одного, одного всегда, а брала каких попало любовников, была в душе робкой, нежной, покорной, а хотела казаться жестокой, своенравной, причудливой... И вот как скорлупа слетело все это, осталось неизменное, сущее, то, чего я уже не в силах сломать, да ум, – печальный счетчик всех ошибок, нелепостей. И я – я настоящая оказалась не нужной никому.

Никогда я не говорила с тобой так, как сейчас, и прости, если тебе неприятно. Но ведь нужно, нужно понять когда-нибудь и нужно сказать тебе твое последнее слово: «Жить хорошо!..» Если бы я завтра почувствовала тебя дополнением и декорацией моей жизни!.. Нет! не могу... Но ты, Валерий, понимаешь ли ты, что нет в моих чувствах ничего нелепого, «дурного», невозможного в самой сущности их? Ведь при другом твоём отношении ко мне, представь, разве трудно вообразить – эти же чувства, желанья, надежды могли бы совпасть с чувствами твоей души, могли бы быть твоим счастьем? Правда? Если бы я была той единственной, которая иногда приходит? Разве ты не писал о такой любви? Не видал ее разве? Не читал? И разве ново то, что с нами? Просто ты не любишь меня той роковой неодолимой любовью, какой любит иногда мужчина женщину... Так просто... Но ведь знаешь же ты, что такая любовь бывает, и можешь ли заречься, что еще она не придет к тебе?.. А я хотела только такой... О, с ней пришло бы все, и тогда смешно бы было сказать: «внешнее» я отдам ей, а «отвлеченное» тебе... И многое, многое, если бы ты полюбил «вдруг», чудесно меня такой любовью, многое, что кажется тебе естественным сейчас, казалось бы «чудовищным», как мне.

Видишь, Валерий, я все поняла, но чувств все же переменить не могу.

Я знаю, что сейчас – такая убитая, несчастная, морфинистка, без тела, с жалким похудевшим лицом – я, может



быть, смешна, когда говорю о *твоей* любви, и я не должна о ней говорить. Но, Валерий, я не была бы такой, и я *не была* такой. За эти девять лет при *другой* жизни я могла бы расцвести, – в мои годы женщин еще не зовут «старыми», и может быть, поэтому прихожу я в такой ужас, в отчаяние. Сказать себе, – еще живой, – что я *не смею* уже и думать о твоей любви!.. Не знаю, испытает ли большую муку заживо схороненный человек, который вдруг проснулся в фобу... Ты знаешь, мне теперь всегда мучительно стыдно... когда ты иногда хочешь быть со мной по-прежнему... Ах, это так страшно, так горько, что у меня не хватает сил говорить. Подумай сам, можно ли тут думать, смущаться, бояться, что кажешься отвратительной... Можно ли *жить* с такими чувствами, Валерий? Ведь уж это последнее право всякой души – любить! Пусть без ответа, все равно. Но когда не смеешь и этого, когда смотришь на себя в зеркало с ужасом и боишься выйти на улицу, чтобы не встретить знакомых, – о какой же *жизни* можно говорить? Ты скажешь: «При чем все это? При чем тут любовь ко мне?» А морфий – мы подошли к нему, а он, ты знаешь, откуда...

Видишь, понял, – я рассказала тебе все о себе. С морфием я гибну, я почти уже погибла, и скоро я должна или застрелиться, если не переживу отвращения к себе, или жить, дышать, но порвать все с миром. Ты не должен против этого спорить, – это так. Бросить его, как говоришь ты и просишь... Я уже не раз говорила тебе, в каком жалком состоянии я буду, – все равно что тяжело больной человек, который живет и дышит добротой, милосердием, любовью и желаньем его спасенья окружающих. Если бы я *вдруг* впала в это состояние, – что тогда говорить! Но мне нужно *решиться* на него, сознательно сказать: «да». Я предвижу все, что буду чувствовать, как будет мне плохо, больно, грустно, страшно. И нет у меня ни решимости, ни сил перенести это *одной*, с моими мыслями, которые меня загрызут, – не могу! не могу...

Ах, если бы ты любил меня! С какой бы верой в подлинность твоей доброты я взяла все, что ты бы мне дал. Если бы любил! Если бы хотел сберечь для себя, хотел



живую и для себя, и для меня!.. Но долг, обязанность, при-
нужденное милосердие, желанье в это время легкокрылых
радостей с девочками, поцелуев, свиданий, отвращение
к болезни, скука надоевшей компании, в которую давно
уже ты приходишь на 1 час – 2 и бежишь при первой
возможности. Ах, как болит у меня сердце от этих сви-
даний с часами в руках! Напряженье! Знаешь, что вот,
вот опять останусь одна!.. И если ты приходил так, когда
я была здорова, то как же ты придешь ко мне больной,
несчастной, которая тебя ждет, как последнюю радость?
Что ты мне можешь дать мне <так!> настоящего и как ты
можешь дать мне то, что присуще только большой нежной
любви, когда *ее нет!* Подделку, – притворишься «любя-
щим», будешь приходить, проклиная в душе и нежно улы-
баясь? Я почувствую... Да ведь проще: мне нужна и здесь
любовь, и то, что ты неосторожно обещаешь, – не может
быть в душе без любви. И всё к одному – из каких дверей
ни войти – подходим мы: нет *той* любви, какую мне нуж-
но, а кроме ее, мне горько *все*.

Зачем лечиться? Чтобы встать перед той же стеной?
Чтобы, отодвинув морфий, сказать: он меня не любит так
же, как не любил два года назад?! И для забвенья взять
новое: кокаин? Стоит ли? Да и прежде всего, – я не вынесу
этого месяца, как не вынесешь ты. Это выносит терпеливо,
безропотно и нежно только любовь. Не такая, какая у те-
бя, – дополнение жизни, черта стиля, – а та, какой *для меня*
у тебя не будет никогда. И не будем больше говорить...

Теперь же, пока у тебя игра с девочкой (с Надеждой
Львовой, поэтессой. Покончила с собой в 1913 г. из-за нес-
частной любви к Брюсову. – *И. Т.*), мне слишком тяжело
быть с тобой. Я не могу тебе сказать: не приходи никогда,
потому что не выдержу и когда-нибудь позову. Но теперь,
пока – не мучь меня, не ходи ко мне и не лги, что *ниче-
го нет*. Есть! Я видела. Чувствовала до твоего признанья.
Это хуже, чем знать о твоей жене, – это уже слишком мно-
го. Судьба здесь! В тот вечер, когда я тебя безумно хотела
видеть, – у тебя было свиданье. В те дни, когда мне был ну-
жен ты, твоя поддержка, ласка, доброта, – ты увлекся де-
вочкой 18 лет. Если бы меня спросил Генрих (Койранский,



врач и литератор. – И. Т.), почему я не могу, и выслушал мой ответ, я думаю, он понял бы, что не все может вынести больная, измученная, разорванная душа. Я рада, если ты можешь быть живым и влюбленным снова, и не хочу быть тебе «помехой», но видеть тебя, вспоминающего свиданье и спешащего на другое, со стихами на губах, с желаньем новых губ, свежих ласк, полудетской любви, – нет, Валерий, этого я не могу. Так надо! Так надо! В дни трудные, в дни, когда действительно решался вопрос моей жизни, пришла девочка со стихами, с губами, сложенными для поцелуя, с руками, протянутыми, чтобы отнять. Пойди, дай и возьми, переживи все снова, научи, радуйся, целуйся, ласкайся... Всё! Всё, что хочешь... Но меня уж оставь... Слишком много – две...

Генриху скажу завтра. Извинюсь. Не брани меня, не называй мой отказ «капризом». Я сама еще хотела бы даже при всех этих жестоких условиях вдруг стать живой, похожей снова на женщину, с возможностью *выбирать*, не стыдиться своего облика и тела, не сидеть, боясь людей в темной комнате, и хотя с великим горем в душе, но побыть живой, среди живых – сколько смогу, сколько захочу. Но и эти простые желанья *для меня* неосуществимы. Я не виновна, что моя душа и вся я в такой зависимости от тебя даже просто дышу и двигаюсь. Но *брат* у тебя не могу ничего *вынужденного*. *Другого* же у тебя для меня *нет*.

Прости, письмо плохое, мало литературное. Я не могу его прочесть все, когда кончу. Тогда наверно не пошлю. Не стыди, не смущай меня, не говори со мной даже по телефону о лечении, о нездоровьи моем, о всем этом жалком, некрасивом. Не такой ты, чтобы в эти периоды упадка мог *неизменно* относиться к человеку, даже *в пределах* этих отношений. По контрасту захочется здоровья, красоты, веселости, новизны, – как это и случилось.

Прости еще за неприличную длину письма. Его можно было сократить, верно, вдвое, но не могу перечесть, не только переписать. Постараюсь успокоить себя морфием, чтобы не печалиться даже твоей новой любовью. Если не смогу... ну, видно будет тогда... А о моем «леченьи» – стыдно



уже и говорить. Слишком много говорили. Правда, я вчера было совсем решилась, но не ждала я «новой любви» и всех этих мыслей, которые осветили мне правду.

Прощай. Не сердись. И не приходи показывать счастливое лицо.

За сегодняшнюю минуту полна стыда... «Утешил» и в половине одиннадцатого даже без малейшей паузы убежал, не оглядываясь... «Ну, не правда ли – *теперь* все другое?» – сказал ты, надевая калоши... Ах, Валерий, наивный и жестокий зверь!..

Не сердись, милый Валерий! Пожалуйста! Мне так больно, я так страдаю, что достойна только жалости. О, я *не хочу и не прошу* ее в поступках, но когда будешь думать обо мне, – тогда пожалей немножко. Не ходи ко мне, пока ты с девочкой, хотя бы это длилось год. Слишком страшно мне видеть тебя в это время. Слишком ужасен контраст – представлять тебя и видеть! вспоминать себя! Смотреть в глаза, которые *не сияют* для меня, а для другой, случайной, новой... И в такие трудные, трудные дни!..

14/27 ноября 1911 г. Нерви.

...Ах, пойми! как должна себя чувствовать очень сознательная душа в состоянии *такого* безумия. Я чувствую, вижу, *числю* свой бред, отмечаю мелькающие мании, навязчивые идеи, фобии, психастенические представления, а *остановить* этого *день и ночь* жужжащего колеса *не могу*...

Вся *дорога* была один сплошной бред и *почти* без контроля сознания. В смерчах крутилось старое, недожитое, и новое, новые наважденья, новые безумия души, потерявшей свой ритм, *потерявшей себя*. Сейчас «это» бывает раз пять в день и всю ночь кошмары. Пойми меня! пойми это, зверочек. Я сейчас выпила большую рюмку мадеры (доктор *дает*) и чуть-чуть просветлела. Генрих не велел в Nervi вино опьянять меня, и я пока от него трезвею... Генриха начинаю *не любить* за все и очень, очень, очень жалею – отчего в *ту* ночь я не умерла. Счастье было так близко.

Я не умею сейчас ни жить, ни думать, ни чувствовать. Моя душа в какой-то лаборатории переделывается хирургами душ, а *что* из нее выйдет?.. Мне ли это знать.



Дивац говорит, что «чувствующая основа», т. е. душа, остается целой даже в самых тяжелых психических болезнях, что нет анатомопатологического изменения в клетках мозга. Хочу верить!.. Но все же то, что переживаю я сейчас, – ужасно. Это полное психическое *расстройство* (не болезнь), шатанье, колебанье, – порой мрак.

Это должно быть, если я смогу вынести, полным надломом жизни...

19 ноября/2 декабря 1911 г. Нерви.

...Смотрят на меня все особыми глазами, пытаются знакомиться. А доктор *ничего* от меня не требует, кроме «семикратной» (буквально) еды в день. И чтобы мне не быть с людьми (я *не могу*), отвел мне и Наде место для прогулок *на крыше*. Сегодня я сказала: «Хочу в Nervi», и был тотчас экипаж. Но мне *все равно* плохо. Я уже даже почти не больна, а «психически *расстроена*». Понимаешь: «расстроена», как когда-то хороший рояль, по которому колотили кулаками и ногами, и, думаю, сама, инстинктивно понимаю, точно больной зверь, как нужно бы и где лечиться. Если будет *долго* так плохо с душой и умом, я уже на этот случай придумала «план».... Я не тоскую ни по ком и ни о чем *определенно*. Между мной и прошлым *бездна*, а нового **нет**. Бывают (без всяких внешних причин) припадки такого иступленного возбуждения, что я говорю по несколько часов беспрерывно.

Запою, заведу, заговорю,

Сам с собой без конца говорю...

А потом молочно-белое слепое море, такое же небо и такая же душа – все сливается в одно, и, заломив руки, я смотрю перед собой – слепая и глухая.

Ах, зачем? зачем сказал он: «Лазарь! гряди вон!» Трудно мне жить! Не хочу я! Не могу я!.. И смешно! Даже чтобы умереть, – я *должна* сейчас жить на этом «Чертовом острове» и «есть в семикратности жир». Противно мне все – люди, горы, море, небо, и как меня ни умолял Генрих, – хочется кощунствовать, хочется говорить самые богохульные слова в иные минуты.

Хотела бы написать тебе *все, все* другое, но:



Я лежу в покрове белом...

Я – или *не я* в этом письме – суди сам...

28 ноября / 11 декабря 1911 г. Нерви.

Милый Валерий,

чего ты не понимаешь во мне? Я тебе писала довольно подробно о моем «душевном расстройстве». Теперь лучше, теперь все яснее и светлее в голове, – но, конечно, еще есть множество противоречий, качаний, минутных колебаний. Ты это можешь видеть по письмам, как и сама я вижу сознательной, но в те минуты бездейственной частью моего мозга. Генрих говорит, что *все это* от прошлого, оттого, что меня *только терзали*, а не любили... И он прав, прав безусловно. Но не будем говорить о «слишком острых» предметах....

Ты спрашиваешь меня о «здоровьи». Д-р Залманов очень мной доволен, и я действительно поправляюсь «не по дням, а по часам». Конечно, только благодаря Генриху, и когда у меня появляется вдруг к нему отрицательное отношение, я потом себя долго бичую за каждое дурное или легкомысленное слово. Уверяю тебя, что этот «мастер Генрих», которого Вы так невзлюбили с Иоанной Матвеевной (женой Брюсова. – *И. Т.*), сделал для меня *гораздо больше*, чем ты думаешь. Воскрешать мертвые тела, может быть, можно научиться... Просто теургический фокус... Но если больше?.. Но если вскрыть душу, как Гоберман вскрыл мне абсцесс хирургическим ножом?... А если нежными руками вынуть из нее самые мучительные занозы и *душе* этой сказать: «Лазарь! гряди вон!»... Ты не знаешь, Валерий, *чем*, кем был для меня Генрих с 3-го августа, с начала болезни Нади и во все эти черные, черные дни, когда ты жил хотя и близко (будто бы) от меня, но *весь* точно за стеклянной стеной. Если бы его не было в эти месяцы, если бы он не подошел так страшно близко, – я, вероятно, была бы уже там, откуда не пишут писем с заграничными марками. И если ты после этого можешь ненавидеть Генриха вместе с И. М., – значит, ты просто *жалеешь*, как и она (конечно!), *зачем* он это все сделал... Я еще *мало* знаю пока о себе, но у меня уже есть *желанья*, которые не тонут даже



в кошмарах и в бреду. Еще в полутьме, точно перед рассветом, я уже вижу кое-что, – и думаю, что *не пойду* ни к прежним пыткам, ни по прежним путям. «Вы должны издавать законы», – сказал мне Генрих еще в *то* страшное утро (ты уходил в аптеку). *Почему* он это сказал, на *какие* мои слова – не помню, но это *приказанье* звучит мне постоянно. И если я буду «издавать их» *ни для кого-нибудь*, то *для себя* – это наверно. Как получил Генрих *такую* власть над моей душой, – это слишком *сложно* объяснить. Может быть, душа была парализована морфием, может быть, это потому, что я ему безусловно поверила, может быть, еще *очему-нибудь*, – не знаю... Но этой власти я *хочу* в *самые ясные моменты* очень *сознательно*. Подумай, – у скольких гипнотизеров я была, и *ни один* не мог дать мне полного гипнотического сна. А Генриху стоило положить рядом голову на подушку, и я спала через 5 минут, и он мог внушать мне что угодно, потому что он говорил после, как стояла рука в воздухе в том положении, как он желал.

Если меня *заставили* уже жить, и если я *захочу* жить, –

Куда мой потухший пламень,
Потухший пламень нести?

Прежний пламень... *Кому* он был нужен?.. *Кому* он был бы нужен? Помнишь у Бальмонта: «И *новыми* огнями себя я ослепил...» Если жить, то *хочу новых огней*.

Здесь прекрасное заведение для «ремонта испорченных людей». Доктор так себя и называет: «Я ремонтный рабочий», и я делаю *все* – послушно, точно, *покорно* (бросила и кокаин и вино), чтобы не «прийти» опять калекой, внушающей «вместо страсти только жалость»...

Может быть, тебе не нравится все, что я говорю, и ты думаешь, что это тоже «веселый маниакальный бред». Но слишком он тогда упорен... Слишком однообразен... Я ведь *так* думаю теперь все время. Ты хотел знать о всем «внешнем», как я живу, какая у меня комната

«На закате моя тюрьма прекрасна...» Два окна на море (живу вдвоем с Надей, но этот тихий зверок *ничему* не мешает – наоборот...). Вижу закаты и рассветы, «золотое



вино» утреннее и вечернее. Вижу, как «над морем садится ослепительный огненный щит...». Вижу в 6 ч. утра, когда просыпаюсь, утреннюю бледную итальянскую луну. Но море мне скорее неприятно, это хорошо оценивает и понимает доктор: «В таких состояниях море не нужно», – говорит он. И когда я сижу на крыше, я смотрю на гору, заросшую кипарисами, розами и оливами, или вдали – за морем – на цепь розовых французских Альп. Лекарства для меня все отменены. Иногда вечером, когда я прошу «хорошего сна», – он вынимает из кармана, улыбаясь, какую-то крохотную облатку. *Что* в ней – не хочу знать. Принимаю и засыпаю. Хотя сплю мало, беспокойно, терзаюсь в кошмарах. *Каждая* печальная или мучительная мысль принимает живой, живо-терзающий (по-ночному) облик.

Меня балуют, даже слишком, – ты знаешь, как иногда со мной несправедливо-добры люди... Люди здесь или примитивные, или жалкие, – кроме д-ра Залманова. Это – талантливый «психотерапевт», хотя и не психиатр он, тонкая, чуткая, немножко безумная душа, хотя *это*, последнее, он таит (но я узнала о нем многое). С виду он лет 27–28, хотя ему 36. Совершенный итальянец лицом (хотя настоящий еврей), в обращении добрый, ласковый, почти нежный, но удивительно, удивительно чуткий ко всяким колебаниям в чужих и особенно больных душах. Я никак не думала, что курортный врач может быть таким. Впрочем, он и его жена очень близки с Бальмонтом и *ко всему* приучены. «Стихийность» душ им не удивительна, значит...

Я не лежу, кроме 2–3 часов в день, когда доктор говорит: «А Вы бы *все-таки* полежали». И не лежу «в стаде», где все, на террасе, а просто у себя под открытым окном. «Удовольствий» пока имею мало и самые примитивные: езжу в Нерви с доктором, когда он едет на прием в 10 ч. утра. Возвращаемся врозь. Хожу на почту, ходила смотреть кардинала, когда была какая-то торжественная месса, слушаю в саду, «прижавшись к железной решетке», итальянскую шарманку. И иногда вдруг пьянею, пьянею, точно прежде от морфия, точно от вина Душа, так долго лежавшая в могиле, вдруг опьяняется *собой* самой, какими-то возможностями, каким-то блеском впереди. Пусть! Пусть!



я *ничего* не получу, но быть живой до новой, до *последней* смерти, – я *хочу!*... Здесь есть одна барышня в последнем градусе чахотки, через комнату от меня. Хожу с ней говорить и опьяняюсь *смертью*, которая горит розовыми пятнами на ее щеках, блеском ее прекрасных, уже нездешних глаз. *Понял* ты теперь меня хотя немножко?

Я не злая, я не хочу тебе делать больно, я *мало* вообще сейчас хочу от людей. Я говорю с собой, смотрю в себя и за очень горькие, очень тяжкие минуты (они бывают в дне) вдруг иногда получаю заслуженную *мою* радость. Я сейчас бываю часто похожа и на ребенка, и на дьявола... Доктор говорит, что это «возвращение», а я думаю, что это *новая страна*.

Я благодарна бесконечно Генриху, что он сумел увезти меня, что он поехал сам со мной (без него я бы не поехала).

Я представляю себе «четыре зеленые стены» и *знаю*, что не сумела бы сейчас в них жить.... Я не умею ничего из прошлого сейчас. «И в пространствах застывших, как мертвенный цвет туберозы»...

Может быть, это пройдет, может быть, нет – *кто* это скажет?

Ты спрашиваешь, *сколько* времени я должна не приезжать в Москву? Генрих, конечно, преувеличивает в целях «психотерапевтических» и *прочих*.... Но когда я *захожу* в Москву, – не знаю, не знаю, Валерий!... Где я буду после Залманова – тоже пока не знаю. Но здесь буду не 3, а 4 недели. В левом легком у меня еще не кончился процесс. А *больной* приняться за *жизнь*, – не хорошо. 4 недели, т. е. от сегодняшнего дня еще *ровно две* – это необходимо, это диктует мне все мое благоразумие, несмотря на то, что здесь очень дорого. Если буду здорова, нужно будет ехать отсюда на второй день итальянского Рождества. Моя мечта, конечно, на последние недели заграничного пребывания поселиться в Париже. Эта мысль мирит меня со всей трудностью (конечно, *трудно* очень, *мне* трудно вести такую жизнь, как я веду здесь, – я только ей *покорилась*), но в Париже хочу быть *совсем* живой...

Милый Валерий, я написала тебе, кажется, больше, чем сейчас могу. Клянусь, что писала без вина и кокаина,



не в иступлении, не в припадке, не в безумии. *Ясность* у меня бывает иногда по целым дням, как и сегодня.

Прости, что все время говорила о себе. Ты этого просил, да *о тебе*, кажется, *лучше* не говорить. Заседанья, премьеры, редакция, *девочки* (от скуки), – Валерий в футляре, бездушно шелестящие листочки почтовой бумаги с «нежными стертыми клише», как ты пишешь мне.... Да разве это *ты?* Ты тот, которого я полюбила в Финляндии (после любила *по памяти*, любила любовь и надежду, которой, теперь знаю, *не дано* воплотиться), ты, в которого я так *тогда* верила? Нет, Валерий Ты не можешь, может быть, стать мне *далеким совсем никогда*, но не можешь быть и *таким* близким, какого я *хотела*... из-за которого шла даже на смерть....

Не думай, что я *не хочу* твоих писем. *Пиши*, конечно, пиши, что можешь, *как можешь*. Я буду отвечать, буду говорить о себе много, если захочешь, *как бы* ты ни писал....

Не говори обо мне с Сережей *интимно*. *Ему* я так не пишу, он мало, очень мало сейчас обо мне знает – он для *другого*... Надя говорит, что я писала 2 часа. А она скромно лежала сзади на кушетке. Удобный зверок!... Она «выправляется» (на примитивном жаргоне), был только один припадок, да и то в первые дни. *Я* ее тогда с ума сводила... Слушается доктора. Он удивительно умеет, почти молча, влиять на ее душу. Мне стали очень по сердцу врачи, Валерий. Они так непосредственно близко стоят *у боли*, *у подлинной* человеческой боли, что *невольно* начинают понимать *многое, самое нужное*... быть может... И может быть, пред лицом Кого-то по-настоящему Великого *равны* и поэты, и эти «ремонтные рабочие» по поправке душ и тел.

Пиши *о себе*, милый Валерий. Или ты *отвык* давно очень от меня даже прежней и *с этой мной* *не можешь*, не хочешь говорить?..

Шумит дождь, свистит море – вечерний час. Скоро «пингинов» позовут ужинать, а с 10 ч. вся вила будет скрипеть, кашлять негромким, но страшным туберкулезным кашлем, и будут летать «сны-мучители» до рассвета, до ржавой декабрьской зари. (Дожди уже несколько дней.) Обнимаю тебя нежно... как могу нежно...



3/16 декабря 1911 г. Нерви.

Дорогой Валерий,

вчера вечером получила от тебя «Золото в лазури» (книга стихов и прозы Андрея Белого. – И. Т.) без письма... Думаю, что ты умышленно послал только книгу и не пишешь почти вообще. От этого вижу тебя уходящим все дальше и дальше... Ну, что ж! Верно, так нужно!.. Может быть, ты не хочешь, чтобы я писала? Ты говоришь, Валерий, что я тебе сейчас мало понятна.. А ты? Ты не написал мне за эти три очень трудных для меня недели *ни одного живого слова!*.. Мы так разучимся говорить друг с другом... Мне кажется, – *все, все близкие* мои (те, которых я в прошлом считала близкими), *все* без исключения начинают досадовать на Генриха за его «старания»... «Лазарей» не нужно изводить из гробов, – это может только *всячески* затруднить окружающих, поставить в тягостное положение...

Я была *удобнее* всем, когда душа моя «лежала в могиле морфия». Но что же *мне* делать!.. Я не виновата, Валерий... Вернуться *туда* же уже не могу. Научись говорить со мной, Валерий! Я совершенно *ясна* сейчас, и доктор делает все, чтобы, как он говорит, я «вернулась». Я вспомнила многое забытое. Меня заставил забыть морфий всю мою душу, всю себя. И я точно учусь какой-то азбуке. Начинаю любить все любимое когда-то, все настоящее, все, что было для меня прежде истинным источником жизни, – и вижу, слышу, чувствую, понимаю *новое*, коварно скрытое морфием. Разве это плохо? Разве *тебе* это неприятно? Если неприятно, – значит, ты *никогда* не любил *меня*.

Мне минутами горько, что ты со мной стал таким – в «футляре», чужим, недостижимым... Но Бог с тобой! Будь *как можешь*.

О Москве, о покинутых «зеленых стенах» стараюсь сейчас не вспоминать, – это еще слишком ужасно. Там, верно, бродит, ломая руки, мой двойник и плачет *о тебе* и зовет тебя, как в те минуты, когда это было жизнью.

Очень спешу, уезжает доктор, он повезет на почту письма. Мне здесь жить неделю еще, до будущего понедельника. Ехать в жаркие страны, к морю или на Капри доктор *окончательно* не советует. Море мне не полезно, яркость



также. Жить советует в Италии пока, но в городе – Флоренции или Риме. Я выбираю Рим. Когда поеду, пришлю телеграмму с адресом...

Я очень изменилась внешне, Валерий. Удивительно, чудесно возродилось тело, я давно, давно себя не видала *такой*... Лицо, говорят *все*, очень молодое... Жаль, что ты не видишь меня. Обнимаю тебя нежно и крепко. Привыкни ко мне, злой, жестокий, злопамятный зверь!.. Обнимаю, не будь злым!..

1912–1913

21 марта / 3 апреля 1912 г. Нерви.

Милый Валерий,

я не хотела вовсе писать тебе, и в душе еще все была какая-то неопределенность. Жизнь моя менялась, чувства приходили и уходили, потом, после Рима, я была больна, потом было много тягостного в самом внешнем моего бытия, и я сама уклонялась от всяких решений, жила, закрыв глаза на все будущее...

Я живу в Италии почти пять месяцев, – и это уже выше того срока, что определил Генрих для моего выздоровления. Сережа требует от меня окончательного ответа о моем возвращении, о квартире и проч. Я должна решить, я решаю и я *решила* для себя *все*. Если говорить о моем «здоровьи», то, конечно, у меня туберкулез *в первой стадии*. Но здесь 90% таких, как я, и много хуже еще меня, которые совсем не теряют надежду на выздоровление. Вероятно, после этих пяти месяцев я могла бы существовать *физически* и в Москве *в лучшем* виде, чем была. Ты не узнал бы сейчас во мне той Нины, которую знал 1/2 года назад... Но это все уже не так важно и отходит на третий план, потому что в Россию, *в Москву я не могу* вернуться из-за причин *внутренних*. Что-то порвалось у меня с прошлым, и я знаю, я чувствую, понимаю, что



это *непоправимо* и безвозвратно. Я *не сумела* бы больше жить в Москве, я все там разлюбила, я не хочу *ничего* из прошлого, я *не могу* увидеть даже его внешнего облика, – о, эти улицы, бульвары, залы, рестораны, люди, которых я знала и которые знали меня!... В минуты, когда я бываю *счастлива*, – в моей *новой* душе просто ничего этого *нет*, точно не было никогда, точно все было сном. Но когда реальность Москвы во образе Сережиных писем требует от меня решения и ответа, когда я все пережитое вижу, как на экране синематографа – картину за картиной, – я тогда говорю: «Нет!», «довольно...», «кончено!». Как хочешь, Валерий, думай ты о Генрихе, как хочешь, смейся над его «примитивностью», но он совершил чудо со мной, и в ту ночь мне дали *новую* душу, чужую и чуждую всему, что прежде называлось «моей жизнью». Я точно вышла из подземной тюрьмы, где томилась годы и годы. Мне дорого и нужно сейчас именно то, чего я не знала, не видала, *чего не люблю*, что было закрыто *жизнью с тобой*.

«Весны благоуханный запах», ответный блеск чьих-то чужих и вечно близких глаз, деревья, небо, горы, мрак и свет, все звуки *живого* мира и *музыка*, музыка, – от Бетховена, Вагнера и Грига до шарманки, от народной песенки до арии из «Тристана и Изольды»... *Жизнь* или *смерть*, но только не томленье, не пытки, в которых тупеет и гложет душа! О, смерти я не боюсь совсем. Я видела ее недавно очень близко, – умерла жена д-ра Залманова, – и в *первый раз* она мне казалась прекрасной и простой. Я вернулась с этих похорон, точно со свадьбы.... Такова сейчас моя *новая* душа.... Представь теперь мою *жизнь* (рассказывать о ней я не буду) и пойми, что возвращение в Москву для меня было бы самым худшим родом самоубийства. Жить *во внешнем* мне будет, вероятно, пока очень трудно, но у меня есть одна надежда, и если она осуществится, – тогда устроится и *внешнее*: я терпеливо ждала и *жду*... Все дело теперь в настоящем, в нескольких (2–3-х) месяцах, в связанности моей с Надей, которая тоже надорвалась внутри окончательно. Ты пишешь мне о какой-то «связи прошлого», о том, что ты *все же, несмотря ни на что*, не можешь быть безразличным к моей судьбе. В это я, Валерий, *не*



верю и этого я *не хочу*. Я просто *не знаю*, что значит «связь *прошлого*», и такие чувства не по мне. Я поняла, что между нами кончилось *все*, в день, когда прочла твои стихи *ко мне и не ко мне*... Тогда и перестала писать. Но не будем говорить об этом... Кончено! Сказано, понятно!.. Я перестала тебе писать, но посылала телеграммы «с обозначением той или иной суммы франков». Да, я делала это... Мне было трудно; мое «воскрешение» во всех его деталях стоило дорого, и я посылала тебе такие телеграммы *просто*, не как требования *платы* за прошлое (о, нет тех сумм франков, которыми можно заплатить за убитые *годы жизни*), а думала я, что *ты в те дни не можешь* отказать мне *ни в чем*. *Почему* я так думала, – не все ли равно *теперь!*.. И так наши «материальные» отношения на будущее ты можешь считать тоже конченными. В этой области у меня есть к тебе только *одна и последняя* просьба, которая касается меня как-то уже косвенно. Если можешь, исполни ее, если не можешь – скажи прямо, без подробных и тяжелых объяснительных слов, – скажи просто: «*Нет*»... Сейчас я коснусь самого мучительного в моей настоящей жизни, того, что отравляет ее каждый день... Со мной Надя... От тоски по Москве (она тоскует безмерно) ее психическая болезнь усилилась и явно двинулась вперед. Я умею все это забывать, лишь только выхожу из комнаты и вижу чье-нибудь другое лицо, но знаю, что этот вопрос требует *мужественного и прямого решения*. Когда Сережа написал мне, что 4-го апреля сдаст квартиру и отправит Катерину (прислугу. – И. Т.) в богадельню и что это ужасное «гнездо бед» внешне разрушится, – Надя впала в последнее отчаяние. Она решила совсем к нашему 4-му июня (здесь кончится сезон) ехать в Москву, я тогда, вероятно, поеду во Францию или в Швейцарию (это зависит от некоторых обстоятельств). Но 4-е июня *крайний* срок для нее, ибо она *в таком состоянии*, что, может быть, ее придется отправить и *после Пасхи* (я свыклась с мыслью, что *так нужно*). Мне моя квартира только страшна, и я предложила бы Сереже сделать на бульваре костер из книг, бумаг и вещей, чтобы не осталось и следа моего прошлого, но ведь она *психически* больна, для нее Катерина и вещи, которые она хранит там после



мамы, – *вся ее жизнь*. Для нее приехать в гостиницу – ужасно, – ей нужно совершить весь обряд разорения, чтобы успокоить больную душу. Тогда для нее останется только две двери – в монастырь или в лечебницу под покровительство того же Генриха, и она покорно выберет *должное*. Сережа же *требует*, чтобы я «распорядилась» о каких-то «ящичках», о Катерине и проч. Если ты можешь, Валерий, избавь меня *в память* прошлого от этих ненужных мук, – *заплати* (о, ведь такие пустяки!) за месяц или два, – (*не больше*) – за эту квартиру. Катерина пусть живет *до Нади*, вторую прислугу Сережа отпустит. Надя успокоится от этого настолько, что ее можно будет отправить с кем-нибудь из русских. И тогда все устроится без особых драм, без ненужных мучений; и я уеду на лето отсюда, и ты забудь тогда даже мое имя. Знай, и помни, и верь, что это моя *последняя* просьба к тебе, *последняя в жизни*. Твое предложение быть мне «полезным» своим «влиянием в литературе» просто рассмешило меня. Я... не напишу больше ни одной строчки, и *жить* мне с «*трубочистами*», а не с поэтами...

Об одном я прошу тебя *очень*, – о моем *решении* не возвращаться в Москву *пока* не говори Сереже *ни слова*. Он придет в ужас, он ждет *меня* в июне «домой»... и делает сейчас все самое для него в материальном невозможное, чтобы дать мне возможность прожить так, как я живу, эти два месяца, необходимые для моего «здоровья». Если ты найдешь возможным исполнить мою просьбу, я думаю, ты найдешь и объяснение твоих действий, хотя бы даже и ложное. Я ничего не боюсь, и Сережа в свое время узнает обо мне все. Но *пока* это только повлекло бы ряд бестолковых и мучительных писем, на которые я просто не в силах отвечать до отъезда Нади совсем откровенно. *Прошу тебя очень, не говори ему!* А мне ответ даже не письмом, а только *да* или *нет* – телеграммой. Денег мне больше не присылай *никогда* и *пойми*, как и о чем прошу я тебя сейчас.

Говорить о «чувствах», как бывало, я больше не умею и не могу. Ни видется в жизни, ни даже писать друг другу, ни даже *знать* что-либо о наших судьбах нам *не нужно* и мы *не должны*. Прошлое останется прошлым. Схороним его *вместе* глубоко и безвозвратно. Я тебя *любила*... Может быть,



только тебя одного в мире... Ты этой любви не принял, не понял, не захотел взять, – и вот она умерла. Прощай! я уйду от тебя навсегда, я мысленно склоняюсь над тобой, как над мертвым, и целую в лоб последним горьким поцелуем. Валерий! Милый когда-то!.. прощай...

19 апреля / 2 мая 1912 г. Нерви.

Милый Валерий,

благодарю тебя за исполнение моей просьбы и также за новую книгу. Не помню, когда я получила твое последнее письмо, – кажется, давно уже. Здесь я не знаю ни чисел, ни дней, мне все равно. Ты говоришь, что хочешь «иногда» иметь обо мне известия. Спрашивай у Сережи... Хотя он знает *о моей жизни* меньше, чем любой из моих соседей по столикам в нашем ресторане. Я едва ли скоро напишу тебе еще, но если ты спрашиваешь и желаешь что-либо знать обо мне, тебе я расскажу все же больше, чем Сереже... Я уже тебе писала, *какая я сейчас, какая у меня душа и насколько я изменилась в сравнении с прежними*. Но, увы!.. жизнь мне не дает ни беспечных радостей, ни свободы. С Надеей тянется вот уже несколько месяцев неразрешимая драма. *И это первое...* Она здесь прямо погибает. Я уже совсем решила отправить ее в Москву, – я могу жить совсем одна и даже скажу больше: прежние, милые, когда-то любимые и близкие сейчас мне *не нужны*. И так было решено, что она поедет скоро, – для этого я просила тебя сбересть квартиру. Но все оказалось не так просто! Уже три недели, как она совершенно больна. Ежедневно аптека и доктор, сердечные припадки, бессонные ночи – словом, все то, что делает невозможным ее отъезд. Nervi совершенно опустело, сезон кончился, и даже наш отель закрыт к 15 мая (по здешнему стилю). По набережной бродят унылые фигуры, мы обедаем почти в пустом зале. Оркестр играет для 8–10 человек... На берегу клочки разорванных писем и апельсиновые корки... Все уезжают. Осенние впечатления весной, – так это странно и уныло, уныло. Нужно уезжать и мне. Теоретически я наметила себе весь путь. Конечно, не в Москву, конечно, не в Россию, об этом я не могу даже подумать без глубочайшего



отвращения... Но ехать невозможно, ибо арифметика Сережи, – столь точного всегда, – не сошлась и не может сойтись с действительностью. Говорить об этом тягостно, но что же делать, когда «упорно в лицо неизвестность под дымной вуалью глядит»... На 400 francs, которые едва-едва у меня останутся к 15 мая, я должна и ехать и жить до русского 1-го июня. Притом *вдвоем*, так как в таком ужасном состоянии, как сейчас, Надю отправлять в Москву равнялось бы сознательному убийству. Мне приходит в голову множество планов, но они неосуществимы, потому что я не одна. О, такая жизнь!.. Право, настало время проклинать Генриха за его теургический фокус, за «Лазарево воскрешение», за все то, что он делал *во имя спасения собственной души*, не считаясь с последствиями, которые придется пережить *мне*. Я вовсе не хочу ни погибать, ни умирать, но есть такие невыносимые для меня нормы жизни, которым *даже я сейчас*, при всей жажде жизни, при всей *внутренней возможности жить*, предпочитаю смерть. Ах! С Сережей об этом говорить бесполезно, – он напишет мне письмо, которое будет начинаться так: «Мы с Лидией...», а дальше пойдут нравоучения, которые (признаюсь тебе дружески) я иногда рву, не читая.. Я вижу с ясностью, что пришло время, когда я должна расстаться с многими моими «предрассудками» прошлого. Вот ты пишешь, что я *должна* работать, что кто раз отравился ядом творчества, тому никогда не излечиться от этого. Ты прав, Валерий! Я *думала*, что я больше не буду писать, мне *хотелось* расстаться *и с этим* прошлым... Но, увы!.. К сожалению, я *хочу*, страстно хочу писать!.. Это пришло недавно, в одну из ночей. Я поняла, что *жизнь* моя в этом и только в этом... Но желание писать причиняет мне пока только самую горькую боль. *Я не могу еще*. У меня *еще* нет подлинных, настоящих слов, я *еще* не владею образами. Они владеют мной и убивают то необходимое ясное спокойствие, тот душевный порядок, то знакомое состояние, которое, бывало, неодолимо влекло меня к письменному столу. Верно, слишком сильно было потрясение во всем моем существе, а времени прошло еще немного – 5½ месяцев. Иногда после морфия люди сидят больше чем по году в соответственных заведениях.



Я только теперь, недавно встретилась с собой самой и поняла многие свои чувства и поступки за эти месяцы, сделала им должную оценку. И теперь, о, более чем когда-либо, мне нужно внешнее спокойствие и уверенность в завтрашнем дне. Я была 5½ месяцев после болезни каким-то жадным изголодавшимся зверком, который бросался на все, – хищно, бессмысленно, безудержно. Телесно я давно уже стала «человеком». Как уехала из санатории, с Рима. О, ты не узнал бы меня, Валерий!.. У меня в памяти остался страшный мой образ ночи 26 октября. Но с тех пор я изменилась бесконечно. Это я знаю сама и вижу в глазах мужчин. Тех, которые подходили случайно близко, и в скользких взглядах встречных, которые шепчут «bella» (прекрасная (*ит.*) – *И. Т.*), как это делается во всех странах мира, если женщина кажется желанной хотя бы на час, на одну ночь. О, не думай, что я говорю неправду!.. Я могла бы привести тебе несколько более реальных примеров, – но не надо... 22 фунта! Только 22 фунта сделали меня другой внешне. Но внутри, в душе еще долго, долго была темная ночь. Ум работал механически, верно, потому что был слишком побежден воскресшим, требующим *многого, многого* телом. Я знаю теперь, что иногда я поступала бессознательно, повинуюсь преувеличенной потребности жить, жить, жить, как живут звери, как живут люди в мгновенья опьяненности. Теперь ко мне вернулось все сознание. И странно, – точно через какие-то другие, неизвестные мне еще двери души пришло оно... Я знаю, *чего я хочу* и *чего я не хочу*, знаю, что я могла бы и чего больше не могу. Знаю, *что я люблю навсегда* и что для меня мертво. Я могла бы все это сказать иными словами, в образах, искреннее и проще, не в отвлеченных формулах. Но я слишком отвыкла от тебя, я не умею говорить с тобой, как прежде. Сделай сам из этой схемы живой рисунок. Сделай его по воспоминаниям обо мне, и ты увидишь *меня*, – *меня новую, живую, настоящую*. Я могла бы сейчас жить хорошо... могла бы... Но у меня нет сил для той борьбы за дни, за недели, за платья, которые мне нужны, за каждую мелочь в житейском, что я должна вести. Все это не жизнь, а какая-то гнилая нитка, рвущаяся ежеминутно. И здесь я могла бы привести тебе множество



самых горьких примеров, но зачем!?!.. Только боль и боль. И так, *сейчас* работать и «зарабатывать» я еще не могу. Того покоя, который мне нужен, чтобы в полной тишине и ясности овладеть просыпающимися силами, – мне *никто* не даст. Тревога же, – эта тревога за дни и недели, эта неизвестность, эта внешняя униженность, в которой я живу, *несмотря на сознание Сережи, что он делает для меня «невозможное»*, – все это висение в воздухе на волоске приводит меня к одному выводу, что *так* жить нельзя. Что мне нужно? В цифрах: – *верных* 450 руб. в месяц с Надей и несколько меньше, если я останусь одна. Но я знаю, что это смешная претензия, обращенная в пустоту, если я не «зарабатываю» сама. Жить без того *minimum*'а платьев и шляп, к которым я привыкла, как к моей внешней и необходимой раме, т. е. жить так, как я *сейчас живу*, – для меня *хуже смерти*. И я смотрю с полным сознанием прямо в лицо судьбе и жизни. *Что* нужно сделать? Числа и месяцы идут, не считаясь со мной, «сезоны» сменяются, времена года проходят. 15-го мая я *должна* уехать отсюда, а ехать с 400 francs в другую страну, когда мне еще и телесно нужно обращаться с собой очень осторожно, – это печальная авантюра... О, сегодня я не могла спать всю ночь, и в эту ночь я вспомнила себя в Париже, когда под влиянием похожих обстоятельств написала тебе «ужасное» письмо. Как еще наивна была тогда моя душа!... Да, мне нужно *расстаться* с собой *совсем*... Это жалко, грустно и больно, больно без конца. Но есть только *два* выхода: или браунинг, который «я вожу с собой по Европе», – безобразное насилие над телом и душой, безобразная жалкая смерть таракана, задавленного в щели (ибо я *не хочу* умирать), или обычный, знакомый, старый путь одиноких женщин, не сумевших найти своего «счастья»... блуждающих в пустоте, с глазами, прикованными к пустоте же... Я не буду делать искусственного перехода к моей главной мысли. Ты поймешь логическую связь и без объяснений...

В первый раз это было 1½ месяца назад. Молодой немец, фабрикант, сосед по столику в ресторане... Мы были знакомы два дня. Ах, я знаю, есть тысячи женщин и красивее и моложе меня!.. Но ты знаешь встречи, когда



человек вдруг испытывает непонятное потрясение, когда вот именно к *этой*, а не к другой влечет неодолимо, безумно, бессмысленно.... Мы познакомились за завтраком, Надя была больна и лежала наверху. Вечером поехали на Portofino в автомобиле. Ночью он должен был ехать, но не мог, не поехал. Теперь я почти забыла его лицо, помню только необычайное сходство с Б. Н. (Белым. – И. Т.) (не в выражении, а в чертах). Денег у меня не было вовсе, я не знала, чем заплачу назавтра в отеле, а он звал меня, умолял немедленно ехать в Париж, потом в Англию (там у него фабрика железа) и с величайшей наивностью мужчины, привыкшего к продажности женщин, предлагал мне 2000 francs в месяц «кроме бриллиантов»... Темная ночь была у меня тогда в душе. Я еще плохо понимала «жизнь» и *отказала* с какой-то вызывающей дерзостью. В вечер его отъезда я пила плохое Asti в cafe Milano с неаполитанцем-музыкантом, что играл у нас сезон за 8 francs «разовых» на марине. Так кончилась эта история, если не считать трех писем, на которые я не ответила. У меня не было после раскаяния. Сходство с Б. Н., это карикатурное сходство, может быть, оно и имело самое отрицательное значение. За 1½ месяца, что прошли с тех пор (кажется, больше даже, – не помню), я так устала от Сережиной «арифметики».... Разве можно представить себе чью-нибудь жизнь, когда люди отделены тысячами верст!.. И разве *ты* представляешь ее всю, час за часом!.. О, я стала думать о «случае», как говорят женщины. Я стала упорно ждать... Ты знаешь, что такое большой отель, где ежечасно пустеют и наполняются комнаты? Терраса под пальмами, как в синемамографе, ресторан, оркестр, играющий непременно цыганские романсы. Свободные женщины и свободные мужчины с «Matin» (ежедневная парижская газета. – И. Т.) в руках, лениво склонившиеся над своим остывшим кофэ, запах сигар и отрывки всевозможных языков, долетающих из аллей. Среди этой пестрой толпы появилась новая фигура – стройный пожилой француз – мопассановский облик, старый любовник из «Fort comme la mort» («Сильна как смерть», роман Ги де Мопассана. – И. Т.)... Он заметил меня в первый же день за обедом, и нас вечером познакомила хозяйка отеля.



14 дней он не отходил от меня, как влюбленный мальчик, и так как, верно, у меня вид кокотки «с запутанной карьерой» – то все, начиная от *m-me de l'hotel* (хозяйки гостиницы (фр.) – *И. Т.*), кончая арабом – Ибрагимом, что подает по вечерам вино и кофэ, буквально «сводили» меня с этим *m-er Henri*. Он приезжает в *Nervi* в *Grand Hotel* восьмой сезон. Он француз, инженер, совершенно одинокий. Ему под 50 лет. На голове у него «*piazza di terrari*» (т. е. почти ни одного волоса), по выражению мальчишки-неаполитанца, у него изящные манеры, он долго жил на свете и почему-то был вечно несчастен в любви. Меня он оценил так, как ценили меня, бывало... пока я не потеряла все возле тебя и от жизни с тобой... Было приятно слушать его парижскую речь, было приятно гулять с ним под пальмами и чувствовать, как с каждым днем эта чужая душа неизвестного человека все больше и больше наполнялась мною. Когда я оставалась одна с собою, я спрашивала себя прямо, грубо: «Можешь ты или нет?» – и отвечала: «Да, теперь так надо, теперь иного нет, – могу!..» И вот настал, настал тот миг, который я бессознательно отдаляла. Он стал говорить о том, как одинок он в мире, как грустно покупать женщин в его годы, как хочется ему «другого», и как «шикарна» была бы я в Париже, и как нужен мне тихий нежный покой после той пережитой печали, след которой еще он видит в моих глазах. Ах, не могу я повторить всего, что говорил он. Огни в салоне погасили, все разошлись, и тогда мы поехали в экипаже до Генуи. Была светлая, кажется, лунная ночь. О, как уныло сияла его лысина в этой нежной полумгле!.. Зачем он снял шляпу... Я вспоминала твои страшные последние стихи: «И ты старик! Ты бред!» Мне хотелось опять побежать с неаполитанцем в кафэ *Milano* и слушать, как этот маленький трубочист говорит глупости, сверкая зубами и глазами. Мне было почти ужасно, но я преодолела себя и выслушала все до конца. Теперь он ждет меня в Париже, и каждый вечер аккуратно получаю от него письма, которые начинаются всегда одинаково: «*Piscina mia! Quand?..*» («Моя малютка! Когда?» (*ит., фр.*) – *И. Т.*). И я думаю... думаю серьезно, мужественно, окончательно. Что мне осталось? Куда я иду? Что у меня позади и что



вперед?.. 1-го (русского мая) Сережа придет *в последний* раз «невозможную для него сумму», думая, что я могла жить, сообразуясь с его «арифметикой». По самым нищенским расчетам с житейским у меня останется 400 francs. Нужно ехать, нужно жить. А 1-го июня он придет *вдвое меньше*. Работать я *еще* не могу, и мучительное существование убьет всякую возможность моей работы и «заработка» в будущем. Вернуться в Россию я *не могу*, а погибнуть, как задавленный таракан, *не хочу*. Мечты о «любви».... Они погибли для меня вместе с тобой. Мне очень больно, мне несказанно грустно, и я минутами проклинаю Генриха, вернувшего меня в мир. Такой легкой и блаженной смерти, что была близка в ночь 26 октября, мне не дожидаться. Я с тоскою уже думаю о тех днях в Италии, когда я ни о чем не думала, была как в бреду и только пила «Весны благоуханный запах». Но слишком жестоко скитаться по миру, возить растрепанные чемоданы по дешевым отелям и чувствовать себя бездомнее последнего нищего. Мне «осталось на размышление» 10–11 дней. За этот срок я должна или воспользоваться наконец подарком Полякова (револьвер, подаренный С.А.Поляковым. – *И. Т.*), или решиться на иное. Сегодня у меня есть потребность говорить *о себе*, говорить на *родном* языке (я уже забываю русскую речь. С Надеей почти не говорю, а с русскими не знаколюсь). А ты хотя и не любишь меня больше, но понимаешь всё, и *не так*, как Сережа. В это я еще верю...

Вероятно, никогда больше я не напишу тебе такого длинного, грустного и дружеского письма. Может быть, потому мне так хочется говорить *с тобой* сейчас, что сегодня годовщина одного *нашего* дня. О, не скажу, не напомним, какого и в каком году!.. А ты забываешь числа, они тонут бесследно в твоей душе. Может быть, потому, что я чувствую себя проснувшейся, наконец, после долгого, долгого сна... Может быть, сегодня вся печаль прошлого и настоящего больно давит грудь и мне хочется прижаться к кому-то, хотя знаю, что *не надо*... В эти дни *и только теперь* я прощаюсь с прошлым, прощаюсь *с собой*, прощаюсь *с тобой*, понимая *все* значение слов «прощай навсегда». И мне хотелось написать *тебе* и *подругому*, чем я писала, – нежно и горько протянуть к тебе



в последний раз руки... Прости, если не удалось, если я не сумела! Но верь, Валерий, что нет у меня к тебе ни злобы, ни мстительных чувств. Правда, моя жизнь погибла возле тебя, но кто может спросить судьбу – «зачем?»... Так было нужно, верно! Не суди меня *по словам* этого письма, не думай, что я *хочу* от жизни чего-то низменного и мелкого. Я ужасно устала, я пережила столько, что этого хватило бы на много чьих-то существований. И если, наконец, мне суждено сломаться, если я *не могу* сопротивляться злым силам, – моя ли это вина? Когда мы ехали с тобой на автомобиле 9-го ноября, – разве знала я что-нибудь? разве знала я, *куда* и *зачем* я еду, разве я знала, что это в последний раз мы пьем с тобой коньяк на Брестском вокзале! Я тебя больше не увижу, Валерий. Все чувства, и все предчувствия, и все сны говорят мне это. А мы прожили вместе долгую, страшную и прекрасную жизнь. Ее можно оторвать от сердца только с великой болью.

Но не думай, о, не думай! *Я ничего не хочу вернуть.* Я только *случайно* оглянулась назад. В эти дни мне *нужно* думать, а в настоящем нет ни одного мига, который не был бы результатом и итогом прошлого. Я должна, как говорится, «плохо кончить»... Такова моя душа. Трагическое и печальное идет за мной, тянется длинным шлейфом.. Только я больше не плачу... За 5½ месяцев ни разу... Надя говорит, что я стала жестокая и никого и ничего не жалею...

Милый Валерий, не говори *ничего* Сереже об этом письме, точно ты его и не получал. Не надо!.. С ним я не могу говорить *так*. Ты знаешь Сережу... *Очень, очень прошу тебя.*

Один человек, который меня любил, и которого я оттолкнула со всей жестокостью в дни моей жадности к жизни, тотчас после Рима, как-то сказал: «Вот Вы смеетесь, Вы кажетесь такой сильной, точно Вам никого не нужно, а я Вам не верю, не верю... Вы просто маленькая девочка, что заблудилась в страшном темном лесу... девочка... одна... протянула руки в пустоту... и идет, сама не знает куда, к кому, зачем»...

Прощай, Валерий! Я, правда, не знаю больше, *зачем*, куда и к кому я иду!..



30 апреля / 13 мая 1913 г. Мюнхен.

Валерий,

мы не увидимся больше и не будем вместе никогда. Так решила судьба, и так сказали мы сами. Теперь, я думаю, и ты от чистого сердца повторишь мои слова: мы больше не существуем друг для друга... *Ainsi soit-il* (Да будет так! (фр.). – И. Т.)!

Не буду говорить тебе, *почему*, – это сложно и томительно, если рассказывать подробно, но я прошу: *верни мне мои письма*. Время, всевозможные события (роковые и счастливые, но пережитые без тебя) и, наконец, полная перемена моих чувств к тебе, – все это говорит за то, что моя просьба не мимолетный каприз, о котором забуду я завтра. *Я так хочу*, я чувствую за собой внутреннее право получить обратно *мои* письма, потому что в сущности они никогда не принадлежали тебе... Насколько я помню, *твои* письма хранятся у Сережи (!!) как литературное сокровище, завещанное будущему? Если говорить откровенно, я хотела бы уничтожить *и их*, ибо изменилась моя душа, и то, в чем находила я великое и прекрасное прежде, кажется мне пустым и лживым теперь. Но, зная тебя, об этом я могу только смиренно просить.

Мне хочется верить, что ты вернешь мне с легкостью сотни этих исписанных листов, ни на что не нужных тебе больше. Зачем ты причинишь мне последнюю неприятность? Но если ты не ответишь вовсе или ответишь «нет», – что останется мне тогда кроме «варварской мести», – попросить Сережу, который, конечно, сделает, как хочу я. Прислать твои письма и растопить ими печку в майский день на удивление немцам!.. Я жду ответа.

Н. Петровская.



Конец Ренаты

Роман Гуль*. Сотрудничала у меня в «Литературном приложении» Нина Ивановна Петровская – Рената из «Огненного ангела» Валерия Брюсова и его долголетняя любовь. Как Рената Н.И. вошла в символистскую литературу. Но между символистскими временами и «накануневскими» – разверстая пропасть. В прошлом Н. И., вероятно, была привлекательна. Следы былой (пусть не красоты, но) привлекательности в ее облике были. В письмах 1904 года А.Блок писал о ней: «Очень мила, довольно умная». Но в «накануневские» времена это «мила» к Нине Ивановне уже, разумеется, не подходило.

Лет под пятьдесят, небольшого роста, хромая, с лицом, намакированным всяческими красками свыше божеской меры, как для выхода на большую сцену, Нина Ивановна, правду говоря, производила страшноватое впечатление. Это была женщина очень несчастная и больная. Алкоголичка, Н. И. почти всегда была чуть-чуть во хмелю, одета бедно, но с попыткой претензии – всегда черная шляпа с сногшибательно широкими полями, как абажур. Острая на язык. Я с Н. И. дружил.

Настоящей писательницей Н. И. никогда не была, а сейчас уж и вовсе мало что могла написать. Но хорошо зная итальянский (всю войну прожила в Италии), Н. И. переводила какие-то короткие итальянские новеллы и снабжала ими «Литературное приложение». Печатал я их (да и Толстой до меня) не из-за их качества, а чтобы как-то поддержать Н. И.: грошовая построчная плата была ее единственным заработком. А она была не одна. Везде и всегда, неразлучно, Н. И. появлялась вместе с своей сестрой Надей, производившей тяжелое впечатление: крошечного роста, с туповатым выражением глаз, с какими-то словно смазанными чертами лица, Надя всегда ходила под руку с Ниной... Думаю, у Нины Ивановны могла быть и боязнь

* Гуль, Роман (1896–1986) — русский писатель, эмигрант, журналист, публицист, критик, мемуарист, общественный деятель. Первопоходник, участник гражданской войны и Белого движения.



пространства, и одной ей было трудно выходить, да и свою ущербную сестру одну оставить дома было нельзя. Так они и появлялись всегда вместе...

Помню, как-то Нина Ивановна в некоем подпитии рассказала, как они с Брюсовым были где-то за границей (в Париже, по-моему) и как «весь день, не выходя из номера гостиницы, он в одних подштанниках по номеру со шприцем бегал». Но все имеет свой конец. И «миги» кончились («Быть может, все в жизни лишь средство / Для ярко-певучих стихов»). Брюсов довольно грубо бросил Нину, отослав из Москвы за границу. Нина оказалась «на смертном колесе». Здесь она пыталась покончить самоубийством. Ходасевич говорит – она «выбросилась из окна» в Париже. Но Толстой рассказывал иначе, будто Нина Ивановна бросилась под автомобиль в Мюнхене. Как бы там ни было, но попытка самоубийства сделала Н. И. калекой на всю жизнь: она осталась хромой.

Война застала ее в Риме в ужасающей нищете: просила милостыню, голодала, пила, а порой «доходила до очень глубоких степеней падения» (по Ходасевичу). Алексей Толстой не был густо населен добротой ни к ближнему, ни к дальнему. На тех и других ему было плевать в высокой степени. Но справедливости ради надо сказать: это он вытащил Нину в 1922 году в Берлин и устроил ее сотрудничеством в «Накануне». Думаю, из-за того, что она несомненно была неким «живым памятником символизма». Для Нины Берлин был «выходом» из отчаяния.

Я к Нине Ивановне относился хорошо, и мы довольно часто встречались в компании – она (с Надей, конечно), художник Н. В. Зарецкий, поэт Корвин-Пиотровский, я. Всегда, разумеется, с «возлиянием». Без этого встреч с Ниной Ивановной, разумеется, и быть не могло. Да и все мы – надо признаться – выпивали тогда неплохо.

Рассказы Н. И. о баснословных московских годах символизма были красочны. Но будучи человеком «у последней черты», Нина Ивановна постных разговоров не любила. Они ей были пресны. Она любила острые блюда. И рассказы ее всегда были рискованного содержания – эдакая «обнаженность» прозы. Поэтому полностью



многое предать гласности не решаюсь. Но кое-что расскажу. Помню, как после моего доклада в узком литературном кружке о поэзии Ходасевича (меня тогда занимал некий эротический подход к искусству) Нина Ивановна пришла просто в полный восторг. «Роман Борисович, да вы даже не представляете, как вы попали в самую точку! Ведь я же Владислава знаю как голенького!» И дальше шел довольно нецензурный рассказ о Ходасевиче и его первой жене художнице с каким-то странным наименованием – Коза Роза (что-то в этом роде).

Но прочтя мою брошюру об Андрее Белом, о бесполости его творчества, Нина Ивановна с таким же азартом стала мне возражать. «Нет, нет, это не то, у вас выходит, что Белый – какая-то полная бесполость. А на самом деле все обстояло не совсем так. Уж мне-то поверьте, я эту тему лучше вас знаю», – с хриплым смехом (она много курила) говорила Н. И. – «Ну, конечно, Нина Ивановна, тут вам и карты в руки». – «Ну так вот я вам и говорю: он вовсе был не беспол... Но *это* ему было не так нужно, как другим... Он прекрасно мог обходиться и *без этого*...» – «Ну, стало быть, вы подтверждаете мою тезу?» – «Подтверждаю-то подтверждаю, да не совсем». – «Да я и не утверждаю, что «совсем»...»

Как-то случайно заговорили о Яшенко (А. С. Яценко – русский юрист, правовед, философ, библиограф. – И. Т.), и Нина Ивановна начала хохотать, говоря: «А вы знаете, что он золотой? Нет?» – «Как так?» – «Да вот так! Я же видела его нагишом, ну совершенно нагишом – и он весь в золотом пуху. А на одной ноге у него большой палец стоит вверх...» – «Да откуда у вас эдакая осведомленность об Александре Семеновиче?» И Нина Ивановна рассказала, что на каком-то таком символистском вечере в Москве, где читались стихи, много пилось, много говорилось о всяких «чарах», «мигах», «одержимости», «оргазмах», когда вечер был в полном разгаре, далеко за полночь, Брюсов предложил потушить электричество и всем раздеться. А через десять минут – зажечь. Согласились. Электричество потушили. И через десять минут зажгли. Что же все увидели? Никто, оказывается, не разделся, кроме Яшенко. Он один стоял голый. Поднялся общий хохот, выкрики. И страшно



смущенный Яценко начал торопливо одеваться, прикрывая свою адамову наготу. Тут-то Нина Ивановна, оказыва-ется, и разглядела, что Яценко «золотой» и большой палец на одной ноге стоит вверх...

Как-то при встрече с Яшенко я рассказал ему про этот эпизод, спросив, правда ли, что он золотой? По смущению Яшенко я увидел, что рассказ Нины Ивановны был, конечно, сущей правдой. Но Яценко все-таки про-бормотал: – «Что вы слушаете эту истеричку, врет она все, ничего подобного никогда не было...» Видно, профессору международного права было неудобно вспоминать свои «шалости амура».

Какие-то чудовищные вещи Нина Ивановна рассказы-вала про Бальмонта, которого хорошо знала. Рассказывала, что когда она была женой С. А. Соколова-Кречетова, вед-шего издательство «Скорпион», у них часто собирались братья-писатели, художники, актеры, все, кто были близ-ки к тогдашнему декадентству и символизму. И вот раз, за большим пиршеством, она, хозяйка дома, сидела за столом рядом с Бальмонтом. Компания была шумная, большая, ели, пили, говорили, кричали. Потом Нина Ивановна, как хозяйка, встала пойти на кухню о чем-то распорядить-ся. А в кухне кухарка так вдруг и ахнула: «Барыня, гово-рит, да что это вы вся мокрая...» Взглянула я на свое пла-тье, и вижу, действительно, что с одной стороны (с той, с которой сидел Бальмонт) я вся мокрая. Пришлось идти переодеваться». «Так что же он сделал?», – не совсем дога-дался я. «Как что? – недоумевающе проговорила Нина Ива-новна, – обмочил меня всю... Нарочно, конечно...» Я выразил свое крайнее удивление, как это он так словчился, а глав-ное, зачем? «Зачем? – переспросила Нина Ивановна, – вы не знаете Бальмонта, в другой раз было хуже. Звонит как-то Бальмонт, говорит, хочет зайти. Я ему говорю, что Сергея Алексеевича нет. А он отвечает, что ему его и не надо, поэт хочет видеть меня и читать мне свои стихи... Ну, говорю, приходите. Пришел он, долго сидел, все читал свои сти-хи, потом позвала меня прислуга, я извинилась, вышла. Возвращаюсь в гостиную минут через пять, Бальмонта нет. Я удивилась. И вдруг вижу – на ковре посередине гостиной



оставлена визитная карточка...» – «Визитная карточка?» – «Ах, Господи, какой вы, Гуль, непонятливый... Оставил на ковре свои... ну..., фекальные массы...» – «Да что вы, Нина Ивановна! Ну, стало быть, он просто ненормальный, душевно больной?» – «Ничего не ненормальный... Поэт... Декадент...» – пожала плечами Нина Ивановна...

Несколько раз Нина Ивановна говорила, что хочет прийти к нам, познакомиться с моей матерью. Я не очень спешил с приглашением, ибо понимал, что моя мать и Нина Ивановна – люди совершенно разных миров. Но Н. И. так настаивала, что наконец я ее пригласил. Она пришла, конечно, вместе с молчаливым уродцем Надей. Пили чай. Для Нины Ивановны я приготовил вино. Но визит был явно неудачен. У мамы с Ниной Ивановной никакого «общего языка» не нашлось. И когда Н. И. и Надя ушли, мама только сказала: «Какая-то странная и какая-то несчастная женщина...»

Нина Ивановна и была – странная и несчастная. Помню, как о смерти в Москве Валерия Брюсова первым сказал Нине Ивановне я. Она принесла очередную итальянскую новеллу для «Литературного приложения». Я сказал ей, что телеграф сообщил, что умер Брюсов, и показал только что сверстанное «Литературное приложение» с большим портретом В. Брюсова на обложке. Нина Ивановна как-то потемнела в лице, ничего не сказав, взяла «Литературное приложение» и долго-долго (как застыв) смотрела на Брюсова, потом тихо, даже будто с трудом, произнесла почему-то: «Да... Это он...». И отложила газету. Мне всегда казалось, что бедная Рената все жизнь любила Рупрехта, который жестоко разбил ее жизнь.

Когда «Накануне» кончилась, Нине Ивановне не на что стало жить, и она решила на последнее: ехать в Париж в надежде, что ей поможет там глава Нансеновского комитета Василий Алексеевич Маклаков* и старый ее друг Владислав Ходасевич. Дело в том, что в дни молодости Нины Ивановны Маклаков (великий женолюб) без памяти был в нее влюблен и, как мне говорили сведущие

* Маклаков, Василий (1869–1957) — российский адвокат, политический деятель. Член Государственной думы II, III и IV созывов.



люди, готов был будто бы даже на ней жениться. Но Нина Ивановна, жившая среди декадентов и создававшая из своей жизни «трепетную поэму» и «творимую легенду», блестящего Маклакова, тогда уже знаменитого адвоката, – отвергла. Он для нее был слишком «реален». Теперь же, через много десятилетий, Нина Ивановна (с Надей) уехала в Париж, надеясь на его помощь. Знаю, что в Париже она сразу же пришла в «офис» Маклакова, но, увы, Василий Алексеевич был только «формален», что-то посоветовал, куда-то направил, и все. Ходасевич же, сам перебивавшийся с хлеба на квас литературным заработком, тоже ничем существенным помочь не мог...

Ходасевич. Ее скитания за границей известны мне не подробно. Знаю, что из Италии она приезжала в Варшаву, потом в Париж. Здесь, кажется в 1913 году, однажды она выбросилась из окна гостиницы на бульвар Сен-Мишель. Сломала ногу, которая плохо срослась, и осталась хромой.

Война застала ее в Риме, где прожила она до осени 1922 года в ужасающей нищете, то в порывах отчаяния, то в припадках смирения, которое сменялось отчаянием еще более бурным. Она побиралась, просила милостыню, шила белье для солдат, писала сценарий для одной кинематографической актрисы, опять голодала. Пила. Порой доходила до очень глубоких степеней падения. Перешла в католичество. «Мое новое и тайное имя, записанное где-то в нестираемых свитках San Pietro – Рената» писала она мне...

Осенью (1922 г. – И. Т.) появилась в Берлине... полубезумная, нищая, старая, исхудалая, хромая. 8 ноября, как раз накануне того дня, когда исполнилось одиннадцать лет со дня ее отъезда из России, они (Нина и Андрей Белый. – И. Т.) у меня встретились, вместе ушли и вместе провели вечер. Оба жаловались потом. Даже безумства никакого не вышло. С ними случилось самое горькое из всего, что могло случиться: им было просто скучно друг с другом. То было последнее на земле свидание Ренаты с Огненным Ангелом. Больше они не встречались...

Брюсова она возненавидела: «Я задыхалась от злого счастья, что теперь ему меня не достать, что теперь другие



страдают. Почему я знала – какие другие, – Львову он уже в то время прикончил... Я же жила, мстя ему каждым движением, каждым помышлением».

Здесь, в Париж, она приехала весной 1927 года, после пятилетнего нищенского существования в Берлине. Приехала вполне нищей. Здесь нашлось у нее не мало друзей. Помогали ей, как могли и, кажется, иногда больше, чем могли. Иногда удавалось найти ей работу, но работать она уже не могла. В вечном хмелю, не теряя рассудка, она уже была точно по другую сторону жизни...

В дневнике Блока, под 6 ноября 1911 года, странная запись: «**Нина Ивановна Петровская „умирает“**». Известие это Блок получил из Москвы, но почему слово «умирает» он написал в кавычках?

Нина в те дни, действительно, умирала: это была та болезнь, перед отъездом из России, о которой я говорил выше. Но Блок слово «умирает» поставил в кавычки, потому что отнесся к известию с ироническим недоверием. Ему было известно, что еще с 1906 года Нина Петровская постоянно обещалась умереть, покончить с собой. Двадцать два года она жила в непрестанной мысли о смерти. Иногда шутила сама над собой:

Устюшкина мать
Собиралась помереть.
Помереть не померла –
Только время провела.

Сейчас я просматриваю ее письма. 26 февраля 1925: «Кажется, больше не могу». 7 апр. 1925: «Вы, вероятно, думаете, что я умерла? Нет еще». 8 июня 1927: «Клянусь Вам, иного выхода не может быть». 12 сентября 1927: «Еще немного, и уж никаких мест, никакой работы мне не понадобится». 14 сентября 1927: «На этот раз я скоро должна скончаться».

Это – в письмах последней эпохи. Прежних у меня нет под рукою. Но всегда было то же – и в письмах, и в разговорах.

Что же удерживало ее? Мне кажется, я знаю причину.

Жизнь Нины была лирической импровизацией, в которой, лишь применяясь к таким же импровизациям дру-



гих персонажей, она старалась создать нечто целостное – «поэму из своей личности». Конец личности, как и конец поэмы о ней, – смерть. В сущности, поэма была закончена в 1906 году, в том самом, на котором сюжетно обрывается «Огненный Ангел». С тех пор, и в Москве, и в зарубежных странствиях Нины длился мучительный, страшный, но ненужный, лишенный движения эпилог. Оборвать его Нина не боялась, но не могла. Чутье художника, творящего жизнь, как поэму, подсказывало ей, что конец должен быть связан еще с каким-то последним событием, с разрывом какой-то еще одной нити, прикреплявшей ее к жизни. Наконец, это событие совершилось.

С 1908 года, после смерти матери, на ее попечении осталась младшая сестра, Надя, существо недоразвитое умственно и физически (с нею случилось в детстве несчастье: ее обварили кипятком). Впрочем, идиоткой она не была, но отличалась какою-то предельной тихостью, безответностью. Была жалка нестерпимо и предана старшей сестре до полного самозабвения. Конечно, никакой собственной жизни у нее не было. В 1909 г., уезжая из России, Нина взяла ее с собой, и с той поры Надя длила с ней все бедствия заграничной жизни. Это было единственное и последнее существо, еще реально связанное с Ниной и связывавшее Нину с жизнью.

Всю осень 1927 года Надя хворала безропотно и неслышно, как жила. Так же тихо и умерла, 13 января 1928 года, от рака желудка. Нина ходила в покойницкую больницы, где Надя лежала. Английской булавкой колола маленький труп сестры, потом той же булавкой – себя в руку: хотела заразиться трупным ядом, умереть единою смертью. Рука, однако ж, сперва опухла, потом зажила.

Нина бывала у меня в это время. Однажды прожила у меня три дня. Говорила со мной на том странном языке девятисотых годов, который когда-то нас связывал, был у нас общим, но который с тех пор я почти уже разучился понимать...



Нина Берберова*. Нина Петровская появилась у нас однажды днем, в сопровождении сестры Нади. Надя была придурковатая, и я ее боялась. С темным, в бородавках, лицом, коротким и широким телом, грубыми руками, одетая в длинное шумящее платье с вырезом, в огромной черной шляпе со страусовым пером и букетом черных вишен, Нина мне показалась очень старой и старомодной. Рената «Огненного Ангела», любовь Брюсова, подруга Белого – нет, не такой воображала я ее себе. Мне показалось, что и Ходасевич не ожидал увидеть ее такой. В глубоких, черных ее глазах было что-то неуютное, немного жутковатое, низким голосом она говорила о том, что написала ему письмо (она никогда не называла Брюсова по имени) и теперь ждет, что он ответит ей и позовет ее в Москву. Вишни на ее шляпе колебались и шуршали, как прошлогодняя листва, она употребляла странные выражения, которые больше напоминали Бальмонта, чем Брюсова: несказанный, двуликий, шел на меня, как черная птица (о ком-то, встреченном на Пассауэр-штрассе). Когда она поцеловала меня, я почувствовала идущий от нее запах табака и водки. Однажды Ходасевич вернулся домой в ужасе: он три часа просидел в обществе ее и Белого – они сводили старые счета: «Это было совершенно, как в 1911 году, – говорил он. – Только оба были такие старые и страшные, что я едва не заплакал».

Она относилась ко мне с любопытством, словно хотела сказать: и бывают же на свете люди, которые живут себе так, как если бы ничего не было: ни Брюсова, ни 1911 года, ни стрельбы друг в друга, ни средневековых ведьм, ни мартелевского коньяка, в котором он когда-то с ней купал свое отчаяние, ни всей их декадентской саги. Из этого один только коньяк был сейчас доступен, но я отказывалась пить с ней коньяк, я не умела этого делать. Она приходила часто, сидела долго, пила и курила и все говорила о нем. Но Брюсов на письмо ей не ответил.

Через несколько лет, в Париже, после смерти сестры, она несколько дней прожила у нас в квартире на улице

* Берберова, Нина (1901–1993) – русская писательница, автор документально-биографических исследований, жена В. Ходасевича.



Ламбларди. С утра она, стараясь, чтобы я не заметила, уходила пить вино на угол площади Дюмениль, а потом обходила русских врачей, умоляя их прописать ей кодеин, который действовал на нее особым образом, в слабой степени заменяя ей наркотики, к которым она себя приучила. Жизнь ее была трагической с самого того дня, как она покинула Россию. Чем она жила в Риме во время первой войны – никто ее не спрашивал, вероятно, отчасти – подаянием, если не хуже. Ночью она не могла спать, ей нужно было еще и еще ворошить прошлое. Ходасевич сидел с ней в первой, так называемой «моей», комнате. Я укладывалась спать в его комнате, на диване. Измученный разговорами, курением, одуревший от ее пьяных слез и кодеинового бреда, он приходил под утро, ложился около меня, замерзший (ночью центрального отопления не было), усталый, сам полубольной. Я старалась иногда заставить ее съесть что-нибудь (она почти ничего не ела), принять ванну, вымыть голову, выстирать свое белье и чулки, но она уже ни на что не была способна. Однажды она ушла и не вернулась. Денег у нее не было (как, впрочем, и у нас в то время). Через неделю ее нашли мертвой в комнатухе общежития Армии Спасения – она открыла газ. Это было 23 февраля 1928 года.

Ходасевич. Смертью Нади была дописана последняя фраза затянувшегося эпилога. Через месяц с небольшим, собственной смертью, Нина Петровская поставила точку.



Послесловие

Нина Петровская. Рассказ «Бродяга»

Мое счастье было кратко. Я принял его как чудесный неожиданный дар, и оно покинуло меня, еще юное, живое, навсегда озарив мои дни.

С этой женщиной, о которой я говорю, мы встречались в продолжение двух лет.

Иногда я видел ее мужа – всегда мрачного молчаливого человека. Иногда слышал какие-то странные рассказы о их жизни, но, встречаясь, не замечал ее глаз, быстро забывал лицо и никогда не предчувствовал нашей любви.

Началось это на каком-то ужине в ресторане, куда мы оба попали случайно.

За столом оказались рядом. Почему? Я никого не просил об этом. Долго не замечали друг друга.

Потом говорили о чем-то пустом, обоим ненужном, и она скучала.

Вокруг было шумно, но не весело. Пели цыгане. Ночь проходила незначительно, плоско, подобная многим, о которых так легко забываешь наутро.

Но я замечал: особая грусть в какой-то час всегда опускается над рестораном.

Может быть, это только утомление, ядовитый звон отравленной крови, которая хочет под утро покоя, а может быть, что-то иное, всегда сторожащее за сознанием, говорит людям: вы хотели забыть... но я здесь. Я всегда с вами, я все вижу!.. Не знаю, что это, – но этот час отмечаю всегда.

Тогда усталая певица с слишком подведенными глазами непременно поет какой-нибудь надрывающий избитый романс.

Тогда женщины со странной дрожью в пальцах отвечают на ваше пожатье, и в глазах их вспыхивает Печально-нежный растроганный блеск.

Они шепчут вам ночные живые слова, над которыми вы безжалостно смеетесь наутро.

Но здесь, под безвкусно яркой люстрой, на мягких захватанных диванах готовы дать самое безумное обещание.

У той, что сидела рядом, было неподвижно спокойное лицо. В первый раз я заметил ее глаза. Так смотрят маньяки – упорно, долго, в одну точку.

– О чем вы думаете? – спросил я с любопытством. Она взглянула и улыбнулась – грустно, красиво.



– Я думаю о любви, – ответила она просто. – Всегда о любви. Смотрю в глаза, угадываю темные тайны души, слушаю мелодии голосов и все спрашиваю – не здесь ли?

– Кто? – спросил я, не понимая.

– Любовь.

Тогда я засмеялся и сказал:

– Посмотрите так и на меня. Может быть, здесь?

Она посмотрела. Внимательно, вдумчиво, строго, точно не слыша шуток, и ответила:

– Может быть. Трудно угадать, кого уже отметила любовь.

Из-за стола вставали. Электричество погасло. Принесли свечи. Красные стены кабинета потускнели. На столе апельсиновые корки и недопитые стаканы. У женщин смятые прически, под глазами синие тени.

Поздно. Но отчего мне так не хочется прощаться?

– Мы вместе? – спросил я несмело.

– Да.

И вот на рассвете по синим оснеженным аллеям мы ехали вместе. Она мне казалась прекрасной. Я держал ее руки и восторженно смотрел в лицо.

– Может быть, здесь?.. – спрашивал, сжимая ее пальцы.

– Может быть, – отвечала она просто. И лицо у нее было чуть-чуть грустное, чистое и покорное, как у монахини.

Я проводил ее до подъезда. Звонили к завтрашнему утру. Улицы были пусты и белы. Холодная утренняя грусть сжимала сердце.

– Придете? – спросил я робко.

И голосом ясным, торжественно простым, от которого рассеялось последнее впечатление случайности этой ночи, она сказала:

– Приду.

Так это началось.

Она пришла вечером, на другой день. Все было так просто. Светила луна. Перекладки рам черными крестами лежали на полу. Все та же моя комната, каждый уголок которой я знаю наизусть. Но в нее уже вошло что-то новое, тревожное. Тайна чужой неизвестной души.

– Кто вы? Откуда вы? Почему я не знаю о вас ничего?

И она ответила:

– Не нужно спрашивать. Все внешнее обычно до тоски, и оно, как всегда, ложь. А правду я уже сказала. Я бродяга, скитаюсь по душам и все жду встречи с той любовью, что вижу только во сне.



– Какая же она, эта любовь? – спросил я, и у меня дрожали губы. Она наклонилась. Близко. Я видел странные, сосредоточенно блестящие глаза. Такого выражения я не видал уже после ни у кого, никогда, всю жизнь.

– Моя любовь то, что называют «безумием». Это бездонная радость и вечное страдание. Когда она придет, как огненный вихрь, она сметет все то, что называется «жизнью». В ней утонет все маленькое, расчетливое, трусливое, чем губим мы дни. Тогда самый ничтожный станет богом и поймет навсегда великое незнакомое слово «беспредельность».

Я встал перед ней на колени и ответил:

– Та любовь, о которой ты говоришь, – чудо, и я чувствую – оно уже коснулось моей души. Вот я перед тобой. Возьми меня, веди, учи.

Ее глаза широко раскрылись и загорелись, как огромные, черные камни. Губы изогнулись в истомленно жадной улыбке, точно хотела она выпить, как острое душистое вино, всю мою душу, весь трепет первой мучительной страсти.

Такая была наша первая ночь.

Я не знал ее жизни.

На рассвете провожал до подъезда. Грубо хлопала дверь. Замирали шаги, и я оставался один. Помню, еще подолгу стоял под фонарем. Изумленный, выхваченный из обычного строя чувств. Точно хотелось проснуться, но не мог.

Она приходила. Я запирал двери и тушил огни. Исчезала комната. Становился далеким и чуждым весь мир.

– Тот ли я, кого ты ждала? Та ли это любовь? – спрашивал я с тоской. – Видишь, я весь твой. Без тебя нет ни жизни, ни чувств, ни желаний.

С белых подушек смотрели неподвижные, жадные глаза, и в темной комнате, далекой миру, звучали безумные, странные речи:

– Так, так нужно. Говори, не умолкай. Ты чувствуешь, как в твою душу вонзается что-то острое, режущее, как нож? Ты хочешь умереть? Вот здесь, сейчас, рядом со мной?

И смеялась тихо и жутко:

– О, милый, милый, милый!..

Так прошло много дней. В них утонуло прошлое и закрылось туманом будущее. Может быть, это длилось бы бесконечно. Может быть...

Но я не сумел... Захотелось чего-то прочного, на долгие дни. Душа не выдержала остро-блаженных мук, и я сказал ей однажды:

– Останься со мной навсегда, будь моей женой.



Как в первую ночь, мы сидели на диване, не расплетая рук, а переключая рамы крестами лежали на светлом полу.

Я сказала, и стало страшно тихо. И мне показалось, что кто-то прошел по коридору и встал у дверей.

И вдруг разорвалась пелена жуткой тишины. Я услышал множество звуков, которых при ней не замечал никогда.

За окном скрипели полозья саней. Из умывальника с ритмическим стуком падали редкие капли. За книжным шкафом, шурша обоями, скреблась мышь.

Она освободила руки и отодвинулась. В светлой полосе фонаря я увидел ее лицо, и оно было такое, как в первый вечер – чуть-чуть грустное, строгое, покорное, как у монахини.

– Теперь я уйду, – сказала она спокойно. – Этого не может случиться никогда. Мы оба узнали многое. Предстоит идти еще дальше, еще выше. Ты поймешь это после, без меня.

– Будь моей женой, – повторил я тупо, с отчаянием, не слушая ее слов. – Разве возможно нам расстаться? Твоя любовь беспощадна, как палач.

Она прикоснулась к моим волосам, и в той же полосе фонаря я увидел ее улыбку, грустную, светлую, и глаза, полные слез.

– Разве я жена? – сказала она. – Ну, посмотри – разве я жена! Как только ты произнес это слово, я опять увидела себя на длинной пустынной дороге. Смотри. – Ее глаза расширились. – Смотри вдаль.

Вот мы больше не встречаемся в этой комнате, а живем где-то вместе, и я твоя жена.

У нас несколько больших комнат и общая спальня. Ночью, привыкшие друг к другу, мы раздеваемся равнодушно и бесстыдно.

Медленно, день за днем, словно неизлечимая болезнь, жизнь входит в те неотвратимые сцепления, что люди называют «обычными нормами». Ты опять много работаешь. У тебя в кабинете висит мой портрет. На него ты смотришь чаще, чем на меня, потому что у тебя так много, много работы.

У нас родится первый ребенок. И жизнь меняется просто, без боли. Мы сказали все слова о любви. Спели ее единственную песнь, и нам говорят: «Вот теперь начинается настоящее».

Большие печальные глаза прошлого смотрят откуда-то издалека с горестным укором. От этого взгляда спится иногда эта комната, голубые окна и черные кресты на полу. Но редко. После спокойных ласк мы спим крепко. Проходит еще год. Может быть, у нас второй ребенок. Я полнею.



Говорят, что это красиво, и за мной ухаживают твои приятели. У меня есть любовник.

Ты очень любишь детей, но вечером избегаешь быть дома. Ночью я встречаюсь с твоим виноватым взглядом и делаю вид, что сплю.

Иногда еще мы ласкаем друг друга привычно знакомыми ласками, но никогда уже не повторяем слов, что звучали в этой комнате.

Проходит еще год, а может быть, пять – уже не все ли равно! Что сделали мы с любовью? – спрошу я тебя однажды и увижу в твоих глазах тупую покорную тоску. – Тебе больно? Ты плачешь? – Она коснулась моих век грустно-волнующим прикосновением. – Так нужно. Так суждено всем, полюбившим Любовь...

Я встал на колени. Помню ее серое мягкое платье и свежий холод спокойных рук.

И, как ученик, узнавший большую сокровенную тайну, благоговейно и восторженно поцеловал ее ноги в маленьких черных туфлях.

На другой день я уехал далеко. Мы расстались навсегда.

Но теперь она не одна идет своей вечной дорогой. Мы далеки, но вместе. Мы вдвоем чутко слушаем вечно призывающий голос Любви.

И когда в поздний час одинокого томления чьи-то большие тоскующие глаза с тихой мукой заглядывают мне в лицо, я покорно приближаюсь к Любви и говорю, как она...

– Может быть, здесь...

Нина Ивановна Петровская родилась в 1879 году. Так и не стала писательницей, хотя ею была. Говорят, что, умирая, она, как в бреду, все время повторяла слова Ренаты из романа «Огненный ангел», обращенные к Рупрехту-Брюсову: **«Я тебе все прощаю»**...

ДВЕ СЕСТРЫ

*Лиля Брик и Эльза Триоле:
опыты любви и нелюбви*



ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. ЛИЛЯ

1

Лиля. До 5 лет понятия «сестра» в моем тогда еще скудном лексиконе не существовало. Когда появилась Эльза, это было так странно...

Эльза. Мы любили друг друга. Но верховодила, конечно, Лиля. Ночью, когда гасили свет, мы начинали шептаться: играли в какую-то бесконечную пьесу. Действующие лица – княгини, графини, князья и бароны – люди, которые жили реально тогда, – были поделены: за одних разговаривала Лиля, за других я. Мы часто ссорились, потому что Лиля забирала себе самые громкие фамилии, самые выигрышные сюжеты.

Лиля. Папа назвал меня Лилей в честь возлюбленной Гете – Лили Шенеман* В доме был культ всего немецкого, хотя семья была еврейская. Папа был адвокатом и занимался «еврейским вопросом», еврейскими проблемами.

Эльза. Мы с Лилей были весьма заметными детьми. Помню, шли мы с мамой по Тверскому бульвару, а навстречу ехал господин в роскошной шубе. Он остановил извозчика и воскликнул: «Боже, какие очаровательные создания! Я бы хотел видеть вас, мадам, вместе с ними на моем спектакле. Приходите завтра к Большому театру

* Шёнеман, Анна Элизабет (1758–1817) вошла в историю литературы как знаменитая Лили Иоганна Вольфганга Гёте, его невеста.



и скажите, что вас пригласил Шаляпин* Мы пришли, для нас были оставлены места в ложе.

Лилия. Никогда не могла пожаловаться на отсутствие мужского внимания. Мне было 15 лет, и на летние каникулы мама повезла нас за границу. В Бельгии мне сделал предложение студент. Мы разговаривали с ним о Боге и любви. Я отказала, потом он прислал открытку: замок, увитый плющом и надпись: «Я умираю там, где привязываюсь»... Помню какой-то поезд, я сижу на ящике с копчеными гусями и до поздней ночи флиртую с каким-то офицером. Решила прекратить: «Я – еврейка». Пауза. Он ошарашен. Потом говорит: «Ничего, ничего, для женщины это не страшно». В Тифлисе меня атакует молодой татарин – богатый, красивый, воспитанный в Париже. Он предлагает мне 2 тысячи на туалеты, чтобы я прокатилась с ним по Военно-Грузинской дороге. В Польше, у бабушки в Катовицах, перед мной на колени падает родной дядя и бурно требует выйти за него замуж, уверяя, что он все уладит с бабушкой.

Эльза. Мама не знала с Лили ни минуты покоя и не сводила с нее глаз.

Лилия. Под Дрезденом, в санатории, его владелец – весь в шрамах от дуэлей – засыпает мой номер цветами и каждый вечер к ужину мне одной подает голубую форель. Умоляет выйти замуж, обещает немедленно развестись с женой...

Эльза. Мама схватила нас в охапку, и мы стремглав уехали домой. А помнишь поездку в Царское село?

Лилия. Напротив сидел странный человек, и все на меня посматривал. Длинный суконный кафтан на пестрой

* Шаляпин, Фёдор (1873–1938) – русский оперный и камерный певец (высокий бас), в разное время солист Большого и Мариинского театров, а также театра Метрополитен Опера, первый народный артист Республики (1918–1927, звание возвращено в 1991), в 1918–1921 годах – художественный руководитель Мариинского театра



подкладке, высокие сапоги, прекрасная бобровая шапка и палка с дорогим набалдашником – и грязная бороденка, черные ногти. Я беззастенчиво его рассматривала, и он совсем скосил глаза в мою сторону, причем глаза ослепительно синие, и вдруг, прикрыв лицо бороденкой, фыркнул. Меня это рассмешило, и я стала с ним переглядываться.

Эльза. Так и доехали до Царского села. Там я говорю Лили: «Ты хоть знаешь, кто это? Распутин*»

Лили. Когда ехали обратно, он сел с нами в один вагон и стал разговаривать со мной: кто такая, как зовут, чем занимаюсь, есть ли муж, где живу? «Так приходи ко мне обязательно, чайку попьем, ты не бойся, приводи мужа, только позвони сначала, а то ко мне народу много ходит, вот телефон».

Эльза. Она действительно хотела пойти к Распутину, но когда я ей показала пьяного извозчика, точь-в-точь похожего на Распутина, охоту отбило.

Лили. Был еще сын фабриканта-миллионера. Каждый день присылал цветы, к ужасу мамы, – ведь я еще была гимназисткой. Он сумасшедше любил меня и хотел, чтобы я умерла, для того, чтобы умереть вслед за мной. Но меня это совершенно не устраивало. К тому же появился Осип, и я прогнала сына фабриканта. Но потом все же позволила. Сказала, что вернусь к нему, если он достанет цианистого калия для моей подруги. Он меня так обожал, что содрогнулся, но принес. Я ему не объяснила, что у меня все разладилось с Осипом, и я решила не жить. Через три дня я приняла таблетки, но меня почему-то пронесло. Потом я узнала, что мама, заподозрив неладное, обыскала мой стол, нашла яд, тщательно вымыла флакон и положила туда слабительное. Вместо трагедии получился фарс.

* Распутин (Новых), Григорий, «Царский друг» (1869–1916) – крестьянин села Покровское Тобольской губернии. Приобрёл всемирную известность благодаря тому, что был другом семьи последнего российского императора Николая II. В 1900-е среди определённых кругов петербургского общества имел репутацию «старца», прозорливца и целителя.



Эльза. А помнишь Гарри Блюменфельда*?

Лиля. Я увидела Гарри у своей подруги. Ему было 18 лет. Он приехал из Парижа, там учился живописи. В нем все было необычайно, где бы он ни оказался, он немедленно влюблял в себя окружающих. Разговаривал так, что его, мальчишку, часами слушали бородатые дяди. Его слова заставляли вас думать. Он великолепно рисовал. Вскоре у нас завязался роман, виделись каждый вечер. Он посоветовал мне ехать учиться в Мюнхен скульптуре, и сам вскоре поехал за мной. В Мюнхене он вздумал писать меня. Задумана «Венера». Холст уже натянут. Я буду лежать голая на кушетке, покрытой ослепительно белой слегка подкрашенной простыней. Как на блюде. Я стою, сижу и лежу часами совершенно нагая. Страшно устаю, мерзну, мне надоедает, но я терплю, ибо рисунки удивительно хороши и потрясающе похожи.

Эльза. Лиля, неужели тебя писали голой?

Лиля. Конечно. А ты бы позировала в шубе?

2

Лиля. Осип Брик**. Моя судьба. Мы познакомились, когда мне было 13 лет, а ему 16.

Осип. Я стал звонить ей по телефону, тогда это было редкостью. Потом мама и папа устроили елку. Я поехал провожать Лилю на извозчике и, прощаясь, спросил: «А не кажется ли вам, Лиля, что между нами что-то большее, чем дружба?»

* Блюменфельд, Генрих (Гарри, Андрей) (1893–1920) – русский художник-постимпрессионист, участник объединения «Бубновый валет» в Москве и деятель «пензенского авангарда» 1918–1920 годов.

** Брик, Осип (1888–1945) – российский литератор, литературовед и литературный критик.



Лиля. Мне не казалось, но очень понравились такие слова. И неожиданно я ответила: «Да, кажется».

Осип. Мы стали встречаться ежедневно, но потом я чего-то испугался. В один из вечеров я сказал ей, что ошибся и что люблю недостаточно.

Лиля. Я больше удивилась, чем огорчилась. Но вскоре поняла, что каждую минуту хочу быть вместе с ним. Я делала все, что 16-летнему мальчику должно было казаться пошлым и сентиментальным. Когда Ося садился на окно, я немедленно оказывалась в кресле у его ног, а на диване я садилась рядом и непременно брала его за руку. Он вскакивал, шагал по комнате и только один раз за полтора года как-то смешно и неловко поцеловал меня. Летом мы с мамой должны были уезжать в Тюрингию.

Осип. Расставаться было очень тяжело. Я обещал писать ежедневно.

Лиля. Я немедленно отправила ему длинное любовное письмо, еще и еще... Много дней нет ответа. Наконец! Его почерк. Бегу в сад за деревья. Всего любезные три строчки!

Осип. Я на это и рассчитывал.

Лиля. С горя у меня начался тик. Вернувшись в Москву, я через несколько дней встретила его в Каретном ряду. Постояли, поговорили, я держалась холодно и независимо, но вдруг сказала: «А вы знаете, я вас люблю, Ося». С тех пор это повторялось семь лет подряд. Семь лет, каждый раз встречаясь с ним, я говорила, что люблю его, хотя за минуту до этого и не думала об этом. У меня были поклонники, один раз я даже замуж собралась, но появлялся Ося – и нет поклонника. Я любила его.

Осип. За это время она успела год проучиться на женских курсах, на математическом отделении, бросила,



ушла в Архитектурный институт, увлеклась живописью, уехала в Мюнхен учиться скульптуре, вернулась из-за болезни отца.

Лиля. Закрутился роман с одним мутным учителем музыки. Вялый роман, мне он не нравился, но было любопытно. Однажды я была у него дома. Его сестра ушла на кухню мыть посуду, и пока журчала вода, в столовой, на диване все произошло. Я его возненавидела, и больше мы никогда не виделись. Но вышло так, что я забеременела. Это был настоящий «скандал в благородном семействе», родные отправили меня в провинцию к дальним родственникам «подалее от греха».

Осип. Когда она вернулась, мы сговорились по телефону встретиться в Художественном театре. Я побежал туда. Давали «Вишневый сад».

Лиля. На следующий день, в каком-то кафе он сказал мне: «Ты – моя весна!» Это была фраза из спектакля.

Осип. Дорогие папа и мама! Я стал женихом. Моя невеста, как вы уже догадались, Лили Коган. Я ее люблю безумно, всегда любил так, как, кажется, еще никто не любил. И она тоже. Вы не можете себе вообразить, в каком удивительном состоянии я сейчас нахожусь. Я знаю, вы меня любите и желаете мне добра и самого великого счастья. Так знайте, это счастье для меня наступило. Лили молода, красива, образованна, из хорошей еврейской семьи, меня страшно любит – чего же еще? Ее прошлое? Но то, что было в прошлом, – детские увлечения, игра пылкого темперамента. И у какой современной барышни этого не было? Лиля – самая замечательная девушка, которую я когда-либо встречал, и это говорю не только я, но все, кто ее знает. Не говоря уже о том, что у нее богатая душа, глубинная сила чувств...

Лиля. 26 марта 1913 года мы отпраздновали свадьбу. Родители сняли нам квартиру.



Осип. Я закончил юридический факультет университета и стал работать в фирме отца. Он был торговцем кораллами, покупал в Италии, продавал в Сибири и Средней Азии.

Лиля. Мы ездили на нижегородскую ярмарку, в Среднюю Азию. Узбекистан поразил.

Осип. Потом началась первая мировая. Я, по протекции знаменитого тенора Леонида Собинова*, поступил в автомобильную роту и перестал интересоваться делами отцовской фирмы.

Лиля. В это время наша с Осей личная жизнь как-то рас-полз-лась... Но я любила, люблю и буду любить его больше, чем брата, больше, чем мужа, больше, чем сына. Про такую любовь я не читала, ни в каких стихах, нигде. Я люблю его с детства, он неотделим от меня. Эта любовь не мешала моей любви к Маяковскому.

3

Эльза. Но прежде Лили с Маяковским познакомилась я. Это было осенью 13 года. Мне уже было 16 лет, я окончила гимназию, семь классов, и поступила в восьмой, педагогический. В гостинной у сестер Хвасов стоял рояль и пальмы, было много чужих людей. Все шумели, говорили. Кто-то необычайно большой в черной бархатной блузе размашисто ходил взад и вперед, смотрел мимо всех невидящими глазами и что-то бормотал про себя. Потом внезапно также мимо всех загремел огромным голосом. И в этот первый раз на меня произвели впечатление не стихи, не человек, который их читал, а все это вместе взятое, как явление природы, как гроза. Он читал «Бунт вещей», позднее переименованный в трагедию «Владимир Маяковский».

* Собинов, Леонид (1872–1934) – русский оперный певец (лирический тенор), народный артист Республики (1923), один из крупнейших представителей русской классической вокальной школы.



Большому и грязному человеку
подарили два поцелуя.
Человек был неловкий,
не знал, что с ними делать, куда их деть.
Город, весь в празднике,
возносил в соборах аллилуйя,
люди выходили красивое одеть.
А у человека было холодно
и в подошвах дырочек овалыцы.
Он выбрал поцелуй, который побольше,
и надел, как калошу.
Но мороз ходил злой, укусил его за пальцы.
«Что же, – рассердился человек, –
я эти ненужные поцелуи брошу!»
Бросил. И вдруг у поцелуя выросли ушки,
он стал вертеться, тоненьким голосочком крикнул:
«Мамочку!»
Испугался человек.
Обернул лохмотьями души своей дрожащее тельце,
понес домой, чтобы вставить в голубенькую рамочку.
Долго рылся в пыли по чемоданам (искал рамочку).
Оглянулся – поцелуй лежит на диване,
громадный, жирный, вырос, смеется, бесится!
«Господи! – заплакал человек, – никогда не думал,
что я так устану. Надо повеситься!»
И пока висел он, гадкий, жаленький, –
в будуарах женщины – фабрики без дыма и труб –
миллионами выделявали поцелуи, –
всякие, большие, маленькие, –
мясистыми рычагами шлепающих губ.

Эльза. Ужинали там же за длинным столом. Сидели, пили чай. Эти, двадцатилетние, были тогда в разгаре боя за такое или эдакое искусство. Я же ничего не понимала, сидела девчонка девчонкой и теребила бусы на шее. Вдруг нитка разорвалась, бусы посыпались, покатались во все стороны. Я под стол собирать, а Маяковский за мной, помогать. На всю жизнь запомнились полутьма, портняжий сор, булавки, шпильки, скользкие бусы и рука Маяковского, легшая на мою руку...

Маяковский. Я пошел ее провожать на далекую Маросейку. Мы сели на лихача.

Эльза. Он стал звонить мне по телефону, но я не хотела его видеть, и в следующий раз втретилась с ним слу-



чайно. Он шел по Кузнецкому мосту, на нем был цилиндр, черное пальто и он помахивал тростью.

Маяковский. А можно мне прийти к вам в гости?

Эльза. Я не могла отказать. Летом 14 года мама и я отвезли в Берлин заболевшего отца. Там ему сделали операцию, наступило временное улучшение, он поправился, встал, ходил. Объявление войны застало нас в санатории под Берлином. Пришлось спешно бежать оттуда, в объезд, через Скандинавию. По возвращении в Москву отцу стало получше, он стал по-прежнему работать юрист-консультантом в австрийском посольстве.

Маяковский. В это время я часто бывал у Эльзы, потом ежедневно. Малевал свои лубки военных дней «Едут этим месяцем турки с полумесяцем». «С криком: Дойчланд юбер аллес / Немцы с поля убирались». «Австрияки у Карпат / Поднимали благой мат».

Эльза. Он малюет, я рядом что-нибудь зубрю, иногда правлю ему орфографические ошибки.

Маяковский. Или она у рояля, а я за ее спиной стихи бурчу. Люблю, знаете ли, под музыку.

Эльза. Ужин. За столом папа, мама, я. Скупое молчание, и вдруг:

Маяковский. Простите, Елена Юрьевна, я у вас все котлеты сжевал...

Эльза. После ужина долго сидели в отцовском кабинете. Мама была на страже: «Владимир Владимирович, вам пора уходить!»

Маяковский. Еще совсем не поздно, Елена Юрьевна, не беспокойтесь, я доберусь.

Эльза. В первом часу, наконец, собирается уходить.

Маяковский. Стоп! А швейцар внизу? Придется бундовать, а у меня ни гроша.

Эльза. Вот вам двугривенный.



Маяковский. Я?! У женщины? Деньги? Никогда!

Эльза. И уходит навстречу презрительному гневу швейцара. Без денег, естественно. Назавтра все повторяется вновь.

Маяковский. Вчера, только вы легли спать, Елена Юрьевна, я сразу же забрался к Эльзе обратно по веревочной лестнице!

Эльза. Удивительно, но меня в Маяковском ничего не удивляло, все мне казалось вполне естественным. Меня нисколько не смущало, что весь честной народ на него таращится. Его выступления, пресса, футуризм до меня не доходили. Приехала Лиля из Петрограда.

Лиля. Здоровье отца опять ухудшилось... К тебе тут какой-то Маяковский ходит. Мама из-за него плачет.

Эльза. Мама плачет! А я и не знала... И когда Володя позвонил мне, я сказала ему: «Больше не приходите, мама плачет». Отца перевезли в Малаховку на дачу. Не знаю, как Маяковский меня там нашел. Просил встретиться. Я все не приходила, но однажды пошла. Он долго молчаливо шел со мною рядом и вдруг:

Маяковский.

Послушайте! Ведь, если звезды зажигают, –
значит – это кому-нибудь нужно?
Значит – кто-то хочет, чтобы они были?
Значит – кто-то называет эти плеочки жемчужиной?
И, надрываясь, в метелях полуденной пыли,
врывается к Богу, боится, что опоздал,
плачет, целует ему жилистую руку,
просит – чтоб обязательно была звезда! –
клянется – не перенесет эту беззвездную муку!
А после, ходит тревожный, но спокойный наружно.
Говорит кому-то: Ведь теперь тебе ничего? Не страшно? Да?
Послушайте! Ведь, если звезды зажигают, –
значит – это кому-нибудь нужно?
Значит – это необходимо, чтобы каждый вечер
над крышами загоралась хоть одна звезда?!

Эльза. Чьи это стихи?



Маяковский. Ага! Нравится? То-то! А это...

Вы думаете, это бредит малярия?
Это было, было в Одессе.
«Приду в четыре», - сказала Мария.
Восемь. Девять. Десять.
Вот и вечер в ночную жуть
ушел от окон, хмурый, декабрь.
В дряхлую спину хохочут и ржут канделябры.
Меня сейчас узнать не могли бы:
жилистая громадина стонет, корчится.
Что может хотеться этакой глыбе?
А глыбе многое хочется!
Ведь для себя не важно и то, что бронзовый,
и то, что сердце - холодной железкою.
Ночью хочется звон свой
Спрятать в мягкое, женское...

Эльза. И это ваше?

Маяковский. Мое.

Эльза. А как название?

Маяковский. Я хотел – «Тринадцатый апостол». Пошел в цензуру. Они спросили: «Что вы, на каторгу захотели?» Я сказал – нет, ни в коем случае, это меня никак не устраивает.

Эльза. Володя, но как же это у вас получается – столько лирики и столько грубости – и все это ваше, и все это вы...

Маяковский. Вот-вот, и они про то же. Тогда я сказал: «Хорошо, я буду, если хотите, как бешеный, если хотите – буду самым нежным, не мужчина – а облако в штанах». Так и оставил: «Облако в штанах».

Эльза. Читали кому-нибудь?

Маяковский. А как же! Горькому, например. Обплакал весь жилет. Впрочем, Горький рыдает на каждом поэтическом жилете. Жилет храню. Могу уступить кому-нибудь для провинциального музея.

Эльза. Спасибо вам.

Маяковский. За что?



Эльза. За облегчение всем нам, страждущим... С этого момента и навсегда я стала яркой пропагандисткой творчества Маяковского. Стихи объяснили все.

Лиля. Эльза, я тебя не понимаю. Твой Маяковский...

Эльза. Ты слышала его?

Лиля. И слышала, и видела. На юбилее Бальмонта в «Бродячей собаке». Снова скандал. У футуристов, говорят, ни одно выступление не обходится без сломанных стульев и городского.

Эльза. Ты слышала его стихи?

Лиля. При чем здесь стихи? Он опасный футурист, а ты остаешься с ним наедине...

Эльза. Не смей так говорить! Ты ничего не знаешь!

Лиля. И знать не хочу! Эти его ночные одиссеи, эти карты и бесконечные проигрыши... Куда вы ездили сегодня утром?

Эльза. Катались в Сокольники.

Лиля. Я надеюсь, на извозчике?

Эльза. На трамвае.

Лиля. Что?!

Эльза. Но ведь он вчера проигрался...

Лиля. Спустя месяц Маяковский появился у нас с Осипом в Петрограде. И с порога:

Маяковский. Вы обязаны послушать мои стихи.



Лиля. Володя, я не врач, а ваши стихи – не бронхи.

Маяковский. Тогда почитайте сами. Вот эти. Вы должны.

Лиля. Но почему?

Маяковский. Потому что они самые лучшие! Вы не понимаете, – они гениальны, ничего лучшего сейчас нет, ну, разве что, – Ахматова... Нет, вы не прочтете их правильно.

Лиля. Я попробую. Эти?

По черным улицам белые матери
Судорожно простерлись, как по гробу газет.
Вплакались в орущих о побитом неприятеле:
Ах, закройте, закройте глаза газет!»
Письмо. Мама, громче! Дым. Дым. Дым еще!
Что вы мямлите, мама, мне?
Видите – весь воздух вымощен
громыхующим под ядрами камнем!
М-а-а-ама! Сейчас притащили израненный вечер.
Крепился долго, кургузый, шершавый,
и вдруг, - надломивши тучные плечи,
расплакался, бедный, на шее Варшавы.
Звезды в платочках из синего ситца
визжали: «Убит, дорогой, дорогой мой!»
И глаз новолуния страшно косится
На мертвый кулак с зажатой обоймой.
Сбежались смотреть литовские села,
как, поцелуем в обрубок вкована,
слезя золотые глаза костелов,
пальцы улиц ломала Ковна.
А ветер кричит, безногий, безрукий:
«Неправда, я еще могу-с –
хе! – выбряцав шпоры в горячей мазурке,
выкрутить русский ус!»
Звонок. Что вы, мама?
Белая, белая, как на гробе газет.
«Оставьте! О нем это, об убитом, телеграмма!
Ах, закройте, закройте глаза газет!



Маяковский. Вы правильно прочитали. Нравится?

Лиля. Не очень. Не пойму.

Маяковский. Ничего. Вы поймете. Позже.

Эльза. В июле умер отец. Лиля приехала на похороны в Москву. И, не смотря ни на что, мы говорили о Маяковском. Потом пришел и он сам.

Маяковский. Лиля, вы катастрофически похудели.

Лиля. Эльза, только не проси его читать...

Эльза. Володя, можно вас попросить почитать свои стихи?

Маяковский. Сейчас не буду. Да Лиля и сама хорошо читает. Я лучше подарю свою книгу. А можно «Облако» посвятить вам?.. Вот: «Лиле Юрьевне Брик».

Эльза. Я думаю, в этот вечер уже наметились судьбы всех действующих лиц. Брики безвозвратно полюбили стихи Маяковского. Маяковский безвозвратно полюбил Лилю... После смерти отца я поступила на Архитектурные курсы. 15, 16, 17 годы... Встречи с Володей в Москве, Петрограде. И наша с ним короткая переписка.

...Люблю тебя очень. Жду с нетерпением. Ты меня не разлюбил? Ты был такой тихий на вокзале... Целую тебя, родненький, крепко-крепко!

Маяковский. Милый Элик! И рад бы не ответить на твое письмо, да разве на такое нежное не ответишь? Пока приехать в Москву не могу, – приходится на время отложить свое непреклонное желание повесить тебя за твою мрачность. Единственное, что тебя может спасти, это скорее приехать самой и лично вымолить у меня прощение. Элик, правда, собирайся скорее! Я курю. Этим ис-



черпывается моя общественная и частная деятельность. Прости за несколько застенчивый тон письма, это первое в моей жизни лирическое послание. Отвечай сразу и даже, если можешь, несколькими письмами, – я разлакомился. Целую тебя раза два-три. Любящий тебя всегда дядя Володя.

Эльза. А ты мне еще напишешь? Очень бы это было хорошо! Я себя чувствую очень одинокой, и никто мне не мил, не забывай хоть ты, родной, я тебя всегда помню и люблю. Но я все-таки вряд ли приеду. Мне сейчас хочется побыть одной.

Маяковский. Милостивая госпожа Эльза Юрьевна! Ваше отвратительное письмо я, к сожалению, получил. Что за гадости вы пишете! Судите сами: вывели человека на нежность, а потом: «Я не приеду». Если вы на мои письма будете отвечать через десять лет по получении оных, то я буду на ваши – через 20. Сим письмом предлагаю вам или вовсе прекратить мне присылку ваших ужасных писем, или немедленно оправдаться по адресу: Петроград, Надеждинская, 52, кв. 9. Готовый к услугам – Владимир Маяковский. А с поцелуями – твой дядя Володя.

Эльза. Кто мне мил, тому я не мила – и наоборот. Уже отчаялась в возможности, что будет по-другому, но это совершенно не важно...

Маяковский. Это ерунда! Ты сейчас единственный человек, о котором думаю с любовью и нежностью. Целую тебя крепко-крепко. Приезжай скорее, прошу очень. «Уже у нервов подкашиваются ноги».

Эльза. Это было как пароль. Всю жизнь я боялась, что Володя покончит с собой. Надо было его спасать. Мне было 19, я без разрешения матери еще никогда никуда не ездила, но на этот раз я просто, без объяснений причины, сказала ей, что уезжаю в Петроград.



Маяковский. «Знаю способ старый в горе дуть ви- нище». Давай выпьем. «Выпьем, няня, где же кружка? Кружки нет, и няни нет...» Закусить вот нечем. Знаешь, я тут установил семь «обедающих знакомств» – семизна- комая такая система. В воскресенье «ем» Чуковского. В понедельник – Евреинова. В четверг выпасаюсь на травках Репина. Для футуриста ростом в сажень – это не дело.

Эльза. Зачем ты меня вызвал?

Маяковский. Я? Тебя?

Эльза. «Уже у нервов подкашиваются ноги» – это что? Я все бросила, напугала маму... Подруга смеялась: ему просто в кинематограф пойти не с кем. Какая же я дура!

Маяковский. Мне очень плохо, Элик. Спаси меня!

Эльза. Но я не умею! И от кого можно спасти беско- нечность?

Маяковский. От нуля.

Эльза. Ты сейчас сам ноль! Нет, ты – минус 1! Впро- чем, это Лиля у нас сильна в математике. А я тебе не нуж- на. Я тебе – не нужна. И мне нечем тебе помочь. Пусти.

Маяковский. Куда ты?

Эльза. Ухожу.

Маяковский. Не смей!

Эльза. Не смей мне говорить «не смей»!.. Потом мы мирились, шли ужинать, смотрели какую-то программу... и смех, и слезы! Все же он был очень трудным и тяжелым человеком. И он уже полностью был во власти Лили.



Лия. Это было нападение. Володя не просто влюбился в меня, он напал на меня. Два с половиной года не было у меня спокойной минуты – буквально. Любовь его была безмерна. Осип профинансировал издание «Облака в штанах».

Маяковский. Я надпишу книгу. Как лучше? «Лиле Юрьевне Брик»... Нет, это уже было. «Лиле»... «Тебе, Лиличка»... Нет. «Тебе, Лия».

Лия. Чтобы было понятно последующее. С 15 года мои отношения с Осипом перешли в чисто дружеские. Мы больше никогда не были близки с ним физически, когда я связала свою судьбу с Маяковским. Так что все сплетни по поводу «любви втроем» совершенно не похожи на то, что было.

Маяковский.

Вот я богохулил. Орал, что Бога нет,
а Бог такую из пекловых глубин,
что перед ней гора заволнуется и дрогнет,
вывел и велел: люби!
Бог доволен. Под небом в круче
измученный человек одичал и вымер.
Бог потирает ладони ручек.
Думает Бог: погоди, Владимир!
Это ему, ему же,
чтоб не догадался, кто ты,
выдумалось дать тебе настоящего мужа
и на рояль положить человечьи ноты.
Если вдруг подкрасться к двери спальной,
перекрестить над вами стеганье одеялово,
знаю - запахнет шерстью паленной,
и серой издымится мясо дьявола.
А я вместо этого до утра раннего
в ужасе, что тебя любить увели,
метался и крики в строчки выгранивал,
уже наполовину сумасшедший ювелир.



Лия. Только в 18 году я могла с уверенностью сказать Осе о нашей с Володей любви. Он ответил: я понимаю тебя, только давай никогда не расставаться друг с другом. Я любила Осю, любила Володю. Возможно, если бы не Ося, я бы Володю любила не так сильно. Я не могла не любить Володю, если его так любил Ося. Он говорил, что Маяковский для него не человек, а событие. Володя во многом перестроил осино мышление, взял его с собой в свой жизненный путь. Я не знаю более верных друзей, связанных друг с другом близостью идейных интересов и литературной работы. Так и случилось, что мы прожили нашу жизнь и духовно и территориально вместе.

Маяковский.

Двенадцать квадратных аршин жилья.
Четверо в помещении –
Лия, Ося, я
и собака Щеник.

Лия. Собаку Щена нашли в Пушкино. Он стал членом семьи. Удивительно, что Володя и Щен были очень похожи друг на друга. Оба – большелопатые, большеголовые. Оба носились, задрав хвост. Оба скулили жалобно, когда просили о чем-нибудь и не отставали до тех пор, пока не добьются своего. Иногда лаяли на первого встречного просто так, для красного словца. Я стала звать Маяковского Щеном. А еще Щеником, Щеняткой, Щеночком.

Маяковский. А я Лию – Кошечка, Лиса, Кисик, Кисит. А Осю – Кис, Кислит, Кэс.

Лия. Были разные дни и разные годы. Была война, революция, снова война, мир. Были футуристы, лефовцы, рапповцы и прочая литературная дребедень. Неизменным оствалось одно: был он, была я, был Ося. И была наша любовь.

Весной 18 года мы с Володей снялись в кино. Сценарий Маяковского, фильм назывался «Закованная фильмой».



Маяковский. Это была история художника, который ждет настоящей любви. Он видит сердца женщин: в одном – деньги, в другом – наряды, в третьем – кастрюльки... Однажды он увидел фильм под названием «Сердце экрана» и влюбился в балерину из этого фильма (балерина – Лиличка) и она сходит к нему в зал. Но она скучает без экрана, и после разных приключений звезды кино – Чаплин, Мэри Пикфорд, Аста Нильсен – увлекают ее из реального мира снова на кинолентку. Потом он видит киноплакат и в уголке художник с трудом различает название фантастической киностраны, где живет та, которую он потерял, – «Любландия». Он бросается на поиски,

Лия. Поиски должны были сниматься во второй серии, но она не состоялась. Да и первая часть вскоре сгорела, остались лишь фотографии и плакат, где я, тоскующая, опутана пленкой. Да еще название страны – «Любландия»... В жизни же мы уходили в разные города, страны и письма, в которых искали себя и нашу «Любландию».

6

Маяковский. У меня все по-старому. Живу, как цыганский романс: днем валяюсь, ночью ласкаю ухо. Все женщины меня любят. Все мужчины меня уважают. Все женщины липкие и скучные. Все мужчины прохвосты. Есть и не мужчины и не женщины.

Лия. Милый мой, милый щенок! Ты мне сегодня всю ночь снился. Что ты живешь с какой-то женщиной, что она тебя ужасно ревнует, и ты боишься ей про меня рассказать. Как тебе не стыдно, Володенька? Я очень по тебе скучаю, не забывай меня.

Маяковский. Дорогой, любимый, зверски милый Лилик! Если рассматривать меня как твоего щененка, то скажу тебе прямо: я тебе не завидую. Щененок у тебя



неважный, ребро наружу, шерсть, разумеется, клочьями, а около красного глаза – специально, чтобы смахивать слезу, – длинное и облезшее ухо. Естествоиспытатели утверждают, что щенки всегда становятся такими, если их отдавать в чужие, нелюбящие руки. Лиля, люби меня. От женщин отсаживаюсь стула на три-четыре – не надышали б чего вредного. Больше всего на свете хочется к тебе. Пиши, детонька! Если, не напишешь, будет ясно, что я для тебя сдохнул, и я начну обзаводиться могилкой и червями.

Лиля. Милый Шененок, я не забыла тебя. Ужасно скучаю по тебе и хочу видеть. Я больна: каждый день температура 38 – легкие испортились.

Маяковский. Не более ты, Христа ради! Если Оська не будет смотреть за тобой, я привезу к вам в квартиру хвойный лес, и буду устраивать в оськяном кабинете море по собственному моему усмотрению. Если же твой градусник будет лазить дальше, чем 36,6, то я ему обломаю все лапы. Впрочем, и дела мои, и нервы, и здоровье не лучше. Если так будет и впредь, то твой щенок свалится под забором животом вверх и, слабо подрыгивая лапками, отдаст Богу свою незаблывую душу.

Лиля. Вчера видела трех толстых, желтых одинаковых такс на цепочках. Ну, совсем как я, ты и Ося! Как видишь, я тебя не забываю. Твое письмо ни с какой стороны не удовлетворительное: и неподробно, и целуешь меня мало.

Маяковский. Дорогой Лисик! Провалаясь три дня с температурой. Валяться было очень приятно: Ося меня откармливал, как тучи набегали сестры и через полчаса рассеивались. А я и в ус не дул и читал что-то вроде Щепкиной-Куперник. В зоосаде открывается собачья выставка. Переселюсь туда. Оська уже поговаривает насчет сеттереньша. Уж не знаю, как без тебя щенков смотреть. А ты не забывай своего щенка!



Лиля. Осик и Вовик! Милые! Любимые! Родные! Светики! Солнышки! Котятики! Щенятики! Любите меня! Не изменайте! А то я вам все лапки оборву! Ваша Киса Лиля.

Маяковский. Я скучаю, я тоскую по тебе – но как! – я места себе не нахожу и думаю только о тебе. Я никуда не хожу, я слоняюсь из угла в угол, смотрю в твой пустой шкаф, целую твои фотокарточки и твои кисячие подписи. Реву часто, реву и сейчас. Мне так не хочется, чтобы ты меня забыла! Ничто не может быть тоскливее жизни без тебя. Не забывай меня, ради Христа, я тебя люблю в миллион раз больше, чем все остальные вместе взятые. Мне никого не хочется видеть, ни с кем не хочется говорить, кроме тебя. Радостнейший день в моей жизни будет – твой приезд. Люби меня, детанька. Целую, целую, целую...

Лиля. Любимый мой щенок! Не плачь из-за меня! Я тебя ужасно крепко и навсегда люблю! Приеду непременно! Не изменяй! Я ужасно боюсь этого. Я верна тебе абсолютно. Знакомых у меня теперь много. Есть даже поклонники, но мне никто нисколько не нравится. Все они по сравнению с тобой – дураки и уроды. Вообще – ты мой любимый щен, чего уж там! Каждый вечер целую твой переносик! Не пью совершенно! Не хочется. Словом, ты был бы мною доволен. Я очень отдохнула нервами. Приеду добрая. Тоскую по тебе постоянно. Целую тебя с головы до ног. Ты брешь шарик?

Маяковский. Ни единая душа (без различия пола) не переступала порога дома. Мы с Оськой, по возможности, ходим вместе и только и делаем, что разговариваем о тебе. Тема: единственный человек на свете – киса. Вообще мы с ним очень дружим. Вечером я рисую, а он мне Чехова читает. А наутро я прихожу к Осе и говорю: «Скучно, брат Кис, без Лиски!» А он мне: «Скучно, брат Щен, без Кисы!»

Лиля. Честно: тебе не легче живется иногда без меня? Ты никогда не бываешь рад, что я уехала? – Никто не мучает, не капризничает! Не треплет твои и без того трепатые



нервочки. Люблю тебя, Щенит! Ты мой? Тебе больше никто не нужен? Я совсем твоя, родной мой детик!

Маяковский. Дорогой, ослепительный и милый лисе-ныш! Вот тебе ответы. Честно сообщаю, что ни одну секунду не чувствовал я себя без тебя лучше, чем с тобой, ни одной секунды я не радовался, что ты уехала, а ежедневно ужаснейше горюю об этом. К сожалению, никто не капризничает. Ради Христа, приезжай поскорее и покапризничай. Нервочки у меня трепанные только оттого, что наши паршивые кисы разъехались. Я твой весь.

Лия. Володя, Юлия Григорьевна Льенар рассказала мне о том, как ты напиваешься до рвоты, и как ты влюблен в младшую Гинзбург, как ты пристесть к ней, как ходишь и едешь с ней в нежных позах по улицам, да и вообще, говорит она, у вас с Осей много новых знакомых дам, и живете вы очень весело. Ты, конечно, понимаешь, что, несмотря на то, что я радуюсь, что вы там веселитесь, тебе перед моим приездом придется открыть все окна и произвести дезинфекцию. Такие микробы как дамы типа Юлии Григорьевны, так же, как клопы в стенах, должны быть радикально истреблены. Ты знаешь, как я к этому отношусь. Через две недели я буду в Москве и сделаю по отношению к тебе вид, что я ни о чем не знаю. Но требую, чтобы все, что мне может не понравиться, было абсолютно ликвидировано. Чтобы не было ни единого телефонного звонка и т. д. Если все это не будет исполнено до самой последней мелочи, мне придется расстаться с тобой, чего мне совсем не хочется, оттого, что я тебя люблю. Хорошо же ты выполняешь условия: «не напиваться», «ждать». Я до сих пор выполняла и то и другое. Дальше – видно будет. Ужасная сволочь эта Юлия Григорьевна! Злая баба! Я совсем не хотела знать правду и ни о чем ее не спрашивала. Не огорчайся, Если ты все-таки любишь меня, то сделай все так, как я велю и забудем. Целую тебя.

Маяковский. Уже нет обычных «ваша», «жду»... Неужели сплетни сволочной бабы достаточно, чтобы так быстро стать чужой. Конечно, я не буду хвастаться, что



живу как затворник. Хожу и в гости, и в театры, и гуляю, и провожаю. Но у меня нет никакого романа, нет и не было. Никакие мои отношения не выходят из пределов балдежа. Что же касается до Гинзбургов (и до младших, и до старших), то они неплохой народ. Но так как я нашел бильярдную, то в последнее время видеться не приходится совсем. К компании же Юлии Григорьевны я не принадлежал никогда, обозвав ее сволочью в первый же день знакомства. В сем убеждении и пребываю. Избегал ее всегда и всячески. Приедешь – увидишь все сама. Ненравящееся выведешь.

7

Лиля. Это был первый звонок. «Ненравящееся» я-то, конечно, вывела. И внешняя канва отношений казалась по-прежнему легкой и надежной. Но что-то изменилось внутри, надломилось, что ли...

Осенью 22 года, не помню почему, мы с Осей оказались в Берлине раньше Маяковского. Очень ждала его, мечтала, как мы будем вместе осматривать чудеса науки и техники. Поселились в «Курфюрстенотеле». Но посмотреть удалось мало. У Володи было несколько выступлений, а в остальное время... Подвернулся карточный партнер, русский, и Маяковский дни и ночи сидел в номере гостиницы и играл с ним в покер. Из Берлина он ездил в Париж по приглашению Дягилева*. Через неделю вернулся, и началось то же самое. Так мы прожили два месяца. Берлина, по сути, он не видел.

По возвращении в Москву, Маяковский объявил два своих выступления. Первое: «Что Берлин?» Второе: «Что Париж?». Сказать, что в то время он был безумно популярен, значит – ничего не сказать. В первый день конная милиция едва сдерживала толпу его поклонников.

* Дягилев, Сергей (1872–1929) – русский театральный и художественный деятель, антрепренёр, один из основоположников группы «Мир Искусства», организатор «Русских сезонов» в Париже и труппы «Русский балет Дягилева».



Еле-еле я протиснулась в зал и села на эстраде на места для знакомых, стиснутая со всех сторон. Он вышел под гром аплодисментов и стал рассказывать. Я не могла поверить своим ушам: он рассказывал о том, чего не видел и что знал с моих слов. Я достаточно громко бросила ему два-три справедливых замечания. Он стал испуганно на меня коситься. Комсомольцы – мальчики и девочки – стали шикать на меня и негодовать. В перерыве Маяковский ничего не сказал мне. Но Долидзе – устроитель вечера – весь антракт умолял меня не скандалить. В зал я не вернулась. Дома никак не могла уснуть от огорчения. Напилась веронала и проспала до завтрашнего обеда. Назавтра он пришел.

Маяковский. Что стряслось?

Лия. Ты знаешь.

Маяковский. Я знаю – что?

Лия. Сейчас не хочу об этом.

Маяковский. Мне кажется, дело в другом.

Лия. Может быть.

Маяковский. Поговорим?

Лия. Сегодня – нет.

Маяковский. Хорошо. А завтра?

Лия. Завтра будет завтра.

Маяковский. Ты пойдешь на мой вечер?

Лия. Нет, конечно.

Маяковский. Что ж, не выступать?



Лиля. Как хочешь.

На следующее утро звонят друзья, знакомые: почему вас не было? Не больна ли? Не могли добиться толку от Владимира Владимировича... Он такой мрачный... Жаль, что не были... Так интересно... Такой успех...

Ну, и как Париж?

Маяковский. Рвали на куски. Не отпускали два часа.

Лиля. Ну да. Ты же у нас агитатор, горлан, главарь!

Маяковский. Не смешно.

Лиля. Да? Зато в газетах очень смешно: «Маяковский был 10 дней в Париже, кое-что видел, кое-с кем говорил, и впечатлился на целый доклад. Да и книга на подходе». Ждем-с! А вот про Берлин: «Поэт Маяковский дал в своей лекции рельефную картину жизни берлинской литературной эмиграции, которая обслуживает кварталы, где живет бежавшая буржуазия, кварталы, так и прозванные в Берлине: «Нэпский проспект». Теперь я знаю, куда писать своей буржуазной сестре Эльзе: Берлин, Нэпский проспект, до востребования.

Маяковский. Прекрати.

Лиля. Ну почему же?

Маяковский. Разыгрался аппетит? Я сегодня несъедобен.

Лиля. А, это мы быстро! Сейчас позвоним в «Хорхер», - ты ведь предпочитаешь самые дорогие немецкие рестораны? - и нам быстренько по воздуху доставят заказ. Да, про десерт бы не забыть: их фюнф порцьон мелоне и фюнф порцьон компот. Их бин эйн руссишер дихтер бекант им руссишем ланд, мне меньше нельзя!

Маяковский. Не паясничай!



Лиля. Я просто цитирую классика, пролетарского, так сказать, поэта. Ты забыл дать в газеты вот это: «Поэт Маяковский до такой степени возненавидел загнивающий Запад, что наотрез отказался осматривать его «прелести». Он заперся у себя в номере и в знак протеста не вставал из-за покерного стола до тех пор, пока не уничтожил всю наличную буржуазную валюту как класс!»

Маяковский. Ты забыла про цветы...

Лиля. Пардон, мсье! Как же, как же! Букеты цветов, корзины цветов, вазы цветов, море цветов! Аки царица Савская охорашивалась на цветочном ложе и светлела душой...

Маяковский. Хватит!

Лиля. А знаешь, Володя, осточертело все. Твои халтуры, карты, девочки... Я перестала понимать, зачем все – любовь, искусство, революция? Может быть, мы слишком привыкли ко всему, друг к другу? Обуты-одеты, живем в тепле, пьем много чая с вареньем... Положим, и я не святая: мне вот нравится чай пить. Но помнишь у Чехова? Люди пьют чай, а в это время рушатся их жизни... Так вот, мы гибнем. Мы тонем. Мы уже на дне. Неужели ты ничего не чувствуешь, не понимаешь? И ты никогда ничего больше стоящего не напишешь!..

Маяковский. Все, что у меня есть, – это ты. Все, что я когда-либо написал, – о тебе. Вчера, в статье, вместо слова «лирика» автоматически написал: «Лилинька». Если я тебя потеряю, мне не нужно жить. Ну что же нам делать?

Лиля. Не знаю, Володя. Может быть, расстаться – на два дня, месяца, года – не знаю. Я не могу сейчас принимать тебя таким. Подумай, стоит ли овчинка выделки. Изменись! Дай мне возможность тебя любить таким, каким ты можешь быть. Только ничего не обещавай сейчас, я не хочу вранья.



Маяковский. Хорошо. Сегодня 28 декабря. Значит, 28 февраля увидимся. Скажи, я смогу тебе написать, хоть иногда?

Лия. Если очень будет нужно, – да.

8

Лия. Вечером письмо.

Маяковский. Я вижу, ты решила твердо. Я знаю, что мое приставание к тебе для тебя – боль. Но, Лилик, слишком страшно то, что случилось сегодня со мной, чтобы я не ухватился за последнюю соломинку, за письмо. Так тяжело мне не было никогда – я, должно быть, действительно чересчур вырос. Раньше, прогоняемый тобою, я верил во встречу. Теперь я чувствую, что меня совсем отодрали от жизни, что больше ничего и никогда не будет. Жизни без тебя нет. Я это всегда говорил, всегда знал, теперь я это чувствую всем своим существом. Все, все, о чем я думал с удовольствием, сейчас не имеет никакой цены и отвратительно. Я не грожу и не вымогаю прощения. Я ничего с собой не сделаю. Я ничего не могу тебе обещать. Я знаю, нет такого обещания, в которое ты бы поверила. Я знаю, нет такого способа увидеть тебя и помириться, который бы не заставил тебя мучиться. И все-таки я не в состоянии не написать и не попросить тебя простить меня за все. Если ты принимала решение с тяжестью, с борьбой, если ты хочешь попробовать, ты простишь, ты ответишь. Но если ты даже не ответишь, – ты одна моя мысль. Как любил я тебя семь лет назад, так и люблю, и сию секунду, что б ты ни захотела, что б ты ни велела, я сделаю сейчас же, сделаю с восторгом. Как ужасно расставаться, если знаешь, что любишь и в расставании сам виноват!

Я сижу в кафе и реву. Надо мной смеются продавщицы. Страшно думать, что вся моя жизнь дальше будет такою. Я пишу только о себе, а не о тебе. Мне страшно думать, что



ты спокойна, и что с каждой секундой ты дальше от меня: еще несколько их – и я забыт совсем. Если ты почувствуешь от этого письма что-нибудь, кроме боли и отвращения, ответь ради Христа, ответь сейчас же. Я бегу домой и буду ждать. Если нет, – страшное, страшное горе.

Лиля. Два месяца провел Маяковский в своей добровольной тюрьме. Два месяца добросовестности, ничего себе не прощая и ни в чем себя не обманывая. Ходил под моими окнами. Передавал через домработницу Аннушку письма, записки и рисуночки. Это было единственное, что он себе позволял – письма «на волю».

Маяковский. Я буду честен до мелочей 2 месяца. Людей буду измерять по отношению ко мне за эти месяцы. Мозг говорит мне, что делать такое с человеком нельзя. При всех условиях моей жизни, если бы такое случилось с тобой, я бы прекратил это в тот же день. Если ты меня любишь, ты прекратишь это или как-то облегчишь.

Я буду у тебя в 14.30 28 февраля. Если за час до срока ты ничего не сделаешь, я буду знать, что я любящий идиот и для тебя испытываемый кролик.

Лиля. Наконец, я не выдержала. Любимый мой Щеночек! Ты не знаешь, как я тебя люблю! Не ревнуй! Не к кому! Жду тебя 28. Твоя Лиля.

Маяковский. Я должен и могу иметь какие бы то ни было решения о нашей жизни – если такая будет – только к 28. Я с мальчишеским лирическим бешенством ухватился за твое письмо. Но ты должна знать, что ты познакомишься 28 февраля с совершенно новым для тебя человеком. Все, что будет между ним и тобой, начнет слагаться не из прошедших теорий, а из «дел» – твоих и его. Я обязан написать тебе это письмо, потому что сию минуту у меня такое нервное потрясение, которого не было с ухода. Если тебя не пугает немного рискованная прогулка с человеком, о котором ты раньше только понаслышке знала, что это довольно весе-



лый и приятный малый, черкни сейчас же. Прошу и жду. Жду от Аннушки внизу. Я не могу не иметь твоего ответа. Ты ответишь мне, как назойливому другу, который старается «предупредить» об опасном знакомстве: «Идите к черту! Не ваше дело – так мне нравится!»

Ты разрешила мне написать, когда мне очень будет нужно: это очень сейчас пришло. Это самое серьезное письмо в моей жизни. Это не письмо даже, это «существование». Весь я обнимаю один твой мизинец. Щен.

Лиля. Щеник, я не хочу быть обязанной отвечать тебе, но когда тебе нужно – пиши.

Маяковский. Не тревожься, мой любименький солник, что я у тебя вымогаю записочки о твоей любви. Я понимаю, что ты их пишешь больше для того, чтобы мне не было зря больно. Я ничего, никаких новых «обязательств» на этом не строю и, конечно, ни на что при их посредстве не надеюсь. Заботься, детонька, о себе, о своем покое. Я надеюсь, что еще буду когда-нибудь приятен тебе вне всяких договоров, без всяких моих выходов. Целую тебя и «птичтов».

Лиля. «Птичты – это он мне присылал птиц в клетках, таких же узников, как он. Большого клеста, например, который ел мясо, гадил, как лошадь, и прогрызал клетку за клеткой. Но я ухаживала за ними из суеверного чувства, что если погибнет птица, случится что-нибудь плохое с Володей. Когда мы помирились, я раздавала всех этих птиц. Отец Осипа как-то пришел в гости, очень удивился и спросил: «В сущности говорю, а где птички?»»

Маяковский. Конечно, ты понимаешь, что без тебя образованному человеку жить нельзя. Но если у этого человека есть крохотная надеждочка увидеть тебя, то ему очень и очень весело. Ведь ты не очень сердисься на мои глупые письма? Если сердисься, то не надо – они у меня все праздники! Я езжу с тобой, пишу с тобой, сплю



с твоим кошачьим имечком и все такое. Целую тебя, если ты не боишься быть растерзанной бешеным собаком. Твой Щен. Он же – Оскар Уайльд. Он же – шильонский узник. Он же – сажу за решеткой в темнице – сухой (это я сухой, а когда надо, буду для тебя жирный). Помни меня. Поцелуй клеста. Скажи ему, чтоб не вылазил из клетки – я же не вылажу!

Лия. Только потом я узнала, что в это время он писал большую вещь – поэму «Про это». Про что она? Да про все, про это...

Маяковский. Я знаю, ты еще тревожная, ты еще хмуришься. Лечи, детка, свои милые нервочки. Я много и хорошо о тебе думаю. Немножко помни меня. Нам ужасно нужно хорошо пожить. До бесконечности хочется, чтобы это случилось вместе. Если у меня голова не лопнет от этой мысли, я выдумаю – как. По глобусу я уже с тобой езжу. Целовать буду когда-нибудь лично. Можно?

Лия. Волосик! Щеник! Больше всего на свете люблю тебя. Потом – птичтов! Мы будем жить вместе, если ты этого захочешь.

Маяковский. Я уже заменен, я уже не существую для тебя, тебе хочется, чтобы я никогда не был. Я не вымогаю, но, детка, ты же можешь сделать двумя строчками, чтоб мне не было лишней боли. Боль чересчур! Не скупись, даже после этих строчек у меня останутся пути мучиться. Строчка – не ты! Но ведь лишней не надо боли, детик! Если порю ревнивую глупость, – черкни, ну, пожалуйста. Если это верно, – молчи. Только не говори неправду, – ради Бога!

Лия. Я не скупаюсь, я не хочу «переписки». Ты не заменен, это правда, хотя я и не обязана быть правдивой с тобой. Обнимаю тебя и целую крепко. Клест кланяется, он вылетел, но я его сама поймала, погладила перышки и поцеловала от твоего имени.



Маяковский.

Вы и писем не подпускаете близко –
Закатился головки диск.
Это, киса, не «переписка» –
это только всего «переписк».

Во всем мне чудится какая-то угроза. Тебе уже нравится кто-то. Ты не назвала даже мое имя. У тебя кто-то есть. Все от меня что-то скрывают.

Лиля. Волосик, хочешь 28 февраля уехать в Петроград? На несколько дней? Если хочешь, встретимся на вокзале. Напиши мне 27-го, в котором часу поезд, и пришли билет. Если есть лишние деньги, закажи комнату в «Европейской» для того, чтобы разные Чуковские не знали о нашем приезде, Никому не говори об этом, даже Оське.

Я все мучилась, что Володя страдает в одиночестве, а я живу обыкновенной жизнью, вижу с людьми, хожу куда-то... Оказалось не совсем так.

...Володя, я узнала, что ты приставал к Оксане Асеевой и не только к ней. Это, конечно, пустяк, но имей в виду, что мне известны со всеми подробностями все твои «лирические» делишки.

Маяковский. Надо узнать мою теперешнюю жизнь, чтоб как-нибудь подумать о каких-то «делишках». Страшно не подозрение, страшно то, что я, при всей моей бесконечной любви к тебе, не могу знать всего, что может огорчить тебя. Что мне делать в будущем? Нужен я тебе или не нужен? Неужели ты кончила со мной?

Лиля. Волосик, я люблю тебя. Делай, что хочешь. Готовься к 28-му. Я так жду. Я себя очень плохо чувствую, поэтому написала гадость, – не могла удержаться. Обнимаю тебя и целую весь твой шарик.

Маяковский. Лиличка. Мне кажется, что ты передумала меня видеть, только сказать этого как-то не решаешься, – жалко. Прав ли я? Если не хочешь, напиши сейчас,



если ты это мне скажешь 28, не увидав меня, я этого не переживу. Ты совсем не должна любить меня, но ты скажи мне об этом сама. Прошу. Конечно, ты меня не любишь, но ты мне скажи об этом немного ласково. Иногда мне кажется, что мне сообща придумана такая казнь – послать меня к черту 28-го! Какая я ни на есть дрянь, я немножко, все-таки, человек. Мне просто больно. Все ко мне относятся как к запаршивленному нищему, – подать, если просит, и перебежать на другую улицу. Больно писать эти письма и ужасно их передавать через прислугу. Но детик, ответь (это как раз-очень нужно). Я подожду внизу. Никогда, никогда больше я не буду таким. И нельзя.

Лиля. Волосик, детик, щеник, я хочу поехать с тобой в Петроград 28-го. Не жди ничего плохого! Я верю, что будет хорошо. Обнимаю и целую тебя крепко. Твоя Лиля (кошечка).

Маяковский. 28 февраля 23 года. Дорогой детик! Шлю билет. Поезд идет ровно в 8. Встретимся в вагоне. Целую. Твой Щен.

Лиля. Я летела к нему на извозчике, было ветрено, холодно, но мне было жарко, безумно жарко, я даже сняла шапку. «Барышня, простудитесь», – кричал мне извозчик. – «Ничего, ты только гони!» – кричала я в ответ.

Володя ждал меня на подножке вагона. Как только тронулся поезд, прислонясь к двери, стоя, он прочел мне поэму «Про это» и расплакался...

Маяковский.

Мальчик шел, в закат глаза уставя.
Была закат непревзойдимо желт.
Даже снег желтел к Тверской заставе.
Ничего не видя, мальчик шел.
Шел, вдруг встал.
В шелк рук сталь.
С час закат смотрел, глаза уставя,
за мальчишкой легшую кайму.
Снег, хрустя, разламывал суставы.



Для чего? Зачем? Кому?
Был воров-ветром мальчишка обыскан.
Попала ветру мальчишки записка.
Стал ветер Петровскому парку звонить:
«Прощайте... Кончаю... Прощу не винить...»

Лиля. После Володиной смерти я нашла в ящике его письменного стола в Гендриковом переулке пачку моих писем к нему и несколько моих фотографий. Все это было обернуто в пожелтевшее письмо-дневник ко мне времени «Про это». Володя не говорил мне о нем никогда.

9

Маяковский. Сегодня 1 февраля. Я решил за месяц начать писать это письмо. Прошло 35 дней. Это, по крайней мере, часов 500 непрерывного думания. Это письмо только о безусловно проверенном мною, о передуманном мною за эти месяцы, только факты.

Могу ли я быть другим? Мне непостижимо, что я стал такой. Я, год выкидывавший из комнаты даже матрац, даже скамейку, я, ведущий такую «не совсем обычную жизнь» как сегодня, – как я мог, как я смел быть так изъеден квартирной молью? Это не оправдание, Лиличка, это только новая улика против меня, новое подтверждение, что я опустился. Нет теперь ни прошлого, ни давно прошедшего, а есть один до сегодняшнего дня дпящийся ничем неделимый ужас. Ужас не слово, Лиличка, а состояние: всем видам человеческого горя я б дал сейчас описание с мясом и кровью. Я вынесу мое наказание как заслуженное. Но я не хочу иметь поводов снова попасть под него. Прошлого для меня не существует ни в словах, ни в письмах, ни в делах. Быта никакого никогда ни в чем не будет! Ничего старого, бытового не пролезет – за это я ручаюсь твердо. Если я этого не смогу сделать, то я не увижу тебя никогда. Даже приласканный тобой, если я увижу начало быта, я уйду. Мое решение: ничем, ни дыханием, не портить твою жизнь. Это мое желание, моя надежда.



Силы своей я сейчас не знаю. Если силенки не хватит, - помоги, детик. Если буду совсем тряпка, - вытрите мною пыль с вашей лестницы.

Я сижу до сегодняшнего дня щепетильно честно. Знаю, что точно так же буду сидеть и еще до 3 часов дня 28 февраля. Почему я сижу? Потому, что люблю? Потому, что обязан? Из-за отношений? Ни в коем случае! Я сижу только потому, что сам хочу. Хочу подумать о себе и о своей жизни. Можно ли так жить вообще? Можно, но только недолго. Тот, кто проживет хотя бы вот эти 39 дней, смело может получить аттестат бессмертия. Поэтому никаких представлений об организации моей жизни в будущем на основании этого опыта я сделать не могу. Ни один из этих 39 дней я не повторю никогда в моей жизни. Я только могу говорить о мыслях, об убеждениях, верах, которые у меня оформятся к 28 февраля и которые станут точкой, из которой начнется все остальное.

Люблю ли я тебя? Я люблю, люблю, несмотря ни на что и благодаря всему, любил, люблю и буду любить, будешь ли ты груба со мной, или ласкова, моя или чужая. Все равно люблю. Аминь. Смешно об этом говорить, ты сама это знаешь. Исчерпывает ли для меня любовь все? Все, но только иначе. Любовь - это жизнь, это главное. От нее разворачиваются и стихи, и дела и все-все. Любовь - это сердце всего. Если оно прекратит работу, все остальное отмирает, делается лишним, ненужным, Но если сердце работает, оно не может не проявляться в этом во всем. Без тебя я прекращаюсь. Этот было всегда, это и сейчас. Но если нет «деятельности» - я мертв. Значит ли это, что я могу быть всякий, только и делая, что «цепляясь» за тебя? Нет. То, что ты сказала при расставании, - «Что ж делать, я сама не святая, мне вот нравится чай пить», - это при любви исключается абсолютно.

Мы разошлись, чтоб подумать о жизни в дальнейшем. Но я никогда не смогу создать отношений, если я по мановению твоего пальчика сажусь дома реветь два месяца, а по мановению другого срываюсь, даже не зная, что думать и, бросив все, мчусь. Это я о твоём приглашении съездить вместе в Петроград. Не словом, а делом я дока-



жу тебе, что я думаю обо всем и о себе также, прежде чем сделать что-нибудь. Я буду делать только то, что вытекает из моего желания.

Я еду в Питер. Еду потому, что два месяца был занят работой, устал, хочу отдохнуть и развеселиться. Неожданной радостью было то, что это совпадает с желанием проехаться ужасно нравящейся мне женщины. Может ли быть у меня с ней что-нибудь? Едва ли. Она чересчур мало обращала на меня внимания вообще. Но ведь и я не ерунда, – попробую понравиться.

А если да? Что дальше? Там видно будет. Я слышал, что этой женщине быстро все надоедает. Что влюбленные мучаются около нее кучками, один недавно чуть с ума не сошел. Надо все сделать, чтобы оберечь себя от такого состояния.

Любишь ли ты меня? Для тебя, должно быть, это странный вопрос: конечно, любишь. Но любишь ли ты **меня**? Любишь ли ты так, чтобы это мной постоянно чувствовалось? Нет, я уже говорил Осе. У тебя не любовь ко мне – у тебя вообще ко всему любовь. Занимаю в ней место и я, может быть, – даже большое. Но если я кончаюсь, то я вынимаюсь, как камень из речки, а твоя любовь опять всплывает над всем остальным. Плохо это? Нет, тебе это хорошо, я бы хотел так любить, Лилятик, это я не для укора. Это я для того, чтобы тебе стало ясно: и ты должна подумать обо мне. Семей идеальных нет. Все семьи лопаются. Может быть только идеальная любовь. А любовь не установишь никакими «должен», никакими «нельзя», – только свободным соревнованием со всем миром. Я не терплю – «должен» приходиться. Я бесконечно люблю, когда я «должен» не приходиться, торчать у твоих окон, ждать хоть мелькания твоих волосиков из авто.

Я виновен во всем быте, но не потому, что я «лиричок-середячок», любящий семейный очаг и жену-пришивальщицу пуговиц. Тяжесть моего бытового сидения за картами – это какая-то неосознанная душевная «итальянская забастовка» против семейных отношений, унижительная карикатура на самого себя. Я чувствую себя совершенно отвратительно и физически, и духовно. Ежедневно болит



голова, у меня тик, доходило до того, что я не мог чаю себе налить. Я абсолютно устал. Чтобы отвлекься ож всего от этого, я работал по 16 и по 20 часов в сутки. Я сделал столько, сколько никогда не делал и за полгода.

Ты сказала, чтобы я подумая и изменил свой характер. Я подумал. Лилик, что бы ты ни говорила, я думаю, что характер у меня неплохой. Конечно, «играть в карты», «пить», и т.д. – это не характер, это случайность, довольно крепкие, но мелочи. Но я честно держу слово, которое я себе дал и ненавижу всякое принуждение. Я что угодно с удовольствием сделаю по доброй воле, хоть руку сожгу, но по принуждению даже несение какой-нибудь покупки, самая маленькая цепочка вызывает у меня чувство тошноты, пессимизма и т.д. Что ж, отсюда следует, что я должен делать все, что захочу? Ничего подобного. Надо только не устанавливать для меня никаких внешне заметных правил. Надо то же самое делать со мной, но без всякого ощущения с моей стороны.

Какая жизнь у нас может быть, на какую я в результате согласен? Всякая. На всякую. Я ужасно по тебе соскучился и ужасно хочу тебя видеть... Целую кисю.

Лия. Володенька, как ни глупо писать, но разговаривать мы с тобой пока не умеем. Жить нам с тобой так, как жили до сих пор, нельзя. Ни за что не буду. Жить надо вместе, ездить – вместе. Или же расстаться – в последний раз и навсегда.

Чего же я хочу. Мы должны сейчас остаться в Москве, заняться квартирой. Неужели не хочешь пожить по-человечески со мной? А уже исходя из общей жизни, – все остальное. Если что-нибудь останется от денег, можно поехать летом куда-нибудь вместе, на месяц; визу как-нибудь получим. Начинать это делать нужно немедленно, если, конечно, хочешь. Мне – очень хочется. Кажется – и весело и интересно. Ты бы мог мне сейчас нравиться, могла бы любить тебя, если бы ты был со мной и для меня. Если бы, независимо от того, где мы были, и что делали днем, мы могли бы вечером или ночью вместе полежать рядом в чистой, удобной постели, в комнате с чистым воз-



духом, после теплой ванны! Разве не верно? Тебе кажется – опять мудрую, капризничаю. Обдумай серьезно, по-взрослому. Я долго думала и для себя – решила. Хотелось бы, чтобы ты был рад моему решению и желанию, а не просто подчинился. Целую. Твоя Лиля (кошечка).

10

Лиля. Хочу признаться: я ему сопротивлялась. Меня пугала его напористость, рост, его громада, неумная, необузданная страсть. Вот Асеев* писал: «любила крепко, да не до конца, не до последней точки». Это неверно. Я любила Володю «до последней точки», но я ему не давалась. Я все время увивалась от него. А если бы я вышла замуж за него, нарожала бы детей, то ему стало бы неинтересно, и он бы перестал писать стихи. А это в нем было главное. Я ведь все это знала. Конечно, Володе хорошо было бы жениться на нашей домработнице Аннушке, подобно тому, как вся Россия хотела, чтобы Пушкин женился на Арине Родионовне**. Тогда меня, думаю, оставили бы в покое.

Маяковский. Лиля всегда права. Даже если утверждает, что шкаф стоит на потолке. Ведь с позиции второго этажа шкаф на третьем этаже действительно стоит на потолке!

Лиля. Были ли романы у Маяковского? Были. Это известно. Соня Шамардина, Наташа Брюханенко, Таня Яковлева, Нора Полонская... В Америке от его связи с Элли Джонс родилась девочка. Но не прав тот же Асеев, написавший: «Он их обнимал, пустых и чопорных, /Тоненьких

* Асеев, Николай (наст. фам. – Штальбаум; 1889–1963), русский советский поэт, сценарист, деятель русского футуризма. Лауреат Сталинской премии первой степени (1941). Был другом В. В. Маяковского, Б. Л. Пастернака.

** Яковлева, Арина Родионовна (1758–1828) – крепостная, принадлежащая семье Ганнибалов, няня Александра Сергеевича Пушкина, кормилица его старшей сестры Ольги.



и длинноногих дур». Это были красавицы, высокие и неглупые. Но никто из них не смог похитить его у меня...

Маяковский. Я люблю только Лилю. Ко всем остальным я могу относиться хорошо или очень хорошо, но любить я могу только ее.

Лиля. Только однажды я всполошилась всерьез, когда узнала про Таню Яковлеву. Помните, эта та, из стихов: «Я все равно возьму тебя одну или вдвоем с Парижем». С Таней в Париже Маяковского познакомила Эльза. Был короткий, но бурный роман, Маяковский звал ее в СССР – выйти за него замуж. Я устроила сцену. Маяковский уверял, что обижаться на него я не вправе. Как он говорил, «мы с тобой, в крайнем случае, в расчете, и не нужно перечислять взаимные боли и обиды». Как страшно эти слова он процитирует в предсмертной записке!

Татьяна благоразумно отказалась, вышла замуж за барона Дю Плесси, затем за издателя Либермана (владельца журнала «ВОГ») и укатила с последним в Америку.

Все это станет понятно, если знать, что после поездки Володи в Америку в 25 году наши с ним интимные отношения прекратились навсегда. В начале нашего романа мы условились, если наша любовь охладет, мы скажем друг другу об этом. И вот в 25 году я сказала ему, что больше не люблю его. Мне казалось, что и он стал меня любить много меньше и очень мучиться не будет. Увы, я ошиблась. Правда, он не стал настаивать, иначе был бы полный разрыв. Но оставалась наша дружба. Мы по-прежнему жили вместе с Осей, втроем, в Гендриковом переулке, вместе ездили отдыхать, ходили в театр, занимались редакционными делами. Живя в одной квартире, мы все трое старались устраивать свою жизнь так, чтобы всегда ночевать дома, независимо от других отношений. Утро и вечер принадлежали нам, что бы ни происходило днем.

Были ли у меня романы? Были. Знал ли Володя о них? Знал. Знал, но молчал. Для меня завести роман особого труда не представляло. Для этого надо было внушить мужчине, что он замечательный или даже гениальный, но



что другие этого не понимают. И разрешить ему то, что не разрешают ему дома. Например, курить или ездить, куда вздумается. Ну, а остальное сделают хорошая обувь и шелковый галстук.

Были режиссеры – Всеволод Пудовкин*, Лев Кулешов**. Был крупный госчиновник Юсуп Абдрахманов***. Был зам. наркома финансов Александр Краснощёков****. Но не было Якова Агранова*****, заместителя Ягоды*****. Вообще, было много сплетен. Стоило мне приветливо поговорить с женщиной или, наоборот, отринуть его, как тут же появлялось сочинение на тему «Лилия Брик и X» и шло по городу, обрастая подробностями.

В 30 году я вышла замуж за Виталия Примакова*****. Тогда он был зам. командующего Ленинградского военного округа, видный участник гражданской войны, человек храбрый и незаурядный. Мы прожили с ним 6 лет, он сразу вошел в нашу писательскую среду. Сам был талантливым писателем. Он был красив, силен, отзывчив, высокообразован, хорошо владел английским, был блестящим оратором. А еще был добрым и отзывчивым. Как-то в поезде, за окном, я увидела крытые соломой

* Пудовкин, Всеволод (1893–1953) – советский российский кинорежиссёр, актёр, сценарист, художник, педагог. Лауреат трёх Сталинских премий (1941, 1947, 1951). Народный артист СССР (1948).

** Кулешов, Лев (1899–1970) – советский кинорежиссёр, теоретик кино. Народный артист РСФСР.

*** Абдрахманов, Юсуп (1901–1938) – советский и киргизский государственный деятель.

**** Краснощёков, Александр (Абрам Моисеевич Краснощёк, псевдоним Тобинсон; 1880–1937) – российский социал-демократ, впоследствии советский государственный и партийный деятель, участник Гражданской войны на Дальнем Востоке.

***** Агранов, Яков (наст. имя – Янкель Шмаевич Соренсон, 1893–1938) – деятель ВЧК-ОГПУ-НКВД, комиссар государственной безопасности 1-го ранга (26 ноября 1935), один из организаторов массовых репрессий 1920-х – 1930-х годов.

***** Ягода, Генрих (урождённый Енох Гершенович (Генах Гиршевич) Иегуда; 1891–1938) – советский государственный и политический деятель, один из главных руководителей советских органов госбезопасности (ВЧК, ГПУ, ОГПУ, НКВД), нарком внутренних дел СССР (1934–1936), генеральный комиссар государственной безопасности.

***** Примаков, Виталий (1897–1937) – советский военачальник, командир красного казачества в Гражданскую войну, комкор (1935).



хаты и сказала: «Не хотела бы я так жить». Он ответил: «А я не хочу, чтобы так жили они».

Его арестовали в 36 году. Это был первый арест в шеренге крупных военных. По делу проходило восемь человек, в их числе Якир, Уборевич, Тухачевский. Сегодня о Примакове написаны книги, сняты фильмы. В Киеве есть улица и парк его имени, поставлен памятник. «Тебе, Лиличка, на роду написаны памятники», – сказала Эльза. Шутка, конечно...

Затем я вышла замуж за Василия Катаняна* – друга и летописца Маяковского.

Я всегда любила одного. Одного Осю, одного Володю, одного Виталия и одного Василия. Но когда застрелился Володя, это умер Володя. Когда погиб Примаков – это умер он. Но когда в 45 году умер Ося – это умерла я...

11

Лия. Почему застрелился Володя? Маяковский был одинок. И не от того, что он был не любим, не признан, что у него не было друга. Его печатали, читали, слушали так, что залы ломились. Не счесть людей, преданных ему, любивших его. Но все это капля в море для человека, у которого «ненасытной вор в душе», которому нужно, чтобы читали те, кто не читает, чтобы пришел тот, кто не пришел, чтобы любила та, которая, казалось ему, не любит.

Эти всегдашние разговоры о самоубийстве! Это был террор. В 16 году он позвонил и сказал: «Я стреляюсь. Прощай, Лилик!» Я крикнула: «Подожди меня!» – что-то накинула поверх халата, скатилась с лестницы, умоляла, гнала, била извозчика кулаками в спину... Маяковский открыл мне дверь, на столе лежал пистолет. Он сказал: «Стрелялся. Осечка. Второй раз не решился, ждал тебя». Я была в неопишемом ужасе, не могла прийти в себя. Мы вместе пошли ко мне, на Жуковскую, и он заставил

* Катанян, Василий (1902–1980) – литературовед, биограф Маяковского.



меня играть с ним в гусарский преферанс. Мы резались бешено. Он забивал меня темпераментом. Читал чужие стихи – бесконечно:

Маяковский.

И кто-то во мраке дерев, незримый,
Зашуршал опавшей листвою.
И крикнул: что сделал с тобой любимый,
Что сделал любимый твой?

Лиля. В 20 году Роман Якобсон* сказал мне: «Не представляю Володю старого, в морщинах». А я ответила ему: «Он ни за что не будет старым, обязательно застрелится. Он уже стрелялся – была осечка. Но ведь осечка случается не каждый раз!» Перед тем, как стреляться, Маяковский вынул обойму из пистолета и оставил только один патрон в стволе. Он был игрок, игрок во всем. И здесь он доверился судьбе, думал – если не судьба, опять будет осечка, и он поживет еще.

Он был хронически мнителен. Кто-то опаздывал на партию в карты – он никому не нужен. Знакомая девушка не позвонила – никто его не любит. А если так, то жить бессмысленно. Он написал предсмертное письмо 12 апреля 30 года, а застрелился 14-го. Если бы обстоятельства сложились порадостней, самоубийство могло бы отодвинуться, но все тогда не ладилось: и проверка своей неотразимости, казалось, потерпела крах, и неуспех постановки «Бани», и тупость рапповцев... И то, что на выставку «20 лет работы» не пришли те, кого он ждал, и то, что он не выспался, наконец. И во всем он был не прав. И по отношению к Норе Полонской, которую он хотел увести от мужа, чтобы доказать себе, что по-прежнему ни одна не может противостоять ему, и по отношению к постановке «Бани», которая, чего уж там, действительно провалилась, но текст!... Он был поэт. Он все хотел преувеличить. Без этого он не был бы тем, кем был.

* Якобсон, Роман (1896–1982) – российский и американский лингвист и литературовед, один из крупнейших лингвистов XX века, оказавший влияние на развитие гуманитарных наук.



12

Маяковский. «В том, что умираю, не вините никого и, пожалуйста, не сплетничайте. Покойник этого ужасно не любил. Мама, сестры и товарищи, простите – это не способ (другим не советую), но у меня выходов нет. Лиля – люби меня. Товарищ правительство, моя семья – это Лиля Брик, мамы, сестры и Вероника Витольдовна Полонская. Если ты устроишь им сносную жизнь – спасибо. Начатые стихи отдайте Брикам, они разберутся.

Как говорят – «инцидент исперчен»,
любовная лодка разбилась о быт.
Я с жизнью в расчете и не к чему перечень
взаимных болей, бед и обид.

Счастливо оставаться – Владимир Маяковский».

Лиля. «Я с жизнью в расчете»... В начатых стихах, о которых говорил Маяковский в письме, эта строчка звучала по-иному.

Уже второй. Должно быть, ты легла.
А может быть и у тебя такое.
Я не спешу, и молниями телеграмм
Мне незачем тебя будить и беспокоить.
Как говорят, «инцидент исперчен»,
любовная лодка разбилась о быт.
С тобой мы в расчете и не к чему перечень
взаимных болей, бед и обид.
Ты посмотри, какая в мире тишь!
Ночь обложила небо звездной данью.
В такие вот часы встаешь и говоришь
Векам, истории и мирозданию.

Когда застрелился Володя, нас с Бриком не было в Союзе. Возможно, если бы я была рядом, он бы этого не сделал.

Мы с Осей стали заниматься архивом Маяковского. Но после Володиной смерти его практически перестали печатать. Сочинения выходили медленно, статей о нем не печатали, чтение его стихов с эстрады не поощрялось. Ка-



залось, что кто-то хотел вытравить из людского сознания саму память о нем. Везде я натыкалась на бюрократическую стену. Отчаявшись, в 35 году я написала полубезумное письмо Сталину. Передать его адресату вызвался Примаков. Удивительно быстро меня вызвали в Москву и там, в ЦК, я прочла на своем письме резолюцию Сталина: «Тов. Ежов*, очень прошу вас обратить внимание на письмо Брик. Маяковский был и остается лучшим, талантливейшим поэтом нашей советской эпохи. Безразличие к его памяти и его произведениям – преступление. Жалобы Брик, по-моему, правильны. Свяжитесь с ней, с Брик, или вызовите ее в Москву. Привлеките к делу Таль и Мехлиса и сделайте, пожалуйста, все, что упущено нами. Если моя помощь понадобится – я готов. Привет! Сталин».

Я была потрясена. Такого полного свершения наших надежд и желаний я не ждала. И понеслась – собрания сочинений, статьи, вечера, постановки, корабли, заводы, улицы и площади, мемориалы... Работы хватило всем. Правда, бум, который поднялся, стал, по слову Пастернака**, второй смертью поэта: его принялись насаждать, как картошку при Екатерине. По обычаям того времени Маяковского стали подавать тенденциозно, однобоко, кастрированно. Вышла куча фальшивых книг о нем, идиотских воспоминаний... Я боролась, как могла.

Много лет спустя я узнала, что Сталин, иногда вычеркивавший из списков на арест тех или иных деятелей культуры, вычеркнул из одного такого списка и мое имя. И будто бы сказал при этом: «Не будем трогать жену Маяковского».

Из списка мертвых меня вычеркнули. Но я оставалась в списке живых...

* Ежов, Николай (1895–1940) – советский партийный и государственный деятель. Народный комиссар внутренних дел СССР (1936–1938), генеральный комиссар госбезопасности (с 1937 года, 24 января 1941 лишен звания), организатор и исполнитель сталинских репрессий (1937–1938).

** Пастернак, Борис (1890–1960) – русский поэт, писатель, один из крупнейших поэтов XX века, лауреат Нобелевской премии по литературе (1958).



ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ЭЛЬЗА

1

Эльза. 18 год. У Лили, на Жуковской. В большой пустой комнате зеркало, на стенах балетные пачки.

Лия. Я увлекалась балетом.

Эльза. Вечером приходит мой будущий муж, Андре Триоле, француз, в военной форме.

Лия. Мы были в соседней комнате, играли в карты. Вышли посмотреть... Без комментариев.

Эльза. Володя отчужденно здоровается. Он вежлив и молчалив и никогда больше об этом французском романе не заговаривает.

В 18 году я сдала экзамены и получила свидетельство об окончании архитектурно-строительного отделения Московских женских строительных курсов. Мне выдали заграничный советский паспорт, в котором значилось: «Для выхода замуж за офицера французской армии». В паспорте матери стояло: «Для сопровождения, дочери». Товарищ, который выдавал мне паспорт, сурово посмотрел на меня и сказал в напутствие: «Что, у нас своих мало, что вы за чужих выходите?». Распродали вещи. Подошел день отъезда. Сели на извозчика, с чемоданом. На весь Голиковский заголосила моя кормилица Стеша. Так мне и не довелось ее больше увидеть, а я-то думала, что через каких-нибудь три-четыре месяца вернуться... Мы должны были ехать в Париж через Швецию. Пароход уходил из Петрограда 4 июля. Остановились у Лили. В квартире никого не было.

Лия. Мы с Володей уехали в Левашово, под Петроградом. Только недавно мы сошлись. Для мамы такая перемена в моей жизни оказалась сильным ударом. Она не хотела



видеть Маяковского и готова была уехать, не попрощавшись со мной.

Эльза. Я поехала в Левашово одна. Было очень жарко.

Лиля. Я загорела до волдырей и лежала в полутемной комнате. Володя молчаливо ходил взад и вперед. Не помню, о чем мы говорили, как попрощались.

Эльза. Я была подсознательно убеждена, что чужая личная жизнь есть нечто неприкосновенное. Поэтому не спрашивала у Лили, что же будет дальше, как сложится жизнь самых близких любимых людей в этом новом их положении.

Лиля. На следующий день я приехала прямо с утра. Я внезапно поняла, что Эльза действительно уезжает, что выходит замуж за какого-то чужого француза, что накануне она просталась со мной и Володей... Может быть, ты передумаешь, Эличка? Не уезжай! Выходи лучше за Ромочку Якобсона... Да поздно я спохватилась.

Эльза. На пристань Володя не приехал. Мама не сменила гнев на милость. На многие годы я увезла с собой молчаливого Володю, ходившего по полутемной комнате, а Лилечку такой, какой она была на пристани в час отбытия. Это было в июле 18 года.

Лиля. Жара, голодно, по Петрограду гниют горы фруктов, есть их нельзя – холера как сыщик хватает людей где попало... А я тянусь к Эльзе, хочу передать сверток с котлетами, драгоценным мясом...

Эльза. Ее тоненькая фигурка, маленькие ноги в тоненьких туфлях рядом с вонючей холерной лужей, глаза – «круглые да карие, горячие до гари»... Пароход отчалил. По ту сторону воды вставала жизнь в другом разрезе.

В Париж я ехала долго. Московские визы оказались недействительными, и нас никуда не впускали.



Промаявшись в Норвегии и Англии, я попала в Париж лишь в конце 19 года, тут же вышла замуж и уехала с мужем на остров Таити. Через год мы оттуда вернулись в Париж. В 21 году я развелась с мужем и уехала в Лондон, где моя мать работала в советском учреждении «Аркос». В Лондоне я поступила на службу к архитектору, – пригодились мне строительные курсы! – а в 22 году собралась в Берлин, так как туда должны были приехать Лиля и Маяковский. В Берлине я начала писать. Уговорил меня на это дело Виктор Шкловский*. Он показал мои к нему письма Горькому. Алексей Максимович, живший тогда под Берлином, в Саарове, прислал мне на эти письма как бы рецензию и одновременно пригласил через Шкловского погостить. Словом, я осталась в Берлине до 24 года.

2

Шкловский. Мое прошлое – ты было. Были утренние тротуары берлинских улиц, базары, осыпанные белыми лепестками цветущих яблонь. Ветки яблонь стояли на длинных базарных столах в ведрах. Позднее, летом, были розы на длинных ветках, – вероятно, это вьющиеся розы. Орхидеи стояли в цветочном магазине на Унтерден-Линден, а я их никогда не покупал. Был беден. Покупал розы – вместо хлеба. Я один. У меня нет своих в Берлине.

Эльза. Лиличка! На новой квартире я ужилась. Подозреваю, что хозяйка у меня из экс-веселящихся, соответственно и характер у нее не злобный и не придиричивый. Разговаривают в моих краях только по-немецки, Откуда не идешь, приходится пробираться под 12 мостами. Такое это место, что без особой нужды не заедешь. Знакомые с Курфюрстендам по дороге заходить не будут.

* Шкловский, Виктор (1893–1984) – русский советский писатель, литературовед, критик, киновед и киносценарист



Шкловский. Вот вам план книги. Человек пишет письма к женщине. Она запрещает писать о любви. Он примиряется с этим и начинает рассказывать ей о чем угодно. Для него это способ распускания хвоста.

Эльза. При мне состоят все те же, поста не покидают. Тот, третий, ко мне окончательно пришился. Почитаю его своим самым крупным орденом, хотя влюбчивость его мне известна. Пишет мне каждый день по письму и по два, сам же мне их приносит, послушно садится рядом и ждет, пока я их прочту.

Шкловский. Но тут за сценой появляются соперники. Их два: 1/ англичанин, 2/ некто с кольцами в ушах. Письма начинают желтеть от ярости.

Эльза. Первый все еще посылает цветы, но грустнеет. Второй, которому ты меня неосторожно поручила, продолжает настаивать на том, что любит. Взамен требует, чтобы я со всеми своими неприятностями обращалась к нему. Такой хитрый.

Шкловский. Человек русского обряда поведения смешон в Европе, как пушистая собака в тропиках.

Эльза. Несмотря на покойное житье здесь, я тоскую по Лондону. По одиночеству, размеренной жизни, работе с утра до вечера, ванне и танцам с благообразными юношами. Здесь я от этого отвыкла. И слишком много горя вокруг, чтобы об этом можно было хоть на минуту забыть. Пиши скорее про все свои дела. Целую тебя милую, самую красивую, спасибо еще раз за любовь и ласку.

Шкловский. Женщина материализует ошибку. Ошибка реализуется. Женщина наносит удар. Боль реальна.



Шкловский. Дорогая Аля!

Эльза. Милый, родной.

Шкловский. Я уже два дня не вижу тебя.

Эльза. Милый.

Шкловский. Звоню. Телефон пищит, будто я наступил на кого-то.

Эльза. Не надо.

Шкловский. Дозваниваюсь, – ты занята днем, вечером.

Эльза. Родной.

Шкловский. Еще раз пишу. Я очень люблю тебя.

Эльза. Не пиши мне о любви.

Шкловский. Ты город, в котором я живу, ты название месяца и дня.

Эльза. Не надо.

Шкловский. Плаваю соленый от слез, тяжелый, почти не высовываясь из воды.

Эльза. Я очень устала.

Шкловский. Кажется, скоро потону, но и там, под водой, куда не звонит телефон и не доходят слухи, где нельзя встретить тебя, я буду тебя любить.



Эльза. Я устала. У меня, как ты сам говоришь, сбита холка.

Шкловский. Я люблю тебя, Аля!

Эльза. Нас разъединяет с тобою быт.

Шкловский. Я люблю тебя, Аля, а ты заставляешь меня висеть на подножке твоей жизни.

Эльза. Я не люблю тебя и не буду любить.

Шкловский. У меня стынут руки.

Эльза. Я боюсь твоей любви, ты когда-нибудь оскорбишь меня за то, что сейчас так любишь.

Шкловский. У меня стынут руки.

Эльза. Не стони так страшно, ты для меня все же свой! Не пугай меня!

Шкловский. Я не ревнив к людям, я ревнив к твоему времени. Я не могу не видеть тебя. Ну что мне делать, когда любовь нельзя ничем заменить?

Эльза. Ты меня так хорошо знаешь, а сам делаешь все, чтобы испугать меня, оттолкнуть от себя.

Шкловский. Ты не знаешь веса вещей. Все люди равны перед тобой, как перед Господом, ну что же мне делать? Я очень люблю тебя.

Эльза. Может быть, твоя любовь и большая, но она не радостная.

Шкловский. Сперва меня клонило к тебе, как клонит сон в вагоне голову пассажира на плечо соседа.



Эльза. Ты нужен мне, ты умеешь вызывать меня из себя самой.

Шкловский. Потом я загляделся на тебя.

Эльза. Не пиши мне только о своей любви. Не устраивай мне диких сцен по телефону. Не свирепей.

Шкловский. Знаю твой рот, твои губы.

Эльза. Ты умеешь отравлять мне дни. Мне нужна свобода, чтобы никто даже не смел меня спрашивать ни о чем.

Шкловский. Я наматал на мысль о тебе всю свою жизнь. Я верю, что ты не чужой человек. Ну, посмотри в мою сторону!

Эльза. Ты требуешь от меня всего моего времени.

Шкловский. Я напугал тебя своей любовью.

Эльза. Будь легким, а то в любви ты сорвешься. Ты с каждым днем все грустней.

Шкловский. Когда в начале я был еще весел, я больше тебе нравился.

Эльза. Тебе нужно ехать в санаторий, мой дорогой.

Шкловский. Это от России, дорогая. У нас тяжелая походка. Но в России я был крепок, а здесь начал плакать.

Эльза. Пишу в кровати, оттого что вчера танцевала. Сейчас пойду в ванну. Может быть, сегодня увидимся.

Шкловский. После ванны и переодевания мужчине обычно нужно все начинать сначала. Переодевшись, женщина даже забывает жесты. Синтаксиса в жизни женщины почти нет.



Шкловский. Я не буду писать о любви. Я буду писать только о погоде. Погода в Берлине сегодня хорошая. Синее небо и солнце выше домов. На улице хорошо и свежо. Снега в Берлине в этом году почти не было. Сегодня 5 февраля... Все не о любви. Хожу в осеннем пальто, а если бы настал мороз, то пришлось бы назвать это пальто зимним. Не люблю мороза и даже холода. Из-за холода отрекся апостол Петр от Христа. Ночь была свежая, и он подходил к костру, а у костра было общественное мнение, слуги спрашивали Петра о Христе, а Петр отрекался. Пел петух. Холода в Палестине не сильны. Там, наверное, теплее, чем в Берлине. Если бы ночь была теплая, Петр остался бы во тьме, петух пел бы зря, как все петухи, а в Евангелии не было бы иронии.

Хорошо, что Христос не был распят в России, климат у нас континентальный, морозы с бураном; толпами приходили бы ученики Иисуса на перекрестки к кострам и стали бы в очередь, чтобы отречься. Государство не отвечает за гибель людей, при Христе оно не понимало по-арамейски и вообще никогда не понимает по-человечески. Римские солдаты, которые пробивали руки Христа, виновны не больше, чем гвозди. В любви никому ничего не надо. Вход только по контрамаркам. И быть жестоким легко, нужно только не любить. Любовь тоже не понимает ни по-арамейски, ни по-русски. Она как гвозди, которыми пробивают. А если больно? Переведи все в космический масштаб, возьми сердце в зубы, пиши книгу.

Но где та, которая любит меня? Я вижу ее во сне и беру за руки, и называю именем Люси, синеглазым капитаном моей жизни, и падаю в обмороке к ее ногам, и выпадаю из сна. О разлука, о тело ломимое, кровь проливаемая!



5

Эльза. И пишу тебе письмо, милый татарчонок, спасибо за цветы. Комната вся надушена и продушена; спать не могла – так было жалко от них уйти. В этой нелепой комнате с колоннами, оружием, со мной я чувствую себя дома. Мне принадлежит в ней тепло, запах и тишина. Я унесу их, как отражение в зеркале: уйдешь – и нет их, вернулась, взглянула – они опять тут. И не веришь, что только тобою они живут. Больше всего мне сейчас хочется, чтобы было лето, чтобы всего, что было, – не было. Чтобы я была молодая и крепкая. Тогда бы из смеси крокодила с ребенком остался бы только ребенок, и я была бы счастлива.

Я не роковая женщина, я – Аля, розовая и пухлая. Вот и все. Целую тебя, сплю.

6

Шкловский. Ты дала мне два дела: не звонить к тебе и не видеть тебя. И теперь я занятой человек. Есть еще третье дело: не думать о тебе. Но его ты мне не поручала.

Эльза. Я сама спрашиваю тебя иногда: любишь?

Шкловский. Тогда я знаю, что идет проверка постов. Отвечаю: «Пост номер третий – номер не знаю наверное – место поста – у телефона и на улицах Гидештнихкирхе до мостов на Йоркштрассе, не дальше. Обязанности: любить, не встречаться, не писать писем. И помнить, как сделан «Дон Кихот».

Эльза. А как?

Шкловский. «Дон Кихот» сделан в тюрьме, по ошибке. Дон Кихот получил мудрость в подарок, больше никому



было быть мудрым в романе: от сочетания мудрости и безумия родился тип Дон Кихота.

Эльза. Рапорт принят, я пошла.

Шкловский. Я не могу оставить пост.

Эльза. Разводящий уходит легко и быстро, изредка останавливаясь у магазинов.

Шкловский. Смотрит сквозь стекло магазина, смотрит серьезно и хорошо, как дети смотрят на большую красивую куклу.

Эльза. Так ты смотришь на меня.

Шкловский. Солнце встает все выше и выше.

Эльза. Как у Сервантеса?

Шкловский. Да, «оно растопило бы мозги бедному идалго, если бы они у него были». Солнце стоит у меня над головой. А я не боюсь, я знаю, как сделан «Дон Кихот». Он красиво сделан. Смеяться же будет тот, кто всех сильнее.

Эльза. Потерпи, думай о чем-нибудь другом, о других больших и несчастных людях. А в любви обиды нет. И завтра, может быть, опять придет разводящий.

Шкловский. А срок моего караула?

Эльза. Срока нет.

Шкловский. Какой ветер, Алик! Какой ветер! В такой ветер в Питере вода прибывает, Алик. Стреляют пушки.



Раз. Два. Три. Одиннадцать раз. Наводнение. Ветер на улице. Мой ветер. Весенний, питерский.

Вода затопила весь Берлин. Она вымыла из аквариума всех рыб и крокодилов. Крокодилы плывут, не проснулись, только скулят, что холодно, а вода поднимается по лестнице. 11 футов. Вода у тебя в комнате. Она входит тихо. Но комнате воду встречают Алины туфли.

Эльза. Зачем вы пришли? Алик спит.

Шкловский. 11 футов, госпожи туфли! Берлин весь всплыл вверх брюхом, одни тысячемарковые бумажки видны на волнах. Скажите Але, что она на острове: ее дом опоясан ОПОЯЗОМ.

Эльза. Не шутите! Аля спит. Глупая высокая вода! Аля устала. Але нужны не цветы, а запах цветов. Але от любви нужен только запах любви и нежность. Больше ничем нельзя грузить ее милые плечи.

Шкловский. О, госпожи мои, Алины туфли! 11 футов. Вода на прибыли. Пушки стреляют. Теплый ветер прорывается сюда и не пускает нас в море. Теплый ветер настоящей любви! 11 футов! Ветер так силен, что деревья лежат на земле.

Эльза. О, вода на чужую мельницу. Нехорошо в любви пользоваться правом сильного.

Шкловский. Даже правом сильной любви?

Эльза. Да, даже правом сильной любви. Да, да, не мучь ее силой. Ей не нужна даже жизнь. Она, твоя Аля, так любит танец за то, что это тень любви. Любите Алю, а не свою любовь.

Шкловский. И вода уходит назад, тяжело таща за собой портфель с корректурами.

Эльза. Ох, уж мне эти литераторы!



Шкловский. Мы не умеем быть легкими. Однажды в одной компании хозяйка обиделась на меня и моего приятеля за то, что мы пришли во френчах и валенках. Разгадка была простая: у всех остальных гостей были старые фраки, а фрак долго не стареет и может пережить революцию.

А мы фраков никогда не носили. Насили сперва гимназические и студенческие пальто, а потом солдатские шинели, а потом френчи, перешитые из этих шинелей. Мы не знали иного быта, кроме быта войны и революции. Никто нас не сможет обидеть, потому что мы работаем. Никто нас не сможет обидеть, потому что мы знаем свою цену. А нашу любовь, любовь людей, никогда не носивших фраков, никто не может понять из женщин, не носивших вместе с нами тяжесть нашей жизни. Вы говорите о нас, что мы не умеем есть: мы слишком низко наклоняемся к тарелкам, а не несем пищу к себе... Когда судья Гедеон собирал партизанский отряд для нападения на филистимлян, то он, прежде всего, отправлял домой всех семейных. Из всех оставшихся он взял с собой тех, кто брал воду из реки из горсти, а не наклонялся к ней и не лакал, как собака.

Неужели мы плохие воины? Ведь, кажется, когда рушится все, рушится скоро, это мы уйдем по двое с винтовками за плечами, с патронами в карманх штанов, уйдем, отстреливаясь из-за заборов от кавалерии, обратно в Россию, может быть, на Урал, там строить новую Троику. Но над тарелками лучше не наклоняться. Страшен суд судом Гедеона! Что если он не возьмет нас в свое войско?

Библия любопытно повторяется. Однажды разбили евреи филистимлян. Те бежали по двое, спасаясь через реку. Евреи поставили у брода патрули. Филистимлянина от еврея тогда было отличить трудно: и те и другие, вероятно, были голые. Патруль спрашивал пробегавших: скажи слово «шабелес». Но филистимляне не умели говорить букву «ш», они говорили «сабелес». Тогда их убивали.



На Украине видал я раз мальчика-еврея. Он не мог без дрожи смотреть на кукурузу. Рассказал мне, что когда на Украине убивали, нужно было проверить, не еврей ли убиваемый. Ему говорили: скажи «кукуруза». Еврей говорил: «кукуружа». Его убивали.

9

Шкловский. Шесть часов утра. Еще темно.

Эльза. Не звони мне, пожалуйста, раньше 1030.

Шкловский. Четыре с половиной часа, а потом еще двадцать пустых часов, между ними твой голос. Постыла мне моя комната. Не мил мой письменный стол, на котором я пишу письма только тебе.

Эльза. Заведи гитару и пой: «Поговори хоть ты со мной / Гитара семиструнная/ Душа полна такой тоской/ А ночь такая лунная»...

Шкловский. Нужно писать халтуру. Рекламную фильму для мотоциклеток. Буду писать письмо тебе, фильма подождет. Я пишу тебе каждую ночь, рву и бросаю в корзину. Письма оживают, сростаются и я их снова пишу.

Эльза. А в моей корзинке для сломанных игрушек первый тот, кто подарил мне, прощаясь, красные цветы, – я позвонила, поблагодарила, – и тот, кто подарил мне янтарный амулет, и тот, от кого я приняла сплетенную из проволоки женскую сумочку.

Шкловский. Твоя повадка однообразна: веселая встреча, цветы, любовь мужчины, которая всегда запаздывает... Мужчина начинает любить через день после того, как сказал «люблю».



Эльза. Поэтому не нужно говорить этого слова. Любовь растет, человек загорается, а мне уже разонравилось.

Шкловский. Только я, разорванный, как письмо, все вылезая из твоей корзинки для сломанных игрушек. Я переживу еще с десяток твоих увлечений. Днем тырываешь меня, а ночью я оживаю как письма.

Эльза. Еще не утро, ты на страже...

Шкловский. Да, господин разводящий. Автомобили еще не проснулись или еще не легли спать. Ах! Ах! Эх! - кричат они. Сажу в комнате моей болезни, думаю о тебе, об автомобилях. Необратима моя судьба. Только время принадлежит мне, - я могу делить ожидание на часы, на минуты, могу считать их. Жду. Жду. Жаль, нет гитары. Рассказать одну притчу?

Эльза. Про что?

Шкловский. Про слова. Там Бог хочет достать песок со дна моря.

Эльза. Но Бог не хочет сам нырять под воду. Он посылает черта и наказывает ему: «Когда будешь брать песок, говори: не я беру, а Бог берет»¹.

Шкловский. Нырнул черт на самое дно, докрутился до дна, схватился за песок и говорит: «Не Бог берет, а я беру».

Эльза. Самолюбивый черт. Не дается песок. Выплыл черт синим. Опять посылает его Бог в воду.

Шкловский. Доплыл черт до дна, скребет песок когтями, говорит: «Не Бог берет; а я беру».

Эльза. Не дается песок. Всплыл черт, задыхаясь. В третий раз посылает его Бог в воду. В сказке все делается до трех раз.



Шкловский. Видит черт, податься ему некуда. Не захотел он портить сюжета. Заплакал, может быть, и нырнул. Доплыл до дна и сказал: «Не я беру, Бог берет». Взял песок и выплыл.

Эльза. И что?

Шкловский. Создал Бог из песка, взятого со дна чертом по Божьему повелению, человека... На свете много разных зверей, и все они по своему славят и хулят Бога. Ты ныряешь на дно моря без слов и выносишь со дна один песок, текучий, как грязь. А я имею много слов, имею силу, но та, которой я говорю все слова – иностранка.

Расхотелось дальше писать. Не нужны мне письма. Не нужна мне гитара. Я знаю, ты не положишь моего письма в коробку на правой стороне твоего стола.

10

Эльза. Милый, сижу на твоём нелюбимом диване, и чувствую, что очень хорошо, когда тепло и удобно, ничего не болит. У всех вещей сдержанно-молчаливый вид хорошо воспитанных людей. Цветы же прямо говорят: мы знаем, но мы не скажем, а что они знают – неизвестно. Куча книг, которые я могу читать и не читаю, телефон, в который я могу говорить и не говорю, рояль, на котором я могу играть и не играю, лоды, с которыми я могу встречаться и не встречаюсь и ты, которого я должна была бы любить и не люблю. А без книг, без цветов, без рояля, без тебя, родной и милый, как бы я плакала! Ни о чем не мечтаю, не думаю. Милый, я тебя не обижаю, пожалуйста, не думай, что я тебя обижаю. Я чувствую, что начинаю казаться тебе самоуверенной. Я знаю, что я никуда не похужусь, не настаивай на обратном...

Шкловский. Ты никогда не будешь права передо мной, потому что не имеешь ни мастерства, ни любви.



Зачем быть правым человеку, который каждый миг может сказать мне: «Я не просила тебя любить меня» и отставить меня в сторону? Не удивляйся, что я кричу, когда ты не делаешь мне больно. Ну, представь себе Гулливера у великанов: держит его великанша в руке – чуть-чуть, почти не держит, а просто забыла выпустить, а вот сейчас выпускает – и кричит в ужасе бедный Гулливер, звонит по телефону: не бросай меня! Я произнес «люблю» и запустил игру. Где любовь, где книга о любви, я уже не знаю. Игра развивается. Скоро я получу шах и мат. Начало уже сыграно.

Эльза. Сжевала три аспирина, выпила удивительное количество разных горячих вещей, гуляла по квартире босиком в шубе, разговаривала с кем-то по телефону, ела селедку с картошкой, долго ничего не делала, а теперь пишу тебе. Твоя любовная инерция меня немного пугает. Прямо жутко. Ты кричишь, раздражаешься на собственный голос и еще пуще кричишь. А ну, как ты по инерции объяснишься в любви чему-нибудь совершенно неподходящему? Не злись только. Сшей себе новый костюм и чтобы у тебя было шесть рубашек: три в стирке а три у тебя. Галстук я тебе подарю. Чисти сапоги. А со мной говори о книжках, я буду стоять на задних лапах совсем вертикально и слушаться. Теперь буду спать. Неужели я заболею и завтра не смогу танцевать? Такой у меня хороший англичанин танцор. Неужели заболею? Такой холод. Мне нужны ботинки или автомобиль. Заложить что ли душу дьяволу? Может быть, и не худо в закладе? Целую, милый, только бы не разболеться.

Шкловский. Все герои русской литературы попадают в достаточно глупое положение. Бедный Онегин – Татьяна отдана другому. Бедный Печорин – без Веры. У Толстого то же горе. Чаплин говорил, что наиболее комичен человек, который, вися вниз головой, пытается оправить свой галстук. Мы все живем, оправляя свои галстуки. Но мой галстук, который ты мне купила, еще не обжился на моей шее. И я, попав в положение литературного героя, не знаю, что делать.



Ты писала о любовной инерции. Есть еще инерция несчастья. Мне за границей нужно было сломиться, и я нашел себе литературную любовь. Я сразу пришел к женщине с тем, что она меня не любит. Я не говорю, что иначе она бы меня полюбила. Но все было predetermined. Чтобы снизить трагедию, нужна ирония. Как в «Евгении Онегине» – «уж не пародия ли он? «Ну, например: я глухой. То есть я клепал в жизни котлы, придерживая изнутри заклепки. В ушах гром. Вижу, как шевелятся у людей губы, но ничего не слышу. Меня оглушило жизнью, глухие же люди очень замкнуты. Остается немое кино. Как у Чаплина.

11

Эльза. Милый, о Таити я вспоминать люблю, но рассказываю неохотно. Мама всегда говорила, что я неинтеллигентно отношусь к событиям и окружающему миру: не знаю, сколько на Таити жителей, белых и черных, сколько километров в окружности, какой высоты горы. Впрочем, речь не о том. Я хотела рассказать тебе о Танюше. Андрей подарил мне маленькую лошадку.

Назло экватору, температуре и кокосовым орехам я назвала ее Танюшей. Очень была довольна, когда старый, черный Тапу звал ее: «Таню-са». Ходила я за ней сама, чистила, кормила и поила. Она тоже ко мне хорошо относилась. Приходила к террасе за бананами и легонько ржала. Когда Танюша отъелась и стала блестящая и красивая, характер ее круто изменился: не желала, чтобы на нее садились, а как сядешь, начинает вертеться и так и сяк, пятится, все равно, что бы за ней не было: вода, колючий забор, люди. А потом и вовсе убежала в глубь острова – ищи ее! Андрея как раз не было, он часто уезжал осматривать другие острова. А у моей спальни было пять дверей и окон. Все настезь! Ночи на Таити такие беззвучные, насыщенные, такие яркие, что сами черные ни за что ночью от дома не отойдут. Я боялась до одури, до слез. Наконец догадалась перед дверью положить



Тапу. Как раз после побега Танюши я всю ночь проплакала. Я часто плакала в те времена. Тапу услышал и думал, что я боюсь – муж приедет и будет бить меня за то, что лошадь пропала. Наутро говорит: «Ты не плачь, я Танюсу найду, и твой муж ничего не узнает». Разослал во все концы веселых черных мальчишек, и Ташюшу водворили на место. Когда приехал Авдрей и узнал про побег, то сейчас же и продал ее. Он относился к лошадям, как к людям, и нашел, что она выказала такую черную неблагодарность, которую простить нельзя. Танюшу погрузили на пароходик и увезли к англичанину на Мореа. Как ее, верно, качало, бедную!

Шкловский. Письмо твое хорошее. У тебя верный голос – ты не фальцетишь. Мне немножко даже завидно. Ты была на Таити и тебе, кроме того, легче писать. Мне надоело умное и ирония.

Аля, я не могу удержать слов! Я люблю тебя. С восторгом, с цымбалами. Ты загнала мою любовь в телефонную трубку. Это я говорю. А слова говорят: «Она единственный остров для тебя в твоей жизни. От нее нет тебе возврата». Женщина, не допустившая меня до себя! Пускай ляжет у твоего порога, как черный Тапу, моя книга. Но она белая. Нет, иначе. Любимая! Пускай окружит моя книга твое имя, ляжет вокруг него белым, широким, немеркнувшим, невянущим, неувядающим венком.

12

Шкловский. Я очень сентиментален, Аля.

Эльза. Это потому, что ты живешь всерьез. А может быть, весь мир сентиментален.

Шкловский. Тот мир, адрес которого я знаю. Он не танцует фокстрот. В 13 году был у меня в России ученик, японец. Фамилия его была Тарацуки. Служил он секретарем в японском посольстве.



Эльза. А в квартире, где он жил, была горничная Маша из города Сольцы.

Шкловский. В Машу все влюблялись: дворники, жильцы, почтальоны, солдаты.

Эльза. А ей ничего не было надо. У нее была уже в Сольцах дочка шести лет, которая звала маму «дурой».

Шкловский. В комнате Тарацуки было темно. Я часто сидел рядом с ним и читал ему Толстого. Его мир был для меня без адреса. Тарацуки влюбился в Машу.

Эльза. Она смеялась, взвизгивала, когда рассказывала об этом.

Шкловский. Раз он пришел к Маше и сказал ей: «Послушай, Маша! У меня есть бабушка, она живет на большой горе Фудзияма, в саду. Она очень знатная и любит меня, и еще бегает в том саду любимая белая обезьяна. Недавно бабушка писала мне об этом. А я ответил, что люблю женщину по имени Маша и прошу разрешения на брак. Я хотел, чтобы ты была принята в семью. Бабушка мне ответила, что обезьяна было убежала, но уже вернулась, и что она очень рада и согласна на брак».

Эльза. Но Маше было очень смешно, что у Тарацуки есть желтая бабушка на Фудзияме. Она смеялась и ничего не хотела.

Шкловский. Потом наступила революция. Тарацуки разыскал Машу, которая была без места, и стал снова просить ее: «Маша, здесь ничего не понимают. Это не пройдет просто так, здесь будет много крови. Едем ко мне в Японию».

Эльза. Революция продолжалась.

Шкловский. Тарацуки позвал Машу в посольство. Вещи в посольстве укладывали.



Эльза. Маша пошла.

Шкловский. Там их принял посол и торопливо сказал: «Барышня, вы не понимаете что делаете! Ваш жених богатый и знатный человек, его бабушка согласна. Подумайте, не упускайте счастья».

Эльза. Маша не ответила ничего. А когда они вышли на улицу, сказала: «Я никуда не поеду» и поцеловала его в стриженую голову.

Шкловский Тарацуки явился к ней еще раз. Он был очень грустен. Он говорил: «Милая Маша! Если ты не едешь, то подари мне маленькую белую собаку, с которой ты гуляешь».

Эльза. Так как был голод, и собаку уже нечем было кормить, то Маша ее подарила.

Шкловский. Последнее письмо Тарацуки было из Владивостока: «Я привез сюда твою собаку и скоро поеду с ней дальше. У вас будет очень тяжело для тебя. Я жду ответа, напиши, и я приеду за тобой». Но едва успело дойти письмо, железная дорога порвалась в сотне мест.

Эльза. А Маша все равно не ответила бы. Она осталась. Ее по-прежнему любили все. Революции она не боялась, потому что у нее не было знатной желтой бабушки. Она работает сейчас на заводе. Когда она вспоминает японца, то жалеет его.

Шкловский. Ее все любят. Она настоящая женщина, она как трава, у нее как будто нет имени, нет самолюбия, она живет, не замечая себя. Мне тоже жаль японца. Он очень похож на меня. А ты не Маша. На твоем небе вместо звезд – твой адрес. Впрочем, все это не так хорошо, как жалобно.



Шкловский. А теперь сказка. Отшельник превратил мышь, которую он полюбил, – странная любовь, но что не сделаешь от одиночества в Берлине, – в девушку.

Эльза. Девушка отшельника не любила. Он ревновал ее. Она ему говорила: «Так вот какая твоя любовь!» Еще она говорила: «Я хочу свободы, прежде всего. И лучше уходи».

Шкловский. Отшельник позвонил ей по телефону и сказал: «Сегодня хороший день!»

Эльза. Девушка сказала: «Я еще не оделась».

Шкловский. Отшельник сказал: «Я подожду. Поедем, я буду сопровождать тебя по магазинам!»

Эльза. Покупала девушка.

Шкловский. Потом вывез ее отшельник за город, в Ванзее. Солнце еще было в небе. Он сказал: «Хочешь быть женой солнца?»

Эльза. В это время на солнце набежало облако. Девушка сказала: «Облако могущественней».

Шкловский. Отшельник был сговорчив, особенно с девушкой. Он сказал: «Хочешь, облако будет твоим мужем?»

Эльза. В этот момент ветер отогнал облако. Девушка сказала: «Ветер могущественней!»

Шкловский. Отшельник начал сердиться. Телефон испортил его нервы. Он закричал: «Я сосватаю тебе ветер!»



Эльза. Девушка обиженно отвечала: «Мне не нужен ветер, мне тепло и не дует. Я закрыта от ветра этой горой. Гора могущественней».

Шкловский. Отшельник понял, что девушки в магазинах всегда долго выбирают, и девушка думает, что она в магазине Марбах. Он ответил терепеливо, как приказчик: «Извольте гору!»

Эльза. Лицо девушки в это время просияло. Она стала совсем веселая.

Шкловский. Отшельнику даже показалось, что он счастлив.

Эльза. Она указала ему пальчиком на низ горы и сказала: «Смотри!»

Шкловский. Отшельник ничего не видел.

Эльза. «Как он красив, как он могуществен, он сильнее горы, вот существо моего быта, как он одет!»

Шкловский. «Кто же?» – спросил отшельник.

Эльза. «Мышонок, милый отшельник!» – сказала девушка. – «Мышононок, он прогрыз гору, посмотри, он уже любит меня!»

Шкловский. «Здорово, – сказал отшельник. – Этого ты на самом деле полюбишь, ну хорошо, что ты не влюбилась хоть в человека из оперетки». И он поцеловал девушку-мышь в ее розовые уши и отпустил ее, дав ей мышиный паспорт. С этим паспортом, кстати, прописывают во всех странах.

...Сердце истыкано медными пуговицами, как куртка малыша в лифте. Оно за день тысячу раз поднимается и тысячу раз падает. Оно, как мышь, разлиновано мышеловкой. Люблю тебя, как любят солнце, как любят ветер. Как любят горы. Как любят: навек.



Эльза. Ты нарушаешь уговор.

Шкловский. Клянусь тебе, я скоро закончу мой роман!

Эльза. Ты пишешь мне по два письма в день.

Шкловский. Это потому, что люблю тебя немного больше, чем вчера. Завтра напишу три.

Эльза. Писем набралось много. Я наполнила ящик письменного стола, запрудила карманы и сумочку.

Шкловский. Мое горе приходит ко мне и сидит за одним столом. Я разговариваю с ним. А доктор говорит, что у меня нормальное кровяное давление и моя галлюцинация – только литературное явление.

Эльза. Ты говоришь, что знаешь, как сделан «Дон Кихот», но любовного письма ты сделать не можешь. И ты все злеешь и злеешь.

Шкловский. Уеду в Россию или в русскую тюрьму. Чекисты будут ко мне милосердны, они не европейцы, и не будут ругать меня, если я от ужаса смерти закричу, или буду стенать, как стенаю сейчас, раненый твоими умеющими прикасаться руками.

Эльза. А когда пишешь любовно, то захлебываешься в лирике и пускаешь пузыри.

Шкловский. Я барахтаюсь, пытаюсь спастись.

Эльза. В литературе я понимаю мало, хотя ты льстец и утверждаешь, что я понимаю не хуже тебя; в письмах же о любви я знаю толк.



Шкловский. Люблю тебя немыслимо. Прямо ложись и умирай.

Эльза. Войдя в любое учреждение, я сразу знаю, что к чему и кто с кем.

Шкловский. Аля, будь моей женой. Я люблю тебя так, что не могу жить, не могу уже писать тебе писем. Я вишу на подножке твоей жизни.

Эльза. Ты пишешь о себе, а когда обо мне, то упрекаешь.

Шкловский. Я хочу иметь от тебя ребенка.

Эльза. Любовных писем не пишут для собственного удовольствия, как настоящий любовник не о себе думает в любви.

Шкловский. Я целовал твои губы, я не могу забыть их, я целовал твое сердце, я знаю его.

Эльза. Ты под разными предложениями пишешь об одном и том же.

Шкловский. Или скажи мне «никогда». Скажи «уходи». Докуси меня.

Эльза. Брось писать о том, как, как, как ты меня любишь, потому что на третьем «как» я начинаю думать о постороннем.

Шкловский. Все мои письма о том, «как» я люблю тебя.

15

Шкловский. В моей судьбе все было предопределено. Не могло быть иначе.

...Эта история будет из Андерсена. Это то, что могло случиться.

Жил принц. У него было две драгоценности: роза, выросшая на могиле его матери, и соловей, который пел так сладко, что можно было забыть свою собственную душу.



Он полюбил принцессу из соседнего королевства и послал ей розу и соловья.

Эльза. Розу принцесса подарила инструктору скетинг-ринга, а соловей умер у нее на третий день: он не выдержал запаха одеколона и пудры.

Шкловский. Дальше Андерсен рассказывает все неправильно. Принц вовсе не переоделся в свинопаса. Он занял деньги, купил шелковые носки и туфли с острыми носками. Один день учился улыбаться, два – молчать и три месяца привыкал к запаху пудры. Он подарил принцессе трещотку, под которую можно было танцевать шимми, и какую-то игрушку, которая сплетничала, вероятно, книжку с посвящением.

Эльза. Принцесса действительно его целовала.

Шкловский. Ночь, в которую принцесса пришла к принцу, была действительно черная и дождливая.

Эльза. Принцесса постучалась уверенно.

Шкловский. Принц скатился по перилам: ему каждую ночь казалось, что стучат, и кататься по перилам он научился в совершенстве. Он открыл дверь и сразу узнал зонтик. Он поклонился ниже своих ног и сказал: «Войдите, принцесса, в свой дом».

Эльза. Она вошла. Был дождь. Она так устала, что шла по лестнице, не закрыв даже свой зонтик.

Шкловский. Принц усадил ее перед камином, разжег огонь, накрыл на стол и хотел бежать. Он хотел ей подарить розу и соловья. Принц был рассеян.

Эльза. Вот тогда-то и рассмеялась жареная рыба. Она смеется тогда, когда видит, что кто-то подарил свое сердце вместо трещотки. В этот раз она смеялась до упа-



ду, хлопала хвостом и брызгала соусом. «Прииц, – сказала она. – Зачем ты портишь чужие сказки?» – «Андерсен оклеветал меня, – ответил принц. – Дом мой и мое сердце принадлежит принцессе. Тот, кого любят, никогда не бывает виновен. А ты лежи смирно и не брызгайся соусом, потому что принцесса сейчас будет тебя есть».

Эльза. «Ты съеден сам, жареный принц!» – сказала рыба и умерла во второй раз от скуки: она не любила принцессу.

Шкловский. И вот возможная развязка романа.

Эльза. Принцесса живет в одном доме с принцем, потому что в городе очень мало свободных квартир.

Шкловский. Принц сделался игрушечным мастером. Он чинит граммофоны и делает трещотки, под которые можно танцевать шимми.

Эльза. Принцесса живет в его доме. Но танцует она с другими, – она живет с ними.

16

Шкловский. Когда случают лошадей, – это очень неприлично, но без этого лошадей бы не было, – то часто кобыла нервничает, она переживает защитный рефлекс и не дается. Она даже может лягнуть жеребца. Заводской жеребец не предназначен для любовных неудач. Его путь устлан розами, и только переутомление может прекратить его романы. Тогда берут малорослого жеребца – душа у него может быть самая красивая – и подпускают к кобыле. Они флиртуют друг с другом, но как только начинают сговариваться, бедного жеребца тащат за шиворот прочь, а к самке подпускают производителя.



Первого жеребца зовут пробником. Ремесло пробника тяжелое, и говорят, что иногда оно кончается сумасшествием и самоубийством. Оно – судьба русской интеллигенции. Герой русского романа пробник. И в революции мы сыграли роль пробников.

Я не могу жить в Берлине. Это не правильно. Я хочу в Россию. Я поднимаю руку и сдаюсь. Впустите в Россию меня и весь мой нехитрый багаж: шесть рубашек (три у меня, три в стирке), желтые сапоги, вычищенные желтой ваксой, и галстук, который мне подарили.

Старая кавказская история. По обеим сторонам военной дороги лежали зарубленные воины. У всех у них сабельные удары прились на правую руку и на голову. Почему? Очень просто. Воины, сдаваясь, всегда поднимали правую руку.

17

Шкловский. Луи Арагону*, 27 июля 1970 года. Дорогой друг. Сейчас только решаюсь писать тебе. Смерть Эльзы Триоле потрясла меня. Ты знаешь, как я был влюблен в Эльзу. Письма мои к ней теперь у тебя. Только через 20 лет я смог полюбить снова. Если бы она меня полюбила, то я стал бы гением. Нам нужны цвет и воздух. Она любила тебя. Пишу тебе, как ей. Судьбы скрестились. А ваши судьбы перекрестились. Она умерла. Прощай, Эля. Она почувствовала смерть. Мне рассказали о ее последнем романе. Там соловей поет утром. Он поет о всей прожитой жизни, соловей поет не только о любви. Он поет о себе, о границах своей души. Он охраняет охваченную песней территорию.

Она умерла воином. Она умерла полководцем и стражем большой армии нового, не очень счастливого человечества. Пускай меня простят люди, что я не все дописал. Я умел умирать на войне, но иногда теряю себя в книгах.

* Арагон, Луи (1897–1982) – французский поэт и прозаик, член Гонкуровской академии. Муж Эльзы Триоле.



Продолжай свою великую песнь, друг. Смерть придет и к нам. Пускай она подержит наше стремя, когда мы будем кончать долгую свою жизнь. Она была для меня Россией – Западом. Боль любви поддерживала меня. Мы смогли жить. Мы храним память о великой женщине и великой любви. Вот и все, что я смог написать. Твой Витя. Виктор Шкловский.

18

Арагон.

Настанет, Эльза, день, мои стихи поймут.
Всю многозвучность их... Короною своей
Ты будешь их носить, дая свой отблеск ей.
Вот почему они меня переживут.
Настанет, Эльза, день, когда поймут меня
При помощи твоих прекрасных ярких глаз.
Как много видишь ты, когда в закатный час
Глядишь в глубины завтрашнего дня.
Настанет, Эльза, день, и ты услышишь в нем
Стихи мои из уст, без муки наших дней.
Они пойдут будить трепещущих детей,
Чтоб детям рассказать: любовь была огнем.
Они расскажут им: любовь и жизнь – одно,
И не убьют любовь ни старость, ни года,
Сплетутся две любви, как лозы навсегда,
И в жилах голубых всегда течет вино.
Настанет, Эльза, день... Я все сказал, что мог.
Мои стихи, пусть судят вас потом.
Но силы есть в руках, в объятии моем,
Не жди, не разомкнется их венок.
Промчалось время роз. Отцвел последний куст.
Но, Эльза, будет день – стихи мои прочтут,
Меж миром и тобой границы не найдут,
И статую твою воздвигнут плотью уст.



ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. СЕСТРЫ

Эльза. Когда столько живешь, кажется, что была всегда. Все-таки странная оптика у времени! Все, кто проходил через тебя, изменяли имена, поступки, внешность, становясь тобою, присутствуя в тебе частью тебя. Но Лиля, моя вторая половинка, всегда находилась рядом, напротив.

Лиля. Сначала мы жили вместе. Потом судьба развела нас по разным странам и системам. Мы редко виделись. Но оставалась почти животная потребность в соучастии другой. Потому что мы жили про одно и то же. Потому что мы были одним и тем же...

Эльза. 21 год. Милая моя, любимая Лиличка! Я теперь в Париже уже год, но только пять месяцев, как живу у себя. Никак не могли достать квартиры и жили у родственников в комнатах. Андрэ, как и положено французскому мужу, меня шпыняет, что я ему носки не штопаю, бифштексы не жарю и что беспорядок. Во всех прочих делах – абсолютно во всех – у меня свобода полная... А на днях мне будет 25 лет! Помнишь, три года назад ты мне жемчуг подарила?

Лиля. 23 год. Милая моя Элинька! Я, конечно, сволочь, но что ж поделаешь. Ужасно рада, что твой природный юмор при тебе. Я в замечательном настроении, отдыхаю. Тик мой совершенно прошел. Наслаждаюсь свободой: занялась опять балетом – каждый день делаю экзерсис. По вечерам танцуем. Оська танцует идеально! Мы завели себе даже тапера. Заразили полМосквы. Романов у меня – никаких. С тех пор, как мы поссорились с Володей, все пристают хуже прежнего. Но я непоколебима! Довольно нас помещики душили!

Эльза. 30 год, апрель. Шестнадцать лет тому назад Володя в первый раз пришел к нам в желтой кофте... Есть что вспомнить. Все ночи до единой он мне снится. Очень трудно...



Лиля. Если бы я или Ося были бы в Москве, Володя был бы жив. Я здорова, плачу очень редко, ем, гуляю, делаю все то же, что и раньше, но ни на минуту не перестаю думать о Володе. Застрелился он при Норе Полонской, но ее можно винить, как апельсинную корку, об которую поскользнулся, упал и разбился насмерть. Последние два года Володя был чудовищно преутомлен. К тому же еще – грипп за гриппом. Он совершенно израсходовал себя и от всякого пустяка впадал в истерику. Я проклинаю нашу с Осей поездку!

Эльза. 31 год. У нас по-прежнему неприятности с сюрреалистами. Сил моих больше нет. С партией все наладилось: Арагон восстановлен. Он работает как каторжный – заседания, выставки, статьи... Я его никогда не вижу.

Лиля. 34 год. Правда ли, что вы приезжаете на съезд писателей? На русском языке вас, по-моему, не печатают. Эля, ты замечательно переводишь Володю!

Эльза. Мама спрашивает: зачем ты пишешь? для кого ты пишешь? Для тех, которые не знают того, что я случайно знаю и что я считаю нужным знать всем!

Лиля. 36 год. Свершилось! Володе теперь дана зеленая улица! Сталин дал указание. Печатать теперь будут все Володино и о Володе!

Эльза. Митинг в воскресенье. Было ослепительно! 60 тысяч человек собрались потому, что собираться было опасно. Мы ехали на такси, фашисты пытались выбить окна, но нам повезло и шофер попался хороший.

Мальчиков никаких. Ни к чему мне мальчики, и я им ни к чему. Никак не могу привыкнуть к радио, что коробка разговаривает на всех языках, что слышно Мадрид, и Франко, и немцев. Тщетно ловлю Москву...

Лиля. Элик, мы с тобой переписываемся, как влюбленные! Ося пишет рецензию на твою книжку о Володе для



какого-то киевского критического журнала. По-украински будет называться: «Співець дружби народів». Каково?

Эльза. 40 год. Мы здоровы и невредимы. К счастью, у нас есть верные друзья, которые нас поддерживают. Сколько я думала о вас все это время!..

Лия. 44 год. Любимые мои солнышки, Элик и Арагошенька, когда мы увидимся? Когда получим письмо от вас! Невыразимо беспокоюсь о вас. Не знала, где вы, живы ли? С тех пор, как французское радио сообщило, что вы оба герои, – опять свет в окошке.

Эльза. 45 год. Родная моя Лиличка, я уже знаю, что ты жива, какие-то люди видели тебя на улице. Маму жалко. Я была убеждена, что ее нет в живых. Значит, от немцев ее спасла смерть, спасибо смерти.

Наше хождение по мукам началось в 39 году. 2 сентября Арагошу призвали, 3 октября у меня был грандиозный обыск. Ходили за нами шпики. Когда Арагоше это надоело, он попросился на фронт. Он дрался до перемирия. За мной в это время неотступно следили и, несомненно, посадили бы, если б не подоспело повальное бегство из Парижа. Мы нашли друг друга невероятно быстро, в конце 40 года, чудом. В Париж мы, конечно, не вернулись. Остались в Свободной зоне. Денег не было, работы никто не давал. К счастью, американцы перевели арагошин роман «Пассажиры империи». Эти деньги нас кормили два года. С Сопротивлением связались в июне 41 года. Нам прислали из Парижа «языка», который должен был переправить нас через демаркационную линию. Тут нас сцапали немцы и посадили. Просидели мы 10 дней и нас выпустили (они не узнали, кто мы). В Париже Арагоша договорился, и нас отправили на работу в Свободную зону. Было решено максимально использовать то положение, что Арагон – всемирно известный писатель, да и про меня знали.

На нелегальное положение мы перешли 11 ноября 42 года, когда итальянцы заняли Ниццу. Сначала прожили 6 месяцев в Лионе, потом, когда от недостатка жиров



мы начали шелестеть, как сухие листья, Сопротивление подыскало нам домик в деревне, где мы и дотянули до освобождения, выезжая оттуда два-три раза в месяц. Работали мы с интеллигенцией. Арагоше была поручена вся Свободная зона. Выпускали газету, основали издательство. Нелегально, конечно. Сеть наша очень быстро охватила все отрасли науки, искусства, в организацию входило примерно 50 тысяч человек. Между вылазками на работу было свободное время. Мы ужасно много писали. Если бы не писанье, я бы, кажется, руки на себя наложила, так временами было трудно и тяжело. Я очень пристрастилась к этому делу, оно заменяет мне друзей, молодость и много чего другого, чего мне не хватает в жизни. Выпустила сборник рассказов, толстый роман, набран еще один сборник. Арагоша стал совсем знаменитый, за эти годы вышло два романа и несколько томов стихов. Партизаны его чтут и любят, публика своя и чужая принимает, как принимали Володю. Пишет он все лучше и лучше.

В Париж мы вернулись 23 сентября 44 года, после освобождения. Странно и приятно жить опять у себя, четыре года у чужих людей, сил больше не было терпеть! В себя не могу прийти от счастья, от Парижа, от друзей. Вот тебе вся наша биография. Ты же о себе ничего не пишешь, где ты была после эвакуации, кто жив из друзей, с кем дружите. Я о вас столько думала и плакала, что девять лет прошли, как девять дней, словно бы и не расставались. Может быть, и кончится когда-нибудь война, вы приедете или мы к вам приедем. Я разучилась писать по-русски, и говорить тоже, ты уж прости Лиличка...

Лия. Осип скоропостижно скончался 22 февраля 45 года. Лия.

Эльза. Родная моя, любимая Лиличка! Утешить тебя нельзя, но все-таки у меня мучительное чувство беспомощности оттого, что мы так далеко друг от друга. Сколько у нас за эти годы горя было, и все врозь. Ни после маминой смерти, ни после Осинной я не пролила ни единой слезинки, я разучилась плакать, столько было всего.



За Осю я как-то никогда не беспокоилась, должно быть, он казался мне чем-то незыблемым, как страна, как город, в котором ты живешь. Как же ты теперь без него?

Скоро на свете настанет непроходимая скука, все те, по отношению к кому живешь, исчезнут, и жить станет совсем незачем. Живу я суетно. С тех пор, как наша взяла, народу вокруг – до тошноты. Я мечтаю о глухой деревне и одиночестве. Если б меня посадили в тюрьму (приличную), я бы немедленно написала полное собрание сочинений. Но лучше не надо. Вчера свалилась на меня Гонкуровская премия. А сегодня во всех, без исключения, газетах моя физиономия на первой странице и столько цветов, что ни встать, ни сесть...

Лиля. Все друзья и знакомые ужасно рады, что ты получила премию! Очень это эффектно получилось. Что с вашим приездом? Пока пришлите хоть фотографии. И Арагошины тоже. Я его тоже ужас до чего люблю, называю его Лушенька (это от имени Луи). Что прислать? Чулки? Носки? Мыло? Сладкое? Еще что-нибудь? Кофе? Чай? Ты спросила меня по телефону, любят ли меня. Нет, никто меня не любит...

Эльза. Я все время о тебе думаю, просто живу рядом с тобой, и живу душа в душу. Когда приедем, не знаю. Иной раз скучаю по вас, по своим, до слез, и когда удачи, и когда неудачи.

Лиля. 46 год. Посылаю тебе 2кг сахара, 3 пакета кофе, 0,5 кг икры, 2 бутылки водки, 2 куска мыла, журналы «Знамя» и «Огонек». Я чудовищно устала – еле ползаю. Мечтаю лежать на песке, смотреть на море и небо. С ума схожу по Осе, не знаю, как мне быть... И как ты можешь думать, что я нарочно тоскую по Осе? Неужели ты совсем не понимаешь того, что со мной делается?

Эльза. 48 год. Жизнь трудная. Заплатив чудовищные налоги, мы остались без ничего. Какой там домик, лишь бы выжить... Мне твои посылки – большое облегчение в хозяйстве. «Знаменитый» Арагоша худой, злой и замученный.



Я не худая, но злая, замученная и совсем не знаменитая! Совсем в загоне. Все, кто хочет обидеть Арагона, коммунистов, Францию, Россию, женщин, обижают меня. Эти сукины дети простить себе не могут, что дали мне премию и торопятся зарыть меня поглубже...

Лиля. 49 год. Эличка! Твои романы прочла залпом, не отрываясь, подряд. Я не знаю ни одного писателя, который бы с такой абсолютной точностью описывал человеческие чувства, ощущения, мысли - тончайшие нюансы. Весь лабиринт человеческого нутра. Твои книги – коловство. Мне кажется, что когда их будут читать через триста лет, это будет путешествие по нашей сегодняшней жизни.

Трудилась над Володиным 2-томником. Вася дописывает комментарий. Без усталости ходим на балет, на Плисецкую. На днях Тышлер начнет писать с меня серию портретов. В шляпах, с вуалями! Вуаля!

Эльза. 50 год. Всю ночь ты мне снилась, и утром у меня было такое ощущение, как будто я с тобой повидалась. Своего сейчас ничего не пишу, некогда и негде. Спасибо за икру. Буду ею кормить Пикассо. Нас по-прежнему безостановочно поносят в газетах. Вот так и живем, как на тонком льду. Не жалуемся, пока тепло и не дует. Маюсь зубами. Старею. И все кажется, что уж больше некуда, а выглянешь – и окажется, что есть куда! Сегодня, наконец, купи дом! С мельницей!

Лиля. 61 год. Родные мои, кто-то слышал вас по радио, а мы прозевали, жаль. Вчера весь день просидела у телевизора: смотрела встречу Гагарина на аэродроме. Проезд по Москве, Красная площадь – фантастика! А вечером были в музее Маяковского – годовщина смерти Володи. Очень много народа!

Эльза. Написала Любе Орловой относительно пьесы «Милый жец». Это из переписки актрисы Пэт Кэмбэл и Бернарда Шоу. Весь диалог – из их писем! Она идет здесь в переводе Кокто, постановка ослепительна. Всего он



и она, почти без декораций. Если Люба Орлова и, скажем, Черкасов, хотели бы это сыграть, я бы с удовольствием перевела. Предложили составить антологию русской поэзии от истоков и до наших дней.

Посылаю тебе пластинку. Имей в виду, сердце на пластинке бьется настоящее. Наш сердечный ритм, с одной стороны, соответствует та-та-та, а с другой – рок-н-роллу. Вот послушай! Это так удивительно, что Арагоша написал страничку для обложки и замечательную статью об этом.

Лия. Мы пришлем тебе для «Антологии» всех наших лучших поэтов. А пишут сейчас на очень высоком поэтическом уровне. Ходили с Васей на площадь Маяковского, где было несколько тысяч молодежи. Мы были поражены качеством стихов! Вообще, чтение стихов под памятникам Володе и на памятнике, и на эстраде с прожекторами и громкоговорителями – очень волнующе! Какой-то парнишка влез на памятник и читал «Облако в штанах». Самый большех успех был у Евтушенко – его унесли на руках, он очень популярен у молодежи. Я к нему равнодушна. Щедрин написал новую симфонию. Плисецкая потолстела и еле втиснулась в новую пачку. Просто беда!

Эльза. Лиличка. Поздравляю заранее с днем рождения! Лучше раньше, чем никогда. Пожелания – все известные. Я, должно быть, повторяю их с тех пор, как научилась говорить... Понравился мне Булат Окуджава – кто он? Что написал? Случайно это хорошо, или он настоящий писатель? Демьян Бедный – это до того плохо, что мне не найти переводчика. Вчера 33 года с нашей с Арагошей встречи. Обычно мы празднуем, а на этот раз забыли, и я узнала из какой-то газетенки. Арагоша побежал за цветами – и конечно принес ослепительной красоты змейку с алмазом и эмалью.

Лия. 62 год. Элик мой! Арагошенька! Спасибо вам за чудесные шесть недель с вами – давно у меня не было такого счастливого и спокойного состояния. И вы оба в этот раз мне очень и очень понравились, и я вас обоих зверс-



ки люблю. Твои книги, Элик, в октябре идут в набор. Премьера «Ажеца» будет в ноябре, а музыку к спектаклю написал – угадай кто? – Чаплин!

Эльза. Расскажу тебе необычайную вещь. Один художник рассказал мне, что, переходя через мост напротив Академии, – Мост искусств, – увидел намалеванный на мостовой Лилин портрет! Мы с Арагошей сразу же поехали туда. Там разместились уличные художники, которые живописуют на асфальте. И вот стоят 3 паренька, лет по 20, и в ногах у них огромно увеличенная обложка книги «Про это» – так и написано – и вокруг по-французски и по-русски Володиных стихи. Лиля – ярко черно-белая, а стихи немножко размылись – ночью была страшная гроза. Поговорили: художник – югослав, другой – поэт, третий, немец, – фотограф. Интересное чудо? Фольклор! А еще там на асфальте были намалеваны пресвятые девы и изображены под Пикассо. Плюс подпись: «Цена вместе с мостом – 1 новый франк»!

Лиля. Ходили в Володин музей на вечер воспоминаний о Маяковском – воспоминатели врал и не краснели. Больше ходить не будем! До чего же беспардонные твари! Как вам повесть Солженицына «Один день Ивана Денисовича»? Я потрясена. Вчера полдня проплакала. И как написана! Писал он ее, совсем не думая, что ее напечатают. Так, для себя. Прочел своему приятелю, а тот возьми и отнеси без ведома автора в «Новый мир»...

Эльза. Повесть прекрасная. У меня вся душа искоркена, как после автомобильной катастрофы – одни все типы и проблемы. Что тут скажешь? Все мы виноваты перед Иваном Денисовичем своим доверием. Фальшивомонетчики не мы, но мы распространяли фальшивые монеты по неведению. Сами принимали на веру. Значит, шлагбаум поднят, дали зеленый свет, и сейчас все начнут жарить...

Лиля. 67 год. На днях смотрели изумительный спектакль о Маяковском в театре на Таганке. Режиссер –



Либимов. Я, да и все в зале, плакали. Не потому что спектакль грустный, а потому что – настоящая лирика. Очень хорошо читают стихи. Не кричат. И все актеры молодые. А вчера смотрели снятую по Васиному сценарию «Анну Каренину». Успех ошеломляющий. Эличка, не переговоришь ли ты с Аленом Рене по поводу экранизации поэмы «Про это»?

Эльза. Лиличка, во-первых, «Про это» не переведена целиком. Во-вторых, предложить ее какому-либо режиссеру из видных – абсолютно невероятно. Я вот хотела, чтобы Луис Бунюэль, когда-то человек нам близкий, хотя бы просто прочел мой роман «Розы в кредит» – и то не вышло. Мне кажется, что ты говорила, что какой-то итальянский режиссер проявил интерес...

Лия. Да, это был Федерико Феллини. Он прочел «Про это» в переводе на итальянский и был удивлен, что я жива, спрашивал, как со мной связаться. Я хотела, чтобы Феллини что-нибудь сделал из Володиной поэмы или про него. И я написала ему. Ответа не получила. Может быть, письмо не дошло? Или его ответ?

Эльза. 68 год. Дорогие, времена необыкновенные, ни на что не похожие! Студенческая революция в Париже! Висим на радио, ждем, переживаем. Господи ты, Боже мой! Я теперь убеждена, что право только сердце, что надо следовать только его побуждениям, оно умнее рассудка. Все трещит по швам. Жизнь человеческая гроша ломаного не стоит, и молодежь за нее не держится. Как сказано в Апокалипсисе: «Он любил жизнь, но не настолько, чтобы бояться смерти».

Лия. Кажется, журнал «Огонек» решил нас растоптать. Вышла уже третья, самая позорная, статья про Володю, меня, его женщин. На друзьях лица нет, но сделать никто ничего не может: один из авторов – очень высокий чин из ЦК. Если бы я была помоложе, подала бы в суд и поступила бы глупо, толку все равно никакого. После первой статьи



я была почти спокойна. А сейчас стала плакать и задумываться: как же мне теперь быть? Хорошо, что есть полное собрание сочинений Володи, можно справиться... Элик, Арагоша, мне очень, очень плохо. Одна только улыбка: кто-то сказал Володиной сестрице, что видел меня в Большом театре и что я была прелестна и чудесно одета – вся в серебре, сапожки, костюм. Она позеленела от злости. Она была уверена, что со мной покончено, что я – мокрое место. Буду теперь наряжаться, как елка, мать вашу так...

Эльза. Родные мои Лиля-Вася! Я уже написала две статьи об этой мерзости в «Леттрз Франсез». Если бы они хоть чем-то помогли! Похоже, что ваши верхи льют крокодиловы слезы: ах, как же это все плохо получилось! Но ничего того, что **против** не пропускают. В газетах – молчок. Мне не хочется, Лиличка, чтобы ты подавала в суд. Они ведь могут сострять любые обвинения и документы. Бой слишком неравный. Ох, как мне это все не нравится! Уж очень они копошатся, уж очень усиленно и резво. А тут еще советские танки в Чехословакии! Что же это такое делается на белом свете!

Мы по-прежнему на мельнице. Надавали много новых лекарств. Попробовали запретить курить – я не курю. Попробовали разрешить пить спиртное – а я не пью! Словом, я осталась при своих привычках и образе жизни и строгом совете не переступать границы физических усилий, А кто ее знает, где эта граница?

Лиля. 69 год. Элик, вчера до глубокой ночи читала твою книгу. Это – встреча с тобой, это – ты. Это удивительно интересно! Как точно ты умеешь сказать о том, что чувствуешь, думаешь, знаешь... Как талантливо! Был тут у нас один доктор философии из Америки, который написал книгу о русском футуризме. Ничем, кроме футуризма и ЛЕФа, не интересуется. Сидим, разговариваем. Потом он говорит: «А есть еще интересная французская книга о Маяковском Эльзы Триоле». Я ответила: «Да, интересная, я читала. Эльза Триоле – моя сестра». Он остолбенел: «Как! Вы – Лиля Брик? Вы живы?» Шел-то он к Василию



Катаняну, летописцу Маяковского, и понятия не имел, что живем мы вместе...

А я опять на днях упала у себя в комнате – скользкая подошва и скользкий пол – совсем не ушиблась, но от испуга вскрикнула. Вася выбежал из комнаты совершенно зеленый от испуга, и хотя я его убеждала, что мне совсем не больно, у него дрожали руки, он сел на пол рядом со мной и, не переставая, целовал меня. Теперь я знаю, по крайней мере, что он меня любит...

Эльза. У меня развилась настоящая «людобоязнь», как у бешеных собак водобоязнь, и как только кто-нибудь появляется на горизонте, как меня тут же одолевает тоска, недомогание, начинает болеть сердце, и я лезу под одеяло с головой. Все больше лежу, много сплю, у нас лето. Ну, как водится, летом можно спокойно умереть, все равно врачи отдыхают.

Вообще, все надоело. Пора «прекратить наслаждение». Свет этот покину с облегчением. Пишу с упоением один роман. Название «Соловей замолкает на рассвете». Представь, старые друзья, теперь уже старики, собираются и проводят вместе ночь, не зажигая света, чтобы не видеть друг друга, за городом, в комнате, выходящей в парк. Поет соловей. Полуразговоры... Женщина наполовину спит, ей снится прошлое, настоящее... Все это люди искусства, хотя жизнь сложилась по-разному, но все как-то «вышли в люди». Соловей поет, но все тише, тише... На рассвете хозяйку находят умершей.

Лия. Твоя книга прекрасна! Она и обо мне. Я заболела после нее. До слез беспокоюсь о тебе, об Арагоше. О ваших сердцах.

Приснился сон: я сержусь на Володю за то, что он застрелился, а он ласково так вкладывает мне в руку пистолет и говорит: «Все равно ты то же самое сделаешь». Ничего не поделаешь, все умирают. И я умру. Неважно, как умереть, – важно, как жить. Я умереть не боюсь, у меня кое-что припасено. Я боюсь только, что вдруг случится инсульт, и я не сумею принять это «кое-что». «Вот такая



картина», – как сказал один мой знакомый, сообщая одной женщине, что у нее умер муж. Его попросили сделать это очень осторожно...

* * *

Лиля Брик. Родилась в 1891 году. Бессмертная возлюбленная Маяковского. Литератор, сценарист, редактор, переводчик, актриса, скульптор, теоретик балета. Муза русских футуристов, Эйзенштейна, Мейерхольда, Качалова, Шостаковича, Любимова, Вознесенского, Параджанова и многих других русских, а также Ролана Пети, Леже, Пикассо, Ива Сен-Лорана. Покончила с собой в 1978 году, приняв смертельную дозу нембутала. В предсмертной записке написала: **«В моей смерти прошу никого не винить. Васик! Я боготворю тебя. Прости меня, и друзья простите».** Согласно завещанию, прах развеян по ветру.

Эльза Триоле. Родилась в 1896 году. Выдающаяся французская писательница, лауреат Гонкуровской премии. Жена поэта и прозаика Луи Арагона. Автор многочисленных рассказов, повестей, романов, статей, переведенных на многие языки мира. Совместное с Арагоном собрание сочинений составило 45 томов. Пропагандист творчества Маяковского и русской культуры во Франции. Переводчик, организатор выставок и книжных ярмарок, сценарист. Умерла в 1970 году. Похоронена рядом с Луи Арагоном. На могильной плите – цитата из романа: **«Мертвые беззащитны. Но надеемся, что наши книги защитят нас».**

В 1920 году Маяковский рассказывал друзьям о замысле романа «Две сестры». Замысел не осуществлен.

БИБЛИОГРАФИЯ

ЕЕ ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВО

Андреас-Саломе, Л. Прожитое и пережитое: Воспоминания о некоторых событиях моей жизни. Родинка: Воспоминания о России. М., 2002.

Андреас-Саломе, Л. Эротика. Ижевск, 2011.

Андреас-Саломе, Л. В школе Фрейда. <http://psychoanalyse.narod.ru/freud/salome/salome.htm>.

<http://psychoanalyse.narod.ru/freud/salome/salome2.htm>.

Галеви Д. Жизнь Фридриха Ницше. СПб.; М., 1911.

Гармаш, Лариса. Лу Саломе. Челябинск, 2000.

Жиру, Франсуаза. Лу. История свободной женщины. М., 2005.

Ницше, Фридрих. Письма. М., 2007.

Ницше Ф. Полное собрание сочинений: В 13 томах. М., 2005.

Рильке, Райнер Мария – Лу Андреас-Саломе. Из переписки. / «Вопросы литературы», №3/2001.

Рильке, Райнер Мария. Проза. Письма. Харьков, 1999.

Рильке, Райнер Мария. Флорентийский дневник. М., 2001.

Хольтхаузен, Ганс Эгон. Райнер Мария Рильке. Челябинск, 1998.

SANCTUS AMOR

Ашукин Н., Щербаков Р. Брюсов. М, 2006 (ЖЗЛ).

Белый, А. Начало века. М., 1990.

Белый, А. Между двух революций. М., 1990.

Берберова. Н. Курсив мой. М., 1996.

Брюсов, В. Дневники. Автобиографическая проза. Письма. М, 2002.

Брюсов, В. Литературное наследство, т. 85. М., 1976.

Брюсов, В. - Нина Петровская. Переписка: 1904–1913. М., 2004.

Гуль, Р. Я унес Россию. Апология русской эмиграции. Том 1. Россия в Германии. М., 2001.

Локс, К. Повесть об одном десятилетии. / Минувшее, т. 15. М., 1994.

Петровская, Н. Воспоминания. / Жизнь и смерть Нины Петровской. / Минувшее. т 8. М., 1989.

Петровская, Н. Бродяга. / Sanctus Amor. М., 1908.

Письма Андрея Белого к Н. И. Петровской. / Минувшее. Т. 13. М.-СПб., 1993.

Ходасевич, В. Конец Ренаты. Андрей Белый./ Некрополь. М., 1991.

ДВЕ СЕСТРЫ

Арагон Л. Поэзия. Ozon.ru: Print-on-Demand, 2012.

Брик, Л. – Эльза Триоле. Неизданная переписка (1921–1970). М., 2000.

Брик, Л. Пристрастные рассказы. М., 2003.

Ваксберг, А. Загадка и магия Лили Брик. М., 2004.

Катанян, В. Лиля Брик. Жизнь. М., 2002.

Катанян, В. Распечатанная бутылка. Нижний Новгород, 1999.

Маяковский, В. Полное собрание сочинений в 13 т. М., 1955–1961.

Новое о Маяковском. М., 1958.

Перцов, В. Маяковский в последние годы. М., 1959.

Триоле, Э. Заглянуть в прошлое. /Современницы о Маяковском. М., 1993.

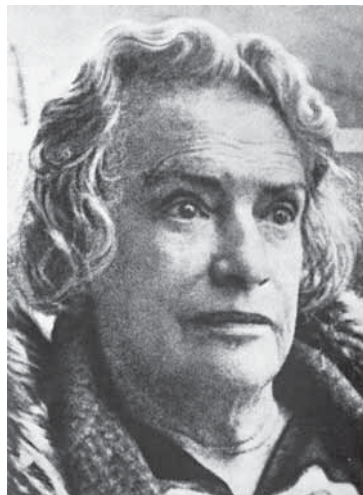
Шкловский, В. Зоо. Письма не о любви или Третья Элоиза. /«Жили-были»; Воспоминания. М., 1966.

Янгфельд, Б. Любовь – это сердце всего. М., 1991.

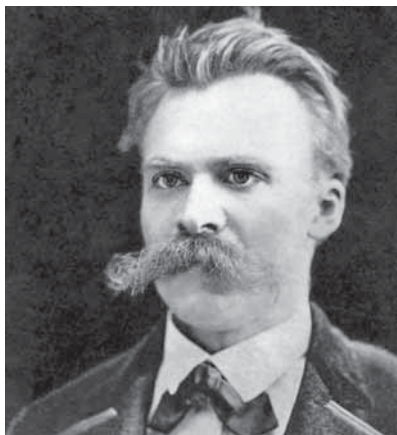
ОГЛАВЛЕНИЕ

<i>Менжулин В. Эйфория. Читать!</i>	5
<i>ЕЕ ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВО. Лу Андреас-Саломе в интерьерах Ницше, Рильке, Фрейда и других</i>	9
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. ПЕРЕЖИВАНИЕ БОГА	11
ЧАСТЬ ВТОРАЯ. НИЦШЕ	23
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. РЭ, АНДРЕАС И ДРУГИЕ	61
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ. РИЛЬКЕ	87
ЧАСТЬ ПЯТАЯ. ФРЕЙД	170
ЧАСТЬ ШЕСТАЯ. НА ЗАКАТЕ	208
<i>SANCTUS AMOR. «Бедная Нина» – Нина Петровская</i>	211
Пролог	213
ПЕТРОВСКИЕ ХРОНИКИ	215
ПЕРЕСТИШКА ИЗ ДВУХ УГЛОВ	336
ПЕТРОВСКИЕ ХРОНИКИ II	346
ИНТИМНОЕ	379
1905	379
1906	435
1907	477
1908	490

1909	566
1910	630
1911	673
1912–1913	721
КОНЕЦ РЕНАТЫ	734
ПОСЛЕСЛОВИЕ	744
Нина Петровская. Рассказ «Бродяга».	744
<i>ДВЕ СЕСТРЫ. Лиля Брик и Эльза Триоле:</i>	
<i>опыты любви и нелюбви</i>	<i>749</i>
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. ЛИЛЯ.	751
ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ЭЛЬЗА	794
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. СЕСТРЫ.	822
БИБЛИОГРАФИЯ.	834



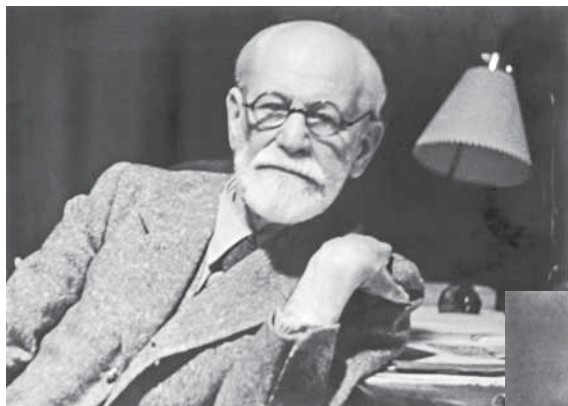
Лу Андреас-Саломе



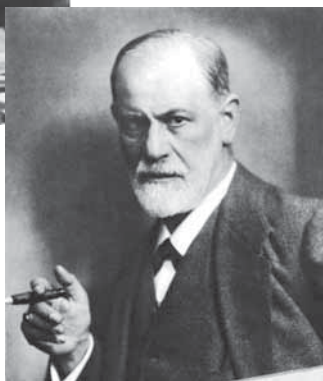
Фридрих Ницше



Райнер Мария Рильке



Зигмунд Фрейд



Поль Рэ



Фридрих Карл Андреас



Элизабет Ницше



Мальвида фон Мейзенбух



Лу, Рэ, Ницше



Лу и Фридрих Карл Андреас



Нина Петровская



Андрей Белый



Валерий Брюсов



Сергей Соколов



Константин Бальмонт



Иоанна Брюсова



Валерий и Иоанна Брюсовы



Вера Комиссаржевская



Владислав Ходасевич



Лиля Брик



Владимир Маяковский



Лиля Брик и Маяковский



Осип Брик, Лиля Брик, Маяковский



Осип Брик





Василий Катанян



Виталий Примаков



Виктор Шкловский



Лиля Брик и Эльза Триоле



Эльза Триоле





Лиля Брик



Луи Арагон и Эльза Триоле

Талалаевский Игорь

Три фурии времен минувших. Хроники страсти и бунта.
Лу Андреас-Саломе, Нина Петровская, Лиля Брик

Главный редактор издательства *И. А. Савкин*
Дизайн обложки *И. Н. Граве*
Оригинал-макет *М. М. Егорова*
Корректор *Д. А. Потапова*

ИД № 04372 от 26.03.2001 г.
Издательство «Алетейя»,
192171, Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д. 53.
Тел./факс: (812) 560-89-47

Редакция издательства «Алетейя»:
СПб, 9-ая Советская, д. 4, офис 304,
тел. (812) 577-48-72, aletheia92@mail.ru

Отдел продаж:
fempro@yandex.ru, тел. (812) 951-98-99

www.aletheia.spb.ru

*Книги издательства «Алетейя» в Москве
можно приобрести в следующих магазинах:*

«Историческая книга», Старосадский пер., 9. Тел. (495) 921-48-95

«Библио-Глобус», ул. Мясницкая, 6. www.biblio-globus.ru

Дом книги «Москва», ул. Тверская, 8. Тел. (495) 629-64-83

Магазин «Русское зарубежье», ул. Нижняя Радищевская, 2.

Тел. (495) 915-27-97

Магазин «Фаланстер», Малый Гнезниковский пер., 12/27.

Тел. (495) 749-57-21, 629-88-21

Магазин «Циолковский», Новая площадь, 3/4, подъезд 7д.

Тел. (495) 628-64-42

«Галерея книги „Нина“, ул. Бахрушина, д. 28. Тел. (495) 959-20-94

Интернет-магазин: www.ozon.ru

Формат 60x88 1/16. Усл. печ. л. 51,3. Печать офсетная.

Заказ №

ИГОРЬ ТАЛАЛАЕВСКИЙ — известный театральный режиссер, сценарист и продюсер. В трех его романах-коллажах мы встречаем Ницше, Рильке, Фрейдя, Бальмонта, Белого, Брюсова, Ходасевича, Маяковского, Шкловского, Арагона и других властителей дум, чьи судьбы оказались в сетях магической харизмы роковых женщин — Лу Андреас-Саломе, Нины Петровской и Лили Брик.

Возвращаясь вечерами домой, в свою квартиру, которая находилась довольно далеко, Андреас носил с собой короткий, тяжелый перочинный нож. Нож лежал на столе, за которым сидели Андреас и я. Спокойным движением он взял его и вонзил себе в грудь. Я, не помня себя, выскочила на улицу и бегала от дома к дому в поисках хирурга. Следовавшие за мной люди спрашивали, что случилось, и я отвечала, что человек упал и наткнулся на нож. Пока врач обследовал лежавшего на полу без сознания Андреаса, несколько брошенных им вскользь слов и выражение лица дали мне понять, кого именно он подозревает в преступлении. Он не поверил мне, но в дальнейшем вел себя тактично и оставался любезен. При ударе нож выскользнул из руки и сложился треугольником, поэтому лезвие не задело сердце, но рана долго не заживала...

Лу Андреас-Саломе

...Шесть лет унижаться, ползти на коленях за человеком, который повторяет лишь одно: «Не надо, не надо, я не хочу, я не возьму, мне слишком велика твоя любовь, отдай ее кому-нибудь другому, но не мне, ради Бога не мне, - уйди»... Молить о любви любящего мужа другой женщины, ее любовника и друга, любящего ее почти отеческой любовью, «как деревце, возвращенное собственноручно»... Отдавать, напрасно расточать все сокровища души и ума, преданность, нежность, самоотречение перед человеком, который сознательно выбрал себе другую, другую назвал своей женой! Целовать руку, которая шесть лет только гнала меня и показывала на дверь! И, наконец, дойти до полного падения, до последнего унижения, - брать единственное, что осталось, - «визиты», «дружеские посещения», то, из чего вырвано все настоящее, интимное, органически сливающее двух в одно!.. Дойти до морфинизма, до полной потери воли, самолюбия, до такого состояния, когда тебе решаются подавать милостыню из жалости, в память прежних заслуг!

Нина Петровская.
Из письма к В. Брюсову

Я всегда любила одного. Одного Осю, одного Володю, одного Виталия и одного Василия. Но когда застрелился Володя, это умер Володя. Когда погиб Примаков - это умер он. Но когда в 45 году умер Ося - это умерла я...

Лили Брик